

НАДЕЖДА
МАНДЕЛЬШТАМ
собрание сочинений

ТОМ
1

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ

Н А Д Е Ж Д А
МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в двух томах

НАДЕЖДА
МАНДЕЛЬШТАМ

том первый

«Воспоминания»
и другие произведения
(1958–1967)

Екатеринбург
Издательство ГОНЗО
при участии Мандельштамовского общества
2014

УДК 882
ББК 83
М 23

Издание подготовлено по инициативе
и при участии Манделъштамовского общества

Составители

С.В. Василенко, П.М. Нерлер и Ю.Л. Фрейдin

Подготовка текста С.В. Василенко

при участии П.М. Нерлера и Ю.Л. Фрейдина

Комментарии С.В. Василенко и П.М. Нерлера

Вступительная статья к первому тому П.М. Нерлера

Вступительная статья ко второму тому Ю.Л. Фрейдина

Манделъштам, Н.

М 23 Собрание сочинений в двух томах / Надежда Манделъштам. Т. 1: «Воспоминания» и другие произведения (1958–1967) / Ред.-сост. С. Василенко, П. Нерлер, Ю. Фрейдin. Вступ. ст. П. Нерлера. — Екатеринбург: Гонзо (при участии Манделъштамовского общества), 2014. — 864 с.

ISBN 978-5-904577-35-3 (общий)

ISBN 978-5-904577-31-5 (т. 1)

Издание представляет собой наиболее полное комментированное собрание сочинений Н.Я. Манделъштам, подготовленное на основе всех выявленных к настоящему времени опубликованных и архивных материалов.

УДК 882
ББК 83

Для читателей старше 14 лет.

*Все права защищены. Ни одна часть произведения
не может быть воспроизведена в каком бы то ни было виде
без разрешения правообладателя.*

ISBN 978-5-904577-31-5

© С.В. Василенко, П.М. Нерлер, Ю.Л. Фрейдin (сост.), 2014
© П.М. Нерлер; Ю.Л. Фрейдin (статьи), 2014
© Изд-во «Гонзо» (оформление), 2014

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От составителей</i>	6
Свидетельница поэзии (П. Нерлер)	9
Воспоминания	79
Об Ахматовой	583
Моцарт и Сальери	783
Установка на чистую форму	838
Стихи Мандельштама для детей	841
Мандельштам в Армении	843
Мое завещание	847
Список сокращений	856
Список цитированных источников	858

От составителей

В настоящее двухтомное собрание сочинений Н.Я. Мандельштам входят ее воспоминания, эссе, статьи и заметки, в том числе и фрагментарные. В него не включены автореферат ее диссертации, очерки, публиковавшиеся под псевдонимом «Н. Яковлева» в альманахе «Тарусские страницы» (Калуга, 1961), интервью и обширная — и все еще не собранная воедино — переписка.

Основой собрания являются три крупных мемуарных текста — «Воспоминания», «Об Ахматовой» и «Вторая книга», работа над которыми происходила поочередно и последовательно, соответственно в 1958–1965, 1966–1967 и 1967–1970 гг., причем текст «Об Ахматовой» является, по сути, первой редакцией «Второй книги».

Книги «Воспоминания» и «Об Ахматовой» составляют основу первого тома собрания, а «Вторая книга» — основу второго, остальной материал каждого из томов расположен хронологически.

По сравнению с предыдущими изданиями в тексты книг внесены существенные изменения, основанные на учете всех выявленных к настоящему времени источников.

Выборочная дополнительная разбивка текста на абзацы, выделение оборотов прямой речи, поправки в пунктуации и исправление очевидных опечаток даются без особых оговорок. Сохранены некоторые особенности авторской орфографии. Авторские выделения (подчеркивания) текста даются курсивом. Конъектуры приводятся в угловых скобках.

При комментировании указываются источники текста и сведения о первых публикациях, раскрываются или уточняются исторические или биографические реалии. Многочисленные цитаты (часто по памяти) из произведений О. Мандельштама, А. Ахматовой и других авторов раскрываются выборочно, лишь в тех случаях, когда поиск их источников может вызвать опре-

деленные затруднения. Неточности в цитировании не исправляются, но иногда оговариваются. В отдельных случаях, для более объективной и разносторонней характеристики упоминаемых лиц и событий, приводятся свидетельства и оценки, не совпадающие с авторскими.

В оформлении использованы материалы из Городского музея Амстердама; ГЛМ (Москва); Мандельштамовского общества (Москва); Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург); Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург); РГАЛИ (Москва), Фейерстоунской библиотеки Принстонского университета (Принстон, США); Центрального архива ФСБ РФ (Москва), архива Чувашского государственного университета (Чебоксары), а также частных собраний А.Ж. Аренса, Н.В. Гординой, М.Б. Горнунга, С.И. Ивич-Богатыревой, А.М. Ласкина, Е.Б. Муриной, П.М. Нерлера, А.А. Попова, Ю.Л. Фрейдина и В.В. Шкловской-Корди.

Составители считают своим приятным долгом сердечно поблагодарить всех, кто помог при подготовке настоящего издания.

Прежде всего благодарим тех, кто предоставил для этого издания необходимые текстологические источники и иллюстративные материалы: это Файерстоунская библиотека Принстонского университета и РГАЛИ, а также Е.Э. Бабаева, Н.В. Гордина, Т.С. Птушкина, Н.А. Струве, Г.Г. Суперфин, П. Тroupин, В.В. Шкловская-Корди и Н.Е. Шкловский-Корди.

Слова признательности и тем, кто помог нам с информацией, необходимой для комментирования: это В.И. Битюцкий, Н.А. Богомолов, К. Браун, С.М. Волошина, Н.А. Громова, Ю.М. Живова, В.В. Золотухин, С.И. Ивич-Богатырева, Л.Ф. Кацис, Е.Л. Куранда, А.В. Наумов, Д.М. Нечепорук, Т.Ф. Нешумова, П.Е. Поберезкина, А.П. Рассадин, Ф.И. Рожанский, М.Г. Сальман, Р.Д. Тименчик, Л.С. Флейшман, Б.Я. Фрезинский и С.Г. Шиндин, а также тем, кто оказал техническую помощь в подготовке книги: это Л.Б. Брусиловская, А.Д. Дунаевский, В.Б. Литвинов, А.В. Миронова, Н.Л. Поболь и Т.Л. Тимакова.

С.В. Василенко, П.М. Нерлер, Ю.Л. Фрейдин

*Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ больше ротый мой...*

О. Мандельштам

Милый, милый, как соскучилась...

Н. Мандельштам

*Вы, Наденька, очень умная женщина
и очень глупая девчонка...*

С. Клычков

СВИДЕТЕЛЬНИЦА ПОЭЗИИ

Очерк жизни и творчества
Надежды Яковлевны Мандельштам

Наденька Хазина родилась 18/30 октября
1899 года в Саратове...
Надежда Яковлевна Мандельштам умерла
29 декабря 1980 года в Москве...
Долгая, отчаянно трудная и неслыханно
счастливая жизнь!..

I

ПЕРЕЖИТОЕ

Саратов и Киев. Семья

...Родилась Надя Хазина в купеческо-губернском Саратове, последним ребенком в семье. Квартировали в доме Жаркова, что на Большой Воздвиженской, недалеко от реки, а когда дети подросли, то переехали немного повыше, на Малую Казачью¹.

...Отец, Яков Аркадьевич Хазин, высокий, прямой и кареглазый, носил сюртуки одинакового покроя и звал свою пепельноволосую младшую дочку почему-то «рыжиком», возможно, потому, что в младенчестве у нее были рыжие волосы. Сын кантониста и убежденный атеист, он, под влиянием семейной кухарки Дарьи (она же нянька Н.М., водившая ее по храмам), исправно соблюдал православные посты. Из двух своих дипломов Санкт-Петербургского университета — математического и юридического — больше любил первый, но для жизненного

употребления выбрал второй — за то, что лучше кормил. И не ошибся: молодой и блестящий юрист, присяжный поверенный и адвокат, он неплохо зарабатывал.

В 1902 году, когда в провинциальном Саратове на Волге ему стало тесно, он со всем своим разросшимся семейством перебрался на Днепр — в Киев. От Саратова, а точнее от Волги, на всю жизнь осталась неодолимая кулинарная страсть к осетрине и еще своеобразная смесь барства с кротостью и скупостью (его любимая шутка: «У меня нет богатого отца»).

Яков Аркадьевич был человеком мягким и податливым, любил присесть на корточки и раздвинуть руки, чтобы сразу обнять всех вернувшихся с прогулки детей. У него, вспоминала дочь, «не было повелительных интонаций». Тем не менее перед ним «поджимали хвосты» ее будущие нахалы друзья — и поэты, и художники, и артисты с их подругами. Сам же он выделял в ее «табунке» братьев Маккавейских, Владимира и Николая, чей отец Николай Корнильевич Маккавейский, знаток топографии Страстей Христовых, преподавал на кафедре пастырского богословия и педагогики Киевской духовной академии.

С зятем Яков Аркадьевич был ровен и дружен, а тот любил послушать его рассказы, а весной 1929-го даже собирался написать по их канве четырехлистную повесть «Фагот»: «В основу повествования положена “семейная хроника”. Отправная точка — Киев эпохи убийства Столыпина. Присяжный поверенный, ведущий дела крупных подрядчиков, его клиенты, мелкие сошки, темные люди — даны марионетками, — на крошечной площадке с чрезвычайно пестрым социальным составом героев разворачивается действие эпохи — специфический воздух “десятих годов”. Главный персонаж — оркестрант киевской оперы — “фагот”. До известной степени повторяется прием “Египетской марки”: показ эпохи сквозь “птичий глаз”. Отличие “Фагота” от “Египетской” марки — в его строгой документальности, — вплоть до использования кляузных деловых архивов. Второе действие — поиски утерянной неизвестной песенки Шуберта — позволяет дать в историческом плане музыкальную тему (Германия)»².

В конце жизни, бросив адвокатуру, ставшую в новых условиях не слишком практикабельной, он вновь переключился

на свою «первую любовь» — математику, всю жизнь оставшуюся его тайной и недостижимой мечтой³. Все приговаривал: «Больше шестнадцати часов в сутки я работать не могу»⁴.

Умер Яков Аркадьевич Хазин 8 февраля 1930 года⁵.

Младшая дочь унаследовала от отца роскошный математический лоб, а от матери — поразительно красивые пепельные волосы («седенькие») и чистую кожу. И от обоих — прекрасно подвешенный и очень острый язык.

...Вера Яковлевна Хазина числилась по иудейскому вероисповеданию. С мужем она, возможно, познакомилась еще в Петербурге, когда училась на врача на Высших женских медицинских курсах при Медико-хирургической академии, первых в России⁶. Но поженились они, — спасаясь, по-видимому, от давления собственных мишпух⁷, — во Франции⁸.

В голодный 1891 год ее как дипломированного врача посылали на помощь голодающим крестьянам Поволжья. Но после Саратова она уже не работала по специальности — следила за домом и разросшимся семейством. «Она была крошкой <...>, не доходила ему до плеча, а помещалась где-то под локтем. Оба они до революции были чересчур полные. У отца это не бросалось в глаза из-за роста, а мать казалась просто шариком. Она ездила за границу лечиться от полноты, но ничего не помогало, потому что ели мы порусски — обильный московский стол с селянками, пирогами, расстегаями»⁹.

21 мая 1934 года, ликвидировав комнату в Киеве и распродав мебель, Вера Яковлевна приехала в Москву — «доживать жизнь с зятем и дочкой, которые наконец-то обзавелись квартирой. Никто не встретил ее на вокзале, и она была злой и обиженной. Но все эти чувства испарились в тот миг, когда она узнала об аресте О.М. Тут в ней проснулась либеральная курсистка, знающая, как относиться к правительству и арестам»¹⁰.

Пока зять и декабристка-дочь отбывали сталинское «чудо о Манделштаме» — высылку в Чердынь и ссылку в Воронеж, теща стерегла их квартиру в Нащокинском и подушку со стихами зятя. Когда О.М. арестовали, она оставалась

единственным представителем «семьи», прописанным в мандельштамовской квартире. Но была она только съемщицей в квартире зятя: кооператив как бы «сдал» ей одну из двух его комнат сроком на пять лет, начиная с 15 февраля 1939 года¹¹.

С середины 1937 года Вера Яковлевна с дочерью почти не виделась: пребывание Н.М. в Москве, не говоря об О.М., могло быть — и было — только нелегальным. Но война объединила мать и дочь вновь. Проскитавшись с дочерью по узбекско-казахским степям и пустыням, Вера Яковлевна за эвакуацию так изголодалась и ослабела, что впала в детство, говорила и думала только о еде. И уже после того, как самое трудное было позади и они вместе попали в Ташкент, где были и А. Ахматова, и Надин брат Женя с женой, она тихо умерла 17 сентября 1943 года. Вскоре после ее похорон Е.Я. Хазин с женой уехали в Москву: им, как и А. Ахматовой, пришел «вызов» от Союза писателей.

...Отрочество и юность Н.М. прошли в Киеве. Сначала Хазины поселились в доме № 10 по Большой Васильковской¹², затем жили в доме № 25 по Рейтарской¹³. А в 1911 году они переехали еще раз — в дом № 2 по Институтской улице, угловой по Крещатику, — прямо напротив городской думы¹⁴.

Надя была четвертым и последним ребенком в семье: двое старших были голубоглазыми, а двое младших — кареглазыми. Самой старшей была сестра Аня, родившаяся в 1888 году. Она жила в Петрограде, нищей приживалкой в квартире папिनго брата, и умерла от рака в июне 1938 года, в один год с О.М. и его отцом.

Это удивительно, но обоих Надиных братьев звали в точности так, как и двух мандельштамовских, — Шура и Женя! Свой бойцовский характер Надя закаляла в непрерывных битвах и драках с братьями, так и норовившими поиграть ею в футбол или посадить на шкаф. Братья были погодками, 1892 и 1893 гг. рождения, причем Шура родился в самый последний день «своего» года — 31 декабря¹⁵.

Уклонившись от петлюровской мобилизации, оба добровольно пошли в Белую армию. Старший, Александр, — кажется, самый любимый — выпускник Первой киевской гимназии и петербургского юрфака, бежал от большевиков на Дон

и предположительно погиб уже в 1920 году. Кто-то, по слухам, видел его в Константинополе, но когда бы и так — из эмиграции никаких признаков жизни он не подавал.

Средний, Женя, и родился и умер на шесть лет раньше Н.М. Как и Шура, был в Белой армии. Скрывая свое белогвардейское прошлое, с трепетом дожил в Москве до 80 лет. Страх разоблачения хотя и сделал его «самым сдержанным и молчаливым человеком на свете»¹⁶, но нисколько не мешал той реальной помощи, которую он всегда и без промедления оказывал своей Надьке и ее опальному мужу-поэту. Это у него, на Страстном, 6, всегда, если было нужно, она останавливалась, и это ему, Женьке, она всегда могла доверить любые — в том числе самые деликатные — поручения, связанные с Осиным архивом или Осиной книгой: так что вполне логично, что секретарем первой комиссии по мандельштамовскому наследию был именно он.

Обе братнины жены — и Сонька (Софья Касьяновна Вишневецкая), и Ленка (Елена Михайловна Фрадкина) — были подругами Н.М. из их безбашенного киевского «табунка», обе — театральные художницы из круга Экстер — Мурашко, к тому же часто и соавторши. Обе, вместе с Н.М. и Любой Козинцевой, женой Эренбурга, и еще другими, истоиво оформляли массовые революционные торжества в Киеве к Первомуаю 1919 года¹⁷.

Сонька приехала в Москву почти одновременно с Н.М. (в 1921 году) и устроилась в таировский Московский Камерный театр. В 1924 г. она ушла от Е.Я. Хазина к Николаю Адуеву, поэту-конструктивисту, в доме которого держала что-то вроде салона. Но вскоре колобок покотился дальше, и она стала женой Всеволода Вишневецкого, самого идейного и благополучного советского драматурга. В 1941 году она и сама вступила в партию, в 1951-м — за оформление спектакля Вишневецкого «Незабываемый 1919-й» — даже стала лауреатом Сталинской премии второй степени. К чести этой семьи, Вишневецкие регулярно посылали Мандельштаму в Воронеж деньги.

Ленка доучивалась уже в Москве во ВХУТЕМАСе — у Кончаловского и Лентулова. Как с «невесткой» у Н.М. были с ней непрекращающиеся проблемы¹⁸.

Младших брата и сестру, Женьку и Надьку, связывала нежная дружба, омраченная лишь однажды — перед смертью

матери. Когда оба состарились и у Н.М. завелись деньги, она охотно и много помогала Е.Я. Хазину с добыванием редких лекарств и даже с публикациями статей и книги¹⁹. В 1974 году его не стало.

...В детстве Надя много болела, и в 1905–1914 годах родители не раз вывозили ее лечиться в Европу — в Швейцарию, где она прожила два года, Германию, Францию, Италию, даже в Швецию. Благодаря этим поездкам и гувернанткам она овладела французским и немецким языками, а заодно и английским²⁰.

В Киеве она окончила Киевскую женскую гимназию Аделаиды Владимировны Жекулиной — лучшую в городе. Она находилась в доме 26 по Большой Подвальной²¹; позднее для жекулинских гимназии и высших курсов было выстроено специальное здание на Львовской, 27а²². Занятия шли по программе, разработанной для мужских гимназий, преподавали отличные педагоги — своих питомиц Жекулина приготавливала к взрослой самостоятельной жизни²³.

Сохранился листок с записью о поступлении Н. Хaziной в гимназию: пятерки по Закону Божьему, по русскому и немецкому языкам, четверка по математике. Успеваемость в старших классах была скромней: по одной только истории неизменные пятерки²⁴.

Гимназисткой она однажды видела царский проезд. Глядя на царевича и четырех царевен (средняя, Мария, была ее ровесницей), она вдруг осознала, что сама «гораздо счастливее этих несчастных девчонок: ведь я могу бегать с собаками по улице, дружить с мальчишками, не учить уроков, озорничать, поздно спать, читать всякую дрянь и драться — с братьями, со всеми, с кем захочу... С боннами у меня были очень простые отношения: мы чинно выходили из дому вместе, а затем разбегались в разные стороны — она на свиданье, а я к своим мальчишкам — с девочками я не дружила — с ними разве подерешься как следует! А эти бедные царевны во всем связаны: вежливы, ласковы, приветливы, внимательны... Даже подрасться нельзя... Бедные девочки!» («Девочки и мальчик»).

Между 8 ноября 1917 и 20 мая 1918 года и, несомненно, по настоянию отца Н.М. проучилась два неполных семестра

на юридическом факультете Киевского университета Святого Владимира²⁵. Подбить ее на дольше было уже нельзя, отцовы ремесло и хлеб ее решительно не прельщали.

В 1918–1919 годах она входила в круг (по ее выражению — «табунок») киевской богемно-артистической молодежи, по определению революционной и экстремально левой. Все же заметим, что «табунок» этот — в воспоминаниях Н.М. — этимологическое производное от «потравы»: леваки в искусстве делали примерно то же, что большевики в политике и общественном устройстве.

Членами «табунка» были А. Тышлер, Б. Лившиц, А. Дейч, М. Эпштейн и др. Сама Н.М. занималась живописью в студиях Александры Экстер и Александра Мурашко²⁶, но училась и у неоклассика М.Л. Бойчука²⁷, впрочем также из круга Экстер.

На протяжении всей жизни Н.М. обращалась на «ты» лишь к друзьям своей киевской молодости, к «жеребцам» и «кобылкам» из этого табунка, да еще к Эренбургу, тоже «киевлянину», но не коренному²⁸. Ко всем остальным своим взрослым знакомым и собеседникам (а их было превеликое множество за ее долгую жизнь, в том числе и куда более близкие, например Кузин) Н.М. обращалась исключительно на «вы», ибо «Вы» с большой буквы она категорически не писала.

Так же поначалу обращалась она и к Мандельштаму — своему «братуку» и «дружку», но все-таки не киевлянину...

Киев. Первой девятнадцатого. Встреча с Мандельштамом

Автор «Камня» приехал в Киев в середине апреля 1919 года — в несколько неожиданной для себя официозной роли наркомпросовского комиссара, или эмиссара. Он был откомандирован из Москвы, где работал в Отделе реформы высшей школы в Наркомпросе, для работы в Театральном отделе Киевского губнаробраза²⁹. Вместе со своим средним братом (Шурой) и другим откомандированным — Рюриком Ивневым — он остановился в гостинице «Континенталь», раз или два читал свои стихи на вечерах.

Кульминацией его «эмиссарства», как, возможно, и всего большевистского присутствия в Киеве в 1919 году, стало карнально яркое празднование Первомая.

Этот день,— быть может, самый важный и самый насыщенный в его жизни,— сложился из трех разрозненных составляющих.

Утром — поход в Киево-Печерскую лавру, впечатление — самое удручающее: «Здесь та же “чрезвычайка”, только “навыворот”. Здесь нет “святости”»³⁰.

Днем — собственно первомайские торжества и демонстрация на Софийской площади, где разместились не только собор и памятник Хмельницкому, но и цитадель советского правительства. Площадь да и весь город стараниями добровольцев-авангардистов — художников, литераторов, артистов и музыкантов — изменились до неузнаваемости.

Через улицы тянулись полотнища с подобающими случаю лозунгами, наспех разрисованными студийцами и студийками Экстер (их развешивали и натягивали накануне ночью сами художники, врываясь — не хуже чекистов и в сопровождении тех же управдомов — в квартиры и со смехом будя спящих и трясущихся от страха жильцов). На той же Софийской, рядом с конным, но все еще бронзовым гетманом поставили гипсовый обелиск в честь Октябрьской революции. Тут же, рядом, такие же гипсовые Ленин и Троцкий и еще узенькая фанерная «триумфальная арка», сквозь которую браво прогарцевали конные красноармейцы и опасно продефилировали пешие силы и все сознательные граждане. Арку огибала колонна открытых грузовиков, на которых артисты разыгрывали подходящие к случаю агитки, своего рода первый лав-парад в честь революции и солидарности трудящихся.

Гипс — этот податливый, но хрупкий и недолговечный материал — вобрал в себя всю хирургию и всю символику момента. На Крещатике — гипсовый Карл Маркс, на Красноармейской — такой же Фридрих Энгельс, на Европейской площади — Тарас Шевченко (ну чем не «вождь революции»?), перед Оперой — Карл Либкнехт, на Контрактовой — Роза Люксембург, а возле завода «Арсенал» — Яков Свердлов, сраженный буржуазной «испанкой»³¹.

Но Мандельштама, стоявшего, скорее всего, на начальной трибуне на Софийской, впечатлили не аляповатые фигуры-однодневки, а монументальные стены прекрасного собора. Он сказал тогда Ивневу, показывая на них: «Поверьте, что все это переживет все»³².

В тот же вечер состоялась и вторая их встреча. Завершением этого бесконечного дня стало празднование 26-летия Александра Дейча, критика и переводчика из того же киевского «табунка». Отмечалось оно в кафе «ХЛАМ» («Художники — Литераторы — Артисты — Музыканты»), находившемся в подвале гостиницы «Континенталь», где жил О.М. Он спустился вниз и был немедленно приглашен присоединиться к «табунку», рассевшемуся за составленными столиками. За одним из столиков сидела Надя Хазина, юная художница, вскидывавшая иногда в его сторону полные насмешливого любопытства карие глаза.

Мандельштама попросили почитать стихи — и поэт, обычно на публике капризный и заставляющий себя уговаривать, тут же и охотно согласился: «Читал с закрытыми глазами, плыл по ритмам... Открывая глаза, смотрел только на Надю Х.»³³ Смотрела на него и она — зрачки в зрачки, дерзко и загадочно улыбаясь...

Разгоряченные, они вышли на улицу (оба курили) — и за столики уже не вернулись. Всю ночь гуляли по притихшему после праздника городу, вышли по Креццатику на Владимирскую горку и, забыв о гипсовых идолах и о вполне осязаемых бандитах и страхах³⁴, кружили аллеями по-над Днепром, встречали рассвет над Трухановым островом. И, не умолкая, говорили — обо всем на свете.

Словно бы предупреждая о возможных в сочетании с ним осложнениях, Мандельштам рассказывал Наде о Леониде Каннегисере, своем родственнике, убийце Урицкого, и о «гекатомбе трупов», которой на его теракт ответили большевики³⁵.

Пробирал холод, и мандельштамовский пиджак перекечал на Надины плечи. Но со своей задачей не справлялся и, как надо, не грел. Не беда: через каждые сто метров парочка останавливалась — они обнимались, целовались, перешептывались...

Сама Н.М. вспоминала об этом так: «В первый же вечер он появился в “Хламе”, и мы легко и бездумно сошлись...»³⁶

Второго мая в греческой кофейне их «благословил» Владимир Маккавейский, ближайший Надин друг и поэт из семьи богослова³⁷: большего для освящения таинства любви между евреем, окрещенным лютеранином, и еврейкой, крещеной православной, решительно не требовалось.

Сама дата 1 мая стала для Осипа и Надежды как бы сакральной и совершенно свободной от пролетарских коннотаций. О.М. вспоминал о ней, например, 23 февраля 1926 года, когда писал: «Надюшок, 1 мая мы опять будем вместе в Киеве и пойдем на ту днепровскую гору тогдашнюю...»³⁸

Вспоминали ее и в 38-м, в снежной западне в Саматихе, когда под самое утро 2 мая, ровно в 19-ю годовщину киевской «помолвки», их разбудили энкэвэдэшники и разлучили уже навсегда. «Ночью в часы любви я ловила себя на мысли — а вдруг сейчас войдут и прервут? Так и случилось первого мая 1938 года, оставив после себя своеобразный след — смесь двух воспоминаний»³⁹. Мандельштама, подталкивая в спину, увели, а все его бумаги покидали в мешок: «Мы не успели ничего сказать друг другу — нас оборвали на полуслове и нам не дали проститься»⁴⁰.

...Тогда в Киеве Мандельштам провел еще три с лишним недели. Вечером 10 мая — еще один подарок искусства революции: премьеры спектакля по пьесе Лопе де Веги «Фуэнте овехуна» («Овечий источник»), поставленного в Соловцовском театре Константином Марджановым. Угнетенные испанские средневековые женщины дружно восставали против своих угнетателей и насильников, а в самом конце, плотоядно поводя бедрами, ни с того ни с сего кричали: «Вся власть Советам!» Исаак Рабинович, один из лучших учеников Экстер, был сценографом спектакля, а Надя Хазина одной из двух его ассистенток. После представления на поклоны выходили и они, вкушая свою толику успеха — оглушительные аплодисменты и вороха дешевых киевских роз.

Тогда же, 10 мая была завершена «Черепаха» — стихи ничем еще не потревоженного счастья, где «холодком повеяло

высоким от выпукло-девического лба» и где только «мед, вино и молоко».

Не ранее 24 мая⁴¹ в том же сопровождении О.М. возвращается в столичный Харьков, где хлопочет о командировке в Крым, тогда еще «красный»⁴². Вскоре, однако, возвращается — вдвоем с Шурой — в Киев, где снова они поселяются в «Континентале». После того как их оттуда вежливо попросили, братьев приютил кабинет Я.А. Хазина⁴³.

Но в конце августа братья покинули Киев: с артистическим вагоном доехали до Харькова, оттуда — в Ростов и оттуда, наконец, в Крым. На прощанье Н.М. подарила О.М. свою фотографию с надписью: «Дорогому Осе на память о будущей встрече»⁴⁴.

Встреча эта намечалась еще в Харькове, куда Н.М. должна была приехать в обществе Эренбургов. Плану, однако, не было суждено осуществиться, так что встреча хотя и состоялась, но с порядочным опозданием — приблизительно в полтора года.

Они часто писали друг другу, но сохранилось только четыре письма Н.М.⁴⁵ В них она называет О.М. «милым», «милым братиком» или «милым дружкой». В сентябре она все еще ищет оказию в Харьков или Крым и все ждет от своего милого телеграмму. Он и отправил ее 18 сентября, но пришла она только... 13 октября: все имевшиеся оказии были упущены.

На самом деле она и не хочет никуда уезжать — и то зовет его к себе в Киев, то, описывая киевские трудности, отговаривает его от этого и тут же, через строчку, снова зовет.

А Мандельштама ждала его причерноморская одиссея — с двумя арестами в Феодосии и Батуме, с обретением старых и новых друзей и врагов и с новыми стихотворениями:

Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

...Только в марте 1921 года, узнав от Любы Эренбург новый киевский адрес Н.М., О.М. поехал за ней и увез в Петроград и Москву. А еще через год, в конце февраля — начале марта 1922 года, О.М. и Н.М. зарегистрировали свой брак в Киеве: шафером на свадьбе был Бен Лившиц⁴⁶.

Москва — Ленинград — Царское Село

«Н.Х.», то есть Наде Хазиной, посвящена не только «Черепаха», но и вся «Вторая книга» (1923), а также несколько более поздних стихотворений О.М.

С самого начала Н.М. стала как бы живым продолжением пера или голоса О.М.: записывала под его диктовку и стихи и прозу или же переписывала их набело. В результате немалая часть сохранившегося рукописного наследия О.М. дошла до нас в ее списках, как авторизованных, так и не авторизованных. Помогала она мужу и в переводной работе (особенно при переводах с английского), нередко переводила и сама.

В 1922 году он познакомил ее с Цветаевой, а в 1924-м, в Царском Селе, — с Ахматовой. Цветаевский «прием» вышел ледяным, буквально «мордой об стол», а ахматовский — простым и теплым, дружба с А. Ахматовой, тогда начавшись, не прекращалась до самой ее смерти.

С этого времени Н.М. и О.М. стали почти неразлучны. Жена сопровождала поэта практически во всех его поездках по стране, включая такие специфические путешествия за казенный счет, как ссылки в Чердынь и Воронеж, а также в санаторий в Саматихе. Все эти «путешествия» прекрасно описаны ею самой, они были в такой же степени ее «репрессией», как и его, и на них я останавливаться здесь не буду.

Разлучали О.М. и Н.М. разве что те случаи, когда она сама, как в 1925–1930 годах, часто лечилась от хронического туберкулеза в Крыму или когда — во время воронежской ссылки О.М. — она ездила по делам в Москву: именно в эти месяцы и недели разлуки он особенно часто писал ей⁴⁷.

Впрочем, один биографический эпизод едва не завершился трагически для их союза — это история с Лютиком, или Ольгой Ваксель. Мандельштам знал ее в молодости в Коктебеле прекрасной девочкой-подростком. Но, встретив ее случайно в январе 1925 года в городе, он был буквально сражен ее женской красотой и невероятным обаянием, подействовавшими на него — и без малейшего усилия с ее стороны — в точности так же, как и на бесчисленных других ее обожателей до и после их встречи и расставания. Он познакомил ее

и с Н.М., которая не только не возревновала его, но и сама подпала под чары ее красоты и обаяния. И если в этом неожиданном треугольнике Лютик и отвечала кому-то взаимностью, то не О.М.

Мандельштам же совсем потерял голову и повел себя как стареющий и богатый бонвиван, добивающийся взаимности в поздней интрижке: снимал номер в «Астории», заказывал в номер ужин и свечи, упал на колени. При этом Ольга и не пресекала этой возни: не исключено, что в ее голове и впрямь прокручивались планы и риски очередного замужества, к чему в данном случае ее, возможно, подталкивала и мать.

Во всяком случае, треугольник прорвался в том самом классическом углу, где находилась «старшая» жена — 26-летняя Надежда Яковлевна, вспомнившая о своем «табунковом» свободолобии. К середине марта она сговорилась со своим нарисовавшимся будущим мужем или другом — Владимиром Татлиным — и в один из дней, когда О.М. ушел в город, просто стала собирать чемодан и вызвала по телефону свою пассию. Но О.М. за чем-то вернулся и, увидев то, чем была занята жена, вдруг увидел и себя, и ее, и Лютика в какой-то совершенно другой перспективе. В одно мгновение он смял и выбросил в корзину, словно отброшенный черновик, весь свой вакселевский проект: женин чемодан закинул на шкаф, ее как раз подоспевшего жениха ласково вытолкнул обратно, позвонил Ольге и твердым голосом, почти грубо уведомил ее об одностороннем прекращении всяких с ней отношений и даже за чем-то упрекнул в нехорошем отношении к людям! Жenu же схватил в охапку и увез в Царское Село.

А в сухом остатке — семейное согласие и несколько дивных стихов!..

Впоследствии О.М. уже не испытывал свой брак на прочность: его платонические влюбленности в Марусю Петровых и Наташу Штемпель, — как и в случае с Лютиком, но безо всяких драм, — были с успехом конвертированы в золотой чекан прекрасных стихотворений. Но и о том, насколько это серьезно было у Мандельштама тогда, зимой 1925 года, лучше всего свидетельствуют тоже стихи — 1935-го, обращенные все к той же Ольге Ваксель, но уже к мертвой.

В 1930 году милостивая судьба подарила сорокалетнему О.М. другое чудо — чудо истинной дружбы. Эту дружбой с биологом Борисом Кузиным он сравнил с выстрелом, вновь разбудившим в нем, маститом спеце-литераторе, все ювенильные таинства поэзии. Этот блестящий, внутренне свободный, живущий научными интересами, дышащий музыкой и стихами человек был ровней О.М. и лучшим его собеседником в оставшиеся годы. Другими его новыми собеседниками в 1930-е стали Яхонтов и Харджиев.

В той же мере была очарована Кузиным и Н.М., быть может, даже в большей мере, ибо именно у него, сосланного в степные казахские Шортанды, искала она в конце 1938 г. дружеского утешения и участия. Свою вдовью жизнь она представляла себе только в двух модификациях — вместе с Борисом Сергеевичем или ни с кем.

Получилось — ни с кем.

Москва — Савелово — Калинин —
Саматиха
Струнино — Шортанды — Москва —
Малый Ярославец — Калинин

При жизни мужа Н.М. практически не служила, если не считать работы в редакциях газет — одной московской («За коммунистическое просвещение», теперешняя «Учительская газета») в 1932 году и в воронежской «Коммуне» в 1934–1935 годах.

Зато после его ареста и смерти ей пришлось сполна вкусить все прелести советской службы: Струнино, Калинин, Ташкент, Ульяновск, Чебоксары, Чита, Псков — вот географические станции ее жизни и профессиональной карьеры, педагогической по преимуществу.

...В мае 1937 года, после возвращения из Воронежа Н.М., как и О.М., автоматически лишилась московской прописки. Начались поиски подходящего жилья за пределами стоверстной зоны (Малый Ярославец, Таруса). Лето они провели в Савелово — селе напротив Кимр, а осень и зиму — в Калининне. Лишь изредка, наездами, они бывали и в обеих

столицах — повидать родных и друзей, послушать музыку, сходить в музей.

Спустя год, в мае 1938 года, Н.М. была вместе с О.М. в подмосковном доме отдыха «Саматиха», где присутствовала при последнем аресте О.М. 2 мая 1938-го. Сопровождать мужа хотя бы до Москвы Н.М. на этот раз не разрешили: срок действия сталинского «чуда» 1934 года уже истек.

Только 6 или 7 мая сумела Н.М. выбраться из Саматихи. По-видимому, сразу же после этого она выехала в Калинин, где забрала корзину с рукописями О.М. Она понимала, что такой же «налет» неизбежно предпримут и органы, и сумела опередить и без того перегруженный аппарат НКВД. В корзинке, по оценке Н.М., находилась примерно половина архива О.М., вторая половина была в Ленинграде у С.Б. Рудакова.

Вернувшись в Москву, находиться в которой было довольно рискованно, Н.М. не провела в ней и двух дней. Ее эпопея «стоятницы» началась с Ростова Великого, где ее ждала неудача.

На обратном пути она попытала счастья в Струнино — маленьком поселке с несколькими текстильными и ткацкими фабриками. Некоторое время она распродала мандельштамовскую библиотеку, но книги кончились. Жить стало не на что — так что нужно было искать и находить способы существования.

С 30 сентября по 11 ноября 1938 года она проработала ученицей тазовщицы комбината «5-й Октябрь» Александровского хлопчатобумажного треста в г. Струнино Владимирской области. Оплата повременная — 4 р. 25 коп. в день⁴⁸.

Но, заметив явно повысившийся интерес к себе со стороны отдела кадров, Н.М. в одночасье уволилась и укрылась от возможных «поисков» в Казахстане, в поселке Шортанды, куда был сослан Б.С. Кузин и где она пробыла около месяца.

Последнее письмо поэта из лагеря, датируемое началом ноября, обращено к среднему брату Шуре и к Н.М. В ответ 15 декабря 1938 года Н.М. телеграфом отправила в лагерь денежный перевод. Она не могла знать, что жизни Мандельштаму оставалось всего двенадцать дней.

19 января 1939 года, в период ослабления Большого террора, написала заявление на имя нового наркома НКВД Л.П. Берии с требованием или освободить мужа, или привлечь к ответственности и ее — как постоянную свидетельницу и участницу его жизни и работы. До 30 января 1939-го она не знала, что освобождать было уже поздно и некого: О.М. умер 27 декабря, за восемнадцать дней до своего 48-летия.

30 января⁴⁹ пришел назад перевод, с припиской — «За смертью адресата».

После чего и началась ее — уже вдовья — жизнь.

Седьмого февраля она обратилась в ГУЛАГ с просьбой выдать ей свидетельство о смерти мужа. Ждать пришлось почти полтора года. В июне 1940 года ЗАГС Бауманского района г. Москвы наконец выдал А.Э. Мандельштаму свидетельство о смерти О.М. 27 декабря 1938 года — для передачи вдове (в этой дате, известной в течение сорока лет как официальная дата смерти, Н.М. всегда сомневалась).

Весь январь и первую половину февраля 1939 года Н.М. провела в Москве, без прописки, что было опасно. В середине февраля, оставив мать в квартире вместе с Костаревыми, Н.М. уехала в Малый Ярославец, где прожила около месяца (по адресу: Коммунистическая, 34).

Вернувшись в Москву, где нужно было помочь маме в ее занятиях квартирным вопросом (обмен, хлопоты о пае), она рассчитывала вновь выехать в Шортанды, но приезд к Кузину его невесты А.В. Апостоловой сделал это невозможным.

В конце мая 1939 года Н.М. вновь вернулась в Калинин (по адресу: д. Старая Константиновка, № 78), где жила ее близкая подруга Е.М. Аренс, устроившая их обеих в артель детской игрушки. Почти все лето у нее гостила мама, приезжала и Н.Е. Штемпель, а в сентябре 1939 г. она и сама съездила в Воронеж. Осенью Н.М. переехала (новый адрес: Калинин, Школьный пер., 23, кв. 10) и устроилась работать учительницей старших классов в двух школах — № 1 и № 26.

В 1941-м Н.М. послала необходимые документы на заочное отделение Института иностранных языков. Но началась война, и ни абитуриентке, ни институту, судя по всему, было уже не до этого заявления.

Калинин — Муйнак — Михайловка — Ташкент

Бомбардировки Калинина начались уже в июле-августе 1941 года. 30 сентября 1941-го, когда немцы уже приближались к городу⁵⁰, Н.М. с матерью отправилась в эвакуацию — буквально с последним катером. Останься они в Калинине — немцы бы их расстреляли: расстрельные рвы копались для всех евреев, и для крещеных тоже. Под бомбежкой они доплыли до Сызрани, откуда хотели добраться до Воронежа. Но, узнав, что немцы наступают и на Воронеж, развернулись на юго-восток — в Среднюю Азию. Поездом привез в Бухару, а оттуда — вновь по реке (по Амударье) — на зловещий остров Муйнак в узбекской части Приаралья, где находилась колония прокаженных. Бежать отсюда было непросто, но Н.М. это через месяц все же удалось; поколесив по Казахстану, через Семипалатинск и Джамбул, она и на ее глазах слабеющая мама приземлились в колхозе «Красная Заря» в с. Михайловка Джамбульской области (дом Колесниковой).

Уже из Михайловки Н.М. списалась с находившимися в Ташкенте в эвакуации А. Ахматовой и Е.Я. Хазиным: волею случая они жили даже в одном доме 54 по улице Жуковской! Те тут же начали хлопоты о переводе Н.М. и В.Я. Хазиной в Ташкент. Получив в середине июня 1942 года соответствующее разрешение, в начале июля они, вместе с приехавшим за ними Е.Я. Хазиным, переехали в Ташкент и временно остановились у него. А в начале сентября 1942 года Н.М. переехала с мамой на окраину Ташкента — к переводчице Нине Пушкарской (Водопадный проезд, 3, кв. 3).

Вера Яковлевна уже впала в детство и буквально таяла на глазах. Последние месяцы ее жизни были отравлены неслыханно черствым и эгоистичным поведением ее сына с невесткой: отношения Н.М. с «ее» Женей в середине 1943 года были ничуть не лучше отношений О.М. с «его» Женей в январе 1937-го — то был тяжелый, на грани разрыва, разлад⁵¹.

Н.М. приходилось бегать из расположенного в центре Дома пионеров на Водопадный кормить большую мать и после этого возвращаться обратно. Возможность жить на Жуковской

и приводить учеников в дом, расположенный ближе к центру, наверняка облегчила бы их жизнь...

Впрочем, Вера Яковлевна не задержалась на этом свете: 18 сентября 1943 года она скончалась. Вскоре после ее похорон возвратились в Москву А. Ахматова, а за ней и Женя с женой. У Н.М., фактически ссыльной, на вызов в Москву не было никакой надежды. Впрочем, в Ташкенте она устроилась относительно неплохо: в 1942–1943 годах она работала — вместе с Л.К. Чуковской — в Центральном доме художественного воспитания детей, заведовала его литературным сектором и преподавала детям, на выбор, английский, немецкий и французский языки. Своих учеников — Эдика Бабаева, Валю Берестова и Мура (Г.С. Эфрона, сына М.И. Цветаевой) — она, любя, величала «вундеркиндами проклятыми». Берестову Н.М. — «в кожанке, носатая, энергичная, с вечной папиросой во рту» — напоминала «не старую и все же добрую Бабу Ягу»⁵². В конце апреля 1943 года Н.М. перенесла эти занятия в комнату А. Ахматовой — на так называемую «балахану».

А в 1945-м Н.М. решает подучиться и сама — на кафедре романо-германской филологии на филфаке Среднеазиатского госуниверситета (САГУ), который она окончила 10 июля 1946 года экстерном. Когда ее спросили на экзамене об Озере, она ответила: «Да, да, ах Озерóв, это о нем мой муж писал...»⁵³ На протяжении 1947–1948 годов она сдала семь экзаменов по кандидатскому минимуму по специальности «романо-германская филология» — пять в Ташкенте, в САГУ, и два — в Москве, в МГУ⁵⁴.

Уже с 1 марта 1944 года (и вплоть до 19 января 1949-го) она одновременно преподает в университете английский язык на кафедре иностранных языков САГУ⁵⁵. В круге ее общения немало университетских коллег: от биолога Леонова до прославленной ею самой «Гутовны» — Алисы Гутовны Усовой.

Постоянной заботой Н.М. был мандельштамовский архив, помещавшийся тогда в корзинку или в один небольшой чемодан. Чудом довезла она его до Ташкента, какое-то время хранителем архива был ее лучший ученик Эдик Бабаев, попавший однажды в облаву со списком мандельштамовского «Разговора о Данте» в руках. Его отобрали в милиции. Когда же

выпускали, возвращая тетрадь, молоденький милиционер, по виду вчерашний школьник, переспросил: «Сочинение?» — «Да, сочинение». — «Пиши яснее», — искренне напутствовал участливый милиционер.

В 1944 году Н.М. передала часть архива в Москву Э.Г. Герштейн. Но, напуганная постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года, Эмма Григорьевна вернула архив Н.М. Последней надо было уже срочно возвращаться в Ташкент, но в считанные дни она нашла достойную замену хранителю: около 26–27 августа 1946-го архив был отдан братьям Бернштейнам — Сергею Игнатьевичу (жил в Столешниковом переулке) и Игнатию Игнатьевичу (он же Саня Ивич — в Руновском пер.)⁵⁶.

В первой половине лета 1948 года Н.М. ездила в Москву, где перенесла серьезную операцию на груди: удаленная опухоль оказалась, по счастью, не раковой⁵⁷.

Ульяновск — Чита — Чебоксары

После Ташкента бездомной, в сущности, Н.М. привелось изрядно поколесить по вузовским городам Союза.

В 1950 году она закончила свою первую диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук, но защититься ни сразу, ни в 1953-м ей так и не дали. Внезапный личный интерес товарища Сталина к «вопросам языкознания» придал этой когда-то сравнительно нейтральной научной дисциплине неожиданно опасную идеологическую окраску, так что диссертацию пришлось переписывать несколько раз⁵⁸.

31 августа 1955 года, уже после смерти вождя-лингвиста, в письме А.А. Суркову, Н.М. так описывала ситуацию с защитой: «Мне не дали защитить диссертацию в 1953 году. (Диссертация “Исследование древнегерманских языков” — т.е. действительно настоящее языкознание.) Все авторитетные люди в моей области (акад. Шишмарев, Жирмунский, Ярцева, Стеблин-Каменский, Аракин и др.) подтвердят это. Но у меня уже нет сил на защиту (сердце). (Боролись с диссертацией две специалистки по травлям — канд. Ахманова и Левковская.) Чорт с ней, с защитой»⁵⁹.

К середине 1951 года ее отношения на кафедре обострились настолько, что она охотно перебралась бы в другое место⁶⁰, но кто же возьмет к себе столь сомнительную вдову еврейку в самый пик антисемитского угара в стране?

В Ульяновске, впрочем, у нее был свой — и немалый — круг общения: биологи Александр Александрович Любищев (а с ним его жена Ольга Петровна и сестра Любовь Александровна, у которой был арестован сын), Борис Михайлович Козо-Полянский и Роза Ефимовна Левина, историк Иосиф Давидович Амусин, парижанка репатриантка Нина Алексеевна Кривошеина, с которой Н.М. еще и в баню хаживала⁶¹, словесница Марта Моисеевна Бикель, уроженка румынского города Радауци близ Черновиц. Впрочем, были и влиятельные враги во главе с директором института Виктором Степановичем Старцевым, секретарем партбюро факультета иностранных языков Павлом Алексеевичем Тюфяковым и исполнявшим обязанности декана этого факультета Иваном Кузьмичом Глуховым⁶².

А с 1 сентября 1953 года по 13 августа 1955-го Н.М. уже в Чите, куда ее перевели из Ульяновска старшим преподавателем английского языка местного пединститута, располагавшегося на улице Чкалова. Вела она здесь и кружок по изучению готского языка. О городе и об институте Н.М. отзывалась чуть ли не с восторгом: так, в письме от 15 сентября 1953 года В.Ф. Шишмареву она пишет: «Мне не страшно, что это так далеко, — город удивительной красоты, а институт на десять голов выше Ульяновского. Кафедра наша тоже гораздо лучше. А главное, здесь мирно и миролюбиво»⁶³.

С 1 сентября 1955 года она снова на Волге, на этот раз в Чебоксарах, — старшим преподавателем, а затем даже исполняющим обязанности завкафедрой английского языка Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Альтернативой мог бы стать Воронеж, но приглашение оттуда запоздало — пришло уже после того, как Н.М. была зачислена в штат.

Город Н.М. поразил, но не так, как Чита: «...весь в оврагах, горах и глине. Грязь осенью страшная. Вдоль улиц в центре деревянные лестницы. — Тротуары. Дикая старина. Я еще по такому не ходила»⁶⁴. И в другом письме: «Здесь деревянные

тротуары и лестницы. Самый фантастический город-деревня на свете. Грязь доисторическая. Мою хозяйку и ровесницу дворник носил на руках в школу — пройти нельзя было. Сейчас кое-где есть мостовые, а горы из скользкой глины всюду. Таких оврагов я нигде не видела, а в детстве я хотела знать, что такое овраг. Чувашки очень серьезные, без улыбки, как армянки»⁶⁵.

Самое первое жилье — комната в доме по адресу Ворошилова 12, квартира Павловой — было просто ужасным: «С квартирами здесь полная катастрофа, а из-за этого я могу вернуться. Сняла я комнату у сумасшедшей старухи — Вассы. 200 р. Каждое слово слышно. Проход через нее, и 3 километра до института по мосткам — (это вместо тротуаров). Но старуха уже гонит меня (за папиросы). Форточки нет. Воды нет. Постирать нельзя. Вымыться за 5 верст»⁶⁶. Позднее жила по адресу: ул. Кооперативная, 10, кв. 13.

10 ноября 1955 года Н.М. пришлось возглавить кафедру английского языка — женский коллектив из 14 душ. В конце 1955 года Н.М. провела пять недель в Москве и до марта 1956-го занималась лишь диссертацией, которую благополучно защитила 26 июня того же года⁶⁷. Научный руководитель — В.М. Жирмунский — был прежний, но тема диссертации была новой: «Функции винительного падежа в англо-саксонских поэтических памятниках».

На Чебоксары пришелся и XX съезд партии со всеми его последствиями. За покойного мужа Н.М. получила 5000 рублей компенсации — пошли на раздачу долгов и на съем дачи для брата в Верее.

В 1956-м, по совету секретаря СП СССР А.А. Суркова, Н.М. добилась реабилитации О.М. (но, как оказалось, лишь частичной — по его последнему делу). Была создана Комиссия по литературному наследию О.М. и принято решение об издании тома его стихов в Большой серии «Библиотеки поэта».

Редактором этой книги, по предложению Н.М., стал Н.И. Харджиев, в связи с чем осенью 1956 года, вернувшись с дачи, Н.М. передала ему через брата и под расписку весь поэтический архив О.М. — папку с 28 листами прижизненной машинописи, 58 автографами и несколькими «альбомами».

Таруса — Псков — Таруса

16 октября 1958 года Н.М. уволилась из Чебоксарского пединститута и вышла на пенсию, несколько не дотянув до положенного двадцатилетнего трудового стажа. Но еще летом она срочно покинула свою 11-метровую комнату и выехала в Москву, где Союз писателей обещал выделить ей комнату в только что отстроенном писательском доме. «Людам из других городов — писала Н.М. директору Чебоксарского пединститута К.Е. Евлампьеву 15 июля 1958 года, — обычно ордеров не дают <...>. Но Союз Писателей мощная организация и, может, добьется своего <...>. Но очень возможно, что я вернусь, т.к. получение комнаты для иногородних в Москве это чудо, а чуда не частая вещь»⁶⁸.

Чуда не произошло, а в Чебоксарах уже начался семестр, и в результате получился «третий вариант». Н.М. осталась зимовать в советском «Барбизоне» — Тарусе. Ее первым тарусским домом стал дом Е.М. Гольшевой (1-я Садовая, 2), куда ее прописали как домработницу. Вторым — трехконный дом на горе по улице К. Либкнехта, 29. Хозяйка — тетя Поля, Пелагея Федоровна Степина — прописала ее уже как таковую. Три из четырех комнат были в распоряжении Н.М. — с расчетом на гостей. Жизнь для немолодой женщины была довольно спартанской — осенне-зимняя холодыга, дрова, печка, колодец, удобства на дворе.

Здесь, в Тарусе — уже летом 1958 года — она впервые засела за воспоминания. Здесь же, можно сказать, состоялся и ее литературный дебют. В 1961 году Н.М. приняла участие в нашумевшем альманахе «Тарусские страницы», где, под псевдонимом Н. Яковлева, были напечатаны ее очерки⁶⁹.

Осенью 1959 года — подозрения на рак поджелудочной железы, к счастью, не подтвердившиеся. Но отсюда и тогда — снова мысли о завещании и о наследниках: наследником должен был стать коллектив, в котором она первоначально видела Н.И. Харджиева, Л.Я. Гинзбург и Б.Я. Бухштаба⁷⁰.

Пенсия по возрасту, которая полагалась Н.М., была настолько малой, что со временем Н.М. решилась поработать еще и снова стала подыскивать себе очередной провинциальный вуз. Особо долго искать не пришлось — все разрешилось

само собой летом 1962-го прямо в Тарусе. Тем летом в Тарусе отдыхала Л. Я. Гинзбург. Здесь же, у своей сестры Лии Менделевны, отдыхала Софья Менделевна Глускина, преподавательница Псковского государственного пединститута им. С. М. Кирова и жена философа Иосифа Давидовича Амусина, которого Н. М. хорошо знала еще по Ульяновску. Вернувшись в Псков и переговорив с Иваном Васильевичем Ковалевым, ректором института, она отбила Н. М. телеграмму с приглашением от его имени в Псков⁷¹.

Итак, еще два года — с сентября 1962 по 9 августа 1964 года — Н. М. в Пскове. «Почему Псков?» — спросила ее Ахматова уже в 1966-м. «А “фер-то ке”?» («А что же делать?»), — отшутилась Н. М. И добавила: «Псков выручает»⁷².

К Пскову она быстро привыкла, город ей, как и Чита, понравился. Еще 16 сентября она называла его «чужим и красивым городом»⁷³, а уже 27 сентября отчуждение испарилось: «Псков производит чудное впечатление вместе со стариной и новыми домами. Масса зелени. На 1½ месяца отдельная однокомнатная квартира. Но что будет дальше?»⁷⁴ В октябре Н. М. подняла его рейтинг: «Псков — город — прекрасен. Институт хороший»⁷⁵.

В Пскове она сменила несколько адресов. Сначала и недолго — прекрасная комната в старинном доме на Октябрьском проспекте, рядом с Главпочтой и очень близко от института⁷⁶. Одно время она жила и у Майминых. А потом начались псковские «дикие наемные комнаты»⁷⁷. В одну из них — «каморку с печуркой» — к ней приходила Л. И. Вольперт: Н. М. покорила ее интересом к шахматам⁷⁸.

Навещали ее друзья из Москвы, как, например, Кома Иванов — приехавший к ней специально на 25-летие со дня смерти О. М. (с ним были еще Симон Маркиш и Виктор Хинкис, будущий переводчик «Улисса»).

В первую же псковскую зиму — в феврале 1963-го — ее провели И. Бродский с М. Басмановой и А. Найман с И. Коробовой, приехавшие полюбоваться старинной псковской архитектурой и передать ей книжки и привет от Ахматовой. А. Найман позднее вспоминал: «Она снимала комнатку в коммунальной квартире у хозяйки по фамилии Нецветаева, что прозвучало в той ситуации не так забавно, как зловеще.

Она была усталая, полубольная, лежала на кровати поверх одеяла и курила. Пауз было больше, чем слов, явственно ощущалось, что усталость, недомогание, лежание на застеленной кровати, лампочка без абажура — не сиюминутность, а такая жизнь, десятилетие за десятилетием, безысходная, по чужим углам, по чужим городам. Когда через несколько лет она наконец переехала в Москву, это был другой человек: суетливая, что-то ненужное доказывающая, что-то недостоверное сообщающая, совершенно непохожая на ту до конца дней явно или прикровенно ссыльную, которой нечего терять, и недопустимо и унижительно — прельщаться мелочами беззаботной жизни вольняшек»⁷⁹.

Среди коллег по институту, помимо Глускиной, — заведующий кафедрой русской литературы профессор Евгений Александрович Маймин с женой (Татьяной Фисенко, работавшей у него же на кафедре), другие молодые преподавательницы Лариса Ильинична Вольперт и Лариса Яковлевна Костючук⁸⁰, преподавательница философии Металлина Георгиевна Дюкова⁸¹, заведующая библиотекой Лариса Михайловна Курбатова. Вне института — отец Сергей Желудков и его семья.

Студенты были, конечно, разные, и не все могли оценить то качество знаний, что им предлагала Н.М. Некоторых из своих гостей она даже «предъявляла» студентам, например Фриду Вигдорову, журналистку и депутата Моссовета.

От предложенного ей деканом факультета иностранных языков (Петр Иванович Иванов) соучастия в травле художников, подвергнутых разгрому на выставке в Манеже 1962 года, Н.М. категорически отказалась. Вместо этого она, чем могла, поддерживала провинциального художника-изгоя Алексея Аникеевца, прозванного казанским Ван Гогом. Урывками, но продолжала писать и «Воспоминания».

За два года Н.М. уже пресытилась Псковом, — и весной 1964 года она с трудом доживала последние месяцы и недели. На третий год она уже ни за что не осталась бы — независимо от того, получила бы она в Москве прописку или нет. Она рвалась на волю, «к себе» — в Тарусу или в Москву, к своей работе, к своим друзьям, к своему брату с невесткой.

Но и переехав в Москву, Н. М. еще несколько лет ежегодно навещалась в Псков, останавливаясь у отца Сергея Желудкова.

Москва. Прописка. Вечер. Квартира

В 1957 году она обратилась в Моссовет с просьбой предоставить ей жилье, в чем ей было сухо отказано — «в связи с недостатком жилой площади»⁸². «Непрописуемая Надежда» — шутили друзья.

Возвращение из Пскова в Москву в 1964 году ознаменовалось страшным везением. Еще летом 1964-го Василиса Георгиевна Шкловская-Корди прописала Н. М. у себя в Лаврушинском переулке в Москве — на правах дальней родственницы⁸³. 22 июля Н. М. писала С. М. Глускиной: «Прописка в Москве действует неотразимо на мою психику — я поверила в лучшее будущее»⁸⁴. На этой волне Н. М. даже написала еще одну диссертацию — докторскую, но тут до защиты дело уже не дошло.

19 мая 1965 года на механико-математическом факультете МГУ состоялся первый на родине поэта вечер О. М., который вел И. Эренбург. Собравшаяся публика приветствовала Н. М. аплодисментами.

А уже поздней осенью 1965 года она переехала в собственную однокомнатную кооперативную квартирку (адрес: Большая Черемушкинская ул., 50, корп. 1, кв. 4), приобретенную на средства, одолженные К. М. Симоновым (вступить в кооператив помог К. В. Хенкин по просьбе Н. И. Столяровой). Свой первый Новый год в собственном жилье Н. М. встречала в обществе Варлама Шаламова, Виктора и Юлии Живых, Димы Борисова⁸⁵. То был самый разгар дружбы с Шаламовым, дома у которого, как вспоминала И. П. Сиротинская, висели два портрета — О. М. и Н. М.

Эта дружба, ярко вспыхнувшая после вечера в МГУ, к 1968 году полностью прогорела. Писем Н. М. позднее июля 1968 года в архиве Шаламова нет, да, собственно, их и не было. Неизбывная потребность видаться или переписываться с Н. М. иссякла, к этому времени они уже крепко раздружились —

и по его, если верить И.П. Сиротинской, инициативе⁸⁶. «За что Шаламов отлучил меня от ложа и стола?» — шутиливо сетовала Н.М.

Впрочем, она знала за что: слишком по-разному они относились к Солженицыну, к славе которого Шаламов, по ее мнению, «ревновал», считая ее незаслуженной⁸⁷.

Летние месяцы Н.М. по-прежнему проводила в Подмосковье: с 1966 года — снова в Верее, у брата, а начиная с 1970-х годов — в Переделкине, Кратове или Салтыковке.

Выход на Западе в 1970 и 1972 годах двух томов ее воспоминаний по-русски («тамиздат») и их скорая инфильтрация в советское читательское поле («самиздат») очень многое изменили в жизни Н.М. К ней пришли почти одновременно слава, деньги и новые страхи.

Ее однокомнатная квартирка на Большой Черемушкинской стала местом паломничества для тех, кто прочел ее книги и искал возможности поблагодарить автора за смелость и талант. Едва ли не каждый день был отмечен новыми гостями — как иностранными, так и московскими, причем среди московских тон задавали отнюдь не писатели и литературоведы, а скорее техническая интеллигенция, так называемые «физики». Чужеземцы — вот среди них преобладали все же филологи, а меньшинство составляли корреспонденты западных газет — часто служили ей курьерами: они привозили новые экземпляры томов мандельштамовского собрания сочинений и ее собственных книг, а иногда и «подарки от друзей» — небольшие или крупные суммы денег или бонусы (чеки для магазина «Березка»).

Понятно, что все это не могло не вызывать интерес и у органов — отсюда и новые страхи Н.М. Но отныне она боялась уже не за стихи О.М.: худо-бедно она их сберегла и отныне гарантом их сохранности выступали «тамиздат» с «самиздатом». И не за себя лично: сажать такую старуху, как она, власти было себе дороже. Она боялась за уцелевшие мужнины рукописи и другие листочки, составлявшие мандельштамовский архив. Мысль о том, что за архивом могут прийти и конфисковать, преследовала и мучила Н.М. Причем настолько, что она пошла на конфликт с некоторыми очень близкими друзьями (например, с Ириной Семенко), но твердо решила

отправить архив в безопасное место. Что и произошло: уже в 1972 году два чемоданчика перекочевали в Париж, а еще через два года — в Принстон.

Отрешившись, вместе с архивом, от главного источника своего беспокойства и оказавшись вдруг довольно состоятельной женщиной, Н.М. наслаждалась дружеским общением и радостями филантропа. Как же часто и как долго Мандельштаму и ей, его «нищенке-подруге», приходилось существовать практически на подаяния родственников и друзей! И вот теперь ей овладевает стремление поделиться, отдать и вернуть, она может и хочет помогать нуждающимся и отблагодарить тех, кто помогал им с О.М. в трудные годы ссылки.

Персонализировалось это, в первую очередь, в двух адресатах — в брате Евгении с его женой и в Василисе Шкловской и ее детях. К концу 1970-х гг. это переросло во всеохватную щедрость. Добывать дефицитные лекарства для брата, покупать хорошие вещи в «Березке» и дарить, одаривать, за даривать ими знакомых, а иногда и незнакомых людей стало источником специфической радости Н.М.

В 1970-е годы, на склоне лет, будучи крещеной с детства, Н.М. переживает опыт обновленного воцерковления. Она искренне уповала на Церковь как на вероятную спасительницу России. Решающей тут, по-видимому, стала ее встреча и дружба с православным богословом отцом Александром Менем, который, в свою очередь, тоже оценил и полюбил ее, стал ее духовником. Н.М. не влилась, но примкнула к его общине, часто ездила к нему в Семхоз и гостила у него. Окружавшая отца А. Меня молодежь очень ценила не только книги «Надежды Яковлевны», но и саму «бабу Надю», а та, в свою очередь, находила понимание и любовь у этой молодежи (у «внуков», а не у «детей», как подчеркивала Н.М.).

Видя, насколько слабеет и все беспомощнее становится Н.М., отец А. Мень стал присылать к ней для ухода — и как бы на «послушание» — молодых представительниц своей общины: Т. Птушкину и Т. Дроздову, те привлекли к этому своих подруг и так далее. Даже при весьма ограниченных потребностях Н.М. все же было нужно, чтобы каждый день кто-то приходил, что-то приносил, прибирал, готовил, открывал дверь гостям — к Н.М. не принято было ходить, не согласовав

визит заранее по телефону: внезапный звонок в дверь мог ее серьезно растрогать.

Девушки приходили по очереди и самоотверженно ухаживали за Н.М., развлекали ее, выводили на прогулку, вывозили на дачу, вели несложное хозяйство, обихаживали гостей... Их группа была небольшой, но дружной и сплоченной. Им и самим это было интересно и даже, по-своему, престижно. Разумеется, Н.М. со всею щедростью последних лет одаривала их, но это не была «плата за труд», а именно открывшаяся в ней страсть к щедрости.

Свое последнее лето, лето 1980 года, Н.М. провела в Переделкино — на свежем воздухе, в покое и довольстве, рядом со знаменитой пастернаковской «дачей» — в комнатке в скромной «сторожке», где по традиции летом жили Е.Б. и Е.В. Пастернаки с семьей. Осенью Н.М. тяжело заболела, и во время этой последней болезни, когда за Н.М. требовалось гораздо больше ухода, чем прежде, образовалось несколько большее и совершенно уникальное содружество «волонтеров» из числа как послушниц отца А. Меня, так и давних подруг Н.М. Приходили, конечно, и врачи.

Как заметил Ю. Фрейдин: «Среди этих нескольких десятков человек, сменявших друг друга в режиме непрерывного круглосуточного дежурства, не оказалось ни одного ненадежного звена. В целом складывалось впечатление какой-то “исторической справедливости”, быть может — иллюзорной, но, безусловно, связанной с личностью, судьбой и книгами Н.М.: будто то, чего не додали О.М. современники, их потомки старались дать его совершенно одинокой, нарушившей все правила и каноны вдове... Не зря Гладков сказал о ней — Великая Вдова»⁸⁸.

...Надежда Яковлевна Мандельштам умерла 29 декабря 1980 года, а 30 декабря ее тело было насильственно вывезено из квартиры, где собрались друзья почтить ее память, и под милицейским конвоем отправлено в морг. Похороны Н.М. вылились в демонстрацию оппозиционной интеллигенции.

Над ее могилой на Кунцевском кладбище установлен деревянный крест, а рядом гранитный кенотаф — памятный знак Осипу Мандельштаму (скульптор Д.М. Шаховской).

II

СОХРАНЕННОЕ

«Воспоминания»

1

«Дав пощечину Алексею Толстому, О.М. немедленно вернулся в Москву...» — этот зачин к «Воспоминаниям» Надежды Яковлевны Мандельштам вошел в число самых известных в русской прозе XX века, узнаваемых с первого взгляда. Ее мемуарные книги относятся к числу самых известных русских мемуаров XX века.

Впервые она села за воспоминания об О.М. летом 1958 года в Тарусе, вскоре после того, как прекратила преподавать в Чебоксарах и вышла на пенсию. Несколько раз, казалось, она ставила последнюю точку, но нет — снова и снова возвращалась к рукописи.

2

Работа над кандидатской диссертацией потребовала у Н.М. немало сил и лет, но определенно дала ей навык систематической работы над темой. За три с лишним года, что Н.М. провела в Тарусе, она если и не завершила «Воспоминания», то написала бóльшую их часть; отдельные главы она давала читать самым верным и проверенным знакомым.

Еще несколько небольших заметок Н.М. были опубликованы во второй половине 1960-х годов в качестве предисловий к некоторым первым публикациям О.М. в советской периодике.

Самой ранней «внутренней рецензией» на «Воспоминания», оказался 35-страничный отзыв Александра Александровича Любищева, знакомого с отдельными главами — «Капитуляция», «Труд», «Майская ночь» и «Дата смерти». Читал он их в июне–июле 1961 года, благо и сам отдыхал тем летом в Тарусе. Но были ли эти четыре главы промежуточным итогом написанного к этому времени или фрагментом чего-то большего?..

М.К. Поливанов датирует завершение работы над первой книгой мемуаров Н.М. началом 1962 года⁸⁹, но он, вероятно, зафиксировал лишь один из моментов промежуточного завершения, поскольку работа продолжалась и в 1962–1964 годах — в Пскове во время учебных семестров и особенно в Тарусе во время летних каникул.

Пожалуй, детальней и достоверней всего заключительная фаза работы Н.М. над «Воспоминаниями» запротоколирована в дневнике драматурга Александра Константиновича Гладкова, с которым Н.М. познакомилась в январе 1960-го в Тарусе и долгое время поддерживала самые дружеские и доверительные отношения, много рассказывала ему о Мандельштаме и о себе. Она не только давала ему читать свои воспоминания в рукописи, но и выслушивала, не морщась, его замечания.

Впервые Гладков читал еще незаконченную рукопись в конце августа 1961 года. Он записал в дневнике за 27 августа: «Прочел рукопись Н.М. Это очень интересно, хотя с ее историческими “теориями” я и не согласен. Она еще не закончила ее...»⁹⁰ А 4 февраля 1962 года он отмечает в дневнике: «Н.М. начала писать едва ли не самую важную главу в своей работе»⁹¹.

Согласно дневнику Гладкова, Н.М. еще как минимум дважды «кончала» свои «Воспоминания» — осенью 1963 и осенью 1964-го⁹². Запись от 1 мая 1963 года: «Н.М. дает мне читать еще 120 стр. своей рукописи, уже доведенной до лета 1937 года, с отступлениями разного рода (например, “Мандельштам и книги” и пр.). Хорошо и точно»⁹³.

Это явное свидетельство того, что работа над воспоминаниями — в самом разгаре: и началась много раньше, и от завершения далека.

29 сентября 1963 года Гладков записывает в дневник: «Заходил прощаться к Над. Як. Она уезжает опять в Псков, на этот раз с великой неохотой и плохими предчувствиями. Она закончила свою “книгу”, осталось кое-что отделать — это замечательный памятник поэту и страстное свидетельство о времени. Есть и преувеличения, и односторонность, но как им не быть с такой каторжной жизнью. На редкость умная старуха. Мало таких встречал»⁹⁴.

Книга, однако, все еще не была завершена, работа над ней продолжалась еще около года. Известно, что в начале сентября 1964 года Н.М. давала ее читать Ариадне Эфрон: «...на днях Мандельштамша, под страшным секретом, дала мне читать свои воспоминания. Сплошной мрак, все — под знаком смерти; а когда так пишут, то и жизнь не встает. Как бы ни была глубоко трагична жизнь О«сипа» Э«милевича», но ведь она была жизнью — до последнего вдоха. В ее же воспоминаниях (Над«ежды» Як«овлевны»), в ее трактовке основное — обстоятельства пути человека, а не сам этот путь, как бы он ни был сродни Голгофе. А ведь в жизни истинного поэта “обстоятельств” нет, есть Рок, под них поддельвающийся. Воспоминания же — обстоятельно-обстоятельны, и от этого — мутит. Впрочем, написано неплохо, она умна и владеет пером, но... “чему это учит?”»⁹⁵.

А 31 октября 1964 года Гладков записал: «Н.М.» кончила книгу и кладет ее “в бест”⁹⁶. Я уговаривал ее сдать экземпляр в ЦГАЛИ. Она плохо выглядит, лежала дома час с грелкой, но весела. Сегодня ей 65 лет»⁹⁷.

Вот тут-то, судя по всему, и следует поставить датирующую точку.

Ю. Фрейдин относит завершение этой работы к концу 1965 или даже к 1966 года. Конечно, авторское совершенствование и доводка текста не останавливаются, как правило, никогда. Но Фрейдин имеет в виду другое: в его машинописи «Воспоминаний» книга завершается отсутствующей в западных изданиях главкой «Мое завещание». Это эссе было написано в декабре 1966-го — т.е. в самый разгар работы над следующей книгой — об Ахматовой. В то же время ни на одном книжном экземпляре «Воспоминаний», вышедших в «тамиздате» (без этого эссе), Н.М. ни разу не попыталась восстановить или обозначить указываемую Фрейдиным композицию⁹⁸. Думается, что тут мы имеем дело именно с композиционным ходом Н.М., мысленно включившей «Мое завещание» в некие будущие издания в качестве своего рода приложения или постскриптума.

Н.М. давала читать свою книгу только близким друзьям и лишь с большими предосторожностями, и, конечно же,

естественно было бы ожидать, что одним из первых ее читателей была Ахматова. Однако фраза из «Листков из дневника» — «Не моя очередь вспоминать об этом. Если Надя хочет, пусть вспоминает»⁹⁹ — документирует лишь то, что Анна Андреевна определенно знала о том, что Н.М. пишет воспоминания.

Но как ни странно, в число их читателей Ахматова вообще не входила. Нет ни дного свидетельства о том, что Анна Андреевна книгу читала, как и о том, что Н.М. давала ее почитать. Сообщение Ю. Фрейдина о том, что в конце 1965 года Ахматова, с начала ноября лежавшая в больнице, «успела получить один из немногих машинописных экземпляров»¹⁰⁰, не более чем предположение. А предположение, что не разысканная надпись Ахматовой на «Бере времени» — «Другу Наде, чтобы она еще раз вспомнила, что с нами было» — не что иное, как напутствие и чуть ли не призыв Анны Андреевны к Н.М. написать новую книгу воспоминаний, не более чем догадка. Более вероятной догадкой является и то предположение, что некий отзыв Ахматовой о «Воспоминаниях», заглавный и неодобрительный, дошел до Н.М.¹⁰¹ Таким отзывом могла быть, например, и фраза, брошенная Ахматовой Анатолию Найману, своему фактическому литературному секретарю: «Что Надя думает: что она будет писать такие книги, а они ей давать квартиры?»¹⁰²

В то же время есть прямые свидетельства об обратном. Ане Каминской, прочитавшей «Воспоминания» в самиздате и сказавшей: «Акума, там есть много о тебе», — Ахматова недоуменно заметила: «Казалось бы, надо было Наде показать мне, прежде чем распространять свою книгу»¹⁰³. А. Найману она так сказала о рукописи Н.М.: «Я ее не читала. <...> Она, к счастью, не предлагала — я не просила»¹⁰⁴.

В ахматовских репликах явно сквозит отчетливое стремление уклониться от чтения воспоминаний Н.М. Тут можно, конечно, припомнить общую для обеих — и Ахматовой, и Н.М. — «аллергию» на мемуары типа «жоржиковых» (Г. Иванова), но главное все же в другом — в желании Ахматовой избежать неизбежного в таком случае выяснения и ревизии отношений с Н.М.

Примерно такими же соображениями руководствовалась и Н.М., не показывая ей свою первую книгу или ее

фрагмент. Чисто физических возможностей сделать это было предостаточно — они виделись по нескольку раз в год, в Москве или Ленинграде¹⁰⁵, и отношения, как показывает их переписка, были в 1960-е годы вполне безоблачными¹⁰⁶.

Однако «новая» Н.М., с написанием мемуаров окончательно порвавшая с тою прежней, почти бессловесной — вблизи и в тени О.М. и Ахматовой — «Наденькой», прекрасно понимала, чем это им обоим грозит. Крахом, полным разрывом отношений — причем почти независимо от того, что именно Н.М. о ней написала! Идти на этот риск Н.М. решительно не хотела, но и не писать она уже тоже не могла.

Никого, кроме Ахматовой, такие меры предосторожности, конечно, уже не касались, и у «Воспоминаний» Н.М. вскоре появились первые желанные и благодарные читатели. Ими стали люди из того круга, которому Н.М. определенно доверяла, и это еще далеко не самиздат, как некоторые вспоминают¹⁰⁷. Так, в 1964 году «Воспоминания» прочел высоко чтимый Н.М. художник — Владимир Вейсберг. Он называл их «великой книгой»¹⁰⁸.

Весной 1965-го рукопись Н.М. прочитал Лев Левицкий, новомировец и друг Гладкова. 15 апреля он записал в дневнике:

«Только что прочитал замечательную рукопись о Мандельштаме Надежды Яковлевны, с которой знаком еще с таврусских времен. Горя хлебнуть Осипу Эмильевичу пришлось больше, чем кому-либо другому. Была в нем особая незащищенность, обрекавшая его на нескончаемые муки. Пастернак тоже не был защищен, но его спасал темперамент. К тому же внутренний конфликт Пастернака с государством развернулся сравнительно поздно, когда у него уже было имя, известное во всем мире. Да и от политики он стоял дальше. В конце концов чаша не миновала и его. История с “Живаго”. Но время уже было другим. Самые ужасные кошмары стали достоянием прошлого и даже были осуждены на государственном уровне. Жизнь Мандельштама в двадцатые годы — это непрерывные унижения, нищета, отверженность. Невозможность печататься. Тридцатые годы он встретил с изрядным запасом злости и ненависти. Достаточно было малейшего повода, чтобы эти чувства вышли наружу. Они воплотились в стихотворении

о Сталине. Оно имеет мало что общего с поэтикой Мандельштама — с ее сложными ассоциативными ходами, неожиданной метафоричностью, богатым подтекстом. Это стихотворение напрямую связано с обстоятельствами, в какие был поставлен Осип Эмильевич, несмотря на всю свою рафинированность ощущавший кровное родство с людьми от сохи. В его строках их голоса и его голос сливаются воедино. Рукопись Надежды Яковлевны замечательна. В ней образ поэта. В ней передано время. Она написана страстно, умно, темпераментно. Человеком, умеющим ценить каждое проявление добра и поднимающимся до испепеляющей ненависти. Той самой ненависти, которой нет у большинства наших интеллигентов, приучивших себя безропотно сносить все удары судьбы и потихоньку клясть свою несчастную долю. Возвращая Н.М. рукопись, я сказал ей, что не припомню по части воспоминательного равное тому, что она написала. Тут мы с А.К. обнаружили полное единодушие. Несмотря на то что он и Н.М. не совпадают в оценке двадцатых годов»¹⁰⁹.

А в июне 1965 года с рукописью ознакомился такой дорогой для автора читатель, как Варлам Шаламов. О своих впечатлениях он написал подробно и дважды — 29 июня самой Н.М., а незадолго до этого — Н.И. Столяровой: «В историю русской интеллигенции, русской литературы, русской общественной жизни входит новый большой человек. Суть оказалась не в том, что это вдова Мандельштама, свято хранившая, доносившая к нам заветы поэта, его затаенные думы, рассказавшая нам горькую правду о его страшной судьбе. Нет, главное не в этом и даже совсем не в этом, хотя и эти задачи выполнены, конечно. В историю нашей *общественности* входит не подруга Мандельштама, а строгий судья времени, женщина, совершившая и совершающая нравственный подвиг необычайной трудности. <...>

В литературу русскую рукопись Надежды Яковлевны вступает как оригинальное, свежее произведение. Расположение глав необычайно удачное. Хронологическая канва, переплетенная то с историко-философскими экскурсами, то с бытовыми картинками, то с пронзительными, отчетливыми и верными портретами, — в которых нет ни тени личной обиды. Вся рукопись, вся концепция рукописи выше личных обид и, стало

быть, значительней, важнее. Полемические выпады сменяются характеристиками времени, а целый ряд глав по психологии творчества представляет исключительный интерес по своей оригинальности, где пойманы, наблюдаены, оценены тончайшие оттенки работы над стихом. Высшее чудо на свете — чудо рождения стихотворения — прослежено здесь удивительным образом. <...>

Вернемся к рукописи. Что главное здесь, по моему мнению? Это — судьба русской интеллигенции. <...> Рукопись эта — славословие религии, единственной религии, которую исповедует автор, — религии поэзии, религии искусства. <...>

Огромную роль в жизни и душевной крепости автора сыграла Анна Андреевна Ахматова, но и роль Надежды Яковлевны в жизни Ахматовой, конечно, очень велика, да еще в самом мужественном, в самом достойном плане. <...> Поздравьте от меня, Наталья Ивановна, Надежду Яковлевну. Ею создан документ, достойный русского интеллигента, своей внутренней честностью превосходящий все, что я знаю на русском языке. Польза его огромна»¹¹⁰.

В письме к Н.М. он подхватил ее тезис об особой роли акмеизма в русской поэзии и культуре и зачислил в число акмеистов ее саму:

«Дорогая Надежда Яковлевна, в ту самую ночь, когда я кончил читать вашу рукопись, я написал о ней большое письмо Наталье Ивановне, вызванное всегдашней моей потребностью немедленной и притом письменной “отдачи”. Сейчас я кое в чем повторяюсь. <...> Рукопись эта, как, впрочем, и вся ваша жизнь, Надежда Яковлевна, ваша жизнь и жизнь Анны Андреевны, — любопытнейшее явление истории русской поэзии. Это — акмеизм в его принципах, доживший до наших дней, справивший свой полувековой юбилей. Доктрина, принципы акмеизма были такими верными и сильными, в них было угадано что-то такое важное для поэзии, что они дали силу на жизнь и на смерть, на героическую жизнь и на трагическую смерть. Список начинателей движения напоминает мартиролог. Осип Эмильевич умер на Колыме, Нарбут умер на Колыме, судьба Гумилева известна всем, известно всем и материнское горе Ахматовой. Рукопись эта закрепляет, выводит на свет, оставляет навечно рассказ о трагических судьбах

акмеизма в его персонификации. Акмеизм родился, пришел в жизнь в борьбе с символизмом, с загробщиной, с мистикой — за живую жизнь и земной мир. Это обстоятельство, по моему глубокому убеждению, сыграло важнейшую роль в том, что стихи Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, Нарбута остались живыми стихами в русской поэзии. Люди, которые писали эти стихи, оставались вполне земными в каждом своем движении, в каждом своем чувстве, несмотря на самые грозные, смертные испытания. Я думаю, что судьба акмеизма есть тема особенная, важная для любого исследователя — для прозаика, для мемуариста, для историка и литературоведа. Большие поэты всегда ищут и находят нравственную опору в своих собственных стихах, в своей поэтической практике. Нравственная опора искалась и вами, и Анной Андреевной, и Осипом Эмилевичем в течение стольких лет — на земле? Эти вопросы у нас достойны большего акцентирования. Это ведь один из главных вопросов общественной морали, личного поведения. Тут не только исконная русская черта — желание пожаловаться, а и желание просить разрешения у высшего начальства по всякому поводу. Это и тот конформизм, именуемый “моральным единством” или “высшей дисциплинированностью общества”. Это и желание написать донос раньше, чем написан на тебя; это и стремление каждого быть каким-то начальником, ощутить себя человеком, причастным государственной силе. Это и желание распоряжаться чужой волей, чужой жизнью. И главное всего — трусость, трусость, трусость. Говорят, что на свете хороших людей больше, чем плохих. Возможно. Но на свете 99 процентов трусов, а каждый трус после порции угроз — превращается вовсе не в просто труса. Рукопись отвечает на вопрос — какой самый большой грех? Это — ненависть к интеллигенции, ненависть к превосходству интеллигента. <...> Но велика и сила сопротивления — и эта сила сопротивления, душевная и духовная, чувствуется на каждой странице. У автора рукописи есть религия — это поэзия, искусство. Застрочно, подтекстно; религия без всякой мистики, вполне земная, своими эстетическими канонами наметившая этические границы, моральные рубежи. Все большие русские поэты, для которых стихи были их судьбой — Ахматова, Мандельштам, Цветаева,

Пастернак, Анненский, Кузмин, Ходасевич, — писали классическими размерами. И у каждого интонация неповторима, чиста — возможности русского классического стиха безграничны»¹¹¹.

Надо сказать, что сделанные Шаламовым различные заметки к «Воспоминаниям» Н.М. и еще к некоторым произведениям О.М. едва уместились на 76 страницах — восьми школьных тетрадях со сквозной пагинацией¹¹². Интересно, что Шаламов пытался придумать и предложить Н.М. варианты названий для ее книги: «Мандельштам распятый», «Акмеизм в аду», «Черная свеча», «Голгофа акмеизма» и т.д. В красную рамку он обвел — «Черная свеча», это, надо полагать, и есть его рекомендация¹¹³.

Но уже тогда, т.е. в первом, самом узком, читательском кругу, складывались и другие мнения о мемуарах Н.М. Иначе как неприятием книги нельзя назвать позицию не только А.С. Эфрон, но и И.Г. Эренбурга и его жены. Мы не знаем, что он говорил о рукописи самой Н.М., но Гладкову он «сказал, что она ему не нравится. Потом выяснилось, что все о Мандельштаме ему нравится, но не нравится то, что Н.Я. слишком резка в отзывах о людях: без серьезных оснований называет людей стукачами (Длигач, поэт Бродский, какая-то Павлоцкая, которую Любовь Михайловна знала, и др.) Доля истины здесь есть. И.Г. и Л.М. о мании преследования, которая издавна свойственна Н.Я.»¹¹⁴

Кстати, в начале 1968 года, покуда «Воспоминания» еще не вышли на Западе, Н.М. предприняла дерзкую попытку предложить их — возможно, через Левицкого — «Новому миру»! Вот что ответил ей А.Т. Твардовский 9 февраля 1968 года на официальном бланке журнала:

«Глубокоуважаемая Надежда Яковлевна! Большое Вам спасибо за предоставленную мне возможность прочесть Вашу рукопись.

Не собираюсь писать на нее “внутреннюю рецензию”, вряд ли и Вы в этом нуждаетесь, — скажу только, что прочел я ее “одним дыхом”, да иначе ее и читать нельзя — она так и написана, точно изустно рассказана в одну ночь доброму другу, перед которым нечего таиться или чем-нибудь казаться. Словом, книга Ваша счастливым образом совершенно свободна

от каких-либо беллетристических претензий, как это часто бывает в подобных случаях. А между тем написана она на редкость сильно, талантливо и с собственно литературной стороны — с той особой мерой необходимости изложения, когда при таком объеме ее ничто не кажется лишним. Даже своеобразные повторения, возвращения вспять, забегания вперед, отступления или отвлечения в сторону, вбок — все представляется естественным и оправданным.

Трагическая судьба подлинного поэта, при жизни до крайности обуженной, внутрилитературной известности, вдрут захваченного погибельной “водовертью” сложных и трагических лет, под Вашим пером приобретает куда более общезначимое содержание, чем просто история тех испытаний, какие выпали на Вашу с Осипом Эмильевичем долю.

Мне хочется сказать Вам, что книга эта явилась как выполнение Вами глубоко и благородно понятого своего долга, и сознание этого не могло не принести Вам достойного удовлетворения, как бы ни трудно было Вам вновь и вновь переживать пережитое. <...>

Я ни на минуту не сомневаюсь, что книга Ваша должна увидеть и увидит свет, — потому и называю рукопись книгой, — только относительно сроков этого, к сожалению, я не могу быть столь же определенным»¹¹⁵.

Твардовский и не подозревал, сколь недалеко уже эти «сроки». Сам он, правда, имел в виду книгоиздание в Советском Союзе, где выход книги Н.М. и в самом деле был решительно невозможен. Ведь даже публикации стихов О.М. в советской периодике можно было по пальцам пересчитать! Как и первые публикации Н.М. — преамбулы к таким публикациям.

А вот на Западе бикфордов шнур издания «искрился» уже вовсю. В начале 1966-го, на православное Рождество, ее увез Кларенс Браун: с этим американским славистом, профессором компаративистики Принстонского университета, оказалась вплотную связана судьба обеих мемуарных книг Н.М. — «Воспоминаний» и «Второй книги» — на Западе, а позднее и самого мандельштамовского архива.

Поначалу Браун, правда, не слишком торопился и даже давал их в качестве упражнений на перевод своим же

студентам. Но в 1970-м, почти одновременно, в нью-йоркском издательстве им. Чехова и в лондонском издательстве «Athenium» вышли массовые издания — русское¹¹⁶ и английское¹¹⁷. Критики были единодушны в том, что «Воспоминания» — это потрясающее свидетельство силы человеческого духа в борьбе за свободу.

Английское издание вышло под рыночным названием, обыгрывавшим то состояние, в котором Н.М. тогда пребывала: «Hope against hope», или что-то вроде «Надежде вопреки». Переводчиком выступил Макс Хэйворд, до этого завоевавший себе громкое имя переводами романов Пастернака и Солженицына¹¹⁸.

За ним и за рецензиями в лучших журналах и таблоидах последовали переиздание в издательстве «Collins Harvill Press»¹¹⁹ и вал переводов едва ли не на все европейские языки. Образовалась неожиданная инверсия: известность и слава мемуаров Н.М. быстро превзошла известность стихов О.М., переведившихся во второй половине 1960-х годов (благодаря успеху американского издания О.М. по-русски), но не столь интенсивно, как книга Н.М.¹²⁰

Впрочем, и русское издание «Воспоминаний» выдержало впоследствии еще три переиздания¹²¹.

«Об Ахматовой»

Смерть Ахматовой 5 марта 1966 года потрясла всех сколько-нибудь причастных к поэзии, равно писателей и читателей. Сходное ощущение уже возникало в этом столетии — после смерти Блока, после смерти Маяковского и после смерти Пастернака¹²².

С уходом Ахматовой «трон», по выражению Семена Липкина, опустел: не стало последнего поэта из тех, кто определял облик Серебряного века русской поэзии. Отсюда и та внутренняя потребность записать впечатления от общения с Ахматовой, воспроизвести беседы, зафиксировать, пока не растворились бесследно в памяти, ее высказывания о литературе, о современниках, о себе самой, наконец. Эта тяга овладела десятками, если не сотнями людей, вблизи или

издали, многие годы или всего по нескольким встречам знавших Ахматову.

Лучше всего это выразил Корней Чуковский в телеграмме, отправленной в Ленинградское отделение Союза писателей СССР: «Поразительно не то что она умерла после всех испытаний а то что она упрямо жила среди нас величавая гордая светлая и уже при жизни бессмертная тчк необходимо теперь же начать собирать монументальную книгу о ее вдохновенной и поучительной жизни = Корней Чуковский»¹²³.

Нечто подобное, несомненно, ощущала и Н.М.

Лев Озеров рассказал мне однажды, что на импровизированном митинге перед моргом клиники им. Склифосовского Н.М. вдруг сказала ему: «Все это нужно запомнить и описать!»

Не прошло и года-полутора с того момента, когда Н.М. закончила свои «Воспоминания» — книгу об Осипе Мандельштаме, как смерть Анны Андреевны снова толкнула ее — и весьма властно — к тому же жанру: «Я все думаю об Анне Андреевне, — писала она Д.Е. Максимову в последней декаде марта. — Она мне говорила, что я последнее, что у нее осталось от Оси, и она тоже последнее, что у меня осталось от него. Мы вдвоем всегда были с ним. Анна Андреевна» это моя жизнь в течение сорока лет. «...» Вероятно, я о ней напишу...»¹²⁴

Итак, весной 1966 года Н.М. начала новую книгу воспоминаний, в центре которой находилась Ахматова.

По первому впечатлению книга была написана сразу же после смерти и похорон Ахматовой и чуть ли не на одном дыхании. Это, однако, если и справедливо, то лишь для сравнительно небольшой части текста.

Непосредственное отношение к этому этапу имеет, по-видимому, рукописный набросок, включенный в корпус «Об Ахматовой» на правах приложения. Это своего рода конспект, а точнее, зародыш всей будущей книги Н.М., в котором уже узнаваемы такие детали, как «шапочка-ушаночка» из самого начала (это, кстати, еще и парафраз из первой книги воспоминаний Н.М.) или разговор на Дмитровке из середины, а также посещение Н.М. и Анной Андреевной в 1938 году умирающей сестры Н.М. — из самого конца.

Судя по уважительному тону, с которым здесь еще говорится о Харджиеве, страничка эта относится к началу работы Н.М. над книгой об Ахматовой — возможно, к первым же дням после того, как она вернулась из Ленинграда с ахматовских похорон.

Вернулась же она 11 марта 1966 года¹²⁵, а уже к 16 марта работа разгорелась вовсю: «Я целыми днями пишу и сейчас «не» писать не могу (об А.А.). Кажется, выходит»¹²⁶, — пишет она Наташе Штемпель в этот день. И уже в конце марта — а все это время Н.М. настойчиво зазывает ее к себе! — она как бы переводит дух и сообщает: «Мне есть что вам показать»¹²⁷.

И Наталья Евгеньевна приехала, судя по всему, в первых числах апреля 1966 года. Но в начале апреля — на завтра или на послезавтра после ее отъезда — Н.М. написала ей вдогонку в Воронеж: «Наташенька! Я ночью после отъезда в первый раз перечитала всё. *Никому не показывайте вторую главу.* Она вся глупо сделана. Ее нужно переделать»¹²⁸.

Так что и в конце апреля продолжалась интенсивная работа: «Я сейчас влипла во всякую работу и приехать не смогу...»¹²⁹ То же самое — и в мае: «После смерти Анны Андреевны не могу найти равновесия. Пока почти не выхожу из дому, кроме как в магазин. Для меня кончилась эпоха и человек, с которым я прожила всю жизнь»¹³⁰. Работа продолжалась, по-видимому, и летом 1966-го в Верее¹³¹, а возможно, и осенью в Москве. 19 и 20 сентября рукопись вновь перечитывал А.К. Гладков: «Это замечательно при всей односторонности и субъективизме. Когда-то я сокрушенно думал, что наша эпоха не оставит великих мемуаров. Оказалось, что оставит. Ведь и гигантский цикл рассказов Шаламова — тоже мемуары»¹³².

А 16 января 1967 года Н.М. перечеркнула свой летний труд: «Наташенька! <...> Очень много работаю над второй книгой. Она идет не хуже первой. Ту — летнюю — надо в печку. <...> Привет Шуру. Он очень милый, а застал меня в диком виде — в работе...»¹³³

В январе 1967-го в Москве была вдова Бенедикта Лившица, именно тогда Н.М. прочитала ей посвященный зачин.

Из нескольких писем Н.М. к ней, датированных январем — мартом 1967 года, можно заключить, что именно тогда работа над мемуарами об Ахматовой завершилась (во всяком случае, так полагала тогда сама Н.М.¹³⁴).

Однако гладковский дневник поправляет и тут. 20 марта, проведая вечером Н.М., Гладков записывает: «Застаю ее в плохом настроении. Она пишет воспоминания об Ахматовой, очень волнуясь и нервничая, и говорит: “Старуха забрала ее когтями, и когда она кончит, то утащит за собой...” У нее неважно с сердцем, и она плохо выглядит»¹³⁵.

А двадцать второго апреля 1967 года он делает следующую запись в дневнике: «С утра еду в ВУАП¹³⁶, потом в Лавку писателей, затем к Н.М. К ней приходят Адмони и Наталья Ивановна Столярова. Пьем чай и в две руки с Адмони читаем ее рукопись об Ахматовой, где уже 155 страниц машинописи.

Много интересного и умного, но ей мало быть мемуаристкой, и она снова философствует, умозаключает, рассуждает о времени, об истории, о смене литературных школ, о стихах и даже о любви. А.А. у нее очень живая, но как-то мелковатая, позерская и явно уступающая автору мемуаров в уме и тонкости. Совершенно новая трактовка истории брака с Гумилевым: она его никогда не любила. Верное замечание, что тема А.А. — не тема “любви”, а тема “отречения”. Есть и случайное, и ненужные мелочи. Хотя Н.М. сказала, что она согласна с моими замечаниями, но мне почему-то кажется, что она чуть обиделась»¹³⁷.

Работа продолжалась всю весну¹³⁸ и, наверное, все лето. Во всяком случае, дневниковая запись Гладкова от 7 июня 1967 года все еще не фиксирует ее конца, хотя бы и промежуточного: «У Н.М. <...> Читаю ее рукопись об Ахматовой. Она расширяется (раздвигается) и растет. Спор об отношении к М-му в 30-х годах. Очень все интересно, и еще интереснее устные дополнения Н.М. (“только не записывайте”) об интимной жизни А.А.»¹³⁹

Существенная поправка по сравнению с утверждавшимся ранее: осенью 1967-го Н.М., может быть, и отреклась от своей книги об Ахматовой, но вовсе не уничтожила рабочие

к ней материалы. Рукопись (точнее, ее варианты) сохранилась не только у Н.Е. Штемпель¹⁴⁰, но и у самой Н.М, причем у нее — даже в трех вариантах!

Разрыв с Харджиевым и «Завещание»

После окончательного разрыва с Н.Х., произошедшего тогда же — в мае 1967 года, Н.М. «приняла меру». 30 июня, в последний день перед отъездом в Верею, она зарегистрировала у нотариуса следующий документ.

«МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

1. Я прошу моих друзей — Иру Семенко, Сашу Морозова, Диму Борисова, Володю Муравьева и Женю Левитина — принять весь груз, который я столько лет несла, и работать дружно, вместе, заботясь лишь о том, чтобы лучше донести наследство Манделъштама до того дня, когда его можно будет опубликовать и открыто заговорить о нем.

2. Я прошу не выпускать из рук архива, чтобы этим закрепить за собой право на издания. После издания я хотела бы, чтобы архив поступил в какой-нибудь архив, но я не хочу, чтобы он доставался архиву бесплатно. Манделъштам всегда настаивал на том, что его стихи стоят дороже других. Я настаиваю на том, чтобы за его архив (после всестороннего опубликования) было заплачено как можно больше.

3. Архив принадлежит всем пятерым, а хранится там, где в данное время это безопаснее.

4. Архивом может пользоваться каждый из пятерых для своих целей. Где и как читаются материалы, решается совместно.

5. Я прошу предоставить Ирине Михайловне Семенко исключительное право на расшифровку стихотворного материала, Диме и Саше — работу над прозой. Это не исключает права любого из пятерых заниматься любой областью. Володю и Женю я прошу подготовить к печати мое личное наследство (обе книги) и провести мелкую редактуру, бережно отнесясь к смыслу.

6. Прошу пятерых составить редколлегию всех будущих изданий и не допускать к наследству О.М. и моему никаких

ловкачей и жуликов. Если пятеро захотят привлечь кого-нибудь к изданию, пусть они решают это вместе. Я прошу, чтобы в старости каждый выбрал себе продолжателя, одобренного всеми. Иначе говоря, чтобы всегда существовала комиссия, охраняющая это наследство от вторжений. Лучше отложить издание, чем дать его в руки негодных людей.

7. Я прошу, пока жив мой брат, Евгений Яковлевич Хазин, доходы от изданий, если они будут, предоставлять ему. То же относится к Фрадкиной Елене Михайловне.

8. Прошу выжать из этого наследства максимум денег и совместно решать, что с ними делать. Но также прошу помогать из этих денег Юле Живовой и в случае бедствия Варе Шкловской.

9. Если будет конвенция, прошу передать право на распоряжение этими материалами за рубежом (право опубликования, право перевода) Кларенсу Брауну и Ольге Андреевой-Карлайль.

10. Умоляю извлечь из этого наследства максимум радости, не презирать денег и восполнить своими удовольствиями то, чего были лишены мы с О.М. Умоляю работать дружно и вместе, не поддаваясь соблазнам мелкого собственничества и исключительности, которых был начисто лишен сам Манделштам. Работать вместе и помнить, что все делается для него.

11. Прошу всех лиц, имеющих прямые или косвенные материалы по Манделштаму, предоставить наследникам для использования все свои материалы.

Надежда Манделштам

Москва, 30 июня 1967 года

Номер завещания, хранящегося в первой конторе на Мясницкой (Кировской), 2 д, — 3415»¹⁴¹.

В этом документе упоминаются «обе книги» самой Н.М., и второй из них, бесспорно, является именно книга об Ахматовой¹⁴².

Однако осенью 1967 года Н.М., по свидетельству В.М. Борисова, уничтожила рукопись. О том, как и почему это произошло, еще будет сказано ниже, здесь же проследим за хронологией событий, приведших к отказу от одной книги и написанию вместо нее другой, названной впоследствии вполне

акмеистически — «Вторая книга», как бы в переключку со «Второй книгой» О.М.

К окончательному решению поступить именно так и не иначе пришла Н.М., вероятнее всего, в середине июля в Ленинграде, где она выступала свидетельницей на процессе о судьбе ахматовского наследства. К этому времени, собственно говоря, работа над «Второй книгой» шла хотя и исподволь, но вовсю: вырвав в мае у Н.Х. мандельштамовский архив, Н.М. все лето его разбирала и по мере разбора все более и более гневалась на Н.Х. Тогда-то она и написала очерки «Архив» и «Конец Харджиева», посвященные печальной истории мандельштамовских рукописей. Они не вошли во «Вторую книгу», но были основательно в ней использованы, а главное — многое определили в направленности и тональности книги.

Конец 1967 года и начало 1968 года прошли, видимо, под знаком продолжения разбора архива и писания комментария к стихам 1930-х гг.¹⁴³ Не забудем, что примерно в это же время — вероятнее всего, в 1968 году, когда работа над архивом как таковая была уже позади, — Н.М. взялась и еще за одно произведение — эссе «Моцарт и Сальери». В нем почти нет историко-мемуарного импульса — биографических коннотаций или исторического контекста: это специальное исследование эстетики О.М. и продолжение размышлений Н.М. о природе поэтического творчества, это ее вклад в *ars poetica* Мандельштама, своего рода переключка с «Разговором о Данте».

Эссе «Моцарт и Сальери» впервые вышло по-русски в «Вестнике русского студенческого христианского движения» почти одновременно со «Второй книгой» в 1972 году, в 1973-м оно вышло и по-английски (в переводе Роберта Мак-Лиана).

«Вторая книга»

Эпистолярно-биографических вех, документирующих работу Н.М. над «Второй книгой», еще меньше, чем в первых двух случаях. Почти все они, собственно, восходят к переписке Н.М. с Натальей Евгеньевной Штемпель и начинаются, самое раннее, только с 31 июля 1968 года: «Немножко работаю,

но очень мало». Следующая полушутливая вешка датируется сентябрем того же года: «Вроде пробую работать, но почти ничего не выходит. Не знаю, как быть. Варлаам раздувает нос и говорит, что <...> существует специальная литература жен, писавших о своих мужьях. Этой литературе никто, как известно, не верит. Поэтому Варлаам советует немедленно перестать писать об Осе. Я даже затосковала: попасть в эти жены обидно, но это единственное, о чем мне хочется говорить и о чем мне есть что сказать. Беда...»

Лейтмотив всех последующих весточек Н.М. один и тот же — ее усталость, «урывочность» и вялость ее работы над книгой: «Жить очень трудно. Я все же пробую работать. Идет вяло. Как-то руки опускаются от всей сложности жизни» (10 октября 1968 года)¹⁴⁴; «Я работаю урывками, но все же что-то делаю. Господи, хоть бы доделать» (11 апреля 1969 года); «Я смертно усталая вхожу в эту зиму. Болею. Скучаю. Работаю (очень медленно), тоскую. Очень хочу вас видеть. <...> Думаю, что у меня еще год работы, а там я все кончу» (30 сентября 1969). Работала Н.М., как правило, лежа, печатала на старенькой машинке, один экземпляр — порциями — забирала на хранение Леля Мурина.

И наконец, весной 1970 года — краткое и сухое сообщение: «Работу кончила. Летом устраню мелочь». Тогда, по всей видимости, Н.М. показывала Штемпель свою машинопись и получила от нее одобрение. Отсюда — благодарный и несколько более бодрый тон последнего упоминания работы над «Второй книгой»: «Спасибо за доброе слово... Но я думаю, это еще сырье. Работы много впереди. До конца жизни хватит — лишь бы успеть. Я усталая и грустная» (1 июня 1970 года).

Летом, собрав несколько таких же суждений, как Наташино, Н.М., возможно, кое-что и поправила в книге, а может быть, и нет. Во всяком случае, в октябре 1970-го рукопись (точнее, машинопись) уже пересекла границу СССР — на Запад ее вывез Пьетро Сормани, московский корреспондент итальянской газеты «*Coggiere della Sera*». В декабре 1970 года, выполняя распоряжение Н.М., он передал ее Никите Струве, которому Н.М. делегировала все права по изданию «Второй книги» на Западе (кроме Италии), в том числе право на редактирование ее манускрипта¹⁴⁵.

Пытаясь перенести на Запад опыт советских Комиссий по литературному наследию (а точнее — неиспробованный опыт той «Комиссии одиннадцати», о которой она писала в декабре 1966-го в «Моем завещании»¹⁴⁶), Н.М. создала своеобразный «Комитет четырех» — орган, призванный координировать все действия по изданию и переводу ее книг на Западе, в том числе правовые и финансовые¹⁴⁷. В состав «четверки» входили Ольга Андреева-Карлайль (с правом замещения Натальей Резниковой), Никита Струве, Кларенс Браун и Пьетро Сормани. Каждый делал что мог и как мог, и, хотя старшего среди них не было, реальные усилия по изданию, как и координирующая роль по переводам, концентрировалась в Париже у Струве. И если между членами «четверки» и возникали разногласия, то одно их соучастие в этом необычном коллективном органе чисто психологически удерживало каждого от каких-либо резких или несогласованных движений.

Сама Н.М. больше всего была заинтересована в скорейшем и полном издании прежде всего русского оригинала своей книги. И вот в середине 1972 года «Вторая книга» вышла в парижском издательстве «УМСА-Press», руководимом Н. Струве.

В октябре того же года книга вышла и по-английски с тем же переводчиком (Макс Хэйворд) и в том же издательстве («Atheneum»), но под вестернизированным названием «Hope Abandoned», обыгрывавшем имя автора («Рухнувшая надежда»)¹⁴⁸.

Мемуары Н.М. прочла вся Америка, узнал весь мир. Несмотря на свою исключительную дискурсивность и полемичность (последнее качество на Западе, кажется, недопонималось), они надолго стали основным источником для всех читателей и исследователей О.М. — от биографов до поэтологов и текстологов.

Парадоксальным образом читатели книги Н.М. знали гораздо лучше, чем произведения самого Манделштама. И хотя рецензенты (например, Р. Хьюз) называли Н.М. литературным порождением и продолжением дела своего мужа, в нерусскоязычном сознании они скорее поменялись местами: не Н.М. была женой О.М., а О.М. — мужем Н.М.

Если в центре «Воспоминаний» стоял гениальный поэт на фоне страшной эпохи, то содержанием «Второй книги»

стала сама эта эпоха на фоне современников. Этот портрет эпохи, составленный из сотен мазков и ликов, — убийствен и для советской действительности и системы в целом, и для каждого его элемента в частности. Ю.Л. Фрейдин справедливо указывает на мрачность и безнадежность интонаций и на резкость оценок Н.М., даваемых «собственной молодости, всем поколениям своих современников»¹⁴⁹.

Отдавая должное обличительной силе книги, даже соглашаясь с ее пафосом в целом, многие находили, однако, в том или ином хорошо им знакомом персонаже или эпизоде черты, которые они все же не могли принять или с которыми не могли согласиться. Это породило серию протестов, заступничеств и отповедей, среди которых особенно выделяются голоса Э.Г. Герштейн, В.А. Каверина и Л.К. Чуковской, написавшей уже в 1973-м книгу-отповедь «Дом поэта». Она называет Н.М. «мастерицей всевозможных сплетен» и решительно отказывает ей в претензии на тройственное и совместное с О.М. и Ахматовой «мы». Быть может, четче и жестче других настроения всех задетых и возмущенных «Второй книгой» суммировал и выразил В.А. Каверин, написавший Н.М. 20 марта 1973 года резкое и фактически открытое письмо: «Вы не вдова, Вы — тень Мандельштама. В знаменитой пьесе Шварца тень пытается заменить своего обладателя — искреннего, доброго, великодушного человека. Но находятся слова, против которых она бессильна. Вот они: “Тень, знай свое место”»¹⁵⁰.

В то же время большинство читателей были свободны от груза личных коннотаций и восприняли «Вторую книгу» как органическое продолжение «Воспоминаний». Их позицию подытожил И.А. Бродский в некрологе Н.М.: «Эти два тома Н.Я. Мандельштам, действительно, могут быть приравнены к Судному дню на земле для ее века и для литературы ее века, тем более ужасного, что именно этот век провозгласил строительство на земле рая. Еще менее удивительно, что эти воспоминания, особенно второй том, вызвали негодование по обе стороны кремлевской стены. Должен сказать, что реакция властей была честнее, чем реакция интеллигенции: власти просто объявили хранение этих книг преступлением против закона. В интеллигентских же кругах, особенно в Москве, поднялся страшный шум по поводу выдвинутых Надеждой

Яковлевой обвинений против выдающихся и не столь выдающихся представителей этих кругов в фактическом пособничестве режиму...»¹⁵¹

Архив Мандельштама

Предназначением всей своей остававшейся после смерти О.М. жизни Н.М. считала сохранение его поэзии и его архива. Мандельштамовские стихи и прозу (особенно поздние) Н.М. знала наизусть, она переписывала их от руки и раздавала списки надежным друзьям, через которых они попадали в самиздат и в тамиздат, и в таком виде они доходили и до массового читателя. Сам же архив О.М. она предпочитала хранить не у себя, а у друзей и родных: среди хранителей — С.Б. Рудakov (эта часть архива до нас не дошла), Н.Е. Штемпель, М.В. Ярцева, Э.Г. Бабаев, Л.А. Назаревская, Е.Я. Хазин, Э.Г. Герштейн, И.И. Бернштейн и др.

В конце 1960-х установился и контакт Н.М. с Г.П. Струве и Б.А. Филипповым, редакторами американского Собрания сочинений О.М.; она передала им для публикации копии еще не изданных в то время прозы, переводов и писем О.М., обеспечив тем самым материалом ранее не планировавшийся 3-й том Собрания сочинений (вышел в 1971 году).

Вместе с И. Семенко в работе по разбору архива, текстологии и подготовке публикаций О.М. в СССР и за рубежом при жизни О.М. участвовали В. Борисов, С. Василенко, А. Морозов, Ю. Фрейдин и др. Н.М. охотно встречалась и с западными славистами, изучавшими творчество О.М., и ее дом вскоре стал своеобразным центром притяжения для знатоков и поклонников творчества О.М., интересующихся его судьбой и произведениями.

После выхода «Воспоминаний» на Западе опасность тех или иных репрессий со стороны властей резко возросла, особую угрозу в этой связи представляла перспектива конфискации семейного архива О.М. Это подвигло Н.М. к непростому решению о передаче архива на Запад. Это решение не встретило одобрения со стороны И. Семенко и некоторых других лиц из близкого окружения Н.М. Не считая возможным

держат архив у себя дома, она передала его на временное хранение Ю. Фрейдину, но при этом не возражала против перифотографирования архива в интересах текстологов и исследователей творчества О.М. в СССР¹⁵².

В 1972-м усилиями С.Н. Татищева, в то время атташе по культуре посольства Франции в Москве, архив был переправлен в Париж (непосредственным исполнителем стала его жена Анн Татищев), где находился у Н.А. Струве, причем по материалам архива О.М. был подготовлен 4-й — дополнительный — том Собрания сочинений О.М. (вышел в 1981-м). В 1974 году, согласно юридически оформленной воле Н.М., архив поступил в качестве дара в Отдел рукописей и редких книг Файерстоунской библиотеки Принстонского университета, где и хранится в настоящее время; его первым куратором был К. Браун.

В 1999 году в Москве к 100-летию со дня рождения Н.М. и в 2002 году в Принстоне к 25-летию передачи туда архива состоялись международные конференции, посвященные наследию и памяти Н.М.

Некоторое представление о том, что могло произойти с архивом О.М., останься он в Москве, дает судьба той части архива, которая стала откладываться у Н.М. уже после того, как основной архив был переправлен на Запад.

Собственно говоря, это был личный архив Н.М., хранившийся у Ю.Л. Фрейдина, одного из ближайших ее друзей и душеприказчиков. 2 июля 1983 года — через два с половиной года после смерти Н.М. — он был конфискован КГБ после обыска¹⁵³. Сам Юрий Львович так охарактеризовал ситуацию: «Летом 1983 г. имевшиеся у меня мандельштамовские материалы, включая книги, фотокопии рукописей, личный архив и воспоминания Надежды Яковлевны, копию ее завещания, издания собрания сочинений О.Э. Мандельштама, а также многое из моего личного архива, — было без каких-либо законных оснований изъято у меня сотрудниками московской прокуратуры и КГБ. Полная история этой грабительской акции выходит за рамки данной статьи. Скажу только, что мои протесты, поданные вплоть до самых высоких инстанций, остались без ответа. Может быть, теперь, к 100-летию поэта, грабители или те, кто хранит награбленное, усовестятся и вернут все законному владельцу?..»¹⁵⁴

Ссылаясь на вырванное у Фрейдина под давлением «согласие», КГБ передал архив Н.М. в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ), который, в свою очередь, отказался возвратить его владельцу. Бумаги Н.М. пролежали в ЦГАЛИ–РГАЛИ безо всякого движения более двадцати лет, и до 2006 года не предпринималось ничего для их научного описания и обработки.

Подступы к «Третьей книге». Интервью

В 1970-е годы Н.М. написала несколько очерков (главным образом о своем детстве) для задуманной ей автобиографической «Третьей книги».

Она по-прежнему энергично переписывалась с заграницей и дала несколько интервью иностранным корреспондентам, в том числе и единственное свое видеоинтервью, данное голландскому телевидению 1 мая 1973-го. Режиссер Франк Диаманд, взяв интервью еще у А. Синявского и др., смонтировал фильм в 1976 году.

Кажется, последним по счету было интервью, взятое у нее 9–10 октября 1977 года корреспондентом «Таймс» Элизабет де Мони и Эриком де Мони¹⁵⁵.

Неизменным условием всем интервьюерам было: публикация только после ее смерти.

Фильм Ф. Диаманда был показан по голландскому телевидению уже в январе 1981 года, то есть почти сразу после смерти Н.М.

Посмертные издания на родине

Конечно, западные издания, особенно переводные, были не свободны от самых разных дефектов: в силу понятных причин автор была не в состоянии ни держать корректуры, ни визировать наборные рукописи.

До выхода книг Надежды Мандельштам на родине оставалось ждать еще два десятилетия — в 1989-м в издательстве «Книга» вышли «Воспоминания» с послесловием Николая Панченко, а в 1990 года в издательстве «Московский рабочий» —

«Вторая книга» с предисловием Михаила Поливанова. Этому предшествовали первые советские публикации в периодике — в журнале «Юность» (1988. № 8; 1989. № 7–9), подготовленные Ю. Фрейдиным и С. Василенко, а также в двухнедельнике «Смена» (1989. № 2).

В эдиционном плане серьезнейший шаг был сделан в 1999 году, в год 100-летнего юбилея со дня рождения Н.М. Московское издательство «Согласие» любовно выпустило оба тома мемуаров в новой текстологии, с новым предисловием, примечаниями и указателями, в превосходном полиграфическом исполнении¹⁵⁶. Ю. Фрейдин и С. Василенко, текстологи соответственно первой и второй книг, опирались на чудом уцелевшие авторские машинописи обеих книг и на первые зарубежные издания с авторской правкой и пометами. Предисловия написали Н. Панченко и А. Морозов, последний выступил комментатором обеих книг.

В 2002 году в издательстве «Наталис» вышло ценное собрание биографических материалов — книга «Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников», составленная О.С. и М.В. Фигурновыми.

В 2006-м мемуары Н.М. были переизданы «Вагриусом» (отличия лишь в художественном оформлении). В том же году в издательстве «Аграф» вышла «Третья книга» Н.Я. Мандельштам, составленная Ю. Фрейдиным и вобравшая в себя почти все, что не вошло в двухтомник «Согласия». В 2007-м отдельным изданием вышла книга Н. Мандельштам «Об Ахматовой», дополненная четырьмя эпистолярными блоками — перепиской Н.М. с А. Ахматовой, Е. Лившиц, Н. Харджиевым и Н. Штемпель (составитель П. Нерлер, научный редактор С. Василенко). Книга вышла в «Новом издательстве», директор которого Е. Пермяков был инициатором издания. В 2008 году книга была переиздана в издательстве «Три квадрата» (в ином оформлении и с некоторыми исправлениями).

Книгу, выпущенную в 2013 году издательством «АСТ» под названием «Мой муж — Осип Мандельштам», можно рассматривать как коммерческий артефакт и составительский курьез с ничем и никем не обоснованной перетасовкой колоды фрагментов из разных произведений в новую композицию¹⁵⁷. Ни составитель, ни источники текста не указаны, комментарий и оглавления нет.

III

ПОНЯТОЕ

*Стихотворение живо внутренним образом,
тем звучащим слепком формы, который
предваряет написанное стихотворение.
Ни одного слова еще нет, а стихотворение
уже звучит. Это внутренний образ, это его
осязает слух поэта.*
О. Манделъштам

*Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ...*
О. Манделъштам

Дар тайнослышанья тяжелый...
В. Ходасевич

В 1972 г. Н.М. встречала свой день рождения с совершенно новым ощущением. К этому времени все те главные задачи, которые она ставила перед собой, нашли свое решение — промежуточное или окончательное.

Она сберегла или собрала ненапечатанные стихи и прозу, и стихи эти увидели свет¹⁵⁸. При этом она сделала щедрые заготовки для будущих издателей и комментаторов, кем бы они ни были, зафиксировав свои версии окончательных редакций и датировок и дав подробные пояснения к поздним стихам¹⁵⁹.

Она собрала или сберегла остатки архива, и архив этот благополучно покинул страну, в которой, будь страна другой, ему было бы самое место.

Она собрала свои собственные горестные заметы, и ее воспоминания — обе книги одна за другой — уже увидели свет.

Ее свидетельства о времени и месте, где творил и погиб Манделъштам, ее суждения о судьбе и мутациях литературы в условиях несвободы и ее оценки современников поэта по-настоящему поразили читателя. Книги переводили на десятки языков, и им сопутствовал оглушительный успех.

Но за всем этим несколько затерялась еще одна, ничуть не менее потрясающая миссия Н.М. — миссия свидетельницы поэзии. Жена гениального поэта, делившая с ним стол и ложе, она постоянно сталкивалась с самыми непосредственными проявлениями творческого процесса — с чудом зарождения и рождения стихов. По своей интимности тема эта куда более трепетная, нежели любые влюбленности и измены. Никакой Гёте никаким Эккерманам об этом ничего не рассказывал.

Влюбленностям и изменам Н.М., разумеется, тоже отдала свою дань — это общее и неизбежное место. А вот в постановке темы физиологии поэзии она, кажется, была одной из первых и лучших. Попробовав об этом написать, Н.М. сделала это так тонко и глубоко, как, кажется, никто из бывавших в сходной биографической ситуации.

При этом она честно признается, что не сразу сообразила, с чем именно столкнулась:

«Я впервые поняла, как возникают стихи, в тридцатом году. До этого я только знала, что совершилось чудо: чего-то не было и что-то появилось. Вначале — с 19-го по 26 год — я даже не догадывалась, что О.М. работает, и все удивлялась, почему он стал таким напряженным, сосредоточенным, отмахивается от болтовни и убегает на улицу, во двор, на бульвар... Потом сообразила, в чем дело, но еще ни во что не вникала. Когда кончился период молчания, то есть с тридцатого года, я стала невольной свидетельницей его труда.

Особенно ясно все мне представилось в Воронеже. Жизнь в наемной комнате, то есть в конуре, берлоге или спальном мешке — как это назвать? — с глазу на глаз, без посторонних свидетелей, безнадежно беспочвенная и упрощенная, привела к тому, что я всмотрелась во все детали «сладкогласного труда»¹⁶⁰.

Продолжим цитату:

«Сочиняя стихи, О.М. никогда не прятался от людей. Он говорил, что если работа уже на ходу, ничто больше помешать не может. Василиса Георгиевна Шкловская, с которой он очень дружил, рассказывает, что в 21 году, когда они жили рядом в Доме искусств на Мойке, О.М. часто забредал к ней погреться у железной печурки. Иногда он ложился на диван

и закрывал ухо подушкой, чтобы не слышать разговоров в перенаселенной комнате. Это он сочинял стихи и, стосковавшись у себя, забирался к Василесе... А стихи об ангеле Мэри¹⁶¹ появились в Зоологическом музее, куда мы зашли к хранителю Кузину, чтобы распить с ним и его друзьями грузинскую бутылочку, тайком принесенную вместе с закуской в чем-то ученом портфеле. Мы сидели за столом, а О.М., нарушая обряд винопития, бегал по огромному кабинету. Стихи, как всегда, сочинялись в голове. В музее же я их записала под его диктовку. Вообще, женившись, он ужасно разленился и все норовил не записывать самому, а диктовать.

А в Воронеже открытость его труда дошла до предела. Ведь ни в одной из комнат, которые мы снимали, не было ни коридора, ни кухни, куда он мог бы выйти, если б захотел остаться один. И в Москве мы не бог знает как жили, вернее, бог знает как, но там все же было куда мне забежать на часок, чтобы оставить его одного. А тут уйти было некуда — только на улицу мерзнуть, а зимы как на зло стояли суровые. И вот, когда стихи доходили до восковой зрелости, я, жалея бедного, загнанного в клетку зверя, делала что могла: прикорнув на кровати, притворялась спящей. Заметив это, О.М. уговаривал меня иногда «поспать» или хоть лечь к нему спиной»¹⁶².

Тут как бы слышится противоречие: с одной стороны, работать на людях, никогда не прятаться от людей, а с другой — отвернуться и лечь спиной. Противоречия на самом деле нет — беременность уже позади, плод уже на выходе, весь рвется наружу, и речь идет не более чем об определенном акушерском комфорте.

В этот момент Надежде Яковлевне нужно было умудриться одновременно и «лежать спиной», и «быть под рукой» — для того, чтобы записать народившееся. Сам О.М. еще с 20-х годов, с «Шума времени», до того «обленился», что предпочитал надиктовывать все жене.

Вот еще одна принципиальная связка:

«Сочиняя стихи, О.М. всегда испытывал потребность в движении. Он ходил по комнате — к сожалению, мы всегда жили в таких конурах, что разгуляться было негде; постоянно выбегал во двор, в сад, на бульвар, бродил по улицам.

Стихи и движение, стихи и ходьба для О.М. взаимосвязаны. В “Разговоре о Данте” он спрашивает, сколько подошв износил Алигьери, когда писал свою “Комедию”. Представление о поэзии-ходьбе повторилось в стихах о Тифлисе, который запомнил “стертое величье” подметок пришедшего поэта. Это не только тема нищеты — подметки, конечно, всегда были стертые, — но и поэзии.

Только дважды в жизни я видела, как О.М. сочиняет стихи, не двигаясь. В Киеве у моих родителей, где мы гостили на Рождество 23 года, он несколько дней неподвижно просидел у железной печки, изредка подзывая то меня, то мою сестру Аню, чтобы записать строчки “1-го января 1924”. И еще в Воронеже он прилег днем отдохнуть — в тот период он был ужас как утомлен работой. Но в голове шумели стихи, и отвязаться от них не удалось. Так появились стихи о певице с низким голосом в конце “Второй воронежской тетради”...»¹⁶³

От движения она переходит к другому физиологическому критерию тайнослышанья:

«Движение — первый признак, по которому я распознавала работу; второй признак — шевелящиеся губы. В стихах сказано, что их нельзя отнять и что они будут шевелиться и под землей. <...>

Губы — орудие производства поэта: ведь он работает голосом. Рабочий топот губ — это то, что соединяет работу флейтиста и поэта. Если бы О.М. не испытал, как шевелятся губы, он не мог бы написать стихов про флейтиста: “Громким шепотом честолюбивым, Вспоминающих топотом губ, Он торопится быть бережливым, Емлет звуки, опрятен и скуп...” И про флейту: “И ее невозможно покинуть, Стиснув зубы, ее не унять, И в слова языком не продвинуть, И губами ее не размять...” Мне кажется, что слова про то, что флейту невозможно продвинуть в слова, знакомы поэту. Здесь говорится про тот момент, когда в ушах уже стоит звук, губы только шевельнулись и мучительно ищут первые слова...

<...> О.М. в этих стихах говорит про топот “вспоминающих” губ. Только ли у флейтиста губы заранее знают, что они должны сказать? В процессе писания стихов есть нечто похожее на припоминание того, что еще никогда не было сказано. Что такое поиски “потерянного слова” — “Я слово позабыл,

что я хотел сказать, Слепая ласточка в чертог теней вернется”, — как не попытка припоминания еще неосуществленного? Здесь есть та сосредоточенность, с которой мы ищем забытое, и оно внезапно вспыхивает в сознании»¹⁶⁴.

При такой физиологии поэзии, как у О.М., бессмысленными становились всякие разговоры о «дуализме формы и содержания». Н.М. замечает в этой связи:

«Сознание абсолютной неразделимости формы и содержания вытекало, по-видимому, из самого процесса работы над стихами. Стихи зарождались благодаря единому импульсу, и погудка, звучащая в ушах, уже заключала то, что мы называем содержанием. В “Разговоре о Данте” О.М. сравнил “форму” с губкой, из которой выжимается “содержание”. Если губка сухая и ничего не содержит, то из нее ничего и не выжмешь. Противоположный путь: для данного заранее содержания подбирается соответствующая форма. Этот путь О.М. проклял в том же “Разговоре о Данте”, а людей, идущих этим путем, назвал “переводчиками готового смысла”. <...>

Поэт пробивается к целостному клочку гармонии, спрятанному в тайниках его сознания, отбрасывая лишнее и ложное, скрывающее то, что я называю уже существующим целым.

Стихописание — тяжелый изнурительный труд, требующий огромного внутреннего напряжения и сосредоточенности. Когда идет работа, ничто не может помешать внутреннему голосу, звучащему, вероятно, с огромной властью. Вот почему я не верю Маяковскому, когда он говорит, что наступил на горло собственной песне. Как он это сделал? Мой странный опыт — опыт свидетеля поэтического труда — говорит: эту штуку не обуздаешь, на горло ей не наступишь, намордника на нее не наденешь. Это одно из самых высоких проявлений человека, носителя мировых гармоний, и ничем другим не может быть»¹⁶⁵.

Но мандельштамовская «физиология стиха» не единственно возможная, были и другие. Вот наблюдение Н.М., но не над О.М., а над Ахматовой:

«Мне пришлось жить и с Анной Андреевной, но у нее работа протекала далеко не так открыто, как у О.М., и я не всегда распознавала, что она в работе. Во всех своих

проявлениях она всегда была гораздо замкнутее и сдержаннее О.М. Ее совершенно особое женское мужество, почти аскетизм, всегда поражали меня. Даже губам своим она не позволяла шевелиться с такой откровенностью, как это делал О.М. Мне кажется, что когда она сочиняла стихи, губы у нее сжимались и рот становился еще более горьким. О.М. говорил, когда я еще ее не знала, и часто повторял потом, что, взглянув на эти губы, можно услышать ее голос, а стихи ее сделаны из голоса, составляют с ним одно неразрывное целое, что современники, слышавшие этот голос, богаче будущих поколений, которые его не услышат»¹⁶⁶.

Далее в «Воспоминаниях» идут интереснейшие наблюдения, но над несколько иными этапами поэтического труда — вторичными, если угодно. Над видением и складыванием форм представления уже готовых произведений — самостоятельно или в составе поэтического цикла или книги, например.

Интересно, что в обеих последующих книгах Н.М. об этой «физиологии» практически ничего нет. Единственное исключение — следующий пассаж о ташкентских погудках Ахматовой: «Когда я приехала в Ташкент, меня поразило, что Анна Андреевна стала грузной, тяжелой женщиной, с трудом двигалась и никуда не выходила одна, потому что в 1937 году заболела боязнью пространства. Теперь, сочиняя стихи, она уже не бегала, как олень, а лежала с тетрадкой в руках. Память тоже начала сдавать, и сочинять стихи в уме она уже не могла»¹⁶⁷.

В книге «Об Ахматовой» акценты сместились скорее в область социологии чтения. Н.М. рассуждает в ней о читателе и о его коварном испытании выбором между свободой и своеволием. Все это, заметно усилившись, перекочевало и во «Вторую книгу».

Свое развитие эта тема получила в эссе Н.М. «Моцарт и Сальери». Коренная разница между «Моцартом» и «Сальери» в том, что это, если хотите, экстракты двух различных поэтических физиологий. Но в каждом реальном поэте, как замечал О.М., есть и Моцарт, и Сальери.

Н.М. продолжила здесь свои наблюдения над физиологией поэзии. Она пишет: «Его страсть к ходьбе и прогулкам — обязательно одиноким — отвечала его потребности

одновременно быть среди людей — прохожих — и одному. <...> Это вовсе не значит, что он тут же начнет писать стихи. Чтобы начать писать стихи, надо жить и, живя, часто бывать одному»¹⁶⁸.

Оставшиеся годы Н.М. провела с ощущением исполненной миссии: бессильной уберечь самого Мандельштама от избранной им самим судьбы, ей достало воли и сил для того, чтобы сохранить его стихи и рукописи и оставить важнейшие из свидетельств о его жизни и о его поэзии.

Вместе с тем ее книги сразу же вышли из берегов материалов к чьей бы то ни было биографии. Два тома воспоминаний Н.М. — это мозаично-эпический рассказ о страшном времени, выпавшем ей и О.М. на жизнь и на смерть.

А еще это превосходная русская проза.

Примечания

¹ Сообщено саратовским краеведом В.В. Критским. Современные названия улиц — Первомайская и Яблочкова. Дом Жаркова не сохранился.

² *Мандельштам*. Т. 2. С. 603.

³ По свидетельству Ю.Л. Фрейдина, Н.М. до 1970-х гг. хранила его математические работы, но большого научного интереса они не представляли.

⁴ *Герштейн*. С. 400.

⁵ Справка о смерти Я.А. Хазина (РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Ед. хр. 511).

⁶ См.: Т. 2. С. 884.

⁷ Мишпуха (*евр.*) — семья, семейный клан у евреев.

⁸ Осип и Надежда. С. 476.

⁹ См.: Т. 2. С. 882.

¹⁰ См.: С. 96.

¹¹ АМ. В. 3. Ф. 104. S. 2.

¹² *Весь Киев*, 1905.— Киев, 1905. Стб. 581.

¹³ *Весь Киев*, 1910.— Киев, 1910. Стб. 898.

¹⁴ *Весь Киев*, 1915.— Киев, 1915. Стб. 720. В квартире имелся телефон с четырехзначным номером: 33-61. Сам дом был разрушен в 1941 г.

¹⁵ Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 14. Оп. 3. Д. 56184 (сообщено М.Г. Сальман).

¹⁶ См.: С. 91.

¹⁷ Впрочем, подругой Н.М. была и Э.Г. Герштейн, чей роман с Е.Я. Хазиним в начале 1930-х гг. был инспирирован самой Н.М.

¹⁸ Что не помешало Н.М. назвать ее в одном из завещаний фактическим бенефициаром доходов от публикации О.М. и своих (см. ниже с. 52).

¹⁹ Имеется в виду статья Е.Я. Хазина о романе Л.Н. Толстого «Война и мир», о публикации которой в воронежском журнале «Подъем» хлопотал по просьбе Н.М. в конце 1960-х гг. А.И. Немировский. В 1972 г. в Париже, в издательстве YMCA-Press, вышла книга Е.Я. Хазина «Всё позволено. Размышления о творчестве Достоевского», оплаченная из гонораров Н.М. Его последняя книга («Этюды о драматургии») не опубликована до сих пор.

²⁰ О своей семье Н.М. рассказывает в очерках «Отец», «Семья» и «Девочки и мальчик» (См.: Т. 2, с. 880–898).

²¹ Ныне Ярославов Вал. Дом сохранился.

²² Ныне школа № 138 на ул. Артема.

²³ Выпускницы гимназии могли продолжать свое образование на учрежденных ею же высших курсах.

²⁴ *Кальницкий М.* Тот самый Первомай // <http://mik-kiev.livejournal.com/2009/05/01>.

²⁵ *Фрезинский Б.* Университетское личное дело Н.М. Хазиной // Сохрани мою речь. Вып. 3/2. С. 258–259. В ее личном деле всего три листочка: заявления о приеме, об отчислении и справка из библиотеки.

²⁶ Осип и Надежда. С. 409.

²⁷ *Кацис Л.* Русский еврей Осип Мандельштам и еврейский Киев: взгляд Н.Я. Мандельштам (из комментариев к киевским текстам О. Мандельштама и «Второй книге» Н.Я. Мандельштам) // Материалы 15-й ежегодной международной конференции по иудаике.— М.: Сэфер; Ин-т славяноведения РАН, 2008. Ч. 2. Академическая серия. Вып. 23. С. 410.

²⁸ Впрочем, на «ты» была она и с Пастернаком.

²⁹ Губернский комитет народного образования; см. упоминания о деятельности И.Г. Эренбурга и О.М. в его театральном отделе (*Соммер Я.* Записки / Публ., предисл. и примеч. Б.Я. Фрезинского // Минувшее: Исторический альманах.— М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1995. Вып. 17. С. 147).

³⁰ *Ивнев Р.* С Осипом Мандельштамом на Украине / Публ. Н. Леонтьева // Сохрани мою речь. Вып. 4/1. С. 124.

³¹ Председатель ВЦИК Я.М. Свердлов умер 16 марта 1919 г., заразившись гриппом по дороге из Харькова в Москву.

³² Там же.

³³ Дейч А. Две дневниковые записи / Публ. Е. Дейч // Сохрани мою речь. Вып. 3/2. С. 146.

³⁴ Спустя полтора месяца, 14 июня, бандиты, например, застрелили А.А. Мурашко.

³⁵ См.: Т. 2. С. 44.

³⁶ Там же. С. 36.

³⁷ Там же. С. 134–135.

³⁸ *Мандельштам*. Т. 4. С. 68.

³⁹ См.: С. 584.

⁴⁰ См.: С. 456.

⁴¹ Ср. запись в дневнике А. Дейча от 23 мая 1919: «Надя хотела повести его на “Овечий источник”» (*Дейч А. Две дневниковые записи*. С. 146).

⁴² *Изнев Р.* С Осипом Мандельштамом на Украине. С. 132 (запись от 22 мая 1919 г.).

⁴³ См.: Т. 2. С. 45.

⁴⁴ Цит. по неподписанному комментарию Ю.Л. Фрейдина в заметке «Надежда Яковлевна Мандельштам. Фотографии и биография», помещенной без пагинации на четвертой странице иллюстративной вклейки между с. 272 и с. 273 в сб.: *Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама (Москва, 28–29 декабря 1998 г.)*. — М.: РГГУ, 2001. Т. 11. Вклейка открывается именно этой фотографией.

⁴⁵ *Мандельштам 2011*. С. 604–606.

⁴⁶ В 1957 г. в связи с потерей свидетельства о браке Н.М. даже просила Таточку (Екатерину Константиновну), жену Лившица, подтвердить этот факт.

⁴⁷ Около восьмидесяти его писем к Н.М. составляют около трети всей сохранившейся эпистолярной поэты.

⁴⁸ Расчетная книжка № 585 Н.Я. Мандельштам (АМ. В.3. Ф.104. С.1).

⁴⁹ Сама Надежда Яковлевна датировала получение посылки 5 февраля — днем публикации в газетах указа о награждении орденами и медалями писателей. Однако Кузину о смерти Мандельштама она написала еще 30 января (*Кузин*. С. 564),

и тем же днем датировано письмо Э.Г. Герштейн А. Ахматовой с той же новостью (Слово и «Дело». С. 158).

⁵⁰ Немцы оккупировали часть города 14 октября 1941 г., а весь город — 17 октября. 16 декабря, перейдя в контрнаступление, Красная армия освободила Калинин.

⁵¹ Кузин. С. 713.

⁵² Берестов В.Д. Мандельштамовские чтения в Ташкенте во время войны // «Отдай меня, Воронеж...»: III междунар. Мандельштамовские чтения. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1995. С. 334–335.

⁵³ «Гуговна» (Из писем А.Г. Усовой Л.В. и А.В. Горнунгам). С. 235.

⁵⁴ Личное дело Н.Я. Мандельштам в архиве Чувашского государственного педагогического института (сообщено Г.Г. Тенюковой).

⁵⁵ Позднее ей даже вручат медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

⁵⁶ 9 августа 1954 г. датировано завещание Н.М. из архива С.И. Ивич-Богатыревой — одно из нескольких завещаний такого рода.

⁵⁷ Там же. С. 241.

⁵⁸ Это замечание принадлежит Ю.Л. Фрейдину.

⁵⁹ Три письма Надежды Мандельштам к Алексею Суркову / Публ. и предисл. С. Шумихина // Окна. Иерусалим, 1999. 2 декабря. С. 4–5.

⁶⁰ «Вчера получила письмо от Надежды Яковлевны. Она какая-то “шалая”, успела так обострить в Ульяновске отношения, что ищет себе “на всякий случай” что-нибудь под Москвой» («Гуговна» (Из писем А.Г. Усовой Л.В. и А.В. Горнунгам) / Подгот. текста, вступ. и примеч. Т. Нешумовой // Сохрани мою речь. Вып. 4/1. С. 242).

⁶¹ «У Любимцевых я часто встречала Надежду Яковлевну; иногда мы с ней вместе ходили в баню — там можно было спокойно поговорить...» (Кривошеина Н.А. Четыре трети нашей жизни. — М.: Русский Путь, 1999. С. 234).

⁶² Сообщено А.П. Рассадиным.

⁶³ Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук. Ф. 896. Оп. 1. Д. 272 (сообщено Л.Г. Степановой).

- ⁶⁴ Письмо В.В. Шкловской-Корди от 16 сентября 1955 г. (Архив В.Б. Шкловской-Корди).
- ⁶⁵ То же от 24 сентября 1955 г. // Там же.
- ⁶⁶ То же от 11 сентября 1955 г. // Там же.
- ⁶⁷ На получение диплома ВАК (Высшей аттестационной комиссии) ушло еще полгода (№ 000345 от 14 февраля 1957 г.).
- ⁶⁸ Личное дело Н.Я. Мандельштам в архиве Чувашского государственного педагогического института (сообщено Г.Г. Тенюковой).
- ⁶⁹ «Хлопот полон рот», «Птичий профессор», «Куколки» // Тарусские страницы. — Калуга, 1961. С. 9–11, 14–16, 142–150.
- ⁷⁰ Письмо Н.М. к Л.Я. Гинзбург от 31 декабря «1959 г.» // Звезда. 1998. № 10. С. 125.
- ⁷¹ Позднее от Н.Е. Штемпель пришли сведения о возможности попытать счастья в Воронеже, но было уже поздно.
- ⁷² Письмо Н.М. к А. Ахматовой (не ранее 10 октября 1963 г.) (Об Ахматовой. С. 244). Н.М. цитирует знаменитый рассказ Н.А. Тэффи «Ке фер?».
- ⁷³ Письмо Н.М. к Е.М. Аренс от 16 сентября 1962 г. (Осип и Надежда. С. 416).
- ⁷⁴ Письмо Н.М. к Н.И. Харджиеву от 27 сентября 1962 г. (Об Ахматовой. С. 288).
- ⁷⁵ Письмо Н.М. к Л.Я. Гинзбург, «октябрь 1962 г.» // Звезда. 1998. № 10. С. 130.
- ⁷⁶ Дом снесен в 1998 г.
- ⁷⁷ См.: Т. 2. С. 859.
- ⁷⁸ Из электронного письма Л.И. Вольперт В.Б. Литвинову от 11 ноября 2006 г.
- ⁷⁹ *Найман*. С. 113.
- ⁸⁰ См. ее воспоминания о псковском периоде жизни Н.М. (Осип и Надежда. С. 402–407). Это она заботливо взяла на себя ставшие неподъемными для Н.М. на втором ее псковском году обязанности куратора учебной группы.
- ⁸¹ См. о ней в статье: *Куранда Е.* «...К более или менее далекому неизвестному адресату...» (Находка между страниц Философской энциклопедии) // *Сохрани мою речь*. Вып. 4/2. С. 780.
- ⁸² См. письмо к ней заместителя председателя исполкома Моссовета Д. Лебедева от 9 июля 1957 г. (Об Ахматовой. С. 97).

⁸³ Благодаря хлопотам Ф.А. Вигдоровой, Н.И. Столяровой и других ее друзей. Так, Вигдорова уговорила С.Я. Маршака подписать ходатайство на имя высокого милицейского начальника с просьбой прописать Н.М. в Лаврушинском переулке (А.В. Головачева сообщает, что об этом же хлопотала М.С. Петровых, см.: Осип и Надежда. С. 182–183). Поскольку В.Г. Шкловская, хозяйка квартиры, просила о том же, начальник, уважавший Маршака, поставил резолюцию: прописать, но без права на площадь.

⁸⁴ Архив Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1.

⁸⁵ Сообщено Ю.М. Живовой.

⁸⁶ *Сиротинская И.* Поход за рукописями // Сохрани мою речь. Вып. 4/1. С. 277–278.

⁸⁷ *Мурина Е.* О том, что помню про Н.Я. Мандельштам // Мир искусств. Альманах. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. Вып. 4. С. 163.

⁸⁸ Электронное письмо П. Нерлеру от 4 апреля 2013 г.; в этом же письме рассказ о том, как отец А. Мень организовал коллективный уход за Н.М.

⁸⁹ Сам он читал ее в машинописи уже в феврале 1962 г. (*Поливанов М.* Предисловие // *Мандельштам Н.Я.* Вторая книга. — М.: Московский рабочий, 1990. С. 4).

⁹⁰ Об Ахматовой. С. 8.

⁹¹ Там же.

⁹² Ю.Л. Фрейдин относит этот срок еще дальше — к 1965 г.

⁹³ Там же.

⁹⁴ Там же.

⁹⁵ Письмо А.С. Эфрон В.Н. Орлову от 7 сентября 1964 г. (*Эфрон А.С.* История жизни, история души: В 3 т. — М.: Возвращение, 2008. Т. 2. Письма 1955–1975. С. 198).

⁹⁶ Укрытие, прибежище (выражение, бывшее в обиходе у Н.М., ныне малоупотребительное).

⁹⁷ Об Ахматовой. С. 9.

⁹⁸ Третья книга. С. 507.

⁹⁹ Листки из дневника. С. 111.

¹⁰⁰ Третья книга. С. 480.

¹⁰¹ Там же. С. 494.

¹⁰² *Найман*. С. 114.

¹⁰³ *Герштейн*. С. 415.

¹⁰⁴ *Найман*. С. 114.

¹⁰⁵ В ноябре 1964 г., например, Н.М. гостила несколько дней у А. Ахматовой в Ленинграде.

¹⁰⁶ В 1963 г., возможно, одной из причин могла быть и обида Н.М. (высказанная, впрочем, только во «Второй книге») на то, что и Ахматова не слишком торопилась с показом ей собственных мемуаров об О.М.: «Листки из дневника» она получила только в конце 1963 г., к 25-летию со дня гибели О.М., — и то явно не все, а часть.

¹⁰⁷ Скорее всего, это отзвук воспоминаний о бесчисленных фото- и ксерокопиях «тамиздата» — книжной версии мемуаров Н.М., вышедшей гораздо позже.

¹⁰⁸ *Мурина Е.* О том, что помню про Н.Я. Мандельштам. С. 133.

¹⁰⁹ *Левицкий Л.А.* Утешение циркульника: Дневник. 1963–1977. — СПб.: Изд-во Сергея Ходова, 2005. С. 69–70.

¹¹⁰ *Шаламов В.Т.* Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. — М.: Эксмо, 2004. С. 734–740.

¹¹¹ Там же. С. 765–766.

¹¹² РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 131. Л. 1–76.

¹¹³ Записи о Мандельштаме не редкость и в других тетрадях Шаламова. Вот еще пример: «“Камень” стоял очень близко к стиху Ахматовой — к “Четкам” и “Белой стае”. По своей структуре, по внутренней позиции и словарно “по простоте”. Но стихи “Воронежской тетради” очень далеки от стихов Ахматовой последних лет и тридцатых годов. Разошлись дороги художников...» (Там же. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 35. Л. 9, 37 об.).

¹¹⁴ Запись от 7 июня 1966 г. (Там же. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 106. Л. 64).

¹¹⁵ ВРСХД. 1973. № 108–110. С. 187–188.

¹¹⁶ *Мандельштам Н.* Воспоминания. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова. 432 с.

¹¹⁷ *Mandelstam N.* Hope Against Hope. A memoir / Hayward, Max (transl.; Translator's Preface); Brown Cl. (Introd.). — New York: Atheneum, 1970, xiii, 431 pp.

¹¹⁸ За работу над переводом мемуаров Н.М. ему была присуждена премия Американского Пен-клуба за 1970 г.

¹¹⁹ *Mandelshtam N. Hope against hope / M. Hayward (transl.), Cl. Brown (Introd.)*.— London: Collins Harvill Press, 1971. 432 pp.

¹²⁰ К 1972 г. «Воспоминания» были переведены на пять языков.

¹²¹ Второе вышло в 1971, 3-е — в 1976, 4-е — 1-й завод: 1982, 2-й завод: 1985 (оба — Paris: YMCA-Press).

¹²² Из более поздних событий в этот ряд могут быть поставлены, пожалуй, еще и смерти Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, бывших своеобразным рупором — народным и интеллигентским — в диалоге с советской властью.

¹²³ Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма.— Л.: Лениздат, 1990. С. 554.

¹²⁴ Письма Максиму. С. 311.

¹²⁵ См. письмо Н.М. к Н.Е. Штемпель, написанное вскоре после возвращения из Ленинграда: «Наташенька! У меня нет сил писать. Я хоронила Анну Андреевну в Ленинграде. Вы сами знаете, как мы с ней связаны. Вернулась я одиннадцатого и еще не опомнилась» (Об Ахматовой. С. 345).

¹²⁶ Там же.

¹²⁷ Там же. С. 346.

¹²⁸ Там же. С. 347.

¹²⁹ Из письма Н.М. к С.М. Глускиной от 25 апреля 1966 г. Там же. С. 18.

¹³⁰ То же от 9 мая 1966 г. // Там же.

¹³¹ Летом Наталья Евгеньевна, похоже, еще раз приехала туда к Н.М.

¹³² Запись от 19 сентября 1966 г. (РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 106. Л. 119).

¹³³ Об Ахматовой. С. 350.

¹³⁴ На март указывает и одно из писем Н.М. к Д.Е. Максиму (Письма Максиму. С. 323).

¹³⁵ Об Ахматовой. С. 18.

¹³⁶ Правильно: ВУОАП (Всесоюзное управление по охране авторских прав), организация, созданная в 1938 г. и, вопреки названию, специализировавшаяся на ограблении советских писателей, посредством обложения драконовской пошлиной их валютных гонораров за публикации за рубежом. В 1973 г.

на его основе было создано Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП).

¹³⁷ Там же. С. 19.

¹³⁸ См. письмо Н.М. к Н.Е. Штемпель, написанное в середине мая 1967 г.: «Я работаю, и это очень растет» // Там же. С. 354.

¹³⁹ Там же. С. 19.

¹⁴⁰ Свой вариант рукописи Н.Е. Штемпель подарила автору данной статьи, именно он лег в основу всех последующих изданий этой книги.

¹⁴¹ Там же. С. 19–21.

¹⁴² Летом в Верее побывала Н.Е. Штемпель, именно тогда, по всей видимости, она и получила от Н.М. экземпляр книги об Ахматовой.

¹⁴³ К декабрю 1967 г. этот комментарий был практически готов, см. запись в дневнике А.К. Гладкова от 7 декабря 1967 г.: «Вечером у Н.Я. Мандельштам. Она нездорова и скучна. Говорит, что написала комментарий к стихам О.Э.» (РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 192).

¹⁴⁴ И почти тогда же — 24 октября — Максиму: «Немножко работаю, но каждое слово дается с великим трудом просто потому, что гложет беспокойство и нет сил» (Письма Максиму. С. 332).

¹⁴⁵ В любом случае маловероятно, чтобы Н.М. заново взялась за рукопись в 1970 или 1971 г. — «в состоянии крушения “оттепельных” надежд и в сознании итога», как это предполагал А.А. Морозов (*Мандельштам Н.Я.* Вторая книга. — М.: Согласие, 1999. С. 1).

¹⁴⁶ См.: С. 853.

¹⁴⁷ Еще более близким его прообразом, впрочем, был коллектив из пяти (а по сути, семи) наследников в завещании Н.М. от 30 июня 1967 г. (см. выше с. 51–52).

¹⁴⁸ *Mandelstam N. Hope Abandoned.* New York: Atheneum, 1970.

¹⁴⁹ Фрейдин Ю.Л. Мандельштам (Хазина) Надежда Яковлевна // О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. — М.: РГГУ, 2007. С. 107.

¹⁵⁰ ВРСХД. 1973. № 108–109–110. С. 191.

¹⁵¹ *Мандельштам Н.* Мое завещание и другие эссе / Предисл. И. Бродского; сост. Г. Поляк. — 2-е изд., доп. — Нью-Йорк: Серебряный век, 1982. С. 12–13.

¹⁵² Фотокопии архива были сделаны в начале 1970-х гг. В. А. Вальтером и В. Д. Познанским.

¹⁵³ Вести из СССР // Мюнхен. 1983. 15 сентября. № 17. С. 4.

¹⁵⁴ *Фрейдлин Ю.Л.* «Остаток книг»: библиотека О.Э. Мандельштама // Слово и судьба. С. 237. См. также: *Фрейдлин Ю.Л.* Судьба архива поэта // Лит. газета. 1991. 9 янв.

¹⁵⁵ *Де Мони Э.* Интервью с Надеждой Яковлевной Мандельштам // Континент. Москва; Париж, 1982. № 31. С. 393–404.

¹⁵⁶ Иницирующие эти издания переговоры с владельцем издательства «Согласие» В.В. Михальским были в свое время предприняты от имени Мандельштамовского общества пишущим эти строки; по достижении принципиального согласия конкретные переговоры вел Ю.Л. Фрейдлин.

¹⁵⁷ Она состоит из двух частей: первая («Мы») — это несколько глав из «Второй книги», вторая — «Гибельный путь» — это большая часть «Воспоминаний», кончающихся, как и у автора, главкой «Еще один рассказ», после которой неожиданно вновь возникают фрагменты из «Второй книги» (главки «Этапы моей жизни», «Годы молчания» и «Последнее письмо»).

¹⁵⁸ В 1969 г. вышел третий том американского Собрания сочинений, а в 1971 г. закончилось переиздание первых двух томов.

¹⁵⁹ О ходе и результатах ее текстологической работы см. статьи: *Богатырева С.И.* «Завещание» (Вопросы лит-ры. 1992. № 2. С. 260–262) и «Воля поэта и своеволие его вдовы: проблемы текстологии позднего Мандельштама» («Отдай меня, Воронеж...»). С. 360–377).

¹⁶⁰ См.: С. 259–260.

¹⁶¹ Стихотворение О.М. «Я скажу тебе с последней...» (1931).

¹⁶² См.: С. 260.

¹⁶³ См.: С. 263–264.

¹⁶⁴ См.: С. 265–266.

¹⁶⁵ См.: С. 267–268.

¹⁶⁶ См.: С. 268–269.

¹⁶⁷ См.: С. 613.

¹⁶⁸ См.: С. 804.

*Бабье лицо уставилось в стекло окна,
и по стеклу поползла жидкость слез,
будто баба их держала все время наготове.*

А. Платонов. Котлован

*Только то крепко, подо что кровь протечет.
Только забыли, негодяи, что крепко-то
оказывается не у тех, которые кровь прольют,
а у тех, чью кровь прольют.
Вот он — закон крови на земле.*

Ф. Достоевский
Из записных книжек¹

ВОСПОМИНАНИЯ

МАЙСКАЯ НОЧЬ

...Дав пощечину Алексею Толстому², О.М. немедленно вернулся в Москву и оттуда каждый день звонил по телефону Анне Андреевне и умолял ее приехать. Она медлила, он сердился. Уже собравшись и купив билет, она задумалась, стоя у окна. «Мóлитесь, чтобы вас миновала эта чаша?»³ — спросил Пунин, умный, желчный и блестящий человек. Это он, прогуливаясь с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал: «А теперь пойдем посмотреть, как вас повезут на казнь». Так появились стихи: «А после на дровнях, в сумерки, В навозном снегу тонуть. Какой сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь?»⁴ Но этого путешествия ей совершить не пришлось: «Вас придерживают под самый конец», — говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передергивалось тиком. Но под конец ее забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина.

На вокзал встречать Анну Андреевну поехал Лева — он в те дни гостил у нас. Мы напрасно передоверили ему это несложное дело — он, конечно, умудрился пропустить мать, и она огорчилась: все шло не так, как обычно. В тот год Анна Андреевна часто к нам ездила и еще на вокзале привыкла слышать первые мандельштамовские шутки. Ей запомнилось сердитое «Вы ездите со скоростью Анны Карениной», когда однажды опоздал поезд, и — «Что вы таким водолазом вырядились?» — в Ленинграде шли дожди, и она приехала в ботиках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве солнце пекло во всю силу. Встречаясь, они становились веселыми и беззаботными, как мальчишка и девчонка, встретившиеся в Цехе

поэтов. «Цыц, — кричала я. — Не могу жить с попугаями!» Но в мае 1934 года они не успели развеселиться.

День тянулся мучительно долго. Вечером явился переводчик Бродский и засел так прочно, что его нельзя было сдвинуть с места. В доме хоть шаром покати — никакой еды. О.М. отправился к соседям раздобыть что-нибудь на ужин Анне Андреевне... Бродский устремился за ним, а мы-то надеялись, что, оставшись без хозяина, он увянет и уйдет. Вскоре О.М. вернулся с добычей — одно яйцо, но от Бродского не избавился. Снова засев в кресло, Бродский продолжал перечислять любимые стихи своих любимых поэтов — Случевского и Полонского, а знал он поэзию и нашу, и французскую до последней ниточки. Так он сидел, цитировал и вспоминал, а мы поняли причину этой назойливости лишь после полуночи.

Приезжая, Анна Андреевна останавливалась у нас в маленькой кухоньке — газа еще не провели, и я готовила нечто вроде обеда в коридоре на керосинке, а бездействующая газовая плита из уважения к госте покрывалась клеенкой и маскировалась под стол. Кухню прозвали капищем. «Что вы валяетесь, как идолище в своем капище? — спросил раз Нарбут, заглянув на кухню к Анне Андреевне. — Пошли бы лучше на какое-нибудь заседание, посидели...» Так кухня стала капищем, и мы сидели там вдвоем, предоставив О.М. на растерзание стихолюбивому Бродскому, когда внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук.

«Это за Осей», — сказала я и пошла открывать.

За дверью стояли мужчины, — мне показалось, что их много, — все в штатских пальто. На какую-то ничтожную долю секунды вспыхнула надежда, что это еще не то: глаз не заметил форменной одежды, скрытой под коверкотовыми пальто. В сущности, эти коверкотовые пальто тоже служили формой, только маскировочной, как некогда гороховые, но я этого еще не знала. Надежда тотчас рассеялась, как только незванные гости переступили порог.

Я по привычке ждала «Здравствуйте!», или «Это квартира Мандельштама?», или «Дома?», или, наконец, «Примите телеграмму»... Ведь посетитель обычно переговаривается через порог с тем, кто открыл дверь, и ждет, чтобы открывший посторонился и пропустил его в дом. Но ночные посетители нашей

эпохи не придерживались этого церемониала, как, вероятно, любые агенты тайной полиции во всем мире и во все времена. Не спросив ни о чем, ничего не дожидаясь, не задержавшись на пороге ни единого мига, они с неслыханной ловкостью и быстротой проникли, отстранив, но не толкнув меня, в переднюю, и квартира сразу наполнилась людьми. Уже проверяли документы и привычным, точным и хорошо разработанным движением гладили нас по бедрам, прощупывая карманы, чтобы проверить, не припрятано ли оружие.

Из большой комнаты вышел О.М. «Вы за мной?» — спросил он. Невысокий агент, почти улыбнувшись, посмотрел на него: «Ваши документы». О.М. вынул из кармана паспорт. Проверив, чекист предъявил ему ордер. О.М. прочел и кивнул.

На их языке это называлось «ночная операция». Как я потом узнала, все они твердо верили, что в любую ночь и в любом из наших домов они могут встретиться с сопротивлением. В их среде для поддержания духа муссировались романтические легенды о ночных опасностях. Я сама слышала рассказ о том, как Бабель, отстреливаясь, опасно ранил одного из «наших», как выразилась повествовательница, дочь крупного чекиста, выдвинувшегося в 37 году.

Для нее эти легенды были связаны с беспокойством за ушедшего на «ночную работу» отца, добряка и баловника, который так любил детей и животных, что дома всегда держал на коленях кошку, а дочурку учил никогда не признаваться в своей вине и на все упрямо отвечать «нет». Этот уютный человек с кошкой не мог простить подследственным, что они почему-то признавались во всех возводимых на них обвинениях. «Зачем они это делали? — повторяла дочь за отцом. — Ведь этим они подводили и себя, и нас!..» А «мы» означало тех, кто по ночам приходил с ордерами, допрашивал и выносил приговоры, передавая в часы досуга своим друзьям увлекательные рассказы о ночных опасностях. А мне чекистские легенды о ночных страстях напоминают о крошечной дырочке в черепе осторожного, умного, высоколобого Бабеля, который в жизни, вероятно, не держал в руках пистолета.

В наши притихшие, нищие дома они входили, как в разбойничьи притоны, как в хазу, как в тайные лаборатории, где карбонарии в масках изготавливают динамит и собираются

оказать вооруженное сопротивление. К нам они вошли в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая 1934 года⁵.

Проверив документы, предъявив ордер и убедившись, что сопротивления не будет, приступили к обыску. Бродский грузно опустился в кресло и застыл. Огромный, похожий на деревянную скульптуру какого-то чересчур дикого народа, он сидел и сопел, сопел и храпел, храпел и сидел. Вид у него был злой и обиженный. Я случайно к нему с чем-то обратилась, попросила, кажется, найти на полках книги, чтобы дать с собой О.М., но он отругнулся: «Пускай Мандельштам сам ищет», — и снова засопел. Под утро, когда мы уже свободно ходили по комнатам и усталые чекисты даже не скашивали нам вслед глаза, Бродский вдруг очнулся, поднял, как школьник, руку и попросил разрешения выйти в уборную. Чин, распорядившись обыском, насмешливо на него поглядел: «Можете идти домой», — сказал он. «Что?» — удивленно переспросил Бродский. «Домой», — повторил чекист и отвернулся. Чины презирали своих штатских помощников, а Бродский был, вероятно, к нам подсажен, чтобы мы, услышав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей⁶.

ВЫЕМКА

О.М. часто повторял хлебниковские строчки: «Участок великая вещь! Это место свидания меня и государства...»⁷ Но эта форма встречи чересчур невинна — ведь Хлебников рассказал о заурядной проверке документов у подозрительного бродяги, то есть о почти классических отношениях государства и поэта. Наше свидание с государством происходило по другому и более высокому рангу.

Незванные гости, действуя по строгому ритуалу, сразу, без сговора, распределили между собой роли. Всего их было пятеро — трое агентов и двое понятых⁸. Понятые развалились на стульях в передней и задремали. Через три года — в тридцать седьмом — они, наверное, храпели от усталости. Какая хартия обеспечила нам право на присутствие понятых при обыске и аресте? Кто из нас еще помнит, что именно эта сонливая парочка понятых обеспечивает гражданам общественный

контроль над законностью ареста: ведь ни один человек не исчезал у нас во тьме и мраке без ордера и понятых. В этом наша дань правовым понятиям прошлых веков.

Присутствовать при аресте в качестве общественного контроля стало у нас почти профессией. В каждом большом доме для этого будили одних и тех же заранее намеченных людей, а в провинции двое понятых обслуживали целую улицу или квартал. Они жили двойной жизнью: днем числились служащими домоуправления — слесарями, дворниками, водопроводчиками — не потому ли у нас всегда текут краны? — а по ночам в случае надобности торчали до утра в чужих квартирах. На их содержание шла часть нашей квартирной платы — это ведь тоже расходы по содержанию дома. А как расценивалась их ночная работа, мне знать не дано.

Старший из агентов занялся сундучком с архивом, а двое младших обыском. Тупость их работы бросалась в глаза. Действовали они по инструкции, то есть искали там, где, как принято думать, хитрецы прячут тайные документы и рукописи. Они перетряхивали одну за другой книги, заглядывали под корешок, портили надрезами переплеты, интересовались потайными — кто не знает этих тайн? — ящиками в столах, топтались вокруг карманов и кроватей. Запрятать бы рукопись в любую кастрюлю, она бы там пролежала до скончания века. Или еще лучше просто положить на обеденный стол...

Из двух младших я запомнила одного — молодого, ухмыляющегося, толсторожего. Он перебирал книги, умиляясь старым переплетам, и уговаривал нас поменьше курить. Вместо вредного табака он предлагал леденцы в жестянке, которую вынимал из кармана форменных брюк.

Сейчас один мой добрый знакомый, писатель, деятель ССП, усиленно собирает книги, хвастается старыми переплетами и букинистическими находками — Саша Черный и Северянин в первоизданиях — и все предлагает мне леденец из жестяной коробочки, хранящейся в кармане отличных узеньких брюк, сделанных на заказ в самом закрытом литературном ателье. Этот писатель в тридцатых годах занимал какое-то скромное место в органах, а потом благополучно спланировал в литературу. И эти два образа — пожилого писателя конца пятидесятых годов и юного агента тридцатых — сливаются у меня в один.

Мне кажется, что молодой любитель леденцов переменял профессию, вышел в люди, ходит в штатском, решает нравственные проблемы, как полагается писателю, и продолжает угощать меня из той же корбочки.

Этот жест — угощение леденцами — повторялся во многих домах и при многих обысках. Неужели и он входил в ритуал, как способы входа в дом, проверка паспортов, ощупывание людей в поисках оружия и выстукивание потайных ящиков? Нас обеспечили процедурой, обдуманной до мельчайших деталей и ничуть не похожей на безумные обыски первых дней революции и Гражданской войны. А что страшнее, я сказать не могу.

Старший чин, невысокий, сухопарый, молчаливый блондин, присев на корточки, перебирал в сундучке бумаги. Действовал он медленно, внимательно, досконально. К нам прислали, вернее, нас почтили вполне квалифицированными работниками литературного сектора. Говорят, этот сектор входит в третье отделение, но мой знакомый писатель в узеньких брючках, тот, что угощает леденцами, с пеной у рта доказывает, что то отделение, которое ведает нами, считается не то вторым, не то четвертым⁹. Роли это не играет, но соблюдение некоторых административно-полицейских традиций вполне в духе сталинской эпохи.

Каждая просмотренная бумажка из сундука шла либо на стул, где постепенно вырастала куча, предназначенная для выемки, либо бросалась на пол. По характеру отбора бумаг можно всегда сообразить, на чем собираются строить обвинение, поэтому я навязалась чину в консультанты, читала трудный почерк О.М., датировала рукописи и отбивала все, что можно, например хранившуюся у нас поэму Пяста и черновики сонетов Петрарки¹⁰. Мы все заметили, что чин интересуется рукописями стихов последних лет. Он показал О.М. черновик «Волка»¹¹ и, нахмутив брови, прочел вполголоса этот стишок от начала до конца, а потом выхватил шуточные стихи про управдома, разбившего в квартире недовольный орган¹². «Про что это?» — недоуменно спросил чин, бросая рукопись на стул. «А в самом деле, — сказал О.М., — про что?»

Вся разница между двумя периодами — до и после 37 года — сказалась на характере пережитых нами обысков.

В 38-м никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О.М. В 38-м вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34-м — всю ночь до утра.

Но оба раза, видя, как я собираю вещи, шутливо — по инструкции! — говорили: «Что даете столько вещей? Зачем? Разве он у нас долго собирается гостить? Поговорят и выпустят...» Таковы были остатки эпохи «высокого гуманизма» — двадцатых и начала тридцатых годов. «Я и не знал, что мы были в лапах у гуманистов», — сказал О.М. зимой 37/38 года, читая в газете, как поносят Ягоду, который, мол, вместо лагерей устраивал настоящие санатории...¹³

Яйцо, принесенное для Анны Андреевны, лежало нетронутым на столе. Все — у нас находился еще и Евгений Эмильевич, брат О.М., недавно приехавший из Ленинграда, — ходили по комнатам и разговаривали, стараясь не обращать внимания на людей, рывшихся в наших вещах. Вдруг Анна Андреевна сказала, чтобы О.М. перед уходом поел, и протянула ему яйцо. Он согласился, присел к столу, посолил и съел... А куча бумаг на стуле и на полу продолжала расти. Мы старались не топтать рукописей, но для пришельцев это было трин-трава.

И я очень жалею, что среди бумаг, украденных вдовой Рудакова¹⁴, пропали черновики стихов десятых и двадцатых годов — они для выемки не предназначались и потому лежали на полу — с великолепно отпечатавшимися каблуками солдатских сапог. Я очень дорожила этими листочками и поэтому отдала их на хранение в место, которое считала самым надежным, — преданному юноше Рудакову. В Воронеже, где он пробыл года полтора в ссылке¹⁵, мы делились с ним каждым куском хлеба, потому что он сидел без всякого заработка. Вернувшись в Ленинград, он охотно принял на хранение и архив Гумилева, который доверчиво отвезла ему на саночках Анна Андреевна¹⁶. Ни я, ни она рукописей больше не увидели. Изредка до нее доходят слухи, что кто-то купил хорошо известные ей письма из этого архива¹⁷.

«Осип, я тебе завидую, — говорил Гумилев, — ты умрешь на чердаке». Пророческие стихи к этому времени были уже написаны¹⁸, но оба не хотели верить собственным предсказаниям и тешили себя французским вариантом злосчастной судьбы поэта¹⁹. А ведь поэт — это и есть человек, просто человек, и с ним должно случиться самое обычное, самое заурядное, самое характерное для страны и эпохи, что подстерегает всех и каждого. Не блеск и ужас индивидуальной судьбы, а простой путь «с гурьбой и гуртом»²⁰. Смерть на чердаке не для нашего времени.

Во время кампании в защиту Сакко и Ванцетти — мы жили тогда в Царском Селе — О.М. через одного церковника передал на церковные верхи свое предложение, чтобы церковь тоже организовала протест против этой казни. Ответ последовал незамедлительно: церковь согласна выступить в защиту казнимых при условии, что О.М. обязуется организовать защиту и протест, если что-нибудь подобное произойдет с кем-либо из русских священников. О.М. ахнул и тут же признал себя побежденным. Это был один из первых уроков, полученных О.М. в те дни, когда он пытался примириться с действительностью.

Наступило утро четырнадцатого мая. Все гости, званые и незваные, ушли. Незваные увели с собой хозяина дома. Мы остались с глазу на глаз с Анной Андреевной, вдвоем в пустой квартире, хранившей следы ночного дебоша. Кажется, мы просто сидели друг против друга и молчали. Спать, во всяком случае, мы не ложились и чаю выпить не догадались. Мы ждали часа, когда можно будет, не обращая на себя внимания, выйти из дома. Зачем? куда? к кому? Жизнь продолжалась... Вероятно, мы были похожи на утопленниц. Да простит мне Бог эту литературную реминисценцию — ни о какой литературе мы тогда не думали.

УТРЕННИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Мы никогда не спрашивали, услышав про очередной арест: «За что его взяли?» Но таких, как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит, меня

не возьмут, потому что не за что! Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста — «Она ведь действительно контрабандистка», «Он такое себе позволял», «Я сам слышал, как он сказал...». И еще: «Надо было этого ожидать — у него такой ужасный характер», «Мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке», «Это совершенно чужой человек»... Всего этого казалось достаточно для ареста и уничтожения: чужой, болтливый, противный... Все это вариации одной темы, прозвучавшей еще в семнадцатом году: «не наш»... И общественное мнение, и карающие органы придумывали лихие вариации и подбрасывали щепки в огонь, без которого нет дыма. Вот почему вопрос: «За что его взяли?» — стал для нас запретным. «За что? — яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал этот вопрос. — Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что...»

Но когда увели О.М., мы с Анной Андреевной все же задали себе этот самый запретный вопрос: за что? Для ареста Мандельштама было сколько угодно оснований по нашим, разумеется, правовым нормам. Его могли взять вообще за стихи и за высказывания о литературе или за конкретное стихотворение о Сталине. Могли арестовать его и за пощечину Толстому.

Получив пощечину, Толстой во весь голос при свидетелях кричал, что закроет для Мандельштама все издательства, не даст ему печататься, вышлет его из Москвы... В тот же день, как нам сказали, Толстой выехал в Москву жаловаться на обидчика главе советской литературы — Горькому. Вскоре до нас дошла фраза: «Мы ему покажем, как бить русских писателей...» Эту фразу безоговорочно приписывали Горькому. Сейчас меня убеждают, что Горький этого сказать не мог и был совсем не таким, как мы его себе тогда представляли. Есть широкая тенденция сделать из Горького мученика сталинского режима, борца за свободомыслие и за интеллигенцию. Судить не берусь и верю, что у Горького были крупные разногласия с хозяином и что он был здорово зажат. Но из этого никак не следует, чтобы Горький отказался поддержать Толстого против писателя типа О.М., глубоко ему враждебного и чуждого. А чтобы узнать отношение Горького к свободной мысли, достаточно прочесть его статьи, выступления и книги.

Так или иначе, мы возлагали все надежды на то, что арест вызван мстью за пощечину «русскому писателю» Алексею Толстому. Как бы ни оформлять такое дело, оно грозило только высылкой, а этого мы не боялись. Высылки и ссылки стали у нас бытовым явлением²¹. В годы передышки, когда террор не бушевал, весной — обычно в мае — и осенью происходили довольно широкие аресты, преимущественно среди интеллигенции. Они отвлекали внимание от очередных хозяйственных неудач. Бесследных исчезновений в ту пору еще почти не бывало: люди из ссылки писали; отбыв свой срок, они возвращались и снова уезжали.

Андрей Белый, с которым мы встретились в Коктебеле летом 33 года, говорил, что не успевают посылать телеграммы и писать письма своим друзьям-«возвращенцам». Очевидно, в 27 или в 29 году метла прошла по теософским кругам и дала массовое возвращение в 33-м... А к нам весной до ареста О.М. вернулся Пяст...²² «Возвращенцы» после трех или пяти лет отсутствия селились в маленьких городках стоверстной зоны. Раз все «уезжают», чем же мы лучше? Незадолго до ареста, услышав, что О.М. ведет вольные разговоры с какими-то посторонними людьми, я напомнила: «Май на носу — ты бы осторожнее!» О.М. отмахнулся: «Чего там? Ну, вышлют... Пусть другие боятся, а нам-то что!..» И мы действительно почему-то не боялись высылки.

Другое дело, если б обнаружили стихи про Сталина. Вот о чем думал О.М., когда, уходя, поцеловал на прощание Анну Андреевну. Никто не сомневался, что за эти стихи он заплатит жизнью. Именно поэтому мы так внимательно следили за чекистами, стараясь понять, чего они ищут. «Волчий» же цикл особых бед не сулил — в крайнем случае лагерь...

Как будут квалифицировать все эти потенциальные обвинения? Не все ли равно! Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права, наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли. Караящие органы действовали точно, осмотрительно и уверенно. У них было много целей — искоренение свидетелей, способных что-то запомнить, установление единомыслия, подготовка прихода тысячелетнего царства и прочее, и прочее... Людей снимали пластами по категориям (возраст тоже принимался

во внимание): церковники, мистики, ученые-идеалисты, остроумцы, слушники, мыслители, болтуны, молчальники, спорщики, люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идеями, да еще инженеры, техники и агрономы, потому что появилось понятие «вредитель», которым объяснялись все неудачи и просчеты.

«Не носите эту шляпу, — говорил О.М. Борису Кузину, — нельзя выделяться — это плохо кончится». И это действительно плохо кончилось. Но, к счастью, отношение к шляпам переменялось, когда решили, что советские ученые должны одеваться еще лучше западных пижонов, и Борис Сергеевич, отсидев свой срок, получил вполне приличный научный пост. Шляпа — шутка, а голова под шляпой действительно определяла судьбу.

Люди искореняющей профессии придумали поговорку: «Был бы человек — дело найдется». Впервые мы ее услышали в Ялте (1928) от Фурманова, брата писателя. Чекист, которому только что удалось спланировать в кинематографию, но через жену еще связанный с этим учреждением, он кое-что в этом понимал. В пансиончике, где большинство лечилось от туберкулеза, а Фурманов укреплял морским воздухом расшатанные нервы, жил добродушный и веселый нэпман. Он быстро сошелся с Фурмановым, и они оба придумали игру в «следствие», которая своей реальностью щекотала им нервы. Фурманов, иллюстрируя поговорку про человека и дело, проводил допрос дрожащего нэпмана, и тот неизбежно запутывался в сети хитроумных расширительных толкований каждого слова. К тому времени сравнительно небольшой круг до конца, то есть на собственном опыте, познал особенности нашего правосудия: через горнило проходили только перечисленные мною выше категории людей, иначе говоря, те, у кого под шляпой была голова, да еще те, у кого изымали ценности, и нэпманы, то есть предприниматели, поверившие в новую экономическую политику.

Вот почему никто, кроме О.М., не обращал внимания на забавы бывшего следователя и игра в кошки-мышки проходила незамеченной. Не заметила бы ее и я, если б О.М. не сказал мне: «Ты только послушай...» У меня ощущение, будто О.М. специально показывал мне все то, что он хотел,

чтобы я запомнила... Фурмановская игра дала нам кое-какое первое понятие о судопроизводстве в нашем еще только становящемся государстве. В основе судопроизводства лежала диалектика и великая стабильная мысль: «Кто не с нами, тот против нас».

Анна Андреевна, с первых дней настороженно следившая за жизнью, знала больше меня. Вдвоем в разгромленной ночным обыском квартире мы перебирали все возможности и гадали о будущем, но слов при этом мы почти не произносили... «Вам нужно беречь силы», — сказала Анна Андреевна... Это значило, что нужно готовиться к долгому ожиданию: сплошь и рядом люди сидели по многу недель или месяцев, а то и больше года, пока их не высылали или не уничтожали. Этого требовало оформление дела. От оформления отказываться не собирались и упорно фиксировали весь бред на бумаге... Неужели они действительно считали, что потомки, разбирая архивы, будут так же слепо верить всему, как обезумевшие современники? А может, просто работал бюрократический инстинкт, чернильный дьявол, который кормится не законом, а постановлением и поглощает тонны бумаги? Впрочем, законы тоже бывают разные...

Для семьи арестованного период ожидания заполнялся хлопотами — О.М. назвал их в «Четвертой прозе» «невесомыми интегральными ходами», — добыванием денег и стоянием в очередях с передачами. По длине очередей мы знали, на каком мы свете. В 34 году они были небольшие. Я должна была беречь силы, чтобы пройти по всем путям, уже протоптанным другими женами. Но у меня в ту майскую ночь наметилась еще одна задача, и ради нее я жила и живу: изменить судьбу О.М. было не в моих силах, но часть рукописей уцелела, многое сохранилось в памяти — только я могла все это спасти, а для этого стоило беречь силы.

Из оцепенения нас вывел приход Левы. В ту ночь из-за приезда Анны Андреевны его увели ночевать к себе Ардовы — у нас негде было разместиться. Зная, что О.М. встает рано, Лева явился чуть свет, чтобы выпить с ним чаю, и на пороге выслушал новость.

Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец, где бы он ни появлялся в те годы, все приходило в движение. Люди

чувствовали заложенную в нем динамическую бродильную силу и понимали, что он обречен. А наш дом оказался зачумленным и гибельным для всех, кто подвержен инфекции. Вот почему при виде Левы я испытала настоящий приступ ужаса: «Уходите, — сказала я, — уходите скорей — ночью забрали Осю».

И Лева покорно ушел. Так было у нас принято.

ВТОРОЙ ТУР

Мы разбудили телефонным звонком Евгения Яковлевича, моего брата, и он со сна выслушал нашу новость. Разумеется, мы не произнесли при этом ни одного из недозволенных слов, вроде «арестовали», «забрали», «посадили»... У нас выработался особый код, и мы отлично понимали друг друга, не называя ничего по имени. Вскоре Женя и Эмма Герштейн были у нас. Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому — кто с базарной корзиной в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива. Но какой-то инстинкт подсказал нам, что всего уносить не следует. Мало того, вся куча бумаг так и осталась на полу. «Не трогайте», — сказала мне Анна Андреевна, когда я открыла сундучок, чтобы спрятать туда эту красноречивую грудку бумаг, и я послушалась, сама не зная почему... Попросту я верила в ее чутье...

В тот же день, когда после беготни по городу мы с Анной Андреевной вернулись домой, снова раздался стук, на этот раз довольно деликатный, и я опять впустила незваного гостя. Это был главный ночной чин. Он с удовлетворением поглядел на рукописи, валявшиеся на полу: «А вы еще даже не прибирали», — и тут же приступил к вторичному обыску. На этот раз он явился один, интересовался только сундучком, а в нем только рукописями стихов; на прозу он даже не глядел.

Узнав о вторичном обыске, Евгений Яковлевич, самый сдержанный и молчаливый человек на свете, насутился и сказал: «Если они явятся еще раз, они уведут вас обеих с собой».

Чем объяснить второй обыск и вторую выемку? Мы с Анной Андреевной обменялись взглядами — для советских людей этого достаточно, чтобы понять друг друга. Очевидно,

следователь успел уже просмотреть изъятые ночью рукописи — времени для этого понадобилось немного, так как стихи необъемны, — и не нашел того, что ему было нужно²³. Поэтому он послал произвести дополнительные розыски, боясь, что в ночной спешке нечаянно пропустили нужную бумажку. Из этого легко сделать вывод, что поиски были целеустремленные и стихами вроде «Волка» довольствоваться не хотят. Но той рукописи, которой они интересовались, в сундуке не было — ни я, ни О.М. этих стихов не записывали²⁴. И я не стала навязываться в консультанты, но обе мы спокойно пили чай, искоса поглядывая на гостя.

Чин явился буквально через двадцать минут после нашего возвращения. Следовательно, его об этом известили. Кто же? Это мог быть агент, живущий в доме, любой сосед, получивший распоряжение следить за нами, или «Вася», торчавший на улице. Тогда мы еще не научились распознавать так называемых «Вась». Опыт пришел позже, когда мы нагляделись, как они, ничуть не скрываясь, делают стойку перед домом Анны Андреевны. Почему они не таились и были так грубо откровенны? Плохая работа, до непристойности топорная, или тоже до непристойности топорное застращивание?

Вероятно, и то и другое. Всем своим поведением они говорили: вам никуда не спрятаться, над вами бдят, мы всегда с вами... Не раз добрые знакомые, которых мы ни в чем не подозревали, бросали нам какую-нибудь фразу, давая понять, кто они и почему почтили нас своей дружбой. Должно быть, эта откровенность входила в общую воспитательную систему, потому что после такой приоткрывающей горизонты фразы язык у нас присыхал к гортани и мы становились тише воды, ниже травы.

А мне, например, часто подносили советы не таскать за собой остатки рукописей О.М., забыть про прошлое, не рваться в Москву: «Вас одобряют, что вы живете в Ташкенте...» Спрашивать, кто одобряет, не стоило. На такой вопрос отвечали улыбкой. Намеки, фразочки с улыбкой и темные речи вызывали во мне бешеное сопротивление: а вдруг все это праздная болтовня паршивого человечка, ничего не знающего, а просто стилизующегося под главные силы эпохи? Таких стилизаторов было сколько угодно.

Но случались и другие вещи. В том же Ташкенте, когда я жила с Анной Андреевной, мы нередко, вернувшись домой, находили полную чужими окурками пепельницу, неизвестно откуда появившуюся книгу, журнал или газету, а раз я обнаружила на обеденном столе до отвращения яркую губную помаду, а рядом с ней ручное зеркало, перекочевавшее сюда из другой комнаты. В ящиках и чемоданах возникал иногда такой беспорядок, что не заметить его было невозможно. По инструкции оставлялись эти следы или это просто забавлялись те, кому поручили порыться у нас в чемоданах? Веселый смех и — «А ну-ка, пускай полюбуются!». Оба варианта вполне допустимы... Отчего, собственно, не пострадать нас, чтобы мы не зазнавались?.. Меня, впрочем, стращали гораздо меньше, чем Анну Андреевну...

Что же касается тех, кого мы называли «Васями», то я особенно хорошо запомнила одного, уже послевоенного. Дни стояли морозные, и он отогревался, топая ногами и бурно, поизвозчишь, размахивая руками. Несколько дней подряд, выходя из дому с Анной Андреевной, мы стыдливо пробегали мимо пляшущего «Васи». Потом на его месте появился другой, уже не столь темпераментный.

А в другой раз, когда мы шли по внутреннему дворику Фонтанного дома, позади нас вспыхнул магний — нас сфотографировали, решили, видно, узнать, кто приехал к опальной женщине. Чтобы попасть в этот внутренний дворик, надо было насквозь пройти через вестибюль главного здания. У дверей, выходящих во двор, стоял контроль. В день магниевой вспышки нас почему-то очень долго задерживали у входа. Предлог для задержки звучал идиотически: потеряли ключ или что-то в этом роде... Неужели фотосыщик начал заряжать аппарат, только когда его известили о нашем возвращении? Все это происходило незадолго до постановления об Ахматовой и Зощенко, и у меня пробегал мороз по коже от знаков особого внимания к моей подруге.

Лично мне такого внимания не уделяли: индивидуально-го наблюдения я почти не удостоивалась. Возле меня обычно копошились не агенты, а вульгарные стукачи. Только однажды в Ташкенте Лариса Глазунова, дочь крупного работника органов²⁵, предостерегла меня против одной из моих частных

учениц, рекомендованной студенткой физмата: «Она только у вас хочет учиться...» Лариса случайно столкнулась с ней на моем пороге и объяснила, что эта девушка работает «у папы». Я успокоила Ларису, что мне это давно ясно: милая моя ученица никогда не приходила в назначенное время и все норовила застигнуть меня врасплох, чтобы извиниться и сказать, что очень, мол, занята и урок просит отложить... Кроме того, у нее были характерные повадки мелких сыщиков, и она никак не могла удержаться, чтобы не скопировать след за мной глаза, когда я двигалась по комнате. Нетрудно было понять, зачем ей понадобились уроки, которых она и не брала... Разоблаченная Ларисой сыщица быстро исчезла, а навязавшая мне ее в ученицы студентка, неплохая, но, видно, попавшаяся в сети девушка, явно переживала драму и все пыталась со мной объясниться. От объяснений я кое-как уклонилась, но навсегда запомнила, как сыщица ахала и повторяла: «Я обожаю Ахматову и вашего супруга...»²⁶ В этой среде мужей называли супругами. Супругами — какой добродетельный звук! — а в чекистской — «товарищами»...

Но все это происходило позже, а к 34 году мы даже не придумали слова «Вася» и так и не догадались, кто информировал чекиста о том, что мы уже вернулись домой.

БАЗАРНЫЕ КОРЗИНКИ

Чин, вторично рывшийся в сундучке и снова перебиранный рукописи, даже не заметил исчезновения поэм Пяста, а именно это могло выдать ему, что мы тоже успели произвести выемку. Хитрость Анны Андреевны, посоветовавшей мне не убирать комнату, удалась — сложи я бумаги в сундук, чекист мог бы настрожиться.

Поэмы Пяста были огромные. Именно их-то и пришлось выносить в базарных корзинках. Делились они на главы, называвшиеся «отрывками». О.М. поэмы нравились, быть может, потому, что в них проклинались законные жены. У Пяста жена называлась «венчанной», и он не хотел с нею жить. Очутившись чуть ли не впервые в нормальной, хотя и крохотной квартирке, О.М. тоже захотел взбунтоваться против тягот семейной жизни

и бурно расхваливал Пяста. Заметив его восторг, я спросила: «А у тебя кто венчанная? Уж не я ли?»

Подумать только, что и у нас могла быть обыкновенная жизнь с разбитыми сердцами, скандалами и разводами! Есть же на свете безумцы, которые не знают, что именно это и есть нормальная человеческая жизнь и к ней надо всеми силами стремиться. Чего только не отдашь за такую драму!

Пяст вручил мне на хранение две поэмы, переписанные от руки, — машинка стоила дорого, не по карману ни нам, ни ему. Это был единственный перебеленный, как говорили в старину, экземпляр. Пяст не поверил, как я ни старалась убедить его, что худшего места для хранения найти нельзя. После ссылки ему показалось, что у нас устойчивый, благополучный, спокойный дом — почти крепость. Увидав «отрывы» в руках ночного гостя, О.М. горько вздохнул от жалости: что будет с Пястом! И тут в меня «вошла такая сила», как сказала Анна Андреевна, что я отбила у чина и чуть не сохранила для потомства проклятия «венчанным» и прославления незаконным красавицам, Пястовым великаншам, потому что он прельщался только женщинами гренадерского роста. Последнюю из великанш²⁷ он приводил к нам слушать «отрывы». Сохранила ли она его рукопись? Кажется, она интересовалась не Пястом, а гонорарами за переводы Рабле²⁸, которые Пяст тогда выколачивал из Госиздата. Помнится, Пяст тогда жаловался на капризы падчерицы, а она, как мне говорили, живет где-то далеко и дружески вспоминает своего чудаковатого отчима. Не у нее ли спасенные мной Пястовы поэмы?²⁹

А до ареста О.М. к нам все ходили милиционеры: Пяст дал наш адрес, регистрируясь в милиции и получая разрешение провести несколько дней в Москве для устройства своих литературных дел. Срок истек, и его гнали из запрещенной в дозволенную зону. Хорошо, что он не попался у нас во время обысков³⁰, а это бы случилось, если б его не спугнули милиционеры. Попадись он «чину», его могли бы изъять вместе с рукописями. Ему просто повезло. А вторая Пястова удача, что он не дождался повторных арестов и умер в какой-то разрешенной Чухломе от рака, в собственной постели или на больничной койке³¹. Как и семейные драмы, это и есть нормальная жизнь, а следовательно, счастье. Чтобы понять это, надо пройти большую школу.

Из рукописей О.М. мы спасли небольшую кучку черновиков разных лет. С тех пор они никогда уже не находились дома. Я привозила их в Воронеж небольшими пачками, чтобы установить тексты и составить полные списки ненапечатанных стихов. Эту работу мы постепенно проделали с О.М., который внезапно переменил свое отношение к рукописям и к бумагам. Раньше он их знать не хотел и всегда сердился, что я их не уничтожаю, а бросаю в мамин желтый заграничный сундучок. Но после обыска он понял, что легче сохранить рукопись, чем человека, и перестал надеяться на свою память, которая, как известно, погибает вместе с человеком.

Кое-что из этих рукописей сохранилось по сегодняшний день, но большая часть погибла во время двух арестов — что делали в недрах наших судилищ с бумагами, которые увозились сначала в портфелях, а потом в мешках? Что уж гадать о бумагах, когда мы не знаем, что там делали с людьми... То, что уцелели свидетели той эпохи и кучка рукописей, надо считать чудом.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХОДЫ

В третий раз не пришли, и нас не забрали. Мы предались обычному занятию тех, у кого забрали близких: хлопотали. После дневной беготни по городу мы измученные возвращались домой и вместо обеда открывали рублевую банку с кукурузными зернами.

Так продолжалось три дня. На четвертый из Киева приехала моя мать. Она ликвидировала там комнату, продала громоздкую семейную мебель и приехала доживать жизнь с зятем и дочкой, которые наконец-то обзавелись квартирой. Никто не встретил ее на вокзале, и она была злой и обиженной. Но все эти чувства испарились в тот миг, когда она узнала об аресте О.М. Тут в ней проснулась либеральная курсистка, знающая, как относиться к правительству и арестам. Она всплеснула руками, высказалась по поводу теории и практики большевизма, произвела инспекцию нашего хозяйства, заявила, что еще в ее время профессора объясняли пеллагру в Бессарабии злоупотреблением мамалыгой, вынула из нагрудного мешочка деньги

и побежала на базар. Наша беспризорность кончилась, и мы захлопотали еще энергичнее.

Николая Ивановича Бухарина я посетила в самые первые дни³². Услыхав мои новости, он переменялся в лице и забросал меня вопросами. Я не представляла себе, что он способен так волноваться. Он бегал по огромному кабинету и время от времени останавливался передо мной с очередным вопросом... «Было свидание?» Мне пришлось объяснить ему, что свиданий больше не бывает. Николай Иванович этого не знал. Как всякий теоретик, он не умел делать практических выводов из своей теории.

«Не написал ли он чего-нибудь сгоряча?» Я ответила — нет, так, отщепенские стихи, не страшнее того, что Николай Иванович знает... Я солгала. Мне до сих пор стыдно. Но скажи я тогда правду, у нас не было бы «воронежской передышки». Надо ли лгать? Можно ли лгать? Оправданна ли «ложь во спасение»? Хорошо жить в условиях, когда не приходится лгать. Есть ли такое место на земле?

Нам внушали с детства, что всюду ложь и лицемерие. Без лжи я не выжила бы в наши страшные дни. И я лгала всю жизнь — студентам, на службе, добрым знакомым, которым не вполне доверяла, а таких было большинство. И никто мне при этом не верил — это была обычная ложь нашей эпохи, нечто вроде стереотипной вежливости. Этой лжи я не стыжусь, а Николая Ивановича я ввела в заблуждение вполне сознательно, с холодным расчетом — нельзя отпугивать единственного защитника... И это другое дело... Но могла ли я не солгать?

Николай Иванович утверждал, что за пощечину Толстому арестовать не могли. Я настаивала, что арестовать можно за что угодно. Что же касается до статьи кодекса, то всегда применяется пятьдесят восьмая — чего уж удобнее?

Рассказ об угрозах Толстого и фраза «Мы ему покажем, как бить русских писателей» произвели на Николая Ивановича должное впечатление: он почти стонал. Этот человек, знавший царские тюрьмы и принципиальный сторонник революционного террора, в тот день с особой, вероятно, остротой почувствовал свое будущее³³.

В дни хлопот я часто заходила к Николаю Ивановичу. Короткова, которую О.М. назвал белочкой, грызущей орешек

с каждым посетителем («Четвертая проза»), встречала меня испуганным ласковым взглядом и тотчас бежала докладывать. Дверь кабинета распахивалась, и Николай Иванович выбегал из-за стола мне навстречу: «Ничего нового?.. И у меня нет... Никто ничего не знает...»

Это были наши последние встречи. Проездом из Чердыни в Воронеж я снова забежала в «Известия». «Какие страшные телеграммы вы присылали из Чердыни», — сказала Короткова и скрылась в кабинете. Вышла она оттуда чуть не плача: «Николай Иванович не хочет вас видеть... какие-то стихи...» Больше я его не видела. Эренбургу он впоследствии рассказал, что Ягода прочел ему наизусть стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступился. До этого он успел сделать все, что было в его силах, и ему мы обязаны пересмотром дела.

В период хлопот визит в «Известия» к Бухарину занимал не больше часа, а сама процедура хлопот требует непрерывной беготни по городу. Жены арестованных — численное превосходство даже после 37 года всегда оставалось в тюрьмах за мужчинами — проторили дорогу в Политический Красный Крест, к Пешковой. Туда ходили, в сущности, просто поболтать и отвести душу, и это давало иллюзию деятельности, столь необходимую в периоды тягостного ожидания. Влияния Красный Крест не имел никакого. Через него можно было изредка переслать в лагерь посылку или узнать об уже вынесенном приговоре и о совершившейся казни. В 37 году эту странную организацию ликвидировали, отрезав эту последнюю связь тюрьмы с внешним миром³⁴. Ведь самая идея помощи политзаключенным находится в явном противоречии со всем нашим укладом — сколько людей отправилось на каторгу и в одиночные камеры только потому, что были просто знакомы с людьми, подвергшимися каре? Закрытие Политического Красного Креста было вполне логичным делом, но с той поры семьи арестованных жили только слухами, часть которых распространялась специально для нашего устрашения.

Во главе этого учреждения с самого начала стояла Пешкова, но я пошла не к ней, а к ее помощнику, умнейшему человеку — Винаверу. Первый вопрос Винавера: какой чин рылся в сундуке? Тут я узнала, что чем выше чин главного ночного

гостя, тем серьезнее дело и тем страшнее предуготованная судьба. Об этой форме гадания я услышала впервые и потому не догадалась в ночь обыска посмотреть на нашивки. Винавер сообщил мне еще, что бытовые условия «внутри» вполне приличные — чистота и хороший стол. «Еда, наверное, лучше, чем у нас с вами дома...»

Винаверу не пришлось объяснять, что лучше впроголодь, да на воле и что в этой подлой тюремной «цивилизации» есть нечто непереносимо зловещее. Он и без меня все понимал и все знал. Несколько позже он сказал мне, чего нам ждать от будущего, и его предсказание исполнилось: у него был огромный опыт, и он умел делать из него выводы. К Винаверу я ходила как на службу, а потом всегда изведала его о переменах судьбы³⁵. Делала я это даже не для того, чтобы получить совет, а просто из потребности в общении с одним из последних людей, не утративших в нашей сумятице правового мышления и упорно, хотя и тщетно, боровшихся с насилием.

А хороший совет Винавер мог дать. Это он уговаривал меня внушить О.М. быть как можно менее активным, ни о чем не просить, вроде перевода, например, в другое место, ничем о себе не напоминать, прятаться, молчать, словом, притворяться покойником... «Чтобы не было ни одной новой бумажки с вашим именем. Лишь бы они про вас забыли...» По его мнению, это был единственный способ спастись или хотя на некоторый срок продлить жизнь.

Для себя Винавер этот рецепт использовать не мог и был все время на виду. В ежовщину он исчез³⁶. Про него ходят слухи, что он жил двойной жизнью и был не тем, за кого мы его принимали. Я этому не верю и никогда не поверю. Мне хотелось бы, чтобы потомство обелило его память. Мне известно, что подобного рода порочащие слухи нередко распускались самой Лубянкой про неугодных ей людей. Даже если в архивах хранятся какие-нибудь документы, чернящие Винавера, они не могут служить доказательством, что он предавал органам своих посетителей; даже если Пешкову убедили, что Винавер был поставлен шпионить за ней, нам этому верить нельзя. Сфабриковать документы не так трудно, люди в застенках подписывали чорт знает какой бред, напугать старуху стукачами и провокаторами ничего не стоит...

Но как будут историки восстанавливать истину, если всюду и везде на крупицу правды наслоились груды чудовищной лжи? Не предрассудков, не ошибок времени, а сознательной и обдуманной лжи?

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Анна Андреевна тоже погрузилась в так называемые хлопоты. Она добилась приема у Енукидзе. Тот внимательно ее выслушал и не проронил ни слова. Затем она побежала к Сейфуллиной, которая тотчас бросилась звонить к знакомому чекисту. «Лишь бы его не свели там с ума, — сказал «знакомый чекист», — наши на этот счет большие мастера...» На следующий день он сообщил Сейфуллиной, что навел справки — в это дело вмешиваться не следует... Почему?.. Ответа не последовало. У Сейфуллиной опустились руки.

У нас всегда опускались руки, когда нам советовали не вмешиваться в какое-нибудь дело, и мы тут же отступали. Удивительная черта нашей жизни: мои современники подавали петиции и просьбы, выражали свое мнение и действовали только после того, как выяснялось, что скажут по этому поводу «наверху». Все слишком остро ощущали свою беспомощность, чтобы действовать напролом и наперекор. «У меня такие дела не выходят», — говорил Эренбург, объясняя, почему он отказывается хлопотать по некоторым делам — о пенсиях, например, жилплощади и прописке. Ведь он мог только просить, но не настаивать...

Чего уж удобнее для начальства! Можно было остановить любое общественное выступление, намекнув, что «наверху» им будут недовольны. Этим пользовались и промежуточные, и высшие инстанции в своих целях и создавали неприкасаемые дела. Начиная со второй половины двадцатых годов «шепот общестственности» становился все более неуловимым и перестал претворяться в какие-либо действия. Все дела об арестах были, разумеется, «неприкасаемыми», хлопотать полагалось лишь членам семьи — то есть ходить к Пешковой, а потом в прокуратуру. Если кто-нибудь посторонний вязывался в хлопоты, это было не правилом, а исключением, и ему нужно за это воздать

должное. А в дело О.М. вмешиваться, конечно, не стоило — ведь в своих стихах он посягнул на слишком грозное лицо. Поэтому я ценю, что в хлопоты 34 года пожелал впутаться и Пастернак и пришел к нам с Анной Андреевной и спросил, куда ему обратиться. Я посоветовала пойти к Николаю Ивановичу Бухарину, потому что уже знала, как он отнесся к аресту О.М., и к Демьяну Бедному.

Демьяна я назвала не случайно. Через Пастернака я напоминала ему об обещании, данном в 1928 году. О.М. тогда случайно узнал на улице от своего однофамильца — Исаея Бенедиктовича Мандельштама — про пять банковских служащих, старых «спецов», как таких тогда называли, которых приговорили к расстрелу по обвинению не то в растрате, не то в бесхозяйственности. Неожиданно для себя и для своего собеседника и вопреки правилу не вмешиваться в чужие дела О.М. перевернул Москву и спас стариков. Эти хлопоты он упоминает в «Четвертой прозе»³⁷.

Среди прочих «интегральных ходов» он обратился к Демьяну Бедному. Свидание состоялось где-то на задворках «Международной Книги»³⁸. Страстный книжник, Демьян был постоянным посетителем этого магазина и, вероятно, там и встречался со своими знакомыми — к тому времени жившие в Кремле уже не смели никого к себе приглашать. Хлопотать за стариков Демьян наотрез отказался. «А вам-то какое дело до них?» — спросил он у О.М., узнав, что речь идет не о родственниках и даже не о знакомых. Но тут же добавил, что если что случится с самим О.М., он, Демьян, обязательно за него заступится.

Это обещание почему-то очень обрадовало О.М., хотя в ту пору у нас было твердое ощущение: «не тронут, не убьют»³⁹... Приехав в Ялту, он мне рассказал об этом разговоре: «Все-таки приятно... Обманет?.. Не думаю...» Вот почему в 34 году я посоветовала Пастернаку поговорить с Демьяном. Борис Леонидович позвонил ему едва ли не в первый день, когда у нас рылись вторично в сундуке, но Демьян как будто уже кое-что знал. «Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя», — сказал он Пастернаку...

Знал ли Демьян, что речь идет о стихах против человека с жирными пальцами, с которым ему уже пришлось столкнуться,

или ответил обычной советской формулой, означающей, что всегда лучше держаться подальше от зачумленных? Возможно и то и другое... Во всяком случае, Демьян сам уже был в немилости из-за своего книголюбия. Он имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев. Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Сталина эту выдержку из дневника⁴⁰. Предательство, кажется, не принесло ему пользы, а Демьян долго бедствовал и даже продал свою библиотеку⁴¹.

Когда его снова стали печатать, пятнадцатилетний наследственный срок уже истек⁴², да, кажется, еще последний брак не был оформлен, и я видела, как его наследник, испитой юноша, ходил к Суркову, чтобы именем отца вымалывать хоть какие-нибудь подачки. И при мне Сурков начисто ему во всем отказал⁴³. Это было последнее унижение Демьяна, уже в потопстве. А за что? Ведь Демьян работал на советскую власть не за страх, а за совесть. Чего уж мне удивляться, если меня время от времени пихают сапогами. Я-то уж, наверное, не заслужила ничего.

В середине мая 34 года Демьян и Пастернак встретились на каком-то собрании, вероятно организованном по поводу образования Союза писателей. Демьян вызвался отвезти Пастернака домой и, отпустив, насколько я помню, шофера, долго кружил по Москве. Тогда многие из наших деятелей еще не боялись разговаривать в машинах, а потом прошел слух, что в них тоже установили магнитофоны. Демьян говорил с Пастернаком о том, что «в русскую поэзию стреляют без промаха», и, между прочим, упомянул Маяковского. По мнению Демьяна, Маяковский погиб потому, что вторгся в область, где он, Демьян, чувствует себя как дома, но для Маяковского чуждую⁴⁴.

Наговорившись, Демьян отвез Пастернака не домой, а на Фурманов переулок, где, обезумев от двух обысков, сидели мы с Анной Андреевной.

А на съезде журналистов в те дни метался Балтрушайтис, умоляя всех одного за другим спасти О.М., и заклинал людей сделать это памятью погибшего Гумилева. Представляю себе, как звучали для слуха прожженных журналистов

тридцатых годов эти два имени, но Балтрушайтис был подданным другой страны, и ему не могли внушить, что «в это дело вмешиваться не рекомендуется»...

Балтрушайтис уже давно предчувствовал, какой конец ждет О.М. Еще в самом начале двадцатых годов (в 1921-м, до гибели Гумилева) он уговаривал О.М. принять литовское подданство. Это было возможно, потому что отец О.М. жил когда-то в Литве, а сам О.М. родился в Варшаве. О.М. даже собрал какие-то бумаги и снес показать их Балтрушайтису⁴⁵, но потом раздумал: ведь уйти от своей участи все равно нельзя и не надо даже пытаться...

Хлопоты и шумок, поднятые вокруг первого ареста О.М., сыграли, очевидно, какую-то роль, потому что дело обернулось не по трафарету. Так, по крайней мере, думает Анна Андреевна. Ведь в наших условиях даже эта крошечная реакция — легкий гул, шепоток — тоже представляет непривычное, удивительное явление. Но если проанализировать этот шумок, еще неизвестно, что бы в нем обнаружилось. По своей наивности я думала, что общественное мнение всегда стоит за слабого против сильного, за обиженного против обидчика, за жертву против зверя. Мне раскрыла глаза более современная Лида Багрицкая. В 38 году, когда арестовали ее друга Поступальского⁴⁶, она горько мне пожаловалась: «Раньше все было иначе... Вот когда забрали Осипа Эмильевича, одни были против, другие считали, что так и нужно. А теперь что? Своих забирают!»

Нельзя не оценить формулировку Лиды Багрицкой. Со спартанской прямоотой она выразила основной моральный закон тех, кому надлежало быть нашей интеллигенцией, а не в этом ли слое образуется общественное мнение? Деление на «своих» и «чужих» — тогда это называлось «чуждый элемент» — шло еще от Гражданской войны с ее неизбежным правилом: «Кто кого?» После победы и капитуляции победители всегда претендуют на награды, подачки и поблажки, а побежденные подлежат искоренению. Но тут-то и оказывается, что право состоять в категории «своих» не бывает ни наследственным, ни даже пожизненным. За это право велась и ведется непрерывная борьба, и вчерашний «свой» в один миг может скатиться в категорию чужих. Мало того: логически развиваясь, принцип деления на своих и чужих приводит к тому, что

каждый скатывающийся становится «чужим» именно потому, что он катится вниз. Тридцать седьмой год и все, что за ним последовало, возможны только в обществе, где идея деления дошла до своей последней фазы.

Обычно при очередной вести о чьем-нибудь аресте одни притихали и еще глубже зарывались в свою нору, которая, кстати, никого не спасала, а другие дружно улюлюкали. Моя приятельница Соня Вишневецкая в конце сороковых годов каждый день узнавала об арестах своих друзей. «Всюду измена и контрреволюция!» — восклицала она в ужасе. Так полагалось говорить тем, кому жилось получше и было что терять. Возможно, что в этом восклицании содержится заклинательная формула, вроде «чур-чур меня!»... Что нам оставалось делать, как не колдовать?..

СВИДАНИЕ

Через две недели случилось чудо, первое по счету: мне позвонил следователь и предложил прийти на свидание. Пропуск вручили с неслыханной быстротой. Я поднялась по широкой лестнице таинственного дома, вошла в коридор и остановилась, как мне велели, у двери следователя.

И тут произошло нечто из ряда вон выходящее: по коридору вели заключенного: видно, никак не ожидали, что в этом святилище может оказаться посторонний. Я успела заметить, что арестант — высокий китаец с дико выпученными глазами. Мне не удалось разглядеть ничего, кроме безумных глаз и падающих брюк, которые он подтягивал рукой. Конвоиры, увидев меня, засуетились, и вся группа тотчас исчезла в какой-то комнате или боковом проходе.

Я еще успела даже не рассмотреть, а скорее почуять физиономии конвоиров внутренней охраны, резко отличающихся по типу от внешней. Впечатление было мимолетным, но от него осталось чувство ужаса и странного холодка, пробегающего по спине. С тех пор холодок и мелкая дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой «внутренней» профессии еще до того, как я замечаю их взгляд — голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами, только глаза.

Дети заимствуют этот взгляд у родителей — я наблюдала его у школьников и у студентов. Впрочем, это особенность профессиональная, но у нас она страшно, как и все, подчеркнута, словно все люди с сыщицким взглядом — первые ученики, старательно демонстрирующие учителю, как хорошо они усвоили курс.

Китайца увели, но передо мной всегда возникают его глаза, когда я слышу слово «расстрел». Каким образом допустили эту встречу? По слухам, «внутри» приняты тончайшие технические меры, чтобы таких столкновений не случилось: коридоры, будто, разделены на секторы и особая сигнализация оповещает конвоиров, что проход занят⁴⁷. Впрочем, разве мы знаем, что там делается? Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь явление физиологическое и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Впрочем, Анна Андреевна, услышав это, рассердилась: «Как не страх? А что еще?» Она утверждает, что никакой здесь физиологии нет и это был страх, самый обыкновенный, мучительный, дикий страх, который мучил ее все годы до самой смерти Сталина.

Рассказы о технической оснащенности — они касались множества вещей, далеко не только коридорной сигнализации — прекратились только в конце тридцатых годов в связи с переходом на «упрощенный допрос»⁴⁸. Новые методы были столь понятны и традиционны, что положили конец всяким легендам. «Теперь все ясно, — сказала та же Анна Андреевна, — шапочку-ушаночку и фьютъ — в тайгу». Отсюда: «Там, за проволокой колючей, В самом сердце тайги дремучей Тень мою введут на допрос...»⁴⁹

Я так и не знаю, в какое отделение меня вызвали на свидание — в третье или четвертое, но у следователя было традиционное в русской литературе отчество — Христофорович. Почему он его не переменял, если работал в литературном секторе?⁵⁰ Очевидно, ему нравилось такое совпадение. О.М. страшно сердился на все подобные сопоставления — он считал, что нельзя упоминать всуе ничего, что связано с именем Пушкина. Когда-то нам пришлось из-за моей болезни прожить два года в Царском Селе, да еще в Лицее, потому что там сравнительно дешево сдавались приличные квартиры, но О.М. этим ужасно тяготился — ведь это почти святотатство! — и под первым же

предлогом сбежал и обрек нас на очередную бездомность. Так что обсудать с ним отчество Христофорыча я не решилась.

Свидание состоялось при Христофорыче — я называю его этим запретным именем, потому что забыла фамилию. Крупный человек с почти актерскими — по Малому театру — назойливыми и резкими интонациями, он все время вмешивался в наш разговор, но не говорил, а внушал и подчеркивал. Все его предложения звучали мрачно и угрожающе. Такова, однако, наша психологическая структура, что мне, пришедшей с воли, было не страшно, а только противно. Две недели без сна в камере внутренней тюрьмы и на допросах в корне бы изменили мое состояние.

Когда ввели О.М., я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брюки сползают. Профилактика против самоубийств — «внутри» отбирают пояса и подтяжки и срезают все застежки.

Несмотря на безумный вид, О.М. тотчас заметил, что я в чужом пальто. Чье? Мамино... Когда она приехала? Я назвала день. «Значит, ты все время была дома?» Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто, но теперь стало ясно — ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный — он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приемы действуют безотказно.

Я потребовала объяснений у следователя. Неуместность всяких требований в этом судилище очевидна сама по себе. Требовать там можно только по наивности или от бешенства. Во мне хватало и того и другого. Но прямого ответа я, конечно, не получила.

Думая, что мы расстаемся надолго, а может, навсегда, О.М. поспешил передать со мной весточку на волю. У нас превосходно развиты тюремные навыки — у всех, сидевших и не сидевших, — и мы умеем использовать «последнюю возможность быть услышанным»^{*51}. О.М. в «Разговоре о Данте» приписал эту потребность Уголино...⁵² Но это только наше свойство — чтобы развить его, надо прожить нашу жизнь. Несколько раз мне выпадала возможность «быть услышанной», и я старалась ее использовать, но мои собеседники не понимали подтекста,

не регистрировали моей информации. Им казалось, что наше только что начавшееся знакомство будет продолжаться вечно и они успеют, не торопясь и не напрягаясь, постепенно все узнать. Это была роковая ошибка с их стороны, и мои усилия пропадали даром. О.М. во время свидания находился в лучшем положении — я была отлично подготовлена к приему информации, ничего разжевывать не приходилось, и ни одно слово не пропало даром.

О.М. сообщил, что у следователя были стихи⁵³, они попали к нему в первом варианте со словом «мужикоборец» в четвертой строке: «Только слышно кремлевского горца — Душегубца и мужикоборца»... Это было весьма существенно, чтобы выяснить, кто информировал органы. Дальше О.М. торопился рассказать, как велось следствие, но следователь непрерывно его обрывал и старался использовать создавшуюся ситуацию, чтобы припугнуть и меня. А я тщательно вылавливала из перепалки всевозможные сведения, чтобы передать их на волю.

Стихи следователь называл «беспрецедентным контрреволюционным документом»⁵⁴, а меня соучастницей преступления: «Как должен был на вашем месте поступить советский человек?» — сказал он, обращаясь ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности... Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова «преступление» и «наказание». Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили «не поднимать дела».

И тут я узнала формулу: «изолировать, но сохранить» — таково распоряжение свыше — следователь намекнул, что с самого верху, — первая милость... Первоначально намечавшийся приговор — отправка в лагерь на строительство канала⁵⁵ — отменен высшей инстанцией. Преступника высылают в город Чердынь на поселение... И тут Христофорыч предложил мне сопровождать О.М. к месту ссылки. Это была вторая неслыханная милость, и я, разумеется, тотчас согласилась ехать, но мне до сих пор любопытно, что произошло бы, если б я отказалась.

Какая бы выстроилась очередь, если бы в 37-м, скажем, году желающим предложили добровольно отправляться в ссылку вместе с семьями, детьми, барахлом и книгами!.. Жены

дежурили бы в этой очереди вместе с любовницами, мачехи рядом с падчерицами...

А может, и нет... Люди только тем и держатся, что не знают своего будущего и надеются избежать общей участи. Пока погибают соседи, уцелевшие тешат себя знаменитым вопросом «За что его взяли?» и перебирают все неосторожности и оплошности, замеченные за погибающим. Женщины — ведь именно они подлинными хранительницами домашнего очага — с демонической силой поддерживают огонек надежды.

Лиля Яхонтова в 37 году говорила, проходя по Лубянке: «Я чувствую себя в безопасности, пока стоит этот дом...» Своей святой верой она, может, отсрочила на несколько лет гибель мужа — он выбросился из окна в припадке дикого страха, что его сейчас арестуют⁵⁶. А в 53 году одна правоверная кандидатка биологических наук, еврейка, доказывала другой еврейке, западной, а потому совершенно потрясенной, что с ней ничего не может случиться, если, конечно, «вы не совершили никакого преступления и совесть у вас чиста»...⁵⁷ Да еще дорожная спутница 57 года, которая объясняла мне, что к реабилитированным нужно подходить с осторожностью, так как отпускают их из гуманных побуждений, а вовсе не потому, что они невинны, — ведь что ни говори, а дыма без огня не бывает... Причинность и целесообразность — основные категории нашей потребительской философии.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Я пришла домой с известием, что следователь предъявил О.М. стихи о Сталине и О.М. признал авторство и то, что человек десять из ближайшего окружения их слышали. Я сердилась, что он не отрицал всего, как подобает конспиратору. Но представить себе О.М. в роли конспиратора совершенно невозможно — это был открытый человек, не способный ни на какие хитроумные ходы. Того, что называется изворотливостью ума, у него не было и в помине. А, кстати, опытные люди говорили мне, что какой-то минимум в условиях нашего следствия необходимо признавать, иначе начинается «нажим» и обессилевший заключенный наговаривает на себя чорт знает что.

Да и какие мы к чорту конспираторы! Политический деятель, подпольщик, революционер, заговорщик — это всегда человек особого склада. Нам подобная деятельность противопоказана. А жизнь ставила нас в условия чуть ли не карбонариев. Встречаясь, мы говорили шепотом и косились на стены — не подслушивают ли соседи, не поставили ли магнитофон. Когда я приехала после войны в Москву, оказалось, что у всех телефоны закрыты подушками: пронесся слух, что в них установлены звукозаписывающие аппараты, и все обыватели дрожали от страха перед черным металлическим свидетелем, подслушивающим их потаенные мысли. Никто друг другу не доверял, в каждом знакомом мы подозревали стукача. Иногда казалось, что вся страна заболела манией преследования. И до сих пор мы не выздоровели от этой болезни.

А ведь у нас были все основания для этого недуга: мы ходили как бы просвеченные рентгеновскими лучами; взаимная слежка — вот основной принцип, которым нами управляли. «Чего бояться, — сказал Сталин, — надо работать...»⁵⁸ Служащие несли свой мед директору, секретарю парторганизации и в отдел кадров. Учителя при помощи классного самоуправления — старосты, профорга и комсорга — могли выжать масло из любого школьника. Студентам поручалось следить за лектором.

Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира было поставлено на широкую ногу. В любом учреждении, особенно в вузах, служит множество людей, начинавших свою карьеру «внутри». Они прошли такую прекрасную выучку, что начальство готово продвигать их в любой области. Уйдя на «учебу», они получают всяческие поощрения по службе и нередко оставляются в аспирантуре. Кроме них связь поддерживается стукачами, и эти, смешавшиеся с толпой служащих, ничем от нее неотличимые, представляют еще большую опасность. Выслуживаясь, они способны на провокации, чего почти не случается с бывшими служащими органов.

Такова была повседневная жизнь, быт, украшенный ночной исповедью соседа о том, как его вызывали «туда», чем ему грозили и что предлагали, или предупреждением друзей о том, кого надо из знакомых остерегаться. Все это происходило в массовом порядке, с людьми, за которыми индивидуальной слежки не устанавливалось. Каждая семья перебирала своих знакомых,

ища среди них провокаторов, стукачей и предателей. После 37 года люди перестали встречаться друг с другом. И этим достигались далеко идущие цели органов. Кроме постоянного сбора информации они добились ослабления связей между людьми, разъединения общества, да еще втянули в свой круг множество людей, вызывая их от времени до времени, беспокоя, получая от них подписки о «неразглашении». И все эти толпы «вызываемых» жили под вечным страхом разоблачения и, подобно кадровым служащим органов, были заинтересованы в незыблемости порядка и неприкосновенности архивов, куда попали их имена.

Такие формы быта установились не сразу, но О.М. удостоился индивидуальной слежки одним из первых: его литературное положение определилось уже к 23 году, когда его имя было вычеркнуто из списков сотрудников всех журналов, а potato и кишели вокруг него стукачи уже в двадцатых годах...

Мы различали несколько разновидностей в этом племени. Легче всего определялись деловые молодые люди с военной выправкой, которые даже не симулировали интереса к автору, но сразу требовали у него «последних сочинений». О.М. обычно пробовал уклониться, — у него, мол, нет свободного экземпляра... Молодые люди тотчас предлагали все переписать на машинке: «И для вас экземплярчик сделаем...» С одним из таких посетителей О.М. долго торговался, отказываясь выдать «Волка». Это происходило в 32 году... Деловитый юноша настаивал, утверждая, что «Волк» уже широко известен. Не добившись рукописи, он пришел на следующий день и прочел «Волка» наизусть. Доказав таким образом «широкую известность» стихотворения, он получил необходимый ему авторский список. Эти стукачи, выполнив очередное задание, бесследно исчезали. У них было еще одно достоинство: они всегда спешили и никогда не притворялись гостями. Очевидно, в их функции не входило «наблюдение за кругом», то есть за теми, кто нас посещает.

Второй вид стукачей — «ценители» — чаще всего представители той же профессии, сослуживцы, соседи... В ведомственных домах сосед всегда бывает и сослуживцем. Эти являлись без телефонного звонка, не сговорившись, как снег на голову, так сказать, «на огонек»... Они сидели подолгу, вели профессиональные разговоры, занимались мелкими провокациями. Принимая такого стукача, О.М. всегда требовал, чтобы я подала чаю:

«Человек работает — нужно чаю...» Чтобы втереться в дом, они прибегали к мелким хитростям. Саргиджан — он же Бородин — появился к нам в первый раз с рассказами о Востоке — по происхождению он, мол, из Средней Азии и сам учился в медресе. В доказательство своей «восточности» он притащил небольшую статуэтку ярмарочного Будды. Будда служил доказательством, что Б., он же С., — знаток Востока и настоящий ценитель искусств. Как сочетался Будда с магометанством в медресе, мы так и не выяснили. Вскоре С. прорвало и он наскандалил, а вакансия при О.М., очевидно, освободилась, потому что незванно-негаданно пришел другой сосед и для первого знакомства притащил точно такого же Будду. На этот раз О.М. взбесился: «Опять Будда! Хватит! Пусть придумают что-нибудь другое», — и выгнал неудачного заместителя. Чаю он не получил.

Третья и самая опасная разновидность называлась у нас «адьютанты». Это литературные мальчишки — в академической среде — аспиранты — с самым активным отношением к стихам, знавшие наизусть все на свете. Чаще всего они впервые приходили с самыми чистыми намерениями, а потом их завербовывали. Некоторые из них открыто признавались О.М. — так бывало и с А. А., — что их «вызывают и спрашивают». После таких признаний они обычно исчезали. Другие, тоже вдруг, ничего не объясняя, прекращали к нам ходить. Иногда через много лет я узнавала, что с ними произошло, то есть как их вызывали. Так было с Л., о котором я узнала от Анны Андреевны. Он не решился прийти к ней в Ленинграде и нашел ее в Москве. «Вы не представляете себе, как вы просвечены», — сказал он.

Обидно, когда вдруг таинственно исчезает человек, с которым завязалась дружба, но, к несчастью, единственное, что могли сделать честные люди, это исчезнуть, иначе говоря, отказаться от звания «адьютанта». «Адьютанты» же — это те, кто служил двум богам сразу. Любви к стихам они не теряли, но помнили, что сами они тоже литераторы и поэты и пора уже напечататься и как-то пристроиться в жизни. Именно этим их обычно соблазняли; и действительно, близость, дружба, любые отношения с Мандельштамом или Ахматовой никакого пути в литературу не приоткрывали; зато чистосердечный рассказ о каком-нибудь — невиннейшем, конечно, — разговоре, который велся у нас вечером, — и «адьютанту» помогут

проникнуть на заветные страницы журналов. В какой-то критический момент литературный юноша сдавался, и у него начиналась двойная жизнь.

Существовали, наконец, и настоящие любители зла, находившие вкус в своем двойственном положении. Среди них есть даже знаменитости, как, например, Эльсберг. Вот это, несомненно, крупная фигура в своей области. Работал он в другом кругу, и я о нем только слышала, но однажды, прочитав заголовок его статьи — «Моральный опыт советской эпохи»⁵⁹, — поняла всю изощренность этого человека. Статья эта появилась в тот момент, когда ждали публичного разоблачения автора, и своим заголовком и темой он как бы сообщал читателю, что ему ничего не грозит как настоящему знатоку моральных норм нашей эпохи. Разоблачения все-таки последовали, хотя и не скоро, но даже такой ничтожной санкции, как изгнание из ССП, к нему применить не удалось⁶⁰. Он не потерял ничего, даже преданности своих аспирантов. Характерная черта Эльсберга: отправив в ссылку своего друга Штейнберга, он продолжал навещать его жену и давать ей советы... Женщина, уже знавшая о роли Эльсберга, боялась выдать свое бешенство — разоблачать стукачей у нас не полагалось, за это можно было жестоко поплатиться. Когда Штейнберг вернулся после Двдцатого съезда, Эльсберг встретил его корзиной цветов, поздравлениями и рукопожатиями...

Мы жили среди людей, исчезающих на тот свет, в ссылки, в лагеря, в преисподнюю, и среди тех, кто отправлял в ссылки, в лагеря, на тот свет, в преисподнюю. Было опасно приближаться к людям, которые продолжали думать и работать, и поэтому совершенно была права Алиса Гутовна Усова, которая не пускала к О.М. своего мужа: «К ним нельзя — там всякая сволочь бывает», — говорила она. Ее идея: лучше не рисковать — кто знает, на кого нарвешься в пылу литературного спора. Осторожность все-таки не помогла Дмитрию Сергеевичу — он отправился в лагерь своим путем — с языковедами по «делу о словарях»⁶¹. Все дороги вели туда. Старая поговорка о тюрьме и суме действовала безотказно, а слово «писать» приобрело добавочный смысл. Старый ученый (Ж.*⁶²) сказал мне про группу преуспевающих кандидатов: «Все они пишут», а Шкловский утверждал, что с собачонкой Амкой

надо осторожно — научилась писать у молодых, внимательных и вежливых «адъютантов»... Работая с Усовой в Ташкенте в университете, мы не искали стукачей, потому что «писали» все. И мы упражнялись в эзоповском языке. В присутствии аспирантов мы поднимали первый тост за тех, кто дал нам такую счастливую жизнь, и посвященные и аспиранты вкладывали в него нужный смысл... Вполне естественно, что «адъютанты» и все прочие «писали», но странно, каким образом мы не разучились шутить и смеяться. В 38 году О.М. даже придумал машинку для предотвращения шуток, ибо шутки вещь опасная... Он беззвучно шевелил губами — «как Хлебников» — и жестами показывал, что машинка уже находится в горле. Но изобретение оказалось никуда не годным, и шутить он не прекращал.

СБОРЫ И ПРОВОДЫ

Как только я пришла домой, квартира заполнилась людьми. Мужья в зачумленный дом не пришли, но прислали жен — женщинам грозило все же меньше опасностей, чем мужчинам. Даже в 37 году большинство женщин пострадало за мужей, а не самостоятельно. Поэтому неудивительно, что мужчины соблюдали большую осторожность, чем женщины. Впрочем, «хранительницы очага» превосходили в своем «патриотизме» самых осторожных мужчин... Я прекрасно понимала, почему не пришли мужья, но изумилась, что набежало такое множество женщин: высылаемых обычно избегали все... Анна Андреевна даже ахнула: «Сколько красоток!»

Я укладывала корзины, те самые, которые раздражали прислугу в Цекубу, как рассказал О.М. в «Четвертой прозе»⁶³. Вернее, не укладывала, а беспорядочно кидала в них все что попало: кастрюли, белье, книги... В тюрьму О.М. взял с собой Данта, но в камеру не затребовал — ему сказали, что побывавшая в камере книга на волю не выпускается: ее передают в библиотеку «внутри». Не зная точно, при каких обстоятельствах книга остается вечной узницей, я захватила с собой другое издание Данта. Надо было все припомнить, ничего не забыть — ведь переезд, да еще на поселение, ничуть не похож на нормальный отъезд с двумя чемоданами. Я хорошо это знаю, потому что

всю жизнь переезжаю с места на место со всем своим жалким имуществом.

Мать моя выложила все деньги, вырученные в Киеве за мебель. Но это были гроши — кучка бумажек. Женщины бросились во все стороны собирать на отъезд. Эти проводы происходили на семнадцатом году существования нашего строя. Семнадцать лет тщательного воспитания не помогли. Люди, собиравшие нам деньги, и те, кто им давал, нарушили этими своими поступками весь выработавшийся у нас кодекс отношений с теми, кого карает власть. В эпохи насилия и террора люди прячутся в свою скорлупу и скрывают свои чувства, но чувства эти неискоренимы и никаким воспитанием их не уничтожить. Если даже искоренить их в одном поколении, а это у нас в значительной степени удалось, они все равно прорвутся в следующем. Мы в этом неоднократно убеждались. Понятие добра, вероятно, действительно присуще человеку, и нарушители законов человечности должны рано или поздно сами или в своих детях прозреть...

Анна Андреевна пошла к Булгаковым и вернулась, тронутая поведением Елены Сергеевны, которая заплакала, услышав о высылке, и буквально вывернула свои карманы. Сима Нарбут бросилась к Бабелю, но не вернулась... Зато другие все время прибегали с добычей, и в результате собралась большая сумма, на которую мы проехали в Чердынь, оттуда в Воронеж, да еще прожили больше двух месяцев. За билеты мы, правда, почти нигде не платили — только приплачивали на обратном пути — в этом удобство ссыльных путешественников... В вагоне О.М. сразу заметил, что у меня завелись деньги, и спросил откуда. Я объяснила. Он рассмеялся — громоздкий способ добывать на путешествия. Ведь он всю жизнь рвался куда-нибудь съездить и не мог из-за отсутствия денег. Набранная сумма была по тем временам очень велика. Мы никогда не отличались богатством, но до войны в нашей среде никто не мог похвастаться даже относительным благополучием. Все перебивались со дня на день. Кое-кому из писателей-«попутчиков»⁶⁴ привалило некоторое благополучие уже в 37 году, но оно, в сущности, было иллюзорно и ощущалось только по сравнению с прочим населением, которое всегда еле сводит концы с концами...

К концу дня пришел Длигач с Диночкой. Я попросила у него денег. Он пошел доставать, а Диночку бросил у нас. Больше я его никогда не видела — он исчез навсегда. Денег я от него не ждала, мне просто хотелось проверить, скроется ли он. Мы всегда подозревали, что он «адъютант». Узнав про мое свидание с О.М., «адъютант» должен был исчезнуть, боясь, что я догадалась о его роли. Так и случилось. Но его исчезновение еще не может служить полным доказательством его вины: ведь он мог просто испугаться... Это не исключается...

На вокзал меня провожала Анна Андреевна и братья — Александр Эмильевич и Женя Хазин. По дороге на вокзал, как было условлено со следователем, я остановилась у подъезда дома на Лубянке, через который утром пришла на свидание⁶⁵. Дежурный впустил меня, и через минуту по лестнице спустился следователь с чемоданчиком О.М. в руках. «Едете?» — «Еду...»

Прощаясь, я машинально протянула ему руку, попросту забыв, с кем имею дело. Ведь, повторяю, мы не народовольцы, не конспираторы, не политические люди. Совершенно неожиданно мы очутились в этой несвойственной нам роли, и я чуть не нарушила благородных традиций, пожав руку члену тайной полиции. Но следователь избавил меня от этого настоящего нарушения закона; рукопожатия не состоялось — таким людям, как я, то есть своим потенциальным подследственным, Христофорыч руки не подавал. Я получила хороший урок — первый урок политической сознательности в духе революционных традиций — жандармам руки не подают. Мне очень стыдно, что следователю пришлось мне напомнить о том, кто я и кто он. С тех пор я никогда об этом не забывала.

Мы вошли в зал ожидания. Я направилась к кассе, но меня перехватил невысокий блондин в мешковатом штатском костюме, и я узнала того, кто рылся в сундуке и разбросал по полу рукописи. Он вручил мне билет. Денег с меня не взяли. Носильщики, но не те, которых мы сначала подрядили, а какие-то новые, подхватили багаж. Мне сразу сказали, что я могу ни о чем не беспокоиться: все будет доставлено прямо в вагон. И я заметила, что первые носильщики даже не подошли ко мне поклониться на чай, а просто испарились...

Ждать нам пришлось долго, и Анна Андреевна вынуждена была уйти — уже отходил ее поезд на Ленинград.

Наконец снова явился блондин, и налегке, избавленные от всех вокзальных забот, мы вышли на платформу. Подали поезд. В окне мелькнуло лицо О.М. Я предъявила билет, и проводница велела пройти в самый конец вагона. Провожающих, то есть братьев, в вагон не пустили.

О.М. уже находился в вагоне, а с ним три солдата. Мы двое вместе с конвоирами занимали ровно шесть лежачих мест, включая два боковых. Распорядитель нашего отъезда, блондин, появившийся то в форме, то в штатском, организовал все так безукоризненно, словно демонстрировал чудеса из Тысячи одной калифо-советской ночи.

О.М. прижимался к стеклу. «Это чудо!» — сказал он и снова прильнул к стеклу. На платформе стояли братья — Женья и Шура. О.М. пытался открыть окно, но конвоир остановил его: «Не положено». Снова появился блондин и проверил, все ли в порядке. Последняя инструкция кондукторше: держать дверь на эту площадку запертой всю дорогу, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не отпирать, уборной с этой стороны не пользоваться. На промежуточных станциях выходить разрешается только одному конвоиру, двум другим неотлучно пребывать в вагоне. Словом: «Во всем придерживаться инструкции». Пожелав счастливого пути, блондин удалился, но я видела, что он стоял на платформе до самого отхода поезда. Наверное, тоже по инструкции.

Вагон постепенно наполнялся. У входа в последнее купе стоял солдат. Он отгонял пассажиров, рвавшихся на свободные места, — бесплацкартный вагон был набит до отказа. О.М. не отходил от окна. По обе стороны находились люди, которые стремились друг к другу, но стекло не пропускало звуков. Слух был бессилен, а смысл жестов неясен. Между нами и тем миром образовалась перегородка. Еще стеклянная, еще прозрачная, но уже непроницаемая. И поезд ушел на Свердловск.

ПО ТУ СТОРОНУ

В тот миг, когда я вошла в вагон и сквозь стекло увидела братьев, мир раскололся для меня на две половины. Все, что было раньше, куда-то кануло, стало смутным воспоминанием,

Зазеркальем, и передо мной раскрылось будущее, которое не хотело склеиваться с прошлым. Это не литература, а робкая попытка описать сдвиг сознания, испытанный, вероятно, множеством людей, преступивших роковую черту. Этот сдвиг выразился прежде всего в полном безразличии ко всему, что осталось позади, так как появилась абсолютная уверенность, что все мы вступили на колею бесповоротной гибели. Одному, может быть, отпущен еще час, другому — неделя или даже год, но конец один. Конец всему — близким, друзьям, Европе, матери... Я говорю именно о Европе, потому что в «новом», куда я попала, не существовало всего того европейского комплекса мыслей, чувств и представлений, которыми я до сих пор жила. Другие понятия, другие меры, другие счета...

Еще недавно я была полна тревоги за близких, за родное мне дело, за все, на чем стояла. Сейчас исчезла тревога и пропал страх. Их заменило острейшее сознание обреченности, и оно породило безразличие, физически ощутимое, осязаемое, весом почти в пуд. И тут оказалось, что времени больше нет, а есть только сроки до осуществления этого бесповоротного, которое подстерегает всех нас с нашей Европой, с нашей горсточкой последних мыслей и чувств.

Когда же придет бесповоротное? Где? Как это случится? Не все ли равно!.. Соппротивление бесполезно. Я потеряла чувство смерти, потому что вошла в область небытия. Перед лицом обреченности даже страха не бывает. Страх — это просвет, это воля к жизни, это самоутверждение. Это глубоко европейское чувство. Оно воспитано самоуважением, сознанием собственной ценности, своих прав, нужд, потребностей и желаний. Человек держится за свое и боится его потерять. Страх и надежда взаимосвязаны. Потеряв надежду, мы теряем и страх — не за что бояться.

Бык, когда его ведут на бойню, еще надеется вырваться и растоптать грязных живодеров. Ведь другие быки не сумели ему внушить, что таких удач не бывает и скот, идущий на бойню, никогда не возвращается в стадо. А в человеческом обществе происходит непрерывный обмен опытом. Вот почему я никогда не слышала, чтобы человек, которого ведут на казнь, сопротивлялся, отбивался, защищался, ломал преграды и убегал. Люди даже выдумали особую отвагу для казнимого — запретил

завязать себе глаза и умер без повязки. А я за быка, за его слепую ярость. За упрямое животное, которое не рассчитывает своих шансов на успех с благоразумием и тупостью людей и не знает грязного чувства безнадежности.

Потом я часто задумывалась, надо ли выть, когда тебя избивают и топчут сапогами. Не лучше ли застыть в дьявольской гордыне и ответить палачам презрительным молчанием? И я решила, что выть надо. В этом жалком вое, который иногда неизвестно откуда доносился в глухие, почти звуконепроницаемые камеры, сконцентрированы последние остатки человеческого достоинства и веры в жизнь. Этим воем человек оставляет след на земле и сообщает людям, как он жил и умер. Воем он отстаивает свое право на жизнь, посылает весточку на волю, требует помощи и сопротивления. Если ничего другого не осталось, надо выть. Молчание — настоящее преступление против рода человеческого.

Но в тот вечер под конвоем трех солдат, в темном вагоне, куда меня так комфортабельно доставили, я потеряла все, даже отчаяние. Есть момент, когда люди переходят через какую-то грань и застывают в удивлении: так вот, оказывается, где и с кем я живу! так вот на что способны те, с кем я живу! так вот куда я попал! Удивление так парализует нас, что мы теряем даже способность выть. Не это ли удивление, предшественник полного ступора и, следовательно, пропажи всех мер и норм, всех наших ценностей, охватывало людей, когда они, попав «внутрь», вдруг узнавали, где и с кем живут и каково подлинное лицо современности? Одними физическими мучениями и страхом не объяснить того, что происходило там с людьми — что они подписывали, что делали, в чем признавались, кого губили вместе с собой. Все это было возможно только «за гранью», только в безумии, когда кажется, что время остановилось, мир кончился, все рухнуло и никогда не вернется. Крушение всех представлений — это тоже конец мира.

Но со мной-то, в сущности, что случилось? Ведь если подойти разумно, что ужасного в переезде в маленький городишко на Каме, где нам как будто придется прожить три года? Чем Чердынь хуже Малого Ярославца, Струнина, Калинина, Муйнака, Джамбула, Ташкента, Ульяновска, Читы, Чебоксар, Вереи, Тарусы, Пскова, по которым меня, бездомную, носило

после смерти О.М.? Было ли от чего сходить с ума и ждать конца мира?

Оказывается, да. Было. Сейчас, когда ко мне вернулось отчаяние и я обрела способность выть, я говорю это с полной уверенностью и твердостью. Было и есть. И мне кажется, что прекрасная организация нашего отъезда — без сучка и задоринки — с заездом на Лубянку за чемоданом, бесплатными носильщиками и вежливым блондином-проводником в штатском, который взял под козырек, желая нам счастливого пути, — так никто не уезжал в ссылку, кроме нас, — страшнее, и омерзительнее, и настойчивее твердит о конце мира, чем нары, тюрьмы, кандалы и хамская брань жандармов, палачей и убийц. Все это произошло в высшей степени красиво и гладко, без единого грубого слова, и мы вдвоем, под конвоем трех деревенских парней — конвоиров с инструкцией — мчались, увлекаемые неведомой и непреодолимой силой, куда-то на восток, на поселение, в ссылку и в изоляцию, где, как мне изволили сказать, кого-то велено сохранить; а сказали мне это в чистом и большом кабинете, где, может быть, сейчас допрашивают китайца, у которого, вероятно, тоже есть жена.

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

Столкновение с иррациональной силой, иррациональной неизбежностью, иррациональным ужасом резко изменило нашу психику. Многие из нас поверили в неизбежность, а другие в целесообразность происходящего. Всех охватило сознание, что возврата нет. Это чувство было обусловлено опытом прошлого, предчувствием будущего и гипнозом настоящего. Я утверждаю, что все мы, город в большей степени, чем деревня, находились в состоянии, близком к гипнотическому сну. Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье.

Проповедь исторического детерминизма лишила нас воли и свободного суждения. Тем, кто еще сомневался, мы смеялись в глаза и сами довершали дело газет, повторяя

сакраментальные формулы и слухи об очередной расправе — вот чем кончается пассивное сопротивление! — и подбирая оправдания для существующего. Главным доводом служило разоблачение всей истории во времени и пространстве: всюду одно и то же, всегда так и было, ничего другого, кроме насилия и произвола, человечество не знало и не знает. «Всюду расстреливают, — сказал мне Л., молодой физик. — У нас больше? Что ж, это прогресс...» «Поймите, Надя, — убеждала меня Л. Э.*⁶⁶, — там ведь тоже плохо...» Многие и сейчас не понимают качественной разницы между «плохо» и нашим «седьмым горизонтом».

В середине двадцатых годов, когда столб воздуха на плечах стал тяжелее — в роковые периоды он бывал тяжелее свинца, — люди вдруг начали избегать общения друг с другом. Страхом стукачей и доносов это еще не объяснялось — к тому времени мы еще не успели по-настоящему испугаться. Просто наступило онемение, появились первые симптомы летаргии. О чем разговаривать, когда все уже сказано, объяснено, припечатано?

Только дети продолжали нести свой вполне человеческий вздор, и взрослые — бухгалтеры и писатели — предпочитали их общество разговорам с равными. Но матери, подготавливая к жизни своих детей, сами обучали младенцев священному языку взрослых. «Мои мальчики больше всех любят Сталина, а потом уже меня», — объясняла Зинаида Николаевна, жена Пастернака. Другие так далеко не заходили, но своими сомнениями с детьми не делился никто: зачем обрекать их на гибель? А вдруг ребенок проболтается в школе и погубит всю семью? А зачем ему понимать лишнее? Пусть лучше живет, как все... И дети росли, пополняя число подвергшихся гипнозу. «Русский народ болен, — сказала мне Поля. — Его надо лечить». Болезнь стала особенно заметной сейчас, когда прошел кризис и начинают выявляться первые признаки выздоровления. Раньше больными считались мы — не утратившие сомнений.

Михаил Александрович Зенкевич рано впал в гипнотический сон или летаргию. Это не мешало ему служить, зарабатывать деньги, растить детей. Может, этот сон даже помог ему сохранить жизнь и выглядеть вполне нормальным и здоровым. Но если копнуть, оказывалось, что он давно перешел через

грань и не сумел разбить оконного стекла. Зенкевич жил сознанием, что все, что некогда составляло весь смысл его существования, необратимо, кончено, осталось по ту сторону стекла. Это чувство могло бы превратиться в стихи, но шестой акмеист пришел к твердому выводу, что стихов тоже не будет, раз нет Цеха поэтов и тех разговоров, что обольстили его в ранней юности. Он бродил по развалинам своего Рима, убеждая себя и других, что необходимо скорее сдаваться не только в физический, но и в интеллектуальный плен. «Неужели ты не понимаешь, что этого уже нет, что все теперь иначе!» — говорил он О.М. Это относилось к вопросам поэзии, чести и этики, к очередному политическому сюрпризу или насилию — к процессам, арестам и к раскулачиванию... Все оправдывалось, потому что «теперь все иначе»...

Иногда, впрочем, он пытался обелить себя: выпил, мол, столько брому, что совсем отшибло память... Но на самом деле он не забыл ничего и был трогательно привязан к О.М., хотя и удивлялся его упорству и безумному стоянию на своем. Единственное, что Зенкевич хотел перетащить в свое новое посмертное существование, — это кучка автографов. «Вот Гумилева уже нет, а у меня не осталось ни одного листочка», — жаловался он О.М., выпрашивая черновичок. О.М. злился и не давал: «Он уже готовится к моей смерти!»

В начале пятидесятых годов — отвратительное было время! — я встретила Мишеньку во дворе Дома Герцена, и он завел вечный разговор об автографах (мы не виделись с ним лет пятнадцать): «Где Осины бумаги? Вот не взял я у него ничего, и у меня ни одного автографа нет... Хоть бы вы мне дали...» Вспомнив, что О.М. не терпел этого канючения, я тоже ничего ему не дала, но он все же что-то раздобыл⁶⁷. От прошлого у него остались не книги, не звучащие стихи, а только листочки со стишками, записанные руками старых погибших товарищей, словно документальное свидетельство о былой литературной жизни. «Ведь и стихи теперь другие», — жаловался Миша.

Зенкевич одним из первых съездил на канал и, выполняя заказ, написал похвальный стишок преобразователям природы. За это О.М. пожаловал ему право называться Зенкевичем-Канальским, как некогда к фамилии Семенова прибавили почетное — Тянь-Шанский. В 37 году Лахути устроил О.М.

командировку от ССП на канал. Доброжелательный перс надеялся, что О.М. что-нибудь сочинит и тем спасет себе жизнь. Вернувшись, О.М. аккуратно записал гладенький стишок и показал его мне: «Подарим Зенкевичу?» — спросил он. О.М. погиб, а стишок уцелел, не выполнив своей функции. Однажды в Ташкенте он попался мне на глаза, и я посоветовалась с Анной Андреевной, что мне с ним делать: «Можно его в печку?» Было это на балахане⁶⁸, где мы вместе коротали эвакуационные дни. «Наденька, — сказала Анна Андреевна, — Осип дал вам полное право распоряжаться абсолютно всеми бумагами...» Это было чистое лицемерие. Мы ведь все против фальсификаций, уничтожения рукописей и всякой подтасовки литературного наследства; Анне Андреевне нелегко было санкционировать замысленный мной поступок — вот она и подарила мне именем О.М. неожиданное право, которого О.М. мне никогда не давал: уничтожать и хранить, что мне вздумается. Сделала она это, чтобы избавиться от канальских стишков, и от них тут же осталась горсточка пепла.

Если у кого-нибудь случайно сохранился бродячий список этого стишка, я прошу — даже заклинаю тем правом, которое мы с Анной Андреевной присвоили себе на балахане, — преодолеть страсть к автографам и курьезам и бросить его в печку⁶⁹. Такой стишок мог бы пригодиться только иностранной комиссии ССП, чтобы показывать любопытствующим иностранцам: какое там литературное наследство у Мандельштама — посмотрите, стоит ли это печатать! Мы ведь не стесняемся искажать биографии, даты смерти — кто пустил слух, что О.М. был убит немцами в Воронеже? кто датировал все лагерные смерти началом сороковых годов?⁷⁰ кто издает книги живых и мертвых поэтов, пристрастно пряча все лучшее? кто держит годами в редакционных портфелях уже подготовленные к печати рукописи погибших и живых писателей и поэтов? Всего не перечислишь, ведь слишком много спрятано и закопано в разного вида запасниках, а еще больше уничтожено.

Стишок с описанием красот канала вызывал у меня бешенство еще и потому, что сам О.М. должен был отправиться строить его, и этого не случилось только из-за инструкции «изолировать, но сохранить». Тогда канал заменили высылкой в Чердынь — ведь на стройках этих каналов никого сохранить

нельзя. Молодые и здоровые языковеды Дмитрий Сергеевич Усов и Ярхо, выйдя на волю, умерли почти сразу — так их разрушили несколько лет, проведенных на канале, а ведь они на физической работе почти не были. Попади О.М. на канал, он умер бы в 34-м, а не в 38 году — «чудо» принесло ему несколько лет жизни. Но я все же содрогаюсь от чудес и при этом не считаю себя неблагодарной: чудеса — вещь восточная, западному сознанию они противопоказаны.

А вот к Мише Зенкевичу, добровольному римлянину, который на развалинах своего Колизея бережет несколько автографов убитых поэтов, я переменяла свое отношение. Сейчас эта жизнь кажется мне трогательной и, несмотря на отсутствие катастроф — в тюрьме он не сидел и голодом его не морили, — почти трагической. Хрупкий от природы, Зенкевич раньше других подвергся психологической чуме, но она приняла у него не острую, как у меня в вагоне, а затяжную хроническую форму, от которой никто не выздоравливает. Легкость, с которой интеллигенты поддавались этой болезни, — объясняется ли она только послереволюционными условиями? Не таятся ли первые микробы в дореволюционном смятении, метаниях и лжепророчествах?

Особый вид эта болезнь — летаргия, чума, гипнотический сон — принимала у тех, кто совершал страшные деяния во имя «новой эры». Все виды убийц, провокаторов, стукачей имели одну общую черту — они не представляли себе, что их жертвы когда-нибудь воскреснут и обретут язык. Им тоже казалось, что время застыло и остановилось, а это главный симптом описываемой болезни. Ведь нас убедили, что в нашей стране больше ничего никогда меняться не будет, а остальному миру надо только дойти до нашего состояния, то есть тоже вступить в новую эру, и тогда всякие перемены прекратятся навсегда.

И люди, принявшие эту доктрину, честно поработали во славу новой морали, проистекавшей, в конце концов, из исторического детерминизма, доведенного до последней крайности. Всякого, кого они отправляли на тот свет или в лагерь, они считали навеки изъятым из жизни. Им не приходило в голову, что эти тени могут восстать и потребовать своих могильщиков к ответу. И поэтому в период реабилитации они впали

в настоящую панику: им показалось, будто время обратилось вспять и те, кого они окрестили «лагерной пылью»⁷¹, вдруг опять обрели имя и тело. Среди них воцарился страх.

Мне пришлось в те дни наблюдать скромную стукачку, соседку по квартире Василисы Шкловской. Ее все время вызывали в прокуратуру, где она брала обратно свои стародавние показания и тем самым обеляла живых и мертвых. Возвращаясь домой, она прибегала к Василисе, за домом которой ей некогда приходилось наблюдать, и заплетающимся языком рассказывала, что она, видит Бог, никогда ни о ком, ни о Малкине, ни о других, ничего дурного не говорила и сейчас в прокуратуре она только и делает, что дает обо всех самые лучшие показания, чтобы покойников скорее реабилитировали... У этой женщины никогда ничего похожего на совесть не было, но тут она почему-то не выдержала, и ее разбил паралич. Возможно, что в какой-то момент она испугалась и поверила в серьезность пересмотров и в возможность привлечения клеветников и клеветов к уголовной ответственности. Этого, конечно, не случилось, но все же ей лучше парализованной и впавшей в детство — время для нее опять остановилось⁷².

А в Ташкенте один из крупнейших работников, которого после перемен отправили на пенсию, а потом изредка вызывали для очных ставок с бывшими подследственными, каким-то чудом выжившими и вернувшимися из лагерей, не выдержал испытания и повесился. Мне удалось прочесть черновик его посмертного письма, адресованного в ЦК. Аргументация у него несложная: беззаветно преданный, он комсомольцем был направлен в органы и все время получал повышения и награды. За все годы никого, кроме своих сотрудников и подследственных, не видел, работал днем и ночью без передышки и только после отставки имел досуг, чтобы подумать и осмыслить происшедшее, и тут-то ему пришло в голову, что он, может, служил не народу, а «какому-то бонапартизму»... Вину с себя самоубийца старается переложить: во-первых, на тех, кто, будучи под следствием, подписывал на себя всякие небылицы и тем самым подводил следователей и прокуроров, а затем на инструкторов из центра, объяснявших приказ об «упрощенном допросе» и требовавших выполнения плана, и, наконец, на осведомителей с воли, которые добровольно несли в органы

информацию и вынуждали их открывать следствие против множества людей... Классовое сознание не позволяло работникам органов проходить мимо этой информации... Последним толчком к самоубийству послужила только что прочитанная им книга «Последний день осужденного»...⁷³

Самоубийцу похоронили и дело замяли, что было необходимо, потому что он назвал по именам инструкторов из центра и информаторов. Дочь самоубийцы долго рвала и метала, мечтая разделаться с теми, кто погубил ее отца. Гнев ее был обращен на тех, кто разворошил весь этот ад. «Надо же было подумать о людях, которые тогда работали! Они ведь это не сами выдумали, а только исполняли приказания», — говорила Лариса — ей дали имя в честь Ларисы Рейснер⁷⁴. Лариса твердила, что она «этого так не оставит», и даже собиралась обо всем сообщить за границу, чтобы там узнали, как здесь поступили с ее отцом. Я спрашивала, на что ж она собирается жаловаться. Для Ларисы это было совершенно ясно — нельзя так внезапно все изменять, потому что это травмирует людей. Нельзя травмировать людей — папу и всех его товарищей... «Кто вам посочувствует?» — спрашивала я, но она меня не понимала. Раз людям обещали, что больше ничего меняться не будет, нельзя допускать никаких перемен. «Пусть бы никого не арестовывали, но все должно было оставаться как было». Пусть остановленное время продолжает стоять. В остановке времени есть устойчивость и покой. Он необходим деятелям нашей эпохи...

Лариса требовала, чтобы время опять остановилось, и ее просьбу в значительной мере уважили. Сыновья снятых сотрудников ее отца поехали в Москву учиться новым методам и до отъезда возложили цветы на гроб ее отца. Они займут старые места и кабинеты и будут всегда готовы к действию по инструкциям сверху. Сейчас весь вопрос в том, чем будут эти инструкции...

Нам с Ларисой друг друга не понять, но, глядя на нее, я всегда думала, почему все пути приводили у нас к гибели. Кем нужно быть, чтобы спастись? Где та нора, в которую можно залезть, чтобы спастись? Лариса и ее друзья тоже рыли себе нору и тащили в нее все, что символизировало для них благополучие: серванты, фужеры, торшеры, чешский хрусталь

и кузнецовский фарфор, вышитые халаты и японские ярмарочные веера. Они ездили в Москву покупать не только мебель, но и надгробные камни, потому что их нора тоже была недостаточно глубокой. Одни исчезали по сталинскому велению, другие кончали с собой...

ТЕЗКА

В вагоне я не сразу поняла, что с О.М. Он встретил меня с восторгом и мое появление воспринял, как чудо. Да оно и было чудом. О.М. сказал, что все время готовился к расстрелу: «Ведь у нас это случается и по меньшим поводам...» Речи как будто вполне разумные. Мы никогда не сомневались, что его убьют, если узнают про стихи.

Винавер, человек очень осведомленный, с громадным опытом, хранитель бесконечного числа фактов и тайн, сказал мне через несколько месяцев, когда я, приехав из Воронежа, зашла к нему и по его просьбе прочла ему стихи про Сталина: «Чего вы хотите? С ним поступили очень милостиво: у нас и не за такое расстреливают...» Он тогда же предупредил меня, чтобы мы не возлагали лишних надежд на высочайшую милость: «Ее могут отобрать, как только уляжется шум...» «А так бывает?» — спросила я. Моя наивность поразила его: «Еще бы!..» И еще: «Только не напоминайте о себе — может, забудут...» Вот этот совет — тише воды, ниже травы — мы не выполнили. О.М., шумный человек, продолжал шуметь до самой гибели.

В вагоне О.М. сказал мне: милостивая высылка на три года только показывает, что расправа отложена до более удобного момента, то есть буквально то, что я услышала потом от Винавера. И я этой концепции несколько не удивилась: все мы к 34 году уже кое-что знали. О.М. утверждал, что от гибели все равно не уйти, и был абсолютно прав — трезвая оценка положения приводила именно к такому выводу. И я только кивала головой, когда он шептал мне: «Не верь им!» Еще бы! Кто им поверит!

А ведь именно это было содержанием травматического психоза, которым О.М. заболел во внутренней тюрьме.

Но на первых порах сумасшедшим показался мне не О.М., а старший конвойный Оська, тезка О.М. и адресата стихов, когда, отозвав меня в сторону и выпучив добрые бараньи глаза, он сказал: «Успокой его! Скажи, что у нас за песни не расстреливают...»

О том, что речь идет о стихах — по-народному они называются песнями, — Оська догадался из наших разговоров. По его мнению, у нас расстреливали шпионов, диверсантов и вредителей. Вот в буржуазных странах, говорил Оська, уцелеть невозможно: там за милую душу могут отправить на тот свет, если сочинишь какой неподходящий стишок...

Все мы, в разной степени конечно, верили тому, чем нас пичкали: особенно доверчива молодежь — студенты, конвойные, писатели, солдаты... «Самые справедливые выборы, — сказал мне в 37 году демобилизованный солдат, — нам предлагают, а мы выбираем...» О.М., как писатель, тоже попался на удочку и оказался чересчур доверчивым: «Сначала так выбирают, потом постепенно приучатся и будут обыкновенные выборы», — сказал он, покидая избирательный участок и поражаясь нововведению — первым и последним выборам, в которых участвовал⁷⁵. Даже мы, а опыта у нас было уже достаточно, не могли до конца оценить всех преобразований. Чего же требовать от молодежи — солдат и студентов?..

А соседка, носившая мне молоко перед войной в Калининe, раз вздохнула: «Нам хоть когда подкинут селедки там, или сахару, или керосинчику. А как в капиталистических странах? Там, верно, хоть пропадай!» Студенты до сих пор верят, что всеобщее обучение возможно только при социализме, а «там» народ погряз в неграмотности и темноте... За столом у той же Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, возник горячий спор: отказывают ли в больших городах, вроде Лондона или Парижа, прописывать демобилизованных летчиков-инвалидов. Такой случай только что произошел в Ташкенте (1959), и Лариса утверждала, что летчика, особенно испытателя, прописать необходимо. Я попробовала объяснить, что «там» вообще никакой прописки нет, но мне никто не поверил: «там» ведь куда хуже, чем у нас, значит, с пропиской строгости совсем невероятные... Да и кто станет жить без прописки? Враз попадешься!.. Если все мы верили своим воспитателям и даже воспитатели,

запутавшись, начали верить самим себе, что же удивительного, что им поверил старший конвоир Оська?

В дорогу я захватила томик Пушкина. Оська так прельстился рассказом старого цыгана, что всю дорогу читал его вслух своим равнодушным товарищам. Это их О.М. назвал «племенем пушкинovedов», «молодыми любителями белозубых стишков», которые «грамотеют» в шинелях и с наганами...⁷⁶ «Вот как римские цари обижают стариков, — говорил товарищам Оська. — Это ж за песни его так сослали...»⁷⁷

Описание Севера подействовало неотразимо: северная ссылка, конечно, вещь жестокая, и Оська решил меня успокоить: нам не грозит такая жестокая ссылка, как римскому изгнаннику. Провожая меня в уборную — по инструкции! — Оська умудрился шепнуть, что наша цель Чердынь — там климат хороший — и первая пересадка в Свердловске. Когда выяснилось, что следователь уже назвал нам место ссылки, Оська был потрясен: ему запретили говорить, куда мы едем, и велели хранить маршрут в тайне. И вообще такие вещи полагается знать только конвою... Полюбив нас, Оська нарушил инструкцию и назвал место назначения... Но, оказывается, напрасно — я уже это знала. Но я утешила старшого — если бы не его бесхитростные слова, подтвердившие сообщение следователя, я могла бы вообразить Бог знает что — такую из всего делали тайну.

Это была не единственная поблажка, на которую решился Оська. На многочисленных пересадках он заставлял конвоиров таскать наши вещи, а когда мы пересели в Соликамске на пароход, он шепнул, чтобы я взяла за свой счет каюту: «Пусть твой отдохнет...» Конвоиров он к нам не пускал, и они болтались на палубе. Я спросила, зачем он нарушает инструкцию, но Оська только махнул рукой. До сих пор он провожал уголовников и «вредителей» — с ними надо держать ухо востро. — «А твой — что! Его и стеречь не стоит!» Но до еды, как я ни пробовала угощать конвоиров, никто не дотронулся — запрещено. Лишь сдав О.М. в Чердыни коменданту⁷⁸, конвоиры сказали: «Теперь мы свободные — угощай...»

В своей жизни я соприкоснулась еще с двумя людьми Оськиной профессии. Один только скрежетал зубами и твердил, что мы ничего не знаем, не понимаем, не подозреваем... Он мечтал о демобилизации, просто бредил ею, и я рада была

узнать, что он вырвался на волю. «Даже и совхоз вроде рая», — сказал он при встрече... Другой — низколобое, звероподобное существо — упустил однажды преступника и потерял работу, которая сулила столько возможностей и явно пришлась ему по вкусу. Годами, в трезвом и пьяном виде, он проклинал «контру», «немца», «вредителя», «фашиста», «врага», сгубившего его карьеру. Жил он мечтой — встретить и казнить злодея. Он затаил обиду и против советской власти: зачем таткаются с такими преступниками? Не в лагерь их посылать, а в расход — и он выразительно прищелкивал пальцами...

...Плохо бы нам пришлось, если б инструкцию о перевозке заключенного Мандельштама вручили не Оське, а этому человеку.

ШОКОЛАДКА

Первая пересадка была в Свердловске⁷⁹. Там многочасовое ожидание на вокзале, причем конвойные не отходили не только от О.М., но и от меня. Я хотела дать телеграмму — нельзя! Купить хлеба — нельзя! Подойти к газетному ларьку — нельзя!.. На промежуточных станциях тоже не давали выйти — не положено! О.М. сразу заметил это: «Значит, и ты попалась...» Я пробовала объяснить конвойным, что я не выслана, а еду добровольно, провожаю... «Нельзя. Инструкция...»

Свердловск — это многочасовое — с утра до позднего вечера — сидение на деревянной вокзальной скамейке с двумя часовыми при оружии. При малейшем нашем движении — нельзя было даже приподняться, чтобы размять ноги, не разрешалось шевельнуться или переменить положение — часовые тотчас настораживались и хватались за пистолеты... Нас посадили почему-то прямо против входа, лицом к нему, и мы невольно смотрели на непрерывный поток входящих и выходящих людей. Первый их взгляд был обращен на нас, но каждый из них тотчас отворачивался. Даже мальчишки и те не достаивали нас вниманием... Есть тоже не полагалось, потому что еда находилась в чемодане, а до вещей дотрагиваться — не положено. До воды не дотянуться... Здесь Оська не смел нарушать инструкцию: Свердловск — станция серьезная...

Вечером мы пересели на узкоколейку Свердловск–Соликамск. Погрузились мы на запасных путях в сидячий вагон, и нас отделяли от прочих пассажиров несколько оставленных пустыми скамеек. Два солдата всю ночь простояли около нас, третий — у последней пустой скамейки, откуда он отгонял упрямых пассажиров. В Свердловске мы сидели рядом, а в вагоне друг против друга у окна неосвещенного вагона. Ночи уже были белые, и перед нами мелькали уральские леса, станции и холмы. Дорога была проложена в густом лесу, и О.М. не отрываясь смотрел в окно всю ночь напролет. Это была третья или четвертая бессонная ночь.

Мы ехали в переполненных вагонах и на пароходах, сидели на шумных, кишачих народом вокзалах, но нигде никто не обратил внимания на такое экзотическое зрелище, как двое разнополых людей под охраной трех вооруженных солдат. Никто даже не обернулся, чтобы посмотреть на нас. Привыкли они, что ли, на Урале к таким зрелищам или просто боялись заразы? Кто их знает... Но скорее всего, это было проявлением особого советского этикета, который твердо соблюдался нашим народом в течение многих десятилетий: раз начальство ссылает, значит — так и надо, а моя хата с краю...

Равнодушие толпы ранило и мучило О. М.: «Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят...» Он с ужасом шептал мне на ухо, что можно на глазах такой толпы сделать с арестантом что угодно — пристрелить, убить, растерзать — и никто не вмешается... Зрители только повернутся спиной, чтобы избавиться от неприятного зрелища... Всю дорогу я пыталась перехватить хоть бы чей-нибудь взгляд, но мне этого не удалось...

Может, только Урал был таким твердокаменным? В 38 году я жила в Струнине, в стоверстной зоне под Москвой; это небольшой текстильный поселок по Ярославской дороге, где в те годы еженощно проходили эшелоны с арестантами. Соседи, забегая к моей хозяйке, только об этих эшелонах и говорили. Их оскорбляло, что им запрещалось жалеть арестантов и они не могут подать им хлеба. Однажды моя хозяйка умудрилась бросить в разбитое зарешеченное окно теплушки шоколадку — она несла ее дочке!.. Редкое угощение в нищенской рабочей семье... Солдат с руганью отогнал ее прикладом,

но она весь день была счастлива — все же удалось хоть что-то сделать! Кое-кто из соседак, правда, вздохнул. «Лучше с ними не связывайся... Со свету сживут... по завкомам затаскают...» Но моя хозяйка «сидела дома», то есть нигде не служила, и поэтому завкома не боялась.

Поймет ли кто-нибудь из будущих поколений, чем была эта шоколадка с детской картинкой в душном каторжном вагоне-телятнике 38 года? Люди, для которых остановилось время, а пространство стало камерой, карцером, будкой, где можно было только стоять, вагоном, набитым до отказа человеческим полумертвым грузом, отвергнутым, забытым, вычеркнутым из списка живых, потерявшим имена и прозвища, занумерованным и заштемпелеванным, переправлявшимся по накладным в черное небытие лагерей, — вот эти-то люди вдруг получили первую за многие месяцы весточку из другого, для них запретного мира: дешевую детскую шоколадку, говорящую о том, что их еще не забыли и еще живы люди по ту сторону тюрьмы...

По дороге в Чердынь я утешала себя мыслью, что суровые уральцы просто боятся глядеть на нас и что каждый встретившийся нам человек, вернувшись домой, расскажет шепотом отцу, жене или матери о двух людях — мужчине и женщине, — которых трое солдат из внешней охраны перегоняют куда-то на север.

ПРЫЖОК

Я поняла, что О.М. болен, в первую же ночь, когда заметила, что он не спит, а сидит, скрестив ноги, на скамейке и напряженно во что-то вслушивается. «Ты слышишь?» — спрашивал он меня, когда наши взгляды встречались. Я прислушивалась — стук колес и храп пассажиров. «Слух-то у тебя негодный... Ты никогда ничего не слышишь...» У него действительно был чрезвычайно изоциренный слух, и он улавливал малейшие шорохи, которые до меня не доходили, но на этот раз дело было не в слухе.

Всю дорогу О.М. напряженно вслушивался и по временам, вздрогнув, сообщал мне, что катастрофа приближается, что надо быть начеку, чтобы не попасться врасплох

и успеть... Я поняла, что он не только ждет конечной расправы — в ней и я не сомневалась, но думает, что она произойдет с минуты на минуту, сейчас, здесь, в пути... «В дороге? — спрашивала я. — Ты, верно, про двадцать шесть комиссаров вспомнил...»⁸⁰ «Отчего ж нет? — отвечал О.М. — Ты думаешь, что наши на это не способны?» Мы оба прекрасно знали, что наши способны на что угодно... Но в своем безумии О.М. надеялся «предупредить смерть», бежать, ускользнуть и погибнуть, но не от рук тех, кто расстреливал. Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с надеждой: самоубийство — это тот ресурс, который мы держим про запас и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть. А между тем столько людей собирались не даваться живыми в руки тайной полиции, но в последнюю минуту попались врасплох...

Мысль об этом последнем исходе всю нашу жизнь утешала и успокаивала меня, и я нередко — в разные невыносимые периоды нашей жизни — предлагала О.М. вместе покончить с собой. У О.М. мои слова всегда вызывали резкий отпор^{*81}. Основной его довод: «Откуда ты знаешь, что будет потом... Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться...» И, наконец, последний и наиболее убедительный для меня довод: «Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой?» О.М., человек абсолютно жизнерадостный, никогда не искал несчастья, но и не делал никакой ставки на так называемое счастье. Для него таких категорий не существовало.

Впрочем, чаще всего он отшучивался: «Покончить с собой? Невозможно! Что скажет Авербах? Ведь это был бы положительный литературный факт!» И еще «Не могу жить с профессиональной самоубийцей...» Впервые мысль о самоубийстве пришла к нему во время болезни по дороге в Чердынь — как способ улизнуть от расстрела, который казался ему неизбежным. И тут я ему сказала: «Ну и хорошо, что расстреляют, — избавят от самоубийства...» А он, уже больной, в бреде, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся: «А ты опять за свое...» С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно, но О.М. говорил: «Погоди... Еще не сейчас... Посмотрим...»

А в 37 году он даже советовался с Анной Андреевной, но она подвела: «Знаете, что они сделают? Начнут еще больше беречь писателей и даже дадут дачу какому-нибудь Леонову. Зачем это вам нужно?..» Если б он тогда решился на этот шаг, это избавило бы его от второго ареста и бесконечного пути в телячьем вагоне во Владивосток — в лагерь, к ужасу и смерти, а меня — от посмертного существования. Меня всегда поражает, как трудно людям переступить этот роковой порог. В христианском запрете самоубийства есть нечто глубоко соответствующее природе человека — ведь он не идет на этот шаг, хотя жизнь бывает гораздо страшнее смерти, как нам показала наша эпоха. А меня, когда я осталась одна, все поддерживала фраза О.М.: «Почему ты думаешь, что должна быть счастливой?», да еще слова протопопа Аввакума: «Сколько нам еще идти, протопоп?» — спросила изнемогающая жена. «До самой могилы, попадья», — ответил муж, и она встала и пошла дальше⁸².

Если мои записки сохранятся, люди, читая их, могут подумать, что их писал больной человек, ипохондрик... Они ведь забудут все и не будут верить ни одному свидетельскому показанию. Сколько людей за рубежом до сих пор не верят нам. А ведь они — современники: нас разделяет только пространство, но не время. Еще недавно я прочла чье-то разумное рассуждение: «Говорят, что там боялись все. Не может быть, чтобы все боялись: одни боялись, другие нет...» Разумно и логично, но наша жизнь была далеко не так логична. И я вовсе не была «профессиональной самоубийцей», как меня дразнил О.М. Об этом думали многие. Недаром вершиной советской драматургии была пьеса, называвшаяся «Самоубийца»...⁸³

Итак, в вагоне, под охраной трех солдат, О.М. впервые подумал о самоубийстве, и это было для него болезнью: этот человек всегда замечал тончайшие детали происходящего и обладал острейшей наблюдательностью. «Внимание, — записал он где-то в черновиках, — доблесть лирического поэта, растрепанность и рассеянность — увертки лирической лени»⁸⁴. И вот по дороге в Чердынь эта хищная наблюдательность и изощренный слух обратились против него, подбрасывая горячее его болезни. В дикой вокзальной суете и в вагонах он непрерывно регистрировал всякие мелочи и, относя все к себе — не эгоцентризм ли

является первым признаком душевных заболеваний? — делал из всего один вывод: роковой момент приближается.

В Соликамске нас посадили на грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали мы лесной просекой. Грузовик был переполнен рабочими. Один из них — бородатый, в буро-красной рубашке, с топором в руке — своим видом напугал О.М. «Казнь-то будет какая-то петровская», — шепнул он мне. А на пароходе, в отдельной каюте, полученной благодаря Оське, О.М. уже смеялся над своими страхами и ясно сознавал, что пугается тех, кто совсем не страшен — вроде соликамских мужиков. И сетовал, что ему дадут успокоиться, забыться и «зацапают», когда он этого не будет ждать. Так и случилось, только через четыре года.

В безумии О.М. понимал, что его ждет, но, выздоровев, потерял чувство реальности и поверил в собственную безопасность. В той жизни, которую мы прожили, люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно, это требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг тебя, отнюдь не простой пассивный акт. Советские люди достигли высокой степени психической слепоты, и это разлагающе действовало на всю их душевную структуру. Сейчас поколение добровольных слепцов сходит на нет, и причина этого самая примитивная — возраст. Но что передали они по наследству своим потомкам?

Чердынь обрадовала нас пейзажем и общим допетровским обликом. Нас привезли в Чека и сдали вместе с документами коменданту⁸⁵. Оська объяснил, что он привез особую птицу, которую велено обязательно сохранить. Вероятно, он очень старался внушить это коменданту, человеку с типажом не внешней, а внутренней охраны, из тех, кто расстреливал и пытал и за жестокость, то есть как свидетель неупоминаемых вещей, был отправлен подальше. Я почувствовала, что Оська приложил какие-то старания, по любопытно-зловным взглядам коменданта и по тому, как легко я заставила его помочь мне внедриться в больницу. Обычно, как мне потом сказали чердынские ссыльные, он никогда не «потворствовал» приезжающим под конвоем... В больнице нам отвели огромную пустую палату, где поставили перпендикулярно к стене две скрипучие койки.

Я действительно не спала пять ночей и сторожила безумного изгоя⁸⁶. А в больнице, истомившись бесконечной белой ночью, я под утро забылась каким-то тревожным, как будто прозрачным сном, сквозь который видела, как О.М., скрестив ноги и расстегнув пиджак, сидит, прислушиваясь к тишине, на шаткой койке.

Вдруг — я почувствовала это сквозь сон — все сместилось: он вдруг очутился в окне, а я рядом с ним. Он спустил ноги наружу, и я успела заметить, что весь он спускается вниз. Подоконник был высокий. Отчаянно вытянув руки, я уцепилась за плечи пиджака. Он вывернулся из рукавов и рухнул вниз, и я услышала шум падения — что-то шлепнулось — и крик... Пиджак остался у меня в руках. С воплем побежала я по больничному коридору, вниз по лестнице и на улицу... За мной бросились санитарки. Мы нашли О.М. на куче земли, распаханной под клумбу. Он лежал, сжавшись в комочек. Его с руганью потащили наверх. Ругали главным образом меня за то, что я недоглядела.

Прибежала встрепанная и очень злая врачиха и быстро его осмотрела. Сказала, что он вывихнул правое плечо. Остальное все цело. Это был благополучный исход — он выбросился из окна второго этажа старой земской больницы, который по высоте равен по крайней мере трем современным. Откуда-то взялось множество санитаров и костоправов, Бог их знает, кто они были. О.М. лежал на полу совершенно пустой комнаты, называвшейся операционной, отбиваясь от державших его мужчин, а врачиха вправляла ему плечо под громкую ругань, заменявшую отсутствовавший в больнице наркоз.

Рентгеновский аппарат не работал, так как в период белых ночей движок экономии ради останавливали, а монтер уходил в очередной отпуск. Вот почему врачиха не заметила перелома плечевой кости (без смещения). Перелом обнаружился гораздо позже — в Воронеже, где пришлось обратиться к хирургу, потому что рука не работала. О.М. долго лечился и стал частично владеть рукой, но поднять ее, чтобы повесить, например, пальто, не мог. Это он делал левой рукой.

После ночного прыжка наступило успокоение⁸⁷. Так и сказано в стихах: «Прыжок — и я в уме»⁸⁸.

ЧЕРДЫНЬ

Небритый, заросший библейской бородой, две недели прожил О.М. в Чердыни, внимательно приглядываясь ко всему сосредоточенным и почему-то очень спокойным взглядом. Мне кажется, что у него никогда не было такого внимательного и спокойного взгляда, как в этот период болезни. Он не испугался таких же бородатых, как он, мужиков, которые бродили по коридорам больницы; помог, как он мне тогда же объяснил, соликамский опыт: мужики — это мужики, и от них ничего худого ждать не надо... «Те» выглядят совершенно иначе... У мужиков гноились запущенные язвы, и их лечили такими же цирюльничьими методами, как О.М. Они вели между собой неторопливые разговоры и почему-то всегда усмехались. Много есть непонятого в человеческом поведении — вот и эту усмешку не понять никогда. Проще объяснить язвы — переселение в чудовищных условиях, непосильные тяжести, ушибы... Худенькая женщина с лицом шестидесятницы, ссыльная, работавшая в больнице кастаньяншей⁸⁹, — она считала, что ей удивительно повезло с работой, — говорила, что готова пожертвовать жизнью ради этих мужиков, и по этой реплике О.М. определил, кто она^{*90}.

Как называли там этих бородатых мужиков? Переселенными? Перемещенными? Не помню, но раскулаченными их называть запрещалось⁹¹. Мы не любим называть вещи собственными именами. Бородатые люди с гноящимися язвами — они давно лежат в могилах. Мы никогда и нигде о них не упоминаем. Боимся ли мы коснуться этих язв?

В тот период не только на каторге, но и в дальних ссылках сохранились товарищество и взаимопомощь. На воле с этим давно покончили, но Чердынь жила традициями, и кастаньянша приняла в нас горячее участие. Она настаивала, чтобы я купила на зиму пимы — их потом не достанешь — и занялась огородом — иначе не прокормиться. Участок для огорода ссыльным отводили, но комнату приходилось нанимать. Как и всюду, в Чердыни был жилищный кризис, и ссыльные ютились по углам. Мы заходили с кастаньяншей к короткономому человеку, который сумел недурно устроиться — отгородил плюшевыми занавесками угол в чьем-то доме, сам сделал полки и сверху донизу уставил их сочинениями Маркса и Энгельса. За этими

занавесками он жил вместе с женой, и оба ходили каждые три дня отмечаться к коменданту.

Это приходилось делать и О.М., хоть он и попал в больницу. Ему выдали бумажку, которая «видом на жительство» служить не могла, и на ней комендант каждые три дня ставил свою печать. Чердынских ссыльных беспокоило, как бы комендант не вздумал загнать О.М. в район. В Чердыни, уездном центре, старались никого не оставлять: «Они считают, что нас здесь и так слишком много...» «А он имеет право?» — спросила я, объяснив, что назначение О.М. просто «Чердынь», а не район... «Вы у него в руках. Куда захочет, туда пошлет. Только и делает, что гонит из города...» В начале весны здесь было значительно больше политических, но их всех выселили в район, где никакой работы, кроме физической, получить нельзя. «А там были совсем больные товарищи», — сказала кастелянша. В обстановке каторги и ссылки слово «товарищ» имело особое значение, о котором на воле уже давно успели позабыть.

Муж кастелянши постоянно спорил с коротконогим марксистом, жившим за плюшевой занавеской. Это были остатки разбитых партий, их периферия, а споры начались еще в царском подполье. Жены занимались больше хозяйством и работой, чем спорами, и явно скучали по детям. Обе пары оставили детей у родственников. «Как-то им там живется!» — вздыхали матери, но к себе брать детей не решались: «Мы ведь обреченные, пусть хоть они живут...» Собственное будущее представлялось им совершенно ясно: при случае их тут же прикончат или сгноят в лагерях. «Может, смягчится», — сказали мы как-то марксисту. «Что вы! — ответил он. — Только сейчас начинает разгораться». И я не поверила. Совершенно естественно, думала я, что они так мрачно смотрят на будущее: в их положении оптимизма не наберешься... Но ведь не может же вечно так продолжаться, как сейчас... За мою долгую жизнь мне много раз казалось, что мы дошли до предела и скоро наступит то, что я называла смягчением... Расставаться с иллюзиями никому не хочется.

Чердынские ссыльные успокаивали меня насчет здоровья О.М.: «Оттуда все выходят в таком виде, а потом ничего, поправляются...» «Почему в таком виде?» — спрашивала я. Они не знали, как объяснить. «А раньше тоже было так?» Они ведь

прошли царские тюрьмы и могли мне раскрыть, в чем дело... Но они только говорили, что раньше аресты не так действовали на психику. Беспокоиться, однако, не надо: «это» проходит бесследно... Длится болезнь от двух до трех месяцев. Главное — внутренняя дисциплина: нельзя заглядывать в будущее — оно ничего хорошего не сулит. Надо пользоваться Чердынью как последней передышкой. Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия.

Они умоляли меня примириться с судьбой и не тратить последних денег на телеграммы. Все ссыльные, пораженные той фантастикой, которая с ними случилась «внутри», начинают с того, что забрасывают правительство телеграммами с протестами. Ответа не получил еще никто. Опыт у моих новых знакомых был огромный — их таскали по ссылкам и лагерям уже больше десяти лет, сначала врозь, а потом мужьям и женам удалось соединиться.

Я вспомнила старика Г.*⁹², провинциального врача. Я встретила его в самом начале двадцатых годов в Москве. Он приехал «хлопотать» и ничего не добился. «Никого не осталось, — сказал он мне. — Они сослали всех, даже Милю, даже Нолю...» Он перечислял мне сыновей и подростков-внуков: «Так никогда не бывало...» Старик знал, что в старое время, когда старшего сына отправляли в ссылку, а это случалось весьма часто, к нему тут же привозили внуков. Арест сына не затрагивал никого из членов семьи — все оставались на воле и жили где кому вздумается. Теперь старик пытался отхлопотать хоть кого-нибудь из несовершеннолетних, но у него ничего не вышло.

Я рассказала чердынским ссыльным про формулу «изолировать, но сохранить». Что она сулит, эта формула? Может, комендант не посмеет выбросить О.М. в район — в еще более тяжелые условия? Может, удастся добиться облегчения участи, лечения? Они сомневались... В их среде многие были лично знакомы с теми, кто оказался облеченным властью, включая Сталина. Им приходилось сталкиваться с ними и в царском подполье, и в ссылках. Теперь же, когда их сослали, они часто слышали заверения, что их только «изолируют», но постараются «создать им условия», чтобы они могли жить и работать... Обещания, однако, никогда не выполнялись, а все заявления

и письма, которыми они забрасывали правительство, канули в бездну. Изоляция сулила не «сохранение», а самое обыкновенное уничтожение втихаря, без свидетелей, в «удобную минуту»... Единственное, на что можно надеяться, это на собственную выдержку и дисциплину. Отбрось надежды, жди гибели и не теряй человеческого достоинства. Сохранить его трудно, для этого надо собрать все силы. Этому учит опыт и трезвый анализ положения... Так нас поучали люди, которые приобрели опыт раньше нас.

А нам казалось, что они не совсем объективны в своем пессимизме: такая уж у них судьба, что они невольно видят все в чересчур темном свете. Три года ссылки в Чердынь — неужели это конец? Все наладится, все смягчится, жизнь возьмет свое...

Человек всегда цепляется за малейший проблеск надежды, расстаться с иллюзиями не хочет никто, посмотреть прямо в лицо жизни очень трудно. Трезвый анализ и выводы требуют сверхчеловеческого усилия. Есть добровольные слепцы, но среди тех, кто считает себя зрячими, много ли осталось людей, которые не только смотрят, но и видят? Вернее, не искажают слегка того, что видят, чтобы сохранить иллюзии и надежду... Может, именно этим объясняется наша живучесть?

У моих чердынских знакомых осталась одна цель — сохранить человеческое достоинство. Ради этого они отказались от всякой деятельности, добровольно обрекли себя на полную изоляцию с перспективой близкой гибели. Несомненно, что это род пассивного сопротивления, но по сравнению с ним то, что известно под этим названием и применялось в Индии, является активнейшей политической борьбой... В известном смысле они приняли путь самоусовершенствования, который им когда-то предложили веховцы⁹³, а они с негодованием отвергли. Впрочем, выбора у них не было. Единственное, что им оставалось, это вой, который все равно никто бы не услышал.

Мне удалось совершенно случайно узнать про судьбу чердынской кастелянши. Она попала на Колыму и рассказывала одной сосланной туда ленинградке про болезнь О.М. После прыжка из окна он продолжал ждать расстрела, но уже не пытался спастись бегством. Приход убийц он назначал на какой-нибудь определенный час и ждал их в страхе и смятении.

В палате, где мы жили, висели большие настенные часы. Однажды О.М. признался, что ждет расправы в шесть вечера, и кастелянша посоветовала мне потихоньку перевести часы. Мы это с ней сделали, и О.М. не пережил припадка возбуждения и страха при приближении рокового часа. «Смотри, — сказала я. — Ты говорил о шести, а теперь уже четверть восьмого...» Как это ни странно, обман удался и пароксизмы, связанные с определенными часами, прекратились.

Кастелянша очень точно запомнила этот случай и рассказала о нем соседке по лагерному барaku, литераторше из Ленинграда Е. М. Тагер. Промаявшись около двадцати лет по лагерям, Тагер получила после Двадцатого съезда реабилитацию и вернулась в родной город. Ей дали квартиру в том же доме, что Анне Андреевне, и там мы с ней встретились. И я, тоже случайно уцелевшая и сохранившая память, опознала в той, что рассказывала про случай с часами, чердынскую кастеляншу. Случайность цеплялась за случайность для того, чтобы я могла записать на этом листочке — дойдет ли он когда-нибудь к людям? — о том, что худшие ожидания чердынских ссыльных оказались правильными.

Моя безымянная чердынская сестра умерла на Колыме от острого истощения. Но я никак не могу узнать про участь ее детей, от которых она отказалась, чтобы «хоть они жили»... Миновала ли их та судьба, которая обычно доставалась детям ссыльных и каторжных? Не пришлось ли им тоже расплачиваться тюрьмами и лагерями за своих родителей, пожелавших сохранить человеческое достоинство? И, наконец, сохранили ли дети то человеческое достоинство, за которое так дорого заплатили их родители?

Этого я не знаю и никогда не узнаю.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

Мы ходили по Чердыни, разговаривали с людьми, ночевали в больнице, и я уже не боялась открытого окна. Только рука на перевязи напоминала мне о первом утре — или это была белая ночь? — и о том, как у меня в руках остался пустой пиджак. Когда в 38 году пришли чекисты и снова увели О.М.,

у меня опять в руках остался пустой пиджак — в спешке он забыл его взять.

За несколько дней в Чердыни О.М. очень успокоился, острое состояние прошло, но болезнь все же продолжалась. По-прежнему он ждал расправы, но произошел психический поворот, вернувший его к некоторой реальности. Уже в Чердыни, после случая с часами, он мне сказал, что от расправы, очевидно, не уклониться, все равно ничего не успеешь сделать, даже покончить с собою не так просто — «иначе никто не дался бы им в лапы живым»...

Возбуждение прошло, но слуховые галлюцинации остались. Они ощущались не как внутренний голос, а как нечто насильственное и совершенно чуждое. Уже в Чердыни О.М. говорил о них почти объективно, пробовал разобраться и понять, в чем дело. Он объяснял, что голоса, которые он слышит, не могут идти изнутри, а только извне: не его словарь. «Этого я не мог даже мысленно произнести» — таков был его довод в пользу реальности этих голосов. В каком-то смысле способность к анализу мешала ему бороться с галлюцинациями. Он не мог поверить в их внутреннее происхождение, считая, что галлюцинация должна каким-то образом отражать внутренний мир больного.

«Может, вытесненное?» — допытывалась я. Он твердо настаивал, что «вытесненное» у него совсем другое, а это постороннее. «Страхи — и то совсем не те...» О.М. так сильно раскрывался в стихах, что в нем оставалось, по крайней мере для меня, очень мало темных мест — я говорю именно о «темных местах», потому что по-своему он был сдержанным человеком и существовали темы, которых он почти не касался. Например, он не раскрывал ход стиховых ассоциаций, стихов вообще не комментировал, скупно высказывался о самых дорогих для него вещах и людях, о матери, например, и о Пушкине... Иначе говоря, у него была область, касаться которой ему казалось почти святотатством, и именно в этом смысле я говорю о сдержанности. Но назвать это «задержками» нельзя, это не был человек задержанных мыслей, чувств и ощущений, скорее, наоборот... Да стоит ли вообще думать о «задержках», когда болезнь вызывается слишком сильной реакцией на действительность?

«Чей же это язык? чьи слова ты слышишь?» Точно определить он не мог. Быть может, тех, кто водил его по коридорам внутренней тюрьмы на ночные допросы. Они иногда, перемигиваясь, щелкали пальцами — символический жест, означавший «в расход», и обменивались отдельными устрашающими репликами. Ведь все их поведение тоже служило для застрашивания заключенных, они, так сказать, сотрудничали со следователями, и это знали все, побывавшие во внутренней тюрьме. О.М. часто припоминал еще голос человека, выпустившего его из «железных ворот ГПУ». О.М. называл его комендантом, но, может, это был просто дежурный из охраны. Самого выпускавшего он не видел, потому что находился в «воронке», но слышал, как некто проверяет документы прежде, чем выпустить из ворот машину, и голос вместе со всем обрядом произвел на него большое впечатление. Но главное — это внушительные речи следователя с его «преступлением и наказанием»...

«Голоса, — сказал он как-то мне, — это как будто “сборная цитата” из всего, что я слышал...» («Сборная цитата» — выражение Андрея Белого: каждого автора, говорил Белый, он представляет себе не в виде разрозненных и точных цитат, а в виде некой обобщенной «сборной цитаты», представляющей как бы квинтэссенцию его мыслей и слов...)

Чтобы проверить, как О.М. ориентируется в действительности, я спрашивала, не слышит ли он голосов конвойных, Оськи, например, или мужиков, с которыми мы находились в больнице. О.М. возмутился: конвойные — простые деревенские парни, несущие страшную службу — «как кур во щи попались», а раскулаченных он принимал именно за то, чем они были. «Обыкновенные люди этого говорить и думать не могут...» «Обыкновенные» люди и те, с кем он столкнулся внутри, представлялись ему как бы двумя полюсами. Не раз и в Чердыни, и позже О.М. говорил: «Ты себе не представляешь, как они там подобрались...» При этом он отличал внешнюю охрану и некоторых начальников, с которыми мы сталкивались в Воронеже, от специфического аппарата, работавшего по ночам. Первые были подобраны по общекрасноармейскому типу, а те «внутри» — совсем особые: «чтобы там работать, нужно иметь к этому призвание — обыкновенный человек этого

не выдержит»... В Чердыни он относил к людям «внутренней профессии» одного только коменданта.

Это совпадало с оценкой ссыльных. Они предостерегали — с комендантом вести себя поосторожнее и поменьше попадаться ему на глаза: «Бог знает, что ему взбредет в голову». Это был человек Гражданской войны. «Он всегда прислушивается к своему классовому чутью, — с ужасом сказал мне коротконогий марксист, — а это к добру не приводит — ведь никогда не угадаешь, на что оно его толкнет». Бедняга находился в полной власти этого коменданта, переведенного на окраину за самоуправство. Инстинктивный ужас О.М. перед этим человеком был вполне обоснован.

О.М. мерещились грубые мужские голоса, запугивающие, квалифицирующие его преступление, перечисляющие всевозможные кары, говорящие на языке наших газет в дни сталинских разоблачительных кампаний, ругающие его отборной бранью, упрекающие его в том, что он сгубил столько людей, прочитав им свои стихи. Голос перечислял имена этих людей как подсудимых на будущем процессе и взывал к совести того, кто их погубил. Как это ни странно, но слово «совесть», совершенно выпавшее у нас из обихода — оно не употреблялось ни в газетах, ни в книгах, ни в школе, потому что его функция выполнялась сначала «классовым чутьем», а потом «пользой государства», — сохранилось и работало «внутри». Там постоянно угрожали подследственным «муками совести».

Борис Сергеевич Кузин рассказывал, что, когда его «та-скали», требуя, чтобы он стал стукачом, его запугивали арестом, помехами в работе, слухами, которые грозились распу-стить среди друзей и сослуживцев, будто он является тайным агентом, но также муками совести за те бедствия, которые он навлечет на свою семью, если отвергнет предложения органов... Это слово, появившееся в галлюцинациях в специфическом контексте, прямо указывало, что их источник в ночных допросах. И «процесса» вместе со списком обвиняемых в заговоре против Сталина О.М. тоже не выдумал и не почерпнул в темных сферах своего сознания — этой темы при мне касался следователь, объясняя, что не «поднимает дела» только по приказу свыше, а за этим последовал риторический вопрос: как же объяснить такое поведение людей, как не заговором...

Наша реальность превосходит самое смелое и самое больное воображение.

Где же проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической нормой и болезнью? И я, и О.М. думали об одном и том же, но у него все эти мысли вызывали чувственную окраску — он не только думал, но и представлял себе, как все может обернуться. Среди ночи он будил меня и говорил, что Анна Андреевна арестована и ее ведут сейчас на допрос. «Почему ты так думаешь?» — «Мне так кажется...» Гуляя по Чердыни, он искал труп Анны Андреевны в оврагах... Конечно, это безумие... А я, очнувшись от летаргии, охватившей меня в вагоне, не спала ночей и гадала, кого из наших близких и друзей уже забрали и что им предъявляют — хорошо, если недонесение, но ведь можно пришить что угодно... Следовательно, обещавшему «не поднимать дела», верить было бы настоящим безумием и даже подлостью. Вот Адалис, например: я отшатнулась от нее, узнав, как ее вызывали по делу одного из ее мужей — она поверила следователю и тут же отреклась от ни в чем не повинного человека...

Была ли я больна, когда бессонными ночами воображала допросы и истязания — пока что психологические и, во всяком случае, такие, что не оставляют никаких следов на теле, — всех своих знакомых? Нет, болезнью тут и не пахло — всякий нормальный человек на моем месте мучился бы именно такими мыслями. Кто из нас не воображал себя в кабинете следователя, кто из нас по самым дурацким поводам не придумывал ответов на те вопросы, которые ему зададут? Недаром у Анны Андреевны появились строчки: «Там за проволокой колючей, В самом сердце тайги дремучей, Тень мою ведут на допрос...»

О.М. был, конечно, человеком повышенной чувствительности и возбудимости. Травмам он поддавался легче других и на внешние раздражения реагировал всегда очень сильно. Но нужна ли такая сверхчувствительность, чтобы сломаться в этой жизни?

Больных полагается лечить. Я требовала экспертизы. Женщина-врач, заведующая больницей, наотрез отказалась послать его на экспертизу. Ее ответы напоминали мне Оськино «не положено»... Я приставала, она избегала разговоров и

отругивалась. Однажды, не выдержав, она мне сказала: «Чего вы от меня хотите? Все они “оттуда” приезжают в таком состоянии...»

У меня сохранилось устарелое представление, что ссы- лать человека в бреду нельзя — беззаконие... И врача за ее равнодушие я честила палачихой. Но вскоре я заметила, что бородатые мужики относятся к ней неплохо. «Нечего к ней лезть, — сказал один из них. — Что она может? Ровным счетом ничего...» — «А что она за человек?» — спросила я. «Не хуже других», — ответили бородачи. Действительно, проявлять высокие нравственные качества можно не во всяких условиях. Присмотревшись, я поняла, что она обыкновенный районный врач. Ей не повезло — она попала в местность, куда посыла- ли «оттуда», и поэтому ей приходилось непрерывно входить в соприкосновение с органами и «действовать по инструкции». Тут-то она и научилась держать язык за зубами и не вмеши- ваться в распоряжения начальства. По целым дням она во- зилась с гнойными перевязками бородачей, кричала на них, ругалась, но все же по мере сил лечила их, а мне дала добрый совет: не добиваться, чтобы О.М. послали в Пермь на экспер- тизу, и не отдавать его ни в какое лечебное заведение: «Это у них проходит, а там его загубят... Вы знаете, как у нас в та- ких местах...»

Этот совет я приняла и хорошо сделала: «это» у них действительно проходит... Но я бы хотела знать, как «это» на- зывается в медицине, почему оно поражает такое количест- во подследственных, какими условиями «внутри» обусловлена массовость заболевания. Повторяю, О.М. обладал чрезмерной возбудимостью, может быть, склонностью к психическим забо- леваниям, и меня поразила не его болезнь, а то, что все, с кем я сталкивалась, твердили мне о массовости этих заболеваний; люди, знавшие царские тюрьмы, отнюдь не отличавшиеся гуман- ностью, подтвердили мою догадку о том, что тогда арестанты держались гораздо крепче и их психика сохранялась несравнен- но лучше.

Через много лет в поезде, идущем на восток, я по- пала в одно купе с молоденькой девушкой, врачом, которой тоже не повезло: она попала по распределению в лагерную больницу. Время уже было не страшное — 54 год, и девушка

разговорилась. Куда идти?.. Как спастись?.. Ведь больше нельзя терпеть... «Главное, ничего нельзя сделать... Что врач?.. Пишем, что прикажут, делаем, что прикажут...» К этому времени я уже твердо знала, что никакие врачи вольничать не смеют и слишком часто вынуждены поступать против своей совести, а некоторые даже не подозревают, что поступают против медицинской совести, когда отказывают, например, в удостоверениях о болезни, бюллетенях, свидетельствах об инвалидности... А впрочем, почему выделять врачей? Все мы делаем только то, что нам приказано. Все мы живем «по инструкции», и нечего на это закрывать глаза.

ПРОФЕССИЯ И БОЛЕЗНЬ

Мне кажется, что для поэта слуховые галлюцинации являются чем-то вроде профессионального заболевания.

Стихи начинаются так — об этом есть у многих поэтов, и в «Поэме без Героя», и у О.М.: в ушах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как О.М. пытался избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти... Он мотал головой, словно ее можно было выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. Но ничто ее не заглушало — ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате.

Анна Андреевна рассказывала, что, когда пришла «Поэма», она готова была сделать что угодно, лишь бы от нее избавиться, даже бросилась стирать, но ничего не помогло.

В какой-то момент через музыкальную фразу вдруг проступали слова, и тогда начинали шевелиться губы. Вероятно, в работе композитора и поэта есть что-то общее, и появление слов — критический момент, разделяющий эти два вида сочинительства.

Иногда погудка приходила к О.М. во сне, но, проснувшись, он не помнил приснившихся ему стихов.

У меня создалось впечатление, что стихи существуют до того, как они сочинены. (О.М. никогда не говорил, что стихи «написаны». Он сначала «сочинял», потом записывал.) Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании

и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова.

Последний этап работы — изъятие из стихов случайных слов, которых нет в том гармоническом целом, что существует до их возникновения. Эти случайно прокравшиеся слова были поставлены наспех, чтобы заполнить пробел, когда проявлялось целое. Они застряли, и их удаление тоже тяжелый труд. На последнем этапе происходит мучительное вслушивание в самого себя в поисках того объективного и абсолютно точного единства, которое называется стихотворением. В стихах «Сохрани мою речь» последним пришел эпитет «совестный» (деготь труда)⁹⁴. О.М. жаловался, что здесь нужно определение точное и скупое, как у Анны Андреевны: «Она одна умеет это делать...» Он как бы ждал ее помощи.

В работе над стихами я замечала не один, а два «выпрямительных вдоха»⁹⁵ — один, когда появляются в строке или в строфе первые слова, второй, когда последнее точное слово изгоняет случайно внедрившихся пришельцев. Тогда процесс вслушивания в самого себя, тот самый, который подготавливает почву к расстройству внутреннего слуха, к болезни, останавливается. Стихотворение как бы отпадает от своего автора, перестает жужжать и мучить его. Одержимый получает освобождение. Бедная корова Ио удрала от пчелы⁹⁶.

Если стихотворение не отстает, говорит О.М., значит, в нем что-то не в порядке или «еще что-то спрятано», то есть осталась плодоносная почка, от которой тянется новый росток; иначе говоря, работа не завершена.

Когда внутренний голос умолкал, О.М. рвался прочесть кому-нибудь новый стишок. Меня бывало недостаточно: я так близко видела эти метания, что О.М. казалось, будто я тоже слышала всю погудку. Иногда он даже упрекал меня, что я чего-то недослышала. В последний воронежский период (стихи из «Второй» и «Третьей» тетрадей) мы шли к Наташе Штемпель или зазывали к себе Федю Маранца, обезьяноподобного агронома, прелестнейшего и чистейшего человека, готовившегося в скрипачи, но случайно в юности испортившего себе руку. В Феде была та внутренняя гармония, которой отличаются люди, слышащие музыку. Со стихами он столкнулся впервые,

но его музыкальное чутье делало его лучшим слушателем, чем многих специалистов.

Первое чтение как бы завершает процесс работы над стихами, и первый слушатель ощущается как его участник. Первыми слушателями О.М. с тридцатого года были Борис Сергеевич Кузин, биолог, которому О.М. посвятил стихотворение «К немецкой речи», Александр Маргулис — это он, в сущности, распространил стихи первых двух тетрадей. Запомнив стихи с голоса или получив список, Маргулис читал их друзьям и знакомым, а имел он их несметное количество. О.М. сочинял бесконечные «маргулеты», стишки про Маргулиса, которые должны были начинаться со слов «старик Маргулис» и обязательно получить одобрение самого Маргулиса, и уверял, что у нищего старика Маргулиса (ему было тогда не больше тридцати лет) дома сидит еще более нищий старик, которого он тайком кормит. Сам Маргулис был настоящим человеком-оркестром и высвистывал самые сложные симфонии. Жаль, что потеряны самые лучшие «маргулеты» о том, как «старик» исполняет на московских бульварах Бетховена. И женился Маргулис на пианистке Изе Ханцын, прекрасной исполнительнице Скрябина. Маргулис в жизни любил музыку, стихи и приключенческие романы. Мне рассказывали, что, умирая под дальневосточным небом, он рассказывал уголовникам всякие небылицы и приключения мушкетеров⁹⁷, а они его за это подкармливали.

Первым слушателем часто оказывался и Лева Гумилев — он жил у нас зимой 33/34 года. Начало «Первой воронежской тетради» О.М. читал Рудакову, высланному в Воронеж вместе с ленинградскими дворянами (но вскоре ему удалось вернуться в Ленинград)⁹⁸.

Случилось так, что у всех первых слушателей О.М. была трагическая судьба. Кроме Наташи, всем пришлось пройти через тюрьмы и ссылки. Федя, например, больше года сидел во время ежовщины и вытерпел все, но ничего не подписал и попал поэтому в число счастливых, выпущенных после падения Ежова. Вышел он из этого испытания больным и растерзанным человеком, а во время войны его снова сослали просто за то, что ему случилось родиться в Вене, откуда его увезли домой в Киев трех недель от роду.

Логически рассуждая, можно подумать, что если все первые слушатели Мандельштама подверглись репрессиям, то между их делами должна быть какая-то связь. На самом же деле никакой связи не было. Кузина «таскали» еще до нашего с ним знакомства в связи с делами биологов. Попался он в первый раз из-за каких-то своих шуточных стихов, которые тщательно от нас скрывал. Его вызывали на какие-то частные квартиры, где в отдельной, специально для этого закреплённой комнате сидел следователь и вербовал стукачей. Сел же он в первый раз еще в 32 году, а потом был взят вторично в один день с биологом Вермелем — оба они числились неоламаркистами и были уже изгнаны из Тимирязевки.

Биолог Кузин, агроном Федя Маранц, сын расстрелянного генерала Рудаков и сын расстрелянного поэта Лева даже знакомы друг с другом не были. Единственное общее между ними было — любовь к стихам. Очевидно, это чувство требует той степени интеллигентности, которая обрекала у нас людей на гибель или в лучшем случае на ссылку. Жить разрешалось только переводчикам.

Процесс работы над переводом прямо противоположен сочинению подлинных стихов. Я не говорю, конечно, о чуде слияния двух поэтов, как бывало с Жуковским или с А. К. Толстым, когда перевод вносил новую струю в русскую поэзию или переводные стихи становились полноценным фактом русской литературы, как любимая нами «Коринфская невеста»⁹⁹. Такие удачи бывают только с настоящими поэтами, да и то очень редко, а просто перевод — это холодный и разумный верификационный акт, в котором имитируются некоторые элементы стихописания. Как это ни странно, но при переводе никакого готового целого до его воплощения не существует. Переводчик заводит себя, как мотор, длительными, механическими усилиями вызывая мелодию, которую ему нужно использовать. Он лишен того, что Ходасевич очень точно назвал «тайнослышаньем»¹⁰⁰. Перевод — это занятие, противопоказанное подлинному поэту, созданное для того, чтобы предотвратить даже зарождение стихов.

В «Разговоре о Данте» О.М. говорит о «переводчиках готового смысла», выражая свое отношение и к переводческой работе, и к тем, кто пользуется формой стихов, чтобы излагать

свои мысли. Их О.М. всегда отделял от подлинных стихотворцев. Одно время у нас в стране перестали читать стихи: «Стихи — такая вещь, — сказала Анна Андреевна, — кто раз проглотит суррогат, навсегда как отравленный...» К стихам вернулись, и сейчас их читают как никогда, но только потому, что научились отличать их от всех продуктов переводческого ремесла.

Стихи как слово. Сознательно выдуманное слово лишено жизнеспособности. Это доказано всеми неудачами словотворчества — наивной индивидуалистической игры с божественным даром человека — речью. К фонетическому комплексу, называемому словом, прикрепляют произвольное значение, и получается блатной язык или та словесная шелуха, которой пользуются в корыстных целях жрецы, заклинатели, правители и прочие шарлатаны. И над словом, и над стихами совершают это надругательство, чтобы пользоваться ими, как хрусталиком гипнотизера. Обман рано или поздно будет разоблачен, но человеку всегда грозит опасность попасть под обаяние и власть новых обманщиков, другой стороной повернувших свой хрусталик.

«ВНУТРИ»

Что происходило во внутренней тюрьме во время следствия? О.М. много говорил об этом со мной в Воронеже и старался отделить галлюцинации и бредовые представления от фактов. Острой наблюдательности он не терял ни на минуту. Я убедилась в этом, когда на свидании он сразу задал мне вопрос о том, что за пальто на мне, и сделал из моего ответа, что пальто мамино, правильный вывод: «значит, ты не была арестована»... Но болен он был, и далеко не все наблюдения и выводы оказались правдой. Мы тщательно отбирали с ним крупницы реальности, и это давалось нам нелегко.

У нас был один неплохой критерий подлинности того, что он запомнил, — во время свидания следователь успел коснуться многих вопросов. Он преследовал при этом явную цель — внушить мне свою точку зрения на все дело в целом и на различные аспекты следствия. Я получала, так сказать, авторитетные разъяснения, как следует трактовать происшед-

шее. Существовало много женщин, подобных Адалис, которые подобные разъяснения принимали с благодарностью... Большинство делало это из чувства самосохранения, но кое-кто от всей души.

Итак, во время свидания я была как бы пластинкой, на которой и следователь, и О.М. торопливо записывали свою версию происходившего, чтобы я сообщила о ней на воле. Следователь сознательно старался припугнуть меня, а через меня и тех, с кем я буду разговаривать. Но он прогадал, как и другие деятели нашей эпохи, которым в голову не приходило, что их жертва что-нибудь запомнит и посмеет подойти к событиям не с официальной, а с собственной меркой. Террор и самовластие всегда близоруки.

О.М., благодаря своей возбудимости, оказался, вероятно, легкой добычей, и особенно утонченных приемов с ним не применяли. Содержался он в «двухместной одиночке». Следователь прокомментировал одиночку следующим образом: «Одинокое заключение у нас запрещено из гуманных соображений». Я знала, что это ложь. Если такое запрещение когда-нибудь существовало, то только на бумаге. Во все периоды мы встречали людей, которых держали в одиночках. Зато, когда ощущалась нужда в тюремной жилплощади, эти крохотные камеры набивались до отказа. Об этом мы впервые услышали во время изъятия ценностей¹⁰¹. Люди, выходившие из тюрьмы, рассказывали, что им сутками приходилось стоять в набитых битком одиночках. Обычно же вторую койку использовали особым образом, о котором в 34 году до ареста О.М. мы еще не знали...

Сосед О.М. по камере запугивал его предстоящим процессом. Он убеждал О.М., что все его близкие и знакомые уже арестованы и будут обвиняемыми на грядущем процессе. Он перебирал статьи кодекса и, так сказать, «консультировал» О.М., то есть угрожал ему обвинениями в терроре, заговоре и тому подобных вещах. Возвращаясь с ночного допроса, О.М. попадал в лапы к своему «соседу», который не давал ему отдохнуть. Но работал этот человек топорно, и на его приставания О.М. спрашивал: «Отчего у вас чистые ногти?» Этот заключенный имел глупость сказать, что он «старожил» и сидит уже несколько месяцев, а ногти у него были аккуратно подрезаны. Однажды утром этот тип вернулся чуть позже О.М. — якобы с допроса,

и О.М. заметил, что от него пахнет луком, и тут же ему это сказал.

Следователь, парируя сообщение О.М., что он содержался в одиночке, заявил о гуманном запрещении одиночек и прибавил, что О.М. был в камере с другим заключенным, но «обижал своего соседа», и того пришлось перевести. «Какая заботливость!» — успел вставить О.М., и перепалка на эту тему кончилась.

О.М. на первом же допросе признал авторство инкриминируемых ему стихов, значит, роль подсаженного лица не могла сводиться к обнаружению фактов, которые пытаются скрыть от следователя. Вероятно, в функции этих людей входило запугивание и утомление подсудимых, чтобы жизнь им стала не мила. До 37 года у нас щеголяли психологическими пытками, но потом они сменились физическими, совершенно примитивными избиениями. Не слышала я после 37 года и об одиночных камерах с подсаженными людьми или без. Быть может, люди, удостоенные одиночки на Лубянке после 37 года, живыми оттуда не выходили.

О.М. подвергся тем физическим пыткам, которые практиковались у нас всегда. В первую очередь, это бессонный режим. На допросы его водили каждую ночь, и они продолжались по многу часов. Большая часть ночи уходила не на допрос, а на ожидание у дверей кабинета следователя под конвоем. Однажды, когда допроса не было, О.М. все-таки разбудили и повели к какой-то женщине, и она, продержав его много часов у себя под дверью, изволила спросить, нет ли у него жалоб. Бессмыслица жалоб так называемому прокурорскому надзору всем ясна, и О.М. этим своим правом не воспользовался. К прокурорше его таскали, вероятно, чтобы соблюсти формальность и сохранить для него бессонный режим и в ту ночь, когда следователь отсыпался. Эти ночные птицы вели дикий образ жизни, но все же поспать им удавалось, хотя и не в те часы, когда спят обыкновенные люди. А пытка бессонницей и направленный на глаза ярчайший свет знакомы всем, кто прошел этот путь...

На свидании я заметила воспаленные веки О.М. и спросила, что у него с глазами. На этот вопрос поспешил ответить следователь: читал, мол, слишком много, но тут же выяснилось, что книг в камеру О.М. не давали. С больными веками пришлось

возиться все годы — вылечить их так и не удалось. О.М. уверял меня, что воспаление произошло не только от ярких ламп, но что ему будто бы пускали в глаза какую-то едкую жидкость, когда он подбегал в камере к «глазку». Всякое беспокойство ведь претворялось у него в движение, и, оставшись один в камере, он метался по ней... Мне говорили, что «глазок» защищен двумя толстыми стеклами, поэтому пустить жидкость через него никак нельзя. Возможно, что эта едкая жидкость принадлежит к ложным воспоминаниям, но достаточно ли одной яркой лампы, чтобы причинить такое стойкое заболевание век?

О.М. кормили соленым, но пить не давали — это делалось сплошь и рядом с сидевшими на Лубянке. Когда он требовал воды у того же часового, подходя к «глазку», его тащили в карцер и завязывали в смирительную рубашку. Раньше смирительной рубахи он никогда не видел и поэтому предложил мне проверить этот факт следующим образом: он записал, как она выглядит, и мы сходили в больницу посмотреть, точно ли его описание. Оно оказалось точным.

На свидании я заметила, что обе руки у О.М. забинтованы в запястьях. «Что это у тебя с руками?» — спросила я. О.М. отмахнулся, а следователь произнес угрожающую тираду о том, что О.М. пронес в камеру запрещенные предметы, а это карается по статуту тем-то... Оказалось, что О.М. перерезал себе вены, а орудием послужило лезвие «Жилетт». Дело в том, что Кузин, выпущенный в 33 году после двухмесячной отсидки — его отхлопотал знакомый ему чекист, увлекавшийся энтомологией, — рассказал О.М., что в таких переделках больше всего не хватает ножа или хоть лезвия. Он даже придумал, как обеспечить себя на всякий случай лезвиями: их можно запрятать в подошве.

Услышав это, О.М. уговорил знакомого сапожника пристроить у него в подошве несколько бритвочек. Такая предусмотрительность была в наших нравах. Еще в середине двадцатых годов Лозинский показал нам приготовленный на случай ареста мешок с вещами. Инженеры и люди других «подударных профессий» делали то же самое. Удивительнее всего не то, что они держали у себя заготовленные заранее тюремные мешки, а то, что эти мешки и рассказы не производили на нас никакого впечатления: совершенно естественно, что люди думают о будущем, молодцы... Таковы были наши будни, и заблаговременно

упрятанное в сапоге лезвие дало О.М. возможность вскрыть себе вены: изойти кровью не такой уж плохой исход в нашей жизни...

Работа, разрушающая психику, велась на Лубянке по всей линии, в ней была система, а так как наши органы тоже бюрократическое заведение и ничего без инструкций не делают, то существовали, вероятно, и соответствующие инструкции. Нельзя ничего объяснить инстинктами злобного персонала, хотя людей, конечно, подбирали подходящих, но завтра такой же персонал может оказаться добрым — тоже по инструкции... Среди нас на воле ходили слухи, что Ягода завел тайные лаборатории, насадил там специалистов и всячески экспериментирует: пластинки, наркозы, внушение. Проверить эти слухи нельзя, быть может, это наше большое воображение или сознательно пущенные среди нас басни, чтобы держать всех в руках...

О.М. слышал у себя в камере доносившийся издали женский голос, который он принял за мой. Это были жалобы, стоны и торопливые рассказы, но настолько неясные, что слов он не мог разобрать. Тогда он решил, что меня действительно арестовали, как ему намекал следователь на допросах. Обсуждая с ним это, мы колебались, можно ли приписать этот голос слуховой галлюцинации. Почему он не разобрал слов? Ведь при слуховой галлюцинации слова слышались ему даже чересчур ясно, а множество людей, прошедших в те годы через внутреннюю тюрьму, тоже слышали голоса и крики своих жен, которые потом оказывались на свободе. У всех, что ли, были галлюцинации? А если так, то чем это достигалось? Поговаривали, будто есть у них в арсенале пластинки с голосами типовой жены, матери, дочери, которые используются для сокрушения духа арестованного...

После того как утонченные пытки и психологические методы сменились примитивнейшими, никто больше не жаловался, что слышит голос своей жены. О более грубых приемах я знаю: показывали, например, в щелку избитого человека, окровавленного, в страшном виде, и говорили, что это сын или муж арестованной... Зато про издали доносящиеся голоса уже не говорил никто... Были ли такие пластинки? Мне этого знать не дано и узнать не у кого. Поскольку у О.М. вообще были после выхода из тюрьмы галлюцинации, я склоняюсь к мысли, что и

этот голос принадлежал к тем внутренним голосам, которые мучили его в Чердыни. А про лабораторию наркозов слухи ходят и сейчас.

Все эти методы возможны только там, где с момента ареста у заключенного прерывается всякая связь с внешним миром: ничего, кроме расписки в книге передач, он об оставленных на воле людях не знает, но ведь и передачи разрешаются далеко не всем. Первый способ воздействия на заключенного — это запрещение ему передач, этой последней ниточки, связывающей его с миром. Вот почему в нашей жизни лучше было не иметь привязанностей: насколько крепче чувствует себя человек, которому не приходится ловить на допросах мнимые обмолвки и намеки следователя, чтобы узнать о судьбе близкого человека. У одинокого гораздо труднее расшатать психику, и ему гораздо легче сосредоточиться на собственных интересах и вести систематическую оборону.

Несмотря на предрешенность приговора, кое-какую роль умная самозащита все же играла. Одному моему приятелю*¹⁰² удалось поразительно перехитрить следователя, правда провинциального. Он после долгой борьбы согласился у себя в камере записать все басни, которые ему приписывали. Ему выдали бумагу, и он понаписал все, что с него требовал следователь, но своей подписи под показаниями не поставил, а следователь на радостях этого не заметил. Приятель мой, конечно, родился под счастливой звездой, потому что в это время сняли Ежова. Дело не успело дойти до коллегии, приговора не вынесли, и он добился пересмотра ввиду того, что отсутствие подписи делало его показания недействительными. Он принадлежал к тем немногим, кто после падения Ежова вышел на волю. Родиться под счастливой звездой еще недостаточно, рекомендуется еще не терять голову, а легче всего это сделать одиноким людям...

ХРИСТОФОРЫЧ

Следователь О.М., пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял, видно, с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его

подследственный — ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого. — Почему он так пыжится? — спросили бы мы, если б встретили такого человека в нормальной обстановке, но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он как человек высшей расы, презиравший физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка, и я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие христофорычи, зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении¹⁰³. Они великолепны только перед беззащитными и умеют когтить очередную жертву, уже пойманную в капкан.

Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться, иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первое поколение молодых чекистов, смененное и уничтоженное в 37 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал О.М., что для поэта полезно ощущение страха — «вы же сами мне говорили», — оно способствует возникновению стихов, и О.М. «получит полную меру этого стимулирующего чувства»... Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время — не «получили», но «получите». В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков?

У меня с О.М. появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так: «У этого Христофорыча все перевернуто и наыворот». Чекисты действительно были передовым отрядом «новых людей» и подвергли все обычные взгляды коренной сверхчеловеческой ломке. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов, перевернутых или правильных, не было.

Основной прием, которым действовал следователь, запутывая О.М., оказался все же абсолютно примитивным: назвав чье-нибудь имя — мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, — он сообщал, что получил от нас такие-то показания...

О.М. начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо, а следователь не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что «они уже у нас», чтобы через минуту отречься от своих слов: «Я вам этого не говорил». Неизвестность в таких делах разрушительна для подследственного, и она возможна только при наших условиях заключения. Христофорыч, играя в кошки-мышки с О.М. и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны... А потом сиди у себя в камере, разбирайся, правда это или ложь...

Следователь, «специалист по литературе», усиленно щеголял своей осведомленностью: всех он, мол, знает и в курсе «всех ваших дел». Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку: одного — «двоеженцем»^{*104}, другого — «исключенным»^{*105}, одну из бывавших у нас женщин — «театралкой»^{*106}... Эти прозвища он употребил при мне на свидании, но О.М. говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое: ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Характерно, что ташкентский самоубийца, по словам его дочери, тоже «знал всех и для всех придумывал клички»... О.М. на клички не обращал внимания — он понимал, чего этим хочет достичь следователь.

О.М. утверждал, что в работе следователя все время прорывались казенщина и схематизм. Наша юриспруденция предполагала, что для каждого класса и даже прослойки общества характерны типовые «разговорчики». Говорят, что научные силы Лубянки создавали целые простыни таких классовых разговорчиков, и на них-то следователь и пытался поймать О.М. «Такому-то вы говорили, что предпочли бы жить не в Москве, а в Париже...» Считалось, что О.М., как буржуазный писатель и идеолог погибающих классов, должен рваться обратно в их лоно. Фамилия гипотетического собеседника называлась первая попавшаяся, но обязательно очень распространенная, вроде

Иванова или Петрова, а в случае надобности — Гинзбурга или Рабиновича. Подследственному кролику полагалось вздрогнуть и начать мучительно перебирать в памяти всех Петровых или Рабиновичей, с которыми он мог поделиться своей заветной заграничной мечтой.

Такая мечта в нашей юриспруденции если не полное преступление, то, во всяком случае, отягощающее обстоятельство, а иногда она может выйти боком и квалифицироваться по любому пункту кодекса. Во всяком случае, мечта о Париже вскрывает классовое лицо подсудимого, а с классовой принадлежностью в нашем бесклассовом обществе нельзя не считаться... К такому же типу схематических вопросов относится: «Такому-то вы жаловались, что до революции зарабатывали литературой несравненно больше, чем сейчас». Ясно, что на такие крючки О.М. не поймался. Работа действительно была топорной, но они и не нуждались в тонкой. Зачем?.. Был бы человек, дело найдется...

Сначала Христофорыч вел следствие как подготовку к «процессу», но санкции на «процесс» не получил, о чем он упомянул при свидании — «мы решили не поднимать дела» и тому подобное... По нашим обычаям, материала на «дело» хватило бы с избытком, и такой оборот был более вероятен, чем то, что случилось. Метод следствия — объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. О.М. оговорил его неожиданным ответом: больше всего, сказал он, ему ненавистен фашизм... Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что О.М. не собирался исповедоваться перед следователем, но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно, и он махнул рукой на все... Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем О.М. усматривает фашизм в нашей жизни, — эту фразу он повторил и при мне на свидании, но — удивительное дело! — удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал.

О.М. убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила, но в 38 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Быть может,

О.М. заметил то, чего на его месте не обнаружил бы трезвый и разумный человек, находящийся, как всегда бывает у трезвых и разумных людей, во власти готовых концепций. Трудно себе представить, чтобы могущественный Ягода со своим грозным аппаратом без всякой борьбы сдался Сталину. Ведь в 34 году, когда велось следствие о стихах О.М., уже стало широко известно, что Вышинский подкапывается под Ягоду. По невероятной слепоте — вот она, власть готовых концепций! — мы с интересом ловили слухи об этой борьбе прокурора с начальником тайной полиции, думая, что Вышинский, юрист по образованию, положит конец самоуправству и террору тайных судилищ. И это думали мы — уже знавшие по процессам двадцатых годов, чего можно ожидать от Вышинского!¹⁰⁷ Во всяком случае, для сторонников Ягоды, в частности для Христофорыча, было ясно, что победа Вышинского не принесет им благоденствия, и они уж конечно понимали, какие мучения и издевательства ждут их перед концом. Когда борются две группы за право бесконтрольно распоряжаться жизнью и смертью своих сограждан, все побежденные обречены на гибель, и О.М., может, действительно прочел тайные мысли своего твердокаменного следователя. Но замечательное свойство эпохи: все эти новые люди, убивавшие и погибшие, признавали только свое право на мысль и суждение. Любой из них расхохотался бы, если б узнал, что человек в сползающих брюках и без единой театральной интонации, тот самый человек, которого к ним приводят под конвоем в любой час дня и ночи, не сомневается, несмотря ни на что, в своем праве на свободные стихи. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи О.М., что он изволил запомнить их наизусть — ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыни, — но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу — прошлую, настоящую и будущую, если б счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина. Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушить народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать — каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские трюки, но никому наши

властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи О.М. были настоящим преступлением — узурпацией у власть имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина так же, как и для его клики. Эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей: право на суждение определяется и будет определяться положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака: доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права. Христофорыч не мог признать этого права за Мандельштамом.

Самый факт написания стихов Христофорыч называл «акцией», а стихи — «документом». На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного «документа» ему не приходилось видеть никогда. О.М. не отрицал, что прочел стихи нескольким людям, общим числом в одиннадцать, включая меня, двух братьев — моего и своего — и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснилось, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, О.М. перечислил мне на свидании, чтобы я могла всех предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Списка этих людей я не привожу¹⁰⁸, чтобы у кого-нибудь не появилось искушение искать среди них предателя. Следователь выяснял, как каждый из слушателей реагировал на стихи. О.М. утверждал, что все умоляли его позабыть эти стихи и не губить ни себя, ни других¹⁰⁹. Кроме этих одиннадцати, стихи о Сталине слышали еще человек семь-восемь, но следователь не назвал их имен, и потому в деле они не фигурировали. Не названы были, например, Пастернак и Шкловский.

Протоколы О.М. подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. «Вероятно, доверял вам», — злобно сказала я... И действительно, я и сейчас думаю, что в этом смысле следователю можно было довериться: дело по нашим условиям было совершенно реальным, материалов хватило бы на десять процессов, и поэтому измышлять что-нибудь дополнительное не имело никакого смысла.

В начале следствия, как заметил О.М., следователь держался гораздо агрессивнее, чем под конец. Он даже перестал квалифицировать сочинение стихотворения как террористический акт и угрожать расстрелом. Вначале же он грозился расстрелом не только автору, но и «всем сообщникам», то есть людям, выслушавшим эти стихи. Обсуждая это смягчение, мы решили, что оно вызвано было инструкцией «сохранить». Я не видела следователя в первой фазе — угрожающей, и мне показалось, что и на свидании он вел себя чудовищно агрессивно. Но такова уж эта профессия, и, вероятно, не только у нас.

Следователь выяснял также отношение О.М. к советской власти, и О.М. сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме Чека. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезвычайное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью, но с такими дураками ему еще не приходилось встречаться, и у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с О.М. вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в «Правде» появился подвал Шагинян, где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и «сотрудничают с ними» на допросах... И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку... Добровольно Шагинян написала этот фельетон или по инструкции свыше, во всяком случае забывать его не следует.

В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 34 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко, как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело О.М., и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей — их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанная и глубоко современная архитектура подобных зданий ставит себе целью защитить и обезопасить следователя,

рискующего жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного в случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего Христофорыча.

Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид, брюки падали — он все за них хватался, отвечал невпопад — ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде, и тому подобное...¹¹⁰ Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного, но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой Булгарин на это бы не осмелился.

Кроме того, в кругу официальной литературы, к которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но, во всяком случае, не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей двадцатого века? С песнями валиться во рвы и общие могилы?.. Смело задыхаться в газовых камерах?.. Улыбаясь, путешествовать в телячьих вагонах?.. Вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве?.. Или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования?..

А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх — перед самим бытием. Об этом часто говорил О.М.: с революцией, у нас на глазах пролившей потоки крови, тот страх исчез.

КТО ВИНОВАТ

Первый вопрос, заданный следователем: «Как вы думаете, почему вас арестовали?» После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. О.М. последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовлетворятся: любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить

автора в лагерь. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры» и тут же их записал¹¹¹. «Квартиру» О.М. сообщил без восьми строчек — «Наглей комсомольской ячейки И вузовской песни наглей Присевших на школьной скамейке Учить щебетать палачей... Пайковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю И грозное баюшки-баю Колхозному баю пою», — и в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова^{*112}. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. О.М. признал авторство. Следователь потребовал, чтобы О.М. прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант «Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, Только слышно кремлевского горца, Душегубца и мужикоборца». О.М. объяснил, что таков был первый вариант. После этого О.М. пришлось записать стихи, и следователь положил автограф в папку¹¹³.

О.М. видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи — полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны.

Среди людей, слышавших стихи, многие могли запомнить с голоса даже при однократном чтении все эти шестнадцать строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут, но при этом почти неизбежны мелкие искажения: замены слов, пропуски... Если бы О.М. обнаружил такие искажения, он мог бы наверное сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки О.М. не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо «было» поступать. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару... Не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать?..

Равнодушие О.М. объяснялось и другим: он вовсе не жаждал обличить предателя и не очень верил, что у него будет

для этого время. Мы жили в мире, где всех «таскали туда», требуя, чтобы они информировали власть о наших мыслях и настроениях. Таскали женщин, красивых и некрасивых, предназначенная совсем иные функции для красоток и дурнушек и соблазняя их не одинаковыми, а разными наградами. Таскали людей с биографическими и психическими изъянами — одного пугали тем, что он сын чиновника, банкира или офицера, а другому сулили ласку и покровительство... Таскали тех, кто боялся потерять службу или хотел сделать карьеру, и тех, кто ничего не хотел и не боялся, и тех, кто был готов на все... Таская, преследовали не одну только цель добывания информации. Ничто не связывает так, как общее преступление: чем больше запачканных, замешанных, запутанных, чем больше предателей, стукачей и доносчиков, тем больше сторонников у режима, мечтающих, чтобы он длился тысячелетиями... И когда всем известно, что «таскают», само общество, люди теряют способность общаться, связи между ними ослабевают, каждый забивается в свой угол и молчит, а в этом — неоценимое преимущество для властей.

Они зывали к сыновним чувствам Кузина: «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем»... Он отвечал, что желает смерти своей матери, и собеседник был ошеломлен таким бессердечием. Это он грозился распусть слухи, что «мы вас завербовали и вы не сможете смотреть в лицо людям»...

Б. *¹¹⁴, художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием — не прийти не смел никто, хотя вызовы были неофициальные, чаще всего по телефону, как у Кафки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности...» Мою подругу, хорошенькую тогда девочку *¹¹⁵, еще в двадцатые годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы... Чего только не делали...

Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры. Отказывающихся держали там часами, бесконечно долго, предлагая «подумать». Из вызовов тайны не делали: они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств — упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся облегчали служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки они могли рассчитывать

на доброе отношение отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало — ведь подрастали новые поколения.

У каждого поколения была своя реакция на предложение сотрудничать с органами. Старшие страдали оттого, что со страху дали подписку хранить разговор в тайне. Из моих знакомых только Зощенко отказался подписаться под таким документом. Следующие поколения даже не понимали, чем такая подписка предосудительна. Отбояривались они совсем другим способом: «Если б я что-нибудь узнал, я бы сам к вам пришел, но я и узнать ничего не могу — кроме службы, никуда не хожу...» Все эти рассказы идут от тех, кто отказался «сотрудничать». Сотрудничеством у нас называлось все на свете... Но какой процент отказывался? Этого учесть нельзя. Надо думать, что их количество увеличивалось в периоды ослабления террора.

Кроме людей, принуждавшихся к «сотрудничеству», были толпы добровольцев. Доносами заваливали все учреждения. Доносы стали бедствием. Перед Двадцатым съездом я сама слышала, как инспектор Министерства просвещения, приехавший в Чувашский пединститут, где я работала, просил на собрании преподавателей перестать писать доносы и предупреждал, что анонимные вообще читаться не будут. Так ли это? Неужели их действительно не читают? Мне что-то не верится...

На почве вызовов у людей развились две болезни: одни подозревали во всяком человеке стукача, другие боялись, что их примут за стукача. Совсем недавно один поэт вздыхал, что у него нет стихов О.М. Я предложила дать ему список, но он пришел в ужас: вдруг я подумаю, что он выманивает список для Лубянки! Ш.^{*116}, когда я предложила дать ему те же стихи, счел своим долгом подробно мне рассказать, как его десятилетиями вызывают и мучат. В 34 году, когда О.М. уже находился в Воронеже, ко мне явился М.^{*117}, насупленный и мрачный: «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста, а он никогда даже не слышал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась.

Мы не раз останавливали людей, которые слишком вольно разговаривают: «Бог с вами! Что вы делаете? За кого вас примут, если вы будете так разговаривать?» А нас уговаривали ни с кем не встречаться. Вот Мишенька Зенкевич, например, —

он учил меня пускать к себе только тех, кого знаешь всю жизнь, но я ему весьма резонно отвечала, что и те люди могли превратиться совсем в не то, чем они были в начале жизни. Так мы жили, и поэтому мы не такие, как все.

Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке — подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным, несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, в свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.

«АДЪЮТАНТ»

«Стансы» из «Воронежских тетрадей» появились так: некто Длигач напечатал в одном из толстых журналов стихи, в которых обещал распознать классового врага по одному только звуку его лиры. В этих стихах упоминалось «Слово о полку»¹¹⁸.

С Длигачем мы познакомились в Киеве в середине 20-х годов, когда кучка молодых журналистов так задурила голову идиоту редактору местной газеты, что он согласился напечатать несколько статей О.М.¹¹⁹ В центре это уже было невозможно. Жена Длигача¹²⁰, прозрачная беляночка, из тех, что всегда трогали О.М., кончила ту же гимназию, что я. Жили они неподалеку от моих родителей, и, приезжая в Киев, мы часто встречались с ними. Через несколько лет Длигач очутился в Москве, в одной редакции «Московского комсомольца» с О.М.¹²¹ Работа у него не ладилась, московские лихачи затирали провинциала. Однажды Длигач прибежал к нам сияющий — наконец-то ему повезло: он нашел оброненное письмо своего врага, одного из руководителей газеты. Это было типичное письмо деревенского парня, ушедшего в город на заработки. Родным, знакомым, друзьям, сверстникам и соседям кланяется. Мамаше сообщает, что начальство его, слава Богу, любит и поощряет. Без милости и без работы он не останется. А там, гляди, устроится попрочнее, заслужит награду, ему комнатку дадут и возьмет он к себе кого-нибудь из братишек, чтобы и его в люди вывести.

Письмо было вполне человеческим, и в нем перечислялись личные интересы ответственного комсомольского газетчика, а на это он права не имел. Мало того, мальчишка упоминал Бога — этого комсомольским вождям не разрешалось. Даже такие отработанные сочетания, как «слава Богу», считались данью религии. Парень явно жил двойной жизнью и говорил на двух разных языках. В какой момент переходят они с языка учрежденческого и высокоидеологического на язык домашний? Самый крупный из наших драматургов*¹²² все мечтал написать пьесу о двуязычьи и об этом критическом моменте. Но он принадлежал к старшему поколению и поэтому замысла своего не осуществил. А руки у него чесались, и он все спрашивал: «Когда это бывает? На улице или уже дома?»... Через много лет к этой теме подошел другой писатель, гораздо моложе, рассказав о заседании сельсовета. У него мужики переходили на казенную речь по звонку председателя, открывающего собрание¹²³.

Длигач готовился вовсю использовать находку — письмо двуязычного идеолога комсомольской газеты, чтобы разоблачить своего врага перед высшим начальством. Он пришел к нам похвастаться своей удачей и показал письмо О.М. Тот выхватил его и бросил в печку.

Поведение Длигача типично для той эпохи — конца двадцатых и начала тридцатых годов. В борьбе за чистоту идеологии начальство всячески поощряло «мужественных разоблачителей», которые, «невзирая на лица», обнаруживали «пережитки» и остатки старой психологии у своих сослуживцев. Репутации лопались, как мыльные пузыри, а разоблачители карабкались вверх по служебной лестнице. Каждый из деятелей, поднимающихся в те годы, хоть разок да использовал этот прием — то есть разоблачение своего начальника. Иначе как займешь его место? Письмо могло сослужить Длигачу большую службу, но, к нашему удивлению, до него дошли доводы О.М. и он покинул нас печальный, но не рассерженный, хотя его надежды на лучшее будущее сгорели в печке. А может, все-таки он рассердился, потому что после этого инцидента мы не видели его несколько лет.

Длигач снова появился уже на Фурмановом переулке зимой 33/34 года. Привела его Диночка, оставленная нам

в наследство Яхонтовым, крошечная актриска, маленькая, нелепая, но очень милая женщина. Вспомнили письмо: Длигач благодарил О.М. за то, что он спас его от низости. Он быстро втерся в доверие, старая комсомольская история перестала поминаться — чего только не творили мальчишки в те времена, нельзя же преследовать их всю жизнь за один поступок...

В 33 году Длигач вертелся и возле Безыменского, устраивая через него какие-то свои газетные делишки. Он то и дело предлагал О.М. посоветоваться относительно разных дел с Безыменским: О.М. кипел еще историей с Саргиджаном и Толстым... Почти перед самым арестом Длигач уговаривал О.М. пойти к какой-то прокурорше, приятельнице Безыменского, чтобы рассказать ей, что послужило поводом к пощечине Толстому. Не знаю, что означало это шебуршение, но мне известно, что О.М. прочел Длигачу стихи о Сталине.

Наутро после ареста, очень рано, нам позвонил Безыменский. Я объяснила — конечно, иносказательно, но этот язык был понятен всем, — что случилось ночью. Безыменский присвистнул и повесил трубку. Ни до этого, ни после он никогда нам не звонил. Что ему рассказывал Длигач про О.М.? Может, он прослышал что-нибудь об аресте и позвонил, чтобы проверить? Но от кого мог он узнать об этом? Кто об этом знал? Ведь подписал ордер Ягода, а времени после увоза О.М. прошло слишком мало — едва ли несколько часов, чтобы успел распространиться слух. Почему он позвонил?

Последний раз я видела Длигача у нас в передней на Фурмановом переулке в день, когда я вернулась со свидания в кабинете следователя. Длигач ушел добывать деньги, которые я с него потребовала, и больше не вернулся. Когда Диночка собралась к нам в Воронеж, Длигач устроил ей страшную сцену, требуя, чтобы она отказалась от своей затеи. Диночка возмутилась, и они расстались. Не помня себя от удивления, Диночка рассказывала нам в Воронеже про неожиданную истерику своего возлюбленного и про разрыв их отношений, длившихся, кажется, несколько лет. После войны до меня дошло, что Длигач повесился. Это был испуг во время кампании против «космополитов». Храбростью Длигач не отличался.

О.М. не искал предателя. Он говорил, что виноват во всем сам — в наши дни нельзя искушать людей. Недаром

Бродский, тот, который сидел в кресле при аресте О.М., просил как-то О.М. не читать ему опасных стихов, так как он будет вынужден о них донести... «Не Длигач, так другой», — с поразительным равнодушием говорил О.М. Это я прожужжала ему уши относительно Длигача. Мне очень хотелось все свалить на эту блоху, потому что все другие варианты были действительно непереносимыми. Гораздо легче оклеветать ничтожного Длигача, чем заподозрить какого-нибудь настоящего человека, которого мы считали другом. И все же я не уверена, что доносчиком был он.

Во время следствия имя Длигача не упоминалось. Быть может, берегли агента, но возможно и другое: стукачи, перечислявшие, кто нас посещает, не встретились с Длигачем, потому что он обычно заходил днем вместе с Диночкой, а она вечером была занята в театре и вообще дичилась наших знакомых и предпочитала заставить нас одних. Стукачи же всегда информировали органы обо всех посетителях — прожектор направлялся не на одного человека, а на весь его круг. И в нашем случае — Христофорыч знал почти всех, кто у нас бывал.

Способен ли был Длигач с голоса запомнить шестнадцать строчек? Я никогда не слыхала, чтобы он повторял услышанные с голоса стихи. Стихотворение о Сталине О.М. прочел при нем только один раз и, вопреки своему обычаю, в присутствии другого лица, художника Т.*¹²⁴ Имя этого художника на следствии не всплывало — следователь его не называл. А самого существенного мы восстановить не смогли: в каком варианте слышал Длигач это стихотворение — с «мужикоборцем» или без. Скорее всего — без. Т. бывал у нас редко, он зашел к нам незадолго до ареста, когда первый вариант был уже совсем отставлен. А единственный человек, которому О.М. разрешил записать стихи, имел первый вариант, но, судя по всей жизни, этот человек вне подозрения. Может, кто-нибудь похитил у него эти стихи? Предположение не лишено эффектности, но, по-моему, пути передвижения из каждого дома в органы были гораздо более примитивными.

Поведение Длигача после ареста О.М. можно объяснить трусостью или знаменитой болезнью — страхом быть принятым за стукача. По своей биографии он больше всех подходил к этой роли, но в том-то и ужас, что этим занимались люди,

от которых никак нельзя было этого ожидать. Сколько в этой профессии насчитывалось вполне приличных дам и юношей из хороших семей — им ведь всякий доверится! — или мыслящих, болеющих за науку и искусство людей, проникающих в самую душу тонкими, умными, изящными разговорами. И к этой роли они подходили несравненно лучше, чем сиволапый Длигач!.. А в конце концов, Бог с ним. Он лишь жалкая букашка, которой довелось жить в страшное время. Разве человек действительно отвечает за себя? Даже поступки, даже характер его — все находится в лапах у эпохи. Она сжимает человечка двумя пальцами и выжимает из него ту каплю добра или зла, которая ей потребна.

Еще одна проблема: когда стали известны органам стихи о Сталине? Они были написаны осенью 33 года, арест произошел в мае 34-го. Может, после пощечины Толстому власти активизировали слежку, порасспросили агентов и только тогда узнали про стихи? Или они пролежали целых полгода без движения? Последнее кажется немислимимым... А Длигач появился у нас довольно поздно — среди зимы — и втерся в доверие к весне.

И последний вопрос: виновата ли я, что не повыгонила всех друзей и знакомых и не осталась с глазу на глаз с О.М., как делало большинство моих современниц, хороших жен и матерей? Мою вину умаляет только то, что О.М. все равно бы вырвался из-под присмотра и прочел недопустимые стихи — а с нашей точки зрения, все стихи недопустимы — первому встречному. Режим самообуздания и самоареста был не для него.

О ПРИРОДЕ ЧУДА

Винавер, которому часто приходилось ходить на Лубянку, первый узнал, что вокруг дела О.М. что-то происходит: «Какая-то особая атмосфера — суэта, перешептывания...» Оказалось: дело внезапно пересмотрено, новый приговор — «минус двенадцать». Все это в неслыханных темпах — пересмотр занял не то день, не то несколько часов¹²⁵. Сами темпы свидетельствовали о чуде: когда наверху нажималась кнопка, бюрократическая машина проявляла удивительную гибкость.

Чем сильнее централизация, тем эффективнее чудо. Мы радовались чудесам и принимали их с чистосердечием восточной, а может, даже ассирийской черни. Они стали частью нашего быта. Кто только не писал писем в высшие инстанции на самые металлические имена! А ведь такое письмо является, так сказать, прощением о производстве чуда. Грандиозные груды писем, если они сохранятся, настоящий клад для историка: в них запечатлелась жизнь нашей эпохи в гораздо большей степени, чем во всех других видах письменности, потому что они говорят об обидах, оскорблениях, ударах, ямах и капканах. Но чтобы их разобрать и выловить из-под словесного сора мелкие крупинки реальности, все же понадобится сизифов труд. Ведь и в этих письмах мы соблюдали особый стиль и утонченную советскую вежливость и говорили о своих несчастьях на языке газетных передовиц. А если только взглянуть на эти кипы писем «наверх», можно безошибочно констатировать, что в чудесах ощущалась насущная потребность, иначе говоря, жить без чудес было невозможно. Надо только иметь в виду, что писавших, даже если чудо совершалось, подстерегало горькое разочарование. К этому просители не были подготовлены, хотя народная мудрость издавна утверждает, что чудо — лишь мгновенная вспышка, не дающая никаких результатов. Что оставалось в руках после осуществления трех желаний? Во что превращалось утром золото, полученное ночью от хромоногого? Глиняная лепешка, горсточка пыли... Хороша только та жизнь, в которой нет потребности в чудесах.

История с О.М. открыла целую серию передававшихся из уст в уста историй о чудесах, грянувших сверху, как гром и благодетельная гроза, если только гроза бывает благодетельной... А все-таки нас чудо спасло и подарило нам три года воронежской жизни. Как обойтись без чудес? Нельзя...

Е. Х. сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали ее коменданту. Он пожал плечами: «Улита едет... Пока до нас доползет, снег выпадет...» И он напомнил, что пора выбираться из больницы и добывать себе зимнее жилье: «Смотрите, чтобы из щелей не дуло. Здесь зима знатная».

Официальная телеграмма пришла на следующий день. Комендант, может, и не сразу бы оповестил нас о ней, но еще до его прихода на работу нам рассказали о ней две девушки —

телеграфистка и регистраторша, с которыми О.М. уже научился болтать и шутить. Мы пошли в комендантскую и долго ждали «хозяина». Он при нас прочел телеграмму и не поверил своим глазам: «А может, это ваши родственники бахнули?.. Я почему знаю!» Два-три дня он не выпускал О.М. — и это стоило нам немало волнений, — пока наконец не дождался подтверждения из Москвы, что телеграмма действительно правительственная, а не сфабрикована ловкими родственниками ссыльного, сданного ему под расписку¹²⁶.

Тут он вызвал нас и предложил выбрать город¹²⁷. Решать пришлось сразу — на этом комендант настаивал: ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он дал нам подумать. «Безотлагательно!» — сказал он, и мы выбрали город под его взором. Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме двенадцати запрещенных городов да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг О.М. вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда он родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом¹²⁸. «Кто знает, может, еще понадобится тюремный врач», — сказал О.М., и мы остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он так был потрясен всем оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено дело, что проявил неслыханную любезность — дал казенную подводку, чтобы перевезти вещи на пристань. Частных лошадей мы бы не достали, их уже смысла недавно проведенная коллективизация. В последнюю минуту комендант пожелал нам всяческой удачи — вероятно, он даже счел нас чем-то вроде «своих», потому что оказался одним из первых свидетелей чуда, которое грянуло «сверху»...

Зато с кастеляншей все вышло наоборот — она потянула к нам всякое доверие. Кем должен быть человек, чтобы с ним так поступили? — прочла я немой укор в ее глазах. Она, конечно, не усумнилась, что у О.М. должны быть какие-то страшные заслуги, иначе «они» не выпустили бы его из своих лап, как не выпускают никого, кто однажды попался. Опыт у кастелянши был глубже, чем у нас, а в нашей стране у людей развился странный, но вполне понятный эгоцентризм — они соглашались доверять только собственному опыту. Ссылный О.М. был для нее «свой» — через три года она уже узнала, что далеко не всякий ссылный может быть зачислен в категорию

«своих» и что при ссыльных тоже надо держать язык за зубами; неожиданно помилованный — для чердынца ссылка в Воронеж кажется раем, — он стал для нее чужим и подозрительным. Думаю, чердынские ссыльные после нашего отъезда долго припоминали, не наговорили ли они чего опасного при нас, и обсуждали, не были ли мы специально посланы, чтобы разведать их мысли и тайны. Сердиться на кастеляншу не приходится — я бы так же чувствовала себя на ее месте. Потеря взаимного доверия — первый признак разъединения общества при диктатурах нашего типа, и именно этого добивались наши руководители.

И для меня кастелянша была «чужой», и я не понимала многого, что она говорит. У нас такие исковерканные правовые представления, мы так одичали и такими полубезумными глазами смотрим на мир, что между «познавшим» и «еще не познавшим», в сущности, не может быть никакого контакта. В тот памятный год я уже кое-что понимала, но еще недостаточно. Кастелянша утверждала, что их всех совершенно незаконно держат в ссылке. Вот она, например, к моменту ареста уже отошла от работы в своей партии и, когда ее забрали, являлась частным лицом: «И они это знали!» А я, дикарка или одичавшая от всего, что мне вливали в уши, не понимала ее доводов: если она сама признает, что принадлежала к разбитой партии, почему ж она обижается, что ее держат в ссылке? По нашим нормам так и полагается... Так я тогда думала. «Наши нормы», как я полагала, ужасны, жестоки, но такова реальность, и сильная власть не может терпеть явных, хотя бы недействующих, но все же потенциально активных противников. Государственной пропаганде я поддавалась очень туго, но все же и мне успели внушить дикарские правовые идеи. А Нарбут, например, оказался еще более восприимчивым учеником нового права. С его точки зрения, нельзя было не сослать О.М.: «Должно же государство защищаться? Что ж будет иначе — ты пойми...»

Я не возражала. Стоило ли спорить и объяснять, что ненапечатанные и не прочитанные на собрании стихи равносильны мысли, а за мысли ссылать нельзя. Только собственное несчастье раскрывало нам глаза и делало нас чуточку похожими на людей, да и то не сразу.

Мы некогда испугались хаоса и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала

в русло все взбаламученные людские потоки. Этот страх — самое, пожалуй, стойкое из наших чувств, мы не оправились от него и поныне, и он передается по наследству. Каждому — и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не знают, — кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услышав вечно повторяющееся: «нас первых повесят на столбе», — я вспоминаю слова Герцена про интеллигенцию, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут.

Выровнять ход истории, уничтожить ухабы на ее пути, чтобы не стало никаких неожиданностей, а все текло гладко и планомерно, — вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила появление мудрецов, определяющих наши пути. А раз они есть, мы уже больше не решались действовать без руководства и ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка ни я, ни ты, ни он составить не можем, значит, нужно благодарить за тот, что нам предложен сверху. Отважиться мы можем только на совет в каком-нибудь частном случае: нельзя ли, например, разрешить различные стили при выполнении социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы...

Слепцы, мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, каждом особом мнении нам снова чудились анархия и неодолимый хаос. И мы сами помогали — молчанием или одобрением — сильной власти набирать силу и защищаться от хулителей — какой-нибудь кастелянши, поэта или болтуна. Так мы жили, культивируя свою неполноценность, пока на собственной шкуре не убеждались в непрочности своего благополучия. Только на собственной шкуре, потому что чужому опыту мы не верим. Мы действительно стали неполноценными и ответственности не подлежим. А спасают нас только чудеса.

К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ

Нам выправили документы со штампом самого влиятельного в Союзе учреждения, и мы получили право получать билеты в воинской кассе по литерам. Неслыханное по тому времени преимущество, так как все пристани и вокзалы были забиты

черной и мрачной толпой, по неделям дежурившей у билетных касс. Дикая толпа, как во времена переселения народов или эвакуации... Пристань в Перми¹²⁹. На мешках, на тряпье, около деревянных сундуков с грубым лакированным рисунком расположились целыми семьями, а то и родами, изнеможенные, оборванные люди с почерневшими лицами. На берегу в вырытых в песке ямах тлели угли: здесь варили детям похлебку. Взрослые жевали корки. Их везли мешками про запас — хлеб еще выдавался по карточкам. Это раскулачиванье столкнуло с места огромные толпы, и они метались по стране в поисках, где лучше, и еще вздыхали по своим заколоченным избам.

Раскулаченных в полном смысле слова здесь не было. Те давно уже были высланы и доставлены по месту назначения. А эти — периферийные волны — снялись с места в момент испуга и заколобродили по всей стране — куда угодно, только прочь из родной деревни... Мы пережили много насильственных и несколько добровольных переселений народов: Гражданская война, голод в Поволжье и на Украине, раскулачиванье, эвакуация. Вплоть до войны вокзалы были еще забиты снявшимися с места крестьянами. После войны опять потянулись люди, но уже не в таких количествах, в поисках хлеба и работы. Всякая семья, где сохранился мужчина, рвалась туда, где, по слухам, был хлеб и спрос на рабочие руки. Иногда переселялись организованно, то есть предварительно завербовавшись. Узнав на опыте, что хрен редьки не слаще, бросались обратно или искали нового прибежища. Всякое насильственное переселение — классов и национальностей — вызывало волны добровольных беженцев. Дети и старики мерли как мухи.

Насильственное переселение — это нечто абсолютно новое, принесенное нам двадцатым веком¹³⁰. А может, египетскими или ассирийскими завоевателями? Я видела поезда с бородачами с Украины и с Кубани, а потом запертые теплушки «эзков», отправляемых на Дальний Восток. А потом поезда с немцами Поволжья, татарами, поляками, эстонцами... И снова теплушки с эзками. Они шли всегда — иногда гуще, иногда реже... Как-то иначе уезжали дворяне из Ленинграда¹³¹. Это было второе по счету массовое переселение, следующее после раскулачивания. В 35 году мы поехали с Анной Андреевной на Павелецкий вокзал проводить тщедушную женщину

с тремя крошечными мальчиками, направлявшуюся на постоянное жительство в Саратов. Прописали их, конечно, не в городе — такие беспомощные и в районе проживут!.. На вокзале нас встретила обычная картина — ступить некуда, все забито до отказа, но люди сидели не на мешках, а на довольно приличных чемоданах и сундучках, еще пестревших старыми заграничными наклейками. Пока мы пробивались на платформу, нас все время останавливали какие-то знакомые старухи — внучки декабристов, бывшие дамы, просто женщины. «Я не знала, что у меня столько знакомых дворян», — сказала Анна Андреевна... «Почему подняли крик? Зачем им загромождать Ленинград?» — сказала, поджимая губы, Таня Григорьева, беспартийная большевичка, жена Евгения Эмильевича, младшего брата О.М.

Я читала, что в истории каждого народа есть пора, когда люди «блуждают и телом и духом»¹³². Это молодость народа, творческий период его истории, отзывающийся на много столетий идвигающий его культуру. И мы тоже «все как будто странники»¹³³, и не только «как будто», а на самом деле. Принесут ли наши блуждания те плоды, которые нам обещал мыслитель? Нам было слишком тяжело, чтобы сохранить веру в эти плоды. И все-таки я не могу сказать — нет. Всем народом, сверху донизу, мы чему-то научились, хотя успели при этом уничтожить свою культуру и попросту одичать. Но то, чему мы научились, кажется, очень существенно.

Из Чердыни в Казань мы ехали двумя пароходами, и пересадка в Перми далась нам нелегко. Ждать парохода пришлось почти целые сутки. В гостиницу нас не пустили, потому что у О.М. не было паспорта: его отняли при аресте. Паспорт — это привилегия горожанина, деревня у нас беспаспортная¹³⁴, так что чуйкам в гостиницу не попасть, так же как и потерпевшим катастрофу горожанам. Впрочем, в гостиницах никогда нет мест и для обыкновенных граждан.

Присесть на пристани не удалось из-за толпы добровольных переселенцев. Мы бродили весь день до полного изнеможения по городу. Сидели на скамейках в чахлам городском саду и удивлялись бледности благополучных городских детей. Вспомнили, как нас по временам поражала желтизна кожи московских малышей — ею знаменовалась каждая очередная массовая голодовка. Последний раз это случилось в тридцатом

году, когда мы вернулись из Армении в Москву сразу после повышения цен и незадолго до введения карточек и распределителей¹³⁵. Это Москва расплачивалась за раскулачивание. К нашему отъезду она уже оправилась, но Пермь еще пугала своим видом. Обедали мы в ресторане, но посидеть там не могли, потому что возле каждого столика выстраивалась очередь: продуктов в городе не было, а рестораны все же давали какую-то суррогатную еду.

Пропорционально усталости у О.М. нарастало возбуждение, и я ждала рецидива. Два путешествия — с конвоем и без — затягивали и обостряли травматическую болезнь. Ночью он рвался к окошечку МГБ¹³⁶ в городе — мы еще бродили по улицам — «поговорить о деле»... Дежурный отогнал его: «Уходите прочь... Целыми днями к нам такие лезут...» О.М. вдруг опомнился: «Как магнит это проклятое окошко», — сказал он, и мы пошли на пристань. Время это Анна Андреевна называет еще сравнительно вегетарианским, но «магнит» действительно уже притягивал все умы. Был ли человек, которому не мерещились допросы, следствия, «дела» и расстрелы?.. Среди очень молодых, пожалуй, такие счастливицы были...

Пароход пришел среди ночи. Получив билеты в воинской кассе, мы, чувствуя себя не ссыльными, а, по крайней мере, любимыми детищами грозного учреждения, пробрались через рокошующие толпы и почти первыми взойшли на сходни. Толпа провожала нас завистливыми и недружелюбными взглядами: народ не любит привилегий, а ведь толпа на пермской пристани не знала, как нам досталась эта приятная возможность купить билет не в общей очереди. В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба всегда бывал привилегией. По крайней мере десять лет из первых сорока мы пользовались карточками, и даже на хлеб не было никакой уравниловки — одни не получали ничего, другие мало, а третьи с излишком.

«У нас голод, — объяснил нам в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении, Евгений Яковлевич. — Но сейчас все по-новому. Всех разделили по категориям, и каждый голодает или ест по своему рангу. Ему выдается ровно столько, сколько он заслуживает...» А один молодой физик — это было после войны — поразил свою тещу: он ел бифштекс, полученный

в распределителе теста, и похваливал: «Вкусно и особенно приятно, потому что у других этого нет...» Люди гордились литерами своих пайков, прав и привилегий и скрывали полочки от низших категорий. По иронии судьбы нам полагалось на этот раз получать билеты в самой «чистой» из всех привилегированных касс, и это вызывало всеобщую зависть. А вид у нас к тому же был далеко не начальственный, и это усугубляло раздражение. «Начальничек», то есть тот, кто при случае может и в рыло заехать, всегда импонирует нашей толпе — ничего с этим не поделаешь... Зато пароходная челядь всю дорогу отлично нас обслуживала — эти знали наизусть, что первыми на сходни попадают только достойные люди: такие «главные», что даже на чай не дают...

Мы заняли двухместную каюту, гуляли по палубе, принимали ванну — ехали, как настоящие туристы. Именно в эти пароходные дни произошел подлинный перелом в болезни О.М. Я даже удивилась, как мало ему нужно, чтобы очнуться, — трое суток тишины и покоя. Он сразу затих, хорошо спал, читал Пушкина, разговаривал, и к тому же совершенно спокойно. Между прочим, он ослепил меня целым фейерверком сопоставлений «чудотворных строителей»¹³⁷ и доказывал, что принятые у нас суждения по аналогии не выдерживают критики. Впервые за последние недели он говорил на эту тему, позабыв о себе и о том, что его могут растоптать. Когда дошло до этого, я поняла, что болезнь побеждена. Недаром Эмма Герштейн называла О.М. фениксом, который, сгорев, возрождается из кучки пепла. Слуховые галлюцинации, припадки страха, возбуждение и эгоцентрическое восприятие действительности больше почти не возвращались; во всяком случае, он научился сам справляться с легкими рецидивами болезни. Но она еще не исчерпалась — на пароходе был только решающий перелом. До поздней осени оставалась повышенная чувствительность, утомляемость — он всегда легко уставал, так как сердце было у него непропорционально маленьким, а в то лето оно резко ослабело. Кроме того, я заметила несвойственную ему ранимость и уж совершенно чуждую интеллектуальную вялость. Читать он начал почти сразу, но активных занятий избегал, даже в Данта почти не заглядывал. Быть может, возвращение к полной жизни замедлилось потому, что в Воронеже его ждала новая неприятность —

заболела я, сначала сыпным тифом, подхваченным на какой-нибудь пристани или вокзале.

Народные бедствия всегда сопровождаются сыпняком, и у нас он не переводился до самого последнего времени. В больницах, обманывая статистику, название болезни заменяли цифрой — люди болели не сыпняком, а формой номер пять или шесть, точной цифры я не помню... Из этого тоже делали государственную тайну, чтобы враги социализма не догадались, чем мы боеем.

После сыпняка я съездила в Москву и схватила там дизентерию. Она тоже была законспирирована и числилась под каким-то номером. Я попала вторично в инфекционные бараки, и лечили меня по старинке. Бактериофаг в бараки еще не проник, его придерживали для высших категорий больных. Одновременно со мной болел Вишневский, и только поэтому я узнала, что существуют новые лекарства, которые могли значительно ускорить мое выздоровление. Но и лекарства распределяются у нас по табели о рангах. Однажды я пожаловалась на это при одном отставном сановнике: всем, мол, такие вещи нужны... «Как так всем! — воскликнул сановник. — Вы хотите, чтобы меня лечили, как всякую уборщицу?» Сановник был человек добрый и вполне порядочный, но у кого не сковырнутся набекрень мозги от борьбы с уравниловкой?..

Хоть нам с О.М. полагалось лечиться по самому низшему разряду, мы оба выжили и начали свою трехлетнюю воронежскую «передышку»...

НЕ УБИЙ

Из всех видов уничтожения, которыми располагает государство, О.М. больше всего ненавидел смертную казнь, или «высшую меру», как мы тактично ее называли. Не случайно в бреду он боялся именно расстрела. Спокойно относившийся к ссылкам, высылкам и другим способам превращения людей в лагерную пыль — «мы ведь с тобой этого не боимся», — он содрогался при одной мысли о казни. Нам довелось читать сообщения о расстрелах многих людей. В городах иногда даже расклеивались специальные объявления.

О расстреле Блюмкина (или Конрада?) мы прочли в Армении — на всех столбах и стенах расклеили эту весть¹³⁸. О.М. и Борис Сергеевич вернулись в гостиницу потрясенные, убитые, больные... Этого оба они вынести не могли. Вероятно, смертная казнь не только символизировала для них всякое насилие, она еще чересчур конкретно и зримо представлялась их воображению. Для рационалистического женского ума это менее ощутимо, и поэтому массовые переселения, лагеря, тюрьмы, каторга и прочее глумление над человеком мне еще более ненавистны, чем мгновенное убийство. Но для О.М. это было не так, и первое его столкновение с государством, тогда еще «слишком новым»¹³⁹, произошло из-за его отношения к смертной казни. История стычки О.М. с Блюмкиным известна из неточного, с чужих слов, и приукрашенного рассказа Георгия Иванова¹⁴⁰. Есть об этом упоминание и у Эренбурга, который присутствовал при одном из нападений Блюмкина на О.М.: при встречах в публичных местах Блюмкин неизменно потрясал револьвером...¹⁴¹ И мне пришлось быть свидетельницей подобной сцены.

Это было в Киеве в девятнадцатом году. Мы стояли с О.М. на балконе второго этажа гостиницы «Континенталь» и вдруг увидели кавалькаду, мчавшуюся по широкой Николаевской улице. Она состояла из всадника в черной бурке и конной охраны. Приближаясь, всадник в бурке поднял голову и, заметив нас, резко повернулся в седле, и тотчас в нашу сторону вытянулась рука с наставленным револьвером. О.М. было отпрянул, но тут же, перегнувшись через перила, приветливо помахал всаднику рукой. Кавалькада поравнялась с нами, но рука, угрожающая револьвером, уже спряталась под бурку. Все это продолжалось секунду. Когда-то при мне на Кавказе произошло убийство: вагоновожатый, не останавливая трамвая, пристрелил стоявшего на главной улице чистильщика сапог. Это была кровная месть. Вся сцена с Блюмкиным развивалась точно так, но завершающего выстрела не последовало — кровная месть не была доведена до развязки. Всадники промчались мимо, свернули и скрылись в Липках, где находилась Чека.

Всадник в бурке — это Блюмкин — человек, «застреливший императорского посла»¹⁴² — Мирбаха. Он направлялся, вероятно, в Чека, к месту своей службы. Ему поручили, как

мы слышали, чрезвычайно важную и конспиративную работу по борьбе со шпионажем¹⁴³. Бурка и кавалькада — скорее всего, дань личным вкусам этого таинственного человека. Не понимаю только, как вязались такие эффекты с предписанной ему конспирацией.

Мне приходилось встречаться с Блюмкиным еще до моего знакомства с О.М. Мы когда-то жили вместе с его женой¹⁴⁴ в крохотной украинской деревушке, где среди кучки молодых художников и журналистов скрывалось несколько человек, преследуемых Петлюрой. После прихода красных жена Блюмкина неожиданно явилась ко мне и вручила охранную грамоту на квартиру и имущество на мое имя. «Что это вы?» — удивилась я. «Надо охранять интеллигенцию», — последовал ответ. Так женщины из рабочих дружин, переодетые монахинями, разносили иконы по еврейским квартирам 18 октября 1905 года¹⁴⁵. Они надеялись, что эта маскировка обманет погромщиков. Охранную грамоту, как явную фальшивку, да еще на имя девчонки — мне было тогда восемнадцать лет, отец не предъявлял ни при одном из многочисленных обысков и реквизиций. Вот от этой женщины, спасавшей интеллигенцию таким наивным способом, и от ее друзей я наслышалась об убийце Мирбаха и несколько раз встречала его самого, мелькавшего, исчезающего, конспиративного...

Сходство балконной сцены с кровной местью оказалось не случайным: Блюмкин поклялся отомстить О.М. и уже не раз кидался на него с револьвером, но до стрельбы никогда не доходило. О.М. считал, что все это пустые угрозы и пристрастие Блюмкина к мелодраматическим эффектам: «Что ему стоит меня застрелить? Захотел бы, давно бы сделал...» Но всякий раз О.М. невольно шарахался, когда Блюмкин выхватывал револьвер... Кавказская игра кончилась в 26 году, когда О.М., уезжая от меня из Крыма, случайно очутился с Блюмкиным в одном купе. Блюмкин, увидев «врага», демонстративно отстегнул кобуру, спрятал револьвер в чемодан и протянул руку. Всю дорогу они мирно разговаривали. Прошло немного времени, и мы прочли о расстреле Блюмкина. Распря с ним началась с вопроса о расстреле. Георгий Иванов в угоду неприхотливым читателям так расцветил эту историю, что она потеряла всякий смысл, но почтенные люди продолжают цитировать его

рассказ, не обращая внимания на логические изъяны. Наша оторванность друг от друга тому причиной.

Незадолго до конфликта Блюмкин предложил О.М. сотрудничать в новом, еще только организуемом учреждении, которому он предсказывал великую будущность. По мнению Блюмкина, это учреждение должно было определить эпоху и стать средоточием власти. О.М. в испуге отказался от сотрудничества, хотя тогда еще никто не знал, в чем будет специфика нового учреждения. Для О.М. достаточно было услышать, что учреждение будет могущественным, чтобы поскорее отстраниться. Он всегда как-то по-мальчишески удирал от всякого соприкосновения с властью. По приезду в Москву, например, в восемнадцатом году — он приехал с правительственными поездами¹⁴⁶ — ему пришлось несколько дней прожить в Кремле у Горбунова. Однажды утром в общей столовой, куда он вышел завтракать, лакей, прежде дворцовый, а потом обслуживавший революционное правительство и не утративший почтительно-лакейских манер, сообщил О.М., что сейчас сам Троцкий «выйдут кушать кофий». О.М. схватил в охапку пальто и убежал, пожертвовав единственной возможностью поесть в голодном городе. Объяснить этот импульс к бегству он не мог никак. «Да ну его... Чтобы не завтракать с ним...» Аналогичный случай произошел у него и с Чичериным, когда его вызвали, чтобы поговорить о работе в Наркоминделе. К нему вышел Чичерин и предложил составить пробный текст правительственной телеграммы по-французски, а затем оставил его одного. О.М. воспользовался этим и ушел, даже не пробуя составлять телеграмму. «Почему удрал?» — спрашивала я. В ответ такое же отмахивание — если бы с ним разговаривал какой-нибудь мелкий чиновник, он бы остался и поступил в Наркоминдел, но от людей, облеченных властью, лучше подальше...

Быть может, это инстинктивное, почти неосознанное отталкивание от власти спасло О.М. от многих ложных и губительных путей, открывавшихся перед ним в ту пору, когда даже зрелые люди ни в чем разобраться не могли. Как бы сложилась его судьба, если бы он поступил в Наркоминдел или в «новое учреждение», куда его так настойчиво приглашал Блюмкин?

Функции этого «нового учреждения» О.М. впервые понял во время стычки с Блюмкиным. Место действия — московское

Кафе поэтов¹⁴⁷, и это — единственное, что правильно запомнил Георгий Иванов. Но Блюмкин приходил туда не страшным чекистом, выбирающим очередную жертву, как пишут на Западе, а желанным гостем. Он ведь был близок к власти, а в литературных кругах это очень ценилось. Ссора О.М. с Блюмкиным произошла за несколько дней до убийства Мирбаха. По самой дате видно, что с понятием «чекист» тогда еще почти ничего не связывалось. Чека была только что организована, а до ее организации террор и расстрелы осуществлялись другими организациями: военным, кажется, трибуналом. В разговоре с Блюмкиным О.М., может, впервые точно понял, в чем состоят функции «нового учреждения», куда за несколько дней до этого его приглашал тот же Блюмкин.

Блюмкин, по словам О.М., расхвастался: жизнь и смерть в его руках, и он собирается расстрелять «интеллигентшишку», который арестован «новым учреждением». Глумление над «хилыми интеллигентами» и беспардонное отношение к расстрелам было, так сказать, модным явлением в те годы, а Блюмкин не только следовал моде, но и являлся одним из ее зачинателей и пропагандистов. Речь шла о каком-то искусствоведе, венгерском или польском графе, человеке, О.М. незнакомом. Рассказывая мне в Киеве эту историю, О.М. не помнил ни фамилии, ни национальности человека, за которого вступился. Точно так он не удосужился запомнить фамилии пяти стариков, которых спас от расстрела в 28 году. Сейчас личность графа легко восстановить по опубликованным материалам Чека: Дзержинский в рапорте по поводу убийства Мирбаха вспомнил, что он уже что-то слышал о Блюмкине...¹⁴⁸

Хвастовство Блюмкина, что он возьмет да пустит в расход интеллигентшишку-искусствоведа, довело другого хилого интеллигента, Мандельштама, до бешенства, и он сказал, что не потерпит вмешательства О.М. в «свои дела» и пристрелит его, если тот только посмеет «сунуться»... При этой первой стычке Блюмкин, кажется, уже угрожал О.М. револьвером. Он делал это с удивительной легкостью даже в домашней жизни, как мне говорили...

Согласно зарубежному изложению, О.М. изловчился, вырвал у Блюмкина ордер и порвал его... О каком ордере могла идти речь? Ведь искусствовед уже сидел на Лубянке,

значит, ордер на арест был давно приколот к делу, а не находился в руках у Блюмкина... И смысла такой поступок не имел бы никакого — ведь всякую бумажку можно легко восстановить. Зная темперамент О.М., я вполне допускаю, что он что-то выхватил и порвал, но он бы никогда этим не ограничился. Это на него не похоже. Это бы значило, что, испугавшись угроз Блюмкина, он отступился, устроив для самоудовлетворения небольшой скандал. В таком случае эту историю стоило бы вспоминать только как иллюстрацию упадка нравов. Но дело это имело продолжение.

Прямо из кафе О.М. отправился к Ларисе Рейснер и так повел наступление, что Раскольников позвонил Дзержинскому и сговорился, что тот примет Ларису и О.М. В напечатанном рапорте говорится, что на прием с Мандельштамом явился сам Раскольников, но это неверно. С О.М. поехала жена (Лариса Рейснер), а не муж (Раскольников). Думаю, что не было такой силы в мире, которая заставила бы Раскольникова поехать по такому делу в Чека, да еще с О.М. — его он не любил. Все связанное с литературными пристрастиями Ларисы всегда раздражало Раскольникова.

Все остальное в рапорте довольно точно: Дзержинский выслушал О.М., затребовал дело, принял поручительство О.М. и приказал выпустить искусствоведа. Было ли выполнено это приказание, я не знаю¹⁴⁹. О.М. думал, что было, но через несколько лет в подобной же ситуации О.М. узнал, что после распоряжения, данного при нем Дзержинским, арестованный выпущен не был...¹⁵⁰ В восемнадцатом году О.М. не пришло в голову проверять, выполнено ли обещание сановника. От кого-то он, впрочем, слышал, что граф был выпущен и уехал на родину. Да и последующее поведение Блюмкина свидетельствовало об этом...

Дзержинский заинтересовался и самим Блюмкиным и стал о нем расспрашивать Ларису. Она ничего толком о Блюмкине не знала, но О.М. потом жаловался мне на ее болтливость и бестактность. Этим она славилась... Во всяком случае, болтовня Ларисы Блюмкину не повредила и не привлекла к нему никакого внимания, а жалоба О.М. на террористические замашки этого человека в отношении заключенных осталась, как и следовало ожидать, гласом вопиющего в пустыне. Если бы

тогда Блюмкиным заинтересовались, знаменитое убийство германского посла могло бы сорваться, но этого не случилось: Блюмкин осуществил свои планы без малейшей помехи. Дзержинский вспомнил про посещение О.М. только после убийства Мирбаха и использовал его в рапорте, очевидно, только чтобы показать свою осведомленность. Он даже забыл, кто у него был с О.М. После убийства Мирбаха Блюмкин был на время отстранен от работы в Чека, но вскоре вернулся и оставался там до своей гибели.

Почему Блюмкин все же не отомстил, как грозился, О.М., вмешавшемуся в «его дела» и даже одержавшему победу? По мнению О.М., Блюмкин был страшным, но далеко не примитивным человеком. О.М. утверждал, что Блюмкин и не собирался его убивать: ведь нападений было несколько, но он всегда позволял присутствующим разоружить себя, а в Киеве сам спрятал револьвер... Выхватывая револьвер, беснуясь и крича, как одержимый, Блюмкин отдавал дань своему темпераменту и любви к внешним эффектам: он был по природе террористом неудержимо буйного стиля, выработавшегося у нас в стране еще до революции.

Второй вопрос — как совместить отвратительное хвастовство убийствами и поношение «интеллигентишки», предназначенного в жертву, с деятельностью жены, нелепо, но активно спасавшей интеллигенцию? Возможно, конечно, что моя знакомая из украинской деревни была только одной из «случайных жен» Блюмкина, как часто бывало в той среде, и отнюдь не единомышленницей... Но с людьми формации Блюмкина никогда нельзя быть уверенным, что видимость соответствует сущности, и кое-кто готов допустить, что в его деятельности был второй скрытый план и своей гнусной болтовней о расстрелах «хилых интеллигентишек» он стремился вызвать недоверие к «новому учреждению», где работал как представитель левых эсеров. В таком случае реакция О.М. была бы именно тем, чего он добивался, и именно потому кровная месть не состоялась... Но в этом сможет разобраться только историк, который будет изучать это странное время и этого диковинного человека.

Мне же кажется, что второго плана не было, а мальчишки, делавшие в те дни историю, отличались мальчишеской

жестокостью и непоследовательностью. Почему именно молодых легче всего превратить в убийц? Почему молодость с таким преступным легкомыслием относится к человеческой жизни? Это особенно заметно в роковые эпохи, когда льется кровь и убийство становится бытовым явлением. Нас наускивали, как собак на людей, и свора с бессмысленным визгом лизала руки охотнику. Антропофагская психика распространялась, как зараза. Я на себе испытала легкий приступ этой болезни, но на меня нашелся умелый врач. В Киеве в мастерской Экстер какой-то заезжий гость, не то Рошаль, не то Черняк, прочел частушки Маяковского о том, как топят в Мойке офицеров¹⁵¹. Бодрые стишки подействовали, и я рассмеялась. За это на меня неистово набросился Эренбург. Он так честил меня, что я до сих пор чту его за этот разнос, а себя за то, что я, вздорная тогда девчонка, сумела смиренно его выслушать и на всю жизнь запомнить урок. Это произошло до моей встречи с О.М., и ему уже не пришлось лечить меня от приступов антропофагии и объяснять, почему он вступился за графа.

Именно этого у нас почти никто не понимает, и многие до сих пор спрашивают меня, почему О.М. это сделал, то есть вступился за незнакомого человека в дни, когда расстреливали направо и налево. У нас понимают, если вступаются за «своего» — родственника, знакомого, шофера, секретаршу... Даже в сталинские дни такие хлопоты не прекращались. Но там, где нет личной заинтересованности, соваться не следует. Люди, живущие при диктатуре, быстро проникаются сознанием собственной беспомощности и находят в ней утешение и оправдание своей пассивности: «Разве мой голос остановит расстрелы?.. Не от меня это зависит... Кто меня послушает...» Так говорили лучшие из нас, и привычка соизмерять свои силы привела к тому, что любой Давид, который лезет с голыми руками на Голиафа, вызывал только недоумение и пожатие плеч. В таком положении очутился и Пастернак, когда в опаснейшее время отказался дать свою подпись под писательским письмом, одобряющим очередной расстрел «врагов народа»...¹⁵² Вот почему голиафы с такой легкостью уничтожали последних давидов.

Мы все пошли на мировую: молчали, надеясь, что убьют не нас, а соседа. Мы даже не знаем, кто среди нас убивал, а кто просто спасался молчанием.

ЖЕНЩИНА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

«Надо создать тип женщины русской революции, — говорила Лариса Рейснер в тот единственный раз, когда мы были у нее после ее возвращения из Афганистана¹⁵³, — французская революция свой тип создала. Надо и нам». Это вовсе не значит, что Лариса собиралась писать роман о женщинах русской революции. Ей хотелось создать прототип, и себя она предназначала для этой роли. Для этого она переходила через фронты, ездила в Афганистан и в Германию. С семнадцатого года она нашла свой путь в жизни — этому помогли традиции семьи: профессор Рейснер еще в Томске сблизился с большевиками¹⁵⁴, и Лариса оказалась в среде победителей.

Во время нашей встречи Лариса обрушила на О.М. кучу рассказов, и в них сквозила та же легкость, с какой Блюмкин хватался за револьвер, и его же пристрастие к внешним эффектам. На постройку «женского типа» Лариса употребила сходный с Блюмкиным материал. С теми, кто вздыхал в подушку, сетуя на свою беспомощность, ей было не по пути — в ее среде процветал культ силы. Спокон века право использовать силу мотивируется пользой народа — надо успокоить народ, надо накормить народ, надо оградить его от всех бед... Подобной аргументацией Лариса пренебрегала и даже слово «народ» из своего словаря исключила. В этом ей тоже чудились старые интеллигентские предрассудки. Все острие ее гнева и разоблачительного пафоса было направлено против интеллигенции. Бердяев напрасно думает, что интеллигенцию уничтожил народ, ради которого она когда-то пошла по жертвенному пути¹⁵⁵. Интеллигенция сама уничтожила себя, выжигая в себе, как Лариса, все, что не совмещалось с культом силы.

При встрече с О.М. Лариса сразу вспомнила, как она изменила себе и поехала с ним к Дзержинскому: «Зачем вам понадобилось спасать этого графа? Все они шпионы...» Она не без кокетства пожаловалась мне на О.М.: он так на нее набросился, что она, не успев опомниться, «влипла в эту историю»... А в самом деле, почему она согласилась наперекор всей своей позиции ехать просить за неизвестного «интеллигентшику»? О.М. считал, что Ларисе захотелось продемонстрировать свое влияние и похвастаться близостью к власти. А по-моему,

она просто выполнила то, что считала прихотью О.М., которого была готова как угодно баловать за стихи. Преодолеть любовь к стихам Лариса не могла, хотя это преодоление входило в ее программу: разве оно соответствовало образу «женщины русской революции», созданному в ее воображении? В первые годы революции среди тех, кто победил, было много любителей поэзии. Как совмещали они эту любовь с готтентотской моралью — «если я убью — хорошо, если меня убьют — плохо»?

Стихи Лариса не только любила, но еще втайне верила в их значение, и поэтому единственным темным пятном на ризах революции был расстрел Гумилева. Когда это случилось, она жила в Афганистане, и ей казалось, что будь она в те дни в Москве, она сумела бы вовремя дать добрый совет и остановить казнь. При встрече с нами она все время возвращалась к этой теме, и мы присутствовали при зарождении легенды о телеграмме Ленина с приказом не приводить приговор в исполнение. В тот вечер Лариса поднесла нам эту легенду в следующем виде: мать Ларисы, узнав о том, что собираются сделать в Петрограде, отправилась в Кремль и уговорила Ленина дать телеграмму. Сейчас роль информатора приписывают Горькому — он, мол, снесся с Лениным...¹⁵⁶ И то и другое не соответствует действительности. В отсутствие Ларисы мы несколько раз заходили к ее родителям, и мать при нас сокрушалась, что не придала значения аресту Гумилева и не попробовала обратиться к Ленину — может бы что вышло...

Что же касается Горького, то к нему действительно обращались... К нему ходил Оцуп. Горький активно не любил Гумилева, но хлопотать взялся. Своего обещания он не выполнил: приговор вынесли неожиданно быстро и тут же объявили о его исполнении, а Горький еще даже не раскачался что-либо сделать...¹⁵⁷ Когда до нас стали доходить трогательные истории о телеграмме, О.М. не раз вспоминал о зарождении этой легенды в комнате у Ларисы: до ее приезда подобных слухов не циркулировало и все знали, что Ленину не было никакого дела до поэта, о котором он никогда не слышал...¹⁵⁸ Но почему в нашей стране, где пролито столько крови, именно эта легенда оказалась такой живучей? Мне все время встречаются люди, которые клянутся, что эта телеграмма была даже напечатана в таком-то томе сочинений или лежит целехонька в архиве. Легенда дошла

даже до писателя в узеньких брючках, того самого, что носит в кармане коробочку леденцов. Он даже обещал принести мне том, где он сам своими глазами прочел эту телеграмму, но обещания своего так и не выполнил. Миф, изобретенный Ларисой в угоду собственной слабости, будет еще долго бытовать в нашей стране.

С образом женщины русской революции Ларисе повезло меньше, чем с мифом о телеграмме. Это объясняется, пожалуй, тем, что она, скорее, принадлежала к стану победителей, чем борцов. О.М. рассказывал, что Раскольников с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно — особняк, слуги, великолепно сервированный стол... Этим они отличались от большевиков старшего поколения, долго сохранявших скромные привычки. Своему образу жизни Лариса с мужем нашли соответствующее оправдание: мы строим новое государство, мы нужны, наша деятельность — созидательная, а потому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается людям, стоящим у власти. Лариса опередила свое время и с самого начала научилась бороться с еще не названной уравниловкой.

Со слов О.М. я запомнила следующий рассказ о Ларисе: в самом начале революции понадобилось арестовать каких-то военных, кажется адмиралов, военспецов, как их тогда называли. Раскольниковы вызвались помочь в этом деле: они пригласили адмиралов к себе; те явились откуда-то с фронта или из другого города. Прекрасная хозяйка угощала и занимала гостей, и чекисты их накрыли за завтраком без единого выстрела. Операция эта была действительно опасной, но она прошла гладко благодаря ловкости Ларисы, заманившей людей в западню¹⁵⁹.

Лариса была способна на многое, но я почему-то уверена, что будь она в Москве, когда забрали Гумилева, она бы вырвала его из тюрьмы¹⁶⁰, и если бы она была жива и у власти в период уничтожения О.М., она бы сделала все, чтобы его спасти. Впрочем, ни в чем уверенным быть нельзя — жизнь изменяет людей.

У О.М. были приятельские отношения с Ларисой. Она хотела забрать его в Афганистан, но Раскольников воспротивился. Мы были у нее, когда она уже бросила Раскольникова,

но на этом наши отношения оборвались — О.М. стал явно чуждаться этой женщины революции. Узнав о ее смерти, он вздохнул, а в 37 году как-то заметил, что Ларисе повезло: она вовремя умерла. В те годы уничтожали массаи людей ее круга.

Раскольников был чужим человеком во всех отношениях. Однажды он засыпал О.М. телеграммами: тогда он занял место отставленного Воронского и редактировал «Красную новь»¹⁶¹. Странно подумать, но писатели, которых печатал Воронский, так называемые «попутчики», бойкотировали «Красную новь» с ее новым редактором, бесцеремонно севшим в кресло внезапно снятого создателя журнала. Раскольников так нуждался в материале, что обратился даже к О.М. По поводу этих телеграмм О.М. сказал: «Мне все равно, кто редактор: ни Воронский, ни Раскольников меня печатать не будут...» Попутчики вскоре забыли своего первого покровителя и больше на смену редакторов не реагировали, а О.М. так бы и остался со своим «Шумом времени» на руках, если б в еще не закрытом частном издательстве «Время» не работал Георгий Блок¹⁶².

Все, кого Лариса знала, когда была профессорской дочкой, издававшей нелепый журналчик¹⁶³ и ходившей в гости к поэтам с первыми пробами нелепых стихов, и потом, когда пыталась стать «женщиной русской революции», погибли, не прожив своей жизни. Она была красива тяжелой германской красотой. В Кремлевской больнице, где она умирала, при ней дежурила ее мать, покончившая самоубийством сразу же после смерти дочери¹⁶⁴. Мы так не привыкли к естественной смерти от болезни, что мне не верится: неужели обыкновенный тиф мог унести эту полную жизни красавицу? Противоречивая, необузданная, она заплатила ранней смертью за все свои грехи. Мне иногда кажется, что она могла выдумать историю про адмиралов, чтобы украсить убийством свою «женщину русской революции». Ведь люди, строившие новый мир, яростно доказывали, что все законы вроде «не убий» — сплошное лицемерие и ложь. А ведь это Лариса зашла в самый разгар голода к Анне Андреевне и ахнула от ужаса, увидав, в какой та живет нищете. Через несколько дней она появилась снова, таща тук с одеждой и мешок с продуктами, которые вырвала по ордерам. Не надо забывать, что добыть ордер было не менее трудно, чем вызволить узника из тюрьмы.

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

Чудо — вещь двухступенчатая: первая ступень заключается в том, чтобы вручить письмо или прошение адресату, находящемуся вне пределов досягаемости; иначе письмо пойдет обычным ведомственным путем, при котором никаких шансов на осуществление чуда нет. Писем миллионы, чудеса можно пересчитать по пальцам. Уравниловки здесь нет и в помине. Без первой ступени обойтись нельзя.

Телеграммы к власть имущим пропали бы без толку, как предсказывала кастелянша, если б я не отправляла копий Николаю Ивановичу Бухарину... Моя чердынская советчица не учла именно этой детали, а по существу она была совершенно права. Николай Иванович отличался такой же импульсивностью, как О.М. Он не спросил себя: «А какое мне, собственно, дело до этого графа?» и не стал соразмерять свои силы: «А ну-ка, вспомним, удаются ли мне такие дела...» Вместо этого он сел за стол и написал Сталину. Поступок Бухарина совершенно выпадает из общепринятых у нас норм поведения¹⁶⁵: людей, способных на такие импульсивные действия, к этому времени в нашей стране уже не оставалось: их успели перевоспитать или уничтожить.

В 30 году в крошечном сухумском доме отдыха для вельмож, куда мы попали по недосмотру Лакобы, со мной разговорила жена Ежова: «К нам ходит Пильняк, — сказала она. — А к кому ходите вы?» Я с негодованием передала этот разговор О.М., но он успокоил меня: «Все “ходят”. Видно, иначе нельзя. И мы ходим. К Николаю Ивановичу».

Мы «ходили» к Николаю Ивановичу с 22 года, когда О.М. хлопотал за своего арестованного брата Евгения Эмильевича... Всеми просветами в своей жизни О.М. обязан Бухарину. Книга стихов 28 года никогда бы не вышла без активного вмешательства Николая Ивановича, который привлек на свою сторону еще и Кирова. Путешествие в Армению, квартира, пайки, договоры на последующие издания, не осуществленные, но хотя бы оплаченные, что очень существенно, так как О.М. брали измором, не допуская ни к какой работе, — все это дело рук Бухарина. Его последний дар — переезд из Чердыни в Воронеж.

В тридцатые годы Николай Иванович уже жаловался, что у него нет «приводных ремней». Он терял влияние и был, в сущности, в глубокой изоляции. Но от помощи О.М. он никогда не отрецивался и только ломал голову, к кому обратиться и через кого действовать. А в зените славы — конец двадцатых годов, — когда этот человек, едва достигший сорока лет, находился в самом центре мирового коммунистического движения и к серому дому, куда приезжали представители всех рас и национальностей¹⁶⁶, подкатывал в черном автомобиле в сопровождении трех или четырех таких же черных машин, где ехала охрана, он говорил вещи, сквозь которые уже просвечивало будущее. О.М. случайно узнал на улице про предполагаемый расстрел пяти стариков¹⁶⁷ и в дикой ярости метался по Москве, требуя отмены приговора. Все только пожимали плечами, и он со всей силой обрушился на Бухарина, единственного человека, который поддавался доводам и не спрашивал: «А вам-то что?» Как последний довод против казни О.М. прислал Бухарину свою только что вышедшую книгу «Стихотворения»¹⁶⁸ с надписью: в этой книге каждая строчка говорит против того, что вы собираетесь сделать... Я не ставлю эту фразу в кавычки, потому что запомнила ее не текстуально, а только смысл. Приговор отменили, и Николай Иванович сообщил об этом телеграммой в Ялту, куда О.М., исчерпав все свои доводы, приехал ко мне.

Вначале Бухарин еще пробовал отбиваться от натиска О.М. и как-то раз сказал: «Мы, большевики, относимся к этому просто: каждый из нас знает, что и с ним это может случиться. Зарекаться не приходится...» А для иллюстрации рассказал про группу сочинских комсомольцев, которых только что «пустили в расход» за разложение... О.М. вспоминал эти слова во время процесса Бухарина.

С какой стороны ждал удара этот незарекавшийся большевик? Боялся воскрешения поверженных врагов или чувял грозу от своих? Мы могли только гадать: на прямой вопрос рыжебородый человечек ответил бы шуткой.

В 28 году в кабинете, куда сходились нити грандиозных сдвигов двадцатого века, два обреченных человека высказались о смертной казни. Оба шли к гибели, но разными путями. О.М. еще верил, что «присяга чудная четвертому сословию»¹⁶⁹

обязывает к примирению с советской действительностью — «все, кроме смертной казни!». Он был подготовлен к приятию новшеств герценовским учением о «prioratus dignitatis»¹⁷⁰, которое было сильнейшим подкопом под идеи народоправства. «Что такое механическое большинство!» — говорил О.М., пытаясь оправдать отказ от демократических форм правления... А ведь замысел воспитать народ тоже герценовский, хотя Герцен и смягчил его формулировкой: «путем законов и учреждений»¹⁷¹. Не здесь ли коренится изначальная ошибка нашего времени и каждого из нас? Зачем народу, чтобы его воспитывали? Какая дьявольская нужна гордыня, чтобы навязать себя в воспитатели! Только в России стремление к образованию народа подменили лозунгом об его воспитании. И сам О.М., очутившись объектом воспитания, одним из первых восстал против его сущности и методов.

У Николая Ивановича был совсем иной путь. Он ясно видел, что новый мир, в построении которого он так активно участвовал, до ужаса не похож на то, что было задумано. Жизнь шла не так, как полагалось по схемам, но схемы были объявлены неприкосновенными, и предначертания запрещалось сравнивать со становящимся. Теоретический детерминизм породил, как и следовало ожидать, неслыханных практических деятелей, которые смело наложили табу на всякое изучение действительности: зачем подрывать основы и вызывать лишние сомнения, если история все равно примчит нас к предсказанной цели? Когда жрецы связаны круговой порукой, отступникам нечего ждать пощады. Николай Иванович ни от чего не отступал, но уже предчувствовал неизбежность ямы, куда его приведут сомнения или горькая потребность хоть когда-нибудь хоть что-нибудь назвать собственным именем.

О.М. как-то пожаловался ему, что в одном учреждении (Зифе¹⁷²) не чувствуется «здорового советского духа». «А какой дух в других учреждениях? — спросил Николай Иванович. — Как из хорошей помойной ямы! Смердит...» «Вы не знаете, как у нас умеют травить», — в другой раз сказал ему О.М. «Это мы-то не знаем!» — ахнул Николай Иванович и вместе со своим секретарем и другом Цетлиным расхохотался.

Основное правило эпохи — не замечать реальности. Деятели полагалось оперировать только категорией желательного

и, взобравшись на башню из слоновой кости, — это они сидели в ней, а не мы! — благосклонно взирать оттуда на копошение человеческих масс. Человек, знавший, что из кирпичей будущего не построишь настоящего, заранее мирился с неизбежным концом и не зарекался от расстрела. А что ему, собственно, оставалось делать? Все мы были готовы к такому концу. О.М., прощаясь с Анной Андреевной зимой 37/38 года, сказал: «Я готов к смерти»¹⁷³. Эту фразу в различных вариантах я слышала от десятков людей. «Я готов ко всему», — сказал мне Эренбург, прощаясь в передней. Это была эпоха дела врачей и борьбы с космополитизмом, и его черед надвигался. Эпоха следовала за эпохой, а мы всегда были готовы ко всему.

Благодаря Бухарину О.М. воочию увидел первые проявления «нового», которое возникало на наших глазах, и узнал раньше многих, откуда ждать угрозы. В 22 году О.М. хлопотал за своего арестованного брата Евгения. Тогда-то он в первый раз обратился к Бухарину. Мы пришли к нему в «Метрополь»¹⁷⁴. Николай Иванович немедленно позвонил к Дзержинскому и попросил принять О.М. Свидание состоялось на следующее утро. О.М. вторично вошел в учреждение, которому Блюмкин предсказал такую великую будущность, и мог сравнить период революционного террора и эпоху зарождавшейся государственности нового типа. Дзержинский еще не отступился от старого стиля. Он принял О.М. запросто и предложил взять брата на поруки. Это предложение, правда, было подсказано Бухариным. Сняв телефонную трубку, Дзержинский тут же дал соответствующее распоряжение следователю. На следующее утро О.М. отправился к следователю и вышел оттуда полный впечатлений. Следователь был в форме, при оружии, с телохранителями. «Распоряжение получено, — сообщил он, — но брата вам на поруки мы не отдадим». Причина отказа: «Нам неудобно будет вас арестовать, если ваш брат совершит новое преступление...» Из этого явствовало, что какое-то преступление уже было совершено. «Новое преступление, — сказал, вернувшись домой, О.М., — из чего они его сделали?» Доверчивости у нас не было никакой, и мы испугались, что Евгению Эмильевичу собирались что-то «пришить». Нам пришло в голову, что свое телефонное распоряжение Дзержинский отдал таким тоном, который не обзывал следователя ровно ни к чему.

Форма отказа еще звучала вполне любезно — вас, мол, не арестуем, — но общий тон, вся эта pompa с вооруженной охраной, таинственность и запугиванье — «совершит новое преступление» — все это звучало уже по-новому. Силы, вызванные к жизни старшим поколением, выходили из предначертанных им границ*¹⁷⁵. Так созревало наше будущее, отнюдь не похожее на террор первых дней революции. Даже фразеология вырабатывалась новая — государственная. Как ни страшен террор первых дней, его нельзя сравнить с планомерным массовым уничтожением, которому мощное государство «нового типа» подвергает своих подданных согласно законам, инструкциям, распоряжениям и разъяснениям, исходящим от коллегий, секретариатов, особых совещаний и просто «сверху».

Узнав от О.М. о приеме у следователя, Бухарин взбесился. Реакция была настолько бурной, что мы поразились. А через два дня он приехал к нам сообщить, что никакого преступления — ни старого, ни нового — нет и Евгений Эмильевич будет выпущен через два дня. Эти добавочные дни понадобились для завершения и оформления дела о несовершеннолетнем преступлении.

Как объяснить реакцию Бухарина? Ведь и он был сторонником террора — с чего бы тут кипятиться? Взяли мальчишку для острастки студентов, даже расстрел ему не грозил — самое рядовое дело... Что же случилось с Николаем Ивановичем? Не почуял ли он «новое», надвигавшееся и угрожавшее всем нам? Не вспомнил ли он гётевскую метлу, таскавшую воду по приказу ученика чародея?¹⁷⁶ Не успел ли он уже сообразить, что ему и его соратникам уже не удастся остановить разбухшие ими силы, как не мог остановить метлу бедный ученик чародея? Нет, скорее всего, Николай Иванович просто возмутился, что какой-то паршивый следователь сунул нос не в свое дело и не выполнил распоряжения старших по иерархической лестнице. Еще не наладили машину, подумал он, и она сбоят... Ведь он всегда был человеком темпераментным, с быстрыми и сильными реакциями, только по-разному выражал свое негодование в разные эпохи. Вплоть до двадцать восьмого года он восклицал «идiotы!» и хватал телефонную трубку, а с тридцатого хмурился и говорил: «Надо подумать, к кому обратиться...» Путешествие в Армению он устраивал через Молотова и пенсию тоже¹⁷⁷.

Она была дана за «заслуги в русской литературе при невозможности использовать» данного писателя в советской. Эта формулировка чем-то соответствовала действительности, и мы подозревали, что она принадлежит Бухарину. А вот Анне Андреевне не нашли ничего лучшего, чем выдать пенсию по старости, хотя ей было около тридцати пяти лет. Тридцатипятилетняя «старуха» получила семьдесят рублей¹⁷⁸ — государство обеспечило ей и спички, и папиросы.

В начале тридцатых годов Бухарин в поисках «приводных ремней» все рвался к «Максимичу», чтоб рассказать ему про положение Мандельштама — не печатают и не допускают ни к какой работе. О.М. тщетно убеждал его, что от обращения к Горькому никакого прока не будет. Мы даже рассказали ему старую историю со штанами: О.М. вернулся через Грузию из врангелевского Крыма, дважды его арестовывали, и он добрался до Ленинграда¹⁷⁹ еле живой, без теплой одежды... В те годы одежду не продавали — ее можно было получить только по ордеру. Ордера на одежду писателям санкционировал Горький. Когда к нему обратились с просьбой выдать Мандельштаму брюки и свитер, Горький вычеркнул брюки и сказал: «Обойдется...» До этого случая он никого не оставлял без брюк, и многие писатели, ставшие потом попугайчиками, вспоминают об отеческой заботе Горького¹⁸⁰. Брюки — мелочь, но эта мелочь свидетельствовала о враждебности Горького к чуждому для него течению в литературе: все те же «хилые интеллигенты», которых следует сохранять, только если у них есть основательная сумма научных знаний. Подобно многим людям тождественной биографии, Горький ценил знания и оценивал их количественно — чем больше, тем лучше... Бухарин не поверил О.М. и решил предпринять рекогносцировку. Вскоре он нам сказал: «А к Максимичу обращаться не надо...» Сколько я ни приставала, мне не удалось узнать, почему...

При обыске 34 года у нас отобрали все записочки Бухарина. Чуть-чуть витиеватые, украшенные латинской цитатой: просит прощения, не может принять сейчас, воленс-ноленс приходится встречаться в часы, назначенные секретарем... Не сочтите за бюрократизм — иначе не успеешь всего сделать... Удобно ли завтра в девять утра?.. Пропуск будет приготовлен... Если неудобно, может, сами предложите какой-нибудь час...

Я бы много отдала, чтобы еще раз договориться с Коротковой, белочкой-секретаршей из «Четвертой прозы», о часе, а потом прийти к Николаю Ивановичу и поговорить о том, чего мы не успели сказать друг другу. Может, он снова вызвал бы по междугородному телефону Кирова и спросил — что у вас делается в Ленинграде — почему вы не печатаете Мандельштама?.. Издание уже давно стоит в плане, а вы откладываете его с года на год... А со смерти прошло уже двадцать пять лет...

Судьба не таинственная внешняя сила, а математически выводимое производное из внутреннего заряда человека и основной тенденции эпохи, хотя в наше время немало мученических биографий вырезалось по чудовищной стандартной выкройке. Но эти двое — носители внутреннего заряда — сами определили свои отношения со временем.

РОДИНА ЩЕГЛА

Паспорт отобрали при аресте. Когда мы приехали в Воронеж, единственным документом О.М. оказалась сопроводительная бумажка чердынского ГПУ, по которой нам выдавали билеты в воинских кассах. Ее О.М. сдал в специальное окошко зашарканной пропускной ГПУ и получил новое удостоверение — по нему допускалась только временная прописка на несколько недель. Он разгуливал с этим удостоверением, пока выяснялось, следует ли оставить ссыльного в областном центре или можно сплавить в район. Кроме того, наши опекуны не знали, какому виду высылки он подлежит. В этом деле есть множество градаций; мне известны две основные разновидности: с прикреплением и без. В случае прикрепления надо регулярно ходить отмечаться в какое-то окошко этой самой приемной. В Чердыни О.М. полагалось являться на регистрацию каждые три дня. При отсутствии прикрепления существуют варианты, при которых разрешаются или запрещаются поездки по области. К осени О.М. вызвали в органы и разрешили получить воронежский паспорт. Вид высылки оказался самым легким — с паспортом! Тут-то мы узнали, что обладание паспортом тоже высокая привилегия — не всякий заслуживает ее.

Получение паспорта — огромное событие в жизни ссыльного, оно дает иллюзию гражданских прав. Первый год жизни в Воронеже ознаменовался непрерывными хождениями в милицию для получения бумажонки, называвшейся «временный паспорт». Семь или восемь месяцев подряд выдавался документ или бумажонка, действительная на один месяц. За неделю до истечения срока О.М. начинал собирать справки, необходимые для обмена: из домоуправления о том, что О.М. не бродяга, а прописан честь честью в таком-то доме, из ГПУ и, наконец, с места работы. С ГПУ отношения были вполне ясны, а вот последняя справка оказалась камнем преткновения: где ее взять? Первое время приходилось выклянчивать ее в местном отделении Союза писателей. Эта процедура никогда не проходила без осложнений. Деятели Союза охотно настукали бы какую угодно справку, но делать этого они не смели, а некоторые из них, может, действительно с трепетом относились к своему праву ставить печать Союза на листок бумаги: вдруг поставишь печать плохому писателю! И хозяева местного отделения куда-то обращались, чтобы получить санкцию на выдачу бумажки о том, что О.М. действительно занимается литературой. Начиналось все с шушуканья, мрачных взглядов, беготни... Получив санкцию, воронежские писатели улыбались: им тоже было приятно, что все сошло благополучно... Время было еще невинное, вегетарианское...

За каждой справкой, как минимум, приходилось ходить по два раза: сначала попросить, а потом получить. Часто выдача справки откладывалась: «еще не готова»... Справки сдавались начальнику паспортного стола в милиции. К нему всегда стояла большая очередь. Через два-три дня О.М. опять бежал в ту же очередь к тому же начальнику для получения временного паспорта, а на следующий день он шел прописывать новый документ и становился в очередь к окошку у прописывающей милицейской барышни. Оказалось, что у милицейской барышни есть душа: она почему-то взяла О.М. под свое покровительство и, не обращая внимания на ропот домоуправленческих работников, томившихся в очереди с толстыми домовыми книгами под мышкой — в них вносятся все прибывающие и уезжающие, — она подзывала О.М. к окошку и забирала у него паспорт, чтобы на следующее утро, опять избавив его от стояния в очереди,

вручить ему эту драгоценную бумажку, но уже со штампом о прописке.

К лету 1935 года нас облагодетельствовали, выдав О.М. трехмесячный паспорт и разрешив трехмесячную прописку. Это очень облегчило жизнь, тем более что очереди после чистки Ленинграда резко увеличились: счастливицы, попавшие в Воронеж, проходили через все трудоемкие паспортные процедуры. Во время общего обмена паспортов О.М. вдруг удостоился настоящей трехлетней паспортной книжки.

Беспаспортные народы никогда не догадаются, сколько развлечений можно извлечь из этой волшебной книжки! В дни, когда паспорт О.М. был еще драгоценной новинкой, даром милостливой судьбы, в Воронеж приехал на гастроли Яхонтов. Это именно с ним О.М. в Москве упражнялся в чтении пайковой книжки из отличного писательского распределителя: «Пайковые книжки читаю, Пеньковые речи ловлю...»¹⁸¹ Теперь они перешли на паспортную, и, надо сказать, она зазвучала мрачнее. В пайковой — хором и поодиночке — они прочитывали талоны: молоко, молоко, молоко... сыр, мясо... У Яхонтова, когда он читал паспортную, появлялись многозначительные и угрожающие интонации: основание, по которому... выдан... кем выдан... особые отметки... прописка, прописка, прописка...

От пайковой книжки протянулась ниточка к той литературе, которую нам тоже выдавали в журналах и гозиздатах, и, открывая «Новый мир» или «Красную новь», О.М. говорил: сегодня выдается Гладков, Зенкевич или Фадеев... В этом двойном значении она и попала в стихи. И паспортной нашлось место в стихах: «И в кулак зажимая истертый Год рожденья с гурьбой и гуртом, Я шепчу обескровленным ртом: Я рожден в ночь с второго на третье Января в девяносто одном Надежном году, и столетья Окружают меня огнем...»

Вторая забава — тоже по типу «шиш в кармане» — происходила на подмостках. Яхонтов выступал с монтажом «Поэты путешествуют» и читал кусочки из «Путешествия в Арзрум» и Маяковского, из которых явствовало, что поэты могут ездить за границу только при советской власти. Аудитория оставалась вполне равнодушной: никто тогда даже не подозревал, что люди могут ездить за границу; «зажрались» — лениво говорили слушатели, расходясь с непонятного вечера. И Яхонтову, чтобы

взбодрить себя, приходилось прибегать к трюкам и забавам. Он вставлял в свой монтаж отрывки из «Советского паспорта» и, вытащив свой из кармана, потрясал им, глядя прямо на О.М. А тот вытаскивал — любимый и новый, и они обменивались понимающими взглядами... Начальство не одобрило бы подобных шуточек, но оно у нас прямолинейное, а в инструкциях ничего подобного предусмотрено не было.

Кроме того, по паспорту можно гадать. Поскольку всякий общий обмен паспортов являлся также и чисткой, проводившейся под сурдинку, я не решилась поехать для обмена в Москву и произвела эту операцию в Воронеже. Этим самым я лишилась гражданства в великом городе и снова обрела его лишь через двадцать восемь лет. Но, в сущности, шансов на получение московского паспорта у меня не было: где бы я раздобыла справку о работе? как бы я объяснила, где хозяин площади, на которой я живу? а в каких отношениях я с ним состою и кто за кого отвечает? Получив два свеженьких воронежских паспорта, мы заметили, что у нас одинаковые серии, то есть буквы перед номером. Считалось, что эти буквы — тайный полицейский шифр, определяющий категорию, к которой принадлежит владелец — свободный, высланный, имеющий судимость... «Вот теперь ты окончательно попалась», — сказал О.М., разглядывая номера и серии. Оптимистически настроенные друзья утешали нас, что не я попалась, а милиция забыла, что О.М. ссыльный, и не поставила ему соответствующей пометки. У нас была такая твердая уверенность, что все граждане перенумерованы и проштемпелеваны согласно своим категориям, что никому даже в голову не пришла мысль усомниться в значении этих букв и цифр. Только через несколько лет после смерти О.М. окончательно выяснилось, что серии не означают ничего, кроме порядковых номеров да еще того, что мои напуганные сограждане превосходят в своем воображении даже ГПУ и милицию.

Потеря мною московского паспорта мало нас огорчала. «Если я вернусь, — говорил О.М., — то и тебя пропишут. А пока я не вернулся, тебя все равно не пустят». Действительно, в 38-м меня выставили из столицы, потом мне удавалось прописываться на месяц-другой по научным командировкам. Наконец Сурков предложил мне вернуться: «хватит сидеть

в изгнании». Бросив работу, я приехала получать выделенную мне Союзом писателей комнату. С полгода меня продержали в Москве, а потом Сурков мне заявил, что ни обещанной комнаты, ни прописки у меня не будет: «Они говорят, что вы уехали добровольно», а у него нет времени, чтобы «поговорить о вас с товарищами»... И наконец сейчас, в 64 году, вдруг мне разрешили прописку. Немало, правда, народу писало письма, просило и хлопотало... А может, это случилось потому, что сейчас какой-то безумный журнал собирается напечатать несколько стихотворений О.М.¹⁸² Все-таки это означает, что он вернулся в Москву. Тридцать два года ни одной строчки его стихов не появлялось в печати¹⁸³, двадцать пять лет прошло после его смерти и тридцать лет после первого ареста.

А получение настоящего паспорта было действительно большим облегчением. Паспортная канитель не только отнимала массу времени, пока О.М. жил по «временным удостоверениям», но еще и сопровождалась непрерывной тревогой и гаданием на кофейной гуще: выдадут — не выдадут... И в приемной ГПУ, и в милиции только и слышались одни и те же разговоры: одни жаловались человеку в окошке, что им отказали в прописке, другие просили, чтобы им разрешили... Окошечный человек не разговаривал, а только протягивал руку за заявлением и сообщал об отказе. Получившие отказ направлялись в район, где заработать было невозможно, а условия жизни непереносимы. И вместе со всей толпой, бегая за справками по канцеляриям и милициям, мы дрожали, что на этот раз не пройдет и нам снова придется отправляться неизвестно куда и зачем. «И в кулак зажимая истертый Год рожденья с гурьбой и гуртом...» Читая эти стихи Михоэлсу, О.М. выхватил паспорт и зажал его в кулак...

ВРАЧИ И БОЛЕЗНИ

Мы приехали в Воронеж, и нас почему-то пустили в гостиницу¹⁸⁴. Те, кто бдят над нами, разрешили, очевидно, на конечных пунктах беспаспортным останавливаться в гостиницах. Номера нам не дали, но отвели койки в мужской и женской комнатах. Жили мы на разных этажах, и я все бегала

по лестнице, потому что беспокоилась, как чувствует себя О.М. Но с каждым днем становилось все труднее подниматься по лестнице. Через несколько дней у меня подскочила температура, и я сообразила, что заболеваю сыпным тифом, подхваченным где-то в пути. Начало сыпного тифа, по-моему, нельзя спутать ни с чем — ни с каким гриппом, во всяком случае... Но это означало многонедельное лежание в больнице, в бараках, а передо мной все маячила сцена, как О.М. бросается из окна. Скрыв от него свою температуру, а она уже изрядно поднялась и все время лезла вверх, я умолила его пойти к психиатру. «Если тебе так хочется», — сказал он, и мы пошли¹⁸⁵. О.М. сам подробно описал все течение своей болезни, и мне не пришлось ничего прибавлять. Он был в эти дни уже совершенно объективен и точен. Врачу он пожаловался, что в минуты усталости у него бывают галлюцинации. Чаще всего это случается в момент засыпания. Сейчас, сказал О.М., он понимает природу «голосов» и научился останавливать их усилием воли, но в гостиничной жизни есть много раздражающих моментов, которые мешают борьбе с болезнью: шум, днем нельзя отдохнуть... А самое неприятное — это запирающиеся двери, хотя он прекрасно знает, что двери запираются не снаружи, а изнутри...

Тюрьма прочно жила в нашем сознании. Василиса Шкловская терпеть не может закрытых дверей — не потому ли, что в молодости ей пришлось основательно посидеть¹⁸⁶ и она на собственном опыте узнала, что такое быть запертой? Да и люди, не испытывавшие тюремных камер, тоже не могли избавиться от тюремных ассоциаций. Когда года через полтора в той же гостинице остановился Яхонтов, он сразу заметил, как там лязгают ключи в замках: «Ого!» — сказал он, когда, выйдя из его номера, мы запирали дверь. «Звук не тот», — успокоил его О.М. Они отлично поняли друг друга. Вот почему в стихах О.М. так горячо утверждается право «дышать и открывать двери», которого О.М. боялся лишиться.

Психиатр разговаривал с ним осторожно — ведь в каждом человеке все мы подозреваем стукача, а среди потерпевших их было множество, потому что люди, пережившие психическую травму, часто теряли сопротивляемость, но, выслушав рассказ О.М., он все же сказал, что у «психастенических

субъектов», побывавших в тюрьме, очень часто наблюдаются подобные «комплексы»...

Я рассказала врачу про свою болезнь — тут и О.М. понял, в чем дело, и страшно испугался — и спросила, не следует ли на время моей болезни устроить О.М. в клинику. Врач решительно заявил, что можно совершенно спокойно оставить О.М. на воле — следов травматического психоза уже не видно. Среди людей, сосланных на поселение в Воронеж, сказал врач, ему часто приходилось наблюдать состояния, подобные тому, что описал О.М. Это случается после нескольких недель, а иногда даже дней ареста. Заболевания всегда кончаются благополучно и не оставляют никаких следов.

На этот раз не я, а О.М. спросил, почему сейчас заболевают после нескольких дней внутренней тюрьмы, хотя раньше просиживали по много лет в крепости и выходили здоровыми. Врач только развел руками.

А действительно ли выходили здоровыми? Быть может, всякая тюрьма вызывает психические болезни, не говоря уже о травмах? Или это специфика только наших тюрем? А может, наша психика расшатана еще до ареста — предчувствиями, страхами и размышлениями на «тюремные темь»? У нас в стране этим никто не интересуется, а за рубежом всего этого не знают, потому что мы умеем хранить свои маленькие секретчики от внешнего мира. Я слышала, что недавно кто-то опубликовал свои лагерные воспоминания: автора поразило количество душевнобольных среди заключенных. Сам он иностранец. Живя в Советском Союзе, он был поставлен в особые условия и нашей жизни не знал, вернее, имел о ней самое поверхностное представление. Он делает вывод, что у нас не лечат некоторых болезней, вроде психастении, и больные за нарушение служебной дисциплины и прочие прегрешения, вызванные болезнью, попадают в лагерь. Процент психически неустойчивых людей у нас и в самом деле огромный. Сейчас среди правонарушителей, осужденных за хулиганство и мелкие грабежи, многие, я думаю, тяжелые психастеники или даже психопаты. Они отсиживают по несколько лет за то, что, взломав замки, похитили из лавки несколько литров водки, и, выйдя на свободу, тотчас опять попадают в тюрьму и лагерь уже на добрый десяток лет за такое же повторное преступление. При Сталине на них обращали

гораздо меньше внимания, в лагерь они попадали несравненно реже, чем сейчас, но зато массами спроваживали туда своих близких... А вопрос, почему интеллигенты и вообще нервные и чувствительные люди так сильно реагируют на арест и часто заболевают таинственным, быстро проходящим и не оставляющим следов травматическим психозом, остается открытым... Где заболели те, кого видел этот иностранный мемуарист, — в тюрьме или на воле? Кто они были — мальчишки, укравшие на выпивку, или мирные граждане? Психопаты они или больны этим самым травматическим психозом? Все эти вопросы остаются открытыми — не только для иностранцев, но и для нас, в этом не разобраться, пока мы во весь голос не заговорим о нашем прошлом, настоящем и будущем.

О.М. еще раз ходил к психиатру уже после того, как я вышла из больницы, на этот раз к крупному специалисту, приехавшему из Москвы обследовать сумасшедший дом. О.М. пошел к нему по собственной инициативе, чтобы рассказать историю своей болезни и спросить, не является ли она следствием каких-нибудь органических дефектов. Он сказал, что и раньше замечал у себя навязчивые идеи, например, в периоды конфликтов с писательскими организациями он ни о чем другом и думать не мог. К тому же — и это истинная правда — он слишком чувствителен ко всяким травмам... Эти свойства, кстати, я наблюдала у обоих братьев О.М., людей совершенно другого склада, чем он, но также подверженных травмам и превращающих в навязчивые идеи каждое тяжелое для них биографическое событие...

Московский психиатр сделал неожиданную вещь: он пригласил О.М. пройтись с ним по палатам. Вернувшись после обхода, он спросил, находит ли О.М. что-нибудь общее между собой и пациентами клиники? Под какую рубрику он отнес бы себя: старческое слабоумие? шизофрения? циркулярный психоз? истерия?.. Врач и пациент расстались друзьями.

На следующий день я все же потихоньку от О.М. еще раз забежала к психиатру: я боялась, что страшное зрелище, которое нам накануне показали, может оказаться новой травмой. Врач успокоил меня. Он сказал, что сознательно продемонстрировал О.М. своих пациентов — знание дела только поможет ему избавиться от тяжелых воспоминаний о травматической болезни. Что же касается до нервной возбудимости и неумения

сопротивляться травмам, психиатр никакой особой патологии в этом не увидел, травмы были достаточно серьезны, и можно только пожелать, чтобы их было меньше в нашей жизни... «А субъект он легко возбудимый и чрезмерно чувствительный...» Так оно и было.

Меня поражало, с какой легкостью О.М. подсмеивается над своей болезнью и как быстро он сумел отрезать кусок жизни с бредом и галлюцинациями. «Наденька, — сказал он мне месяца через два с половиной после приезда в Воронеж, обидевшись на халтурный обед, — я не могу есть такую дрянь — ведь я теперь не сумасшедший...» А в стихах («Стансы») он назвал болезнь «семивершковкой кутерьмой», а попытку к самоубийству — прыжком («прыжок, и я в уме»).

Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникновение у О.М. время от времени желания примириться с действительностью и найти ей оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в такие минуты он находился под гипнозом. Тогда он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах... Надо сказать, что это чувство пережили многие из моих современников, и среди них весьма достойные люди, вроде Пастернака. Мой брат Евгений Яковлевич говорил, что решающую роль в обуздании интеллигенции сыграл не страх и не подкуп, хотя и того и другого было достаточно, а слово «революция», от которого ни за что не хотели отказаться. Словом покоряли не только города¹⁸⁷, но и многомиллионные народы. Это слово обладало такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни.

К счастью, припадки того, что сейчас у нас называют патриотизмом, происходили с О.М. не часто. Очнувшись, он сам называл их безумием. Но все же интересно, что у людей, работавших в искусстве, полное отрицание существующего приводило к молчанию, полное признание губительно отзывалось на работе, делало ее ничтожной, и плодотворны были только сомнения, которые, к сожалению, преследовались властями.

К примирению с действительностью толкало и самое обыкновенное жизнелюбие. К мученичеству у О.М. не было

никакого влечения, но за право на жизнь приходилось платить слишком большой ценой. Когда О.М. решился сделать первый взнос, оказалось, что уже поздно¹⁸⁸.

Что же касается меня, то я попала в сыпнотифозный барак¹⁸⁹. Главврач, остановившись у моей койки, сказал какому-то инспектору, что я тяжелая больная и «числюсь за органами». Я думала, что этот разговор мне померещился в бреду, но тот же главврач, оказавшийся добрым знакомым, братом агронома Феди, подтвердил мне после моего выздоровления, что эти слова действительно были произнесены и что я «числюсь за органами». Впоследствии во время моих скитаний по Союзу мне неоднократно сообщали как явные, так и тайные работники органов, то есть отделы кадров и стукачи, что я «числюсь за Москвой». Что это значит, я не знаю. Чтобы понять, надо изучить структуру органов, за которыми я почему-то «числилась». Мне кажется, гораздо приятнее не числиться ни за кем, но ума не приложу, как это сделать. Любопытно, все мы «числились» или только избранные?

Палатный врач, добрая женщина, рассказала мне, что ее муж, агроном, досиживает свой лагерный срок. Он «уехал» со многими другими сельскими интеллигентами по обвинению в отравлении колодцев. Это не выдумка, не досужее воображение, а факт. Выздоровев, я начала ездить в Москву, и она давала мне посылки, чтобы я отправляла их в лагерь. В те годы продуктовые посылки принимались только в Москве, а сейчас их посылают только из районных городов. Эмма Григорьевна Герштейн много лет ездила в какие-то фантастические городишки, таская тяжелые посылки, которые Анна Андреевна собирала для Левы.

Когда «отравитель колодцев» вернулся, отсидев свой срок, нас пригласили на вечеринку. Мы пили сладкое вино в его честь, а он пел мягким баритоном романсы и ликовал. В 37 году он стал «повторником»...

Со мной много возилась сиделка Нюра. Ее муж работал на мельнице. Однажды он вынес горсть муки для голодной семьи. Его осудили по декрету на пять лет¹⁹⁰. Сиделки жадно поедали остатки с тарелок сыпнотифозных и дизентерийных больных. Они рассказывали про свои беды и нищету.

Я вышла из больницы бритая, и О.М. прозвал меня каторжанкой.

ОБИЖЕННЫЙ ХОЗЯИН

Из сыпнотифозного барака О.М. перевез меня не в гостиницу, а в «свою» комнату. Он успел снять нам временное помещение — застекленную терраску в разваливающемся особняке лучшего повара в городе¹⁹¹. Дом сохранили в частном владении за заслуги хозяина, который служил шефом в столовой самого что ни на есть закрытого типа. По этому поводу О.М. сказал мне, что наконец-то мы сможем разузнать, кто этот таинственный «закрытый тип»... Дело в том, что летом 33 года мы ездили в Крым. И в Севастополе, и в Феодосии нас не пускали ни в одну столовую, говоря, что она «закрытого типа». В Старом Крыму оказалась даже парикмахерская «закрытого типа», и О.М. шутил, что это новый «Канниферштанд»¹⁹². От повара мы ничего не узнали о «закрытом Канниферштанде» — ему было не до шуток. Этот больной, усталый старик, лишенный всякого аппетита, ютился в одной из комнат своего особняка, а в остальных комнатах расселились жильцы, уже давно платившие по ставке. Как собственник повар должен был производить ремонт за свой счет, и на лето он сдавал терраску, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами. Он только и мечтал, чтобы дом снесли или объявили жактом, но от подобных развалин всякий разумный Совет откажется с ходу. Последний домовладелец тосковал и разорялся, но все еще надеялся стать жактовским жильцом домишки, который пойдет на снос.

Воронеж тридцать четвертого года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Они торчали у коммерческих хлебных магазинов и протягивали руку. Эти, очевидно, успели уже съесть все сухие корки, захваченные в мешках из родной деревни. В доме у повара жил одичавший от голода старик Митрофан. Старик мечтал устроиться хотя бы в ночные сторожа, но его куда не брали. Все неудачи он приписывал своему имени: «Раз я Митрофаний, думают, что я церковник, и гонят в шею». В центре города стоял полуразрушенный собор святого Митрофания, и старик, вероятно, был прав. Когда мы переехали в зимнюю комнату, Митрофан повесился. С нашим отъездом у него кончился последний заработок: он помогал нам искать комнату и приводил старух,

занимавшихся своеобразным сводничеством — они знакомили владельцев углов, коек и комнат с потенциальными жильцами. Искать приходилось в покосившихся домишках, оставшихся в частном владении, и у тех, кто сдавал жактовскую площадь. Дело это было незаконное — спекуляция жилплощадью.

Хозяева и жильцы заранее ненавидели друг друга. Жильцам хотелось поскорее рассориться с хозяевами и перестать платить в двадцатикратном по сравнению с жактовскими ценами размере. А хозяева, залатав на полученные деньги крышу или сменив венцы, вдруг соображали, за какую чечевичную похлебку они продали свое первородство, и пугались, что жильцы навеки «останутся на их шее», то есть завладеют площадью. Этим обычно сдача комнаты и кончалась: прописавшись и прожив положенные несколько месяцев, жилец договаривался с домоуправлением — здесь обычно не обходилось без «смазки» — и получал собственную «жировку», то есть право на площадь. Так происходило в жактовских домах, а в частных он просто отказывался выехать, и выселить его судом не удавалось, только платить он переставал. Именно таким образом большинство людей получили оседлость и площадь. Это было, так сказать, естественное перераспределение жилья. Шло оно гораздо интенсивнее, чем изъятие излишков и выдача ордеров, и сопровождалось драмами, скандалами и грудями доносов, с помощью которых и жильцы и хозяева стремились избавиться друг от друга. Сейчас отношения упорядочились и конфликтам положен конец, потому что комнаты сдаются без прописки: жилец, находящийся на птичьем беспрописочном положении, ни на что претендовать не может. Единственная лазейка для склоки — соседский донос о непрописанном жильце, но начальство стало смотреть на это сквозь пальцы — время переменялось.

В Воронеже хозяева охотнее пускали на свою площадь ссыльных. Над ссыльными всегда висела угроза, что их вышлют в более глухое место, и в случае конфликта хозяин мог приложить к этому руку. Вот почему мы получали множество предложений, и О.М. по целым дням бегал смотреть комнаты по всяким трущобам, но нам долго не удавалось вселиться, потому что всюду требовали за год вперед. На летней терраске уже замерзала вода, когда я съездила в Москву и получила

перевод. Он достался мне удивительно легко: Луппол слышал про «чудо» и был уверен, что без особого риска может обеспечить О.М. работой. Сделал он это с большой охотой. Полученный за перевод аванс мы отдали хозяину домика на окраине города¹⁹³, который удовлетворился оплатой за полгода вперед. Каждая поездка в город, а ездить приходилось много — справки, обмен паспорта, поиски работы для О.М., — была настоящим мучением — бесконечные ожидания на трамвайных остановках, толпы, гроздьями висящие на площадках вагонов, давка... До войны городской транспорт всюду, даже в Москве, был в чудовищном состоянии. В ту зиму мы познали всю ярость степных ветров — люди, перенесшие крушение, особенно чувствительны к холоду. Мы убедились в этом в периоды очередных бесхлебиц и голода, а они регулярно повторяются через каждые несколько лет, войн и ссылок.

Вскоре выяснилось, что агроном, хозяин дома, где мы поселились, пустил нас, чтобы завести интересные знакомства. «Думал, придут к вам писатели — Кретова, Задонский, — румбу вместе танцевать будем», — жаловался обиженный хозяин в русских сапогах¹⁹⁴. Разочаровавшись, он «принял свои меры» — врывался, когда к нам приходили приятели, тоже ссыльные и тоже беспаспортные, Калецкий и Рудаков, и требовал для проверки паспорта: «У вас тут собрания, а я как хозяин отвечаю...» Мы выставляли хозяина из комнаты, и он печально вздыхал и, поймав меня одну, жаловался: «Хоть бы кто поприличнее к вам зашел...» Данные вперед деньги вернуть он не мог, и нам пришлось их отживать. О.М. посмеивался: ссыльные всегда страдали от своих хозяев — такова традиция. Раньше они бегали в полицию, теперь в ГПУ, а наш агроном только грозит и как будто «не пишет» и «не ходит» никуда¹⁹⁵. А это надо ценить...

Следующая комната — мы занимали ее с апреля 35-го по февраль 36 года — находилась в центре, в бывшей мебели-рашке¹⁹⁶, где ютился всякий сброд. Несколько раз в доме бывали ночные облавы — искали самогонщиков. Молоденькая соседка, проститутка, обожала О.М. за то, что он кланялся ей на улице, и вечно прибегала к нам с ведром — вымыть пол, но денег ни за что не брала: «Я вам по дружбе...» Заходила пожаловаться на жизнь старуха еврейка, растившая трех маленьких внуков. Наш хозяин¹⁹⁷ взялся сжить ее со свету и писал куда следует

доносы, обвиняя ее в проституции. Старуха оправдывалась возрастом — кому она такая нужна? — и размером комнаты, где внуки спали вповалку.

Наше счастье, что доносчики писали что попало, насколько не заботясь о правдоподобии, а вплоть до 37 года оно все-таки требовалось, пока в прессе не появились статьи, рекомендующие сообщать властям о разговорах, которые ведут соседи. Донос больше всего, в сущности, отражает уровень доносчика, иллюстрируя, на какие взлеты способно его воображение. Второй воронежский хозяин занимал низшую ступень на этой лестнице. Однажды нас вызвали в приемную МГБ¹⁹⁸ и показали один из его доносов на нас, предложив написать объяснение. Там было сказано, что ночью нас посетил какой-то подозрительный тип и из нашей комнаты послышалась стрельба. Первая часть доноса еще могла бы сойти, но вторая все погубила. Ночной посетитель, Яхонтов, афиши о выступлении которого были развешаны по всему городу¹⁹⁹, подтвердил, что просидел у нас до утра. На этом дело и кончилось.

Самый факт вызова по поводу доноса показывал, что его не собираются использовать. Такое случалось со мной и после 37 года, правда когда Ежова уже сняли и террор пошел на убыль. Однажды меня вызвали в отделение ГПУ при милиции в Москве, где после смерти О.М. я добилась временной прописки в своей квартире, и потребовали объяснений. На этот раз донос оказался довольно квалифицированным: в моей комнате происходят собрания, на которых ведутся контрреволюционные разговоры. Единственным человеком, посетившим меня, был Пастернак. Он прибежал ко мне, узнав о смерти О.М. Кроме него, никто не решался зайти, что я и объяснила уполномоченному. Дело кончилось ничем, то есть мне просто предложили выехать из Москвы до окончания срока временной прописки. На этот раз квартирной хозяйкой была я, а выживал меня временный жилец, вселенный к нам Союзом писателей под поручительство Ставского²⁰⁰. Он называл себя писателем, а иногда сообщал, что по чинам равен генералу. Фамилия его Костырев. Когда после Двадцатого съезда мне собирались дать в Москве жилплощадь, меня вызвали в Союз писателей и спросили, каким образом я потеряла квартиру. Я рассказала про Костырева. Работник Союза Ильин долго искал это имя в писательских списках, но так

и не нашел. Но кем бы ни был Костырев, писателем или генералом, роли это не играет: добывая себе квартиру, он действовал по трафарету, а «писали» у нас в самых различных слоях общества. Думаю, что Костырев пытался спланировать из органов в литературу, но это ему не удалось. Время, когда он вселился к нам, представляло собой переходный момент двойной службы и двойных заданий.

Воронежский квартирный хозяин, которому по ночам мерещилась стрельба²⁰¹, свою письменную деятельность зазорной не считал. Вероятно, он чувствовал себя полезным членом общества, охранителем порядка. В чем заключалась его служба, понять было нелегко. О ней он молчал, и мы предпочитали не спрашивать. Называл он себя «агентом» и постоянно выезжал в район «по делам коллективизации». Во всяком случае, он был мельчайшей сошкой, но и такие подбирались достаточно тщательно.

Жена «агента»²⁰², молоденькая, почти девочка, которую он «взял за себя», чтобы избавить от тяжелой участи раскулаченной семьи, сдала комнату без его ведома во время одной из его длительных отлучек «по делам коллективизации». Сама она переехала в проходную кухню, а деньги отправила родителям. Муж получил на свою шею жильцов и никакой выгоды. Жена, хоть и «спасенная» этим рыцарем, крепко держала его в руках. Судя по их разговорам, она кое-что про него знала, что даже в те жестокие времена не сошло бы с рук. В глаза и за глаза она называла его традиционным именем — «ирод», а когда она осыпала его отборной бранью, он робко поджимал хвост.

Но с жильцами он все же примириться не мог и старался напакостить, как умел. Он заходил к нам в комнату, держа за хвост живую мышь — дом просто кишел всякой нечистью. Вежливый, по-военному подтянутый, он приветствовал нас с порога, а затем говорил: «Разрешите поджарить?» — и шел прямо к электрической плитке с открытой спиралью. Плитку он презирал, считая ее интеллигентской прихотью, одной из буржуазных замашек, с которыми честный советский гражданин должен бороться, как с кулачем. Рудаков или Калецкий, вечно у нас торчавшие, вступались за мышь, и хозяин, изрядный трус, встретив сопротивление, позорно отступал. Из соседней комнаты доносились его шуточки об интеллигентских нервах: а я их

еще не так припугну — коту за жарю... Замечательно, что он не пил и все свои трюки выполнял в абсолютно трезвом виде. Мышь была его коронным номером.

Когда О.М. уезжал в Тамбов в санаторий, «агент» выбросил наши вещи из комнаты — их подобрала и сохранила проститутка... Вернувшись, О.М. не знал, куда деваться, и отсиживался в редакции газеты, находившейся в соседнем доме²⁰³. Оттуда позвонили в известное учреждение, где служил наш хозяин, он же мышобоец и «агент». К вечеру он неожиданно явился в редакцию и сказал: «Возвращайтесь, мне велели не скандалить»²⁰⁴, — и мы поняли, как хорошо жить у сотрудников учреждений с военной дисциплиной. С тех пор «агент» был тише воды, ниже травы... Когда мы нашли новую комнату и выезжали, он сам погрузил наши вещи на извозчика и чуть не крестился от радости: кому бы пришло в голову, что победивший жилец не останется навеки?

Говорят, что от следующего жильца он избавился в 37 году, но долго пользоваться жилплощадью ему не удалось — его перевели на «внутреннюю работу» в лагерь.

Всего за три года в Воронеже мы сменили пять комнат, считая терраску. После «агента» мы переехали в роскошный новый дом ИТР к вдовушке, сдавшей сразу две комнаты — нам и молодому журналисту Дунаевскому. Добрый малый устроил нам этот чудесный переезд, но хозяйка тоже оказалась неудачной: журналист и не думал на ней жениться, а она нас пустила, только чтобы «устроить свою судьбу». Ей захотелось снова попытать счастья, и нам пришлось съезжать, чтобы уступить место потенциальному жениху. Последняя комната в крошечном, вросшем в землю домишке у театральной портнихи²⁰⁵ оказалась раем, сном из безвозвратно ушедшего прошлого, наградой за все мытарства. Хотя О.М. спокойно относился ко всем неурядицам с хозяевами, у портнихи он все же ожил.

Портниха была самой обыкновенной женщиной, приветливой и добродушной. Она жила с матерью, которую называла бабушкой, и сыном Вадиком, мальчишкой как все мальчишки. Муж, сапожник, умер несколько лет назад, и актеры, чинившие у него обувь, пристроили жену в театр, чтобы она могла прокормить семью. На сына ей выхлопотали пенсию — сапожник был коммунистом. Жили они, как полагается, на картошке,

да еще бабушка держала в сарае с десяток кур. Двести рублей за комнату составляли в их доходе статью огромной важности. Обычно у нее жили актеры, и она среди них прославилась своим добродушием. Вот почему они нас к ней пристроили, и нам у нее дышалось легко.

Когда-то было много добрых людей. Мало того, даже злые притворялись добрыми, потому что так полагалось. Отсюда и лицемерие, и фальшь — великие пороки прошлого, разоблаченные критическим реализмом в конце девятнадцатого века. Результат этих разоблачений оказался неожиданным: добряки вывелись. Ведь доброта не только врожденное качество — ее нужно культивировать, а это делают, когда на нее есть спрос. Для нас доброта была старомодным, исчезнувшим качеством, а добряк — чем-то вроде мамонта. Все, чему нас учила эпоха — раскулачиванию, классово-борьбе, разоблачениям, срыванию покровов и поискам подоплеки под каждым поступком, — все это воспитывало какие угодно качества, только не доброту.

Доброту, как и добродушие, приходилось искать в захолустных местах, глухих к зову времени. Только пассивные люди сохраняли эти качества, завещанные предками. Вывернутый наизнанку гуманизм сказывался на всех и каждом.

У портнихи мы жили тихо, спокойно, по-человечески и совсем забыли, что у нас нет жилплощади. Проезжая на извозчике, в машине или трамвае по огромным городам Советского Союза, я часто с удивлением считала окна мелькавших домов: почему ни одно из этих окон я не могу назвать своим? Мне снились нелепые сны: коридоры: огромные, словно крытые потолком улицы, с дверями по обе стороны. Сейчас двери откроются, и я буду выбирать себе комнату. Иногда оказывалось, что за дверями живут мои уже умершие родственники. Я сердилась: оказывается, вы здесь — все вместе, зачем же я скитаюсь? Какой Фрейд посмеет объяснить эти сны вытесненными комплексами? загнанным внутрь половым чувством? эдиповской мурой и прочими добродушными зверствами?

Кто-то сказал, что советские граждане не нуждаются в строительстве собственных домов: ведь они имеют право требовать, чтобы государство дало им бесплатную квартиру... Но у кого требовать? Даже во сне я не знала, как к этому

приступиться, и просыпалась прежде, чем наступала блаженная минута, когда наконец выписывается ордер на право вселения, прописки и жировки. В Воронеже я еще питалась иллюзиями, что у меня есть квартира, с трудом добытая, единственная в своем роде. Сейчас у меня уже нет иллюзий и я знаю законы, по которым я не имею права ни на что. А сколько нас таких? Не думайте, пожалуйста, что я исключение. Имя нам легион.

Будущие поколения не поймут, что такое «площадь» в нашей жизни. Из-за жилплощади и ради нее совершалось немало преступлений. Люди привязаны к своей площади — они и помыслить не могут, чтобы ее оставить. Кто способен бросить ненаглядную, родную, драгоценную жактовскую комнату в двенадцать с половиной метров? Таких безумцев у нас нет, и площадь переходит по наследству, как родовые замки, особняки, имения. Мужья и жены, ненавидящие друг друга, тещи и зятья, взрослые сыновья и дочери, бывшие домработницы, зацепившиеся за комнату при кухне, — все они навеки связаны со своей «площадью» и расстаться с ней не могут. В вопросах развода и брака первым встает вопрос о жилплощади. Я слышала про рыцарей, уходящих из дому и оставляющих жене площадь, я слышала про невест с хорошей квартирой и про женихов, ищущих такую невесту...

Умные женщины покупали ватник и нанимались в переярженном виде в уборщицы студенческих общежитий, где им отводили конурку. И там они застревали, годами терпели проклятия комендантов и угрозы выбросить их на улицу. В этих общежитиях живут и преподаватели, которых тоже поносят коменданты. Я могла бы зацепиться в одном из этих общежитий и, сидя запершись, до поздней ночи слушать песни и пляски веселых студенток, на которых часто не хватает коек, так что они спят вдвоем в обнимку с подругой.

С площадью связана и прописка — потеряешь прописку в своем городе и вовеки не вернешься. Для большинства людей собственная квартира оказывалась настоящей западней. Тучи уже сгущались над головой, вокруг одного за другим забирали друзей и сослуживцев. Мы это называли: снаряды ложатся ближе... А собственники жировки продолжали сидеть на месте и ждать, пока за ними явятся; ожидая, они еще тешили себя надеждой, что их эта чаша почему-то минет. Так охраняли они

свою конуру, так называемую квартиру, а если она была отдельная и в новом доме, то из нее для вящего сходства с западной был только один выход — черного хода в новых домах нет. Я знала только одну разумную женщину, которая во время ленинградского выселения дворян сложила вещи и удрала в провинцию, сохранив чистый паспорт и тем самым избавив себя от множества бед.

А меня от ареста спасла бездомность. Один раз мне удалось добиться жилплощади. Это было в 33 году, когда под натиском Бухарина нам дали голубятню на пятом этаже писательской надстройки. Через полгода О.М. забрали, но квартиру сохранили за нами. Под нажимом писателей наш комендант Матэ Залка даже ездил в МГБ просить разрешения выбросить с площади ссыльного старуху — мою мать — и использовать квартиру для настоящего советского писателя. Но чудо продолжалось, и ему отказали, попросив передать писателям, жаждущим площади, что не надо быть большими роялистами, чем сам король. Сохранение квартиры внушало нам надежду, что О.М. собираются вернуть в Москву, но когда понадобилось, ее отобрали, выкинув, кстати, и меня, хотя я не числилась ссыльной. Останься я в московской квартире рядом с писателем-генералом, мои кости давно бы сгнили в общей лагерьной яме. После второго ареста О.М., когда я слонялась без жилья и прописки, за мной пришли в нашу последнюю калининскую комнату, но меня там уже не было. Ведь не могла же я сохранить за собой эту комнату — она была в частном доме и стоила слишком дорого... Западни для меня не нашлось, и меня, бездомную, забыли, поэтому я выжила и сохранила стихи О.М.

А что, если б у доброй воронежской портнихи нашелся после нас, то есть летом 37 года, жилец, который перестал бы ей платить и получил отдельную жировку на занимаемую им комнату? Неужели и она догадалась бы поступить как все и пойти с доносом в органы: у моего жильца, мол, происходят незаконные собрания и ведутся контрреволюционные разговоры... я как хозяйка считаю своим долгом... Или она смиренно отказалась бы от приварка для матери и сына? Но про нее известно только одно — домик без крыльца разрушен войной и на его месте выросло что-то совсем другое...

ДЕНЬГИ

Первое время в Воронеже материально нам жилось легче, чем когда-либо: пораженный чудом Гослитиздат дал переводную работу. Женя даже сказал, что Москва украсилась от пожара. Я спешно перевела какой-то гнусный роман²⁰⁶ и тут же получила второй договор. Но зимой 34/35 года работодателям, видно, влетело за их доброту — меня вызвали в Москву — «ознакомиться с методами перевода». Редактором был тогда Старцев²⁰⁷. Он похвалил «методы», а завотделом выманил у меня книжку — ему вдруг понадобилось посмотреть, не требует ли мой роман сокращений... Больше я этой книги не видела, и вскоре она вышла в другом переводе («Гнездо простых людей»)²⁰⁸. Нам оплатили еще несколько листов перевода Мопассана по старому договору, и на этом приток денег из Москвы кончился.

Добиваясь работы, О.М. писал бесконечные заявления и ходил в местный Союз писателей. Вопрос о предоставлении работы «стоял принципиально», как у нас тогда выражались. Это значило, что ждали указаний сверху, а запросил о них Союз, то есть ведомство, за которым числился О.М. Ни мне, ни О.М. никогда нельзя было получить никакой работы без предварительного шебуршения и ожидания. Даже в 55 году я поступила на работу в Чебоксарах только после того, как Сурков куда-то съездил, получил санкцию и позвонил при мне о результате своих переговоров министру просвещения. А в 34 году ни одно учреждение не предоставило бы ссыльному работу без распоряжения сверху. Этим руководители учреждений пытались застраховаться от ответственности за наличие в штате неполноценного гражданина, но если наступал период «бдительности», никакие ссылки на прежние санкции и распоряжения сверху не помогали, тем более что эти санкции никогда не давались в письменном виде — кто-то кивнул головой, кто-то пробурчал по телефону: «Ну, что ж», кто-то в лучшем случае сказал: «Решайте сами — мы не возражаем...» В деле никаких следов этого бурчания и кивка не оставалось, и начальники зачастую жестоко расплачивались за «засорение аппарата чуждым элементом». Мы столько лет были «чуждым элементом», что изучили этот механизм как свои пять пальцев.

Он претерпевал с течением времени некоторую эволюцию, и власть государства над человеком принимала все более четкие формы, а за последние восемь лет, прошедшие с Двадцатого съезда, положение резко изменилось — наступила новая эпоха. Но я говорю о сталинском времени, и этапы, через которые прошел О.М., иллюстрируют процесс закрепощения литературы; то же самое происходило и в других областях, несколько иначе, конечно, но суть оставалась та же.

В 22 году, когда мы вернулись из Грузии, все журналы поместили имя О.М. в списке сотрудников, но напечатать стихи становилось все труднее. Показателен был Воронский — он отвергал все. «Что я с ним сделаю? — жаловался секретарь редакции Сергей Антонович Клычков. — Он говорит: не актуально...» В 23 году О.М. сняли сразу из всех списков сотрудников. Это не могло быть случайностью, иначе не было бы такой согласованности во всей периодике. Вероятно, летом провели какое-то идеологическое совещание, и в литературе началось расхождение на своих и чужих. Зимой 23/24 года Бухарин, редактировавший журнал «Прожектор», сказал О.М.: «Я не могу печатать ваших стихов. Давайте переводы...» Скорее всего, первоначальное ограничение касалось только периодики, и купленная в 22 году книга стихов («Вторая книга») успела выйти в 23-м, но через два года Нарбут, заведовавший издательством Зиф, повторил то же, что сказал Бухарин: «Тебя печатать не могу, а переводов дам сколько угодно». К этому времени все кому не лень писали, что Мандельштам бросил поэзию и перешел на переводы. За нашей прессой это повторило и «Накануне»²⁰⁹, и О.М. очень огорчился. Да и вообще, тогда уже стало достаточно трудно. «Они допускают меня только к переводам», — жаловался О.М. Но и с переводами дело обстояло не так просто. Существовала, конечно, естественная конкуренция, но, кроме того, О.М. никогда не попадал в число людей, которых приказывали «обеспечить». Со второй половины двадцатых годов переводческая работа доставалась все труднее, очевидно, оспаривалось само право О.М. на заработок. Не вышло ничего и с детскими книжками. Маршак сильно испортил «Шары» и «Трамвай»²¹⁰; единственной отдушиной были нищие частные издательства, пока они еще существовали. Кое-какие статьи О.М. тиснул в провинции (Киев) и в театральных журнальчиках. Все же полного запрещения

еще не существовало, а только ограничения и «рекомендации» заботиться об «актуальности»... Новый этап — это борьба за «чистоту линии», открывшаяся статьей Сталина в «Большевике», в которой он приказал совсем не печатать неподходящих вещей (1930)²¹¹. Я работала тогда в ЗКП²¹² и по разговорам в редакции поняла, что с партизанщиной кончили и объявили планомерное наступление. И все же в печать прорвалось еще несколько стихотворений, но за «Путешествие в Армению» («Звезда»)²¹³ сняли редактора отдела — Цезаря Вольпе, который, впрочем, знал, на что идет. Кольцо сжималось постепенно. Мандельштам и Ахматова первыми почувствовали на себе, что значит сталинская эпоха, но постепенно это узнали все. Многим зажим литературы был на руку. Они и сейчас рады бы вернуть старое и борются за свои позиции и за сохранение старых запретов.

В период ссылки ни о каком печатании уже речи быть не могло, переводы тоже отобрала, и самое имя О.М. больше не упоминалось. Оно промелькнуло за все эти годы только несколько раз в ругательных статьях²¹⁴. Сейчас с имени запрет снят, но по инерции его не произносят, а в кочетовских кругах²¹⁵ оно еще вызывает ярость. Ведь Эренбурга клеймили главным образом за несколько слов о Мандельштаме и Цветаевой²¹⁶. Зимой 36/37 года прекратились все заработки. Мне удалось получить первую работу лишь в 39 году, когда было объявлено, что жены заключенных продолжают пользоваться правом на труд, но в периоды бдительности меня всегда выгоняли. Так как вся работа находится в руках государства, единственное, что остается, это «под кремлевскими стенами выть»²¹⁷. Ведь частные способы существования у нас были следующие (сейчас их нет): огород на участке, где стоит собственный дом, корова там же, но сеном распоряжается начальство; тайная портниха, пока она не попалась фининспектору, то же относится к машинистке, но пишущие машинки стоили до войны очень дорого; наконец, нищенство, но оно у нас не приносит дохода, потому что деньги есть только у верных слуг государства, а они не станут компрометировать себя связью с отверженными. Из всех этих способов мы прибегали, пока было возможно, к «вою», то есть добивались «принципиального решения вопроса». О.М. занимался этим в Воронеже, а я ездила в Москву и разговаривала, пока меня пускали, с деятелями

Союза — Марченко, Щербаковым и другими... Они хранили непроницаемый вид и не отвечали ни на один мой вопрос, но все же кого-то «наверху» запрашивали.

В первую же зиму после ссылки у О.М. отобрали персональную пенсию. Я добивалась, чтобы ее восстановили, и убеждала Щербакова, что «заслуг в русской литературе» отнять нельзя, следовательно, пенсию отбирать не следовало. Мое остроумие не произвело на вельможу никакого впечатления. «Какие же могут быть заслуги в русской литературе, если Мандельштам сослан за свои произведения?» — парировал он. Мы все, в том числе и я, совершенно потеряли представление о правовых нормах, и мне самой любопытно, можно ли навсегда лишит пенсию, старческой, трудовой, персональной или академической, человека, осужденного на какой-то срок без поражения в правах.

Щербакова я не случайно назвала вельможей. Самый физический тип деятеля у нас менялся. До середины двадцатых годов мы всюду сталкивались с бывшими подпольщиками, окруженными соответствующей молодежью. Резкие, уверенные в своей непререкаемой правоте, они охотно пускались в споры, агитировали, часто бывали грубы. От них припахивало семинаристом и Писаревым. Постепенно их сменили круглоголовые блондины в вышитых украинских рубашках, эдакие рубахи-парни с развязно-веселой и вполне искусственной манерой, шуточками и нарочитой грубоватостью. На их место пришли молчаливые дипломаты — каждое слово на вес золота, ничего лишнего не сказать, никаких обещаний не дать, но произвести впечатление человека с весом и влиянием. Одним из первых сановников этого типа был Щербаков. Когда я в первый раз к нему пришла, мы оба несколько минут молчали. Я хотела, чтобы заговорил он; из этого ничего не вышло, потому что сановник предоставлял просительнице возможность изложить свою просьбу... Я поставила перед ним вопрос о печатании, хотя заранее знала, что все эти попытки обречены на полную неудачу. Он объяснил мне, что единственным критерием для печатания литературных произведений является их качество; стихи Мандельштама, очевидно, не выдерживают этой пробы, раз их не печатают. То же самое, но с менее выработанными интонациями, повторил Марченко. Один раз Щербаков оживился. Он спросил меня, о чем

пишет О.М. Я ответила: «О Каме...» Он недослышал. «О партизана?» — спросил он, почти улыбнувшись, но улыбка тотчас исчезла, когда он услышал, что речь идет о реке²¹⁸. «Почему о реке?» — спросил он. Ему это показалось диким. Секундное оживление Щербакова навело нас на мысль, что от О.М., вероятно, ждали в те дни славословий и гимнов и удивлялись, что он их не пишет. На этот шаг он решился только в 37 году²¹⁹, но тогда уже ничего во внимание не принималось.

Все-таки мы с О.М. пробили стену, и наши совместные усилия увенчались сравнительным успехом: его направили на работу в местный театр. Числился он заведующим литературной частью, но не имел ни малейшего понятия о том, что нужно делать. В сущности, он просто болтал с актерами, и они его любили. Кроме того, открыли для приработков местное радиовещание. Такой вид безымянной работы считался у нас допустимым даже для ссыльных, правда, только в спокойные периоды, когда в печати не мелькало слово «бдительность». На радио мы вдвоем сделали несколько передач — Молодость Гёте, Гулливера для детей... О.М. часто писал вступительное слово к концертам, в частности к «Орфею и Эвридику» Глюка. Его обрадовало, что, когда он шел по улице, из всех рупоров несся его рассказ про голубку Эвридику... Там же он вольно перевел неаполитанские песенки для ссыльной певицы с низким голосом.

В этот благополучный для нас воронежский период жить все же было трудновато. Театр платил 300 рублей. Этого хватало на комнату (мы платили от 200 до 300 за наши конуры) и разве что на папирасы. Радио тоже давало 200–300 рублей, а я иногда получала внутренние рецензии в газете и ответы на «самотек». Все вместе обеспечивало скромную еду: яичницу на обед, чай, масло. Коробка рыбных консервов считалась «пиром». Варили щи, а иногда, не выдержав, разорялись на бутылочку грузинского вина. Нам еще удавалось кормить Сергея Борисовича Рудакова²²⁰, которому жена присылала 50 рублей — оплата одной только койки. В тот год — мы жили у «агента» — мы редко оставались одни: забегали актеры, приезжали с гастрольями музыканты. Воронеж был одним из немногих провинциальных городов с собственным симфоническим оркестром, и все гастролеры проезжали через него.

О.М. ходил не только на концерты, но и на репетиции: его занимало, как дирижеры разно работают с оркестром. Тогда он задумал прозу о дирижерах, но она так и не осуществилась — не хватило времени. Когда с концертами приезжали Лео Гинзбург со своим однофамильцем Григорием²²¹, они проводили у нас много времени, и пиры разнообразились излюбленными ими консервированными компотами. Марья Веньяминовна Юдина специально добилась концертов в Воронеже, чтобы повидаться с О.М., и много ему играла²²². В наше отсутствие — мы были в районе — нас искал певец Мигай, и мы очень жалели, что он не застал нас. Все это были большие события в нашей жизни. О.М., человек общительный, не мог жить без людей...

Наше благополучие кончилось осенью 36 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, театр отсох, и газетная работа тоже. Рухнуло все сразу. Тут, перебрав все частные способы жить, О.М. сказал: «Корова!» — и мы стали мечтать о корове и только потом узнали, что она нуждается в сене.

Как ни тяжело жилось даже в дни так называемого благополучия, воронежская передышка была неслыханным счастьем. Сам город очень нравился О.М. Он любил все, что хоть сколько-нибудь напоминало о рубеже, о границе, и его радовало, что Воронеж — петровская окраина, где царь строил азовскую флотилию. Он чуял здесь вольный дух передовых окраин и вслушивался в южнорусский, еще не украинский говор. Вот почему паровозные гудки заговорили у него по-украински²²³. Граница говором проходила чуть южнее Воронежа, и бабы, тыча пальцем в сушеные фрукты, спрашивали: «Це що за вышенки?..»

В селе Никольском О.М. записал названия улиц, уже переименованных, но хранившихся в памяти жителей. Люди этого села гордились происхождением от ссыльных преступников и беглых петровского времени, и улицы называли по их преступлениям: проезды душегубов, казнокрадов, фальшивомонетчиков... Записные книжки с дневниковыми записями О.М. погибли при втором аресте, а я забыла старорусские слова, которые с такой легкостью произносили жители Никольского. Были они прыгунами и сочиняли духовные стихи про свои неудачные полеты на небо. Незадолго до нашего приезда в селе разыгралась

драма: они назначили день полета и, твердо поверив, что наутро их уже не будет на этой земле, роздали все свое имущество соседям, лишенным крыльев. Очнувшись после падения, они бросились отнимать свои вчерашние дары, и разгорелся страшный бой. Самые свежие стихи, раздобытые нами, повествовали о том, как прыгун прощается со своим любимым ульем прежде, чем подарить его. О.М. запомнил эти стихи с голоса и не раз читал наизусть: не хотелось прыгуну улетать на небо, нравилось ему на земле, где ульи, дом, жена и дети...

Зимой Воронеж представлял собой сплошное ледяное поле, вечную скользоту, ахматовские хрустали, по которым «я прохожу несмело»...²²⁴ Ведь даже в режимных городах не всюду сохранились дворники с лопатами и песком. О.М. не боялся ни льдов, ни ветра. Временами он обольщался городом, но чаще проклинал его и рвался бежать. В сущности, он просто тяготился прикреплением, как запертыми дверями. «Я по природе ожидальщик, — говорил О.М., — а меня еще сунули в Воронеж, чтобы я все время чего-то ждал...» Действительно, жизнь складывалась так, что мы все время чего-то ждали: денег, ответа на письмо или заявления, милостивого кивка или спасения... А на самом деле я никогда не видела человека, который так жадно жил бы настоящим, как О.М. Он почти физически ощущал протяженность времени, каждую минуту этой жизни. В этом смысле он прямо противоположен Бердяеву, который говорит, что никогда не мог примириться с временем и что всякая тоска есть тоска по вечности²²⁵. Мне кажется, что для любого художника вечность уже ощутима в каждом продолжающемся и текущем мгновении, которое он рад бы остановить, чтобы сделать еще более ощутимым. Тоска художника — не томление по вечности, а временная потеря чувства, что каждая секунда объемна, избыточна, насыщена и сама по себе равносильна любой вечности. В тоске же естественно зарождалось чувство будущего, и О.М. становился «ожидальщиком». В Воронеже оба эти свойства О.М. развернулись вовсю, и в минуты тоски он рвался бежать куда глаза глядят, но не мог, потому что был накрепко привязан к месту. А может, он просто был птицей, которая не переносит клетки, и поэтому все время собирал какие-то справки, чтобы его пустили хоть на несколько дней в Москву вырезать что-то

вроде гланд — он в жизни не болел ангиной, — полечиться или для устройства своих «литературных дел», совершенно забывая при этом, что никаких литературных дел у него и в помине не было и быть не могло. Разрешения на поездку он, разумеется, не добился. Под влиянием его стонув А.А. Ахматова и Борис Леонидович даже ходили к Катаньяну просить о переводе в какой-нибудь другой город. На это тоже последовал отказ. Кабинет Катаньяна, открытый любому посетителю, существовал для сбора заявлений, на которые отвечали отказами. Так О.М. и просидел в Воронеже все три года и лишь один раз выехал за границы разрешенной области — в тамбовский санаторий, откуда он почти сразу удрал. А по области он ездил несколько раз с газетными командировками и в Задонск на дачу. Нам удалось поехать в Задонск, потому что Анна Андреевна раздобыла 500 рублей у Пастернака и прибавила 500 своих. Мы почувствовали себя богачами и провели в Задонске целых шесть недель.

Метания прекратились летом 36 года, когда в Задонске мы услышали, как радио оповещает нас о грядущих процессах и о наступлении нового этапа в нашей жизни²²⁶. Приближался 37 год. К этому времени О.М. был уже тяжело болен. Врачи не хотели или не умели распознать его болезнь. Припадки походили на грудную жабу. Он плохо дышал, но продолжал работать. В сущности, он сжигал себя и хорошо делал. Будь он физически здоровым человеком, сколько лишних мучений пришлось бы ему перенести.

Впереди расстилался страшный путь, и теперь мы уже знаем, что единственным избавлением была смерть. Людям поколения О.М. и даже моего ни до чего дожить уже не придется. Но даже до относительного благополучия послесталинского периода, которое Анна Андреевна и я считаем настоящим счастьем, ему бы не дотянуть. Я это остро поняла в конце сороковых и начале пятидесятых годов, когда большинство вернувшихся из лагерей после окончания своего срока — а среди них многие побывали на войне — снова отправившись в лагерь.

«О.М. правильно сделал, что сразу умер», — сказал мне Казарновский, встретившийся с О.М. в пересыльном лагере, а потом проведенный с десяток лет на Колыме. Разве нам снилось такое в Воронеже? Ведь и мы, вероятно, верили, что самое худшее позади... Вернее, мы старались не заглядывать

в будущее, как и другие обреченные. Мы исподволь готовились к смерти, растягивая и удлиняя каждую минуту, чтобы вкус ее остался у нас на губах, потому что Воронеж был чудом и чудо нас туда привело.

ИСТОКИ ЧУДА

В письме к Сталину Бухарин сделал приписку, что у него был Пастернак, взволнованный арестом Мандельштама. Ясно, зачем эта приписка понадобилась Николаю Ивановичу: ею он сообщал о так называемом резонансе, или общественном мнении. Согласно нашим обычаям, его нужно было персонифицировать. Можно сказать, что кто-то один волнуется, но нельзя обмолвиться о настроении или недовольстве целой группы, интеллигенции, скажем, или литературных кругов... Никакая группа у нас не имеет права на собственное отношение к событиям. В таких вещах существуют тончайшие градации, понятные только тем, кто побывал в нашей шкуре. Бухарин сумел соблюсти все приличия, чтобы обеспечить делу успех. А вот приписка объясняет, почему Сталин для своего телефонного звонка выбрал не кого иного, как Пастернака.

Разговор состоялся в конце июня, когда дело уже было пересмотрено. Пастернак широко о нем рассказывал. В тот же день он был у Эренбурга, находившегося в Москве... Но никому из заинтересованных лиц, то есть ни мне, ни Евгению Яковлевичу, ни Анне Андреевне, он почему-то не обмолвился о нем ни словом. Правда, он в тот же день позвонил по телефону Евгению Яковлевичу, уже знавшему о пересмотре дела, и заверил его, что все будет хорошо, но этим заверением и ограничился. Женя счел эти слова просто за оптимистический прогноз и никакого значения им не придавал.

Сама я узнала о сталинском звонке только через несколько месяцев, когда, уже переболев тифом и дизентерией, вторично приехала из Воронежа в Москву. В случайном разговоре Шенгели спросил у меня, дошли ли до нас слухи о звонке Сталина Пастернаку и соответствуют ли эти слухи действительности... Шенгели не усумнился, что все это вымысел досужего воображения, раз Пастернак ничего мне не сообщил.

Но я все же решила съездить на Волхонку: ведь дыма-то, да еще такого, без огня не бывает... Рассказ Шенгели подтвердился до малейшей детали — Пастернак, передавая мне разговор, употреблял прямую речь, то есть цитировал и себя, и своего собеседника. Точно так рассказывал мне и Шенгели: очевидно, всем Пастернак передавал этот разговор в одинаковом виде, и по Москве он распространился в точном варианте. Я передаю его рассказ текстуально.

Пастернака вызвали к телефону, предупредив, кто его вызывает. С первых же слов Пастернак начал жаловаться, что плохо слышно, потому что он говорит из коммунальной квартиры, а в коридоре шумят дети. В те годы такая жалоба еще не означала просьбы о немедленном, в порядке чуда, устройстве жилищных условий. Просто Борис Леонидович в тот период каждый разговор начинал с этих жалоб. Мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил: «Про коммунальную кончил?» Со Сталиным он разговаривал как со всеми нами.

Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, почему Пастернак не обратился в писательские организации или «ко мне» и не хлопотал о Мандельштаме. «Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь...»

Ответ Пастернака: «Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали...» Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с О.М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Эта ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело не в этом...» — «А в чем же?» — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» — «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел. Пастернак спросил секретаря, может ли он рассказывать об этом разговоре или следует о нем молчать. Его неожиданно поощрили

на болтовню — никаких секретов из этого разговора делать не надо... Собеседник, очевидно, желал самого широкого резонанса. Чудо ведь не чудо, если им не восхищаются.

Подобно тому, как я не назвала имени единственного человека, записавшего стихи, потому что считаю его непричастным к доносу и аресту, я не привожу единственной реплики Пастернака, которая, если его не знать, могла бы быть обращена против него. Между тем реплика эта вполне невинна, но в ней проскальзывают некоторая самопоглощенность и эгоцентризм Пастернака. Для нас, хорошо его знавших, эта реплика кажется просто смешноватой.

Теперь уже всем ясно, чего стоило сталинское чудо, а Пастернаку выпала честь не только распространять весть о нем по Москве, но еще и выслушивать поучения. Цель чуда была достигнута — внимание переключилось с жертвы на милостивца, со ссыльного на чудотворца. Удивительная черта времени — ни один человек, обсуждавший чудо, не задался вопросом, почему Сталин делает такое исключение для поэтов, что считает нужным лезть на стены, чтобы выручить друга-поэта из беды, в то время как своих друзей и товарищей он совершенно спокойно отправляет на гибель. Об этом не задумался даже Пастернак, и его слегка передернуло, когда я ему это сказала. Мои современники совершенно серьезно восприняли сталинское поучение о дружбе поэтов и восхищались властителем, проявившим такую горячность и темперамент. А у нас с О.М. в глазах стоял Ломинадзе, отозванный для казни из Тифлиса, когда О.М. вел с ним переговоры о том, чтобы остаться на архивной работе в Тифлисе²²⁷. И, кроме Ломинадзе, все те, чьи головы слетели к этому времени. Их было немало, но у нас упорно продолжают вести счет с 37 года, в котором Сталин вдруг переродился и начал всех уничтожать.

Сам Борис Леонидович остался недоволен своим разговором со Сталиным и многим жаловался, что не сумел его использовать, чтобы добиться встречи. Жаловался он и мне... Об О.М. он не беспокоился, так как безоговорочно поверил словам своего собеседника, что с ним будет все в порядке. Тем острее воспринималась собственная неудача: Борис Леонидович, подобно многим людям нашей страны, болезненно интересовался кремлевским затворником. Я считаю, что Борису

Леонидовичу повезло, что эта вожденная встреча не состоялась, но к моменту, когда все это происходило, мы еще многого не понимали. Нам еще кое-что предстояло познать. И вот вторая удивительная черта эпохи: почему неограниченные владыки, обещавшие организовать, чего бы это ни стоило, настоящий рай на земле, так ослепляли своих современников? Сейчас никто не усумнится в том, что в столкновении двух поэтов с властителем и моральный авторитет, и чувство истории, и внутренняя правда были у поэтов. Между тем Борис Леонидович тяжело пережил свою неудачу и сам мне говорил, что долго после этого не мог даже писать стихов. Было бы еще понятно, если бы Пастернак захотел собственноручно пощупать язвы эпохи. Как известно, он впоследствии это сделал, но никаких встреч с властителями ему для этого не понадобилось. А тогда, как мне кажется, Пастернак верил, что в его собеседнике воплощаются время, история и будущее, и ему просто хотелось вблизи посмотреть на такое живое и дышащее чудо.

Сейчас распространяются слухи, что Пастернак так трусил во время разговора со Сталиным, что отрекся от О.М. Незадолго до его болезни мы встретились с ним на улице, и он мне об этом рассказал. Я предложила вместе записать разговор, но он этого не захотел. А может, события развернулись так, что ему было не до прошлого.

Что можно инкриминировать Пастернаку, особенно если учесть, что Сталин сразу сообщил о пересмотре дела и о своей милости? В нынешних версиях говорится, будто Сталин требовал, чтобы Пастернак поручился за О.М., а он отказался от поручительства. Ничего подобного не было, ни о каком поручительстве речь даже не заходила.

О.М., выслушав подробный отчет, остался вполне доволен Пастернаком, особенно его фразой о писательских организациях, которые «этим не занимаются с 27 года...». «Дал точную справку», — смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора: «Зачем запутали Пастернака? Я сам должен выпутываться — он здесь ни при чем...» И еще: «Он совершенно прав, что дело не в мастерстве... Почему Сталин так боится “мастерства”? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем наштамповать...» И наконец: «А стишки, верно, произвели впечатление, если он так раструбил про пересмотр...»

Кстати, неизвестно, чем бы кончилось, если б Пастернак запел соловьем о мастерстве и мастерах — может, прикончили бы О.М., как Михоэлса, и уж во всяком случае приняли бы более жесткие меры, чтобы уничтожить рукописи. Я уверена, что они уцелели только благодаря постоянной брани лефовских и символистских современников: бывший поэт, бывший эстет, бывшие стихи... Считая, что О.М. уже уничтожен и растоптан, что он, как говорили, уже «вчерашний день»²²⁸, начальство не стало искать рукописи и затаптывать следы. Они просто сожгли то, что им попало в руки, и вполне этим удовольствовались. Будь они более высокого мнения о поэтическом наследстве Мандельштама, ни меня, ни стихов не осталось бы. Когда-то это называлось «развеять прах по ветру»...

Заграничная версия разговора со Сталиным совершенно нелепа — там пишут, будто О.М. прочел стихи в гостях у Пастернака при посторонних, а бедного хозяина «таскали в Кремль и мучили»...²²⁹ Каждое слово показывает полное незнание нашей жизни. Впрочем, у кого хватит воображения, чтобы реально представить себе, как мы были скованы? Слова о Сталине никто не смел сказать, не то что прочесть «в гостях» такие стихи... Прийти в дом и при гостях прочесть стихи против Сталина мог только провокатор, да и то он не решился бы. А в Кремль «для допросов» никого не вызывали — это было место для парадных приемов и награждения орденами. Для допросов существовала Лубянка, куда Пастернака по поводу Мандельштама не вызывали. Жалеть его по поводу разговора со Сталиным совершенно не стоит — это ему ничуть не повредило. Кроме того, жизнь сложилась так, что у Пастернака мы не бывали, изредка он приходил к нам. Это нас вполне устраивало.

АНТИПОДЫ

В некоторых отношениях О.М. и Пастернак были антиподами, но антиподы помещаются в противостоящих точках одного пространства. Их можно соединить линией. У них есть общие черты и определения. Они сосуществуют. Ни один из них не мог бы быть антиподом, скажем, Федина, Ошанина или Благого.

Два стихотворения О.М. как бы являются ответом Пастернаку — одно на стихи, другое на незаконченный разговор. Сначала я скажу про второе, то есть про стихи о квартире. Своим возникновением они обязаны почти случайному замечанию Пастернака. Он забежал к нам на Фурманов переулок посмотреть, как мы устроились в новой квартире. Прощаясь, долго топтался и гудел в передней. «Ну вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи», — сказал он, уходя.

«Ты слышала, что он сказал?» — О.М. был в ярости. Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства — неустроенный быт, квартиру, недостаток денег, — которые мешают работать. По его глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно — благополучие не служит стимулом к работе. Не то чтобы он чурался благополучия, против него он бы не возражал... Вокруг нас шла отчаянная борьба за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе квартира считалась главным призом. Несколько позже начали выдавать за заслуги и дачки... Слова Бориса Леонидовича попали в цель — О.М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась, — честным предателям, изобразителям и тому подобным старателям...²³⁰

Проклятие квартире — не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали. Даром у нас ничего не давали — ни дач, ни квартир, ни денег...

В романе Пастернака тоже мелькнула «квартира» или, вернее, письменный стол, чтобы мыслящий человек мог за ним работать. Пастернак без стола обойтись не мог — он был пишущим человеком. О.М. сочинял на ходу, а потом присаживался на минутку записать. Даже в методе работы они были антиподами. И Мандельштам вряд ли стал бы защищать особое писательское право на стол в дни великого бесправия всего народа.

Второе стихотворение, связанное с Пастернаком, — «Ночь на дворе, барская лжа». Это ответ на те строки Пастернака, где он говорит, что «рифма не вторенье строк, а гардеробный номерок, талон на место у колонн...»²³¹. Здесь явно видна архитектура Большого зала консерватории, куда нас пускали, даже если не было билетов. Кроме того, это общественное и почетное положение поэта. От «места у колонн» О.М. в своих стихах отказался²³². В своем отношении к благополучию,

к примиренности со своим временем О.М. гораздо ближе к Цветаевой, чем к Пастернаку, но у Цветаевой это отталкивание носит более абстрактный характер. У О.М. столкновение произошло с определенной эпохой, и он довольно точно определил ее черты и свои счеты с ней.

Еще в 27 году я как-то сказала Пастернаку: «Берегитесь, они усыновят вас...» Он неоднократно напоминал мне эти слова, а в последний раз — через тридцать лет, когда уже появился «Доктор Живаго». А в первый наш разговор — мы говорили о нем и об О.М. — я сказала еще, что Пастернак — домашнее, свое, московское явление, дачник с внутренним органом... Этой московской своей природой он понятен деятелям нашей литературы, и они готовы на примирение, но разрыв все равно неизбежен: они идут в такие области, куда Пастернак не может за ними последовать. А Мандельштам — номад, кочевник, от которого шарахаются даже стены московских домов. Потом я поняла, что с О.М. дело обстоит иначе и номадом его делают сознательно. Что же касается до Пастернака, то я отнюдь не метила в Кассандры и просто несколько раньше, чем он, столкнулась с действительностью. Точно так кастелянша своим опытом обогнала меня, но я заметила, что рано или поздно глаза открываются у всех, только многие скрывают, что они стали зрячими. В одну из самых последних встреч Пастернак напомнил мне мои слова о неизбежности разрыва.

Судьба была заложена, как в куколке бабочки, в духовной структуре этих людей. Оба оказались обреченными литературе, но Пастернак до поры до времени искал с ней сближения, а О.М. рвался прочь. Добиваясь устойчивости, главным образом материальной, Пастернак знал, что пути к ней ведут через литературу. Из этого круга он никогда не выходил и никогда его не чурался. Доктор Живаго ведь тоже не врач, а поэт, и не Борис Леонидович оторвался от литературы, а только Живаго, да и то лишь когда автор увидел, что разрыв неизбежен.

А в юности Пастернак упорно обдумывал, какая форма литературы даст ему положение и эту самую устойчивость. В каком-то письме к О.М. он даже сообщил, что собирается стать профессиональным редактором. Ясно, что это абсолютная фантастика еще неоперившегося Пастернака. Но фантастические планы Пастернака и О.М. были поразительно непохожи.

О.М. всю жизнь отрешивался от литературы и литературного труда, будь то перевод, редакция, заседание в Доме Герцена или какое-нибудь высказывание, которого добивалась эпоха. Пастернак находился во власти центростремительной, а О.М. центробежной силы. И литература соответственно обращалась с ними — благоволила сначала к Пастернаку и с первых же шагов уничтожала Мандельштама.

«Пастернак ведь тоже чужой, — сказал мне как-то Фадеев, перелистывая стихи О.М., — и все-таки он как-то ближе к нам и с ним на чем-то можно сойтись...» Фадеев был тогда редактором «Красной нови», а Мандельштам уже запрещенным поэтом²³³. Я отвезла стихи Фадееву, так как Мандельштам был болен. Это те стихи, которые входят сейчас в «Первую тетрадь» «Новых стихов». Фадеев не обратил внимания ни на «Волка», ни на «волчий цикл». Его заинтересовало только одно восьмистишие: «На полицейской бумаге верже — Ночь наглоталась колючих ершей — Звезды поют — канцелярские птички, Пишут и пишут свои раппортички. Сколько бы им ни хотелось мигать, Могут они заявленье подать, И на мерцанье, писанье и тленье Возобновляют всегда разрешенье...» О.М. подсунул мне этот шуточный стишок из чистого хулиганства. «Почему раппортички два “п”?» — спросил Фадеев и тут же догадался, что от слова Рапп... И, покачивая головой, он вернул мне стихи со словами: «С Пастернаком нам гораздо легче — у него природа». Но дело шло, конечно, не только о тематике стихов и даже не о самих стихах, а о том, что у Пастернака были все-таки какие-то точки соприкосновения с бытовой и традиционной литературой, а через нее со всеми раппами, а у Мандельштама их не было. Пастернак хотел дружбы, Мандельштам от нее отказывался.

Не стоит задаваться вопросом, кто из них прав. Это ложная постановка вопроса. Но замечательно то, что оба в конце жизни совершили поступки, противоположные всей их жизненной установке: Пастернак, написав и издав роман, пошел на открытый разрыв, а Мандельштам уже готов был на сближение, но, как оказалось, слишком поздно. В сущности, у Мандельштама это была попытка к спасению в тот момент, когда веревка уже накинута на шею, но все же она была. В несколько ином положении находилась Ахматова. На нее действовали, держа

Леву у себя в качестве заложника. Если бы не это, так называемые «положительные» стихи никогда бы не появились на свет Божий...²³⁴

В одном Пастернак оказался последовательным на протяжении всей жизни — в своем отношении к интеллигенции или, вернее, к тем интеллигентам, из жизни которых после революции ушло благообразие и чей мирный быт был разрушен. Пастернак, в сущности, проходит мимо всех внутренних процессов, происходивших у интеллигенции как целого: преподаватели университета — просто скучные люди с плоскими мыслями, не достойные дружбы Живаго. Разбит же быт семьи Живаго, и вину за это автор возлагает на взбунтовавшийся народ. Между интеллигентом и народом Пастернак хотел бы воздвигнуть защитную стену государства.

Кто такой этот таинственный младший брат Живаго, человек аристократического вида с киргизскими глазами, который всегда появляется как добрый гений с пайками, деньгами, добрыми советами, «покровительством» и помощью? «Загадка его могущества осталась неразъясненной», — говорит Пастернак. Между тем его связь с победителями и государством ясна на протяжении всего романа, а та помощь, которую он оказывает брату, явно принадлежит к числу «государственных чудес», для которых нужны телефоны, приводные ремни и созданные по совету Горького комиссии по улучшению быта ученых. Он занимает настолько крупное положение, что обещал брату отправить его за границу или выписать в Москву из Парижа высланную туда семью. Пастернак прекрасно знал, кому из правителей такое было по силам в начале тридцатых годов. Если бы Живаго не умер, он бы получил через брата «талон на место у колонн». Эта ставка на государство с его чудесами совершенно чужда Манделъштаму. Он рано понял, что несет людям государство нового типа, и не надеялся на его покровительство. И он верил, что «народ, как судья, судит», а также сказал: «Восходишь ты в глухие годы, О солнце, судия, народ»²³⁵. Эту веру разделяю и я и знаю, что народ произносит свой суд, даже когда безмолвствует.

Под фамилией Гинц Пастернак вывел комиссара Линде, убитого солдатами на фронте²³⁶. Для Пастернака эта гибель — возмездие за то, что люди, не умевшие управлять

и держать в руках солдатскую массу, как казачьи офицеры, взбаламутили народ... О.М. хорошо знал Линде, вероятно, по дому Синани²³⁷. Чтобы характеризовать его отношение к этой гибели, достаточно привести следующие строчки, хотя они о Керенском: «Благословить тебя в глубокий ад сойдет Стопами легкими Россия...»²³⁸

В статье о Гамлете Пастернак писал, что трагедия Гамлета не в безволии, а в том, что, совершив акт, к которому его призывает сыновний долг, он потеряет наследство, принадлежащее ему по праву наследования²³⁹, иначе говоря, тот же «талон на место у колонн». Москва от рождения принадлежала Пастернаку. В какой-то момент ему могло показаться, что он отказался от своего наследства, но этого не случилось и все осталось при нем. Марина Цветаева тоже пришла в Москву законной наследницей и соответственно была принята. Но всякое наследство было ей противопоказано, и она от него действительно отреклась, как только обрела свой голос в поэзии. Совсем иначе приняли акмеистов — Ахматову, Гумилева и Мандельштама. Они несли с собой что-то, вызывавшее глухую ярость в обоих лагерях литературы. Их враждебно встретили и Вячеслав Иванов со всем своим окружением, и горьковский круг. С Гумилевым это произошло не сразу, а лишь после первой акмеистической книги — «Чужое небо»²⁴⁰. Поэтому борьба с ними велась на уничтожение и разворачивалась гораздо острее, чем с другими поэтами. О.М. всегда говорил, что большевики берегут только тех, кого им с рук на руки передали символисты. По отношению к акмеистам этот акт совершен не был. И лэфовцы, и остатки символистов в советское время одинаково направляли основной свой удар на последних акмеистов — Ахматову и Мандельштама.

Иногда борьба принимала смешные формы, вроде статей Брюсова, где он превозносил «неоакмеизм» с его главой О.М. и приписывал ему в ученики всех, кого не лень, лишь бы ослабить школу²⁴¹. Еще забавнее личные столкновения О.М. с Брюсовым. Однажды Брюсов зазвал О.М. к себе в служебный кабинет и долго расхваливал его стихи, цитируя при этом Маккавейского, киевского поэта, злоупотреблявшего латынью. В другой раз Брюсов на заседании, распределявшем академические пайки, настоял, чтобы О.М. дали паек второй категории,

сделав вид, что спутал его с юристом, носящим ту же фамилию. Это были забавы вполне в стиле десятых годов, а к политической дискриминации Брюсов не прибегал — этим занимался более молодой Леф.

Сам О.М. очень хотел признания символистов и лефовцев, главным образом Верховского и Кирсанова, но это ему не удалось... Оба держались стойко на своих позициях, и все друзья дразнили О.М. его полным фиаско...

ДВА ГОЛОСА

В понимании Андрея Белого очерк — очень широкая форма, куда входит решительно все, на чем нет клейма ненавистного бытового романа и вообще беллетристики. «С этой точки зрения, — сказал О.М., — “Разговор о Данте” тоже очерк». Андрей Белый подтвердил.

Мы встретились с Белым в Коктебеле в 33 году. Мужчин тянуло друг к другу, но жена Белого, видно, помнила про старые распри и статьи О.М. и явно противилась сближению²⁴². Возможно, что она знала об антиантропософской и антитеософской направленности О.М.²⁴³, и это делало его не только чуждым, но и враждебным для нее человеком. Все же они встречались, хотя и украдкой, и с охотой разговаривали. В те дни О.М. писал «Разговор о Данте» и читал его Белому. Разговоры шли горячие, и Белый все время ссылаясь на свою работу о Гоголе, тогда еще незаконченную²⁴⁴.

Василиса Шкловская мне сказала, что из всех людей, которых она знала, наибольшее впечатление на нее произвел Белый. Я понимаю ее. Казалось, он весь пронизан светом. Таких светящихся людей я больше не встречала. Было ли это впечатление от его глаз или от непрерывно бьющейся мысли, сказать нельзя, но он заряжал каждого, кто к нему приближался, каким-то интеллектуальным электричеством. Его присутствие, его взгляд, его голос оплодотворяли мышление, ускоряли пульсацию. У меня осталось впечатление бестелесности, электрического заряда, материализованной грозы, чуда... Это был уже идущий к концу человек, собиравший коктебельскую гальку и осенние листья, чтобы складывать из них сложные узоры,

и под черным зонтиком бродивший по коктебельскому пляжу с маленькой, умной, когда-то хорошенькой женой, презиравшей всех непосвященных в ее сложный антропософский мир.

Символисты были великими оболстителями и ловцами человеческих душ²⁴⁵. И Белый раскидывал свои сети, как другие. Однажды он поймал меня и долго пересказывал теорию стиха, изложенную в его «Символизме»²⁴⁶. О.М., смеясь, сказал ему, что все мы на этом воспитывались, а я, в частности, его читательница. Было это, конечно, преувеличением, но я не возражала, потому что Белый, которого мы считали исключительно избалованным и окруженным почти культовым преклонением, вдруг обрадовался новой читательнице и просиял.

Видно, и он в те годы уже остро ощущал безлюдие и одиночество, чувствовал себя отвергнутым и непрочтенным. Ведь судьба его читателей и друзей была очень горькой: он только и делал, что провожал в ссылки и встречал тех, кто возвращался, отбыв срок. Его самого не трогали, но вокруг вычищали всех. Когда уводили его жену, а это случалось не раз, он бился и кричал от бешенства. Почему берут ее, а не меня, — жаловался он нам в то лето: незадолго до нашей встречи ее продержали несколько недель на Лубянке. Эта мысль приводила его в неистовство и сильно укоротила ему жизнь. Последней каплей, отравившей его сознание, было предисловие Каменева к его книге о Гоголе²⁴⁷. Это предисловие показывает, что как бы ни обернулись внутривластные отношения, нормального развития мысли все равно бы не допустили. При любом обороте событий идея о воспитании и опеке над мыслью все равно осталась бы основой основ. Вот столбовая дорога, сказали нам, а если мы ее для вас проложили, зачем вам ездить по проселочным?.. К чему чудачества, когда перед вами поставлены самые правильные задачи и заранее дано их решение!.. Наши опекуны во всех своих формациях никогда не ошибались и не знали сомнений. По зародышу они смело определяли, каков будет плод, а отсюда один шаг до декрета об уничтожении бесполезных зародышей, мыслей и ростков... И они это делали, и притом весьма успешно...

В самой природе Белого лежало чувство, что его мысль недоходчива, трудна, шероховата. Отсюда его манера говорить, прямо противоположная манере Пастернака. Белый

обволакивал собеседника, медленно его завоевывал, убеждая и завораживая. У него были чуть смущенные, просительные интонации. В них чувствовалась неуверенность в слушателе, страх быть непонятым и не услышанным, потребность завоевать доверие и внимание.

А Пастернак просто дарил своей речью и улыбкой. Он оглушал органичным гудением с такой уверенностью, как будто считал всякую почву заранее вспаханной для восприятия. Он не убеждал, как Белый, не спорил, как Мандельштам, но доверчиво ликовал и гудел, позволяя всем слушать и восхищаться. Он как бы исполнял сольную арию, считая, что с детства принадлежащая ему Москва уже подготовила созревшую аудиторию, наделенную к тому же слухом и разумом и обязательно влюбленную в его голос. Со своей аудиторией он даже, до известной степени, считался и ничем не хотел ее огорчать. Но ему нужна была именно аудитория, а не собеседники — их он избегал. Белому же требовался материал для пробуждения мысли, такие люди, которые бы начинали в его присутствии думать и искать. Я спросила у О.М.: «У тебя которая из этих двух манер?» Он ответил: «Конечно, как у Белого», но это неверно — О.М. искал только равноправных собеседников. Его в равной мере раздражали аудитория, ученики и почитатели. У него была ненасытная жажда общения с равными, и с каждым годом удовлетворять ее становилось все труднее. В нашем обществе шел процесс интеллектуальной мимикрии: все мысли и голоса тоже принимали защитную окраску.

ГИБЕЛЬНЫЙ ПУТЬ

Смерть художника не случайность, а последний творческий акт, как бы снопом лучей освещающий его жизненный путь. О.М. понимал это еще юношей, когда писал статью на смерть Скрябина. Почему удивляются, что поэты с такой прозорливостью предсказывают свою судьбу и знают, какая их ждет смерть? Ведь конец и смерть — сильнейший структурный элемент, и он подчиняет себе все течение жизни. Никакого детерминизма здесь нет, это, скорее, надо рассматривать как свободное волеизъявление. О.М. властно вел свою жизнь к той

гибели, которая его подстерегала, к самой распространенной у нас форме смерти «с гурьбой и гуртом». Зимой 32/33 года, на вечере стихов О.М. в редакции «Литературной газеты»²⁴⁸, Маркиш вдруг все понял и сказал: «Вы сами себя берете за руку и ведете на казнь...» Это перифраз строчек О.М. в варианте одного стихотворения: «Сам себя я за руку по улицам водил...»²⁴⁹

О.М. постоянно говорил в стихах об этом виде смерти, но этого не заметили, как и разговоров Маяковского о самоубийстве. Но, готовясь к смерти, люди в последнюю минуту стараются оттянуть неизбежный конец. Они закрывают глаза и делают вид, что спрятались и могут продолжать жить: ищут квартиру, покупают прочную обувь, отворачиваются от уже вырытой ямы. Так поступал и О.М., написав роковые стихи о Сталине.

Стихи были написаны в конце раскулачивания между «Старым Крымом» и «Квартирой». Был ли психологический импульс к написанию этих стихов? Импульсов было, наверное, несколько или множество, а не один. Каждый из них в какой-то пропорции участвовал в том, что на языке следователя называлось «акцией» и в начале следствия рассматривалось как террористический акт.

Первый импульс можно назвать «не могу молчать». Поколение наших отцов часто произносило эту формулу. Мы не повторяли ее за отцами, но, видно, есть капля, которая переполняет чашу. К 33 году мы сильно продвинулись в познании действительности. Сталинизм уже проявился в массовом предприятии — раскулачивании — и в частном — в организации на службу государству литературы, перед которой были поставлены чисто государственные цели.

Летом мы были в Старом Крыму, и в стихах впервые появились слова, указывающие, что О.М. видел свежие следы раскулачивания — страшные тени Украины и Кубани, голодные крестьяне...²⁵⁰ В первом варианте стихов Сталин назван душегубом и мужикоборцем. Все об этом тогда думали и говорили — шепотом, конечно, и стихи не опередили своего времени. Они опередили только сознание правящих кругов и тех, кто им прислуживал.

Вторая предпосылка для написания этих стихов — сознание собственной обреченности. Прятаться «шапкой в рукав»²⁵¹

было поздно. Стихи тридцатых годов уже ходили по рукам. В «Правде» появился разносный подвал без подписи, где «Путешествие в Армению» называлось «лакейской прозой»²⁵². Это было уже не предупреждение, а подведение итогов. До этого со мной говорил редактор Гослита Чечановский, который «советовал» немедленно в печати отказаться от «Путешествия в Армению», иначе, как он говорил, вы раскаетесь... Все предупреждения в форме угроз и советов были уже сделаны (Гронский, Гусев), но О.М. ими пренебрег. Гибель надвигалась.

Я не помню ничего страшнее зимы 33/34 года в новой и единственной в моей жизни квартире. За стеной — гавайская гитара Кирсанова, по вентиляционным трубам запахи писательских обедов и клопомора, денег нет, есть нечего, а вечером — толпа гостей, из которых половина подослана. Гибель могла прийти в форме быстрого или медленного уничтожения. О.М., человек активный, предпочел быстрое. Он предпочел умереть не от руки писательских организаций, которым принадлежала инициатива его уничтожения, а от карающих органов.

Обычной формы самоубийства О.М. не признавал, как и Анна Андреевна. А на самоубийство толкало все — одиночество, изоляция, время, тогда работавшее против нас. Одиночество — это не отсутствие друзей и приятелей — их всегда вдосталь, а жизнь в обществе, которое не слышит предостережений и продолжает идти с закрытыми глазами по страшному братоубийственному пути, увлекая за собой всех и каждого. О.М. не случайно назвал Анну Андреевну Кассандрой²⁵³. В этом положении были не только поэты. Люди старшего, чем мы, поколения видели, что надвигается, но их голоса потерялись и замерли. Еще до победы «нового» они успели сказать о его этике, идеологии, нетерпимости и об искаженных представлениях о праве. Голос вопиющего в пустыне... И с каждым днем становилось яснее, что говорить с отрубленным языком становится все труднее.

Выбирая род смерти, О.М. использовал замечательное свойство наших руководителей: их безмерное, почти суеверное уважение к поэзии: «Чего ты жалуешься, — говорил он, — поэзию уважают только у нас — за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают...»

О.М. в витрине рассматривал портреты и сказал, что боится только человеческих рук. Жирные пальцы в стихах — несомненный отголосок истории Демьяна; недаром тот испугался и посоветовал Пастернаку не вмешиваться в это дело. Тонкую шею О.М. заметил у Молотова — она торчала из воротничка, увенчанная маленькой головкой. «Как у кота», — сказал О.М., показывая мне портрет. Честь оживления слова «тонкошей» принадлежит Кузину. Он развлекался столкновением трех «е» в среднем роде этого прилагательного: тонкошеее животное...

Первые слушатели этих стихов приходили в ужас и умоляли О.М. забыть их. К тому же самоочевидность этой правды уменьшала для современников ценность стихотворения. В последние годы я замечаю сочувственную реакцию у слушателей. Кое-кто спрашивает меня, каким образом уже в 34 году О.М. все понял — нет ли ошибки в датировке? Это люди, принявшие официальную версию: все шло хорошо до ежовщины, а в сущности, и ежовщина не так плоха, а просто к старости, уже после войны, старик обезумел и наделал бед... Впрочем, эта версия уже отжила срок, и правда постепенно просачивается. Но мы продолжаем идеализировать двадцатые годы, а к ним прихватываем еще и кусочек тридцатых. И это упорно у нас бытует. Старые поколения вымирали, не успев ничего сказать. Нынешние старики, даже побывавшие в лагерях, по-прежнему твердят о своей цветущей молодости, которая оборвалась только с их арестом. Что будут думать наши внуки, если все мы молча уйдем?

Среди современников я зарегистрировала три обособленных мнения о стихах о Сталине. Кузин считал, что О.М. не имел права их писать, потому что О.М. в общем положительно относился к революции. Он обвинял О.М. в непоследовательности: принял революцию, так получай своего вождя и не жалуйся... В этом есть своя дубовая логика. Но я не понимаю, как Кузин, любивший и наизусть знавший стихи и прозу — на старости он об этом забыл и даже написал Морозову, что никогда «Путешествие в Армению» не читал, — не заметил раздвоенности и вечных метаний О.М.

Очевидно, люди с трудом понимают замаскированные или даже слегка прикрытые высказывания. Им нужно, чтобы все

было прямо в лоб. Иногда мне кажется, что О.М. пошел на такое «лобовое» высказывание, потому что устал от глухоты своих слушателей, которые твердили: какие прекрасные стихи, но при чем здесь политика?!²⁵⁴ Почему их не печатают?

Эренбург не признавал стихов о Сталине. Он называл их «стишками», к ужасу милой и вежливой Любы, которая не знает, что другого слова для стихов у нас вообще не существовало. «Послушай стишок, — говорил О.М., — как он? Ничего?»... Илья Григорьевич считает их одноплановыми и любовыми, случайными в творчестве О.М.

Каково бы ни было качество этих стихов, можно ли их считать случайными для поэта, если они принесли ему страшную гибель? Стихи эти были актом, поступком; с моей точки зрения, они логически вытекают из всей жизни и работы О.М. Столь же несомненно, что в них есть элемент своеобразного приспособленчества: Мандельштам, никогда не делавший шага навстречу читателю, совершенно не заботившийся, чтобы быть понятным, считавший каждого слушателя стихов и собеседника равным себе и потому не разжевывавший свои мысли и не упрощавший их, именно эти стихи сделал общедоступными, прямыми, легкими для восприятия. С другой стороны, он позаботился о том, чтобы они не могли служить примитивным средством политической пропаганды, — об этом он даже сказал мне: «Это не мое дело». Иначе говоря, он написал эти стихи в расчете на более широкий, чем обычно, круг читателей, хотя знал, что в момент написания читателей у него быть не могло. Думаю, что он не хотел уйти из жизни, не оставив недвусмысленного высказывания о том, что происходило на наших глазах.

Враждебно относился к этим стихам и Пастернак. Он обрушился на меня — О.М. был уже в Воронеже — с целым градом упреков. Из них я запомнила: «Как мог он написать эти стихи — ведь он еврей!» Этот ход мыслей и сейчас мне непонятен, а тогда я предложила Пастернаку еще раз прочесть ему это стихотворение, чтобы он конкретно показал мне, что в них противопоставлено еврею, но он с ужасом отказался.

Отношение первых слушателей наводило на память рассказ Герцена о разговоре его со Щепкиным, который приехал в Лондон, чтобы просить Герцена прекратить свою

деятельность: ведь молодых людей в России хватают за то, что они читают «Колокол»...²⁵⁵ К счастью, «дела» не подняли и никто не погиб за то, что выслушал стихи О.М. Да и сам Мандельштам отнюдь не политический писатель, и его общественные функции совершенно не похожи на герценовские... Но где, в самом деле, проходит граница? В какой степени следует оберегать и щадить своих сограждан? Когда речь идет о современниках Герцена, я удивляюсь Щепкину: как можно так ограждать людей? Нельзя держать их в ватной коробке... А своих современников мне что-то не хочется ставить под удар — пусть уж лучше мирно живут и приспосабливаются к тяжким временам: даст Бог, все пройдет, а там посмотрим... Жизнь возьмет свое, и все станет на место... Зачем будить спящих, если я верю, что они когда-нибудь сами проснутся. Не знаю, права ли я, но, как и все, я заражена инстинктом бездеятельности, пассивности и покорности...

Мне ясно только одно: стихи О.М. опередили свое время, к моменту их появления почва еще не созрела, идея не была изжита. Еще вербовались сторонники режима и слышались искренние голоса адептов, веривших, что будущее за ними и тысячелетнему царству не будет конца. Остальные — численно их было, может, даже больше, чем адептов, — только перешептывались и вздыхали. Никто не слышал их голосов, потому что в них не нуждались. Строчка «Наши речи за десять шагов не слышны» точно передает ситуацию тех лет²⁵⁶. Ведь эти речи считались не новым, а старым, отжившим, прошлым, которого уже не вернешь...

Адепты верили не только в свое будущее торжество, но и в то, что они несут счастье всему человечеству, и в их мировоззрении были своеобразная целостность и органичность, которые представляли собой величайший соблазн. Уже предыдущая эпоха жаждала этой цельности, возможности из одной идеи вывести все объяснения для мира вещей и людей и привести все в гармонию одним-единственным усилием. Вот почему люди так охотно ослепляли себя и шли за вожаком, запрещая себе сравнивать теорию с практикой и взвешивать последствия своих поступков. Вот почему происходила планомерная потеря чувства реальности, а ведь найти первоначальную теоретическую ошибку можно было, только вновь обретя это чувство. Пройдет

еще немало времени до того дня, когда мы сосчитаем, чего нам стоила эта теоретическая ошибка, и проверим, действительно ли «десяти небес нам стоила земля»²⁵⁷... Заплатив небесами, действительно ли мы обрели землю?

КАПИТУЛЯЦИЯ

У О.М. был долгий период молчания. Он не писал стихов — прозы это не коснулось — больше пяти лет: с 1926-го по 30 год. То же произошло с Ахматовой — и она какое-то время молчала, а у Бориса Леонидовича это длилось добрый десяток лет. «Что-то, должно быть, было в воздухе», — сказала Анна Андреевна, и в воздухе действительно что-то было — не начало ли общего оцепенения, из которого мы и сейчас не можем выйти?..

Можно ли считать случайностью, что трех действующих поэтов постигло временное онемение? Различие в исходных позициях этих троих сущности дела не меняет, и чтобы обрести голос, каждому из них пришлось определить свое место в мире, который создавался на наших глазах, и на собственной судьбе показать, какое место в нем занимает человек.

Первым из троих замолчал О.М. Это случилось, вероятно, потому, что процесс самоопределения протекал у него с наибольшей остротой: отношения с эпохой стали основной движущей силой его жизни и поэзии, а по свойствам его характера — «нрава он не был лилейного»²⁵⁸ — О.М. не сглаживал, а скорее обострял все противоречия и каждый вопрос ставил ребром. Стихи прекратились в середине двадцатых годов. Что же было тогда в воздухе, что О.М. задохнулся и умолк? *²⁵⁹

Если судить по внешним признакам, мы прожили не одну, а несколько эпох. С точки зрения историка, это сорокалетие легко поддается периодизации и в нем различимы несколько этапов, которые могут показаться не только разными, но и противоречивыми, хотя я убеждена, что один логически вытекает из другого. То и дело исчезал верхний слой, изменялся даже физический облик деятеля. Так, мы внезапно заметили, что исчезли «черненькие», сменившиеся «беленькими», которые, в свою очередь, быстро пали. А с этими сменами изменялся весь стиль жизни и управления. Но есть нечто, объединяющее все эти

периоды. Люди, утверждавшие, что двигателем истории является «базис», экономический фактор, всей своей практикой доказали, что история — это развитие и воплощение идеи. Эта идея формировала сознание целых поколений, вербуя сторонников, распространяясь, завоевывая умы, создавая формы государственной и общественной жизни, торжествуя, а затем постепенно изживая себя и сходя на нет.

Вячеслав Иванов при мне — мы навестили его в Баку проездом в Тифлис в 21 году — сказал, что бросил Москву и скрылся в бакинском уединении, потому что «идеи перестали править миром» и он в этом убедился. Какие Дионисовы культы подразумевал под своей идеей Вячеслав Иванов, учитель, мэтр и пророк десятых годов, если он не заметил, что ко времени нашего разговора идея уже успела завоевать огромные пространства и массы людей не только у нас, но и за рубежом? Это идея о том, что существует непреложная научная истина и люди владеют ею; владея истиной, они могут предвидеть будущее и менять по своему усмотрению течение истории, вводя в него благоразумное начало.

Отсюда авторитет владеющих истиной — *prioratus dignitatis*²⁶⁰. Эта религия — адепты скромно называли ее наукой — возводит человека, облеченного авторитетом, на уровень Бога. Она разработала свой символ веры и свою мораль — мы видели ее в действии. В двадцатых годах было немало людей, вспоминаящих, как победило христианство, и пророчивших по аналогии тысячелетнее царство новой религии. Самые совестливые проводили аналогию дальше, перечисляя исторические преступления церкви: ведь не изменила же инквизиция сущности христианства... И всем было ясно преимущество новой идеи, обещавшей рай на земле вместо небесной награды. Но самое существенное — это полный отказ от сомнений и абсолютная вера в добытую наукой истину.

«А что, если это не так, если в будущем на это посмотрят иначе?» — спросила я Авербаха. Речь шла об одной из его литературных оценок. Он сказал: «Говорят, Осип Эмильевич вернулся из Армении и напечатал плохие стихи...» Меня заинтересовал его критерий. Он объяснил: у О. Э. нет классового подхода. И через секунду: никакой вообще культуры и вообще искусства не существует, есть искусство буржуазное и искусство

пролетарское, то же относится к культуре... Ничего вечного нет, а ценности бывают только классовые. Его несколько не смущало то, что свои классовые ценности он считает все-таки вечными. Поскольку победа пролетариата начинает новую эру и будет длиться вечно, те ценности, которые устанавливает Авербах для класса, которому он служит, являются вечными. Он искренне удивился, как я могу сомневаться в его оценках, — ведь он владеет единственным научным методом и поэтому его суждение непререкаемо: осужденное им осуждено в веках.

Я рассказала об этой встрече Мандельштаму — все эти истины я узнала, стоя на площадке трамвая. О.М. восхитился лапидарным величием Авербаха, который действительно верил в свою истину и упивался своеобразным изяществом своих логических построений. Дело происходило в тридцатом году, и О.М. уже мог восхищаться игрой авербаховского ума. К этому времени О.М. успел вернуть себе внутреннюю свободу и обрел голос — двадцатые годы с их ущербностью и сомнениями кончились, поэтому О.М. мог как бы со стороны прислушиваться к «пеньковым речам» и не принимать их близко к сердцу.

Авербах был типичнейшим человеком первого революционного десятилетия. Так думали, рассуждали и говорили все адепты новой религии во всех областях. В их речах чувствовался задор — они любили поучать и ошеломлять. Они взяли на себя свержение кумиров, то есть старых ценностных понятий, а время работало на них, и поэтому никто не замечал, какими топорными орудиями они работают.

Крик «За что боролись?» раздался в самом начале двадцатых годов и сразу умолк. Народ еще не безмолвствовал, а молчал, готовясь жить и благоденствовать. Интеллигенция же на досуге занялась переоценкой ценностей — это был период массовой капитуляции. По существу, она шла по пути, проложенному ниспровергателями дореволюционного периода и их продолжателями типа Авербаха, но, разумеется, старалась избежать крайностей и грубой прямоты передовиков. Во главе движения капитулянтов были тридцатилетние, успевшие побывать на войне. Они вели за собой младших. Вообще в те годы действовали люди тридцати-сорока лет. Старшие, если они уцелели, молча отходили в сторону.

В основе каждой капитуляции лежала предпосылка, что на смену «старому» пришло «новое», а тот, кто держится за «старое», останется на бобах. Это воззрение было подготовлено теорией прогресса, а также историческим детерминизмом новой религии. Капитулянты расшатывали все старые представления хотя бы потому, что они старые и, следовательно, отслужили свой срок. Для огромного числа неофитов никаких ценностей, истин и законов больше не существовало, кроме тех, которые нужны были сейчас и назывались для удобства классовыми. Христианская мораль с легкостью отождествлялась с буржуазной, а вместе с ней — древняя заповедь «не убий». Все казалось фикцией. Свобода? А где вы ее видели?... Никакой свободы нет и не бывало... Искусство, а тем более литература, только и делали, что выполняли заказ своего класса, — из этого прямой вывод: писателю следует с полным сознанием и пониманием дела перейти к новому заказчику... Из обихода исчезло множество слов — честь, совесть и тому подобное. Развенчать эти понятия не так уж трудно, когда открыт рецепт развенчания.

Характерно, что всяким понятием в те годы орудовали в его чистом, то есть абсолютно абстрактном виде, без малейшего учета его социальной, человеческой и земной природы. В таком виде они легко поддавались низложению: ничего нет проще, чем доказать, например, что нигде в мире нет абсолютной свободы печати, а затем заявить, что вместо суррогатов, которыми тешатся жалкие либералы, лучше с мужественной прямоотой добровольно отказаться от всяких потуг на свободу. Эти схемы казались убедительными, потому что незрелые умы не доросли ни до ограничительных понятий, ни до отрицательных определений.

Психологически всех толкал на капитуляцию страх остаться в одиночестве и в стороне от общего движения, да еще потребность в так называемом целостном и органическом мировоззрении, приложимом ко всем сторонам жизни, а также вера в прочность победы и в вечность победителей. Но самое главное — это то, что у самих капитулянтов ничего за душой не было. Эту поразительную пустоту лучше всех, пожалуй, выразил Шкловский в «Zoo», злосчастной книжке, где он слезно просит победителей взять его под опеку²⁶¹. Сами

они себя, что ли, обокрали, или это война и окопы вызвали такую горестную реакцию, но чувство несовершенности и потребность в опеке ощущались с огромной силой. Только тот, кто разделял эти чувства с другими, мог быть признан современным человеком.

«В вопросах литературы они должны спрашивать у нас, а не мы у них», — сказал О.М. в редакции «Прибоя», отказываясь подписаться под коллективной писательской петицией, потому что она основывалась на постановлении ЦК о литературе. Речь шла о защите какого-то критика от нападок Раппа — его обвиняли в том, что он написал рецензию на роман Ляшко, не дочитав его до конца. Писатели писали наверх, прося ЦК распорядиться о прекращении травли. Они ссылались на постановление, предлагающее положить конец литературной борьбе — «распрям», как это тогда называлось, — и дружно принялись за труд, чтобы объединенными усилиями отлично выполнить партийный заказ²⁶².

В редакции, как всегда, толпилось много народу. Они окружили О.М. Мотивировка отказа, как мы заметили, вызвала самое искреннее недоумение. Для присутствовавших слова О.М. были ветошью из сундуков прошлого, признаком несовременности и отсталости. В искренности их недоумения сомневаться не стоит: я помню удивленное лицо Каверина, собиравшего подписи. И ему О.М. показался просто старомодным чудачком, не понимавшим своего времени и его основных тенденций. Когда О.М. и Анне Андреевне было по тридцать с лишним лет, их искренне считали стариками. Но случилось так, что оба они стали постепенно молодеть в сознании людей, а позиции сторонников «нового» безнадежно на глазах обветшали.

Андерсеновский мальчик сказал, что король гол, не рано и не поздно, а как раз вовремя. До него это говорили, наверное, не раз, но никто не услышал этих слов. А вот О.М. многое сказал слишком рано, и это было в ту пору, когда всякое нормальное суждение казалось безнадежно устаревшим и обреченным. Кто не вторил общему хору, попадал на задворки. Общий хор заглушал все, он действительно звучал мощно. Сейчас многие хотели бы соединить двадцатые годы с сегодняшним днем и восстановить добровольное единство, которое создавалось в те дни. Люди, уцелевшие от двадцатых годов,

ходят сейчас среди новых поколений и всеми силами стараются им внушить, что тогда был пережит неслыханный расцвет — наука, литература, театр! — и если бы все шло намеченным тогда путем, мы бы уже взобрались на самые вершины жизни. Остатки Лефа, сотрудники Таирова, Мейерхольда и Вахтангова, студенты и преподаватели Вифли и Зубовского института, профессора, выпущенные Институтом Красной Профессуры, марксисты и отовсюду изгнанные формалисты²⁶³ — все, чье тридцатилетие выпало на двадцатые годы, еще и сейчас призывают вернуться в ту эпоху и снова, уже «не допуская никаких искажений», пойти открывавшейся им оттуда дорогой. Иначе говоря, они не признали себя ответственными за то, что произошло после. Но так ли это? Ведь именно люди двадцатых годов разрушили ценности и нашли формулы, без которых не обойтись и сейчас: молодое государство, невиданный опыт, лес рубят — щепки летят... Каждая казнь оправдывалась тем, что строят мир, где больше не будет насилия, и все жертвы хороши ради неслыханного «нового». Никто не заметил, как цель стала оправдывать средства, а потом, как и полагается в таких случаях, постепенно растаяла. И именно люди двадцатых годов начали аккуратно отделять овец от козлищ, своих от чужих, сторонников «нового» от тех, кто еще не забыл самых примитивных правил общежития.

Победители могли бы удивиться легкости одержанной победы, но они приняли ее как должное, потому что верили в свою правоту: ведь они несли счастье людям... Только требования к капитулянтам постепенно увеличивались. Об этом свидетельствует быстрое исчезновение слова «попутчик». Оно сменилось названием «беспартийный большевик», а потом всех сменил верный сын родины, который пламенно любит народ и беззаветно служит партии и правительству. На этом произошла стабилизация.

Память людей устроена так, что хранит смутный очерк и легенду, а не само событие. Чтобы извлечь факты, надо жестоко расправиться с легендой, а для этого прежде всего определить, в каких кругах она зародилась. Идиллические вздохи о двадцатых годах — результат легенды, созданной тридцатилетними капитулянтами, которые случайно сохранили жизнь, и их младшими братьями. А на самом деле двадцатые годы —

это период, когда были сделаны все заготовки для нашего будущего: казуистическая диалектика, развенчивание ценностей, воля к единомыслию и подчинению. Самые сильные из развенчивателей сложили головы, но до этого они успели взрыхлить почву для будущего. В двадцатые годы наши карающие органы еще набирались сил, но они уже действовали. Тридцатилетние настойчиво проповедовали свою веру. Уговаривая, а потом страшая, они повели за собой целые толпы в следующую эпоху, где отдельных голосов уже не было слышно.

У нас нет и не может быть института по изучению общественного мнения, а именно оно-то и является показателем тех брожений, которые складываются в психологические процессы. Функции таких институтов частично выполнялись карательными органами. В двадцатые годы они даже слегка зондировали общественные круги — что там думают? — и для этой роли существовали специальные кадры осведомителей. Затем решили, что общественное мнение совпадает с государственным, и роль осведомителей свелась к регистрации фактов расхождения, из которых планомерно делали административные выводы. После тридцать седьмого года зондирование окончательно потеряло значение из-за массовости «профилактических» мер, общественное же мнение подверглось полной национализации.

А в двадцатые годы мы еще играли с огнем и ничего не понимали. Едва О.М. успел сказать: «Чего тебе еще? Не тронут, не убьют»²⁶⁴, как появилась первая ласточка будущего. В Царское Село к нам приехал розовенький Всеволод Рождественский. Он явился предупредить О.М., что следователь — Рождественский только что вышел после небольшой отсидки — очень интересовался О.М. Сказать, о чем его допрашивали относительно Мандельштама, Рождественский отказался наотрез: «Я дал слово, а меня с детства приучили свое слово держать...» О.М. выгнал этого паиньку, а потом мы сообразили, что его попросту прислали припугнуть О.М. и напомнить ему о всевидящем оке. А впоследствии это делалось неоднократно.

В «Разговоре о Данте» О.М. не забыл упомянуть о диффузии — взаимопроникновении тюрьмы и внешнего мира — и о том, что правителям полезно, чтобы управляемые запугивали друг друга страшными тюремными рассказами. Всеволод

Рождественский аккуратно выполнил свое задание, но почему-то забыл написать об этом в своих мемуарах. Зато он заставил Мандельштама рассуждать о поэзии в условном парнасско-акмеистическом жанре, приписав ему мысли и поучения, которые полагалось бы изрекать эстету, выдуманному советской критикой²⁶⁵. Мандельштаму будут приписывать еще много дурацких разговоров. Лучший критерий подлинности этих разговоров — те статьи, которые им написаны. Многие статьи О.М. — это его живой голос в споре и разговоре. Он был не по плечу своим современникам, и они в своих мемуарах искажали его мысли, вольно или невольно. Особенно трудно понимали его те, кто веруя прожил двадцатые годы, когда завязывались все узлы, а люди воздействовали друг на друга, проповедуя новую религию, разрушая ценности и расчищая дорогу будущему.

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

О.М. не верил в тысячелетнее царство нового и к революции пришел не с пустыми руками. Груз у него был тяжелый. Это, с одной стороны, христианско-иудейская, как сказали его неведомые друзья²⁶⁶, культура, а с другой — революция с большой буквы, вера в ее спасительную и обновляющую силу, социальная справедливость, четвертое сословие и Герцен. При мне О.М. Герцена уже не читал, но, несомненно, это одно из формообразующих влияний его жизни. Следы активного чтения Герцена разбросаны повсюду — и в «Шуме времени», и в страхе перед птичьим языком²⁶⁷, и в львенке, который поднимает огненную лапу и жалуется равнодушной толпе на занозу²⁶⁸ — эта заноза станет щучьей косточкой, застрявшей в «ундервуде»²⁶⁹, — и в переводах Барбье²⁷⁰, и в понимании роли искусства.

«Поэзия — это власть», — сказал он в Воронеже Анне Андреевне²⁷¹, и она склонила длинную шею. Ссылные, больные, нищие, затравленные, они не желали отказываться от своей власти... О.М. держал себя как власть имущий, и это только подстрекало тех, кто его уничтожал. Ведь они-то понимали, что власть — это пушки, карательные учреждения, возможность по талонам распределять все, включая славу, и заказывать художникам свои портреты. Но О.М. упорно твердил свое — раз

за поэзию убивают, значит, ей воздают должный почет и уважение, значит, ее боятся, значит, она — власть...

Худшего груза, чем у О.М., представить себе нельзя. Можно было заранее предсказать, что он обречен и в этом мире места себе не найдет. Искать оправдания становящемуся во имя Герцена — задача невыполнимая. Вместо оправдания неизбежно напрашивалось обвинение. Но Герцен оставляет за собой право на уход и гордое одиночество — *omnia mea mesum porto*²⁷² — а О.М. этого права не принял. Для него путь лежит не от людей, а к людям: он чувствовал себя не человеком, стоящим над толпой, а одним из толпы. Всякое обособление было для него запретным, и в этом, вероятно, его христианско-иудейская культура. Многие из моих современников, принявших революцию, пережили тяжелый психологический конфликт. Жизнь их проходила между реальностью, подлежащей осуждению, и принципом, требующим оправдания существующего. Они то закрывали глаза на действительность, чтобы беспрепятственно подбирать для нее оправдание, то, снова открыв их, познавали существующее. Многие из них всю жизнь ждали революцию, но, увидев ее будни, испугались и отвернулись. А были и другие — они боялись собственного испуга: еще проморгаешь, из-за деревьев не увидишь леса...

Среди них находился и О.М. Не заметив в нем революционности, его дальние друзья упростили его жизнь, лишили содержания то, что было одной из ведущих линий его мысли²⁷³. При отсутствии революционности ему не приходилось бы вникать в ход событий и применять к нему ценностный критерий. Полное отрицание давало силу жить и лавировать. Этого Мандельштам был лишен: он прожил жизнь людей своего времени и довел ее до логической развязки.

Из стихов двадцатых годов видно, что О.М. не усумнился, что с победой революции наступит новая эра: «Хрупкое летосчисление нашей эры подходит к концу...»²⁷⁴ От старого остался только звук, хотя «причина звука исчезла»; и наконец, век-зверь с перебитым позвоночником, глядящий на следы своих лап...²⁷⁵ Во всех этих стихах скрыто или прямо дается оценка собственного положения в новой жизни: известь в крови, больной сын века... Сюда же относится двурушник из «Грифельной оды» — «двурушник я с двойной душой...»²⁷⁶. Эти признания

разбросаны по всем стихам, вырываются как бы нехотя, полны недомолвок, заключены в самый неожиданный контекст, как, например: «Усыхающий довесок Прежде вынутых хлебов...»²⁷⁷ О.М. никогда не облегчал читателю путь к своим стихам и с аудиторией не заигрывал — чтобы его понять, надо его знать...

В стихах этого периода есть предсказание будущей немоты: «Человеческие губы хранят форму последнего сказанного слова...» Этой строчкой он, в сущности, дал повод говорить, что «перепевает самого себя»... Но изобретатели этой формулы — Брик, Тарасенков — в стихи не вдумывались и рубили сплеча²⁷⁸. В борьбе у них все средства были хороши. В доме у Брика, где собирались литераторы и сотрудники Брика по службе вплоть до Агранова — они там зондировали общественное мнение и заполняли первые досье, — О.М. и Ахматова уже в 22 году получили кличку «внутренние эмигранты». Это сыграло большую роль в их судьбе, а Брик едва ли не первый начал употреблять нелитературные средства в литературной борьбе. И все же я хочу отметить разницу между Бриком и другими изничтожителями типа Тарасенкова. О.М. называл Тарасенкова «падшим ангелом». Это был хорошенький юнец, жадный читатель стихов, с ходу взявшийся исполнять «социальный заказ» на уничтожение поэзии и тщательно коллекционировавший в рукописях все стихи, печатанью которых он так энергично препятствовал. Этим он отличался от Лелевича, например, который кипел ненавистью к поэзии, потому что она была, по его мнению, «буржуазной»²⁷⁹.

Положение Брика совсем иное. Умный человек, он с первых дней сообразил, что каким-то литературным течениям будет выдан государственный патент, и именно за этот патент он боролся с бесконечным количеством конкурентов. Борьба велась лихая, и одно время казалось, что он победит. Вокруг него группировалось много сторонников, молодежь он очаровывал с ходу. В партийных кругах у него были мощные покровители, особенно среди эстетствующих чекистов. Лавировал он энергично и на свой страх и риск, но победил появившийся позже Авербах со своим Раппом. Этот взял писаревщиной, с детства любезной средним интеллигентам. С падением Раппа кончилась всякая тень литературной борьбы²⁸⁰. Многочисленные группировки, оспаривавшие друг у друга литературный патент, действовали исключительно средствами политическими. Брик,

сметая Ахматову и Мандельштама, не имел в виду политического доноса: он был заинтересован лишь в том, чтобы отнять у них молодых читателей, ярких сторонников «нового», и на долгое время он действительно добился своего: О.М. и Ахматова оказались в изоляции. Последние могикане лэфовского толка, которым сейчас уже за шестьдесят лет, продолжают прославлять двадцатые годы и удивляться новым читателям, ушедшим из-под их влияния.

Двадцатые годы, может, самое трудное время в жизни О.М. Никогда ни раньше, ни впоследствии, хотя жизнь потом стала гораздо страшнее, О.М. с такой горечью не говорил о своем положении в мире. В ранних стихах, полных юношеской тоски и томления, его никогда не покидало предвкушение будущей победы и сознание собственной силы: «чую размах крыла», а в двадцатые годы он твердил о болезни, недостаточности, в конце концов — неполноценности. Этот период закончился тем, что он почти спугал себя с Парноком²⁸¹, чуть не превратил его в своего двойника. Из стихов видно, в чем он видел свою недостаточность и болезнь: так воспринимались первые сомнения в революции: «Кого еще убьешь, кого еще прославишь, Какую выдумаешь ложь?..» Двuruшник — это тот, кто пробует соединить «двух столетий позвонки» и не решается приступить к переоценке ценностей.

А к переоценке ценностей О.М. подошел очень осторожно, хотя все же отдал ей дань. Прежде всего, он захотел определить свои отношения с «миром державным». Об этом он писал в «Шуме времени», «Египетской марке» и в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан». Это стихотворение, хотя и написано в тридцатых годах, принадлежит по мысли и чувствам к двадцатым. Связь свою с «державным миром» О.М. назвал ребяческой, но на его счет записывает многое — даже обиды, нанесенные мальчишке тогдашними красавицами — «нежными европейками»... Самую тяжелую форму переоценка приняла в трех-четыре литературных статьях, печатавшихся в «Русском искусстве», «России» и киевской вечерней газете²⁸² — в 26 году центральные газеты и журналы уже наглухо закрылись для О.М., а в провинции «проскочило»... В этих статьях чувствуется желание во что бы то ни стало говорить и делается робкая попытка войти в жизнь, что-то

признав и одобрив и от чего-то отказавшись. О.М. даже пробовал найти оправдание кое-кому из современных ему прозаиков, так называемых «попутчиков», хотя не мог не понимать, что ему с ними не по пути. В двух статьях в «Русском искусстве» есть выпады против Ахматовой²⁸³ — это тоже дань времени. За год до выступления в «Русском искусстве» О.М. напечатал статью в харьковской газете, где выводил генезис Ахматовой из русской прозы²⁸⁴, а еще раньше в неопубликованной рецензии на «Альманах муз» писал, что «эта одетая убого, но видом величавая жена» будет гордостью России²⁸⁵. В 37 году в ответ на вопрос воронежских писателей — его вынудили сделать доклад об акмеизме и ждали «разоблачений» — он сказал об Ахматовой и Гумилеве: «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых»²⁸⁶. Нечто подобное он ответил и ленинградским писателям на своем вечере в Доме печати²⁸⁷. Иначе говоря, он всегда сознавал свою связь именно с этими поэтами, особенно с Ахматовой, а попытка отречения 22 года вызвана улюлюканьем по поводу акмеизма, криками о несовременности, буржуазности и прочем...²⁸⁸ О.М. очутился «один на всех путях»²⁸⁹ и не выдержал. Он действительно растерялся: идти против всех и против своего времени не так просто. В известной степени каждый из нас, стоя на перепутье, испытывал искушение ринуться вслед за всеми, соединиться с толпой, знающей, куда она идет. Власть «общего мнения» огромна, противиться ей гораздо труднее, чем думают, и на каждого из людей время кладет свой отпечаток. Время работало на то, чтобы разлучить О.М. с единственным возможным для него союзником — Ахматовой. Однако стоять вдвоем против всех ничуть не легче, чем одному, и он попытался отрезать себе дорогу к ней, но быстро опомнился. Уже в 27 году, собирая книгу статей, одну из статей, напечатанных в «Русском искусстве», он выбросил, из другой снял выпад против Ахматовой. Отказался он и от статей в киевской газете и в «России», назвав их в предисловии к своему сборнику «случайными». Период, когда писались эти статьи, он считал худшим в своей жизни. Расправляясь так с упадническим периодом 22–26 гг., О.М. не заметил, что и там было много здравого и исконно принадлежащего ему — это относится главным образом к его попытке бороться с общим окостенением, а это есть в целом ряде статей.

Характернее всего для периода переоценки ценностей было, пожалуй, отношение О.М. к его собственной статье на смерть Скрябина. В ней он изложил свои взгляды на христианское искусство, то есть свое подлинное кредо. Именно в этой статье он говорит, что смерть художника не конец, а последний творческий акт. Поскольку он сам выбрал себе смерть с «гурьбой и гуртом», это были не пустые слова.

Статья эта нигде не печаталась. О.М. прочел ее в виде доклада в каком-то петербургском обществе — не религиозно-философском ли? Заседания происходили в чем-то особняке, и однажды туда явился известный авантюрист, корнет Савин, поставил на лестничной площадке столик, собрал входную плату, а потом выступил в прениях и рассказал о русском чорте, который отличается от прочих дьяволов хитростью, практической сметкой и остроумием... Заседания этого общества О.М. изредка посещал и, видимо, был связан с одним из его организаторов — Каблуковым. Этот старик был очень внимателен к О.М., тогда еще начинающему поэту. Недавно мне продали «Камень», принадлежавший Каблукову, куда Каблуков клеивал переписанные его рукой стихи, варианты и автографы О.М.²⁹⁰ Он же забрал у О.М. рукопись доклада о Скрябине. Когда мы были на Кавказе в 1921 году, Каблуков умер и его архив передали в ЛПБ²⁹¹. О.М. горько жаловался, что статья о Скрябине пропала: «Это самое главное из написанного... потеряно... мне не везет...» В двадцатых годах я нашла разрозненные листки черновика в сундуке у отца О.М. Он очень обрадовался, но отношение к этой статье у него было двойственное: просил сохранить, но в период «переоценки» у него появилось искушение подвергнуть свои высказывания пересмотру. В черновиках «Египетской марки» сохранились насмешки над Парноком, который собирался прочесть доклад «в салоне мадам Переплетник»... Это явный намек на скрябинский доклад²⁹². В готовом тексте оставлено только обещание вывести Парнока из «парадных анфилад музыки и истории» — разночинцу там нечего делать, нельзя ходить в «не по чину барственной шубе»²⁹³... Тема разночинца и парадного Петербурга возвращается постоянно. Вероятно, он не раз в юности наталкивался на разных петербургских павлинов и вспомнил, что он к ним не принадлежит. В частности, он успел прочесть рассказ Маковского о приходе его матери

в «Аполлон», и это его очень огорчило²⁹⁴. Маковский изобразил мать О.М. какой-то глупой еврейской торговкой. Это ему понадобилось, очевидно, для того же журналистского контраста: гениальный мальчик из хамской семьи. Между тем мать О.М., учительница музыки, привившая сыну любовь к классической музыке, была абсолютно культурной женщиной, сумевшей дать образование детям и совершенно неспособной на дикие разговоры, которые ей приписал Маковский²⁹⁵. Вот один из образцов пренебрежительно-барского отношения, которое толкнуло О.М. на утверждение своего «разночинства». О.М. определил свое отношение к «державному миру» и возвел родословную свою и Парнока к разночинцам в «Египетской марке». Нечто подобное есть и в «Разговоре о Данте» — неуклюжий и смущающийся Дант, которого на каждом шагу одергивает, предотвращая неловкость, сладчайший падре — Вергилий... Но здесь это счеты уже не со старым миром: ведь на наших глазах возник новый державный мир, по сравнению с которым старый показался бы жалким дилетантом. Первичная переоценка помогла О.М. определить свое место и в нем: он снова, на этот раз в стихах, предъявил заявку на вакансию разночинца: «Для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?»²⁹⁶ А что оставалось у советского разночинца, кроме горсточки иудейско-христианской культуры? О.М. сохранил ее вместе с листочками скрябинской статьи. Зато другого разночинца, брата Парнока — Александра Герцовича — он лишил права на музыку: «Все, Александр Герцович, Заверчено давно, Брось, Александр Сердцевич, Чего там! все равно...»²⁹⁷

Попытки договориться с эпохой оказались бесплодными. Она требовала несравненно большего от капитулянтов. А к тому же О.М. вел разговор с революцией, а не с поднимающимся «новым», не с державным миром особого типа, в котором мы внезапно очутились. Объяснения О.М. не имели адресата в нашей действительности. Хор адептов новой религии и государственности, пользовавшийся в своих массах терминологией революции, знать не желал нового разночинца с его сомнениями и метаниями. Для адептов и попутчиков все уже было ясно. «Весь вопрос в том, кому достанется пирог», — сказал В.И. «Правда по-гречески значит “мрия”», — хохотал Катаев²⁹⁸. «Иначе у нас не бывает», «Надо понимать, где живешь»,

«Чего еще захотели!» — слышалось со всех сторон, а О.М. продолжал связывать всех их с четвертым сословием: «Ужели я предам позорному злословью... Присягу чудную четвертому сословию?...»²⁹⁹ А может, испуганный разгулом адептов, он декларировал этими стихами свою верность тому, что они уже предали? Ведь недаром именно о них выбраны для перевода стихи Барбье «Собачья свора»: «...Когтями мясо рвут, хрустит в зубах щетина — Отдельный нужен всем кусок... То право конуры, закон собачьей чести: Тащи домой наверняка, Где ждет ревнивая, с оттянутою шерстью Гордьячка-сука муженька, Чтоб он ей показал, как должно семьянину, Дымящуюся кость в зубах И крикнул: “Это власть! — бросая мертвечину. — Вот наша часть в великих днях...”» Стихотворение Барбье переведено в 23 году, а в 33-м снова возникает тема «семьянина» в стихах о квартире: «Какой-нибудь честный предатель, Проваренный в чистках, как соль, *Жены и детей содержатель*, Такую ухлопает моль...»³⁰⁰ Стихи Барбье переводились летом, а зимой того же года появилась клятва четвертому сословию. Мне кажется, ее не случайно так холодно приняли те, от кого зависело распределение благ³⁰¹.

Не потому ли прекратились стихи, что в этих метаниях О.М. утратил чувство правоты? Работая над прозой, О.М. определял свое место в жизни, утверждал позицию, находил то, на чем стоит: «Здесь я стою, я не могу иначе...»³⁰² Стихи приходили, когда появлялась уверенность в своей правоте и в правильности избранной позиции: «В нем лились и переливались Волны внутренней правоты...»³⁰³ Уже в одной из своих первых статей — «О собеседнике» — О.М. писал про «драгоценное сознание поэтической правоты»; очевидно, именно это сознание было для О.М. предпосылкой и условием работы, иначе он не мог бы так смело назвать его в самом начале своей деятельности: ведь ему было двадцать два года, когда писалась эта статья. Принимая действительность, О.М. не мог не осуждать своих сомнений; прислушиваясь к общему хору сторонников «нового», он не мог не удивляться своей одинокой позиции; подвергаясь осуждению символистов, лефовцев, Раппа и всех других группировок, безоговорочно поддерживавших существующее, он не мог не чувствовать себя «усыхающим довеском прежде вынутых хлебов»³⁰⁴.

Сознание правоты несовместимо со всеми этими ущербными чувствами. Правда, всегда были читатели, которые горой стояли за него и клялись его именем, но О.М. как-то невольно отталкивался от них. Почему-то в нем росло недовольство своими читателями. Мне кажется, что их он тоже причислял к «усыхающим довескам» и верил, что где-то есть настоящие новые люди. В двадцатые годы он еще не замечал, как эти «новые люди», такие бойкие с виду и громкоголосые, подвергаются классической метаморфозе — одеревенению, столь естественному при утрате того, что делает человека человеком, то есть ценностных понятий.

Освобождение пришло через прозу, на этот раз «Четвертую». Название это домашнее — она четвертая по счету, включая статьи, а цифра привилась по ассоциации с сословием, о котором он думал, и с Римом — ведь наш-то Рим тоже был четвертым. Именно эта проза расчистила путь стихам, определила место О.М. в действительности и вернула чувство правоты. В «Четвертой прозе» О.М. назвал нашу землю кровавой, проклял казенную литературу, сорвал с себя литературную шубу и снова протянул руку разночинцу — «старейшему комсомольцу — Акакию Акакиевичу»... В какую-то опасную минуту мы уничтожили первую главу, где говорилось о нашем социализме.

Корни «Четвертой прозы» — биографические. Уленшпигелевское дело с его отрезками³⁰⁵ — оно заглохло бы гораздо раньше, но О.М. отчаянно раздувал его — заставило О.М. открыть глаза на действительность. Дух в советских учреждениях, как правильно сказал Николай Иванович, действительно напоминал о хорошей помойной яме. В период «дела» у нас было ощущение, что перед нами прокручивают фильм о литературе на службе у «нового», о чиновничестве, о неслыханном аппарате — нам пришлось поговорить даже со Шкирятовым о газетной канцелярии с ее заславскими³⁰⁶, о «комсомольской вольнице», в газете которой О.М. прослужил около года³⁰⁷, порвав с писательскими организациями, и так далее... Почти два года, истраченные на распрю, окупались во сто крат: «больной сын века» вдруг понял, что он-то и был здоровым. Когда вернулись стихи, в них уже и в помине не было темы «усыхающего довеска». Это был голос отщепенца, знающего, почему он

один, и дорожащего своей изоляцией. О.М. возмужал и стал «очевидцем».

Ущербность исчезла, как сон. В первый период уничтожения Мандельштама, вплоть до мая 34 года, применялись методы внеполитические и внелитературные. Это была, так сказать, писательская самодеятельность, поддержанная «сверху». «Они ничего не могут поделывать со мной как с поэтом, — говорил О.М., — они кусают меня за переводческую ляжку...» Может, именно эта «игра на снижение» помогла ему выпрямиться. Странно, но понимание действительности и в его случае пришло на личном опыте. Грубее говоря, советские люди дорожили своей слепотой и реальность соглашались познавать только на собственной шкуре. Массовые кампании — раскулачиванье, ежовщина, послевоенные предприятия — способствовали расширению круга прозревших. О.М. был из рано прозревших, но далеко не из первых.

О.М. всегда знал, что его понятия идут вразрез с временем, «против шерсти мира»³⁰⁸, но после «Четвертой прозы» это его уже не страшило. В «Разговоре о Данте» и «Канцоне» он не случайно заговорил об особом виде зрения — хищных птиц и мертвецов из Дантовой «Комедии»: они не различают предметов вблизи, но способны видеть на огромном радиусе, будучи слепы к настоящему, они способны прозревать будущее³⁰⁹. Проза, как и всегда, дополняет и проливает свет на стихи.

Стихи вернулись на обратном пути из Армении, когда мы задержались в Тифлисе. Фильм продолжал раскручиваться: на наших глазах погиб Ломинадзе. Этот человек в последние свои дни проявил настоящее доброжелательство к О.М. Он получил телеграмму ЦК от Гусева с распоряжением помочь О.М. устроиться в Тифлисе и очень хотел это сделать, но тут его вызвали в Москву, откуда он уже не вернулся, а все газеты запестрели проклятиями враждебной группировке Ломинадзе и Сырцова³¹⁰. Такова судьба: каждый, с кем О.М. мог говорить, неизбежно погибал. Это значило, что разночинцу новой формации нет места в новом державном мире. Между прочим, как только грянула трагедия Ломинадзе, у которого О.М. три-четыре раза был на приеме в обкоме, мы заметили, что за нами, куда бы мы ни шли, увязывается шпик. Вероятно, местные органы решили на всякий случай проследить за непонятным

посетителем опального вельможи. Тут-то мы поняли, что в Тифлисе нам делать нечего, и поспешно удрали в Москву. Когда мы рассказали Гусеву, направившему О.М. к Ломинадзе, о слежке и шпиках, он выслушал нас с каменным лицом. Такие каменные лица умели делать только советские чиновники. Оно означало: откуда я знаю, как вы попали к врагу народа и какие основания были у грузинских товарищей для слежки... Ведь уже и тогда ничего не стоило пришить случайного человека к чужому делу, поэтому Гусев и надел каменную маску. Так же поступил бы и Молотов, который по просьбе Бухарина поручил Гусеву организовать нашу поездку в Сухум и в Армению, а затем проследить за дальнейшим устройством О.М. Всюду, куда бы мы ни ездили, Гусев обращался к местным секретарям ЦК с просьбой о содействии и устройстве. Он обратился к человеку, которому суждено было тут же погибнуть*³¹¹. Это могло погубить и О.М., но обошлось без последствий. Дела, так сказать, не подняли, а могли поднять. Значит, нам повезло. А тогда мы этого еще не понимали и смеялись над каменной маской Гусева. На эпизоде с Ломинадзе опека Гусева над О.М. кончилась, но я не могу сказать, что в руках осталась лепешка глины, — в Армении ведь к нему вернулись стихи и начался новый период жизни.

ТРУД

Я впервые поняла, как возникают стихи, в тридцатом году. До этого я только знала, что совершилось чудо: чего-то не было и что-то появилось. Вначале — с 19-го по 26 год — я даже не догадывалась, что О.М. работает, и все удивлялась, почему он стал таким напряженным, сосредоточенным, отмахивается от болтовни и убегает на улицу, во двор, на бульвар... Потом сообразила, в чем дело, но еще ни во что не вникала. Когда кончился период молчания, то есть с тридцатого года, я стала невольной свидетельницей его труда.

Особенно ясно все мне представилось в Воронеже. Жизнь в наемной комнате, то есть в конуре, берлоге или спальном мешке — как это назвать? — с глазу на глаз, без посторонних свидетелей, безнадежно беспочвенная и упрощенная,

привела к тому, что я всмотрелась во все детали «сладкогласного труда». Сочиняя стихи, О.М. никогда не прятался от людей. Он говорил, что если работа уже на ходу, ничто больше помешать не может. Василиса Георгиевна Шкловская, с которой он очень дружил, рассказывает, что в 21 году, когда они жили рядом в Доме искусств на Мойке, О.М. часто забредал к ней погреться у железной печурки. Иногда он ложился на диван и закрывал ухо подушкой, чтобы не слышать разговоров в перенаселенной комнате. Это он сочинял стихи и, стосковавшись у себя, забирался к Василисе... А стихи об ангеле Мэри³¹² появились в Зоологическом музее, куда мы зашли к хранителю Кузину, чтобы распить с ним и его друзьями грузинскую бутылочку, тайком принесенную вместе с закуской в чьем-то ученом портфеле. Мы сидели за столом, а О.М., нарушая обряд винопития, бегал по огромному кабинету. Стихи, как всегда, сочинялись в голове. В музее же я их записала под его диктовку. Вообще, женившись, он ужасно разленился и все норовил не записывать самому, а диктовать.

А в Воронеже открытость его труда дошла до предела. Ведь ни в одной из комнат, которые мы снимали, не было ни коридора, ни кухни, куда он мог бы выйти, если захотел остаться один. И в Москве мы не Бог знает как жили, вернее, Бог знает как, но там все же было куда мне забежать на часок, чтобы оставить его одного. А тут уйти было некуда — только на улицу мерзнуть, а зимы, как на зло, стояли суровые. И вот, когда стихи доходили до восковой зрелости, я, жалея бедного, загнанного в клетку зверя, делала что могла: прикорнув на кровати, притворялась спящей. Заметив это, О.М. уговаривал меня иногда «поспать» или хоть лечь к нему спиной.

В последний год в Воронеже, в домике «без крыльца», изоляция дошла до предела. Жизнь наша протекала между нашей берлогой и телефонной станцией в двух шагах от дома, откуда мы звонили моему брату. Два человека — Вишневский и Шкловский — передавали ему в ту зиму по сто рублей в месяц, и он посылал их нам. Сами они посылать боялись. В нашей жизни все было страшно. Эти деньги шли на оплату комнаты — она стоила ровно двести в месяц. Зарботки прекратились — ни в Москве, ни в Воронеже нас обоих ни

к какой работе не допускали — бдительность. Знакомые на улице отворачивались или глядели на нас, не узнавая. Это тоже обычное у нас проявление бдительности. Одни только актеры позволяли себе отступление от общих правил — они улыбались и подходили к нам даже на главной улице. Это объясняется, пожалуй, тем, что театры подвергались у нас меньшему разгрому, чем другие учреждения.

Домой к нам заходили только Наташа Штемпель и Федя, но оба работали и с трудом выкраивали минутку. Наташа рассказывает: мать³¹³ предупредила ее — знаешь, что́ может быть от этих встреч... Наташа стала скрывать свои посещения, но мать сказала: зачем скрываешь? Я знаю, куда ты ходишь. Мне дело предупредить, а твое решать. Зови их к нам... С тех пор мы часто заходили к Наташе, и мать старалась выставить на стол все, что у нее было. С мужем своим, предводителем дворянства, она давно развелась и учительствовала сначала в городском училище, а потом в начальной школе, чтобы прокормить двоих детей. Скромница, умница, веселая и легкая Марья Ивановна — единственный человек в Воронеже, открывший нам свой дом. Все остальные двери были плотно закрыты, заперты на двойные замки: мы были париями, неприкасаемыми социалистического общества.

Все предвещало близкий конец, и О.М. старался использовать последние дни. Им владело одно чувство: надо торопиться, не то оборвут и не дадут чего-то досказать. Иногда я умоляла его отдохнуть, выйти погулять, поспать, но он только отмахивался: нельзя, времени в обрез, надо торопиться...

Стихи шли сплошной массой, одно за другим. В работе одновременно находилось по несколько вещей. Он часто просил меня записать — и это была первая запись по два-три стихотворения сразу, которые он в уме довел до конца. Остановить его я не могла: «Пойми, иначе я не успею...»

Конечно, это было трезвое ощущение приближающейся гибели, но мне она еще не представлялась с такой ясностью, как ему. Прямо он мне ничего не говорил, но в письмах в Москву, куда я в эту зиму раза два ездила добывать деньги, он иногда как будто затрагивал вопрос о том, что нас ждет, но тут же сам себя обрывал и делал вид, будто речь идет об очередных трудностях. Может, он действительно гнал от себя эту мысль,

но, скорее всего, щадил меня и старался не омрачать последних дней совместной жизни.

И весь этот год он спешил. Торопился. Очень торопился. Одышка от этой спешки становилась все мучительнее: прерывистое дыхание, перебои пульса, посиневшие губы. Припадки чаще всего происходили на улице. В последний воронежский год он уже не мог выходить один. И дома бывал спокоен только при мне. Так мы сидели друг против друга: я молча смотрела на шевелящиеся губы, а он наверстывал потерянное время и спешил сказать свои последние слова.

Записав очередные стихи, О.М. подсчитывал строчки и сообщал, сколько он получит по высшей ставке — на меньшее он не соглашался. Лишь изредка, когда стихи уж очень ему не нравились, он предлагал пустить их по «второму сорту», то есть подешевле, как делал Сологуб, у которого стихи были разложены по сортам с соответственно различными ценами. Подсчитав доходы за день, мы шли раздобывать у актеров, наборщиков, а изредка у профессоров — один из них был приятелем Наташи³¹⁴, другой литературоведом³¹⁵ — на пачку чаю, кусок запрещенного хлеба и яичницу на обед. С нашими давальщиками мы обычно сговаривались о встрече на боковой безлюдной улице, где, соблюдая полную конспирацию, неторопливо проходили друг мимо друга, успев на ходу взять конверт с подаянием.

К наборщикам мы забегали в типографию, когда накануне ни с кем не удавалось сговориться о встрече. С ними О.М. познакомился летом 35 года, когда мы жили у мышебойца в доме рядом с типографией и редакцией газеты. Он забегал к ним в поисках слушателей своих свежесочиненных стихов, особенно если стихотворение заканчивалось ночью, когда только они и бодрствовали. Наборщики встречали его радостно, но иногда молодые огорошивали оценками прямо по «Литературной газете», зато старшие на них шикали. В период бедствий старики молча выслушивали стихи, задерживали О.М. на несколько минут разговором о том о сем, пока кто-нибудь из них не сбегает в магазин, а затем совали ему в руку пакетик с едой. Получали они гроши и, наверное, сами еле сводили концы с концами, но считали, что «нельзя оставлять товарища в беде... такое время...».

По дороге мы заходили на почту и отправляли стихи в редакции московских журналов. Ответ пришел только один раз — на «Неизвестного солдата». Редакция «Знамени» сообщила, что войны бывают справедливые и несправедливые и что пацифизм сам по себе не достоин одобрения. Но жизнь была такова, что даже этот казенный ответ показался нам благой вестью: все же кто-то откликнулся и разговаривает!

Стихи о тени, которая бродит среди людей, «греясь их вином и небом», пошли в виде исключения не в Москву, а в Ленинград, вероятно в «Звезду». Среди нынешних бродячих списков я нахожу иногда потерянные стихи и варианты, восходящие к этим посылкам в редакции. Сотрудники выкрадывали листочки с запретными стихами, и они распространялись среди читателей.

Журналист Казарновский, находившийся с О.М. в пересыльном лагере, говорил, что О.М. обвиняли в распространении стихов по редакциям журналов. Стихи при этом назывались каким-то громоподобным словом. Не все ли равно, в чем его обвиняли? Дело об уничтожении О.М. занимает два листочка — я видела эту папку в прокуратуре, когда мне объявили о реабилитации по второму, так называемому «повторному» делу, и мне хотелось бы прочесть, что там написано, а еще больше опубликовать все без всяких изменений и комментариев³¹⁶.

ТОПОТ И ШЕПОТ

Это было в 32 году. Я переулками возвращалась домой из ЗКП, то есть из редакции журнала «За коммунистическое просвещение», находившейся на Никитской улице. Жили мы тогда на Тверском бульваре. Внезапно я увидела О.М. Он сидел на крыльце какого-то замызганного особняка и так повернул голову, что подбородком почти касался плеча. Правой рукой он вертел палку, а левой для устойчивости упирался о каменную ступеньку. Он сразу заметил меня, вскочил, и мы пошли вместе.

Сочиняя стихи, О.М. всегда испытывал потребность в движении. Он ходил по комнате — к сожалению, мы всегда жили в таких конурах, что разгуляться было негде; постоянно выбегал во двор, в сад, на бульвар, бродил по улицам. В день,

когда я увидела его на крыльце, он, устав бродить, присел попросту отдохнуть. Работал он тогда над второй частью «Стихов о русской поэзии».

Стихи и движение, стихи и ходьба для О.М. взаимосвязаны. В «Разговоре о Данте» он спрашивает, сколько подошв износил Алигьери, когда писал свою «Комедию». Представление о поэзии-ходьбе повторилось в стихах о Тифлисе, который запомнил «стертое величье» подметок пришлого поэта. Это не только тема нищеты — подметки, конечно, всегда были стертые, — но и поэзии.

Только дважды в жизни я видела, как О.М. сочиняет стихи, не двигаясь. В Киеве у моих родителей, где мы гостили на Рождество 23 года, он несколько дней неподвижно просидел у железной печки, изредка подзывая то меня, то мою сестру Аню, чтобы записать строчки «1-го января 1924». И еще в Воронеже он прилег днем отдохнуть — в тот период он был ужас как утомлен работой. Но в голове шумели стихи, и отвязаться от них не удалось. Так появились стихи о певице с низким голосом в конце «Второй воронежской тетради». Незадолго до этого он слушал по радио Мариан Андерсон, а накануне посетил другую певицу — высланную из Ленинграда.

Для нее О.М. вольно перевел неаполитанские песенки, чтобы она выступала с ними по радио, где они оба тогда прикармливались. Мы побежали к ней, узнав, что ее мужа, недавно отсидевшего пять лет в лагере и отпущенного с каким-то минусом в Воронеж, снова арестовали. Мы еще не сталкивались с повторными арестами и не знали, что они сулят. Певица лежала в постели. Потрясенные люди всегда лежат. Моя мать, мобилизованная как врач во время одного из дореволюционных голодов в Поволжье для помощи деревне, рассказывала, что во всех избах лежали, не двигаясь, даже там, где еще был хлеб и не замечалось тяжелого голодного истощения. Эмма, преподавательница Читинского пединститута, ездила на работу со студентами в колхоз. Вернувшись, она мне с удивлением рассказала, что все колхозники почему-то лежат. Лежали и лежат студенты в своих общежитиях, лежат служащие, вернувшись с работы. Все мы лежим. И я пролежала всю мою жизнь...

Певица лихорадочно строила планы на будущее — как овладевает нами эта лихорадка в роковые минуты смертей,

арестов, вызовов в органы и прочих катастроф! Не этот ли лихорадочный бред помогает нам пережить вещи, непостижимые для человека, вроде смерти близкого или увода его в тюрьму двадцатого столетия? Вот что говорила нам певица: не может быть, чтобы ее мужа отправили в лагерь, — ведь он только что оттуда вернулся. Значит, его вышлют куда-нибудь, ну и пускай... не все ли равно куда... И она поедет за ним и будет петь... Не все ли равно, где петь — в Ленинграде, Ишиме, Воронеже или Иргизе... Всюду можно петь — в любой сибирской деревне... Она будет петь, и ей дадут муки, и она испечет хлеб... И они вместе его съедят...

Муж не вернулся, ведь вышел какой-то приказ о повторных арестах тех, кто уже удостоился этой чести. Тогда или в пятидесятых годах, не знаю, был еще один приказ о том, чтобы навечно сослать всех, кто успел побывать в лагерях...³¹⁷ Сама певица тоже исчезла — ее отправили куда-то петь или валить лес — мы так и не узнали куда...

О.М. говорил, что в стихах о певице с низким голосом слились два образа — этой ленинградки и Мариан Андерсон. В день, когда он сочинял эти стихи, я не догадалась, что он работает, потому что он лежал тихо, как мышь. Движение — первый признак, по которому я распознавала работу; второй признак — шевелящиеся губы. В стихах сказано, что их нельзя отнять и что они будут шевелиться и под землей³¹⁸. Так и случилось.

Губы — орудие производства поэта: ведь он работает голосом. Рабочий топот губ — это то, что соединяет работу флейтиста и поэта. Если бы О.М. не испытал, как шевелятся губы, он не мог бы написать стихов про флейтиста: «Громким шепотом честолюбивым, Вспоминающих топотом губ, Он торопится быть бережливым, Емлет звуки, опрятен и скуп...» И про флейту — «И ее невозможно покинуть, Стиснув зубы, ее не унять, И в слова языком не продвинуть, И губами ее не размять...»³¹⁹. Мне кажется, что слова про то, что флейту невозможно продвинуть в слова, знакомы поэту. Здесь говорится про тот момент, когда в ушах уже стоит звук, губы только шевельнулись и мучительно ищут первые слова...

И флейтист тоже был наш знакомый. Его звали Шваб. Он был немец и страшно боялся за свою единственную флейту, присланную из Германии каким-то старым товарищем

по консерватории. Мы не раз заходили к нему, и он вынимал из футляра свою пленницу и утешал О.М. Бахом, Шубертом и прочей классикой. Все гастролеры любили его. «Шваб — настоящий музыкант», — говорили оба Гинзбурга.

Однажды после работы — это произошло до «начала грозных дел»³²⁰, О.М. еще служил в театре — мы забежали в один из ярусов послушать симфонический концерт. Сверху весь оркестр был виден как на ладони, и вдруг я обнаружила, что вместо Шваба сидит другой флейтист. Я наклонилась к О.М.: «Посмотри!» Соседи шикали, но мы продолжали шептаться. «Неужели его забрали?» — сказал О.М. и в антракте побежал за кулисы. Предположение подтвердилось. В нашей жизни такие предположения почему-то всегда подтверждались. Мы стали суеверными и боялись их высказывать — ну его! еще накличешь!.. Шваба, как мы узнали потом, обвинили в шпионаже и загнали на пять лет в уголовный лагерь под Воронежем. Там он и кончил жизнь³²¹, — ведь это был старик, да еще старик с флейтой... О.М. все думал, взял ли Шваб с собой в лагерь флейту или побоялся, что воришки, с которыми он жил в бараке, ограбят его. А если взял, то что он играет по вечерам другим каторжанам... Так появились стихи «Флейты греческой тэта и йота» — из звуков флейты, горькой участи старого флейтиста и первого испуга перед «началом грозных дел».

О.М. в этих стихах говорит про топот «вспоминающих» губ. Только ли у флейтиста губы заранее знают, что они должны сказать? В процессе писания стихов есть нечто похожее на припоминание того, что еще никогда не было сказано. Что такое поиски «потерянного слова» — «Я слово позабыл, что я хотел сказать, Слепая ласточка в чертог теней вернется»³²², — как не попытка припоминания еще неосуществленного? Здесь есть та сосредоточенность, с которой мы ищем забытое, и оно внезапно вспыхивает в сознании. На первом этапе губы шевелятся беззвучно, затем появляется шепот, и «вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаньях моих»³²³. Внутренняя музыка выявилась в смысловых единицах. Воспоминание проявилось, как фотографическая пластинка с изначальным световым отпечатком.

О.М. не случайно ненавидел дуализм, то есть разговоры о форме и содержании, столь модные у нас и столь

удобные для заказчика: для официального содержания всегда требовалась красивая форма... Именно из-за этого разделения формы и содержания О.М. сразу оттолкнул от себя армянских писателей; в одну из первых встреч он обрушился на лозунг «национальная по форме, социалистическая по содержанию» культура, литература и тому подобное, не зная, впрочем, кому принадлежат эти слова...³²⁴ Так мы даже в Армении остались в одиночестве.

Сознание абсолютной неразделимости формы и содержания вытекало, по-видимому, из самого процесса работы над стихами. Стихи зарождались благодаря единому импульсу, и погудка, звучащая в ушах, уже заключала то, что мы называем содержанием. В «Разговоре о Данте» О.М. сравнил «форму» с губкой, из которой выжимается «содержание». Если губка сухая и ничего не содержит, то из нее ничего и не выжмешь. Противоположный путь: для данного заранее содержания подбирается соответствующая форма. Этот путь О.М. проклял в том же «Разговоре о Данте», а людей, идущих этим путем, назвал «переводчиками готового смысла».

Илья Григорьевич Эренбург при мне объяснял Слуцкому, что О.М. портил свои стихи, внося в них многочисленные «фонетические исправления». Ничего подобного я никогда не замечала. Варианты стихов и «исправления» — качественно различные вещи. О.М., говоривший «мы — смысловики», знал, что слово всегда содержит информацию, то есть является смыслоносителем. Мне кажется, что исправления характерны для переводчиков, когда они пробуют, как бы получше выразить готовую мысль, фонетические же исправления предназначены для украшения. Вариант — это либо снятое лишнее, либо «отдельное», уводящее к новому единству. Поэт пробивается к целостному клочку гармонии, спрятанному в тайниках его сознания, отбрасывая лишнее и ложное, скрывающее то, что я называю уже существующим целым.

Стихописание — тяжелый изнурительный труд, требующий огромного внутреннего напряжения и сосредоточенности. Когда идет работа, ничто не может помешать внутреннему голосу, звучащему, вероятно, с огромной властью. Вот почему я не верю Маяковскому, когда он говорит, что наступил на горло собственной песне. Как он это сделал? Мой странный

опыт — опыт свидетеля поэтического труда — говорит: эту штуку не обуздаешь, на горло ей не наступишь, намордника на нее не наденешь. Это одно из самых высоких проявлений человека, носителя мировых гармоний, и ничем другим не может быть.

Выявление это носит общественный характер и говорит о делах людей, потому что носитель гармонии — человек и живет он среди людей, разделяя их судьбу. Он говорит не «за них», а с ними, не отделяя себя от них, — и в этом его правда.

Первоначальный импульс гармонического самовыявления — с людьми и среди людей — всегда поражал меня своей категоричностью. Ни симулировать, ни стимулировать его нельзя. К несчастью, конечно, того, кто называется поэтом. И мне понятны жалобы Шевченко — еще О.М. оценил их и показал мне — на неотвязность стихов, приносивших ему одни беды и мешавших заниматься живописным ремеслом, доставлявшим только радости³²⁵. Этот импульс перестает действовать, когда иссякает материал, то есть ослабевает связь поэта с миром и людьми, когда он перестает слышать их и жить с ними. Не в этой ли связи с людьми черпает поэт чувство правоты, без которого нет стихов? Импульс перестает действовать, когда поэт умирает, хотя губы продолжают шевелиться, потому что они остались в стихах. Какие дураки, кстати, говорят, что поэты плохо читают свои стихи, портят их? Что они понимают в стихах? Стихи живут подлинной жизнью только в голосе поэта, и голос поэта продолжает жить в них навеки.

Мне пришлось жить и с Анной Андреевной, но у нее работа протекала далеко не так открыто, как у О.М., и я не всегда распознавала, что она в работе. Во всех своих проявлениях она всегда была гораздо замкнутее и сдержаннее О.М. Ее совершенно особое женское мужество, почти аскетизм, всегда поражали меня. Даже губам своим она не позволяла шевелиться с такой откровенностью, как это делал О.М. Мне кажется, что когда она сочиняла стихи, губы у нее сжимались и рот становился еще более горьким. О.М. говорил, когда я еще ее не знала, и часто повторял потом, что, взглянув на эти губы, можно услышать ее голос, а стихи ее сделаны из голоса, составляют с ним одно неразрывное целое, что современники, слышавшие этот голос, богаче будущих поколений, которые его

не услышат. Этот голос с теми же интонациями, что звучали в нем в молодые и зрелые годы, и с той же глубиной, поражавшей О.М., удивительно запечатлелся на пленке у Ники, записанной совсем недавно. Если пленка сохранится, мои слова получат объективное подтверждение.

О.М. подметил несколько движений Анны Андреевны и всегда спрашивал меня после встречи с ней, видела ли я, как она вдруг вытянула шею, мотнула головой и губы у нее напряглись, будто она сказала «нет». Он повторял это движение и удивлялся, что я его не так точно запомнила, как он. В вариантах «Волка» я обнаружила рот, говорящий «нет», но там это уже не женский рот, а тот, который повторял движение Анны³²⁶. Длившаяся всю жизнь дружба этих несчастнейших людей была, пожалуй, единственной наградой за весь горький труд и горький путь, который каждый из них прошел. К старости в жизни Анны Андреевны появился просвет, и она умеет пользоваться им. Но стихи ее не напечатаны, прошлое вычеркнуть нельзя, и, если бы не способность жить настоящим, свойственная как будто поэтам, во всяком случае этим двум, она вряд ли смогла бы так радоваться жизни, как она радуется сейчас.

КНИГА И ТЕТРАДЬ

«Из вас лезет книга», — сказал Чаренц, слушая стихи об Армении. Это было в Тифлисе — в Эривани он бы не решился заходить к нам. О.М. обрадовался словам Чаренца: «Кто его знает, может, в самом деле книга...» Через несколько лет я, по просьбе О.М., занесла Пастернаку кучку стихов, написанных в Воронеже, и он вдруг заговорил о «чуде становления книги»... В его жизни, сказал он, это было один раз, когда он писал «Сестру мою жизнь»... Я рассказала об этом разговоре О.М. «Значит, книга — это не просто стихи?» — спросила я. О.М. только рассмеялся.

Движение отдельных возникающих вещей так же строго закономерно, как порядок строк в одном стихотворении, но внешние признаки этой закономерности недостаточно отчетливы. Если бы речь шла о внешне единой форме, вроде поэмы,

это было бы ясно каждому, а внутренняя последовательность лирических стихотворений не так бросается в глаза. Между тем слова о стереометрическом чутье поэта («Разговор о Данте») относятся и к лирическим стихам в их совокупности, называемой «книгой».

Вероятно, не у всех поэтов процесс становления книги протекает одинаково. У одних взаимосвязанные вещи возникают в хронологической последовательности, другие группируют стихи, как Анненский свои трилистники или Пастернак, делавший внутренние разделы в книгах, куда входили стихи, написанные в разное время, хотя и в один период. О.М. принадлежал к первому типу: стихи шли группами или потоком, пока не исчерпается порыв.

Восстановив хронологию, он находил общую композицию книги. «Тристии» составлялись без него, и потому общий принцип нарушен. Восстановление хронологии — трудная задача, и не только теперь, когда многие даты потеряны. Трудности существовали и при жизни Мандельштама, когда все даты были налицо. Дело в том, что сами даты таят в себе неточность, потому что означают момент записи, а не начало и конец работы. Мне кажется, что начало вообще определимо только при холодном верификационном процессе: разве О.М. мог знать, что ему предстоит написать и вообще что выйдет из его бормотаний, когда начинал прислушиваться к жужжанию пчелы? Вторая трудность: как определить, какой момент для каждого стихотворения решающий — начало или конец? Это тем более важно, что в работе часто находится не одно стихотворение, а несколько.

Общий порядок при жизни О.М. в ряде случаев был еще не совсем уточнен: О.М. колебался, как расположить «волчий цикл» и стихи в середине «Второй воронежской тетради». Этого доделать он не успел. Зато основная работа по подготовке к печати сделана при его жизни — это деление на «тетради». Мне часто задавали вопрос, откуда взялись эти «тетради». Происхождение этого названия чисто домашнее. Стихи с 30-го по 37 год записывались в Воронеже — ведь рукописи 30–34 годов были при обысках отобраны и не возвращены. Чтобы записать стихи, мы раздобыли, да и то не без труда, приличной бумаги у нас никогда нельзя было достать, — обыкновенные школьные

тетради. Начало положило то, что сейчас составляет «Первую воронежскую тетрадь». Затем пришлось вспомнить и записать стихи 30–34 годов, то есть «Новые стихи». О.М. сам определил начало и конец двух тетрадок, составляющих «Новые стихи». «Тетрадь» — это, очевидно, раздел книги.

Осенью 36 года, когда поднакопились стихи, О.М. сам попросил меня завести еще одну тетрадку, хотя в старых еще было место. Это — «Вторая воронежская тетрадь». Между «Второй» и «Третьей» почти нет никакого промежутка во времени, но «Третья» показывает, что началось нечто новое. Стихи «Третьей» не продолжение прежнего порыва, который себя исчерпал. Если бы существовали точные методы стихового анализа, можно было бы доказать, что с каждой «тетрадью» исчерпывается определенный материал и кончается единый порыв. Впрочем, это видно и простым глазом.

Слово «книга» связано в нашем понимании с печатью: книга предполагает какой-то объем и подходящее для печати количество строк. Для «тетради» никаких правил не существует, арифметические мерки к ней неприменимы. Начало и конец «тетради» регулируются только единством стихотворного порыва, породившего внутренне связанные между собой стихи. «Тетрадь» — это, в сущности, «книга» — в понимании Чаренца, Пастернака и Мандельштама, — не стесненная удобствами книгоиздательства, требующего некоторой объемности и композиции, иногда даже искусственной. Но само слово «тетрадь» совершенно случайное — оно подсказано нашей вечной нуждой в бумаге. У этого названия есть, с одной стороны, неприятная конкретность, с другой — навязчивая ассоциация: «Нотная тетрадь» Шумана. За него только домашняя и рукописная традиция, а она приобретает громадное значение в наш догутенберговский век.

В юности О.М. употреблял слово «книга» в значении «этап». В 1919 году он думал, что будет автором только одной книги, потом заметил, что существует деление на «Камень» и то, что потом стало называться «Тристии». Кстати, название это дал Кузмин в отсутствие Мандельштама. Сами «Тристии» имеют случайный состав — в них вошла кучка беспорядочных рукописей, вывезенная издателем без ведома автора за границу. «Вторая книга» искажена цензурой, а название она получила

именно потому, что О.М. понял свою ошибку насчет одной книги, которую ему суждено написать. Он не сразу заметил, как кончился дореволюционный «Камень» и началась книга войны, предчувствия и осуществления революции. «Новые стихи» — это книга осознанного отщепенства, а «Воронежские тетради» — ссылки и гибели. Под каждым переписанным мной в Воронеже стихком О.М. ставил дату и букву «В». «Зачем?» — спрашивала я. «Так... Пусть...» — отвечал О.М. Он как бы клеймил все эти листочки, но их сохранилось очень мало, потому что впереди был 37 год.

ЦИКЛ

Этап — понятие мировоззренческое. Это рост самого человека, а с ростом изменяется отношение к миру и к поэзии. «Тристии» пришли в ожидании и первичном познании революции, а «Новые стихи» после разрыва молчания «Четвертой прозой». Внутри каждого этапа могут быть различные книги. Мне кажется, что «Новые стихи» и «Воронежские тетради» — две книги, разделенные арестом и ссылкой, — представляют один этап. В одной из них два, в другой три раздела, называемых «тетрадами». Иначе говоря, для О.М. книга — это биографический период, а «тетрадь» — стиховой раздел, определяемый единством материала и порыва.

Цикл — более мелкая единица. В «Первой тетради» «Новых стихов» выделяется, например, «волчий», или каторжный цикл, а также армянский. Но сама «Армения», в сущности, не цикл, а подборка. Таких подборок у О.М. две: «Армения» и «Восьмистишия». Только в них он нарушал хронологию, а следовательно, характер лирического дневника, столь свойственный воронежским, например, тетрадам, но скрытый в ранние периоды, когда О.М. производил жестокую селекцию и массами уничтожал незрелые стихи.

Во «Второй воронежской тетради» один цикл начинается «Гудком», другой стихотворением «Дрожжи мира». В каждом из этих циклов есть стихотворение, от которого пошли остальные. Оно не первое и в работе находилось дольше других. Были циклы, где одно стихотворение следовало за другим, как звенья

цепочки, и другие, где стихи переплетались в клубок и все выходило из одного стихотворения — матки.

Легко показать, что «Волк» был маткой всего каторжного цикла, потому что сохранились «волчьи» черновики. Стихи, имеющие общее происхождение, иногда так расходятся, что на первый взгляд между ними совершенно не видно никакой связи: в процессе работы исчезли общие слова и строки, перекликающиеся друг с другом. Вообще работа над запутавшимся в клубок циклом носит характер дифференцирующий — один организм как бы отделяется от другого и каждому из них отдаются все принадлежавшие ему признаки. Эта операция напоминает движение садовника, когда он отделяет веточки с жизнеспособными черенками.

В «волчьем цикле» последней пришла строка «И меня только равный убьет», хотя в ней смысловой ключ всего цикла. Источник этого цикла — русские каторжные песни. Среди народных песен только их и любил О.М. Сама песня названа в «Бушлатнике»: «Так вот бушлатник шершавую песню поет», и в вариантах «Волка»: «И один кто-то властный поет», и «Там в пожарнице время поет», и «Но услышав тот голос, пойду в топоры, Да и сам за него доскажу...» Ссылка на песню у О.М. редкость. В последний период она встречается, кроме черновиков «Волка» и «Бушлатника», только в «Абхазской песенке»: «Пою, когда гортань сыра, душа суха И в меру влажен взор и не хитрит сознание...» В первых двух случаях песня и стихи не отождествляются — этого О.М. терпеть не мог. Открывая очередной номер «Звезды», О.М. всегда удивлялся, почему советские поэты, особенно ленинградские, всегда сообщают, что они молоды и поют песни. Он даже подсчитывал как-то, сколько раз в номере встречаются эти атрибуты советского поэта. Число получилось внушительное.

По черновикам «Волка» можно проследить, как появлялись стихи этого цикла. Варианты — «И неправдой искривлен мой рот» и «А не то уведи, да прошу поскорей, К шестипалой неправде в избу» — выделились в отдельное стихотворение «Неправда» — «Я с дымящей лучиной вхожу К шестипалой неправде в избу...». «И услышав тот голос, пойду в топоры» привели к топору в стихах «Сохрани мою речь навсегда За привкус несчастья и дыма». Мысль о «речи», которую надо вопреки всему

сохранить, соединилась с топорищем для петровской казни... В «Волке» мелькнула «черешня московских торцов»³²⁷, а рядом с ней записана «трамвайная вишенка страшной поры»³²⁸.

«Александр Герцович» и «Астры» составляют как бы периферию цикла³²⁹. Внешний признак связи — слово «шуба». В «Астрах» это барская шуба, за которую его корили, а в «Александре Герцовиче» — «А там вороньей шубою на вешалке висеть». Обе они связаны с «жаркой шубой сибирских степей»... Шуба — один из повторяющихся образов О.М. Он появился еще в «Камне»: дворники в тяжелых шубах, женщина в меховой шубке, а потом ангел в золотой овчине... Первая проза О.М., потерянная в Харькове в издательстве сестры Раковского, называлась «Шуба»³³⁰. И наконец, «В не по чину барственной шубе» из «Шума времени» и «литературная шуба» из «Четвертой прозы», которую О.М. срывает с себя и топчет ногами³³¹. Шуба — это устойчивость быта, шуба — русский мороз, шуба — социальное положение, на которое не смеет претендовать разnochинец.

Шуба из «Астр»³³² связана с забавным инцидентом. В конце двадцатых годов одна вельможная, а потом погибшая дама³³³ жаловалась Эмме Герштейн, что Мандельштам всегда казался ей совершенно чуждым человеком — она, мол, не может забыть, в какой шикарной шубе он разгуливал по Москве в начале нэпа... Мы только ахнули. Шубу эту с плеч какого-то нищего дьячка мы купили на базаре в Харькове — рыжий, вылезший енот, запахивающийся наподобие рясы... Старик дьячок продавал ее, чтобы купить хлеба, О.М. купил эту роскошь, когда мы ехали с Кавказа в Москву, чтобы не замерзнуть на севере. Эта первая «литературная» и «не по чину барственная шуба» была предоставлена Пришвину, ночевавшему в общежитии на Тверском бульваре, вместо тюфяка. Он накрыл ею взорвавшийся малокалиберный примус³³⁴. Последние волоски рыжего енота обуглились, и О.М. даже не успел сорвать эту шубу со своих плеч и растоптать, а следовало бы... Зачем носить шубу с чужого плеча? Носить шубу ему было не по чину...

С шубами всегда бывали какие-то осложнения. Раз мы добыли денег и пошли покупать обыкновенную советскую шубу в универмаг, но выяснилось, что в продаже только шубы из собачьего меха. На такое предательство по отношению

к благородному собачьему роду О.М. не отважился и предпочел мерзнуть. Так он доходил в пальтишке до последнего года жизни, когда нам постоянно приходилось ездить в холодных вагонах в стоверстную зону. Не выдержал Шкловский: «У вас такой вид, будто вы приехали на буферах, — сказал он. — Надо придумать шубу...» Василиса вспомнила, что у Андроникова валяется старая шуба Шкловского. Он носил ее, когда пробивался в люди, но сейчас ему уже полагалось нечто более барственное. Вызвали Андроникова вместе с шубой, и с великими церемониями вырядили в нее О.М. Она славно послужила в калининскую зиму. Арестовали О.М. весной, и он не захватил ее с собой: побоялся лишней тяжести. Шуба осталась в Москве, а он замерзал в желтом кожаном пальтишке, тоже подаренном кем-то³³⁵ в последний подмосковный, на сто пятой версте, год своей неприкаянной жизни.

В «волчьем цикле» подготовка к ссылке — сибирские леса, нары, срубы... Материал этого цикла — дерево: плаха, бадья, сосна, сосновый гроб, лучина, топорище, городки, вишневая косточка... Эпитеты, в частности — «шершавый», в этом цикле принадлежат к тому же ряду.

Этот цикл начался до «Волка» в кандалах дверных цепочек, в петербургских пожарах и морозах, в остром ноже и каравае хлеба, в ощущении «В Петербурге жить словно спать в гробу» и в потребности поскорее бежать на вокзал, «Где бы нас никто не отыскал...». Смысл этого цикла — отщепенство, непризнанный брат. Я прочла потом у Бодуэна, что «брат» первоначально не термин родства, а «принятый в племя»... В племя советской литературы О.М. принят не был, и даже дьячковая шуба на его плечах свидетельствовала о буржуазной идеологии... И еще этот цикл про того, кто говорит «нет», и про тех, кто идет с «самопишущим черным народом». Отголоски 17 года в грузовике, стучавшем у ворот, и в черном народе, который идет на «дворцы и морцы»...³³⁶

Из деревянного волчьего сруба все эти темы распространяются на всю тетрадь. Попытка найти вторую родину — Армению — не удалась. Насильно возвращенный в Москву — «Я возвратился, нет, читай: насильно Был возвращен в буддийскую Москву»³³⁷, — О.М. определил свое место в ней. Определение оказалось достаточно точным.

В стихах «после удушья» заметны два приступа: первый — это удивление при виде новой земли — черноземной, а потом, оправившись от удивления, О.М. начал припоминать, как он сюда попал, и это вызвало стихи о чердынском периоде нашей жизни.

В обоих циклах этой тетради каждое новое стихотворение развивалось из какой-нибудь плодоносной веточки на предыдущих. Почки в «Наушниках» — «Не спрашивай, как набухают почки» — впервые появились как рифма к «комочки» в «Черноземе» — в какой-то момент «комочки» рванулись в конец строки, чтобы сочетаться с «почки», а потом ушли на свое место. А Воронеж — проворонишь, на одном корню с проворотом. Инструментальная и смысловая работа так переплелись, что их невозможно расщепить. Случайно ли появилось упоминание о «земле и воле» в «Черноземе» или несколько рифм — «кутерьма», «тьма» — к непроизнесенному слову «тюрьма» в «Стансах»? А почему ассоциации к казни проскальзывают в самых неожиданных местах, как, например, в «Стрижке детей» — «Еще мы жизнью полны в высшей мере...»?

Эти ассоциации прочно вошли в наш быт, и у О.М. и в стихах, и в прозе неоднократно упоминается тюрьма. Сочетание слов «его взяли», «он сидит», «его выпустили», «его посадили» получили в русском языке новое значение, и это показывает, как сильно пропитана наша жизнь тюремными размышлениями. Это и есть диффузия, взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира, которое необходимо правителям для устрашения тех, кем они управляют.

Это тюремное рассуждение я хочу заключить бытовой сценкой тридцать седьмого года. В центре Москвы стоит дом, где на одних площадках жили писатели и чекисты³³⁸. Бог его знает, как туда попали чекисты, может, их вселили на место арестованных из какого-то другого ведомства, разделявших этот дом с писателями. Но они там жили, и соседям приходилось сталкиваться с ними по разным поводам. Однажды, например, пьяный чекист, которого жена выставила из квартиры, бушевал на лестничной площадке: он вспоминал в пьяном бреду, как допрашивал и избивал во время допроса своего товарища, и лил слезы позднего раскаяния. Я дозвонилась в квартиру его жене

и заставила ее впустить мужа, объяснив, что за такой пьяный бред ему тоже не поздоровится...

И вот во двор этого дома пришли бродячие певцы. Они чувствовали потребность момента и пели лучшие, классические каторжные песни — сибирские, байкальские, воровские... На все балконы тотчас высыпал народ, не писательский разумеется. Певцам подпевали, певцам бросали деньги... Это длилось с полчаса, пока кто-то из идеологически устойчивых жильцов не скатился вниз, чтобы прогнать певцов. Но им успели крикнуть сверху — смывайтесь! — и они смылись. Мы стояли с О.М. на одном из балконов и тоже бросили монетку или бумажку — ее заворачивают в клочок газеты и, чтобы она падала вниз, кладут груз — коктейльный камушек. Мы отдали дань русскому фольклору.

Младший Ося — как называют теперь Иосифа Бродского, сосланного за тунеядство, вернее, за стихи, потому что жизнь повторяется, хотя и в разных формах, — недавно сказал Ахматовой, что у Пастернака совсем нет фольклора. Может ли это быть? Мне кажется, что один из вопросов при исследовании поэтического творчества — это вопрос о связи с фольклором. Каторжный фольклор у О.М. замечен сразу — его подсказала жизнь, и он лежит на поверхности. Это не единственная связь О.М. с фольклорным европейским и русским богатством. От фольклора не уйти никуда, весь вопрос в том, как его переварить в индивидуальной современной поэзии.

ДВОЙНЫЕ ПОБЕГИ

Стихотворение «Эта область в темноводье» работалось медленно и трудно, много дней подряд. О.М. жаловался, что «нечто», почти осязаемое и очень важное, никак не хочет прийти. Это созревала последняя строфа — она и пришла последней, что случается далеко не всегда.

О.М. стоял у стола, спиной ко мне, и что-то записывал. «Иди сюда, посмотри, что у меня...» Я обрадовалась, что «темноводье» кончилось и мы пойдем гулять. Оно мне надоело, как фанерная карта воронежской области на телефонной станции, на которой вспыхивали лампочки, показывая, с какими

пунктами есть связь. Но меня ожидало разочарование — на протянутой мне бумажке я прочла «Вехи дальнего обоза». «Погоди, это еще не все», — сказал О.М. и записал: «Как подарок запоздалый Ощутима мной зима...» «Ты сошел с ума! — возмутилась я. — Мы так никогда не выйдем. Идем на базар, или я пойду одна...»

На базар мы пошли вместе — он находился в двух шагах от дома, — что-то продали и что-то купили. Кажется, в тот день мы продавали серый пиджак из торгсиновской материи. «В таких садятся в тюрьму», — сказал покупатель, умный и хитрый городской мужик. «Верно, — ответил О.М., — но он уже там побывал; теперь безопасно...» Мужик ухмыльнулся и дал нашу цену. Мы тут же устроили пир, то есть прихватили лишний кусок мяса или колбасы, если она тогда существовала. Трудно припомнить, чем нас кормили в разные периоды, но всегда существовало какое-то «дежурное блюдо», и все его ели. Сейчас для Москвы это вареная колбаса. В тот период нас, кажется, угощали синеватыми курами, а консервы в банках считались роскошью. Был период замороженных фазанов и голубей, но это быстро кончилось. Треска держалась значительно дольше. В провинцию, правда, почти ничего из «дежурных блюд» не попадало, но зато там умели ценить насыщенный хлеб.

Строфа с ночным чайником появилась чуть ли не в тот же день, а два маленьких стихотворения, вылупившиеся из «темноводья», лишь слегка дорабатывались. В «Вехах дальнего обоза» запечатлелся пейзаж из окна тамбовского санатория — вот откуда слово «особняк»³³⁹. Мы жили не в особняках, а где попало, преимущественно в лачугах. Мне ясно, каким образом стихи «Как подарок запоздалый Ощутима мной зима...» помогла найти последняя строфа «темноводья»: она дала строчку — «Степь беззимняя гола». Вдруг с этим стихотворением выявилась особенность времени года — все застыло в ожидании запоздавшей зимы. Природа ждала зимы, а люди в декабре 36 года уже знали, что им несет грядущий тридцать седьмой. Для этого не требовалось никакого исторического чутья — нас успели предупредить еще летом в радиопередаче о будущих процессах.

В этой строфе О.М. сказал про воронежскую землю: «Где я? что со мной дурного? Степь беззимняя гола... Это

мачеха Кольцова... Шутишь — родина щегла!..» Здесь синтез его настроения тех дней — чувство беды не могло пересилить вечной и дикой радости жизни, совершенно необъяснимого веселья запертого в клетку стихотворца. И дальше опять точные подробности его жизни: к ночи, устав от работы, он выходил побродить по пустому городу, где всегда была гололедица. Наши провинциальные города после исчезновения дворников стали областью «вечной скользоты»...

Об этом и в воронежских стихах Ахматовой, совершенно не умеющей ходить по гладкому льду: «По хрусталам я прохожу несмело...» А чайник был электрический — неслыханная роскошь по тому времени, но мы ее себе позволяли, потому что во время ночной работы О.М. всегда пил много чая. Только от двух вещей он не мог отказаться — от чая и папирос. Остальное, мы считали, приложится.

В Воронеже дважды появлялись «тройчатки», то есть три стихотворения одного происхождения. Первая «тройчатка» — «Темноводье», «Как подарок запоздалый» — мы называли этот стишок «Вороном» — и «Вехи дальнего обоза». Другая «тройчатка»: «Десятизначные леса», «Что делать нам с убитостью равнин» и реминисценции Камы — «О, этот медленный, одышливый простор». В первой «тройчатке» все переплелось, как в цикле, запутанном в клубок. Во второй все три стихотворения развивались самостоятельно из общего корня. Строки «Что делать нам с убитостью равнин, С протяжным голодом их чуда» и «Равнины дышащее чудо» объединяют первые два стихотворения. Третье связано с темой дыхания, одышки, которая есть и в двух других. «Одышливый простор» третьего стихотворения перекликается с «дышащим чудом». В стихах, где назван Иуда, сам ритм организован, как одышка: «И все растет вопрос — куда они, откуда...» Одышка, мучившая О.М., сказалась в ту зиму на ритме многих стихов. «Я — это я, явь — это явь» — тому пример.

В первой «тройчатке» есть еще одно формальное сходство — это рифмы «совхозных» и «грозных» основного стихотворения и разгул звука «з» в двух других, например, в рифмах: «мороза» — «обоза» — «береза» — «проза»...

В любом стихотворении О.М. выделяется строка, которая пришла первой, но, ища ее, надо помнить, что она очень редко

начинает первую строфу. Выделив ее — если она, конечно, не исчезла, выпав из окончательного текста, что тоже бывает, — можно восстановить почти весь ход работы. Вытеснение первой пришедшей в голову строки из окончательного текста — дело закономерное. О.М. любил по этому поводу вспоминать слова Гумилева: «Это хорошие стихи, Осип, но когда ты их кончишь, у тебя не останется ни одной строчки из тех, что сейчас...» В таких случаях история текста, разумеется, невосстановима: ведь бóльшая часть работы производится в уме и губами, а на бумаге не фиксируется.

Первая побудительная строка и последнее найденное слово — это тоже ключи стихотворной композиции: в них импульс начала и конца. Эпитеты «совестный деготь труда», «десятизначные леса», «ленивый богатырь» — вот примеры последних найденных слов.

«Тройчатки» для О.М. редкий случай. Гораздо чаще встречаются «двойчатки», двойные побеги на одном корню. Среди напечатанных стихов — «Я не знаю, с каких пор Эта песенка началась» и «Я по лесенке приставной Лез на скошенный сеновал», а также «1 января 1924» и «Нет, никогда ничей я не был современник» — характерные образцы «двойчаток». В воронежский период их тоже было немало. Два стихотворения о Каме: «Как на Каме-реке глазу тёмно, когда На дубовых коленях стоят города» и «Я глядел, удаляясь на хвойный восток» — представляют обычную «двойчатку». Третье — с окончанием: «И речная верста поднялась в высоту» — это редкий случай удачной сознательной замены для цензуры. В стихотворениях «Дрожжи мира» и «Бесенок» сохранился первый вариант, в котором они оба еще переплетены. Два стихотворения «Заблудился я в небе» тоже представляют «двойчатку» с одинаковым началом и разным развитием. Такая «парная структура» очень характерна для О.М.: «двойчаток», кроме перечисленных, у него еще очень много.

О.М. собирался сохранить оба побега «Заблудился я в небе» и напечатать их рядом: композиторы ведь всегда так делают, и художники тоже... Если я доживу до свободного издания О.М., я обязательно выполню его волю. Но сейчас, если даже напечатают книгу, которая гниет в «Библиотеке поэта», ни мне, ни Харджиеву этого не дадут сделать: мы ведь люди

бесправные³⁴⁰. Какой-нибудь умный редактор совершенно ясно мне объяснит, что из двух вариантов надо выбирать лучший; что сами поэты, их друзья и родственники в этом деле не судьи; что наследство поэта принадлежит не тем, кому в течение пятнадцати лет полагается получать половину гонорара, а ученым знатокам и судьям, которые на этом собаку съели и твердо знают, что хорошо и что плохо... Кроме правильной идеологии, современный советский редактор превыше всего ценит ясность, аккуратность, гладкую фактуру и пышную композицию, где, как на блюде, разложены сравнения, метафоры и прочие фигуры речи.

О.М. не дожил до этого расцвета культуры, но уже не раз удивлялся, как наши знатоки не любят стихов. И Анна Андреевна, узнав, что одного бедного мальчишку*³⁴¹ провозгласили «будущим Пушкиным», сказала: «Это потому, что они так не любят стихов...» Мальчишка писал гладкие стихи, в которых они узнавали все от века знакомое. Больше всего им милы переводы с их блеском готовых изделий. Всюду есть такие знатоки и судьи, но в сталинское время они распустились полным цветом и сейчас находятся у власти и в живописи, и в архитектуре, и в кино, и в литературе. Ну и чорт с ними... Им ведь приказали делать ренессанс, а вышло что-то вроде кафе «Ренессанс»³⁴², но дело с ними иметь непросто.

В юности О.М. вытравлял следы общего происхождения у стихов или уничтожал одно из родственных стихотворений. Он долго не записывал «Современника» и «Я не знаю, с каких пор», не признавая за ними права на самостоятельную жизнь. В зрелый период его отношение резко переменялось: видимо, он решил узаконить самый принцип двойных побегов и не считал их больше вариантами: «Одинаковое начало? Ну и что? Стихи ведь разные...» Или: «Тем лучше, что видно... А что тут скрывать?» — говорил он. Если в молодости О.М. был скрытен и показывал читателю только отдельные вещи, то в зрелом и завершающем своем периоде он открывал весь поток и видел ценность в самом поэтическом порыве, а не в отдельных его проявлениях.

В этом сказалась обретенная им внутренняя свобода. Она и стала камнем преткновения для многих его старых ценителей. Они видят в этих стихах О.М. незавершенность

и недоделанность. «Он ведь не готовил книгу к печати. Надо бы почистить», — твердили мне два брата Бернштейна — языковед Сергей Игнатьевич и Ивич. «Сколько тут повторений — ведь это просто варианты», — говорил Орлов. Слуцкий, как и Орлов, жалуется, что напечатанный Мандельштам понятен, а ненапечатанный чересчур труден. Хорошо, что появился новый читатель, который совсем иначе подходит к стихам и к поэзии.

Поэт с резко выраженными этапами осужден на то, что читатели, освоившись с одним периодом, не примут другого. Многие постоянные слушатели О.М. в штыки принимали каждое новое стихотворение и новый поэтический ход, потому что не узнавали в нем старого. Эмма Герштейн долго и упорно твердила, что после «волчьего цикла» О.М. вообще ничего не должен был писать. Так встречал новые стихи и Кузин — почти как личную обиду. Но оба они привыкали к стихам и становились их друзьями. А Шенгели так и не примирился с поздними стихами, сохранив верность ранним. В зрелых стихах его особенно отвращал словарь — слова не поэтического словаря.

Зато сейчас появилось множество читателей, знающих стихи по бродячим спискам и еще не заглянувших в книги. Неизвестно, понравится ли им ранний этап. Но право читателя на выбор так же неоспоримо, как право поэта на печатный станок и на отстаивание своей поэтической позиции. «Какая есть, желаю вам другую», — сказала Ахматова... Поэтому я совершенно иначе отношусь к читателям с их вкусами и даже капризами, чем к редакторам, обладающим правом запрета и любящим задерживать рукописи. Что же касается до «незавершенности» О.М. последнего периода, то есть до его желания раскрыть свою лабораторию, то она-то и есть закон для посмертных изданий, поскольку прижизненных, несмотря на желание автора, не было. Ведь умел же он обособлять стихи друг от друга, когда считал это нужным.

Вероятно, двойные побеги не представляют индивидуальной особенности О.М. Точно такие пары есть и у Ахматовой: «Данте» («Он и после смерти не вернулся В нежную Флоренцию свою») и «Зачем вы отравили воду И с грязью мой смешали хлеб» — несомненные «двойчатки». Во многих случаях эти пары служат друг другу комментарием: «Нет, без палача

и плахи Поэту на земле не быть, Нам покаянные рубахи, Нам за свечой идти и выть» — общий импульс двух стихотворений.

Собирая книгу, О.М. сохранил все «двойчатки», но во время работы у него в последний период было много колебаний. Так, он хотел отказаться от «Я около Кольцова, Как сокол, закольцован», потому что помнил, как это стихотворение послужило импульсом к другому — «Когда в ветвях понурых Заводит чародей Гнедых или каурых Шушуканье мастей». Эти «двойчатки» совершенно лишены внешнего сходства, и тем не менее О.М. не хотелось оставлять первое как чересчур прямое и в лоб. Самооценка поэта, вернее, его отношение к своим стихам в период работы, всегда пристрастна и обусловлена множеством сложных причин. Отказ от какого-нибудь стихотворения, может быть, вызван просто тем, что оно заслоняет новое, которое уже брезжит и не может пробиться. Иногда в старом содержится плодоносная почка какого-нибудь нового роста, и когда этот росток появится, автору кажется, что первое было только заготовкой, прелюдией рабочего процесса. Это ощущение особенно сильно при появлении парных ростков и быстром расхождении обоих побегов. Так происходило с «Улыбкой» и «Щеголом». В готовых текстах между ними нет ничего общего, между тем «Щегол» вылутился из «Улыбки». Случайно уцелел черновик, в котором обнаруживается взаимосвязь этих стихотворений. Там есть строфа, где детский рот, мякина и щегол. Именно мякина привела щегла, а сама сохранила одно свойство — колючесть — и обернулась колючим морозом этой не холодами страшной зимы. А О.М. вначале считал «Щегла» незаконным детищем.

А два стихотворения об Ариосто появились совершенно иначе. Первое было написано летом 33 года, когда мы гостили с выпущенным из тюрьмы Кузиным в Старом Крыму, у вдовы Грина. Рукописи и черновики отобрали при обыске, в мае 34 года. В Воронеже О.М. попытался вспомнить текст, но память изменила, и вышел второй «Ариост». Вскоре, съездив в Москву, я нашла «Ариоста» 33 года в одном из своих тайников. Вот и оказалось два стихотворения на одну тему с одним материалом.

Новелла эта в духе времени, и я дарю ее будущим комментаторам.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА В ВОРОНЕЖЕ

Летом 36 года нам удалось съездить на дачу. У Анны Андреевны появились деньги. Я уже говорила, что она взяла что-то еще у Пастернака, потом прибавил Евгений Яковлевич, и у нас образовалась сумма на несколько недель дачной жизни. А это было очень важно, потому что припадки все усиливались. Мы выбрали Задонск, городок на Дону, некогда прославленный благодаря своему монастырю и старцу Тихону Задонскому. Так мы прожили около шести недель на верховьях Дона, радуясь и ни о чем не думая. Но тут радио оповестило нас о начале террора. Убийцы Кирова, сказал диктор, найдены, готовятся процессы... Выслушав сообщение, мы молча вышли на монастырскую дорогу. Говорить было не о чем — все стало ясно. В тот день О.М., ткнув палкой, показал мне следы лошадиных копыт, в которых застоялась вода — накануне шел дождь. «Как память», — сказал он. Эти следы стали потом «подкопытными наперстками», когда звучавший в памяти голос прославленного диктора побудил О.М. принять меры для собственного спасения.

Мы вернулись в Воронеж, и оказалось, что все двери закрыты. Никто с нами не разговаривал, никто не принимал, никто не узнавал, во всяком случае в публичных местах. Но потихоньку еще старались помочь. Так, театральный администратор устроил нам комнату у театральной портнихи. Дом стоял на горе над рекой — вросшая в землю лачуга. С площадки около дома мы видели противоположный берег с полоской леса. Мальчишки слетали на саночках прямо к реке. Этот пейзаж все время стоял перед глазами, и О.М. то упоминал его, то проклинал в стихах, и все им любовался.

Мальчишки спрашивали: «Дяденька, ты поп или генерал?» О.М. неизменно отвечал: «И то и другое понемножку...» Они заподозрили в нем генерала, как скоро выяснилось, потому что он очень прямо держался и «задирает нос», то есть закидывал голову. Через Вадика, сына хозяйки, О.М. участвовал в птичьем торге. Птицы доставались Вадиду. «У мальчиков особое отношение к птицам, — говорил О.М. — Видела ли ты когда-нибудь девочку с голубями или на торге?» Птицы попали в стихи. О.М. обидел только московку и ничего про нее

не сказал. Впрочем, он уверял меня, что московка просто синичка, а им он уже отдал дань, правда, в детских стихах.

Мы знали, что эта бедственная зима — наша последняя передышка, и взяли от нее все, что она могла дать. Как в стихах у Клычкова, которые любил О.М.: «Впереди одна тревога, И тревога позади. Посиди со мной немного, Ради Бога, посиди...» Вот почему самая светлая и жизнеутверждающая тетрадь появилась именно в этот период.

Человек для всякой интеллектуальной работы нуждается, как инструмент, в настройке. Вероятно, существуют разные человеческие инструменты — одни действуют бесперебойно, настраиваясь на ходу, другие, перестав звучать, должны заново настроить свою клавиатуру. Поэты с явно выраженными этапами принадлежат ко второму типу, и ключевые стихи, служащие как бы камертоном, приходят в начале нового этапа. В начале «Второй тетради» оказался «Гудок». «Почему гудок?» — спросила я. «А может, это я», — ответил О.М.

Как мог этот загнанный, живущий в полной изоляции человек, в той пустоте и во мраке, в которых мы очутились, почувствовать себя «гудком советских городов»? Ведь из полного небытия О.М. сообщал, что он — тот голос, который разносится по советским городам. Вероятно, это и есть чувство правоты, без которого нельзя писать стихи. Борьба за социальное достоинство поэта, за его право на голос и свою позицию — основная, пожалуй, тенденция, определявшая жизнь и работу О.М. Об этом упомянуто и в «Разговоре о Данте», и я еще упрекала его, что он сводит личные счеты, но он только отвечал: «Так и нужно...»

И во «Второй тетради», сразу с «Гудка», возникла тема самоутверждения поэта в поэзии. Разумом дойти до такой темы в год величайшего зажима было бы невозможно. Тема пришла сама — ведь это всегда явление, а не рациональный замысел. Вначале она звучала скрытно, пряталась за реалиями, вроде гудка, или была недосказана, как в «Не у тебя, не у меня — у них Вся сила окончаний родовых...» «Кто это они? — спросила я, — народ?» «Ну нет, — ответил О.М. — Это было бы чересчур просто...» Значит, «они» — это нечто, существующее вне поэта, те голоса, та гармония, которую он пытается уловить внутренним слухом для людей, «для их сердец живых»...

В стихах о щегле тоже намечается тема поэта, но отголоски ее можно заметить только в варианте, где О.М. приказывает щеглу, своему подобью, жить. В одной из статей О.М. рассказывает о юноше-поэте, который бегаёт по редакциям и всюду предлагает свой совершенно никому не нужный литературный товар³⁴³. Этот юноша, как и щегол, назван щеголем. О.М. никогда не забывал своих прежних ассоциаций и мыслей или, как это называют, образов. Говоря о щегле и щеголе, он не мог не вспомнить, что и его литературный товар больше никому не нужен, и, может, именно поэтому он так настойчиво приказал себе жить.

Щегла запрятали в клетку, не выпустили в лесную саламанку... «А меня нельзя удержать на месте, — сказал О.М. — Вот я побывал контрабандой в Крыму». Это он говорил про «Разрывы круглых бухт». В этих стихах резко замедленный темп — «И парус медленный, что облаком продолжен». Нас всегда угнетало, что время несло в каком-то неслыханном темпе, и у О.М. было ощущение, что настоящее по-прежнему ощутимо на юге, и только на юге.

«Ты и в Тифлис съездил», — сказала я, вспомнив стихи о Тифлисе. «Вынужденное путешествие, — ответил О.М. — Туда меня затащила нечистая сила». К стихам о Тифлисе его привела попытка написать оду Сталину.

Амнистировав опальные стихи «Не сравнивай, живущий несравним», О.М. заявил: «Теперь я, по крайней мере, знаю, почему мне нельзя поехать в Италию». Оказывается, его туда не пускала «ясная тоска» — «И ясная тоска меня не отпускает От молодых еще воронежских холмов К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане...». Италия по-прежнему жила у нас в доме итальянскими поэтами, архитектурными ансамблями. О.М. звал меня погулять под флорентийской крещальной, и эта прогулка радовала его не меньше, чем выход на площадку перед домом... Менялись времена года. О.М. говорил: «Это тоже путешествие, и его нельзя отнять...» Этот бесконечно жизнелюбивый человек черпал силы из всего, что других, в частности меня, могло только привести в отчаяние, как, например, осенняя слякоть или холод. И у него было ощущение, что раньше ему принадлежало все — юг, путешествия, поезда и пароходы, — и поэтому он употреблял для

своего ссыльного прикрепления к воронежской земле только одно слово: «отняли».

Когда пришли стихи о звездах³⁴⁴, О.М. огорчился. По его примете, звезды приходят в стихи, когда порыв кончается или «у портного исчерпан весь материал». Гумилев говорил, что у каждого поэта свое отношение к звездам, вспоминал О.М., а по его мнению, звезды — это уход от земли и потеря ориентации.

Еще большее огорчение принесла «Киевлянка», второе в ту зиму стихотворение о женщине, которая будет искать мужа³⁴⁵. Первое — «Омут ока удивленный, Кинь его вдогонку мне...»³⁴⁶. «Это неспроста», — повторял он: его всегда преследовал страх разлуки. И он часто боялся того, что проявлялось в стихах, а больше всего песенки о женщине, чьим ногам ходить «по стеклу босиком да кровавым песком...» Прочел он мне только несколько строк — я запомнила про утюги и веревки — и никогда больше про эти стихи не упоминал³⁴⁷. «Не спрашивай, — просил он, — а то в самом деле случится».

А у нас была примета, что вещи, попадающие в стихи, должны пропасть. О.М. самым нелепым образом потерял белорукую трость, упомянутую в «Патриархе» — «То усмехнусь, то робко приосанюсь И с белорукой тростью выхожу»; плед, которым я должна была его укрыть — «Ты меня им покроешь, как флагом военным, когда я умру», — расползся почти сразу, от него осталась только тряпочка, и я все вожу ее с собой... И квартиру, за которую я столько боролась, О.М. загубил, и щегла съела кошка, и сама потом пропала. Хорошо еще, что я не ослепла. Этого я всегда боялась, но один мудрый художник еще в сталинское время утешил меня: мы раньше умрем, чем ослепнем, да нам еще помогут...

ОДА

Понимание действительности приходит к поэту вместе со стихами, потому что в них заключен элемент предвосхищения будущего. Глаз хищной птицы плохо разбирает ближние предметы, но способен обозреть огромный охотничий участок, а жители ада, как известно, слепы к настоящему, но видят

будущее. «Все они такие», — равнодушно сказала Анна Андреевна, когда я ей показала какой-то стишок О.М. с явным предвидением будущего. «Их» она изучила и ничему не удивлялась...

Во «Второй воронежской тетради» есть цикл, маткой которого была насильственная «Ода»³⁴⁸, но она не выполнила своего назначения и не спасла О.М. Из «Оды» вышло множество стихов, совершенно на нее непохожих, противоположных ей, как будто здесь действовал закон об отдаче пружины.

«Щеглиный» цикл развивался на обостренной жажде жизни, на ее утверждении, но предчувствие беды пробивалось в нем с первых минут. Оно в предчувствии приближающейся смерти: «В сиреневые сани Усядусь поскорей» — О.М. вспомнил «в санях сидючи»³⁴⁹, — в предвидении нашей разлуки и ужасов, нас подстерегающих. Мы переживали только «начало грозных дел», а будущее приближалось «осторожно», «грозно» и неотвратимо, как туча в стихах о «темноводье». Наконец, О.М. написал стихи про равнины и как по ним ползет тот, «о котором мы во сне кричим — народов будущих Иуда»³⁵⁰, и увидел все с такой ясностью, что перед ним стала дилемма: пассивно дожидаться гибели или сделать попытку спастись. 12 января 1937 года — переломный момент — и конец «щеглиных» стихов, и начало нового цикла, выросшего вокруг «Оды».

Человек, которому написана «Ода», так занимал наше воображение, что замаскированные высказывания о нем можно обнаружить в самых неожиданных местах. Ассоциативные ходы всегда выдают О.М. — у него прочные и постоянные ассоциации. Откуда, например, появился «кумир», живущий «внутри горы», — здесь может быть внешнее сходство: Кремль — кремень — камень... Кумир этот когда-то был человеком — приезжавшая с Яхонтовым жена Лиля, сталинистка умильного типа, рассказывала О.М., каким дивным юношей — революционером, смельчаком, живчиком — был Сталин... И тут же в этом стихотворении возникло опасное слово «жир», напоминавшее о жирных пальцах... Живя в Ассирии, нельзя не думать об ассирийце³⁵¹, и О.М. начал готовиться к «Оде»³⁵².

У окна в портнихиной комнате стоял квадратный обеденный стол, служивший нам для всего на свете. О.М. завладел столом и разложил на нем карандаши и бумагу. Ничего подобного он никогда не делал: бумага и карандаши ведь требовались

только в конце работы. Но ради «Оды» он решил изменить свои привычки, и нам пришлось отныне обедать на краешке стола, а то и на подоконнике. Каждое утро О.М. садился к столу и брал в руки карандаш: писатель как писатель. Просто Федин какой-то... Я еще ждала, что он скажет: «Каждый день хоть одну строчку», но этого, слава Богу, не случилось... Посидев с полчаса в писательской позе, О.М. вдруг вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства: «Вот Асеев — мастер. Он бы не задумался и сразу написал...» Потом, внезапно успокоившись, О.М. ложился на кровать, просил чаю, поднимался, кормил сахаром через форточку соседского пса — чтобы добраться до форточки, надо было влезть на стол с аккуратно разложенной бумагой, — снова расхаживал по комнате и, прояснившись, начинал бормотать. Это значило, что он не сумел задушить собственные стихи, и они, вырвавшись, победили рогатую нечисть. Попытка насилия над собой упорно не удавалась. Искусственно задуманное стихотворение, в которое О.М. решил вложить весь бушующий в нем материал, стало маткой целого цикла противоположно направленных, враждебных ему стихов. Этот цикл открывается стихотворением «Дрожжи мира» и идет до конца «Второй тетради».

Формальный признак родства «Оды» и стихов этого цикла — повторяющиеся и здесь и там слова и звуковой состав ряда рифм. В «Оде» стержневое слово — «ось»: «мира ось», «сходства ось»... Оно встретится и в «Бесенке», и в «Осах»: «Вооруженный зреньем узких ос, Сосущих ось земную, ось земную...» По всем стихам цикла и «Оды» разбросаны рифмы и ассонансы со звуком «с»: окись — примесь, косит — просит, голос — боролись, Эльбрус — светло-рус, мясо — часа, износ — разноголос... Но существенней формальных примет смысловая противопоставленность «Оды» и свободных стихов этого цикла.

В «Оде» художник в слезах рисует портрет вождя, а в «Осах» О.М. неожиданно сообщает, что не умеет рисовать: «И не рисую я, и не пою...» О.М. сам удивился этому неожиданному признанию: «Смотри, в чем мои недостатки: оказывается, я не рисую...»

Эсхил и Прометей из «Оды» привели в вольных стихах к теме трагедии и мученичества, а губы — орудие работы

поэта — наступают и вводят «прямо в суть» трагедии. Тема мученичества повторилась в «Рембрандте», где О.М. прямо говорит о себе — «резкость моего горящего ребра» — и о своей Голгофе, лишенной всякого великолепия. Рембрандтовская маленькая Голгофа, как и греческая керамика черно-красного периода, — остаток богатств Дерптского университета — находились тогда в воронежском музее, куда мы постоянно ходили.

Кавказ, упоминаемый в «Оде» как место рождения воспеваемого лица, запомнил не властелина, а стихотворца со стертými подошвами. Эльбрус становится мерой потребности народа, который нуждается и в его снегах, и в хлебе, а в такой же мере и в «таинственно-родном» стихе. А самой первой реакцией на «Оду» была жалоба, что «мое прямое дело тараторит вкось», потому что «по нему прошло другое, надсмеялось, сбило ось»...

Поэзия — это «дрожжи мира»; «сладкогласный труд» — безгрешен. О.М. заявил в этом цикле, что он поет, когда «не хитрит сознание», и восхвалил «бескорыстную песнь»: «Песнь бескорыстная сама себе хвала, Утеха для друзей, а для врагов — смола». Враг, вселенный в нашу квартиру, так называемый писатель-генерал³⁵³, самолично переписывал на собственной машинке — тогда почти ни у кого не было такой роскоши — все стихи О.М. Это называлось любезностью, но отказать ему в текстах было невозможно — он бы раздобыл их из-под моей подушки. Для остротки он подчеркнул красным карандашом строчки о бескорыстной песне. Когда откроются архивы, стоит поискать донос об этом стихотворении³⁵⁴.

В стихах этого цикла О.М. прославил человека: «Не сравнивай — живущий несравним» — и отдал последнюю дань жизнелюбию. И он оплакал погасшие очи, которые были «острее точимой косы» и не успели взглянуться «в одинокое множество звезд». Там же он подвел итоги жизни: «И я сопровождал восторг вселенский, Как вполголосная органная игра Сопровождает голос женский». Говоря о себе, он употребил «неумолимое прошедшее», как сказано в «Разговоре о Данте». Прошло еще несколько месяцев, и он сказал Анне Андреевне: «Я к смерти готов...» Эти слова вошли в ее поэму, а на посвящении стоит дата смерти О.М. — 27 декабря 1938.

Но вершиной цикла были гордые слова обреченного на смерть, но еще боровшегося за жизнь человека: «Несчастлив тот, кого, как тень его, Пугает лай и ветер косит, И беден тот, кто, сам полуживой, У тени милостыни просит»³⁵⁵.

Тот, у кого все просили милости, назван тенью, и, действительно, он оказался тенью. Бородатый, задыхающийся, всем напуганный и ничего не боящийся человек, растоптанный и обреченный, в последние свои дни еще раз бросил вызов диктатору, облеченному такой полнотой власти, какой не знал мир.

Люди, обладавшие голосом, подвергались самой гнусной из всех пыток: у них вырывали язык, а обрубком приказывали славить властелина. Инстинкт жизни необорим, и он толкал людей на эту форму самоуничтожения, лишь бы продлить физическое существование. Уцелевшие оказались такими же мертвецами, как и погибшие. Перечислять их имена не стоит, но из действовавших в те годы поколений не сохранилось даже свидетелей и очевидцев. Запутавшиеся, они все равно не распутаются и ничего не скажут обрубками своих языков. А среди них было много таких, что в иных условиях нашли бы свой путь и свои слова.

«Ода» все же была написана, но своего назначения не выполнила и О.М. не спасла. В последний момент О.М. все же сделал то, что от него требовали, — сочинил славословие. Быть может, именно поэтому меня не уничтожили, хотя сгоряча пробовали. Обычно вдовам все же зачитывалось, если муж выполнял «заказ», даже если этот заказ не принимался. И О.М. это знал. А я спасла стихи, иначе они сохранились бы только в диких бродячих списках 37 года.

Чтобы понять до конца мольбу о чаше, надо знать, до чего невыносимо медленное и постепенное приближение гибели. Ждать «свинцовой горошины»³⁵⁶ гораздо труднее, чем упасть скошенным на землю. Мы ждали конца весь последний воронежский год, а потом еще один год скитаний в Подмоскovie.

Чтобы написать такую «Оду», надо настроиться, как инструмент, сознательно поддаться общему гипнозу и заморозить себя словами литургии, которая заглушала в наши дни все человеческие голоса. Поэт иначе ничего не сочинит — готового умения у него нет. Начало 37 года прошло у О.М.

в диком эксперименте над самим собой. Взвинчивая и настраивая себя для «Оды», он сам разрушал свою психику. «Теперь я понимаю, — сказал он Анне Андреевне, — это была болезнь».

«Почему, когда я думаю о нем, передо мной все головы — бугры голов? Что он делает с этими головами?» — говорил мне О.М.³⁵⁷

Уезжая из Воронежа, О.М. просил Наташу уничтожить «Оду». Многие советовали мне скрыть ее, будто ничего подобного никогда не было. Но я этого не делаю, потому что правда была бы неполной: двойное бытие — абсолютный факт нашей эпохи, и никто его не избежал. Только другие сочиняли эти оды в своих квартирах и дачах и получали за них награды, а О.М. сделал это с веревкой на шее... Ахматова — когда веревку стягивали на шее у ее сына. Кто осудит их за эти стихи?!

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

В начале января 1937 года, когда О.М. только что записал «Улыбнись, ягненок гневный», к нам пришел мальчишка, совершенный сопляк, и, усевшись, сказал, что «писатели должны сотрудничать с читателями». Песенка была знакомая: он добивался, чтобы О.М. выдал для переписки новые стихи. За этим его и прислали, но забыли проинструктировать — он путался, врал, нес ахинею и не сумел даже толком объяснить, что ему нужно.

Все мы народ терпеливый, и у нас есть золотое правило: если на тебя наседают, ни в коем случае не упрямясь — голосуй, подписывайся под любым воззванием, покупай облигации и отвечай стукачам на все вопросы, чтобы они могли отчитаться перед своим начальством, иначе «затаскают», как говорят в народе, и своего все равно добьются. Главное в этих ситуациях — поскорее отвязаться от наседающих. О.М. тоже придерживался этого правила, но тут почему-то разозлился или, как это называла Анна Андреевна, «вышел из берегов». На фоне общего безлюдия такие визитеры, как этот мальчишка, были, по-видимому, совершенно непереносимы. Сгоряча О.М. выгнал непрошеного гостя, а потом сам над собой смеялся: экая блажь пришла в голову — требую, чтобы ко мне

присылали квалифицированных сексотов! Но когда на смену изгнанному явился второй, постарше, но той же квалификации, О.М. уже не смеялся, а просто «забился в падучей» — я опять прибегаю к терминологии Ахматовой.

Разоблачать агентов не полагалось — стоящее за ними учреждение не терпело, чтобы компрометировали его работу, и рано или поздно обрушивалось на разоблачителя. Даже и сейчас многие из побывавших в тюрьмах и лагерях предпочитают помалкивать о своих «крестных отцах» — не стоит связываться, потом не развяжешься... А в те годы молчали все.

Редкие исключения только подтверждают правило. Таким исключением, например, считалась Мариэтта Шагинян. Все знали, что она к себе не подпускает никаких шпииков — если кто из них осмелится приблизиться, она поднимает крик, чтобы изобличить его при всем честном народе. В 34 году она проделала такую штуку при мне, и я, кажется, разгадала ее хитрость. Мы вместе вышли из Гослитиздата, и она расспрашивала меня о нашей воронежской жизни — в те дни никто не избегал и не боялся нас, потому что уже широко разнесся слух о разговоре Сталина с Пастернаком. Вслед за нами выскочил и побежал вдогонку за мной поэт Б. — ему тоже хотелось узнать про О.М. Б.-то и попался под горячую руку Мариэтте. «Меня принимают в ЦК, — кричала она. — Я не позволю, чтобы за мною гонялись шпиики...» Я пыталась остановить Мариэтту, объясняя, что Б. мой хороший знакомый. Она и слышать ничего не хотела, и у меня появилось подозрение, что выбор объекта для скандала произведен вполне сознательно. Мариэтта набрасывалась на вполне порядочных людей, надеясь отпугнуть этим настоящих стукачей, с которыми она, конечно, не посмела бы себя так вести. Но даже Мариэтта, повторяю, была исключением, и осведомители, не встречая ни малейшего сопротивления, становились все распущеннее и наглее.

Воронежский стукач, сменивший изгнанного сопляка, приходил когда ему вздумается, в самое неурочное время: утром, вечером, днем — да к тому же без стука — дверь в «домике без крыльца» обычно не запиралась, потому что Вадик, горячий участник птичьего торга и знаток снегирей и щеглов, непрерывно гонял на улице. Новый стукач так неожиданно возникал на пороге, что мы только ахали и не успевали убрать

со стола рукописи. Не раздеваясь, он присаживался к столу и начинал перебирать бумаги, сопровождая это занятие своими комментариями: «Сколько здесь куплетов? Ничего не разберешь — что за почерк! Вот у нее (то есть у меня) хороший...» О.М. вырывал у него рукописи и в бешенстве рвал их на куски. Потом приходилось восстанавливать записи по памяти, и это еще больше разжигало наше бешенство.

«Почему вы приходите в рабочие часы?» — спрашивал О.М.: стукач выдавал себя за рабочего, фрезеровщика или слесаря... Тот отвечал, что отпросился или что у него теперь ночная смена. «И вас отпускают с завода, когда вам захочется?» — спрашивали мы, но ему все было нипочем, и он говорил первое, что ему придет на ум, нисколько не заботясь о правдоподобии. Выпроводив его, О.М. всякий раз говорил: «Теперь кончено, он больше не придет...» Ему казалось, что у парня не хватит совести снова прийти в дом, где его разоблачили... Напрасная надежда: дня через два или три все повторялось сначала. Какой дурак признается начальству в своей неудаче, а ведь разоблаченному агенту полщены...

В работе уже была «Нищенка» — «Несчастлив тот, кого, как тень его, Пугает лай и ветер косит», когда О.М. позвонил в ГПУ и потребовал приема у начальника. Он этого добился вопреки всем обычаям; нормально было бы, если б ему предложили написать заявление и опустить его в специальный ящик в комендантской. Общение со всяким начальством ведется у нас такими заявлениями, которые опускаются в ящик.

Я узнала об этой затее, когда прием уже был назначен, и пошла в «большой дом» вместе с О.М. После припадка стенокардии летом 36 года О.М. избегал выходить один. Он даже не пошел бы звонить по телефону без меня, если б телефонная станция с ближайшим автоматом не находилась в двух шагах. Кстати, Наташа вспомнила, что однажды они вышли вместе погулять и О.М. потащил ее к автомату, позвонил в ГПУ и справился, назначен ли уже прием. От меня он попросил это скрыть — знал, что я буду против: все равно ничего не выйдет, а напоминать о себе не следует...

В комендантской после недолгих переговоров нам выдали пропуск на двоих — в Воронеже знали, что О.М. болен и один не выходит. Нас принял заместитель начальника, человек

общекрасноармейского типа. Этот типаж часто встречается среди высших начальников карательных учреждений. О.М. уверял, что таких специально держат для внешних сношений, чтобы по их широким, открытым лицам нельзя было бы прочесть того, что делается «внутри». Тот, который принимал нас, вскоре перешел в кинематографию³⁵⁸, и Шкловский уверял, что с ним можно иметь дело — широкий человек... Вероятно, симпатией кинематографистов пользовался и Фурманов-младший, проделавший тот же путь. Впрочем, в кинематографии людей с такой анкетой хоть пруд пруди. Их полно и в других местах, особенно в научных институтах и вузах, где они занимаются научной работой на кафедрах литературы, философии и экономики. Принимают их всюду с большой охотой — это называется «укреплять кадры». У меня создалось впечатление, что через «органы» сознательно пропускали массы молодежи — они как бы проходили там стаж и получали воспитание. Потом их выпускали в широкую жизнь, но свою альма-матер они не забывали никогда.

Среди них попадались славные малые, которые по пьяной лавочке умели рассказать много забавных историй: как им жилось и служилось и как они вырвались на волю. В Чувашском пединституте я знавала одного такого доброго малого. Он писал диссертацию о материальной базе колхозов Чувашии и жаловался, что в этом вопросе сам черт ногу сломит. Он мне рассказывал, как в поисках «романтики» пошел после школы в органы и ему пришлось в мороз и жару выстаивать часами перед домом, где жил какой-то старик, и отмечать всех, кто к нему заходит. А к тому, как назло, не заходил никто, а сам он, «гнилой старикашка», носа на улицу не высунет, только иногда отодвинет занавесочку и выглянет. Диссертанту даже казалось иногда, что старику просто поручено следить, выстаивает ли юный чекист все положенные часы или сбегает в пивную... «А то с чего бы он на меня поглядывал? Какой ему интерес?» — недоумевал мой сослуживец, один из тех, кого мы с Анной Андреевной называли «Васями». Но тем, что дежурили у дома Ахматовой, все же было веселее — к ней нет-нет да зайдет кто-нибудь, одну ее все-таки не оставляли. «Гнилой старикашка», кстати, был бывшим меньшевиком, как предупредили «Васю».

К людям, пришедшим в учреждения из органов, товарищи относились неплохо. Среди них, говорят, никогда не вербовали осведомителей, и это вполне естественно: какой-нибудь даме или юноше из известной интеллигентской или дворянской семьи легче втереться в доверие и вызвать знакомых на откровенность, чем бывшему чекисту. К тому же такие люди, «укрепившие кадры», не боялись сокращений и потому меньше участвовали в учрежденческих склоках, направленных на уничтожение конкурентов.

Воронежский начальник принял нас в огромном кабинете с такими же дверями или шкапами, как у московского следователя. Он спросил у О.М., какое у него дело, и поглядывал на нас с явным любопытством — не потому ли он нарушил обычай и принял нас, что ему захотелось посмотреть, какая птица сидит у него в клетке? Ведь у начальников тоже бывают человеческие слабости. Но думаю, что советскому генералу О.М. импонировать не мог. Не так должен был представляться писатель людям этого учреждения. Изможденный, с свалившимися щеками и белыми губами, Мандельштам казался «полуживым», как он назвал себя в «Нищенке», рядом с плечистым, начинающим толстеть, но еще подтянутым начальником, бритым и бело-розовым.

О.М. сказал, что пришел по двум вопросам. Первый — как заработать денег на жизнь. Ссылного не принимают на работу ни в какое учреждение, иначе принявшего выгонят вместе с принятым, обвинив в «отсутствии бдительности». Биржи труда — нет. Как осуществить право на труд? Сейчас перед О.М. все двери закрыты, но пока его пускали, он неоднократно обращался в советские и партийные организации с этим вопросом. В последний раз, летом 36 года, ему удалось пробиться в обком, где он говорил о своем трудоустройстве. Ему там сказали: «Вам надо начинать сначала — поступайте хоть сторожем или гардеробщиком и покажите себя на работе...» Но это лицемерие — сторожем его тоже не возьмут по причине той же бдительности, и кроме того, если интеллигент пойдет на такую должность, это будет истолковано как политическая демонстрация. Все организации, начиная с Союза писателей, утверждают, что О.М. к ним никакого отношения не имеет, и поэтому заниматься его трудоустройством они не должны и не будут. Очевидно, О.М. «имеет отношение только к вашему

учреждению». Поскольку лагерников обеспечивают работой, О.М. спрашивает, не распространяется ли это на ссыльных...

Начальник ответил, что трудоустройством ссыльных органы не занимаются — это была бы «слишком большая нагрузка», в которой нет нужды, потому что ссыльные вольны заниматься чем угодно, а безработицы у нас, как известно, нет.

— А чем вы сейчас занимаетесь? — прибавил он.

О.М. ответил, что, не имея никакой оплачиваемой работы, он занимается испанским языком и литературой, в частности одним поэтом, евреем по национальности, который много лет просидел в подвалах инквизиции и каждый день сочинял по сонету³⁵⁹. Выпущенный на волю, он записал свои сонеты, но вскоре его снова забрали и посадили на цепь. Неизвестно, продолжал ли он и тогда свою поэтическую деятельность... Может, в клубе МГБ можно организовать кружок испанского языка и поручить О.М. руководство?

Я не могу сказать наверняка, но, кажется, ко времени приема до нас уже дошли слухи об аресте ленинградских испанистов³⁶⁰, и О.М. поэтому из всех своих занятий выбрал это, чтобы сообщить начальнику.

Начальник очень удивился, услышав про испанские проекты О.М. Он ответил, что «наши молодцы» вряд ли заинтересуются испанским языком. Мне кажется, он даже не оценил рассказа про инквизицию и только недоумевал, что за чудак сидит перед ним...

— А почему вам не помогают родные или друзья? — внезапно спросил он. О.М. ответил, что родных нет, а друзья при встречах отворачиваются, а на письма не отвечают: «Вы сами понимаете, почему...»

— Мы никому не запрещаем встречаться с ссыльными, — добродушно рассмеялся начальник и предложил перейти ко второму вопросу.

Оказалось, что речь идет о стихах: О.М. предложил начальнику отправлять ему все новые стихи по почте. «Чтобы вам не приходилось ради этого отрывать от дела своих работников», — пояснил он. Ему хотелось, как он мне потом сказал, повторить за начальником слово «молодцы»: «Зачем вашим молодцам таскаться ко мне за стихами?» Но от этой сугубо патриархальной терминологии он, к счастью, воздержался.

Начальник становился все добродушнее. Он заверил О.М., что его учреждение никакими стихами не интересуется — только контрреволюцией! «Зачем нам ваши стихи — пишите, что хотите!» — но тут же он неожиданно прибавил: «А почему вы написали те стихи, из-за которых все вышло? Испугались коллективизации?» В партийных кругах было принято говорить о раскулачивании как о прошлом, изящно признаваясь, что это дело, необходимое и полезное, проводилось так решительно — «перегибы, конечно, имели место, не скроешь», — что действовало на нервы кое-каким неустойчивым гражданам. Ответ О.М. прозвучал неопределенно: вроде и так, да не совсем... а может, не только...

Во время нашего разговора начальнику позвонили по телефону, и мы запомнили его реплики: «Да, да... это клевета... пришлите, оформим...» Мы поняли, что решается чья-то участь и оформляется ордер на арест по доносу: некто что-то сказал... Этого было достаточно, чтобы исчезнуть из жизни. Что бы мы ни сказали — обыкновенного, такого, как говорят повсюду, кроме нашей страны, — нам можно было это предъявить в качестве обвинения. Расходясь после разговора с друзьями, мы часто подытоживали: «Сегодня мы наговорили на десять лет...»

Расстались мы с начальником вполне дружелюбно. Я спросила у О.М.: «Зачем тебе понадобилась эта петрушка?» Он ответил: «Пусть знает», а я с обычной женской логикой завопила, что «они и так все знают»... Однако настроения О.М. мне испортить не удалось, и несколько дней он ходил веселый, вспоминая детали разговора. Кое-чего он все же добился: стукачей словно смыло и ни один из них больше не появлялся до самого конца воронежской жизни. А зачем они, собственно, были нужны? Ведь стихи все равно попадали куда следует, правда в Москве, а не в Воронеже, через бдительного Костырева и редакции журналов.

Остается вопрос: почему начальник убрал от нас своих стукачей вместо того, чтобы обвинить О.М. в клевете и выписать на него ордер? Быть может, еще действовал приказ «изолировать, но сохранить» или же О.М. числился «за Москвой», а Воронеж присылал своих стукачей просто из служебного запала: и мы не лыком шиты! А возможно, что начальник просто позволил себе некоторый либерализм. Это иногда случалось: ведь

начальники тоже люди и, может, некоторым из них надоедало убивать. Странно только, что все это делали люди, самые обыкновенные люди: «Такие же люди, как вы, с глазами, вдолбленными в череп. Такие же судьи, как вы...»³⁶¹ Как это объяснить? Как это понять? И еще один вопрос: зачем?

МОЯ СВЯТАЯ

Срок трехлетней ссылки кончался в середине мая 1937 года, но кто интересовался сроками? Мы не формалисты — срок — это вопрос удачи, а не права: могут скостить, а могут и прибавить — кому как повезет. Опытные ссыльные, вроде чердынских, радовались, если им с ходу прибавляли несколько лет. Ведь законное оформление «прибавки» означало бы новый арест, новые допросы и обвинения, а потом ссылку в новое, еще необжитое место, а лагерники и ссыльные знают, как важно продержаться как можно дольше на одном месте. В этом, в сущности, закон спасения — люди обзаводятся друзьями, которые помогают друг другу переносить каторжные условия, обрастают жалким скарбом, пускают, так сказать, корни и тратят меньше сил на борьбу за существование. Да что говорить о ссыльных! Для любого человека переезд в наших условиях — непосильная встряска; ведь недаром же люди так держатся за свою жилплощадь. Только неисправимый бродяга О.М., для которого была невыносима сама мысль о прикреплении, мог тяготиться Воронежем и мечтать о перемене местожительства. Ничего, кроме беды, никакая перемена не приносит.

В апреле я ездила в Москву и, убедившись, что передо мной гладкая стена, которую нельзя прошибить, писала для утешения в Воронеж, что близится срок и мы скоро куда-нибудь переедем. О.М. никак не реагировал на эти утешения. Попалась на удочку моя мать, которая приехала в Воронеж пожить с О.М., чтобы дать мне возможность съездить в Москву за новыми надеждами.

Зачем на пороге новой эры, в самом начале братоубийственного двадцатого века, меня называли Надеждой? Я ведь только и слышала от друзей и знакомых: «Не надейся,

что кто-нибудь поможет, — все привыкли, что вы погибаете... На частную помощь не надейся, на работу не надейся... Никто не прочтет твоего письма — не надейся... Никто не пожмет руку — не надейся... Никто не поклонится при встрече — не надейся... Ишь чего вздумала!»...

А на что было надеяться? Ведь без надежды жить нельзя, и приходилось мне идти от одной обманувшей надежды к другой. В Воронеже мы могли жить только на частную помощь, как нам посоветовал великодушный начальник МГБ³⁶², но мы убедились, что надеяться на нее не следует, поэтому у нас не оставалось ничего, кроме надежды на переезд.

16 мая 1937 года мы пошли в комендантскую МГБ к тому самому окошку, куда три года назад О.М. сдал сопроводительную бумажку из Чердыни и через которое ему надлежало вести все переговоры с государством о своей судьбе. Сюда приходили регистрироваться «прикрепленные» — кто раз в месяц, а кто каждые три дня. Нас было много — человеческой мелюзги, взятой на мушку государством, и поэтому у окошка всегда топталась большая очередь, но мы даже не подозревали, что эти толпы — признак устойчивости и благополучия, потому что продолжается эпоха, которую Ахматова назвала «сравнительно вегетарианской». Все постигается сравнением. Вскоре мы прочли в газетах, что каторжники при Ягоде жили в лагерях, как на курортах. Все газеты хором обвиняли Ягоду в попустительстве лагерному и ссыльному сброду³⁶³. «Оказывается, — сказали мы друг другу, — мы были в лапах у гуманистов. Кто бы мог подумать!»

В середине мая 37 года очередь к окошку стояла крохотная — с десятков или полтора мрачных, ободранных интеллигентов. «Разъехались из Воронежа», — шепнул мне О.М. Несмотря на изоляцию, мы тотчас поняли, в чем дело: большинство прикрепленных уже сидели повторно, а новых не присылали. С «вегетарианством» покончили — никаких «минусов» и «прикреплений» больше не давали. Из тюрьмы открывались только две дороги: в лагерь или на тот свет. Кое-кто устался и тюремного заключения. Даже жен и детей почти перестали высылать на поселение, их тоже предпочитали интернировать в специальные лагеря. Для детей, даже маленьких, завели особые детские дома. В них видели будущих мстителей

за отцов³⁶⁴. «У Гумилева, наверное, есть какое-нибудь дело, — сказал мне в 56 году Сурков. — Такого отца расстреляли! Он, должно быть, хотел за него отомстить...»³⁶⁵ Любопытно, что Сурков сказал это мне: проникнувшись кавказской психологией, он считал, что кровная месть дело мужчин, а не женщин... А до 1937 года потенциальные мстители еще выслались и заполняли очереди у окошек провинциальных комендантских.

Приехав в Воронеж, мы застали там юношу Столетова, одинокого и полубезумного. Он бродил по улицам и жаловался на своего отца, который оказался «вредителем». В 37 году сын расстрелянного попал бы не в Воронеж, а прямо за колючую проволоку. Не помогли бы ему жалобы на отца, которым, кстати, никто, включая меня и О.М., не верил.

Но бывали сыновья, которые искренне проклинали погибших родителей. После смерти О.М. я очутилась в пригороде Калинина (Твери), где жили несколько жен, получивших случайно не лагерь, а высылку. Там поселили мальчика лет четырнадцати, родственника или свойственника Сталина. О нем пеклась жившая неподалеку тетка, тоже высланная, и бывшая гувернантка. Родители исчезли, как в воду канули. Мальчик целыми днями проклинал отца и мать — изменников, предателей рабочего класса, врагов народа... Он нашел формулировку, подсказанную тщательным воспитанием: «Сталин мой отец, другого мне не надо», и вспоминал героя советских хрестоматий Павлика Морозова, сумевшего вовремя донести на своих родителей. А этого мучила мысль, что он вовремя не сумел обнаружить преступную деятельность своих отца и матери и не попал из-за этого в хрестоматийные герои. Тетке и гувернантке оставалось только молчать. Они знали, что сделает их питомец, если они скажут хоть слово. Вот этот-то мальчик остался и в 37 году на вольном поселении, но исключение только подтверждает правило, и в Воронеж больше ссыльных пополнений не посылали.

Без всякой веры и надежды мы простояли с полчаса в жидкой очереди: «Какой-то нас ждет сюрприз?» — шепнул мне О.М., подходя к окошку. Там он назвал свою фамилию и спросил, нет ли для него чего-нибудь, поскольку срок его высылки окончился. Ему протянули бумажку. В первую минуту он не мог разобрать, что там написано, потом ахнул и вернулся

к дежурному в окошке. «Значит, я могу ехать куда хочу?» — спросил он. Дежурный рывкнул — они всегда рывкали, это был их способ разговаривать с посетителями, — и мы поняли, что О.М. вернули свободу. По всей очереди, уныло топтавшейся за нами, словно пробежала искра. Люди зашевелились и начали шептаться. Наш случай, видно, пробудил в них угасшую надежду: если отпустили одного, могут отпустить и другого...

Несколько дней ушло на ликвидацию воронежской оседлости. Несмотря на нищету, у нас скопилась какая-то утварь. Мы завели ведра, бак для воды, сковородку, уют — О.М. написал Бенедикту Лившицу, что я отлично глажу мужские рубашки, — плитку, лампу, керосинку, тюфяк и сеник, банки, тарелки, две или три кастрюли. Все это покупалось на базаре и стоило очень дорого — каждое приобретение было событием. Но еще дороже обошлось бы, если бы мы вздумали тащить с собой всю эту жуть: извозчики и носильщики нас бы разорили, хотя слово «разорить» неуместно в нашем положении. Часть вещей мы продали, но большинство роздали. К чему, например, ведра в Москве — ведь там водопровод...

Мы ничуть не сомневались, что возвращаемся в Москву: если в такое тяжелое время О.М. не надбавили срока, значит, его решено вернуть. И тут мы почему-то вспомнили, что нам почему-то сохраняют квартиру целых три года... Сколько раз писатели, тяготившиеся своей однокомнатностью, просили, чтобы у нас отобрали наши хоромы, и ходили к моей матери, чтобы посмотреть, что там пусто. Она не пускала их в дом и отчитывала тут же на пороге, рассказывая, как по старой интеллигентской этике должен вести себя писатель по отношению к ссыльному коллеге... О Костыреве мы не подумали, продолжая верить в элементарную порядочность представителей общественных организаций — ведь за него поручился сам Ставский! Значит, он освободит комнату, как только она понадобится хозяину... Еще мы вспомнили фразу Сталина в разговоре с Пастернаком: «С Мандельштамом все будет хорошо». Но почему-то мы совершенно забыли то, о чем нас предупреждал Винавер, и еще мы забыли, где мы живем.

Через несколько дней мы сидели на груде вещей на воронежском вокзале. Денег, привезенных мною из Москвы, хватило на три билета — с нами была моя мать. Никто нас

не провожал: Федя находился на службе, а Наташа давала уроки. Ведь Наташа была педагогом, и О.М., всегда сочинявший ей шуточные стишки, придумал: «Если бы проведал Бог, Что Наташа педагог, Он сказал бы: ради Бога, Уберите педагога...» Накануне мы распили бутылку вина, и О.М. все не отпускал Наташу, хотя она жаловалась, что мать будет беспокоиться... И на этот случай есть стишок: «Пришла Наташа. Где была? Небось не ела, не пила... И чует мать, черна как ночь, — Вином и луком пахнет дочь...»

Мы уезжали веселые и полные самых радужных надежд, и мы совершенно забыли, как обманчива и прозрачна та, в честь которой меня назвали...

«ОДИН ДОБАВОЧНЫЙ ДЕНЬ»

Мы открыли дверь собственным ключом и с удивлением увидели, что в квартире никого нет. На столе лежала немногословная записка. Костырев сообщал, что переселился с женой и ребенком на дачу. В комнатах не осталось ни одной костыревской тряпки, словно никто не жил здесь без О.М., не отбирал стихов для переписки, не подслушивал разговоров моих с матерью, братом и немногочисленными друзьями, которые все же решались ко мне зайти. Почему Костырев счел нужным смыться? Во всяком случае, не из деликатности... Мы сочли его исчезновение за добрый знак: ведь он обещал очистить квартиру, как только она понадобится Мандельштаму. Раз он ее освободил, значит, О.М. действительно возвращен...

Отсутствие Костырева и реальность знакомых стен и вещей — кровати, занавески, кастрюли и полки с горсточкой книг — вдруг заслонили весь чердынский и воронежский опыт: у нас создалась иллюзия, будто это настоящий дом, где мы жили и снова будем жить после каких-то непонятных и ненужных скитаний. В одну секунду произошел процесс склеивания прошлого с настоящим, когда вдруг блекнет и выпадает вклинившийся между ними, навязанный извне, а не свободно выбранный кусок жизни. Благодаря своей способности жить настоящим, О.М. умел без оглядки переходить из одного периода

в другой — это видно и из его стихов с их отчетливым делением на этапы. Поэтому, когда он вошел в квартиру, вся трехлетняя ссылка вдруг потеряла достоверность, и процесс склеивания произошел на ходу, без подготовки, вдруг, сразу...

Иногда куски жизни склеиваются, иногда — нет. Я уже рассказывала, как они не захотели склеиваться, когда мы отправились в Чердынь. А вот здесь, в Москве, нам показалось, будто мы и не уезжали. Этот процесс склеивания известен многим. Его испытывали освобожденные лагерники, у которых было куда вернуться. Но огромные толпы пробыли в «нетях» столько лет, что, вернувшись, застали одно пепелище: жен тоже сослали, родители умерли, дети погибли или выросли совершенно чужими. Этим оставалось только заново начинать жизнь, и она состоит у них из нескольких несклеивающихся кусков. Иногда жизнь склеивалась не домом и не семьей, а возвращением к нормальной профессии после многих лет чужой принудительной работы или каторжного труда.

Сама я избежала лагеря, но мне все же пришлось испытать, как склеиваются разрозненные куски жизни. Человек в такие минуты становится самим собой и сбрасывает личину, которую волей обстоятельств ему пришлось носить, как тому, кого прозвали Железной Маской³⁶⁶. Ведь многим из нас разрешалось жить при условии, что мы будем скрывать свою сущность и притворяться одним из тех, в чье общество мы попали. В этих обстоятельствах не полагалось обнаруживать никаких связей со своим прошлым. Раскулаченный мог уцелеть, если он вовремя становился разнорабочим и начисто забывал о земле. Между известием о смерти Мандельштама и моментом, когда я вынула из тайника и положила на стол — вернее, в чемодан, потому что стола у меня нет, — кучку спасенных стихотворений, прошло около двадцати лет, и все эти годы я была кем-то другим и носила, так сказать, железную маску. В сущности, никому не могла я признаться, что не живу, а просто жду, затаившись, когда я снова стану собой и смогу открыто сказать, чего я ждала и что хранила.

Разрозненные части моей жизни склеивались в 56 году, но в мае 1937-го никакого склеивания произойти не могло: историческая тенденция вела не к соединению разрубленных частей, а к углублению разрыва между ними, и в день приезда

в Москву мы попросту стали жертвами зрительной иллюзии, чистейшего обмана чувств. Зато благодаря этой иллюзии О.М. удалось получить свой «один добавочный день»³⁶⁷.

В такой жизни, как наша, все охотно поддаются иллюзии, люди активно ищут, во что бы поверить, за что бы уцепиться, чтобы вернулось чувство реальности. Окруженный мнимостями человек добровольно уходит в мнимую деятельность, завязывает мнимые отношения с людьми или мнимую любовь — лишь бы было за что держаться. «Нам кажется, что все идет как надо и жизнь продолжается, но ведь это только потому, что ходят трамвай», — сказал мне О.М. еще задолго до первого ареста, когда мы как-то вечером стояли на трамвайной остановке. Пустая квартира, где ничего не напоминало о Костыреве, и книжная полка — гораздо лучший предлог для иллюзий, чем переполненный довоенный трамвай...

А мы еще подбадривали друг друга приятными напоминаниями: «Сталин сказал» или «Ставский сказал»... В то время мы уже отлично знали, что стоит у нас слово — самая страшная из всех мнимостей, но старались об этом не думать, чтобы сохранить благодетельную иллюзию. Вместо того чтобы впасть в уныние, трезво обсудив положение и придя к ужасным выводам, мы свалили среди комнаты вещи и сразу пошли к «французам», в маленький музей на улице Кропоткина³⁶⁸.

«Если мне суждено вернуться, — часто повторял в Воронеже О.М., — я сразу пойду к “французам”». Марья Веняминовна Юдина заметила, как О.М. скучает по французской живописи: когда она приезжала в Воронеж, он не забывал о них, даже когда она ему играла. Чтобы утешить его, она прислала ему только что выпущенный музеем альбом³⁶⁹. Все же репродукции, да еще довольно дрянные, это не подлинники, и они только раздражили О.М. Не переодеваясь с дороги, едва выпив вечного чаю, он побежал в музей к самому открытию. Собирался О.М. сходить и к Тышлеру: «Надо насмотреться, пока еще чего-нибудь не случилось...» Тышлера он оценил очень рано, увидав на первой выставке Ост’а серию рисунков «Директор погоды»...³⁷⁰ «Ты не знаешь, какой твой Тышлер», — сказал он мне, приехав в Ялту. В последний раз он был у Тышлера и смотрел его вещи перед самым концом — в марте 38 года.

БЕССАРАБСКАЯ ЛИНЕЙКА

Первым гостем у нас была Анна Андреевна. Она пришла в первый день нашего приезда утром. Свой приезд в Москву она приурочила к нашему возвращению. Я лежала на кухне на матрасе с дикой головной болью, а О.М. бегал взад и вперед по этой крошечной комнатухе — ведь она у нас называлась «капище» — и читал стихи. Он отчитывался во «Второй» и «Третьей» воронежских тетрадах. Обычай отчитываться друг перед другом в каждой написанной строчке установился у них с ранней юности.

В тот день Анна Андреевна прочла впервые обращенные к О.М. стихи про Воронеж. Они кончаются строчками: «А в комнате опального поэта Дежурят страх и муза в свой черед...» Действительно, когда Анна Андреевна гостила в Воронеже, у нас у всех случился припадок отчаянного и бессмысленного страха. Произошло это вечером, в комнате у «агента», который жарил мышей. Мы сидели при коптилке — свет выключили, как это часто бывало в провинции. Вдруг дверь открылась, и в комнату вошел без всякого предупреждения ташкентский биолог Леонов с каким-то спутником. Пугаться не было никаких оснований: мы знали, что у Леонова в Воронеже живет отец и он часто к нему приезжает. Сам Леонов — анахорет или российский дервиш, домашний философ, всегда немного под хмельком — был абсолютно свой человек. Его привел к нам Кузин, и с тех пор он иногда у нас появлялся, а потом снова исчезал в свой ташкентский университет, где он когда-то работал вместе с Поливановым и приобрел вкус ко всякой филологии и поэзии.

Откуда же испуг? Встречаясь с Анной Андреевной, мы всегда чувствовали себя, по крайней мере, заговорщиками и могли испугаться чего угодно. Впрочем, все советские граждане пугались неожиданных посетителей, машин, если они останавливались у дома, и поднимающегося ночью лифта... К приезду Анны Андреевны в Воронеж страх еще не дежурил у нас, а только иногда хватал нас за горло. Зато в Москве, в дни, когда нами овладела иллюзия, мы не боялись ничего. Мы впали в ничем не объяснимое спокойствие и почему-то поверили в прочность нашей жизни. Это невероятно, но факт.

От этих дней в Москве у меня сохранились очень странные отрывочные воспоминания, как будто очень яркие отдельные кадры, а между ними невозстановимые провалы. Следующий кадр, в котором участвует Анна Андреевна, — это несносное ожидание Харджиева: он обещал приехать и привезти вина, но непростительно опоздал, как умели опаздывать только москвичи, когда ни у кого не было часов, а трамвай и автобусы ходили как попало. Анна Андреевна не дождалась Харджиева и ушла к себе — в тот приезд она остановилась у Толстой на Пречистенке. Харджиев все же явился. «Надо водворить ее обратно», — сказал О.М. и позвонил Толстой. Был час пик, Анна Андреевна не попала на трамвай, прошла всю дорогу пешком и едва вошла в переднюю, как ее позвали к телефону. «Возвращайтесь», — сказал О.М., и она тотчас двинулась в обратный путь, как Феб из «антологии античной глупости», шуточных стихов, которые сочиняли в дни беспечной юности Гумилев, Георгий Иванов, Лозинский и О.М.: «Катится по небу Феб в своей золотой колеснице, Завтра тем же путем он возвратится назад...»

Мы сидели в большой комнате — сейчас мы называли ее «костыревской», — а когда пришла Анна Андреевна, вернулись в нашу — проходную, перегородженную шкафом, очень узкую и маленькую. За шкафом стояли только столик и матрац на ножках: однокомнатные люди быстро научились обходиться без кроватей. Матрац стоял обычно возле стены, но сейчас мы поставили его поперек комнаты, испугавшись клопов, — изголовьем к стене. Он занимал почти всю ширину комнаты — оставался только узкий проход к окну, широкому и распахнутому. Я возилась на кухне, а они трое сидели на матраце.

«Бессарабская линейка, — заявил О.М., когда я вошла. — Обнищавшая помещица со своим управляющим, а я — жид...»

В отношениях О.М. и Анны Андреевны всегда чувствовалось, что их дружба завязалась в дурашливой юности. Встречаясь, они молодели и наперебой смешили друг друга. У них были свои словечки, свой домашний язык. Припадки озорного хохота, который овладевал ими при встречах, назывались «большой смиезь» — посмотреть, скажешь: не двое измученных, обреченных людей, а дрянная девчонка, подружившаяся по секрету от старших с каким-то голодранцем...

Выражение «большой смиезь» пошло с тех пор, как Анна Андреевна позировала Альтману, а О.М. прибежал на сеансы. Они рассказывали, будто вошел сосед Альтмана, тоже художник, итальянец по национальности³⁷¹, и, услышав, как они хохочут, сказал: «А здесь, оказывается, большой смиезь...»

Были и другие традиционные слова. Услышав о какой-нибудь нелепой сцене, О.М. всегда говорил: «И никакой неловкости не произошло...» Эта фраза тоже имела свою историю. Как-то Анну Андреевну попросили зайти с поручением к старому, парализованному актеру Г-ну... Ее привели к старику и сказали, кто она. Он посмотрел на нее мутным взглядом и произнес: «Совершенно неинтересное знакомство...» О.М. в незапамятные времена выслушал про этот визит и резюмировал: «И никакой неловкости не произошло...» Так эти две фразы и остались жить... Жизнь делала все, чтобы отучить их смеяться, но они оба туго поддавались воспитанию.

В день, когда грохотала бессарабская линейка, появилось еще одно словечко. Я зажарила яичницу из принесенных Харджиевым яиц и вошла с подносом в комнату. Все трое протянули ко мне руки и закричали: «Она наша мама!», а О.М. тут же переиначил: «Она мама нас!» Я рассердилась: «Старые, противные, почему я вам мама?» — но ничего не помогло, и я так и осталась «маманасом»... Образумить стариков — Николай Иванович был, впрочем, моложе меня — мне не удалось — они ведь были трудновоспитуемые...

Сцена на линейке — последний кадр с Анной Андреевной... Она, вероятно, уехала в Ленинград объясняться с Пуниным. У них уже давно не ладилось — я даже не вспомню, когда она мне в первый раз сказала: «Мне здесь плохо...» В Москве же у нее было объяснение с Гаршиным, которое подтолкнуло окончательный разрыв с Пуниным.

После ее отъезда на линейке появились Яхонтов с Лилей. По наружности Лилю вполне можно было бы принять за бессарабскую дамочку, но она не смеялась, а тщательно перевоспитывала О.М. в духе чувствительного и сентиментального сталинизма — такой тоже был... По ее мнению, писатель, который забыл посвятить себя служению Сталину, — погибший человек: ему закрыты все пути в литературу — кто же станет такого читать? — и он навеки будет предан забвению.

Что Сталин — спаситель человечества, Лиля не сомневалась. Между прочим, она собиралась написать Сталину, что нужно помочь О.М. стать на правильный путь и для этого скорее напечатать все его стихи. Впоследствии такие настроения стали называться «гапоновщиной». Лиля была начитана в партийной литературе, потому что составляла монтажи для Яхонтова. Каждый день у нее появлялся дежурный рассказ о чудесах, творимых вождем. Яхонтов ее настроений не разделял — он больше пошучивал и разыгрывал забавные сценки. Одной из коронных было изображение собственного отца, большого, тучного, потного чиновника, дрожавшего перед начальством. Лилин комментарий: «При царизме все чиновники трусили...» Иногда Яхонтов читал лермонтовского «Пророка», играя палкой, как марионеткой. Палка пробиралась сквозь толпу, пугливо шарахалась, смиренно кланялась Лиле: «Он наг и беден», — говорил Яхонтов, показывая на О.М., а О.М. показывал на Яхонтова, который тогда тоже был нищим. Но деньги в те дни нам, вероятно, давал он, и никаких затруднений не было.

Когда мы уезжали, Лиля сняла с полки какие-то марксистские книжки и хотела дать их О.М. для просвещения, но Яхонтов сказал: «Незачем, совершенно бесполезно», — и подарил О.М. собственную Библию. Он тоже был трудновоспитуемым. Библия и сейчас у меня.

Анна Андреевна хорошо знает и любит Ветхий Завет и охотно обсуждает всякие тонкости с Амусиным, великим знатоком, которого я к ней привела. А О.М. побаивался ветхозаветного Бога и его тоталитарной грозной власти. Он говорил — и эту мысль я впоследствии нашла у Бердяева, — что учением о троичности христианство преодолело единовластие иудейского Бога³⁷². Естественно, что мы страшились единовластия...

ИЛЛЮЗИЯ

Понятие «иллюзия» пришло к нам осенью тридцать третьего года, когда мы только обживали единственную и невосполнимую нашу квартиру в переулке, переименованном в честь наших соседей из Нащокинского в Фурманов.

Однажды к нам постучался человек с дорожной котомкой и спросил брата О.М. — Шуру. У нас гостил отец О.М., и он сразу вспомнил этого человека: носил он невероятную фамилию, состоящую из многих феодальных примет, вроде Долгопаловых, но пользовался он только первой из причитающихся ему кличек, и звали его Бублик. Я хотела отослать гостя к Александру Эмильевичу — пусть сам разбирается с Бубликом! — мне уже надоели ночлежники, которые за неимением гостиниц всегда заезжают в Москве к знакомым, но за Бублика вступился дед. Бублик учился в гимназии с Шурой, и дед помнил его холеным розовым гимназистом. «До чего он дошел!» — чуть не плача, сказал дед. Это была старая тема: «Дети, вы обнищали, до рублища дошли...»³⁷³ О.М. знал, что это значит, и, отпихнув меня в сторону, пригласил Бублика войти. Пришелец решил успокоить нас и тотчас объяснил, что сидел по уголовному делу, так что нам бояться нечего: страшная пятьдесят восьмой даже не пахнет... В те годы О.М. твердо помнил, что у полицейских на Западе есть подлые резиновые дубинки, но Бублик только усмехнулся: «Если б вы знали, что наши делают с уголовниками!» — сказал он. Впрочем, слухи о том, что делают «наши», доходили до нас еще в начале двадцатых годов — и не только с уголовниками.

Бублик был неискоренимо веселый человек. Он убегал встречаться с какими-то товарищами, с которыми собирался податься на дальний север, где «нашего брата полным-полно» и, значит, как-нибудь и его пристроят. Ванны он не признавал — у нас еще не было газового прибора, и мы грели воду в котле на кухне — и бегал по субботам попариться в баню, чтобы потом сразу выпить дома чаю с пряником. Моей заваркой он бывал доволен, но все же предпочитал заваривать собственной рукой. Ему нравилось хлопотать по дому, он любовно прибивал гвозди, закреплял полки и натирал пол воском и мастикой до полного блеска. Он отвык от домашней работы и был рад вместе с О.М. позабавиться самыми мужскими видами работы в нашем упрощенном быту. О.М. часто посылал его с доверенностью в Гослит, и Бублик приносил домой довольно крупные деньги: нам выплачивали шестьдесят процентов за собрание сочинений, которое так и не увидело света, потому что О.М. не пожелал отказаться от «Путешествия в Армению», кучи стихов

и многих статей. Издание, впрочем, все равно бы не осуществилось — у Бухарина не было «приводных ремней», и на каком-нибудь этапе все бы зарезали³⁷⁴, но тактически следовало бы пойти на компромисс и постараться выпустить что угодно. Отсутствие книг позволило нашим официальным лицам распространить слух, что О.М. бросил уже в двадцатых годах поэзию и бродил по кабакам. На эту удочку попались многие у нас, и особенно на Западе. Ведь на Западе отсутствие книг означает, что писатель выбыл из строя, — как им объяснить, что у нас бывает и иначе! Но поэзия — странная штука: ее почему-то нельзя заживо похоронить, и она воскресает, несмотря на усилия даже такого мощного пропагандистского аппарата, как наш. «Я теперь успокоилась, — сказала мне Анна Андреевна в шестидесятых годах. — Ведь мы узнали, до чего живучи стихи...»

Бублик приносил деньги в портфеле и требовал, чтобы я их пересчитывала, — он позволял себе истратить только на бутерброд, чтобы скрасить стояние в очереди к кассе. «Бублик стал незаменим», — говорил О.М. Он особенно ценил гостившего у нас гостя, потому что тот оказался первоклассным латинистом.

С каждым приходящим к нам в дом у О.М. был особый разговор. Кузин и биологи разговаривали о генетике, бергсеновской жизненной силе и Аристотелевой энтелехии. Все они принадлежали к разряду рассказчиков, а не разговорчиков, и О.М. больше прислушивался к их рассказам, чем разговаривал. С Кузиным О.М. часто ходил на концерты — оба они были отличными слушателями музыки и умели — О.М. высвистать, а Кузин напеть — сложнейшие симфонические вещи.

Человеком-оркестром был и Маргулис. Жена Маргулиса, Иза Ханцын, преподает в консерватории. Она часто вспоминает, как О.М. слушал музыку и как она ему играла. Но Иза жила в Ленинграде, а Маргулис мотался по Москве в поисках заработка. О.М. говорил, что Маргулис заменил ему печатный станок: жадный до стихов, он выпрашивал каждый новый стишок, и они расходились в списках. Начинаясь эра рукописной литературы, осложненная тем, что при обысках изымались и рукописи, и книги поэтов.

Забегал к нам Чечановский, с которым я служила в начале тридцатых годов в ЗКП. Этот приглашался специально

для того, чтобы поспорить с марксистом. «Развитие, — говорил Чечановский, — прогресс. Мы не позволим Мандельштаму отнимать у нас прогресс...» Это именно Чечановскому поручили предложить О.М. отречься от «Путешествия в Армению». Занимался ли Чечановский слежкой — неизвестно. Похоже, что нет, да это и неважно: роковых стихов О.М. ему не читал, а каждый вечер давал сколько угодно других поводов для ареста — у нас это не так трудно... Словом, он «наговаривал на десять лет»...

Еще был Нилендер, эллинист и знаток древнееврейского. Бывший морской офицер, он работал в Публичной библиотеке и приходил обычно под полночь, захватив с собой на всякий случай пакетик чаю. Он переводил Софокла и все рассказывал о «золотом сечении». Однажды Шервинский пригласил О.М. с Анной Андреевной послушать перевод. Вдвоем пускать их не следовало: они чего-то там натворили, пришли с хохотом, и О.М. объяснил: «Знакомства нашего на склоне Шервинский нас к себе зазвал Послушать, как Эдип в Колоне С Нилендером маршрутировал...» Еще встречались мы в тот год с Выготским, человеком глубокого ума, психологом, автором книги «Язык и мышление». Выготского в какой-то степени сковывал общий для всех ученых того периода рационализм... На улице мы останавливались со Столпнером, переводчиком Гегеля, который убеждал О.М., что он мыслит не словами...

Среди всех этих немногочисленных собеседников нашел свое место и Бублик. С ним тоже был свой разговор, и с полки снимались книги. О.М. воспользовался чудесной гимназической эрудицией Бублика, и они вместе упивались изгнанническими посланиями Овидия, один — предчувствуя свое будущее, а другой — уже испытав на себе прелести советского изгойства.

Бублик прожил у нас несколько недель и был очень доволен неожиданной передышкой. С его кожи сошел зеленоватый каторжный налет, он посвежел и стал похож на учителя латыни в провинциальной гимназии доброго старого времени. Но товарищи торопили, а ужас перед милицией гнал его прочь из Москвы. Мы попросили его довести до Ленинграда отца О.М., так называемого «деда». Бублик заботливо уложил в смешной старомодный чемодан все жалкое дедово тряпье,

да еще выпросил старый чайник — «чтобы сбегать когда за кипятком» — и рваное одеяло — «нечего нам в вагоне на белье тратиться»... Чайник он заботливо привязал к ручке чемодана — «не то потеряешь»...

Мы проводили их на вокзал, а на следующий день от деда пришла негодующая телеграмма: Бублик бросил деда на перроне и исчез вместе с чемоданом. Старик оскорбился совершенно смертельно и требовал, чтобы угрозыск немедленно поймал Бублика, отобрал чемодан, вернул владельцу, а преступника предал праведному суду. Для этого О.М. должен был подать хорошо написанное заявление в угрозыск, затем пойти на прием к начальнику и крепко на него нажать, пригрозив своей принадлежностью к писательскому сословию... Иначе, подзревал дед, чемодана не найдут... О.М., конечно, ни в какой угрозыск не пошел, а только удивлялся, почему Бублик соблазнился дедовым чемоданом с заботливо привязанным к ручке чайником, а не приличными госиздатскими деньгами. Мы очень оценили благородство Бублика и купили деду новые фуфайки на остатки госиздатских денег, но старик еще долго бушевал и жаловался, что сам настоял на том, чтобы мы впустили «этого бродягу», который так его предал... Его не утешила и почтовая посылочка от Бублика, в которую он аккуратно запаковал дедовы документы, письма и мемуары... Дед на досуге писал невероятным почерком по-немецки воспоминания о своих странствиях и требовал, чтобы О.М. прочел их и издал...

Вот этот самый Бублик и объяснил нам, что такое иллюзия. В первый вечер, когда О.М. с дедом впустили этого оборванца, я лежала больная и саботировала незваного гостя. Женщины, как известно, чураются всякого неблагополучия и быстро входят в роль полновластных хозяек своих роскошных квартир — охранительницы очага, которого давно нет. Бублик понял это и решил сам приготовить себе постель на ночь. Он расстелил на кухне на полу несколько газет и позвал О.М.: «Осип Эмильевич, вы знаете, что такое иллюзия? Вот!» — и Бублик широким жестом показал на газеты. Этого О.М. выдержать не мог и вытащил из-под меня единственный в доме тюфяк, а я расщедрилась на подушку, простыни и то самое рваное одеяло, которое исчезло потом с дедовым чемоданом.

Наша квартира с книжной полкой, да и весь наш быт — тоже были иллюзией мирного существования. Зарывшись в подушку, мы старались верить, что мы мирно спим.

ЧИТАТЕЛЬ ОДНОЙ КНИГИ

В юности О.М. всегда думал, когда говорил. Потом появилось легкомыслие. В 19 году, еще совсем молодой, он однажды сказал мне, что совсем не нужно иметь много книг: лучший читатель тот, кто всю жизнь читает одну книгу. «Это что ж — Библия?» — спросила я. «Хотя бы», — ответил он. Я вспомнила прекрасных бородатых восточных стариков, читающих всю жизнь свой Коран, единственных, пожалуй, в наше время представителей древней породы, читающей одну книгу, и никак не смогла представить себе в этой роли моего веселого спутника. «Ну я, конечно, нет, — признался он, — но все же...»

Идеальным читателем О.М. не стал — в двадцатом веке однолюб не бывает, но эта вскользь брошенная фраза не случайна. Есть люди, у которых каждое суждение связано с общим пониманием вещей. Это люди целостного миропонимания, а поэты принадлежат, по всей вероятности, именно к этой категории, различаясь только шириной и глубиной охвата. Не это ли свойство толкает их на самовыявление, и не оно ли служит мериллом подлинности поэта? Ведь есть же люди, которые пишут стихи не хуже поэтов, но что-то в их стихах не то, и это сразу ясно всем, но объяснить, в чем дело, невозможно.

А разговоры о непризнании поэта современниками — наивны. Поэта с первых шагов узнают и те, кто рад ему, и те, кого он бесит. А раздражает и бесит он многих. Это, очевидно, неизбежно. Даже Пастернак, так долго и умело избегавший стихийного бешенства нечитателей, так умело и сознательно очаровывавший любого собеседника, не ушел под конец жизни от общей участи. Быть может, поэты вызывают эту ярость чувством своей правоты и «прямышной» суждений: «прямызна нашей речи» — не только пугач для детей³⁷⁵, а прямызна эта является следствием целостного миропонимания... Ведь всякий поэт — «колебатель смысла», то есть он не пользуется

суждениями-формулами, которые в ходу у людей его эпохи, а извлекает мысль из своего миропонимания.

Люди, пользующиеся приличными и общераспространенными формулами, не могут не обижаться, когда перед ними предстает мысль — сырая, неотработанная, с еще не стершимися углами... Не в таком ли смысле говорил О.М. о сырьевой природе поэзии, о том, что она — несравненно большее сырье, чем даже живая разговорная речь? Люди, чурающиеся этого сырья, говорят: «А чем он лучше нас?» или: «Очень он обидчивый, подозрительный, заносчивый — вечно спорит, всех учит...» Под эти погудки шла травля и Ахматовой, и Мандельштама, и Пастернака, и Маяковского, пока его не сделали государственным поэтом. Все это продолжали долго говорить даже о мертвом Гумилеве. Без этого не обойтись, как ни старайся, но, когда производится пересмотр, люди готовых формул сразу забывают, что они говорили неделю назад, потому что старые формулы они сменили новыми. Нельзя только забывать, что, кроме нечитателей, поэт всегда окружен друзьями. Побеждают почему-то всегда они.

Говоря о «читателе одной книги», О.М. метил в ненавистную ему способность равнодушно поглощать несовместимые вещи, в ослабленное чувство выбора, в то, что он назвал «всеприимность» — чем была матушка-филология, и чем стала — «была вся кровь, вся нетерпимость, а стала псякровка, стала всеприимность...»³⁷⁶.

Другое имя этому — «всеядность». Первую филиппику против всеядности я выслушала тоже в девятнадцатом году в Киеве, когда О.М. накинулся на Брюсова за стихи про исторические эпохи, которые он сравнивает с пестрыми фонариками³⁷⁷. Раз возможно такое сравнение, говорил О.М., значит, Брюсову все безразлично, а история для него только предмет любования. Таков смысл, а точных слов я не запомнила, но с Анной Андреевной они употребляли для этого формулу: «века и народы»...

Сам О.М. знал или, по крайней мере, хотел знать, что для него «да», а что «нет». Все его суждения так или иначе относились к одному или другому полюсу, и в этом был своеобразный дуализм, как в древнем учении о добре и зле как двух основах существования. Но ведь поэты не могут быть

равнодушны к добру и злу и никогда не говорят, что все существующее разумно.

Острое чувство выбора и резкая избирательная способность ума О.М. отразились и на том, как он читал. В «записных книжках» к «Путешествию в Армению» есть несколько слов о «демоне чтения», который вырвался из глубины «культуры-опустошительницы». Люди, читая, погружаются в иллюзорный мир и стараются запомнить прочитанное, иначе говоря, полностью отдаются во власть печатного слова. Сам же О.М. предлагал читать, не запоминая, а припоминая, то есть выверяя каждое слово на своем опыте или соразмеряя его со своей основной идеей, той самой, что делает человека личностью. Ведь на пассивном, «запоминающем» чтении спокойному строилась пропаганда общедоступных идеалов и подносились для массового употребления готовые, гладко отшлифованные истины. Такое чтение мысли не будит, а само превращается в своего рода гипноз, хотя у современности есть и более сильные средства для того, чтобы отнимать волю у человека.

О.М. называл чтение «деятельностью», и для него это была прежде всего деятельность отбора. Некоторые книги он перелистывал и просматривал, другие читал с интересом и любопытством, как, например, Хемингуэя и Джойса. Но наряду с этим существовало настоящее формообразующее чтение, книги, с которыми он как бы вступал в контакт, которые определяли какой-нибудь период его жизни или всю жизнь. Приход новой книги, определяющей период жизни, походил на встречу с человеком, которому суждено стать другом. «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен» относится далеко не только к встрече с Кузиным, но в гораздо большей степени к встрече с немецкими поэтами: «Скажите мне, друзья, в какой Валгалле Мы вместе с вами щелкали орехи, Какой свободой мы располагали, Какие вы поставили мне вехи...» О.М. и прежде знал этих поэтов — Гёте, Гёльдерлина, Мёрике, романтиков; но просто чтение — это еще не «встреча».

Встреча произошла не случайно в Армении. Долгожданный приезд в эту страну — в «Четвертой прозе» рассказывается о первой, неудачной попытке вырваться туда — обострил дремавшие раньше интересы к тому, что я совершенно неправильно сейчас называю натурфилософией и еще менее

правильно могла бы назвать философией культуры. Это было живое любопытство к маленькой стране, форпосту христианства на Востоке, устоявшей в течение веков против натиска магометанства. Быть может, в эпоху кризиса христианского сознания у нас Армения привлекла О.М. этой своей стойкостью... Ведь не Грузия же, жизнь которой складывалась несравненно легче. В нашей маленькой комнате в гостинице-хюраноц сразу появились книги по культуре Армении: Стржиговский, армянские летописи, Моисей Хоренский и многое, что касалось хозяйства и природы этой страны. Из всех книг о хозяйстве Армении О.М. выделял «Камеральное описание Армении» Шопена, чиновника александровского времени³⁷⁸. Он сравнивал живой интерес к стране Шопена с равнодушием бесчисленных озлобленных и брюзжащих «командировочных», с которыми мы сталкивались в гостинице.

Через увлечение Арменией пришла тяга к Гёте, Гердеру и другим немецким поэтам. Встреча с молодым биологом Кузиным, полным в то время философских и литературных интересов — всегда чуточку буршевых, — могла бы пройти незамеченной где-нибудь в Москве, но в Армении шар попал в лузу. Они разговорились во дворе мечети, где подавали в маленьких стаканчиках персидский чай вприкуску, и пришли ко мне в гостиницу, продолжая разговаривать. О.М., видимо, заинтересовался новым — биологическим — подходом к тем вещам, о которых думал сам, и вечными вопросами формообразования.

Уже задолго до знакомства с Кузиным О.М. как-то написал, что изучение поэзии станет наукой только тогда, когда к ней будут применены методы биологии. Очень возможно, что в этом высказывании отразилась теория в языкознании, популярная в десятых годах, о двойных связях этой науки — с социальными науками и с биологией. Впрочем, вера в биологический подход к поэзии исчерпалась, не успев зародиться, а сохранилось чистое любопытство к описательной биологической литературе и к проблемам жизни как таковой.

Кузин любил Гёте, и это тоже пришлось кстати. Когда же в Москве О.М. «встретился» с Дантом, дружба с Кузиным и остальными биологами перешла в обычное приятельство за стаканом вина. А про Данта О.М. сразу сказал, что это и есть

самое главное. С тех пор О.М. уже никогда с ним не расстался и даже дважды брал с собой во внутреннюю тюрьму. Думая о возможном аресте — а об этом думали все, кого я знала, — О.М. раздобыл себе «Комедию» маленького формата и всюду таскал ее в кармане — ведь людей арестовывали не только дома, но и на улице, и в учреждениях, а иногда специально вызывали куда-нибудь, чтобы оттуда забрать на веки вечные. Один мой приятель жаловался, что не может таскать за собой на службу мешок со всем необходимым для лагерной жизни, однако, в минуту ареста, который произошел ночью дома, он так растерялся, что забыл взять с собой этот предусмотрительно уложенный мешок... Карманного Данта О.М. оставил в Москве, а с собой в Саматиху, откуда его забрали, взял другое, довольно увесистое издание. Не знаю, довез ли он эту книжечку до пересыльного лагеря на Второй Речке под Владивостоком, где он умер. Думаю, что вряд ли: в условиях ежовско-сталинских лагерей никто уже не помнил о книгах.

Случилось, что одновременно с О.М., не сговариваясь, Данта стала читать и Анна Андреевна. Когда это выяснилось, она прочла ему наизусть отрывок из «La Divina Commedia» (*Donna m'apparve sotto verde manto*), и О.М. разволновался чуть не до слез, что слышит эти строки от Анны Андреевны, ее голосом, который он так любил.

У Ахматовой и О.М. была поразительная способность, читая поэтов, как бы вычеркивать разделяющее их время и пространство. Такое чтение по природе своей анахронично, и они вступали с автором в личные отношения. Оно равносильно общению и разговору не только с современниками, но и с теми, кто давно ушел. Такую же способность О.М. заподозрил у Данта, когда обнаружил, как тот встречается в аду со своими любимыми античными поэтами. В статье «О природе слова» О.М. поминает Бергсона, который ищет связи между однородными явлениями, разделенными только временем, и это относится к тому же — к поискам друзей и союзников через время и пространство³⁷⁹. Вероятно, это понял бы Китс — ему ведь тоже хотелось встретиться в кабачке со всеми своими живыми и мертвыми друзьями...³⁸⁰

Ахматова, воскрешая для общения тех, кого с нами уже нет, интересовалась их жизнью, бытом, отношениями

с людьми. Так впервые преподнесла она мне Шелли — на нем она как будто тренировалась... Затем у нее наступила эпоха общения с Пушкиным. С зоркостью следователя или ревнивой женщины она шаг за шагом выведывала, как поступали, думали и говорили все, кто его окружал, разобралась в психологических мотивах, как перчатку вывернула каждую, кому досталась хоть одна пушкинская улыбка. Такой личной и пристрастной заинтересованности у Ахматовой не было ни к кому из живых. И еще — она терпеть не могла писательских жен и особенно жен поэтов. Никогда не пойму, почему она сделала для меня исключение, но факт, что сделала, хотя объяснить почему — не могла...

О.М., в противоположность Ахматовой, в личную жизнь своих друзей почти не вникал — я говорю о поэтах прошлого, — потому что в отношениях живых друзей он был до удивления наблюдательным, несмотря на кажущуюся рассеянность, и о тех, кто нас окружал, знал гораздо больше меня; я даже часто ему не верила, но он всегда оказывался прав. А вот сестрами Натальи Гончаровой, Полетикой или Анной Григорьевной Достоевской он нисколько не интересовался, и Анна Андреевна, зная его равнодушие к этим вопросам, своими сообщениями с ним не делилась. А про живых помалкивал он: пусть делают, что хотят... Разговор шел о строчках, о кусках — а это чудо вы заметили? а помните, как там? а почему... Часто они читали вместе, вслух, показывали любимые места, делали, так сказать, друг другу подарки из каких-нибудь замечательных находок... Последние годы были окрашены Дантом и другими итальянцами и, как всегда, русской поэзией.

Труднее сказать, какие книги-спутники были у О.М. в более ранние периоды. В Киев в девятнадцатом году он приехал с Флоренским («Столп и утверждение Истины»). Видимо, там его поразили страницы о сомнении, потому что он не раз именно так говорил о сомнении, не называя, впрочем, источника. Школьником он, несомненно, читал Герцена, а в какой-то юношеский период его собеседником был Владимир Соловьев, который как философ, а не поэт, очевидно, гораздо ближе О.М., чем принято думать. Отсутствие упоминания имени Соловьева в статьях объясняется более чем просто: большинство статей написано в советское время и для печати, а ни один

редактор не пропустил бы слова о Соловьеве, кроме поношения и брани. Между тем следы формообразующего влияния Владимира Соловьева разбросаны у О.М. повсюду. Они — в христианско-религиозном мировоззрении соловьевского толка, в методах и способах полемики, в разговорах, во многих устойчивых понятиях и даже в отдельных словах. Вот, например, «толпы людей, событий, впечатлений» из стихов Белому — прямая реминисценция соловьевской «толпы идей», мелькнувшей у него где-то в философских сочинениях. О.М. высоко чтит В. Соловьева.

Когда мы жили в «Узком», санатории Цекубу, разместившемся в усадьбе Трубецких, где умер Соловьев, О.М. поражался, как равнодушно советские ученые занимаются своими делами, пишут статейки, почитывают газеты и слушают радио в том самом синем кабинете, где работал и умер Владимир Соловьев. Я тогда не знала ничего про Соловьева, и он с отвращением мне сказал: «Такая же дикарка, как они...» От этой профессорской толпы у О.М. появилось ощущение варварского нашествия в священные места русской культуры. Он мало с кем разговаривал в таких местах и держался обособленно.

Однажды в Болшеве к нему пристали философские и литературоведческие дамочки — просили почитать стихи и уверяли его, что «вы наш поэт»... Он им ответил, что надо понимать: если существует его поэзия, значит, нет их науки, или наоборот, а поэтому миролюбивой всеядности нет места... Таких выходов было сколько угодно: в редакциях, на выступлениях — всегда закрытых, разумеется, — в частных разговорах, а они порождали целую волну рассказов о невыносимом характере, хотя характер, в сущности, был просто нетерпимым. Нетерпимости у О.М. хватило бы на добрый десяток писателей, но, к сожалению, это свойство не распределяется по карточкам...

К нашей академической интеллигенции О.М. относился на редкость нетерпимо: «Все они продажные...» К концу двадцатых и в тридцатых годах власти уже научились «повышать уровень жизни» тех, кто оказался полезным, и не допускать в этом деле никакой «уровнировки». Расслоение стало очень заметным, и каждому хотелось сохранить свое с трудом добытое благополучие. За него держались особенно цепко, потому что позади осталась жестокая нищета начала революции. Этого опыта

никто повторять не хотел, и незаметно образовались привилегированные, очень тонкие слои с «пакетами», дачами и машинами. Эфемерность этого благополучия они осознали значительно позже — в периоды массового террора, когда выяснилось, что все можно отнять в один миг и без всякого повода... А пока что люди, допущенные к пирогу, старались выполнять все, что от них требовали. Однажды в Воронеже О.М. показал мне газету с заявлением академика Баха по поводу выхода «Краткого курса»: «Посмотри, что он умудрился написать: “«Краткий курс» — эпоха в моей жизни...” И он еще краткий...»³⁸¹

«Не написать, а подписать», — сказала я. Такие документы приносились готовые на дом, и оставалось только поставить под ними свою подпись... «Тем хуже», — ответил О.М. А что, собственно, должен был сделать академик Бах? Исправить текст, написать попрличнее, чтобы не ставить свое имя под явно казенной бумажкой? Я в этом не уверена... Или выгнать журналиста, который явился за его подписью? Можно ли требовать такого от людей, зная, какие им угрожали за это последствия? Думаю, что нет. Как же быть? Не знаю. Террор тем и отличается, что все связаны по рукам и ногам, и никто не может шевельнуть пальцем.

Но сейчас возникает другой вопрос: был ли момент в нашей жизни, когда интеллигенция могла отстоять свою независимость? Вероятно, такой момент был, но интеллигенция, расшатанная и расшлывшаяся еще до революции, о своей независимости не думала, потому что шел процесс капитуляции и переоценки ценностей. Быть может, сейчас идет новое собирание ценностей. Они накапливаются вслепую, медленно и с трудом. Я никогда не узнаю, смогут ли их отстоять и сохранить при следующих предстоящих нам испытаниях.

КОЛЯ ТИХОНОВ

Николай Тихонов, поэт, всегда говорил убежденно, громко, выразительно. Он умел покорять людей и был одним из ловцов душ и соблазнительей. Его приход в литературу встретили радостно: Коля — молодой, Коля — живой, Коля — непосредственный... Он новый человек, он военная косточка,

он удивительный рассказчик. Многие и сейчас под обаянием этого бывшего Коли Тихонова, хотя и не понимают, что с ним случилось потом.

Тихонова привел к нам Коля Чуковский, и оба юноши понравились О.М.: «Смотри, какой у Чуковского сын — добряк...» А про Тихонова: «Ничего, ничего... Кажется, он сейчас войдет в вагон и скажет: “Граждане, предъявите документы”...» «Документы» О.М. произнес с ударением на втором слоге, как говорили начальники продотрядов, проверявшие в Гражданскую войну поезда — нет ли там спекулянтов, везущих в город пуд муки... И все же О.М. тоже попал под очарование Коли Тихонова, но это длилось недолго.

Тихонов предстал перед нами в своем подлинном виде раньше, чем перед другими. Мне особенно запомнилась искренняя и убежденная интонация Тихонова, когда он сказал: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет. Комнату мы ему не дадим...» Это произошло после нашего возвращения из Армении; жить нам было негде, и О.М. попросил писательские организации предоставить ему освободившуюся в Доме литераторов комнату.

Узнав об отказе и удивившись формулировке, я спросила Тихонова, должен ли О.М. просить разрешение писательских организаций, чтобы поселиться в Ленинграде, скажем, в частной комнате. Тихонов упрямо повторял: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет...» Я попробовала узнать, говорит ли он от своего имени или передает чьи-то инструкции, но толку не добились. Если инструкции — зачем же такая искренняя интонация? Эта установка не предвещала ничего хорошего, и мы уехали в Москву. А интонация Тихонова означала: мы все ведем себя как люди, делаем все, что положено, а кто такой этот Мандельштам, который ни с кем не считается, несет чорт знает что, да еще требует от нас комнат и работы... Больно много он себе позволяет, а мы потом отвечаем... Тихонов был по-своему прав — для беззаветно преданного человека, как он, Мандельштам являлся аномалией, вредным порождением прошлого, лишним человеком в литературе, где места распределяют высшие инстанции и те, кому это поручено...

К этому времени мы уже понимали Тихонова. Незадолго до разговора о комнате и праве на жительство в Ленинграде

мы встретили его, когда он выходил из редакции журнала «Звезда» с карманами, набитыми рукописями, взятыми на рецензию. Тихонов похлопал себя по карманам и сказал: «Как на фронте...» Мы знали, что Тихонов полон воспоминаниями о Гражданской войне, но не поняли, какое отношение имеет к фронту его оттопыренный карман. Дело объяснилось сразу: «литературная война»... Свой военный пыл Тихонов перенес на скромнейшую литературную работу: нарежешь десяток графоманских романов, которыми всегда полны редакционные портфели, а заодно выявишь что-нибудь идеологически чуждое — вот и ощущение выполненного революционного долга. Чем не война? А воин при этом ничем не рискует — как его на такой войне ранят? — и заполняет без всякого мародерства свою квартиру скромным советским уютом. Чем плохо?

«Как на фронте» — любимая поговорка Тихонова. Но мы иногда слышали от него и другие варианты победных кличей. Почему-то мне пришлось зайти к нему в Москве. Он остановился в Доме Герцена, где мы тогда жили, но на «барской половине», у Павленко. Это произошло в день падения Раппа, 23 апреля 1932 года — мы узнали об этом событии утром, развернув газеты. Оно было неожиданностью для всех. Я застала Тихонова и Павленко за столом, перед бутылочкой вина. Они чокались и праздновали победу. «Долой Раппство», — кричал находчивый Тихонов, а Павленко, человек гораздо более умный и страшный, только помалкивал...

«Но ведь вы дружили с Авербахом», — удивилась я. Мне ответил не Тихонов, а Павленко: «Литературная война вступила в новую фазу...»

Из Воронежа О.М. как-то прислал Тихонову стихи про кота и Кощея. Он почему-то надеялся, что Тихонов пришлет денег, получив от ссыльного и нищего товарища стихи про золото и драгоценные камни³⁸². Тихонов немедленно ответил телеграммой, что сделает для О.М. все, что сможет. На этом наши отношения кончились: видно, он не смог ничего.

Я напомнила Тихонову через Суркова про ту телеграмму уже в начале шестидесятых годов: «Библиотека поэта» отчаянно искала, кому бы поручить предисловие к книге О.М., стоявшей в плане издательства. Все подряд отказывались писать это дурацкое предисловие — никто не хотел делить

с редакцией ответственности за воскрешение Мандельштама. Согласись Тихонов написать предисловие, книга, наверное, давно бы вышла. Ведь был благоприятный момент, как раз перед выходом повести Солженицына... Кандидатура Тихонова для предисловия на редкость удачная — ни к чему не обязывает и защищает издание от нападков, которые страшны до момента выхода в свет всего тиража. Сурков уговаривал Тихонова и напомнил ему о его обещании «сделать все» в телеграмме, но тот отказался наотрез. «Он совсем превратился в китайского божка», — сказала я Суркову. Он не возражал, да и возражать было нечего.

Отказаться от Коли Тихонова, юноши с размахистыми движениями, трудно. «Тихонов и Луговской никогда ни для кого ничего не сделали, — сказала мне Анна Андреевна, — но они все же получше других...» Анна Андреевна как-то в 37 году встретила Тихонова, и они с полчаса гуляли вместе по набережной. Тихонов все время жаловался ей на проклятое время. «Он говорил то же, что мы», — сказала Анна Андреевна. Вот почему она к нему и сейчас неплохо относится. Но как говорил!.. Придя домой, она не могла припомнить ни одной фразы, где он бы выдал свое отношение к террору: все было так отлакировано, что даже Ахматовой он «не дал против себя материала»... Он только на что-то жаловался, но ни одного лишнего слова не произнес — это ли не высокая дисциплина!..

Вот я и считаю, что его нельзя ставить на одну доску с Луговским. Этот был совсем другого склада — несравненно более наивного и чистого. Фронта он боялся как огня, литературной войны не вел и в пьяном виде мог наговорить с три короба чепухи. А Тихонов всегда верен себе и делу, которому служит. На его похороны придут последние могикане и воздадут воинские почести беспартийному литературному борцу, понимавшему, что журнал «Звезда» — тот же фронт.

Жена Тихонова делала, как будто, игрушки из папье-маше. И сам живой когда-то Тихонов превратился в фигурку из папье-маше. В футляре из папье-маше никогда не содержится подлинных ценностей. Да их, наверное, никогда и не было, и Тихонову заниматься переоценкой не пришлось. Он — один из лучших представителей тех, кто стоял за «новое» на заре двадцатых годов.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Больше чем четверть века назад, в майские праздники 1938 года, я приехала в Москву из Саматихи, дома отдыха под Муромом, с известием об аресте О.М. «Надо продержаться, пока решится судьба», — сказала я и, сняв с полки несколько книг, пошла к букинисту. Книги пошли на первую и единственную посылку О.М., которая вернулась «за смертью адресата». Мне всегда хотелось, чтобы хоть что-нибудь осталось от этой книжной полки, дававшей нам иллюзию мирной жизни: ведь в выборе этих книг все-таки отразились интересы О.М. тридцатых годов. И я тогда же дала Харджиеву примерный список распроданных мною книг. Список, конечно, был неточным: женщина в том положении, в котором я тогда находилась, ни на чем сосредоточиться не может. Остаток книг, то есть то, от чего отказались букинисты, находится у моего брата Жени — мне до сих пор некуда их забрать.

Мы начали покупать книги, когда я поступила служить в редакцию ЗКП. Там мне выдавали ежемесячно «талон на бесплатное приобретение книг» — прививали журналистам культуру... «Купите что-нибудь фундаментальное», — посоветовал Чечановский, вручая мне первый талон. Он особенно рекомендовал шеститомного Ленина или начинавшее выходить собрание сочинений Сталина³⁸³. На книжных полках у всех наших знакомых уже стояли все собрания классиков марксизма — они стали неизменной принадлежностью интеллигентского дома. На этом очень настаивали наши воспитатели. Ведь Сталин действительно верил, что стоит всей интеллигенции хорошенько прочесть все эти книги, как они тут же, убежденные неотразимой логикой, откажутся от идеалистических предрассудков. Спрос на марксистскую литературу стоял тогда на высшей точке. Розовый чекист, угощавший нас во время обыска 34 года леденцами из жестяной коробки, был просто поражен отсутствием марксистской литературы на нашей полке. «Где вы держите своих классиков марксизма?» — спросил он у меня. О.М. расслышал вопрос и шепнул мне: «Он в первый раз забирает человека, у которого нет Маркса...»

И никаких вообще фундаментальных классиков у нас не было, вообще ничего многотомного, хотя нас всегда подбивали

чем-нибудь таким обзавестись. Бенедикту Лившицу это даже удалось, и О.М. под его влиянием взял как-то и купил многомного Ларусса³⁸⁴. Ведь Бен говорил: «Переводчику без этого не обойтись...» Это происходило в середине двадцатых годов, когда О.М. оставалось добывать на жизнь только переводами... Толстые тома Ларусса так и пролежали, связанные веревкой, и уехали обратно к букинисту — переводчиком О.М. не сделался...

Фундаментальное и собрания сочинений никогда О.М. не соблазняли. К тому же в нем совершенно отсутствовала жилка собирательства и коллекционерства. Он не нуждался ни в редких книгах, ни «в полном охвате» какого-нибудь вопроса. Ему хотелось, чтобы у него и с ним жили те книги, с которыми он как бы вступил в личные отношения, завязал настоящий разговор. Прочие он мог даже ценить, но легко с ними расставался. Так, он позволил Катаеву утащить только что вышедшую «Сестру мою жизнь». «Что мне надо, я помню, а ему нужнее», — объяснил О.М. Он всегда повторял: «Книга должна быть у того, кому она нужна...»

Мне почти никогда не удавалось соблазнить О.М. своими книжными находками. Однажды я с торжеством вытащила из кучи букинистической рвани «*Cog ardens*»³⁸⁵ — ведь мне-то хотелось прежде всего восстановить все утраченные книги с моей первой полки. О.М. остался равнодушен: «Зачем всегда одно и то же?»... Это было уже пережито, и сюда О.М. возвращаться не хотел. Зато томику Бюргера О.М. обрадовался: «Ты всегда знаешь, что мне нужно...» Но это было неправдой — кроме Бюргера, он все мои предложения всегда отклонял.

На нашей полке, появившейся в тридцатые годы, совсем не было поэзии двадцатого века — только Анненский, акмеисты — Гумилев и Ахматова, да еще две-три случайные книги. Поэзию XX века О.М. пересмотрел в 22 году. Случилось так, что два молодых человека решили попробовать, каково быть частными издателями, и заказали О.М. антологию русской поэзии от символистов до «сегодняшнего дня»³⁸⁶. Антология открывалась Коневским и Добролюбовым, а кончалась Борисом Лапиным. О.М., как обычно, искал у поэтов удач: у Добролюбова «Говорящих орлов», у Бальмонта «Песню араба, чье имя ничто», у Комаровского «На площадях одно лишь слово — даки», у Бородаевского — «Стрижей», у Лозины-Лозинского — «Шахматистов»³⁸⁷.

Он с удовольствием переписал два-три стихотворения Бори Лапина — что-то про умный лоб и «звезды в окнах ВЧК» и еще «Как, надкусывая пальцы астрам, Триль-Траль целовал цветы»...³⁸⁸

Загвоздкой был Брюсов. Он не подбирался, а обойтись без него было невозможно³⁸⁹. В те годы он казался гораздо крупнее, чем сейчас, — нам не хватало ломоносовской «далековатости»³⁹⁰, чтобы правильно оценить явление. Ведь на близком расстоянии масштабы всегда искажаются. Читая Брюсова, которого нужно было очень широко представить, О.М. выходил из себя: «Что это значит — “Ты должен быть жарким, как пламя, ты должен быть острым, как меч”?»³⁹¹ — раздраженно спрашивал он, а когда дело доходило до строк про Данте, которому подземное пламя обожгло щеки, О.М. бросался к издателям отказываться от работы. А они, как нарочно, приносили в карманах целые вороха брюсовских стихов. Но это были славные мальчишки — поспорив, они успокаивались и прятали свои сокровища обратно в карман, в свою тайную антологию для утешения собственной души.

О.М. потом часто вспоминал их — они казались чистыми ангелами по сравнению с любым советским редактором. Антологию запретили, потому что О.М. не включил в нее поэтов, которым уже тогда покровительствовало государство, то есть пролетарских. Их имена канули в вечность, и мне не припомнить, о ком шла речь. Кроме того, цензор настаивал на том, чтобы снять целую грудку «буржуазных, классово чуждых» стихов. От всей этой работы осталось только несколько листов верстки. Это была самая приятная из всех заказных работ — единственная по-настоящему осмысленная: мне кажется, что каждому поэту в молодости следует собрать собственную антологию родной поэзии.

«Что это значит?» — частый аргумент О.М. против раздражавших его стихов. Он так спросил меня про стихи Маяковского «наш бог — бег, сердце — наш барабан»³⁹²... Мне нравился этот треск, пока я не задумалась о том, что это значит. А вообще к Маяковскому О.М. относился хорошо и рассказывал, как они когда-то подружились в Петербурге, но их растащили в разные стороны: поэтам разных направлений дружить не полагалось. К этому времени относится фотография О.М. с Маяковским, Лившицем и Чуковским. Она была, напечатана

в какой-то газете для иллюстрации того, какие кретины лезут теперь в литературу³⁹³.

В сущности, появлением читателей и переменой отношения к поэзии, проявившейся с такой отчетливостью к первой войне или к началу революции, мы обязаны символистам, их огромной учительской работе. Я сама — ровесница века — уже принадлежу к выученному ими поколению. Именно в тех кругах, где они имели влияние — а эти круги все время расширялись, — по-новому раскрылись и Толстой, и, в особенности, Достоевский, началось изучение Пушкина, воскресли Тютчев, Баратынский, Фет и многие другие. Русская бытовщина теряла читателя, но еще сохраняла позиции в самой литературе, в писательских кругах... Именно она пошла походом на все сделанное символистами, на тот культурный подъем, который обусловила их деятельность, хотя даже она уже не могла посягнуть на самих символистов. Долгое время казалось, будто культура «серебряного», как его называют, века уже совершенно вытоптана, сейчас опять появляются какие-то проблески. Что-то с ними будет? Куда мы идем?

В тридцатые годы О.М. уже не возвращался к двадцатому веку русской поэзии, а на полке собралась поэзия девятнадцатого. О.М. любил первоиздания поэтических сборников, и это нисколько не противоречит тому, что я сказала об отсутствии у него коллекционерской жилки. В первых изданиях стихов всегда видна рука автора, его оценка стихов, его отбор, его расположение вещей. В первоизданиях у нас были: Державин, Языков, Жуковский, Баратынский, Фет, Полонский и другие. И у них О.М. отыскивал удачи. У Мея он отметил «Помпеянку» — «ты, помпеянка, мчишься по воздуху»... У Случевского — «Ярославну» и «Казнь в Женеве», где строчки про старуху звучат почти как Анненский...³⁹⁴ У Полежаева — «Цыганку». Не помню, чем он восхищался у Аполлона Григорьева, которого тоже читал по первоизданию: он случайно раздобыл книжечку — не «Гимны»³⁹⁵ ли? — изданную всего в пятидесяти экземплярах. У Фета он любил множество стихов, а среди них «Змею», где «чешет косу, моет шею чернобровая вдова». В этом выборе, вероятно, подсознательно действовала власть оценок первого учителя, Владимира Васильевича Гиппиуса, о котором О.М. рассказывает в «Шуме времени»³⁹⁶. Анна Андреевна у Фета

выбрала для себя: «Моего тот безумства желал, кто свивал этой розы завои...»³⁹⁷ Они обменивались любимыми стихами, дарили их друг другу... А с Майковым случилось то, что с Брюсовым: ничего выбрать не удалось... Уголок полки, где стояли русские поэты, непрерывно пополнялся, но заказчика на антологию уже не было и быть не могло.

Второй по количеству раздел книг — итальянцы. Вместе с Данте пришли Ариост, Тасс, Петрарка. Они были не только в подлинниках, но и в немецких прозаических переводах. Первое время, когда О.М. еще не овладел языком, он иногда прибегал к переводам. Среди них он ценил только один, не вспомню чей — уж не Горбова ли? — русский прозаический перевод «Чистилища», изданный в десятых годах³⁹⁸. Стихотворные переводы он не выносил. Слишком уж редкая удача, когда перевод входит в литературу, как вошел Гнедич...³⁹⁹ Все издания были скромные, с небольшим фактическим комментарием, вроде оксфордского, 1904 года. Мы бы купили, конечно, более новые издания, но их и сейчас не достать. Из итальянской прозы я помню Вазари, Боккаччо, Вико, но это, вероятно, не все.

Латинских поэтов накопилось довольно много — Овидий, Гораций, Тибулл, Катулл... Почти все они покупались в изданиях с немецкими переводами, потому что немцы, как переводчики, точнее французов.

В Армении О.М. вернулся к немцам и в тридцатых годах усиленно их покупал — Гёте, романтиков — Бюргера, Ленау, Эйхендорфа, обоих Клейстов, Гердера и еще, и еще. Завел он и Клопштока, потому что, как он говорил, это звучит, как орган. Кроме того, завелись Мёрике и Гёльдерлин. Еще он добыл кое-кого из писавших по-среднемецки. Французов было гораздо меньше. От прошлого остались Шенье, Барбье и вечный Вийон. Заново он купил Верлена, Бодлера и Рембо. В юности он как-то пробовал переводить Малларме — ему посоветовал Анненский: учитесь на переводах. Но ничего из этого не вышло, и О.М. убеждал меня, что Малларме просто шутник. И еще — Гумилев и Георгий Иванов будто дразнили его такой строчкой: «И молодая мать — кормящая сосна», то есть со сна...⁴⁰⁰ Хорошо, когда люди друг друга дразнят...

О.М. привез из Ленинграда свои юношеские старофранцузские книжки еще в 22 году, когда ему заказали перевод

старофранцузского эпоса. Недавно Саша Морозов разыскал в каком-то архиве вольный перевод плача по Алексее и «Алисканс»⁴⁰¹. Это не просто перевод — в обеих вещах как-то странно заговорила судьба, и О.М. это чувствовал. Алексей — это обет нищеты, а Алискансом он как бы дал клятву не прятаться, когда надо защищать жизнь. С рукописями О.М. был всегда исключительно небрежен, ничего не хранил — «сохранит тот, кому нужно» — и верил в архивы и редакции: эти стихи он дал в единственном списке в редакцию журнала «Россия» и не позволил мне снять копию.

Кроме обычной небрежности здесь было еще что-то: он боялся этих стихов, как тех двестишестидесяти, где предсказана тяжкая судьба женщине⁴⁰². От таких стихов он прятался — никогда их не вспоминал и дома не держал. Так ребенок закрывает глаза и думает, что его не видят, или птица прячет голову под крыло. А какое тут, кстати, предсказание? Как иначе могла сложиться наша судьба в этом мире? Хорошо еще, что я до чего-то дожила и сохранила стихи. Приходится это считать удачей — теперь уже стихи не пропадут. И Анна Андреевна выстояла... Не чудо ли это?

Из русских книг О.М. жадно покупал русских философов — Чаадаева и славянофилов. С германской философией явно не ладилось: однажды купил томик Канта, понюхал, сказал: «Наденька, это не для нас» — и закинул за книги, чтобы не соблазняться. С русскими было совершенно иначе — он с ними жил. До нас довольно рано дошел слух о том, как вырос в изгнании Бердяев. О.М. все спрашивал про него и пытался достать книги, но с каждым днем это становилось труднее и опаснее. Так мы и жили, отрезанные от современности — на сухом пайке. Оставалось только прошлое, и мы пользовались им, как могли.

В короткий период, от тридцатого года до ссылки, О.М. вплотную занялся древнерусской литературой. Он собрал летописи в разных изданиях, «Слово», конечно, которое он всегда очень любил и знал наизусть, кое-какие повести, а также русские и славянские песни в разных собраниях — Киреевского, Рыбникова... Старорусскую литературу О.М. всегда хватал с жадностью и знал и Аввакума, и несчастную княжну, вышедшую замуж за брата царской невесты⁴⁰³. На полках появился Ключевский, включая ранние работы, вроде «Сказания

иностранцев», а также архивные материалы, которые у нас довольно широко издавались: документы пугачевского бунта, следственные дела декабристов и народовольцев; Анна Андреевна тоже отдала этому дань, а в период ежовщины только и читала «Ссылку и каторгу»⁴⁰⁴.

Тенишевское училище все-таки дало хорошие знания древнерусского языка и литературы — они как-то в крови были⁴⁰⁵. Работая в педагогических вузах, я часто думала, какую роковую роль сыграло разрушение средней школы. Мне кажется, что ни я, ни О.М. советской школы бы не кончили — не смогли бы — и уж во всяком случае за всю жизнь не накопили бы тех простых представлений и напряженных знаний, которые нам дала русская гимназия.

Новым для О.М. были армянские летописцы. Ему удалось достать у букинистов Моисея Хоренского и еще кое-что, но очень мало. Зато с биологией ему повезло — он достал Линнея, Бюффона, Палласа и Ламарка. Завелся у него и Дарвин — «Путешествие на “Бигле”» — и кое-кто из философов, основывающихся на биологии, например Дриш.

Философии культуры и биологии О.М. не чурался, но с Гегелем у него не вышло ничего, как и с Кантом. Марксом он увлекался еще гимназистом, и на этом дело кончилось. Перед самым арестом 34 года он отклонил принесенную ему в подарок «Диалектику природы», ошеломив дарителя, Лежнева, озорной выходкой. Этот Лежнев когда-то издавал журнал «Россия», и О.М. у него сотрудничал⁴⁰⁶. Именно он заказал ему «Шум времени», а потом отклонил: ему мерещились совсем иные воспоминания и совсем другое детство, о котором впоследствии он написал сам. Это была история еврейского местечкового подростка, открывшего для себя марксизм. Лежневу повезло: его книгу, которую никто не хотел печатать — хотя она была не хуже других, — прочел и одобрил Сталин⁴⁰⁷. Он даже позвонил Лежневу по телефону, но не застал его дома. После этого звонка Лежнев, надеясь на повторный, просидел ровно неделю дома, не отходя от телефона. Он надеялся на повторение чуда, но чудеса, как известно, не повторяются. Через неделю ему сообщили, что второго звонка не будет, но уже отданы распоряжения: книга печатается, сам он принят в партию — поручитель Сталин — и назначен ведать литературным отделом «Правды».

Из полного ничтожества, когда всякий мог пихнуть его сапогом как лишенца и бывшего частного издателя, Лежнев вознесся и чуть не сошел с ума от радостного умиления. Кстати, из всех гарун-аль-рашидовских чудес это оказалось самым прочным: Лежнев до самой смерти пребывал на этом посту — или на равнозначащем...⁴⁰⁸

Узнав о своей судьбе, Лежнев решился наконец отойти от телефона. Он бросился сначала к парикмахеру — за неделю сидения дома он успел изрядно обрасти бородой, а потом — к нам с подарком и с рассказом о поворотном событии своей жизни и о том, как он пришел к марксизму. Издавая «Россию», он об этом ведь и не помышлял. Оказывается, Лежнев изучил новооткрытые книги Энгельса, в частности «Диалектику природы», и прозрел. Он даже зашел в книжный магазин и купил экземпляр этой книги, потому что надеялся, что О.М. тоже прозреет. Лежнев был предельно искренним и доброжелательным. Я даже позавидовала тогда: искреннее исповедание веры, когда оно еще с ходу избавляет от всех неприятностей и тут же начинает приносить регулярный доход, — наверное, удивительно приятная вещь...

О.М. шлепал по комнате в домашних туфлях и, присвистывая, поглядывал на Лежнева. От подарка он только лениво отмахивался. Лежнев настаивал, и О.М. прибег к последнему средству: «Не надо, — сказал он, показывая на меня. — Она читала и говорит, что мне не надо...» Лежнев только ахнул: разве можно доверять жене выбор литературы по таким коренным идеологическим вопросам! «Можно, — сказал О.М. — Она лучше знает. Она всегда знает, что мне читать...» Возмущенный Лежнев ушел и, столкнувшись со мной лицом к лицу в Ташкенте, где мы оба были в эвакуации, не поклонился. Вероятно, он считал меня злым гением О.М. Надо отдать ему справедливость, он не напомнил правительству, чтобы меня тоже изъяли. Как вел себя Лежнев в «Правде», я не знаю, — наверное, как все, но мне он всегда казался порядочным и честным человеком. Я даже верю, что у него открылись глаза, когда он прочел «Диалектику природы»: эта книга была как раз по нем.

Спрятавшись за мою спину, О.М. отклонил лежневский подарок, и марксистской литературы у нас на полке не

оказалось. Кстати, задолго до Лежнева биологи показывали О.М. эту книгу и жаловались ему, как она осложнила им жизнь. А что Лежнев целую неделю не брился, это не удивительно — так бы поступил любой советский гражданин, даже рискуя, что его выгонят за прогул со службы.

Зато у нас стояли на полке архитектурные альбомы, и среди них роденовская книжка о французской готике⁴⁰⁹. Кто-то прислал нам в 37 году несколько изданий музеев из Италии. О.М. им очень обрадовался, но удовольствие испортил Костырев: он посоветовал остерегаться сношений с империалистическими странами, потому что там все шпионы. «Цель у них ведь была, когда они вам посылали эти книги!..»

На нижней полке стояли детские книги О.М. — Пушкин «в никакой ряске», Лермонтов, Гоголь, «Илиада»... Они описаны в «Шуме времени»⁴¹⁰ и случайно сохранились у отца О.М. Большинство из них пропало в Калининe, когда я бежала от немцев⁴¹¹. Как мы метались в двадцатом веке, зажатые между Гитлером и Сталиным!

Книг было гораздо больше, но все я все равно вспомнить не могу: Винкельмана⁴¹², например, какой-то прелестный розарий⁴¹³ и еще, и еще... Букинисты знали, на что нас надо зазывать. Они соблазняли О.М. презабавной «Пляской смерти»⁴¹⁴, но она стоила дорого, и мы не купили. «Ничего, — сказал старый букинист. — Это пойдет Леонову — он покупает все книги дороже пятидесяти рублей...» Я никогда Леонова не видела, и пусть эта сплетня останется на совести того, кто ее пустил.

НАША ЛИТЕРАТУРА

В сороковые годы кабинетом марксизма-ленинизма в Ташкентском университете заведовала стриженная старушонка на костылях. Рассказывали, что ее переехал шалый велосипедист и врачам пришлось отнять ногу, потому что началась гангрена, но Усова клялась, будто это сделали нарочно, потому что старуха всем надоела. Мне старуха оказала большую услугу, и я не верю злоязычнице Усовой.

Охромев, старуха, член партии с пятого года и в недавнем прошлом крупный работник, поневоле засела в стенах

университета. Никто к ней серьезно не относился, и, разумеется, с ней не считались, но все же ее побаивались: в новой государственности и в реальной обстановке она разбиралась как слепой щенок, но, свято храня заветы прошлого, готова была поднять шум по всякому поводу. Трудно себе представить, как она уцелела в ежовщину, скорее всего, про нее забыли, потому что она пролежала больше года в больнице, но если бы случайно вспомнили, то не постеснялись бы явиться с ордером прямо в палату.

Такие случаи бывали. Когда я стояла в очереди на букву «М» в Бутырской тюрьме, моя однофамилица рассказала мне, что ее мужа, семидесятилетнего старика — уж не юриста ли? — забрали прямо из Боткинской, где он лежал с воспалением сердечной сумки. Скорее всего, хромая старуха с невероятным партийным стажем была таким анахронизмом, что в роковые годы никто про нее не вспомнил.

Я готовилась к кандидатскому экзамену по философии и сидела в кабинете марксизма за столиком, заваленным книгами. Это были сочинения, требующиеся по программе, и я быстро их просматривала. Старуха вошла в кабинет и не поверила своим глазам: кто-то читает в подлиннике ту литературу, которая сыграла такую огромную роль в ее жизни! Ей, вероятно, вспомнились подпольная юность и тот трепет, с которым она в первый раз открыла заветный «Капитал».

«Эх, если б аспиранты так читали, как вы! — сказала она мне. — Им ничего не всучишь, кроме словаря». Я смутилась незаслуженному комплименту: способ подготовки к экзамену с помощью философского словаря был известен и мне. «Нет, нет, — сказала старуха, — вы их не знаете: конспекты, словарь и больше ничего». Она выдала мне все книги на дом и обошла моих экзаменаторов, агитируя их в мою пользу: «Вы не знаете молодых — им нужно, чтобы слово в слово, а мы — люди старые — к этому не привыкли. Споткнетесь, и все тут — зарежут... Но я им рассказала, как вы читаете, и про их аспирантов тоже...» Второй пункт — разоблачение аспирантов — был самым существенным.

Боясь связываться с вредной старухой, мои экзаменаторы не решились меня провалить, хотя сделать это было легче легкого: ведь я не владела искусством перебрасываться

с преподавателем вопросами и ответами, словно теннисными мячами, и вполне могла перепутать все съезды. А ведь в кулуарах уже шли разговоры, что мне не следует доверять и надо лучше проверить мои знания. Это был, правда, не приказ сверху, который нельзя нарушить, а встречный план молодых преподавателей: им просто не хотелось пропускать меня, чужую, в привилегированное сословие кандидатов, получающих отличную зарплату, иначе говоря — «в кадры»... Что ни говори, а чутье у них было правильное: они за версту узнавали чужого, как бы он ни прятал глаза.

Словом, старуха спасла меня, и она знала, что делает: нелегко беспомощному человеку барахтаться среди интригующего и кипящего страстями молодого поколения. Кроме того, она, наверное, почуяла, что между мною и ею есть нечто общее, ведь в те годы никто не читал ни ее, ни моей литературы! И то и другое вышло из употребления, и мы обе надеялись, что наша литература все-таки воскреснет. И она, и я верили в незыблемость наших ценностей; хотя мои были и остаются подпольными, а подпольная литература ее юности стала государственной, и та и другая потеряли читателей.

Прошло около двадцати лет. Старуха, наверное, уже давно умерла, но у нее есть единомышленники — люди двадцатых годов, которые упорно надеются, что молодежь, опомнившись, снова будет искать ответы на все вопросы в диалектической азбуке их юности. Они надеются, что эту азбуку забросили только потому, что она была подменена «Четвертой главой»⁴¹⁵. Есть и такие — те, что помоложе, им сейчас нет и шестидесяти, — которые мечтают о воскрешении именно «Четвертой главы» и всего, что ей сопутствовало. Они довольно одиноки, но их утешает учение о тезе, антитезе и синтезе. Они надеются дотянуть до синтеза и снова развернуться с полной мощью.

И наконец, есть молодежь, которая помнит о славных днях своих отцов, ныне находящихся в отставке. «Цель не оправдывает средства», — сказал кто-то из студентов группы, в которой я преподавала. «А я считаю, что оправдывает», — строго сказала красивая девушка, живущая в хорошей квартире и пользующаяся всеми льготами, которые может предоставить областной город своему почетному жителю, —

лечебницей, санаториями и тайно-закрытыми распределителями. Отец этой девушки вышел в отставку после Двадцатого съезда и выбрал для жительства областной город, где я работала. Единственная из всей группы, она знала, чего хочет, и только она прочла Солженицына и решительно высказалась против печатания таких книг. Если старуха библиотечарша огорчалась, что аспиранты не читают «Капитал», эта интересовалась только «Четвертой главой» и порядком. Обе надеялись на возвращение прошлого.

А я, со своей стороны, с трепетом и надеждой слежу, как увеличивается число людей, читающих стихи и «Четвертую прозу». Неприкосновенный фонд идей образуется обычно в молодости, и люди редко его пересматривают. Я и мои антагонисты продолжаем стоять на своем. Мы — теза и антитеза. Синтеза я не жду, но хочу понять, кому принадлежит будущее.

ИТАЛИЯ

На вопрос, что такое акмеизм, О.М. ответил: «Тоска по мировой культуре». Это было в тридцатых годах либо в Доме печати в Ленинграде, либо на том самом докладе в Воронежском Союзе писателей, где он заявил, что не отрекается ни от живых, ни от мертвых⁴¹⁶. Вскоре после этого он написал: «И ясная тоска меня не отпускает От молодых еще воронежских холмов К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане...»⁴¹⁷ Тосканская земля названа всечеловеческой.

В этих стихах, быть может, яснее, чем где-либо, определено его отношение к Италии, к Средиземноморью. Мне попала заметка Глеба Струве, где он задается вопросом, бывал ли О.М. в Италии, и перечисляет все «итальянские мотивы», как он выражается, в стихах Мандельштама⁴¹⁸.

В Италию О.М. ездил дважды, когда учился в Гейдельберге и в Сорбонне. Но эти одинокие юношеские поездки, краткие — всего на несколько недель — и поверхностные, оставили чувство неудовлетворенности: «Все равно что не ездил...» Но дело не в этом, а в том, какую роль играла для О.М. «всечеловеческая земля» Италии, вернее, все Средиземно-

море. «Историю нельзя начать, — писал он в юношеской статье о Чаадаеве. — Ее вообще неммыслимо начать. Не хватает преемственности, единства. Единства не создать, не выдумать, ему не научиться. Где нет его, там, в лучшем случае, “прогресс”, а не история, механическое движение часовой стрелки, а не священная связь и смена событий». Эти слова относятся к Чаадаеву, но мысли, несомненно, близки и О.М. Средиземноморье было для него священной землей, где началась история, которая путем преемственности дала христианскую культуру Европы.

Мне не совсем понятен выпад О.М. в «Путешествии в Армению», заставивший насторожиться всех марксистов: «Растение в мире — это событие, происшествие, стрелка, а не скучное бородатое развитие...» Понятие «развитие», очевидно, прочно связалось с позитивистами — Контом, Стюартом Миллем и всеми теми, кого читали и читали люди поколения его матери и кто пробил у нас почву для марксизма. Во всяком случае, у О.М. было два ряда явлений — у него был как бы положительный ряд и отрицательный. К положительному ряду относятся: гроза, событие, кристаллообразование... Он применял эти понятия и к истории, и к искусству, и даже к становлению человеческого характера.

Отрицательный ряд — все виды механического движения: бег часовой стрелки, развитие, прогресс. Сюда можно прибавить смену кинокадров, которую в «Разговоре о Данте» он сравнивает с «метаморфозой ленточного глиста». В этом сравнении выпад против логического блеска модного в наши дни Эйзенштейна, против его механических красот. Такое движение было для О.М. равнозначно неподвижности, буддизму, понятному по Владимиру Соловьеву⁴¹⁹, «походу варварских телег»⁴²⁰. Именно поэтому современную ему Москву он называл буддийской — «Я возвратился, нет, считай насильно Был возвращен в буддийскую Москву...»⁴²¹.

В постоянно возникавших у нас разговорах о новой жизни и о будущем тысячелетнем царстве непрерывного прогресса О.М. впадал в ярость и бросался в спор. В этих теориях он чувял давнишнюю «всеславянскую мечту об остановке истории». Я не знаю, в какой мере О.М. сохранял веру в целесообразность исторического процесса — до середины двадцатого века это

было чересчур трудно, — но цель истории он видел, во всяком случае, не во всеобщем счастье. К идее всеобщего счастья он относился так же, как и к личному: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?» Теория всеобщего счастья казалась ему наиболее буржуазной из всего наследства двадцатого века.

Вторым постоянным толчком для споров был вопрос о преемственности, которую он искал повсюду — в истории, в культуре, в искусстве. Здесь опять помогала аналогия с часами: часы заводятся и движение начинается из ничего, а событие немислимо без преемственности.

О.М. отличался какой-то смешной мальчишеской прямолинейной конкретностью: раз найдено уподобление и часовая стрелка напомнила ему «дурную бесконечность», антипатия распространилась и на такую полезную вещь, как часы; он не любил и никогда не имел часов. «Зачем часы, — говорил он, — ведь я и так могу сказать, который час». Действительно, внутренний отсчет времени шел у него с поразительной точностью и он никогда не ошибался больше чем на несколько минут. Это, кажется, свойство горожан, а он и действительно был горожанином...

Единственный вид часов, которые он допускал в дом, когда я уж очень настаивала, это — ходики. Маятник, гирька на цепочке и картинка на циферблате смягчали его ненависть к механическому счетчику. Ходики напоминали ему кухню. Кухня всегда была его любимой комнатой в квартирах, но сам он никогда ее не имел. Нравились ему еще аптечные песочные часы, ему очень хотелось купить их для ванной комнаты, но из квартиры с ванной нас настолько быстро убрали, что мы не успели их раздобыть. В детских стихах появились часовые стрелки, но они отеплились сравнением с усами, бегающими по тарелке: бывают ведь лица плоские, как тарелки...

А к машинам у О.М. никакого отвращения не было — он интересовался ими, любил их умную работу, охотно разговаривал с инженерами и огорчался, что среди них у него не было читателей. Действительно, в те годы техническая молодежь, если в ней пробуждались литературные интересы, шла за Лефом. Иные читали Пастернака, полученного ими от того же Лефа. Сейчас положение изменилось, и, кроме того,

техническая интеллигенция уже не ощущается как представители века, как самые современные люди... Те, что поумнее, даже стесняются, что попали в технократы. Миф о величии промышленности, о ее решающей роли в истории, об «исторической необходимости» и надстройке, находящейся в полной зависимости от базиса, уже почти рассеялся. Эпоха социального детерминизма как будто кончается, но еще остался не рассеянным порожденный ею миф о культуре и цивилизации с их противопоставленностью и несовместимостью. В том ли болезнь нашей культуры, что у нас появились более усовершенствованные орудия, чем сотню лет назад?

Уже Блок говорил о гибели цивилизации, сменившей культуру, и сравнивал нашу эпоху с падением Рима. Лишенная целостности, индивидуалистическая цивилизация рухнула, по Блоку, увлекая в своем падении гуманизм и его этические ценности. На смену идут варварские, нетронутые цивилизацией массы, которые сохранили «дух музыки» и несут с собой новую культуру. Интересно, что массы эти для Блока — германские и славянские, словно он уже в восемнадцатом году предчувствовал фашизм... Блоковская концепция близка к Шпенглеру. Блок, несмотря на свое бытовое христианство и на «дух музыки», остается в сущности позитивистом: ведь личность для него признак не христианской культуры, а только гуманизма, так же как и этические ценности, и гуманность.

О.М. теорией Шпенглера не обольстился ни на миг. Прочтя «Закат Европы», он почти мельком сказал мне, что аналогии Шпенглера, по всей вероятности, к христианской культуре не применимы. У него никогда не было чувства конца, в котором один из главных источников блоковского пессимизма⁴²². Под культурой О.М. понимал идею, лежащую в основе исторического процесса; история же для него была путем испытания, действенной проверкой добра и зла.

Убеждение, что культура преемственна, как благодать, и что без нее вообще нет истории, привело к тому, что у О.М. была своя святая земля: Средиземноморье. Отсюда постоянные возвращения к Риму и Италии в его стихах: Рим — это место человека во Вселенной, и шаги звучат там как поступки... В сферу Средиземноморья он включал Крым и Закавказье. В стихах об Ариосто он сказал то, что было его мечтой:

«В одно широкое и братское лазорье Сольем твою лазурь и наше Черноморье...»

«Земля, по которой учились первые люди» была местом настоящего паломничества О.М. При всей своей любви к путешествиям, он наотрез отказывался от поездок в Среднюю Азию и на Дальний Восток. Его тянуло только в Крым и на Кавказ. Древние связи Крыма и Закавказья, особенно Армении, с Грецией и Римом казались ему залогом общности с мировой, вернее, европейской культурой.

Большинство путешествующих писателей — а поездки на окраины пользовались у нас большой популярностью — выбирали обычно мусульманский мир. О.М. считал эту тягу к мусульманскому Востоку не случайной у наших людей. Детерминизм, растворение личности в священном воинстве, орнаментальные надписи на подавляющей человека архитектуре — все это больше подходило для людей нашей эпохи, чем христианское учение о свободе воли и самоценности личности.

Сам О.М., чуждый мусульманскому миру — «и отвернулась со стыдом и болью от городов бородатых Востока», — искал лишь эллинской и христианской преемственности.

Феодосию он полюбил не только за ее своеобразный пейзаж, но и за имя, и за остатки гегуэзской крепости, и за порт со средиземноморскими кораблями. Когда-то О.М. сказал Харджиеву, что считает себя последним христианско-эллиническим поэтом в России. Это слово «последний» — единственное его высказывание, в котором чувствуется страх конца культуры... А я думаю, что он хотел бы, чтоб его похоронили в Крыму, а не на земле изгнания — под Владивостоком.

Вполне понятно, почему стихи вернулись в Закавказье. У О.М. есть признание, что он работает, когда в груди ощущается «Колхиды колыханье», то есть ощущение связи с миром истории и культуры. Только при таких условиях может появиться «песнь бескорыстная»... Стремился он в Армению настойчиво и долго, предпочтя ее даже Грузии, вероятно, как христианский форпост на Востоке, но о значении Грузии для русской поэзии говорил неоднократно.

Как и все хорошее в нашей жизни, поездку в Армению устраивал Бухарин. В первый раз он пытался отправить

нас в Армению еще в конце двадцатых годов. Нарком просвещения был тогда Мравьян. Он пригласил О.М. в Эриванский университет «читать страшный курс-семинарий»⁴²³. Первая поездка сорвалась из-за неожиданной смерти Мравьяна⁴²⁴, да и преподавания О.М. испугался до смерти — он не представлял себе, что может кого-нибудь учить, и сознавал, что никаких систематических знаний у него нет.

Когда в тридцатом году на вопрос Коротковой, белочки-секретарши из «Четвертой прозы», куда мы хотим ехать, О.М. ответил: «В Армению», она вздохнула и, серьезно посмотрев на О.М., сказала: «Опять в Армению? Значит, это очень серьезно...» О.М. не случайно помянул эту секретаршу в «Четвертой прозе»: в ней чувствовались душевная внимательность и доброта, которые были не в моде в наших учреждениях.

По контрасту мне вспоминается «секретарша нечеловеческой красоты» в уничтоженных со страха — вполне обоснованного — драматических сценах Ахматовой⁴²⁵. Эта секретарша там все время повторяет фразу, которую мы слышали везде и повсюду: «Вас много, а я одна...» В этой фразе отразился весь стиль эпохи в преломлении мельчайшей чиновницы.

Редактор американского издания О.М., Филиппов, со свойственной всем редакторам пронизательностью, решил, что в Армению О.М. сбежал от строительства пятилеток...⁴²⁶ Это — дешевая политическая спекуляция. На окраинах строительство ощущалось гораздо сильнее, чем в центре, и против него О.М. уж во всяком случае ничего иметь не мог. С чего бы ему сердиться на планомерную организацию хозяйства? Разве в этом дело?

Крым, Грузия и Армения в понимании О.М. были только Черноморьем, приобщенным через связи с Средиземноморьем к мировой культуре. Мерилом же всех явлений оставалась Италия. Он не случайно выбрал Данта, чтобы изложить свою поэтику: Дант для О.М. — это источник, от которого пошла вся европейская поэзия, и мера поэтической правоты. В записных книжках к «Разговору о Данте» есть несколько заметок об «итальянской прививке» у русских поэтов. Эти заметки не попали в основной текст, вероятно, потому, что О.М. избегал слишком большой откровенности и не любил обнажать свою

мысль: ее ход он как бы оставлял для себя. В кремлевских соборах он заметил их итальянскую природу: «И пятиглавые московские соборы С их итальянскою и русскою душой» и «Успенье нежное — Флоренция в Москве»...

Про Рублева он сказал, когда смотрел «Троицу», что Рублев, несомненно, знал итальянских мастеров и это выделяет его среди других иконописцев его времени. Небольшую повестушку — это была радиопередача — о юности Гёте, куда О.М. подобрал эпизоды, характерные для биографии не только Гёте, но вообще всякого поэта, он закончил итальянским путешествием. Такое паломничество к святым местам европейской культуры казалось ему необходимым и решающим этапом в жизни каждого художника.

Почему же О.М., не удовлетворенный своими юношескими поездками в Италию, отказался в двадцатых годах от поездки за границу? Всесильный тогда Бухарин дал поручительство, второе он получил у Воронского — заграничный паспорт был обеспечен. Эти поручительства пролежали без толку у меня в сундуке до самого обыска 34 года, когда их сунули в портфель и вместе с рукописями стихов увезли на Лубянку, «приобщили», так сказать, к делу...

В молодости я не до конца понимала связь между поступками О.М. и тем, что он писал. Сейчас многое для меня яснее, чем в те дни, когда он был жив и повседневные ссоры, взаимные насмешки и пререкания занимали все наше время и мысли. Объяснение отказа от поездки в Европу я нашла в статье о Чаадаеве, о котором О.М. рассказывает, что он побывал на Западе, в «историческом мире», и все же вернулся. Он нашел дорогу обратно — и в этом О.М. видит его заслугу. С такой же наивной прямолинейностью, с которой О.М. не терпел в доме часов, он, вспомнив о возвращении Чаадаева, отказался от соблазна еще раз посетить Европу.

Мысль у О.М. всегда переходила в поступок, но, боясь моих насмешек, он не всегда открывал мне подоплеку. Но я уже при жизни знала, что и стихи и проза как бы определяли его поведение, вернее, многое из сказанного им прозвучало для него как обет. Таков был обет нищеты в стихах об Алексее, обещание продолжать борьбу, как бы это ни было опасно и неприятно, в «Алискансе» и отказ от Европы в статье о Чаадаеве.

Эта статья написана в ранней юности, но миропонимание уже успело оформиться, и обеты, данные мальчишкой, сохраняли силу до самой смерти.

СОЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

В самом начале тридцатых годов О.М. как-то мне сказал: «Знаешь, если когда-нибудь был золотой век, это — девятнадцатый. Только мы не знали».

Мы действительно многого не знали и не понимали, и знание досталось нам дорогой ценой. Почему за поиски совершенных форм социальной жизни люди всегда так жестоко расплачиваются?

Недавно я услышала: «Известно, что все, кто хотел дать людям счастье, приносили им величайшие несчастья...» Это сказал юноша, который сейчас не хочет перемен, лишь бы не навлечь на себя и на других новых несчастий... Таких, как он, сейчас — толпы, разумеется, среди более или менее зажиточных кругов. Это — молодые специалисты, представители точных наук, чей труд нужен государству. Они живут в наследственных квартирах в две, а то и три-четыре комнаты или ждут ордер от своего института. Деятельностью своих отцов они напуганы, но еще больше боятся перемен. Их идеал — тихо просидеть всю жизнь за своими вычислительными машинами, не думая о том, зачем нужны их вычисления и к чему они приведут, а досуг посвящать кто чему — литературе, женщинам, музыке или поездкам на юг.

Недаром старый остряк Шкловский, получив ордер на новую квартиру, сказал, обращаясь к другим счастливым, въезжавшим в тот же дом: «Теперь надо молить Бога, чтобы не было революции...» Виктор Борисович попал в точку: предел личного счастья достигнут. Только бы им насладиться... Только бы покой... Чутьочку покоя... Нам его всегда не хватало.

Формула молодых специалистов, не желающих перемен, найдена превосходно: ведь действительно, погоня за совершенством приводит чорт знает к чему. Недавно человек другой судьбы, пожилой и много испытавший, активно боровшийся за «новое» — но не у нас — и потому сохранивший

чувство ответственности за свершившееся, признался: «Раз в жизни мы захотели осчастливить народ и никогда себе этого не простим». Впрочем, думаю, что он себе все простит и постарается взять от жизни все, что ему следует за заслуги... А там, внизу, те самые массы, про которые наговорили столько чепухи, — мужики, не тронутые цивилизацией, механизированные и все прочие, — ломают голову, откуда бы добавить к зарплате, чтобы тоже мирно прожить. Кое-кто тянет в дом на дело — укрепить венцы или купить обувь; а другие больше насчет четвертинки. Откуда достают они деньги, чтобы глущить себя водкой?

Жил рядом со мной в Пскове маляр, бывший партизан, пожилой человек, еще и сегодня сталинец чистой воды. В дни полочки он матом кроет обманувшего его бригадира, а к вечеру шумит в коридоре коммунальной квартиры: «Смотрите, как живет Григорий Семенович: все у него есть! Все ему Сталин обеспечил...» Жена уволакивает его в комнату, где они живут вчетвером, и там похвальба продолжается: «Квартиру дал, орден дал, жизнь дал, почет и уважение дал... А кто дал, сами знаете... Цены снижены...» Семейные праздники в этом семействе проходят чинно — собираются сестры жены с мужьями, вспоминают раскулачиванье: им удалось сбежать с родительского хутора сначала в прислуги, а потом на государственную службу. Жена маляра — самая бойкая — во время финской войны служила в столовой МГБ в прифронтовой полосе и помнит, что «финны злые». Они пьют за Сталина и утверждают, что раньше, в его, сталинское, время, у них все было, а теперь одни недостатки... Искалеченные зятя и пожилые женщины с маленькими детьми, рожденными после войны... Жена маляра прислуживала мне всю зиму, а весной донесла по привычке на свою соседку, сдававшую мне комнату, что у нее живет непрописанная. Потом она горько плакала, просила у меня прощения и ходила в церковь замаливать грех. Это могучее прошлое, которое постепенно сходит на нет. Эти если и хотят перемен, то только возвращения молодости, которая кажется им сейчас радужной, и того, кто научил их простейшим формулам: «спасибо за счастливую жизнь»... И музыка у них есть — телевизор, предмет первой необходимости. Нас, конечно, осчастливили, но никто в этом не раскаивается.

В начале двадцатого века возникло, как я понимаю это сейчас, убеждение, что уже пора создать такие совершенные, вернее, идеальные формы социальной жизни, которые должны, обязаны, не посмеют не обеспечить всеобщего благоденствия и счастья. Эта идея была порождена гуманизмом и демократическими тенденциями девятнадцатого века, но именно они-то оказались препятствием к осуществлению царства социальной справедливости: ведь девятнадцатый век был разоблачен как век высоких слов и компромиссных действий, лавирования и общей неустойчивости. По контрасту двадцатый искал спасения и свершения своих идей в прямолинейности, железном социальном порядке и дисциплине, основанной на повиновении авторитету. Все строилось наперекор прошлому.

Жажда органического строя и одной идеи, которая лежала бы в основе миропонимания и всей деятельности, терзала людей в конце прошлого и в начале этого века. Любимое детище гуманизма — свободная мысль — расшатывала авторитеты и была принесена в жертву новым идеалам. Рационалистическая программа социальных преобразований требовала слепой веры и подчинения авторитету. Так был восстановлен авторитет и возникла идея диктатуры. Энтузиазм — не пустое слово. Он реально существовал. Диктатор силен только тогда, когда располагает кадрами слепо верующих исполнителей. Купить их нельзя — это было бы слишком просто, и вот, когда они уже есть, можно добавить и прикупить — особенно если некуда податься. Но всякая идея имеет начало, кульминацию и спад. Когда наступает спад, остается инерция: юноши, которые боятся перемен, опустошенные люди, жаждущие покоя, кучки стариков, напуганных делом рук своих, и мельчайшие исполнители, которые механически повторяют внушенные им в молодости слова.

О.М. никогда не отказывался от гуманизма и его ценностей, но и ему пришлось пройти большой путь, чтобы назвать девятнадцатый век — «золотым». Подобно всем своим современникам, он пересмотрел наследство девятнадцатого века и предъявил ему свой счет. Думаю, что в формировании идей О.М. огромную роль играл личный опыт, опыт художника, столь же сильно определяющий миропонимание, как и мистический опыт. Поэтому в социальной жизни он тоже

искал гармонии и соответствия частей в их подчинении целому. Недаром он понимал культуру как идею, дающую строй и архитектуру историческому процессу... Он говорил об архитектуре личности и об архитектуре социально-правовых и экономических форм. Деятельный век отталкивал его бедностью, даже убожеством социальной архитектуры, и где-то он говорил об этом в статьях.

В демократиях Запада, высмеянных еще Герценом, О.М. не находил гармонии и величия, к которым стремился. Ему хотелось отчетливого построения общества, «лестницы Иакова», как он выразился в статье о Чаадаеве и в «Шуме времени». Эту «лестницу Иакова» он почувствовал в организации католической церкви и в марксизме, которыми увлекался одновременно еще школьником. Об этом он писал и в «Шуме времени», и в письме к своему школьному учителю В. В. Гиппиусу из Парижа, куда уехал учиться по окончании Тенишевского училища. И в католичестве, и в марксизме он почуял организационную идею, связывающую в целое всю постройку. В Киеве в девятнадцатом году он как-то сказал мне, что лучшее социальное устройство мерещится ему чем-то вроде теократии. Именно поэтому его не отпугивала идея авторитета, обернувшаяся диктаторской властью. Смущала его в те годы, пожалуй, только организация партии. «Партия — это перевернутая церковь...» Это значило, что партия строится как церковь с ее подчинением авторитету, только без Бога⁴²⁷... Сравнение с иезуитским орденом тогда еще не напрашивалось.

Новые формы государственности начали впервые ощущаться после Гражданской войны. Энгельс правильно заметил, что «смертоубийственная промышленность» всегда самая передовая. Об этом свидетельствует история пороха, а в наше время — расщепление атома. Точно так самыми «передовыми», то есть наиболее характерными и лучше всего выражающими идею государства, являются те учреждения, которые занимаются человекоубийственным промыслом во славу «социальной архитектуры»...

Первая встреча О.М. с новым государством — это посещение Дзержинского и следователя, когда он хлопотал в 22 году об арестованном брате. Эта встреча заставила его крепко задуматься над сравнительной ценностью «социальной

архитектуры» и человеческой личности. «Архитектура» тогда только намечалась, но уже обещала быть неслыханно величественной, почище египетских пирамид. И ей нельзя было отказать в единстве замысла. Юношеская мечта О.М. как будто начала осуществляться, но, как всякий художник, О.М. никогда не терял ощущения действительности, поэтому величие государственных форм социализма его не ослепило, а скорее испугало.

К этому времени относится стихотворение «Век», где он возвращается к прошлому и спрашивает, как связать «двух столетий позвонки», и статья «Гуманизм и современность». В этой статье говорится, что мера социальной архитектуры — человек, но что бывают эпохи, которые строят не для человека: «Они говорят, что им нет дела до человека, но что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него надо строить, а не для него». Как пример враждебной человеку социальной архитектуры он приводит Ассирию и Древний Египет: «Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя; воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве...» Современность напомнила О.М. Египет и Ассирию, но он еще надеялся, что будущие монументальные формы надвигающейся государственности будут смягчены гуманизмом.

Сохранились две фотографии О.М. На одной — еще молодой человек в свитере, у него озабоченный вид и серьезное лицо. Этот снимок сделан в 22 году, когда он впервые открыл ассирийскую природу нашей государственности. На втором снимке — старик с бородой. Между этими двумя фотографиями прошло только десять лет, но в 32 году О.М. уже знал, чем обернулись его юношеские мечты о красивой «социальной архитектуре», авторитете и преодолении наследства девятнадцатого века. К этому времени он уже успел сказать про ассирийского царя: «...он взял мой воздух себе. Ассириец держит мое сердце» — и написать стихи «Мы живем, под собою не чужа страны». Одним из первых он вернулся к девятнадцатому веку, назвав его «золотым», хотя знал, что наши идеи разрослись из одного из семян, выращенных в девятнадцатом веке.

Под самый конец жизни О.М. успел еще раз вспомнить о пресловутой «социальной архитектуре» и посмеяться над самим собой: «Украшался отборной собачиной Египтян государственный стыд, Мертвецов наделял всякой всячиной И торчит пустячком пирамид... Ладил с готикой, жил озоруючи И плевал на паучьи права Наглый школьник и ангел ворующий, Несравненный Виллон Франсуа...»

А может, мы в самом деле ассирийцы и потому относимся с таким равнодушием к массовому избиению рабов и пленных, заложников и ослушников? Услыхав об очередном избиении, мы говорим друг другу: «Ведь это массовое явление... Что тут поделаешь!..» Мы уважаем массовые кампании, мероприятия, начертания, решения и распоряжения. Ассирийские цари тоже бывали добрые и злые, но кто остановит руку царя, когда он подает знак к истреблению пленных или разрешает архитектору построить себе дворец?

А не были ли эти избиваемые пленные той самой массой, которую мы сейчас пугаем друг друга? Всюду, где есть железный порядок, там появляется «масса», но на производстве люди живут своей жизнью и остаются людьми. Я всегда замечала, что больница, завод, театр — эти замкнутые учреждения — живут своей особой, вполне человеческой жизнью, которая их вовсе не механизует, не делает «массой»...

НЕ ТРЕБА

«Мы, оказывается, живем в надстройке», — сообщил мне О.М. в 22 году вскоре после возвращения из Грузии. Еще недавно О.М. писал об отделении культуры от государства, но Гражданская война кончилась, и молодые строители нового государства начали, пока теоретически, распределять места всем явлениям жизни. Тут-то культура и попала в надстройку над базисом, и последствия не замедлили сказаться. Клычков, дикий человек кротчайшего нрава, цыган с ярко-синими глазами, растерянно говорил О.М. про Воронского: «Уперся — и не сдвинешь. Говорит — нам этого не надо». Воронский, как и все другие, отказывался печатать О.М. — ведь надстройка должна укреплять базис, а стихи О.М. для этого не годились.

Формула «нам этого не надо» еще смешнее прозвучала по-украински. В 1923 году О.М. пришел в Киеве в отдел искусств за разрешением на свой вечер. Чиновник в вышитой украинской рубахе отказал. Почему? «Не треба», — равнодушно ответил он. Это изречение стало у нас поговоркой, а вышитые рубахи вошли в моду, сменив косоворотку, с середины двадцатых годов и стали чем-то вроде формы у ответственных работников ЦК и комиссариатов.

Полный порядок в надстройке был наведен в тридцатом году, когда в «Большевики» появилось письмо Сталина, призывающее не печатать ничего, что бы отклонялось от государственной точки зрения⁴²⁸. Этим, в сущности, цензура лишилась всякого значения. Цензура, которую столько проклинали, является на самом деле признаком относительной свободы печати — она запрещает печатать антигосударственные вещи. Даже будучи дурой, как ей полагается, она все-таки не может уничтожить литературу. Сталинский редакторский аппарат действовал гораздо более целесообразно: он выбрасывал все, что не отвечало прямому государственному заказу.

В редакции ЗКП, где я работала в момент появления сталинской статьи, начался лихорадочный пересмотр рукописей — мы крошили и резали груды материалов. Это называлось «перестраиваться в свете указаний товарища Сталина». Я притащила номер «Большевика» со сталинским письмом и показала его О.М. Он прочел и сказал: «Опять “не треба”, но на этот раз окончательно». Он был прав. Это письмо ознаменовало переломный момент в строительстве надстройки. Его и сейчас не забыли хранители сталинских традиций, которые защищают советскую печать от мандельштамов, заболоцких, ахматовых, пастернаков и цветаевых. Довод «не треба» не перестает жужжать в наших ушах и по сей день.

А Сергей Клычков долгие годы был нашим соседом и по Дому Герцена, и на Фурмановом переулке, и мы всегда дружили с ним. Ему посвящена третья часть «Стихов о русской поэзии»: «Полюбил я лес прекрасный...» Случилось это так: он прочел «там без выгоды уроды режутся в девятый вал» и сказал: «Это про нас с вами, Осип Эмильевич...» В карты ни тот, ни другой не играл — у них был другой «девятый вал» и ставки крупнее всякой карточной.

Клычкова очень рано отстранили от редакционной работы, потому что по своей мужицкой природе он не мог стать чиновником и хлопотать о чистоте надстройки. Жил он переводом какого-то бесконечного эпоса, а по вечерам надевал очки с отломанной лапкой — он привязывал вместо нее веревочку — и читал энциклопедию, как ученый сапожник — Библию. Мне он сказал самое лестное, что может услышать о себе женщина: «Вы, Наденька, очень умная женщина и очень глупая девчонка...» Это было сказано по поводу того, что я прочла Лупполу эпиграмму О.М. на него⁴²⁹.

О.М. ценил «волчий», отщепенский цикл Клычкова и часто, окая по-клычковски, читал оттуда кусочки. Эти стихи отобрали при обыске, и они пропали, потому что Клычков не догадался их вовремя спрятать. Они исчезли, как все, что попадало на Лубянку. Исчез и сам Сергей Антонович. Жене⁴³⁰ сказали, что он получил десять лет без права переписки. Мы не сразу узнали, что это означает расстрел. Говорят, что он смело и независимо держался со следователем. По-моему, такие глаза, как у него, должны приводить следователей в неистовство. Следователи тогда твердо знали, что если они нашли человека виновным, значит, он виновен, поэтому в суде большой надобности нет. Им случалось пристреливать людей при допросе, и про Клычкова говорят, что он погиб именно так⁴³¹.

После смерти Клычкова люди в Москве стали как-то мельче и менее выразительны. Клычков дружил с Павлом Васильевым и называл его своим злым гением, потому что Павел таскал его к бабам и спаивал. Однажды в «Красной нови» редакционные девки нечаянно напечатали стихи Клычкова под фамилией Мандельштама⁴³². Им пришлось пойти вдвоем в редакцию, чтобы отругать девок и перевести гонорар на имя Клычкова. Оба они были умные мужики и очень глупые мальчишки: им и в голову не пришло, что когда-нибудь встанет вопрос об авторстве этих стихов. Девкам не хотелось давать исправление — по ошибке, мол, напечатали «Мандельштам» вместо «Клычков»... Они, то есть девки, испугались, что им достанется от начальства за небрежность, а то, чего доброго, их выгонят со службы. Вот О.М. и Клычков и не стали настаивать на исправлении, а теперь эти стихи заканчивают американское

издание О.М. Хотелось бы предупредить редакторов следующего издания об этой ошибке, да до них не дотянешься...⁴³³

В те дни, когда решалась участь Клычкова и Васильева⁴³⁴, мы с О.М. ожидая поезда на станции Савелово, случайно достали газету и прочли, что смертная казнь отменяется, но сроки заключения увеличиваются до двадцати лет⁴³⁵. О.М. сначала обрадовался — казни всегда вызывали у него ужас, а потом сообразил, в чем дело: «Как они, вероятно, там убивают, если им понадобилось отменять смертную казнь!» — сказал он. В 37 году нам стало ясно, что людей отбирают для уничтожения по принципу «треба» или «не треба»...

ЗЕМЛЯ И ЗЕМНОЕ

Женщина, вернувшаяся после многолетних скитаний по лагерям, рассказывала, что она со своими товарками по беде искала утешения в стихах, которые, на свое счастье, помнила наизусть, и особенно в юношеских строчках О.М.: «Но люблю эту бедную землю, Оттого, что другой не видал...»

Наша жизнь не располагала к отрыву от земли и к поискам трансцендентных истин. «Всегда успеешь, — говорил мне О.М. на мои разговоры о самоубийстве, — всюду один конец, а у нас еще помогут...» Смерть была настолько реальнее и проще жизни, что каждый невольно стремился хоть на миг продлить свое существование — а вдруг завтрашний день принесет облегчение! На войне, в лагерях и в периоды террора люди гораздо меньше думают о смерти, а тем более о самоубийстве, чем в мирной жизни. Когда на земле образуются сгустки смертельного страха и груды абсолютно неразрешимых проблем, общие вопросы бытия отступают на задний план. Стоило ли нам бояться сил природы и вечных законов естества, если страх принимал у нас вполне осязаемую социальную форму?

Как это ни странно, но в этом — не только ужас, но и богатство нашей жизни. Кто знает, что такое счастье? Полнота и насыщенность жизни, пожалуй, более конкретное понятие, чем пресловутое счастье. Может, в том, как мы цеплялись за жизнь, было нечто более глубокое, чем в том, к чему обычно

стремятся люди... Я не знаю, как это назвать — жизненной силой, что ли...

Но я всегда вспоминаю свой разговор с Сонькой Вишневецкой, вдовой Вишневецкого. Мы как бы подытожили с ней все, что с нами произошло: «Вот мы и прожили жизнь, — сказала Соня, — я — счастливую, ты — несчастную...» Бедная, глупая Сонька! Не глупая, впрочем, а просто идиотка... У ее мужа был призрак власти в руках — к нему ходили на поклон писатели, потому что он распоряжался какими-то деньгами и сообщал своим «приверженцам» новые приказы правительства. Его пускали в ЦК, и несколько раз ему случалось быть на приеме у Сталина. Он пил не меньше Фадеева, жадно втягивал ноздрями государственный воздух и позволял себе фронду-минимум: требовал, чтобы напечатали Джойса, и посылал деньги сначала какому-то ссыльному морскому офицеру в Ташкент, а потом — через моего брата — в Воронеж. У него были машина, квартира и дача, которую подло отобрали у Соньки после его смерти. Соня до смерти осталась верна тому, что дало ей эту роскошь, и гневалась на Хрущева за то, что наследникам стали платить половину гонорара, который весь, по ее мнению, принадлежал ей. Про Соню рассказывали груды анекдотов, но она все же была славная баба, и никто не сердился, когда она во весь голос кричала, что вредители убили ее мужа в Кремлевской больнице. А на самом деле ей очень повезло, что он вовремя умер, не успев передать свое наследство какой-нибудь Сониной конкурентке. Соне многие завидовали и пытались выбить кусок из ее рук. Это действительно называлось удачей и счастьем, в этом она была права.

Мне тоже хотелось если не «счастья», то хоть благополучия: «О, сколько раз ей милее уключин скрип, Лоном широкая палуба, гурт овец»⁴³⁶, мирная жизнь с ее простым отчаянием, мыслями о неизбежности смерти и тщете всего земного... Нам это было не дано, и, может, именно это имел в виду О.М., когда сказал следователю, что потерял с революцией страх...

Акмеизм для О.М. был не только «тоской по мировой культуре», но и утверждением земного и общественного начала. Как у всякого человека целостного мировоззрения, в каждом его суждении видна связь с общим пониманием вещей. Разумеется, это не продуманная и разработанная система взглядов,

а, скорее, то, что он назвал в одной из своих статей «мироощущением художника». «Я понял, — сказал мне Тышлер, прекрасный художник, — сидит себе человек и режет ножиком кусок дерева, а вышел Бог...» И он же про Пастернака: «Зачем ему нужно было менять религию? Зачем ему посредники? Ведь у него было свое искусство».

Подобно тому, как мистический опыт определяет религиозное мировоззрение, так и рабочий опыт художника открывает ему мир вещей и духа. Не этим ли опытом художника объясняется то, что взгляды О.М. на поэзию, на роль поэта в обществе и на «слияние умственного и нравственного начала» в целостной культуре и у отдельного человека не претерпели за всю жизнь существенных изменений и ему не пришлось отказываться от своих ранних, печатавшихся в «Аполлоне» статей? В основном он пронес через жизнь единство взглядов и мироощущения. В стихах, несмотря на отчетливое деление на периоды, сохраняется то же единство, и они нередко перекликаются с прозой даже более ранних периодов. Поэтому-то проза и может служить комментарием к стихам.

Верность земле и земному сохранилась у О.М. до последних дней, и воздаяния он ждал «только здесь на земле, а не на небе», хотя и боялся не дожить до этого. «Хорошо, если мы доживем»⁴³⁷, — сказал он мне. В одном из последних стихотворений, уже готовясь к смерти, он вспомнил, что «Под временным небом чистилища Забываем мы часто о том, Что счастливое небохранилище — Раздвижной и прижизненный дом»⁴³⁸.

Читая «Самопознание» Бердяева, одного из лучших наших современников, я не могла не обратить внимания, насколько разное относились эти два человека к жизни и к земному. Быть может, это происходило потому, что один — художник, а другой жил отвлеченной мыслью; кроме того, Бердяев внутренне связан с символистами, и, хотя у него уже намечаются разногласия с ними и некоторое в них разочарование, он все же не порвал с их «родовым лоном»⁴³⁹, а для О.М. бунт против символизма определял всю сущность его жизни и искусства.

Для Бердяева «жизнь — это обыденность, состоящая из забот»⁴⁴⁰, он «был устремлен к поэзии жизни и красоте, но в жизни преобладали проза и уродство»⁴⁴¹. Понятие красоты

Бердяева прямо противоположно тому, которое я видела у всех художников и поэтов, оторвавшихся от символизма. Ни для живописца, ни для поэта нет презренной обыденности; именно в ней он видит красоту — впрочем, это слово почти не употреблялось в моем поколении. Символисты — Вячеслав Иванов, Брюсов — в значительной степени присвоили себе жреческое отношение к жизни, и потому обыденность не совпадала у них с красотой. Возвращение на землю следующих поколений значительно расширило их мир, и он уже больше не делился на уродливую прозу и возвышенную поэзию.

Я вспоминаю Ахматову, которая знает, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда»⁴⁴², и Пастернака с его горячей защитой обыденного в романе. Мандельштаму вся эта дилемма была бесконечно чужда. Он не искал выхода из земного, обычного, пространственного и временного в сферу чистого духа, как Бердяев и символисты, и постарался в своей первой попытке дать нечто вроде поэтики, обосновать привязанность к земле с ее тремя измерениями. Он говорит, что земля для него «не обуза, отнюдь не несчастная случайность, а Богом данный дворец»⁴⁴³. Далее следует полемический выпад против тех, кто, подобно Бердяеву, рвался отсюда в лучший мир и считал жизнь на земле признаком богооставленности.

В том же «манифесте» — «Утро акмеизма» — О.М. пишет: «...что вы скажете о несчастном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает, как бы его перехитрить...» «Перехитрить» значит здесь — уйти из времени и трехмерного пространства. Мандельштаму, или, как он себя называет, акмеисту, трехмерное пространство жизненно нужно, потому что он чувствует свой долг перед хозяином — он здесь, чтобы строить, а строят только в трехмерности. Отсюда его отношение и к миру вещей. Этот мир не враждебен художнику, или, как он говорит, строителю, потому что вещи даны для того, чтобы из них строить. Строительный материал — камень. Он «как бы возжаждал иного бытия» и просится в «крестовый свод» — участвовать в радостном взаимодействии себе подобных. О.М. слово «творчество» не употреблял, такого понятия у него не было. Он с юности ощущал себя «строителем» — «из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам»⁴⁴⁴.

Отсюда не отталкивание от материи, а ощущение ее тяжести, ее предназначенности участвовать в строительстве. Бердяев неоднократно говорит о высшем назначении человека на этой земле — о его творчестве, но не раскрывает, в чем творчество заключается. Это, вероятно, потому, что у него нет опыта художника: ощущения тяжести вещей и слова. Его опыт мистический, который уводит его к концу вещного мира. Близкий к мистическому опыт художника раскрывает ему Творца через его творение, Бога — через человека. Мне кажется, этот путь оправдан учением В. Соловьева и Бердяева о Богочеловечестве. И не потому ли всякому подлинному художнику свойственно то чувство правоты, о котором говорил О.М.?

У Бердяева, как он с этим ни борется, есть презрение к «массовому человеку»⁴⁴⁵. Это тоже сближает его с символистами. Уж не идет ли это от Ницше, который на символистам имел такое огромное влияние? Бердяев жалуется, что «мы живем в век мещанства, и он неблагоприятен появлению сильных личностей»⁴⁴⁶. Бердяев «любил стушевываться». Ему было «противно давать понять о своей значительности и умственном превосходстве»⁴⁴⁷. Читая это, я вспомнила пушкинские слова — «и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», которые были совершенно неправильно поняты всей вересаевской сволочью⁴⁴⁸. Ведь в них выражено простейшее чувство единения с людьми — такой же, как все, ничуть не лучше, плоть от плоти, кость от кости, разве что не такой ладный, как другие...

Мне кажется, что это чувство единения с людьми, своей одинаковости с ними и, пожалуй, даже некоторой зависти к тому, что все они очень уж складные, — неотъемлемый признак поэта. В юношеской статье «О собеседнике» О.М. говорит о разнице между литературой и поэзией: «...литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи... Содержание литературы переливается в современника на основании физического закона о неравных уровнях. Следовательно, литератор обязан быть “выше”, “превосходнее” общества. Поучение — нерв литературы... Другое дело поэзия. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть лучше своей эпохи, лучше своего общества для него не обязательно...» И О.М. искренне чувствовал себя равным людям, таким же, как

все люди, а может, и хуже других людей: «Я с мужиками бородатыми Иду, прохожий человек...»⁴⁴⁹

Позиция символистов была учительской — и в этом их культурная миссия. Отсюда их стояние над толпой, их тяга к сильным личностям. Даже Блок не избегал сознания своей исключительности, которое перемежалось, правда, у него с естественным для поэта ощущением связи с улицей, толпой, людьми. Для Бердяева, как для философа, а не художника, естественно сознание своего превосходства, но тяга к аристократизму и сильной личности — дань времени.

О.М. не любил и не позволял себе никаких выпадов против «мещанства»⁴⁵⁰. Мещан-бюргеров он, скорее, уважал и не случайно назвал Герцена, клеймившего их, баринном⁴⁵¹. Но особенно его удивляли наши нападения на мещан и мещанство... «Чего они хотят от мещан, — сказал он как-то. — Ведь это самый устойчивый слой — на нем все держится». В сущности, у него было прямое отталкивание только от одной категории людей — это от литературных дам, державших салоны, и от их итээровских⁴⁵² сестер. Этим он не переносил за их претенциозность, и они ему отвечали тем же...

В «Путешествии в Армению» есть место, которое могло бы показаться выпадом против мещанства. Речь идет о соседях по Замоскворечью...⁴⁵³ Но это не мещанство с его устойчивым бытом и привычками, а косная мрачная толпа безрадостных людей, которая добровольно и охотно пошла в новое рабство. Здесь он солидарен с Бердяевым, который заметил, что «после Первой мировой войны народилось поколение, которое возненавидело свободу и возлюбило авторитет и насилие»⁴⁵⁴. Но Бердяев считает, что это результат «демократического века»⁴⁵⁵, и в этом он неправ. Вся наша история последних десятилетий была предельно антидемократична, и эти процессы особенно четко выразились именно у нас.

Ведь весь «вождизм», которым болела первая половина двадцатого века, — это отказ от демократии. Издали он не заметил, как затоптали простого человека, и не видел развития того, что мы называли «гэпэушным презрением к людям». Ведь вождь был не один, а всякий, у кого в руках была хоть какая-нибудь власть: любой следователь и любой управдом... Мы не понимали, что такое искушение властью. Кто захочет быть

Наполеоном, скажем? Но в том-то и дело, что какой-нибудь директор института стремится вовсе не наверх, а дико цепляется за свое директорство и из него извлекает все наслаждение властью. Крошечные диктаторы развелись повсюду. Ими кишела и еще кишит наша земля, но они все же исчезают, потому что люди уже насладились этой игрой, ее время прошло.

Бердяев, подобно символистам, не признает «групповой морали»⁴⁵⁶ и «родового начала», потому что оно противоположно свободе⁴⁵⁷. Здесь его свобода приближается к тому своему волю, которое расшатывало дореволюционную интеллигенцию. Ведь культура — это не только верхний слой общества, но и то, что передается из поколения в поколение, та самая преемственность, без которой рушится жизнь. «Родовое» часто невыносимо и приобретает застывшую форму, но, видно, в целом оно не так уж страшно, раз род человеческий все-таки устоял и существует. А угроза этому человеческому роду намечается не от родовой морали, а от чрезмерной изобретательности его подвижных слоев.

О.М. называет поэта «колебателем смысла», но это не бунт против устоев и преемственности, а, скорее, отказ от застывшего образа, от омертвевшей фразы, которая, застыв, искажает смысл. Это тот же призыв к жизни, к живому наблюдению, к регистрации событий — против омертвения. Не в этом ли смысле он говорит о «культуре-приличии»? В искусстве это, очевидно, повторение того, что уже было и кончилось, но что с радостью принимается людьми, потому что они предпочитают быть подальше от «колебателей смысла».

Главная проблема Бердяева — свобода, за которую он боролся всю жизнь, но этот вопрос для О.М. не существовал. Вероятно, как всякий художник, он не представлял себе, что есть люди, лишённые внутренней свободы; вероятно, он считал свободу неотделимой от человека как такового. А в социальной области Бердяев стремился к примату личности над обществом⁴⁵⁸; для О.М., вероятно, вопрос стоял о личности в обществе, подобно тому, как он боролся за положение в обществе поэзии и поэта. Это значит, что общество он признавал данностью и высшей организационной формой.

Смешно сказать, но и в таких мелочах, как отношение к женщине или, вернее, отношения с женщинами, Бердяев

и О.М. соотносятся как символист и акмеист. У символистов были «Прекрасные дамы» в поэзии, жрицы и то, что мы с Анной Андреевной называли «мироносицами». Они еще во множестве водились в моей юности и были невероятно претенциозны, потому что сознавали величие своего «служения». Чепуху они несли неслыханную, вроде примечаний Е. Рапп к «Автобиографии», где у змеи почему-то появляются когти, у женщин змеиные лица, а у мужчин чудятся плащи и мечи...⁴⁵⁹ Все эти женщины необыкновенные, и отношения с ними тоже необыкновенные. У нас дело было попоше.

Бердяеву чужды радости⁴⁶⁰. Хотя Мандельштам не искал счастья, все ценное в своей жизни он называл весельем, игрой: «Вся наша двухтысячелетняя культура, благодаря чудесной милости христианства, — есть отпущение мира на свободу для игры, для духовного веселья, для свободного подражания Христу»⁴⁶¹. И еще: «Слово — чистое веселье, Исцеленье от тоски».

Я хотела бы сказать, как понимал О.М. слово, но мне это не по силам. Думаю только, что он знал, что такое «внутренняя форма слова», и разницу между словом-знаком и символом. Он холодно отнесся к знаменитым стихам Гумилева о слове⁴⁶², но не объяснил почему. И число понимал, вероятно, иначе, чем Гумилев⁴⁶³. Между прочим, О.М. всегда учитывал число строк и строф в стихотворении и число глав в прозе. «Разве это важно?» — удивлялась я. Он сердился — для него мое непонимание было нигилизмом и невежеством: ведь не случайно же у людей есть священные числа — три, например, или семь... Число тоже было культурой, и получено, как преемственный дар, от людей.

В Воронеже у О.М. начали появляться стихи в девять, семь, десять и одиннадцать строк. Семи- и девятистрочья часто входили целым элементом в более длинное стихотворение. У него появилось чувство, что к нему приходит какая-то новая форма: «Ты ведь понимаешь, что значит четырнадцать строк... Что-то должны означать и эти семь и девять... Они все время выскакивают...» Но в этом не было мистики числа, а скорее испытанный способ проверки гармонии.

Все, что я говорила о противопоставленности Бердяева и О.М., относится только к тем особенностям Бердяева, которые он разделял с символистами. Но он совсем не сливается с ними — только наряду с философской мыслью встречаются

чисто вкусовые высказывания, напоминающие родимые пятна эпохи. Очевидно, все подвластно своему времени, и хотя Бердяев, как и О.М., говорил, что никогда не был ничьим современником⁴⁶⁴, все же он жил во времени и с ними. Но именно он сказал самое главное о символистах: для них не существовало ни этических, ни социальных проблем. От этого они отказались, и О.М. именно поэтому бунтовал против «всеядности» Брюсова, против зыбкости и случайности ценностей. Бердяев во всем, кроме вкусовых элементов, преодолел символистов, но все же остался под обаянием этих великих душеловцев.

Обидно, что О.М. не достал книг Бердяева, хотя искал их. Он не прочел своего современника, и я не знаю, как он принял бы его учение. К несчастью, в нашей изоляции мы были отрезаны от всякой мысли. Это одно из величайших несчастий, которое может выпасть на долю человека.

АРХИВ И ГОЛОС

«Мироощущение для художника — орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственное реальное — это само произведение» («Утро акмеизма»).

Кое-что из стихов и прозы О.М. пропало, но большая часть сохранилась. Это — история моей борьбы со стихией, с тем, что пробовало слизнуть и меня, и бедные клочки, которые я берегла.

В молодости люди не берегут своих бумаг. Разве может мальчишка представить себе, что те листки, которые он замарал, когда-нибудь понадобятся? А может, и хорошо, что пропадают молодые стихи — это своеобразный отбор, и его необходимо делать всякому художнику. В Киев О.М. приехал с ручной корзинкой. В ней его мать держала нитки и шитье, и он таскал ее с собой как единственную вещь, уцелевшую от матери. На корзинке висел большой замок. О.М. сказал мне, что в ней письма матери и кое-какие бумаги. Он сам не знал, что он туда сунул.

Из Киева О.М. попал со своим братом в Крым. Шура играл в карты с солдатами, проигрывая одну за другой рубашки брата. Солдаты в отсутствие О.М. добрались до корзинки,

стащили замок, а потом раскурили бумаги. О.М. дорожил письмами матери и сердился на брата. О своих бумагах он не думал — все было в памяти.

В первые годы нашей совместной жизни у О.М. не было ни клочка исписанной бумаги. «Вторую книгу» он собирал по памяти: вспоминал стихотворение, диктовал или записывал, смотрел, некоторые сохранял, другие выбрасывал. До этого он отдал кучку черновиков в «Петрополис», их увезли за границу и напечатали «Тристии»⁴⁶⁵. Нам не приходило в голову, что человек может умереть, а с ним вместе его память. Кроме того, отдавая стихи в редакции, О.М. верил, что им обеспечено вечное хранение. Он не представлял себе всей халтурности и распушенности наших редакций.

Мать подарила мне очень милые чемоданы и сундучок с наклейками европейских отелей. Чемоданы ушли к сапожникам, которые шили нам сапоги из жесткой чемоданной кожи. По тем временам это было роскошью, и мы одно время щеголяли в светло-желтой чемоданной обуви. А сундук, небольшой и изящный, ни для чего не пригодился: откуда взять вещи, чтобы положить в него? И я начала кидать в него разные бумажки, даже не зная, что это называется писательским архивом.

Заболел отец О.М., и нам пришлось ехать в Ленинград. Из больницы старик не мог вернуться в свою чудовищно запущенную комнату. Мы перевезли его к младшему брату О.М. — Евгению Эмильевичу. Собирая вещи, я наткнулась на такой же сундук, как мой, только чуть побольше, и тоже с наклейками и ярлыками. Оказалось, что О.М. купил его где-то в Мюнхене, когда ему захотелось выглядеть элегантным туристом. Эти сундучки были в моде до первой войны. В этот сундук дед свалил свои гроссбухи вперемешку с обесцененными царскими деньгами и керенками. На дне я обнаружила кучку рукописей: клочки ранних стихов и листочки скрябинского доклада... Мы увезли рукописи вместе с сундучком в Москву.

Так начался архив. В сундук летели ненужные бумажки: черновики стихов, письма, статьи. О.М. не возражал, и груда росла. В сундук не попадала черная повседневная работа: переводы стихов и прозы, журнальные статьи, рецензии для издательств на получаемые книги и рукописи — преимущественно иностранные. Рецензии все погибли в Ленгизе — О.М. верил,

что они там сохранятся⁴⁶⁶. Две или три случайно сохранились в сундуке, по недосмотру так сказать. Журнальные и газетные статьи понадобились, когда О.М. собирал книгу статей. Тогда я и брат мой Женя переписывали их в библиотеке, вероятно, с цензурными искажениями. Почему-то не удостоился архива и «Шум времени». Должно быть, сундук появился позже.

Перелом в отношении к бумагам произошел после «Четвертой прозы», вернее, это был первый сигнал, напомнивший о необходимости что-то делать с бумагами. Второй сигнал — арест 34 года.

Мы уезжали в Армению, и мне не захотелось везти с собой единственный экземпляр «Четвертой». Время хоть и было нежнейшим, но за эту прозу О.М. бы по головке не погладили. Пришлось искать верного человека, чтобы ее оставить⁴⁶⁷. Это была наша первая проба хранения не дома.

Впрочем, не совсем первая. В Крыму в девятнадцатом году О.М. написал два стихотворения, которые не захотел хранить, и они погибли у его друга Лени Ландсберга. Этого человека я один раз видела в Москве, и он сказал, что стихи целы. Случилось это году в двадцать втором. А потом и стихи и Леня пропали. Я помню только строчку или две из этих стихов. Но, видно, они никогда не выплывут⁴⁶⁸.

Вот это и научило меня присматривать за всеми местами, где лежат рукописи, и хранить их во множестве копий. «Четвертую прозу» мы никогда не держали дома, а в нескольких местах — и я переписывала ее от руки столько раз, что запомнила наизусть.

Мы вернулись из Армении, стихи пошли густо, и О.М. сразу ощутил свое изгойское положение. Мне запомнился разговор в Ленинграде. На Невском, в конторе «Известий», представитель этой газеты, человек как будто дружественный, прочел «Я вернулся в мой город» и сказал О.М.: «А знаете, что бывает после таких стихов? Трое приходят... в форме...» Мы это знали, но терпеливая советская власть пока не спешила... Стихи распространялись с невероятной быстротой в довольно узком, правда, кругу. О.М. считал, что это и есть способ хранения: «Люди сохраняют».

Меня это не удовлетворяло, и время показало, что я была права. Уже тогда я начала делать списки и прятать их.

В основном я их рассовывала у себя во всякие щели, но несколько экземпляров всегда отдавала на хранение. Во время обыска 34 года мы увидели, где ищут, а стихи уже были зашиты в подушку, упрятаны в кастрюлю и в ботики. Туда не заглянули. К несчастью, во всех этих местах были копии, и притом не полные: не расшивать же подушку ради каждого нового стихотворения... Из подушки, приехав в Воронеж, я вынула стихи об Ариосто.

Воронеж — это новый этап жизни и новое отношение к хранению. Эра идилических подушек кончилась, а я ведь еще помнила, как летел пух из еврейских подушек во время деникинских погромов в Киеве... Память О.М. с возрастом ослабела, и мы уже знали, что она погибает вместе с человеком, а цена жизни на нашей таинственной бирже падает с каждым днем. Надо было искать людей, готовых хранить рукописи, но их становилось все меньше.

У меня появилась профессия: все воронежские три года я переписывала стихи и раздавала их, но серьезного места хранения у меня не было, кроме моего брата Жени, да и то он их дома не держал. Вот тут-то и подвернулся Рудаков.

Сергей Борисович Рудаков, генеральский сын, был выслан из Ленинграда с дворянами. В начале революции у него расстреляли отца и старших братьев⁴⁶⁹. Вырастили его сестры, и он провел обычное советско-пионерское детство, был передовиком школы, кончил даже вуз⁴⁷⁰ и готовился к вполне пристойной деятельности, когда на него свалилась высылка. Подобно многим детям, оставшимся без родителей, он очень хотел ужиться с временем, и у него даже была своеобразная литературная теория: надо писать только то, что печатают. Сам он писал модные по тому времени, изысканные стихи не без влияния Марины и выбрал Воронеж, чтобы быть поближе к О.М.⁴⁷¹

Он появился без меня, когда я торчала в Москве, добывая перевод, и около месяца пробыл без меня с О.М. Когда мы ехали с вокзала с О.М., он мне сказал, что появился новый приятель, не Борис Сергеевич, а Сергей Борисович, который собирается писать книгу о поэзии и вообще славный мальчик. После болезни О.М., вероятно, не верил в свои силы и нуждался в дружественном слушателе вновь появившихся стихов. Впрочем, он никогда не мог работать в полной пустоте, и я не думаю, что кто-нибудь способен на это.

В Воронеже Сергей Борисович даже не пытался устроиться — он не терял надежду, что жена выгадит его через кого-то из крупных генералов, впоследствии в 37 году погибших. Он снял койку в одной комнате со славным рабочим парнем Трошей, а ел и пил у нас⁴⁷². Для нас это был сравнительно благополучный период с переводом, театром и радио, и нам ничего не стоило прокормить бедного мальчишку. Без меня Рудаков тщательно собирал все варианты писавшегося при нем «Чернозема». Когда я приехала, мы с О.М. начали восстанавливать пропавшие во время обыска стихи, а Рудаков все списывал себе в тетрадку. Наутро он приносил стишки, написанные смешным каллиграфическим почерком с завитушками на кусочке псевдоватмана. Он презирал мой куриный почерк и полное отсутствие эстетики рукописи. Писать чернилами, например, Рудаков считал зазорным — только тушью... Он еще рисовал тушью силуэты, не хуже пропойц, промышлявших этим на бульварах, и с гордостью демонстрировал нам свои шедевры. А мне, показывая красиво выполненную рукопись стихотворения О.М., говорил: «Вот это будут хранить в архивах, а не ваши с О.М. каракули...» Мы только посмеивались и мальчишку не обижали.

Нередко мы предупреждали Рудакова, что ему может повредить знакомство с нами⁴⁷³, но он отвечал таким набором благородных фраз, что мы только ахали и, может, именно из-за этого относились мягче, чем следовало, к некоторым неприятным его чертам. Уж слишком, например, он был высокомерен и вечно хамил со вторым нашим постоянным посетителем — Калецким, тоже ленинградцем и учеником всех наших знакомых — Эйхенбаума, Тынянова и других...⁴⁷⁴ Скромный, застенчивый юнец, Калецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произнести. Однажды он с ужасом сказал О.М.: «Все учреждения, которые мы знаем, никуда не годятся, они не способны выдержать ни малейшего испытания — мертвый, разлагающийся советский бюрократизм... А что, если армия тоже такая, как и все остальное? И вдруг война...» Рудаков вспомнил, чему его учили в школе, и заявил: «Я верю в партию». Калецкий смутился и покраснел. «Я верю в народ», — тихо сказал он. Он выглядел совсем невзрачно рядом с рослым и красивым Рудаковым, но внутренняя сила была на его стороне,

а Рудаков, издеваясь, называл его «квантом» и пояснял: «Это самая маленькая сила, способная выполнять работу...»

Вторая тяжелая черта Рудакова — вечное нытье. В России, по его мнению, среда «всегда заедала талантливых людей», и он, Рудаков, не выполнит своего назначения, не напишет книги о поэзии, не раскроет людям глаза... О.М. таких разговоров не терпел: «А почему вы сейчас не пишете? Если человеку есть что сказать, он всегда скажет...» На этом всегда вспыхивали споры. Рудаков жаловался на условия — комната, деньги, настроение, — сердился и уходил, хлопнув дверью... Через часок-другой он все же являлся как ни в чем не бывало...

У Рудакова оказался резко выраженный учительский темперамент. Он учил всех и всему: меня — переписывать рукописи, О.М. — писать стихи, Калецкого — думать... Всякое новое стихотворение он встречал буйной теорией из своей ненаписанной книги, в которой звучало: «Почему вы меня раньше не спросили?» Я видела, что он часто мешает О.М., и мне часто хотелось его выставить. О.М. не позволял: «А что он будет есть?» — спрашивал он, и все продолжалось дальше.

И все-таки и Рудаков и Калецкий были большим утешением. Если б не они, мы бы почувствовали изоляцию гораздо раньше. Оба вернулись в Ленинград в начале 36 года⁴⁷⁵, и мы остались одни. Тогда-то и пришла к нам Наташа. В Воронеже, когда мы жили у «агента», жарившего мышей, Рудаков заболел скарлатиной и в больнице познакомился с «барышнями», которых отчаянно от нас скрывал. С Наташи, одной из этих «барышень», он даже, уезжая, взял слово, что она к нам не придет, но она слово не сдержала и хорошо сделала... Словом, мальчишка был чудак, но в наше время знакомства с чудаками кончаются плохо. Это ему я отдала на хранение все самое ценное из автографов, а Ахматова свезла на саночках архив Гумилева.

Рудаков после первого ранения стал в Москве воинским начальником. К нему явился кто-то из его родственников, сказал, что он по убеждениям толстовец и не может воевать. Рудаков своею властью освободил его от повинности, был разоблачен и послан в штрафной батальон, где тут же погиб⁴⁷⁶. Рукописи остались у вдовы, и она их не вернула. В 53 году, встретив Анну Андреевну на концерте, она сказала, что все цело, а через полгода объявила Эмме Герштейн, что ее под занавес арестовали

и все забрали. Потом версия изменилась — ее забрали, а «мама все сожгла»... Как все произошло на самом деле, установить нельзя. Мы знаем только, что кое-какие рукописи Гумилева она продавала, но не сама, а через подставных лиц⁴⁷⁷.

Анна Андреевна рвет и мечет, но ничего поделаться нельзя. Однажды мы зазвали вдовушку — Рудакову-Финкельштейн — к Ахматовой под предлогом статьи Рудакова: нельзя ли ее, мол, напечатать, но добиться от нее толку было невозможно. Больше всего повезло Харджиеву — он проник к ней, она дала ему письма Рудакова и разрешила переписывать все, что ему нужно. Харджиев ведь великий оболыститель, Цирцея, красивый и очаровательный, когда захочет, человек. Но в письмах Рудакова, которые он писал ежедневно, как дневник, и тщательно нумеровал для потомства, ничего существенного для нас не оказалось.

Несчастный мальчишка был, очевидно, тяжелым психопатом. Письма полны безумных речей вроде: в комнате О.М. сошла вся поэзия — не помню, мировая или русская: он, О.М. и книжка Вагинова — тоже великого поэта...⁴⁷⁸ Он учит О.М. писать стихи, объясняет ему все, и в ужасе, что все похвалы достанутся не ему, а Мандельштаму...⁴⁷⁹ Сам Мандельштам ведет себя по-державински: он то кричит, что он царь, то жалуется, что он червь... В одном из писем Рудаков объявляет себя наследником Мандельштама: будто О.М. ему сказал: «Вы мой наследник, и делайте с моими стихами все, что сочтете нужным...»⁴⁸⁰ Я цитирую эти письма по памяти, копии находятся у Харджиева.

Прочтя их, мы поняли, что украденные архивы — не случайность: так было задумано Рудаковым, и вдова только выполняет его волю. То, что мы принимали за чистую коммерцию — выгодно продавать автографы, — оказалось результатом бредовых идей самого Рудакова. Трудно сказать, что бы случилось, если б я умерла. Возможно, что Рудаков восстановил бы справедливость и выдал стихи за свои. Но ему пришлось бы нелегко, потому что большинство стихотворений все же ходили в списках.

Такая попытка начисто сорвалась у Севы Багрицкого и кончилась скандалом, когда мать опубликовала «Щегла» как стихотворение Севы⁴⁸¹. Хуже было бы, если б я послушалась в свое время Рудакова — он действовал на меня через Эмму Герштейн,

с которой подружился, — и отдала ему все без исключения бумаги О.М. Он мотивировал это тем, что все бумаги должны быть в одном месте, но мы с Харджиевым рассудили, что лучше не концентрировать их — одно место провалится, сохранятся списки в другом... У Рудакова погибло несколько стихотворений, почти все воронежские черновики и множество автографов «Тристий»⁴⁸². О.М., видно, предчувствовал, какая судьба ждет его архив, когда писал в «Разговоре о Данте»: «Итак, сохранность черновиков — закон энергетики произведения. Для того чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в иную сторону...»

В истории с Рудаковым я виню не глупого мальчишку, каковы бы ни были его цели. Виноваты те, кто создал нам такую «счастливую жизнь». Если б мы жили, как люди, а не как загнанные звери, Рудаков был бы одним из многих бывающих у нас в доме, и вряд ли ему пришло в голову похищать архив Мандельштама и объявлять себя его наследником, а вдове — торговать гумилевскими письмами к Ахматовой.

Рудаков — один из важнейших моментов хранения архива, но, кроме него, было еще много и удач, и бед. Мелькнули эпизоды, годные для сценария: Наташа, уносившая письма О.М. ко мне в жестяной коробочке из-под чая, когда наступали немцы и уже горел Воронеж. Нина, уничтожившая список стихов О.М. в дни, когда она ждала вторичного ареста своей свекрови, и ее друг Эдик, хваставшийся, что сохранил те листочки, которые я ему дала, хотя хвастаться было нечем, потому что он жил у своего тестя — ташкентского самоубийцы..⁴⁸³

А я раздавала списки и гадала, который из них сохранится. Моим единственным помощником в этом деле был мой брат, и мы все ходили и перекладывали с места на место основной фонд... Я таскала за собой в чемодане кучку черновиков прозы, перекладывая ее грудями языковедческих записок к диссертации, чтобы неграмотные стукачи, если они залезут без меня, не поняли, что к чему, и стащили не то, что требуется. Изредка у меня пропадали бумаги, и это продолжается и сейчас, но, вероятно, по какой-то другой причине.

Запомнить все бумаги я не могу, но мне бросилось в глаза, что у меня недавно исчезла целая папка с наклейкой «Материалы к биографии». Они сохранились в копии, но куда

девались подлинники, понять нельзя. В книге, купленной мной за двести рублей, было четыре автографа, а остались два: это издание «Камня» с вписанными Каблуковым вариантами и вложенными автографами⁴⁸⁴. Еще исчезло письмо ко мне Пастернака, где он писал, что в современной литературе — дело было сразу после войны — он интересуется только Симоновым и Твардовским, потому что ему хочется понять механизм славы. Мне сдается, что это письмо и автографы просто стащены любителями и не пропадут. Во всяком случае, после этих пропаж я перестала держать дома — а дома-то у меня нет! — что бы то ни было, и опять меня мучит мысль: где уцелеет, а где пропадет...

Так или иначе, я дошла бы до финиша с небольшими потерями, но финиша все еще не видно. Только от одного способа хранения мне пришлось отказаться просто по возрасту: до 56 года я все помнила наизусть — и прозу, и стихи... Для того, чтобы не забывать, надо твердить каждый день какие-нибудь куски, и я это делала, пока верила в свою жизнеспособность. Теперь поздно... И в заключение я расскажу новеллу уже не про себя.

Женщина, про которую я рассказываю, жива, и поэтому я не называю ее имени. В 37 году в газетах каждый день появлялись статьи против ее мужа, видного сановника. Он ждал ареста и сидел у себя дома, не смея выйти, потому что дом был окружен шпиками. По ночам он сочинял послание в ЦК, и ночью жена заучивала его кусками наизусть. Его расстреляли, а она добрых два десятка лет скиталась по лагерям и тюрьмам. Вернувшись, она записала послание мужа и отнесла его туда, куда оно было адресовано, и там оно кануло, надеюсь, не в вечность...⁴⁸⁵ Сколько нас таких — твердивших по ночам слова погибших мужей?

И еще о голосе... Фонотеку Сергея Игнатьевича Бернштейна уничтожили, а его выгнали из Зубовского института за формализм. Там были записи Гумилева и Мандельштама⁴⁸⁶. Это было в период, когда рассеивали по ветру прах погибших. Фотографии — их очень мало — я хранила наравне и теми же методами, что и рукописи, а записи голоса были не в моем распоряжении. Я хорошо помню чтение О.М. и его голос, но он неповторим и только звучит у меня в ушах. Если бы его услышать,

стало бы ясно, что он называл «понимающим исполнением» или «дирижированьем». Фонетическим письмом и тонированием можно передать лишь самую грубую схему пауз, повышений и понижений голоса. За бортом остается долгота гласных, обертона и тембр. Но какая память сохранит все движения голоса, отзвучавшего четверть века назад!

Впрочем, голос сохранился в самом строении стихов, и сейчас, когда немота и безгласие кончаются, тысячи мальчишек уловили звучание стихов, услышали их тональность и невольно повторяют авторские интонации. Ничего развеять по ветру нельзя.

К счастью, этими стихами еще не завладели актеры, дикторы и школьные учителя. Один раз до меня донесся наглый голос дикторши станции «Свобода». Она читала «Я пью за военные астры». Этот милый шуточный стишок всегда был предметом спекуляции у нас для всяких Никулиных⁴⁸⁷ и присных, а теперь его использовала зарубежная дикторша и читала с такими подлыми «выразительными» интонациями — она их переняла у наших дикторов, — что я с отвращением и тоской выключила радио.

СТАРОЕ И НОВОЕ

В один из первых дней после нашего приезда из Воронежа нас возил по Москве в своей новенькой, привезенной из Америки машине Валентин Катаев. Он влюбленными глазами смотрел на О.М. и говорил: «Я знаю, чего вам не хватает, — принудительного местожительства...» Вечером мы сидели в новом писательском доме с парадным из мрамора-лабрадора⁴⁸⁸, поразившим воображение писателей, еще помнивших бедствия революции и Гражданской войны. В новой квартире у Катаева все было новое — новая жена, новый ребенок, новые деньги и новая мебель. «Я люблю модерн», — зажмурившись говорил Катаев, а этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег, потому что они были не только новые, но и внове.

Вселившись в дом, Катаев поднялся на три этажа посмотреть, как устроился в новой квартире Шкловский. Этажи

в доме указывали на писательский ранг. Вишневский, например, настоял, чтобы ему отдали квартиру находившегося в отъезде Эренбурга — он считал, что при его положении в Союзе писателей неудобно забираться под самую крышу. Мотивировка официальная: Вишневский страдает боязнью высоты. Походив по квартире Шкловского, Катаев удивленно спросил: «А где же вы держите свои костюмы?» А у Шкловского еще была старая жена, старые маленькие дети и одна, в лучшем случае две пары брюк. Но он уже заказывал себе первый в жизни костюм... Ведь уже не полагалось ходить в ободранном виде, и надо было иметь вполне господский вид, чтобы зайти в редакцию или в кинокомитет. Куртка и толстовка комсомольцев двадцатых годов окончательно вышли из моды — «все должно выглядеть, как прежде»... А в конце войны обещали премии тем преподавателям, которые умудряются завести себе хорошие платья...

Катаев угощал нас новым для Москвы испанским вином и новыми апельсинами — они появились в продаже впервые после революции. Все «как прежде», даже апельсины! Но наши родители не имели электрических холодильников, они держали продукты в комнатных ледничках, и им по утрам привозили бруски донного льда. А Катаев привез из Америки первый писательский холодильник, и в вине плавали льдинки, замороженные по последнему слову техники и комфорта. Пришел Никулин с молодой женой, только что родившей ему близнецов, и Катаев ахал, что у таких похабников тоже бывают дети. А я вспоминала старое изречение Никулина, которое уже перестало смешить меня: «Мы не Достоевские — нам лишь бы деньги...» Никулин пил испанское вино и говорил об испанских диалектах. Он только что съездил посмотреть на испанскую революцию.

Когда мы покидали Москву, писатели еще не были привилегированным сословием, а сейчас они пускали корни и обдумывали, как бы им сохранить свои привилегии. Катаев поделился с нами своим планом: «Сейчас надо писать Вальтер-Скотта...» Это был не самый легкий путь — для него требовались и трудоспособность, и талант.

Жители нового дома с мраморным, из лабрадора, подъездом понимали значение 37 года лучше, чем мы, потому что

видели обе стороны процесса. Происходило нечто похожее на Страшный суд, когда одних топчут черти, а другим поют хвалу. Вкусивший райского питья не захочет в преисподнюю. Да и кому туда хочется?.. Поэтому они постановили на семейных и дружественных собраниях, что к 37-му надо приспособливаться. «Валя — настоящий сталинский человек», — говорила новая жена Катаева, Эстер, которая в родительском доме успела испробовать, как живется отверженным⁴⁸⁹. И сам Катаев, тоже умудренный ранним опытом, уже давно повторял: «Не хочу неприятностей... Лишь бы не рассердить начальство...»

«Кто сейчас помнит Мандельштама? — сокрушенно сказал нам Катаев. — Разве только я или Женя Петров назовем его в разговоре с молодыми — вот и все...» О.М. на такие вещи не обижался, да к тому же это была истинная правда, за исключением того, что братья Катаевы решались упоминать его имя в разговорах с посторонними. Новая Москва обстраивалась, выходила в люди, брала первые рекорды⁴⁹⁰ и открывала первые счета в банках, покупала мебель и писала романы... Все были потенциальными выдвиненцами, потому что каждый день кто-нибудь выбывал из жизни и на его место выдвигался другой.

Каждый был, конечно, кандидатом и на гибель, но днем об этом не думали — для подобных страхов достаточно ночи. О выбывших забывали сразу, а перед их женами, если им удавалось закрепиться на части жилплощади, сразу захлопывались все благополучные двери. Впрочем, жен оставалось все меньше — в 37-м уже начали не только рубить под корень, но и выкорчевывать.

О.М. хорошо относился к Катаеву: «В нем есть настоящий бандитский шик», — говорил он. Мы впервые познакомились с Катаевым в Харькове в 22 году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший «влипнуть» и выкрутиться из очень серьезных неприятностей. Из Харькова он ехал в Москву, чтобы ее завоевать. Он приходил к нам в Москве с кучей шуток — фольклором Мыльникова переулка, ранней божественной квартиры одесситов. Многие из этих шуток мы прочли потом в «Двенадцати стульях» — Валентин подарил их младшему брату, который приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но, по совету старшего брата, стал писателем.

К концу двадцатых годов — с первыми успехами — у всех прозаиков моей юности, кроме Тынянова и Зощенко, начало прорываться нечто грязно-беллетристическое, кондоевое... У Катаева эта метаморфоза, благодаря его талантливости и цинизму, приняла особо яркую форму. Под самые тридцатые годы мы ехали с Катаевым в такси. До этого мы не виделись целый век, потому что подолгу жили в Ленинграде или в Крыму. Встреча после разлуки была самой дружественной, и Катаев даже вызвался нас куда-то проводить. Он сидел на третьем откидном сиденье и непрерывно говорил — таких речей я еще не слышала.

Он упрекал О.М. в малолиственности и малотиражности: «Вот умрете, а где собрание сочинений? Сколько в нем будет листов? Даже переплести нечего! Нет, у писателя должно быть двенадцать томов — с золотыми обрезками!» Катаевское «новое» возвращалось к старому: все написанное — это приложение к «Ниве»; жена «ходит за покупками», а сам он, кормилец и деспот, топают ногами, если кухарка пережарила жаркое. Мальчиком он вырвался из смертельного страха и голода и поэтому пожелал прочности и покоя: денег, девочек, доверия начальства. Я долго не понимала, где кончается шутка и начинается харя. «Они все такие, — сказал О.М., — только этот умен».

Это в ту поездку на такси Катаев сказал, что не надо искать правду: «правда по-гречески называется мрия»...

В Ташкенте во время эвакуации я встретила счастливого Катаева. Подъезжая к Аральску, он увидел верблюда и сразу вспомнил Мандельштама: «Как он держал голову — совсем как О. Э...» От этого зрелища Катаев помолодел и начал писать стихи. Вот в этом разница между Катаевым и прочими писателями: у них никаких неразумных ассоциаций не бывает. Какое, например, дело Федину до верблюдов или стихов? Из тех, кто был отобран для благополучия, быть может, один Катаев не утратил любви к стихам и чувства литературы. Вот почему О.М. ездил с ним по Москве и пил испанское вино в июне 37 года. А провожая нас в переднюю, Катаев сказал: «О. Э., может, вам дадут наконец остепениться... Пора...»

В эпоху реабилитации Катаев все порывался напечатать стихи О.М. в «Юности», но так и не посмел рассердить начальство. Но другие ведь даже не порывались.

Что было бы с Катаевым, если б ему не пришлось писать «Вальтер-Скотта»? Это был очень талантливый человек, остроумный и острый, из тех, кто составляет самое просвещенное крыло текущей многотиражной литературы.

А в то лето мы действительно были бы не прочь «остепениться». Строились планы на будущее: хорошо бы обменять квартиру, чтобы не жить на пятом этаже без лифта... С обменом спешить не надо — пусть Ставский раньше исполнит свое обещание и переселит Костырева...

О.М. отчаянно поспорил с Евгением Яковлевичем по вопросу, который всем нам казался весьма актуальным: стоит ли брать переводы? Е. Я. говорил, что на первое время это совершенно необходимо, а если «вам противно, пусть переводит Наденька». О.М. утверждал, что не переносит этого занятия и не находит себе места, когда «переводит Наденька». Разрешил спор Луппол, главный редактор Гослита. Он сказал, что пока сидит за редакторским столом, Мандельштам не получит ни строчки переводов и вообще никакой работы⁴⁹¹. Вскоре Луппола забрали, и он погиб, а за его стол сел кто-то другой, но это ничего не изменило: люди уходят, а «принципиальные установки» сохраняют силу — они прочнее людей. «Принципиальная установка» — это стена, и пробить ее нельзя по сегодняшний день.

Ответ Луппола нас не отрезвил — мы по-прежнему надеялись, что все образуется. Нарбута уже не было. Маргулиса уже не было. Клычкова уже не было⁴⁹². Многих уже не было. О.М. бормотал гумилевские строчки — «горе, горе, страх, петля и яма»⁴⁹³, но потом снова радовался жизни и утешал меня, что все образуется. «Чего ты ноешь? — говорил он. — Живи, пока можно, а там видно будет... Ведь не может же так продолжаться!» Который уж год эта фраза: «ведь не может же так продолжаться» — единственный источник нашего оптимизма. Об этом знал уже Лев Толстой и, услышав эти слова от Безухова, презрительно сказал, что «они» всегда себя так утешают⁴⁹⁴.

«Один добавочный день» длился немногим больше недели.

Анна Андреевна, читая Библию, узнала, что «горе, горе, страх, петля и яма» буквальная цитата из пророка Исайи: «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли...»⁴⁹⁵

МИЛИЦЕЙСКАЯ ВЕНЕРА

«Разве пожарные умирают?» — спросила Татка, племянница О.М. «Разве богатые умирают?» — перефразировал О.М., сообразив в Воронеже, что деньги и благополучие все-таки способствуют долголетию. «Разве в Москве тоже прописывают?» — спрашивал О.М., когда я напомнила ему, что пора подумать о прописке. А тут приехал на денек-другой Костырев, и О.М. сообразил, что тянуть больше нельзя.

Он спустился в домоуправление и тотчас прибежал обратно. «Дай свой паспорт!» — сказал он. «А мой зачем?» Оказалось, что после моего отъезда в мае в Воронеж Костырев навел порядок и приготовился к встрече: он выписал меня. До этого я числилась жительницей Москвы, а в Воронеж только «наезжала». Домоуправление даже не знало, что паспорт я обменяла в Воронеже. Как-то это сошло мне с рук... Сам же Костырев успел получить постоянную прописку вместо временной. Для «постоянной» ему полагалось прожить какой-то солидный срок, но он сумел опередить время. «Для Костырева, — сказал управдом, — нам велели сделать исключение...»

Наша квартира была кооперативной, и мы заплатили за нее крупные деньги. По закону мы стали собственниками, и без нашего разрешения у нас никого прописывать не разрешалось. Вот с этими кооперативными квартирами начались осложнения, то есть семьи исчезнувших пробовали удержаться в них и противиться вселению новых жильцов — поэтому уже подготавлился новый закон, отменявший все права кооперативных застройщиков. Закон еще не был издан, о нем заговорили где-то на самом верху, и появился он едва ли не в конце 38 года, но у нас даже неизданный закон имеет обратную силу. Да при чем тут законы!

Костыревская прописка указывала, что ему помогают захватить квартиру, и это было плохим предзнаменованием, но О.М. почему-то ничуть не огорчился. Он стал фаталистом советского толка: «Захотят — все образуется, не захотят — ничего не поделаешь!» Его фатализм распространялся и на меня — вот тогда-то и была произнесена фраза: «Ты вернешься в Москву, если вернут меня. Одну тебя не пустят...» Через четверть века после смерти О.М. мне все же разрешили поселиться в Москве,

хотя его еще как будто не пускают, если не считать щелку, куда ему разрешили заглянуть и которая называется журналом «Москва»⁴⁹⁶.

Костырев — деталь, один из винтиков сложного механизма. Это был человек без лица, один из тех, кого нельзя узнать на улице или в автобусе, но чье лицо просвечивает во многих лицах. При любой исторической конъюнктуре для него бы нашлось гороховое пальто, но наше время благоприятствовало этому роду людей, и он стал и писателем, и генералом одновременно. Поселившись в комнате О.М., он непрерывно выстукивал на машинке свои дальневосточные рассказы и на той же машинке переписывал стихи.

Однажды, печатая «Разрывы круглых бухт», он сказал мне: «О. Э. любит Крым только потому, что не побывал на Дальнем Востоке». По его мнению, каждому писателю следовало побывать на Дальнем Востоке. А в это время уже потянулись эшелоны с заключенными ко Второй Речке во Владивостоке — начала осваиваться Колыма, и мы это знали. У человека, к которому приставили такого крупного работника, как Костырев, были большие шансы попасть на Дальний Восток, но пока речь шла не о Колыме, а только о прописке в Москве.

Районная милиция отказала с необычайной быстротой. Нам объяснили, что еще остается центральная на Петровке. «Если откажут, — сказал О.М., — вернемся в Воронеж». Мы даже созвонились с нашей бывшей хозяйкой, чтобы она придержала для нас на всякий случай комнату. На Петровке нам вручили отказ и объяснили, почему О.М. не пускают в Москву: судимость.

Не надо путать «судимость», чисто советское понятие, сейчас как будто отмененное, если приговор не превышает пяти лет, с поражением в правах по постановлению суда. Судимость — это клеймо на всю жизнь, и не только на том, кого судили, но и на членах семьи. Я десятки раз заполняла анкеты с вопросом, есть ли судимость у меня или у ближайших родственников. Чтобы скрыть «судимость» родственников, выдумывали себе ложные биографии. Сказать или не сказать про погибшего отца — одна из основных тем семейных разговоров, когда дети в случайно уцелевших семьях кончали школу. Несколько

лет я живу без клейма отраженной судимости, но на мне есть еще клеймо литературное.

На Петровке мы впервые узнали, какие последствия влечет за собой судимость. «Куда вы едете?» — спросил милицейский чин, вручивший О.М. отказ: он должен был отметить на «деле», куда мы отправляемся. «Обратно в Воронеж», — ответил О.М. «Поезжайте, — сказал милицейский чин, но тут же прибавил: — Только вас там не пропишут». Оказалось, что по приговору «минус двенадцать» перед О.М. закрывалось двенадцать городов, но, отбыв три года, он лишился права жить в семидесяти с лишним городах — и при этом на всю жизнь.

«А если б я остался в Воронеже?» — спросил О.М. Милицейский объяснил, что «у нас еще имеются недочеты в работе», поэтому про О.М. могли забыть, но только на время, а потом все равно выселили бы из запрещенного города. Сейчас нас это уже не удивляет: мы привыкли к тому, что прописка — это высокий барьер, через который могут перескочить только призывные скакуны. Никто, кроме вызванных на работу, не может прописаться ни в одном городе, и для прописки нужен паспорт, а есть много категорий людей, лишенных этого документа. Такие вообще не могут двинуться с места. Многие среди нас и сейчас не понимают, что паспорт в нашей стране — тоже настоящая привилегия. Но в 37 году это было новшество, и О.М. серьезно сказал: «Прогресс».

«Попробуй еще раз подать без меня, — посоветовал мне О.М., когда мы вернулись домой. — Ведь у тебя никакой судимости нет...»

Это был первый и единственный случай, когда он попробовал отделить мою судьбу от своей. И я решила попытаться счастья: это тоже был первый и единственный случай, когда мне захотелось спасти квартиру.

За столиком в большом зале сидели главные милиционеры города. Получив отказ, я захотела узнать причину. «Судимость», — сказал милицейский. «У меня нет судимости», — возмутилась я. «Как нет? — удивился чин и порылся в бумагах. — Вот, Осип, судимость...» «Это мужчина — Осип, — упорствовала я, — а я женщина — Надежда...» Чин признал мою правоту. «В самом деле, — сказал он, но тут же

пришел в ярость: — А при чем здесь, что он мужчина? Он вам кто? Муж?»

Милицейский встал и хлопнул кулаком по столу: «А вы знаете, что такое пятьдесят восьмая статья?» Он что-то еще кричал, а я в страхе убежала, хотя прекрасно понимала, что ярость у него напускная и он, отказывая мне, просто выполняет инструкцию и не знает, что мне ответить на мои домогательства. Мы все и всегда выполняли инструкции и, если нам перечили, внезапно меняли тон. Кое-кому повезло, и инструкции, которые они выполняли, были вполне невинного свойства, вроде отказа в медицинской справке, снятия студента со стипендии или отправки кончившего вуз в неудобное ему место. Другие по приказу начальства били наотмашь кулаком, выселяли и арестовывали. Вопрос решался только профессией выполнявшего приказы. Я бы не испугалась, если б на меня накричал желчный милиционер, но устами этого говорило государство, и с тех пор я не могу без дрожи войти в милицию, тем более что наши нелады продолжают и я всегда живу не там, где меня сочили бы полномочной гражданкой. От Мандельштама я унаследовала бездомность и полное отсутствие корней. Именно поэтому меня забыли выкорчевать.

Мандельштам ждал меня на улице. Что нам оставалось делать, как не вспомнить гумилевскую пародию на стихи о Венеции, которая называлась «Милицейская Венера»: «Человек родится, он же умирает, А милиция всегда нужна...» И мы пошли домой — в дом, который уже не был нашим домом.

СЛУЧАЙНОСТЬ

Судьбы наши не захотели разделить, но именно то, что тогда они не разделились, отделило мою гражданскую судьбу от мандельштамовской: бродячая и бездомная, в чужом кругу, среди чужих людей, я меньше о нем напоминала, чем живи я в писательском доме или вообще в Москве. За мной, конечно, всюду следовало мое досье, личное дело, заведенное на меня органами, но я числилась «за Москвой», и провинциальные доносы меня не сгубили. Благодаря Костыреву, который выгнал меня из дому, и накричавшему на меня милиционеру я уцелела.

Если б я осталась в Фурмановом переулке, писатели, соблазненные жилплощадью или из чисто государственных побуждений, непременно напомнили бы обо мне властям предрержащим.

Меня спасла случайность. Нашими судьбами слишком часто управляли случайности, но в большинстве случаев они были роковые и случайно приводили людей к гибели. Я много наблюдала таких случайностей, когда часами стояла в очередях с передачей денег или за справкой в прокуратуре. Однажды я видела женщину, у которой случайно забрали сына вместо его однофамильца и соседа, которого в момент ареста не было дома. Женщине удалось пробиться куда-то и доказать, что в ордере, по которому забрали ее сына, стояло имя и отчество его соседа. Ей пришлось для этого свернуть горы, и она это сделала. Уже пришел приказ об освобождении, но тут выяснилось, что сына нет в живых. Он погиб по дикой случайности, а сосед случайно выжил и скрылся.

Женщина — дело было в прокуратуре — рыдала и выла, узнав о смерти случайно забранного сына. Прокурор вышел из своей клетки и накричал на нее с такой же напускной яростью, как милиционер — на меня. Кричал он из воспитательных целей: разве можно выполнять ответственную прокурорскую работу, не обеспечив себе тишины? Обязанности прокурора заключались в том, что он давал справки — одному говорил: десять лет, другому: десять без права переписки. Справка о смерти здесь не выдавали; женщина, у которой умер сын, отличалась, видно, неслыханной хваткой, раз добилась объяснения, почему не возвращается ее сын. О смерти обычно узнавали случайно или не узнавали вовсе, а что такое — «без права переписки», тогда еще не понимали.

Вокруг кричащего прокурора и воющей женщины собрались люди из очереди. Они тоже не одобряли крикунью. «Что уж тут плакать, — резюмировала какая-то терпеливая баба, тоже справлявшаяся о сыне, — теперь уж не воскресишь... Только нас задерживает». Скандалистку вывели, и снова водворился порядок.

У советского человека развито особое уважение к учреждениям, или, как это называлось раньше, присутственным местам. Если бы сын умер дома, никто не возмутился бы крику и причитаниям матери, но внутренняя дисциплина

не позволяла шуметь в присутственных местах. Все мы отличаемся поразительной выдержкой. Мы умели прийти на службу после ночного обыска и ареста близких и там улыбаться, как всегда. Улыбаться нам полагалось. Нами руководил инстинкт самосохранения, страх за своих и особый кодекс советских приличий.

При втором аресте сына Анна Андреевна нарушила этот кодекс: она взвыла в присутствии тех, кто пришел за Левой. Вообще же она держалась хорошо и даже заслужила одобрение Суркова: «Анна Андреевна так поразительно держала себя эти годы...» А попробуй держи себя иначе, когда там у тебя заложник... Случайность ли, что почти никто из нас не нарушал правил советского приличия? А вот О.М. их не соблюдал совершенно. У него не было никакой выдержки. Он шутил, кричал, ломился в закрытые двери, ярился и не переставал удивляться тому, что происходит, до последней минуты.

Сейчас моя выдержка и самодисциплина ослабели, и я пишу эти страницы, хотя нам объяснили, что вспоминать те годы надо умеючи. Единственная разрешенная форма подобных воспоминаний — показ того, что человек в любых условиях остается верным строителем коммунизма и умеет отличать главное — нашу цель — от второстепенного — своей собственной искалеченной и растоптанной жизни. О правдоподобии этой концепции не позаботился никто: без этого можно обойтись... Выдвинули ее, как будто, люди, прошедшие полжизни в лагерях, а те, кто их на каторгу загнал, одобрительно кивнули. Мне только раз пришлось столкнуться со сторонником этой концепции — между мной и ими стоят непроницаемые социальные перегородки, и эта встреча могла состояться только случайно.

«Что это еще за Солженицын? Ваши все о нем говорили», — спросил меня мой сосед по купе — я ехала в Псков из Москвы, и меня провожала целая ватага, взволнованная и радостная, потому что накануне мы узнали, что Твардовский наконец добился разрешения напечатать рассказ Солженицына в «Новом мире». Поглядев на своего насупленного спутника, я сразу поняла, что между нами существует незримая связь на манер сообщающихся сосудов. Есть, впрочем, разница: жидкость в сообщающихся сосудах колеблется, пока не сравняются уровни, а наше с ним душевное состояние никогда не бывает на одном уровне — чем выше у него, тем ниже у меня и наоборот.

Я рассказала про Солженицына и узнала его приговор: зря печатают... «Читали рассказ “Самородок”?.. Можно бы обойтись без него, но все-таки есть воспитательная идея...»⁴⁹⁷ На мои возражения он сказал: «Надо понимать — это была историческая необходимость». «Почему необходимость, — возразила я, — ведь говорят, это случайность: плохой характер Сталина». «С виду вы человек образованный, а Маркса плохо читали. Забыли, что ли, что случайность — это неосознанная необходимость?... Это означало, что не будь Сталина, кто-нибудь другой загнал бы в лагеря всех этих людей...»

У моего спутника была военная куртка без погон и желтое одутловатое лицо, как у людей, всю жизнь просидевших за письменным столом и страдавших бессонницей. А сидеть он привык на кресле: качнувшись всем корпусом к собеседнику, он вдруг слегка приподнимал руки, словно искал для опоры ручки кресла.

В разговорах моих друзей он уловил еще имя Пастернака. «Тот самый Пастернак?» К истории с книгой Пастернака он отнесся с профессиональной четкостью: это был просто грубый недосмотр. «Как могли допустить... Подумайте, до чего довели: за границу переслал. Прохлопали...» Самого Пастернака он не читал и «читать не собирался». «Кто же его читает? Я в курсе литературы, приходится... И то не слышал...» Я возразила, что он не слышал ни про Тютчева, ни про Баратынского. Он вынул записную книжку: «Как вы сказали? Знакомлюсь...»

Про себя он сначала сказал, что он врач, сейчас на пенсии — по возрасту как будто рановато на пенсию — и занимается в помощь милиции работой с малолетними правонарушителями. «Почему не медициной?» — «Так пришлось». Медицина оказалась далеким прошлым, а в своей деятельности ему почему-то приходилось выслушивать и сторонников и врагов прошлого режима. «Где ж это враги могли разговаривать?» — спросила я, но ответа не последовало. Выйдя в отставку, он выбрал Таллин, где ему случалось бывать «по долгу службы», и ему дали там трехкомнатную квартиру, а живут при нем жена и младший сын. «Что-то я не слышала, чтобы врачам давали трехкомнатные квартиры на такую семью», — сказала я. «Бывает», — лаконично ответил он.

Вспомнив про семью, он поделился со мной, как с педагогом, своим горем. Старшие двое у него удачные. Он себе устроил вроде отпуска и ездил их навещать: дочь замужем за секретарем обкома, сын сам работает в обкоме. А вот младший, родившийся после войны, никуда не годится — туняец, хочет бросить школу и идти работать на завод. «Почему ж туняец, если хочет работать?» — спросила я. Оказалось, что сын не хочет жить с отцом — товарищи ему наговорили; мало того, он еще действует на мать, и она тоже стала чего-то ершиться. «А все потому, что старшие нужду знали во время войны: аттестата ведь не хватало. Младший в довольстве рос — апельсины, шоколад. Вот и вырос таким. Рожать его не надо было...» Он не сумел мне объяснить, как будет при коммунизме, когда дети не будут знать нужды: все ли они отобьются от рук? А товарищи сына, видно, запомнили деятельность отца, приехавшего в Таллин по долгу службы.

Мне было ясно, что я разговариваю с «обломком сталинской империи». Случайность ли, что сын взбунтовался против своего отца? Случайность ли, что отцу не хочется ворошить прошлого, этой «исторической необходимости», ради которой он поусердствовал? Повесть Солженицына как оселок: по реакции каждого читателя можно судить о его прошлом или о прошлом его семьи. Прошлое еще не изжито и не осмысленно. Слишком много народу принимали в нем участие, прямое или косвенное, или, по крайней мере, молчали о том, что знали, чтобы теперь мы осмелились прямо взглянуть ему в глаза. Совершенно ясно, чего хотят «обломки империи», которые сейчас сидят в безвестности и занимаются в помощь милиции воспитанием трудновоспитуемых. Они ждут прихода своих модернизированных единомышленников, чтобы благословить молодое и незнакомое племя.

Люди, просто молчавшие или закрывавшие глаза на то, что происходит, тоже стараются как-то оправдать прошлое. Эти обычно обвиняют меня в субъективизме: вы затрагиваете только одну сторону, а ведь было еще многое другое: строительство, постановки Мейерхольтда, челюскинцы — мало ли что... Я могла бы прибавить, что еще существовало и небо, и звезды, но все же надо извлечь смысл из того, что совершилось. Мы пережили тяжкий кризис гуманизма девятнадцатого века, когда рухнули

все его этические ценности, потому что они были обоснованы только нуждами и желаниями человека, или попросту его стремлением к счастью. Зато двадцатый век продемонстрировал нам со школьной наглядностью и то, что зло обладает огромной силой самоуничтожения. В своем развитии оно неизбежно доходит до абсурда и самоубийства. К несчастью, мы еще не поняли, что зло, самоуничтожаясь, может уничтожить всякую жизнь на земле, и об этом не следовало бы забывать. Впрочем, сколько бы ни кричали люди об этих простых истинах, их услышат только те, кто сами не хотят зла. Ведь все уже было, и кончалось, и начиналось снова, но всегда с новой силой и с большим охватом. К счастью, я уже не увижу, что готовит нам будущее.

МОНТЕР

«Сдаваться еще рано», — сказал наутро О.М. и пошел в Союз писателей к Ставскому, но тот его не принял: раньше чем через неделю, — передал он через секретаря, — он принять О.М. не сможет, потому что занят по горло. Из Союза О.М. бросился в Литфонд, и там, на лестнице, с ним случился припадок стенокардии⁴⁹⁸. Вызвали скорую помощь и доставили О.М. домой, приказав лежать. О.М. только этого и хотел: он надеялся дожждаться приема у Ставского и через него добиться прописки.

Ему было невдомек, что, умывая руки, все эти ставские, которые служат посредниками между нами и нашими хозяйками, всегда говорят, что они заняты: минутки не могут уделить... Точно так Сурков в 59 году, когда меня выгнали в последний раз из Москвы, объяснил, что никак не может вырвать минутки, чтобы поговорить о моем деле с товарищами. Мне это, впрочем, грозило только бездомностью, а в сталинское время речь шла о жизни и смерти.

В довольно хорошем настроении О.М. полеживал на «бессарабской линейке», и каждый день к нему приходил врач из Литфонда⁴⁹⁹. Дней через десять его отправили к консультанту Литфонда, профессору Разумовой, женщине с умным лицом, в комнате которой висели этюды Нестерова. Нас удивило, с какой легкостью она дала справку о том, что О.М. нуждается в постельном режиме и общем обследовании. Конечно, она

не обязана была знать юридическое положение О.М., но после воронежских и чердынских мытарств отношение Разумовой, да и других врачей Литфонда показалось нам удивительным — словно снова возникла в России интеллигенция с ее отношением к ссыльным.

Тут-то О.М. и завладела безумная мысль — перехитрить судьбу и любым способом зацепиться за Москву, единственный город, где у нас все-таки была крыша над головой и мы могли как-то существовать. Его спутало то, что и сам Литфонд шел ему навстречу: посылал врачей и справлялся о здоровье. Как это объяснить? Быть может, кто-нибудь из работников сочувствовал О.М., а может, они просто испугались, увидев, как протекает припадок, — как бы их потом не обвинили, что они не оказали вовремя помощь... И то и другое было вполне реально. Так или иначе, Литфонд старался чем-то помочь, а в наших условиях — это вещь удивительная: уравниловки ведь у нас не было и нет, и каждому положено лишь то, чего он заслужил.

Приехал Костырев, покрутился, стуча дверями, и ушел, сообщив моей матери, что пробудет несколько дней в Москве. Вскоре он вернулся и оставил свою дверь к нам в комнату открытой. Мы — у нас еще сидел Рудаков, находившийся в Москве проездом из Ленинграда в Крым, — решили, что Костырев просто подслушивает, но оказалось, что он ждет посетителя. Этого посетителя он к себе в комнату не провел, но остановился с ним в нашей комнате, где мы сидели за шкафом. Разговаривал он с пришедшим о проводке. Посетитель, очевидно монтер, советовал проводку менять, и у меня даже мелькнула мысль, что Костырев становится чересчур хозяйственным. «Что-то не то», — вдруг сказал О.М., насторожившись. Я не успела остановить его: мне показалось, что у него снова начались галлюцинации, потому что он выскочил из-за шкафа и подошел прямо к монтеру: «Нечего притворяться, — сказал он, — говорите прямо, что вам нужно — не меня ли?»

«Что он делает», — в отчаянии шепнула я Рудакову, в полной уверенности, что О.М. бредит. Но, к моему удивлению, монтер принял это как должное. Еще две-три реплики, и они показали друг другу документы. Тот, кто минуту назад изображал монтера, потребовал, чтобы О.М. шел за ним в милицию. У меня было смешанное чувство ужаса и радости. Мелькнули

две мысли: «Уж не вышлют ли его этапом?» и «Слава Богу, это не галлюцинации»...

О.М. увели в милицию. Рудаков побежал за ним. Но доставить преступника в участок не удалось: по дороге его опять хватил припадок. Вызвали скорую помощь, и наверх его внесли на кресле, которое раздобыли в нижней квартире у Колычева. Пока врач возился с О.М., сыщик-монтер сидел в комнате. Когда О.М. отлежался, он показал странному гостю все свои медицинские справки. «Дайте ту, с треугольной печатью», — сказал сыщик и, забрав справку Разумовой, пошел к Костыреву звонить по телефону. Получив инструкцию, он вернулся к нам: «Пока лежите», — и ушел⁵⁰⁰.

Несколько дней О.М. пролежал. Каждый день, утром и вечером, приходили наш монтер или его сменщики — все в штатском. Кроме них приезжали врачи. Днем О.М. развлекался: «Сколько у них со мной хлопот!» — и рассуждал о том, что к нам пришли бы ночью, если б он вовремя не сообразил, что за птица этот монтер... Ночью настроение портилось. Однажды, проснувшись, я увидела, что он стоит, закинув голову и растопырив руки, у стены, в ногах у кровати. «Чего ты?» — спросила я. Он показал на распахнутое окно: «Не пора ли?.. Давай... Пока мы вместе...» Я ответила: «Подождем», — и он не стал спорить. Хорошо ли я сделала? От скольких мучений я бы избавила и его, и себя...

Утром мы выдержали визит монтера, который обещал прислать «своего врача». Вечернего сыщика мы дожидаться не стали и ушли из дому. Ночевали мы у Яхонтова, развлекаясь, как могли. Днем я пришла домой, чтобы приготовить вещи к отъезду, но Костырев сбегал в милицию, и на этот раз туда потащили меня. «Где Мандельштам?» — «Уехал». — «Куда?» — «Не знаю...» Мне приказали покинуть Москву в двадцать четыре часа. За свою работу Костырев получил комнату О.М. размером в 16 метров. Там и сейчас живут его вдова и дочь. Хотелось бы, чтобы дочка прочла про своего отца, но у таких родителей дети книг не читают, разве что «по долгу службы», если они тоже попали в «Литературный отдел» Лубянки. В этом случае лучше, чтобы эта рукопись ей не попадалась.

Три дня мы просидели у Яхонтова, обложившись картами Московской области. Выбрали мы Кимры. Соблазнила нас

близость Савеловского вокзала от Марьиной Рощи, где жили Яхонтовы, а еще то, что Кимры стоят на Волге. Уездный городок на реке лучше, чем такой же городок без реки. В квартире на Фурмановом мы больше не показывались. Вещи на вокзал обещали привезти братья — Александр Эмильевич и Евгений Яковлевич. Чтобы проститься с моей матерью, мы вызвали ее на бульвар. Увидев маму, О.М. встал и пошел с протянутой рукой ей навстречу. «Здравствуйте, моя нелегальная теща», — сказал он. Мама только ахнула. В начале июля мы покинули Москву.

В сущности, милиция проявила необычайную гуманность и мягкость: больному, незаконно проживавшему в Москве, дали отлежаться, а потом предложили уехать. Обычно так не церемонятся, да и больные не решаются задерживаться в запрещенных городах. Кроме того, в нашем случае милиция поступила совершенно законно — ведь людям с судимостью запрещено жить в больших городах. Я же потеряла «связь с Москвой», потому что ездила в провинцию к человеку с судимостью. «Должно же защищаться государство», — сказал мне как-то Нарбут. Но в том-то и дело, что, защищаясь, оно создало слишком много законов, чтобы оградить себя от человека.

Еще вопрос: преувеличивал ли О.М. свои болезни, пытаясь обмануть государство? Несомненно. Ведь понадобились еще целый год бродяжничества и восемь месяцев тюрьмы и лагеря, чтобы отправить его на тот свет. У нас имеют право жаловаться на несмертельные недуги только те, кто полезен государству. Политические преступники должны умирать на ногах. О.М. слез в постель, когда он мог еще держаться на ногах, и вел себя так, будто он нужный человек, которого государство лечит, пестует и холит. Следовательно, он свои болезни преувеличивал и старался обмануть государство. А оно имело не только законное, но и моральное право защищаться от такого недисциплинированного гражданина.

Наше государство опекает двести миллионов граждан и не собирается потакать тем, кто ему не служит верой и правдой. Государство — это самодовлеющая сила, которая лучше нас знает, что нам нужно. Когда все народы пойдут по нашему пути, они узнают, что «случайность — это неосознанная необходимость».

ДАЧНИКИ

«Рано что-то мы на дачу выехали в этом году», — сказал О.М., укрывшись от московской милиции в Савелове, маленьком поселке на высоком берегу Волги, против Кимр. Лес там чахлый. На пристанционном базаре торговали ягодами, молоком и крупой, а мера была одна — стакан. Мы ходили в чайную на базарной площади и просматривали там газету. Называлась чайная «Эхо инвалидов»⁵⁰¹ — нас так развеселило это название, что я запомнила его на всю жизнь. Чайная освещалась копящей керосиновой лампой, а дома мы жгли свечу, но О.М. при таком освещении читать не мог из-за глаз. Все мы достаточно в нашей жизни насиделись при коптилках, так что со зрением у нас не очень хорошо... Да и книг мы с собой почти не взяли, потому что не собирались пускать корней и жили как настоящие дачники. Это была временная стоянка — она нам понадобилась, чтобы передохнуть и оглядеться.

Савелово — поселок с двумя или тремя улицами. Все дома в нем казались добротными — деревянные, со старинными наличниками и воротами. Чувствовалась близость Калязина, который в те дни затоплялся. То и дело оттуда привозили отличные срубы, и нам тоже хотелось завести свою избу. Но как ее заведешь, когда нет денег на текущий день? Жители Савелова работали на заводе, а кормились рекой — рыбачили и из-под полы продавали рыбу. Обогревала их зимой тоже река — по ночам они баграми вылавливали сплавляемый с верховьев лес. Волга еще оставалась общей кормилицей, но сейчас уже навели порядок и реки нас не кормят...

Мы предпочли остаться в Савелове — конечной станции Савеловской дороги, а не забираться в Кимры, облупленный городок на противоположном берегу, потому что переправа осложняла бы поездки в Москву. Железная дорога была как бы последней нитью, связывавшей нас с жизнью. «Селитесь в любой дыре, — посоветовала Г. Мекк, испытывавшая все, что у нас полагается, то есть лагерь и последующую “судимость”, — но не отрывайтесь от железной дороги: лишь бы слышать гудки...»

Запрещенный город притягивает, как магнит. Прописка разрешалась, начиная со сто пятой версты от режимных

городов, и все железнодорожные пункты в этой зоне забивались до отказа бывшими лагерниками и ссыльными. Местные жители называли их «стоверстниками», а женщин более точно: «стопятницами». Это слово напоминало им о мученице Параскеве Пятнице, о сто пятой версте. Я сообщила это слово Анне Андреевне, и оно попало в поэму⁵⁰². Но узнала я его не в Савелове, а в Струнине, где поселилась после ареста О.М. Так называли меня там рабочие на текстильной фабрике, где я обслуживала двенадцать банкобросальных машин и, меняя с кем-нибудь дневную смену на ночную, — ведь все предпочитали работать днем, а не ночью, — ездила в Москву с передачами или за справками, которых нигде не давали.

Среди московских стоверстников и стопятниц особой популярностью пользовался Александров — «юродивая слобода» из стихов О.М.⁵⁰³, — потому что они пересаживались в Загорске на электричку и успевали за один день съездить в Москву, чтобы раздобыть денег или «похлопотать», а вечером вернуться с последним поездом на свое законное место жительства: ведь человеку полагается ночевать там, где он прописан. Поездка из Александрова, благодаря электричке, занимала не больше трех часов, вместо четырех или четырех с половиной по другим дорогам.

Когда в 37 году начались повторные аресты, скопления людей с судимостью в определенных местах оказались на руку органам: вместо того, чтобы вылавливать их поодиночке, они сразу подвергали разгрому целые города. Так как такие мероприятия производились по плану и контролировались цифрами, чекисты, наверное, получили немало наград за самоотверженный труд и выполнение плана. А опустошенные городки опять заполнялись потоками стоверстников, которых, в свою очередь, ожидал разгром. Кто мог поверить, что городки вроде Александрова были просто западней? Ни у кого из нас не вмещалось в голову, что происходит систематическое уничтожение определенных категорий людей, то есть тех, кто однажды подвергся репрессиям. Ведь каждый верил, что у него индивидуальное дело, и считал рассказы про «заколдованное место» обывательской болтовней.

В Москве нас успели предупредить о побоище, происходящем в Александрове, и мы, конечно, не поверили. Мы не

поехали туда, потому что О.М. не захотелось в «юродивую слободу». «Хуже места не найти», — сказал он. Кроме того, мы выяснили, что в Александрове чудовищные цены на комнаты, и не пошли по проторенной дорожке.

В Савелове ни дачников, ни стоверстников кроме нас не было, если не считать нескольких уголовников, переживавших там грозу: охотились не на них, но в случае нехватки могли захватить и их, чтобы не срывать плана. С одним из них мы разговорились в чайной, и он очень толково объяснил нам, какие у Савелова преимущества по сравнению с Александровом или с Коломной, например: «Если шпана вся в одном месте соберется, ее сразу, как пенку, снимут...» Он оказался сообразительней наивной «пятьдесят восьмой» статьи, среди которой было много людей со старыми университетскими значками, а они твердо помнили, что каждый индивидуально несет ответственность за свои преступления и что за одно преступление никто дважды не отвечает. А поскольку они вообще никаких преступлений за собой не знали, им все мерещилось, что они добьются справедливости — ведь так вечно продолжаться не может! — а вместо этого попадали в фургон, именованный «Черной Марусей» или «Черным вороном».

В 1948–53 годах я снова наблюдала «стоверстную драму», крохотную драму без содранной кожи, общего рва, без свинца и пыток, которыми так избаловала нас наша эпоха. Я жила в Ульяновске и видела, как его аккуратно очищают от всех, кто получил «судимость». Часть из них забрали сразу, остальных лишили прописки, и они хлынули в стоверстную зону. Там пользовался популярностью город Мелекес.

Туда отправился и мой знакомый скрипач, бывший рапповец⁵⁰⁴ и бывший партиец, человек возраста О.М., делавший когда-то музыкальную политику с сестрой Брюсова. В 37 году он попал в лагерь и, отсидев восемь или десять лет, попал в конце сороковых годов в Ульяновск. Обезумев от счастья и думая, что все плохое уже позади, — сколько раз все мы попадались на эту удочку! — скрипач решил начать новую жизнь, женился — прежняя жена и дети успели от него «отмежеваться» — на моей сослуживице, хорошей женщине, и пристроился в музыкальной школе. Новый сын — лобастый мальчишка — уже тянулся к скрипке, и счастливый отец мечтал сделать из него скрипача.

Он убеждал меня, что нет большего счастья, чем жить искусством и ради искусства, и цитировал по этому поводу классиков марксизма. Сыну было года три, когда отца вызвали в милицию, лишили прописки и предложили покинуть город в двадцать четыре часа. Я случайно зашла к ним в этот день, сразу все поняла по их лицам и так и осталась их конфиденткой: подобные истории всегда хранились в тайне, иначе могла пострадать вся семья.

В ту же ночь скрипач выехал в Мелекесс. Там он снял угол и даже достал несколько уроков скрипки и рояля. Вскоре среди хлынувшей в Мелекесс толпы бывших лагерников начались аресты. В маленьких городках такие вести распространяются мгновенно: квартирная хозяйка не преминет сказать соседке, что у нее ночью увели квартиранта. Аресты означали, что в Мелекессе образовалось скопление подозрительных элементов и местным органам спущен план очистки города. Все бросились в милицию выписываться, и вокзал переполнился беженцами. Скрипач тоже умудрился вовремя убежать из опасного города.

С тех пор, до самой смерти Сталина, то есть два с лишним года, он метался вниз и вверх по Волге — вплоть до Сызрани и по всем железнодорожным веткам, кочуя из города в город. В иных местах ему не удавалось даже найти угла, так как все было забито беглецами; в других не прописывали. Иногда он устраивался и даже доставал уроки в местной музыкальной школе, но тут до него доходила весть о том, что и здесь начались аресты, и он снимался и убегал. Во время своих странствий он иногда проезжал через Ульяновск и ночью пробирался к жене. Днем высунуться на улицу или постучаться к жене он не смел — соседи бы тотчас донесли. Он дрожал от страха, худел, кашлял и снова пускался в путь вместе со своей скрипочкой. И в каждом новом городе все начиналось сначала. Он даже съездил в Москву жаловаться в Комитет искусств, где его еще помнили, что в музыкальные школы принимают людей без всякого образования, а он, с его квалификацией, остается без работы... Ему обещали посодействовать, но в том городке, где он хотел осесть, начались аресты, и он убежал. Ему даже не довелось узнать, исполнили ли московские чиновники свое обещание.

После смерти Сталина ему разрешили, как инвалиду, вернуться к жене в Ульяновск. Умер он дома, но сына скрипичному искусству не научил. Он даже не смел приблизиться к мальчику — боялся заразить его туберкулезом, полученным во время странствий по уездным городам, предпринятых для спасения жизни.

Скрипачу благоприятствовало все: оседлая жена, которую не сняли с работы, потому что она сумела скрыть свой брак, к тому же и не зарегистрированный, опытность — всегда вовремя узнавал про опасность, даже национальность: тогда первый удар направлялся на евреев. Скрипка давала ему кусок хлеба — именно кусок хлеба, а не что другое, но и это очень важно. Музыканты и вообще пострадали меньше людей других профессий. Но спасся он только благодаря своей неукротимой энергии. Многие на его месте так бы и остались ждать ареста в Мелекесе: «разве от “них” спрячешься!». А спасся он только для того, чтобы приехать умирать домой. Ведь это тоже огромное счастье.

Глядя на удачливого скрипача, я всегда думала о том, что бы ожидало О.М., если б он выжил и вернулся из лагеря. Если б мы могли предвидеть все возможные варианты судьбы, мы не упустили бы последнего шанса нормальной смерти — открытого окна нашей квартиры на пятом этаже писательского дома на Фурмановом переулке в городе Москве.

Воронеж был чудом, чудо нас туда привело, а чудеса не повторяются.

ВОЛКА КОРМЯТ НОГИ

В детстве, читая про французскую революцию, я часто задавалась вопросом, можно ли уцелеть при терроре. Теперь я твердо знаю, что нельзя. Кто дышал этим воздухом, тот погиб, даже если случайно сохранил жизнь. Мертвые есть мертвые, но все остальные — палачи, идеологи, пособники, восхвалители, закрывавшие глаза и умывавшие руки, и даже те, кто по ночам скрежетал зубами, — все они тоже жертвы террора. Каждый слой населения, в зависимости от того, как на него направлен удар, переболел своей формой страшной болезни, вызываемой

террором, и до сих пор еще не оправился, еще болен, еще не годен для нормальной гражданской жизни. Болезнь передается по наследству, сыновья расплачиваются за отцов и только, пожалуй, внуки начинают выздоравливать, или, вернее, болезнь принимает у них другую форму.

Какой негодяй посмел сказать, что у нас не было потерянному поколению? Он сказал неслыханную ложь — и это тоже результат террора. Ведь у нас гибло одно поколение за другим, но процесс этот совершенно не похож на то, что было на Западе. Ведь все работали, боролись за свое положение, надеялись на спасение и старались думать только о текущих делах. В такие эпохи текущие дела — настоящий наркотик. Нужно, чтобы их было побольше. Надо в них погрузиться — тогда годы пролетают скорее и в памяти остается серая рябь. Среди моего поколения только единицы сохранили светлую голову и память. В поколении О.М. всех поразил ранний склероз.

Это все точно, но при всем том я не перестаю удивляться, какие мы оказались стойкие. После смерти Сталина брат Женя мне как-то сказал: «Мы еще не знаем, что мы пережили», и это правда. А совсем недавно я ехала в переполненном автобусе. Ко мне примостилась старушка, повиснув всей тяжестью на моей руке. «Тяжело, верно, тебе?» — вдруг спросила она. «Ничуть, — ответила я. — Ведь мы все двужильные». «Двужильные? — переспросила старушка и вдруг рассмеялась. — А правда — двужильные...» «Верно, верно», — сказал кто-то и тоже рассмеялся. С минуту все пассажиры повторяли: «Мы двужильные», но тут автобус остановился, все поползли к выходу и занялись «текущими делами», то есть стали расталкивать соседей. Просветление пришло и ушло: ведь мы действительно двужильные, иначе мы не могли бы пережить того, что выпало нам на долю.

В тот период, который называется «ежовщиной», аресты шли волнами — со спадами и нарастаниями: быть может, в тюрьмах, забитых до отказа, просто не хватало места, а нам, еще находившимся на воле, иногда казалось, что девятый вал уже прошел и все идет на убыль. После каждого процесса люди облегченно вздыхали: ну, теперь конец! А это значило: слава Богу, я, кажется, уцелел... Но затем поднималась новая волна,

и те же люди бросались писать статьи с проклятиями «врагам народа». Чего они только не писали про тех, кого уже расстреляли, чтобы потом быть самым расстрелянными... «Сталину не нужно рубить головы, — говорил О.М., — они сами слетают, как одуванчики...» Кажется, он сказал это в первый раз, прочтя статью Косиора и узнав, что, несмотря на все свои статьи, он тоже арестован⁵⁰⁵.

Летом 37 года мы были «дачниками», а «летом всего легче», как говорил О.М. В Москву мы ездили довольно часто, иногда даже бывали на дачах у своих знакомых. Были у Пастернака в Переделкине. Он сказал: «Зина, кажется, печет пироги» — и пошел справиться вниз, но вернулся печальный — к Зине нас не допустили... Через несколько лет она мне сказала по телефону, когда, приехав из Ташкента, я позвонила Борису Леонидовичу: «Только, пожалуйста, не приезжайте в Переделкино...» С тех пор я никогда не звонила, а он иногда, встретив меня возле дома на Лаврушинском, где я подолгу жила у Василисы Шкловской, забегал ко мне. Он — единственный человек, который пришел ко мне, узнав о смерти О.М.

В день, когда в последний раз мы были с О.М. у него в Переделкине, он пошел провожать нас на станцию, и мы долго разговаривали на платформе, пропуская один поезд за другим. Борис Леонидович еще бредил Сталиным и жаловался, что не может писать стихов, потому что не сумел тогда по телефону добиться личной встречи. О.М. сочувственно посмеивался, а я удивлялась. После войны сталинский бред у Пастернака как будто кончился. Во всяком случае, он уже не упоминал его в разговорах со мной. А роман был задуман давно, потому что при всякой встрече — еще до войны — Пастернак говорил, что пишет прозу «обо всех нас»... Вероятно, концепция этой прозы видоизменялась с течением времени, что и видно по самому роману. Время было такое, что люди метались и не знали, на чьей стороне правда.

Шкловский в те годы понимал все, но надеялся, что аресты ограничатся «их собственными счетами». Он так и разграничивал: когда взяли Кольцова, он сказал, что это нас не касается, но тяжело реагировал, если арестовывали просто интеллигентов. Он хотел сохраниться «свидетелем», но, когда эпоха кончилась, мы уже все успели состариться и растерять то,

что делает человека «свидетелем», то есть понимание вещей и точку зрения. Так и случилось со Шкловским.

Лева Бруни сунул О.М. в карман деньги и сказал: «Кому нужен этот проклятый режим!» Мариэтта сделала вид, что ничего не слышала про аресты: «Кого арестовывают? Почему? Открыли заговор, взяли пять человек, а интеллигентшишки подняли крик...» Ее собственная дочь кричала ей в ухо про семью Третьяковых, но Мариэтта, спасаясь блаженной глухотой, ничего не расслышала. Адалис побоялась пустить нас ночевать, что было вполне естественно, но тут же разыграла комедию: «Почему вы не идете к себе домой? Я пойду с вами, и, если придет милиция, я им все объясню... Я берусь». Растерянные люди метались, и каждый говорил то, что ему взбрело на ум, и спасался как может. Испытание страхом — одна из самых страшных пыток, и после нее люди оправиться уже не могут.

Нам не на что было жить, и мы вынуждены были ходить по людям и просить помощи. Часть лета мы прожили на деньги, полученные от Катаева, Жени Петрова и Михоэлса. Он обнял О.М. и, наперебой с Маркишем, старался говорить все самое утешительное. Все время давал деньги Яхонтов, пока не уехал. В каждый свой приезд О.М. ходил в Союз, пытаясь повидаться со Ставским, но тот уклонялся от встречи и поручил О.М. своему заместителю — Лахути.

Лахути изо всех сил старался наладить что-нибудь для О.М. Он даже отправил его в командировку от Союза по каналу, умоляя написать хоть какой-нибудь стишок про строительство. Вот этот-то стишок я и бросила в печку с санкции Анны Андреевны. Впрочем, стихи О.М. о канале никого бы не удовлетворили: он сумел выжать из себя только пейзаж.

ВЕЧЕР И КОРОВА

Мы тоже искали спасения. Люди всегда ищут спасения. Самосожженцы — это Восток, а мы все-таки европейцы и не хотим сами бросаться в огонь. У нас было два плана спасения — один принадлежал мне, другой — О.М. Их объединяла одна общая черта: оба были абсолютно невыполнимы.

Мой план назывался «корова». В нашей стране, где все способы добывать хлеб национализированы, то есть находятся в руках государства, есть две лазейки для частной жизни — нищенство и корова. Нищенством мы жили, и это оказалось невыносимым. От нищих все шарахаются, и никто милостыню подавать не хочет, тем более что собственные средства тоже добыты как милость и милостыня государства...

Когда-то народ в России жалел «несчастненьких» арестантов и каторжников, а интеллигенция считала долгом поддерживать политических ссыльных, но это исчезло вместе с «абстрактным гуманизмом». И наконец, люди боялись нас: мы были не только нищими, но и зачумленными. Все боялись друг друга — ведь ночью могли явиться за самым благополучным человеком, только что напечатавшим в «Правде» статью против «врагов народа». За одним арестом цепочкой шли другие — родственники, знакомые, те, чей телефон записан в записной книжке арестованного, с кем в прошлом году он встречал Новый год, и тот, кто обещал, но, испугавшись, не пришел на эту встречу... Люди боялись каждой встречи и каждого разговора, и тем более они шарахались от нас, которых уже коснулась чума. И нам самим казалось, что мы разносим чуму.

У меня было единственное желание — притаиться в углу и никого не видеть, и поэтому я мечтала о корове. Это та самая «последняя коровенка» народнической литературы, которую мужик, зацепив за рога, повел продавать на базар. Благодаря особенностям нашей экономики корова в течение многих лет могла прокормить семью. В маленьких домишках ютились миллионы семей, живших лоскутным участком, дававшим картошку, огурцы, капусту, свеклу, морковь и лук, и коровой. Часть удоя уходила на прикуп сена, но все же оставалось достаточно молока, чтобы забелить щи. Корова дает независимость людям, и они могут спустя рукава прирабатывать только на хлеб. Государство до сих пор не знает, как ему быть с этим остатком старого мира, мычащим и дающим молоко. Если дать людям сена для коровы, они лодырничают и в колхоз ходят вырабатывать только минимум; заберешь корову — народ с голодудохнет... Корова то запрещается, то разрешается... Но постепенно их становится все меньше: у баб не хватает сил отстаивать свое рогатое сокровище...

Корова бы нас спасла, и я верила, что могу научиться доить. Мы бы канули, растворились в толпе, никогда бы не вышли из дому, так и засели бы в четырех стенах... Но хибарка и корова требуют огромных капиталовложений — они и сейчас мне не под силу. К нам в Савелове ходили женщины, предлагая срубы по самой низкой цене, а мы только облизывались, так аппетитно они расписывали стены, крепкие и желтые, как желток. Чтобы раствориться в толпе, надо от рождения принадлежать к ней и получить дрянную хибарку с протекающей крышей и участок, обнесенный расшатанным забором, по наследству от какой-нибудь иссохшей от голода бабки. Быть может, в странах капитализма нашлись бы чудачки, которые бы собрали ссыльному поэту на мужицкий дом с коровой, но у нас это исключено. Организовать помощь ссыльному и собрать для него деньги считается преступлением, за которое недолго и самому попасть в лагерь.

К коровьему плану О.М. относился холодно, денег на его осуществление не было, да и сама идея ему не нравилась: «Из таких затей никогда ничего не выходит...» Его план был прямо противоположен моему — он хотел выделиться из толпы. Ему почему-то казалось, что, если он добьется «творческого вечера» в Союзе, ему не смогут не дать какой-нибудь работы. Он сохранял иллюзию, что стихами можно кого-то победить и убедить.

Это у него осталось от молодости — когда-то он мне сказал, что никто ни в чем ему не отказывает, если он пишет стихи. Вероятно, так и было — он провел хорошую молодость, и друзья берегли и ценили его. Но переносить те отношения на Москву 37 года было, конечно, совершенно бессмысленно. Эта Москва не верила ничему и ни во что. Она жила лозунгом: спасайся кто может. Ей плевать было на все ценности мира, и уж подавно на стихи.

Мы это знали, но О.М., человек чрезвычайно активный, не мог сидеть сложа руки. Впрочем, здесь дело не только в его активности: волка кормят ноги, и ему не дано было передохнуть до самой смерти.

Лахути ухватился за мысль о вечере. И ему она показалась спасительной. Да знаю ли я что-нибудь о Лахути, кроме того, что он был приветлив и внимателен? Ровно ничего...

Но в той озверелой обстановке его приветливость казалась чудом. Самостоятельно решить вопрос о вечере ни Ставский, ни Лахути не могли. Все решалось наверху. Мы ждали в Савелове разрешения этого вопроса государственной важности и изредка навевались в Союз, чтобы узнать мнение по этому поводу высших инстанций.

В одно из посещений Союза О.М. разговаривал в коридоре с Сурковым, а выйдя на улицу, нашел у себя в кармане триста рублей. Сурков, видно, тихонько сунул эти деньги ему в карман. Не всякий бы решился на такой поступок: за это могли быть серьезнейшие неприятности. Расценивая Суркова, пусть помнят об этих деньгах⁵⁰⁶ — это та луковка, за которую надо уцепиться, чтобы Богородица выгнала грешника в рай⁵⁰⁷.

Вечер все не назначался. Наконец позвонили из Союза Евгению Яковлевичу. У него спросили, как найти Манделштама и можно ли немедленно сообщить ему, что вечер назначен на следующий день. Телеграф работал как ему заблагорассудится, и Женя не решился довериться на его милость. Он бросился на вокзал и последним поездом приехал к нам в Савелово. В ту минуту он, наверное, тоже поверил в стихи и вечер.

На следующий день мы отправились в Москву и в назначенный час пришли в Союз. Секретарши еще сидели на своих местах, но про вечер никто ничего не знал: кажется, что-то слышали, а что именно, не помним... В клубе все комнаты были закрыты. Никаких объявлений мы не нашли.

Оставалось только узнать, рассылались ли повестки⁵⁰⁸. Шкловский не получил, но он посоветовал позвонить кому-нибудь из поэтов — приглашения часто рассылались только членам секций. У нас под рукой был телефон Асеева. О.М. позвонил ему и спросил, получил ли он повестку, и, побледнев, повесил трубку. Асеев ответил, что как будто что-то мельком слышал, но что разговаривать он не может: занят, торопится в Большой театр на «Снегурочку»... К другим поэтам О.М. звонить не рискнул.

Загадку вечера мы так и не разгадали. Звонили действительно из Союза, но кто — неизвестно. Быть может, отдел кадров, потому что секретарши, обычно занимающиеся этими делами, никаких распоряжений не получали, хотя что-то смутно слышали. Если ж это был отдел кадров, то зачем ему

понадобился Мандельштам? У нас мелькнуло предположение, что О.М. выманили из Савелова, чтобы его арестовать, но не успели получить санкции какого-нибудь начальства, может, самого Сталина, поскольку в прошлом деле имелись его распоряжения. Для облегчения работы перегруженных чекистов людей не раз вызывали в какое-нибудь учреждение, чтобы оттуда отправить на Лубянку. Рассказы о таких случаях ходили во множестве. Гадать, что к чему, не имело смысла: не стоит себя преждевременно хоронить. Мы вернулись в Савелово и снова сделали вид, будто мы дачники.

Оба плана спасения провалились: «вечер» — с треском, а корова — потихонечку. Спасения не было даже в мечтах.

Что же касается «Снегурочки», то вполне естественно, что Асеев назвал именно эту оперу. Поэтическое крыло, к которому он принадлежал, отдало дань увлечению дохристианской Русью. Но мы поленились узнать, что шло в тот вечер в Большом театре и не закрылся ли он уже на лето⁵⁰⁹. Мне говорили, что на старости Асеев остался одиноким и покинутым. Объяснял он эту свою покинутость тем, что боролся против культа личности и поэтому потерял положение.

В критических статьях о Кочетове его единомышленники тоже пишут, что он боролся против этого культа. Как выясняется, у нас не было ни одного сталиниста и все мужественно боролись. Я же могу засвидетельствовать, что из моих знакомых не боролся никто, а люди просто старались ступешеваться. Люди, не утратившие совести, поступали именно так. И для этого надо было иметь настоящее мужество.

СТАРЫЙ ТОВАРИЩ

Неудача с вечером не подкосила О.М. «Надо все отложить до осени», — сказал он. Москва, как всегда, к июлю опустела, поэтому никаких планов спасения мы не строили, а просто думали, как бы продержаться до осени. Это тогда О.М. заявил: «Надо менять профессию — теперь мы нищие...» И он предложил ехать в Ленинград.

Раньше мы всегда разговаривали с О.М. Мне запомнились какие-то слова его и мысли. Но последний год были

не членораздельные слова, а одни междометия. О чем мы говорили? Просто ни о чем: «Устала, дай полежать... не могу идти... надо что-то предпринять... ничего, образуется... теперь всегда так будет... Господи!.. кого взяли?.. опять...»

Когда жизнь становится абсолютно невыносимой, кажется, что весь этот ужас никогда не кончится. В Калининском время бомбардировки⁵¹⁰ я поняла, что невыносимое все-таки кончается, но я тогда еще не вполне сознавала, что часто оно кончается вместе с человеческой жизнью. Что же касается до сталинского террора, то мы всегда понимали, что он может ослабеть или усилиться, но кончиться не может. Зачем ему было кончаться? С какой стати? Все люди заняты, все делают свое дело, все улыбаются, все беспрекословно исполняют приказания и снова улыбаются. Отсутствие улыбки означает страх или неудовольствие, а в этом никто не смел признаться: если человек боится, значит, за ним что-то есть — совесть нечиста... Каждый находившийся на государственной службе — а у нас каждый ларешник — чиновник, да еще ответственный, — ходит веселым добрячком: то, что происходит, меня не касается — у меня ответственная работа, и я занят по горло... я приношу пользу государству — не беспокойте меня... я чист как стеклышко... если соседа взяли, значит, было за что...

Маска снималась только дома, да и то не всегда: ведь и от детей надо было скрывать свой ужас — не дай Бог, в школе проболтаются... Многие так приспособились к террору, что научились извлекать из него выгоду: спихнуть соседа и занять его площадь или служебный стол — дело вполне естественное. Но маска предполагает только улыбку, а не смех: веселье тоже казалось подозрительным и вызывало повышенный интерес соседей: чего они там смеются? может, издеваются!.. Простая веселость ушла, и ее уже не вернуть.

Приехав в Ленинград, мы нашли Лозинского на уединенной даче под Лутой. Он немедленно вынул пятьсот рублей, на которые мы могли вернуться в Савелово и оплатить дачу до конца лета. Чем были эти пятьсот рублей? У нас никогда не было устойчивых цен — они менялись непрерывно, и никакой логики в этой скачке уловить мы не могли. В колебании цен на частном рынке есть закономерность, как в повышении или

падении стоимости денег, но в таинственных вибрациях планового хозяйства сам чорт ногу сломит: захотели — повысили цены, захотели — снизили... Зато в названиях сотен и тысяч, которыми мы ворочали, была настоящая магическая сила, и, получив пятьсот рублей от Лозинского, мы почувствовали себя не простыми нищими, а какими-то особенными, чудесными, собирающими милостыню оптом. И, действительно, так и было, потому что простым нищим давали копейки, которые равнялись на хлеб четвертушками, а на все остальное сотыми долями мельчайшей денежной единицы.

Обедали мы у Лозинского. Под серьезными взглядами младшего поколения Лозинский балагурил, О.М. сыпал шутками, и оба хохотали, как в дни Цеха поэтов. После обеда О.М. и Лозинский ушли в комнаты, и О.М. долго читал стихи. Ожившийся Лозинский пошел провожать нас на станцию. Дорога вела лесом, но по людным улицам мы не решились идти вместе: вдруг кто-нибудь увидит Лозинского с подозрительным незнакомцем! А еще хуже, если нас встретил бы кто-нибудь из Союза писателей, кто знал О.М. в лицо. Компрометировать Лозинского мы не хотели, и потому расстались на опушке.

Случилось так, что родившиеся в девяностых годах Ахматова, Лозинский и О.М. оказались в тридцатых годах старшим поколением интеллигенции, потому что старшие уже успели погибнуть, уехать или сойти на нет. Для окружающих эти трое очень рано стали стариками, в то время как «попутчики» — Каверин, Федин, Тихонов и другие им подобные — очень долго ходили в мальчиках, хотя были моложе лишь несколькими годами. Бабель не примыкал ни к юношам, ни к старикам — он был сам по себе, — отдельным человеком. О.М. и Лозинский, как бы идя навстречу общественному мнению, очень рано состарились. В 1929 году, когда О.М. служил в газете «Московский комсомолец», которая помещалась на Тверской в старом пассаже с театром-варьете в центре, капельдинер, заметив, что я кого-то ищу, сказал: «Ваш старичок прошел в буфет». Старичку еще не было сорока лет, но у него уже сдавало сердце.

Эренбург, кстати, выдумал, что О.М. был маленького роста⁵¹¹. Я ходила на высоких каблуках и едва достигала ему до уха, а я нормального среднего роста. Эренбург, во всяком

случае, был ниже О.М. И щуплым О.М. не был — плечи у него были широкие. Вероятно, И. Г. запомнил крымского О.М., истощенного тяжким голодом, а для концепции с журналистским противопоставлением — такой слабый и безвредный, а что с ним сделали! — понадобился облик тщедушного человечка, утонченно-еврейского типа, вроде пианиста Ашкенази. Но О.М. совсем не Ашкенази — он гораздо грубее.

О.М. болел сердцем, которое не выдержало дикой нагрузки нашей жизни и еще неистового темперамента его владельца. Лозинского же поразила таинственная слоновая болезнь, которой место в Библии, а не в ленинградском быту. Пальцы, язык, губы Лозинского — все это удвоилось на наших глазах. В середине двадцатых годов, когда я впервые увидела Лозинского — он пришел к нам на Морскую, — он словно предчувствовал приближение болезни и говорил, что после революции все стало трудно, все устают от малейшего напряжения — разговора, встречи, прогулки... Лозинский, как и О.М., к тому времени уже побывал в тюрьмах, и он был одним из тех, у кого всегда стоял дома заранее заготовленный мешок с вещами. Брали его несколько раз, и однажды за то, что его ученики — он вел где-то семинар по переводу — дали друг другу клички. Кличек у нас не любили — это наводило на мысль о конспирации. Всех шутников посадили. К счастью, жена Лозинского знала кого-то в Москве и, когда мужа сажали, сразу мчалась к своему покровителю.

То же проделывала жена Жирмунского. Если б не эта случайность — наличие высокой руки, — они бы так легко не отделались. В сущности, эти с самого начала казались обреченными, и все обрадовались, прочтя фамилию Лозинского в списке первых писателей, награжденных орденами. В этом списке он был белой вороной, но и белой разрешили жить среди других, чуждых ей птиц. Потом выяснилось, что ордена тоже ни от чего не спасают — их просто отбирали при аресте, но Лозинскому повезло, и ему удалось умереть от собственной страшной и неправдоподобной болезни.

Все мы вышли потрясенными и больными из первых лет революции. Сначала это сказалось на женщинах, но все же они оказались живучими и, проболев полжизни, уцелели. Мужчины были вроде покрепче и устояли после первых

ударов, но загубили сердца, и редко кто доживает хотя бы до семидесяти лет. Тех, кого пощадила тюрьма и война, унесли инфаркты или неправдоподобные болезни, как Лозинского и Тынянова. И среди нас никто не поверит, что рак не связан с потрясением. Слишком уж часто мы видели, как над человеком разражается гроза, над ним публично издеваются, его запугивают и грозят ему чорт знает чем, а через год разносится слух, что у него вовсе не сердце, а самый обыкновенный рак. Нечего и говорить, нас потрепали как следует. Только беспристрастная статистика все время твердит о неустанном повышении среднего срока жизни. Наверное, за счет женщин и детей, потому что моя женская раса действительно оказалась двужильной.

БЕСПАРТИЙНАЯ ТАНЯ

Брат О.М., Евгений Эмильевич, жил с семьей на Сиверской. Мы поехали к нему от Лозинского, потому что О.М. хотел повидать отца. С братом у него никаких отношений не было. Прилитературный делец, он забросил медицину ради более выгодной работы около писательских организаций — сбора гонораров для драматургов Литфонда, столовой и тому подобных дел, а под конец жизни стал кинематографистом. Он никогда в жизни ничем не помог О.М. и только требовал, чтобы мы забрали к себе старика отца. Он твердил об этом при каждой встрече и писал в Воронеж, в Савелово — куда угодно...

О.М. написал ему несколько писем из Воронежа и не поленился снять копии, зная, что сам Евгений Эмильевич письма уничтожит. В этих письмах он клеймил отношение Евгения Эмильевича к себе и просил никогда не вспоминать, что он его брат. Вплоть до 56 года Евгений Эмильевич и не думал об этом вспоминать и умел крепко отчехвостить людей, которые справлялись у него обо мне. Зато последние годы он чтит память О.М. и даже пытался завязать со мной отношения. Однажды он даже заявился и усиленно приглашал меня в гости. Это обыкновенный человек коммерческого склада, который добился в жизни всего, о чем мечтал: благополучия, денег, машины

и даже киноаппарата для развлечения в часы досуга. В нашей жестокой жизни эти люди живут не обычным коммерческим трудом, а изворачиваются, и это их не украшает.

О.М. хотел видеть, кроме отца, еще и свою племянницу — дочь Евгения Эмильевича от первого брака с сестрой Сарры Лебедевой. Татюшка заболела во время блокады туберкулезом и рано умерла. Я знала ее прелестной девочкой, ничуть не похожей на своего отца. Воспитывала ее бабушка с материнской стороны, чудесная старуха Марья Николаевна Дармолатова, в квартире у которой и жил Евгений Эмильевич. После ареста О.М. бабушка устраивала нам с Татюшкой тайные свидания у Лебедевой — отец запретил ей встречаться со мной. Татюшка жаловалась, что Евгений Эмильевич бросил в печку с трудом раздобытый ею список стихов О.М. Достала она его у каких-то литературных мальчишек. Но списков еще было мало, и при обысках их всегда отбирали.

Война застала Татюшку студенткой истфака, невестой юноши, писавшего стихи и читавшего О.М. Он был убит в первых боях, и Татюшка ходила по голодному Ленинграду, стараясь получить хоть какую-нибудь весточку о нем. И в семье Татюшке жилось тяжело — отец вечно ссорился с бабушкой, с позиций комсомольца, разоблачающего старорежимную старуху. А мачехи своей она чуждалась. Я не переставала удивляться, что девочка, росшая в такое тяжелое время, сохранила лучшие традиции русской интеллигенции, забытой, осмеянной, преодоленной высшим разумом новой этики.

Татюшкина мачеха, Таня Григорьева, дочь преподавателя химии самых лучших и самых прогрессивных гимназий, выросла в самой что ни на есть интеллигентской семье из того крыла, что сохраняли стиль шестидесятников и почитали Белинского и Добролюбова. Она гордилась семейными традициями и слегка презирала бабушку Марью Николаевну за ее дворянское происхождение. Внешностью Таня тоже представляла чистый образец старой демократической курсистки: умное лицо, гладкие, бесцветные волосы, собранные в пучок, гладкие платья совершенно неопределенного цвета, какие носили до революции учительницы самой прогрессивной складки. У Тани был мягкий голос, и она любила пошутить. Ее гордостью было то, что она знает названия всех деревьев, птиц и трав, потому что отец возил

дочерей за город на дальние прогулки и учил их наблюдать за родной природой.

Татья, по ее мнению, получила совершенно другое, недемократическое воспитание, и она подтрунивала над девочкой за то, что та не умела различить зимой породы деревьев и кустов... Выбор исторического факультета рассмешил Таню. Она признавала только те профессии, которые приносят пользу народу. Впрочем, она несколько изменила традиционную формулировку и говорила о пользе колхозам. Чтобы Татьяна не заразилась от бабушки религиозностью, Таня водила ее в музей Исаакиевского собора⁵¹², и однажды при нас произошла настоящая драма: девочка не поверила какой-то трактовке евангельского текста и ее довели до слез, объясняя, что надо доверять коллективному опыту лучших людей, разоблачавших поповский обман, и не быть такой самонадеянной. По тексту выходило, что Евангелие проповедует ни более ни менее как преклонение перед богатством, и умная девочка прекрасно понимала, что этого не может быть. Мы в это время случайно гостили в Ленинграде, и Татьяна прибежала тайком к О.М. узнать, кто же прав — бабушка или мачеха с отцом. Вероятно, с этих дней она и привязалась к дяде.

От отца у Тани остались большие связи с партийной верхушкой. Она с сестрой Наташей остались сиротами в самом начале революции, и о них заботился Енукидзе, которого они называли Рыжим Авелем. Похоже, что это была старая партийная кличка или шуточное прозвище, данное в доме Григорьевых. В 37 году Енукидзе забрали, но Таня шла в ногу с временем и объяснила мне: «Он, наверное, что-нибудь наделал — власть так развращает». К этому времени она уже оперилась и в покровителях больше не нуждалась. Она даже успела их перерастить: ведь они отстали и не сумели пойти за Сталиным, чтобы произвести все нужные революционные преобразования, о которых так мечтал ее покойный отец! Именно этим Таня объясняла аресты старых большевиков и поддерживала от всей души любые массовые предприятия, от раскулачивания до выселения дворян из Ленинграда и арестов 37 года. Чтобы быть конкретной, она во всех случаях приводила живые примеры из жизни своего института и жилищного управления.

Таня была идеологическим центром дома и управляла им, не повышая голоса. Вероятно, она так же вела себя на службе, но там я знала ей подобных, а ее не наблюдала. Единственное, что огорчало Таню, это упрямство Татки. Девочка рано научилась молчать, но не было силы в мире, которая заставила бы ее сказать хоть слово, одобряющее Танины теории. Первое крупное столкновение между Таткой и мачехой произошло во время выселения дворян, а среди них — Таткиной подруги и соседки по дому Ольеньки Чичаговой.

Таня утверждала, что дворянам совершенно нечего делать в городе Ленина и не стоит разводить нюни по поводу выселения Чичаговых. Татка молчала. Таня говорила, что при нынешнем жилищном кризисе предоставлять площадь в Ленинграде дворянам, а не рабочим — настоящее преступление. Татка молчала. Таня объясняла, что ей всегда казалось странным, каких неподходящих подруг выбирает себе Татка: что может быть общего между нею, выросшей в семье Евгения Эмильевича и Тани, и какой-то дворянской барышней! Татка молчала и все-таки пошла проводить Олю на вокзал. И Таня обвиняла бабушку в попустительстве...

Вскоре после драмы разыгрался фарс. Сама Таня и ее сестра⁵¹³ получили вызов в комиссию по чистке Ленинграда, и им предложили покинуть город. Выселение производилось по книге «Весь Ленинград», а там Григорьев числился личным дворянином. Комиссия по выселению интересовалась словом «дворянин», а не «личный» — они ведь выполняли цифровое задание, а настоящих дворян оказалось недостаточно, или, во всяком случае, их приходилось искать... Сестер выручил Рыжий Апель, который к этому времени еще не потерял влияния, во всяком случае, на такое простое дело его сил хватило. «Справедливость восторжествовала», — сообщила мне Таня, когда мы встретились в Москве. «Почему ваш отец позволил записать себя личным дворянином? — спросила я. — Люди давали полтину взятки, чтобы этого не писали в документах». «Мой отец принципиально не давал взяток», — холодно ответила Таня. А мы с Марьей Николаевной все-таки слегка злорадствовали и перемигивались: нам почуялось, что непреклонному прогрессисту Григорьеву захотелось называться дворянином и он воспользовался правом, которое давало ему окончание университета...

Мы заранее знали, какой прием мы встретим на Сиверской, и были рады, что Евгения Эмильевича не оказалось дома — он приехал только поздно ночью. Наутро разыгралась обычная сцена: он требовал, чтобы мы забрали с собой деда. Старик, по словам Евгения Эмильевича, был непомерно тяжелой нагрузкой для его семьи, губил его, тянул всех на дно... О.М. с братом не спорил. Он уже успел поговорить с отцом и с Таткой — О.М. всегда рано вставал — и прочесть Татке стихи о том, как выдают замуж ясную Наташу, и оба, дядя и племянница, пожалели, что у этих стихов уже есть адресат⁵¹⁴. Как только Евгений Эмильевич поднялся и начал разговоры про отца, мы простились и ушли.

Тут-то Таня осведомилась, зачем мы приехали в Ленинград. Мы объяснили, как умели, и она очень удивилась: «Не понимаю, почему два взрослых человека не могут заработать себе на хлеб!» Я попробовала ей объяснить, что вся работа находится в руках у государства и оно не допускает к ней недостойных, но Таня осудила панику и интеллигентские выдумки. Как и Мариэтта, она не слышала ничего про аресты. Я напомнила ей про Рыжего Авеля, и тогда-то она и произнесла свое суждение... Было в ней что-то непреклонное, напоминавшее о высоких образцах: спартанка, мать Гракхов⁵¹⁵, народоволка... Уходя, я сказала: «Если вам ночью подменят большевиков фашистами, вы даже не заметите». Таня ответила, что этого не может случиться.

Так произошла последняя встреча О.М. с отцом и Таткой. Таня его забавляла: «Все как надо. Ведь она беспартийная большевичка». Тогда этот термин входил в моду, и все мы, если служили на приличных местах, назывались беспартийными большевиками и соответственно вели себя. Таких, как Таня, проталкивали вверх по служебной лестнице вплоть до тех высот, где разрешалось находиться беспартийным. Они представляли в учреждениях демократическую интеллигенцию, на которую приказал опираться Сталин. Всем своим обликом они напоминали о предреволюционных жертвенных поколениях и были нужны и семье, и государству.

С Таней я встретилась через двадцать с лишним лет, когда она с Евгением Эмильевичем явились повидаться со мной к Шкловским. Разумеется, я осведомилась, как она отнеслась

к Двадцатому съезду, но за нее ответил Евгений Эмильевич. Она вначале была очень недовольна: «Что сделали, то сделали... Зачем шуметь?» — и даже не захотела взглянуть на Хрущева, когда он приезжал в Ленинград и его машина на Невском обогнала Танину... «Вы представляете — она отвернулась!» Вскоре, правда, Таня примирилась: ведь действительно были перегибы и, наконец, диалектика...

В 38 году я посетила умирающего отца, выбрав с помощью Марьи Николаевны время, когда Евгения Эмильевича и Тани не было дома. Старик обрадовался мне. Он верил, что мы с Осей можем спасти его от нищеты, одиночества и последней страшной болезни. Я скрыла от него арест старшего сына... Вскоре Евгений Эмильевич перевез его в больницу, где он умер от рака. Врачи вызвали телеграммой среднего сына из Москвы, и тот поспел только к похоронам. По словам больничного персонала, никто ни разу не навещил старика в больнице. Он умер один.

Я вспомнила рассказ Тани о том, как умирала ее бабушка: чистенькая, тихая, она, как мышка, ушла в свою каморочку и так бесшумно и легко испустила дух, что не нарушила трудового распорядка дома своих внучек. Таня часто повторяла этот трогательный рассказ, и Марья Николаевна уверяла, что она это делает в поучение ей и деду. Оба они действительно умерли, не помешав ни Евгению Эмильевичу, ни Тане: дед — в больнице летом, когда Таня была на даче, а Марья Николаевна — во время блокады. Татка тоже умерла в больнице в Вологде, куда она приехала, когда открылась дорога из заблокированного Ленинграда. В дни смерти с ней находилась тетка — Сарра Лебедева. За день до ее смерти Таня умудрилась унести всю ее одежду из больницы — ведь лежала она в казенном... В те дни все жили, меняя тряпье на хлеб, и Таня сочла правильным использовать Таткино барахлишко на хлеб себе и сыну вместо того, чтобы зарывать его в землю. Это вполне рационально, но Татку все же не в чем было хоронить. Это мне рассказала Сарра Лебедева.

Есть ступень одичания, когда с людей слезают все покровы, придуманные лицемерным обществом, чтобы скрыть истинную сущность вещей. Но мы отличались тем, что никогда не снимали своей красивой и ласковой гражданской маски.

Мне часто приходилось видеть людей, сделавших карьеру за приятное интеллигентское лицо и мягкий голос. Директор Ульяновского педагогического института⁵¹⁶ радостно возглавлял погромщиков в 53 году. Когда меня выгоняли из института и специально для этого устроили заседание кафедры под председательством директора, я не могла оторвать глаз от его лица: он был как две капли воды похож на Чехова и, видимо зная это, носил не очки, как было принято, а пенсне в тоненькой золотой оправе. Незабываемая игра лица и мягкие модуляции голоса... Описывать, как это делалось, не стоит — сочтут за карикатуру...

Я открыла серию изгнанников⁵¹⁷. Задание в провинцию пришло поздно, и через несколько дней мы услышали о смерти вождя. Я еще присутствовала на траурных митингах, когда действительно все рыдали. Одна курьерша объяснила мне: «Уж кой-как приспособились, живем, нас не трогают... А что сейчас будет!» Директор не успел завершить свое плановое задание при жизни Сталина и поэтому продолжал работу и после его смерти: ведь каждое изгнание требовало соответствующего оформления. Он успел выгнать двадцать шесть человек, причем не только евреев, но еще явных интеллигентов других национальностей⁵¹⁸.

Во время травли профессора Любищева, биолога, выступившего против Лысенко, директора сняли. Его перевели в другой институт, и сотрудники очень ценят его мягкость и чеховскую внешность. Этот человек был настоящим погромщиком по призванию, а наша лицемерная эпоха охотно пользовалась им из-за его обманчивой внешности. Такого рода мимикрия очень ценилась, и на удочку интеллигентской внешности и мягкого голоса попадалось немало простаков.

СТИХОЛЮБЫ

Мы провели в Ленинграде два дня. Ночевали у Пуниных, где все старались развеселить О.М. Вызвали даже Андроникова, тогда еще славного юнца, охотно разыгравшего перед О.М. все свои штучки. Вечером сидели за столом, чокались и разговаривали. Все понимали, перед чем мы стоим, но не хотелось губить

последние минуты жизни. Анна Андреевна казалась легкой и веселой; Николай Николаевич шумел и смеялся... Но я заметила, что у него участился тик левой щеки и века.

Днем мы пошли к Стеничу. Блок назвал Стенича русским дэнди. Среди советских писателей он прослыл циником. Не потому ли, что все боялись его острого языка? Стенич тоже разыгрывал сценки, но совсем другого рода, чем Андроников. Еще в середине двадцатых годов у него был коронный номер: Стенич рассказывал, как он боится начальства и как он его любит — так любит, что готов подать шубу директору Госиздата... Этот рассказ он подносил всем писателям, а они принимали его довольно холодно. Легче было счесть Стенича циником, хвастающим собственным подхалимством, чем узнать в изображаемом лице самого себя. Кем же был Стенич — сатириком или циником?

Стенич начинал со стихов. В Киеве в 19 году, в литературном подвале «Хлам», он читал острые стихи, из которых многие запомнили «Заседание Совнаркома», где звучала не заказная, а подлинная современность⁵¹⁹. Стихи писать он бросил, но остался одним из самых глубоких стихолюбов. Вероятно, он мог бы стать прозаиком, эссеистом, критиком, как сейчас называют эту странную профессию, словом, он бы что-нибудь сделал, но время не благоприятствовало таким, как он. Пока что Стенич жил, вращался среди людей, болтал, шумел и немножко переводил, и его переводы стали образцом для всех переводчиков прозы. Как говорится, он был «стилистом» и нашел современное звучание в переводах американцев. На самом деле он таким способом использовал свои потенции, свое острое чувство времени, современного человека, языка и литературы.

Стенич встретил О.М. объятиями. О.М. рассказал, зачем мы приехали. Стенич вздохнул, что большинство писателей в разъезде, но кое-кто живет на даче. Это, естественно, затрудняло сбор денег. Его успокоила жена — Люба. Она обещала поехать в Сестрорецк и сразу после обеда, надев кокетливую шляпку, отправилась в путь. Стенич никуда нас не отпустил, и мы у него дождались возвращения Любы. К нему приходили люди повидать нас, среди них Анна Андреевна и Вольпе, тот самый, которого выгнали из редакции «Звезды» за то, что он

напечатал «Путешествие в Армению», да еще с концовкой про царя Шапуха, получившего от ассирийца «один добавочный день». Эта концовка была запрещена цензурой. День, проведенный у Стенича, тоже был «одним добавочным днем»...

Люба вернулась с добычей — немного денег и куча одежды. Среди прочего барахла оказались две пары брюк — одни огромные и широкие, другие точно по мерке. Огромные брюки доехали до Савелова, а там перешли во владение нашего знакомого, уголовного, объяснившего нам, почему стоверстникам нельзя селиться в таких местах, как Александров, — «снимут, как пенку». Лишняя пара брюк никогда не заживалась у О.М. Всегда находился кто-нибудь, у кого нет и одной.

Шкловский тогда тоже принадлежал к однобрючным людям, а его сын Никита уже готовился к такой же судьбе. Однажды мать спросила его, чего бы он пожелал, если бы крестная фея, как в сказке, взялась выполнить его желание. Никита ответил без малейшего раздумья: «Чтоб у всех моих товарищей были брюки...» В наших условиях отказ от вторых брюк и забота о бесштанных товарищах характеризовала человека больше, чем его слова, а тем более повести, романы, рассказы, очерки и статьи... Советские писатели вообще, по моим наблюдениям, народ крепкий, но при Любе, жене Стенича, было бы непросто отказаться помочь ссыльному...

День, проведенный у Стенича, казался мирным и тихим, но и в него врывалась современность. Стенич дружил с женой Дикого. Она уже сидела, забрали и Дикого⁵²⁰. Стенич ждал судьбы. Он боялся за Любу: что с ней будет, если она останется одна? Вечером зазвонил телефон. Люба сняла трубку. Никто не отозвался, и она заплакала. Все мы знали, что иногда таким образом проверяют, прежде чем ехать с ордером, дома ли хозяин. В тот вечер Стенича не взяли. Ему пришлось ждать судьбы до зимы⁵²¹. Когда мы прощались на лестничной площадке, куда выходило несколько квартир, Стенич, указывая на одну дверь за другой, рассказал, когда и при каких обстоятельствах забрали хозяина. На двух этажах он остался едва ли не единственный на воле, если это можно назвать волей. «Теперь мой черед», — сказал он...

В следующий наш приезд в Ленинград Стенича уже не было, и Лозинский, когда мы к нему зашли, испугался:

«Знаете ли вы, что случилось с вашим Амфитрионом^{522?}» Лозинский думал, что Стенича забрали, потому что мы провели у него день. И нам пришлось сразу уйти, даже не попросив у Лозинского денег. Мне кажется, что Лозинский переоценивал детективные методы наших карающих органов. Меньше всего дела им было до реальности: опираясь на сеть постоянных стукачей и на доносы добровольцев, они составляли списки, по которым производились аресты. Им нужны были не факты, а имена, чтобы выполнить план. Во время следствия они впрок запасались показаниями арестованных против любого лица, даже против тех, кого они не собирались арестовывать. Я слышала про женщину, которая героически выдержала все пытки и не дала показаний против Молотова. От Спасского требовали показаний против Любы Эренбург, которую он никогда в глаза не видел. Ему удалось передать об этом из лагеря, и Любу поспешили предупредить. Кажется, ей сказала об этом Анна Андреевна. Люба не поверила: «Что за Спасский? Я его не знаю...» Она еще была наивной, но потом все поняла.

В застенках росли и пухли дела Эренбурга, Шолохова, Алексея Толстого, которых и не думали трогать. Десятки, если не сотни, людей попали в лагеря по обвинению в заговоре, во главе которого стояли Тихонов и Фадеев. Среди них и уже упомянутый Спасский⁵²³. Дикие изобретения, чудовищные обвинения — все это становилось самоцелью, и работники органов изощрялись в них, словно наслаждаясь своим самовластием. Основным же принципом следствия оставалось то, что нам поведал в конце двадцатых годов брат Фурманова: «Был бы человек, дело найдется...» В тот день, когда мы сидели у Стенича, его имя уже, наверное, находилось в списках подлежащих аресту, потому что его телефон был записан у Дикого. Дополнительных сведений не требовалось.

Принципы и цели массового террора коренным образом отличаются от обычных задач охранительных органов. Террор — это устрашение. Чтобы погрузить страну в состояние непрерывного страха, нужно довести количество жертв до астрономической цифры и на каждой лестнице очистить несколько квартир. Остальные жильцы дома, улицы, города, где прошла метла, будут до конца жизни образцовыми гражданами. Не следует только забывать новых поколений, которые

не верят своим отцам, и планомерно возобновлять чистки. Сталин прожил долгую жизнь и следил, чтобы волны террора время от времени увеличивали силу и размах. Но у сторонников террора всегда остается один просчет: всех убить нельзя и среди притаившейся, полубезумной толпы отыщется свидетель.

В первый приезд в Ленинград мы еще ездили к Зощенко в Сестрорецк или Разлив. У Зощенко были большое сердце и прекрасные глаза. «Правда» заказала ему рассказ, и он написал про жену поэта Корнилова, как она ищет работу и ее отовсюду гонят как жену арестованного. Рассказа, разумеется, не напечатали, но в те годы один Зощенко мог решиться на такую демонстрацию. Удивительно, как ему тогда сошло, но в счет записано, несомненно, было, и он сразу заплатил по всем счетам.

На вокзал мы уезжали от Пуниных. Ехали мы последним поездом и поэтому из дому вышли после двенадцати, и этой «полночью голубой» город показался Анне Андреевне «Не столицею европейской С первым призом за красоту — Душной ссылкой енисейской, Пересадкою на Читгу, На Ишим, на Иргиз безводный, На прославленный Акбасар, Пересылкою в лагерь Свободный, В трупный запах прогнивших нар, — Показался мне город этот Этой полночью голубой, Он, воспетый первым поэтом, Нами грешными — и тобой». Что ж тут удивительного, что ей так показалось? Нам это всем казалось. Да так и было, только ссылку в эти сравнительно обжитые места уже почти прекратили.

Люба Стенич рассказала забытый мной эпизод: О.М. на вокзале подошел к вокзальной пальме в кадке, что-то на нее повесил и сказал: «Араб-кочевник в пустыне...»

Первый приезд в Ленинград дал нам три месяца передышки. К весне, перед отъездом в Саматиху, мы снова решили смотаться в Ленинград, но на этот раз безуспешно. Утром мы зашли к Анне Андреевне, и она прочла О.М. обращенные к нему стихи про поэтов, воспевающих европейскую столицу. Это была последняя встреча Анны Андреевны и О.М. Больше они не виделись: мы условились встретиться у Лозинского, но нам пришлось сразу от него уйти. Она уже нас не застала, а потом мы уехали, не ночуя, успев в последнюю минуту проститься с ней по телефону.

После Лозинского мы долго стояли на улице, не зная, куда пойти. К Маршаку, что ли?

Самуил Яковлевич встретил нас таким певучим приветствием, что О.М. даже не заговорил про деньги. Завязался литературный разговор. О.М. прочел несколько воронежских стихотворений. Маршак вздохнул; стихи ему не понравились: «Не видно, с кем вы встречаетесь, о чем разговариваете... В пушкинскую эпоху...» «Ишь чего захотел», — шепнул мне О.М., и мы распростились... Потом не застали дома одного писателя, долго ждали его и встретили уже на улице. О.М. попросил денег, но у писателя их не оказалось: истратился — строит дачу...^{*524} За все время это был второй отказ, первый — Сельвинского. Второго писателя я не хочу называть, мне кажется, что его отказ — случайность, просто недоразумение. Это был вполне приличный человек — мы всегда обращались за помощью к последним тайным интеллигентам, ленинградский же писатель был и интеллигентом, и стихолюбом, а в ту минуту у него замутилось в голове и он обернулся членом Союза писателей...

В самые последние дни перед отъездом в Саматиху О.М. сказал мне: «Надо пойти попросить денег у Паустовского». Мы не были даже знакомы, и я удивилась. «Он даст», — успокоил меня О.М. Недавно я рассказала об этом старику. «Почему ж вы не пришли?» — огорчился он. «Не успели — О.М. арестовали», — объяснила я Константину Георгиевичу. Он успокоился. «Если б О.М. пришел, я бы все карманы вывернул», — сказал он и рассмеялся своим мелким смешком. Не сомневаюсь, что он бы дал: он ведь был типичным тайным интеллигентом, а сейчас стал явным: больше скрывать не нужно.

До меня недавно дошла сплетня: один крупный чиновник от литературы^{*525} удивлялся, что за человек такой был Мандельштам — занимал деньги и не возвращал... Мандельштам ему явно не нравится... В легкомысленной молодости О.М., может, действительно не возвращал долгов, но чиновник тогда еще не родился. А то, что было в сталинские годы, не называется «занимал». Это неприкрытое нищенство, к которому он был принужден государством, иначе говоря, той жизнью, что в печати называлась счастливой.

Нищенство — еще не худшая сторона этой жизни.

ЗАТМЕНИЕ

«Кому нужен этот проклятый режим!» — сказал Лева Бруни, сунув О.М. деньги на поездку в Малый Ярославец. Осенью стал вопрос о переезде из Савелова, и мы снова изучали карту Подмосковья. Лева посоветовал Малый Ярославец — там он поставил избу для жены и детей своего брата Николая, священника, потом авиаконструктора, а в 37 году — лагерника, кончившего первый срок и уже получившего второй «за преступление, совершенное в лагере», как это тогда называлось. Иначе говоря, он стал «повторником», не успев выйти на свободу даже на один миг⁵²⁶.

Высланная из Москвы Надя Бруни и ее дети жили уже несколько лет в Малом Ярославце. Они кормились огородом, потому что на корову у Левы не хватило — Лева кормил свою большую семью и всех детей брата. Самому ему, вероятно, и в мирное время перепало не слишком много еды — это была картофельная жизнь, а после войны он умер от истощения. Это случалось с тайными интеллигентами. Леву все любили. Он продолжал жить и быть человеком, несмотря на все испытания, которые ему послала судьба. Ведь и до смерти большинство из нас не живет, а только, притаившись, чего-то ждет и существует от дня к ночи.

Осенью рано темнеет. Освещен в Малом Ярославце был только вокзал. Мы шли вверх по скользким от грязи улицам и по дороге не заметили ни одного фонаря, ни одного освещенного окна, ни одного прохожего. Нам пришлось постучаться раза два в чужие окна, чтобы узнать дорогу. На наш стук в окне появлялось искаженное страхом лицо. «Как пройти?» — спрашивали мы, и с человеком у окна происходила метаморфоза: черты разглаживались, появлялась улыбка и с необычайной охотой нам подробно объясняли дорогу. Когда мы наконец добрались до своей цели, Надя Бруни, выслушав рассказ о том, что происходило с местными жителями при нашем стуке, сказала, что в последние недели в Малом Ярославце участились аресты и местных людей, и ссыльных, поэтому народ напуган и сидит притаившись.

Во время Гражданской войны в домах старались не зажигать света, чтобы не привлечь внимания бродячих кондотье-

ров: вдруг вздумают и заявятся на огонек... В оккупированных немцами городах тоже сидели в темноте. В тридцать седьмом году освещенное окно не играло никакой роли: аресты производились не самочинно, а по ордерам. И все же люди пораньше заваливались спать, лишь бы не зажигать лампу. Должно быть, действовал первобытный инстинкт: в темной норе безопаснее, чем на свету. И я сама знаю это чувство: услышав машину, останавливающуюся у дома, невольно тушишь свет...

Ночной городок привел нас в такой ужас, что, переночевав у Нади Бруни, мы наутро сбежали в Москву. Левиного совета мы не приняли: нужна была сила духа скромной и нежной Нади Бруни, чтобы вынести этот страх, как платком покрывший весь город. Правильнее было бы сказать — всю страну, но в деревнях и больших городах это ощущалось не так сильно.

Следующим консультантом оказался Бабель. Он, кажется, никогда не жил в писательских домах, а всегда как-то неожиданно, не так, как другие. Мы с трудом отыскивали его в каком-то непонятном особняке. Мне смутно помнится, будто в этом особняке жили иностранцы, а Бабель снимал у них комнаты на втором этаже. А может, он так нам сказал, чтобы мы удивились. Он очень любил удивлять людей... Ведь иностранцев боялись как огня: за самое поверхностное знакомство с ними летели головы. Кто бы решился поселиться у иностранцев? Я до сих пор не могу опомниться от удивления и не знаю, в чем там было дело. Бабель всегда нас чем-нибудь поражал, когда мы встречались.

Мы рассказали Бабелю о наших бедах. Разговор был долгий, а он слушал нас с необычайным любопытством. Весь поворот головы, рот, подбородок и особенно глаза Бабеля всегда выражали любопытство. У взрослых редко бывает такой взгляд, полный неприкрытого любопытства. У меня создалось впечатление, что основной движущей силой Бабеля было неистовое любопытство, с которым он всматривался в жизнь и в людей.

Судьбу нашу Бабель решил быстро — он умел хватать быка за рога. «Поезжайте в Калинин, — сказал он, — там Эрдман — его любят старушки...» Бабель, конечно, говорил о молодых старушках, и его слова означали: Эрдман в плохом месте

не поселится — его поклонницы бы этого не допустили. Эрдмановских «старушек» Бабель считал возможным использовать в случае нужды и для нас — комнату, например, найти... Для этого достаточно и местных «бабушек»...

Бабель все же переоценивал власть Эрдмана над «старушками» — в Калининe мы их не обнаружили: видно, Эрдман все же ездил к ним, а не они к нему. Впрочем, кто знает женские сердца...

Деньги на переезд Бабель вызвался достать сам на следующий день, и разговор перешел на другие рельсы.

Бабель рассказал, что встречается только с милиционерами и только с ними пьет. Накануне он пил с одним из главных милиционеров Москвы, и тот спьяну объяснил, что поднявший меч от меча и погибнет. Руководители милиции действительно гибли один за другим... Вчера взяли этого, неделю назад того... «Сегодня жив, а завтра чорт его знает, куда попадешь...»

Слово «милиционер» было, разумеется, эвфемизмом. Мы знали, что Бабель говорит о чекистах, но среди его собутыльников были, кажется, и настоящие милицейские чины.

О.М. заинтересовался, почему Бабеля тянет к «милиционерам». Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты? «Нет, — ответил Бабель, — пальцами трогать не буду, а так — потяну носом: чем пахнет?»...

Известно, что среди «милиционеров», которых посещал Бабель, был и Ежов. После ареста Бабея Катаев и Шкловский ахали, что Бабель, мол, так трусил, что даже к Ежову ходил, но не помогло, и Берия его именно за это взял... Я уверена, что Бабель ходил к нему не из трусости, а из любопытства — чтобы потянуть носом: чем пахнет?

Тема: «что будет завтра с нами» — была основной во всех наших разговорах. Бабель — прозаик — вкладывал ее в уста третьих лиц — «милиционеров». О.М. обходил ее молчанием: его завтрашний день уже наступил. Только раз его прорвало: встретив случайно на улице совершенно чужого нам человека — Шервинского, О.М. вдруг объяснил ему, что с ним «так продолжаться не может»... «Я у них все время на глазах. Они совершенно не знают, что со мной делать. Значит, они меня скоро посадят...» Это был горячий и короткий разговор.

Шервинский слушал молча. После смерти О.М. мне иногда случалось с ним встречаться, но он мне никогда об этом разговоре не напоминал. Я бы не удивилась, если б он забыл: приходилось забывать о неприятном — его было слишком много.

БЫТОВАЯ СЦЕНКА

Ежова знал не только Бабель, но, кажется, и мы. Тот Ежов, с которым мы были в тридцатом году в Сухуме на правительственной даче, удивительно похож на Ежова портретов и фотографий 37-го, и особенно разительно это сходство на фото, где Сталин ему, сияющему, протягивает для пожатия руку и поздравляет с правительственной наградой⁵²⁷. Сухумский Ежов как будто тоже хромал, и мне помнится, как Подвойский, любивший морализировать на тему, что такое истинный большевик, ставил мне, лентяйке и бездельнице, в пример «нашего Ежова», который отплясывал русскую, несмотря на большую ногу и даже назло ей... Но Ежовых много, и мне не верится, что нам довелось видеть легендарного наркома на заре его короткой, но ослепительной карьеры. Нельзя же себе представить, что сидел за столом, ел и пил, перебрывался случайными фразами и глядел на человека, продемонстрировавшего такую волю к убийству, развенчавшего не в теории, а на практике все послышки гуманизма.

Сухумский Ежов был скромным и довольно приятным человеком. Он еще не свыкся с машиной, и потому не считал ее своей исключительной привилегией, на которую не смеет претендовать обыкновенный человек. Мы иногда просили, чтобы он нас довез до города, и он никогда не отказывал. А там, на правительственной даче, этот вопрос стоял остро. На нашу горку все время взлетали машины абхазского Совнаркома.

Дети отдыхающих работников ЦК отгоняли чумазую ребятню — детей служащих — от машин, которые принадлежали им по праву рождения от ответственных работников, и важно в них рассаживались. О.М. как-то показал Тоне, жене Ежова⁵²⁸, и другой цекистской даме на сцену изгнания

чумазых. Женщины приказали детям потесниться и пустить чумазых посидеть в машине. Они очень огорчились, что дети нарушают демократические традиции их отцов, и рассказали нам, что их посылают в общие школы и одевают ничуть не лучше их товарищей, «чтобы они не отрывались от народа». Дети пока что готовились управлять народом, но многих из них ждала другая участь.

По утрам Ежов вставал раньше всех, чтобы нарезать побольше роз для молодой литературоведки, приятельницы Багрицкого, за которой он ухаживал⁵²⁹. Вслед за ним выбегал Подвойский и тоже бросался резать розы для обиженной жены Ежова. Это был чисто рыцарский дар, как говорили жильцы правительственной дачи, потому что Подвойский — образцовый семьянин и ни за чьими женами, кроме собственной, не ухаживает. Прочие дамы, за которыми никто не ухаживал, сами украшали букетами свои комнаты и обсуждали романтическое поведение Подвойского.

Тоня Ежова — кажется, ее звали Тоней — проводила дни в шезлонге на площадке против дачи. Если ее огорчало поведение мужа, она ничем этого не показывала — Сталин еще не начал укреплять семью. «Где ваш товарищ?» — спрашивала она, когда я бывала одна. В первый раз я не поняла, что она говорит об О.М. В их кругу еще сохранялись обычаи подпольных времен, и муж в первую очередь был товарищем. Тоня читала «Капитал» и сама себе тихонько его рассказывала. Она сердилась на бойкую и умную жену Косиора, потому что та ездила кататься верхом с молодым и нагловатым музыкантом, собиравшим абхазский фольклор⁵³⁰. «Мы все знаем Косиора, — говорила Тоня, — он наш товарищ... А кто этот человек? Ведь он может оказаться шпионом!» Все осуждали легкомыслие Лакобы, поселившего на такую ответственную дачу чужого человека. Вероятно, присутствие любого беспартийного на этой даче вызывало толки среди «своих», но Лакоба ни с кем не считался, потому что дача принадлежала абхазскому Совнаркому, то есть ему. Я даже слышала толки, что пора централизовать распределение мест в партийные дома отдыха...

Рядом с нами, в маленькой комнате третьего этажа, жил член ЦК старшего поколения, латыш и умный человек. Он держался со всеми осторожно и отчужденно и разгова-

ривал только с О.М. Мы часто слышали тревожные нотки в его разговорах и недоумевали. «Четвертая проза» уже была написана, и мы знали, что с литературой дело обстоит плохо, но наш-то латыш литературой не занимался, он был просто одним из руководящих партийных работников, ни в каких уклонах его не обвиняли — откуда же тревога и непрерывно проскальзывавшая тема: что будет завтра? Больше о нем я ничего не знаю, но он не мог не участвовать в «Съезде победителей», и поэтому нетрудно догадаться, что с ним произошло⁵³¹: задним умом мы все крепки.

По вечерам приезжал Лакоба поиграть на бильярде и поболтать с отдыхающими в столовой у рояля. Эта дача с избранными гостями была для него единственной отдушиной, где он мог поразвлечься и поговорить по душам. Однажды Лакоба привез нам медвежонка, которого ему подарили горцы. Подвойский взял звереныша в свою комнату, а Ежов отвез его в Зоологический сад. Лакоба умел развлечь людей интересным рассказом. Он рассказал нам про своего предка, который пошел пешком в Петербург, чтобы пригласить кровного врага, кажется князя Шервашидзе, к себе в Сухум на обед. Шервашидзе решил, что это конец кровной вражды, и принял приглашение. За свое легкоеверие он был убит⁵³². На О.М. рассказ Лакобы произвел большое впечатление, ему послышался в нем какой-то второй план. Нам говорили, что в 37 году Лакобы уже не было в живых. Похоронили его на почетном месте, вроде абхазской кремлевской стены, а Сталин, разгневавшись за что-то на покойника, велел вырыть его прах и предать уничтожению. Если этот вариант правильный, можно только порадоваться за Лакобу, что он вовремя успел умереть⁵³³.

Это Лакоба пригласил нас на правительственную дачу, потому что мы приехали с бумагой ЦК отдыхать перед путешествием в Армению. Из писателей там были Безыменский и Казин и оба чувствовали себя вполне на месте, чего нельзя сказать про нас.

В день смерти Маяковского мы гуляли по саду с надменным и изящным грузином, специалистом по радио⁵³⁴. В столовой собрались отдыхающие, чтобы повеселиться. По вечерам они обычно пели песни и танцевали русскую, любимую пляску Ежова. Наш спутник сказал: «Грузинские наркомы

не стали бы танцевать в день смерти грузинского национально-го поэта». О.М. кивнул мне: «Пойди скажи Ежову...» Я вошла в столовую и передала слова грузина разгоряченному весельем Ежову. Танцы прекратились, но, кроме Ежова, по-моему, никто не понял почему...⁵³⁵

За несколько лет до этого, в 23 году, О.М. остановил Вышинского, громко смеявшегося и разговаривавшего, когда какой-то молодой поэт читал стихи. Это произошло в санатории Цекубу — Гаспре. Мы терпеть не могли санатории и дома отдыха, но изредка ездили туда, если уж совсем некуда было деваться. От них почему-то пахло смертию.

САМОУБИЙЦА

Кто отдавал себе отчет в том, что добровольный отказ от гуманизма — ради какой бы то ни было цели — к добру не приведет? Кто знал, что мы встаем на гибельный путь, провозгласив, что нам «все дозволено»? Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал. Теперь их попрекают «абстрактным гуманизмом», а в двадцатые годы над ними потешался каждый кому не лень. Они были не в моде. Их называли «хилыми интеллигентишками» и рисовали на них карикатуры. К ним применялся еще и другой эпитет: «мягкотелые».

«Хилым» и «мягкотелым» не нашлось места среди тридцатилетних сторонников «нового». Первоочередная задача состояла в том, чтобы подвергнуть их осмеянию в литературе. За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили «мягкотелых» в «Вороньей слободке». Время стерло специфику этих литературных персонажей, и никому сейчас не придет в голову, что унылый идиот, который пристаёт к бросившей его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель шестидесятых годов, читая бессмертное произведение двух молодых дикарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются.

Нечто вроде этого случилось и с гораздо более глубокой вещью — эрдмановским «Самоубийцей», которым восхищался Горький и пытался поставить Мейерхольд... По первоначальному замыслу пьесы, жалкая толпа интеллигентишек, одетых

в отвратительные маски, насаждает на человека, задумавшего самоубийство. Они пытаются использовать его смерть в своих целях — в виде протеста против трудности их существования, в сущности, безысходности, коренящейся в их неспособности найти свое место в новой жизни. Здоровый инстинкт жизни побеждает, и намеченный в самоубийцы, несмотря на то, что уже устроен в его честь прощальный банкет и произнесены либеральные речи, остается жить, начхав на хор масок, толкающих его на смерть.

Эрдман, настоящий художник, невольно в полифонические сцены с масками обывателей — так любили называть интеллигентов, и «обывательские разговоры» означало слова, выражающие недовольство существующими порядками, — внес настоящие поразительные и трагические ноты. Сейчас, когда всякий знает и не стесняется открыто говорить о том, что жить невозможно, жалобы масок звучат, как хоры замученных теней. Отказ героя от самоубийства тоже переосмыслился: жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь...

Сознательно ли Эрдман дал такое звучание, или его цель была попроще? Не знаю. Думаю, что в первоначальный — антиинтеллигентский или антиобывательский — замысел прорвалась тема человечности. Это пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство.

А сам Эрдман обрек себя на безмолвие, лишь бы сохранить жизнь.

В Калинин он жил в маленькой узкой комнатке, где помещались койка и столик. Когда мы пришли, он лежал — там можно было только лежать или сидеть на единственном стуле. Он немедленно отряхнулся и повел нас на окраину, где иногда в деревянных собственных домах сдавались комнаты. Навещал он нас довольно часто, но всегда без своего соавтора и антипода — Миши Вольпина. Приходил он, вероятно, в дни, когда Миша ездил в Москву.

Эрдман попался, как известно, за басни, которые Качалов по легкомыслию прочел на кремлевской вечеринке⁵³⁶, иначе говоря, тому кругу, с которым мы жили на правительственной даче в Сухуме, где спутника жены Косиора сразу заподозрили в шпионаже... В тот же вечер все остроумцы

были арестованы и высланы, причем Миша Вольпин попал не в ссылку, а в лагерь — у него, насколько я знаю, были старые счеты с органами, и он еще мальчишкой успел им насолить... Говорят, что Эрдман подписывался в письмах к матери «мамин сибиряк» и сочинил прощальную басню: «Раз ГПУ, зайдя к Эзопу, Схватило старика за ж... Смысл этой басни, видно, ясен: Довольно этих басен!»...

Такова была жизненная программа Эрдмана, и больше до нас не доходило ни басен, ни шуток — этот человек стал молчаливым. В противоположность О.М., который отстаивал свое право на «шевелиющиеся губы», Эрдман запер свои на замок. Изредка он наклонялся ко мне и сообщал сюжет только что задуманной пьесы, которую он заранее решил не писать. Одна из ненаписанных пьес строилась на смене обычного и казенного языков. В какой момент служащий, отсидевший положенное число часов в учреждении, сменяет казенные слова, мысли и чувства на обычные, общечеловеческие? Впоследствии об этом писал Яшин...⁵³⁷

Услышав об аресте О.М., Эрдман произнес нечто невнятное, вроде: «Если таких людей забирают...» — и пошел меня провожать...

Во время войны, когда мы жили в эвакуации в Ташкенте, к моему брату заявили двое военных. Один был Эрдман, другой — без умолку говоривший Вольпин. Вольпин говорил о поэзии: поэзия должна быть интересна, мне интересно читать Маяковского, мне интересно читать Есенина, мне не интересно читать Ахматову... Вольпин был воспитанником Лефа и знал, что ему интересно. Эрдман молчал и пил. Потом они встали и поднялись в балахану к Ахматовой, жившей над моим братом.

Изредка я встречаю Эрдмана и Вольпина у Ахматовой. Эрдман, увидев меня, говорит: «Это вы, я рад». Потом он пьет и молчит. Говорит Вольпин. Они работают вместе и, кажется, вполне благополучны.

Как-то летом в Тарусе жил актер Гарин. Он жаловался на современный театр и тосковал. По вечерам возникали споры: где обстоит хуже — в литературе, театре, живописи или музыке. Каждый отстаивал свою область и утверждал, что она занимает самое первое место по силе падения. Однажды

Гарин прочел нам эрдмановского «Самоубийцу», пьесу, которая не увидела сцены, и я услышала, что она звучит по-новому: а я вам расскажу, почему вы не разбили себе голову и продолжаете жить...

А антиинтеллигентские выпады продолжаются. Антиинтеллигентская направленность — наследие двадцатых годов, и надо с ней кончать.

Многие обидятся за упомянутые вскользь «Двенадцать стульев». Я сама смеялась и смеюсь над разными жульническими эпизодами и ахаю, как это авторы осмелились написать, что Остап Бендер с прочими одесскими жуликами, войдя в писательский вагон, идущий по вновь открытой линии Турксиба, растворился среди своих пишущих собратий и всю дорогу проехал неузнанным и неразоблаченным. Но над «Вороньей слободкой» смеяться грех. Люди в этом разрушающемся доме, конечно, одичали, и женщины, имевшие хоть какую-нибудь рыночную цену, не могли не удрать от своих мужей. Хоть рыбы и не всегда ищут, где глубже, но все же разгуливать им по песку не так просто... И легче всего смеяться над тем, кто уже задушен.

ВЕСТНИК НОВОЙ ЖИЗНИ

Мне придется признаться в неисправимом оптимизме: подобно тем, кто в начале столетия верил, что жизнь должна, обязана, не смеет не стать лучше, чем была в девятнадцатом столетии, так и я сейчас абсолютно убеждена, что мы сейчас находимся накануне полной победы гуманизма и высокой человечности. Это относится и к социальной справедливости, и к культуре, и к чему угодно. Мой оптимизм не поколеблен даже жестоким опытом первой половины нашего неслыханного столетия. Скорее даже наоборот: то, что пережито нами, надолго отвратит людей от многих соблазнительных на первый взгляд теорий, которые утверждают, что цель оправдывает средства и что «все позволено»... О.М. приучил меня верить, что история есть проверка в действии и на опыте путей добра и зла. Мы проверили пути зла. Захотим ли мы на них возвращаться? Не крепнут ли среди нас голоса, говорящие о совести

и добре? Мне кажется, что мы стоим на пороге новых дней. Я ловлю симптомы нового мироощущения. Их мало. Они почти незаметны. Но все же они есть. К несчастью, мою веру и мой оптимизм не разделяет почти никто. Люди, отличающие добро от зла, ждут, скорее, нового рецидива бед и злодеяний. Я понимаю возможность рецидивов, но общий путь представляется мне ясным. Кто из нас прав? Жизнь покажет, а может, уже кое-что показала*⁵³⁸.

Я должна, конечно, оговориться: никакого особого триумфа добра я, разумеется, не жду. Речь идет совсем о другом — меня интересуют ведущие идеи, а не крокодиловы слезы будущих жандармов. Не в них дело. Мы были свидетелями того, как восторжествовала воля к злу после того, как ценности гуманизма подверглись поношению и были растоптаны в прах. Причина, вероятно, кроется в том, что они, то есть ценности, не были обоснованы ничем, кроме восторга перед человеческим интеллектом. Думаю, что сейчас они должны получить лучшее обоснование, хотя бы потому, что мы невольно пересматриваем наш опыт и видим ошибки и преступления прошлого. Сейчас соблазны прошлого отгорели: Россия некогда спасла европейскую христианскую культуру от татар, сейчас она спасает ее от рационализма и его следствия — воли к злу. И это стоило ей больших жертв. Могу ли я поверить, что они были бесплодны?

У меня есть приятель, еще совсем молодой, но умный и мрачный не по возрасту⁵³⁹. Из всех поэтов он больше всего ценит Блока, потому что тот метался в предчувствии гибели русской культуры. Этот блоколюбец презирает меня за бабушкины розовые очки. По его мнению, культура, как предсказал Блок, действительно погибла и мы похоронены под ее развалинами.

Этот пессимист не замечает, какие сдвиги произошли со времени нашего первого знакомства. Он пришел ко мне сразу после Двадцатого съезда, когда растерянные люди спрашивали: «Зачем нам это сказали?» — одним не хотелось слышать про неприятное, другие — готовившиеся управлять — огорчались, что это занятие внезапно стало труднее, чем раньше; а кое-кто растерянно вздыхал, сообразив, что старыми способами уже карьеры не сделаешь и придется искать новых...

Эту эпоху принято называть «оттепелью»⁵⁴⁰, потому что кто-то поверил, что люди получают сверху разрешение говорить полным голосом. Расчет на разрешение не оправдался, но не все понимают, что не в этом дело. Дело в людях, в каждом отдельном человеке и в его мироощущении. Сама потребность в разрешении — это остаток прошлой эпохи с ее верой в авторитет, санкцию и инструктивные указания, с ее страхом кары и ужасом перед начальственным окриком. Этот ужас может вернуться, если опять отправят в лагерь несколько миллионов граждан, но каждый из этих миллионов будет сейчас выть. Их семьи будут выть. Их друзья и соседи будут выть. И это немало.

Мой приятель пришел ко мне в первый раз, когда я жила в черном и грязном бараке, где разместилось общежитие преподавателей Чебоксарского пединститута. Всюду стоял смрад и висела керосиновая копоть. В моей комнате было холодно, как на дворе: одно из бревен второго этажа оборвалось и повисло наружу, грозя обвалиться на головы играющих детей. Ветер, пахнувший тальм снегом, свободно гулял по комнате. Гость объяснил мне, что он так любит О.М., что не мог удержаться, чтобы не зайти ко мне. Он пришел прямо с улицы, не запасшись письмами от общих знакомых, по которым я могла бы определить, к какому разряду людей он относится. Но всей своей повадкой и, главным образом, выражением глаз он сразу внушил мне доверие.

Я пригласила его сесть и заговорила с ним так, как никогда бы не стала разговаривать со случайным посетителем. Я сказала: «Когда ко мне кто-нибудь заходит и говорит, что любит Мандельштама, я знаю, что это стукач. Он либо подослан, либо пришел по собственной инициативе, чтобы потом сделать хорошенький донос. Это продолжается уже двадцать лет. Со мной никогда просто не говорят о Мандельштаме: литературные люди, которые когда-то читали его стихи, никогда в разговоре со мной его не упоминают. Я говорю это вам, потому что вы произвели на меня хорошее впечатление. Вы вызвали во мне доверие. Но я не могу говорить даже с вами о Мандельштаме и о его стихах. Вы теперь понимаете почему...»

Гость ушел. Через два приблизительно года я узнала, что у нас есть общие знакомые, и передала ему приглашение

зайти. Ошарашенный первой встречей, он пришел с явной неохотой, но вскоре все позабылось. Не знаю, понял ли он, что все сказанное мной при первой встрече было актом глубочайшего доверия, которое он сумел мне внушить всем своим обликом...

С тех пор прошло не много лет, и я спокойно отвечаю каждому, кто спрашивает меня про Манделъштама, — и все это люди новых поколений, хотя старшие тоже иногда вдруг возьмут да что-нибудь скажут... Мы разговариваем сейчас о множестве вещей, которые раньше были под полным запретом, и большинство людей моего круга не смели, не хотели и отвыкли о них думать. Мало того, мы сейчас не желаем знать, запретны ли еще какие-нибудь темы. Мы с этим не считаемся. Мы об этом забыли.

Но это еще не все. Молодые интеллигентные люди двадцатых годов охотно собирали информацию для начальства и для органов. Они считали, что это делается для блага революции, для ее охраны и для таинственного большинства, которое заинтересовано в охране порядка и в укреплении власти. С тридцатых годов и вплоть до смерти Сталина они продолжали делать то же самое, только мотивировка изменилась. Стимулом стали награда, выгода или страх. Они несли куда следует стихи Манделъштама или доносы на сослуживца в надежде, что за это напечатают их собственные опусы или повысят их по службе. Другие это делали из самого примитивного страха: лишь бы не взяли, не посадили, не уничтожили... Их запугивали, а они пугались. Им бросали подачку, а они хватили ее. К тому же их заверяли, что их деятельность никогда не выльется наружу, не станет явной. Последнее обещание было выполнено, и эти люди спокойно доживают свои дни, пользуясь всеми скромными преимуществами, которые они получили за свою деятельность.

А сейчас те, кого вербуют, уже не верят ни в какие гарантии... К прошлому нет возврата. Поколения сменились, и новые далеко не так запутаны и покорны, как прежние. И главное — их нельзя убедить, что их отцы поступали правильно, они не верят, что «все позволено». Это, конечно, не значит, что сейчас нет стукачей. Просто изменилась пропорция. Если раньше я могла ждать удара в спину от каждого юноши, не говоря уже

о растленных людях моего поколения, то сейчас среди моих знакомых может затесаться подлец, но только случайно, только хитростью, а скорее всего, даже подлец не сделает подлости, потому что в новых условиях ему это невыгодно и от него все отвернутся.

Среди той новой интеллигенции, которая образуется на наших глазах, уже не в чести веселая поговорка «Правда по-гречески значит “мрия”»: никто не повторит сейчас с сочувствием: «Лес рубят, щепки летят», и даже не скажет: «Против рожна не попрешь». Иначе говоря, снова образуются ценности, которые казались навсегда отмененными, и даже тот, кто мог бы по своему характеру обойтись без этих ценностей, теперь вынужден с ними считаться. Так случилось, и при этом неожиданно, — для тех, кто помнил об этих ценностях, и для тех, кто их похоронил. Где-то ценности жили подспудно, они бытовали в тиши замкнутых жилищ с притушенными огнями. Сейчас они в движении и набирают силу. Инициатором пересмотра ценностей была интеллигенция. Пересмотрев их, она переродилась и стала чем угодно, но только не интеллигенцией. Сейчас идет обратный процесс. Он удивительно медленный, и у нас не хватает терпения. Откуда нам взять его? Мы уже натерпелись...

Никто не может определить, что такое интеллигенция и чем она отличается от образованных классов. Это понятие историческое; оно появилось в России и от нас перешло на Запад. У интеллигенции много признаков, но даже совокупность их не дает полного определения. Исторические судьбы интеллигенции темны и расплывчаты, потому что этим именем часто называют слои, не имеющие на это права. Разве можно назвать интеллигенцией технократов и чиновников, даже если у них есть дипломы или если они пишут романы и поэмы? В период капитуляции над подлинной интеллигенцией издевались, а ее имя присвоили себе капитулянты.

Что же такое интеллигенция?

Любой из признаков интеллигенции принадлежит не только ей, но и другим социальным слоям: известная степень образованности, критическая мысль и связанная с ней тревога, свобода мысли, совести, гуманизм... Последние признаки особенно важны сейчас, потому что мы увидели, как с их

исчезновением исчезает и сама интеллигенция. Она является носителем ценностей и при малейшей попытке к их переоценке немедленно перерождается и исчезает, как исчезла в нашей стране.

Но ведь не только интеллигенция хранит ценности. В народе они сохраняли свою силу в самые черные времена, когда от них отрекались на так называемых культурных верхах... Быть может, дело в том, что интеллигенция не стабильна и ценности в ее руках принимают динамическую силу. Она склонна и к развitiю, и к самоуничтожению.

Люди, совершавшие революцию и действовавшие в двадцатые годы, принадлежали к интеллигенции, отрекавшейся от ряда ценностей ради других, которые она считала высшими. Это был поворот на самоуничтожение. Что общего у какого-нибудь Тихонова или Федина с нормальным русским интеллигентом? Только очки и вставные зубы. А вот новые — часто еще мальчишки — их сразу можно узнать и очень трудно объяснить, каковы те признаки, которые делают их интеллигентами. Остроумец языковед Иесперсен, наслушавшись споров о том, как отличить части речи, сказал: «Народ знает, как отличить имя от глагола, как собака умеет отличать хлеб от глины...»⁵⁴¹ Итак, они появились, и это процесс необратимый — его не может остановить даже физическое уничтожение, к которому так рвутся представители прошлого. Сейчас репрессии против одного интеллигента порождают десятки новых. Мы это наблюдали во время дела Бродского.

У русской интеллигенции есть один особый признак, который, вероятно, чужд Западу. Среди преподавателей провинциальных кафедр западной филологии я только раз встретила интеллигентку. Родом она из Черновцов, и зовут ее Марта. Пораженная, она спрашивала меня, почему студенты, которые ищут добра и правды, неизбежно увлекаются поэзией. Это действительно так, и это — Россия.

Однажды О.М. спросил меня, вернее, себя, что же делает человека интеллигентом. Само слово это он не употребил — оно в те годы подверглось переосмыслению и надругательству, а потом оно перешло к чиновным слоям так называемых свободных профессий. Но смысл был именно этот. «Университет? — спрашивал он. — Нет... Гимназия?.. Нет...

Тогда что же? Может, отношение к литературе?.. Пожалуй, но не совсем...» И тогда, как решающий признак, он выдвинул отношение человека к поэзии. У нас поэзия играет особую роль. Она будит людей и формирует их сознание. Зарождение интеллигенции сопровождается сейчас небывалой тягой к стихам. Это золотой фонд наших ценностей. Стихи пробуждают к жизни и будят совесть и мысль. Почему так происходит, я не знаю, но это факт.

Мой приятель, любитель Блока, в котором он черпал силу для своего пессимизма, был первым вестником возрождения интеллигенции, которая пробуждается, переписывая и читая стихи. Его пессимизм не оправдан. Поэзия делает свое дело. Все пришло в движение. Мысль живет. Хранители огня прятались в затемненных щелях, но огонь не угас. Он есть*⁵⁴².

ПОСЛЕДНЯЯ ИДИЛЛИЯ

Москва затягивала — разговоры, новости, добывание денег... Опомнившись, мы мчались к последнему поезду, чтобы не ночевать лишний раз в запрещенном городе. Случалось, мне уступали место в переполненном вагоне и разговаривали со мной со странным сочувствием. О.М. как-то рассказал об этом Пясту. Пяст фыркнул — у него был такой смешок, похожий на фыркание: «Это потому, что она так одета, — они думают, что это она, а не вы...» Ходила я тогда в кожаных, и Пяст хотел сказать, что мне сочувствуют, потому что меня принимают за ссыльную. В Москве столько народу от нас шарахалось именно за это, что сочувствие чужих людей в смазных сапогах показалось неожиданным подарком. Кожух, кстати, играл только добавочную роль, потому что это продолжалось и в других обстоятельствах.

Еще в вагоне у нас с О.М. начинался спор, брать ли в Калинин извозчика. Мне думалось, что лучше пойти пешком и сохранить деньги на лишний день калининской передышки⁵⁴³. О.М. держался противоположного мнения: один день ничего не меняет и все равно придется ехать в Москву «устраивать дела». Это были вариации обычной в последние годы его жизни темы: «Так больше продолжаться не может». В Калинин мы только

об этом и говорили, но никаких дел не было, и ничего устроить мы не могли.

Спор разрешался просто: у вокзала торчали два-три извозчика. Этих частников уже успели разорить налогами и уничтожить как класс. На них набрасывалась целая толпа, и они исчезали с более удачливыми и быстрыми седоками, а нам оставалось только идти пешком.

На мостах через Волгу и Тьмаку дул пронзительный ветер — тот ветер ссылок и правительственных гонений, о котором я уже говорила. В предместьи, где мы снимали комнату, осенью стояла непролазная грязь, а зимой мы тонули в снегу. Люди там могут жить только потому, что они никуда не выходят: на службу и обратно... О.М. задыхался и твердил, что мы напрасно поскупились на извозчика, а я плелась за ним.

На стук нам открывала хозяйка, сухощавая женщина лет под шестьдесят. Хмуро оглядев нас, она спрашивала, не голодны ли мы. Хозяйка хмурилась не потому, что мы ее разбудили среди ночи. Ей было свойственно хмуриться, и она никогда не улыбалась. Быть может, ей казалось, что матери семейства, жене и хозяйке большого пятистенного дома не к лицу улыбка. Мы заверяли ее, что не голодны — закусили в Москве перед отъездом...

Она молча исчезала на своей половине, но через секунду появлялась у нас в комнате с кружкой молока и остатками собственного обеда — оладьями, картошкой, капустой... Зимой зарезали свинью, и она приносила еще кусок мяса: «Ешьте — свое, не купленное...» Наши женщины своего труда никогда не считают, все, что выросло на огороде или в хлеву, это «свое», денег не стоит, Богом данное...

Пока мы ели, она стояла рядом и расспрашивала, чего мы добились в Москве — возвращения или хоть работы... Говорили мы тихо, чтобы не разбудить других жильцов, мужа и жену, тоже стоверстников, спавших за дощатой, не доходившей до потолка перегородкой. Сосед наш, ленинградец, бывший секретарь Щеголева, отсиживался в Калининне после лагеря или ссылки. Когда, по совету прохожих, мы постучались к Татьяне Васильевне — так звали нашу хозяйку, — ленинградец вышел на голос и узнал О.М. Хозяйка, узнав, что мы не проходимцы, сдала нам комнату, и это было большой удачей.

Это у нас всегда так трудно, как, я думаю, было в послевоенной Европе, когда города стояли после бомбежек в развалинах. А может, еще труднее.

Татьяна Васильевна жила с мужем, рабочим-металлургом. Властвовала она в доме безраздельно, и ее муж, добрый и мягкий человек, охотно ей подчинялся. Они только всегда сохраняли декорум: Татьяна Васильевна не решала ничего, пока не спросит хозяина, — нас пригласили выпить чаю, а придет хозяин, решит, сдавать ли комнату; а хозяин на все отвечал — «как мать». И против новых жильцов он не возражал, а с О.М. вскоре подружился — их объединяла общая страсть к музыке. К серебряной свадьбе сыновья — они вышли «в большие летчики», и один из них даже представлялся Сталину — подарили отцу патефон и кучку пластинок. То были все больше песни, модные тогда среди комсомольцев и военных.

Старик предпочел сыновнему «горлодранству» несколько пластинок, раздобытых О.М.: Бранденбургский концерт, какую-то церковную вещь Дворжака, старых итальянцев и Мусоргского⁵⁴⁴. Пластинки добывались тогда с большим трудом, и набор их был совершенно случайный, но мужчинам они доставляли массу радости. По вечерам, когда мы бывали в Калининe, они устраивали концерты, а Татьяна Васильевна ставила самовар и пила чаем с домашним вареньем. О.М. только все норовил заварить по-своему и рассказывал, что первое, на что тратил, получив деньги, Шевченко, был фунт чаю... За чаем О.М. обычно просматривал газету; хозяину, как кадровому рабочему, удалось выписать «Правду».

Как я заметила, в рабочих семьях в то суровое время разговаривали гораздо более прямо и открыто, чем в интеллигентских. После московских недомолвок и судорожных оправданий террора мы терялись, слыша беспощадные слова наших хозяев. Нас ведь научили молчать, и Татьяна Васильевна на какую-нибудь уклончивую реплику О.М. говорила, с жалостью глядя на него: «Ничего не поделаешь — все вы пуганые...»

Уже отцы и деды наших хозяев работали на заводах. Татьяна Васильевна не без гордости объясняла: «Мы потомственные пролетарии». Она помнила политических агитаторов, которых ей приходилось в царские времена прятать у себя

в доме: «Говорили одно, а что вышло!» К процессам оба относились с полным осуждением. «Нашим именем какие дела творятся», — говорил хозяин, с отвращением отбрасывая газету. «Их борьба за власть» — вот как он понимал происходящее. Что все это называлось диктатурой рабочего класса, приводило обоих в ярость: «Заморочили вам голову нашим классом» или «Власть, говорят, за нашим классом, а пойдешь, — покажут тебе твой класс»... Я изложила старикам теорию о том, что классами руководят партии, а партиями вожди. «Удобно», — сказал старик... У обоих было понятие пролетарской совести, от которого они не желали отказываться.

В этой семье остро стоял вечный в России вопрос отцов и детей. Успеху сыновей наши хозяева не радовались и в его прочность не верили. «Внизу нас много — уцелеть легче, а наверх заберешься, того и гляди полетишь», — повторяла Татьяна Васильевна. Отец же смотрел в корень вещей — он не доверял детям. При них он не решался ни о чем говорить: «Враз донесут — известно, какие теперь дети...» Но до самого больного места мы добрались не сразу — чтобы узнать, что больше всего мучило родителей, надо было раньше вместе съесть пресловутый пуд соли.

Татьяна Васильевна держала корову — «с одной рабочей зарплатой сынов не вырастишь, только корова и спасла». Корова была единственной точкой соприкосновения этой семьи с деревней, потому что вся семья уже давно перекочевала в город — «в пролетарский класс». А сено для коровы покупалось у колхозников, и сделка совершалась за столом — вокруг самовара. Татьяна Васильевна за этими чаепитиями наслушалась разговоров о коллективизации, планах и трудоднях...

Однажды, разгоряченная очередным разговором, она, проводив гостей, пришла к нам в комнату и рассказала О.М., как ее старшего сына еще комсомольцем послали на раскулачивание. Он пробыл в деревне довольно долго и, вернувшись, ничего не сказал родителям, ни на один их вопрос не ответил, а вскоре совсем покинул отчий дом. «Что он там творил? И не узнаешь! Зачем только растила...» Разговаривая с колхозниками, Татьяна Васильевна всегда прикидывала в уме, что

там мог наделать в деревне ее первенец, а муж успокаивал ее: «Брось, мать, все они теперь такие...»

Мы вскоре заметили своеобразную черту наших хозяев — эти трезвые люди, так правильно судившие о нашей жизни, не одобряли никаких форм политической борьбы, никакой активности вообще. Читая отчеты о процессах, хозяин говорил: «Зачем лезли? Ведь зарплату хорошую получали». Он все-таки подозревал, что какая-то активность жертвами процессов проявлена была, а нас приводила в ужас мысль, что никто даже пальцем не шевельнул, чтобы помешать захвату власти Сталиным. Наоборот, все порознь помогали ему загонять в угол его очередную жертву. Но хозяин помнил, какими «они были раньше», и поэтому подозревал, что «все-таки мельтешились».

А к О.М. оба относились хорошо, потому что считали его пассивной жертвой режима: «Ему-то до власти никакого дела нет, он ведь просто свое сочинял...» Они были бы довольны сыновьями, если б те держались подальше от всякой политики, с властью имущими не знались и «из своего класса не уходили». Любые виды сопротивления казались им бесполезными и просто ложными. Это и называлось у них «мельтешиться».

В Калининe нам пришлось впервые участвовать в выборах. Пораженный их организацией, О.М. не знал, что ему делать. Он пробовал утешать себя: «Это только для начала, потом народ привыкнет и все будет нормально», но затем говорил, что ни за что не станет участвовать в этой комедии. Хозяева спорили с ним. Первый их довод: «Против рожна не попрешь», второй: «Чем мы лучше других — все пойдут, и мы пойдём», а последний и самый убедительный: «Не заводись с ними, не отвяжутся». С этим нельзя было не согласиться, особенно в нашем положении. И мы все пошли голосовать — хозяева в шесть утра, как им велели на заводе, а мы попозже — после завтрака.

В сущности, Татьяна Васильевна была законопослушницей, но не потому, что она уважала законы — к нашим, например, она относилась резко отрицательно, — а из-за общей жизненной установки. Она считала первой своей обязанностью — жить, и ради этой цели следовало, по ее мнению,

уклоняться от всяких лишних действий. Идея жертвенности или гибели ради идеи показалась бы ей высшей нелепостью.

Она стояла на том, что «мы люди маленькие», которым высовываться не с руки. И мы чувствовали некоторую надменность в этой позиции: наверху — борьба, злодейство, спекуляция на имени рабочего класса, принадлежность к которому она так остро ощущала, а она здесь ни при чем, у нее руки чистые, рабочие... Ее дело — жизнь и труд, а те пускай душу губят... При этом религиозности мы в ней не замечали, и в церковь она не ходила, хотя лампадку перед иконами жгла — по обычаю, как отцы.

Минутами даже мы казались Татьяне Васильевне частицей суетных верхов. Это бывало, когда она нас подозревала в отсутствии жизненной стойкости, воли к жизни. Читая какие-нибудь циничные, страшные или дикие высказывания, О.М. часто говорил: «Мы погибли...» Впервые он это произнес, показывая мне отзыв Сталина на сказку Горького: «Эта штука сильнее “Фауста” Гёте. Любовь побеждает смерть...»⁵⁴⁵ Он сказал еще «мы погибли», увидав на обложке какого-то иллюстрированного журнала, как Сталин протягивает руку Ежову. «Где это выдано, — удивлялся О.М., — чтобы глава государства снимался с министром тайной полиции...» Но дело было не только в том, кто был снят, но в выражении лица Ежова: «Посмотри, он способен на все ради Сталина...»

Однажды за столом у Татьяны Васильевны О.М. прочел речь Сталина курсантам-выпускникам. Сталин пил за ту науку, которая нам нужна, а не за ту науку, которая нам не нужна...⁵⁴⁶ Слова эти звучали зловеще: раз есть наука, которая нам не нужна и чужда, мы ее уничтожим, вырвем с корнем... И О.М. сказал привычное: «Мы погибли...» Вот тут-то Татьяна Васильевна и ее муж разъярились: «Вам только бы гибнуть... еще накликаете... вы бы как жить подумали... вот учитесь, смотрите на нас — мы же живем... никуда не лезьте и живы будете...» «Первая обязанность человека — жить», — резюмировал О.М.

После ареста О.М. я приехала в пятистенный дом на окраине Калинина за оставленной там корзинкой с рукописями. Хозяева, узнав об аресте О.М., так расстроились, что я не выдержала и заплакала. Неулыбчивая Татьяна Васильевна обняла меня и сказала: «Не плачь — как святые будут»,

а хозяин добавил: «Твой муж никому зла сделать не мог — последнее дело, если таких берут...»

И оба они решили рассказать про это своим сыновьям, чтобы те знали, кому служат и чему поклоняются. «Только слушать они нас не станут», — вдруг вздохнул хозяин. Сыновья Татьяны Васильевны были «сталинскими соколами», добродетельными «Зотовыми», которых так точно описал Солженицын⁵⁴⁷. Им действительно ничего рассказывать не стоило — в них изживались идеи, которые правят миром. Сейчас, в середине шестидесятых годов, это те отцы, которые направо и налево жалуются на своих детей — внуков Татьяны Васильевны. Внуки смыкаются с дедами, отказываясь от отцов.

И я вспоминаю еще одну железнодорожную встречу с другим «обломком империи». Этот всецело стоял за Двадцатый съезд, потому что при Сталине испытал кое-какие неприятности: его не арестовывали, но арестом крепко запахло... Теперь он радуется жизни и живет на хорошей пенсии — как ответственный партийный работник... Сидеть сложа руки ему, партийцу, не хочется, и он взялся за воспитание молодежи: стал агитатором в каком-то техникуме в Ленинграде.

Вот он и поведал мне как педагогу свои трудности. Пришел поторопить своих подопечных в день выборов — никто идти не хочет. Он говорит: «Вам надо с нас пример брать — мы революцию делали» — и сообщает, что сам с раннего утра уже отголосовал... А ему отвечают: «А кто вас просил революцию делать? Раньше лучше жилось...» Вся его революционная фразеология повисла в воздухе: «Подумайте, какая молодежь пошла! А как вы с ними справляетесь?» Я искренне ответила, что никак... Это внуки Татьяны Васильевны, но есть ли у них за душой что-нибудь, кроме отрицательных реакций?

К Татьяне Васильевне приходили с ордером на мой арест, но меня уже там не было. Перерыли весь дом — включая чердак, сарай и погреб, но вещей не нашли, потому что я успела их увезти⁵⁴⁸. Принесли женскую фотографию и внимательно вглядывались в обеих женщин — хозяйку и жиличку...

Я узнала об этом через год на вокзале, когда ехала в Калинин устраиваться и жить. Эту весть о том, что за мной приходили, сообщили из Ленинграда, куда ее привез бывший секретарь Щеголева. Пожалуй, знай я об этом заранее, я бы

в Калинин не поехала, но вещи мои уже лежали в вагоне, и я махнула рукой: «Будь, что будет...» Да и страх уже поослабел: Ежов пал и массовые аресты прекратились.

В Калинин я прожила до самой эвакуации, почти два года, и никто меня не тронул, хотя в моем деле лежал неиспользованный ордер на мой арест. Случай как будто легендарный, но таких было немало: изменились контрольные цифры на уничтожение людей, и тот, кого не успели взять, уцелел... Террор тоже проводился как плановое хозяйство, регулирующее жизнь и смерть.

Обыск произвел на Татьяну Васильевну огромное впечатление: три толстомордых парня перевернули у нее весь дом. Татьяна Васильевна поносила толстомордых и меня за то, что я скрываю, что сидела в тюрьме, а может, она даже заподозрила меня в чем-то другом: «Почему тебя выпустили — теперь никого не выпускают!»... В ее голове не могло уложиться, что «они» хотели кого-то взять и не взяли, потому что не нашли... А в чьей голове это уложится?

Но под конец она смягчилась и спросила, есть ли у меня где жить. «Если негде, живи, Бог с тобой, — сказала она, — береженого, говорят, Бог бережет, да теперь все равно не убережешься...» В сущности, этим она изменила своему принципу невмешательства в беспокойную жизнь нашей страны, но я у нее не осталась, потому что мысль о толстомордых мешала бы мне спать в ее доме еще больше, чем в других.

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

В своих странствиях я сталкивалась с разным народом, и всюду мне было легче, чем среди тех, кто считался цветом советской интеллигенции. Впрочем, они тоже не жаждали моего общества...

После ареста О.М. я поселилась в Струнине, текстильном поселке за Загорском⁵⁴⁹. Об этом поселке я узнала случайно, возвращаясь из Ростова Великого, где хотела сначала устроиться.

В первый же день я встретила там Эфроса. Он побледнел, узнав про арест О.М., — ему только что пришлось отсидеть

много месяцев во внутренней тюрьме. Он был едва ли не единственным человеком, который отделался при Ежове простой высылкой. О.М., услышав за несколько недель до своего ареста, что Эфрос вышел и поселился в Ростове, ахнул и сказал: «Это Эфрос великий, а не Ростов...» И я поверила мудрости великого Эфроса, когда он посоветовал мне не селиться в Ростове: «Уезжайте, нас здесь слишком много...»

В поезде, на обратном пути, я разговорилась с пожилой женщиной: ищу, мол, комнату, в Ростове не нашла... Она посоветовала выйти в Струнине и дала адрес хороших людей: сам не пьет и матом не ругается... И тут же прибавила: «А у нее мать сидела — она тебя пожалеет...» Поезда были добрее людей Москвы, и в них всегда догадывались, что я за птица, хотя была весна и кожух я успела продать.

Струнино находилось на Ярославской дороге, по которой шли этапы. У меня была безумная мысль, что я когда-нибудь увижу в окне — то есть в щели — теплушечного поезда лицо О.М., и я сошла в Струнине и отправилась к хорошим людям. С ними у меня быстро наладились дружеские отношения, и я рассказала им, почему мне понадобилась «дача» в стоверстной зоне. Впрочем, это они и так поняли. А снимала я у них крылечко, через которое никто не ходил. Когда начались холода, они силком перетащили меня в свою комнату, загородив мне угол шкафами и простынями: «Чтобы вроде своей комнатки было, а то в общей ты не привыкла...»

Насчет юдофобства я могу по своему опыту сказать, что в народе его нет. Оно всегда идет сверху. Я никогда не скрывала, что я еврейка, а во всех этих семьях — рабочих, колхозников, мельчайших служащих — ко мне относились как к родной, и я не слышала ничего, похожего на то, чем запахло в высших учебных заведениях в послевоенный период и, кстати, пахнет и сейчас. Самое страшное — это полуобразование, и в полуобразованной среде всегда найдется почва для фашизации, для низших форм национализма и вообще для ненависти ко всякой интеллигенции.

Антиинтеллигентские настроения страшнее и шире, чем примитивное юдофобство, и они все время дают себя знать во всех переполненных людьми учреждениях, где люди так яростно отстаивают свое право на невежество. Мы давали им

сталинское образование, и они получили сталинские дипломы. Естественно, что они держатся за те привилегии, которые дает диплом. Иначе им будет некуда деться.

Из Струнина я ездила делать передачи в Москву, и скудное добро мое — я продавала книги О.М. — быстро иссякло. Хозяева заметили, что мне нечего есть, и делились со мной своей тюрей и мурцовкой. Редьку там называли «сталинским салом». Хозяйка наливала мне парного молока и говорила: «Ешь, не то совсем ослабеешь». Большую часть удоя им приходилось продавать на сено, и сами они не очень-то баловались молоком. А я носила им из лесу малину и другие ягоды. В лесу я проводила почти весь день, а возвращаясь домой, замедляла шаги: мне все казалось, что сейчас мне навстречу выйдет выпущенный из тюрьмы Мандельштам. Можно ли поверить, что человека забирают из дома и просто уничтожают... Этому поверить нельзя, хотя это можно знать умом. Мы это знали, но поверить в это не могли.

Осенью ресурсы мои исчерпались, и пришлось думать о работе. Хозяин мой был текстильщиком, хозяйка — дочь ткачихи и красильщика тканей. Они очень огорчались, что я тоже впрягусь в эту лямку, но выхода не было, и когда на воротах появилось объявление о наборе, я нанялась в прядильное отделение. Работала я на банкобросальных машинах, которые выделывают «ленту» из «сукна».

По ночам я, бессонная, бегала по огромному цеху и, заправляя машины, бормотала стихи. Мне нужно было помнить все наизусть — ведь бумаги могли отобрать, а мои хранители в минуту страха возьмут да бросят все в печку — такое у меня случалось с самыми хорошими и литературными людьми... Память была добавочным способом хранения и, надо сказать, очень мне пригодилась в моем трудном деле. Восемь ночных часов отдавались не только ленте и сукну, но и стихам.

Чтобы отдохнуть, бабы убегали от машин в уборную. Там собирался настоящий клуб. Они умолкали и рассеивались, когда туда деловой походкой врвалась какая-нибудь делающая карьеру комсомолка. «Этой берегись», — предупреждали меня работницы. А в тихие минуты, когда были только свои, они довольно энергично вправляли мне мозги, объясняя, как

им живется, что они потеряли и что выиграли: «Раньше день был долгий, но прядильщица чаек попивала — на скольких машинах она работала, знаешь?» Здесь я убедилась, как громадна популярность Есенина, потому что при мне постоянно поминали его имя. У этого поэта была настоящая народная легенда, они считали его своим парнем и любили...

По утрам, выйдя из ворот, они сразу становились в очередь к магазину за мануфактурой или за хлебом. До войны ситец был совершенно дефицитным товаром, хлеба не хватало, и жизнь они вели нищенскую. Об этом сейчас совершенно забыли, и мои псковские сталинисты упорно твердили, что до войны нужды не знали — только сейчас, мол, с ней познакомились... У людей поразительно короткая память, когда им этого хочется.

Именно здесь, в Струнине, я узнала слово «стопятница» — все они так меня называли. Относились ко мне хорошо, особенно пожилые мужчины. Иногда кто-нибудь заходил ко мне в цех и протягивал яблоко или кусок пирога: «Ешь, жена вчера спекла». В столовой во время перерыва они придерживали для меня место и учили: «Бери хлёбово. Без хлёбово не наешься». На каждом шагу я замечала дружеское участие — не ко мне, а к «стопятнице», и здесь антиинтеллигентскими настроениями не пахло.

Однажды ночью в мой цех вошли двое чистеньких молодых людей и, выключив машины, приказали мне следовать за ними в отдел кадров. Путь к выходу — отдел кадров помещался во дворе, в отдельном здании — лежал через несколько цехов. По мере того, как меня вели по цехам, рабочие выключали машины и шли следом. Спускаясь по лестнице, я боялась обернуться, потому что чувствовала, что мне устроили проводы: рабочие знали, что из отдела кадров нередко увозят прямо в ГПУ.

В отделе кадров произошел идиотский разговор. У меня спросили, почему я работаю не по специальности. Я ответила, что у меня никакой специальности нет. Почему я поселилась в Струнине? Потому что мне негде жить... «Образованная, а пошла к станкам...» У меня тогда не было никакого образования, кроме гимназии, и образованной я оказалась не по диплому, а по принадлежности к интеллигенции, и это они чуяли

носом. «Почему в школу не пошли работать?» — «Не возьмут без диплома...» — «Что-то тут не то — говорите прямо...» Чего от меня хотели, я так и не поняла, но в ту ночь меня отпустили, быть может, потому, что во дворе толпились рабочие. Отпуская, меня спросили, работаю ли я завтра в ночную смену, и приказали явиться до начала работы в отдел кадров. Я даже подписала такую бумажку...

К станкам в ту ночь я не вернулась, а пошла прямо домой. Хозяева не спали — к ним прибежал кто-то с фабрики рассказать, что меня потащили «в кадры». Хозяин вынул четвертинку и налил три стакана: «Выпьем, а потом рассудим, что делать».

Когда кончилась ночная смена, один за другим к нашему окну стали приходиться рабочие. Они говорили: «Уезжай» и клали на подоконник деньги. Хозяйка уложила мои вещи, а хозяин с двумя соседями погрузили меня на один из первых поездов. Так я ускользнула от катастрофы благодаря людям, которые еще не научились быть равнодушными. Если отдел кадров первоначально не собирался меня арестовывать, то после «проводов», которые мне устроили, мне, конечно бы, не уцелеть...

Струнино было чувствительно к нашим бедам и стопятничкой жизни. Поезда с арестованными проходили чаще всего по ночам, а утром рабочие с текстильной фабрики, переходя железнодорожные пути, внимательно смотрели под ноги — они искали записки. Иногда арестованным удавалось выбросить в окно записку. Нашедший клал ее в конверт, переписывал адрес и отсылал. Тогда родные получали весточку от своего каторжника. А если поезд останавливался днем, то каждый старался бросить что-нибудь из еды или курева в вагон, за спиной у расхаживающих часовых. Так моя хозяйка кинула детскую шоколадку...

В Струнине и своих тоже много забирали, и народ жил мрачный и насупленный. Здесь я впервые услышала, что Сталина в народе называют «рябым». Если спросить почему, отвечали: «А ты разве не знаешь, что у него оспа была... У них на Кавказе на этот счет беда...» Пожалуй, за кавказскую оспу им бы тоже не поздоровилось, но такие слова произносились только со «своими», а стукачей они знали наперечет. В этом

преимущество маленького поселка. Мы своих стукачей знали далеко не всегда.

В Савелове тоже жили законопослушники, но природная доброта мешала им покоряться безмолвно. «Русская революция не жестокая, — сказал мне раз Якулов. — Вся жестокость отсосало государство — она ушла в ЧК».

В России, видно, все всегда происходит наверху. Народ безмолвствует, покорно сопротивляясь или строптиво покоряясь. Он осуждает жестокость, но уж во всяком случае никогда не одобрит никакой активности. Как эти свойства сочетаются с грозными бунтами и революциями, я не знаю. Разве это можно понять?

ШКЛОВСКИЕ

В Москве был только один дом, открытый для отверженных. Когда мы не заставали Виктора и Василису, к нам выбегали дети: маленькая Варя, девочка с шоколадкой в руке, долговязая Вася, дочь сестры Василисы Тали, и Никита, мальчик с размашистыми движениями, птицелов и правдолюбец. Им никто ничего не объяснял, но они сами знали, что надо делать: дети всегда отражают нравственный облик дома. Нас вели на кухню — там у Шкловских была столовая, — кормили, поили, утешали ребячьими разговорами.

Вася — альтистка — любила поговорить про очередной концерт — в те дни шумела симфония Шостаковича⁵⁵⁰, и Шкловский выслушивал все рассказы подряд, а потом радостно заявил: «Шостакович всех переплюнул...» Эпоха жаждала точного распределения мест: кому первое, кому последнее — кто кого переплюнет... Государство использовало старинную систему местничества и само стало назначать на первые места. Вот тогда-то Лебедев-Кумач, человек, говорят, скромнейший, был назначен первым поэтом. Шкловский же занимался тем же, но жаждал «гамбургского счета»⁵⁵¹. Вася тоже отдавала пальму первенства Шостаковичу. И О.М. рвался послушать симфонию, но не знал, как поспеть на последний поезд.

С Варей шел другой разговор. Она показывала учебник, где один за другим толстой бумажкой заклеивались по приказу

учительницы портреты вождей. Ей очень хотелось заклеить Семашку: «Все равно ведь заклеим — лучше бы сразу...» Редакция энциклопедии присылала списки статей, которые полагалось заклеить или вырезать. Этим занимался Виктор. При каждом очередном аресте везде пересматривались книги и в печку летели опусы опальных вождей. А в новых домах не было ни печек, ни плит, ни даже отдушин, и запретные книги, писательские дневники, письма и прочая крамольная литература резалась ножницами и спускалась в уборные. Люди были при деле...

Никита, самый молчаливый из детей, иногда умел огоршить взрослых. Виктор однажды рассказал, как он с Паустовским ходил к знаменитому птичнику, дрессировавшему канареек. По его знаку канарейка вылетала из ящика, садилась на жердочку и давала концерт. Хозяин снова делал знак, и певунья покорно убиралась в свой ящик. «Как член Союза писателей», — прокомментировал Никита и вышел из комнаты. Огорошив, он всегда исчезал к себе. В его комнате жили приманенные им птицы, но он дружил с ними и дрессировкой не увлекался. Мы знали уже, что птицы учатся петь у мастеров своей породы. В Курске выловили знаменитых соловьев, и молодняку не у кого учиться. Так пала курская школа соловьиных певцов из-за прихоти людей, посадивших лучших мастеров в клетки.

Приходила Василиса, улыбалась светло-голубыми глазами и начинала действовать. Она зажигала ванну и вынимала для нас белье. Мне она давала свое, а О.М. — рубашки Виктора. Затем нас укладывали отдыхать. Виктор ломал голову, что бы ему сделать для О.М., шумел, рассказывал новости... Поздней осенью он раздобыл для О.М. шубу. У него был старый меховой — из собачки — полушубок, который в прошлую зиму таскал по нищете Андроников, человек-оркестр. Но он успел выйти в люди и обзавестись писательским пальто, и Виктор вызвал его к себе вместе с полушубком. Обряжали О.М. торжественно, под Бетховена, которого высвистывал Андроников. Шкловский даже произнес речь: «Пусть все видят, что вы приехали на поезде, а не под буферами...» До этого О.М. ходил в желтом кожаном пальто, тоже с чужого плеча. В этом желтом он попал в лагерь⁵⁵².

Когда раздавался звонок, то прежде, чем открыть дверь, нас прятали на кухню или в детскую. Если приходили свои, нас немедленно с радостными криками освобождали из плена, а если Павленко или соседка-стукачка, Леля Поволоцкая — та самая, которую потом от реабилитации хватил паралич, — мы отсиживались в тайнике. Они ни разу не застали нас врасплох, и мы этим очень гордились.

Дом Шкловских был единственным местом, где мы чувствовали себя людьми. В этой семье знали, как обращаться с обреченными. На кухне устраивались дискуссии, где ночевать, как пойти на концерт, где достать денег и что вообще делать. У Шкловских мы ночевать избегали, потому что в доме были швейцарихи, лифтерши и дворничихи. Эти добродушные и убогие женщины спокон веку служили в охранке. Денег они за это не получали — это была их добавочная функция. Не помню уж, как мы устроились на ночь, но на концерт в конце концов пошли...

А швейцарихи, когда я появилась одна, без О.М., уже после его смерти, спросили меня, где он. Я сказала: умер. Они вздохнули: «А мы думали, что вы будете первая...» Я из этого сделала два вывода: обреченность была написана на наших лицах — это первый, а второй — нечего бояться этих несчастных баб, они ведь сердобольные. Тех, которые меня тогда пожалели, быстро свезли на кладбище: они мрут как мухи на своем голодном пайке, но я с тех пор всегда дружу с их преемницами, и они никогда не сообщали милиционерам, что я ночую без прописки в квартире Шкловских. Возвращаясь после двенадцати, когда им приходилось вставать, чтобы открыть мне парадное, я всегда совала им в руку двадцать-тридцать копеек, как полагалось.

Только после денежной реформы шестидесятых годов мы сообразили, что давали на чай не гривенники, а две-три копейки. Вот сила названия — ведь слово «рубль» все-таки сохранило какое-то обаяние, и мы с большим трудом тратили, скажем, пятерку, чем сейчас полтинник. Таксисту тоже не дашь на чай гривенник, а недавно рубль считался роскошной приплатой к счетчику... А в тридцать седьмом году чаевых мы не давали, от швейцарок шарахались, задержаться у Шкловских боялись, чтобы не подвести хозяев, падали с ног, задыхались и вечно куда-то спешили.

Иногда другого выхода не было и мы все же оставались на ночь у Шкловских. Нам клали в спальне на пол тюфяк и меховую шкуру-овчину. С седьмого этажа, разумеется, не слышно, как к дому подъезжают машины, но когда ночью поднимался лифт, мы — все четверо — выбегали в переднюю и прислушивались: «Слава Богу, этажом ниже», или «Слава Богу, мимо»... Это прислушивание к лифту происходило каждую ночь, вне зависимости от наших ночевок. К счастью, лифт поднимался редко: обитатели дома жили обычно в Переделкине и вели солидный образ жизни, а их дети еще не успели подрасти. В годы террора не было дома в стране, где бы люди не дрожали, прислушиваясь к шелесту проходящих машин и к гулу поднимающегося лифта. До сих пор, ночуя у Шкловских, я вздрагиваю, когда слышу ночной лифт. И эта картина — полуодетые люди замерли, нагнувшись, у входной двери, чтобы услышать, где остановился лифт, — незабываема.

Недавно мне приснился сон, потому что у дома оставилась машина: меня будит О.М.: «Одевайся... На этот раз за тобой...» Но я не поддаюсь и ответила: «Хватит. Не стану вставать им навстречу. Плевать...» И, повернувшись, я снова заснула без снов. Это был психологический бунт. Это ведь тоже какая-то форма сотрудничества: за тобой приходят, чтобы утащить тебя в тюрьму, а ты добровольно поднимаешься с кровати и дрожащими руками натягиваешь платье. Хватит. Надоело. Ни одного шага навстречу. Пусть тащат на носилках, пусть убивают тут же, дома... Не хочу!

Однажды среди зимы мы решили, что нельзя больше злоупотреблять добротой Шкловских. Боялись их подвести: вдруг кто донесет, а там и «загрохотать» недолго... Одна мысль, что мы можем загубить Шкловского, а с ним и всю семью, приводила нас в отчаяние. Мы торжественно сообщили о своем решении и, не слушая уговоров, несколько дней не приходили. Чувство неприютности и одиночества обострялось в геометрической прогрессии. Как-то, сидя у Бруни, О.М. не выдержал и позвонил Шкловским. «Приезжайте скорее, — сказал Виктор. — Василиса тоскует, места себе не находит...» Через четверть часа мы позвонили, и Василиса встретила нас с радостью и слезами. И тогда я поняла, что единственная реальность на свете — голубые глаза этой женщины. Так я думаю и сейчас.

Хочу оговориться: Анну Андреевну я никогда не отделила от себя, но в те дни она была далеко — Ленинград был недостижим.

МАРЬИНА РОЩА

Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня Бернштейн (Ивич) и позвал нас ночевать к себе. Там прыгала крошечная девочка-«заяц»⁵⁵³; уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хрупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он шел по улице, посвистывая, как ни в чем не бывало, и нес всякую чепуху о литературе, словно ничего не случилось и он не собирался спрятать у себя в квартире страшных государственных преступников — меня и О.М.

Так же спокойно он взял в 1948 году у Евгения Яковлевича рукописи О.М. и сохранил их⁵⁵⁴. А его брат, Сергей Игнатьевич Бернштейн, прятал в 37–38 году другого преступника — Виктора Владимировича Виноградова, которому была запрещена из-за судимости Москва. Когда у Виноградова все пришло в норму и ему, уже академику, поручили возглавлять сталинское языкознание, он почему-то забыл этот бедный дом и даже не пришел на похороны жены Сергея Игнатьевича⁵⁵⁵, гостеприимной хозяйки тридцать седьмого года.

А чаще всего мы уходили от Шкловских с сестрой Василисы, Натальей Георгиевной, или попросту Талей, которая все время читает и, между прочим, до сих пор помнит наизусть сотни стихотворений девятнадцатого века.

Тая получила комнату в старой квартире Шкловских в Марьиной Роще, где жила со своей дочерью Васей, маленькой альтисткой. В те дни, когда мы шли к Тале, Вася оставалась у Василисы, а мы спали в комнате с ее матерью. В той же квартире одну из комнат занимал Николай Иванович Харджиев, и мужчины по вечерам много разговаривали и сидели допоздна.

У Николая Ивановича я провела и первые дни после ареста О.М., а потом после известия о его смерти⁵⁵⁶. Я лежала пластом и не видела света Божьего, а Николай Иванович варил

сосиски и заставлял меня есть: «Ешьте, Надя, это горячее», или «Ешьте, Надя, это дорогое»... Нищий Николай Иванович пытался пробудить меня к жизни милыми шутками, горячими сосисками и дорогими леденцами. Он единственный оставался верен и мне, и Анне Андреевне в самые тяжелые периоды нашей жизни.

Однажды я у него увидела карандашный портрет Хлебникова, сделанный Татлиным. Татлин рисовал его через много лет после смерти Хлебникова⁵⁵⁷, а он был как живой, точно такой, каким я его запомнила, когда он приходил есть с нами гречневую кашу в Дом Герцена и молча сидел, непрерывно шевеля губами. Меня вдруг осенило, что и О.М. когда-нибудь воскреснет на чьем-нибудь рисунке, и мне стало легче⁵⁵⁸. Но мне не пришло в голову, что все художники, которые его знали, успеют умереть прежде, чем решатся написать его портрет. А бедный рисунок Милашевского в журнале «Москва» ни на одну сотую долю на Мандельштама не похож⁵⁵⁹. Как-то паразитично плохо он давался художникам, а вот на фотографиях выходил удивительно.

О.М. говорил, что у Николая Ивановича абсолютный слух на стихи, и поэтому я настояла, чтобы его назначили редактором книги, которая уж почти десять лет не может выйти в «Библиотеке поэта».

Полуразрушенный деревянный домишко в Марьиной Роще казался мне крепостью, но до этой крепости надо еще было добраться. Мы выходили от Шкловских вместе с Талей, но мимо швейцарих дефилировали поодиночке. Талья и дальше шла впереди, вскакивала на трамвай, ждала на остановках, пересаживалась. Мы шли поодаль, не выпуская из виду ее широкую спину. Ведь мы были конспираторами, и поэтому нам не полагалось идти рядом. В случае, если бы О.М. забрали на улице — а о таких арестах мы слышали, — Наталья Георгиевна, случайная прохожая, оказалась бы ни при чем. У нее даже не проверили бы документов. Она могла бы спокойно — спокойно ли? — продолжать свой путь, и мы бы не навели ищеек на дом Шкловских.

Наша конспирация смешна, но все это приходилось делать, потому что мы сообразовали родиться в двадцатом веке. И не рядом, а вслед за Талей мы шли, как будто за гипнотизированные ее качающейся походкой. Она всегда выглядела

невозмутимой, и, если мы не попадали в тот трамвай, куда она вскакивала первая, мы знали, что она дождетя нас на остановке, где мы делали пересадку, или на конечной. Увидев нас, она опять пускалась в путь, а мы вдвоем, падая от усталости, за ней... В ее захолустном доме мы никогда никого не встречали, хотя там были еще жильцы, но мы проскальзывали так, что они о нас не подозревали. Именно для этого Тале нужно было самой открыть дверь своим ключом и осмотреться прежде, чем впустить нас.

Но все же сосед, член Союза писателей, некий Вакс, не мог не знать, что у Тали ночуют посторонние. Видно, он был порядочным человеком, что не донес на нас. А утром Вакс говорил по телефону в коридоре — он требовал у Союза писателей материалов и средств, чтобы отремонтировать свою трущобу, которую мы считали крепостью или раем. О.М. сочинял по этому поводу шуточные стишки, где фигурировал «Вакс — ремонтнодышащий...»

Стихи оборвались — в такой жизни стихи не сочиняются, а вот шуточные иногда возникали. Их почему-то ненавидел Шкловский. Ему казалось, что шуточные стихи — признак, по крайней мере, расслабления мозгов. И не потому, что время было не подходящим для шуток, а вообще: рифмы не те, и вообще не то... Шуточные стихи — это петербургская традиция, Москва признавала только пародии, а Шкловский забыл про свою петербургскую юность.

По ночам я кричала. В ту зиму я начала кричать страшным нечеловеческим криком, словно животное или птица, которую душат. Шкловский дразнил меня, что все люди кричат во сне «мама!», а я кричу «Ося!». До сих пор я пугаю этим криком соседей, да еще цветом ладоней: с того же года они в минуты тревоги вдруг становятся ярко-красными. А О.М. упорно не терял присутствия духа и продолжал шутить.

Иногда нам приходилось сидеть лишние дни в Москве, потому что не удавалось достать денег. Круг дающих все время сужался. Мы дожидались очередной полочки Шкловского. Он приходил домой с деньгами, рассованными по всем карманам, и отделял нам кусок добычи. Тогда мы отправлялись проживать деньги к Татьяне Васильевне, на окраину чужого нам города Калинина.

СОПРИЧАСТНЫЙ

Осенью 37 года Катаев и Шкловский решили свести О.М. с Фадеевым, который у власти еще не был, но пользовался большим влиянием. Вернее, он был почти у власти. Встреча произошла, кажется, у Катаева. О.М. читал стихи⁵⁶⁰. Фадеева проняло — он отличался чувствительностью... С трезвыми как будто слезами он обнимал О.М. и говорил все, что полагается чувствительному человеку.

Меня при этой встрече не было — я отсиживалась несколькими этажами выше, у Шкловских. О.М. и Виктор пришли довольные. Они улизнули пораньше, чтобы дать возможность Катаеву с глазу на глаз обработать Фадеева. Фадеев не забыл стихов — вскоре ему пришлось ехать в Тифлис с Эренбургом — на юбилей Руставели, что ли? — и он уверял, будто попытается напечатать подборку стихов О.М. Этого не случилось⁵⁶¹. Быть может, ему «не посоветовали» — у нас была такая милая формула: лицо, у которого просят разрешения что-нибудь сделать, хмурится: «На ваше усмотрение, пожалуйста...» Нахмуренное лицо равносильно отказу, но «невинность соблюдена», роковое «нет» не сказано, и отказ от действия является «инициативой снизу», вполне демократическим...

Этих тончайших оттенков бюрократического управления не знала никакая власть, кроме нашей, потому что, ко всем своим достоинствам, она отличалась еще и неслыханным лицемерием. Итак, мы решили, что Фадееву «не посоветовали», но, скорее всего, он просто никого не спрашивал, чтобы «не ввязываться». Это более вероятно. Все же, в самом конце зимы 37–38 года, встретив О.М. в Союзе, он вдруг вызвался поговорить «наверху» и узнать, «что там думают». За ответом, или, вернее, информацией, мы должны были прийти в Союз через несколько дней.

К нашему удивлению, Фадеев не обманул и явился в назначенный день и час. Мы вышли из дому вместе и сели в его машину. Он предложил отвезти нас, куда нам надо, чтобы по дороге поговорить. Он сел рядом с шофером, а мы позади.

Повернувшись к нам, он рассказал, что разговаривал с Андреевым, но ничего у него не вышло: тот решительно заявил, что ни о какой работе для О.М. не может быть и речи.

«Наотрез», — сказал Фадеев. Он был смущен и огорчен. О.М. даже пробовал утешать его: «Ничего, как-нибудь образуется...» В кармане у нас уже лежали путевки в Саматиху — дом отдыха, куда нас вдвоем на два месяца посылал Литфонд, по распоряжению Ставского⁵⁶². Он вдруг принял О.М. и предложил поехать в «здравницу», чтобы мы там отсиделись, пока не решится вопрос с работой. Эта милость судьбы окрылила нас, и мы не очень огорчились неудаче Фадеева.

А он принял эту новость довольно раздраженно: «Путевки?.. Куда?.. Кто дал?.. Где это?.. Почему не в писательский дом?» О.М. объяснил: у Союза нет домов отдыха в разрешенной зоне, то есть за сто километров от режимных городов. «А Малеевка?» — спросил Фадеев. Мы понятия не имели ни о какой Малеевке, и Фадеев вдруг пошел на попятный: «Так домишко отдали Союзу... там, верно, ремонт...» О.М. выразил предположение, что сочли неудобным посылать в писательский дом до общего разрешения вопроса. Фадеев охотно это объяснение принял. Он был явно озабочен и огорчен. Сейчас, задним числом, я понимаю, что он думал: события, которых он ждал, приблизились, и он понял технику их осуществления. Самый закаленный человек не может глядеть этим вещам в глаза. А Фадеев был чувствителен.

Машина остановилась в районе Китай-города. Что нам там понадобилось? Уж не там ли было управление санаториями, куда мы должны были сообщить о дне выезда, чтобы за нами выслали лошадей на станцию Черусти Муромской железной дороги? Оттуда до Саматихи было еще верст двадцать пять.

Фадеев вышел из машины и на прощание расцеловал О.М. По возвращении О.М. обещал обязательно разыскать Фадеева. «Да, да, обязательно», — сказал Фадеев, и мы расстались. Нас смутил торжественный обряд прощания и таинственная мрачность и многозначительность Фадеева. Что с ним? Мало ли что могло быть с человеком в те годы: на каждого хватало бед...

Ослепленные первой удачей за всю московскую жизнь — путевкой: Союз начал о нас заботиться! — мы даже не подумали, что мрачность Фадеева как-то связана с судьбой О.М. и с ответом Андреева, означавшим страшный приговор. Фадеев, человек тертый, отлично разбиравшийся в партийных делах, не мог этого не понимать. Почему, кстати, он не побоялся

разговаривать при шофере? Этого не делал никто. При нашей системе слежки все шоферы видных лиц, несомненно, докладывали куда следует о каждом их движении и слове. Случайно мне довелось узнать, как Сурков, придя к власти в писательском департаменте⁵⁶³, уже после смерти Сталина, получил машину, которая была в распоряжении Фадеева, и его шофера. Первое, что он сделал, — это под каким-то дурацким предлогом отказался от машины — стара, плохой марки — и выгнал шофера. Видно, в новые времена ему захотелось избежать постоянного подслушивания...

Неужели Фадеев обладал такой демонической верой в свою неприкосновенность, что не считался с «ушами государевыми» в своей машине? Или он уже успел солидаризироваться с тем, что судьба заготовила Мандельштаму, и поэтому мог ясными глазами смотреть на своего шофера, разговаривая с неприкасаемым человеком?

Мне говорила Люба, что Фадеев был холодным и жестоким человеком, что вполне совместимо с чувствительностью и умением вовремя пустить слезу. Это, по ее словам, стало совершенно ясно в период расправы с еврейскими писателями. Там тоже были поцелуи, прощания со слезой и апробирование их арестов и уничтожения. При этом Мандельштам был чужим для Фадеева человеком, а те — друзьями...

Но мы, чуждые чиновному миру нашей иррациональной страны, вообще не понимали двуликости — какого чорта она нужна писателю, даже если он занимает какой-то пост в писательских организациях... Всей глубины перерождения мы еще не осознали. И мы не подозревали, что в процесс уничтожения людей втянуты как сообщники главы всех учреждений и что им надлежало ставить свою подпись под списками арестованных. Впрочем, в 38 году эта функция принадлежала как будто не Фадееву, а Ставскому. Так, во всяком случае, говорят. Наверняка мы ничего не знаем. Прошлое по-прежнему остается таинственным, и мы до сих пор не знаем, что с нами делали.

Не прошло и года, как Фадеев, празднуя в Лаврушинском переулке по поводу первых писательских орденов, узнал о смерти Мандельштама и выпил за его упокой: «Загубили большого поэта». В переводе на советский язык это значит: «Лес рубят — щепки летят».

История наших отношений с Фадеевым этим не кончается. Незадолго до окончания войны я поднималась к Шкловским в лифте и случайно очутилась в нем вместе с Фадеевым. Он вошел вторым, когда я уже собиралась закрыть дверь и нажать кнопку, швейцариха крикнула мне, чтобы я подождала — кто-то идет... Войдя, Фадеев не поздоровался. К этому я привыкла и просто отвернулась, чтобы не смущать человека, который не хочет меня узнавать. Но едва лифт начал подниматься, как Фадеев нагнулся ко мне и шепнул, что приговор Мандельштаму подписал Андреев. Вернее, я так его поняла. Сказанная им фраза прозвучала приблизительно так: «Это поручили Андрееву — с Осипом Эмильевичем». Лифт остановился, и Фадеев вышел... Я не знала тогда состава тройки и думала, что приговоры выносятся только органами, и поэтому растерялась — при чем тут Андреев⁵⁶⁴. Кроме того, я заметила, что Фадеев был пьяноват.

Зачем он со мной заговорил и правда ли то, что он мне шепнул? Возможно, что в его пьяном мозгу возникла случайная ассоциация — ему вспомнился разговор в машине, и мысль о Мандельштаме связалась с Андреевым. Но не исключена возможность, что он сказал правду.

Об Андрееве я знаю еще из письма ташкентского самоубийцы, что он был одним из прямых проводников сталинской террористической политики и приезжал в Ташкент инструктировать работников органов, «как действовать на новом этапе», то есть что означает приказ об «упрощенных методах допроса»⁵⁶⁵.

А не все ли равно, кто подписал приговор? В те годы каждый готов был поставить свою подпись под чем угодно, и не только потому, что отказавшегося бы немедленно отправили на тот свет. Такова была сила нашей организованности, что такие же люди, как мы, «с глазами, вдолбленными в череп», ругали, вытаптывали следы, убивали, уничтожали себе подобных, оправдывая все свои поступки «исторической необходимостью». Варфоломеевская ночь длилась ровно одну ночь, и, хотя молодчики, пролившие тогда человеческую кровь, может, до конца жизни хвастались своим геройством, все же она навсегда осталась в памяти человечества.

Гуманистические принципы девятнадцатого столетия — несущественно, что они были плохо обоснованы и поэтому

ввели людей в соблазн, — все же растворились в нашем сознании. Наемные убийцы всегда найдутся, но старые подпольщики — несомненные человеколюбы, воспитанные на гуманизме девятнадцатого века, ради блага людей отдавшие свою юность, — что чувствовали они, участвуя в этой «исторической необходимости»? И неужели люди не научатся на нашем примере, что нельзя преступать «закона человеческого»?

Я ни в чем не уверена и ничего не знаю, но все же мне кажется, что тогда, в машине, Фадеев уже знал, какая участь заготовлена его собеседнику. Мало того, он сразу понял, что его неспроста отправляют не в писательский дом отдыха.

МАМОЧКА ПОСЛАЛА БАРЫШНЮ ОТДЫХАТЬ В САМАТИХУ

Все шло как по маслу. Мы вышли на станции Черусти, и нас уже ждали розвальни с овчинами, чтобы не замерзнуть. Отсутствие неувязок — такая редкость в нашей жизни, что мы очень удивились: видно, здорово строго приказали, чтобы все было в порядке, раз не забыли выслать вовремя сани. Мы решили, что нас принимают как почетных гостей...

Март стоял холодный, и мы слышали, как в лесу трещат сосны. Лежал глубокий снег, и первое время мы ходили на лыжах. Как все тенишевцы, О.М. вполне ловко ходил и на лыжах, и на коньках, и здесь в Саматихе оказалось, что прогулка на лыжах, не очень дальняя, конечно, требует меньше усилий, чем пешком. Нам сразу дали отдельную комнату в общем доме, но там стоял вечный шум, и по первой же просьбе нас перевели в избушку на курьих ножках, служившую обычно читальней.

Главврач⁵⁶⁶ сказал, что его предупредили о приезде О.М. и предложили создать ему условия, и поэтому он решил временно закрыть для общего пользования читальню, чтобы дать нам пожить в тишине. А во время нашего пребывания в Саматихе врачу даже звонили несколько раз по телефону из Союза и спрашивали, как поживает О.М. Он докладывал нам об этих звонках с некоторым удивлением, считая, очевидно, что к нему попала важная птица. А мы решительно утверждались в своем впечатлении, что произошел какой-то сдвиг и о нас начали

заботиться. Разве не чудеса: звонят, предупреждают, справляются, приказывают «создать условия», как настоящим людям... Такого с нами еще не бывало...

Народ в санатории собрался спокойный — все больше рабочие разных заводов. Как всегда в домах отдыха, они были поглощены своими временными любовными историями и на нас не обращали ни малейшего внимания. Приставал только «затейник»: ему все хотелось устроить вечер стихов О.М., но и его удалось отвести, сказав, что стихи пока запрещены и для устройства вечера требуется санкция Союза. Это он сразу понял и отступился. Было, конечно, скучновато. О.М. привез с собой Данте, Хлебникова, однотомник Пушкина под редакцией Томашевского, да еще Шевченко, которого ему в последнюю минуту подарил Боря Лапин.

Несколько раз О.М. порывался съездить в город, но врач говорил, что ни на розвальнях, ни на грузовике нет места. Достать частных лошадей было невозможно — кругом почти не было деревень, да и в деревнях лошади остались только колхозные. «А мы часом не попались в ловушку?» — спросил как-то О.М. после одного из отказов врача довести нас до станции, но тотчас об этом забыл. Все-таки в Саматихе жилось хорошо и спокойно, и мы считали, что все худшее осталось позади: ведь сам Союз купил нам путевки — обоим! — и приказал «создать нам условия».

В начале апреля — мы еще жили в главном доме, то есть в самые первые дни — в Саматиху приехала вполне интеллигентная барышня. Она подошла к О.М. и заговорила с ним. Оказалось, что барышня знакома с Каверинным, с Тыняновым и еще с кем-то из вполне приличных людей. У барышни тоже была судимость, и поэтому родители вынуждены были купить ей путевку в такое демократическое место, как Саматиха: сто пятая верста, ничего не поделаешь... Мы посочувствовали и удивились: такая молоденькая, а уже успела отбыть пять лет. Впрочем, все случается на этой земле...

Барышня часто забегала к нам, особенно когда мы переселились в читальню — там было так уютно!.. Барышня все рассказывала про своих папочку и мамочку: как папочка, когда она заболела, сам внес ее на руках в палату — какого это папочку пускают в палату? — какие у них дома пушистые кошки,

которые всегда сидят у папочки на коленях, и как у них в доме все благородно и нежно, и какие у самой барышни породистые узкие ножки и ручки...

И вдруг среди всего этого вздора промелькнул рассказ о следователе: он требовал, чтобы барышня назвала автора стихов, но она наотрез отказалась и только упала в обморок. «Какие стихи? — спросил О.М. — При чем тут стихи?» На это наша знакомая пролепетала, что во время обыска у нее в ящике письменного стола нашли запрещенные стихи, но она не выдала их автора... В другой раз она пристала к О.М. с расспросами: кто же интересуется его поэзией? у кого лежат его стихи? кто их хранит?... «Алексей Толстой», — ответил, разозлившись, О.М., но поумнел он не сразу, а в первые дни даже прочел ей какой-то стишок, кажется «Разрывы круглых бухт», и барышня подняла вопль: «Как вы решились написать такое» и нельзя ли получить список...

Я даже упрекнула О.М. в том, что он от скуки распускается. «Глупости, — ответил он. — Ведь она знакомая Каверина...» От санаторского благополучия и скуки он готов был даже слушать про папочку. А я потом наслушалась рассказов про папочку и мамочку и прочие семейные идилии от Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, и от своих учениц такого же происхождения, и мне подумалось, что в их среде это считается интеллигентным разговором.

Барышня уехала за два-три дня до первого мая. Собиралась она жить в Саматихе месяца два, но неожиданно папочка позвонил ей по телефону из Москвы и разрешил вернуться. Разрешил или предложил — этого мы не разобрали. На станцию ее отправили на грузовике, а с ней затейник и один из отдыхающих, которому поручили сделать к празднику покупки. Мы тоже заказали ему папирос, потому что в местном ларьке продавалась одна дрянь.

О.М. очень хотелось сбежать на праздничные дни в Москву — мы предчувствовали пьянство и неисчислимое количество развлечений и хорового пения, но доктор воспротивился: обратно грузовик пойдет загруженным и мест не будет... Человек, которому мы поручили купить папиросы, задержался в Черусти и кое-как приехал обратно с попутными телегами. Барышня, оказывается, закутила в Черусти с шофером

и затейником. Они напились пьяные и такое вытворяли, что рабочий, бывший нечаянным свидетелем их попойки, не знал, как удрать. Его удивило, что начальник станции не разгневался на дебош, но предоставил им для ночлега детскую комнату по первой просьбе барышни... Наутро кутеж продолжался, а наш знакомый решил не ждать шофера и пустился в путь на свой риск.

После рассказов об интеллигентных и благородных папочке и мамочке выбор собутыльников показался нам довольно странным. «А что, если она шпичка?» — сказала я О.М. «Не все ли равно, — ответил О.М. — Ведь я им теперь не нужен. Это уже все прошлое...» Ничто не могло выбить у нас из головы, что наши беды кончились. Сейчас я не сомневаюсь, что барышня находилась в служебной командировке, а врачу велели не отпускать О.М. из Саматихи.

Тем временем в Москве решалась его судьба.

ПЕРВОЕ МАЯ

Приближалось Первое мая, и весь санаторий чистился, мылся, готовился к празднику. Люди гадали, что будет на праздничный обед. Ходили слухи, что заказано мороженое. О.М. рвался удрать, а я его успокаивала, не идти же пешком на станцию. Потерпишь — каких-нибудь два дня, и все уляжется...

В один из последних дней апреля мы шли с О.М. в столовую, помещавшуюся в отдельном бараке, недалеко от главной усадьбы. Возле домика главврача стояли две машины, а легковые машины всегда вызывали у нас дрожь. Почти у самой столовой мы встретили врача с какими-то приезжими. Видом своим они резко отличались от отдыхающих — крупные, холеные, сытые... Один был в военном, другие в штатском. Явно — начальство, но неужели районное? На районных секретарей, которых нам приходилось встречать, они нисколько не походили.

«Комиссия», — подумала я. «А вдруг они проверяют, здесь ли я, — вдруг сказал О.М. — Ты видела, как он на меня посмотрел?» Действительно, один из приезжих, одетый в штатское, оглянулся и внимательно на нас посмотрел, а потом что-то сказал врачу. Но мы тут же об этом позабыли. Гораздо

естественнее было предположить, что это районная комиссия проверяет, как санаторий готовится к международному празднику Первого мая. В такой жизни, как наша, приходилось все время бороться с припадками страха, когда невольно у каждого накапливаются приметы приближающейся катастрофы, иногда реальные, иногда впустую, но самые поиски этих примет приводят человека на грань психического заболевания. Мы старались не поддаваться, но тщетно. И припадки холодного ужаса перемежались у нас с легкомыслием, и с собственными шпиками мы разговаривали как со знакомыми.

Весь день Первого мая шла гульба. Мы сидели у себя и выходили только в столовую, но к нам доносились крики, песни и отголоски драк. К нам спаслась одна отдыхающая, текстильщица с одной из подмосковных фабрик. Чего-то она болтала, а О.М. шутил с ней, а я дрожала, что он скажет что-нибудь лишнее, а она побежит и донесет.

Разговор зашел об арестах в их поселке. Она рассказала про одного арестованного, что он хороший человек и к рабочим был всегда внимателен. О.М. стал ее расспрашивать... Когда она ушла, я долго его упрекала: «Что за невоздержанность... ну кто тебя за язык тянет!» Он уверял меня, что больше не будет — обязательно исправится и ни с кем из посторонних слова не скажет... И я навсегда запомнила, как я сказала: «Жди, пока справишься — великий сибирский путь...»

В ту ночь мне приснились иконы. Сон не к добру. Я проснулась в слезах и разбудила О.М. «Чего теперь бояться, — сказал он. — Все плохое уже позади...» И мы снова заснули... А мне никогда ни раньше, ни потом иконы не снились — они не входили в наш быт, а старинные, которые мы любили, были для нас живописью на загрунтованных досках.

Нас разбудили под утро — кто-то скромно постучал в дверь. О.М. вышел отворить. В комнату вошли трое — двое военных и главврач. О.М. одевался, я накинула халат и сидела на кровати. «Ты знаешь, когда подписан ордер?» — сказал О.М. Оказалось, что около недели назад⁵⁶⁷. «Ничего не поделаешь, — объяснил военный. — Перегрузка...» Он пожаловался, что люди в праздник гуляют, а им приходится работать, и грузовик они в Черусти еле раздобыли — никого не найдешь... Очнувшись, я начала собирать вещи и услышала обычное:

«Что даете так много вещей — думаете, он долго у нас пробудет? Спросят и выпустят...»

Никакого обыска не было: просто вывернули чемодан в заранее заготовленный мешок. Больше ничего... Я вдруг сказала: «Мой адрес: Москва, Нащокинский. Наши бумаги там». На Нащокинском уже ничего не было, и мне хотелось отвести их от комнаты в Калинин, где действительно находилась корзина с бумагами. «На что нам ваши бумаги?» — миролюбиво ответил военный и предложил О.М. идти. «Проводи меня на грузовике до Черусти», — попросил О.М. «Нельзя», — сказал военный, и они ушли. Все это продолжалось минут двадцать, а то и меньше.

Главврач ушел с ними. Во дворе затарахтел грузовик. Я сидела на кровати не шевелясь. Даже дверь за ними не закрыла. Они уехали, и тут вернулся врач. «Время такое, — сказал он, — не отчаивайтесь, может, обойдется...» И он прибавил обычную фразу о том, что надо беречь силы: они пригодятся...

Я спросила, что это за комиссия у него была. Оказалось, работники районного центра. Они затребовали, между прочим, списки отдыхающих. «Но я про вас даже не подумал», — сказал врач. У него уже арестовывали отдыхающих. Один раз тоже приезжали накануне, чтобы проверить списки отдыхающих, а в другой — просто запросили по телефону, кто из отдыхающих не находится на месте... Великое уничтожение людей тоже имеет свою технику: чтобы арестовать человека, надо застать его на месте. Главврач был старым коммунистом и славным человеком. Он спрятался подальше от шумной жизни в скромный рабочий дом отдыха и там один вел все хозяйство и лечил людей. А жизнь все же врвалась к нему в его обитель, и никуда от нее уйти он не мог...

Утром прибежала текстильщица, та самая, которой я накануне вечером так испугалась. Она заплакала и последними словами крыла сукиных детей. Чтобы добраться до Москвы, мне пришлось распродать вещи. Те гроши, что у нас были, я отдала О.М. Текстильщица помогла мне распродаться и сложить чемодан. Пришлось мучительно долго ждать таратайку. Меня отправляли вместе с инженером, приехавшим на праздник в санаторий навестить отдыхавшего там отца. Врач простился со мной в комнате, а к таратайке вышла только

текстильщица. Инженер рассказывал, когда мы тряслись в таратайке, что у него два брата и все трое работают в автомобильной промышленности, так что если рухнет один, загремят и оба другие: молодые были, не думали, что следует поосторожнее и подальше друг от друга... Вот будет горе отцу... А мне казалось, что он просто чекист и везет меня прямо на Лубянку. Но мне было все равно.

Мы сошлись с О.М. первого мая 19 года, и он рассказал мне, что на убийство Урицкого большевики ответили «гекатомбой трупов»...⁵⁶⁸ Мы расстались первого мая 38 года, когда его увели, подталкивая в спину, два солдата. Мы не успели ничего сказать друг другу — нас оборвали на полуслове и нам не дали проститься.

В Москве я вошла к брату и сказала: «Осю забрали». Он побежал к Шкловским, а я отправилась в Калинин, чтобы вывезти оттуда оставленную у Татьяны Васильевны корзинку с рукописями. Задержись я хоть на несколько дней, содержимое корзинки попало бы в мешок, а меня бы увезли в «черном вороне». В те дни я предпочла бы «черного ворона» своей так называемой свободной жизни. А что бы случилось со стихами?

Когда я вижу книги разных арагонов, которые хотят помочь своей стране и научить их жить, как мы, я думаю, что мне следует рассказать и о своем опыте. Ради какой идеи, собственно, нужно было посылать нескончаемые поезда с каторжниками на Дальний Восток и среди них человека, который был мне близок? О.М. всегда говорил, что у нас берут «безошибочно»: уничтожался не только человек, но и мысль.

ГУГОВНА

Мне попалась раз книжечка о вымерших птицах, и я вдруг поняла, что все мои друзья и знакомые не что иное, как вымирающие пернатые. Я показала О.М. парочку уже несуществующих попугаев, и он сразу догадался, что это мы с ним. Книжку эту, потаскав с собой, я потеряла, но эта аналогия успела открыть мне глаза на многое. Единственное, чего я тогда не знала, это то, что вымершие птицы необычайно живучи, а живое воронье ни на какую жизнь не способно.

Покойный Дмитрий Сергеевич Усов сказал мне, что считает породу О.М. не еврейской, а ассирийской. «Где? в чем?» — удивилась я. Усов показал ассирийский ракурс в строчках: «Солнц подсолнечника грозных Прямо в очи оборот». «Поэтому он так легко раскусил ассирийца», — прибавил Усов.

Бородатый, задыхающийся и одичавший, как О.М., тоже ничего не боящийся и всем напуганный, Усов умирал в ташкентской больнице и звал меня проститься, а я опоздала прийти. Пусть он простит мне этот грех за то, что я скрасила стихами Мандельштама, любимого им беспредельно, его последние дни. Когда Мишенька Зенкевич ездил по каналу, каторжник Усов уже зарабатывал там свою грудную жабу. Он принадлежал к «словарникам» — делу, по которому ждали много расстрелов, но чей приговор был смягчен по ходатайству Ромена Роллана⁵⁶⁹. Во время войны кое-кто из словарников вышел, отсидев пять лет в лагерях, и попал в Среднюю Азию, куда выслали их жен. Эти сорокапятилетние люди один за другим умирали от сердечных болезней, нажитых в лагерях. Среди них — мой приятель Усов. Каждое такое дело — эрмитажники, историки⁵⁷⁰, словарники — это крупица народного мозга, это мысль и это духовная сила, которую планомерно уничтожали.

Алиса Гувовна Усова похоронила своего великана на ташкентском кладбище, приготовила себе рядом могилку и осталась доживать свои дни в смертельно опасном для нее среднеазиатском климате. Она еще умудрилась вытащить из глухой казахстанской ссылки какого-то бывшего ответственного работника с большой семьей за то, что он помог ей коротать ссылочные годы, колоть дрова и таскать воду. Все это семейство она прописала в своей комнате в доме педагогического института. Это было сделано затем, чтобы добро, то есть комната, полученная профессором Усовым, зря не пропало после ее смерти. Тогда она решила, что совершила на земле все земное, и спокойно легла в могилу, заранее заплатив кладбищенским нищим, чтобы они над ней посадили такое же дерево, как над Дмитрием Сергеевичем, а также поливали, пока не забудут, цветы. На вселенных в ее комнату людей она не очень надеялась...

Постепенно сходя на нет, Алиса Гувовна продолжала живо реагировать на все причуды жизни и осыпала отборной

бранью чиновников, болванов и псевдоученых. В академической жизни она плавала как рыба и твердо определяла, кто достоин и кто не достоин ученого звания, кто стукач и с кем можно распить бутылочку кислого винца. Это она придумала тост, произносимый в тех случаях, когда на наших скромных пирах вдруг появлялся кто-нибудь из аспирантов, которым доверять, разумеется, не приходилось. А на что можно донести, если профессорско-преподавательский состав сам добровольно произносит первый тост за тех, кто дал нам такую счастливую жизнь! Стукачи и аспиранты оставались на бобах...

Хромая Гуговна бегала по комнате и разводила неслышанный уют из остатков щербатого фарфора, гарусных одеял, совершенно рваных, но помнивших крепостное право, и кучки усовских книг. Любимую кружку они вместе с Усовым прозвали «щеглом» и позволяли пить из нее только тем, кто знал наизусть мандельштамовские стихи. Тоненькими пальчиками Гуговна массировала лицо и говорила про Анну Андреевну: «Совершенно неухоженная женщина...» Она непрерывно заботилась о маникюре — а это особенно актуально, когда годами топишь времянку, скребешь кастрюли и полы, — и о своей длинной полусудой косе. Ее грызло тайное беспокойство, что, если она «не сохранит своего облика», Усов может не узнать ее на том свете. Точно так она беспокоилась о своем «облике» и в казахстанской ссылке, когда Усов отсиживал лагерный срок. Она тщательно готовилась встретить его такой же красоткой, как в ночь расставания. После смерти Усова она долго на него сердилась, что он так легкомысленно бросил ее одну, попросту дезертировал, и ей приходится самой разбираться во всех этих лексикологиях и стилистиках, чтобы заработать свой черствый вдовый кусок хлеба.

Она последняя владела прекрасной скрипучей музыкой московского барского говора, и Усов уверял, что ее при любых обстоятельствах назначат не простой, а почетной еврейкой. При этом учили бы ее московскую до-ссылную профессию: она служила консультантом Ленинской библиотеки и определяла, кто изображен на портретах восемнадцатого и начала девятнадцатого века. Ей были известны все сплетни про дам этого периода, и не существовало лучшего знатока генеалогии тех семейств, из которых вышли поэты.

Так кончали жизнь красотки моего поколения, вдовы страстотерпцев, утешавшихся в тюрьмах, лагерях и ссылках тайным запасом хранимых в памяти стихов. Читатель стихов — особая порода, тоже принадлежавшая в те дни к числу вымирающих птиц. Лучшие читатели были последними добряками, прямыми и смелыми людьми. Откуда бралась у них смелость или, вернее, стойкость? Будет ли новое поколение читателей, тех, что появились сейчас, в шестидесятые годы, похоже на своих предшественников? Сумеют ли они выдержать испытания, которые им готовит судьба, как их выдержала Гуговна, всегда твердившая, что она — избалованная женщина, каприза и злока... Судьба так баловала Гуговну, что она даже в ссылке сохранила длинную косу, отличную память на стихи и яростную нетерпимость ко всякому приспособленчеству и лжи.

Однажды Гуговну остановил в Сагу⁵⁷¹ один молодой ученый и долго расспрашивал ее обо мне и о том, храню ли я бумаги Мандельштама. Гуговна отвечала уклончиво и тотчас прибежала ко мне, чтобы передать совет молодого ученого: немедленно бросить все бумаги в печку. Он настойчиво просил это передать мне, ссылаясь на какой-то таинственный источник, который он не смел назвать.

«Ерунда, — сказала я, — и не подумаю. Если придут и заберут — это одно, но сама уничтожить ничего не буду...» «Правильно, — сказала Гуговна. — Но отдавать им тоже нельзя. Мы с вами приготовим для них копии, а подлинники спрячем». Мы просидели всю ночь и приготовили грудку копий, а подлинники Гуговна унесла с собой и куда-то пристроила; мы придерживались такого правила: на случай ареста я не должна была знать, у кого спрятаны бумаги. Это означало, что я ни при каких обстоятельствах не смогу назвать место, где они лежат... Мы всегда готовились к худшему и, может, поэтому уцелели.

Встречаясь со мной в Сагу, где мы обе служили, Гуговна оповещала меня о здоровье «щеглов» — все в порядке, поют — и даже успела прослыть любительницей птиц. Это произошло в тот период, когда ко мне ходила «частная ученица», про которую Лариса сообщила мне, что она «служит у папы». Похоже, что эта «ученица» работала не по приказу сверху, а по собственной инициативе, потому что отец Ларисы, когда она пришла к нему жаловаться, что Лариса ходит

ко мне и мешает ей «работать», велел оставить меня в покое. Он сказал, что О.М. не политический, а уголовный преступник: «Был пойман в Москве, наскандалил там, а не имел права там находиться...» И еще он сказал, что я «числюсь за Москвой».

Обо всем этом я узнала от Ларисы. Вероятно, так было сказано в моем досье, которое путешествовало за мной из города в город. Когда «ученица» исчезла, Усова принесла мне мои бумаги. Она не дожидая смерти Сталина, но, как и я, была неисправимой оптимисткой и не сомневалась, что он когда-нибудь умрет. Я не перестаю в это верить и сейчас.

ЗАПАДНЯ

Пока не пришло известие о смерти Мандельштама, я все видела один сон: я что-то покупаю на ужин, а он стоит сзади, мы сейчас пойдем домой... Когда я оборачиваюсь — его уже нет, он ушел и маячит где-то впереди... Я бегу, но не успеваю догнать его и спросить, что с ним «там» делают... Уже пошли слухи об истязаниях заключенных...

Днем меня мучило раскаяние: почему, увидев комиссию и почуяв недоброе, мы не поддались страху и не убежали пешком на станцию? Что за спартанство проклятое — не поддаваться панике! Выдержка еще нам нужна... Нам бы пришлось идти пешком — ведь лошадей нам не дали, мы бы бросили кучку барахла и, может, свалились в инфаркте на этом муромском двадцатипятиверстном тракте.

Зачем мы позволили заманить себя в ловушку ради того, чтобы несколько недель не думать о крове и хлебе, чтобы не надоедать знакомым и не просить у них милостыню? Что Ставский сознательно послал нас в западню, я не сомневаюсь. Где-то наверху, наверное, дожидались решения Сталина или кого-нибудь из его приближенных. Без санкции сверху Мандельштама нельзя было забрать, так как на деле 34 года стояла резолюция: «Изолировать, но сохранить».

Ставскому, очевидно, предложили дать нам временную оседлость, чтобы потом нас не разыскивать. Чтобы избавить органы от сыщицкой работы, Ставский любезно заманил нас в дом отдыха. Работники органов изнемогали от перегрузки —

такой сознательный коммунист, как Ставский, всегда готов был им помочь. И дом отдыха он выбрал внимательно: такой, из которого нельзя было, за здорово живешь, отлучиться — двадцать пять километров от станции сердечный больной не осилит.

Перед отправкой в Саматиху Ставский впервые принял О.М.⁵⁷² Мы тоже сочли это добрым знаком. На самом же деле ему, наверное, понадобился добавочный материал для «рецензии» на Мандельштама, то есть для характеристики, предваряющей его арест⁵⁷³. Иногда такие характеристики писались задним числом, когда человек уже находился в тюрьме, иногда перед арестом. Такова была одна из процедурных деталей уничтожения людей. В обычных случаях характеристики писались главой учреждения, но при аресте писателей часто требовались и дополнительные, для чего в органы могли вызвать любого члена Союза.

По этике шестидесятых годов мы различаем прямые доносы и «характеристики», написанные под нажимом. Кто из приглашенных в органы мог отказаться от дачи «характеристики» своему арестованному товарищу? Это означало бы немедленный арест, а что будет с детьми, с семьей? Люди, писавшие такие характеристики, оправдываются сейчас тем, что не сказали ничего такого, что бы не фигурировало уже в прессе.

Ставский, наверное, изучил прессу — ему подобрали все аккуратные секретарши — и прибавил несколько личных впечатлений — Мандельштам помог ему в этом, сообщил о своем отношении к расстрелам. Он заметил, что Ставский очень внимательно его слушал... Известно, что ничто так не объединяет правящие круги, как общее преступление, а этого у нас хватило на всех...

В 56 году, когда после двадцати лет я впервые зашла в Союз к Суркову, он встретил меня с бурной радостью — в те дни многим казалось, что пересмотр прошлого пойдет гораздо более круто, чем произошло на самом деле, оптимисты не учли отдачи пружины, заранее заготовленной сталинским режимом, то есть противодействия целых толп, замешанных в преступлениях прошлого режима. Как говорила ташкентская Лариса: «Нельзя было так резко менять — ведь это же травмирует старых работников...» Вероятно, именно на это она хотела жаловаться за границу...

С Сурковым речь сразу зашла о наследстве Мандельштама — где оно? И тут он долго и упорно повторял, что у него

тоже были стихи Мандельштама, записанные рукой О.М., но Ставский почему-то их отобрал... Зачем ему нужны были стихи, ведь он никогда стихов не читал?.. Чтобы прекратить этот бессмысленный разговор, я прервала Суркова и сказала, что думаю о роли Ставского. Сурков не возражал.

То же самое мне пришлось повторить Симонову, к которому я однажды зашла в отсутствие Суркова. Симонов, великий дипломат, посоветовал подать заявление о посмертном приеме в Союз Мандельштама, сославшись на то, что Ставский собирался оформить членство О.М. между первым и вторым арестом. Я отказалась от такой тактики и сообщила Симонову, что я думаю о роли Ставского. Он тоже ничего не возразил. Опытный человек, он знал, что делают начальники в роковые годы. И Суркову, и Симонову, кажется, повезло: в эти годы они в начальниках не состояли и поэтому списков арестованных не подписывали и «характеристик» на уничтожаемых с них не требовали. Дай-то им Бог, чтобы это было так...

А разве дело в фамилии начальника? Любой бы сделал это, иначе за ним бы ночью пришла машина... Все мы были овцами, которые дают себя резать, или почтительными помощниками палачей, потому что не хотели переходить в отряд овец. И те и другие проявляли чудеса покорности, убивая в себе все человеческие инстинкты. Почему мы, например, не выдавили стекла, не выпрыгнули в окно, не дали волю глупому страху, который погнал бы нас в лес, на окраину, под пули? Почему мы стояли смиренно и смотрели, как роются в наших вещах? Почему О.М. покорно пошел за солдатами, а я не бросилась на них, как зверь? Что нам было терять? Неужели мы боялись дополнительной статьи о сопротивлении при аресте? Ведь конец все равно один — чего уж там бояться?

Нет, это не страх. Это совсем другое чувство: сковывающее силы и волю сознание собственной беспомощности, которое овладело всеми без исключения — не только теми, кого убивали, но и убийцами. Раздавленные системой, в построении которой так или иначе участвовал каждый из нас, мы оказались негодными даже на пассивное сопротивление. Наша покорность разнуздывала тех, кто активно служил этой системе, и получился порочный круг. Как из него выйти?

ОКОШКО НА СОФИЙКЕ

Единственная связь с арестованными — передача. Раз в месяц, отстояв длинную очередь — аресты приуменьшались, и мне не приходилось стоять больше трех-четырех часов, — я подходила к окошку и называла фамилию. Человек в окошке перелистывал списки на букву «М» — я приходила в дни, когда он перелистывал эту букву. «Имя, отчество?» Я говорила, и из окошка высовывалась рука. Я вкладывала в нее свой паспорт и деньги, затем, получив обратно паспорт с вложенной в него распиской, уходила. Мне все завидовали, потому что я знала, где находится мой арестованный и что он еще жив.

Ведь то и дело из окошка раздавалось рывканье: «Нету... следующий...» Всякие расспросы были бесполезны. Вместо ответа человек в клетке захлопывал окошко, а к вопрошавшему приближался солдат из внешней охраны... Порядок мгновенно водворялся, и к окошку подходил следующий, чтобы назвать фамилию своего арестанта. Если бы кто-нибудь пожелал задержаться у окошка, очередь помогла бы солдату из внешней охраны выдворить его.

В очереди никаких разговоров обычно не происходило. Это была главная тюрьма в Советском Союзе, и публика здесь подбиралась отборная, дисциплинированная, солидная... Никаких недоразумений не случалось, разве что кто-нибудь задаст лишний вопрос, но тут же, смутившись, ретируется.

Только однажды пришли две накрахмаленные девочки, у которых накануне ночью увели мать. Их пустили без очереди, не спросив, на какую букву начинается их фамилия. У всех женщин, наверное, сжалось сердце при мысли, что скоро точно так же к окошку подойдут их собственные дети. Кто-то приподнял старшую девочку, потому что она не доставала до окошка, и она закричала: «Где мама?» и «Мы не хотим в детдом... Мы не вернемся домой...». Окошко захлопнулось, а девочки успели еще сказать, что их папа военный. Это могло означать и настоящий военный, и чекист. Детей чекистов с детства учили говорить, что их папа военный, чтобы не насторожить школьных товарищей. «К нам ведь плохо относятся», — объясняли в таких случаях детям. А перед поездками за границу детей чекистов заставляли заучивать свою новую фамилию, под которой

их родители работали за рубежом... Накрахмаленные девочки жили, вероятно, в ведомственном доме, и они рассказали людям в очереди, что за другими детьми в их доме уже приехали и увезли их в детдома, они же рвались к бабушке на Украину. Но тут открылась боковая дверь, из нее вышел военный, увел девочек, окошко снова открылось, снова начали выдавать справки, и воцарился полный порядок. Только когда девочек уводили, кто-то сказал: «Попались, дурочки», — а другая женщина прибавила: «Надо своих отослать, пока не поздно...»

Накрахмаленные девочки представляли собой исключение: обычно приходившие в очередь дети были сдержанны и молчаливы, как взрослые. Обычно сначала уводили отца, особенно если он был военным любого сорта, а оставшаяся с детьми мать заранее обучала их, как им вести себя, когда они останутся одни. Многие из них избежали детдомов, но это зависело главным образом от положения, которое занимали в обществе их родители: чем оно было выше, тем меньше шансов имели дети на частную жизнь. А самое удивительное, что жизнь продолжалась, и люди обзаводились семьями и рожали детей. Как они могли на это решиться, зная о том, что происходило перед окошком на Софийке?⁵⁷⁴

Женщины, стоявшие со мной в очереди, в разговоры старались не ввязываться. Все как одна утверждали, что их мужей взяли по ошибке и скоро выпустят, а глаза у них были красные от слез и бессонницы, но я никогда не видела, чтобы в очереди кто-нибудь заплакал. Выходя на улицу, женщины внутренним усилием как бы отглаживали свои черты и прихорашивались. Большинство возвращались на службу, откуда они отпрашивались под каким-нибудь предлогом, чтобы сделать передачу. На службе они не смели показать своего горя, и у них были не лица, а маски.

В Ульяновске в конце сороковых годов со мной работала женщина, жившая в общежитии с двумя детьми. Она поступила лаборанткой и вскоре стала незаменимой. Ее даже повысили в чинах и дали ей разрешение заочно учиться. Жила она нищенски, дети буквально голодали, а муж бросил ее и не желал давать ей даже на детей. Ей советовали подать на алименты, но она плакала и говорила, что гордость ей этого не позволяет. Все трое — мать и дети — худели на глазах. Ее вызывали в местком,

в парторганизацию и к директору, и все объясняли ей, что ради детей следует поступиться гордостью. А она стояла на своем: он ее предал, подло изменил ей с другой, и денег она у него не возьмет и к детям приблизиться ему не позволит. На нее пробо-вали влиять через старшего мальчика, но он оказался таким же непреклонным, как мать.

Прошло несколько лет, и вдруг к ней явился муж, и мы все видели, как она бросилась ему на шею. Тут же она подала на увольнение и стала складывать чемоданы. Вездесущие сторожихи узнали, что ему отказали в прописке, потому что он вернулся из лагеря. Все эти годы она врал про гордость и разбитое сердце, чтобы не потерять работу. Вероятно, это было мельчайшее из мелких дел, иначе органы оповестили бы отдел кадров, что она жена репрессированного, и скорее всего, он привлекался не по знаменитой пятьдесят восьмой статье, а по какой-нибудь уголовной или бытовой. Освободили его перед самой смертью Сталина, так что повторным арестам он уже не подвергался, и я надеюсь, что все они сейчас благоденствуют.

И я себе представляю, как эти трое заговорщиков — она и двое истощенных детей — шептались по ночам: что спрашивали про папу... я их отбрил... а они меня уговаривали, но я и виду не подала... держись, смотри... лишь бы вернулся... Отец когда-то читал политэкономия и был идеологической звездой. Несомненно, при такой выдержке он стал звездой первой величины. Это один из бесчисленных случаев, когда «по своим артиллерия бьет»...

Отстояв несколько месяцев на Софийке, я однажды узнала, что О.М. переведен в Бутырки⁵⁷⁵. Там формировались эшелоны на высылку в лагеря. Я бросилась в Бутырки узнавать, когда дают справки людям с фамилией на «М». В Бутырках приняли только одну передачу, а во второй раз сказали, что О.М. отправлен в лагерь на пять лет по решению Особого совещания⁵⁷⁶.

Это мне подтвердили и в прокуратуре, где я тоже отстояла все положенные очереди. Существовали окошки, где подавали заявления, и я подавала заявления, как все. Ровно через месяц после подачи заявления нам всем сообщили, что получен отказ. Таков обычный путь жены арестованного, если она сама так удачлива, что не угодила в лагерь. В гладкой, несокрушимой

стене, о которую мы бились, проделали специальные окошки для подачи заявлений и для получения справок и отказов.

Из лагеря я получила письмо — одно-единственное — и это тоже считалось большой удачей: ведь я узнала, где находится О.М.⁵⁷⁷ Немедленно я выслала посылку, и она вернулась ко мне «за смертью адресата»⁵⁷⁸. Через несколько месяцев брату О.М. — Александру Эмильевичу — выдали справку о смерти О.М.⁵⁷⁹ Никто из моих знакомых женщин таких справок не получал. Не знаю, почему мне была оказана такая милость.

Незадолго до Двадцатого съезда, гуляя с Анной Андреевной по Ордынке, я заметила неслыханное скопление шпиков. Они торчали буквально из каждой подворотни. «На этот раз не бойтесь, — сказала Анна Андреевна. — Происходит что-то хорошее». До нее дошли смутные слухи о партийной конференции, на которой Хрущев зачитал свое знаменитое письмо. Именно по поводу этой конференции город охранялся толпами агентов, переодетых в штатское.

Вот тут-то Анна Андреевна и посоветовала мне сходить в Союз позондировать почву. Мы уже знали, что вдова Бабеля и дочь Мейерхольда подали на реабилитацию. Эренбург давно уже советовал мне последовать их примеру, но я не торопилась, а в Союз все же пошла. Ко мне выскочил Сурков, и по его обращению я поняла, что времена действительно переменялись: так со мной еще никто никогда не разговаривал... Первая встреча с Сурковым произошла в приемной, при секретаршах. Принять меня он обещал через несколько дней и очень просил не уезжать из Москвы, не поговорив с ним. Две или три недели подряд я звонила в отдел кадров, и меня нежно уговаривали подождать еще. Это означало, что Сурков еще не получил инструкций, как со мной разговаривать, и я ждала, удивляясь, как страшное место, называвшееся «отдел кадров», внезапно переменяло тон.

Свидание наконец состоялось, и я увидела, как Сурков радуется тому, что может говорить как человек. Он обещал помочь Леве Гумилеву и сделать все, что я просила, для меня. Благодаря Суркову я дослужила до пенсии, потому что к моменту нашего разговора я опять сидела без работы и он обратился к министру просвещения и рассказал, что со мной вытворяют... Будущее представлялось ему радужным: он обещал перетащить меня в Москву — комната, прописка —

и заговаривал о печатании Мандельштама, о его наследстве... Для начала он просил, чтобы я подала на реабилитацию.

Я допытывалась, что было бы, если б у Мандельштама не осталось вдовы, кто бы тогда подал эту бумажку, но упрямиться не стала... Вскоре я получила повестку о реабилитации по второму делу 38 года, и прокурорша продиктовала мне заявление относительно реабилитации по делу 34 года: «Подсудимый написал стихи, но распространением их не занимался...» Это дело рассматривалось во время венгерских событий, и в реабилитации мне отказали⁵⁸⁰.

Сурков решил с отказом не считаться и назначил комиссию по наследству⁵⁸¹. Мне выдали пять тысяч за голову погибшего. Я разделила их между теми, кто помогал нам в 37 году. Таков ритуал возвращения к жизни писателей, погибших в лагерях.

Второй этап — печатание их книг.

Препятствий к изданию книг слишком много. Я не знаю, что такое конкуренция, которой нас пугают, но отлично видела борьбу за место в обществе, которая велась у нас всеми средствами. Когда пошли первые слухи о микояновских комиссиях⁵⁸², многим стало не по себе — и далеко не только тем, кто способствовал изъятию соперников. Я слышала шепотки о том, куда же денутся возвращенцы: а вдруг им захочется занять свои прежние места. Сколько новых единиц понадобится в советских учреждениях, чтобы пристроить все эти толпы?

Никакой драмы, однако, не произошло. Большинство вернулось в таком состоянии, что ни о какой активной деятельности не помышляли. Все прошло спокойно, и те, кто боялся, что им придется потесниться, облегченно вздохнули. Иное дело литература. Тщательно построенная табель литературных рангов подлежит активной охране, иначе рухнет множество устоявшихся репутаций. Вот почему так старательно противодействуют изданию книг покойников. Впрочем, и с живыми поступают не лучше.

Книга О.М. была поставлена в план «Библиотеки поэта» в 56 году. Все члены редколлегии высказались за издание. Мне очень понравилась точка зрения Прокофьева — он считает, что никакого поэта Мандельштама не существует и, чтобы рассеять иллюзию, надо его издать⁵⁸³. К несчастью, он, видимо,

не способен стоять на такой благородной позиции и не прекращает борьбу с изданием. Орлов, главный редактор «Библиотеки», не знал, что ему придется встретиться с активным противодействием, и писал мне любезные письма, но, сообразив, что издание может повлечь за собой некоторые неприятности, быстро отступился и, заодно, прекратил переписку. Да что говорить об Орлове — крупном чиновнике, который к тому же вполне равнодушен к поэзии Мандельштама.

Гораздо серьезнее позиция настоящих любителей его поэзии, людей авторитетных, независимых и отнюдь не бюрократов. Двое из них, лучшие из сохранившихся представителей разгромленных поколений⁵⁸⁴, объяснили мне, что Орлов совершенно прав, не издавая О.М., на что формально он имеет все возможности. «Этим могут воспользоваться его враги — на его место зарятся многие: его снимут, и погибнет культурное издательство...» Ценой отказа от издания Мандельштама он сохранит свое положение и выполнит план издания поэтов двадцатых, тридцатых и сороковых годов прошлого века, в которых участвуют оба человека, которых я цитировала.

В этом переплетении личных и групповых интересов, борьбы за занятые места и за куски государственного пирога мне не разобраться. Единственное, что бы мне следовало сделать, — самой и за свой счет издать Мандельштама, что невозможно по нашим условиям. И я понимаю, что мне не придется увидеть его книгу, так как мои дни тоже идут к концу.

Меня утешают только слова Анны Андреевны, что О.М. в изобретении Гутенберга не нуждается. В каком-то смысле мы действительно живем в допечатную эпоху: читателей стихов становится все больше и стихи по всей стране ходят в списках. И все же я хотела бы увидеть книгу, которую я не увижу^{*585}.

ДАТА СМЕРТИ

Журналисты из «Правды» — «правдисты», как мы их называли, — рассказывали Шкловскому: в ЦК при них говорили, что у Мандельштама, оказывается, не было никакого дела... Разговор этот произошел в конце декабря 1938 или в начале января 1939 года, вскоре после снятия Ежова⁵⁸⁶, и означал: вот

что он натворил... Я сообразила это и сделала вывод: значит, О.М. умер...

Прошло еще немного времени, и меня вызвали повесткой в почтовое отделение у Никитских ворот. Там мне вернули посылку. «За смертью адресата», — сообщила почтовая барышня. Восстановить дату возвращения посылки легче легкого — в этот самый день газеты опубликовали первый огромный список писателей, награжденных орденами⁵⁸⁷.

Евгений Яковлевич поехал в этот праздничный день в Лаврушинский переулок, чтобы сообщить Шкловским. Виктора вызвали снизу, из квартиры, кажется, Катаева, где попутчики вместе с Фадеевым вспрыскивали правительственную милость. Это тогда Фадеев пролил пьяную слезу: какого мы уничтожили поэта!.. Праздник новых орденосцев получил привкус нелегальных, затаившихся поминок. Мне только неясно, кто из них, кроме Шкловского*⁵⁸⁸, до конца сознавал, что такое уничтожение человека. Ведь большинство из них принадлежали к поколению, пересмотревшему ценности и боровшемуся за «новое». Это они проторили путь сильной личности, диктатору, который, действуя по своему усмотрению, может карать и миловать, ставить цели и выбирать средства для их достижения.

В июне сорокового года брата О.М., Шуру, вызвали в загс Бауманского района и вручили ему для меня свидетельство о смерти О.М. Возраст — 47 лет, дата смерти — 27 декабря 1938 года. Причина смерти — паралич сердца. Это можно перефразировать: он умер, потому что умер. Ведь паралич сердца это и есть смерть... И еще прибавлено: артериосклероз⁵⁸⁹. И я вспомнила, что говорил Клюев о своих ранних сединах⁵⁹⁰.

Выдача свидетельства о смерти была не правилом, а исключением. Гражданская смерть — ссылка или, еще точнее, арест — потому что сам факт ареста означал ссылку и осуждение — приравнивалась, очевидно, к физической смерти и являлась полным изъятием из жизни. Никто не сообщал близким, когда умирал лагерник или арестант: вдовство и сиротство начиналось с момента ареста. Иногда женщинам в прокуратуре, сообщив о десятилетней ссылке мужа, говорили: можете выходить замуж... Никто не беспокоился, как согласовать такое любезное разрешение с официальным приговором, который отнюдь не означал смерть. Как я уже говорила,

я не знаю, почему мне оказали такую милость и выдали «свидетельство о смерти». Нет ли в этом какой-то подоплеки?

В тех условиях смерть была единственным выходом. Когда я узнала о смерти О.М., мне перестали сниться зловещие сны. «Осип Эмильевич хорошо сделал, что умер, — сказал мне впоследствии Казарновский, — иначе он бы поехал на Колыму».

Сам Казарновский провел ссылку на Колыме и в 44 году явился в Ташкент. Он жил без прописки и без хлебных карточек, прятался от милиции, боялся всех и каждого, запойно пил и за отсутствием обуви носил крошечные калошки моей покойной матери. Они пришлись ему впору, потому что у него не было пальцев на ногах. Он отморозил их в лагере и отрубил топором, чтобы не заболеть заражением крови. Когда лагерников гоняли в баню, во влажном воздухе предбанника белье замерзло и стучало, как жесьть.

Недавно я слышала спор: кто выживал в лагерях — работяги или те, кто от работы уклонялся. Работавшие надрывались, а уклонявшиеся пропадали из-за недостатка хлеба. Мне, не имевшей ни доводов, ни своих наблюдений и примеров в защиту той или другой теории, было ясно, что вымирали и те и другие. Немногочисленные люди, которые выживали, составляли исключение.

Иначе говоря, спор напоминал сказку о русском богатыре на перепутье трех дорог, из которых каждая грозит гибелью. Основное свойство русской истории, непреходящее, постоянное, — что богатырю и небогатырю всякая дорога грозит гибелью, из которой он может лишь случайно вывернуться. Я удивляюсь не этому, а тому, что кое-кто из слабых людей действительно оказался богатырем и сохранил не только жизнь, но и светлый ум и память. Таких людей я знаю и рада бы перечислить их имена, но еще не стоит, и потому помяну того, кого мы все уже знаем, — Солженицына.

Казарновский сохранил только жизнь и разрозненные воспоминания. В стационарный лагерь он попал зимой и запомнил, что это было голое место: осваивались новые площади для огромного потока каторжан. Там не стояло ни одной постройки, ни одного барака. Жили в палатках и сами строили себе тюрьму и бараки. Осваивали новую землю для новых поселенцев.

Я слышала, что из Владивостока на Колыму отправляли только морем. Бухта замерзает, хотя и довольно поздно. Каким образом попал Казарновский зимой на Колыму? Ведь навигация должна была прекратиться... Или первый его стационарный лагерь находился не на Колыме и его отправили этапом куда-нибудь неподалеку, чтобы разгрузить пересыльный лагерь, так называемую «пересылку», набитую до отказа прибывающими на поездах ссыльными?.. Этому мне выяснить не удалось — в больном мозгу Казарновского все перепуталось. А между тем для датировки смерти О.М. мне следовало бы знать, в какой момент Казарновский покинул «пересылку».

Казарновский был первым более или менее достоверным вестником с того света. Задолго до его появления я уже слышала от вернувшихся, что Казарновский действительно находился в одной партии с О.М. В «пересылке» они жили вместе, и как будто Казарновский чем-то даже помог О.М. Нары они занимали в одном бараке, почти рядом... Вот почему я в течение трех месяцев прятала Казарновского от милиции и медленно вылущивала те сведения, которые он донес до Ташкента.

Память его превратилась в огромный прокисший блин, в котором реалии и факты каторжного быта спеклись с небылицами, фантазиями, легендами и выдумками. Я уже знала, что такая болезнь памяти — не индивидуальная особенность несчастного Казарновского и что здесь дело не в водке. Таково было свойство почти всех лагерников, которых мне пришлось видеть первыми, — для них не существовало дат и течения времени, они не проводили строгих границ между фактами, свидетелями которых они были, и лагерными легендами. Места, названия и течение событий спутывались в памяти этих потрясенных людей в клубок, и распутать его я не могла. Большинство лагерных рассказов, какими они мне представились сначала, — это несвязный перечень ярких минут, когда рассказчик находился на краю гибели и все-таки чудом сохранился в живых. Лагерный быт рассыпался у них на такие вспышки, опечатавшиеся в памяти в доказательство того, что сохранить жизнь было невозможно, но воля человека к жизни такова, что ее умудрялись сохранять.

И в ужасе я говорила себе, что мы войдем в будущее без людей, которые смогут засвидетельствовать, что было прошлое.

И снаружи, и за колючей оградой все мы потеряли память. Но оказалось, что существовали люди, с самого начала поставившие себе задачей не просто сохранить жизнь, но стать свидетелями. Это — беспощадные хранители истины, растворившиеся в массе каторжан, но только до поры до времени. Там, на каторге, их, кажется, сохранилось больше, чем на большой земле, где слишком многие поддались искушению примириться с жизнью и спокойно дожить свои годы. Разумеется, таких людей с ясной головой не так уж много, но то, что они уцелели, является лучшим доказательством, что последняя победа всегда принадлежит добру, а не злу.

Казарновский к этим героическим людям не принадлежал, и я выслушала бесконечные его рассказы и, отобрав крупницы истины, узнала чуть-чуть, меньше малого, о лагерной жизни О.М. Состав пересыльных лагерей всегда текучий, но вначале барак, куда они попали, был заселен интеллигентами из Москвы и Ленинграда — пятьдесят восьмой статьей. Это очень облегчало жизнь. Старостами барачков, как и повсюду в те годы, назначали уголовников, но не рядовых воров, а тех, кто и на воле был связан с органами. Этот «младший командный состав» лагерей отличался крайней жестокостью, и «пятьдесят восьмая» от них очень страдала, не меньше, чем от настоящего начальства, с которым они, впрочем, соприкасались реже.

О.М. всегда отличался нервной подвижностью, и всякое волнение у него выражалось в беготне из угла в угол. Здесь, в пересыльном лагере, эти метания и эта моторная возбудимость служили поводом для вечных нападок на него со стороны всяческого начальства. А во дворе он часто подбегал к запрещенным зонам — к ограде и охраняемым участкам, и стража с криками, проклятиями и матом отгоняла его прочь. Рассказ о том, что его избили уголовники, не подтвердился никем из десяти свидетелей. Похоже, что это легенда.

Одежды в пересыльном лагере не выдавали — да и где ее выдают? — и он замерзал в своем кожаном, уже успевшем превратиться в лохмотья пальто, хотя, как говорил Казарновский, самые страшные морозы грянули уже после его смерти — их он не испытал. И в этом для меня есть элемент датировки.

О.М. почти ничего не ел, боялся еды, как, впоследствии, Зощенко, терял свой хлебный паек, пугал котелки... В пересыль-

ном лагере, по словам Казарновского, был ларек, где продавали табак и, кажется, сахар. Но откуда взять деньги? К тому же страх еды у О.М. распространялся на ларьковые продукты и сахар, и он принимал еду только из рук Казарновского... Благословенная грязная лагерная ладонь, на которой лежит кусочек сахара, и О.М. медлит принять этот последний дар... Но правду ли говорил Казарновский? Не выдумал ли он эту деталь?

Кроме страха еды и непрерывного моторного беспокойства, Казарновский отметил бредовую идею О.М., которая для него характерна и выдумана быть не могла: О.М. тешил себя надеждой, что ему облегчат жизнь, потому что Ромен Роллан напишет о нем Сталину. Крошечная эта черточка доказывает мне, что Казарновский действительно общался с Мандельштамом. Во время воронежской ссылки мы читали в газетах о приезде Романа Роллана с супругой в Москву и об их встрече со Сталиным⁵⁹¹. О.М. знал Майю Кудашеву, и он вздохнул: «Майя бегает по Москве. Наверное, ей рассказали про меня. Что ему стоит поговорить обо мне со Сталиным, чтобы он меня отпустил...» О.М. никак не мог поверить, что профессиональные гуманисты не интересуются отдельными судьбами, а только человечеством в целом, и надежда в безысходном положении воплотилась у него в имени Романа Роллана. А для меня это имя послужило доказательством, что Казарновский не вполне утратил память.

А про Романа Роллана прибавлю для справедливости, что, приехав в Москву, он, кажется, исхлопотал облегчение участи «словарникам». Так, во всяком случае, говорили... Но это не меняет моего мнения о «гуманистах» по профессии...⁵⁹² Подлинный гуманизм все знает, и ему до всего есть дело: рука дающего да не оскудеет...

И вот еще характерный штрих из рассказов Казарновского: О.М. не сомневался в том, что я в лагере. Он умолял Казарновского, чтобы тот, если вернется, разыскал меня: «Попросите Литфонд, чтобы ей помогли...» Всю жизнь О.М., как каторжник к тачке, был прикован к писательским организациям⁵⁹³ и без их санкции не получил ни единого кусочка хлеба. Как он ни стремился освободиться от этой зависимости, ему это не удавалось: у нас такие вещи не допускаются, это невыгодно правителям... Вот почему и для меня он надеялся только на помощь Литфонда. Моя же судьба сложилась иначе,

и во время войны, когда про нас забыли, мне удалось уйти в другую сферу, и поэтому сохранила я жизнь и память.

Иногда, в светлые минуты, О.М. читал лагерникам стихи, и, вероятно, кое-кто их записывал. Мне пришлось видеть «альбомы» с его стихами, ходившими по лагерям. Однажды ему рассказали, что в камере смертников в Лефортове — в годы террора там сидели вперемешку — видели нацарапанные на стене строки: «Неужели я настоящий И действительно смерть придет?» Узнав об этом, О.М. развеселился и несколько дней был спокойнее.

На работы — даже внутрилагерные, вроде приборки — его не посылали. Даже в истощенной до предела толпе он выделялся своим плохим состоянием. По целым дням он слонялся без дела, навлекая на себя угрозы, мат и проклятия всевозможного начальства. В отсек он попал почти сразу и очень огорчился. Ему казалось, что в стационарном лагере все же будет легче, хотя опытные люди убеждали его в противном.

Однажды О.М. услышал, что в пересыльном лагере находится человек по фамилии Хазин, и попросил Казарновского пойти с ним отыскать его, чтобы узнать, не приходится ли он мне родственником. Мы оказались просто однофамильцами. Этот Хазин, прочтя мемуары Эренбурга, написал ему, и мне удалось с ним встретиться. Существование Хазина — еще одно доказательство, что Казарновский действительно был с Мандельштамом. Сам Хазин О.М. видел два раза: когда О.М. пришел к нему с Казарновским и, вторично, когда он свел его к лагернику, который его разыскивал.

Хазин говорит, что встреча О.М. с этим разыскивающим его человеком была очень трогательной. Ему запомнилось, будто фамилия этого человека была Хинт и что он был латыш, инженер по профессии. Хинта пересылали из лагеря, где он находился уже несколько лет, в Москву, на пересмотр. Такие пересмотры обычно кончались в те годы трагически. Кто был Хинт*⁵⁹⁴, я не знаю. Хазину показалось, будто он школьный товарищ О.М. и ленинградец. В пересылке Хинт пробыл лишь несколько дней. И Казарновский запомнил, что О.М. с помощью Хазина нашел какого-то старого товарища.

По сведениям Хазина, Мандельштам умер во время сыпного тифа, а Казарновский эпидемии тифа не упоминал,

между тем она была, и я о ней слышала от ряда лиц. Мне следовало бы принять меры, чтобы разыскать Хинта, но в наших условиях это невозможно — ведь не могу же я дать объявление в газету, что разыскиваю такого-то человека, видевшего в лагере моего мужа... Сам Хазин человек примитивный. Он хотел познакомиться с Эренбургом, чтобы рассказать ему о своих воспоминаниях начала революции, в которой он участвовал вместе со своими братьями, кажется, чекистами. Именно этот период сохранился у него в памяти, и все разговоры со мной он пытался свести на свой былой героизм...

Возвращаюсь к рассказам Казарновского. Однажды, несмотря на крики и понукания, О.М. не сошел с нар. В те дни мороз крепчал — это единственная датировка, которой я добилась. Всех погнали чистить снег, а О.М. остался один. Через несколько дней его сняли с нар и увезли в больницу. Вскоре Казарновский услышал, что О.М. умер и его похоронили, вернее, бросили в яму... Хоронили, разумеется, без гробов, раздетыми, если не голыми, чтобы не пропадало добро, по несколько человек в одну яму — покойников всегда хватало — и каждому к ноге привязывали бирку с номерком.

Это еще не худший вариант смерти, и я хочу верить, что рассказ Казарновского соответствует действительности. Не сравнишь ведь это со смертью Нарбута. Про него говорят, что в пересыльном он был ассенизатором, то есть чистил выгребные ямы, и погиб с другими инвалидами на взорванной барже⁵⁹⁵. Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов. Для разгрузки. Такие случаи, кажется, бывали... Павел, бывший вор-рецидивист, который носил мне воду и дрова в Тарусе, рассказал однажды по собственной инициативе, что ему пришлось слышать взрыв, донесшийся с моря, и видеть погружающуюся в воду баржу, на которой, по слухам, находилась «пятьдесят восьмая», инвалиды из «политицких».

Люди, которые во что бы то ни стало желают и сейчас для всего искать оправданий, а таких среди бывших зэков много, убеждают меня, что взорвали только одну баржу, а начальника лагеря, который совершил такое беззаконие, потом расстреляли. Это действительно умилительная концовка, но меня она почему-то не умиляет.

Большинство известных мне людей умерли в лагерях почти сразу. Люди гуманитарных профессий едва ли могли там выжить, да и жить не стоило. К чему тянуть жизнь, если смерть приходит на выручку? Что дали бы несколько добавочных дней Маргулису, которому покровительствовала шпана за то, что он по ночам рассказывал им романы Дюма? Он находился вместе со Святополк-Мирским, который почти сразу дошел до полного истощения и тоже скоро умер⁵⁹⁶. Слава Богу, что люди смертны, но жить и там, за проволокой, стоило, чтобы запомнить и рассказать людям. Может, это остановит их в дни, когда им захочется повторить наши безумства.

Вторым достоверным свидетелем был биолог Меркулов, которого О.М. просил в случае освобождения зайти к Эренбургу и рассказать о его последних лагерных днях — он понимал, что сам выжить не сможет. Его рассказ я передаю со слов Эренбурга, который к моему приезду из Ташкента успел кое-что забыть; в частности, он называл Меркулова агрономом, потому что тот по освобождении, чтобы укрыться подальше, работал агрономом. В основном сведения Меркулова совпадают с рассказами Казарновского.

Он считал, что О.М. умер в первый же год, до открытия навигации, то есть до мая или июня 39 года. Меркулов довольно подробно передал разговор с врачом, на счастье тоже ссыльным и понаслышке знавшим Мандельштама. Врач говорил, что спасти О.М. не удалось из-за невероятного истощения. Это подтверждается сообщением Казарновского о том, что О.М. боялся есть, хотя, конечно, лагерная пища была такая, что люди, отнюдь не боявшиеся есть, превращались в тени. В больнице О.М. пролежал всего несколько дней, а Меркулов встретил врача сразу после смерти О.М.

О.М. правильно указал биологу Меркулову на Эренбурга, прося его сообщить Илье Григорьевичу о своих последних днях, потому что никто другой из советских писателей, исключая Шкловского, не принял бы в те годы такого посланца. А к писателям-париям сам посланец не решился бы зайти, чтобы вторично не угодить на тот свет.

Люди, отбыв свои пятилетние и десятилетние сроки, то есть отделавшись, по нашим понятиям, минимумом, оставались обычно на месте, добровольно или поневоле, и сидели,

притаившись, в своих медвежьих углах. После войны многие вторично попали в лагерь, а наш словарь и наши правовые понятия обогатились невероятным словом «повторник». Вот почему из лагерного призыва 37–38 годов выжили только единицы из молодежи, рано начавшей лагерные скитания, и мне пришлось говорить лишь с немногими, столкнувшимися там с О.М.

Но слух о его судьбе широко разнесся по лагерям, и десятки людей передавали мне лагерные легенды о злосчастном поэте. Не раз вызывали меня на свидания и водили к людям, которые слышали — на их языке это звучало: «я, наверное, знаю» — про О.М. — что он жив или дожил до войны, содержится в одном из лагерей или вышел на волю. Находились и свидетели смерти, но, встретившись со мной, они обычно смущенно признавались, что знают все со слов других, но, разумеется, совершенно достоверных свидетелей.

Кое-кто сочинял новеллы о его смерти. Рассказ Шаламова — это просто мысль о том, как умер Мандельштам и что он должен был при этом чувствовать⁵⁹⁷. Это дань пострадавшего художника своему собрату по искусству и судьбе. Но среди новелл есть и другие, претендующие на достоверность и изукрашенные массой подробностей. Одна из них рассказывает, что Мандельштам умер на судне, направлявшемся на Колыму. Далее следует подробный рассказ, как его бросили в океан. К легендам относится убийство Мандельштама уголовниками и чтение у костра Петрарки. Вот на последнюю удочку клюнули очень многие, потому что это типовой, так сказать, поэтический стандарт.

Есть и рассказы «реалистического» стиля с обязательным участием шпаны. Один из наиболее разработанных принадлежит поэту Р. Ночью, рассказывает Р., постучали в барак и потребовали «поэта». Р. испугался ночных гостей — чего от него хочет шпана? Выяснилось, что гости вполне доброжелательны и попросту зовут его к умирающему, тоже поэту. Р. застал умирающего, то есть Мандельштама, в бараке на нарах. Был он не то в бреду, не то без сознания, но при виде Р. сразу пришел в себя, и они всю ночь проговорили. К утру О.М. умер, и Р. закрыл ему глаза. Дат, конечно, никаких, но место указано правильно: «Вторая речка», пересыльный лагерь под Владивостоком.

Рассказал мне всю эту историю Слуцкий и дал адрес Р., но тот на мое письмо не ответил.

Все мои информаторы были люди доброжелательные. Лишь однажды я подверглась настоящему издевательствам. Дело происходило в Ульяновске, в самом начале пятидесятых годов, еще при жизни Сталина. По вечерам ко мне повадился ходить член кафедры литературы, он же заместитель директора, некто Тюфяков, инвалид войны, весь увешанный орденами за работу в войсковых политотделах, любитель почитать военные романы, где описывается расстрел труса или дезертира перед строем. Всю свою жизнь Тюфяков отдал «делу перестройки вузов» и потому не успел получить ни степеней, ни дипломов, ни высшего образования. Это был вечный комсомолец двадцатых годов и «незаменимый работник».

С тех пор как «его сняли с учебы» и дали ему ответственное поручение, его задача состояла в слежке за чистотой идеологии в вузах, о малейших отклонениях от которой он сообщал куда следует. Его переводили из вуза в вуз, главным образом чтобы следить за директорами, которых подозревали в либерализме. Именно для этого он и прибыл в Ульяновск на странную и почетную роль «заместителя», от которого нельзя избавиться, хотя у него нет формальных прав работать в высшем учебном заведении. Таких вечных комсомольцев у нас было два — Тюфяков и другой, Глухов, эту фамилию следовало бы сохранить для потомства — внуков и дочерей, преподающих где-то историю и литературу. Этот успел получить орден за раскулачивание и кандидатское звание за диссертацию о Спинозе. Он действовал открыто и вызывал к себе в кабинет студентов, чтобы обучить их, о ком и какую разоблачительную речь произнести на собрании, а Тюфяков трудился втихаря. Оба занимались разгромом вузов с начала двадцатых годов.

«Работу» со мной Тюфяков вел добровольно, сверх нагрузки, ради отдыха и забавы. Она доставляла ему почти эстетическое удовольствие. Каждый день он придумывал новую историю — Мандельштам расстрелян; Мандельштам был в Свердловске, и Тюфяков навещал его в лагере из гуманных побуждений; Мандельштам пристрелен при попытке к бегству; Мандельштам отбывает новый срок в режимном лагере

за уголовное преступление; Мандельштама забили насмерть уголовники за то, что он украл кусок хлеба; Мандельштам освобожден и живет на севере с новой женой; Мандельштам совсем недавно повесился, испугавшись письма Жданова, только сейчас дошедшего до лагерей...

О каждой из этих версий он сообщал торжественно: только что справлялся и получил через прокуратуру такие сведения... Мне приходилось выслушивать его, потому что стукачей прогонять нельзя. Кончался наш разговор литературными размышлениями Тюфякова: «Лучший песенник у нас Долматовский... Я ценю в поэзии чеканную форму... Без метафоры, как хотите, поэзии нет и не будет... Стиль — это явление не только формальное, но и идеологическое — вспомните слова Энгельса... С ними нельзя не согласиться... А не дошли ли до вас из лагеря стихи Мандельштама? Он там много писал?»

Сухонькое тело Тюфякова пружинилось. Под военными, сталинского покроя усами мелькала улыбка. Ему раздобыли в Кремлевской больнице настоящий корень женьшеня, и он предостерегал всех против искусственных препаратов: «Никакого сравнения...»

До меня часто доходили слухи о лагерных стихах Мандельштама, но всегда это оказывалось вольной или невольной мистификацией. Зато недавно мне показали любопытный список, собранный по лагерным «альбомам». Это достаточно искаженные записи ненапечатанных стихов, где нет ни одного с явным политическим звучанием, вроде «Квартиры». Основной источник — это циркулировавшие в тридцатых годах списки, но записывались стихи по памяти, и отсюда множество искажений. Некоторые стихи попали в старых, отвергнутых вариантах, например «К немецкой речи».

А кое-что, несомненно, надиктовано самим Мандельштамом, потому что ни в какие списки не попадало. Не он ли сам вспомнил свои детские стихи о Распятии?⁵⁹⁸ В альбомах попало и несколько шуточных стихов, которых у меня нет, например «Извозчик и Данте», но, к сожалению, в диком виде. Его могли завезти в те края только ленинградцы, а их там было более чем достаточно.

Мне показал этот список Д., автор повести о нашей жизни, которая написана, как говорили в старину, «кровью

сердца»⁵⁹⁹. В этой повести вскрыта самая сущность нашей зло-счастной жизни, хотя в ней говорится о раскопках, змеях, архи-тектуре и канцелярских барышнях. Человек, вчитавшийся в эту повесть, не может не понять, почему лагеря не могли не стать основной силой, поддерживающей равновесие в нашей стране.

Д. утверждает, что видел Мандельштама в период «странной войны»⁶⁰⁰, то есть через год с лишним после 27 декабря 38 года, которое я считала датой смерти. Навигация уже открылась, а человек, которого Д. счел за О.М. или который действительно был О.М., находился в партии, направлявшейся на Колыму. Дело происходило все в том же лагере на Второй Речке. Д., тогда юноша, экспансивный и горячий, услышал, что в партии находится человек, известный под кличкой «Поэт», и пожелал его повидать. Человек этот отозвался, когда Д. окликнул его: «Здравствуйте, Осип Мандельштам». Отчества Д. не знал... «Поэт» производил впечатление душевнобольного, сохранившего все же некоторую ориентацию. Встреча была минутной — поговорили об осуществимости переправы на Колыму в дни военной тревоги. Затем старика — «Поэту» на вид было лет семьдесят — позвали есть кашу и он ушел.

Старческий вид лагерника, мнимого или настоящего Мандельштама, не свидетельствует ни о чем: в тех условиях люди старились с невероятной быстротой, а О.М. никогда молоджавостью не отличался и выглядел значительно старше своих лет. Но как сопоставить эти сведения с моими данными? Можно предположить, что Мандельштам вышел из больницы, когда все знавшие его уже рассеялись по лагерям, и прожил тенью еще несколько месяцев или даже лет. Или какой-нибудь старик-однофамилец, а у всех Мандельштамов повторяются одни и те же имена и они схожи лицом — откликнулся на прозвище «Поэт» и жил в лагере, где его принимали за О.М. Есть ли основания считать человека, встреченного Д., О. Мандельштамом?

Мои сведения слегка поколебали уверенность Д., а его рассказ смутил меня, и я уже ни в чем не уверена. Разве есть что-нибудь достоверное в нашей жизни? И я взвесила все про и контра...

Д. с Мандельштамом знаком не был, но в Москве ему случалось видеть его, но всегда в периоды, когда О.М. запускал бороду, а лагерный «Поэт» был гладко выбрит. Все же

какие-то черты напомнили Д. облик Мандельштама. Для полной уверенности этого, конечно, мало — обознаться легче легкого. Д. узнал одну деталь, но не со слов «Поэта», а через третьи руки: судьбу О.М. решило какое-то письмо Бухарина. Очевидно, в 38 году всплыли приложенное к первому делу письмо Бухарина к Сталину и многочисленные записки Бухарина, отобранные при первом обыске⁶⁰¹. Случай этот более чем вероятный. И о нем мог знать только настоящий Мандельштам.

Однако остается открытым вопрос, говорил ли об этом письме таинственный старик по кличке «Поэт», или ему только приписывали бытовавший в лагере рассказ уже умершего человека, за которого его принимали? Иначе говоря: лагерники знали, что в деле Мандельштама фигурировало письмо Бухарина. Какого-то старика, быть может однофамильца, принимали за О.М. и, вспомнив историю с бухаринским письмом, приписали ее старику. Проверить, что было на самом деле, невозможно.

Но один факт здесь меня интересует: слух о письме. Это первый и единственный слух, дошедший до меня о тюремном периоде во время второго, повторного, дела. О.М. недаром сказал в «Четвертой прозе»: «Мое дело не кончилось и никогда не кончится...» На основании письма Бухарина дело 34 года пересматривалось в 34 же году, и на основании того же письма оно пересматривалось и в 38-м... Далее оно пересматривалось в 55 году, но осталось совершенно темным, и я надеюсь, что оно будет пересматриваться еще не раз.

Но что же, собственно, подтверждает мою версию о смерти в декабре 38 года?

Для меня первой вестью о смерти была возвращенная «за смертью адресата» посылка. Но этого еще недостаточно: мы знаем тысячи случаев, когда посылки возвращались с такой мотивировкой, а потом оказывалось, что адресат просто переведен в другое место и потому не получил своего ящичка. Вернувшаяся посылка прочно ассоциировалась со смертью, и для большинства это был единственный способ узнать о смерти близкого; между тем в сумбуре перегруженных лагерей обнаглевшие чиновники в военных формах писали что попало: смерть так смерть — не все ли равно? Попавшие за колючую проволоку тем самым исключались из жизни, и с ними не церемонились. И с военных фронтов приходили повестки о смерти

солдат и офицеров, которые на самом деле были ранены или попали в плен. А ведь на фронте это делалось по ошибке, и люди, окруженные равными себе, пользовались вниманием и сочувствием всех. С лагерниками же обращались хуже чем со скотом, и скоты, которые распоряжались их жизнью, специально обучались попирать все их человеческие права. Возвращение посылки не может служить доказательством смерти.

Дата в свидетельстве о смерти, выданном загсом, тоже ничего не доказывает. Даты проставлялись совершенно произвольно, и часто миллионы смертей сознательно относились к одному периоду, например к военному. Для статистики оказалось удобным, чтобы лагерные смерти слились с военными... Картина репрессий этим затушевывалась, а до истины никому дела нет. В период реабилитации почти механически выставлялись как даты смерти сорок второй и сорок третий год. Кто же может поверить дате на свидетельстве о смерти? А кто пустил слух за границей о том, что Мандельштам находился в лагере в Воронежской области и был убит немцами? Ясное дело, что какой-нибудь прогрессивный писатель или дипломат, припертый к стенке иностранцами, которые, как выражается Сурков, лезут не в свое дело, свалил все на немцев, что было удобно и просто...

В свидетельстве о смерти написано, что в книге записей смерть О.М. зарегистрирована в мае сорокового года. Это, пожалуй, единственная реальность. Как будто можно надеяться, что живого не записали в книгу мертвых, хотя абсолютной уверенности в этом нет. Предположим, что к Сталину обратился какой-нибудь Ромен Роллан, с которым Сталин считался, и попросил об освобождении Мандельштама. У нас случилось, что по просьбе из-за границы, обращенной к хозяину, отпускали людей на волю... Сталин мог не захотеть отпустить Мандельштама, или его нельзя было выпустить, потому что в тюрьме его забили... В таком случае ничего бы не стоило объявить его мертвым и, выдав мне свидетельство о смерти, сделать меня рупором этой правительственной лжи. Почему мне выдали это свидетельство, хотя другим не выдавали? С какой целью?

А если Мандельштам действительно умер где-то до мая сорокового года — скажем, в апреле, — Д. мог его видеть и старик «Поэт» был О.М.

Можно ли положиться на сведения Казарновского и Хазина? Лагерники в большинстве случаев не знают дат. В этой однообразной и бредовой жизни даты стираются. Казарновский мог уехать — когда и как его отправили, так и осталось неизвестным — до того времени, как О.М. выпустили из больницы. Слухи о смерти О.М. тоже ничего не доказывают: лагеря живут слухами. Разговор М. с врачом тоже не датирован. Они могли встретиться через год или два...

Никто ничего не знает. Никто ничего не узнает ни в кругу, оцепленном проволокой, ни за его пределами. В страшном месиве и крошеве, в лагерной скученности, где мертвые с бирками на ноге лежат рядом с живыми, никто никогда не разберется.

Никто не видел его мертвым. Никто не обмыл его тело. Никто не положил его в гроб. Горячечный бред лагерных мучеников не знает времени, не отличает действительности от вымысла. Рассказы этих людей не более достоверны, чем всякий рассказ о хождении по мукам. А те немногие, кто сохранился свидетелями — а Д. один из них, — не имели возможности проделать исследовательскую работу и на месте проанализировать все данные за и против.

Я знаю одно: человек, страдалец и мученик, где-то умер. Этим кончается всякая жизнь. Перед смертью он лежал на нарах, и вокруг него копошились другие смертники. Вероятно, он ждал посылки. Ее не доставили, или она не успела дойти... Посылку отправили обратно. Для нас это было вестью и признаком того, что О.М. погиб. Для него, ожидавшего посылку, ее отсутствие означало, что погибли мы. А все это произошло потому, что откормленный человек в военной форме, тренированный на уничтожении людей, которому надоело рыгаться в огромных, непрерывно меняющихся списках заключенных и искать какую-то произносимую фамилию, перечеркнул адрес, написал на сопроводительном бланке самое простое, что пришло ему в голову — «за смертью адресата», — и отправил ящичек обратно, чтобы я, молившаяся о смерти друга, пошатнулась перед окошком, узнав от почтовой чиновницы сию последнюю и неизбежную благую весть.

А после его смерти — или до нее? — он жил в лагерных легендах как семидесятилетний безумный старик с котелком

для каши, когда-то на воле писавший стихи и потому прозванный «Поэтом». И какой-то другой старик — или это был О.М.? — жил в лагере на Второй речке и был зачислен в транспорт на Колыму, и многие считали его Осипом Мандельштамом, и я не знаю, кто он.

Вот все, что я знаю о последних днях, болезни и смерти Мандельштама.

Другие знают о гибели своих близких еще меньше.

ЕЩЕ ОДИН РАССКАЗ

Еще немного я все же знаю. Транспорт вышел седьмого сентября 38 года. Л.⁶⁰², физик по профессии, работавший в одном из подвергшихся полному разгрому вузов Москвы, потому что в нем работал сын человека, ненавистного Сталину*⁶⁰³, не пожелал, чтобы я назвала его имя: «Сейчас ничего, но кто его знает, что будет потом, поэтому прошу моего имени не запоминать...» Он попал в этот транспорт из Таганки⁶⁰⁴. Другие были из внутренней тюрьмы, и только перед самой отправкой их переводили в Бутырки.

Еще в дороге Л. узнал, что с этим транспортом едет Мандельштам. Случилось, что один из спутников Л. заболел, и на несколько дней его поместили в изолятор. Вернувшись, он рассказал, что в изоляторе встретился с Мандельштамом. По его словам, О.М. все время лежал, укрывшись с головой одеялом. У него сохранились какие-то гроши, и конвойные покупали ему иногда на станциях булку. О.М. разламывал ее пополам и делился с кем-нибудь из арестантов, но до своей половины не дотрагивался, пока в щелку из-под одеяла не заметит, что спутник уже съел свою долю. Тогда он садится и ест. Его преследует страх отравы — в этом заключается его заболевание, и он морит себя голодом, совершенно не дотрагиваясь до казенной баланды.

Во Владивосток прибыли в середине октября. Лагерь на «Второй речке» оказался чудовищно перенаселенным. Новый транспорт девать было некуда. Арестантам велели размещаться под открытым небом между двумя бараками. Стояла сухая погода⁶⁰⁵, и Л. под крышу не рвался. Он уже заметил, что вокруг

уборных — а что такое лагерные уборные, можно себе представить — всегда сидят на корточках полуголые люди и бьют вшей на своей уже превратившейся в лохмотья одежде. Но сыпняк еще не начался.

Через несколько дней новичков погнали на комиссию. Она состояла из представителей лагерного начальства Колымы. Там шло строительство, и начальство нуждалось в рабочей силе первого разряда, а таких здоровяков нелегко было выискать в толпе измученных тюрьмой, ночными допросами и «упрощенными методами» людей. Многие попадали в отсеб, среди них тридцатидвухлетний Л., который мальчишкой сломал себе ногу.

Отгрузка из лагеря шла медленно, а новые транспорты продолжали подбрасывать сотнями, а может, и тысячами, голодных и грязных одичалых людей. Л. составил себе приблизительное представление о численности лагеря. Человек точного математического ума, он анализировал, запоминал и регистрировал все, что видел, в течение всех своих двадцати с лишним каторжных лет.

Но его знания никогда не станут достоянием людей, потому что, устав от лагерной жизни, ничему не доверяя и ничего, кроме покоя, не желая, он ушел в себя, в свою новую семью, и весь смысл существования для него сосредоточился на дочке, последней отраде пожилого и больного человека. Это один из блистательных свидетелей, но он не даст показаний. Исключение он составил для меня; и вообще о встрече с Мандельштамом, которая произвела на него большое впечатление, он иногда рассказывал и в лагере, и после освобождения. Я не спросила его, а следовало бы, долго ли колымские комиссии требовали себе здоровых людей. Не удовлетворялись ли они потом любым работником с тем, чтобы, выжав из него остатки силы, списать его в расход. Качество рабочей силы могло заместиться количеством.

Пошли дожди, а попасть в барак и заручиться там местом стало возможным только с бою, и бои завязывались на каждом шагу. К этому времени Л. уже был старшим, или старостой, бригады в шестьдесят человек. Его обязанности заключались только в распределении хлебных пайков, но с наступлением дождей бригада потребовала у своего старосты, чтобы он

раздобыл какое-нибудь помещение. Л. предложил проверить, не осталось ли свободных чердаков. Люди побойчее — а бойкость в большинстве случаев зависела от возраста — и покрепче ценили чердачные помещения: там были меньшая скученность и не такой спертый воздух. Правда, зимой их пришлось бы очистить, чтобы не замерзнуть и не сгореть у дымохода, но так далеко никто не загадывал: лагерники всегда живут ближайшими целями. Запрятавшись ночью на чердак, выгадывали несколько недель сравнительной свободы.

Вскоре нашелся подходящий чердак, где разместились человек пять шпаны, хотя там могло поместиться втрое больше. Л. с товарищами отправился на разведку. Вход оказался заколоченным досками. Одна доска поддалась. Л. сорвал ее и очутился лицом к лицу с представителем шпаны. Л. уже готовился к бою, но хозяин вежливо представился: «Архангельский»... Вступили в переговоры. Оказалось, что комендант⁶⁰⁶ предоставил этот чердак Архангельскому с товарищами.

Л. предложил пойти вместе к коменданту, на что Архангельский вежливо согласился. Комендант занял неожиданную позицию — он постарался примирить стороны. Он мог почувствовать уважение к Л., который не побоялся ввязаться в конфликт со шпаной, или же принял и его за уголовника. Он сказал: «Такое положение — надо учесть... потесниться... жилищный кризис...» Одержав победу, Л. вернулся к товарищам, чтобы выбрать среди них десяток для вселения на чердак, но они передумали и не захотели селиться со шпаной: обокрадут! Л. пробовал их уговаривать: красть у них нечего, а численностью они будут вдвое превосходить шпану, но они предпочли остаться под открытым небом.

А у Л. появился новый знакомый — при встречах они всегда раскланивались с Архангельским. Встречи обычно происходили в центре лагеря, где всегда была толкучка и шли торг и обмен.

Однажды Архангельский пригласил Л. зайти вечером на этот самый чердак, чтобы послушать стихи. Ограбления Л. не боялся — месяцами он спал не раздеваясь, и его лохмотья не соблазнили бы даже лагерного вора. У него сохранилась только шляпа, но в лагере это не ценность. Ему показалось любопытным, что это за стихи, и он пошел.

На чердаке горела свеча. Посередине стояла бочка, а на ней — открытые консервы и белый хлеб. Для голодающего лагеря это было неслыханным угощением — люди жили чечевичной похлебкой, да и той не хватало. К завтраку на человека приходилось с полстакана жижи...

Среди шпаны находился человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. Л. узнал эти стихи — то был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он спокойно ел — видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял.

После этого вечера Л., встречая Мандельштама, всегда к нему подходил. Они легко разговорились, и тут Л. заметил, что О.М. страдает не то манией преследования, не то навязчивыми идеями. Его болезнь заключалась не только в боязни еды, из-за которой он уморил себя голодом. Он боялся каких-то прививок... Еще на воле он слышал о каких-то таинственных инъекциях или «прививках», делавшихся «внутри», чтобы лишить человека воли и получить от него нужные показания...

Такие слухи упорно ходили с середины двадцатых годов. Были ли для этого какие-нибудь основания, мы, конечно, не знали. Кроме того, в ходу было страшное слово «социально опасный» — ведь ОСО в основном ссылало за потенциальную «социальную опасность»... И вот в больном мозгу это все смешалось, четвертого по счету ареста он не выдержал — и О.М. вообразил, что ему привили бешенство, чтобы действительно сделать его «опасным» и поскорее от него избавиться. Он забыл, что избавляться от людей у нас умели без всяких «прививок»...

В психиатрии Л. не понимал, но ему очень хотелось помочь О.М. Спорить с ним он не стал, но сделал вид, будто считает, что О.М. вполне сознательно и с определенной целью распространяет слухи о своем «бешенстве». Может быть, для того, чтобы его сторонились... «Но меня вы же не хотите отпугивать», — сказал Л. Хитрость удалась, и, к его удивлению, все разговоры о бешенстве и прививках прекратились.

В пересыльном лагере на работу не гоняли, но рядом, на территории, отведенной для уголовников, — по правилам пятьдесят восьмую статью как особо вредную должны были изолировать от всех прочих, но из-за перенаселения это правило

почти не соблюдалось, — шло движение: что-то разгружали и куда-то перетаскивали строительные материалы. Работающим никаких преимуществ не полагалось, им даже не увеличивали хлебного пайка, но все же находились люди, просившиеся на работу. Это те, кому надоело толкаться на пяточке пересыльного лагеря среди обезумевшей и одичавшей толпы. Им хотелось вырваться хотя бы на соседнюю, менее заселенную территорию и таким образом удлинить прогулку. И наконец, молодежь после длительного пребывания в тюрьме нуждалась в физических упражнениях. Потом, истомленные непосильным трудом стационарных лагерей, они, разумеется, не стали бы добровольно нагружать себя работой, но это была «пересылка».

Среди добровольцев оказался и Л. Этот человек не падал духом. Чем невыносимее были условия, тем сильнее оказывалась его воля. По лагерю он ходил, сжав зубы, и упорно повторял про себя: «Я все вижу и все знаю, но даже этого недостаточно, чтобы убить меня». Его помыслы были направлены на одну цель: не позволить уничтожить себя, сохранить жизнь вопреки всему.

Я хорошо знаю это чувство, потому что точно так же, сжав зубы, прожила почти тридцать лет. И поэтому я отношусь с огромным уважением к Л.: ведь я знаю, чего стоило сохранить жизнь в обычных условиях, а он поставил себе эту труднейшую задачу в лагере тридцать восьмого года и не отказался от нее в течение всех страшных лет. Он вернулся в 56 году больной туберкулезом, с безвозвратно загубленным сердцем, но все же вернулся, и психика его осталась нетронутой, и память сохранилась лучше, чем у большинства наших людей на воле.

На работу Л. взял с собой напарником О.М. Это было возможным, потому что на «пересылке» никаких норм выработки не существовало, да и сам Л. надрывать не собирался. Они грузили на носилки один-два камня, тащили их за полкилометра, а там, свалив груз, садились отдохнуть. Обратное носилки нес Л. Однажды, отдыхая на куче камней, О.М. сказал: «Первая моя книга называлась “Камень”, а последняя тоже будет камнем...» Л. запомнил эту фразу, хотя не знал названия книги О.М., и он прервал свой рассказ, спросив у меня: «А его книга действительно называлась “Камень”?» Ему было приятно,

когда я подтвердила, потому что он лишний раз на этом проверил свою память...

Вырвавшись из толпы, в сравнительном безлюдье и спокойствии территории уголовников, оба они воспряли духом. Рассказ Л. объясняет фразу из последнего письма О.М.: он пишет, что выходит на работу и это подняло настроение. Все утверждали, что в «пересылке» на работу не посылают, и я никак не могла понять, в чем дело. Все разъяснилось благодаря Л.

В начале декабря вспыхнул сыпняк, и Л. потерял О.М. из виду. Лагерное начальство приняло энергичные меры: ссыльных загнали в бараки, где сразу освободились места заболевших, заперли на замок и никуда не выпускали. По утрам барак открывался, меняли парашу, а санитары мерили всем температуру. Такая тюремная профилактика, разумеется, ни к чему не приводила, и болезнь косила людей. Заболевших переводили в изоляторы, о которых ходили чудовищные слухи. Люди пугали друг друга рассказами об изоляторах. Считалось, что живым оттуда не выйти.

На трехъярусных нарах Л. удалось занять вторую полку. Это считалось удачей, потому что внизу была постоянная толчея, а наверху невыносимая духота. Через несколько дней Л. почувствовал озноб. Чтобы согреться, он предложил обменять свое место на верхнее. Желающих нашлось много. Но и наверху озноб не прекратился, и Л. понял, что это сыпняк. Его преследовала одна мысль: переболеть в казармах и не дать утащить себя в изолятор. Он недомеривал температуру и несколько раз обманывал санитаров. Жар поднимался, и однажды он, не сумев правильно стряхнуть градусник, попался на обмане, и его унесли.

В изоляторе ему рассказали, что незадолго перед тем там побывал Мандельштам. Тифа у него не оказалось. Ссыльные врачи отнеслись к нему хорошо и даже раздобыли ему полушубок. У них образовался излишек одежды — наследство умерших, а умирали там люди как мухи. К этому времени О.М. очень нуждался в одежде, даже свое кожаное пальто он успел променять на сахар. Ему дали за него полтора кило, которые тут же украли. Л. спрашивал, куда же девался О.М., но никто этого не знал.

В изоляторе Л. провел несколько дней, пока врачи не диагностировали сыпняк. Тогда его перевели в стационар. Оказалось, что на «Второй речке» была вполне пристойная стационарная больница, двухэтажная и чистая. Ее-то и отдали под сыпной тиф. Здесь Л. впервые за много месяцев улегся на простыне, и болезнь обернулась отдыхом и сладостным ощущением неслыханного комфорта.

Выйдя из больницы, Л. узнал, что О.М. умер. Это случилось между декабрем 1938 года и апрелем 1939-го, потому что в апреле Л. уже был переведен в постоянный лагерь. Свидетелей смерти Л. не встречал и обо всем знал только по слухам. Сам он человек точный, но каковы его информаторы, сказать трудно. Рассказ Л. как будто подтверждает версию Казарновского о быстрой смерти О.М. А я делаю из него еще один вывод: так как больница была отдана под сыпной тиф, то умереть О.М. мог только в изоляторе, и даже перед смертью он не отдохнул на собственной койке, покрытой мерзкой, но неслыханно чудесной каторжной простыней.

Мне негде навести справки, и никто не станет со мной об этом говорить. Кто станет рыгаться в тех страшных делах ради Мандельштама, у которого даже книжка не может выйти?..

Погибшие и так должны радоваться, что их посмертно реабилитировали или, по крайней мере, прекратили их дела за отсутствием состава преступления. Ведь даже справочки у нас бывают двух сортов, без всякой уравниловки, и Мандельштам получил по второму... Поэтому я могу собрать только все свои скудные сведения и гадать, когда же умер Мандельштам. И до сих пор я повторяю себе: чем скорее наступает смерть, тем лучше. Ничего нет страшнее медленной смерти. Мне страшно думать, что, когда я успокоилась, узнав от почтовой чиновницы о смерти О.М., он, может, еще был жив и действительно отправлялся на Колыму в дни, когда все мы уже считали его мертвым. Дата смерти не установлена. И я бессильна сделать еще что-либо, чтобы установить ее.

Примечания

Печатаются по тексту первого издания (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970) с некоторыми исправлениями по авторизованной машинописи (собр. С.В. Василенко) и учетом позднейших поправок и примечаний, внесенных Н.М. в авторизованную машинопись (собр. В.В. Шкловской-Корди).

¹ Приведем точный текст этого фрагмента из дневника Ф.М. Достоевского за 1881 г.: «Только то крепко, подо что кровь течет». Только забыли, негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он — закон крови на земле» (*Достоевский*. Т. 27. С. 46).

² Инцидент произошел в двадцатых числах апреля 1934 г. в помещении Издательства писателей в Ленинграде. Поводом к нему послужило поведение А.Н. Толстого на общественном суде в сентябре 1932 г. в связи с конфликтом между О.М. и Амиром Саргиджаном (С.П. Бородиным), который в грубой форме отказался вернуть взятые у поэта займы деньги и устроил драку: «13 сентября в Доме Герцена, в этой цитадели литературных дискуссий, происходил вечер писателя Саргиджана. Председательствовал Алексей Толстой. Речь шла об избиении писателем Саргиджаном поэта Мандельштама и его жены. Почему уголовное дело Саргиджана должно было рассматриваться специальным литературно-общественным судом при большом стечении писателей? Разве если писатель дерется, то от этого драка делается литературным явлением? <...> На этот неправильный путь встал и общественный обвинитель т. Равич. Кого он больше обвинял — битого или бившего, разобрать трудно. Суд при общем неодобрении присутствующих писателей вынес свое решение: Саргиджана

исключить из профсоюза, но, считая необходимым оказывать поддержку молодым писателям, просить президиум горкома считать исключение условным (!)» (А.Г. Нелитературный вечер // Вечерняя Москва. 1932. 15 сентября). 27 апреля 1934 г. А.Н. Толстому было отправлено следующее письмо, подписанное М.Э. Козаковым, Н.Н. Никитиным, А.А. Прокофьевым, М.Л. Слонимским, Н.С. Тихоновым и другими членами Президиума Ленинградского Оргкомитета ССП: «Дорогой Алексей Николаевич! Президиум Ленинградского Оргкомитета с глубоким возмущением узнал о безобразном поступке, допущенном по отношению к Вам О. Мандельштамом в Изд-ве Писателей. Мы не сомневаемся в том, что хулиганская выходка встретит самое резкое осуждение со стороны всей советской писательской общественности. Вместе с тем мы с большим удовлетворением отмечаем ту исключительную выдержку и твердость, которую Вы проявили в этом инциденте. Только так и мог реагировать подлинный советский писатель на истерическую выходку человека, в котором до сих пор живы традиции худшей части дореволюционной писательской среды» (К биографии О.Э. Мандельштама / Публ. И. Флаттерова «А.И. Добкина» // Память: Историч. сб. — М., 1977; Париж: YMCA-Press, 1979. Вып. 2. С. 433).

³ Подразумевается моление о чаше — молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду (Мф 26: 36–46).

⁴ Из стихотворения А. Ахматовой «...Я знаю, с места не сдвинуться...»; речь идет о картине В.И. Сурикова «Боярыня Морозова», на которой изображена Ф.П. Морозова на пути в ссылку в Пафнутаево-Боровский монастырь.

⁵ Ордер на «арест-обыск», подписанный заместителем председателя ОГПУ Я.С. Аграновым и выданный сотруднику оперативного отдела ОГПУ Герасимову, датирован 16 мая 1934 г. (Слово и «Дело». С. 41). Арестован О.М. был в ночь с 16 на 17 мая.

⁶ Д.Г. Бродский, скорее всего (и уж вряд ли по заданию ОГПУ), присутствовал при аресте О.М. Так, 17 мая 1934 г., т. е. на следующий день после ареста О.М., А.К. Гладков записал в дневнике: «Утром пришел Лавров и передал слух, что на днях арестован О. Мандельштам. Ему об этом сказал переводчик Давид Бродский, который слышал от верных людей» (Слово и «Дело». С. 37). Но не исключено, что Бродский столь быстро

узнал об аресте просто потому, что жил с О.М. в одном подъезде. Этот эпизод позднее анализировал С.И. Липкин: «В своих умных и значительных “Воспоминаниях” Н.Я. Мандельштам полагает, что в ночь, когда ее мужа арестовали, Давид Бродский был посажен к Осипу Эмильевичу. <...> Но для чего надо было подсаживать Бродского? Гепеушники в этом не нуждались, так, насколько мне известно по рассказам пострадавших семей, никогда не делали, добыча доставалась охотникам за людьми без каких-либо забот и тягот. Я могу допустить, что Бродского вызывали, что он струхнул не на шутку, что, дрожа от страха, давал какие-то обязательства, но не было нужды в том, чтобы он стерег Мандельштама в запланированную ночь ареста. Бродский отказался бы от этого именно из-за своей трусости. Добавлю к вышесказанному, что Бродский принадлежал к тому типу людей, которые никак не в силах покинуть дом хозяев, а спешить некуда было, к тому времени однокомнатная квартира Бродского помещалась в том же подъезде дома в Нащокинском, что и квартира Мандельштамов. К тому же Бродскому, несомненно, хотелось блеснуть эрудицией перед Мандельштамом и Ахматовой, которая в ту ужасную ночь была в доме своих друзей. Я думаю, почти уверен, что, когда пришли “они”, Бродский испугался больше, чем Мандельштам, отсюда его сопение и храпение. Обвинить советского человека в стукачестве очень легко, иди проверь, ручаться нельзя ни за кого — или почти ни за кого. Такого рода обвинения надо делать крайне осторожно, а Надежда Яковлевна такую осторожность не проявила» (Липкин С. В Овражном переулке и на Тверском бульваре // Новый мир. 1994. № 2. С. 193–194). По свидетельству А.И. Рубашкина, еще до выхода в 1968 г. в «Библиотеке поэта» антологии «Мастера русского стихотворного перевода» ее составитель, Е.Г. Эткинд, ездил к Н.М. в Москву и специально расспрашивал ее об обоснованности ее подозрений в осведомительстве Бродского. Н.М. уже не настаивала на этом, и Эткинд оставил в антологии переводы Бродского (Рубашкин А. Дорогой Ефим Григорьевич... // Вопросы лит-ры. 2001. № 3. С. 255). Сам же О.М., скорее всего, думал схожим с Н.М. образом, иначе бы он на допросе от 19 мая 1934 г. не попросил вычеркнуть Бродского из перечня тех, кому читал стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...» (Слово и «Дело». С. 45).

⁷ Начало стихотворения В. Хлебникова.

⁸ Опергруппа состояла из С.Н. Вепринцева (судя по поведению, старшего в группе), Забловского и Герасимова (на его имя был выписан ордер). Понятыми были «управляющий домами» Н.И. Ильин и, по всей видимости, председатель писательского кооператива Матэ Залка (Слово и «Дело». С. 41, 51).

⁹ «Агентурно-оперативной работой по печати, зрелищам, артистам, литераторам и интеллигенции гуманитарной сферы» в Секретно-политическом отделе ОГПУ занималось четвертое отделение. Третьим Н.М. называла его по аналогии с ведомством политического сыска Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.

¹⁰ Четыре сонета, переведенные О.М. в ноябре 1933 – январе 1934 г.

¹¹ Домашнее название стихотворения О.М. «За гремучую доблесть грядущих веков...» (1931).

¹² Стихотворение О.М. «Какой-то гражданин, не то чтоб слишком пьян...» (1934).

¹³ В резолюции февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) по докладу Н.И. Ежова, принятой 3 марта 1937 г., сказано: «Еще более нетерпимым является установленный Наркомвнуделом СССР тюремный режим в отношении осужденных, наиболее злостных врагов Советской власти — троцкистов, зиновьевцев, правых, эсеров и других. Все эти враги народа, как правило, направлялись в так называемые политизоляторы, которые были подчинены Наркомвнуделу СССР. Политизоляторы находились в особо благоприятных условиях и больше походили на принудительные дома отдыха, чем на тюрьмы. В политизоляторах осужденные имели возможность тесно общаться друг с другом, обсуждать все политические события в стране, разрабатывать планы антисоветской работы своих организаций и сноситься с волей. Арестованным предоставлялось право пользоваться литературой, бумагой и письменными принадлежностями в неограниченном количестве, получать неограниченное количество писем и телеграмм, обзаводиться собственным инвентарем в камерах и получать наряду с казенным питанием посылки с воли в любом количестве и ассортименте» (Вопросы истории. 1995. № 2. С. 23).

¹⁴ См. примеч. 477 на с. 561.

¹⁵ С.Б. Рудаков из-за дворянского происхождения был выслан из Ленинграда и с марта 1935 по июль 1936 г. жил в Воронеже.

¹⁶ Э.Г. Герштейн уточняет эти сведения, которые Н.М. привела с ее слов: папки с бумагами Н.С. Гумилева отвезла С.Б. Рудакову не А. Ахматова, а ее знакомая по имени Зоя (Герштейн. С. 79).

¹⁷ См. об этом также с. 365 и примеч. 477 на с. 561.

¹⁸ Речь идет о стихотворении Н.С. Гумилева «Рабочий», в котором есть, в частности, такие строки: «Все товарищи его заснули, / Только он один еще не спит: / Все он занят отливанием пули, / Что меня с землею разлучит». Что касается О.М., то, как полагал А.А. Морозов, Н.М. имела в виду стихотворение 1916 г. «На розвальнях, уложенных соломой...», а именно строки: «По улицам меня везут без шапки, / И теплятся в часовне три свечи» (Морозов 1. С. 471).

¹⁹ Подразумевается казнь А. Шенье.

²⁰ Из «Стихов о неизвестном солдате» О.М. (1937).

²¹ *Высылка* — принудительное удаление осужденного за пределы местности, где ему запрещено проживание (гипотетически допускалась высылка без ограничения срока, так называемое вечное поселение). *Ссылка* — принудительное перемещение осужденного в местность, указанную репрессивным органом (в 1934 г. у ОГПУ было право ссылать репрессированных в местности по установленному списку на срок до трех лет).

²² В феврале 1930 г. В.А. Пяст был арестован (скорее всего, в связи с увлечением эзотерическими учениями) и обвинен в «контрреволюционной агитации и участии в контрреволюционной организации». Его выслали на три года в Северо-Западный край (жил в Архангельске, Вологде, Соколе и Кадникове), а в январе 1933 г., при пересмотре дела, он получил еще три года «с прикреплением» к Одессе (*Пяст В. Заявление в Наркомвнудел // Наше наследие. 1989. № 4. С. 100*). В марте 1934 г. он на несколько дней приезжал из Одессы в Москву.

²³ Согласно протоколу обыска-ареста от 17 мая 1934 г., вместе с паспортом у О.М. были изъяты «письма, записки с телефонами и адресами и рукописи на отдельных листах

в количестве 48 (сорока восьми) листов» (Слово и «Дело». С. 41). Местонахождение их в настоящее время неизвестно.

²⁴ Речь идет о стихотворении О.М. «Мы живем, под собою не чуя страны...» (1933).

²⁵ Приводим уточнение, принадлежащее Л.В. Глазуновой: «Мой отец никогда не был и не мог быть “крупным работником органов” по той простой причине, что его родной брат был расстрелян как “враг народа”. К тому же и брат моей матери отбыл свой срок на Беломоро-Балтийском канале. Отец жил под угрозой ареста. По должности он был старшим оперуполномоченным. И то, что его перевели на партийную работу, он считал дурным признаком, потому что и его брат был партработником перед арестом» (Бабаев. С. 323).

²⁶ Приводим описание этого эпизода из воспоминаний Л.В. Глазуновой: «Однажды я застала у «Н.Я.» новую ученицу, которую прежде у нее не видела. «...» Я видела, что новая ученица ей по душе. Она делала какие-то поразительные успехи в учении. Ей было лет за тридцать, она носила кубанку и завернутые на голенищах сапожки. Мне показалось, что я ее где-то видела, но где? В кино? Чем-то она напоминала популярную тогда актрису Кибардину. А потом я вдруг встретила ее в закрытом доме отдыха для чекистов. Я сказала Н.Я.: “Берегитесь, ваша талантливая ученица, может быть, имеет диплом института военных переводчиков!” И ученица, самозванная Кибардина, после второй встречи со мной исчезла и больше не показывалась. «...» Н.Я. была в панике. Мне пришлось долго ее успокаивать, хотя я сама не знала, чем все это может кончиться. «...» Между тем лучшая ученица в кубанке явилась к моему отцу в партком и сказала: “Ваша дочь сорвала операцию”. Но тут же выяснилось, что никто не поручал ей такой операции, потому что за Н.Я. не было тайного наблюдения. Что операция эта была ее инициативой, с помощью которой она хотела выдвинуться по службе» (Там же. С. 322).

²⁷ Н.М. имеет в виду Н.С. Омелянович-Павленко, вторую жену В.А. Пяста.

²⁸ Речь идет о кн.: Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. В.А. Пяста; ред., предисл. и примеч. Б.А. Кржевского. — Л.: ГИХЛ, 1938.

²⁹ Т.Ф. Фоогд-Стойнова, дочь третьей жены В.А. Пяста, К.И. Стояновой, действительно сохранила часть его архива.

³⁰ В.А. Пяст пробыл в Москве до 13 марта 1934 г. (*Морозов* I. С. 471).

³¹ В.А. Пяст умер 19 ноября 1940 г. в Голицыне, под Москвой.

³² С конца февраля 1934 г. Н.И. Бухарин занимал пост главного редактора газеты «Известия». Н.М. ходила к нему на прием в редакцию на Страстной (ныне Пушкинской) площади.

³³ В книге 1920 г. «Экономика переходного периода» Н.И. Бухарин утверждал: «С более широкой точки зрения, т.е. с точки зрения большего по своей величине исторического масштаба, пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи» (*Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма.* — М.: Политиздат, 1989. С. 168). А незадолго до гибели, обращаясь к «будущему поколению руководителей партии», он писал: «Ухожу из жизни. Опускаю голову не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами Средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно» (*Ларина-Бухарина А.М. Незабываемое.* — М.: Вагриус, 2003. С. 419).

³⁴ Общество «Помощи политическим заключенным» («Помполит»), председателем которого была Е.П. Пешкова, располагалось в Москве на Кузнецком мосту, 24. В задачи общества входило посещение тюрем, снабжение заключенных продовольствием, одеждою и обувью, оказание им медицинской помощи. Оно направляло в ОГПУ (НКВД) письма и заявления заключенных и ходатайствовало об их освобождении или облегчении условий их содержания. После смерти Ф.Э. Дзержинского (1926) ходатайства общества удовлетворялись все реже. А с начала 30-х годов его сотрудникам чаще всего удавалось лишь получать справки об арестованных. В середине 1937 г. по распоряжению Н.И. Ежова общество было закрыто.

³⁵ 7 июня 1934 г. Н.М. отправила М.Л. Винаверу следующую телеграмму: «Поэт Мандельштам сосланный Чердынь заболел травмопсихозом прошу содействия возвращения центр лечение» (Слово и «Дело». С. 63). А позднее, когда О.М. и Н.М. находились уже в Воронеже, Е.П. Пешкова обращалась в вышестоящие инстанции: «Просим разрешить Н. и О. Мандельштам уехать из Воронежа в Крым. После осуждения он заболел психически, и хотя в настоящее время поправился, оставить его одного в Воронеже невозможно, т. к. он подвержен травмам, образовавшимся после болезни. Она же в лето 34 г. перенесла в Воронеже сыпной тиф и дизентерию, и шансы на поправку для нее имеются только в случае переезда в Крым. Муж ее поэт и, чтобы иметь возможность литературно работать, нуждается в минимальных бытовых удобствах. Прилагает 2 справки о здоровье своем и мужа...» (Горчева А.Ю. Пресса ГУЛАГа. Списки Е.П. Пешковой. — М.: Изд-во МГУ, 2009. С. 98).

³⁶ 3 августа 1937 г. М.Л. Винавер был арестован, а 29 июня 1939 г. приговорен «к десяти годам тюремного заключения без конфискации имущества, за отсутствием такового у осужденного». В начале 1942 г. он был освобожден из лагеря по амнистии как польский подданный и скончался 29 сентября того же (по другим сведениям — 1943-го) года (Видре К. Хочу спасти от забвения (М.Л. Винавер и Политический Красный Крест) // Звезда. 2002. № 3. С. 188–189).

³⁷ По обвинению в «экономической контрреволюции» Верховный суд СССР 14 апреля 1928 г. приговорил к расстрелу бывшего председателя Московского торгово-промышленного общества взаимного кредита Л.И. Гуревича и членов правления этого общества Б.И. Кисина, Г.Е. Ратнера и А.И. Синелобова. Тот же приговор вынесли бывшему председателю правления Первого московского общества взаимного кредита Г.Ф. Винбергу и члену правления этого общества С.А. Капцову, а также бывшему ответственному работнику Наркомфина В.А. Николаевскому. Приняв во внимание, что «осужденные к расстрелу представляли тесно спаянную, явно контрреволюционную группу, действовавшую в интересах крупных собственников и в ущерб государству, суд постановил амнистии к ним не применять» («Ал. Ал.» «Взаимная» помощь частному капиталу. Приговор // Известия. 1928. 18 апреля). Исполнение приговора было

приостановлено по постановлению ЦИК СССР (Вечерняя Москва. 1928. 18 апреля). Чтобы добиться отмены этого приговора, О.М. отложил поездку в Ялту, куда должен был отправиться 18 апреля. В «Четвертой прозе» (1930) он писал о «невероятном деле спасения пятерых жизней путем умопостигаемых, совершенно невесомых интегральных ходов, именуемых хлопотами».

³⁸ Московское отделение Акционерного общества «Международная книга», созданного в 1923 г., размещалось на Кузнецком мосту, 18, в здании бывшего книжного магазина товарищества М.О. Вольф.

³⁹ Из стихотворения О.М. «1 января 1924» (1924).

⁴⁰ В дневнике М.Я. Презента сохранилась следующая запись от 17 мая 1929 г.: «Сегодня в третьем часу дня Демьян <...> и я поехали в Зубалово — Демьян к Сталину, а мы в ожидании Демьяна — в сосновый лес... Около 5 ч. Демьян вернулся, и мы покатали в город. “Сколько оптимизма в этом человеке! — рассказывал Демьян о Сталине. — Как скромно живет! Застал я его за книгой. Вы не поверите: он оканчивает вторую часть ‘Клима Самгина’. А я первую часть бросил, не мог читать. Но если б вы знали, чем он разрезает книгу! Пальцем! Это же невозможно. Я ему говорю, что если бы Сталин подлежал партийной чистке, я бы его за это вычистил из партии”» (Соколов Б.В. Сталин, Булгаков, Мейерхольд... Культура под сенью великого кормчего. — М.: Вече, 2004. С. 71). Этот дневник был изъят у владельца, скорее всего, во время обыска в сентябре 1930 г. (Большая цензура. С. 280). О знакомстве И.В. Сталина с дневником свидетельствует И.М. Гронский: «Когда встал вопрос о награждении Демьяна Бедного орденом Ленина, Сталин внезапно выступил против. Мне это было удивительно, ибо генсек всегда поддерживал Демьяна. Во время беседы с глазу на глаз он объяснил, в чем дело. Достал из сейфа тетрадочку. В ней были записаны довольно нелестные замечания об обитателях Кремля. Я заметил, что почерк не Демьяна. Сталин ответил, что высказывания подвыпившего поэта записаны неким журналистом по фамилии Президент» (Гронский И.М. Из прошлого... Воспоминания. — М.: Известия, 1991. С. 155). Приведем также отрывок из письма вождю самого Бедного от 5 апреля 1933 г.: «Что с того, что в презентовском “творчестве” на рубль лжи, а на копейку извращенной

правды? Я себе и этой копейки простить не могу: она лишила меня Вашего доверия и дружбы <...>. Презентовская бредовая мазня — <...> “стенгазета из ватерклозета”. Не в гнойной луже больного, бездарного и завистливого бумагомараки можно найти мое подлинное отображение во весь рост. И все же презентовские измышления я ставлю себе в жестокую вину. Недосмотрел!» (Большая цензура. С. 283–284).

⁴¹ 11 февраля 1935 г. М.Я. Презент был арестован по так называемому «кремлевскому делу» и умер в тюремной больнице. Д. Бедный осенью 1932 г., в порядке выселения из Кремля «лишнего элемента», был переселен в непрестижную квартиру на Рождественском бульваре, 11 апреля 1933 г., к пятидесятилетию, первым из советских поэтов получил высшую награду страны — орден Ленина, а в 1938 г. исключен из партии и Союза писателей за «моральное разложение». Его библиотеку (свыше 30 тысяч томов) приобрел ГЛМ.

⁴² Еще до истечения указанного пятнадцатилетнего срока, наряду с другими посмертными изданиями Д. Бедного, вышло пятитомное собрание его сочинений (1953–1954), а позднее, в 1963–1965 гг., — восьмитомное.

⁴³ В 1962 г. именно по инициативе А.А. Суркова Д. Бедный был посмертно восстановлен в партии.

⁴⁴ Небезынтересно, на наш взгляд, сопоставить это свидетельство с тем, что сказал о Д. Бедном сам Б. Пастернак, выступая 16 февраля 1936 г. на III пленуме Правления ССП СССР: «...Демьян Бедный не только историческая фигура революции в ее решающие моменты фронтов и военного коммунизма, он для меня и по сей день остается Гансом Саксом нашего народного движения, и Маяковский, гениальности которого я удивлялся раньше многих из вас и которого любил до обожанья, на этом участке ни в какое сравнение с натуральностью Демьяновой роли не идет. Там, где один без остатка растворяется в естественности близкого ему призвания, другой находит лишь точку приложения части своих бессмертных сил» (Пастернак. Т. 5. С. 236). Немецкого мейстерзингера Г. Сакса Б. Пастернак считал «далеким первопредшественником пролетарских и крестьянских поэтов» (Там же. С. 322).

⁴⁵ В конце апреля 1920 г. Ю.К. Балтрушайтис был назначен поверенным в делах Литовской республики в Москве.

В письме В.Я. Хазиной (май — начало июня 1921 г.) О.М. сообщил: «...Перед отъездом подаем заявление в литовскую миссию. Основания (мои бумаги) признаны *достаточными*». Э.В. Мандельштам был родом из литовского городка Жагоры (ныне Жагаре).

⁴⁶ И.С. Поступальский был арестован 27 октября 1936 г.

⁴⁷ В те годы заключенных в следственных изоляторах конвоировали на допросы следующим образом. Выйдя из камеры, заключенный по команде закладывал руки за спину. Надзиратель шел чуть сзади и, слегка придерживая его за плечо, указывал направление движения. Перед поворотом надзиратель останавливал движение и стучал ключом по металлической пряжке, предупреждая о приближении конвоируемого, чтобы один заключенный не мог увидеть другого или чего-нибудь, не предназначенного для его глаз.

⁴⁸ 10 января 1939 г. Сталин отправил руководителям партийных органов и органов НКВД шифрованную телеграмму, в которой говорилось: «ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов-крайкомов, проверяя работников УНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия к арестованным, как нечто преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. При этом было указано, что физическое воздействие допускается как исключение, и притом в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, — следовательно, продолжают борьбу с Советской властью также и в тюрьме. Опыт показывает, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа. Правда, впоследствии на практике метод физического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, Успенским и другими, ибо они превратили его из исключения в правило и стали применять его к случайно арестованным честным людям, за что они понесли должную кару. Но этим нисколько не опорочивается сам метод, поскольку он правильно применяется на практике. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата, притом

применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод. ЦК ВКП требует от секретарей обкомов, райкомов, ЦК нацкомпартий, чтобы они при проверке работников НКВД руководствовались настоящим объяснением» (http://www.memo.ru/history/y1937/hronika1936_1939/10.html).

⁴⁹ Из «Поэмы без Героя» А. Ахматовой (Ч. 3. Эпилог).

⁵⁰ Речь идет об оперуполномоченном 4-го отделения Секретно-политического отдела ОГПУ Николае Христофоровиче Шиварове. Такое же отчество носил и граф А.Х. Бенкендорф, который возглавлял III отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и осуществлял надзор за А.С. Пушкиным. Н.Х. Шиваров вел дела Н.А. Клюева, П.Н. Васильева, В.И. Нарбута, Б.А. Пильняка, И.С. Поступальского и др. писателей и поэтов.

⁵¹ *Цитата по памяти, «Разговор о Данте», с. 41. (Здесь и далее звездочкой отмечены примечания Н.Я. Мандельштам 1977 г. — Ред.)

⁵² «Рассказ Уголино — одна из самых значительных дантовских арий, один из тех случаев, когда человек, получив какую-то единственную возможность быть выслушанным, которая никогда уже не повторится, весь преображается на глазах у слушателя, играет на своем несчастье как виртуоз, извлекает из своей беды дотолле никем не слышанный и ему самому неизвестный тембр».

⁵³ Речь идет о стихотворении О.М. «Мы живем, под собою не чуя страны...».

⁵⁴ В протоколах допросов используются выражения «произведение контрреволюционного характера» и «контрреволюционный пасквиль» (Слово и «Дело». С. 45).

⁵⁵ Для строительства канала Москва—Волга им. И.В. Сталина (ныне канал им. Москвы) осенью 1932 г. был создан Дмитровлаг — крупнейшее лагерное объединение ОГПУ—НКВД.

⁵⁶ В.Н. Яхонтов покончил с собой 16 июля 1945 г.

⁵⁷ По-видимому, имеются в виду ульяновские знакомые Н.М. — Р.Е. Левина и Н.А. Кривошеина.

⁵⁸ 13 декабря 1931 г., в беседе с немецким писателем Э. Людвигом (Большевик. 1932. № 8), И.В. Сталин на его предположение о том, что «значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство страха, боязни перед Советской властью и что на этом чувстве страха в определенной мере покоится устойчивость Советской власти», ответил: «Неужели Вы думаете, что можно <...> удерживать власть и иметь поддержку миллионов масс благодаря методу запугивания, устрашения?» — и далее добавил: «Конечно, имеется некоторая небольшая часть населения, которая действительно боится Советской власти и борется с ней. <...> Всем известно, что мы, большевики, не ограничиваемся здесь устрашением и идем дальше, ведя дело к ликвидации этой буржуазной прослойки» (*Сталин И.В.* Соч. — М.: Госполитиздат, 1951. Т. 13. С. 109, 111–112).

⁵⁹ *Эльсберг Я.* Нравственный опыт эпохи // Лит. газета. 1960. 14 июля.

⁶⁰ 27 февраля 1962 г. на закрытом заседании президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР, куда поступили материалы об осведомительской деятельности Я.Е. Эльсберга, исключил его из Союза писателей, но 10 июня 1963 г. секретариат Союза писателей России, куда он обратился с апелляцией («Я служил советскому народу. А кроме того, почему же я отвечаю за все это один?»), это решение отменил (*Яневич Н.* «Е.М. Евнина» Институт мировой литературы в 1930–1970-е годы // Память. Историч. сб. — Москва, 1981; Париж, 1982: La Presse Libre. Вып. 5. С. 123; *Огрызко В.* Историческое лицо с мрачной репутацией // Лит. Россия. 2013. 19 апреля).

⁶¹ 3 февраля 1935 г. Д.С. Усов был арестован и отправлен на пять лет в Белбалтлаг за принадлежность к «немецко-фашистской контрреволюционной организации на территории СССР». По этому делу проходило еще около ста сорока человек, в том числе А.Г. Габричевский, Г.Г. Шпет и Б.И. Ярхо, которым вменили в вину «участие в составлении фашизированного Большого немецко-русского словаря» (*Нещумова Т.Ф.* О Дмитрие Усове — поэзия и правда // Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...». Стихи. Переводы. Статьи. — М.: Эллис Лак, 2011. Т. 1. С. 51–52).

⁶² *Жирмунский.

⁶³ «Меня ненавидела прислуга в Цекубу за мои соломенные корзинки и за то, что я не профессор». ЦЕКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

⁶⁴ «Попутчиками» в марксистской критике называли «отряд писателей, отражавших идеологию советской мелкобуржуазной интеллигенции, которой свойственны были значительные политические колебания, но которая тем не менее стремилась к сотрудничеству с пролетариатом» (Селивановский А. Попутчики // ЛЭ. Т. 9. Стб. 142).

⁶⁵ 28 мая 1934 г. Учетно-статистический отдел ОГПУ выписал удостоверение «гр. Мандельштам Надежде Яковлевне в том, что она следует в гор. Чердынь к месту ссылки мужа — Мандельштама» Осипа Эмильевича. Видом на жительство служить не может и подлежит сдаче в Чердынское райотделение ОГПУ» (Слово и «Дело». С. 61).

⁶⁶ *Люба Эренбург.

⁶⁷ В архиве М.А. Зенкевича (ГЛМ. Ф. 247) находится целый ряд автографов О.М.

⁶⁸ Балаханá (узб.) — легкая надстройка над первым этажом здания.

⁶⁹ Автографы или списки этого стихотворения неизвестны.

⁷⁰ 24 августа 1955 г. председатель КГБ И.А. Серов издал директиву «о порядке рассмотрения запросов граждан о судьбах репрессированных, приговоренных к высшей мере наказания», согласно которой в документах загсов дата смерти осужденного «определялась в пределах десяти лет со дня его ареста», а причина смерти указывалась «приблизительная» (Реабилитация. С. 254–255).

⁷¹ Выражение «стереть в лагерную пыль» приписывается Л.П. Берию.

⁷² Речь идет о Е.В. Поволоцкой.

⁷³ В.В. Глазунов, о котором рассказывает Н.М., занимал должность старшего уполномоченного НКВД, а затем был переведен на партийную работу. Его дочь, Л.В. Глазунова, вспоминала: «Перед смертью В.В. Глазунов написал большое письмо в ЦК. Черновики были им уничтожены. А то, что осталось, унесли с собой его сослуживцы, посетившие его вдову со скорбным визитом и попутно осуществившие быст-

рый обыск в его комнате. Но какой-то клочок черновой рукописи все же сохранился, упал за стол к стене. Там речь шла о лавине доносов, захлестнувших страну в конце 30-х годов. Не о тех признаниях, которые добывались незаконными методами на следствии, а именно о добровольных оговорах и доносах. Чем-то этот отрывок задел Н.Я. И она стала горячо говорить о праве подозреваемого или обвиняемого на любые показания и свидетельства, которые затем должны быть доказаны или опровергнуты законным путем... Тут было что-то наболевшее и даже болезненное, и я не хочу углубляться в эту тему» (*Глазунова*. С. 324). После смерти В.В. Глазунова Н.М., которая «его очень хорошо знала, добивалась знакомства с ним» и «была поражена, найдя внимание и помощь у старого чекиста», «написала о нем эпистолярный некролог», в котором, в частности, говорилось: «Это трагедия мужская и великая» (Там же. С. 323, 324). «*Последний день осужденного на смерть*» — повесть В. Гюго.

⁷⁴ В своих воспоминаниях Л.В. Глазунова пишет: «В молодости мой отец случайно попал в круг Ларисы Рейснер. Был восхищен ее красотой, умом и отвагой. Он и меня назвал в ее честь Ларисой. Она сыграла в его жизни роковую роль. Она помогла ему “выбрать путь”: записаться в партию — и “определила” его в чекисты». Далее она приводит письмо Н.И. Пушкин-Карской: «Я говорила Н.Я., что В. Глазунов, несомненно, принадлежал, вероятно, к очень небольшому числу работников НКВД, которые не утратили совести. Ведь он юным попал туда, не понимая, какого рода работа ему предстоит, и, поняв, увидел, что попал в мышеловку, из которой обратного хода нет. А жить с этим не смог...» (Там же. С. 324, 325).

⁷⁵ Речь идет о выборах в Верховный Совет СССР, которые состоялись 12 декабря 1937 г.

⁷⁶ Из стихотворения О.М. «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» (1935).

⁷⁷ Подразумевается рассказ старика о судьбе Овидия из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы».

⁷⁸ Установлена его фамилия — Попков; начальником Чердынского районного отделения ОГПУ был ст. лейтенант Разумовский (Осип Манделштам и Урал. Стихи. Воспоминания. Документы. — М.: Петровский парк, 2009. С. 15).

⁷⁹ Дата пересадки определяется из пометы под шуточным стихотворением «Один портной...», которое О.М. сочинил в этот день: «1 июня 1934. Свердловск».

⁸⁰ Бакинские комиссары, согласно версии, принятой в советской историографии, были расстреляны во время одной из остановок поезда, на котором их перевозили.

⁸¹ *Рассказ Георгия Иванова о том, что О.М. в ранней юности пытался в Варшаве покончить с собой, по-моему, не имеет ни малейшего основания, как и многие другие новеллы этого мемуариста. (Приводим упомянутый рассказ Г.И. Иванова: «Раз Мандельштам должен был срочно ехать в Варшаву. Он был влюблен (разумеется, безнадежно). И от этой поездки зависела как-то (или ему казалось, что зависела) “вся его судьба”. Было военное время, но он проявил небывалую энергию и выхлопотал все пропуска и разрешения. ...» В Варшаве с его “судьбой” произошла какая-то катастрофа — Мандельштам стрелялся, конечно, неудачно. Отлежавшись в госпитале — он вернулся в Петербург» (Иванов. С. 108). — С.В., П.Н.)

⁸² «...“Долго ли муки сея, протопоп, будет?” И я говорю: “Марковна, до самая смерти!” Она же, вздохня, отвечала: “добро, Петрович, ино еще побредем”» (Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения. — М.: ЗАО «Сварог и К», 1997. С. 99).

⁸³ Пьеса Н.Р. Эрдмана.

⁸⁴ *Мандельштам*. Т. 4. С. 439.

⁸⁵ 3 июня 1934 г. «админссылному Мандельштаму» Осипу Эмильевичу «взамен вида на жительство» было выдано удостоверение «в том, что он состоит на особом учете в Чердынском райотделении ОГПУ без права выезда за пределы г. Чердыни. Обязан явкой на регистрацию в райотделение ОГПУ каждого 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа». На обороте удостоверения имеется отметка: «Регистрирован 14/VI 1934 г.» и подпись: «Б. Абрамов» (Слово и «Дело». С. 61).

⁸⁶ Речь идет о пятидневной поездке из Москвы в Чердынь, впечатления от которой отразились в стихотворении О.М. «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...».

⁸⁷ 5 июня 1934 г. Н.М. отправила В.Я. Хазиной и А.Э. Мандельштаму телеграмму, в которой говорилось: «Ося

болен травмопсихозом вчера выбросился из окна второго этажа отделался вывихом плеча...» (Там же).

⁸⁸ Из стихотворения О.М. «Стансы» (1935).

⁸⁹ Т.В. Коломойцева, административно-ссылная дворянка из Новороссийска (*Кунтур Я.* Чердынская городская больница в 30-е годы // *Миры Осипа Манделъштама. IV Манделъштамовские чтения: Материалы междунар. науч. семинара 31 мая – 4 июня 2009 г. Пермь — Чердынь. — Пермь, 2009. С. 43).*

⁹⁰ *С.-р.

⁹¹ Этих лиц называли спецпереселенцами.

⁹² *Гендельмана.

⁹³ Авторы сборника статей «Вехи» (1909).

⁹⁴ «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, / За смолу кругового терпенья, — за совестный деготь труда...»

⁹⁵ Из стихотворения О.М. «Люблю появление ткани...» (1933): «Люблю появление ткани, / Когда после двух или трех, / А то четырех задыханий / Придет выпрямительный вздох...»

⁹⁶ Подразумевается следующий древнегреческий миф. Прекрасная жрица Ио, в которую влюбился Зевс, была превращена в корову во время ссоры, которую устроила ему его ревнивая жена Гера. Она упросила Зевса подарить ей эту корову и поручила стеречь ее Аргусу. Зевс попросил своего сына Гермеса спасти Ио. Гермес усыпил Аргуса игрой на флейте и отрубил ему голову. Узнав об этом, Гера наслала на Ио овода.

⁹⁷ В 1929 г. А.И. Моргулис перевел роман А. Дюма «Три мушкетера»; умер он 20 октября 1938 г. в Севвостлаге.

⁹⁸ См. примеч. 15 на с. 495.

⁹⁹ Баллада И.В. Гёте в переводе А.К. Толстого.

¹⁰⁰ В стихотворении «Психея! Бедная моя!..»: «Простой душе невыносим / Дар тайнослышанья тяжелый».

¹⁰¹ Речь идет о так называемой «золотой кампании» начала тридцатых годов, когда у населения в принудительном порядке по заниженным ценам скупали золото и золотые монеты, а уклонявшихся арестовывали, заставляя их родственников идти на уступки.

¹⁰² *Актер Камерного театра — Шура Румнев.

¹⁰³ Н.Х. Шиваров, например, арестованный и приговоренный к пяти годам исправительно-трудовых лагерей как

«перебежчик-шпион», в письме, отправленном из лагеря 3 июня 1940 г., незадолго до того, как принять смертельную дозу люминала, написал: «Раз не дают жить, так не будем и существовать» (Слово и «Дело». С. 29).

¹⁰⁴ *Шенгели.

¹⁰⁵ *Нарбут.

¹⁰⁶ *Петровых.

¹⁰⁷ В мае 1928 г. А.Я. Вышинский был назначен председателем Специального присутствия Верховного суда СССР на процессе «вредителей» в угольной промышленности («Шахтинское дело»).

¹⁰⁸ На допросе 18 мая 1934 г. О.М. назвал в числе тех, кому читал стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...», Н.М., А.Э. Мандельштама, Е.Я. Хазина, Э.Г. Герштейн, А.А. Ахматову, Л.Н. Гумилева, Д.Г. Бродского и Б.С. Кузина. На следующий день к этому списку были добавлены М.С. Петровых и В.И. Нарбут, а Д.Г. Бродский из него вычеркнут (Там же. С. 45).

¹⁰⁹ Приводим эти слова О.М. из протокола допроса, состоявшегося 25 мая 1934 г.: «Кузин Б.С. отметил, что эта вещь является наиболее полнокровной из всех моих вещей, которые я ему читал за последний 1933 год. Хазин Е.Я. отметил вульгаризацию темы и неправильное толкование личности как доминанты исторического процесса. Александр Мандельштам, не высказываясь, укоризненно покачал головой. Герштейн Э.Г. похвалила стихотворение за его поэтические достоинства. <...> Нарбут В.И. сказал мне: “Этого не было”, — что должно было означать, что я не должен никому говорить о том, что я ему читал этот пасквиль. Петровых <...> записала этот пасквиль с голоса и похвалила вещь за высокие поэтические качества. Лев Гумилев — одобрил вещь неопределенно-эмоциональным выражением вроде “здорово”, но его оценка сливалась с оценкой и его матери Анны Ахматовой, в присутствии которой эта вещь ему была зачитана». А на вопрос о ее оценке стихотворения добавил: «Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на “монументально-лубочный и вырубленный характер” этой вещи» (Там же. С. 46–47).

¹¹⁰ «Мандельштам стал мне рассказывать, как страшно было на Лубянке. Я запомнила только один эпизод, переданный

мне Осипом с удивительной откровенностью: — Меня подняли куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек. Я упал на пол. Бился... вдруг слышу над собой голос: “Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно?” Я поднял голову. Это был Павленко» (*Герштейн*. С. 65).

¹¹¹ Стихотворения О.М. «Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым...» (1933) и «Квартира тиха, как бумага...» (1933). Первое из них, записанное Н.Х. Шиваровым со слов О.М. и подписанное им, приложено к протоколу допроса поэта от 25 мая 1934 г.

¹¹² *Где получил Тарасенков текст «Квартиры»? Может, и там...

¹¹³ В настоящее время этот автограф находится в РГАЛИ (Ф. 1893. Оп. 3. Ед. хр. 1).

¹¹⁴ *Лева Бруни.

¹¹⁵ *Люлю Аренс.

¹¹⁶ *Шенгели.

¹¹⁷ *Маргулис.

¹¹⁸ Ср. последнюю строфу «Стансов» О.М., написанных в мае 1935 г.: «И не ограблен я, и не надломлен, / Но только что всего переогромлен... / Как “Слово о полку” струна моя туга, / И в голосе моем после удушья / Звучит земля — последнее оружие, / Сухая влажность черноземных га!» — со следующими строками из поэмы Л.М. Длигача «Речь о деревне»: «Я в жизни шел сквозь все снега, / Я вижу: в миллионы га / Расчерчена страна. / Я в песне познаю врага: / Его последняя струна / Еще туга» (Новый мир. 1935. № 2. С. 49).

¹¹⁹ В 1926 г. в газете «Киевский пролетарий» (ред. А.Д. Зильберберг) были напечатаны очерки О.М. «Березиль» (7 мая) и «Сухаревка» (16 мая). А ранее, 13 января 1924 г., в киевской газете «Красная армия», где работал Л.М. Длигач, появилась статья О.М. «Над красноармейскими рукописями».

¹²⁰ Д.М. Бутман.

¹²¹ О.М. вел в газете «Литературную страницу», в сентябре — октябре 1929 г. вышло семь ее выпусков (*Нерлер П.* Осип Мандельштам в «Московском комсомольце» // Лит. учеба. 1982. № 4. С. 125–130).

¹²² *Эрдман.

¹²³ Речь идет о рассказе А.Я. Яшина «Рычаги», одном из первых произведений, открывших период «оттепели» в литературе (Лит. Москва. — М.: Худ. лит-ра, 1956. Вып. 2).

¹²⁴ *Тышлера.

¹²⁵ Дело О.М. было пересмотрено после того, как Н.И. Бухарин отправил И.В. Сталину недатированное письмо, в котором среди прочего говорилось: «О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался(!) с Алексеем Толстым, которому нанес “символический удар” за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену. Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены Мандельштама», что он психически расстроен, пытался выбраться из окна и т. д. Моя оценка О. Мандельштама: он — первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он — безусловно не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т. д. Т.к. ко мне все время апеллируют, а я не знаю, что́ он и в чем он “наблудил”, то я решил тебе написать и об этом. <...> P.S. О Мандельштаме пишу еще раз <...>, потому что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама — и никто ничего не знает». Сталин наложил на письмо резолюцию: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...» (Слово и «Дело». С. 62; см. также факсимильное воспроизведение этого письма на вкладке к изданию). Попытку самоубийства О.М., как следует из телеграммы Н.М., отправленной 5 июня (см. примеч. 87 на с. 506), совершил 4 июня. А 5 июня начальник Секретно-политического отдела ОГПУ Г.А. Молчанов потребовал «немедленной экспертизой психиатров проверить психическое состояние высланного в Чердынь Мандельштама Осипа Эмильевича» (Там же). Следовательно, как само письмо Бухарина, так и резолюция на нем Сталина и знаменитый его разговор с Б. Пастернаком, на который вождя подвигла приписка Бухарина о «полном умопомрачении» поэта «от ареста» О.М., датируются тем же 5 июня 1934 г. 9 июня в Свердловск за подписью все того же Молчанова было отправлено еще одно распоряжение: «...Немедленно переведите Мандельштама в Свердловск, поместите в больницу

для исследования психического состояния. Результат телеграфьте». А на следующий день Особое совещание при Коллегии ОГПУ постановило: «Во изменение прежнего постановления — Мандельштам» Осипа Эмильевича лишить права проживания в Московской, Ленинградской обл., Харькове, Киеве, Одессе, Ростове н/Д, Пятигорске, Минске, Тифлисе, Баку, Хабаровске и Свердловске на оставшийся срок» (Там же. С. 63). Именно это постановление Н.М. и назвала *приговором «минус двенадцать»*.

¹²⁶ Хлопоты о том, чтобы соответствующее подтверждение было отправлено, взял на себя Е.Я. Хазин, о чем свидетельствует посланная им в Чердынь 13 мая телеграмма: «Обеспечен отсутствием телеграмм. Замена подтверждена» (Там же).

¹²⁷ Судя по отметке о единственной регистрации на обороте удостоверения, выданного О.М. Чердынским районным отделением ОГПУ, это произошло 14 июня (Там же. С. 61).

¹²⁸ Д.Н. Леонов работал не в тюремной, а в одной из городских больниц Воронежа.

¹²⁹ Сохранилась телеграмма от 16 июня 1934 г., отправленная Н.М. из Перми Е.Я. Хазину: «Едем Казань пароходом местожительство Воронеж состояние хорошее» (Там же).

¹³⁰ Исторически это не так: депортации были достаточно распространенной формой репрессий. Но именно в XX в., начиная с Балканских войн 1912–1913 гг., предшествовавших Первой мировой войне, они приобрели качественно новый размах и систематичность, ранее практически не встречавшиеся: в одном только СССР до 1953 г. внутрисоюзными депортациям было подвергнуто более 6 млн человек. В отдельных случаях депортации являлись не столько репрессиями как таковыми, сколько их этапами, предшествовавшими геноциду (Полян П. Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. — М.: ОГИ; Мемориал, 2001).

¹³¹ Массовое выселение из Ленинграда так называемых «бывших людей» — не только бывших дворян, но и бывших фабрикантов, домовладельцев, чиновников, «церковников», офицеров армии и флота, жандармов, полицейских и т.д. — происходило в марте 1935 г. Выселяемых отправляли из Ленинграда на три года в другие города по их собственному выбору. Но вернуться в родной город им было крайне трудно, так как Ленинград шел вторым в списке из двенадцати крупнейших

городов («минус двенадцать»), запрещенных к последующему проживанию для большинства тех, кто был подвергнут этому типу репрессии. Основанием для ее применения служил циркуляр Управления НКВД по Ленинградской области от 27 февраля 1935 г. «О выселении контрреволюционного элемента из Ленинграда и пригородных районов». На его исполнение отводился один месяц. Всего Особое совещание при НКВД осудило к высылке свыше 11 тыс. «бывших людей», в числе которых 4833 человека являлись «главами семей», а из них 1434 были дворянами (Там же. С. 86–87).

¹³² «Для всех народов бывает период сильной, страстной, бессознательной деятельности. Люди блуждают тогда и телом и духом» (Чаадаев П.Я. Сочинения и письма: «В 2 т.». — М.: Путь, 1914. Т. 2. С. 7).

¹³³ «Посмотрите вокруг себя. Все как будто на ходу. Мы все как будто странники» (Там же. С. 6).

¹³⁴ 27 декабря 1932 г., «в целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях (...), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов», а проще говоря, от крестьян, бежавших во время коллективизации, — было принято постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Жителям села паспорта не полагались, а справки на выезд в город выдавались только с согласия правления колхоза. Паспортизация сельской местности началась лишь в семидесятые годы.

¹³⁵ Карточная система, в первую очередь на хлеб, а затем и другие виды продовольствия, стала внедряться еще с конца 1928 г. и к началу 1930 г. большая часть продуктов питания и промышленных товаров распределялась по карточкам, причем крестьянам и лишенным политических прав (лишенцам), т.е. более 80% населения страны, их не выдавали. Карточки отоваривались через системы закрытых распределителей (ЗР), закрытых рабочих кооперативов (ЗРК) и отделов рабочего снабжения (ОРС).

¹³⁶ В июне 1934 г. это ведомство именовалось ОГПУ, название МГБ оно получило в 1946 г.

¹³⁷ Из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»: «Добро, строитель чудотворный! — / Шепнул он, злобно задрожав, — / Ужо тебе!..»

¹³⁸ О чем расстреле идет речь, не установлено. Я.Г. Блюмкин был расстрелян 3 ноября 1929 г., Ф.М. Конар (Конрад) — 12 марта 1933 г.

¹³⁹ Из черновика стихотворения О.М. «О этот воздух, смутой пьяный...» (1916): «О государстве слишком раннем / Еще печалится земля — / Мы в черной очереди станем / На черной площади Кремля».

¹⁴⁰ «1918 год. Мирбах еще не убит. Советское правительство еще коалиционное — большевики и левые эсеры. И вот в каком-то реквизированном московском особняке идет “коалиционная” попойка. <...> Все пьяны, Мандельштам тоже навеселе. <...> Но вдруг улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянной... <...> С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. <...> Это Блюмкин, левый эсер. <...> Это чекист, расстрельщик, страшный, ужасный человек... <...> Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги — какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом, так же тяжело, но уверенно, достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров... <...> ...Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. И печать приложена. <...> Остается только вписать фамилии и... И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно поднимается карандаш пьяного чекиста. <...> И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, хватывает ордера, рвет их на куски. Потом, пока еще ни Блюмкин, ни кто не успел опомниться, — опрометью выбегает из комнаты, катится по лестнице и дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам...» (Иванов. С. 109–111).

¹⁴¹ Этот инцидент произошел в начале октября 1920 г., когда О.М. и И.Г. Эренбург вернулись из Грузии: «Вечером мы пошли в Дом печати: я увидел многих знакомых. <...> Несколько огорчил нас инцидент с Мандельштамом. Он сидел в другом углу комнаты. Вдруг вскочил Блюмкин и завопил: “Я тебя

сейчас застрелю!» Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмильевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки Блюмкина, и все кончилось благополучно» (*Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь: Воспоминания: В 3 т. — М.: Сов. писатель, 1990. Т. 1. С. 323*).

¹⁴² Из стихотворения Н.С. Гумилева «Мои читатели».

¹⁴³ В середине 1918 г. Я.Г. Блюмкин получил предложение организовать в ВЧК отделение по борьбе с международным шпионажем.

¹⁴⁴ Речь идет о Л. Сорокиной.

¹⁴⁵ 18–20 октября 1905 г. в Киеве произошел еврейский погром.

¹⁴⁶ Переезд правительства из Петрограда в Москву состоялся в марте 1918 г.

¹⁴⁷ Одно из популярных в те годы у поэтов и писателей кафе (*Видгоф. С. 107*).

¹⁴⁸ Приводим эти показания, данные Ф.Э. Дзержинским 10 июля 1918 г. Особой следственной комиссии, которая выясняла причастность Я.Г. Блюмкина к убийству В. Мирбаха: «За несколько дней, может быть за неделю, до покушения я получил от Раскольниковца и Мандельштама (в Петрограде работает у Луначарского) сведения, что этот тип в разговорах позволяет себе говорить такие вещи: “Жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку — через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гражданин Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор”, но, если собеседнику нужна эта жизнь, он ее “оставит” и т.д. Когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что, если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами» (*Красная книга ВЧК: В 2 т. 2-е изд. — М.: Политиздат, 1989. Т. 1. С. 257*). А.А. Морозов установил точную дату визита О.М. к Ф.Э. Дзержинскому: 1 июля 1918 г. (*Морозов I. С. 482*).

¹⁴⁹ Ф.К. Пусловский, арестованный в середине июня 1918 г. и приговоренный к смертной казни, был освобожден Ф.Э. Дзержинским по настоянию Г.В. Чичерина (*Видгоф. С. 106*).

¹⁵⁰ Об этом см. на с. 194.

¹⁵¹ Речь идет о подписи В.В. Маяковского к рисунку «Праща» из папки-альбома «Герои и жертвы революции», изданной

в 1918 г. Отделом изобразительных искусств Наркомпроса в Петрограде: «Довольно поотносились ласково, / заждались Нева, Фонтанка и Мойка. / Прачка! Буржуя иди прополаскивать! / Чтоб был белее, в Неве промой-ка!» (Кацис Л. Русский еврей Осип Манделъштам и еврейский Киев: взгляд Н.Я. Манделъштам (из комментариев к киевским текстам О. Манделъштама и «Второй книге» Н.Я. Манделъштам) // Материалы XV ежегодной междунар. междисцип. конф. по иудаике. Ч. 2. — М.: Сэфер; Ин-т славяноведения РАН, 2008. С. 411).

¹⁵² Приводим рассказ об этом З.Н. Пастернак: «Как-то днем приехала машина. Из нее вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным “преступникам” — Тухачевскому, Якиру и Эйдеману. Первый раз я увидела Борю рассвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват, и кричал: “Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнь людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане...” «...» Слухи об этом происшествии распространились. Борю вызвал тогдашний председатель Союза писателей Ставский. Что говорил ему Ставский — я не знаю, но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко и у него как гора с плеч свалилась» (Пастернак З. Воспоминания. — М.: Классика-XXI, 2006. С. 76–77). Однако под письмом писательской общественности «Не дадим житья врагам Советского Союза» подпись Пастернака все-таки поместили (Лит. газета. 1937. 15 июня) — как объяснил ему позднее В.П. Ставский, по редакционной ошибке. Пастернак потребовал опровержения, но его не напечатали. «Когда пять лет назад, — писал он К.И. Чуковскому 12 марта 1942 г., — я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно, он кричал: “Когда кончится это толстовское юродство?”» (Пастернак. Т. 11. С. 266).

¹⁵³ В начале апреля 1921 г. Л.М. Рейснер и Ф.Ф. Раскольников выехали в Афганистан, куда он был назначен послом. В мае 1923 г. Рейснер вернулась в Москву.

¹⁵⁴ В 1898–1903 гг. М.А. Рейснер состоял экстраординарным профессором юридического факультета Томского университета.

¹⁵⁵ В книге «Самопознание» Н.А. Бердяев писал: «Раскол, характерный для русской истории, раскол, нараставший весь XIX век, бездна, развернувшаяся между верхним утонченным культурным слоем и широкими кругами, народными и интеллигентскими, привели к тому, что русский культурный ренессанс провалился в эту раскрывшуюся бездну. Революция начала уничтожать этот культурный ренессанс и преследовать творцов культуры» (Бердяев. С. 178).

¹⁵⁶ О своих поездках в Москву к В.И. Ленину с хлопотами о судьбе арестованных по «Таганцевскому делу» М. Горький рассказывал осенью 1921 г. Б.П. Сильверсману (*Тименчик Р.Д.* По делу № 214224 // Даугава. 1990. № 8. С. 119–120). Известен также подобный рассказ, записанный со слов М.Л. Слонимского А.К. Станюковичем в августе 1966 г.: «Горький немедленно после ареста Гумилева поехал в Москву просить за него перед Лениным. Вернулся радостный: Ленин пообещал, что Гумилева помилуют. И вот через некоторое время Горький появился в комнатах “Всемирной литературы” в слезах. Он поминутно вытирал глаза платком. От него мы узнали о том, что Гумилев расстрелян. В моей памяти с математической точностью отпечатались его слова тогда: “Этот Гришка Зиновьев задержал ленинские указания”» (Там же. С. 122).

¹⁵⁷ В деле Н.С. Гумилева находится следующее недатированное письмо, зарегистрированное в Петрогубчека 4 сентября 1921 г.: «В Президиум Петроградской Губернской Чрезвычайной Комиссии. Председатель Петербургского Отделения Всероссийского Союза Поэтов, член редакционной коллегии Государственного Издательства “Всемирная Литература”, член Высшего Совета Дома Искусств, член Комитета Дома Литераторов, преподаватель Пролеткульта, профессор Российского Института Истории Искусств Николай Степанович Гумилев арестован по ордеру Губ. Ч.К. в начале текущего месяца. Ввиду деятельного участия Н.С. Гумилева во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы, нижепоименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н.С. Гумилева под их поручительство. Председатель

Петроградского отдела Всероссийского Союза Писателей А.Л. Вольтский. Товарищ председателя Петроградского отделения Всероссийского Союза Поэтов М. Лозинский. Председатель Коллегии по Управлению Домом Литераторов Б. Харитон. Председатель Петропролеткульта А. Маширов. Председатель Высшего Совета “Дома Искусств” М. Горький. Член Издательской Коллегии “Всемирной Литературы” *Ив. Ладыжников* (*Шенталинский В.А.* Преступление без наказания: Документальные повести. — М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 269; на с. 270 приводится факсимиле этого письма).

¹⁵⁸ В.И. Ленину с просьбой хлопотать о Н.С. Гумилеве звонил А.В. Луначарский, о чем вспоминал его бывший секретарь А.Э. Колбановский (запись 1 декабря 1986 г.): «Однажды в конце августа 1921 г. около 4 часов ночи раздался звонок. Я пошел открывать дверь и услышал женский голос, просивший срочно впустить к Луначарскому. Это оказалась <...> Мария Федоровна Андреева. Она просила срочно разбудить Анатолия Васильевича. <...> Когда Луначарский проснулся <...>, она попросила немедленно позвонить Ленину: “Медлить нельзя. Надо спасти Гумилева. Это большой и талантливый поэт. Дзержинский подписал приказ о расстреле целой группы, в которую входит и Гумилев. Только Ленин может отменить его расстрел”. <...> Когда Ленин взял трубку, Луначарский рассказал ему все, что только что узнал от Андреевой. Ленин некоторое время молчал, а потом произнес: “Мы не можем целовать руку, поднятую против нас”, — и положил трубку. Луначарский передал ответ Ленина Андреевой в моем присутствии» (*Жизнь Николая Гумилева (Воспоминания современников)*. — Л.: Изд-во Международного фонда истории науки, 1991. С. 274).

¹⁵⁹ А.А. Морозов предполагал, что речь здесь идет об обстоятельствах ареста А.М. Щастного, и ссылаясь на рассказ о Л.М. Рейснер в мемуарах Г. Иванова (*Морозов I*. С. 482): «Потом я только слышал о ней. Слышал разное. <...> О капитане Щастном, которого кормила завтраком и развлекала милой болтовней, куда шли последние приготовления к его “суду” и расстрелу» (*Иванов*. С. 149). Однако, по свидетельству профессора С.С. Шульца, знавшего Л.М. Рейснер, она пыталась Щастного спасти (*Пржиборовская Г.А.* Лариса Рейснер. — М.: Мол. гвардия, 2008. С. 238).

¹⁶⁰ В ноябре — декабре 1922 г. Л.М. Рейснер писала матери о Н.С. Гумилеве: «Если бы перед смертью его видела — все ему простила бы, сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его...» (Там же. С. 409).

¹⁶¹ Ф.Ф. Раскольников был вторично введен в редколлегия «Красной нови» летом 1927 г., после того как А.К. Воронский вынужден был оттуда уйти. Однако эпизод с телеграммами относится, скорее всего, к более раннему периоду, когда в мае 1924 г. ЦК РКП(б) поручил Раскольникову укреплять «не вполне марксистскую» позицию журнала, в редколлегии которого он проработал до февраля 1925 г.

¹⁶² В середине 1924 г. О.М. отправил «Шум времени» А.К. Воронскому для публикации в журнале «Красная новь» или в издательстве «Круг», но публикация не состоялась, и книга вышла в апреле 1925 г. в кооперативном издательстве «Время», главным редактором которого был Г.П. Блок.

¹⁶³ Речь идет о журнале «Рудин» (1915–1916), во главе которого стоял М.А. Рейснер, а Л.М. Рейснер деятельно ему помогала.

¹⁶⁴ Как и сама Л.М. Рейснер, ее мать, Е.А. Рейснер-Пахомова, тоже заразилась брюшным тифом и находилась на лечении в той же больнице; умерла от рака через год после смерти дочери.

¹⁶⁵ О письме Н.И. Бухарина И.В. Сталину см. примеч. 125 на с. 510. 27 августа 1936 г. Бухарин, обращаясь к членам Политбюро ЦК ВКП(б) и А.Я. Вышинскому, писал, что к нему «ходило и ходит много всякого народу с разными просьбами, жалобами и т. д.», и добавлял: «Людям такого типа, как я или Радек, иногда трудно просто вытолкать публику, которая приходит: это подчас роняет престиж человека, точно он безмерно трусит (“как бы чего не случилось”). Ко мне, например, приходили в свое время просить за О. Мандельштама (Б. Пастернак. Дело решил тов. Сталин)... <...> Всюду и везде я буду настаивать на своей полной и абсолютной невинности...» (Письма Н.И. Бухарина последних лет) Август — декабрь 1936 г. // Источник. 1993. № 2. С. 12).

¹⁶⁶ С декабря 1926 до апреля 1929 г. Н.И. Бухарин был генеральным секретарем Исполкома Коминтерна; *серый*

дом — здание Коминтерна на Воздвиженке (тогда ул. Коминтерна).

¹⁶⁷ См. примеч. 37 на с. 498.

¹⁶⁸ Книга О.М. «Стихотворения» (М.; Л.: ГИЗ) вышла в мае 1928 г.

¹⁶⁹ Из стихотворения О.М. «1 января 1924».

¹⁷⁰ *Prioritas dignitatis* (лат.) — первенство по достоинству. Речь идет о следующем диалоге из книги А.И. Герцена «С того берега»: «Глухое брожение, волнующее народы, происходит от голода. Будь пролетарий побогаче, он и не подумал бы о коммунизме. Мещане сыты, их собственность защищена, они и оставили свои попечения о свободе, о независимости; напротив, они хотят сильной власти, они улыбаются, когда им с негодованием говорят, что такой-то журнал схвачен, что того-то ведут за мнение в тюрьму. Все это бесит, сердит небольшую кучку эксцентрических людей; другие равнодушно идут мимо, они заняты, они торгуют, они семейные люди. Из этого никак не следует, что мы не вправе требовать полнейшей независимости; но только не за что сердиться на народ, если он равнодушен к нашим скорбям. — Оно так, но, мне кажется, вы слишком держитесь за арифметику; тут не голодный счет важен, а нравственная мощь, в ней большинство достоинства» (Герцен. Т. 6. С. 97). К заключительным словам Герцен сделал следующее примечание: «Августин употребил выражение *prioritas dignitatis*; большинство здесь является производным от “большинствовать” — брать перевес, первенствовать влиянием».

¹⁷¹ «Франция не была готова для республики... Но Временное правительство, облеченное страшной диктатурой, опираясь на Париж, могло действительно стать во главу движения и вести народ, воспитывая его учреждениями, а не подвергая кровавым потрясениям, которыми он вырабатывается теперь» (Герцен А.И. Письма из Франции и Италии. 1847–1852 // Герцен. Т. 5. С. 159).

¹⁷² ЗиФ — государственно-акционерное издательское общество «Земля и фабрика», образованное в 1922 г., в 1930 г. вошло с состав ГИХЛ.

¹⁷³ Эти слова О.М., сказанные А. Ахматовой в феврале 1934 г. (Листки из дневника. С. 112), вошли в ее «Поэму без

Героя» (Ч. 1. Гл. 1): «На площадке две слитые тени... / После — лестницы плоской ступени, / Вопль: «Не надо!» и в отдалении / Чистый голос: «Я к смерти готов»».

¹⁷⁴ Рассказ об этом визите содержится в письме О.М. к отцу (ранняя весна 1923 г.): «Он был очень внимателен и сегодня говорит по телефону с Зиновьевым о Жене. Обещал сделать все возможное и предложил мне систематически поддерживать с ним связь. Он сказал, между прочим: “Я не могу дать поручительства... На днях ЦК запретил это делать своим членам. Остается только окольный путь”. Потом он сказал: “Возьмите его на поруки вы (то есть — я?), вы человек известный (?)”. Завтра я узнаю у Бухарина, как отнесся Зиновьев к его просьбе и какие “auspicii”: виды на будущее (выражение Бухарина)».

¹⁷⁵ *Не выходили.

¹⁷⁶ Герой баллады И.В. Гёте «Ученик чародея» заставляет метлу таскать воду и, не зная, как ее унять, обращается за помощью к своему учителю.

¹⁷⁷ Персональная пожизненная пенсия в размере 200 р. была назначена О.М. 23 марта 1932 г. на основании постановлений СНК СССР от 30 мая 1928 и 3 августа 1930 г. (АМ. В. 4. Ф. 1. С. 1). О хлопотах Н.И. Бухарина в связи с устройством поездки О.М. в Армению см. примеч. 423 на с. 554).

¹⁷⁸ Хлопоты о предоставлении А. Ахматовой пенсии начались не позднее 1925 г., и в 1928 г. ей была назначена персональная пенсия в размере 75 руб.

¹⁷⁹ С 4 по 14 августа 1920 г. О.М. по «подозрению в принадлежности (...) к партии коммунистов-большевиков» находился под арестом в тюрьме Феодосийского наблюдательного пункта Особого отдела штаба Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России (Зарубин В. Арест Осипа Мандельштама в Феодосии в 1920 г. // Сохрани мою речь. Вып. 4/1. С. 139). 12 сентября того же года тифлисская газета «Слово» сообщила об аресте О.М. в Батуме в связи с недоразумениями с визой (Тименчик Р. Осип Мандельштам в Батуми в 1920 году // Там же. Вып. 3/2. С. 147), и только в начале октября 1920 г. он вернулся в Петроград.

¹⁸⁰ М. Горький был в то время председателем петроградской Комиссии по улучшению быта ученых (ПетроКУБУ), созданной в январе 1920 г.

¹⁸¹ Из стихотворения О.М. «У нашей святой молодежи...» (1933).

¹⁸² Речь идет о публикации, которая состоялась в журнале «Москва» (1964. № 8).

¹⁸³ Последняя прижизненная публикация стихотворений О.М. появилась в «Лит. газете» 23 ноября 1932 г.

¹⁸⁴ Гостиница «Центральная», которая располагалась на просп. Революции, 44; здание сохранилось (Осип Мандельштам в Воронеже. С. 80).

¹⁸⁵ Как вспоминает Н.Е. Штемпель, О.М. был на приеме у С.С. Сергиевского (Там же. С. 82).

¹⁸⁶ 14 марта 1922 г. В.Б. Шкловский, опасаясь возможного ареста в связи с кампанией преследования эсеров, бежал в Финляндию. В.Г. Шкловская-Корди, была арестована в качестве заложницы 22 марта и освобождена не позднее 18 сентября 1922 г. (В.Б. Шкловский: Письма М. Горькому (1917–1923 гг.) // De Visu. 1993. № 1. С. 34, 43).

¹⁸⁷ Из стихотворения Н.С. Гумилева «Слово»: «В оный день, когда над миром новым / Бог склонял лицо Свое, тогда / Солнце останавливали словом, / Словом разрушали города».

¹⁸⁸ Подразумевается стихотворение О.М. «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...».

¹⁸⁹ Н.М. находилась на лечении в инфекционной клинике, которая располагалась в Воронеже по адресу: ул. Фридриха Энгельса, 72 (Осип Мандельштам в Воронеже. С. 83).

¹⁹⁰ Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», принятое по инициативе И.В. Сталина, предусматривало «за хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества» расстрел или лишение свободы на срок не ниже десяти лет с конфискацией всего имущества. Широкое огульное применение этого закона, когда колхозников судили, как писал А.Я. Вышинский, «за кочан капусты, взятый для собственного употребления <...>, за несколько колосьев», снискало ему печальную славу «закона о трех колосках».

¹⁹¹ Этот дом находился в Привокзальном поселке, на ул. Федеративной (ныне ул. Урицкого).

¹⁹² В.А. Жуковский в поэме «Две были и еще одна» использовал стихотворный перевод рассказа немецкого писателя И.П. Гебеля «Kannitverstan» (сокращенное и искаженное от «Ik kan niet verstaan» (голл.) — я вас не понимаю). Так отвечает в поэме некий голландец на вопрос приезжего немца, кому принадлежит один из богатых домов в Амстердаме, а вопрошавший по незнанию языка принимает этот ответ за фамилию домовладельца.

¹⁹³ Речь идет о Е.П. Вдовине, который жил по адресу: ул. 2-я Линейная, 4; дом сохранился, современный его адрес: пер. Швейников, 4б.

¹⁹⁴ Из стихотворения О.М. «Я живу на важных огородах...» (1935): «За стеной обиженный хозяин / Ходит-бродит в русских сапогах»; С.Б. Рудаков писал жене 17 апреля 1935 г.: «У Мандельштама» — тревоги — «...» ссоры с хозяином» (Письма Рудакова. С. 42).

¹⁹⁵ Н.Е. Штемпель писала, что Е.П. Вдовин был «незаярым человеком и единственный его недостаток — пристрастие к вину»: «Следует иметь в виду, что, по словам соседей, совладелец Вдовина по дому относился к нему враждебно и после войны по его доносу Е.П. был арестован. Возможно, этот второй хозяин дома доносил и на Мандельштама» (*Штемпель Н.Е.* Воронежские адреса Мандельштама / Публ. П. Нерлера // Лит. учеба. 1991. Кн. 1. С. 177–178).

¹⁹⁶ Эта комната располагалась на втором этаже углового двухэтажного дома по пр. Революции (угол ул. 25 Октября); дом не сохранился.

¹⁹⁷ Речь идет о воронежском литераторе Панове.

¹⁹⁸ В то время это ведомство называлось ГУГБ НКВД.

¹⁹⁹ Выступление В.Н. Яхонтова, о котором пишет Н.М., состоялось 23 марта 1935 г. в зале воронежского Музтехникума. Актер представил композиции «Петербург» и «Пушкин» (Летопись жизни Мандельштама. С. 440).

²⁰⁰ 29 марта 1936 г. В.П. Ставский, в то время ответственный секретарь Правления ССП СССР, отправил Н.М. следующее письмо: «Правление ССП СССР просит Вас предоставить во временное пользование одну из комнат Вашей квартиры — писателю тов. Костареву Н.К. — сроком 8–9 месяцев» (Слово и «Дело». С. 82).

²⁰¹ Подразумевается не Е.П. Вдовин, хозяин второй квартиры, которую снимал О.М. в Воронеже, а Панов, к которому он переехал от Вдовина.

²⁰² Известно ее имя: Наталья.

²⁰³ Из тамбовского санатория для нервнобольных О.М. вернулся в Воронеж 5 января 1936 г. А 10 января того же года С.Б. Рудаков писал жене: «...Пановы заняли Оськину комнату. Он на них к прокурору, а они на него пасквилянством. Живет Оська у Пескова — это один из подъемовцев» (Письма Рудакова. С. 122). Редакция газеты «Коммуна», журнала «Подъем» и Воронежское отделение ССП СССР располагались на пр. Революции, 39 (дом сохранился).

²⁰⁴ Конфликт был улажен 13 января: «Прибежал Панов в Союз с раскаянием: “клянется, что ‘больше не будет’”... Завтра водворенье» (Там же. С. 124).

²⁰⁵ Известны только ее имя и отчество: Пелагея Герасимовна и воронежский адрес: ул. 27 февраля, д. 50, кв. 1. О.М. и Н.М. поселились у нее осенью 1936 г.

²⁰⁶ Имеется в виду кн.: *Marguerite V.* Вавилон / Пер. Н. Хазиной. — М.: Гослитиздат, 1935. С тем же издательством, главным редактором которого был в то время И.М. Беспалов, Н.М. заключила также договор на перевод книги Ш. О'Фаолейна «Гнездо простых людей».

²⁰⁷ Сохранилось следующее недатированное письмо А.И. Старцева Н.М.: «Многоуважаемая тов. Мандельштам! Простите за задержку в ответе. Книгу Фаолана редакция считает возможным перевести без купюр. Отметки в тексте, видимо, сделаны лицом, первоначально предполагавшим переводить книгу. Редакция просит Вас прислать образец перевода (приблизительно 1–2 листа) для того, чтобы ведущий редактор имел представление о принятой Вами для данной книги методике перевода. Таково общее правило, проводимое редакцией в настоящее время. А. Старцев» (АМ. В. 4. Ф. 4. С. 1).

²⁰⁸ О'Фаолэйн Ш. Гнездо простых людей / Пер. Н. Аверьяновой. — М.: Гослитиздат, 1941.

²⁰⁹ «О.Э. Мандельштам временно переехал в Ленинград; занимается, главным образом, переводами: во втором номере журнала “Звезда” появятся его новые стихи» («Аноним.» Хроника // Накануне. 1924. 6 апреля. Лит. неделя. С. 6).

²¹⁰ «Шары» (1926) и «Два трамвая» (1925) — книги стихов О.М. для детей, вышедшие в Ленинградском отделении ГИЗа, редакцию детской литературы в котором возглавлял С.Я. Маршак.

²¹¹ В письме в редакцию журнала «Пролетарская революция» (1931. № 6) «О некоторых вопросах истории большевизма» И.В. Сталин подчеркивал: «Троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуазии. <...> Вот почему попытки некоторых “литераторов” и “историков” протащить контрабандой в нашу литературу замаскированный троцкистский хлам должны встречать со стороны большевиков решительный отпор. Вот почему нельзя допускать литературную дискуссию с троцкистскими контрабандистами» (*Сталин И.В.* Соч. — М.: Госполитиздат, 1951. Т. 13. С. 99–100). Это письмо положило начало классовой борьбе на культурном фронте.

²¹² В редакции газеты «За коммунистическое просвещение» Н.М. работала осенью 1931 г. (*Морозов I.* С. 488), а также с 1 апреля по 1 августа 1932 г. ответственным исполнителем научно-литературного сектора (РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Ед. хр. 438. Л. 2).

²¹³ В 1931–1933 гг. О.М. удалось опубликовать несколько подборок стихотворений (Новый мир. 1931. № 3; 1932. № 4, 6; Звезда. 1931. № 4; Лит. газета. 1932. 23 ноября) и очерк «Путешествие в Армению» (Звезда. 1933. № 5).

²¹⁴ За время пребывания в Воронеже О.М. удалось опубликовать в местном журнале несколько рецензий, подписанных инициалами (Подъем. 1935. № 1, 5 и 6), а в Москве в том же году был переиздан (тоже под инициалами) его перевод поэмы Важа Пшавела «Гоготур и Апшина» (*Важа Пшавела.* Поэмы. — М.: ГИХЛ, 1935). Из критических отзывов об О.М., которые появились в печати за эти годы, отметим «Очерки русской поэзии XX века» А.П. Селивановского (Лит. учеба. 1934. № 8), «Заметки о стихах» Н.Л. Степанова (Лит. современник. 1935. № 1) и «ругательную» книгу А.А. Волкова «Поэзия русского империализма» (М.: ГИХЛ, 1935). Прозвучало имя поэта и на Первом съезде писателей — 27 августа 1934 г. в содокладе о драматургии А.Н. Толстой сказал: «Ложью была и попытка “акмеистов” (Гумилева, Городецкого, Осипа Мандельштама) пересадить ледяные цветочки французского Парнаса в российские дебри»

(Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. — М.: ГИХЛ, 1934. С. 416).

²¹⁵ В.А. Кочетов, главный редактор журнала «Октябрь» (1961–1973) и автор «одиозного» романа «Чего же ты хочешь?» (1969). Главы из этого романа с комментариями и отрывки из пародий на него З.С. Паперного и С.С. Смирнова см.: Октябрь. 2004. № 8. С. 164–179.

²¹⁶ И. Рябов в фельетоне «Про смертяшкиных» поминал статью И.Г. Эренбурга «Поэзия Марины Цветаевой» (Лит. Москва. — М.: Худ. лит-ра, 1956. Вып. 2.): «Положительно зря возводит он в перл поэтического творения “дорожные грехи праздношатающей музы”» (Крокодил. 1957. 20 февраля. С. 11). А.Л. Дымшиц в статье «Мемуары и история» писал о воспоминаниях Эренбурга «Люди, годы, жизнь», что «в портретах М. Цветаевой и О. Мандельштама им поэтизируются очень старые и ветхие представления о художнике, его миссии и судьбе», а «в очерке о Мандельштаме <...> бесчисленные преувеличения», «масштабно здесь все неизмеримо мельче, чем утверждает И. Эренбург, <...> поэты эти — в прошлом...» (Октябрь. 1961. № 6. С. 196). А еще один критик обвинял мемуариста в стремлении «периферийные явления искусства возвести в степень “высших достижений”»: «Именно в этом плане Илья Эренбург характеризует творчество Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, представляя их как писателей, которым якобы только “узость” и “предвзятость” партийной критики помешали занять место в первом ряду советской литературы» (Новиков В.В. За партийность и народность советской литературы и искусства // Роль современной литературы и искусства в формировании человека коммунистического общества. — М.: Изд-во Высшей партийной школы и Академии общественных наук при ЦК КПСС, 1963. С. 10).

²¹⁷ Из стихотворения А. Ахматовой «Уводили тебя на рассвете...».

²¹⁸ Поводом к недоразумению послужил партийный псевдоним революционера-подпольщика С.А. Тер-Петросяна — «Камó», тогда как Н.М. имела в виду стихотворение О.М. «Как на Каме-реке глазу тёмно, когда...» (1935).

²¹⁹ Речь идет о стихотворении О.М. «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...».

²²⁰ См. примеч. 472 на с. 560.

²²¹ Один из концертов пианиста Г.Р. Гинзбурга в Воронеже состоялся 8 марта 1935 г.; 23 ноября того же года О.Э. и Н.Я. посетил дирижер Л.М. Гинзбург, приехавший в Воронеж на гастроли (Письма Рудакова. С. 114).

²²² М.В. Юдина выступала в Воронеже 12–13 ноября 1934 г. (Летопись жизни Мандельштама. С. 436).

²²³ Подразумевается стихотворение О.М. «Где я? Что со мной дурного?..» (1936): «В гуще воздуха степного / Переключка поездов / Да украинская мова / Их растянутых гудков».

²²⁴ Из посвященного О.М. стихотворения А. Ахматовой «Воронеж»: «Как под стеклом деревья, стены, снег. / По хрусталам я прохожу несмело». С 5 по 11 февраля 1936 г. Ахматова гостила у Мандельштамов в Воронеже.

²²⁵ «Тоска, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность примириться с временем» (Бердяев. С. 54).

²²⁶ 15 августа 1936 г. было объявлено об окончании следствия по делу «троцкистско-зиновьевского блока».

²²⁷ 2 декабря 1930 г. «Правда» сообщила, что постановлением ЦК и ЦКК ВКП(б) «руководители “лево”-правого блока, оппортунисты-двурушники», которые «болтали об ухудшении положения рабочего класса, о феодально-барском отношении со стороны советского аппарата к массам», — первый секретарь Закавказского крайкома партии В.В. Ломинадзе, председатель СНК РСФСР С. И. Сырцов и один из руководителей комсомола Л.А. Шацкий — «исключены из состава руководящих органов партии». В августе 1933 г. В.В. Ломинадзе назначили секретарем Магнитогорского горкома ВКП(б), 18 января 1935 г. он совершил попытку самоубийства и на следующий день скончался на операционном столе, после того как ему, по распоряжению работников НКВД, дали смертельную дозу наркоза.

²²⁸ Н.С. Тихонов в докладе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей (1934), цитируя статью О.М., именовал его «один старый поэт» (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 504).

²²⁹ Источник этих сведений установить, к сожалению, не удалось.

²³⁰ Н.М. имеет в виду стихотворение О.М. «Квартира тиха, как бумага...»: «Какой-нибудь изобразитель, / Чесатель

колхозного льна, / Чернила и крови смеситель / Достоин тако-
го рожна. / Какой-нибудь честный предатель, / Проваренный
в чистках, как соль, / Жены и детей содержатель, / Таковую
ухлопает моль».

²³¹ Из стихотворения Б. Пастернака «Красавица моя, вся статья...»: «И рифма — не вторенье строк, / А гардеробный номерок, / Талон на место у колонн / В загробный гул корней и лон».

²³² Подразумевается стихотворение О.М., написанное в марте 1931 г.: «Ночь на дворе. Барская лжа. / После меня хоть потоп. / Что же потом? Хрип горожан / И толкотня в гардероб. / Бал-маскарад. Век-волкодав. / Так затверди ж зубок: / Шапку в рукав, шапкой в рукав, / И да хранит тебя Бог!»

²³³ Этот разговор происходил, по-видимому, в 1931 г., после того как А.А. Фадеев стал главным редактором журнала «Красная новь», в котором тогда печатались стихи Б. Пастернака.

²³⁴ Речь идет о стихах А. Ахматовой из цикла «Слава миру» (Огонек. 1950. 2 апреля, 3 сентября, 15 октября). Л.Н. Гумилев был в третий раз арестован 6 ноября 1949 г. (Летопись жизни Ахматовой. С. 438).

²³⁵ Цитаты из стихотворений О.М. «Если б меня наши враги взяли...» (1937) и «Прославим, братья, сумерки свободы...» (1918).

²³⁶ Ф.Ф. Линде, помощник комиссара Особой армии Юго-Западного фронта, 25 августа 1917 г. стал жертвой солдатского самосуда; послужил прототипом комиссара Гинца в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго».

²³⁷ Народнической семье Б.Н. Синани посвящена глава в автобиографической прозе О.М. «Шум времени» (1925).

²³⁸ Из стихотворения О.М. «Когда октябрьский нам готовил временщик...», написанного в ноябре 1917 г.

²³⁹ В «Замечаниях к переводам из Шекспира» Б. Пастернак пишет: «По давнишнему убеждению критики, “Гамлет” — трагедия воли. <...> Безволие было неизвестно в шекспировское время. <...> По мысли Шекспира, Гамлет — принц крови, ни на минуту не забывающий о своих правах на престол...» (Пастернак. Т. 5. С. 75). Далее приводится цитата из стихотворения Б. Пастернака «Красавица моя, вся статья...».

²⁴⁰ Гумилев Н. Чужое небо. Третья книга стихов. — СПб.: Аполлон, 1912.

²⁴¹ Подразумевается рецензия В.Я. Брюсова «Среди стихов», первая часть которой посвящена «Второй книге» О.М.: «Наиболее крупным “событием” можно признать выступление *Осипа Мандельштама*, поэта на стихи весьма скупого, но в некоторых кругах весьма прославленного. Эти некоторые крути мы называем нео-акмеистами (как бы оные поэты ни именовали себя сами). Нео-акмеисты давно “клялись словами учителя”, т. е. ссылались на новые (после “Камня”) стихи О. Мандельштама как на непререкаемые образцы». Далее маститый рецензент и знаток античности писал: «...когда прочтешь “вторую книгу” О. Мандельштама, <...> возникает вопрос: в каком веке книга написана? Иногда словно проблескивает современность, говорится о “нашем веке”, намекается на европейскую войну, упоминаются “броненосцы” и даже “брюки” <...>. Но эти проблески меркнут за тучей всяких Гераклов, Трезен, Персефон, Пиерид, летейских стуж и тому под. и тому под. <...> Вся современность обязательно одевается в наряды прошлых веков. Почему это? Не потому ли, что поэту нечего сказать?» А затем следует вывод: «Вся деятельность О. Мандельштама за несколько последних лет <...> дает <...> ряд парадоксов (на чем и держится весь “нео-акмеизм”), иногда красиво выраженных; ряд мыслей, большею частью основательных, но ничем не поразительных, нисколько не новых для мыслящего читателя...» (Печать и революция. 1923. № 6. С. 63–65).

²⁴² 27 мая 1933 г. Андрей Белый писал из Дома отдыха в Коктебеле Г.А. Санникову: «Публика собралась тоже очень приятная, простая, незатейливая <...>. Одни Мандельштамы с “закавыкою”; они поднимают литературные разговоры, и от них порой приходится удирать; но это все безобидно, просто». А почти через месяц, 24 июня, сообщал тому же адресату: «Чувствуем огромное облегчение: уехали Мандельштамы, к столику которых мы были прикреплены. Трудные, тяжелые, ворчливые, мудреные люди. Их не поймешь» (Андрей Белый, Григорий Санников. Переписка 1928–1933. — М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 105, 141).

²⁴³ См., например, следующее высказывание О.М. в статье «Скрябин и христианство» (1916–1917): «Время может

идти обратно: весь ход новейшей истории, которая со страшной силой повернула от христианства к буддизму и теософии, свидетельствует об этом». В статье «О природе слова» (1922) О.М. протестовал против утилитаризма, «приносящего язык в жертву мистической интуиции, антропософии и какому бы то ни было всепожирающему и голодному до слов мышлению». А в статье «Деятнадцатый век» (1922) отмечал, что «буддизм в религии» подготавливает «торжество новейшей теософии, которая «есть» не что иное, как буржуазная религия прогресса».

²⁴⁴ Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. — М.; Л.: ОГИЗ; ГИХЛ, 1934.

²⁴⁵ Мф 4: 19.

²⁴⁶ Речь идет о книге статей Андрея Белого «Символизм» (М.: Мусагет, 1910).

²⁴⁷ В предисловии Л.Б. Каменева к книге А. Белого «Начало века» говорится: «С писателем Андреем Белым в 1900–1905 гг. произошло трагикомическое происшествие: <...> искренне почитая себя в эти годы участником и одним из руководителей крупного культурно-исторического движения, писатель на самом деле проблуждал весь этот период на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы. <...> От Белого ожидаешь узнать кое-что о существовании умственной жизни, о борьбе идей <...>. А вместо этого в книге находишь паноптикум, музей восковых фигур, не динамику идей, а физиологию их носителей» (Белый А. Начало века. — М.; Л.: ОГИЗ; ГИХЛ, 1933. С. III–IV).

²⁴⁸ Вечер состоялся 10 ноября 1932 г. Впечатлениями от него делился в недатированном письме к Б.М. Эйхенбауму Н.И. Харджиев: «Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в продолжение двух с половиной часов. Он прочел все свои стихи (последних двух лет) — в хронологическом порядке! Это были такие страшные заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пастернак, пролепетавший: “Я завидую Вашей свободе. Для меня Вы новый Хлебников. И такой же чужой. Мне нужна несвобода”. <...> Некоторое мужество проявил только В.Б.: “Появился новый поэт О.Э. Мандельштам!” Впрочем, об этих стихах говорить “в лоб” нельзя: ...Я человек эпохи Москвошвея, Смотрите, как на мне топорщится пиджак... Или: ...Я трамвайная вишенка

страшной поры И не знаю, зачем я живу... Молодняк “отмежевывался” от Мандельштама. А Мандельштам назвал их “чикагскими” поэтами (американская рекламная “поэзия”). Он отвечал с надменностью пленного царя или... пленного Поэта» (Эйхенбаум Б. О литературе: Работы разных лет. — М.: Сов. писатель, 1987. С. 532; Морозов И. С. 492).

²⁴⁹ См.: Т. 2, с. 729.

²⁵⁰ Н.М. имеет в виду стихотворение О.М. «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым...» (1933). Число умерших в голод 1932–1933 гг. крестьян колеблется, по разным оценкам, от 5 до 8 млн.

²⁵¹ Из стихотворения О.М. «За гремучую доблесть грядущих веков...» (1931): «Запихай меня лучше, как шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей...»

²⁵² Обзор «Тени старого Петербурга (“Звезда”, № 1–7 за 1933 год)» был помещен в рубрике «Библиография» за подписью С. Розенталя (Правда. 1933. 30 августа). Редакционные (неподписанные) статьи в этой рубрике не печатались. Слов о «лакейской прозе» в обзоре нет, обширные цитаты из него см. Т. 2, с. 425–427.

²⁵³ Подразумевается стихотворение О.М., написанное в декабре 1917 г.: «Я не искал в цветущие мгновенья / Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз, / Но в декабре — торжественное бденье — / Воспоминанье мучит нас!»

²⁵⁴ См., например, запись об О.М. в дневнике А.К. Гладкова от 6 марта 1935 г.: «Радунская читала мне его новые стихи. Они замечательны, но ничего “политического” в них нет...» (Слово и «Дело». С. 55).

²⁵⁵ «Какая может быть польза от вашего печатания? Одним или двумя листами, которые проскользнут, вы ничего не сделаете, а III отделение будет все читать да пометать, вы сгубите бедну народа, сгубите ваших друзей...» (Герцен А.И. Михаил Семенович Щепкин // Герцен. Т. 17. С. 270).

²⁵⁶ Из стихотворения О.М. «Мы живем, под собою не чуя страны...». Обстановку тех лет передает запись от 14 января 1931 г. в дневнике московского рабочего и библиофила Е.Н. Николаева: «Подчас никто не знает, что делается не только в одном городе, но даже на соседней улице одного города: исчез человек и нет его, куда девался — никто не знает.

И родные или не знают, или им под страшной угрозой запрещено говорить» («Исчез человек и нет его, куда девался — никто не знает»: Из конфискованного дневника // Источник. 1993. № 4. С. 50). В примечаниях к этой публикации приводится следующая справка: «В ночь на 10 октября 1930 г. в трех районах столицы арестовано 147 человек. В ночь на 8 октября — 197», причем руководители этой операции отметили «исключительно невнимательное отношение со стороны лиц, производивших обыски и аресты, к порученной им работе, чем объясняется низкий процент арестов» (Там же. С. 60). Только в декабре 1930 г. оперативным отделом ОГПУ в Москве выписано 966 ордеров на арест и обыск (Там же).

²⁵⁷ Из стихотворения О.М. «Прославим, братья, сумерки свободы...».

²⁵⁸ Из стихотворения О.М. «— Это какая улица?..».

²⁵⁹ *К этому времени у О.М. начались сердечная болезнь и тяжелая одышка. Евгений Яковлевич всегда говорил, что одышка О.М. — болезнь не только физическая, но и «классовая». Это подтверждается обстановкой первого припадка, происшедшего в середине двадцатых годов. К нам пришел в гости Маршак и долго умилительно объяснял О.М., что такое поэзия. Это была официально-сентиментальная линия. Как всегда, Самуил Яковлевич говорил взволнованно, волнообразно модулируя голос. Он первоклассный ловец душ — слабых и начальственных. О.М. не спорил — с Маршаком соизмеримости у него не было. Но вскоре он не выдержал: ему вдруг послышался рожок, прервавший гладкие рассуждения Маршака, и с ним случился первый приступ грудной жабы.

²⁶⁰ См. примеч. 170 на с. 519.

²⁶¹ Письмо двадцать девятое в книге В.Б. Шкловского «Зoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза» начинается следующим «Заявлением во ВЦИК»: «Я не могу жить в Берлине. Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее. Неправильно, что я живу в Берлине. Революция переродила меня, без нее мне нечем дышать. Здесь можно только задыхаться. <...> Я хочу в Россию. <...> Я поднимаю руку и сдаюсь. Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж...» (Шкловский В. «Еще ничего не кончилось...». — М.:

Пропаганда, 2002. С. 329; *поднятая рука* у борцов означает признание своего поражения).

²⁶² В Постановлении Политбюро ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 г. отмечалось, что «как не прекращается у нас классовая борьба вообще, так точно она не прекращается и на литературном фронте», а затем подчеркивалось, что пролетариат «в период своей диктатуры на первый план выдвигает мирно-организаторскую работу» (Власть и интеллигенция. С. 54).

²⁶³ *Вифли* (ЛИФЛИ) — Ленинградский институт истории, философии и лингвистики. *Зубовский институт* — Институт истории искусств, основанный графом В.П. Зубовым в Санкт-Петербурге в 1912 г. (после 1920 г. неоднократно переименовывался). Сотрудниками его были и представители «формальной школы» (*формалисты*) Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум и др. *Институт красной профессуры* занимался подготовкой партийно-преподавательских кадров.

²⁶⁴ Из стихотворения О.М. «1 января 1924».

²⁶⁵ « — Не всякие стихи можно отнести к природе этических явлений. Метра и рифмы еще недостаточно. Нужен ритм. Нужны образы, и притом в свежей, неповторимой системе. <...> Самое ценное в поэзии — это неожиданность. Понятия должны вспыхивать то там, то тут, как болотные огоньки. Но их разобщенность только кажущаяся. Все подчинено разуму, твердому логическому уставу. Только он лежит где-то там, в глубине, и не сразу доступен. <...> Поэтическая строка — это сама краткость. Это почти текст телеграммы. Лучшие слова в стихотворении не произнесены. Их нужно найти тому, кто вас слушает. И только ваша вина, если они будут найдены неправильно или неточно. Поэт дает только ассоциации, и в этом вся сила его воздействия. — Позвольте, а как же Пушкин? Поэты античности? И вообще поэзия прямо направленной речи? — Она существует. Еще бы! Но главное в ней — не этот прямой смысл, а интонация автора. Не будь интонации, поэзия обратилась бы в алгебраическую формулу, в ритмизованную теорему и оголенный силлогизм... Но все это требует пояснений и завело бы нас слишком далеко. Вернемся к вашим стихам. Вы еще злоупотребляете прямой речью и еще

не освободились от пристрастия к ложному украшательству. Словарь ваш ограничен, и к привычным словосочетаниям вы еще не испытываете особой боязни. Небо у вас всегда “голубое”, а море “бурное”. Но у вас все же обнаруживается вкус. И чувство экономии слов в строке. Этого достаточно для начала. Когда вы научитесь болезненно ощущать пустоты строфы и хоть немного почувствуете прелесть неожиданных и неповторимых образных сочетаний, можно будет сказать, что для вас кончилось стихотворчество и начались стихи. <...> Поэту подобает жить не тем, что он написал, а тем, что он напишет» (*Рождественский В.* Страницы жизни: Из литературных воспоминаний. — М.; Л.: Сов. писатель, 1962. С. 129–131). На полях одного из экземпляров этой книги есть примечание Н.М.: «О.М. — “смысловик”, и всякий разговор о стихах был мировоззренческим» (*Морозов I.* С. 495).

²⁶⁶ «Огромная иудео-христианская культура стоит за каждым словом, за каждым нещедрым образом Мандельштама» (*Филиппов Б.* «А небо будущим беременно» // *Мандельштам 1955.* С. 25).

²⁶⁷ «Ваши статьи-с читал-с, понимать-с нельзя-с, птичий язык-с», — говорил Д.М. Перевощиков А.И. Герцену по поводу его увлечения «условным языком», когда «русские слова <...> звучат иностраннее латинских» (*Герцен.* Т. 8. С. 149). «Никто в те времена, — вспоминал автор «Былого и дум», — не отрекся бы от подобной фразы: “Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фразу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте”» (Там же. Т. 9. С. 19).

²⁶⁸ Из «Былого и дум» заимствовал О.М. и образ львенка в стихотворении «Язык булыжника мне голубя понятней...» (1923): «Он лапу поднимал, как огненную розу, / И, как ребенок, всем показывал занозу», — А.И. Герцен вспоминал французские «гостинные XVIII столетия <...>, где под пудрой и кружевами аристократическими ручками взлелеяли и откормили аристократическим молоком львенка, из которого выросла исполинская революция» (Там же. Т. 9. С. 154–155).

²⁶⁹ Из стихотворения О.М. «1 января 1924»: «Кого еще убьешь? Кого еще прославишь? / Какую выдумаешь ложь? /

То ундервуда хряц: скорее вырви клавиш — / И щучью косточку найдешь».

²⁷⁰ Речь идет о переводах стихотворений О. Барбье, выполненных О.М. в 1923 г.

²⁷¹ Сходные высказывания О.М. приводит в письме жене от 23 июня 1935 г. С.Б. Рудаков: «Поэтическая мысль вещь страшная, и ее боятся...», «Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся...» (Письма Рудакова. С. 68).

²⁷² *Omnia mea mecum porto* (лат.) — все свое несус собой. А.И. Герцен писал в «Былом и думах»: «Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя. Видя, что все рушится, я хотел спастись, начать новую жизнь, отойти с двумя-тремя в сторону, бежать, скрыться... от лишних. И надменно я поставил заглавием последней статьи: “*Omnia mea mecum porto*”!» (Герцен. Т. 10. С. 233–234).

²⁷³ «Нет у Мандельштама и непосредственных откликов на революционные события 1917 г. «...» Но в надреальном плане тема революции — умирающий Петербург, “сумерки свободы” — звучат в некоторых стихотворениях этого периода» (Струве Г. О.Э. Мандельштам. Опыт биографии и критического комментария // *Мандельштам 1956*. С. 9).

²⁷⁴ Здесь и далее цитируется стихотворение О.М. «Нашедший подкову» (1923).

²⁷⁵ Из стихотворения О.М. «Век» (1922).

²⁷⁶ *В стихах тридцатых годов есть и совершенно прямые, в лоб, высказывания, и сознательная зашифровка смысла. В Воронеже к нам однажды пришел «любитель стихов» полувовенного типа, то, что мы теперь называем «искусствовед в штатском», только поглубе, и долго любопытствовал, что скрывается под «бежит волна волной, волне хребет ломая»... «Уж не про пятилетки ли?» О.М. расхаживал по комнате и удивленно спрашивал: «Разве?»... «Как быть, — спросила я потом О.М., — если они во всем будут искать скрытый смысл?» «Удивляться», — ответил О.М. До меня не сразу доходил второй план, а О.М., зная, что я могу оказаться «внутри», стихов не комментировал: искреннее удивление могло если не спасти, то, во всяком случае, облегчить участь. Идиотизм и полное непонимание вещей

у нас ценились и служили отличной рекомендацией и арестованному, и служащему.

²⁷⁷ Из стихотворения О.М. «Как растет хлеб опара...» (1922).

²⁷⁸ А.К. Тарасенков в статье об О.М. для «Литературной энциклопедии» писал: «Огромная сила инерции, сохранявшая сознание М. нарочито отгороженным от процессов, происходящих в действительности, — дала поэту возможность вплоть до 1925 г. сохранить позицию абсолютного социального индифферентизма, этой специфической формы буржуазной вражды к социалистической революции. Для этого периода чрезвычайно характерно большое стихотворение “Нашедший подкову” [1923], где декларирован принцип инерции как “извечной” категории. Новизна происходящего подчеркнута отрицается: “Все было встарь, все повторится снова, / И сладок нам лишь узнавания миг”. В этой формуле нашло себе законченное выражение идеалистическое существо творческого метода М., для которого всякая внешняя перемена осознается как обновленное “узнавание” неизменно существующего. Классовая логика этой творческой концепции сводится к довольно распространенному среди буржуазных идеологов и художников “приему” отрицания реальности перемен, вызванных Октябрем. Это лишь чрезвычайно “сублимированное” и зашифрованное идеологическое увековечение капитализма и его культуры» (ЛЭ. Т. 6. Стб. 757–758).

²⁷⁹ «Вещность, трезвенность, сдвиг к реализму в поэзии акмеистов — лишь производные от стабилизации буржуазно-дворянского блока под крылом столыпинской монархии» (Левин Г. О социальной природе акмеизма // Жизнь искусства. 1928. № 4. С. 7).

²⁸⁰ Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) была создана в январе 1925 г. Л.Л. Авербах являлся одним из ее основателей и ответственным редактором главного ее идеологического органа, журнала «На литературном посту», который под лозунгом «партийности литературы» проводил политику вытеснения писателей-«попутчиков». РАПП была расформирована постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г.

²⁸¹ Герой повести О.М. «Египетская марка» (1928).

²⁸² Речь идет о статьях О.М. «Буря и натиск» (Русское искусство. 1923. № 1), «Vulgata» (Там же. № 2–3), «Литературная Москва» (Россия. 1922. № 1, 2) и «Веер герцогини» (Вечерний Киев. 1929. 25 января).

²⁸³ Приводим фрагмент из статьи О.М. «Буря и натиск», напечатанной в первом номере этого журнала в 1923 г.: «Анненский до сих пор не дошел до русского читателя и известен лишь по вульгаризации его методов Ахматовой». Далее в той же статье О.М. поясняет, что он имеет в виду под вульгаризацией: «Ахматова, пользуясь чистейшим литературным языком своего времени, применяла с исключительным упорством традиционные приемы русской, да и не только русской, а всякой вообще народной песни. В ее стихах отнюдь не психологическая изломанность, а типический параллелизм народной песни с его яркой асимметрией двух смежных тезисов, по схеме: “В огороде бузина, а в Киеве дядя”. Отсюда двустворчатая строфа с неожиданным выпадом в конце. Стихи ее близки к народной песне не только по структуре, но и по существу, являясь всегда, неизменно причитаниями. Принимая во внимание чисто литературный, сквозь стиснутые зубы процеженный словарь поэта, эти качества делают ее особенно интересной, позволяя в литературной русской даме двадцатого века угадывать бабу и крестьянку». Приводим также фрагмент из второй упомянутой Н.М. статьи О.М. «Vulgata» (Русское искусство. 1923. № 2–3): «Небольшой словарь еще не грех и не порочный круг. Он замыкает иногда говорящего и пламенным кругом, но он есть признак того, что говорящий не доверяет родной почве и не всюду может поставить свою ногу. Воистину русские символисты были столпниками стиля: на всех вместе не больше пятисот слов — словарь полинезийца. Но это, по крайней мере, были аскеты, подвижники. Они стояли на колодах. Ахматова же стоит на паркетине — это уже паркетное столпничество».

²⁸⁴ Подразумевается статья О.М. «Письмо о русской поэзии» (Советский Юг. Ростов-на-Дону, 1922. 21 января), в которой, в частности, говорится: «Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу».

²⁸⁵ В рецензии О.М. «О современной поэзии (К выходу “Альманаха Муз”» (1916), которая была опубликована лишь в 1969 г., в третьем томе американского Собрания сочинений поэта, он писал: «В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиератической важности, религиозной простоте и торжественности: я бы сказал, после женщины настал черед жены. Помните: “смирренная, одетая убого, но видом величаява жена”. Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России» (цитируется стихотворение А.С. Пушкина «В начале жизни школу помню я...»).

²⁸⁶ Об этом выступлении О.М. докладывал 28 сентября 1936 г. В.П. Ставскому в ответ на его телеграфный запрос «о разоблачении классового врага» секретарь партгруппы Воронежского отделения ССП С.А. Стойчев: «В феврале 1935 года на широком собрании воронежского ССП был поставлен доклад об акмеизме, с целью выявления отношения Мандельштама к своему прошлому. В своем выступлении Мандельштам показал, что он ничему не научился, что он кем был, тем и остался» (Нерлер П. Он ничему не научился... О.Э. Мандельштам в Воронеже: Новые материалы // Лит. обозрение. 1991. № 1. С. 93).

²⁸⁷ На этом вечере, который состоялся 2 марта 1933 г., О.М., согласно дневниковой записи Е.А. Миллиор, на вопрос: «Вы тот самый Мандельштам, который был акмеистом?» — «ответил остроумно, что это напоминает ему вопрос Воронскому: “Как было ваше имя-отчество?” Затем он горячо объявил, что он “тот самый Мандельштам, который был, есть и будет другом своих друзей, соратником своих соратников, современником Ахматовой...”» (Летопись жизни Мандельштама. С. 404).

²⁸⁸ В августе 1923 г. О.М. писал Л.В. Горнунгу: «Вы любите пафос. Хотите ощутить время. Но ощущение времени меняется. Акмеизм 23-го года — не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь “совестью” поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия. Не презирайте современных поэтов, на них благословенье прошлого».

²⁸⁹ Из стихотворения О.М. «О, как мы любим лицемерить...» (1932).

²⁹⁰ В настоящее время этот сборник находится в АМ (В. 1. F. 2. S. 1).

²⁹¹ Ленинградская публичная библиотека — ныне Российская национальная библиотека, в Отделе рукописей которой хранится архив С.П. Каблукова; см. публикацию: Мандельштам в записях дневника С.П. Каблукова // ВРСХД. 1979. № 129. С. 134–155 (с некоторыми дополнениями и поправками перепечатана в журнале «Лит. обозрение». 1991. № 1. С. 77–85); см. также: Камень. С. 241–258. Статьи О.М. «Скрябин и христианство» в сохранившейся части архива Каблукова нет.

²⁹² «Салон мадам Переpletник» и «парадные анфилады музыки и истории», о которых далее идет речь, упоминаются в основном тексте повести О.М. «Египетская марка»: «Дикая парабола соединяла Парнока с парадными анфиладами истории и музыки. — Выведут тебя когда-нибудь, Парнок, — со страшным скандалом, позорно выведут — возьмут под ручки и фьюить — из симфонического зала, из общества ревнителей и любителей последнего слова, из камерного кружка стрекозинной музыки, из салона мадам Переpletник — неизвестно откуда — но выведут, ославят, осрамят...» Доклад об А.Н. Скрябине О.М. прочел не на собрании у Г.М. Переpletника, а, скорее всего, на квартире председателя Петроградского Скрябинского общества А.Н. Брянчанинова, о чем прикровенно упомянуто в черновом фрагменте «Египетской марки»: «Визитка погибла бесславно, за недоплаченные пять рублей, а не в ней ли Парнок накануне падения монархии прочел свою речь “Теософия как мировое зло” в особняке Турчанинова...» Название доклада отражает увлечение Скрябина теософией Е.П. Блаватской (О. Мандельштам. «Скрябин и христианство» // Русская лит-ра. 1991. № 1. С. 65–66). А.А. Морозов приводит возможную дату доклада О.М.: 26 или 27 октября 1916 г. (Морозов 1. С. 497).

²⁹³ Название одной из главок книги О.М. «Шум времени».

²⁹⁴ Рассказ о визите Ф.О. Вербловской в редакцию журнала «Аполлон» С.К. Маковский поместил в своей книге «Портреты современников», которая вышла в 1955 г. Возможно, Н.М. имеет в виду реакцию О.М. на воспоминания Г.И. Иванова «Петербургские зимы», которые были напечатаны в 1928 г. в Париже.

²⁹⁵ «Как-то утром, — отчетливо запомнился этот не совсем обычный эпизод, — входит ко мне секретарь редакции

Е.А. Зноско-Боровский, заявляет: некая особа по фамилии Мандельштам настойчиво требует редактора, ни с кем другим говорить не согласна... Через минуту появилась дама, немолодая, довольно полная, бледное взволнованное лицо. Ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати <...>. Вошедшая представила мне юношу: — Мой сын. Из-за него я к вам. Надо же знать, наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям. Выростили, воспитали, сколько на учение расходу! Ну что ж, если талант — пусть талант. Тогда и университет, и прочее. Но если одни выдумки и глупость — ни я, ни отец не позволим. Работай как все, не марай зря бумаги... Так вот, господин редактор, — мы люди простые, небогатые, — сделайте одолжение — скажите, скажите прямо: талант, или нет! Как скажете, так и будет... Она вынула из сумочки несколько исписанных листков почтовой бумаги в линейку и вручила мне: — Вот! — Хорошо, оставьте... на несколько дней. Прочту. — Но энергичная мамаша ни о какой отсрочке и слышать не хотела. Требовала: тут же прочесть и приговор вынести. Я запротестовал: — Нет, сейчас никак не могу... Стихам нужно внимание, вчитаться нужно... — Против новичков-поэтов в те дни я был достаточно предубежден, — сколько любительских виршей каждый день летело в редакционную корзину! Но меньше всего хотелось мне огорчить конфузливую юношу... Уж очень выжидательно-печальны были его глаза. <...> Помню, эти юношеские стихи Осипа Эмильевича (которым он сам не придавал значения впоследствии) ничем не пленили меня, и уж я готов был отделаться от мамашы и сынка неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости, когда — взглянув опять на юношу — я прочел в его взоре такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону: за поэзию, против торговли кожей. Я сказал с убеждением, даже несколько торжественно: — Да, сударыня, ваш сын — талант» (*Маковский С. Портреты современников. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 377–379*).

²⁹⁶ Из стихотворения О.М. «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» (1931).

²⁹⁷ Из стихотворения О.М. «Жил Александр Герцевич...» (1931).

²⁹⁸ Эту фразу О.М. приводит в «Четвертой прозе» (1930): «Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия». Мрія (укр.) — мечта.

²⁹⁹ Из стихотворения О.М. «1 января 1924».

³⁰⁰ Из стихотворения О.М. «Квартира тиха, как бумага...».

³⁰¹ В статье «По журнальным окопам» Г. Лелевич писал в связи с публикацией стихотворения О.М. «1 января 1924» (Русский современник. 1924. № 2): «Насквозь пропитана кровь Мандельштама известью старого мира, и не веришь ему, когда он в конце начинает с сомнением рассуждать о “присяге чудной четвертому сословью”. Никакая присяга не возродит мертвеца» (Мол. гвардия. 1924. № 7/8. С. 262).

³⁰² Первая строка стихотворения О.М. 1915 г. — парфраз слов М. Лютера, сказанных им в свою защиту на заседании рейхстага в Вормсе 17 апреля 1521 г., когда ему предложили отречься от своего учения.

³⁰³ Из стихотворения О.М. «Рояль» (1931).

³⁰⁴ Из стихотворения О.М. «Как растет хлеб опара...».

³⁰⁵ Издательство «Земля и Фабрика» заказало О.М. и в 1928 г. выпустило литературную обработку «Тили Уленшпигеля» Ш. де Костера. А.Г. Горнфельд опубликовал статью «Переводческая стряпня» (Красная газета. 1928. 28 ноября. Веч. вып.), а В.Н. Карякин подал в суд иск о взыскании с издательства 1550 р. за то, что по его ошибке обработка их переводов была названа в книге «переводом О. Мандельштама». О.М. был привлечен к этому делу в качестве соответчика. После экспертизы суд признал обработку «совершенно самостоятельным произведением» и в иске Карякину отказал («Аноним». Дело О. Мандельштама и Карякина // Вечерний Киев. 1929. 19 июня). Однако после публикации фельетона Д.И. Заславского «О скромном плагиате и развязной халтуре» (Лит. газета. 1929. 7 мая) вокруг инцидента разразился общественно-литературный скандал (подробнее см. главу «Битва под Уленшпигелем» в кн.: *Con amore*. С. 85–108).

³⁰⁶ Д.И. Заславский — многолетний сотрудник «Правды», автор многочисленных передовиц, фельетонов и застрельщик проработочных кампаний против Д.Д. Шостаковича, Б. Пастернака, «безродных космополитов» и т.д.

³⁰⁷ Из «Четвертой прозы» О.М. (1930): «Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых». С сентября 1929 по январь 1930 г. О.М. работал в редакции газеты «Московский комсомолец».

³⁰⁸ Из стихотворения О.М. «Я по лесенке приставной...» (1922).

³⁰⁹ В эссе «Разговор о Данте» (1933) О.М. писал: «Песнь двадцать шестая, посвященная Одиссею и Диомиду, прекрасно вводит нас в анатомию дантовского глаза, столь естественно приспособленного лишь для вскрытия самой структуры будущего времени. У Данта была зрительная аккомодация хищных птиц, не приспособленная к ориентации на малом радиусе: слишком большой охотничий участок». В стихотворении О.М. «Канцона» (1931) есть такие строки: «Я люблю военные бинокли / С ростовщической силой зренья».

³¹⁰ См. примеч. 227 на с. 526.

³¹¹ *Ломинадзе не погиб, а просто был убран из Грузии. (См. примеч. 227 на с. 526. — С.В., П.Н.)

³¹² Стихотворение О.М. «Я скажу тебе с последней...» (1931).

³¹³ М.И. Штемпель.

³¹⁴ Речь идет о Б.М. Козо-Полянском.

³¹⁵ П.Л. Загоровский был не литературоведом, а психологом, профессором Воронежского пединститута.

³¹⁶ В настоящее время это дело опубликовано (Слово и «Дело». С. 97–106).

³¹⁷ Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 г. «отбывшие наказание особо опасные государственные преступники», от «шпионов, диверсантов, террористов» до «анархистов, националистов, белоэмигрантов», а также «участники других антисоветских организаций и групп и лица, представляющие опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности» «подлежали направлению в бессрочную ссылку на поселение» (Реабилитация. С. 43).

³¹⁸ Подразумеваются стихотворения О.М. «Лишив меня морей, разбега и разлета...» (1935) и «Да, я лежу в земле, губами шевеля...» (1935).

³¹⁹ Из стихотворения О.М. «Флейты греческой тэта и йота...» (1937).

³²⁰ Из стихотворения О.М. «Как подарок запоздалый...» (1936).

³²¹ К.К. Шваб был арестован 29 декабря 1935 г., проходил по делу четырнадцати воронежских музыкантов и любителей литературы, обвинялся в слушании по радио речей Гитлера и пропаганде идей фашизма. В марте 1936 г. приговорен к пяти годам заключения, которые проводил в лагере под Воронежем (Воронежский курьер. 1991. 18 марта). Арестованный вторично, погиб в том же пересыльном лагере под Владивостоком, что и О.М. (Утро. Воронеж. 1992. 14 апреля. Дата смерти Шваба, по некоторым данным, 18 января 1938 г.).

³²² Начало стихотворения О.М., написанного в 1920 г.

³²³ Из стихотворения О.М. «Люблю появление ткани...».

³²⁴ 18 мая 1925 г. И.В. Сталин в речи «О политических задачах университета народов Востока» (Правда. 1925. 22 мая) сказал: «Мы строим пролетарскую культуру. Это совершенно верно. Но верно также и то, что пролетарская культура, социалистическая по своему содержанию, принимает различные формы и способы выражения у различных народов, втянутых в социалистическое строительство, в зависимости от различия языка, быта и т. д. Пролетарская по своему содержанию, национальная по форме, — такова та общечеловеческая культура, к которой идет социализм» (Сталин И.В. Соч. — М.: Гослитиздат, 1952. Т. 7. С. 138).

³²⁵ «Я хорошо знал, что живопись — моя будущая профессия, мой насущный хлеб, — писал 1 июля 1857 г. в дневнике Т.Г. Шевченко, вспоминая о годах учения в Академии художеств. — И, вместо того чтобы изучить ее глубокие таинства, и еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю. И даже подумываю иногда о тиснении (разумеется, под другим именем) этих плаксивых тощих детей своих. Право, странное это неугомонное призвание» (Шевченко Т.Г. Собр. соч.: В 4 т. — М.: Правда, 1977. Т. 4. С. 36).

³²⁶ Подразумевается следующий черновой вариант стихотворения О.М. «За гремучую доблесть грядущих веков...» (1931): «Не табачною кровью газета плюет, / Не костяшками дева стучит, — / Человеческий жаркий искривленный рот / Не годует и “нет” говорит» (*Мандельштам 1967. С. 682*). И.М. Семенко уточнила прочтение последней строки этого четверостишия: «Негодует поет говорит — » (*Семенко. С. 152*).

³²⁷ Согласно прочтению И.М. Семенко, правильно: «чернила московской грязи» (Там же. С. 49).

³²⁸ Из стихотворения О.М. «Нет, не спрятаться мне от великой муры...» (1931).

³²⁹ Подразумеваются стихотворения О.М. «Жил Александр Герцевич...» (1931) и «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...» (1931).

³³⁰ Подробнее см.: Т. 2, с. 543 и примеч. 154 на с. 637.

³³¹ «Я — скорняк драгоценных мехов, я, едва не задохнувшийся от литературной пушнины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца — Акакия Акакиевича. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами».

³³² Стихотворение О.М. «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...».

³³³ О.Д. Каменева.

³³⁴ Об этом М.М. Пришвин упомянул в рассказе «Сопка Маира».

³³⁵ В этом пальто, подаренном И.Г. Эренбургом, О.М. запечатлен на своей последней — тюремной — фотографии, 3 мая 1938 г. (см. фото на вклейке).

³³⁶ Речь идет о черновике стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков...» (1931): «Золотились чернила московской грязи, / И пыхтел грузовик у ворот, / И по улицам шел на дворцы и морцы / Самопишущий черный народ...»

³³⁷ Из «Отрывков уничтоженных стихов» О.М. (1931).

³³⁸ Кооперативный дом в проезде Художественного театра, № 2 (ныне пер. Камергерский), заселенный в середине 1931 г. Из знакомых О.М. в нем, в частности, жили

В.В. Вишневский, Л.Н. Сейфуллина, Ю.К. Олеша, Н.Н. Асеев, семья Э.Г. Багрицкого и др.

³³⁹ Подразумеваются начальные строки стихотворения О.М., написанного в 1936 г.: «Вехи дальние обоза / Сквозь стекло особняка, / От тепла и от мороза / Близкой кажется река».

³⁴⁰ Оба стихотворения «Заблудился я в небе, — что делать?..» (1937) в подготовленном Н.И. Харджиевым издании (*Мандельштам 1973*) напечатаны рядом.

³⁴¹ *Валю Берестова.

³⁴² Цитируется отрывок первой, уничтоженной главы «Четвертой прозы» О.М., см.: Т. 2, с. 369.

³⁴³ Н.М. имеет в виду очерк «Армия поэтов» (1923).

³⁴⁴ Стихотворение О.М. «Шевелящимися виноградинами...» (из «Стихов о неизвестном солдате»).

³⁴⁵ Стихотворение О.М. «Как по улицам Киева-Вия...» (1937).

³⁴⁶ Стихотворение О.М. «Твой зрачок в небесной корке...» (1937), обращенное к Н.М.

³⁴⁷ Имеется в виду стихотворение О.М. «Твоим узким плечам под бичами краснеть...» (1934), в котором есть следующие строки: «Твоим детским рукам утюги поднимать, / Утюги поднимать да веревки вязать. / Твоим нежным ногам по стеклу босиком, / По стеклу босиком да кровавым песком...»

³⁴⁸ Стихотворение О.М. «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...».

³⁴⁹ Н.М. имеет в виду реминисценцию в стихотворении О.М. «Когда в ветвях понурых...» (1937) из «Поучения» Владимира Мономаха: «Седя на санех, помыслих в души своей и похвалих Бога, иже мя сих дней грешнаго допроводи». Образное выражение «седя на санех» («в преклонных годах», «на краю смерти») восходит к древнерусскому погребальному обычаю перевозить тела умерших на санях.

³⁵⁰ Стихотворение «Что делать нам с убитостью равнин...» (1937).

³⁵¹ В статье «Гуманизм и современность» (1923) О.М. писал: «Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитек-

тура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством. Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве».

³⁵² Стихотворение О.М. «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...».

³⁵³ Речь идет о Н.К. Костареве.

³⁵⁴ В 1963 г. А.К. Гладков вспоминал: «Весной 1949 года (или в конце зимы) меня снова расспрашивали на следствии о найденном у меня списке стихов Мандельштама, но среди них не было ни “Волка”, ни “Квартиры”, и следователь Раппопорт пытался зачем-то добиться моего признания о том, что среди стихов М-ма о Кавказе есть “антисоветские”, но их сложность делала недоказуемой любую попытку расшифровать эти стихи на языке полицейского протокола» (РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 20).

³⁵⁵ Из стихотворения О.М. «Еще не умер ты. Еще ты не один...» (1937).

³⁵⁶ Из стихотворения А. Ахматовой «За такую скоморошину...».

³⁵⁷ Ср. в стихотворении О.М. «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...»: «Он свесился с трибуны, как с горы, — / В бугры голов. Должник сильнее иска. <...> Уходят вдаль людских голов бугры: / Я уменьшаюсь там. Меня уж не заметят».

³⁵⁸ С.С. Дукельский, о котором идет речь, начальник (а не заместитель начальника) Управления НКВД по Воронежской области, в 1938 г. был назначен руководителем Комитета по кинематографии при СНК СССР.

³⁵⁹ О.М. в это время читал кн.: Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции. Стихотворения, сцены из комедий, хроники, описания аутодафэ, протоколы, обвинительные акты, приговоры / Собрал, перевел, снабдил статьями, биографиями и примечаниями Валентин Парнах. — Л.; М.: Academia, 1934.

³⁶⁰ Возможно, речь идет о переводчице испанской литературы Д.И. Выгодском, арестованном 14 февраля 1938 г.

³⁶¹ Из утраченного стихотворения О.М. об армянских ссыльных, находившихся в Воронеже.

³⁶² Речь идет о С.С. Дукельском.

³⁶³ См. примеч. 13 на с. 494.

³⁶⁴ Приказом НКВД от 31 июля 1937 г. члены семей репрессированных, «способные к активным антисоветским действиям», «подлежали водворению в лагеря или трудпоселки». А решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 июля 1937 г. предписывало «оставшихся после осуждения детей-сирот до 15-летнего возраста» размещать «в существующей сети детских домов и закрытых интернатах».

³⁶⁵ Среди них находилась и Е.М. Аренс.

³⁶⁶ Так в легендах именуется таинственный узник Бастилии, носивший бархатную маску.

³⁶⁷ См. в очерке О.М. «Путешествие в Армению» (1933) об армянском царе Аршаке II, которого персидский царь Шапук обманом заключил в крепость: «Я хочу, чтобы Аршак провел один добавочный день, полный слышанья, вкуса и обонья, как бывало раньше, когда он развлекался охотой и заботился о древонасаждении».

³⁶⁸ Музей нового западного искусства располагался по адресу: ул. Пречистенка, 21. Расформирован в 1948 г. как «рассадник низкопоклонства перед упадочной буржуазной культурой», а его экспонаты были поделены между Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина и Эрмитажем.

³⁶⁹ Альбом «Музей нового западного искусства» (Текст Б.Н. Терновца. — М.: ОГИЗ; ИЗОГИЗ, «1935») прислала О.М. Л.К. Наппельбаум (Письма Рудакова. С. 137). Этот альбом находился в личной библиотеке О.М. (Остаток книг. С. 238).

³⁷⁰ Иллюстрации А.Г. Тышлера к пьесе А.Б. Мариенгофа «Директор погоды» и картина того же названия были представлены на Второй выставке Московского Общества художников-станковистов (ОСТ. Каталог второй выставки. — М.: Худ. отдел Главнауки Народного Комиссариата Просвещения, 1926), которая открылась 3 мая 1926 г. (Выставки советского изобразительного искусства: Справочник. — М.: Сов. художник, «1965». Т. 1. 1917–1932. С. 179).

³⁷¹ Речь идет о Д. Гранди (*Морозов 1. С. 503*).

³⁷² Н.А. Бердяев писал: «Наиболее неприемлемо для меня чувство Бога как силы, как всемогущества и власти. <...> В Бога можно верить лишь в том случае, если есть Бог Сын, Искупитель и Освободитель, Бог жертвы и любви. Искупительные страдания Сына Божьего есть не примирение Бога с человеком, а примирение человека с Богом. Только страдающий Бог примиряет со страданиями творения. Чистый монотеизм не приемлем и есть последняя форма идолопоклонства» (*Бердяев. С. 190*).

³⁷³ Цитата из старофранцузского эпоса «Сыновья Аймона» в переводе О.М. (1922).

³⁷⁴ Собрание сочинений О.М. планировало выпустить ГИХЛ. Во внутренней рецензии на критические статьи поэта, которые предполагалось включить в это издание, отмечалось, что «проблема слова и культуры в мистическом понимании служит для Мандельштама поводом для внеисторических, надсоциальных сопоставлений»: «Статьи Мандельштама — квинт-эссенция рафинированной идеологии либеральной русской буржуазии. Они имеют ценность только для исследователя, выявляющего идеологическую сущность и классовые корни поэта. Переиздавать их сейчас (даже с критическим предисловием) — крупнейшая политическая ошибка» (Вениамин Гоффеншефер. Заключение об издании критических статей О. Мандельштама (По сб. О. Мандельштама «О поэзии». Academia. 1928. 98 стр. 4 авт. л.) // Сохрани мою речь. Вып. 2. С. 31). Договор с О.М. на издание собрания его сочинений был предметом обмена репликами между сотрудником ГИХЛ Фроловым и заведующим этим издательством Н.Н. Накоряковым на заседании Комиссии по чистке парторганизации упомянутого учреждения 23 октября 1933 г.: «Фролов:» ...Или, например, заключили договор с Мандельштамом. Мы с Н.Н. вчера вели переговоры по этому поводу. Он представил нам томик избранных произведений. Корабельников отказался писать предисловие. Л.Б. Каменев взялся, три раза перечитал и ничего не понял. Я читал — тоже ничего не понял. Я прихожу уже в течение многих месяцев к Н.Н. и говорю о том, что от печатания этой вещи надо отказаться. А деньги? А те 13 000, которые мы на это дело внесли? Накоряков: Вопрос не в деньгах, а в других обстоятельствах.

Фролов: Вы имеете в виду то, что на нас нажимают сверху, чтобы мы издали этот томик, я считаю, что если мы не издадим, на нас не будут нажимать, а если издадим, то на нас будут нажимать и сверху, и со всех сторон» (Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Т. 1. 1925 — июнь 1941. — М.: РОССПЭН, 2010. С. 255).

³⁷⁵ Из стихотворения О.М. «Голубые глаза и горячая лобная кость...» (1934): «Прямизна нашей мысли не только пугач для детей — / Не бумажные дести, а вести нужны для людей!»

³⁷⁶ Цитата из «Четвертой прозы» О.М., написанной в 1930 г.

³⁷⁷ Стихотворение В.Я. Брюсова «Фонарики» начинается так: «Столетия — фонарики! о, сколько вас во тьме, / На прочной нити времени, протянутой в уме!», а далее следует ряд уподоблений: «А вот гирлянда желтая квадратных фонарей. / Египет! сила странная в неяркости твоей! <...> О Рим, свет ослепительный одиннадцати чаш: / Ты — белый, торжествующий, ты нам родной, ты наш! / Век Данте — блеск таинственный, зловеще золотой... / Лазурное сияние, о Леонардо, — твой!» и т. д.

³⁷⁸ Речь идет о кн.: *Strzygowski J. Die Baukunst der Armenier und Europa.* — Wien: Kunstverlag Anton Scyroll & Co., 1918; История Армении Моисея Хоренского / Перевел с армянского и объяснил Н. Эмин. — Москва. В Типографии Каткова и К°, 1858; *Шопен И.И.* Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ея присоединения к Российской Империи. — Санкт-Петербург: В Типографии Императорской Академии Наук, 1852.

³⁷⁹ «Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяженности. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом, связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он поддается умопостигаемому свертыванию».

³⁸⁰ Речь идет о стихотворении Дж. Китса «Строки о трактире “Дева моря”»: «Души бардов, ныне сущих / В горних долах, в райских куцах! / Разве этот лучший мир / Лучше, чем у нас трактир / “Дева Моря”, где по-царски / Угостят тебя

Канарским, / Где оленина всегда / Слаще райского плода?» (пер. А. Жовтиса).

³⁸¹ «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс» вышла в сентябре 1938 г., когда О.М. находился уже в заключении. Вероятно, речь идет о выступлении А.Н. Баха, которому как старейшему депутату поручили открыть 12 января 1938 г. Первую Сессию Совета Союза Верховного Совета СССР: «Сталинская Конституция знаменует новую великую эру в истории человечества...» (Правда. 1938. 13 января).

³⁸² 31 декабря 1936 г. О.М. отправил в письме Н.С. Тихонову стихотворение «Оттого все неудачи...» (1936), в котором есть такие строки: «Там, где огненными щами / Угощается Кашей, / С говорящими камнями / Он на счастье ждет гостей, / Камни трогает клещами, / Щиплет золото гвоздей».

³⁸³ Речь идет об издании: *Ленин В.И.* Избр. произв.: В 6 т. — Л.: Соцэкгиз. Собрание сочинений И.В. Сталина стало выходить в 1951 г.

³⁸⁴ Большой универсальный словарь XIX века (*Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle*) в семнадцати томах, изданный П. Ларуссом.

³⁸⁵ Книга стихов В.И. Иванова (М.: Скорпион, 1911. Ч. 1, 2).

³⁸⁶ В собрании Т.В. Мандельштам находится макет титульного листа этой книги (рукой Н.М.): «Русская поэзия первой четверти XX века (1900–1923). Составил Осип Мандельштам. 1923». Сохранилась также часть ее верстки: страницы 1–16, 33–48 (АМ. В. 5. Ф. 10. С. 1).

³⁸⁷ Упоминаются следующие стихотворения: «Бог Отец» («Подо Мною орлы, орлы говорящие...») А.М. Добролюбова; «Песня араба» («Есть странная песня араба, чье имя — ничто...») К.Д. Бальмонта; «*Toga virilis*» («На площадях одно лишь слово — “Даки”...») В.А. Комаровского (*toga virilis*, лат. — тога, которую римские юноши надевали при достижении совершеннолетия); «Вкруг колокольни обомшелой...» В.А. Бородаевского; «*Chimerisando*» («Я в шахматы играл с одним евреем, странно...») А.К. Лозины-Лозинского (*chimerisando*, ит. — предающийся фантазиям).

³⁸⁸ Первое из этих стихотворений Б.М. Лапина — «1920», в котором есть, в частности, такие строки: «Звезды в окнах

М.П.К.; / Ночь; нежнейшая простуда; / Чья-то мокрая рука / Бьет косяшки Ундервуда; / Ночь; раздавленный сугроб. / Плоский, умный, мертвый лоб / На рыдучих горевальцев / Усмехался под стеклом» (М.П.К. — Московский партийный комитет). Второе из упомянутых Н.М. стихотворений Лапина — «Лес живет» — начинается так: «Под давлением косого ветра / расцветает стиха цветок. / Тянется к рассвета / тени стебелек. / Там, надкусывая пальцы астрам, / Триль-Тралль целовал цветки, / и все знали, какой он страстный, / по хрусту мертвой руки». Сохранился список этого стихотворения рукою О.М. (Фрезинский Б. О Борисе Лапине // *Сохрани мою речь*. Вып. 4/1. С. 212–214; на с. 204 воспроизведено факсимиле этого списка).

³⁸⁹ Уцелевшую часть верстки антологии завершают три стихотворения В.Я. Брюсова: «Я» («Мой дух не изнемог во мгле противоречий...»), «Ассаргадон» и «Старый викинг».

³⁹⁰ В «Кратком руководстве к красноречию» М.В. Ломоносов писал (глава «О изобретении простых идей»): «Должно смотреть, чтобы приисканные идеи приличны были к самой теме, однако не надлежит всегда тех отбрасывать, которые кажутся от темы далековаты, ибо оне иногда, будучи сопряжены по правилам следующие главы, могут составить изрядные и к теме приличные сложенные идеи» (*Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч.: «В 11 т.» — М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. Т. 7. С. 111).

³⁹¹ Начало стихотворения В.Я. Брюсова «Поэту»: «Ты должен быть гордым, как знамя...».

³⁹² Из стихотворения В.В. Маяковского «Наш марш».

³⁹³ В газете «Биржевые ведомости» (1913. 13 декабря. Вечерний выпуск), под названием «Те, о которых говорят», была напечатана фотография участников диспута, состоявшегося 10 декабря 1913 г. в Санкт-Петербурге после лекции Н.И. Кульбина «Футуризм и отношение к нему современного общества и критики»: Н.Д. Бурлюка, Г.И. Иванова, Н.И. Кульбина, Б.К. Лившица, О.М., В.А. Пяста и др. В.В. Маяковского и К.И. Чуковского среди них нет. Известна фотография О.М. в группе с К.И. Чуковским, Б.К. Лившицем и Ю.П. Анненковым (1914).

³⁹⁴ Речь идет о стихотворении Л.А. Мея «Плясунья», а также стихотворениях К.К. Случевского «Ты не гонись за рифмой своенравной...» и «После казни в Женеве».

³⁹⁵ Н.М. имеет в виду единственный прижизненный сборник поэта, изданный тиражом 50 экземпляров: Стихотворения Аполлона Григорьева. — СПб.: Типография К. Крайя, 1846.

³⁹⁶ О.М. писал в «Шуме времени» о В.В. Гиппиусе: «Власть оценок В.В. длится надо мной и посейчас».

³⁹⁷ Контаминация из первой строфы стихотворения А.А. Фета: «Моего тот безумства желал, кто смежал / Этой розы завои, и блески, и росы; / Моего тот безумства желал, кто свивал / Эти тяжким узлом набежавшие косы».

³⁹⁸ Перевод «Чистилища» Данте Алигьери, выполненный М.А. Горбовым ямбической прозой, вышел в Москве в 1898 г.

³⁹⁹ Речь идет о принадлежащем Н.И. Гнедичу переводе «Илиады» Гомера.

⁴⁰⁰ Сохранилось начало перевода стихотворения С. Малларме «Brise Marine» («Морской бриз»), выполненного О.М.: «Плоть опечалена, и книги надоели... / Бежать... Я чувствую, как птицы опьянели / От новизны небес и вспененной воды. / Нет — ни в глазах моих старинные сады / Не остановят сердца, пляшущего, доле; / Ни с лампою, в пустынном ореоле, / На неисписанных и девственных листах; / Ни молодая мать с ребенком на руках...» Шуточный «вариант» перевода «И молодая мать — кормящая со сна» (в подстрочнике: «Ни молодая женщина, кормящая грудью ребенка») мог быть «подсказан», как отметил Н.А. Струве, словом «белизна» из предшествующей строки: *Sur le vide papier que la blancheur défend*: «На пустой странице запретной белизны» (*Мандельштам О. Собр. соч.* — Париж: YMCA-Press, 1981. Т. 4, доп. С. 177), а «белизну», в свою очередь, могло «подсказать» слово «новизна» из третьей строки перевода.

⁴⁰¹ Переводы из старофранцузского эпоса, которые О.М. предполагал издать отдельной книгой. «Жизнь святого Алексея» должна была, по свидетельству Н.М., появиться в невышедшем шестом номере журнала «Россия» за 1925 г. (*Морозов И. С.* 505).

⁴⁰² Речь идет о стихотворении О.М. «Твоим узким плечам под бичами краснеть...».

⁴⁰³ Подразумеваются «Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой дочери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева» (СПб.: Тип. Сириус, 1913).

Сестра ее мужа, Е.А. Долгорукова, обрученная с императором Петром II, после его внезапной смерти была посажена под домашний арест, а затем отправлена в пожизненную ссылку.

⁴⁰⁴ Имеется в виду журнал «Каторга и ссылка», орган Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев; издавался в Москве с 1921 г. В 1935 г. решением Президиума ЦИК СССР общество было ликвидировано, журнал закрыт, а в 1937–1938 гг. многие члены общества подверглись репрессиям.

⁴⁰⁵ Представление об этом дают программы по истории русской литературы для учащихся Тенишевского училища: «Летопись, приписываемая Нестору. Поучение Владимира Мономаха. Слово о Полку Игореве: 1) как выражение политического самосознания, 2) как художественный памятник в связи с основными понятиями о поэзии вообще, о ее родах, видах и пр.» (Мец А.Г. Осип Манделштам и его время: Анализ текстов. — СПб.: Гиперион, 2005. С. 238).

⁴⁰⁶ В журнале «Россия» (1922–1926) О.М. напечатал ряд стихотворений, перевод из старофранцузского эпоса и несколько статей.

⁴⁰⁷ 26 ноября 1933 г. И.Г. Лежнев, предлагая И.В. Сталину познакомиться с рукописью своих «Записок современника», писал, что эта книга является его «расширенным заявлением и о приеме в партию», а работа над ней помогла ему «окончательно вытряхнуть из себя и изжить остатки прошлого, переключиться и идейно, и психически на новый ритм, стать действительно новым человеком»: «Если книга нужна как исторический документ о пути целого поколения интеллигенции, как показатель перелома в этой среде, как призыв к сверстникам и предостережение молодым, как серьезная попытка выполнения ленинского требования о признании ошибок и вместе с тем — образец самоперевоспитательной работы для писателя, то партия примет мою книгу-заявление» (Чудакова М.О. Письмо И.Г. Лежнева Сталину // IV Тыняновские чтения: Тез. докл. и матер. для обсуждения. — Рига; Москва, 1992. С. 248–250). 20 декабря 1933 г. Лежнева приняли в партию, в 1934 г. его книга была издана, а сам он вскоре был назначен сначала сотрудником, а позднее и редактором отдела литературы и искусства газеты «Правда».

⁴⁰⁸ В 1939 г. И.Г. Лежнев был уволен из редакции газеты «Правда», но продолжал заниматься литературной критикой (написал, в частности, первую монографию о творчестве М.А. Шолохова).

⁴⁰⁹ Речь идет о кн.: Rodin A. Les cathédrales de France. Paris: Librairie Armand Colin, 1914 (2-е изд., 1921).

⁴¹⁰ «Еще выше стояли материнские русские книги — Пушкин в издании Исакова семьдесят шестого года. <...> Мой исаковский Пушкин был в ряске никакого цвета, в гимназическом коленкоровом переплете, в черно-бурой, вылинявшей ряске, с землистым песочным оттенком <...>. У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар». В 1876 г. в издании Я.А. Исакова («Классная библиотека. Литературное пособие для средних учебных заведений») вышли три книги А.С. Пушкина — «Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник». Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя в четырех томах (изд. 3-е, 1874) и четвертый том из второго издания (1867), а также «Илиада» Гомера в переводе Н.И. Гнедича в издании 1861 г. находились в личной библиотеке О.М. (Остаток книг. С. 237).

⁴¹¹ Н.М. с матерью, В.Я. Хазиной, отправилась из Калинина в эвакуацию 30 сентября 1941 г.

⁴¹² В библиотеке О.М. находился двухтомник: *Winkelmann J. Œuvres complètes de Winkelmann*. Paris: Éd. Étienne Gide, 1801. Т. 1–2. (Там же. С. 231).

⁴¹³ Вероятно, связанный с культом Девы Марии тип средневекового католического молитвенника.

⁴¹⁴ По-видимому, речь идет об одном из изданий гравюр Г. Лютценбургера с рисунков Г. Гольбейна Младшего.

⁴¹⁵ Н.М. имеет в виду раздел «О диалектическом и историческом материализме» из Главы IV «Истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс» (впервые опубликован в 1938 г.).

⁴¹⁶ См. примеч. 286–287 на с. 537.

⁴¹⁷ Из стихотворения О.М. «Не сравнивай: живущий не сравним...» (1937).

⁴¹⁸ *Струве Г.* Итальянские образы и мотивы в поэзии Осипа Мандельштама // *Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver*. — Roma: G. C. Sansoni editore, 1962. С. 601–614.

⁴¹⁹ В.С. Соловьев в книге «Оправдание добра. Нравственная философия» оценивал буддийское учение «как религиозно-нравственный нигилизм (в точном смысле), принципиально упраздняющий всякий предмет и всякий мотив для благоговения, для жалости и для духовной борьбы» (Соловьев В.С. Собр. соч. — СПб.: Изд. Товарищества «Общественная польза», 1903». Т. 7. С. 28).

⁴²⁰ Из стихотворения О.М. «О временах простых и грубых...» (1914).

⁴²¹ Из «Отрывков уничтоженных стихов» О.М.

⁴²² Оспаривая это утверждение, А.А. Морозов пишет: «Чувство конца в эсхатологическом контексте (...) преследовало О.М. едва ли не с начала его пути. В стихии революционности, захватившей его в ранней юности, поэту видится “жажда смерти и тоска размаха” (...), в распространившихся буддийско-теософских воззрениях — “бред или конец христианства” (...). С большевистской революции 1917 г. появляются формулы “финального стиля”, покрывающие собой гибель христианского космоса (“воск бессмертья тает” — 1918 г., “в последний раз нам музыка звучит” — 1921, “хрупкое летосчисление нашей эры подходит к концу” — 1922)» (Морозов И. С. 507).

⁴²³ Цитируется «Четвертая проза» О.М. (1930): «Я чуть не поехал в Эривань, с командировкой от древнего Наркомпроса, читать круглоголовым и застенчивым юношам в бедном монастыре-университете страшный курс-семинарий». 14 июня 1929 г. Н.И. Бухарин отправил председателю Совнаркома Армении С.М. Тер-Габриэлянну следующее письмо: «Дорогой тов. Тер-Габриэлян! Один из наших крупных поэтов, О. Манделштам, хотел бы в Армении получить работу культурного свойства (напр., по истории армянского искусства, литературы, в частности, или что-либо в этом роде). Он очень образованный человек и мог бы принести вам большую пользу. Его нужно только оставить некоторое время в покое и дать ему поработать. Об Армении он написал бы работу. Готов учиться армянскому языку и т. д. Пожалуйста, ответьте телеграфом на Ваше представительство. Ваш Бухарин» (Худавердян А. Встречи с поэтом / Публ. и вступит. заметка П. Нерлера // СМР. Вып. 5/1. С. 237). В ответ пришла телеграмма от наркома просвещения и зампредсовнаркома Армении А.А. Мравьяна: «Москва. Закпредство. Просьба пере-

дать поэту Мандельштаму возможно предоставить в Университете лекции по истории русской литературы, также русскому языку в Ветеринарном институте. Наркомпрос Мравьян. 23 июня 1929 года» (Там же. С. 238).

⁴²⁴ А.А. Мравьян умер 23 октября 1929 г.

⁴²⁵ Подразумевается трагедия А. Ахматовой «Энума элиш. Пролог, или Сон во сне». Сведения о времени и причинах ее уничтожения разнятся. Сохранились фрагменты черновых и беловых автографов пьесы.

⁴²⁶ Речь идет о статье Б.А. Филиппова «А небо будущим беременно», в которой он, в частности, писал: «Тяжелый корабль истории мчит Россию в ничто, в смерть. Новые власти России стремительно и беспощадно направляют страну на путь “обезлички и уравниловки”. Это не трагический фарс. Это — пятилетки индустриализации. Поэт мечется. Он ищет незатронутых процессом обезличивания уголков родины. Он едет в Армению, в самые глухие, первобытные уголки ее» (*Мандельштам 1956*. С. 28).

⁴²⁷ См. также: Т. 2. С. 121.

⁴²⁸ См. примеч. 211 на с. 524.

⁴²⁹ Подразумевается следующее шуточное стихотворение О.М. «Не надо римского мне купола / И ни прекрасного далёка, / Предпочитаю вид на Луппола / Под сенью Жан-Ришара Блока» (1934). Поводом к нему послужила газетная фотография И.К. Луппола и Ж.-Р. Блока (не разыскана).

⁴³⁰ В.Н. Горбачева.

⁴³¹ Следователями С.А. Клычкова были оперуполномоченные Вепринцев и С.Г. Павловский, последний из которых стяжал репутацию специалиста по «физическому воздействию», а также сотрудник резерва назначения Шепелев. Поэт был включен в сталинский расстрельный список, Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла ему приговор, который 8 октября 1937 г. и был приведен в исполнение.

⁴³² «Пылает за окном звезда...» (Красная нива. 1923. № 4).

⁴³³ Речь идет о кн.: *Мандельштам. 1956*. Однако уже в двухтомном издании Собрания сочинений О.М. стихотворение «Пылает за окном звезда...» снабжено следующим примечанием: «По полученным нами из очень хорошего источника сведениям, стихотворение это ошибочно приписывается Мандельштаму.

Оно было написано “в шутку” Сергеем Клычковым...” (Мандельштам О. 1964. С. 515).

⁴³⁴ П.Н. Васильев был расстрелян 16 июля, а С.А. Клычков — 8 октября 1937 г.

⁴³⁵ Статья 18 «Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик» за «шпионаж, вредительство <...> и другие диверсионные акты» предусматривала лишение свободы на срок не свыше 10 лет, а для наиболее тяжких видов государственных преступлений расстрел. Однако 2 октября 1937 г. ЦИК СССР, чтобы суды могли «избирать по этим преступлениям не только высшую меру наказания (расстрел), но и лишение свободы на более длительные сроки», постановил увеличить сроки заключения до 25 лет (Известия. 1937. 3 октября).

⁴³⁶ Из обращения к Н.М. стихотворения О.М. «С розовой пеной усталости у мягких губ...» (1922).

⁴³⁷ Из стихотворения О.М. «Может быть, это точка безумия...» (1937).

⁴³⁸ Из стихотворения О.М. «Я скажу это начерно, шепотом...» (1937).

⁴³⁹ См. в статье О.М. «Выпад» (1924): «Вся современная русская поэзия вышла из родового символического лона».

⁴⁴⁰ Бердяев. С. 56.

⁴⁴¹ Там же. С. 141.

⁴⁴² Из стихотворения А. Ахматовой «Мне ни к чему одические рати...».

⁴⁴³ Из статьи О.М. «Утро акмеизма» (1913–1914).

⁴⁴⁴ Из стихотворения О.М. «Notre Dame» (1912).

⁴⁴⁵ «Все политическое устройство этого мира рассчитано на среднего, ординарного, массового человека, в котором нет ничего творческого» (Бердяев. С. 118).

⁴⁴⁶ Там же. С. 65.

⁴⁴⁷ Там же. С. 38.

⁴⁴⁸ В книге «Записи для себя» В.В. Вересаев, отстаивая свой тезис о том, что «очень многим художникам», в том числе и А.С. Пушкину, «глубоко присущи» «два различных плана — план жизненный и план творческий», сетовал: «Лет десять назад я выпустил книгу о творчестве Пушкина под заглавием “В двух планах”. Там, в сущности, я доказывал то самое, что сам Пушкин говорит о себе: “Пока не требует поэта к священной

жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен... Душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется...” Книга вызвала дружные нападки. Критики считали нужным “заступить” за Пушкина, доказывали, что в своих произведениях он был “вполне искренен” и т. п.» (Вересаев В.В. Собр. соч.: В 5 т. — М.: Правда, 1961. Т. 5. С. 477–478).

⁴⁴⁹ Из стихотворения О.М. «В спокойных пригородах снег...» (1913).

⁴⁵⁰ Так, Е.К. Осмеркина вспоминала, как в 1937 г. О.М. сказал о персонажах М.М. Зощенко, что они «уже не смешны. Они или мученики, или все герои» (Осмеркина-Гальперина Е.К. Мои встречи // Наше наследие. 1988. № 6. С. 106).

⁴⁵¹ «Александр Иваныч! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться...» («Четвертая проза»).

⁴⁵² От аббревиатуры ИТР — инженерно-технические работники.

⁴⁵³ «Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитавшиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово “повидло”. Внутри их комнаты были убраны, как кустарные магазины, различными символами родства, долголетия и домашней верности. Преобладали белые слоны большой и малой величины, художественно исполненные собаки и раковины».

⁴⁵⁴ Бердяев. С. 64.

⁴⁵⁵ «Демократический век — век мещанства, и он неблагоприятен появлению сильных личностей» (Там же. С. 65).

⁴⁵⁶ «Всю мою жизнь я утверждаю мораль неповторимого индивидуального и враждую с моралью общего, общеобязательного. Это есть неприятие никакой групповой морали, противление установленным этой моралью обязательным связям. Это приводило меня к отрицанию обетов, как противных свободе человека, обетов брачных, обетов монашеских, присяг и пр. В этом я был революционером в морали» (Там же. С. 103).

⁴⁵⁷ «Все, что не связано с происхождением по духу, вызывало во мне отталкивание. Все родовое противоположно

свободе. Мое отталкивание от родовой жизни, от всего, связанного с рождающей стихией, вероятно, объясняется моей безумной любовью к свободе и к началу личности» (Там же. С. 63).

⁴⁵⁸ «Много сил я потратил на конфликт с окружающей социальной средой. В центре для меня стояла проблема освобождения индивидуальности, примата личности над обществом» (Там же. С. 135).

⁴⁵⁹ Речь идет о комментарии Е.Ю. Рапп к рассказу об А.Р. Минцловой Н.А. Бердяева, который, отмечая, что она была «умная женщина, по-своему одаренная», писал в книге «Самопознание», что воспринимал ее влияние как «совершенно отрицательное и даже демоническое»: «С ней у меня было связано странное видение. После ее приезда в Москву вот что произошло со мной. Я лежал в своей комнате, на кровати, в состоянии полусна; я ясно видел комнату, в углу против меня была икона и горела лампадка, я очень сосредоточенно смотрел в этот угол и вдруг, под образом, увидел вырисовавшееся лицо Минцловой, выражение лица ее было ужасное, как бы одержимое темной силой; я очень сосредоточенно смотрел на нее и духовным усилием заставил это видение исчезнуть, страшное лицо растаяло. Потом Ж., которая обладает большой чувствительностью, видела ее в форме змеи, с которой мне приходилось бороться» (Там же. С. 207–208). К этому рассказу Е.Ю. Рапп сделала следующее пояснение: «*Мои воспоминания*. Мне хочется рассказать о тех событиях в жизни Н.А., о которых он не говорит и которые рисуют его образ и атмосферу, в которой он жил. Рано утром была послана коляска, чтобы встретить М. на вокзале. Окно моей комнаты выходило на веранду. Я лежала на кушетке в каком-то странном полусне. О приезде Минцловой я не думала и вдруг, неожиданно, я увидела себя в нашем парке, погруженном в жуткие предрассветные сумерки. Н.А. стоял около пруда, на полуостровке, и пристально всматривался во что-то ползущее по стальной поверхности пруда. Я увидела длинную змею, которая, извиваясь, приближалась к нему. Меня охватил ужас. Я видела голову змеи, мертвенно бледную, которая напоминала голову женщины с огромными, мутными глазами. Эти глаза впивались в глаза Н.А. Он стоял неподвижно, как зачарованный, и в то мгновение, когда когти змеи впились в землю и она подползла

к нему, он выхватил кинжал и вонзил его в голову змеи. Кровавые полосы поползли по стальной поверхности пруда. В это мгновение я услышала голос Минцловой, которая выходила из коляски. Несмотря на все усилия, Минцловой не удалось привлечь Н.А. к оккультному ордену, к которому она принадлежала» (Там же. С. 208).

⁴⁶⁰ «Пейзаж моей души иногда представляется мне безводной пустыней с голыми скалами. Я всегда очень любил сады, любил зелень. Но во мне самом нет сада. Высшие подъемы моей жизни связаны с сухим огнем. Стихия огня мне наиболее близка. Более чужды стихия воды и земли. Это делало мою жизнь мало уютной, мало радостной» (Там же. С. 39).

⁴⁶¹ Из статьи О.М. «Скрябин и христианство»; далее цитируется стихотворение О.М. «И поныне на Афоне...» (1915).

⁴⁶² Речь идет о стихотворении Н.С. Гумилева «Слово».

⁴⁶³ Подразумеваются следующие строки из упомянутого стихотворения Н.С. Гумилева: «А для низкой жизни были числа, / Как домашний, подъяремный скот, / Потому, что все оттенки смысла / Умное число передает».

⁴⁶⁴ Речь идет о книге Н.А. Бердяева «Судьба человека в современном мире».

⁴⁶⁵ 5 ноября 1920 г. О.М. заключил с владельцем издательства «Retropolis» Я.Н. Блохом договор на издание книги стихов «Новый камень», передав ему «сто десять строк рукописи» (Летопись жизни Мандельштама. С. 183). Сборник под названием «Tristia» вышел в Берлине в августе 1922 г.

⁴⁶⁶ В настоящее время в различных архивах (в том числе и Ленинградского отделения Госиздата) выявлено и опубликовано более двух десятков «внутренних рецензий» О.М.

⁴⁶⁷ Речь идет о Л.А. Назаревской.

⁴⁶⁸ О том, как было найдено стихотворение О.М. «Где ночь бросает якоря...» (1920?), см.: Т. 2, с. 484. Второе стихотворение — «Все чуждо нам в столице непотребной...» (1918) было обнаружено А.А. Морозовым в архиве А.Г. Габричевского (в настоящее время местонахождение источника текста этого стихотворения неизвестно).

⁴⁶⁹ Отец С.Б. Рудакова, Б.А. Рудаков, из потомственных дворян Московской губернии, в 1916 г. в звании генерал-майора был уволен со службы по болезни, в 1919 г. арестован

по обвинению в контрреволюционной деятельности и в 1920 г. умер в тюрьме. Из четверых старших братьев один покончил с собой в 1913 г. из-за невозможности жениться на любимой женщине, двое других погибли на Первой мировой войне. Четвертый брат, И.Б. Рудаков, в 1920 г. был взят в разработку сексотом-провокатором, арестован как активный член созданного чекистами мифического «Сибирского Учредительного собрания» и в 1921 г. расстрелян.

⁴⁷⁰ В 1928 году С.Б. Рудаков поступил на Высшие государственные курсы искусствоведения при Институте истории искусств, но не закончил их, поскольку в 1930 г. институт был закрыт (Письма Рудакова. С. 8).

⁴⁷¹ О том, что в О.М. находился в Воронеже, С.Б. Рудаков узнал уже по приезду в город (Там же. С. 32).

⁴⁷² «Рудаковы надеялись <...> на И.Э. Бабеля. Он был дружен с родителями Лины Самойловны, и Рудаков по дороге в Воронеж виделся с ним в Москве. Очень интересно для биографии этого замечательного писателя с трагической судьбой, что в 1935 году он относился к массовым ленинградским высылкам как к временному явлению и уверял Рудакова, что больше двух месяцев его пребывание в Воронеже не продлится. Может быть, он действительно рассчитывал на свое знакомство с кем-нибудь из высших военных командиров» (*Герштейн*. С. 91). Сразу по приезду в Воронеж С.Б. Рудаков, с помощью О.М., который был «знаком с очень крупным архитектором города» (Письма Рудакова. С. 32), устроился в апреле 1935 г. на работу в облпроектплангор, но уже в июне его уволили. Он продолжал добиваться работы, брал заказы в кооперативе «Художник» (Там же. С. 149). Рудаков регулярно вносил Н.М. деньги на «хозяйство»: «110–120 рублей <...> уходят у меня на обеды — и теперь чай у них» (Там же. С. 152).

⁴⁷³ 13 января 1936 г. в письме жене С.Б. Рудаков сообщил: «Пока был болен — меня вызывали в НКВД. Сегодня пошел. Говорил около 2-х часов с каким-то дядей. В чудных тонах о Кюхле, о Юрии Николаевиче, о моем нежелании исследовать в Воронеже Кольцова и Никитина. Толку не добьешься — сами это они, или из Москвы со мной лично знакомятся» (Там же. С. 125). Комментируя этот эпизод, Э.Г. Герштейн писала: «С.Б. Рудаков рассказывал мне, что его убеждали там, что,

занимаясь Мандельштамом, он сделал неправильный выбор» (Герштейн. С. 165).

⁴⁷⁴ Ленинградцем и учеником Б.Я. Эйхенбаума и Ю.Н. Тынянова Н.М. назвала П.И. Калецкого ошибочно: он родился в Могилеве, с 1923 г. жил в Москве, а в 1930 г. закончил МГУ (Con amore. С. 660).

⁴⁷⁵ С.Б. Рудаков уехал из Воронежа в Ленинград в двадцатых числах июня 1936 г., а П.И. Калецкий — в июле 1935 г., но не в Ленинград, а в Москву.

⁴⁷⁶ В ноябре 1941 г. С.Б. Рудаков был тяжело ранен и после выздоровления, с лета 1942 г., работал инструктором в московском Всеобуче (Всеобщее военное обучение) (Письма Рудакова. С. 9). «Толстовец», — писала Э.Г. Герштейн, — не был родственником Рудакова. Это был знакомый, муж подруги Лины Самойловны по занятиям с М.В. Юдиной. Рудаков жил на казарменном положении в районном военкомате. Там он совершил должностное преступление ради этого “толстовца”: воспользовался бланком и печатью военкомата и дал своему другу отсрочку, а не полное освобождение. Дело в том, что тот ожидал полного оформления “белого билета”, но неожиданно получил призывную повестку. Признаюсь, что Рудаков пошел на такой рискованный шаг не из уважения к принципам своего приятеля, а по доброте сердца. Мне он сказал так: “N. N. не мог воевать, он, сердешный, боялся”. Рудаков был арестован, три месяца сидел в Бутырской тюрьме и по суду был приговорен к десяти годам лагеря. <...> «Он» сам попросил о замене ему лагеря фронтом, был, как и ожидал, назначен в штрафной батальон и <...> в первом же бою, 15 января 1944 года, он был убит» (Герштейн. С. 91).

⁴⁷⁷ Как уточнила Э.Г. Герштейн, А. Ахматова встретила Л.С. Финкельштейн и узнала, что «все цело», не в 1953, а осенью или зимой 1944 г. (Там же. С. 76). Далее она сообщила, что весной 1949 г. вдова С.Б. Рудакова «оглушила» ее «неожиданным известием. Оказывается, произошла досадная ошибка: архива Гумилева у нее нет и не было. Недоразумение она объяснила так: сундук с рукописями стоял в коридоре общей квартиры, а она не знала, что там бумаги, и соседские ребята, вероятно, истребили рукописи Гумилева на хлопущки. А она, приехав из эвакуации, не разобралась в сохранившемся

Сережином архиве и приняла за гумилевский совсем другой конверт» (Там же. С. 78). В конце сентября 1954 г. Финкельштейн сообщила Герштейн, что через два дня после смерти Сталина «ее взяли по “еврейскому делу”», причем «в МГБ у нее забрали все рукописи Мандельштама». Далее Герштейн подтвердила, что действительно видела в ее архиве «справку Ленинградского областного управления МГБ о том, что с 10 марта 1953 года она содержалась во внутренней тюрьме и была освобождена 15 апреля того же года». Позднее, в январе 1959 г., на вопрос Ахматовой о судьбе рукописей Гумилева и О.М. вдова Рудакова «объявила, что автографы Мандельштама ее мать в панике бросила в печь, как только «ее» увели» (Там же. С. 79–81). Между тем уже осенью 1973 г. Герштейн получила от вдовы Рудакова через третье лицо «небольшой бювар с девятью письмами Н.С. Гумилева» и другие архивные материалы, а позднее и встретила с ней: «Она признала ошибкой, что обманула меня в 1954 году, свалив на МГБ ответственность за пропажу автографов Мандельштама. У нее, мол, не хватило духу признаться, что они сожжены. С искренней убежденностью она мне сказала, что ей “все вернули!” за исключением автографа стихотворения О. Мандельштама о Керенском и вырезки из журнала с изображением фотографии русских писателей во главе с Маринетти. Ее заставили расписаться, что она сама добровольно сдает эти материалы, и это, по-видимому, травмировало ее. Вернувшись домой, она вместе с матерью стала жечь все мандельштамовские автографы. Относительно архива Гумилева она твердо заявила, что больше у нее ничего нет и не было. <...> Но в разговоре она сама, слабая и старая, проговорила, упоминая, как ей трудно было жечь в один из страшных периодов нашей жизни бухгалтерскую книгу с толстыми листами, в которую П.Н. Лукницкий вписывал данные для “Трудов и дней” Гумилева. Хорошо, что сохранилась машинописная копия этой летописи...» (Там же. С. 93–94). Часть материалов Рудакова, проданных его вдовой, оказалась в собрании М.С. Лесмана и сейчас находится в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Основная их часть после смерти вдовы Рудакова поступила в Пушкинский Дом.

⁴⁷⁸ 18 мая 1935 г. С.Б. Рудаков писал жене: «Бесконечно читаю несравненного Вагинова. Ах, какие у него стихи.

Неужели правда, что мы трое — русская поэзия» (Письма Рудакова. С. 51).

⁴⁷⁹ В том же письме С.Б. Рудаков повествовал о своей помощи О.М. в его работе над стихами: «Из обрезков и черновиков, прибавленных к “Чернозему” и “Камам”, <...> — мы (я, затем он) — сделали немного больше 100 стихов. Тут мною переработаны “Стансы” (первоначальный текст спасен и отвергнут). Страшно то, что это уже не “советы”, а работа — моя (моя! настоящая). Осип этого не ждал, он робеет, упирается — но на его материале я делаю такие уточнения, от которых нельзя отказаться, делаю такие (строчные, полустрочные) вставки и замены, до существования которых материал был мертв. <...> А мне даже жутковато — ведь будут читать гениального Мандельштама, а без меня, клянусь, — были бы “Кама”, “Чернозем” (уже мною довершенный же), да куча мелочей неживых и грязноватых» (Там же. С. 50–51).

⁴⁸⁰ См. в письме от 26 мая 1935 г.: «Посмертно — стихи все завещаны мне — его собственные слова: “Вы будете единственным душеприказчиком и издателем Мандельштама”» (Там же. С. 55).

⁴⁸¹ Первые две строфы стихотворения О.М. «Мой щегол, я голову закину...» (1936) были по ошибке опубликованы как стихотворение, принадлежащее В.Э. Багрицкому, в сб.: Имена на поверке. Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. — М.: Мол. гвардия, 1963. С. 26). См. в связи с этой публикацией заметку: *Багрицкая Л.Г.* Досадное недоразумение // Лит. газета. 1964. 5 мая.

⁴⁸² Приведем краткую характеристику материалов, которыми располагал С.Б. Рудаков: «Из писем Рудакова можно сделать вывод, что по крайней мере 20 блокнотов были им заполнены под диктовку Осипа Мандельштама, дающего “ключ” к своим стихам. А Лина Самойловна очень живо и убедительно несколько раз заверяла меня, что она сожгла только один блокнот (самый драгоценный!). В нем между листами было вложено по одному автографу О. Мандельштама, а на листе был краткий, в одну-две фразы, комментарий рукой Рудакова. На меня производит впечатление, что это был только указатель к другим блокнотам. Но Лина Самойловна уверяла, что больше ничего у нее не было. “Что касается комментария

к Мандельштаму, — писала она мне 31 июля 1971 года, — то его как такового не было. Была тетрадка с беглыми заметками к стихам» (*Гершштейн*. С. 96–97). Другие материалы (в том числе и автографы стихотворений из сборника «*Tristia*») сохранились, по-видимому, лучше. Так, 10 июня 1936 г. Рудаков писал жене: «С рукописями решили так: я отдаю сейчас отработанную часть — остальное проездом оставляю в Москве. Отдал 1908–1924» (Письма Рудакова. С. 181).

⁴⁸³ Комментируя эти строки, Л.В. Глазунова писала: «Во-первых, <...> Э.Б. никогда не “жил у своего тестя”. А во-вторых, кому же он мог хвастать, если само упоминание о запрещенных стихах было невозможным в те времена. “Листочки” же, о которых идет речь, это не список, а подлинные рукописи О. Мандельштама, которые Н.Я. передала Э.Б. перед своим отъездом из Ташкента для подтверждения подлинности списка стихов и надежности их источника. Эти листочки он вернул Н.Я. в Москве через Е.Я. Хазина» (*Бабаев*. С. 325). *Ташкентский самоубийца* — В.В. Глазунов. Об истории упомянутого Глазуновой списка поздних стихов О.М., составленного Н.М. и Э.Г. Бабаевым, см.: Там же. С. 132–133.

⁴⁸⁴ В настоящее время эти автографы и упомянутое издание сборника стихотворений О.М. «Камень» (1916) находятся в АМ.

⁴⁸⁵ Речь идет о письме-завещании Н.И. Бухарина «Будущему поколению руководителей партии», которое сохранила в памяти его вдова (*Ларина-Бухарина А.М. Незабываемое*. — М.: Вагриус, 2003. С. 419–421).

⁴⁸⁶ В 1919 г. С.И. Бернштейн создал в петроградском Институте живого слова Фонетическую лабораторию, а в 1923 г. в Институте истории искусств, основанном графом В.П. Зубовым еще в 1912 г., — Кабинет изучения художественной речи (КИХР). Начиная с 1920 г. он записал на восковые фоновалики (более 700 шт.) голоса приблизительно ста поэтов и актеров-декламаторов. Однако в 1930 г. деятельность КИХРа была объявлена «научным шарлатанством», Бернштейн уволен, а фоновалики отобраны и свалены в подвал. В 1938 г. В.Д. Дувакин сумел значительную их часть перевезти в Москву, в ГЛМ. Из восемнадцати записей стихотворений О.М. в авторском чтении к настоящему времени восстановлено одиннадцать (*Богатырева С.И.*

Краткое жизнеописание профессора Сергея Бернштейна, ученого-лингвиста, в воспоминаниях и 43-х документах // Вопросы лит-ры. 2013. № 6. С. 187, 193–194, 208; Рассанов А.Ю. Звукозапись чтения О.Э. Мандельштама // Вопросы лит-ры. 2008. № 11–12. С. 229–230).

⁴⁸⁷ Стихотворение О.М. «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...», тогда еще не опубликованное, Л.В. Никулин процитировал в одной из своих книг. Противопоставляя поэзию В.В. Маяковского, который по улицам Москвы «проходил как живой памятник смене литературных эпох», — лирике О.М., он отмечал, что хотя певец революции «много любил и понимал» в Париже, но, в отличие от акмеиста Мандельштама, «никогда не поднимал поэтический громокипящий кубок

За музыку сосен савойских
Полей Елисейских бензин,
За розу в кабине рольс-ройса,
За масло парижских картин...»

(Никулин Л. Время, пространство, движение. Молодость героя. — М.: Сов. лит-ра, 1933. Т. 2. С. 331, 333).

⁴⁸⁸ Этот дом находится по адресу: Лаврушинский пер., № 17.

⁴⁸⁹ Э.Д. Катаева (Бреннер) родилась в Париже, ее отец был членом Бунда, после 1917 г. семья приехала в Россию, а затем, осознав ошибку, попыталась вернуться в Европу, однако въезд туда бундовцам был запрещен, а позднее закрыли и советскую границу, так что семья осталась в СССР.

⁴⁹⁰ 6 июня 1937 г. группа исследователей под руководством И.Д. Папанина открыла первую в мире дрейфующую научно-исследовательскую станцию «Северный полюс-1». 18–20 июня того же года экипаж во главе с В.П. Чкаловым совершил рекордный перелет через Северный полюс в Ванкувер.

⁴⁹¹ В начале марта 1938 г. О.М. писал В.П. Ставскому: «Сейчас т. Луппол объявил мне, что никакой работы в Гослитиздате для меня в течение года нет и не предвидится».

⁴⁹² В.И. Нарбута арестовали в ночь с 26 на 27 октября 1936 г., А.О. Моргулиса — 28 августа того же года,

С.А. Клычкова — уже после возвращения Мандельштамов из Воронежа в Москву — 31 июля 1937 г.

⁴⁹³ Из поэмы Н.С. Гумилева «Звездный ужас».

⁴⁹⁴ Речь идет о следующем фрагменте романа «Война и мир»: «Все гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет, — говорил Пьер (как, с тех пор как существует правительство, взглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди)» (*Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. — М.: Худ. лит-ра, 1981. Т. 7. С. 296*).

⁴⁹⁵ Источником строк из поэмы Н.С. Гумилева «Звездный ужас»: «Горе! Горе! Страх, петля и яма / Для того, кто на земле родился...» является стих 17 главы 24 Книги пророка Исайи.

⁴⁹⁶ См. примеч. 182 на с. 521.

⁴⁹⁷ В упомянутом рассказе Г.И. Шелеста четверо коммунистов-заключенных находят золотой самородок и вместо того, чтобы, раздробив его, сдавать по ежедневной норме, решают сдать его весь сразу: «Чьей-то злой волей нас обвинили, оболгали и запрятали сюда искать самородки. Но там война! Надо помогать. Что бы с нами ни было, мы коммунисты. Это наша жизнь» (*Известия. 1962. 5 ноября*).

⁴⁹⁸ Согласно медицинской справке, выданной О.М. в Санаторном отделе Литфонда ССП СССР, это произошло 25 мая 1937 г. (Слово и «Дело». С. 82).

⁴⁹⁹ 26 мая 1937 г. О.М. был предписан постельный режим, выдан «Листок нетрудоспособности», из которого следует, что врачи посещали поэта 30 мая, 3, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 20 и 23 июля (Там же. С. 82–83).

⁵⁰⁰ Возможно, это произошло 19 июня, когда посетивший О.М. врач выписал следующее направление: «К тов. Мандельштаму» О.Э. прошу направить на дом невропатолога, бо́льшой ходить не может...» (АМ. В. 4. F. 1. S. 1).

⁵⁰¹ Речь идет о чайной «Эхо», которая принадлежала местной промартели инвалидов (*Жоркунов В.В. «Пароходик с петухами» (О пребывании Осипа Мандельштама в Кимрах) // Знамя. 2009. № 2. С. 155*).

⁵⁰² «Поэма без Героя» (Ч. 2): «Ты спроси у моих современниц, / Каторжанок, стопятниц, пленниц, / И тебе порасскажем мы, / Как в беспамятном жили страхе, / Как растили детей для плахи, / Для застенка и для тюрьмы».

⁵⁰³ Подразумевается стихотворение О.М. «Не веря воскресенья чуду...» (1916).

⁵⁰⁴ РАПМ (Российская ассоциация пролетарских музыкантов) была образована в 1923 г. с целью создания массового революционно-музыкального репертуара; упразднена после выхода постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций».

⁵⁰⁵ 24 декабря 1937 г. в номере газеты «Правда», посвященном двадцатилетию Советской Украины, первый секретарь ЦК КП(б) республики С.В. Косиор опубликовал статью «Торжество ленинско-сталинской национальной политики», в которой, в частности, писал: «В строительстве украинской советской культуры и в руководстве им мы отстаем от экономического подъема страны. Здесь большую вредительскую работу проделали украинские националисты — скрипники, любченки, хвыли. <...> Они покровительствовали, протаскивали вперед, подталкивали наверх наиболее гнилых, подходящих для их предательских целей людей». Н.А. Скрипник (Скрипник), нарком просвещения УССР, подвергался травле за «извращение ленинизма», «националистические ошибки» и «вредительство в языкознании», покончил с собой 7 июля 1933 г. А.П. Любченко, председатель СНК Украины, был обвинен в руководстве контрреволюционной националистической организацией и 29 августа 1937 г. покончил с собой. А.А. Хвыля-Олинтер, начальник Управления по делам искусств при СНК Украины, 13 августа 1937 г. был арестован за участие в националистической контрреволюционной организации и 10 февраля 1938 г. расстрелян. Сам С.В. Косиор в январе 1938 г. был смещен с поста первого секретаря ЦК КП(б) Украины, 3 мая того же года арестован за принадлежность к «Польской военной организации» и 26 февраля 1939 г. расстрелян.

⁵⁰⁶ *Народу было много. Теперь я думаю, что сунул деньги не Сурков.

⁵⁰⁷ В романе «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевский приводит следующую «басню» о луковке: одну злую женщину,

у которой не было ни одной добродетели, черти после смерти бросили в огненное озеро. Чтобы спасти ее, ангел-хранитель сказал Богу, что она как-то подала нищенке луковку. И Бог велел протянуть этой женщине ту самую луковку, чтобы она ухватилась за нее и, если удержится, смогла попасть в рай (*Достоевский*. Т. 14. С. 319).

⁵⁰⁸ Сохранилась одна из таких повесток, отправленная И.П. Уткину: «15-го октября в 6 часов вечера в помещении Союза советских писателей состоится читка стихов Осипа Мандельштама, на которой просьба присутствовать. Секретарь бюро секции поэтов — Сурков». На конверте помета: «Весьма» срочно. С курьером» (*Швейцер В.* Мандельштам после Воронежа // Синтаксис. Париж, 1989. № 25. С. 72).

⁵⁰⁹ 15 октября 1937 г. в Большом театре действительно шла опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка».

⁵¹⁰ Бомбардировки Калинина начались уже в июле–августе 1941 г.

⁵¹¹ «Был он маленьким, щуплым; голову с хохолком закидывал назад» (*Эренбург И.* Люди, годы, жизнь. Книга вторая // Новый мир. 1961. С. 142).

⁵¹² Речь идет о Казанском соборе, в котором с 1932 по 1991 г. находился Музей истории религии и атеизма.

⁵¹³ Н.Г. Григорьева.

⁵¹⁴ Стихотворение О.М. «Клейкой клятвой липнут почки...» (1937) обращено к Н.Е. Штемпель.

⁵¹⁵ Корнелия, мать Тиберия и Гая Гракхов, отличалась благородством происхождения и просвещенностью.

⁵¹⁶ В.С. Старцев.

⁵¹⁷ Н.М. была «освобождена от работы» в Ульяновском педагогическом институте «согласно поданному заявлению» приказом от 27 марта 1953 г. (Осип и Надежда. С. 411).

⁵¹⁸ Приводим некоторые сведения об этой кампании: «Нас было 12 человек неугодных, увольняемых летом 1953 года из Ульяновского педагогического института. Эта группа состояла из десяти евреев, меня — русской, человека сомнительного, с советской точки зрения, происхождения и родственных связей, — и одного партийца, явно не соответствующего по своим знаниям должности ассистента; кроме того, он пил и избивал жену. Среди увольняемых была Надежда

Яковлевна Мандельштам, жена поэта Осипа Мандельштама, старший преподаватель английского языка на инфаке. Однажды я зашла к директору института Старцеву; на столе у него лежала телеграмма, подписанная “Депутат Верховного совета СССР Илья Эренбург”. В телеграмме Эренбург просил не увольнять жену поэта Осипа Мандельштама. Телеграмма не помогла, и Надежду Яковлевну уволили. Все увольняемые подали заявления в высшие инстанции с просьбой отменить решение института. В институте были оставлены: конечно, пьяница партиец; я как недавно окончившая, на старости лет, аспирантуру; одна еврейка, неожиданно захворавшая скарлатиной. Остальные были уволены и устроились по своей специальности в городах лучше, чем Ульяновск. Но для Надежды Яковлевны не нашлось места ближе, чем Чита» (О.И. Телеграмма Эренбурга не помогла // Русская мысль. Париж, 1971. 18 февраля).

⁵¹⁹ Приводим текст этого стихотворения, опубликованного в издании Союза поэтов (СОПО. Первый сборник стихов. РСФСР. Четвертый год первого века <1921>. С. 25):

Наркомвоен отрывисто чеканит
Главе правительства сухой вопрос,
И у широкого окна очками
Поблескивает строгий Наркомпрос.

Каким-то нереальным фейерверком
Разбрасываются обрывки фраз:
«Товарищ! назначенье Главковерхом
Вам принесет сегодняшний приказ...

Волнения рабочих в Вашингтоне!..
Восстанием охвачен Будапешт!..»
И взор усталый машинистки тонет
Под грудой зашифрованных депеш.

Наркомфинансов с Наркоминodelом
Беседуют о пониженьи цен.
И странно-чужд в дворцовом зале белом
Нерусский председателя акцент.

О эти люди, твердые как камень,
Зажженные сигнальные огни!
Их будут чтить веками и веками,
И говорить о них страницы книг.

И летописец пламенной свободы
Восстановит восторженным пером
Закуривающего Наркомпрода
И на столе у Наркомзема бром.

Киев, 1918

⁵²⁰ А.Д. Дикой был арестован 17 августа 1937 г. и приговорен Особым совещанием при НКВД СССР по статье 58 к пяти годам лишения свободы.

⁵²¹ В.И. Стенич был арестован 14 ноября 1937 г.

⁵²² Имя Амфитриона, героя древнегреческой мифологии, стало нарицательным для гостеприимного человека.

⁵²³ Осенью 1937 г. чекисты сфабриковали разветвленный правотроцкистский заговор писателей под руководством Н.С. Тихонова и И.Г. Эренбурга с целью убийства И.В. Сталина. С.Д. Спасский был арестован 8 января 1951 г.

⁵²⁴ *Каверин. Он прочел «Воспоминания» и сказал: «Напрасно вы об этом вспомнили».

⁵²⁵ *Орлов.

⁵²⁶ Н.А. Бруни в Первую мировую войну за участие в боевых действиях был награжден тремя Георгиевскими крестами. 29 сентября 1917 г., совершая аварийную посадку в подбитом самолете, дал обет, если выживет, принять сан священника. Служил командиром 1-го авиаотряда Красной армии. В начале 1919 г. был комиссован из армии и в июле того же года рукоположен в священники. В 1928 г. обвинен в бессребренности и сложил сан. 8 декабря 1934 г., уже будучи профессором Московского авиационного института, арестован и отправлен на 5 лет в Ухтпечлаг. 25 ноября 1937 г. повторно арестован («внедрял религиозные традиции среди заключенных: происходящие в СССР события увязывал со Священным писанием») и расстрелян 29 января (по другим источникам — 4 апреля) 1938 г.

⁵²⁷ 4 мая 1930 г. Н.И. Подвойский, отдыхавший в Сухуме, на даче им. Орджоникидзе, сообщил в письме своей

жене, Н.А. Дидурской, что среди вновь прибывших «Мандельштам, муж и жена, беспартийные, муж — поэт <...>, Ежов, зам. “наркомзема”» (*Мандельштам О.Э. Соч.: В 2 т. — М.: Худ. лит-ра, 1990. Т. 2. С. 429*). 17 июля 1937 г. Н.И. Ежов, ставший к тому времени наркомом внутренних дел СССР, был награжден орденом Ленина «за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий». 28 июля 1937 г. газета «Известия» опубликовала фотографию, на которой его поздравляет с наградой М.И. Калинин.

⁵²⁸ Речь идет о С.И. Фейгенберг-Ноткиной, увлечение которой и послужило причиной развода Н.И. Ежова с его первой женой, А.А. Титовой.

⁵²⁹ С кругом одесских писателей С.И. Фейгенберг-Ноткина была знакома еще с юности.

⁵³⁰ Речь идет о К.В. Коваче, которому О.М. в черновиках к очерку «Путешествие в Армению» дал следующую выразительную характеристику: «Еврей по происхождению и совсем не горец, не кавказец, он обстругал себя в талию, очинил, как карандаш, под головореза. Глаза у него были очаровательно наглые, со злющинкой, и какие-то крашенные, желтые... От одного его приближения зазубренные столовые ножи превращались в охотничьи» (*Мандельштам. Т. 3. С. 382*).

⁵³¹ Н.М. имеет в виду И.Т. Смилгу. В 1927 г. он как активный участник троцкистской оппозиции был арестован и приговорен к четырем годам ссылки. В 1930 г. заявил о разрыве с троцкизмом, был восстановлен в ВКП(б) и вернулся в Москву. В работе XVII съезда партии 1934 г. («Съезд победителей»), более половины делегатов которого были позднее расстреляны или репрессированы, Смилга не участвовал, в 1935 г. был вновь арестован и в 1937 г. расстрелян.

⁵³² Речь идет, по-видимому, об одном из представителей древнего абхазского княжеского рода Шервашидзе (Чачба).

⁵³³ Н.А. Лакоба скончался 28 декабря 1936 г. Ряд исследователей считает, что он был отравлен по распоряжению Л.П. Берии. Лакобу похоронили с почестями в Ботаническом саду Сухума, в специально построенном склепе. В конце января 1937 г. он был объявлен врагом народа, и в феврале того же года по приказу Берии его тело было тайно перезахоронено

на Михайловском кладбище близ Сухума, а через восемь-девять месяцев — еще раз в более отдаленном районе.

⁵³⁴ «С Какабадзе» — он был крупнейшим радиоспецом у себя на родине — мы ходили в клуб субтропического хозяйства ловить [средиземную] миланскую волну на шестилампный приемник», — писал О.М. в черновиках к очерку «Путешествие в Армению» (Там же).

⁵³⁵ «Общество, собравшееся в Сухуме, — писал О.М., — приняло весть о гибели первозданного поэта с постыдным равнодушием. (Ведь не Шаляпин и не Качалов даже!) В тот же вечер плясали казачка и пели гурьбой у рояля студенческие вихрастые песни» (Там же. С. 381).

⁵³⁶ Н.Р. Эрдман и В.З. Масс были арестованы в ночь с 11 на 12 октября 1933 г. в г. Гагры, где они находились на съемках фильма «Веселые ребята». Следствие по их делу вел Н.Х. Шиваров.

⁵³⁷ См. примеч. 123 на с. 510.

⁵³⁸ *Перечитывая книгу в 1977 году, я увидела, что оптимизма у меня нет ни на копейку, хотя сейчас жить легче, чем когда-либо.

⁵³⁹ Речь идет о Е.С. Левитине.

⁵⁴⁰ Оттепель, или хрущевская оттепель, — период некоторой демократизации общественно-политической жизни в стране и относительной свободы слова и творческой деятельности (примерно с 1955 по 1962 г.); название восходит к повести И.Г. Эренбурга (1954).

⁵⁴¹ «Опытный грамматист, не прибегая к <...> определениям, всегда знает, чем является данное слово — прилагательным или глаголом. И подобно тому как мы с первого взгляда различаем корову и кошку, могут научиться различать части речи и дети» (Есперсен О. Философия грамматики. — М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1958. С. 67).

⁵⁴² *Только женщины и церковники (священники, дьяконы).

⁵⁴³ Согласно сообщению Управления НКВД по Калининской области от 9 июля 1938 г., «Мандельштам Осип Эмильевич в г. Калинин проживал с 17/XI–37 г. по 10/III–38 г. по адресу 3-я Никитинская ул., д. № 43» (Слово и «Дело». С. 104).

⁵⁴⁴ 10 марта 1938 г. О.М. писал Б.С. Кузину: «Любопытно: как только вы написали о Дворжаке, купил в Калининне пластинку». Славяньские танцы № 1 и № 8 действительно прелесть. Бетховенская обработка народных тем, богатство ключей, умное веселье и щедрость».

⁵⁴⁵ Речь идет об отзыве вождя на сказку М. Горького «Девушка и смерть», датированном 11 октября 1931 г. (Большая цензура. С. 480).

⁵⁴⁶ 17 мая 1938 г., когда О.М. был уже арестован, И.В. Сталин, выступая с речью на приеме в честь работников высшей школы (Правда. 1938. 19 мая), провозгласил тост «за процветание науки — той науки, которая не отгораживается от народа, (...) той науки, которая не дает своим старым и признанным руководителям самодовольно замыкаться в скорлупу жрецов науки, (...) той науки, (...) которая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устарелыми, превращаются в тормоз для движения вперед, и которая умеет создавать новые традиции, новые нормы, новые установки» (Сталин И.В. Соч. — М.: Писатель, 1997. С. 250–251).

⁵⁴⁷ Речь идет о рассказе А.И. Солженицына «Случай на станции Кочетовка».

⁵⁴⁸ Ордер на производство обыска «с целью обнаружения оружия, переписки и других вещественных доказательств» на бывшей квартире О.М. в Калининне был выписан Управлением НКВД по Калининской области 28 мая 1938 г., а сам обыск произведен 29 мая сотрудниками Недобожиним-Жаровым и Пуком. 9 июня УНКВД сообщило 4-му отделу ГУГБ НКВД, что «вещей и какой-либо переписки, принадлежавших Мандельштаму», при обыске не обнаружено» (Слово и «Дело». С. 103–104).

⁵⁴⁹ 30 сентября 1938 г. Н.М. поступила ученицей тазовщицы на комбинат «5-й Октябрь» Александровского хлопчатобумажного треста г. Струнино (АМ. В. 4. Ф. 1. С. 1).

⁵⁵⁰ Известен сдержанный отзыв О.М. о 5-й симфонии Д.Д. Шостаковича в письме, отправленном Б.С. Кузину 10 марта 1938 г.: «Здесь гремит его 5-я симфония». Нудное запугиванье. (...) Не приемлю. Не мысль. Не математика. Не добро. Пусть искусство: не приемлю!»

⁵⁵¹ В книге «Гамбургский счет» В.Б. Шкловский писал: «Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие. Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера. Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы. Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах. Долго, некрасиво и тяжело. Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться. Гамбургский счет необходим в литературе...» (Шкловский В.Б. Гамбургский счет. Статьи — воспоминания — эссе (1914–1933). — М.: Сов. писатель, 1990. С. 331).

⁵⁵² См. примеч. 335 на с. 543.

⁵⁵³ Софья, дочь А. Ивича и А.М. Бамдас.

⁵⁵⁴ Рукописи О.М. А. Ивич получил на хранение в 1946 г., а в 1948 г. Е.Я. Хазин передал ему на хранение собственные бумаги.

⁵⁵⁵ Женой С.И. Бернштейна была А.В. Ротар.

⁵⁵⁶ 28 мая 1967 г. Н.М. писала Н.И. Харджиеву: «В день, когда я получила обратно посылку “за смертью адресата”, <...> во всей Москве, а может, во всем мире было только одно место, куда меня пустили. Это была ваша деревянная комната, ваше логово, ваш мрачный уют» (Об Ахматовой. С. 299).

⁵⁵⁷ Этот рисунок воспроизведен в выпуске «Неизданных произведений» В. Хлебникова (М.: Гослитиздат, 1940), подготовленном Н.И. Харджиевым и Т.С. Грицем.

⁵⁵⁸ Последние два карандашных наброска О.М. сделаны А.А. Осмеркиным 1 октября 1937 г. (Собрание И.С. Зильберштейна в ГМИИ им. А.С. Пушкина). Один из них воспроизведен на обложке кн.: Семенко И. Поэтика позднего Манделштама: (От черновых редакций к окончательному тексту). — Roma: Sagusci, 1986, и в журнале «Наше наследие» (1988. № 6. С. 100).

⁵⁵⁹ Рисунок В.А. Милашевского воспроизведен в журнале «Москва» (1964. № 8. С. 143).

⁵⁶⁰ На допросе 17 мая 1938 г. О.М. показал: «В дни приезда я останавливался у Шкловского (писатель), Осмеркина (художник), которым я читал свои стихи. Кроме вышеперечисленных лиц, я также читал свои стихи Фадееву на квартире у Катаева Валентина, Пастернаку, Маркишу, Кирсанову, Суркову, Петрову Евгению, Лахути и Яхонтову (актер)» (Слово и «Дело». С. 102).

⁵⁶¹ 24–29 декабря 1937 г. в Тбилиси состоялся пленум Правления Союза писателей СССР, посвященный 750-летию создания поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». «В январе 1938 года, — вспоминал И.Г. Эренбург, — А.А. Фадеев показал мне гранки “Нового мира” и сказал, что попытается вернуть Мандельштама читателям» (Простор. Алма-Ата, 1965. № 4. С. 58).

⁵⁶² 2 марта 1938 г. правление Литфонда постановило: «Во изменение решения правления Литфонда от 20.II.38 г. предоставить О.Э. Мандельштаму и его жене две путевки в санаторий “Саматиха” сроком на 2 м-ца за счет Литфонда и выдать единовременное пособие в сумме 300 руб. Просить Секретариат ССП решить вопрос о Мандельштаме О.Э. в полном объеме» (Морозов 1. С. 516). Согласно справке, выданной Н.М. в пансионате «Саматиха», она находилась там на отдыхе с 8 марта по 6 мая 1938 г. (Летопись жизни Мандельштама. С. 494).

⁵⁶³ В 1953–1959 гг. А.А. Сурков был первым секретарем Союза писателей СССР.

⁵⁶⁴ В состав так называемых троек, внесудебных органов уголовного преследования, входили представители НКВД, партийного аппарата и прокуратуры.

⁵⁶⁵ В сентябре 1937 г. А.А. Андреев отправился в Ташкент для «разъяснения» руководству компартии Узбекистана письма И.В. Сталина и В.М. Молотова о секретаре ЦК КП(б) республики А.И. Икрамове, который вскоре был арестован и расстрелян. После этой поездки Андреева более четырехсот партийных и советских работников Узбекистана были приговорены к высшей мере наказания.

⁵⁶⁶ С.В. Фомичев.

⁵⁶⁷ Ордер на арест и обыск О.М., подписанный начальником 1-го управления НКВД СССР М.П. Фриновским, был выдан 30 апреля 1938 г. Арест в ночь на 3 мая 1938 г. производили сотрудники НКВД Шишканов и Шелуханов в присутствии С.В. Фомичева, исполнявшего обязанности директора пансионата «Саматиха».

⁵⁶⁸ Первый председатель Петроградской ЧК М.С. Урицкий был убит Л.И. Каннегисером 30 августа 1918 г. 3 сентября газета «Правда» в заметке «Пусть трепещет буржуазия»

сообщила, что «в связи с убийством Урицкого расстреляно свыше 500 человек».

⁵⁶⁹ Об аресте и дальнейшей участи Д.С. Усова см. примеч. 61 на с. 503; сведений о ходатайстве Р. Роллана по делу «словарников» не выявлено.

⁵⁷⁰ В 1931 г. были арестованы бывший директор Эрмитажа С.Н. Тройницкий (сопротивление «советизации» музея), Н.Г. Зенгер (хранение писем Николая II) и свыше двадцати других его сотрудников (хранение коллекций «бежавших белогвардейцев» и т.д.). А в 1929 г. по «Академическому делу» (организация «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России» с целью восстановления в СССР монархического строя) были подвергнуты репрессиям свыше восьмидесяти крупнейших историков страны, в том числе С.Ф. Платонов, М.М. Богословский, Е.В. Тарле и др. (*Павленко Н.* «Академическое дело». Историки под прицелом ОГПУ // Наука и жизнь. 1999. № 11. С. 26).

⁵⁷¹ Среднеазиатский государственный университет (Ташкент).

⁵⁷² Прием у В.П. Ставского состоялся, скорее всего, 5 марта 1938 г., за три дня до отъезда О.М. в Саматиху — на выписке из протокола заседания Литфонда ССП, датированной 4 марта, помета Ставского: «Мандельштама на секретариат 5/III» (*Морозов И.* С. 518).

⁵⁷³ 16 марта В.П. Ставский отправил Н.И. Ежову следующее письмо: «Уважаемый Николай Иванович! В части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос об Осипе Мандельштаме. Как известно — за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию Осип Мандельштам был года три-четыре тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами “зоны”). Но на деле — он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом — литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него “страдалца” — гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, И. Прут и другие литераторы, выступали остро. С целью разрядить обстановку — О. Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме. Вопрос не только

и не столько в нем, авторе похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос — об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь. За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют, — по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности, тов. Павленко, отзыв которого прилагаю при сем). Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме. С коммунистическим приветом. В. Ставский» (Слово и «Дело». С. 97–98). В «отзыве» П. А. Павленко, в частности, писал: «Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет того самого главного, что, на мой взгляд, делает поэзию, — нет темперамента, нет веры в свою страну. <...> Советские ли это стихи? Да, конечно. Но только в «Стихах о Сталине» мы это чувствуем без обиняков, в остальных же стихах — о советском догадываемся. Если бы передо мною был поставлен вопрос — следует ли печатать эти стихи, — я ответил бы — нет, не следует» (Там же. С. 98; «Стихи о Сталине» — «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...»). 27 апреля начальник 9-го отделения 4-го отдела ГУГБ ст. лейтенант В. И. Юревич составил на основе этих документов справку со следующим заключением: «По имеющимся сведениям, Мандельштам до настоящего времени сохранил свои антисоветские взгляды. В силу своей психической неуравновешенности Мандельштам способен на агрессивные действия. Считаю необходимым подвергнуть Мандельштама аресту и изоляции». 29 апреля М. П. Фриновский наложил на эту справку резолюцию: «Арестовать» (Там же. С. 99).

⁵⁷⁴ На Кузнецком мосту, во дворе дома № 24, который имел выход на Пушечную улицу (бывшую Софийку), находилась приемная НКВД.

⁵⁷⁵ В Бутырскую тюрьму О. М. был переведен 4 августа 1938 г. (Там же. С. 150).

⁵⁷⁶ 2 августа 1938 г. Особое совещание при НКВД СССР постановило: «Мандельштам» Осипа Эмильевича за к. р.

деятельность заключить в исправтрудлагерь сроком на пять лет, считая срок с 30/IV–38 г.». 23 августа у Н.М. приняли для передачи О.М. 48 руб., а 8 сентября он был отправлен во Владивосток (Там же. С. 105–106, 111).

⁵⁷⁷ В письме брату, А.Э. Мандельштаму, О.М. сообщал: «Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак. Получил 5 лет за к.р.д. по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки...» (СВИТЛ — Северовосточный исправительно-трудовой лагерь, к.р.д. — контрреволюционная деятельность, ОСО — Особое совещание). Судя по почтовым штемпелям, письмо отправлено 30 ноября, а пришло в Москву 13 декабря 1938 г.

⁵⁷⁸ 15 декабря 1938 г. Н.М. отправила О.М. телеграфный перевод, а 10 января 1939 г. лагерная почта во Владивостоке послала его обратно в Москву (*Морозов 1*. С. 519).

⁵⁷⁹ См. примеч. 589 на с. 580.

⁵⁸⁰ События развивались несколько иначе: в начале июня 1956 г. Н.М., видимо по совету прокурора Климовой, отправила в Прокуратуру СССР следующее заявление: «У вас в приемной я узнала, что муж мой — Мандельштам Осип Эмильевич был осужден не только в 1938 году, но и в мае 1934 года (что я считала административной высылкой). Приговор Особого Совещания в 1934 году — три года высылки в Чердынь, замененной высылкой в Воронеж. Я прошу Прокуратуру пересмотреть и дело 1934 года, так как знаю, что Мандельштам был совершенно невиновен, а выслали его за стихотворение против культа личности, которое он имел неосторожность прочесть нескольким людям из ближайшего окружения. Прошу о посмертной реабилитации» (Слово и «Дело». С. 174). 6 августа 1956 г. прокурор отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Е.С. Никулин направил Н.М. следующее уведомление: «Сообщаю, что по протесту Прокуратуры СССР постановление от 2 августа 1938 года Верховным судом СССР 31 июля 1956 года отменено и дело в отношении Мандельштам«а» Осипа Эмильевича прекращено. О результатах рассмотрения дела, по которому Мандельштам О.Э. был осужден в 1934 году, Вам будет сообщено дополнительно» (Там же. С. 172). Постановление

Прокуратуры СССР о том, что «оснований для пересмотра» дела О.М. 1934 г. нет, «вина Мандельштама доказана, осужден он правильно», а «жалобу Н.Я. Мандельштам оставить без удовлетворения», было принято 24 октября 1956 г., на следующий день после начала Венгерского восстания (Там же. С. 175).

⁵⁸¹ 16 июня 1957 г. в газете «Московский литератор» появилось следующее сообщение: «Решением секретариата СП СССР создана комиссия по литературному наследию О.Э. Мандельштама в составе А. Ахматовой, Н. Мандельштам, З. Паперного, А. Суркова, Н. Харджиева, Е. Хазина, И. Эренбурга». Комиссия была организована 28 февраля 1957 г.

⁵⁸² 4 мая 1954 г. было принято «Постановление Президиума ЦК КПСС о создании Центральной комиссии и местных комиссий по пересмотру дел осужденных за “контрреволюционные преступления”, содержащихся в лагерях, колониях, тюрьмах и находящихся в ссылках на поселении» (Реабилитация. С. 116–117).

⁵⁸³ Так, 4 апреля 1957 г., на заседании Ленинградского отделения ССП СССР в связи с подготовкой альманаха «Прибой», куда предполагалось включить стихи О.М., А.А. Прокофьев заявил, что «категорически протестует против включения их в сборник», но добавил, что их «можно печатать в малой серии “Библиотеки поэта”» (Золотосов М.Н. Гадюшник. Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями (Из истории советского литературного быта 1940–1960-х годов). — М.: Новое лит. обозрение, 2013. С. 552).

⁵⁸⁴ Вероятно, Л.Я. Гинзбург и Б.Я. Бухштаб.

⁵⁸⁵ *Увидела и пришла в отчаяние... (Подразумевается кн.: Мандельштам 1973. — С.В., П.Н.).

⁵⁸⁶ Сообщение об освобождении Н.И. Ежова «согласно его просьбе, от обязанностей наркома внутренних дел с оставлением его народным комиссаром водного транспорта» было опубликовано 9 декабря 1938 г.

⁵⁸⁷ Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении советских писателей» (102 человека) был напечатан 1 февраля 1939 г. В.П. Ставский, в частности, получил орден «Знак Почета», а П.А. Павленко — орден Ленина.

⁵⁸⁸ *Шкловский сознавал, пока жила Василиса. В ней благодать.

⁵⁸⁹ Свидетельство о смерти О.М., выданное 3 июня 1940 г., в настоящее время находится в РГАЛИ (Ф. 1893. Оп. 3. Ед. хр. 83).

⁵⁹⁰ Речь идет о следующих строчках из стихотворения Н.А. Клюева «Клеветникам искусства»: «Я содрогаюсь вас, убогие вороны, / Что серы вы, в стихе не лирохвосты, / Бумажные размножили погосты / И вывели ежей, улиток, саранчу!.. / За будни львом на вас рычу / И за мои неожиданные седины / Отмщаю тягой лебединой!»

⁵⁹¹ Р. Роллан и М.П. Кудашева приехали в Москву 23 июня 1935 г. и 28 июня были приняты И. В. Сталиным, о чем на следующий день сообщила газета «Правда».

⁵⁹² Сведений о ходатайстве Р. Роллана за осужденных по делу «словарников» (см. примеч. 61 на с. 503) не обнаружено, однако в беседе с И.В. Сталиным 28 июня 1935 г. писатель спрашивал его о репрессиях после убийства С.М. Кирова и сетовал на то, что, справедливо покарвав «сообщников заговора, жертвой которого явился Киров», власти не сообщили «европейской публике и миру об убийственной вине осужденных». Роллан также высказал опасения, что «закон о наказании малолетних преступников старше 12 лет», принятый в СССР 7 апреля 1935 г., судьи могут применять «по своему усмотрению» (*Сталин И.В.* Соч. — Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006. Т. 18. С. 101). В апреле 1938 г. Роллан сообщил С. Цвейгу, что послал в СССР двадцать писем в защиту «арестованных друзей», но ответа ни на одно из них не получил: «У меня больше нет возможности заставить ко мне прислушаться в СССР» (*Мотылева Т.* «...Мне нужна надежда...» (По страницам переписки Р. Роллана и Ст. Цвейга) // Вопросы лит-ры. 1988. № 11. С. 73).

⁵⁹³ См. в стихотворении О.М. «И по-звериному воеет людье...» (1930): «Чудный чиновник без подорожной, / Командирован к тачке острожной / И Черномора пригубил питье / В кислой корчме на пути к Эрзеруму».

⁵⁹⁴ *Это был соученик Евг. Эмильевича.

⁵⁹⁵ В.И. Нарбут получил пять лет исправительно-трудовых лагерей «за контрреволюционную деятельность» и оказался в том же Владивостокском пересыльном пункте Управления северо-восточными исправительно-трудовыми лагерями, куда

через год будет отправлен О.М. 9 марта 1938 г. Нарбут, находясь уже на Колыме, писал жене: «В середине декабря «1937 г.» я пошел из Магадана в последний, как мне казалось, этап — на грузовике. И очутился сперва в стане Оротукане, а затем — на руднике “Ключ Пасмурный”. Здесь я пробыл около 2½ мес. Работал сперва младшим счетоводом, затем ночным сторожем, наконец — ассенизатором (3 дня). «...» 28 февраля моя работа неожиданно для меня прервалась. «...» Комиссией я признан негодным для работы, освобожден от нее без указания срока, навсегда (поскольку у меня нет левой руки и изуродована, деформирована нога)» (*Нарбут В.И.* Стихотворения. — М.: Современник. С. 380). 2 апреля 1938 г. был выписан ордер на второй арест Нарбута. Его вместе с другими инвалидами объединили в контрреволюционную группу саботажников и обвинили в антисоветской агитации и разложении лагерной дисциплины. 7 апреля 1938 г. тройка Управления НКВД по Дальстрою вынесла ему приговор, и 14 апреля 1938 г. он был расстрелян (*Бирюков А.* Жизнь на краю судьбы. Писатели на Колыме: Биографические очерки. — Новосибирск: Изд-во «Свиный и сыновья», 2006. С. 594, 598–599).

⁵⁹⁶ А.И. Моргулис умер 20 октября 1938 г. в одном из лагерей Севвостлага. Д.П. Святополк-Мирский скончался 6 июня 1939 г. в Отдельном лагерном пункте «Инвалидный» Севвостлага близ Магадана.

⁵⁹⁷ Подразумевается рассказ В.Т. Шаламова «Шеррибренди». Этот рассказ он читал на первом вечере памяти О.М. 13 мая 1965 г. на механико-математическом факультете МГУ, куда была приглашена и Н.М.

⁵⁹⁸ Речь идет о стихотворении О.М. «Неумолимые слова...» (1910).

⁵⁹⁹ Имеется в виду роман Ю.О. Домбровского «Хранитель древностей» (Новый мир. 1964. № 7, 8).

⁶⁰⁰ «Странная» («сидячая») война — период с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 г., когда на Западном фронте практически не велось боевых действий.

⁶⁰¹ Писем и записок Н.И. Бухарина в деле О.М. 1938 г. не обнаружено.

⁶⁰² Кто такой «физик Л.», удалось установить только в 2013 г. (Con amore. С. 456). Им оказался К.Е. Хитров, в 1938 г.

студент 3-го курса Московского областного пединститута, арестованный за выступление на молодежном диспуте. В 1961–1981 гг. он работал в вечерней школе рабочей молодежи г. Фряново, Щелковского р-на, Московской области, сначала учителем физики и математики, а с 1966 г. — директором.

⁶⁰³ *Сын Троцкого. (С.Л. Седов, младший сын Л.Д. Троцкого, преподавал в Московском авиационном институте. — С.В., П.Н.)

⁶⁰⁴ К.Е. Хитров входил в тот же список арестантов из Бутырской тюрьмы, что и О.М. (Слово и «Дело». С. 117).

⁶⁰⁵ 14 октября 1938 г. температура воздуха во Владивостоке резко поднялась до 12–15 °С, что значительно превышало среднемесячную норму, и сохранялась до конца месяца, а 8 ноября она упала уже ниже нуля (Там же. С. 137).

⁶⁰⁶ Комендантом, по свидетельству Е.М. Крепса, был Абрам Ионович Вайсбург, сам из ссыльных; он оставил по себе добрую память человека незлобивого. В 1971 г. Крепс разыскал его в Ташкенте (Там же. С. 75).

ОБ АХМАТОВОЙ

I

Надпись на книге: «Другу Наде, чтобы она еще раз вспомнила, что с нами было»¹. Из того, что с нами было, самое основное и сильное — это страх и его производное — мерзкое чувство позора и полной беспомощности. Этого и вспоминать не надо, «это» всегда с нами. Мы признались друг другу, что «это» оказалось сильнее любви и ревности, сильнее всех человеческих чувств, доставшихся на нашу долю. С самых первых дней, когда мы еще были храбрыми, до конца пятидесятих годов страх заглушал в нас все, чем обычно живут люди, и за каждую минуту просвета мы платили ночным бредом — наяву и во сне.

У страха была физиологическая основа: хорошо вымытые руки с толстыми короткими пальцами шарят по нашим карманам, добродушные лица ночных гостей, их мутные глаза и покрасневшие от бессонницы веки. Ночные звонки — «Пока вы мирно отдыхали в Сочи, Ко мне уже ползли такие ночи И я такие слышала звонки»², топот сапог, «черные вороны» — Ануш, посмотрите, кто там... — Это болван, дежурящий на улице не для того, чтобы узнать о нас что-нибудь дополнительное, а просто с целью пугнуть и окончательно запугать.

[У болвана раскормленная рожа — у нас ведь нет уравниловки, а он, торча, как пень, у нас перед глазами, приносит явную пользу государству. У меня и сейчас пробегает холодок по спине, когда я случайно на улице прохожу мимо человека этого типажа — у нас знают, как таких использовать с наивысшим коэффициентом полезного действия. Эту породу начали выводить еще при московских царях, и она удалась

на славу: начальству служат, жен боятся, перед дочерьми лебезят. Не приведи Господь... Полсотни лет я ощущаю их присутствие.]

Ночью в часы любви я ловила себя на мысли — а вдруг сейчас войдут и прервут? Так и случилось первого мая 1938 года, оставив после себя своеобразный след — смесь двух воспоминаний³.

Кроме физиологии была и другая сторона, вроде как нравственная. В 38-м мы узнали, что «психологические методы допроса» (в «психологию» входило все, что не оставляет рубцов на теле) отменены и «там» перешли на «упрощенный допрос», то есть просто пытаются и бьют⁴. Анна Андреевна сказала: «Теперь все ясно: шапочку-ушаночку и — шасть за проволоку!» И мы почему-то решили: раз без психологии, больше бояться не надо — пусть ломают ребра...

Но вскоре она передумала: как так не бояться? Бояться надо — мы же себя не знаем: а вдруг нас сломают, и мы чорт знает чего наговорим, как такой-то, такой-то и такой-то, и по нашим спискам будут брать и брать и брать... В самом деле, откуда людям знать, как они будут вести себя в нечеловеческих условиях? Я многому научилась от нее и этому тоже: Господи, помоги, ведь я даже за себя поручиться не могу...

Больше всего Анна Андреевна боялась «непуганых». В наших условиях это самые опасные люди. «Непуганый» лишен сопротивляемости. Если «непуганый» попадает в их лапы, он по глупости может загубить всех родных, знакомых и незнакомых. Родители, охраняя детей, растили их в неведение, а потом могли сесть родители, оставив «непуганого» на произвол судьбы, или садился сам «непуганый», милый человек с открытой душой, или, наконец, — никто не садился — повезло ж людям! — и «непуганый» ходил по улицам и по домам, разговаривая по своему разумению, а иногда даже писал письма или вел дневник, а расплачиваться за его идиотизм приходилось другим. Для нас «непуганый» был хуже провокатора: с провокатором хитришь, и он понимает, в чем дело, а «непуганый» смотрит голубыми глазами, и его не заткнешь.

В наши дни только страх делал людей людьми, но только при условии, что он не влечет за собой низкой трусости. Страх был организующим началом, а трусость — жалкой сдачей

позиций. Этого мы себе позволить не могли, да, правду сказать, такого искушения у нас и не было.

В самые страшные годы Анна Андреевна всегда первая приходила в дома, где ночью орудовали «дорогие гости». Это про них: «И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных»⁵. Недавно я спросила у Таточки, дивной красотки, отстукавшей на свое счастье только пять лет без повторных приговоров, но со всеми последующими изъятиями, непрописками, капканами и лишениями: «А она пришла?» — «Конечно, — ответила Таточка. — Сразу же... Первая... Мы еще не успели убрать...» — «А кто сказал, что теперь надо иметь только пепельницу и плевательницу — ты или она?» — «Конечно она», — удивленно ответила Таточка. [К Анне Андреевне, оказывается, зашла Лида и сообщила, что ночью увели Б. — Таточкиного мужа. Анна Андреевна встала и сказала: «Идем», — и они пошли.]

Эта прелестная женщина, вдова Л., забитого «внутри» или просто расстрелянного после долгих месяцев упрощенного ленинградского допроса, символизирует для меня бессмысленность и ужас террора — нежная, легкая, трогательная, за что ей подарили судьбу? Вот уж действительно женщина как цветок, — как смели отравить ей жизнь, уничтожить ее мужа, плевать ей при допросах в лицо, оторвать от маленького сына, которого она уже никогда не увидела, потому что он погиб на войне, — с такой биографией, как у него, посылали в самые безнадежные места⁶. Как смели гноить ее на каторге в вонючем ватнике и шапочке-ушанке? За что? Таточка просто жертва во славу великой идеи о срочном преобразовании общества с целью осчастливить все человечество — белое, черное и желтое... И раз поставлена такая высокая цель, посильная только сверхчеловеку, окруженному сильными людьми, — это вариант сверхчеловека, только по второму сорту, — которым все можно, то нечего щадить отдельных людей, а ведь тюрьмы и лагеря заполняются отдельными людьми, которых почему-то понадобилось убрать. «Но» чего только не сделаешь из любви к людям...

А с другой стороны, моя Тата, оставшаяся прелестной даже в старости, — это символ женской силы, невиданного пассивного сопротивления тем, кто превратил «сильных мужчин» в покорную и дрожащую тварь с хорошо организованным

коллективным разумом. Кто сказал, что коллективный разум всегда тварный? Это Таточка ответила прокурору, когда он сказал ей, что она может вторично выйти замуж⁷, — так у нас иногда, в виде особой милости, сообщали о расстреле, гибели или другой форме уничтожения мужа: «Я с мертвыми не развожусь».

Женщины выходили из испытаний не такими изломанными, как мужчины, у них было меньше психозов, они не так легко сдавались, хотя их тоже морили голодом, бессонницей и били. Даже свою каторгу они выносили с большей стойкостью, чем мужчины. Шаламов мне сказал, что женщины иногда приезжали к своим мужьям на Колыму, чтобы хоть чем-нибудь облегчить им существование. Они шли на невероятную муку, их насиловали, над ними издевались. Но они приезжали и жили там. Однако он никогда не слышал, чтобы хоть один мужчина приехал к своей жене или возлюбленной — «дорогая, я за тебя жизнь отдам...».

Что дала нам эта проклятая эпоха звериного страха? Что могу я сказать в ее оправдание? Может, и смогу, если подумаю, а пока: все же были отдельные люди, которые оставались людьми, единицы, капля в море, но не все превратились в нелюдь. И еще: в таких условиях человек познается быстрее и легче, чем там, где, спрятавшись под условные формы приличных фраз и приличного поведения, нелюдь может гримироваться под человека. И наконец: острые болезни если не приводят к полной гибели, то дают более полное выздоровление, чем хронические, медленно протекающие и оставляющие навсегда пагубные следы. А может ли острая болезнь длиться столько лет? Для истории все-таки это не такие баснословные сроки, как они представляются людям, ухлопавшим на болезнь истории всю свою жизнь. Все три найденные мною наспех оправдания относятся скорее к отрицательному, чем к положительному ряду чисел.

Нас с Анной Андреевной очень интересовал вопрос о том, что такое храбрость. Во-первых, мы сразу выяснили, что храбрость, смелость и стойкость отнюдь не синонимы. Во-вторых, жалкие трусы в повседневной жизни — блюдолизы, чиновники, поедающие глазами начальство, не смеющие не только высказать, но даже хранить в душе собственное мнение, — оказывались во время войны храбрыми офицерами, настоящими,

несокрушимыми воинами. Что укрепляло в них воинский дух? Уж не то ли, что они просто выполняли приказы, снимая с себя всякую ответственность за происходящее?

То, что происходило у нас, можно назвать кризисом духа, и так называемые настоящие сильные мужчины, «хи-мень»⁸, как говорят англичане, первые сложили с себя всякую ответственность за все, что делается, покорно построились в ряды, голосующие «за», и доказали, что в нашей стране установилось единомыслие. [Вот этим даже импонировали казни и террор, потому что подкрепляли их позицию насчет рожна, самосохранения и «надо дело делать».]

А те, что послабее, из тех, про которых говорят: «Что он за мужчина?» — проявили наибольшую сопротивляемость. В слабом теле неожиданно оказался клочок духа. Не бог весть какой силы, но «по нашим грехам и то хорошо», говорила Анна Андреевна, повторяя любимое изречение своего отца. Слабые вместе с женщинами все же кое-как барахтались, поддерживая веру в человека, что он еще может возродиться, покаяться и начать новую жизнь. Сильные лезли наверх по социальной лестнице, задыхаясь, сбрасывая друг друга, слабые застревали на нижних ступеньках.

[Это еще не значит, что они оставались в стороне от жизни и не подвергались репрессиям, например. От этого никто не был застрахован. Мало ли что могло случиться: соседям понадобилась чья-то квартира; робкий агроном неслышным голосом заметил, что новый метод пахоты в данном районе неприменим; арестован шеф, а за ним летят его сподвижники; кто-то, ошалев от бессонницы, назвал на допросе имя своего тишайшего приятеля — кто такого кролика тронет? — или это имя названо, потому что приятнее погубить не своего, а чужого... Иначе говоря, в этой лотерее все сводилось к случаю — кому бы, как не мне, знать это... Хотя я считаю, что меня спас не столько случай, как промысел, для того, чтобы я могла выполнить свой долг.

Слабых, вероятно, погибало меньше, чем сильных, а кроме того, они не болели болезнью века — волей к власти — и поэтому не совершали преступлений ради карьеры.] Новое время принесло огромную категорию молодых, которые сознательно отказываются от благополучия и карьеры. Это первый признак

выздоровления, и мы успели с Анной Андреевной отметить его как прекрасный симптом. Впрочем, нельзя поручиться, что молодые, у которых еще все впереди, не свернут, опомнившись, на старый путь. Кто их знает? Ведь с ними, как с непугаными, — все зависит от обстоятельств. К счастью, ее уже нет, а мои дни сочтены.

Деревенские бабы по утрам рассказывают друг другу свои сны. Я расскажу про то, что Анна Андреевна называла «мой сон»: в нем сгустилось время — три десятка лет сгустились, слились в один комок, и нестерпимая боль за двух людей, к которой примешивалось, вероятно, чувство вины, получила символическое оформление.

Коридор пунинской квартиры⁹, где стоит обеденный стол, а в конце за занавеской спит Лева, когда его пускают в этот дом, — старшее поколение Пуниных¹⁰ все-таки было по-человечнее, и Леву не всегда выгоняли. В коридоре «они», ей предьявляют ордер и спрашивают, где Гумилев. Она знает, что Николай Степанович спрятался у нее в комнате — последняя дверь из коридора налево. Она выводит из-за занавески сонного Леву и толкает его к чекистам: «Вот Гумилев». Остается неизвестным, которого из двух они ищут: ведь старший уже убит. «Меня мучит, что я отдала им Леву», — сказала она мне, когда в первый раз рассказывала «мой сон».

А что, в сущности, ей оставалось делать? Они ведь могли бы забрать обоих. Выхода не было даже во сне.

Разные эпохи — разные сны. Первая эпоха — в ней сплюсилось много лет и несколько десятилетий с однотипными снами увода и гибели. Следующая — ей десять приблизительно лет — пошла на постепенное преодоление страха. К ней относится тот сон, который я видела в Пскове¹¹. В нем тоже участвует тот, которого уже не было. Отчаянный стук в дверь. Меня расталкивает О.М.: «Одевайся, это за тобой...» — «Нет, — отвечаю я. — Тебя ведь уже нет, за тобой не придут. А если за мной, то плевать. Пусть хоть ломают дверь, мне какое дело? Надоело... Хватит...» И, повернувшись на другой бок, я снова — во сне — засыпаю.

Смешное последствие этого сна — меня нельзя разбудить стуком и звонками: я не желаю просыпаться. Однажды

в Тарусе приехавшие за чем-то шоферы грузовика — их послал хозяин дачи — так стучали во все окна и двери, что чуть не разнесли дом, но я не позволила себе проснуться. Проснуться и открыть — это своеобразное «сотрудничество», а сотрудничать в этом деле я с ними не собираюсь. Если меня пожелают затоптать и уничтожить, это будет сделано без моего согласия.

Итак, я преодолела страх. Это случилось не рано и не поздно, а тогда, когда следовало, то есть когда распространились в списках стихи О.М. и я перестала над ними дрожать: теперь их уничтожить и стереть с лица земли, как человека, уже нельзя. Мое дело сделано.

С Анной Андреевной было сложнее: во-первых, Лева, а во-вторых, еще не написанные стихи. Иногда я ей говорила: «Чего вы боитесь? Нам уже терять нечего», — а она отвечала: «Нет, мне еще есть что терять».

В новую эпоху страх сменился тем, за что ее хвалил Сурков: «Исключительно тактично себя ведет...» На моем языке это называлось «чрезмерная осторожность», вполне понятная, если вспомнить, какая была прожита жизнь. В какой-то момент ее уговаривали послать «Реквием» в редакции журналов, например в «Новый мир»¹². Она ведь огорчалась, что ее стихи мало циркулируют в списках, но не сделала ни одного движения, чтобы двинуть их: в редакции она их послать отказывалась. «Что вы хотите, чтобы опять весь удар пал на меня?» — сказала она мне.

[Я замолчала. Что могла я ей возразить, зная, как она прожила эту жизнь и чего ей стоило постановление? Легче, должно быть, погибнуть самой, чем пройти тот путь, который прошла она. Ей была дана только крохотная передышка между возвращением Левы и смертью; эта передышка выпала на годы, когда сердце уже отказывалось работать — первый инфаркт хватил ее еще при жизни Сталина. Не советы «надо» давать, а только удивляться необычайной стойкости и жизнелюбию этой женщины, которая хоть перед смертью насладились праздником обыкновенной жизни — друзьями, разговором, садом, цветком. Глотком воздуха перед тем мигом, когда перестанет дышать.]

А вот стихи О.М. она раздавала со всей силой, всячески содействуя их распространению: «Наденька, с Осей все благополучно. Он в Гутенберге не нуждается»¹³, — говорила Анна Андреевна, когда я огорчалась, что книги упорно не выходят.

Это действительно так. Купив книгу, можно ее потерять или не прочесть — всегда успеется... А кто забудет стихи, которые он раздобывал с огромным трудом, а потом тайком переписывал или отстукивал на машинке? С такими стихами не так легко расстаться. В этом преимущество нашей догутенберговской эпохи.

[Но есть и недостаток у такого способа распространения: ошибки, неизбежные при переписке, стихи других авторов, вкрадывающиеся в текст... Я видела список стихов, приписываемый Манделштаму, где не было ни единой его строчки. Но в целом все попадавшиеся мне списки в общем приличны, и это немалое утешение моей старости.]

Во второй период новой эпохи Анна Андреевна почувствовала почву под ногами и расщастливилась — к этому времени «Реквием» уже вырвался из-под ее опеки и куда-то улетел. В эти дни исчезла ее обычная ожесточенность, и она даже раз сказала мне: «Довольно об этом думать — есть в жизни еще что-то, кроме политики...» Разве мы могли подумать, что доживем до того, что сейчас? Ведь нам казалось, что «он — вечный». Так и было.

Новая эпоха началась даже не с его смерти, а с того дня, когда мы шли с ней по улице — в церковный садик на Ордынке, куда я водила ее гулять, и заметили на улице множество шпигов. Они торчали изо всех подворотен, всюду и везде. «Это за нас, а не против нас, — сказала Анна Андреевна, — вы не бойтесь — там делается что-то хорошее». [Каким образом она прослышала про совещание, предвещавшее знаменитый Двадцатый съезд¹⁴? «Стáрица-пророчица», — сказала бы она, смеясь, если бы услышала мой вопрос. Она всегда так отвечала на мои вопросы: как вы это узнали? — или: откуда вы это знаете?..] Но успокоились мы только в шестидесятых годах, когда уже вернулся Лева¹⁵, и успокоение длилось лишь один миг.

Совет Анны Андреевны «думать о другом» означал только, что она поддалась старческой иллюзии. В старости бывает такой период благодушия, когда все видится в розовом свете; этим благодушием страдает и ранняя молодость. Молодой дурью болела и я. Анна Андреевна напомнила мне, что в начале нашего знакомства я была вполне «просоветски» настроена, то есть почти равнодушно слушала ее рассказы про очередные аресты и верила, что «так» продолжаться не может и рано или

поздно все войдет в свою колею. Это одна из бесчисленных ошибок моей молодости, исправить которые нам не дано. И мне и ей пришлось снять розовые очки. Страх вернулся к ней перед самым концом.

Последние месяцы жизни Анна Андреевна провела в Боткинской больнице¹⁶. До этого она жила у Ардовых¹⁷ — Ира по обыкновению выгнала ее на зиму, чтобы не мешала. [Об Ире мне еще придется говорить, а сейчас я вернусь к последней зиме. Я переехала в квартиру — первый дом мой после тридцати с лишним лет бродячей жизни¹⁸.] Анна Андреевна все хотела приехать посмотреть мою новую квартиру, уже было собралась, но ей стало плохо. Отложили на два дня, но она очутилась не у меня, а в больнице. В испуге я помчалась к ней. Меня провожал Шаламов¹⁹. Он остался ждать в раздевалке, а я поднялась наверх.

Такой страшной я никогда ее еще не видала. Она лежала в полузабытьи, уже отрешенная от жизни, но меня все же узнала. Изредка, открыв глаза, она делала над собой явное усилие и обращалась ко мне. Меня поразило, как тщательно она подбирает, о чем заговорить — о самом добром, о том, что нас связывало, о прошлом... «Надя, я так болела в Ташкенте, а вы были со мной... мне так хотелось к вам приехать... вы берегите мои “Листки”, и я напишу еще...»²⁰

Я спустилась к Шаламову в полном ужасе: конец, как быть без нее?^{*21} Но она, как всегда, сделала то, чего никто не ожидал, — воскресла. Меньше всего этого ожидали врачи, как она мне сказала, уже сидя в коридоре и готовясь переезжать домой^{*22}.

А в тот день, когда я в последний раз навестила ее в больнице, мы о смерти не думали. Утром ее смотрела врачиха и ахала, как это она выкарабкалась. «Вероятно, вам надо еще что-то сделать», — сказала я. «О Господи, сколько ж еще делать?» — ответила она.

Откуда у нас взялась вера, что человек покидает этот мир, лишь завершив то, что ему полагалось сделать на земле? Государство доказывало нам совсем обратное: ведь О.М. ушел в самом расцвете поэтического труда, веселый, бодрый, шумный, полный сил и замыслов. Уходя, он был крепким и спокойным человеком. Во что они превратили его в несколько

месяцев? Правда, он из тех, кто органически не переносил насилие. Запертый, он так метался, что переставал быть собой. И у него всегда было предчувствие насильственной смерти: «Еще немного — оборвут простую песенку о глиняных обидах...»²³ Именно оборвут, а не что иное. Вот это у нас умели без промаха. Теперь вроде и полегче: один видный и вполне идеологический писатель очень точно сказал про дело Даниэля и Синявского: «Чего шум подняли? В двадцатых годах мы за такое к стенке ставили и никто не шумел...»²⁴ Что правда, то правда, но лагерная пыль²⁵ все равно остается лагерной пылью: «До самой могилы, попадья...»²⁶

В привилегированном отделении, где лежала, простых смертных не было, только тещи и матери номенклатурных работников, деятельницы двадцатых годов, случайно уцелевшие от разгромов и твердо помнившие, как и за что ставили к стенке, чтобы сохранить достижения революции. [Их круг начал редеть лишь в тридцать седьмом, и многие из них готовы признать, что тогда были допущены ошибки...] Они читали в газетах про дело С. и Д. и громко его комментировали: «Вот так подонки... в наши дни...» «Каково мне это слушать?» — жаловалась Анна Андреевна. И шепотом: «Пусть Даниэль и Синявский потеснятся... Мое место с ними»²⁷. «В инфаркте шестой прокурор», — процитировала я²⁸. Она замахала руками: тише, услышат... И вдруг я увидела, что к ней вернулся страх. «Что вы, Ануш, вас не тронут...» — «А “Реквием”? Ведь это то же, что у них...»

Я не могла ей сказать прямо в глаза, что у нас действительно произошла перемена к лучшему и умирающих не стягивают с больничной койки, чтобы отвезти на допрос. Та эпоха кончилась. Наступила новая: открытый суд по приглашениям, общественные обвинители, прокурор, защитник и небольшая горсточка лагерной пыли за преступное печатанье неподходящих литературных произведений... А чтобы сомнительные литературные произведения не удирали в другой мир, писателям предлагается забирать их из редакции, где отказались их печатать, и получше прятать дома, а то и уничтожать. Второе даже патриотичнее: зачем писать и держать вещи, которые нельзя у нас напечатать? «Но вас, Ануш, не тронут, право же, не тронут... Вам простят “Реквием”... В крайнем случае, вы сами попросите прощения...»

Это был последний приступ страха — перед самой смертью. [Он пришел к ней, чтобы напомнить о прожитой жизни и снова окунуть нас в то, что считалось прошлым. А может, это был ветер из будущего, как в «Поэме без Героя»? Чтобы проверить это, надо дожить до будущего. Пока мы в настоящем.]

Она вышла из больницы, и ее действительно никто не тронул. [Переехала она к Ардовым. Я была у нее там два раза. Аня и Ира почему-то всегда просили меня не заходить — слишком много народу. Так было уже с год. Я не сопротивлялась — ведь действительно надо регулировать посетителей. Лишь потом мне пришлось узнать, в чем дело: Аня кому-то жаловалась, что мы с Анной Андреевной говорили о ее завещании: «Зачем огорчать Акуму?» — сокрушалась Аня. Она, конечно, знала, что я бы крайне возмутилась, если бы наследство досталось им, а не Леве.]

Анна Андреевна умерла пятого марта. Три дня тело держали в морге — праздник 8 марта — Международный женский день. Люди звонили в Союз писателей за справками, но им отвечали, что она уже в Ленинграде: боялись толпы на похоронах. Девятого марта тело выставили в маленьком зале морга, с ней простилась небольшая кучка народу²⁹, а потом гроб отвезли на аэродром и погрузили на самолет. Несколько человек, в том числе и я, провожали ее тем же самолетом³⁰.

Тело из Москвы, в сущности, выкрали — такова российская традиция³¹. Какие-то женщины устроили по этому поводу скандал на партийном собрании в Союзе: почему не дали проститься с Ахматовой? Некто из важных руководящих работников Союза, как рассказывают, объяснил: «Мертвых, товарищи, нам бояться не надо...»³² Так ли это? [Из этой формулировки явствует, что живых бояться следует.] А самое замечательное, что, оказывается, боимся мертвых и живых не только мы, но и они. У них есть что терять, и они боятся еще больше, чем мы, которым терять нечего. Страх душил и душит нас. Освободившихся от страха еще мало, но среди них — «и» я. Меня уже не застрашают, потому что мое дело сделано.

«Мы даже не подозревали, что стихи так живучи», — сказала мне Анна Андреевна, успевшая дожить до дней, когда люди снова вернулись к стихам. А в двадцатых годах Тынянов

успел предсказать конец стихов и переход к прозе³³. В течение нашей долгой жизни несколько раз возникали, а потом исчезали читатели стихов.

Первая волна интереса к стихам поднялась в десятые годы. Это символисты воспитали нового читателя. Как ни отрекались потом от символистов, они провели огромную воспитательную работу и разбудили тягу к поэзии — в узких, правда, кругах. Резкий спад интереса начался в тридцатых годах. «Никто не знает теперь Мандельштама, — сказал как-то Катаев. — Разве только я или Евгений Петрович где-нибудь напомним о нем...» Я подумала: вот нахал, тоже нашелся посредник, но О.М. меня успокоил: «Сейчас так и есть...» И действительно, так и было, хотя имя находилось под запретом не больше десяти лет, а отдельные публикации стихов и прозы проскользнули еще в 31–32 годах³⁴.

Самое удивительное, что О.М. легко переносил это забвение. Оно его не беспокоило. [Он говорил: если чего-нибудь стоит, не пропадет...] Его бесил лишь запрет печататься, а то, что читатель забыл его, он приписывал, вероятно, непечатанью или, скорее всего, вовсе о нем не думал: разве можно заставить людей читать то, чего они не хотят! На тираж книги читателей все же хватит... [Лишь бы работать и, по возможности, печатать... Такого полного равнодушия к успеху, как у О.М., я никогда и ни у кого не видела. Даже Анна Андреевна и та все же отмечала признаки успеха, но, надо отдать ей справедливость, к успеху Мандельштама была более чувствительной, чем к своему.]

Новый подъем читательского интереса начался во время войны. Тот же Катаев — в отличие от прочих писателей этот человек всегда узнавал меня и, бросив очередную девку среди улицы, подбегал ко мне даже в центре Москвы и Ташкента — приехал в Ташкент и сообщил: «Ахматова переживает вторую славу, надо обязательно к ней зайти и посмотреть, как это выглядит...» Боюсь, что то, что Анна Андреевна считала новым подъемом,хватило лишь старых читателей типа Катаева.

В Среднеазиатском университете моя сослуживица Усова — одна из читательниц самого высокого класса — уговорила меня послушать молодого поэта из эвакуированных. Это был сверхмодный юнец из Одессы, и его набор поэтических

авторитетов не включал ни одного поэта, кроме тех, кто печатался в толстых журналах, зато он обзавелся мироносцами, верившими в него, как в Симонова грядущих дней³⁵. Я нечаянно произнесла имя Ахматовой, и поэт вместе с мироносцами оскорбился: что за старье!

Там же, в Ташкенте, я присутствовала еще при одной пикантной сценке — словоизвержении Миши Вольпина, характерном для неблагодарного читателя двадцатых годов. Свежие, подтянутые, в военной форме, Вольпин и Эрдман явились в дом на Жуковской, куда расселили часть эвакуированных писателей³⁶. Там же была прописана и я как сестра Е. Хазина, а жила на балахане с Анной Андреевной. Изящные гости зашли сначала к моему брату. Эрдман, как всегда, улыбнулся мне, а потом долго молчал, предоставляя Мише держать речь. [Вольпин, кстати говоря, славный человек и не из трусов. Впрочем, каков он сейчас, не знаю, а говорю о двадцатых и тридцатых годах...] Он рассуждал о том, что из поэтов ему, Вольпину, интересен Есенин и Маяковский: «улица корчится безъязыкая», «барам в баре»³⁷, волосы, как пшеница, мало ли что... [Свежесть какая, неожиданность!...] Ахматову ему читать скучно — зачем ему Ахматова? Подумаешь тоже: любит — не любит...

В своевольной атмосфере двадцатых годов появился своевольный читатель, который желал, чтобы ему чесали пятки. Этот читатель жаждал «новаторства» и, кроме «новаторства», не признавал ничего. Это слово означало ломку формы, эффекты и переколку всех представлений в духе сегодняшнего дня. Никто тогда не подозревал, как быстро устаревают все эти броские вещи. Журнал «Лэф» ведь стал архаичным уже к концу двадцатых годов. Проповедь убийства, силы и уничтожения лирики и станковой живописи с треском провалилась, как и новый подход к любви: любовь? — дайте мне девочку, и на три дня с меня хватит. [Это так же архаично, как и ханжество послевоенного периода, когда студенты на собраниях зывали: «Девушки, не ложитесь с парнями до загса», а из прошлых столетий вытащили понятие «незаконные дети».]

Ахматова, пробуя объяснить подъемы и спады читательского интереса, как-то сказала: «Стихи такая вещь — если раз проглотить суррогат, потом уж до них не дотронешься...» В этом есть какая-то доля истины, но далеко не вся. Суррогата

полно и сейчас, но читатель отлично знает, что ему надо, и что стоит переписывать, и за чьими книгами стоит поохотиться. А в эпоху культа силы и отказа от ценностей читатель искал в поэзии укрепления своих позиций и оправдания своей цинической веры в приспособление. Этому читателю был чужд весь пафос отречения Ахматовой, и он замечал в ней только то, что становилось легкой добычей для хулителей, и совершенно игнорировал ее лучшие качества: строгую сдержанность, точность и силу ее прямых попаданий. [Нравственная сила Ахматовой вызывала у этих читателей только глумление.] Избалованный читатель не искал настоящей поэтической правды, он не утруждал себя поисками ради крупниц духовного преображения. Это казалось ему просто смешной болтовней. Он желал, чтобы его оглушали и поражали, «не отходя от кассы», как выражалась Анна Андреевна. Этот читатель даже не заметил, что Ахматова поэт не любви, а отказа от любви ради высокой человечности.

[Кто-то сказал мне: а что же выше любви? Не знаю, но разве любовь, даже самая идеальная, разрушает таинственную перегородку между людьми? Разве не присутствует в ней то, что Анна Андреевна назвала «одиночеством вдвоем»? Мы отдаем жизнь любви, но нет ли различия между любовью как любовью и той, в которой присутствует еще нечто другое? Я слишком много вижу вокруг себя человеческих страстей, чтобы не знать, как непроницаем человек, какие темные силы ведут его по неизведанным путям, как ничего нельзя предсказать, а можно только разводить руками и плакать или улыбаться и радоваться, но это бывает гораздо реже.

Мой личный опыт не показателен. Я когда-то говорила, что считаю правильным мандельштамовским поступком то, чего я сама бы никогда не предложила сделать. Речь идет «не только» о серьезных поступках, но и о всяких пустяках, о повседневной ерунде: как провести вечер, куда поехать или пойти, какую книгу купить или прочесть... За последние тридцать лет одиночества и раздумий я поняла, что его поступки и решения были не случайностью и не прихотью, как я была склонна расценивать их раньше, но результатом поразительной цельности и целеустремленности этого человека. А я, сделанная им, всю жизнь ничего в этом не понимала. Единственное, что я могу привести в свое оправдание, это мое поразительное легкомыслие в юные

годы, благодаря которому я не настаивала на своих решениях, а смеясь делала то, что задумал он. Может, на этом легкомыслии и сговорчивости и держались наши отношения.

С Мандельштамом Анна Андреевна тоже была легкой, веселой и сговорчивой, и на этом, вероятно, держалась их многолетняя дружба. Но цену любви она познала из отношений с другими людьми, и в ее отречении есть много прекрасного, прежде всего отказ от мелкого эгоистического собственничества, от погони за счастьем и от того, что мешает думать, видеть и слышать в дни молодой любви.

Читателям стихов, даже малоподготовленным, гораздо легче понять Ахматову, чем Мандельштама, и тем не менее они ее опростили и низвели до себя.] Еще хуже обстояло дело с Мандельштамом. Требовалось усилие, чтобы его понять. И еще большее усилие, чтобы, поняв, избавиться от его власти, от того, что он называл у поэта «сознанием своей правоты»³⁸. В борьбе с властью поэта хороши все средства — от анекдотов и клеветы, от всяческой внеполитической компрометации до постановлений высших органов власти и ордеров на арест.

В нашем обществе во все эти годы была очень точная градация человеческого материала — два полюса, а между ними целая гамма промежуточных нот. На крайних полюсах стояли деятели двух противоположных типов: с одной стороны, глашатаи «нового», волонтеры, отказавшиеся от всех ценностей, теоретики силы и сторонники диктатуры, с другой — те, кто противопоставлял силе свою правоту, основанную на ценностных понятиях. Эти две полярные группы понять друг друга не могли, да и не хотели. Для полюса силы полюс духа казался смешным, глупым, нелепым.

Один мой знакомый юнец, тайный любитель поэзии, женатый на женщине из противоположного лагеря³⁹, в конце пятидесятых годов осмелел и повесил у себя в наемной комнатке — он приехал с женой в Москву из одной из окраинных республик — портрет Ахматовой. А жену его посещали сыновья могучих отцов, выгнанных с хорошей пенсией в отставку после двух съездов. Их призвали учиться в каких-то тайных академиях ремеслу отцов, чтобы они их поскорее заменили. Приходя к подруге своих детских игр, они с недоумением смотрели на портрет Ахматовой и громко над ним издевались. Изображенная

на нем женщина была им физиологически чужда. Ее красота казалась им уродством. [Хорошо эту женщину отчехвостили в постановлении, которое все эти отличники знали назубок... Так ей и надо, чтобы не зазнавалась, — классово чуждый элемент!]

Я слышала, что их теперь называют «одноклеточными», а иногда хунвэйбинами, хотя те действуют в более трудных условиях — на улице, а не в закрытом помещении, называемом по-русски застенком. «Одноклеточные» не понимают сложный состав человеческой природы, а в эпохи, когда именно они являются знаменем «переоценки ценностей» и к ним тяготеет большинство людей, читатели стихов исчезают с лица земли.

Духовная победа над одноклеточной структурой вызвала подъем любви к поэзии в конце пятидесятых годов^{*40}. Для русской культуры в поэзии заключено, очевидно, освободительное начало.

Мой друг К.Б. однажды сказал мне: «Я не сомневаюсь, что любой наш поэт согласился бы быть русским поэтом». «Со всеми биографическими последствиями?» — спросила я. «Да, — ответил К. Б., — у вас это серьезное дело...»

Все же мне кажется, что К.Б. недооценил «биографические последствия», и в этом со мной согласилась Анна Андреевна, но она заметила, что обратное явление, то есть желание русского поэта стать иностранным, — немислимо. Такого не может быть, несмотря на «биографические последствия». От них никуда не уйдешь. Работать в русской поэзии — великая честь, и вместе с честью приходится принимать и последствия.

Следует прибавить, что К.Б. приезжал к нам в самый цветущий период нашей жизни, когда уже не сажали и еще не сажали, в массовом, по крайней мере, масштабе, а против дела Синявского и Даниэля ополчился весь мир, и даже мы что-то вякали⁴¹. Впрочем, если б он приехал в дни гробового молчания, он, как и все, кто тогда приезжал, ничего бы не понял и никто бы ему ничего не объяснил. [Вот ему тогда бы и могло показаться, что хорошее, серьезное дело быть русским поэтом — сколько горячих споров и как все любят Луговского, Багрицкого и Сельвинского... Что они находят в них, сказать нелегко, надо все это изучить, но темна ведь русская душа...]

Один итальянский знаток русской поэзии даже отчитал как-то Пастернака, что напрасно он думает, будто он один

в советской поэзии, — это было в дни скандала из-за публикации «Живаго». Итальянец даже привел список главнейших русских поэтов, соперничающих с Пастернаком, и, кажется, все из них принадлежали к правлению Союза писателей. Мой К.Б. этого бы не сделал, но все же его, может, уговорили бы заняться не Мандельштамом, а тем, кого помнит и любит таинственный русский народ, как это вполне объективно доказано прессой, библиотечными работниками и материалами, которыми располагает Союз. Разве не хорошее дело быть русским поэтом?]

А я предпочла бы быть сапожником любой национальности, а еще лучше — женой сапожника, хотя у них тоже есть свои неприятности, но все же — сапоги целые и муж при деле.

Ленинград. Церковь. Панихида⁴². Многотысячная толпа кольцом окружала церковь Никола Морского. Внутри была давка. Щелкали киноаппараты, но у фотографов отняли потом пленки: вредная пропаганда церковных похорон, да и женщина не совсем та: постановления ведь никто еще не отменил⁴³. Пленки запрятаны в каком-то архиве, а у фотографов были неприятности, хотя они запаслись всеми возможными разрешениями⁴⁴.

После службы я вышла из церкви и села в автобус, приготовленный для перевозки гроба. Из церкви непрерывной лентой лился поток выходящих, и так же непрерывно вливались в нее толпы людей, еще не успевших пройти мимо гроба. Шло медленное прощание. В толпе мелькали старухи-современницы, но больше всего было молодых незнакомых лиц. [Говорят, студенты сорвали лекции и пришли на похороны.] А обычные посетительницы церкви — измученные старые женщины в допотопном тряпье — отчаянно прорывались внутрь, ругая тех, кто пришел сюда по экстренному случаю — похороны — и оттеснил их, всегда посещающих службы... Организаторы похорон волновались: прощание затягивается — кто мог подумать, что набегит такая толпа? — и нарушается график...

Второе прощание и гражданская панихида состоялись в Союзе писателей. Там уже давно ждала толпа и внутрь больше не пускали. Швейцар стоял у дверей, отгоняя рвавшихся туда людей. Нас слевой тоже не пустили, и мы попробовали улизнуть за угол, чтобы там, спрятавшись, переждать всю эту

официальщину. Но кто-то из администрации узнал Леву и водворил нас на место. Академик толстенького типа нес несусветную и прочувствованную чушь про «Золотого петушка», от которого Анна Андреевна давно отказалась⁴⁵.

[Академика же я знала еще мальчишкой по Киеву, он был тогда самым обыкновенным и довольно скучным юнцом. Когда он успел превратиться в советского водолея с дрожащим голосом и патетическими нотками? Наш стиль — я краснею, когда слышу лживые голоса наших дикторов. В самом начале тридцатых годов разрабатывался стиль советского радиовещания. Основная проблема — должен ли диктор говорить бесстрастным голосом или переживать каждое свое слово? Победили переживальщики, отеснив бесстрастных «яхонтовцев», да и Яхонтов к этому времени уже работал «под Качалова», надеясь получить за это какую-нибудь правительственную награду. Вот и пошли оптимистические, горестные и грозные речи ораторов и дикторов... Фу, гадость...

Речи продолжались.] Поэтические дамы с волосами разных цветов истерически клялись в верности Ахматовой, прогудел какой-то поэт, и церемония кончилась⁴⁶. В толпе — в церкви и в Союзе — я заметила неподвижное и сосредоточенное лицо Кушнера и отчаянные глаза Бродского. Москвичи — их было немного — резко отличались от ленинградцев: они вели себя так, будто Ахматова, которую они привезли на самолете, принадлежит им.

В Ленинграде Анна Андреевна жила гораздо более изолированно, чем в Москве, где к ней непрерывно ломилась толпа друзей — не нашего, разумеется, поколения, — и в квартире, где она проводила очередные две недели, происходило то, что называлось «ахматовка». Лишь в последнее время в Ленинграде она сблизилась с кучкой молодых поэтов⁴⁷. «Они рыжие», — сказала мне Анна Андреевна и показала «главного» — рыжего с бородой, очень молодого Бродского. Я рада, что эти мальчишки скрасили ленинградское одиночество Анны Андреевны.

[Мы часто спорили с ней о стихах Бродского, и ее последним доводом всегда было: «Я тоже что-то понимаю в этом...» А я отвечала про старуху и проруху. Но против Бродского я ничего не имею: он и сейчас молод — будущее покажет, на что он способен. В эти годы у Анны Андреевны появилась

иллюзия, что это опять как в молодости, как в дни становления акмеизма и Академии стиха: «Без стихов на выстрел пушечный К вам никто не подойдет...» Но время необратимо, и ничто не повторяется.]

Снова двинулись автобусы. В нашем, где гроб, были Кома, Володя, Томашевская, влезла на минуту Аня, и Лева назвал ее племянницей. [Как и Анне Андреевне, ему тоже хотелось, видно, иметь хоть иллюзию семьи. Если б Ира и Аня были умнее, они бы приручили Леву и могли бы вить из него веревки.

Остановка у Фонтанного дома. Вот ворота, от которых в прежние годы отделялась фигура непонятого человека, который терпеливо шел за нами... А вот проходная, где у проходящих к Ахматовой, особенно у молодежи, время от времени спрашивали документы, чтобы потом вызвать в отдел кадров и спросить, зачем ходили туда-то. <...>]

От Фонтанного дома мы поехали в Комарово, а впереди бежала милицейская машина. От чего она охраняла мертвую? Ведь, как известно, «моя милиция меня бережет...»⁴⁸

Добиться места на кладбище стоило немало усилий. Это тоже дефицитная площадь, и сюда тоже врывается идеология. Пока тело было в церкви, шли непрерывные переговоры с Москвой, где через Суркова добивались куска земли. Начальник кладбища в Комарове наконец сдался, поставив условием, чтобы над могилой не было церковной службы⁴⁹. [Мертвых он боялся, что ли, разбудить?]

Жить у нас трудно, почти невозможно, а умирать тоже нелегко. Даже этот последний путь осложнен множеством приказов и постановлений, не говоря уж о том, что даже гроб почти что дефицитный товар, а главное — священным ужасом перед молитвой. Свобода совести и веры требует искоренения молитвы.

И все же счастье, что Анна Андреевна легла в родную землю без бирки на ноге. Могло быть и иначе — путем всея земли⁵⁰. Пунин всегда говорил: «Вас возьмут последнюю». В последний миг, очевидно, растерялись и забыли. Так что она только провожала и теряла, а сама не ушла. Это счастье, но чересчур уж горькое.

Последние впечатления: на кладбище небольшая кучка народу, кое-кто из них живет в Комарово. Почти все лица

знакомые. Вдруг возник, произнес речь и исчез какой-то Михалков, направленный сюда московским Союзом после скандала⁵¹. [Портрет этого казенного человека вскоре вывесили на одном из избирательных участков города Москвы. Кто-то догадался перечеркнуть его, но казенного человека все же выбрали. Не все ли равно?]

Разъезд. У нее на даче служба. Присутствующие не умеют перекрестить лба — отвыкли. Священник⁵² прекрасно служит, но ему трудно — кругом непонимающие люди. Накрытый поминальный стол. Квартет — тот самый, что приезжал играть ей в Комарово⁵³. Меня увозят в город вместе с бледным Тарковским и Эммой... [Ох, Тарковский! Как он мерзко дрожал, выступая на студенческом вечере в Москве через две-три недели. Говорят, декан мехмата вызвал его и распорядился, чтобы все было как следует, никаких упоминаний о неприятных вещах, идиллия, розы, розы... Там отличился и Липкин, которого Анна Андреевна почему-то очень ценила и называла «великий визирь»⁵⁴. Мне интересно, почему декан мехмата вроде начальства для Тарковского и Липкина? Всех бы их в мешок и в воду...]

Анна Андреевна дорожила каждым днем жизни и оттягивала смерть изо всех сил. В последнюю нашу встречу она сказала про себя: «умирающая». Я не поверила. В молодости мы звали смерть, но под конец тьма слегка рассеялась, стало гораздо легче, и Анна Андреевна как бы увидела будущее, и ей не захотелось уходить. Даже последняя книга⁵⁵ не так обглодана, как другие, но и в ней она стилизована под поэта любви, а не отречения. Эта жизнелюбивая женщина смолodu отказалась от всех земных благ. Она ушла, и я уже не увижу ее на этой земле.

[Теперь моя очередь, но еще осталось много незаконченных дел. Надо спешить.]

Прошло больше сорока лет с начала нашей дружбы. В самой ранней молодости я ее не знала. От этого периода остались одни рассказы — ее и О.М. Как она жила с Валей Срезневской, например, и прислуга, озабоченная тем, что деньги подходят к концу, жаловалась: «Раньше Анна Андреевна распустит волосы, бегаёт по комнате, как олень, и что-то бормочет — вот у нас деньги и были, а теперь...»⁵⁶

Анна Андреевна долго оставалась легконогой. Мы к этому привыкли, а посторонние удивлялись. Прислуга Нарбутов, которую зачем-то прислали к нам на Фурманов (зима 33/34 г.)⁵⁷, доложила своим хозяевам: «У них там женщина живет, ходит — земли не касается...» Еще тогда Анна Андреевна поражала своей гибкостью. Она могла, лежа на полу, так перегнуться, что каблуками касалась затылка. Утонувшая балерина Иванова⁵⁸ говорила ей, что у них в балете никто не мог делать со своим телом то, что без всякой тренировки делает Анна Андреевна.

А я помню, как я приходила к ней в Фонтанный дом, где она, еще тоненькая и гибкая, с прозрачными руками, полулежала на неуклюжем пунином диване, покрытая гарусным одеялом. Никакая фотография, никакой портрет не могут передать наклон этой покорной шеи, сладостную и горькую линию рта и странную горбинку на носу, которая делала ее похожей на финикийскую рабыню. А дальше горячим, как сказал бы О.М., шепотом она сообщала, кого взяли, в чем обвиняют: дело Академии, дело Русского музея, дело Эрмитажа, — их было столько в разные времена, что не перечесть, но она всегда понимала, что нельзя спрашивать: «За что взяли?» «Всех берут ни за что», — говорила Анна Андреевна, и мы никогда в этом не сомневались. [Это было ясно с первых дней, когда еще открыто брали заложников, а потом истребляли их.] И дальше: у кого из жен приняли, а у кого не приняли передачу и — Господи! — когда же все это кончится?..

[Жизнь в Фонтанном доме складывалась тяжело. <...> Ей было очень плохо в пунином доме, но к ней никто не подходил с обычной женской меркой. Я только сейчас поняла, как ей было трудно продолжать жить в той же комнате, лежать на том же диване, когда отношения уже безвозвратно прервались. А куда денешься? Деваться-то ведь некуда было... Жилищный кризис, длящийся полсотни лет, не мог не отразиться на каждой человеческой судьбе. Кое-как из этого кризиса вышел Борис Леонидович, едва ли не первый получивший квартиру по случаю развода. Но и он долго канителится, уезжал в Грузию, — так началась его дружба с грузинскими поэтами, — пока не вырвал квартиру для первой жены.

Ахматова ни на что рассчитывать не могла, ей бы никто ничего в те годы не дал, и поневоле она оставалась у Пунина.

Перед самой войной в квартире освободилась комната, которую занимала старуха с сыном и внучатами — бывшая прислуга Пуниных; только тогда Пунин добился, чтобы эту комнату отдала Anne Андреевне, и она смогла выехать из его кабинета. Мне ясно видится сцена — Пунин возится, Анна Андреевна молча смотрит на него — ни одного слова, ни одной жалобы, ни одного упрека... Поток доказательств «несравненной ее правоты» уже успел излиться и иссякнуть. Осталась одна пустота — «одиночество вдвоем»⁵⁹.

В свое время Анна Андреевна совершила большую ошибку, позволив Пунину перевезти ее из Мраморного дворца к себе на Фонтанку. Там она жила в комнате, освобожденной для нее Шилейкой, переехавшим в Москву. Из Мраморного дворца жителей, конечно, выселяли, но все же им давали какую-то жилплощадь. Уж Ахматовой постарались бы найти подвальчик! Но все же у нее был бы свой угол... Впрочем, как ни повернешь, все непереносимо. Жить было абсолютно невозможно, и мы жили вопреки этой невозможности.

Но все же эксперимент, проделанный Пуниным и Ахматовой, был совершенно безумным. Можно ли селиться со своим любовником в квартире, где живет его брошенная жена и ребенок? Можно ли жить одной семьей с таким диким составом? Анна Андреевна гордилась тем, что не разрушала семейной жизни своих друзей, но, в сущности, в тот единственный раз, когда эта проблема встала, то есть в пунинской семье, ничего хорошего не вышло. Это оказалось не по силам ни Anne Евгеньевне, жене Пунина, ни Anne Андреевне, и сам Пунин, очутившись в таком сложном переплете, очень быстро начал дурить. О возвращении к первой жене, конечно, речи не было; с ней он, вероятно, порвал задолго до появления Анны Андреевны, но тяжелая атмосфера дома, создавшаяся там с первых дней, возможно, гнала его на сторону. Это был блестящий в разговоре, желчный и умный человек, насквозь пропитанный своевольными теориями десятых годов: что хочу, то и делаю...

Боюсь, что его всегда угнетало то же, что и Гумилева, который обрадовался, почувствовав, что «слава женщины» его уже не ранит. Пунин даже пробовал что-то писать — нечто вроде дневника или автобиографической прозы. Однажды он прочел О.М. отрывки, и мы с О.М. только ахнули, до чего слабо,

до чего это бесплодные и натянутые попытки приобрести самому литературное лицо. Свои литературные неудачи Пунин вымещал на Ахматовой. Он всячески подчеркивал, что она «бывший поэт», устарела, никому не нужна. Знаменито его изречение, популяризованное самой Анной Андреевной. Пунин называл ее «поэт местного царскосельского значения». Эта формула пришла после сюсюкающей статейки Голлербаха о царскосельских поэтах⁶⁰, но какой смысл вкладывал в нее Пунин, трудно сказать.

Пунина тянуло к Лефу, хотя он и выступал против него со сходных, впрочем, позиций — две неполадившие авангардистские группировки. О Бриках Пунин хранил самые светлые воспоминания, особенно о Лиле: в юности у него был с ней роман, и ему казалось, что это самое героическое событие его жизни. С утра до ночи он упражнялся в красноречии и выливал на Анну Андреевну целые ушаты «бриковщины». Боюсь, что этот любитель «левизны» знал наизусть все «Белые стаи», но не считал возможным в этом признаться. К этому примешивалась обида, что ему она стихов до самого разрыва не писала.

Победа разных видов авангардизма тяжело сказалась на поэтических судьбах акмеистов, но к Анне Андреевне она проникла в дом, в комнату, запутала и осложнила ее отношения с Пуниным. Победа эта была временной, но еще после войны она мне говорила, что всюду победило абстрактное искусство и «нам — смысловикам» деваться некуда. Думаю, что эти гребни и спады не определяют участи поэта; забвение Ахматовой в тридцатые годы, как и литературное одиночество Мандельштама в тот период, столь же непрочно, как и полный отказ от Маяковского в шестидесятые годы. Все, в конце концов, найдут причитающееся им место. <...> Я уже не могу сказать: «Поживем — увидим», — но это проверят те, которые придут после нас.

В отношениях с Пуниным Анна Андреевна впервые не порвала после первого кризиса и в первый раз в жизни произнесла сакраментальную женскую формулу: «Я или она...» Но Пунину больше нравилось бросить Ахматову, чем считаться мужем Ахматовой. Это возвышало его в собственных глазах. Пунин был ее ставкой на спокойную жизнь. Ставка эта оказалась с треском битой. Для жизни с ним она нашла точную формулу:

одинокчество вдвоем. Через несколько лет Пунин приехал в Ташкент, и я увидела, что их разрыв был в значительной мере делом пунинского самолюбия и самоутверждения. Он снова оказался «женихом» уже навсегда отказавшейся от него Ахматовой.

Ни один из мужей Ахматовой не был ей по плечу. Не потому ли она охотно вспоминала первые дни и первые встречи, прогулки по городу и «дивный голос», который звучал у нее за плечом?⁶¹ Из ее мужей я знала троих — Шилейку, Пунина и Гаршина. Всех их ранила слава женщины, все они сознавали рядом с ней свою неполноценность и проявляли это в достаточно диких поступках. Зачем, например, Шилейко сжег ее стихи в самоварной трубе и устроил комедию с формальным браком у управдома⁶², хотя в те годы на формальности, и в частности на оформлении браков, никто ни малейшего внимания не обращал — плевать на это было... Анна Андреевна все же ахнула, узнав о запоздалой лесковской проделке Шилейко, а раньше она и не разобралась — управдом это или загс. Да и кто бы их различил в те годы?

А Гаршин тоже дурил с самого начала. К счастью, он появился в 37 году, когда ей предстояло столько пережить, и поддерживал ее в самый страшный период очередей, передач и стояний у прокуроров, которым разрешалось задавать вопросы без всякой надежды получить ответ. Затем он ей писал в Ташкент и слал деньги и неистовое количество телеграмм. Это все же облегчило ей жизнь. Но в каждом письме был очередной идиотизм, приводивший ее в ярость. Мы жили тогда вместе, и я тоже получала письма, приводившие меня в бешенство, но никакой ставки на автора писем я не делала, а у нее все же была какая-то надежда на жизнь с Гаршиным. Из-за него она рано уехала из Ташкента, а потом очень об этом жалела. Ей казалось, что останься она в Ташкенте, и Лева бы туда к ней приехал — может, обошлось бы без ряда последующих событий. Впрочем, беды разыскали бы ее повсюду...

После разрыва с Пуниным у Анны Андреевны сложилась горько-веселая теория «слабого пола» — мужчины в нашей жизни, лишённые авторитета, собственного мнения и даже возможности содержать семью, действительно стали «слабым полом». А те, кому все же удавалось кормить семью, платили за это такую цену, что становились уже не слабым, а слабейшим

полом... Согласно теории Анны Андреевны, удержаться, да и то случайно, может только ранний брак, поздние же обречены на быструю гибель — поздними она считала все браки после тридцати лет. Через пять-шесть лет любой брак и любая любовь рвутся во всех своих элементах, потому что исчерпывается страсть. «Наденька, мы с вами знаем, что мужчины не моногамны», — повторяла она... Потом начинается своеобразный симбиоз, простая формальность, жизнь под одной крышей, в которой ни одна из сторон не заинтересована.

Боюсь, что здесь есть суждение по аналогии, но не могу не вспомнить Розанова — как он шипел на церковь: они еще обрекли нас на единобрачие! И, по его наблюдениям, спасает брак только измена: после измены, гляди, опять живут вместе, и даже неплохо...⁶³ Увы, это, кажется, действительно так...

Мои отношения с О.М. не подходили под ее теорию, разрушали ее, и до конца жизни она меня допрашивала — что и как, требуя от меня самых немислимых подробностей. От прямых ответов я уклонялась, но пыталась объяснить ей, что О.М. очень мало подходит под общемуужскую «пунинскую» схему. Когда-то в Комарово Анна Андреевна после очередного вопроса, вздохнув, сказала: «Должно быть, это только я жила с ними, не живя...» И потом: «Может, так и нужно было, чтобы я их всех так топтала, чтобы сделать то, что я сделала...» Вероятно, так и есть, но на протяжении нашей жизни она часто жаловалась мне, что у других хоть что-то есть — вот как любят друг друга Булгаковы — в этой тяжелой и страшной жизни хоть дома утешение, а у нее все плохо, всюду беда...

Трудно быть поэтом, трудно быть женой поэта, но совершенно немисливо быть и женщиной и поэтом. Поэты всегда активны, Анна Андреевна пыталась сохранить свою женскую пассивность, будучи поэтом (Марина как будто этого и не пробовала)... Может, поэтому жизнь далась ей особенно тяжело. Но все же она нашла в себе силы быть и женщиной и поэтом, однако то и другое дорого ей далось.

За три года воронежской ссылки она один раз к нам приехала⁶⁴. Это было вскоре после того, как забрали Леву и Николая Николаевича; она тогда написала Сталину слезное послание, и он велел их выпустить⁶⁵: «Буду я, как стрелецкие

женки, Под кремлевскими башнями выть...»⁶⁶ Николай Николаевич, выйдя, сказал ей: зачем вы меня вытащили? мне там хорошо было... В следующий раз, когда его забрали после войны, она уже не смогла его спасти. Погиб он в лагере⁶⁷. Говорят, будто на следствии он разболтался и повредил Леве, взятому одновременно с ним⁶⁸. Я в последний раз видела Николая Николаевича на похоронах Левы Бруни⁶⁹. Он был печальный, растерянный, очень мне обрадовался и сказал, вспоминая гибель О.М.: все там будем — просто наша очередь еще не дошла...

В Воронеже Анна Андреевна очень тревожилась — тогда-то и начался ее испуг, сформулированный так: они нам не простят, что мы опять в прежнем составе... Но, несмотря на это ощущение, она никогда не упускала возможности повидаться, и, приезжая из Савелова и Калинина в Ленинград, мы всегда к ней заходили⁷⁰. У Коли Чуковского написано: «Пользуясь слабостью надзора, Мандельштам из Воронежа приезжал в Ленинград...»⁷¹ Чудовищная формула на совести Коли, но из Воронежа О.М. никуда не мог выехать без специального разрешения, и его он получал только для поездок по области. Передвигаться он стал после окончания ссылки, когда его права ограничивались невозможностью прописки в режимных городах. Психологически Николай Чуковский был сыном своего времени: раз человек сослан, значит, ссылкой он останется до конца своих дней — иначе зачем огород городить? Честные советские граждане удивлялись не тому, что ссылка длится вечно, а тому, что она иногда кончается. У Чуковского же вообще была вполне склеротическая память (я говорю про сына — отец и на старости сохранил разум). Встретившись с Чуковским-сыном на вечере О.М. на мехмате университета, где он выступал, я ему сказала, что про пиджак, подаренный, кажется, Германом, он все выдумал и что Стенич был взят гораздо позже и вне всякой зависимости от посещения Мандельштама⁷². Чуковский бы мне не поверил, но мои слова подтвердила пришедшая на вечер Люба Большинцова — вдова Стенича. Это она ездила собирать деньги и вещи на писательские дачи и привезла действительно пару брюк от Германа. Из брюк не сотворишь эффектного рассказа, поэтому творческое воображение Н. Чуковского увидело слишком большой для «щуплого» и «маленького» Мандельштама пиджак... Надоели мне все вспоминатели, которым нечего

вспомнить, потому что они несут всякую чушь, изобретаемую на ходу и согласуемую только с первоизобретателями... Версию о маленьком росте Мандельштама пустил Эренбург⁷³, и она меня почему-то бесит. Должна признаться, что О.М. чуть-чуть ниже Анны Андреевны — это зафиксировано на фотографии, где они стоят рядом. Анна Андреевна всегда очень огорчалась, что ей трудно найти себе человека по росту, и из-за этого лучшей ее похвалой было: он такой высокий! Пунин был одного роста с ней, остальные все чуть ниже. Это вечное несчастье высоких женщин... А она была очень высокой, и ее спасали только ее гибкость и изящество. Мне очень нравилось, когда я встречала ее с Пуниным на улице. Гуляя, они не шипели друг на друга и казались поразительно складными. Оба отлично двигались — легкие, быстрые и с виду очень дружные. Но с середины тридцатых годов им уже не пришлось бы в голову выйти вместе. Идиллия кончилась.

В предпоследний приезд мы переночевали в Ленинграде одну или две ночи за Левиной занавеской. О.М. уже лег, когда Анна Андреевна подошла к нему и присела на кровать. Он тогда прочел ей «Киевлянку», чем-то связанную с гумилевским стихотворением о жене из города Вия⁷⁴. На следующий день она ночью вышла нас провожать на вокзал и именно тогда — «Не столицей европейской С первым призом за красоту, Страшной ссылкой енисейской, Пересадкою на Читу, На Ишим, на Иргиз безводный, На прославленный Атбасар, Пересадкой на город Свободный В чумный запах гниющих нар Показался мне город этот Этой полночью голубой — Он, воспетый первым поэтом, Нами грешными и тобой...»⁷⁵.

Но угнаться за динамикой нашей жизни нельзя: все перечисленные ею места ссылки к этому времени уже не казались такими страшными, потому что осваивалась Колыма с ее непревзойденным ужасом. А между тем Анна Андреевна хоть и сидела у себя в комнате, всегда была поразительно осведомленным человеком — сколько я ни шаталась по свету, никакой новости я ей привезти не могла. Кто-нибудь до меня уже успевал ей сообщить о любом моем открытии. Она знала даже, какую воду пьют в Казахстане на полевых работах — она знала и это. Она знала все и всегда. Даже блаженным неведением ей нельзя было спастись от действительности.

Стихи про полуночный Ленинград⁷⁶ О.М. узнал, встретившись с ней в Москве. В последний наш приезд в Ленинград — в феврале или в марте 38 года — перед поездкой в Саматиху — все пошло кувырком. Мы условились встретиться с ней у Лозинского, но он испугался и не впустил нас. Она пришла чуть позже и нас не застала — мы разминулись. Ужас был такой и люди так напуганы — Стенича уже забрали⁷⁷, — что нам некуда было даже заглянуть.

Денег нам раздобыть не удалось, и на какие-то последние гроши мы в ту же ночь выехали обратно в Москву, не повидав Анну Андреевну. Она же взяла у Лозинского для нас пятьсот рублей (это больше теперешних пятидесяти), но, не найдя нас, вернула их... Послать их в Москву она не решилась — вдруг догадаются, что это для О.М. Все боялись всего. Любая случайность могла загубить жизнь. Впрочем, для этого не требовалось и случайности.

Погибнуть ничего не стоило, вот спастись можно было только случайно, как спаслась, например, я, потому что не осталась переночевать в Калининe, куда за мной тут же пришли с ордером, а увезла в Москву свою корзинку с рукописями О.М. Это произошло 3 мая 1938 года⁷⁸, арестован он был в ночь с первого на второе мая. Я ускользнула из-под ареста — это настоящая случайность... Но сколько я ни объясняла людям, что случайности только спасают, а не губят, потому что гибель — это настоящая закономерность, никто не хотел мне поверить и продолжали наивно страховаться, отворачиваясь при встрече от жен арестованных, не узнавая их детей и моя руки сулеймой...

Думаю, что всякие дезинфекционные средства во время эпидемии чумы или холеры помогают больше, чем предосторожности, принимавшиеся моими согражданами в периоды усиления террора. Недавно мне попало несколько газет тридцать седьмого и восьмого года. Кем подписаны статьи, разоблачающие врагов народа? Людьми, про которых мы знаем, что они тоже были объявлены врагами народа и расстреляны. Перед своей гибелью они успели восхититься террором и потребовать казни для своих бывших друзей и соратников. Стоило ли? По-моему, нет. Если нельзя нырнуть и уйти под воду, как сделала я, то не стоит стараться и хвалить палачей.

Впрочем, из-под воды нашего брата тоже вытаскивали. Меня просто забыли, так как дело Мандельштама казалось им совершенно ничтожным — убили между прочим какого-то человечка, сочинявшего какие-то стихи. Ведь в этот период убивали генералов, вождей, героев, а это по их счету несравненно существенней поэта. Жены вождей, генералов и героев пострадали, их дети были изъяты из жизни, а вдову человека непонятной профессии просто забыли. И на том спасибо — я сохранила рукописи О.М.

Во время войны я попала в казахстанскую деревню. Вещей почти не было — откуда им быть после всех ссылок и бед? В деревне мне пришлось туго. Не помню, каким образом меня нашел мой брат, но факт, что я получила от него письмо. Он был эвакуирован в Ташкент с Союзом писателей. Анна Андреевна тоже находилась в Ташкенте. Она заметалась, когда узнала, что я существую. В города никого не пускали без особого вызова. Анна Андреевна заставила достать мне вызов. <...>

Это меня спасло. В деревне у меня уже начиналась пеллагра, болезнь, от которой люди во время войны гибли как мухи, и не в лагерях, а на свободе. За мной приехал брат и увез меня с матерью — глубокой старухой — в Ташкент. Там мы снова встретились после довольно большого перерыва с Анной Андреевной. «Теперь вы все, что нам осталось от Осипа», — сказала она мне при встрече. Этим лучше всего определяется ее отношение ко мне. Она держалась за меня, потому что я связывала ее с О.М., а расставаться с ним она не хотела.

Первое время мы с мамой жили у Нины Пушкирской, хорошей женщины, пробивавшейся в те дни к стихам. Я с ней разговорилась на детской выставке, и Нина позвала меня жить к ней. Муж у нее воевал, а она жила с матерью и с дочкой, крошечной Ксанкой. Сам поступок Нины — поселить к себе чужих людей, чтобы думать о стихах, показывает, что она поэт. В те дни она еще не знала ни О.М., ни Ахматовой, ни Марины, а просто почуяла, что поэзия находится именно здесь. Нина с трудом, сквозь корявость и косноязычие, пробивалась к стихам. Подлинная поэзия бывает и у маленьких поэтов — это какая-то крупница поэтической правоты и истины. Это у Нины есть. Когда вышла ее книга⁷⁹, Анна Андреевна пожалела, что ей

не принесли ее на предварительный просмотр, она помогла бы Нине, — несомненно, талантливой, как она сказала, — отобрать и привести кое-что в порядок. Трудно работать в одиночку — в дни становления необходимы товарищи. Это у Нины было один миг, когда в Ташкенте жили эвакуированные. Нина ведет достойную и хорошую жизнь. Все, начиная с ее брака, заслуживает уважения и вызывает радость. В ней и сейчас много наивности, но еще больше чистоты.

Нина жила на окраине города — огромного, раскинувшегося на невыносимое расстояние. С работы я освобождалась поздно — тогда был обычай работать по ночам не по необходимости, а чтобы показать старание. «Опять сидеть до ночи», — сердилась я. «А наши братья на войне — для них нет дня и ночи», — возражала «хозяйка», смышленная татарка, карьеристка и ловкачка. Она быстро выдвинулась и уже при мне перешла в «аппарат»: ее оценили за умение «управлять», то есть в нужную минуту произнести безоговорочную формулу, которую запрещается оспаривать. Кроме того, она умела придумывать груды ненужной работы — заседаний, обсуждений, всякой идеологической шумихи. Говорила она авторитетным голосом, занималась воспитанием сотрудников и писателей, которым заказывала пьески для детей, преимущественно про девицу Дурову.

Из-под ее татарской неволи мне удалось выскочить и спланировать в университет преподавателем английского⁸⁰. Мне повезло — благодаря этому я сравнительно сносно прокрутилась множество лет и дожила до минуты, когда началась новая эпоха. В университет меня пропихнула Иза Ханцын, пианистка, вдова Маргулиса. Ей удалось это сделать, потому что в это время кафедрой заведовала внучка Римского-Корсакова⁸¹. Это был типичный интеллигентский блат, и слава Богу, что так случилось: ведь мне по всем законам полагалось погибнуть, а я этого не хотела, потому что еще не закончила своих дел.

Университетская работа избавляла от полного голода и не занимала много времени. Вместо восьми ежедневных часов она отнимала от восемнадцати до двадцати четырех часов в неделю. Нигде в мире нет такого высокого процента преподавателей по отношению к числу студентов, «как у нас». Но нигде в мире нет и таких, как у нас, нагрузок — и преподавательских,

и студенческих. И все же это самая легкая работа из всех, какие могли достаться на мою долю. О.М., даже когда он был тенью и неупоминаемым лицом, все же помогал мне держаться на ногах — интеллигентским блатом. Его знали дети — не внуки — Римского-Корсакова, вот и помогли. И в то же время из-за него меня постоянно выбрасывали, «чистили», перекидывали с места на место.

Это шла подспудная, затаенная борьба между хозяевами и остатками культурной России, которую использовали как «спецов». Так говорили в двадцатых годах... Спецы выглядели невинными ангелами и тихонько помогали друг другу. Мне нравилось отношение Анны Андреевны к благу. Ей надо было о ком-то попросить академика Виноградова, который очень быстро стал чиновником и вел себя соответственно. Кажется, речь шла об Эмме Гершштейн. «Ничего не выйдет, — сказала я. — Он не терпит блага...» — «Как он смеет не любить блага! — воскликнула Анна Андреевна. — Если бы не блат, у нас не было бы Пушкина!» И она выжала из него все, что могла (это было уже в Москве, а не в Ташкенте).

Кстати, свою последнюю книгу Виноградову она надписала до дела Синявского, но не успела ее отдать, потому что попала в больницу. Вернувшись из больницы к Ардовым, она ломала голову, как бы избежать передачи надписанной книги — экземпляр принадлежал Виноградову, а книгу раскупили, и достать ее было уже невозможно. А дарить свою надпись эксперту по делу Синявского ей не хотелось⁸². Книжку она задержала, и академику и эксперту ее вручила после смерти Анны Андреевны Анька, хотя ее и пытались удержать от такого поступка. Для Аньки не существует интеллигентских предрассудков. Это одичалый потомок приличной семьи].

Когда я приехала в Ташкент, меня поразило, что Анна Андреевна стала грузной, тяжелой женщиной, с трудом двигалась и никуда не выходила одна, потому что в 1937 году заболела боязнью пространства. Теперь, сочиняя стихи, она уже не бегала, как олень, а лежала с тетрадкой в руках. Память тоже начала сдавать, и сочинять стихи в уме она уже не могла.

Изменение внешности легко объяснимо возрастом, хотя и пришло слишком рано. [Но мое поколение старело невероятно рано, потому что на него пали все удары с семнадцатого

до пятьдесят шестого года, причем главные в возрасте, когда уже трудно оправиться, то есть когда нам было от сорока до пятидесяти.]

Перемена в Анне Андреевне произошла не только внешняя, но и внутренняя, и это сказалось и на ее речи, и на всем поведении. В прежние годы — в Ленинграде, в Москве — и у нас на Фурмановом — О.М., отмахиваясь от моих насмешек, часто говорил: «Ты бы хоть когда-нибудь заплакала!» (он почему-то забывал, что «в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас»⁸³) и: «Почему ты такая логичная? Посмотри на Анну Андреевну и спрячь свою логику...» Логичность для женщины, конечно, большой порок, и Анна Андреевна отлично это знала. Пока не произошел окончательный разрыв с Пуниным, пока жив был О.М. и люди нашего поколения (вернее, «наши мужики»), Анна Андреевна отлично скрывала свой ум и логику. Вообще в рассуждения она не пускалась (этим при жизни О.М. я тоже не грешила).

Когда она приезжала к нам в Москву, мы часто оказывались четвером: мы двое, она и Пастернак. О.М. очень ценил приготовленную ею селедку — культура дома Пуниных: на обед любая дрянь вроде библейской скользкой и черной чечевицы, поразившей меня в Петербурге двадцатых годов, а к водке отличная, хотя и грубоватая закуска. В дебри мужского разговора Анна Андреевна не вмешивалась, а была «украшением общества», приветливой хозяйкой... Она и тогда шутила, но это еще не было сногшибательным остроумием, от которого люди валились со стульев. Оно вызывало улыбку, а не хохот.

Тогда мы и представить себе не могли силы ее ума и язвительности речи. Об этом, вероятно, знали только мужа, с которыми она расходилась, когда с утра до ночи лился «поток доказательств несравненной «ее» правоты»⁸⁴. Но О.М. был другом, объяснений с ним не требовалось, и поэтому никакого «потока доказательств» мы не обнаружили. [О нем ходили только смутные слухи — Гумилев о чем-то подобном говорил и Мандельштаму, и Зенкевичу. А мы не верили, что тихая Анна, благодать, тишина, может заговорить другим, неистово логичным и грозным голосом.] Вот почему в Ташкенте, услышав этот новый голос, я только ахнула: «Ануш, как вы их провели!.. Как умели скрывать свой ум!»

Анна Андреевна шутливо объяснила мне, что «это» действительно приходится от «них» скрывать, не то «они» тут же разбегутся... А вот что говорила Кшесинская, раскрывшая тайну своего успеха: надо «им» дать поговорить, не прерывать «их» излияний, а женщина должна только сочувственно слушать и не сводить с «них» глаз — успех обеспечен, больше ничего не требуется. Отец Анны Андреевны когда-то бросил семью и ушел от жены к странной, невзрачной, горбатой женщине. «Она, наверное, умела слушать», — комментировала Анна Андреевна *⁸⁵.

В Ташкенте не было «их», чтобы сочувственно слушать все излияния, и Анна Андреевна заговорила во всю силу. Именно в эти дни в ее стихах появились жестко-прямолинейные формулы («Чужих мужей вернейшая подруга И многих безутешная вдова»⁸⁶) и начали складываться две несуществующие книги.

Анна Андреевна всегда удивлялась, как неточно говорят люди, как в своих рассказах они искажают факты, каким сдвигам подвергается в их передаче (да и вообще в человеческом сознании) любое событие. Она упражняла свой ум, выискивая общие законы, которые управляют этими искажениями и сдвигами. Пинцетом разбирала она каждый рассказ и каждую сплетню, раскладывала их на составные части и выявляла, на чем строится всякое уклонение от истины. Типические искажения обобщались в «законы» (например, желаемое выдается за действительное, острые углы сглаживаются, происходит приравнивание по аналогии, закрывание глаз для собственного спокойствия и т. п.).

Она срывала со всего пристойные покровы и в упор называла вещи своими именами. [Особенно часто от нее доставалось Фаине Раневской за ее рассказы о себе, в которых все сдвигалось и передвигалось по воле рассказчицы. Из этих рассказов был вычислен возраст Фаины, не соответствующий официально называемому, и намечены реальные биографические данные, подносившиеся нам в искаженном и фантастическом виде.] Меня поразила в тот период беспощадность суждений Анны Андреевны, и я узнала, что анализ — основное структурное начало ее мышления. Этого я бы не могла сказать про О.М., человека целостного мироощущения и иерархической системы

идей. У него логика использовалась для построения и укрепления целого, она же разнимала целое для своих нужд.

«Ануш, как вы их обманули», — говорила я. Ведь не только я, но и все друзья ее молодости были бы ошеломлены разгулом логических и разоблачительных речей этой недавно еще молчаливой и нежной женщины. «Вы мне казались такой кроткой...»

Впрочем, в эту ее черту О.М. никогда не верил. Она как-то сказала ему, что она кроткая, а он сделал зверскую рожу и угрожающе повторил это слово с долгим дребезжащим «р»... Анна Андреевна призналась, что от такой кр-р-р-отости не поздоровится.

В Ташкенте она на бывшей кротости не настаивала. В юности, по ее словам, она была очень трудной: раздражительной, нетерпеливой, вечно вспыхивала. Ей стоило больших усилий обуздать свой бешеный характер.

Сначала я этому почти что не верила — в те годы она ведь еще держала себя в узде. Эти свойства снова прорвались у нее на старости, когда сдерживающие центры ослабевают. В последние годы в ней таинственным образом воскресла молодая и необузданная Аня.

Кстати говоря, удивила ее и я. Ей казалось, что я шумная, озорная и наглая девчонка, а живя вместе со мной под одной крышей, она не переставала удивляться, что я в общем довольно спокойная. Мы обе без мужчин менялись в диаметрально противоположных направлениях.

Сочинение ненаписанной книги началось в Ташкенте и продолжалось много лет. Анна Андреевна называла это «моя книга» или «исследование о природе клеветы», а я уверяла ее, что «книгу» можно защитить как диссертацию по социальной психологии. Ведь эти частные, но свойственные человеческому уму искажения и сдвиги распространялись в обществе, образуя то, что называется общественным мнением. Крайние типы этих искажений давали чувствительную легенду и подлую клевету, которые часто оставались закрепленными за человеком и после его смерти — в истории.

Анна Андреевна ненавидела легенды, украшения и смягчения, но для нас особенно опасной считала клевету, какой бы фантастической она ни была. «К нам все липнет», —

говорила она. Действительно, к ней и к О.М., а в последние годы и ко мне до сих пор «липнет» все, что угодно. [А как же не «липнуть»? Мы не можем ничего сказать, мы запрятаны и дышим в подушку, а о нас можно говорить и печатать любые небылицы. Мне надоела вся чушь и пошлость, которую пишут и рассказывают про Манделъштама, хотя бы катаевская склеротическая болтовня.] А в некоторых кругах еще циркулируют анекдоты, пущенные еще Волошиным, которому почему-то нравилось изображать О.М. чем-то вроде современного Вий-она. Эти анекдоты очень повредили в свое время О.М., они позволили нашим начальникам несерьезно относиться к этому непонятному человеку^{*87}.

Недавно только отсохла приторная легенда о романе Ахматовой с Блоком⁸⁸. Она была так широко распространена, что я спросила в дни нашего первого знакомства с О.М. об этом. Он рассмеялся и сказал, что Анна Андреевна никогда не ошибается: только «офицерня»^{*89}. Это слово означало у него особый физиологический тип — рослые мужчины с подозрительно благородным видом и мускулами, которые потом оказываются «испуганным мясом»⁹⁰. И про меня тоже офицерня: «твоя офицерня». И по отношению к нам обеим это было абсолютно несправедливо. Мое определение романов Анны Андреевны точнее: профессора и комиссары. Комиссарами искусств в начале революции были и Пунин и Лурье⁹¹.

Вот еще примеры «прилипания» к Анне Андреевне: к ней явился очень приличный шведский журналист и задал волнующий его вопрос: правда ли, как многие рассказывают, что в юности она танцевала на столах в литературных кабаках⁹². Или очевидица-мемуаристка, которая подробно описала бродячую цирковую труппу под управлением Гумилева с главной акробаткой Ахматовой, подвизавшуюся среди крестьян в имении Гумилевых⁹³. А дальше множество романов, которых никогда не было...

В десятых годах порча репутаций считалась милой игрой, любимой волошинской «мистификацией», но она попала в «личные дела» более поздних и грозных времен. Легкомысленная фраза Эйхенбаума о монашенке и блуднице была роскошно использована в ждановском постановлении⁹⁴. Помои бриковского салона определили судьбы О.М. и Анны Андреевны.

А вот совершенная мелочь: кто-то назвал О.М. маленьким и щуплым⁹⁵, а теперь всем кажется, что они видели маленького, щуплого человечка — Мандельштама. Чужое мнение заразительно. Это острая инфекция. Да что говорить об отдельных сдвигах, изменяющих облик одного человека. Все исторические события доходят до нас в тех своеобразных искажениях, с какими они отразились в сознании современников. Факты шлифуются согласно руководящим понятиям (приличиям), которыми живет общество, они подгоняются под общие концепции, которые всегда оглушают людей. История, как заметил Розанов, всегда плавает в гипнозе и самогипнозе⁹⁶. Аналитические умы, разрушающие власть общих концепций, нужны, как воздух, как океанский ветер, как очистительная гроза.

Анна Андреевна с упорством первоклассного следователя прослеживала клевету до ее первоисточника. Первым она ставила вопрос: кто пустил этот слух? Зачем это понадобилось? Кому это полезно? Какую потребность общества удовлетворяет эта клевета или легенда? А дальше она классифицировала сдвиг или искажение с точки зрения индивидуальной и социальной психики...

«Моя книга», или исследование об особенностях человеческого мышления, индивидуального и коллективного, сочинялась в течение нескольких лет, но это было устное сочинительство, и на бумагу оно не попало. Исследуя индивидуальные особенности, Анна Андреевна подходила и к социальному преломлению фактов, ведь представления сообщаются, передаются от одного ума к другому, уже общими «приличиями» подготовленному к их восприятию, живут в «обществе умов», как они живут в отдельных людях. И лучше не задумываться о том, что в каждый данный момент согласно подхватить это пресловутое «общество умов». Анна Андреевна, например, блистательно доказывала (мне очень не хотелось в это поверить), что сталинские казни, безумные обвинения во вредительстве, шпионаже, диверсиях и тому подобных вещах поддерживались всем обществом, зарождались в нем, импонировали ему. В это никто не хочет поверить.

Л.Я.Г. считает, что все немцы виноваты в фашизме, а бедный русский народ никакой вины за прошлую эпоху не

несет: его просто одолела пассивность. Так ли это? Думаю, что права Анна Андреевна.

Во время дела врачей⁹⁷ я наблюдала отличные сценки. Секретарша в Институте языкознания громко вопила, что вода в графинах отравлена вредителями — чуть кто пригубит, сейчас же заболевает. И все слушали, и ее не отправили в сумасшедший дом. Целый ряд овдовевших в те дни дамочек, например Сонька Вишневецкая-Вишневская, обвиняли врачей во вредительском уничтожении их мужей. В общежитии Ульяновского пединститута⁹⁸ женщина, болевшая гриппом, набросилась с кулаками на несчастную врачиху, обвиняя ее в покушении на свою жизнь. Это была преподавательница моей кафедры, по-своему даже порядочная, кандидат наук, пробовавшая защищать меня, когда меня выгоняли.

Это и есть «общество умов», а всякому времени своя отравка. Были эти люди за чрезвычайные меры или, невинные по природе, просто страдали российской пассивностью? Кто прав — автор «Моей книги» или умнейшая женщина Л.Я.Г.?

За коллективное преступление мы несем коллективную ответственность.

Но кроме серьезных «законов» в «Моей книге» были и второстепенные, и мы ими очень забавлялись. Придумала она около десятка таких полущуточных законов, но я запомнила только один: «закон мирового свинства» — особого свойства последней иголки, которая, упав, обязательно попадет в щель.

Обидно, что в повседневной жизни нельзя записывать за своими близкими все глупости, которые они говорят: сколько пропало блистательных разговоров Анны Андреевны и О.М. Этого уже не воскресить. Остается только контур, общие очертания, но не яркий поток мыслей и метких слов. Я раз что-то попробовала записать из рассуждений Анны Андреевны о стихах, но она заметила и подняла дикий визг: «Как! И вы тоже!»⁹⁹ А ведь записывать тоже надо уметь. В записи самое отличное слово смягчается согласно законам «Моей книги», приличиям данной эпохи и характеру записывающего. Самое трудное — взять быка за рога.

«Моя книга», хоть она и не была написана, многому нас научила. В частности, исследуя поведение и разговоры

некоторых сомнительных знакомых, мы научились определять, принадлежат ли они к многочисленной породе стукачей или нелепо ведут себя просто по глупости. В наших условиях очень полезно уметь делать такие анализы; благодаря этому мы не шарахались от невинных людей, принимая их за стукачей, и не целовались со стукачами, считая, что перед нами первый друг: ведь стукачи тоже иногда бывают очень милыми, особенно те, которым полагается поухаживать за женщиной в критическом возрасте, когда еще очень хочется тряхнуть своими увядающими прелестями, наподобие цирковой лошади, попавшей в деревню, но не забывшей все цирковые аллюры. Эти стукачи легко, с чрезмерной легкостью очаровывали разных идиотов и выжимали из них чорт знает что... В такую эпоху, как наша, я бы всем рекомендовала овладеть законами и категориями из ненаписанной книги Ахматовой.

Кроме ненаписанной книги есть еще написанная, но несуществующая драма под названием «Пролог». История ее достаточно трагична, впрочем, не трагичнее всех наших многомиллионных судеб и жизней. Я до сих пор не решила, что надо больше жалеть — человека или вещь. Если уничтожат человека, от него остается прах, и память о нем постепенно исчезает: помнят, помнят, а потом, гляди, и забывают — жизнь продолжается дальше... [Для внуков это уже старая история: жалко, конечно, дедушку, но ведь он не один...]

Об уничтожении памятника архитектуры или искусства помнят гораздо дольше: Реймский собор¹⁰⁰, московские и вообще русские церквушки... Мне невыносимо жалко людей, мне настолько их жалко, что я готова выкупить их жизнь, отдав за нее все памятники архитектуры... Но мне так жалко потерянных стихов, так болит сердце оттого, что порубили на дрова древние иконы и растаскали на бревна и кирпичи дивные церквушки, что я готова отдать жизнь, свою, конечно, а не чужую, чтобы спасти их от вандализма. [За стихи, чтобы спасти их, я, в сущности, свою-то жизнь отдала...] До сих пор я не могу решить, какая потеря страшнее.

«Я знаю, почему нельзя было выпускать людей из Ленинграда, — сказала мне Анна Андреевна вскоре после снятия блокады. — Они должны были спасти город...» Да, они спасли

это архитектурное чудо — Ленинград, но сколько их погибло, озверев от голода и страданий? Вещи или люди? Чего же больше жаль? [Согласилась ли бы я уничтожить все стихи Мандельштама — настоящие, прошлые и будущие, — чтобы сохранить ему жизнь? Да, согласилась бы. Но ведь это был бы не он, если б он остался без стихов, а его тень. Проклятая эпоха, если возникают такие вопросы...

А такие вопросы возникали.] «Пролог» был уничтожен¹⁰¹. Вот его история. Анна Андреевна написала эту вещь в Ташкенте. В Ленинграде ее оглушило ждановское постановление. Говорят, что оно появилось в результате конкуренции двух «наследников». В Москве на вечере стихов в Колонном зале весь зал встал, приветствуя Ахматову¹⁰². Маленков как будто был сторонником издания стихов Ахматовой... Жданов, подкапываясь под него, сообщил хозяину об овадии в Колонном зале. «Кто организовал вставание?» — спросил хозяин с возмущением.

[Вот именно эта фраза кажется мне «цитатной», и она делает весь рассказ достоверным.] Хозяин отлично знал механизм нашей «славы». Когда-то я прочла, как обвиняли Троцкого в том, что он употребил против партии ту «славу», которую ему сделала партия. Слава делалась, популярность делалась, имя делалось... Хозяин даже представить себе не мог, что вставание и овадия могли быть спонтанными. Жданов действовал безошибочно и выиграл. Зоценко первым рассказал эту версию кремлевского разговора Ахматовой, а кто ему — я не знаю, потом ее шепотом повторяли со всех сторон. Откуда узнавали о том, что «там» делается, я себе не представляю. Может, какие-нибудь младшие секретари все-таки были людьми или побежденный в одной дворцовой стычке тихонько жаловался другу — были ли у них друзья? — или жене о трюке противника. Кто его знает... О московских царях знали, наверное, больше, чем о «них».

Вскоре после постановления пришли заевой. Он к этому времени уже отсидел первый срок, отвоевался и набрал груды медалей за взятые города, кончил за год университет и защитил диссертацию¹⁰³. [В эти годы Левиного пребывания в Ленинграде он очень дружил с матерью, уже свободной от пунинского влияния и окончательно порвавшей с Гаршиным. Жили они в то время в отдельной комнате, освобожденной бывшей прислугой Пуниных. В прошлые годы я видела, как мать

и сын тянутся друг к другу, — приезжая к нам в Нащокинский (Фурманов) переулок, Анна Андреевна заставляла у нас Леву — ту зиму он почти что всю провел в Москве, — и я видела, как они радуются встрече, как сидят у меня на тахте, то есть на матрасе на ножках, как тогда полагалось, и держатся за руки: мамочка, мамочка!..

Оба — и Лева, и Анна Андреевна говорили мне, что до Левиного второго ареста они жили душа в душу как никогда... Леву увели от матери. По инструкции они не рылись в ее бумагах.] На этот раз Анна Андреевна повела себя как простая баба: взвыла, запричитала, а когда гости ушли, уводя с собой ее единственного сына, она долго металась по комнате, хватала бумаги — к чорту стихи — все из-за них! — и швыряла их в горящую печку¹⁰⁴. [Она потом мне объяснила: а если бы пришли второй раз, как к вам, что бы они сделали с Левой?..] Драма «Пролог» попала в огонь с большими основаниями: вдруг они еще раз придут, как тогда к Осипу, тогда они схватят «Пролог», и Лева не поздоровится — ведь он заложник... Заложников берут, чтобы обеспечить смиренно-разумное поведение тех, за кого они сидят... Зачем нужна эта писанина, если от нее только гибель?..

Стихи потом удалось восстановить по памяти. Этим отличаются стихи — их помнит сам автор, а часто и его друзья. Вспомнили почти все. Знакомые «дарили» ей ее собственные стихи¹⁰⁵. Я подарила ей «De profundis» и еще кое-что — четверостишья («Здесь девушки прекраснейшие...»¹⁰⁶ и др.) и часть «Китежанки»... Но драму восстановить не удалось — она в свое время не позволила ее запоминать, а с голоса это было почти невозможно. Она погибла.

[Самое удивительное, что люди, которые когда-то ее слышали, ничего не запомнили. У большинства людей память зрительная: не прочитав вещи глазами, они ее не ухватывают. У меня же развита именно слуховая память, но я тоже запомнила бы больше, если бы хоть раз прочла ее, но этого не случилось. Анна Андреевна боялась своей драмы и старалась не читать ее одному человеку дважды, а в руки не дала никому.]

В шестидесятых годах Анна Андреевна вздумала ее восстановить. Она расспрашивала всех, кому она ее раньше читала, не помнят ли чего. Результат был неудовлетворительный. Самой Анне Андреевне казалось, что она помнит свой

«Пролог», и вскоре она начала записывать куски. А к этому времени сама-то она была уже не та: к ней уже успели вернуться все ее юношеские особенности. Прежде всего исчезли резкость ума и беспощадность суждений. Если в разговорах они еще мелькали, то из стихов почти совсем выветрились (разве что в «Родной земле» было еще нечто от зрелой Ахматовой). Последний период Ахматовой — это углубленное переживание встреч, невстреч, ощущений и чувств. [Это, в сущности, то, что О.М. называл «звездами» — полетом над землей, а не земным ощущением земных дел всякого рода.] Заостренная социальная формулировка сороковых годов исчезает. Это уже не бесслезная женщина, а новая, вполне способная лить слезы, иногда даже по пустякам...

Основания для вновь обретенного оптимизма у нас, конечно, были. За небольшой период сравнительно спокойной жизни мы все оправились и начали думать и жить. До нас донеслось много добрых вестей, которые способствовали подъему настроения. В прежние темные годы, отторгнутые от жизни, мы думали, что те идеи, которые определяли наше поведение и не позволяли идти на слишком уж позорные компромиссы — без всяких компромиссов не прожил никто, — затоптаны, безвозвратно погибли и уже никогда не воскреснут. Мы даже поверили, что мир, вступив в эру торжества науки, перечеркнул все наши жалкие идеалистические концепции — о высшей правде, о ценностях, об особой, не только тварной природе человека. Мы считали себя побежденными, но, веря в то, что мы — последние хранители ценностей, все же не сдались на милость победителей, а продолжали стоять там, где мы стояли.

[Даже последним римлянам, вероятно, дышалось легче, чем нам, потому что готы не прочь были у них кое-чему научиться, а нас, грешных, непрерывно чему-то учили и отправляли наших близких в такую даль, которую никакой гот себе даже представить не мог.] И в искусстве, казалось, взяли верх совсем другие течения. «Всюду в мире, — говорила Анна Андреевна, — победил абстракционизм и футуристы — “смысловикам” пора на покой...» [Речь шла, пожалуй, не просто о смысловиках, но об этих самых «последних римлянах», захваченных не арианствующими готами, а принципиальными антихристианами. В своей «паучьей глухоте»¹⁰⁷ мы не слышали никаких добрых вестей,

а только изощренную газетно-журнальную брань и проклятия. Кто мог поверить, что это когда-нибудь кончится? Мы в это верить себе не позволяли, чтобы не сойти с ума от тщетного ожидания...]

Перелом произошел совершенно внезапно, и вдруг в воздухе повеяло свежим ветром. Постепенно до нас начали доходить вести о новых идеях и новом миропонимании. Прежде всего это коснулось науки, которую в нашей молодости считали главным антагонистом религиозного мышления, а тем самым искусства. Оказалось, что в современной науке нет противопоставления ума — знания и веры — откровения, во-первых, благодаря логическим выводам, которые сделала сама наука, а во-вторых, в связи с новыми методами научного обобщения. Позитивизм в науке перестал распространяться на общую концепцию мира и стал лишь методом исследования и трактовки научного материала. Иначе говоря, позитивизм из воинствующего мировоззрения, каким он был в девятнадцатом веке, стал тем, чем ему надлежало быть: принципиальной базой науки-знания.

Анна Андреевна сообщала мне эти новости по-своему: «Знаете, что мне сказали физики...» [И затем следовали рассказы о современных физиках, что они вовсе не претендуют на исчерпывающее объяснение мира...] Кое-кто из них специально приходил ее утешать, чтобы она больше не боялась науки... Здесь утешения она принимала, а вот когда Эмма Герштейн попробовала утешить ее по поводу только что вышедшей книги, что она вовсе не такой урод, как кажется с первого взгляда, Анна Андреевна заткнула уши: «Меня утешать не надо: я безутешная...»¹⁰⁸

И все же безутешной она не осталась — вышла вторая книга, затем третья...¹⁰⁹ Народ валил к ней валом. Стихи бродили по стране. Отчаянье покинуло ее, жестокая прямая речь смягчилась. Анна Андреевна ушла в себя и стала искать драматическую коллизию внутри себя. Теперь трагическим моментом оказался «бег времени»: «Что войны, что чума, конец им виден скорый, Их приговор почти произнесен, Но что нам делать с ужасом, который Был бегом времени когда-то наречен?» При таких условиях восстанавливать драму было невозможно, ей оставалось только написать ее заново, но уже не ту...

Новый вариант драмы близок к стихам последнего периода, к теме «невстречи», но без острого социального привкуса. [Новая не встреча коренится в «беге времени»: души людей, разъединенных во времени, тоскуют и рвутся друг к другу. Может, на эту тему ее навела дружба с людьми других — младших — поколений. Они ведь не могли прийти к ней в дни одиночества, когда она так нуждалась в дружеской поддержке. Их ведь тогда просто не было... То, что меня действительно утешает, — приход к стихам новых поколений — ей, больше всего ценившей личные отношения, дружбу, казалось трагичным: эти молодые друзья опоздали и пришли слишком поздно — к занавесу. На этом основании новый «Пролог» — это разговор про «ту, что до меня блуждала в мире... ту, что и сейчас стоит в эфире...»¹¹⁰]

Работая над вторым «Прологом», Анна Андреевна заинтересовалась формальными вещами — новой организацией сцены (сцена на сцене), оркестр, двери, место, где блуждают ее не встретившиеся на земле души. Зоркая и на старости, она недолго блуждала по своим театрально-небесным мирам. Посмотрев какие-то западные пьесы, она сказала мне, что все ее выдумки уже выдуманы и использованы в западной драматургии. На этом и оборвалось так называемое восстановление «Пролога», и это хорошо, потому что она в этой работе изменила многому из прежних идей о поэзии, и прежде всего основному принципу, сформулированному О.М.: «Мы — смысловики».

Первый «Пролог» был острым и хищным смысловым целым. Для оформления сцены она позаботилась только о том, чтобы перетащить на сцену лестницу балаханы, и героиня без церемоний — под взглядами зрителей — спускается по ней в одной ночной рубашке, потому что ее вызвали на судилище, не дав ей одеться. «Пролог» чудесным образом предвещал всю кутерьму, вызванную ждановским постановлением*¹¹¹.

На сцене, куда спускается героиня, стоит большой стол, за которым расселся литературный суд. Со всех сторон сбегаются писатели — всем хочется присоединиться к судьям, поддержать их, высказать свою — вполне официальную — точку зрения. У одного в руках пакет, из которого торчит рыбий хвост, у другого такой же пакет, но с рыбьей головой. Все пристают к секретарше нечеловеческой красоты: где же наконец состоится суд?.. Каждому лестно там побывать и высказаться.

Секретарша отвечает знаменитой формулой: «Вас много, а я одна...» Героиню судят, и весь смысл в том, что ей предъявляют обвинения, которых она не понимает и понять не может, а суд и зрители сердятся, что она отвечает невпопад. Для них эти обвинения вполне ясны и нормальны: на суде встречаются два мира, говорящие на одном и все же на разных языках.

Вся драма была написана в прозе, и каждая реплика резала, как острый нож. Эти реплики — донельзя сгущенные формулы официальной литературы и идеологии. Героиня в ночной рубашке иногда лепечет полубезумные стихи. Ей даже не страшно. Это уже не страх, а глубокое сознание, что человек попал в мир нежити и нелюди. Беспомощная героиня сильна тем, что она человек среди нелюди. Из всех чувств ей доступно одно — удивление. Нежить не может лишить ее жизни, потому что суд происходит вне жизни. Если жизнь есть — она не здесь. В тюрьме героиня тоже свободна, потому что воли нет — на воле есть только писатели с рыбьими головами и хвостами.

[Я вспомнила пьесу, когда меня в начале 53 года вызвали на заседание кафедры в моем пединституте в городе Ульяновске, чтобы разоблачить и выгнать как чуждый элемент¹¹². Мое изгнание было первым, а за ним последовала целая серия других. Проводил все эти заседания директор института¹¹³, до тошноты похожий на Чехова — даже с бородкой и пенсне. Он тряс бородой и задавал вопросы разным свидетелям, уличавшим меня в разных преступлениях. Одна из свидетельниц говорила, улыбаясь, как настоящая комсомолка, и показывая ровные белые зубы... Другая стеснялась, путалась, краснела, и ей раздраженно подсказывал реплики подготовивший ее для этого выступления секретарь институтской парторганизации, некто Глухов, кандидат философских наук, специалист по Спинозе...

На заре своей деятельности он отличился и даже был награжден орденом за раскулачивание. Надеясь на второй орден, он вместе с чеховоподобным директором производил стерилизацию вузов от еврейских и нееврейских элементов. Своей задачей он поставил очистить вуз вполне демократическим способом: народные массы собирались на заседания и сами выгоняли неугодные элементы. На всех кафедрах кто-нибудь показывал белые зубы и бодро и весело произносил свою красивую и гладкую речь.

Я пришла на заседание не в ночной рубашке, а в шубе, потому что меня вызвали поздно вечером, когда раздевалку уже закрыли. Ни стихами, ни прозой говорить мне не пришлось, зато я смотрела на всю эту мелкую оргию с первозданным удивлением иностранки, попавшей на судилище к дикому племени. Я привыкала к этим оргиям почти всю жизнь и все же не могла не удивляться безумию сочиненных нашим Спинозой речей. Страх не было бы, даже если бы этому судилищу дали право четвертовать по русскому обычаю своих подсудимых. Удивление пересиливало все, даже страх. Я вернулась домой, почти улыбаясь, а на следующий день услышала по радио про смерть хозяина. Радуюсь доброй вести, я уехала в Москву, а Спиноза и Чехов продолжали свои очистительные оргии до самой осени, пока комиссия из Москвы не посоветовала им успокоиться.

Я слышала, что Глухов, то есть Спиноза, не сомневавшийся в своей революционной правоте, так и не примирился с новыми временами и вскоре получил инсульт¹¹⁴. Директор оказался более твердым, он просто выхлопотал себе перевод в другой институт¹¹⁵, а в Ульяновск прислали очень добродушного человека, который, директорствуя, никого не обидел: этот добряк перешел на педагогическую работу из одного из колымских лагерей, откуда его пришлось убрать после падения Бериин, кажется за жестокость. К педагогической деятельности он, вероятно, был подготовлен лагерной работой: перевоспитанием уголовников. С ним я уже не имела дела. Я поехала на работу в Читу, где молодой и милый директор отдыхал на своем педагогическом посту после тяжелой работы по выселению из Крыма татар. Директорский пост у нас давался только за настоящие заслуги...

Но возвращаюсь к пьесе Анны Андреевны.] Первые слушатели сравнивали ее с гоголевским «Театральным разездом» и с Сухово-Кобылиным. Могли бы сравнить ее и с Кафкой, но тогда его еще не знали. Еще меньше это Набоков с его заключенным, где авторское презрение к людям делает их механическими уродцами¹¹⁶. На самом деле эта пьеса могла быть написана только Ахматовой периода своей беспощадной зрелости с точной оценкой своей собственной судьбы. А все разговоры героев — самые обычные, «моча в норме», как говорила Анна Андреевна. [Они ничуть не отличаются от того, что говорили

на каждом заседании в честь ждановского постановления и на судилищах Пастернака.] Такие разговоры, выступления и реплики с мест зафиксированы в миллионах протоколов, которые велись хотя и безграмотными, но внимательными секретаршами нечеловеческой красоты.

[Действительность, конечно, всегда шла впереди искусства и давала больше поводов для удивления, чем пьеса.] Лирическая героиня — это та женщина, у которой не было ничего, кроме пепельницы и плевательницы. А нас таких было сколько угодно, но мало кто из нас писал стихи. Это дано не каждому. [Поэтому мы отвечали на судилищах не полубезумными стихотворными репликами, а жалкой прозой, но смысла в ней было столько же, сколько в стихах героини. На таких судилищах оправдываться и защищаться нельзя. Можно только что-то бормотать под нос: да что это? Да разве так можно? Куда это я попала? За что? — и: долго ли еще мне так идти? Где же конец этого пути?

А конца-то и нет. Путь этот бесконечен.]

II

Как случилось, что трое своевольцев, три дурьих головы, набитые соломой, трое невероятно легкомысленных людей — Анна Андреевна, О.М. и я — сберегли, сохранили и через всю жизнь пронесли наш тройственный союз, нашу нерушимую дружбу?

Всех нас тянуло на сторону — распустить хвост, достать крысоловью дудочку, «проплясать пред ковчегом завета»¹¹⁷, все мы дразнили друг друга и старались вправить другому мозги, но дружба и союз были неколебимы. Мы стояли друг около друга, как я стояла около ее гроба, где она лежала — чужая, грозная, уже узнавшая, что будет дальше. Для того чтобы сохранить эту дружбу, надо было иметь стойкость и волю. Откуда мы их взяли? Как преодолевали мы кризисы, неизбежные и в любви, и в дружбе? Мы что-то понимали с самого начала, немного, конечно, но и этого хватило, чтобы зацементировать нашу связь.

Казалось бы, что жизненная ставка Анны Андреевны — любовь, но эти дела рушились у нее, как карточные домики,

от самого первого кризиса, а напряженно-личное, яростное отношение к О.М. выдержало все испытания. Первый кризис произошел незадолго до моего появления.

Где-то году в восемнадцатом она решила охранить О.М., чтобы он в нее не влюбился, и попросила его пореже у нее бывать¹¹⁸. [Такова была ее версия, я же думаю, что она просто испугалась сплетен — чего это Ахматова всюду появляется с Мандельштамом? Сплетен она всю жизнь боялась до одури и, чтобы избежать их, нередко делала всякие нелепости, ставившие ее в еще более трудное положение.]

Сделала она это, наверное, с обычной своей неуклюжестью, во всяком случае, О.М. на нее обиделся и сразу исчез. Влюблен он в нее не был, по крайней мере, он мне так говорил, а он умел различать градации отношений и был абсолютно правдивым человеком: врать или скрывать что-нибудь органически не умел. К тому же он ощущал Анну Андреевну как нечто равное или даже высшее, то есть созданное только для товарищества, а не для любви, которая была для него длительной или мгновенной вспышкой, игрой, беснованием, но всегда направленной на слабейшего.

В «Путешествии в Армению» есть скрытая формула его вожделений: «Персидская миниатюра косит испуганным грациозным миндалевидным глазом... Как наслаждались ими завоеватели...» Эпитеты — грациозный и миндалевидный — прибавлены для приличия, а вся суть в испуганных глазах. Этим можно было его взять в одну секунду, и он часто мне жаловался на меня же, что у меня больше нет удивленно-испуганного взгляда.

Его юношеские увлечения Саломеей Андрониковой и Зельмановой — это дань красоте с большого расстояния, которого между ним и Анной Андреевной не могло быть. К тому же эти петербургские красавицы воспринимались как нечто созданное для восхищения¹¹⁹, а Анна Андреевна была своим братом — поэтом, с которым нужно идти рядом по трудному пути. Во влюбленности же его в Марину кроется нечто совсем другое, свойственное не ему, а именно ей: прекрасный порыв высокой женской души — «в тебе божественного мальчика десятилетнего я чту...»¹²⁰. Я Марину встречала, но не знаю ее, однако, по всему, что она сказала о себе, мне кажется, что у нее была душевная щедрость и бескорыстие, равных которым

нет, а управлялись они своеволием и порывистостью, тоже не знающими равных. Она из тех русских женщин, которые рвутся к подвигу и, наверное, обмыли бы раны Дон-Кихота, если б в нужную минуту не были б заняты чем-нибудь другим.

Анна Андреевна не великорусской, а южнорусской, да еще петербургской, породы. В ней было больше самопоглощенности и несравненно меньше самоотдачи, чем в Марине^{*121}. Взять хотя бы ее отношение к зеркалам. Когда она смотрелась в зеркало, у нее как-то по-особенному складывались губы. Это она сказала: «Над столькими безднами пела И в стольких жила зеркалах»¹²². Она именно жила в зеркалах, а не смотрелась в них, поэтому это не имеет никакого отношения к замечанию Розанова о том, что писатели делятся на два типа — одни смотрятся в зеркало, а другие нет¹²³. Розанов здесь имеет в виду оглядку на читателя, заигрывание с ним, актерский элемент в писателях, которого в подлинных поэтах почти никогда не бывает. Предельно этот элемент отсутствовал у О.М.

Когда-то в Крыму умный и странный человек Рож. сказал О.М., что провел утро с кем-то, кто по профессии своей является антиподом О.М. и вообще поэтов. Знает ли О.М., что это за противоположная профессия? О.М. кивнул. Я пристала к обоим, не поняв, о чем они говорят и почему посмеиваются... Но их объяснение, что речь идет об актере, стало мне понятным только через десятки лет.

Какой-то небольшой элемент актерства можно было заметить только у Пастернака, да и то он появился лишь на старости. Правильно считать актерством желание нравиться собеседникам. У подлинных поэтов актерства действительно не бывает и в помине, и, может, отчасти поэтому им обычно так трудно живется. [Ведь актер всегда знает, чего от него ждут, и всегда в той или иной степени идет навстречу зрителю и слушателю; поэт, как правило, ломится напролом, потому что одержим чувством своей правоты.] Маяковский половину жизни провел на эстраде, Клюев старался скрыться под личиной мужика, но, тем не менее, актерства в них не было ни на грош. [Из них перло не гладкое — актерское, а шершавое и неуклюжее — поэтово.]

Актер смотрится в зеркало, чтобы знать, как он должен улыбаться, двигаться и говорить перед зрителем. [У Ахматовой

развилось чувство, что она окружена своими двойниками. Отражение в зеркале тоже было для нее не самой Ахматовой, но ее двойником: «А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет И думает, что он незаменим, Что все на свете он переиначит, Что Пастернака перепастерначит, А я не знаю, что мне делать с ним...»¹²⁴ Это своеобразное ощущение — узнавание себя в своем отражении не как себя, а как своего двойника, очень характерно для Ахматовой. На этом же чувстве строились и ее отношения с людьми.

Она вступала в глубоко личные отношения с несслыханным количеством людей (когда людям перестало грозить тюремное заключение за дружбу с Ахматовой) и гляделась в них, как в зеркало, словно ища свое отражение в их зрачках. Себя, отраженную в людях, она принимала за своего очередного двойника, и того, в чьих глазах она отразилась, она тоже считала двойником. В сущности, мир был заселен для Ахматовой ее двойниками, и в каждом она искала отзвука своих мыслей и чувств и даже шире — своей сущности, а иногда и внешней прелести.

Это не солипсизм, не самопоглощенность, а скорее поиски того, что ей самой было непонятно: «Разве ты мне не скажешь снова Победившее смерть слово И разгадку жизни моей...»¹²⁵ Заводя двойников, сравнивая, спрашивая о чужом, вспоминая свое, она искала именно эту разгадку. Своя-то собственная жизнь переполняла ее удивлением, и было чему удивляться — все произошло не так, как она ждала, не так, как казалось нормальным и естественным.

Естественно, что возник вопрос, почему так случилось. Ведь речь идет не только о том, что было не в нашей власти, то есть не об общественной среде, но и о собственном доме, которого у нее никогда не было, о любви, обо всем том, что летело вверх тормашками, рушилось, ломалось на глазах без всякой видимой причины. Отсюда повышенный интерес ко всем, «кто помощи душевной у меня просил на этом свете»¹²⁶, в них-то она «и» гляделась, как в зеркало, искала сходства с ними, ощущала их как двойников. Мне иногда казалось невероятно странным, как она себя понимает и в ком себя узнает.

В конце 33 года она познакомилась с Марусей Петровых и внезапно увлеклась ею. Я только рот раскрыла от

удивления, когда Анна Андреевна пристала при мне к О.М. с вопросом: была ли она похожа в молодости на Марусю Петровых... Что вы, Ануш! Ничего общего... Но Анна Андреевна настаивала: такая молодая, поэт, даже поэтесса, в кого-то влюблена и глаз на него не смеет поднять... Надолго ли, я не знаю, но на какой-то срок Анна Андреевна умудрилась узнать себя в этой совсем ничего общего с ней не имеющей нервической и довольно ловкой женщине. Это самоузнавание окончательно прошло, когда выяснилось, что самым первым поэтом и мудрецом Маруся считает Маршака. Тут Анна Андреевна, кажется, отказалась считать ее своим двойником.

Еще более диким для меня было то, что в Ане Каминской она тоже вдруг узнала себя, но на этот раз ей показалось, что Аня похожа на нее внешне. Она заставила Аню сделать себе челку, совсем как ту, которую она когда-то носила, а когда я зафыркала на эту челку, Анна Андреевна серьезно обиделась: разве вы не видите, какой у нее профиль! У Ани незначительное личико, мелкие черты — маленькая хищница, хорека... Анна Андреевна клала две фотографии в профиль — свою и Аньки — и всех спрашивала, много ли у них общего. Восторженные дамы, окружавшие Анну Андреевну, хором заверяли ее, что оба профиля как с камеи, и она почти обиженно говорила мне: «Почему вы одна этого не видите?» — «В ком вы себя узнаете? — отвечала я. — Если бы вы были вроде Маруси или Аньки, вы бы и строчки своих стихов не написали...» Но и это ее не убеждало...

Я действительно недоумеваю, кем Анна Андреевна казалась самой себе. Если судить по тем, кого она определяла себе в двойники, она совсем не чувствовала своей значительности и неповторимости. Видно, как-то иначе надо искать загадку своей жизни и нельзя безнаказанно смотреться в людей, как в зеркала. А может, ей просто хотелось быть такой же, как другие, может, ей мешала ее неповторимость: чего это я такая уродилась — есть же другие женщины, такие милые, хоть бы и мне быть такой, как они... Во всяком случае, в ней не было самовлюбленности, ей даже казалось лестным быть похожей на других.

Есть и другое следствие этого глядения в людей, как в зеркала.] В людях Анна Андреевна искала скорее сходства,

а не различия, и поэтому почти безразлично, к кому обращены ее стихи, важна только она сама, всегда остающаяся неизменной и развивающаяся по собственным внутренним законам. Я, например, была когда-то уверена, что стихи про «застывший навек хоровод надмогильных твоих кипарисов» написаны в память Недоброво, тем более что в первой редакции нарциссы были не белоснежными, а царскосельскими. Это стихотворение 28-го года, то есть «написано» в тот год, когда О.М., вернувшись из Ялты, рассказал ей, что нашел там могилу Недоброво. Однако Анна Андреевна мне сказала, что стихи эти в память не Недоброво, а другого человека, и я подозреваю теперь, что они обращены к балетмейстеру Мариинской оперы, который тоже умер от туберкулеза в Ялте¹²⁷. [А в сущности, это вполне безразлично: адресата у них нет, есть только печаль Ахматовой по умершему.

Два свойства Ахматовой — ее аналитический ум и ее поиски сходства у людей и возникающие отсюда суждения по аналогии, — в сущности, почти несовместимы. Как многие женщины, она была полна противоречий. Аналитическим умом она пользовалась для объяснения внешних обстоятельств, социальной среды, общества; в отдельных же людях видела то, что их роднит, их сходство и общность их судеб. Для общества — анализ, для отдельного человека — суждения по аналогии.

Особенно часто она применяла эти суждения по аналогии к женщинам, которые играли большую роль в ее жизни. Они окружали ее плотным кольцом, были ее первыми читательницами и всегда шумели и кудахтали. Многие из них тайно пописывали стишки. Но как бы ни искала Анна Андреевна сходства с ними, она все же сумела сказать: «Я научила женщин говорить, Но, Боже мой, кто их молчать заставит!»¹²⁸ Подобно тому как среди мужей Анны Андреевны никто не был ей по плечу, так и среди окружавших ее женщин не нашлось ни одной, которая могла «бы» равноправно отразить ее в своих зрачках. И все же хорошо, что они существовали и были с ней до ее конца.

В наши зрелые годы мы были совсем одиноки — людей нашего поколения уничтожили слишком рано. Когда-то Анна Андреевна сказала своим современникам — не тем, которых уничтожали, а тем, кто «одобрял» их истребление: «Ваши дети за меня вас будут проклинять»¹²⁹. Этого не случилось: дети

остались с отцами. К нам пришли внуки, а родители уже так стары, что и проклинать их не стоит — пусть доживают свои годы и не задумываются над тем, что они натворили.

Отношение Мандельштама к людям совсем не похоже на ахматовское, хотя одна черта у них была общая: самый факт сочинительства вызывает тягу к людям, усиливает связь с ними. Стихотворный поток идет от людей — живых и мертвых — и к людям. Для людей. И каждый человек — избранный сосуд, если он не отказался от своей человечности, не объявил себя высшим разумом, который имеет право распоряжаться судьбами человеческой мелюзги, если он не порвал с заветами живых и мертвых и не разрушил священные ценности, добытые людьми в ходе исторического процесса. Уважение к людям и тяга к ним — общая черта Ахматовой и Мандельштама, но в прочем я вижу большие различия.

Мандельштам не себя искал в людях, а другое — чужое. Он рвался ко всему новому, что мог узнать и услышать, остро чувствовал объективное не-я. Движение к новому человеку у него всегда напоминало рывок. Не случайно «он сказал: «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен...» И еще менее случайно: «Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому...»¹³⁰ Но после первого увлечения, все, что можно, узнав и, как пчела, собрав весь мед, он остывал, и отношения переходили в новую фазу: привычка, равнодушие, полное отступление...

Он сохранял дружбу со старыми товарищами — с Нарбутом и Зенкевичем, с Шенгели, но интереса они у него не вызывали никакого. Любил Маргулиса, пошучивал с ним, ценил, что Маргулис «заменяет ему типографию», то есть в один миг распространяет каждое новое стихотворение, но увлечение дружбой уже осталось далеко позади. Устойчивые отношения у него были с очень немногими людьми — с Анной Андреевной, с Наташей Штемпель и в какой-то степени с Яхонтовым. С остальными всегда происходил этот неизбежный цикл продолжительностью в полтора-два месяца — от первого рывка до полного охлаждения. Так протекали его отношения и с мужчинами и с женщинами, а потом люди постепенно переходили ко мне — те из них, конечно, которых я хотела взять, и они уже сидели не у него, а у меня в комнате.

Впрочем, отдельные комнаты у нас были только на Фурмановом переулке — в квартире, где мы так мало прожили. Сам О.М. часто признавался мне, что он «выдумщик», выдумывает какие-то особые качества у новых людей, а потом убеждается, что все это чушь, его собственная выдумка, и его «новый человек» предстает ему в своем подлинном виде, и с ним уже не хочется разговаривать. Такое отношение к людям всегда казалось мне хищным и очень меня огорчало, но единственное, чего я могла добиться от О.М., это сохранение вежливых и дружелюбных отношений с его бывшими «новыми». На это он шел охотно, но скрывать своего отношения не умел.

Очень остро такое охлаждение произошло с Рудаковым, глупым мальчишкой, от которого мы при всем желании избавиться не могли, потому что в Воронеже, куда он был выслан, деваться ему было некуда и есть нечего¹³¹. Рудаков в последний год своей жизни в Воронеже очень мешал О.М. работать, потому что все время сидел у нас, и особенно тяжело было его присутствие, когда приезжала Анна Андреевна. Оба они — О.М. и Анна Андреевна — рвались хоть немножко побыть вместе и поговорить, но Рудаков не отступал ни на шаг. В последнюю зиму, когда Рудаков уже вернулся в Ленинград, О.М. часто с удовольствием говорил о том, как хорошо ему работается без этого постоянного свидетеля. Одиночество же последней воронежской зимы очень смягчалось присутствием Наташи, которую мы оба очень любили.

Анна Андреевна, гораздо более стойкая в своих отношениях с людьми, по существу, меньше ими интересовалась, а О.М. горячо к ним подходил и быстро остывал.

Подобно тому как у непостоянного О.М. были люди, от которых он никогда не уставал, так и у Анны Андреевны с рядом людей сложились отношения «без зеркал» — с немногими людьми, прежде всего с О.М., со мной, с Харджиевым и, вероятно, с Эммой Герштейн. Тут было не до зеркал, слишком серьезные жизненные связи не давали ей «глядеться» в этих людей.

Я уверена, что ни к кому из своих мужей или увлечений Анна Андреевна не относилась так самозабвенно и глубоко, как к О.М. Ее отношение ко мне определялось тем, что я ее связывала с О.М., когда его уже не стало. Эмма же принимала горячее участие во всем, что касалось Левы, — от хождений

по прокурорам до посылок, которые она сама возила в маленькие подмосковные городки, потому что в Москве посылки с продуктами не принимали. Кроме того, Анну Андреевну с Эммой связывала литературоведческая работа: это вечные разговоры о том, что найдено в архивах, как трактовать то или другое сообщение о Лермонтове — им занималась Эмма — или о Пушкине.

Быть может, «зеркальное» отношение к людям развилось у Анны Андреевны потому только, что, фактически лишенная в течение всей жизни всякого общения, отрезанная от литературной деятельности, замкнутая в четырех стенах, похоронившая современников и друзей, с сыном-заложником на каторге, руганная в прессе с первых дней новой жизни — всегда одно и то же от Лелевича до Жданова, — она сама нуждалась в подтверждении того, что она существует, не уничтожена, не погребена вместе с прошлой эпохой, не предана полному и вечному забвению. До войны она формулировала свое состояние так: «Петь в этом ужасе не могу...»¹³²

После войны она вдруг ощутила свою реальность, увидела, что люди тянутся к ней, но ждановское постановление и второй каторжный срок сына опять вернули все в прежнее состояние. Снова она стала тенью, призраком, чем-то случайно пережившим свои дни — а ведь ей давно объясняли, что надо вовремя умирать — в «Лефе», что ли? Единственное, что связывало ее с внешним миром в годы между постановлением и Двадцатым съездом, это читательские письма. Они шли сплошным потоком — это началось в середине или в конце сороковых годов. Время от времени этот поток искусственно прерывался — месяц-два ни одного письма, а затем сразу толстая пачка. Письма тоже были вроде зеркала: раз я как-то отражаюсь в уме читателей, значит, я существую.

Когда пришли новые люди, то есть в середине пятидесятых годов, среди них не было ни одного зрелого человека, который был бы по плечу Анне Андреевне, никого, с кем мог бы идти равноправный разговор. Постепенно она привыкла говорить, не дожидаясь реплик. Не она ждала информации от своих посетителей, а сама «ставила пластинки», как она выражалась, и старалась внушить новым людям свою точку зрения на поэзию, на историю акмеизма и даже на свою биографию.

К сожалению, зеркало слишком часто было кривым. Те потоки безобразных мемуаров, которые уже начинают изливаться, по-своему так же фантастичны, как то, что пишут про Мандельштама. Но здесь есть доля вины и Ахматовой — она не присматривалась к людям, не проверяла, стоят ли они ее дружбы, понимают ли они то, что она говорит. Считая самым главным восстановить истину в ряде вопросов — почти главный из них то, что акмеисты не младшая ветвь символистов, — она тысячи раз повторяла свои доводы, веря, что слушатель не может не отразить их и не запомнить. В этом она ошибалась. Так мы и живем, накапливая одну ошибку за другой, путаясь, торопясь и спотыкаясь. Наши ошибки тянутся за нами, и те, кому предстоит сохраниться в памяти людей, так и предстанут — тенью, искаженной в тысяче кривых зеркал, простроченной и проштемпелеванной собственными ошибками.

И Мандельштам и Ахматова говорили о своей правоте, но в разных аспектах. В юношеской статье «О собеседнике» Мандельштам впервые сказал о том, что поэт не может не обладать чувством «поэтической правоты»¹³³. Именно на этом чувстве правоты он настаивал, то есть он утверждал себя и, в сущности, не нуждался в каких бы то ни было подтверждениях со стороны. Крик «Читателя, советчика, врача»¹³⁴ не опровергает этого: изоляция тридцать седьмого года была так страшна, что не взвыть он не мог, тем более что в искусственности этой изоляции не сомневался. Идешь по улице, а люди смотрят на тебя, будто ты тень, да еще тень прозрачная, сквозь которую можно разглядеть и асфальт мостовой, и прохожих, и фонари... И вот тут-то тебе начинает казаться, что не ты тень, а эти не узнающие тебя люди с странно рассеянным взглядом — сами тени, и ты — живой — попал в страшный мир голосующих, поднимающих руки, выступающих на собраниях, получающих зарплату и спящих с женами мертвых призраков, лишенных плоти и голоса. Как ни страшна была война, но только она вернула им некоторую реальность: у них появилась цель. Мнимости — мнимая работа, мнимая деятельность, липа, которая... но не всегда¹³⁵.

Я запомнила поразительный рассказ одного своего друга о двух людях, вырвавшихся из окружения. Один говорил прямо,

серьезно и то, что думал. Он угодил в тюрьму. Другой отрапортовал на языке условных понятий о том, как он проводил политзанятия с солдатами, с которыми он выбирался из окружения. Одно занятие, помню, было посвящено уходу за конем, а другое, наверное, какой-нибудь календарной дате. Этого приняли с почетом и уважением. Такой умный человек всегда занимает почетное место даже в царстве теней и механических подобию человека. Сила Мандельштама в том, что, живя в этом царстве, он не усумнился в своей поэтической правоте, а только затосковал о человеке, с которым бы мог поговорить.

Анна Андреевна сказала про стихи: «Вы так велико бездорожью, Как в мрак падучая звезда, Вы были горечью и ложью, Но утешеньем — никогда»¹³⁶. Эти горькие слова сказаны в таком же состоянии, как в ту минуту, когда бросают в печку груды черновиков: вся беда из-за вас, зачем вы ко мне привязались? Так и Шевченко в ссылке горестно спрашивал: зачем ему эти стихи, от которых одни беды, в то время как живопись, доброе и славное его искусство, приносила ему одни радости и всегда помогала жить... И все же О.М. не повторил бы ни одного слова из сказанных Анной Андреевной: стихи не могли быть для него ни при каких обстоятельствах ложью, и он не искал в них утешения, а просто принимал свой жребий и готов был заплатить любую цену за сознание своей поэтической правоты.

Чувством поэтической правоты Ахматова обладала в значительно меньшей степени, чем Мандельштам, иначе она бы не стала наговаривать такое количество пластинок, но у него оно было исключительно сильно. За таким сильным сознанием правоты — не угонишься. Зато в жизненных делах он всегда признавал себя неправым: «Я бестолковую жизнь, как мулла свой Коран, замусолил...»¹³⁷ Он жил с ощущением, что все люди лучше его, что он всегда делает и говорит глупости, но не может не делать их, не может не запутываться вновь и вновь в положения, из которых выхода нет. У Ахматовой есть известный вызов, когда она говорит: «Какая есть — желаю вам другую»¹³⁸, — Мандельштам же с полной серьезностью говорит своим современникам, чтобы они принимали поэтов такими, какие они есть, какими их обидел Бог. Поэта, как отца или как священника, люди себе не выбирают. Он есть, и от этого никуда не уйти...

В противоположность Мандельштаму у Ахматовой было сильнейшее чувство своей правоты в жизненных отношениях. Можно ли сильнее выразить это чувство женской правоты, чем она сделала это в стихах, обращенных к Пунину: «Больше нет ни измен, ни предательств, И до света не слушаешь ты, Как струится поток доказательств Несравненной моей правоты»¹³⁹. Я верю, что в этих отношениях она была абсолютно права, но человеческие связи, особенно любовные, регулируются не тем, кто прав, а кто виноват. Бог его знает, как и почему рушится или сохраняется любовь, особенно у тех поколений, которые прокламировали отказ от браков и брачных обязательств. Я и сейчас стою на праве каждого рвать подобные союзы, и мне кажется ужасным только искусственное их сохранение на взаимной лжи.]

Еще несколько слов о зеркалах... О.М. заглядывал в зеркало в те трудные минуты, когда мы ссорились, а это бывало всегда в одной форме: он изобличал и честил меня, не жалея сил и красноречия, а я, изловчившись, кусалась. Иногда, среди обличительного потока слов, я брала инициативу в свои руки и поминала Розанова... Но это было обычной женской несправедливостью: О.М., вкладывавший всю душу в наши перебранки, поглядывая в зеркало, проверял, вероятно, достаточно ли у него убедительный вид...

По существу-то он бывал обычно прав, но я пользовалась его слабостями вроде зеркала, чтобы сбивать его с толку и переводить разговор на другие рельсы. Женщины, как известно, не любят признаваться в своей неправоте, и я, хоть и не из «настоящих женщин», но все же кой-какие уловки своей касты знала. Как я ни люблю женщин, но все же страшно, что они непогрешимы, как римский папа.

[Мне милее точка зрения О.М., который знал, как хорошо в человеке сознание неправоты, глупостей и ошибок. Человек не модель, не кукла, не автомат. Кто до ужаса не запутал свою бестолковую жизнь? Наши хозяева живьем канонизировали друг друга, но мы-то ведь не портреты, а люди. О.М. как-то мне сказал, что если бы я выбрала себе мужа по вкусу, это был бы такой ханжа, что свет не видел. Видно, я тоже злоупотребляла «потоками доказательств»...

В свое оправдание скажу, что все же я выбрала не умозрительного ханжу, а его, и мне ни одной минуты в жизни

не было ни скучно, ни нудно, ни уныло... И я отстаиваю право людей на ошибки и в эти ошибки включаю и ахматовский «поток доказательств», и ее чувство своей «несравненной правоты». Все полны ошибок: пусть Ахматова глядится в людей, как в зеркала, и говорит, что всегда права, пусть Мандельштам рвется к чужим и получает щелчки по носу от своих умных современников, пусть Клюев хорохорится в своей мужицкой поддевке, а Клычков шатается «от зари до зари по похабным улицам Москвы»¹⁴⁰. Ни один из них «крови горячей не пролил»¹⁴¹, все они люди, а не людье, сложная многоклеточная структура с удивленными глазами, глядящими на Божий мир.

Их убили, а они не убивали.]

Думая об Анне Андреевне, я почему-то возвращаюсь к собственной своей жизни, о которой совсем не думала, когда писала об О.М. Его судьба такова, что сметает все личное и интимное, к которому меня приводят мысли о нашем друге — Анюте, Аннушке, Ануш, Анне Андреевне.

О.М. повел меня к ней на Казанскую или в квартиру на Неве — я была в обоих местах, но не могу вспомнить, где состоялась первая встреча¹⁴². И там, и здесь она жила с Оленькой Судейкиной... Когда он вел меня, он топорщился. Незадолго до этого он взял да дважды напал на Анну Андреевну в печати¹⁴³, а теперь боялся посмотреть на свою бывшую союзницу и подружку. А еще он беспокоился, как она меня встретит, и вспоминал Марину: от этих диких женщин можно ждать всего на свете. Марина действительно приняла меня «мордой об стол».

Дружески протянув руки О.М., она сказала, что сейчас отведет его к Але, а мне, еле взглянув на меня, бросила: «Подождите здесь — Аля терпеть не может чужих...» О.М. позеленел от злости, но к Але все-таки пошел, оставив меня в чем-то вроде прихожей, заваленной барахлом и совершенно темной. Потом он мне сказал, что раньше там была столовая с верхним светом, но фонарь, не промытый с начала революции, так зарос многослойной пылью, что не пропускал ни одного луча.

[За первые пять революционных лет все дома и квартиры так запустились и заросли грязью, что, только вспомнив об этом ужасе, я немедленно бросаюсь наводить порядок в своей комнате. Это закопченные окна и стены, печка-буржуйка,

выведенная в растрескавшуюся кафельную печь или — в домах с центральным отоплением — прямо в форточку, сломанные стулья, разодранная обивка на креслах, черные от сажи кастрюли, до которых нельзя дотронуться, громоздкая родительская мебель, покрытая толстым слоем пыли, огромный чернильный прибор с замерзшим чернилом, проржавевшие ножи и вилки...

Разруха надвинулась так внезапно, что никто к ней не успел приспособиться. В удивлении мы увидели, как непрочен наш уют и как рвутся под рукой все наволочки и простыни. Первый голод всегда самый страшный. Второй голод в период первой пятилетки и раскулачивания был отлично организован — каждый что-то получал — паек или карточку. Еды выдавалось столько, сколько человек заслужил — от голодовки к недоеданию, а дальше и к сытости и, наконец, к обилию. Сантиментальные рассказы о правителях, живущих так же, как управляемые, кончились. И потом — голод войны, построенный по тому же принципу, что и предыдущий, но с несравненно бóльшим количеством людей по ту сторону барьера — где те, у кого синие губы и странные — зеленовато-желтые — тени на коже.

Хуже всего приходилось матерям, спасавшим своих детей. И у Марины в ту встречу двадцать второго года я заметила эти смертные тени на лице, хотя сама она производила впечатление плотной и крепкой женщины. Вполне возможно, что эти пятна были результатом освещения — бывшего фонаря в бывшей уютной столовой, где люди так теперь голодали, что мечтали только о хлебе. Настоящий голод тем и отличается, что ничего, кроме хлеба, не хочешь.]

Визит к Але длился несколько минут. [Вернувшись, О.М. чуточку поговорил с Мариной, но даже не присел. По его чересчур вежливому тону я поняла, что он злится. Он всегда злоупотреблял петербургской вежливостью, когда бывал в обиде. Марина успела только снять со стены пропыленное и облезлое чучело маленькой обезьянки и рассказать что-то вполне сантиментальное про этого зверька, но О.М. не дослушал и увел меня. Больше он к Марине не заходил, но мы ее видели еще несколько раз перед самым ее отъездом, когда в эту квартиру въехал Шенгели. Марина даже пробовала заговорить со мной, а я только отшучивалась. Но ревность она мне зря приписала.]

Именно отсутствие ревности всегда было моим главным женским дефектом. В сущности, это показатель вульгарно-поверхностного отношения к людям, и О.М., как и другие мои друзья, в частности Анна Андреевна, всегда ставили мне это в вину. [Разве не слышится у неровного человека весь ассортимент пошлейших фраз: «Не хочешь, не надо» или «Катись колбасой», а то еще «И без тебя обойтись можно, тоже, подумаешь, нашелся!»... Если бы мне еще раз прожить жизнь, я бы исправила эту ошибку своей дурацкой природы.] Единственный раз, когда я по всем правилам разбила тарелку и произнесла сакраментальную формулу: «Я или она», вызвал у О.М. восторг: «Наконец-то ты стала настоящей женщиной!» Но это произошло гораздо позже.

А в несостоявшихся отношениях с Мариной меня сейчас интересует совсем другое. Почему люди не умеют вовремя сказать друг другу простое человеческое слово? Почему так затруднены отношения между людьми? Почему они скованы какими-то идиотскими преградами — ложным самолюбием, попой, самыми модными правилами поведения, законами того стиля, в котором в данную эпоху протекает роман, любовь, дружба, приятельство, — вообще чорт знает чем, что мешает им с открытой душой подходить друг к другу и создает между ними вечную преграду. Анна Андреевна с большой точностью сказала: «Есть в близости людей заветная черта...»¹⁴⁴ Эта черта или преграда существует не только во влюбленности и страсти, а в любых человеческих отношениях — всюду, всегда, везде...

[В моей молодости эта «заветная черта» была еще непроходимее, чем в другие времена. В основу выработанных нами правил мы положили неверие и жестокую насмешку. Назвали мы это иронией, только название слишком слабо для того, что происходило в действительности. Мое поколение разбило не только брак, оно основательно подкопалось под любовь и под все виды дружбы, близости, приятельства... Всякое чувство считалось смешным — как можно себе такое позволить?.. «За то, что я не говорила Возлюбленному: “Ты любим”»¹⁴⁵ — это не только ахматовское самоотречение, но общее правило, закон, устав, которого мы тщательно придерживались, и не только в любви, а во всем.

То, что мы прозвали иронией, помогало нам отгораживаться от всякой прямоты — сами мы думали, что это и есть

прямота, — и от всякой открытости во всех и так затрудненных и скрипучих человеческих отношениях. Конечно, в нашем поведении чувствовалась реакция на фальшивые и лицемерные манеры старших, на ложь прежних браков и социальных отношений, где под пристойным покровом скрывалось равнодушие, отчужденность, а то и вражда осточертевших друг другу людей. Эта реакция могла вылиться в сантиментализм и культ дружбы — так уже случалось — у романтиков, например, а у нас «...»]

Почему я, например, не сказала тогда Марине, что я совсем не такая чужая, как ей показалось, что нас осталось слишком мало, чтобы из-за каприза отказываться друг от друга? Почему я предпочла злорадно хихикнуть — вот дура! — и отсидеться в темной прихожей? Насколько легче обидеть человека или поднять его на смех, чем нарушить эту вечную преграду? И с О.М., несмотря на подлинную нашу близость, мы все же далеко не во всем переступили «заветную черту», и по моей, а не по его вине. Он-то умел гораздо глубже и честнее открываться, чем я. Ведь у него было сознание и вины, и ошибки, а у меня главным образом потребность доказывать свою непогрешимость и «несравненную правоту».

[...«не всегда по последней моде, то только потому, что жила с О.М., человеком глубокой внутренней свободы, сочетавшим чувство поэтической правоты с сознанием своей греховности, вины и ответственности за все злое и страшное, что живет в мире и в котором живем и дышим все мы. «Я хуже всех», — говорил мне О.М., но это сознание не мешало ему жить и радоваться каждому украденному у жизни мигу, каждой крохотной радости, выпавшей на его долю. Чего я топорщилась и строила дурацкие рожи?»] Моя затаенность, которую я когда-то считала своим главным козырем, много мне повредила: ведь я не успела сказать О.М. самого главного и задать ему много вопросов, на которые теперь я уже никогда не получу ответа, даже если будет та встреча, в которую я втайне не перестаю верить.

Нечто подобное произошло у меня и с Анной Андреевной. Она годами упорно добивалась у меня ответов на некоторые вопросы, направленные на суть вещей, но я столь же упорно уклонялась от ответов, отшучивалась, дурила, хотя, ответив,

могла бы ей в чем-то облегчить жизнь, помочь ей понять себя и некоторые особенности в ее отношениях с Гумилевым. Но я в отношениях с таким другом, как она, сохраняла ту же невидимую черту, преграду, стену, о которую разбиваются человеческие отношения. [Она не дает нам проникнуть в суть близких нам людей и мешает понять себя.]

И я заметила, что чем крупнее человек, тем он легче открывает себя, тем глубже его отношение к другим людям — даже до такой степени, что эта преграда иногда становится прозрачной. Это я наблюдала и у О.М., и отчасти у Анны Андреевны, но прочие всегда хотят прихорошиться и для этого запрягать собственную душу. Чтобы признаться в этом, понадобилось тридцать лет ночных раздумий, горького одиночества и конечной потери Анны Андреевны, голубки и хищницы, самого ревнивого и самого пристрастного друга из всех, кого я знала.

[А я даже сейчас вовсе не собираюсь говорить о том, чего я не договорила при жизни с двумя близкими мне людьми. Это наше с ними дело, и оно вовсе оглашению не подлежит. О.М. ничуть не заботился о том, как будет выглядеть его биография. В какие-то очень ранние годы он даже мне сказал, что как поэт он, пожалуй, останется, но ему еще не ясно, сохранится ли он в памяти людей как человек. Это единственный раз за все годы, что он обмолвился таким признанием и вообще заговорил о том, чего он стоит. Такой темы у него вообще не было.

Анна Андреевна думала о той памяти, которую она оставит. Ей хотелось сохраниться в зеркалах человеческих глаз. Мало того, она хотела остаться другом О.М., его вечным союзником, чем она на самом деле и была. А еще ей хотелось утвердить свои женские качества: что она была красивой — и для этого собирались фотографии — и во всех отношениях с людьми, особенно с Пуниным и Гумилевым, всегда бывала права.

На своей «несравненной правоте» она настаивала совершенно неистово. Мне кажется, что она действительно во всем была права, но не той наивной женской правотой, которую ей так хотелось утвердить. Ее правота принадлежит к высшему разряду, как и правота Мандельштама. Это правота внутренне свободных людей, которые стоят на том, на чем должны стоять. А кто кого бросил — Гумилев ее или она Гумилева, никакого

значения не имеет. Мандельштама она не бросила и от него никогда не отрекалась, хотя иногда и боялась даже собственной тени, имея для этого все основания.]

О.М. напрасно боялся первой встречи с Анной Андреевной. Никаких неприятных казусов не произошло. Анна Андреевна приняла меня отлично, с той приветливостью, которую придерживала для новых друзей. [А Оленька Судейкина, одна из женщин той породы, которым О.М. всегда улыбался, болтала, шумела, размахивала пыльной тряпкой — она непрерывно прибирала квартиру и украшала ее чем могла — и вдруг заявила, что за Аничкой нужен глаз да глаз, не то она обязательно что-нибудь натворит... А потом Оленька пожаловалась, что отменили «ять» и теперь она уже не Глебова, а Глѐбова, как на днях ее назвали в домоуправлении: вы только подумайте! И Оленька куда-то исчезла и потом явилась на одну минутку подать чай.

Нужно еще вспомнить о тряпке. С кем бы Анна Андреевна ни жила, она всегда вспоминала дивные пыльные тряпки Оленьки Глебовой-Судейкиной. Оленька вытирала пыль только марлей — как она доставала тогда марлю? Вытрет и прополоснет — тряпка всегда чистая. Оленькина женственность требовала, чтобы и тряпки были воздушно-белые и чистые. В Париже, мне говорила Анна Андреевна, она завела птиц, и они жили у нее в комнате без клеток. А какие тряпки у нее там были? Неужели марлевые? Анна Андреевна сердилась на мои дотошные тряпочные вопросы...

А в тот день, когда мы впервые встретились, все шло легко.] Вскоре разрешился и основной вопрос: настало время читать стихи, и Анна Андреевна сказала: «Читайте первый, я люблю ваши стихи больше, чем вы мои...» Это называлось «ахматовские уколы»¹⁴⁶ — невзначай как будто сказанное слово, а оно ставило все на место. Потом мы несколько раз навещали ее, и она раз пришла к нам без зова на Морскую¹⁴⁷, но застала меня одну — О.М. уехал в Москву за вещами — больную, в пижаме.

Она потом при мне рассказывала Нине Пушкирской, как я сразу погнала ее за папиросами и она тут же покорно сбежала: «Вы же знаете, какая я телка...» Может, моя бесцеремонность в какой-то степени растопила лед: ведь она не очень

ценила почтительно-восхищенное отношение к себе. На такое были падки чужие, а у своих хороша некоторая грубоватость. Так с ней обращались ее товарищи по цеху: Нарбут и О.М., и она этому радовалась. Близких и равных людей становилось все меньше.

Последним из них пришел Харджиев. Она узнала о разговоре Харджиева с Чуковским и повеселела, словно с нее сняли десяток лет. [Это было до войны.] Корней изливал потоки патоки, говоря об А.А... Харджиеву это надоело, и он сказал: «Она славная баба, я люблю с ней выпить». Анна Андреевна всегда повторяла: «Не хочу быть “великим металлистом”...» «Великий металлист» — это фарфоровая статуэтка Данько¹⁴⁸, где Ахматова стоит во весь рост со всеми полагающимися ей атрибутами: ложноклассическая шаль, фарфоровые складки и тому подобное...

Ахматова действительно была «славная баба», а настоящая дружба началась не в первые наши встречи, а в марте 1925 года в Царском Селе. Это было трудное время единственного серьезного кризиса в наших отношениях с О.М.

[В ночь с первого на второе мая 1938 года увели Мандельштама, а первого мая 67 года — через двадцать девять лет — я получила поздравительную открытку: Жень-Жени поздравляли меня с весенним праздником. Так как поздравление носило сугубо личный характер, то не было сказано ни слова о международном и пролетарском значении этого праздника. Евгений Эмильевич Мандельштам — младший брат О.М. — знает, с какой степенью интимности или официальности надо писать поздравления. Жень-Жени означает — он, Женя, и его жена, Женя Зенкевич... Брат даже не подозревал, что первого мая не следует меня ни с чем поздравлять, но винить его нельзя, потому что за эти двадцать девять лет мы с ним встретились только один раз — после Двадцатого съезда, да еще раза два сейчас.

Этот человек не вспоминал брата, пока не «запахло жареным», как сказала хорошо знавшая его Сарра Лебедева. Он был женат на ее рано умершей сестре¹⁴⁹, и с ним ради осиротевшей внучки¹⁵⁰ жила — в своей собственной квартире — мать Сарры — Марья Николаевна Дармолатова, поминаемая

в письмах О.М. Евгений Эмильевич недавно написал мне письмо с просьбой о «примирении», хотя мы не то чтобы ссорились, а он просто забыл о моем существовании и запретил своей дочке, Татъке, встречаться со мной. Мы все же с ней встречались тайком — у Сарры. Она умерла после блокады от туберкулеза¹⁵¹.

Я разрешила Евгению Эмильевичу прийти ко мне, хотя у меня сохранились копии писем О.М. — он их специально переписал своей рукой, — в которых он запрещает Евгению называть его своим братом¹⁵². Мне не захотелось демонстрировать свою «несравненную правоту» и обливать старика презрением. А когда мы встретились, я почувствовала ужас: неужели я жила с братом этого человека! Вдруг в О.М. было что-то сходное с ним, хоть что-нибудь, ведь все же они братья... С ним в мою бедную кухню, где обычно у меня сидят гости, ворвался дух фальши, пошлости, лжи и советского киноспекла¹⁵³.

Это было особенно нестерпимо, потому что он все время говорил об О.М., выкраивая его по своему образу и подобию. Для начала он объяснил, что теперь, где бы он ни сообщал, что он брат О.М., к нему становятся особенно внимательны и милы, все делают, что ему нужно... Об этом я уже слышала: он заметил, что многие ученые охотно снабжают его нужной ему для его научных сценариев информацией как брата О.М., и стал широко пользоваться своим родством: иногда выходит, а иногда проходит незамеченным...

Затем пошли воспоминания — семейные счеты, истерики, эротоманский старческий бред... Неужели он брат Оси? Я буквально заболела от этой встречи, но все же зашла к нему, чтобы посмотреть, какие у него остались материалы и документы об О.М. И там я прочла выдержки из мемуаров Ольги Ваксель, из-за которой в двадцать пятом году я чуть не ушла от О.М... Это и был тот жизненный кризис, к которому я сейчас подошла. Показывая мне ее записки, Евгений Эмильевич очень огорчился, что она «плохо пишет об Осе»¹⁵⁴... Мне жаль, что эта женщина сохранила обиду. Но другого выхода не было.]

В январе 1925 года О.М. случайно встретил на улице Ольгу Ваксель, которую знал еще девочкой-институткой, и привел к нам. Два стихотворения говорят о том, как дальше обернулись их отношения¹⁵⁵. Из ложного самолюбия я молчала и

втайне готовила удар. В середине марта я сложила чемодан и ждала Т., чтобы он забрал меня к себе.

В этот момент случайно пришел О.М., потому что он забыл, кажется, кошелек... Он сразу заметил чемодан и встал на дыбы... [Пришел Т., и О.М. выпроводил его, не сердито, почти дружественно. Они хорошо относились друг к другу, и Т. не чувствовал себя предателем, потому что не раз, проходя ко мне, видел, как О.М. уходит с Ольгой. Он считал, что между нами все кончено, и неожиданный оборот событий застал его, как и меня, врасплох. Уходя, он успел пожаловаться, что ему уже сорок лет, а жены нет, о чем мне весело сообщил О.М. А ему в тот год исполнилось только тридцать пять, но я считала его если не старым, то, во всяком случае, пожилым...¹⁵⁶]

«О.М.» заставил соединить себя с Ольгой, довольно грубо простился с ней*¹⁵⁷. Затем он взял меня в охапку и увез в Царское Село.

Меня и сейчас удивляет его жесткий выбор и твердая воля в этой истории. В те годы к разводам относились легко. Развестись было гораздо легче, чем остаться вместе. Ольга была хороша, «как Божье солнце» (выражение Анны Андреевны)¹⁵⁸ и, приходя к нам, плакала, жаловалась и из-под моего носа уводила О.М. Она не скрывала этих отношений и, по-моему, форсировала их*¹⁵⁹. Ее мать¹⁶⁰ ежедневно вызывала О.М. к себе, а иногда являлась к нам и при мне требовала, чтобы он немедленно увез Ольгу в Крым: она здесь погибнет, он друг, он должен понимать...

[Однажды мне надоело, и я вмешалась в разговор. Скоро я поеду в Крым, сказала я, и мы обязательно возьмем Ольгу с собой. Но мать Ольги оборвала меня — я не с вами говорю, вы мне чужой человек, я говорю с О.Э. — он мой старый друг... О.М., не стерпевший крохотной бестактности Марины, даже не заметил ее выпада... А Ольга, бывшая при этой сцене, вдруг закричала: «Надю не трогай...» Я это хорошо запомнила, и поэтому удивилась злобному тону в отношении ко мне в ее записках. В них она похожа не на себя, а на свою мать.]

О.М. был по-настоящему увлечен и ничего вокруг не видел. С одной стороны, он просил всех знакомых ничего мне об этом не говорить, а с другой — у меня в комнате разыг-

рывались сцены, которые никакого сомнения не оставляли. Скажем, утешал рыдающую Ольгу и говорил, что все будет, как она хочет.

В утро того дня, когда я собралась уйти к Т., он сговаривался с ней по телефону о вечерней встрече и, заметив, что я пришла из ванны, очень неловко замял разговор. Откуда у него хватило сил и желания так круто все оборвать? [Не могу я понять и того, почему я не ушла от него с Т.] Я подозреваю только одно: если б в момент, когда он застал меня с чемоданом, стихи еще не были б написаны, очень возможно, что он мне дал бы уйти к Т. Это один из тех вопросов, которые я не успела задать О.М.

И при этом он болезненно переживал всякое стихотворение, обращенное к другой женщине, считая их несравненно большей изменой, чем все другое. Стихотворение «Жизнь упала, как зарница» он отказался напечатать в книге 28 года, хотя к тому времени все перегорело и я сама уговаривала его печатать, как впоследствии вынула из мусорного ведра стихи в память той же Ольги¹⁶¹ и уговорила его не дурить. Честно говоря, я считала, что у меня есть гораздо более конкретные поводы для ревности, чем стихи, если не к живым, то уж во всяком случае к умершим.

Мучился он и стихами к Наташе Штемпель¹⁶² и умолял меня не рвать с нею, а я никак не видела в этих стихах основания для разрыва с настоящим другом (второе стихотворение, «К пустой земле невольню припадая...», он вообще скрыл от меня и, если бы была возможность напечатать его, наверное бы отказался. Он об этом говорил: «Изменнические стихи при моей жизни не будут напечатаны» и «Мы не трубадуры»...).

Должно быть, я здесь чего-то не понимаю, считая, что стихи — это не так уж важно. Есть таинственная связь стихов с полом — до того глубокая, что о ней почти невозможно говорить. Это знала Анна Андреевна, и ей хотелось и меня выпотрошить на этот счет. Знает об этом и Шаламов, который сердится на О.М. за то, что он писал стихи другим женщинам; он тоже пытался убедить меня, что все остальное мелочь по сравнению с изменой стихами...

Я знаю, что есть несколько форм этой связи стихов с полом. Самый обычный случай — это порыв к женщине,

и, если страсть удовлетворяется, стихи сразу иссякают. Все эти Лауры и Беатриче, недоступные и прекрасные дамы, — не мода и не выдумка своего времени, а нечто более глубокое, лежащее в физиологии и в природе поэзии. С «прекрасными дамами», кажется, вообще не живут, и семейная драма Блока в том, что он женился на «прекрасной даме». [Я знаю случаи, когда поэт сознательно задерживает переход на другие отношения, чтобы не спугнуть стихи. Я это видела и у Анны Андреевны, и у О.М.]

Так, Анна Андреевна не писала стихов тем, с кем жила, пока не наступало кризиса. О.М. несколько раз осторожно мне об этом говорил, и я и с его слов, и по собственному наблюдению знаю и другую связь стихов с полом, более сложную и тонкую, — особый объект любопытства Анны Андреевны. Это то, о чем О.М. говорил: «Я с тобой такой свободный...», когда исступленный аскетизм сменяется совсем другим исступлением. [Во всяком случае, я знаю, что есть стихи воздержания и стихи удовлетворения всех страстей и, наконец, существуют стихи не романа, не увлечения, а такой невероятной сопряженности с полом — стихи шепота и ночи, — что о них ничего и не скажешь. Все это я узнала только в тридцатые годы, а обычную регулярную и нудную семейную жизнь испробовала только в тот период, когда О.М. не писал стихов. Проза же, даже если ее пишет поэт, управляется совсем иными вещами: созревание мысли, которое приводит к прозаической — даже самой эмоциональной, как «Четвертая проза», — работе, не равно созреванию стихотворческого порыва.]

Многое Анна Андреевна знала по себе и по своему опыту и, расшифровывая судьбы поэтов прошлых эпох, наталкивалась на следы тех же закономерностей. Мне кажется, ни у художников, ни у музыкантов такой прямой связи их искусства с полом нет. Особое напряжение поэзии, ее чувственная и пророческая природа гораздо больше меняет человека, чем другие искусства и наука.

[Многие из моих друзей недовольны, что я вспомнила о нашем с О.М. большом кризисе. «Уберите девчонку», — советуют мне. И еще литературоведческий совет: не делать нажима на эту историю, иначе к ней отнесутся слишком серьезно...

А на это я возражаю: история-то действительно была серьезная, потому что оба мы стали как-то серьезнее после нее относиться друг к другу. До нее мы вполне были способны «разбежаться», как тогда говорили, в разные стороны из-за любой случайности. После нее мы стали осмотрительнее.

Мы сошлись на первый день нашего знакомства — первого мая девятнадцатого года — и на вполне «девчонских» условиях. Я формулировала их тогда так: «От недели до двух месяцев без переживаний» — очень уж мне хотелось избежать боли и трудностей настоящих отношений... И не мне одной, потому что такова была формула легкого романа моего поколения. Мандельштама эта формула очень забавляла, но то, что легкий роман перешел в прочный союз, не такая уж случайность для тех дней. Я этого, однако, долго не сознавала. Не понимал этого, в сущности, и Мандельштам, хотя уже в первых стихах ко мне он назвал «свадьбу»¹⁶³, то есть выбрал меня в жены — в «мое “ты”», поскольку, продолжая настаивать на своем праве на «вы-девчонок», не признавал при этом моего права не только на романы, но и на какие бы то ни было «отдельные» отношения с людьми.] Ведь уже в Крыму, во время нашей первой невольной разлуки, он определил мою участь: исчезнуть в нем, раствориться¹⁶⁴.

Теперь я понимаю, что это лучшее из того, что я могла сделать со своей жизнью, но тогда вряд ли такая перспектива могла меня прельстить, и он разумно объяснил мне значение этих крымских стихов лишь через много лет. Автопризнания О.М., как я уже говорила¹⁶⁵, рассыпаны в самых неподходящих местах и изрядно закамуфлированы, и я уверена, что в последних стихах о Чарли Чаплине, которые я до сих пор ненавижу, и не только потому, что они вообще неудачны, в строчке «и твоя жена — слепая тень»¹⁶⁶ О.М. тоже имел в виду меня, хотя для того периода это было явной несправедливостью и просто бунтом против нашей слишком тесной связи. [Впрочем, этот бунт был совершенно мимолетным.]

Подобно тому как в стихах Мандельштама резко чувствуются «этапы» — «возрасты поэта», так и такая обыкновенная вещь, как отношения с женой, тоже делятся на вполне точные и отделенные друг от друга этапы — здесь тоже видно структурное начало его психики. Это ясно заметно даже по скучным

высказываниям О.М. и в стихах, и в прозе¹⁶⁷. Не только дружба с женщинами, но и отношения со мной, его «слепой тенью», тоже были резко периодизированы. И каждый период отношений начинался с того, что он определял такой фразой: «Я опять в тебя влюбился». Мне кажется, что к концу мы подошли еще к какому-то периоду, может, даже к разрыву, но мы этого не узнали, потому что нас насильственно разлучили.

Первый этап — это насильственно увезенная девчонка, с которой трудно возиться, но женолюб должен это терпеть. [Девчонка взята для того, чтобы ждть ласки, — так сказано в «Алискансе»: «А я думала, ты вернешься, приласкаешь меня немножко...»¹⁶⁸] В те годы О.М. не подпускал меня к своей жизни, мало со мной разговаривал и, в сущности, только кормил и держал при себе. Он всегда считал, что жена должна быть одна, — ему очень, видно, надоели разводы и случайные связи современников, но сначала это вовсе не значило, что мужу не мешает иногда и поглядеть на жену. Правда, уже в эти дни он постепенно приучал меня к стихам, показывал что-то, но главным образом следил, чтобы я куда-нибудь не удрала.

Настоящая близость, а не эгоистическое «наслаждение завоевателя»¹⁶⁹, началась только после «умыкания» (как ни смешно умыкать собственную жену) в Царское Село. [Только после нашего кризиса двадцать пятого года мы вступили во второй этап наших отношений.] Это письма в Ялту, где я лежала больная¹⁷⁰, это огромная воля, проявленная им для того, чтобы сохранить наш союз или брак. Я перестала быть девчонкой, которую он таскал за собой, — нас стало двое.

Третий период нашей жизни — это тридцатые годы, когда он сделал меня полной соучастницей своей жизни. Это началось с путешествия в Армению и с возвращения к нему стихов. Странно, что стихи начались, как и потом в Воронеже, с обращения ко мне: [«Куда как страшно нам с тобой, Товарищ большеротый мой...»¹⁷¹

Новый период начинался с разговора со мной или обо мне, когда же стихи к концу этапа иссякали, появлялось обращение к другой женщине: в конце воронежского периода это обращение к Наташе Штемпель, в конце московского — к Петровых¹⁷². Сейчас О.М. уже не мог писать стихи не

ко мне в моем присутствии, как это было со стихами к Ваксель в 1925 году. Это случилось в периоды моих кратковременных отлучек. Из Воронежа я уезжала в Москву, а в 33 году легла на две недели на исследование в больницу, а О.М. остался с Левой Гумилевым у нас на квартире — отсюда и шуточное стихотворение о тех же обстоятельствах¹⁷³. Мне иногда казалось — это скорее относится к стихам Петровых и мертвой женщине¹⁷⁴, чем к стихам Наташе, — что, испуганный уходом и иссяканием стихов, он искал добавочного средства, чтобы они возобновились, не пропали. Страх исчезновения стихов был у него не менее силен, чем потребность близости со мной. Отсюда и переживания, связанные с «изменническими» стихами, и обещания (в письме из Воронежа по поводу стихов Наташе), которых я с него не требовала, стать сильнее стихов, взбунтоваться против них — «довольно им помыкать нами»... В этом же письме он говорит о том, что собирается начать новую жизнь¹⁷⁵. Это тоже чувство нового этапа — и он бы начался, если бы не оборвали его жизнь.]

Из его автопризнаний, пожалуй, самое интересное то, которое он заснул в «Юность Гёте»: «Нужно твердо помнить, что... дружба с женщинами при всей глубине и страстности чувства была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода жизни в другой»¹⁷⁶. Есть еще одна особенность, которая не перестает удивлять меня в О.М., — это то, как ясно и сразу он определял роль каждой женщины в своей жизни. Этим он резко отличался от других людей, у которых путь от любви до разлуки с разными женщинами всегда в основном совпадает.

Даже у Анны Андреевны течение романа — во всяком случае, тех, которые перешли в более серьезную стадию, а не ограничились разговорами, — было в основном достаточно однотипно: от голоса за плечом до доказательств «несравненной правоты»¹⁷⁷. [О.М. видел людей, не прятался в себе, не замыкался. В дружбах, как бы коротки они ни были, он индивидуально подходил к тому, с кем дружил, а тем самым сохранял способность определять роль женщины в своей жизни. Он сделал это и в стихах к Ваксель, несмотря на всю силу своего увлечения. Поэтому, вероятно, он смог так быстро от нее оторваться и не разбил нашей жизни.] Нашему сближению

после его разрыва с Ольгой Ваксель очень способствовало возобновление дружбы с Анной Андреевной, которое произошло, как она часто мне говорила, благодаря мне. Это случилось в Царском Селе.

В марте 1925 года, насильно увезенная из своей милой гарсоньерки на Морской, я очутилась в маленьком пансиончике в Царском Селе. Жители Петербурга, сказал мне О.М., всегда ездили для объяснений в Финляндию. За неимением финских городков пришлось довольствоваться Царским. Первую ночь я металась и хотела вырваться из плена. Как я тогда не удрала от О.М.? Я и сейчас этого не понимаю. [Ведь я еще не знала Мандельштама следующих этапов, а с тем, который был на первом этапе, порвать было совсем не так невозможно...]

Кроме того, бегство к Т. предвещало мне вольную жизнь, к которой я тогда очень стремилась, и, может, даже возвращение к живописи, где, мне казалось, я могу что-то сделать^{*178}, и уж во всяком случае я получала право на самоубийство в случае неудачи, а бегство из жизни всегда казалось мне счастливым выходом. [А может, так оно и есть? От скольких ужасов я бы избавилась, если б вовремя исчезла...] Все мои представления, вся моя жизненная направленность в те годы была за разрыв, но я не ушла. [Почему? Вспоминая ту, которой я тогда была, я не нахожу этому никаких объяснений. Это либо воздействие огромной воли О.М., либо просто судьба, от которой я не мела увильнуть.]

Наутро в нашу комнату вошла Мариэтта Шагинян. Это было первое событие, заставившее нас рассмеяться, — Мариэтта оказалась нашей соседкой, жившей за тоненькой стенкой. Если б она не была глуха, она бы слишком много узнала о нашей жизни, гораздо больше, чем я открываю в этих откровенных записках, но, на наше счастье, этого не случилось... Мариэтта все-таки почувствовала что-то неладное и дала нам с сотню дурацких советов, а затем — нам вторично повезло — уехала в город. События продолжали разворачиваться — появился Пунин, искавший, куда бы ему пристроить Анну Андреевну, у которой тоже начался весенний приступ туберкулеза. О.М. сразу затопорщился — она не придет, сказал он мне, вспомнив старую обиду: увидишь, она не придет,

но она приехала, и ее приезд таинственным образом снял все наши раздоры.

Она тогда собрала всю информацию о нашей драме — ей рассказал о ней О.М., осторожно и сдержанно, как всегда, и, конечно, я, да еще Т., который меньше всех был в ней заинтересован и втянут в нее почти случайно — из-за жилищного кризиса. Во всяком случае, мы оба сохранили с ним хорошие отношения.

Наша дружба с Анной Андреевной началась на террасе этого пансиончика¹⁷⁹. Хозяин его — повар Зайцев — все время ездил в город к фининспектору, пытаясь отстоять свое «частное предприятие» от полного разорения, но ему это не удалось. В двадцать шестом году, когда мы вернулись уже зимогорами в Царское, там уже оставалось только два пансиона, которые спасались не столько посетителями, сколько связями с нашими правителями. Один из таких пансиончиков действовал именем Урицкого и держался дольше других. Частный сектор у нас исчезал — как в поварском деле, так и в литературе. Мы в последний раз жили в частном пансионе, неслыханно долго ждали хозяина, чтобы он вернулся от фининспектора и нас накормил, и лежали закутанные на террасе, дыша целебным царскосельским воздухом — считалось, что он спасает от туберкулеза.

И мы действительно выжили. Здорово было бы, если бы мы тогда померли, не зная всего того, что нам пришлось узнать.

Терраса была еще завалена сугробами мартовского подтаявшего снега, но солнце уже здорово грело сквозь стекла. Мы непрерывно мерили температуру и радостно ждали смерти. [И я, и Анна Андреевна, растерянные и печальные, уже имели достаточно в прошлом, чтобы не очень надеяться на будущее. О.М. как-то удивленно мне рассказал, что Анна Андреевна остановила его, когда они должны были разойтись по своим комнатам в коридоре: «Не уходите: с вами все-таки легче...» — «Что с ней? Казалось бы...» Роман с Пуниным в разгаре, он ежедневно прилетает из города, розы, розы... А тут вдруг: с вами легче... Детская жизнерадостность О.М. мешала ему понять, что никакие «розы, розы» не снимают ни прошлого, ни будущего. Он, как всегда, жил настоящей минутой

и не понимал того, что сам он назвал в стихах: «Сестры тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы...» Тяжести у него не было, у нас была.]

Однажды, когда мы с ней вдвоем лежали на террасе, к нам пробрался, еле вытаскивая ноги, проваливавшиеся в снег, нищий. [Это, наверное, было в первые дни нашей царскосельской жизни. Потом наступила дружная весна, и на второй месяц мы уже сидели перед домом, куда нам выносили кресла на сухой асфальт.] Мы высыпали нищему все, что у нас было, гроши, наверное, и он ушел, потрясенный нашей щедростью. Мы запомнили с ней этот эпизод, потому что именно он послужил началом нашей настоящей, не календарной дружбы. Все началось с моего признания, что у меня сжимается сердце, когда я вижу нищих: а вдруг это мой отец, мать, братья или сестра... Долго ли нашим близким до того, чтобы пойти с протянутой рукой? Это чувство было ей слишком знакомо. В то время еще были живы ее мать и сестра. Они погибали где-то на юге. Куда-то исчезли братья — Виктор и Андрей*¹⁸⁰. Тогда, кажется, она еще не получила известия о самоубийстве Андрея — любая весть годами добиралась до нас.

Мы уже испытали в полной мере первый голод: она — сидя неподвижно в Ленинграде и простаивая очереди за Шилейкиным пайком, а я — бродяжничая по стране, как бродяжничали в течение многих лет миллионы людей в поисках хлеба. О.М. уже написал про чувства матери: «Дети, мы обнищали, до рублища дошли...»¹⁸¹ Мысль моя про нищих не отличалась оригинальностью, но чувство принадлежит нам с ней, а не всему развороченному муравейнику. Люди старались не обращаться на бедственные годы и верили, что они остались позади. Основной целью всех было пробиться к казенному неистощимому пайку, чтобы при любом обороте событий остаться за оградой, куда пускают своих и сытых, где кормят сытно, а может, еще сытнее, чем раньше. Людей с самого начала у нас кормили выборочно, по категориям — согласно заслугам перед государством. [Трогательные рассказы о правителях, живущих точно так, как рабочие, сентиментальный блеф; в дни гражданской войны правители жили более чем скромно, потому что страна оказалась совершенно разоренной, но разница в уровнях существовала и соблюдалась всегда.] В нэп наиболь-

ший кусок доставался ИТР — инженерно-техническим работникам, но писатели уже рыли землю, чтобы стать «инженерами человеческих душ»¹⁸². [Им это, как известно, удалось.]

Свою нищету мы приняли добровольно. В этом ее сила. И по мере того как я из испуганной девочки Европы, как назвал меня О.М., которая так мешает плывущему быку-женолобцу — «ноша хребту непривычна и труд велик»¹⁸³, — превращалась в нищенку, которая уже не мешает никому и побирается сама, крепили наши отношения с Анной Андреевной. Ведь отречение от внешних благ, от всего, что составляет вождление людей, за что с таким остервенением боролись все, было свойственно ей с ранней молодости.

В первых стихах это самый сильный голос, и его-то и отметил О.М. еще в начале и его, и ее пути (рецензия на «Альманах муз»¹⁸⁴). В нем сущность Ахматовой, а не в левой и правой перчатке — попробуй-ка перепутай и натяни на руку: рукавицу — можно, а перчатку, а в те годы перчатки покупались еще по руке, — нельзя никак¹⁸⁵. И в этих ранних стихах можно уже найти отрешение от любви. В юности до всяких катастроф она уже называла себя брошенной и говорила о печальной женской судьбе. Ставки на счастье она не делала. И у Марины есть эта тема: «всегда бросали» и «я сама это выбрала».

Но в те царскосельские дни Анна Андреевна еще не подозревала, как сложатся ее отношения с Пуниним, что от всего этого останется один дым и встречи в коридоре общей квартиры: «Ну как?» — «Ничего, ничего...» — «Вот-вот...» Но уже было тяжело, а с О.М. все же легче.

Может, действительно, нам троим было предназначено стоять вместе против всех бурь и сделать то, что каждый из нас сделал: им сохранить внутреннюю свободу и свой голос, а мне сохранить стихи О.М.? «Он» не сбежал почему-то от меня, я не ушла от него, как полагалось по кодексу приличия двадцатых годов, Анна Андреевна твердо стояла около О.М., пока он был жив, и берегла его память после смерти. Мы остались с ней одни, и она часто говорила посторонним: «Надя — это почти что я сама», — но это не точно: в ней было слишком много того, что нас разъединяло, а соединял нас О.М. — и это было главным в нашей жизни и дружбе. В этом внутренний смысл всего.

[В нашу эпоху много говорили о счастье. Человек рожден, чтобы быть счастливым. «Человек создан для счастья, как птица для полета», — процитировала мне худенькая женщина, одинокая и печальная, которая никак не может понять, почему жизнь не отвалила ей этого самого счастья, обещанного ей еще в школе, где учат наизусть такие цитаты, того самого счастья миллионов, вождя, ожидаемого, полагающегося нам, как паек и зарплата. «Наденьке кажется, что она должна быть счастливой», — дразнил меня О.М. Революция совершалась ради счастья, и каждому хотелось индивидуальной доли в этом роскошном призе, в плодах победы. Счастье требовалось всестороннее — в форме благополучия, веселья, удачи — «ты был ничем», а стал заведомо, членом коллегии, машинисткой или первым поэтом...

Постепенно идея счастья сузилась — первое всего шло материальное благополучие, и в этом нет ничего удивительного: люди, перенесшие голод и холод, не могут не ценить вещественные признаки зажиточности — от жилплощади до персональной машины. Счастье понятие не совсем определенное — кто его знает, что это такое... Будущий доктор наук, по словам которого я следила, о чем говорят в их среде, дал два замечательных высказывания. Он объяснил своей теще, что бифштекс особенно хорош потому, что почти ни у кого на столе нет такой роскоши. А несколько позже он заявил, что цель жизни — удовольствие. До наслаждения он не дотянулся, потому что оно требует затраты физических сил — у послевоенной молодежи их не было. Родители ждали счастья, сыновья — удовольствия.

Эти поколения не порывали друг с другом, оторвались от них только внуки. Дети людей, делавших революцию, оказались блистательной удачей нашего воспитания. Это они были названы «цветами жизни». О.М. рассказывал: мальчик, следуя инструкциям своего печатного органа, помог старушке перейти через дорогу; она умилялась, а он ей объяснил — мы цветы жизни... Охраняя свое счастье и удовольствие, отцы и дети действовали осмотнительно — ничего лишнего не думали и не говорили и держались в общественной жизни тише воды, ниже травы. Действовал великий закон самосохранения: куда к чорту пойдут все удовольствия, если попадешь за колючую проволоку? Против рожна не попрешь.

Женщины, хранительницы очага, прекрасно понимали всю мудрость этого закона. Мужчины — в домашнем кругу — слегка против него бунтовались, но в общем следовали домашним инструкциям. Один замечательный человек почти с умилением рассказывал нам с О.М. про мудрость своей новой жены — он нуждался в ней, потому что этой женщине все было ясно. Она говорила: «У всех есть чувство самосохранения. Если у тебя его нет, я ничего сделать не могу...» Этому человеку действительно не хватало чувства самосохранения, он черпал его у жены, но только до поры до времени... Это странное чувство, которое есть у всех, почему-то вдруг давало сбой, рушилось, переставало управлять поступками, впрочем, далеко не у всех. Чем объяснялось крушение этого могучего инстинкта в самые роковые минуты жизни? В пограничных ситуациях, как мы бы сказали сейчас... На этот вопрос так же трудно ответить, как определить то, что делает человека человеком. Попробуй ухватить эту ниточку и вытянуть ее на общее рассмотрение... Ничего не выйдет.

А что, в самом деле, делает человека человеком? Говорят, религия... Я слышала про церковного старосту, который произнес солидную речь про стилистические изъяны писателя Терца. Этот почтенный церковник защищал великую русскую литературу и тургеневские заветы безукоризненного и непрекаемого стиля. Вероятно, у Синявского, сидевшего на Лубянке, действительно есть стилистические огрехи, и почтенный писатель, переводчик и стилист, он же церковный староста, глубоко чувствовал свою донкихотскую правоту. Мерзавец всегда находит оправдание своим поступкам: он стоит на страже и грудью защищает достижения революции или русской культуры от посягателей и беспардонных хулителей, чтобы они угодили за решетку или остались за ней. И закон самосохранения не нарушен.

Мне все казалось, что поэзия и любовь к ней не совместимы с подлостью. Но как же мне быть с Тарасенковым? Еще в двадцатых годах О.М. поздоровался в Доме печати с прехорошеньким мальчиком, белокурым, милым. — Кто это? — спросила я. — Падший ангел, — ответил О.М. Это и был Тарасенков, днем писавший гнусные статьи про тех поэтов, которых он знал наизусть, бережно собирал и просто

обожал... Видно, и поэзия не оберегает человека от потери основных человеческих свойств. Но нечто все-таки их охраняет. Даже в нашей жестокой жизни не все потеряли человеческие свойства и не раз действовали себе во вред, теряя страшное чувство самосохранения. Как бы вникнуть в их мотивы, понять их поведение?..

В 37 году мальчишка из отличной интеллигентной семьи — отцы, деды, традиции, культура, наука — отправил на Лубянку девчонку, тоже наследственную интеллигентку, но несколько другого типа — дореволюционная эмиграция, родители... Поступок мальчишки — типовой. Многим сынкам сверхмерно интеллигентных родителей надоело страдать от их неразумия. Собирая клочки удовольствия, эти отпрыски культивировали чувство самосохранения, которого так недоставало «предкам». А вот с девчонкой все повернулось иначе...

Дело уже кончалось, но она еще не назвала ни одного имени и отказалась от всех лестных предложений «послужить народу». Имена были необходимы. Каждый следователь выбивал несколько имен у своей жертвы. Аресты шли цепочками, и названные на следствии имена служили ориентирами. Упрямая девчонка не поддавалась и своим упрямством нарушала график. Вот тогда-то, не справившийся с ней, следователь прибег к экстренным мерам — он отправил ее к своему коллеге-азербайджанцу, знаменитому мастеру упрощенного допроса. Про этого черномазого следователя среди заключенных ходили легенды — он бил собственноручно и выбивал из заключенных, что хотел.

На девчонку следователь для начала решил оказать психологическое воздействие. В сущности, он взывал к ее благоразумию и чувству самосохранения. Прежде всего он пригрозил отправить ее в Лефортово и там собственноручно — в буквальном смысле слова — заняться ее делом. В обоих случаях — если она назовет пять имен здесь или в Лефортово — она получит восемь лет. Но в одном случае она отбудет свой срок, выйдет на волю, отдохнет и снова станет молодой женщиной... Девчонке было тогда года двадцать два, не больше, плюс восемь — тридцать... Вполне терпимо — еще можно пожить. Но, побывав в Лефортове, она уже не оправится, станет навеки трясущейся старухой, полубезумной, жалкой тенью...

Лефортово славилось как одна из самых страшных тюрем. Мне говорили люди, попавшие на Лубянку после приказа об упрощенном допросе¹⁸⁶, что первое впечатление у них было, будто они в полевом госпитале после сражения — носилки, кровь, стоны и вопли... И при этом все еще пуше боялись попасть в Лефортово, где все это происходило в несравненно большем и более страшном масштабе.

Добавочное объяснение следователя: если девчонка назовет пять имен здесь — добровольно — она может выбрать и назвать кого угодно, в Лефортове она будет рада назвать собственного отца, лишь бы избавиться от того, что ее ожидает... Все это ей предлагалось учсть.

И здесь следователь прибег к еще одному психологическому приему: день был субботний, когда даже на Лубянке кончали работу пораньше; он вызвал по телефону свою даму и долго сговаривался с ней, как бы получше провести вечер. Куда они пойдут — в театр, в кино, в цирк? Или просто в ресторан — поужинать и потанцевать?..

Девчонка обожала танцевать, она, может, думала, что создана для танцев и прочих удовольствий. Разговор следователя напомнил ей о том, что где-то есть простая жизнь со всеми причитающимися молодым радостями. Сейчас это уже немолодая женщина, но она еще любит танцевать. С одним своим приятелем она открыла где-то в Москве маленький ресторанчик, напоминающий им парижское бистро — оба они там провели свою юность, — и сейчас — оба немолодые, но сохранившие любовь к радостям жизни — они время от времени удирают в это «бистро», притворяются французами, едят, выпивают бутылочку сухого и танцуют...

Тридцать лет тому назад с перспективой восьмилетнего лагеря и Лефортова танцующая девчонка слушала разговор следователя с дамой и думала о своей судьбе... Следователь дал девчонке два с половиной часа на размышления. Он не сомневался, думаю, в успехе: кто же сам решится себя загубить — ведь чувство самосохранения естественный инстинкт человека, и этот инстинкт должен неслыханно развиваться в обществе, которое имело одну цель — счастье.

Девчонку отвели в камеру, и она погрузилась в размышления, искала, кого бы можно назвать из ее знакомых,

не погибать же ей, которая еще даже не начала жить... Она готовилась к разумному компромиссу, ни тени жертвенности у нее не было, всякий героизм ей претил. Препятствие, с которым она столкнулась, обдумывая компромисс, оказалось совсем неожиданным: выяснилось, что как ни бейся, никого из знакомых назвать нельзя. Ведь назвать значило посадить или, во всяком случае, поставить под удар: следователи не успевали арестовывать всех названных им людей, а иногда добивались показаний на таких, кого, вероятно, вообще не собирались брать, — так, на всякий случай. Я слышала про женщину, забитую потому, что отказалась дать показания против Молотова. У многих брали показания против Эренбурга — этот еще куда ни шло — мог сесть, — но также против Фадеева, Шолохова и других святых их клана.

Но девочка перебирала знакомых, а назвать их она не могла — у одного дети, другой болен, третий кормит своих родителей... Все люди с кем-то связаны, у них есть своя жизнь, и губить ее невозможно... Через два с половиной часа девочку снова отвели к черному следователю. — Ну как? — спросил он ее. — Надумали?... — Она сидела, опустив голову. — Да, — сказала она, — пусть в Лефортове я назову собственного отца... Это вы вынудите меня. А здесь — добровольно — назвать не могу никого...

Я знаю, что следователь отвесил ей насмешливый поклон, но не помню, в какой именно момент — уж не тогда ли, когда ее отводили в камеру, где она должна была ждать перевода в Лефортово...

Она сложила свой узелок и сидела на койке, ожидая вызова. Дежурный поглядел в глазок и приказал ей ложиться — сидеть ночью не положено... — Меня сейчас переведут в Лефортово, — ответила она. — Когда будет приказ, разбудим. А сейчас ложитесь... — Она легла...

Девочка просидела в камере еще месяц, а потом отправилась в лагерь. В Лефортово она не попала. Как это случилось, не понятно. Она считает, что ее спасла суббота — перегруженный следователь спешил к своей даме и забыл отдать приказ. Это кажется более правдоподобным, чем моя идея о том, что она понравилась азербайджанцу и он решил пощадить ее.

Этого быть не могло. Во-первых, это могло плохо отозваться на его служебном положении и чувство самосохранения не позволило бы ему пойти на такой шаг, во-вторых, разве может такому могучему человеку понравиться жалкая, измученная заключенная, когда есть сколько угодно приветливых, пахнущих духами дам? У Анны Андреевны есть четверостишие, которое я сама ей напомнила, когда она собирала «Сожженную тетрадь»: «Здесь девушки прекраснейшие спорят За честь достаться в жены палачам. Здесь праведных пытаются по ночам И голодом неукротимых морят». Следовательно, по ночам крутивший в Лефортове человеческие кости, наверное, мог выбирать среди «прекраснейших девушек» и не стал бы рисковать ради упрямой девчонки с твердо сжатыми губами и мрачным беспомощным взглядом, какой она изображена на фотографии, предшествующей аресту. У этой девочки почти трагический вид, словно она предчувствовала, что ей предстоит, а у следователя предложение превышало спрос, и не в его среде могли оценить эту красоту. Он бы посмеялся над ней, как его одноклеточные потомки над красотой Ахматовой.

Сейчас мне очень хотелось бы понять, что помешало ей назвать пять имен. Что это — нравственный закон? Категорический императив? Как это называется и почему в одних случаях этот императив действует, а в других никак?.. Церковному старосте ничто не грозило, когда он вылез на собрании, чтобы помочь судьям расправиться с заключенным, а девчонке грозило Лефортово... К тому же она была и осталась легкомысленной нигилисткой. Принципиальной нигилисткой, и прошибить ее нельзя. — Что это еще за ценности? Чепуха, — говорит она. — А почему вы всегда поступаете хорошо, а не плохо? — спрашиваю я. — Потому что мне так хочется, — отвечает она, и ничем ее переубедить нельзя. Все это, по ее мнению, громкие слова, а этого она не терпит — лицемерие, ерунда, вранье... Закон — это своеволие, ей так хочется, и все...

Что же толкает ее на высокие поступки? Мне очень хочется, чтобы она прочла свой жизненный опыт и сделала из него выводы, но это безнадежно... Мне даже приходит в голову, что где-то в ней живет биологический опыт ее предков

и она не может преступить нравственного закона, которому они поклонялись. Темная память о том, чего она не пережила, и полное нежелание вспомнить пережитое... А у других людей нету, что ли, этой памяти? Почему же они называют то, что с них требуют, как назвал ее имя посадивший ее парень из самой хорошей семьи? Вникни, голубушка, объясни, скажи, я так хочу хоть что-нибудь понять...]

«Между помнить и вспомнить, други, Расстояние как от Луги До страны атласных баут»¹⁸⁷, — вполне точно и изящно сказала Анна Андреевна. И хотя мы часто и не хотим вспоминать, но память и время даны нам не случайно. Неужели это только забавные феномены эфемерного бытия? Если так, то вся наша жизнь — лишь пляска смерти, брачный танец фосфорических букашек, который так испугал О.М. в Сухуме («Путешествие в Армению») ¹⁸⁸. Именно сейчас, когда я пересматриваю наш кризис, когда мы почему-то взяли и не «разбежались», я начинаю понимать, что в судьбе каждого человека заложен некий смысл и у каждого есть основная задача, которую он может выполнить или уклониться от нее, свернув с прямого на окольный путь. Анна Андреевна поняла это раньше, чем О.М., и тем более чем я: «Или это ангел мне указывал Путь, невидимый для вас?» ¹⁸⁹

[Впрочем, про Мандельштама я, кажется, сказала небдуманно. Уже желторотым мальчишкой он написал странно-серьезные, хотя еще и слабые стихи: «Как облаком сердце одето И камнем прикинулась плоть, Пока назначенье поэта Ему не откроет Господь... Но тайные ловит приметы Поэт, в темноту погружен. Он ждет сокровенного знака, На песнь, как на подвиг, готов: И дышит таинственность брака В простом сочетании слов...» ¹⁹⁰ Эти стихи написал он лет семнадцати-восемнадцати, но уже тогда он понял, что такое предназначенье, и заметил, что плоть притворяется камнем, пока не прозвучит слово, то есть понял таинственную связь пола с поэзией. Был он из ранних и, словно зная, что у него не будет старости для размышлений над пройденным путем, осмыслял жизнь, когда она еще находилась в становлении...] Но собственную судьбу еще труднее прочесть, чем историю — тоже производное от времени и памяти: «И с отвращением читая

жизнь свою, Я трепещу и проклинаю»¹⁹¹, потому что она прошла «в безумстве гибельной свободы...».

Прошлые поколения задавали себе вопрос, в чем смысл жизни, в юности, когда они едва начинали понимать, кто они и куда их влечет, и поэтому ответ на этот вопрос почти всегда бывал ложным — вроде идеи послужить народу, а кстати, и воспитать его и тем самым сделать счастливым. Вся беда в том, что начинаешь прозревать этот внутренний смысл только задним числом — у самой могилы, и есть только один миг, когда его можно ухватить: когда все уже прожито, но еще не наступила все примиряющая старость, которая находит оправдания решительно для всего, скрадывает острые углы, обволакивает туманом все, что было ярко и страшно, и сквозь туманное покрывало различает только приукрашенные контуры событий...

Старость уже не смотрит жизни в глаза и уклоняется от слез и раскаяния. Но перед старостью, на ее пороге, когда человек еще не утратил силы зрения и суждения, надо оглянуться на собственный путь, и тогда, может, и удастся увидеть его смысл — тот, что в юные и даже зрелые годы светил как крохотный огонек среди тьмы и почти ускользал от нас в суете каждодневных событий.

И еще одна беда: жизнь прожита и все необратимо, использовать собственный опыт уже нельзя. От скользких падений и ложных шагов избавило бы нас понимание своей жизненной задачи с самого начала, с первых шагов. И другим передать свой опыт нельзя, потому что у каждого свое собственное предназначение и чужой опыт ему ни к чему: «И каждый совершит душою, Как ласточка перед грозой, Не-описуемый полет...»¹⁹² [Это тоже цитата из молодого Мандельштама той поры, когда ему только открывалось «предназначение поэта»¹⁹³...]

Нам, очевидно, дано одно: право и обязанность, читая свой горький опыт, не смывать печальных строк¹⁹⁴ и хоть для себя, если не для людей, сделать из него выводы.

Но если путь наш предначертан, если огонек светит уже в первые наши дни, в чем же свобода человека, в чем его воля в этом брачном полете фосфорических букашек? Вероятно, только в том, пойдет ли человек по своему пути

или увильнет от него, слушаясь начальства, повинуюсь модным теориям или закону самосохранения, в поисках лучшей доли или спасая свою шкуру, которую всегда очень жаль... [В этом, вероятно, и есть свобода воли. И она существует. Она проявляется в те минуты, когда мы стоим на развилках — зигзаги разрешены и неизбежны. Без них не обходится никто, лишь бы они не увели нас слишком далеко...] Они-то и есть то, что мы делаем «в безумстве гибельной свободы»¹⁹⁵.

Личная жизнь и личный опыт — необратимы, они никоим образом не научат, как искать свой путь. Но еще есть история, и существует и коллективный опыт. История — тоже производное от времени и памяти — основных чудес человеческой жизни. Но что прочтешь в безумной истории общества, если не прочтешь своего собственного неразумного пути?

[Наш личный опыт впаян в историю, и нам не хочется отказываться от того, что мы делали вчера. Именно поэтому в истории все кажется нам еще более детерминированным, чем в личной жизни. Об этом свидетельствует потрясающая формула: «Мы ошибались вместе с нашей партией». Может, мы даже не ошибались и, приходя домой или садясь в тюрьму, с невыносимой ясностью видели свои и чужие заблуждения, но легче всего свалить их на историю с ее непреклонным, ни от чьей частной воли не зависящим течением.]

И все же мы тычемся в историю, растерянно восстанавливая прошлое и выявляя пороки и доблести правителей, гениев и человеческих масс. Чудо истории в том, что ее опыт может послужить предостережением для следующих поколений, чтобы они не повторили ошибок отцов и дедов. Надо только научиться ее читать, а это суровое мистериальное действие прочесть не так просто. Между тем в нем, несомненно, заложено знамение для людей, чтобы они научились отличать ложные идеи от истинных, прямой путь от безумного и окольного.

Не пора ли спросить, почему гуманистический девятнадцатый век, золотой век человечества с его культом свободы и человека, перешел в двадцатый с его массовыми смертями, войнами, лагерями, застенками, рвами, набитыми трупами, коллекциями золотых зубов и бирками на ногах погибших заключенных в наших образцово-показательных «исправительных»

колониях и прочим ужасом, всем известным, но еще не осознанным. Вчерашние поборники свободы и защитники человека оказались образцовыми палачами, проповедники разума — распространителями идей, которые гипнотизировали миллионные массы и разрушали культуру... Что же такое эта пресловутая свобода и справедливость, с которой они к нам пришли, и не они ли нас до этого довели?

Каждый может прочесть опыт собственной жизни, но редко кто хочет это сделать. Еще меньше людей, которые хотят обдумать опыт того отрезка истории, в котором они прожили свою жизнь. Людям моего поколения, наверное, знакомо такое чувство: кто мы? что от нас зависит? Ведь мы просто щепки, и нас несет бурный, почти бешеный поток истории. Среди этих щепок есть и удачливые, которые умеют лавировать — то ли найти причал, то ли выбраться в главное течение, избежав водоворотов... А что поток уносит нас прочь от родных берегов, то в этом мы не повинны — разве мы плывем по собственной воле?

Все это так, и все это не так. Ведь «зане свободен раб, преодолевший страх»¹⁹⁶, такому рабу, может, и сам поток не так уж страшен. Такой раб понимает, что свобода только тогда истинна, когда она основана на нравственных ценностях. Эту свободу, вероятно, следует отделить от другой свободы, которая названа «гибельной».

Мы с Анной Андреевной когда-то нашли для этого, то есть для зигзагов или для гибельной свободы, нужное слово, и произошло это совершенно случайно. Люба Эренбург передала ей через меня томик Элюара, надеясь, что Анна Андреевна соблазнится и что-нибудь переведет, — вдова Элюара обижалась, что его у нас не переводят. Анна Андреевна не соблазнилась. «Это уже не свобода, — сказала она про стихи Элюара, — это своеволие...»

Любопытно, что поэты с большой долей своеволия легче всего приходят к традиционному стиху и традиционной, до них отработанной мысли. В просторечье это часто называется «простотой». Ведь «простота» — это не понятие, и ей ничего, в сущности, не соответствует в рядах со знаком плюс. Она влечет за собой только элементы отрицательного ряда:

обеднение структуры — внутренней и внешней, что по существу одно и то же, отказ от многоплановости и от основных свойств языка и мысли: их метафоричности и символики. «Простота» — это забота о потребителе, то есть читателе, редакторе, цензоре и особенно о начальниках, которые так не любят утруждать себя излишними глубинами, если они не связаны с их прямыми начальственными функциями. «Простота» — это, скорее всего, синоним понятности, то есть набора готовых элементов, уже угнездившихся в человеческом сознании*¹⁹⁷. Улягутся какие-то вещи в человеческом мозгу и живут там, не раскрываясь, не углубляя и не обновляя своего смысла, а в жизни они часто соответствуют далеко не тем явлениям, которым они соответствовали сначала. [Слово из знака превращается в сигнал, который вызывает скорее ответное действие, чем представление. Не на этом ли основана гипнотизирующая сила идей? Примеров этому сколько угодно.]

И в литературе омертвелое отношение к писателю, которого следует почитать, тоже часто прикрывается словечком «простота».] «Пишите просто, как Пушкин» — идиотское изобретенье лентяев, которые и самого Пушкина не понимают, и дико бы взвыли, если бы пришел новый Пушкин. Вот им и кажется через сто лет, что Пушкин стал им понятен. [Если поскрести такого пушкинолюба, выяснится, что он говорит не о Пушкине, а о чем-то маршакообразном¹⁹⁸. Такому всегда дороги маршаки, когда они, задыхаясь от восторга, говорят о поэзии, редактируют и поучают молодежь. Маршаколюбие — опасная болезнь, от нее нельзя отмахиваться, а корень ее в интеллектуальной лени той «образованной» толпы, которая слишком легко клюет на удочку удешевленных, синтетических продуктов искусства.]

Прямизна мысли, ахматовской например, тоже иногда кажется «простотой», но это совсем не то и только случайно совпадает с ней в одном свойстве: доходчивости до читателя — в искаленном, конечно, и упрощенном виде. И чаще, кстати говоря, эта прямизна отпугивает, потому что в ахматовской мысли всегда присутствует анализ, основное структурное начало ее мышления. Этого я никак бы не могла сказать про Мандельштама, тоже человека высоко логического, но отличающегося целостным миропониманием и иерархической сис-

темой идей. [А кому же из всеядных лентяев приятен анализ, если он встряхивает и заставляет заново осмысливать явление? Лентяи предпочитают поносить Ахматову зауряд-бриковскими средствами.]

Найденное слово (своеволие) помогло нам осознать смысл свободы. Общество только тогда устойчиво и не катастрофично, когда оно основано на вечном нравственном порядке — или, по крайней мере, стремится к этому, и этот нравственный порядок не может быть уничтожен никакими гражданскими законами и обычаями. [Я говорю, разумеется, об обществе, а не о государстве, потому что это разные установления, может, повсюду, а в России — тем более.] Но коллективный разум общества слишком легко поддается гипнозу слов и идей. Целые общества бывают одержимы гипнозом при служении религиозным, политическим и социальным идеям, а государство нередко умело этим пользуется в собственных целях. [И есть великая загадка в том, как совмещаются в человеке его полная непроницаемость, закрытость, которую мы ощущаем в личном общении с самыми близкими людьми, и таинственная податливость массовому безумию, гипнозу, любовь к стереотипам, способность повторять залапанные, но зато хорошо отполированные идейки...]

Свобода — это возможность выбора, вернее, отбора идей. Она основана на нравственном начале, которое охраняет нас от гипнотизирующей силы преходящих и ложных идей. Это свобода не от высшего начала жизни, а от гипнотизирующей силы социальной среды. Она отличается от своеволия тем, что у нее есть основа в животворящих силах человечества, в Богочеловечестве, говоря словами Достоевского, а не в человекобожестве. О.М., отстаивая эту свободу, сказал: «Здесь я стою, я не могу иначе»¹⁹⁹.

Безрелигиозный гуманизм девятнадцатого века во главу угла поставил человека, его волю, его счастье, его желания, развитие в нем индивидуалистических черт. Именно это должно было поощрять своеволие с его вечными признаками: «я хочу» и «я могу». У своеволия есть два крайних проявления: воля к власти — я знаю, как создать счастье, как надо поступать, что нужно делать, — и самоубийство: «Зачем мне жить, если что-то не удовлетворяет меня в жизни, если мое “хочу” расходится

с тем, что я “могу”?» Своеволие отказывается от наследства идей и ищет новых, которые само изобретает для самых разных целей: могущества, счастья, богатства или других произвольно поставленных целей. Служение человеку, не ограниченное никаким вечным законом, должно было дать расцвет своеволия и в личной, и в общественной жизни.

Своеволие окрасило всю нашу жизнь. В десятых и в двадцатых годах оно стало знаменем века. «Все позволено»²⁰⁰ — ради какой-либо цели или просто потому, что я так хочу или считаю нужным, — вот основной закон этой эпохи. И такое «я», которое может желать и диктовать, разумеется, разрастается до неслыханных размеров.

Человекобожество — результат своеволия — это губительная вера в могущество человека, и он неизбежно перерастает в сверхчеловека. [Эту штуку ведь изобрел не философ, которого следовало бы пожурить за плохую идеологию, — она сама пришла к нему с улицы — это воздух эпохи, ее вождение, ее основная идея.] А сверхчеловека всегда окружают сильные люди, которые способны перестроить жизнь по своему произволу или согласно рецептам самоновейшей науки, сметая с пути все препятствия, игнорируя все человеческие ценности и многовековые установления. [Сверхчеловека лепили все — кто во что горазд и на всякую потребу. Что это так, что не философ выдумал его, мы сами видели и сами испытали.]

В России этими дерзаниями своевольного человека были охвачены оба лагеря интеллигенции — элита и революционное подполье (деление Бердяева), но никто не понимал, насколько более опасные формы своеволие принимает в революционном стане. Бердяев наивно думает, что интеллигенция боролась за народ, а победивший народ уничтожил боровшуюся за него жертвенную интеллигенцию. Точно так он считает, что большевизм — это анархия. Он вывез из России вчерашний день, как говорила Анна Андреевна... [Впрочем, в двадцать втором году, когда он уехал, он мог увидеть побольше и не повторять этой стереотипной фразы об анархии.]

На самом деле большевизм по идее всегда был сильной властью, готовой применять всяческое принуждение для достижения своих целей, а народ никогда никого не побеждал

и не уничтожал. Интеллигентская верхушка так называемого демократического лагеря использовала народ для победы, а захватив власть, живо его обуздала и расправилась, с кем считала нужным. [Эта первая расправа была уже произведена в двадцать втором году, и отзвучал знаменитый вопль: «За что боролись!»²⁰¹ Отныне все расправы производились только по мандату победителей и неуклонно шла централизация управления.

Следствие своеволия — воля к власти; на первых порах волей к власти были охвачены огромные массы клеветников, шедших за победителями и подхватывавших каждое их слово.] Эта болезнь свирепствовала во всех слоях населения, во всех классах общества... Каждый дом и каждая квартира, каждое учреждение, каждая деревня и каждый коллектив выдвинули своего сверхчеловека, который — по мандату, конечно, — упивался властью, отдавал приказы, распоряжался и обязательно чем-то грозил.

[Мне поначалу он видится в образе управдома, когда он врывается в квартиру, бунтует и требует выселения, переселения и уплотнения. У теперешних шестидесятилетних бывают приступы этого старого крика с угрозами. Если такому вожжа попадет под хвост, он сразу заорет на манер первой половины двадцатых годов: «А вам известно, кто я такой?» — и пригрозит немедленно выслать своего противника из города, городишки или села. Никто ему уже не верит, но он болеет темными рецидивами болезни, которой были охвачены огромные толпы.

Вот этот-то крик Бердяев, вероятно, принял за анархию, забыв, что управдом только распаялся криком, а в руках у него был указ сверху и он действовал согласно ему. Болезнь власти обосновала вождизм и неограниченную власть одного человека или группы людей. Задача центральной власти сводилась к тому, чтобы превратить своих клеветников из бушующих и своевольных крикунов, упивающихся своей властью, в послушных и приглушенных исполнителей, преклоняющихся перед верховной властью. Это совершилось почти незаметно.]

Летом 35 года в дебрях Воронежской области мы встретились с остаточным для тридцатых годов явлением — одним из последних людей, больных волей к власти. Это был председатель

одного из первых колхозов, которого сняли с работы и лишили власти тоже одним из первых. Звали его Дорохов. О.М. ездил по области с поручением от воронежской газеты и трое суток не мог отлипнуть от Дорохова, разговаривал с ним, как замороженный, пил с ним и не сводил с него восхищенного взгляда. Именно тогда он шепнул мне про бациллу власти — страшной болезни двадцатого века. [В те дни Дорохов снова по настоянию односельчан стал председателем, но продержался он на этом посту, как нам потом рассказали, всего несколько недель.

История этого человека довольно обычная.] Вернувшись с фронтов Первой мировой и Гражданской войны, Дорохов начал организовывать счастливую жизнь и прошел через все полагающиеся ступени: комбед, волостной совет, председатель коммуны, а потом укрупненного колхоза. У него была живописная речь, и к деревенскому просторечью он примешивал перлы, подхваченные им в армии у тех, кто «рванулся к культуре». [Он посоветовал мне не выходить после заката, и я запомнила, от чего в эти часы надо прятаться в избах: «Малерийные испарения климатуры...»

Таковыми выражениями пестрела речь растерявшихся людей, у которых кружилась голова от открывавшихся им перспектив. А с другой стороны, в речи Дорохова была плотная и добропорядочная основа²⁰².] Он говорил О.М.: «Это вы как в воду поглядели» — или, жалуясь на комсомольцев: «Только бы им яблоки жрать — чисто скажу, яблочный комсомол...» [Это он о радостях и тревогах по поводу заложенного им в колхозе в первые же дни его правления отличного яблоневого сада с высокими сортами антоновки и ранета.]

Дорохов управлял колхозом, как собственной трепещущей семьей, и издавал один за другим приказы, написанные твердой рукой на городском языке первых лет революции. За неисполнение карал²⁰³. В особенности его возмутило небрежное отношение к глубоко продуманному повелению поставить в течение трех дней на окнах в каждом доме горшки с цветами. [Бабы, между прочим, не прочь были бы исполнить этот приказ — если б он был не приказом, — но горшков-то не найти... В чем сажать и как за три вырастить?]

А Дорохов кипел: «Народ темный, — объяснял он, — не понимает... Надо поскорее научить его, как жить. Цветы ведь

против “ревматизму” — лишнюю влагу выпивают с воздуха...» [Приказ не исполнили перед самым нашим приездом. Истек срок, и Дорохов со своими подручными обошел дома и не увидел на окнах «культуры». Наш приезд задержал скорый суд и расправу.]

Его несколько раз снимали за самоуправство — не в самой деревне, до этого никому никакого дела не было, — а в поставках или в посевах, то есть в том, что регулировалось свыше. Тогда он брал мешок и шел побираться. Подавали ему все охотно и много — как не подать человеку, который так прекрасно повествовал о своем величии и падении! И никого не смущало, что он, проведя в самый короткий срок самое глубокое раскулачивание, завел собственную каталажку, куда сажал ослушников, невзирая на их правильное бедняцкое происхождение.

[Зато он не обращался к властям предрежущим, ссылая, высылая и истребляя как класс, а расправлялся собственными силами с классовым врагом. Кое-кто из комсомольцев даже обвинял его в покровительстве какому-то подкулачнику, назначенному сторожем в яблоневый сад и оттеснившему от него колхозные массы...]

Дорохов для 35 года был человеком вчерашнего дня, но все-таки человеком. Централизация, сопутствующая вождизму, уже не нуждалась в местных вождях и воспитателях. Уже началось искоренение этого типа и замена его другим, на который мне тоже показал О.М. Этот был директором огромного совхоза²⁰⁴, и мы провели с ним целый день, разъезжая на его полугрузовичке по полям. В каждом полевом стане он требовал, чтобы ему дали попробовать квасу и щей... «Приказ, — объяснял он О.М. — Забота о людях...» О.М. шепнул мне, что будь он на месте этого директора, он бы забеспокоился и перестал надуваться квасом: уже начиналось дикое засорение полей, и они буквально цвели желтыми пятнами сорняков. Но приказ еще не был дан, и директор сорняков не заметил.

Под конец путешествия разыгралась настоящая драма. Мы случайно наткнулись на какой-то поляне на еле заметную землянку. А может, это было и не случайно? Директор отчаянно заволновался и проявил неожиданную прыть — вместе с шофером и тремя рабочими, ездившими с нами по полям,

он вскочил на крышу землянки и начал плясать. Нашлись лопаты, и в восемь рук пошли разносить землянку. Зазвенело стекло крохотного оконца, а из землянки стали гуськом выходить люди с вещами. Я запомнила швейную машинку. Это были старики и женщины с детьми. О.М. поразился, как могло столько народу вместиться в такую землянку. «Ты смотри, какие они все чистые», — сказал мне О.М.

Мы стояли в стороне и с ужасом наблюдали за этой гнусной расправой — остановить директора нам не удалось, а настаивать мы не рискнули. Одной из последних из землянки вышла молодая женщина в таком же ослепительно чистом сарафане, как и другие, а на руках у нее сидел крохотный морщинистый заморыш, похожий на живой трупик, безволосый, не с руками, а со страшными повисшими зеленоватыми отростками. Женщины, которым уже нечего было терять, крыли директора густым южнорусским матом, но он как исполнительный работник не успокоился, пока не разрушил это последнее прибежище раскулаченных²⁰⁵.

В машине он объяснил нам, что мужья этих женщин либо сосланы, либо разбрелись по городам искать работы, а они «отсиживаются на совхозной земле». [Была ли она тогда уже закреплена «навечно»? Не помню... Но именно то, что земля, принадлежащая совхозу, укрыла бабью свору из числа уничтоженных как класс кулаков, привело его в неистовый раж.] Он твердо знал, что положено, а что не положено. Любая комиссия, объяснил он, а их бывает без счету, могла натолкнуться на эту землянку, и тогда его — директора — обвинили бы в укрывательстве классового врага, а там отчитывайся, поди, затаскают... [Раскулачиванье, считал он, в некоторых местах не доведено до конца, баб бы тоже надо было пристроить, как мужчин. Некоторых, конечно, «пристроили», а за других — отвечай! Закон ведь есть закон, приказ — приказ, директор должен все принять к исполнению, а затем проверить, как выполнено. Самое главное — проверка исполнения, а не то все запугается. Директор — представитель власти и должен требовать и добиваться стопроцентного выполнения приказов...]

Это новый продукт, сказал мне О.М., — это уже не Дорохов... Директор уже не болел волей к власти и знал свое

исполнительское место. [Он был крохотным инструментиком в огромном бюрократическом оркестре и звуки издавал только в унисон.] Ему принадлежало будущее, а Дороховых всех видов вскоре уничтожили — это массовое уничтожение людей, болевших волей к власти, было трагедией конца тридцатых годов. Подъявшие меч погибли, как полагается, от меча и в своем падении увлекли несметные толпы людей, только шарахавшихся от меченосцев, но поневоле где-то получавших зарплату и тем вовлеченных в общий поток. Раскулачивание производилось еще меченосцами, но на их место поставили покорных исполнителей приказов, сменивших меч на лист бумаги, на котором пишется донесение по начальству и донос. Если в двадцатых годах идея еще детерминировала волю, то на втором этапе победившая идея, за которую не надо было бороться, уже не определяла ничего, кроме правил поведения.

Массовая воля к власти по мере роста централизации начала быстро иссякать, властолюбие же полностью изжило себя после смерти того, кто впитал в себя все тлетворные бактерии этой болезни. Сейчас действует только аппарат, созданный сверхчеловеком, но идеи сверхчеловека уже нет. Сверхчеловеческая тенденция, исчерпавшись, оставила после себя пустыню, населенную человеческими теньями, в которых былые страсти выжгли все признаки жизни. [Если болеет общество, то осложнения после болезни переживают не те поколения, которые показали первые симптомы, задохнулись и пошли к кризису, а другие — младшие. Люди расплачиваются за своих предков.]

Этой болезнью болели не мы одни, но нигде она не принимала таких острых форм. От болезни, протекающей в острой форме, можно выздороветь. Медленный и вялый процесс хуже распознается и бывает иногда губительнее бурного. Мы дали материал для прививок, его нужно использовать, чтобы предотвратить новые вспышки эпидемии или хронические болезни этого рода. Это и называется использовать опыт истории.

Я всегда думала, что «Поэма без Героя» говорит о свободе и своеволии, но сейчас у меня появилось основание сомневаться в этом. Прежде всего надо изложить факты.

Под первым посвящением «Поэмы» стоит дата 27 декабря 1941 — это годовщина смерти О.М.^{*206} Анна Андреевна жаловалась мне, что люди не замечают этой даты, и даже перенесла ее в заглавие посвящения — там будет виднее. У меня именно такой экземпляр.

В «Листках из дневника» Анна Андреевна поминает ресницы О.М.²⁰⁷ Их замечали все — они были невероятной длины. Когда-то в Киеве в начале моей близости с О.М. одна довольно милая опереточная дива долго разглядывала О.М., а потом сказала мне: «Он совсем не похож на поэта, только ресницы...» Муж моей дивы тоже был поэт — он писал эстрадные номера, и О.М. действительно ничем не напоминал этого поэта, но ресницам она позавидовала... Они бросались в глаза. И сам О.М. ощущал их как какой-то добавочный орган: «Колют ресницы...»²⁰⁸, «Как будто я повис на собственных ресницах...»²⁰⁹, то есть за что-то зацепился его взгляд из-под ресниц...

Мне кажется, он заинтересовался простейшими потому, что у них реснички — «мерцающих ресничек говорок»²¹⁰. Мог ли он поверить, что его тяжелые огромные завивающиеся ресницы не имеют своего говорка, не созданы для какого-то особого «ресничного» осязания? А про мои он сказал, удивляясь, очевидно, что они не такие, как у него: «оговорки слабых, чующих ресниц...»²¹¹.

Анна Андреевна считала, что если в стихах упомянуты ресницы, то это обязательно к О.М. Она очень интересовалась Ольгой Ваксель: все-таки Наденька не единственная... Где-то она нашла кучу стихов Ольги — совсем слабеньких, О.М. даже не подозревал, что она пишет стихи. «А это, конечно, Осе», — сказала мне Анна Андреевна, показав стихи с упоминанием о длинных ресницах. «Разве у одного Оси были ресницы? — сказала я. [Меня немножко раздражало, что она так раздувает эту двухмесячную историю с Ольгой Ваксель.] — Да и год не тот...» Под стихами стояла дата — 27-й или 29-й год, когда мы уже были далеко от Ленинграда и от всей нашей юной драмы²¹². Про год Анна Андреевна ответила, что это ничего не значит, можно и через много лет написать, а про ресницы твердо: таких ресниц ни у кого не было — если про ресницы, то это Ося... И тогда я спросила про посвящение, уже не в первый раз:

такой разговор был уже когда-то в Ташкенте, и Анна Андреевна сказала, что это, конечно, О.М.: «На чем еще черновике я могла бы писать?»²¹³

Наконец, снежинка. Я думала, что снежинка есть где-нибудь в стихах, и спрашивала об этом Анну Андреевну: «Что там было с этой снежинкой?..»²¹⁴ Она успокоила меня, что Ося сам знает... Может, это воронежская зима²¹⁵, а может, что другое. О.М. мне в этом помочь не мог: к этому времени его уже давно не было на свете, а Анна Андреевна берегла свои «заветные заметки»²¹⁶.

И еще: в самой «Поэме» на секунду звучит голос О.М.: «И в отдалении чистый голос: “Я к смерти готов”». Эти слова она приводит и в «Листках из дневника».

Каким же образом на «Первом посвящении» стоит «Вс. К.»? Неужели в годовщину смерти О.М., дату которой она так подчеркивала, она вспоминала о другой смерти? Зачем ей тогда понадобилась эта дата? [Или почему она от нее отеклась? Возможно, что Анна Андреевна с ее зеркальными подобиями и двойниками сама запуталась и не знала, о ком она говорит в этом или в том месте... И у нее произошло слияние двух несхожих музыкальных голосов?] Или она испугалась ассоциации с О.М. — узнают и откажутся печатать?

Ей всегда казалось — и при жизни О.М., и после его смерти, будто все на нас смотрят, если мы вместе: «опять вместе и в том же составе...». Быть вместе по тем временам — это почти государственное преступление. В Воронеже ее мучил дикий страх именно по этому поводу — а вдруг узнают... Тогда еще были основания для этого страха: только что она выла под кремлевскими стенами и тут же поехала навещать ссыльного. Но страх не прошел и после смерти вождя и начала новой эры. И когда Сурков попытался раздобыть ей комнату в двухкомнатной квартире вместе со мной, она сначала радостно согласилась²¹⁷, а потом пошла на попятную — как можно нам селиться вместе — что «они» скажут?!

Этот самый страх мог заставить ее закамуфлировать «Первое посвящение», но ручаться за это нельзя. Ей случалось переадресовывать стихи и посвящения — и это тоже может служить объяснением. Или в образе человека с ресницами, которого она оплакивала, слились двое? [Только О.М. уж очень

не сливаем ни с кем — особенно с бедным мальчиком-самоубийцей.

Замечателен интерес, который Анна Андреевна проявила к найденным стихам О.М. о самоубийце²¹⁸. У нее словно мелькнула надежда, что О.М. тоже собирался пойти этим путем, хотя она ни слова не сказала на мои возражения, что это не может относиться к О.М. «Это несомненно», — подтвердила она. Насколько я знаю, в 18 году в Москве никакого женского голоса не было, и главное — про себя О.М. никогда бы не сказал про высокий, строгий кабинет²¹⁹. Какой мог быть кабинет у этого тогда мальчишки и бродяги? Некоторое совпадение в словах с предыдущими стихами, связанными с Ахматовой, ничего не означает: материал и бродячие строки могли быть использованы в любом повороте.

Хотя обычно в стихах всегда есть личная тема, все же здесь говорится о каком-то другом лице, о чем-то поразившем О.М. самоубийстве. Быть может, это самоубийство было связано с какой-нибудь из женщин, с которой О.М. дружил: с Мариной, с Ларисой, не знаю с кем. К тому же к этому периоду О.М. резко отрицательно относился к такому «самоуправству» — я встретила с ним в начале 19 года, это был вполне сложившийся человек, очень жизнерадостный, который не мог бы сказать про себя: «Куда бежать от жизни гулкой?..»²²⁰ Скорее он сказал бы — как бы задержаться и подольше продержаться в этой жизни... Ну а что касается до портьер, да еще тяжелых, так этого и быть не могло. Иначе говоря, чье-то самоубийство явно задело О.М., а чье, я не знаю. Кстати, сведенья Георгия Иванова о попытке самоубийства О.М. в Варшаве — бесприемная брехня. Зачем она ему понадобилась, мне неизвестно. Показалось, вероятно, что так интереснее.

Так или иначе Анны Андреевны нет, и никто не может разрешить моего недоумения: чьи ресницы и не отдала ли Анна Андреевна поразившие ее слова: «Я к смерти готов» гусарскому корнету со стихами.]

Между тем если речь идет о двоих, то «Поэма» написана о свободе и своеволии, а если дата смерти О.М. случайно прилеплена к стихам о красивом гусарском корнете, весь смысл «Поэмы» мельчает и упрощается. В этом случае я бы сказала, что сама Анна Андреевна проявила своеволие, а не истинную

свободу, которую не могла не вынести из десятых годов — расцвета своей юности.

Когда мы поняли, что свободе противопоставлено своеволие, я ей рассказала свое понимание «Поэмы», и она просила меня записать его (это еще не значит, что ресницы в «посвящении» мандельштамовские, «хотя» она его, несомненно, вспомнила в ту первую ночь). По моей концепции, «Поэма» началась мыслями о том, как преждевременно оборвалась жизнь одного поэта, смерть которого была форсирована не календарным, а настоящим двадцатым веком, и эти мысли привели на память другую — своевольно оборванную жизнь. Появился «гусарский корнет со стихами и с бессмысленной смертью в груди»²²¹. Он уклонился от своей подлинной судьбы и совершил акт величайшего своеволия — самоубийство: «Сколько гибелей шло к поэту, Глупый мальчик, он выбрал эту — Первых он не стерпел обид. Он не знал, на каком пороге Он стоит и какой дороги Перед ним откроется вид...»²²²

Первая смерть — результат внутренней свободы, вторая — своеволия. Из прошлого в Ленинград сорок первого года — тридцать седьмой еще свеж в памяти*²²³, а впереди война — последствие тех же безумий, — в сорок первый год — промежуток между двумя грандиозными испытаниями и бойнями — врывается атмосфера десятых годов: карнавальный маскарад. Это пиршество элиты, к которой принадлежала «и» Анна Андреевна, которым заправляют краснобаи и лжепророки, снявшие с себя всякую ответственность за что бы то ни было: «И ни в чем не повинен: ни в этом, Ни в другом и не в третьем... Поэтам Вообще не пристали грехи...»²²⁴. Это пора, когда «все можно» на радость человеку, — эпоха цветущего своеволия.

Не случайно поэтому у Ахматовой прорвалась реминисценция из «Бесов» — ведь именно Достоевский, предчувствуя наши будущие беды, выступил на борьбу со своеволием, противопоставив его не свободе, а традициям, укладу, церкви, то есть закону. Ахматова не сразу осознала, что, говоря: «Или вправду там кто-то снова Между печкой и шкафом стоит»²²⁵, она воспроизводит сцену самоубийства Кириллова, величайшего и наиболее последовательного из своевольников, созданных Достоевским²²⁶.

В «Поэме» десятилетие дано как разгул безответственности, за которую сейчас — в сорок первом — расплачивается Анна Андреевна — «твоя старая совесть»²²⁷. В «Поэме» показан тот своеобразный вариант «воли к власти»²²⁸, который захватил литературных учителей тех поэтов, что начинали в десятых годах: «Я забыла ваши уроки, Краснобаи и лжепророки» и «Ты железные пишешь законы, Хаммураби, ликурги, солоны У тебя поучиться должны...»²²⁹. [Именно эта направленность «Поэмы» возмущала сверстников Ахматовой, дала им повод обвинять ее (в письмах обычно) в отступничестве.]

У Анны Андреевны двойственное отношение к десяти годам: с одной стороны, «До неистового цветенья Оставалось лишь раз вздохнуть»²³⁰, а с другой — трактовка этого периода в «Поэме» как страшной эпохи безответственности, карнавального беснования, масок и личин... Однако, может, эти трактовки не так уж непримиримы: праздничное веселие масок перед гибелью культуры и эпохой великих испытаний могло показаться подлинным цветением. [Было ли оно пуштоцветом?]

Ахматова, как и многие современники, знала, что в десятилетие из будущего доносился гул приближавшейся катастрофы: «И всегда в духоте морозной, Предвоенной, блудной и грозной, Жил какой-то будущий гул...»²³¹

[Для Ахматовой связь времен не нарушается никогда — для нее злосчастная эпоха — это не вывихнутый костяк времени, нарушение и разлом структуры, как это часто ощущается людьми и одним из величайших писателей мира, которого в те годы мы часто читали вместе с ней. Типическая черта тех, кто придерживается теории «вывиха»²³², это вера, что все войдет в норму и вот-вот выправится. В это верила вся эмиграция и в этой вере она прожила полвека. «Вывих» костяка — это все же случайность, кости срстаются, хотя рубцы и остаются. Ответственность за случайный вывих не так глубока, как при сохранении связи времени, то есть при последовательной подготовке грядущей беды или, по крайней мере, при слепом равнодушии, которые скажутся в будущем.]

А о связи времен Ахматова говорит совершенно ясно и в упор, как только она умела говорить: «Как в прошедшем грядущее зреет, Так в грядущем прошлое тлеет — Страшный

призрак мертвой листвы»²³³. [Мертвая листва — остаток десятих годов, своеобразное топливо для лесного пожара, разложение идей, подготовивших крушение основных понятий, охраняющих общество от гибели заживо, как погибли мы. Юность Ахматовой прошла в предчувствии не календарного, а настоящего двадцатого века, а к середине этого века она осознала общую, а потому и свою ответственность за происшедшее и происходящее.]

В десятые годы действовали два фактора — разложение идей безрелигиозного гуманизма и ужас перед будущим. Деревья не зацветают перед рубкой, а общества, наделенные мыслью и чувством, в истоме предчувствия дают пышное, но ложное цветение, и тогда демонстрируются те плоды, которые приносит своеволие. Культ своеволия разрушает культуру и подрубает ее корни.

[Но все, что происходило в элите, лишь пир и каблучки козлоногой. Справедлива ли Ахматова, направляя свой удар против элиты? И да и нет. Мне кажется, что едва ли не основной грех элиты в том, что она действительно чувствовала себя «элитой», избранным сосудом. Бердяев человек из элиты, и он дал ей это имя. Но среди элиты многие чувствовали беспокойство перед грядущим. Это об одном из них сказано: «Он говорил: небес тревожна желтизна. Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи! А старцы думали: не наша в том вина. Се черно-желтый цвет, се радость Иудеи...»²³⁴]

В демократическом лагере зарождается идея о сильной власти, о людях, призванных вести за собой народ, о праве тех, кто обещал облагодетельствовать человечество, на любое насилие — а ведь кровь порождает только кровь — и, наконец, о могуществе человека, способного повернуть историю в любое удобное ему русло. [«Старцы», чувствуя себя избранными, элитой, предавались обычным играм, не замечая, что освещают семисвещником лишь «чад небытия».] В лагере элиты — веселье, безответственность и та же борьба за власть, но не над жизнью, а над интеллектами. Правда, там была и тревога, та самая тревога, что порождает литературу, но все, кто жил этой тревогой, предлагали свои рецепты спасения, ни один из которых не исходил из подлинного анализа событий, а лишь из теоретических выкладок.

[Своеволие властвовало и в их теории, и в их практике.] Это относится к тем, кто беспокоился: и к Розанову, и к Мережковскому, и к Гершензону, и к Бердяеву, и ко многим другим. [Другие были озабочены воспитанием народа в духе элиты или приветствовали «грядущих гуннов»²³⁵, потому что ничего им противопоставить не могли. Римляне любили свой Рим и, бросив колонии, со всего мира бросились к нему на помощь. Брюсов умиленно звал гуннов, чтобы полюбоваться неожиданным зрелищем. Высшая интеллигенция вошла в новую эру без идейного оружия, заранее сломленная и подготовленная к поражению. А в другом лагере — у будущих победителей — даже и не подумали о том, что кровь порождает только кровь. Они жестоко за это расплатились и все-таки не поняли, что случилось.]

Анна Андреевна и в «Поэме» осталась при любовной теме, она увидела разложение любви в десятых годах и признала свою ответственность за этот вид своеволия. Она — старая совесть козлоногой, один из ее двойников — оказалась косвенным участником одной из происшедших в те годы любовных трагедий. [За нее ли или за что другое, но расплата не замедлила прийти. Вся жизнь Ахматовой была расплатой за грехи других.] А я заметила странную закономерность: в годы тревоги, перед бедой, когда из будущего слышится только ее отдаленный гул, рвутся человеческие связи, начинается разгул. Это было и в десятых годах: пир перед чумой. Люди пируют, словно пытаются насладиться последним днем.

Нечто подобное происходило и в наши дни перед каждым приступом террора. Но все принимало скромные размеры из-за общей нищеты. Я слышу рассудительный голос Тани Луговской — она объясняет, что советский человек не может бросить ни службу, ни квартиру, он может бросить только жену (жена ведь, как верно отметил Платонов, единственная собственность, доступная нищему). Слишком уж часто у нас случалось, что тихий и скромный человек, семьянин, «моча в норме», почуяв, что к нему приближается беда, начинал метаться, заводил случайный, кратковременный, никому не нужный роман, так что органы, выкорчевывая «человеческие излишки», ссылали после его депортации в лагерь не одну, а двух женщин. Так сказывалось брожение среди обреченных людей, когда все можно,

потому что жизни осталось чуть-чуть, капелька, один последний глоток...

Безответственность, разложение исторических, общественных и других человеческих связей — это результат своеволия, как и воля к власти, быстро перерождающегося в свою противоположность. Режим, создаваемый «сильной властью», взявшей на себя функцию единственного мозга, единственного судьи, единственного законодателя и поставщика нравственных законов, усиливает среди людей и безответственность, и разложение. Царство своеволия оставляет после себя пустыню, населенную теньями. Возможно ли возрождение и с чего оно начнется?

[А может, крохотная доля своеволия все же нужна людям? Это мне сказала Тania В., правдолюбница, владеющая анализом и способная к суждению. Не расширяет ли своеволие границ свободы? Не спасает ли порой своеволие от окостенения, которому так легко поддается всякое устойчивое сообщество? Где граница и мера этих вещей?

А та своевольница, которая не назвала восточному следователю пять имен, вздохнув, сказала: «Я все взвесила — я не могла иначе...»²³⁶ И еще — она все глядела на руки черного следователя. Они были огромные. Я знаю еще кое-какие детали об этих руках — как они выглядели, но об этом говорить не надо: наглядность здесь омерзительна. Манделыштам когда-то признался мне, что основной его ужас перед эпохой принимает форму отвращения к рукам. Они иногда видны в своем реальном виде на фотографиях, особенно на групповых, и он боится на них смотреть — у него начинается тошнота. И я знаю этот страх рук. Не пули же бояться, а именно рук, и даже не тогда, когда они спускают курок, а когда они ведут вас в темноту, в ничто, а может, и на убой. Следователь клал девчонке руки на плечи и заглядывал ей в глаза. Ему хотелось встретиться с ней взглядом — заботливый братец уговаривает бедняжку не своевольничать: поступай, как все, и я уж о тебе позабочусь...

С его точки зрения, своеволием было то, что она отказывалась от крохотного усилия, чтобы спасти свою жизнь. Она нарушала этим основной закон общества, приспособившегося к террору: «Главное — жизнь» и «Спасайся кто может»...

А я думаю, что у этой девчонки была та доля своеволия, которая не посягает на нравственный закон, а только укрепляет его. Я говорю о том своеволии, которое расширяет нормы свободы и не дает человеку подчиниться нормам своего времени. В текущей жизни эти люди всегда кажутся отъявленными своевольцами... И что касается козлоногий, то не за ее глупые, милые грехи и пляски мы понесли страшную кару, а за нечто совсем другое.]

Я не случайно считаю отсутствие ревности своим женским изъяном. Это мужчины оболгали ради собственного удобства женскую ревность. В ревности зачаток трагедии. Не ревнивы вялые и равнодушные. «Слепая тень» не знает ревности — ей что? [Девчонки «два месяца без переживаний», решившиеся укрыться от настоящего чувства, не ревнивы. Им что? — возьмут следующего на два месяца без переживаний...] А женщины высокого класса всегда ревнивицы.

Галя К., очень нравившаяся Анне Андреевне, призналась, что если у нее окажется соперница, она ее задушит. Анна Андреевна торжествовала и ставила мне в пример Галю. Она отчаянно многие годы старалась возбудить во мне ревность сначала к живому, а потом к мертвому. Она презирала меня за мое ничтожество — никого не собирается душить! [Кто же вы после этого! И в дружбе она уважала ревность — я дружу и с другими, а вам как будто все равно...] Я была ей непонятна, а Галя подкрепляла ее собственные позиции.

Такой ревнивицы, как Анна Андреевна, свет не видел. Она ревновала всех ко всем, мучительно отдавая себя этому грозному чувству. Меньше всего, по-моему, она ревновала своих мужей, хотя им тоже доставалось: перехваченное письмо, не тот взгляд, брошенный не туда, — все это выводилось на чистую воду без промедления. Удержу она не знала... Но при разлуке или готовясь к ней Анна Андреевна их просто растапывала, а растоптанного уже ревновать не приходится: не человек, а куча дряни. Но всех прочих — живых и мертвых — она терзала ревностью во всю силу своей неистойвой души и, не стесняясь, публично, расправлялась со своими соперницами.

Основная сила ее удара падала на жен поэтов и отчасти писателей всех времен и народов. Не помню, за что

доставалось Анне Григорьевне Достоевской, скорее всего, за бездарность и деловитость²³⁷, а еще за то, что втерлась в его доверие, когда служила у него стенографисткой, — зауряднейшая история... Наталья Герцен получила полный ушат, когда были опубликованы ее письма к Гервегу²³⁸. «Теперь ясно, — говорила Анна Андреевна. — Она была влюблена, как кошка²³⁹, и врала этому бедному Герцену, как хотела... Благородные дамы!..» И Анна Андреевна поносила уровень писем обожаемой Натали — письма горничной, вы поймите...^{*240}

Самой актуальной соперницей Анны Андреевны все же была Наталья Гончарова: «Мы все влюблены в Пушкина», — признавалась она и уступать Пушкина «такой женщине» не собиралась. Это просто историческая ошибка, которую надо поскорее исправить. Логично и стройно Анна Андреевна доказывала, что не Дантес влюбился в Гончарову, а это она за ним бегала²⁴¹. Почему бы иначе она рассказывала обо всем Пушкину? Разве женщины когда-нибудь рассказывают мужьям про свои удачи? Вы ведь знаете, Наденька, что никогда... Рассказывают, если ничего не вышло... Наталья Гончарова, по мнению Анны Андреевны, была ниже уровня светской женщины того времени — плохая мать, провинциалка, безвкусно одетая москвичка; как Пушкин, наверное, стеснялся ее «обдуманых» нарядов²⁴² и просил графиню Финкельмонт ей помочь... Может, и не ее, но кого-нибудь, ясно, просил... «Вы себе представляете, что тогда могла выдумать москвичка, да еще из такой семьи?..» Даже насчет красоты Гончаровой у Анны Андреевны были серьезные сомнения: «Ну, знаете, мы ведь с вами ее не видели...»²⁴³ Зато жену Блока она видела: нос как лапоть, кожа...²⁴⁴ и какие приемы!.. Затем следовал рассказ Георгия Чулкова, совершенно конфиденциальный и очень похожий на то, что Любовь Дмитриевна сама рассказала о себе. Дамы символистов все поголовно устраивали культ собственного тела — бедные ободранные кошки, потрясенные своей красотой, — культ дамы в эпоху своеволия.

Софью Андреевну Толстую Анна Андреевна почему-то щадила, и скорее всего потому, что недолюбливала ее мужа, который бесстыдно оболгал Анну Каренину — милую женщину и к тому же тезку... Пока она жила с Карениным, а ведь ее просто продали ему, все шло хорошо, а сошлась с любимым

человеком — тут бы торжествовать, а Толстой выдумывает про нее чорт знает что! И Анна Андреевна показывала отрывок, не вошедший в основной текст, где Каренина вульгарно кокетничает с каким-то офицером. Ясно, что Толстой из моралистических побуждений — нет, из грубого мужского эгоизма — просто оклеветал ее...²⁴⁵ Я иногда напоминала Анне Андреевне ее собственную теорию любви, которая в несколько лет должна иссякнуть, — вот Каренина и в ужасе... Но на чужую логику Анна Андреевна не клевала.

Некоторое исключение Анна Андреевна делала для первой жены Тютчева и для Баратынской, но мне кажется, что о них она просто ничего не знала. А жена Анненского дама как дама и вообще ничего, только старовата для него, но как она смела отправлять Иннокентия Федоровича за границу, как только он влюблялся?..

— Ануш, почему вы щадите меня? — спрашивала я, и она вздыхала. Вопрос этот был, конечно, лукавым. Со мной Анна Андреевна сдерживалась изо всех сил, но и в закрытом котле страсти не переставали кипеть. «Почему у Оси так мало любовных стихов?» — грозно спрашивала она меня. «Мы не трубадуры», — отвечала я цитатой²⁴⁶. «Все равно нехорошо», — огорчалась Анна Андреевна. Втайне, но эти тайны ясны каждому, Анна Андреевна в этом обвиняла меня, хотя за границу я его явно отправить не могла и, скорее всего, поехала бы туда сама, если бы можно... И ее злила моя идиотская уверенность, что, прокрутившись без меня от двух недель до месяца, он все равно ко мне прискочит... [Да и это ведь не актуально — куда ведь он не удирает...] Но Анна Андреевна убеждала меня, чтобы я не заносилась: они никогда не возвращаются к прежним женщинам... Где вы такое видели? Женя Пастернак тоже думала, что Борис вернется к ней, а он оказался у «этой Ивинской»... С мужчинами такого никогда не бывает... Мой последний аргумент в этих спорах обычно был: «Какой Оська мужчина — он просто дурак...», — и тут мне попадало по первому классу.

[«А Борис! — восклицала Анна Андреевна. — Все вы ничего не понимаете...» Для нее поэты были особым племенем, с которым сама она романов заводить не собиралась, но от их женщин требовала какого-то особенного отношения. И даже

почти к ним ревновала — ведь эти женщины только мешали стихам, зачем они нужны?]) Она изливала такой поток доказательств, что три дня я вертела перед О.М. хвостом, стараясь, чтобы он меня не бросил и не забыл.

При жизни О.М. она пыталась исправить положение, и один раз ей даже удалось выбить из него изменнический стишок²⁴⁷, но вела она себя при этом довольно осторожно. Я бы и не узнала про ее участие в этом деле, если бы О.М., каюсь, не стал вдруг умолять меня не рвать отношений с А.А... Эту милость я ему, разумеется, предоставила... Мне и в голову не приходило ссориться с ней. Ни за что на свете я бы этого не сделала.

После смерти О.М., и особенно в Ташкенте, она полностью мной завладела, и это ее успокоило: в те годы только мы вдвоем с ней могли говорить об О.М. Потом наступил новый период ужаса, когда мы позабыли обо всем на свете, кроме «черного ворона». Когда настала «оттепель»²⁴⁸, Анна Андреевна развеселилась и дала себе полную волю.

Первая ее задача — доказать мне, что я была не единственной женщиной в жизни О.М., но я это и без нее — увы! — знала. «Надо, пока не поздно, — говорила она, — собрать все фотографии женщин, которым он писал стихи». К ее возмущению, я отказалась этим заниматься: «Это пусть делает, кто хочет. Я здесь ни при чем...» И Анна Андреевна решила сама об этом позаботиться, но, кажется, не слишком энергично занялась — взяла только то, что было под рукой. Надо отдать ей справедливость, она предложила и мне прибавить к коллекции свою карточку: «Только выберите там, где вы лучше...» Я и от этого отказалась, и она немало на это сердилась.

В любви О.М. ко мне она все-таки сомневалась: так с мужчинами не бывает, тут что-то кроется... В конце пятидесятых годов ко мне вернулись письма О.М., сохраненные Наташей Штемпель. Я сама, перечитав, удивилась им и отнесла показать их Анне Андреевне. Она только ахнула: ну теперь все понятно! «Но почему он вам не писал стихов?» — «Писал», — сказала я и перечислила стихи, обращенные ко мне²⁴⁹. Анна Андреевна ничего возразить не могла и весь свой гнев перенесла на Наташу Штемпель. Бедная Наташа, которой тогда случилось быть в Москве, пришла со мной к Анне Андреевне и опешила

от ледяного приема: «Что случилось? Ведь в прошлый раз она была вполне приветлива...»²⁵⁰ Я не решилась объяснить Наташе, что в прошлый раз Анна Андреевна еще не знала написанных ей стихов, и скрыла от нее, что Анна Андреевна не может их ей простить. Анна Андреевна три дня бушевала: «Это Вашей Наташе такие стихи? Может, лучшее стихотворение!.. Это она будет приветствовать воскресших!?!»²⁵¹

Все-таки в «Листках из дневника» Анна Андреевна Наташу упомянула²⁵². Я спросила ее, почему она не назвала стихов, обращенных ко мне, но Анна Андреевна жестко объяснила мне, что «этим» пусть занимается, кто хочет. [Она тут ни при чем...]

Меня втайне всегда волнует один вопрос, и я однажды поделилась своей тревогой с Анной Андреевной. Это про «встречу» — будем ли мы там вместе с О.М.?

Но она тут же поставила меня на место: «там» никаких мужей и жен не будет — об этом сказано совершенно ясно... [«Там» будет другое, «там» будет другая близость...²⁵³] Вот этого я и боялась — она постарается «там» отнять у меня О.М., потому что «там» не действует мое единственное земное преимущество, а здесь она мне временно его передоверила...

Она хотела безраздельно владеть всеми людьми прошлого, настоящего и будущего, но только теми, кто сочинял стихи или, по крайней мере, знал в них толк. Ко второй категории я, по ее мнению, подходила, и поэтому мною она тоже хотела владеть безраздельно, уступая меня только мертвым, но не живым.

И в этом моя неслыханная удача. Если б не она, я бы никогда не вынесла этих страшных и темных лет. Однажды она просто спасла мне жизнь, когда, с дикой энергией впившись в совершенно чужих людей, заставила раздобыть мне вызов в Ташкент из глухой деревни, где я погибала. И всю жизнь она поддерживала во мне веру в О.М. и в правильность той задачи, которую я поставила перед собой: изо всей силы, изворачиваясь как угодно, зацепиться за жизнь, чтобы спасти его стихи.

В последние годы мы как-то сидели с ней в церковном садике наискось от дома Ардовых. Я выводила ее туда, чтобы она подышала хоть этим бескислородным московским воздухом, а мы могли поговорить без помехи: у Ардовых разговаривать она

боялась. «Вы ведь всегда верили в меня?.. Не сомневались?» — спросила она. Тогда вышла первая из ее книг²⁵⁴, и она очень расстроилась — как ее обстригли и обкорнали. А к этому еще прибавилась очередная выходка Ардова: с ним делалось что-то омерзительное, когда при нем произносили слово «акмеизм». Мы не знали, чем это объяснить — преданностью лефовским идеалам или чем-нибудь более современным, например желанием начальства уничтожить это слово...

Я ответила, что всегда в нее верила и никогда не отрекалась от ее стихов. Это истинная правда, и она это всегда знала, но немного огорчалась, что я предпочитаю те ее стихи, где она говорит в лоб и поражает жесткими и прямыми формулами, вроде «В инфаркте шестой прокурор...»²⁵⁵. Должно быть, и ей, и О.М. нужна была моя вера в их путь и в их труд, потому что и О.М. успел мне сказать то же, что она. [А не это ли делало нашу связь прочной? Отчасти, я думаю, это...]

Сейчас может показаться странным, что два больших поэта нуждались в поддержке женщины, которую они сами научили с голоса воспринимать стихи. Оказывается, жизнь устроена так, что без этого обойтись нельзя. И не похвалы ведь они от меня ждали, а только кивка — да-да — или чтобы я замотала головой и сказала: «Кажется, нет...» В извечном и страшном человеческом одиночестве, которое для поэта увеличивается в тысячи раз, даже если он окружен людьми, необходим хоть один слушатель, чей внутренний слух настроен на постижение его мысли и слова.

«Меня, как реку, Жестокая эпоха повернула, И я своих не знаю берегов...»²⁵⁶ Мы часто говорили с ней о том, что было бы с нами, если б в нашей жизни не было жестоких и не от нас зависящих катаклизмов. Труднее всего понять, как обернулась бы судьба О.М. Нам казалось, что его поэзия, скорее всего, пошла бы вглубь по какому-нибудь философскому руслу.

Марина предсказала ему гибель от женщины²⁵⁷, хотя одна специалистка по ее поэзии уверяет, что в третьей строфе, позабыв о женщине, Марина уже развеивает его прах по ветру, провидя подлинную его судьбу. [Я все же вижу здесь предсказание о женщине и умиляюсь наивному времени, когда

Гумилев пугал О.М.: «Осип, я завидую тебе — ты умрешь на чердаке», — а Марина оплакивала бедняжку, который расквасит себе голову — или нос? — от страсти.] На этом, конечно, можно свернуть себе шею, но мне в это не верится: слишком уж быстро он остывал от любой вспышки, и малое количество любовных стихов у него не случайность.

То, что он говорил Анне Андреевне про стихи, что они пишутся *только* в результате потрясений, как радостных, так и трагических²⁵⁸, почти верно, но не совсем. [Когда разыгрывалась настоящая трагедия со вторым арестом и его подготовкой, стихи уже жить не могли. Эта ступень ужаса убивает всякую жизнедеятельность, а тем более стихи. Та, которую я называю девчонкой²⁵⁹, недавно, вспоминая конец сороковых и начало пятидесятых годов, сказала мне, что в те годы она словно и не жила, вся такая приглушенная, что не могла даже глаз поднять. К этому времени она уже вышла из лагеря и сидела «навечно» в ссылке в глухом углу Средней Азии.

У Анны Андреевны точная формулировка, охватывающая многие годы: «Петь я в этом ужасе не могу»²⁶⁰. Подобного рода трагические события и потрясения исключают всякую деятельность, кроме попыток чего-то дождаться, сохранив для этого жизнь. Мы привыкли с легкой руки девятнадцатого года произносить слово «трагедия», «трагический»... Это трагедии вроде развода с женой могут вызвать поток стихов, да и то, пожалуй, не у Манделштама. Так что я бы просила уточнения, что это за трагические потрясения, которые служат толчком для стихов, что здесь называется трагедией...]

И оба они — и О.М., и Анна Андреевна — забыли объяснить, что они называют радостными потрясениями. Ведь сюда входит встреча с другом, разговор, книга, перемена погоды, закат, туча в небе и уж во всяком случае путешествие, музыка или смена времен года, — все, что угодно, словом, весь тот «сор», из которого «растут стихи, не ведая стыда»²⁶¹.

[Это и есть радостные события. А вот как возникает чувство поэтической правоты, без которой никакие умеренно радостные и умеренно трагические события не вызовут ни одного стихотворения, об этом оба они умолчали.] Гибели «О.М.» не искал, как и счастья. С людьми давал скорее положительный, чем отрицательный контакт, хотя в отношениях с ними у него

была известная хищность: он жадно брал у них все, что они могли дать, а потом отступал — не ссорился, не рвал с ними, а просто вежливо и равнодушно относился к ним. Из всех поэтов, которых я знала, он был самым жизнерадостным и упивался каждым пустяком.

Очень возможно, что его жизнь могла бы сложиться при других обстоятельствах вполне сносно: ведь свое своеволие он умел обуздывать — во всяком случае, при серьезных обстоятельствах. [И сам в чем-то был по-юношески серьезен до конца жизни. Я не вижу катастрофического разворота этой жизни при другом состоянии общества. Анна Андреевна тоже считала, что тот Мандельштам, который появился после женитьбы, — а я-то ведь другого не знала, — скорее всего, сумел бы построить себе вполне человеческую жизнь. Мальчишкой он как будто был совсем диким и мог натворить бед, но какой мальчишка на это не способен?]

Про себя Анна Андреевна говорила, что, скорее всего, она бы не развелась с Гумилевым, но жила бы не с ним, а отдельно — во флигеле царскосельского дома — и вся бы ушла в литературную борьбу. [Это вполне представимо: при первых же признаках облегчения — после 56 года — Анна Андреевна позабыла обо всем, кроме старых споров с символистами, и с чисто женской прямолинейностью только о них и говорила.] Себя же я не могу себе представить ни в каких других обстоятельствах. [Пробовала Анна Андреевна гадать, что было бы со мной, но тут выяснилось, что у меня собственной судьбы нет.] О.М. основательно поработал, чтобы сделать из меня нищенку-подругу²⁶² и вытравить идею самоубийства. Именно это было величайшим соблазном моей жизни. [На него у «нищенки» права нет. Так и пришлось прожить всю жизнь — от начала до конца, сколько положено.] А случай это не такой редкий — и Марина, и особенно Маяковский смолоду шли на этот путь.

Жестокая эпоха с необычайной прямоотой потребовала у каждого из нас троих — О.М., Анны Андреевны и меня — выполнения своего долга. Уклониться от него было невозможно. [Приходилось стоять против течения, заботясь о том, как бы нас не сшибло с ног.] Никуда не денешься. И потому во всех стихах о двух возможных путях Анна Андреевна твердо

говорит, что та, другая, которая могла бы быть ею, но не осуществилась, с завистью смотрит на нее — теперешнюю — не смотря на все несчастья и страдания осуществившейся жизни. Таких стихов по крайней мере три: кроме того, что я процитировала, есть еще «деловитая парижанка» и двойник, глядящий из другой жизни²⁶³.

Анна Андреевна с горечью следила за тем, что писали о ней и об О.М. по ту сторону барьера — все эти новости: «бросили поэзию», сошли с ума, перешли на переводы, всем надоели, опустили, поэты десятых годов, потерявшие теперь значение, и все прочее, что подхватывали за границей из нашей печати и от услужливых «осведомленных» лиц, охотно снабжавших подобной информацией всех любопытствующих иностранцев. Доверчивость иностранных гостей, всерьез принимавших эту «информацию», приводила ее в ярость. Составители иностранных литературных справочников потрясающе ничего не понимали в нашей жизни, они даже не подозревали, что непечатанье стихов у нас отнюдь не означало прекращения поэтической работы. О запретах они слыхом не слыхали. Мертвых считали живыми, а живых мертвыми. И всегда в этих сообщениях звучала злорадная нотка — дополнительный подарок от первоначального информатора: вот они куда годятся, ваши поэты! [Анна Андреевна легко ухватывала эту нотку и вся вскипала.] «Почему они нас так ненавидят? — спрашивала Анна Андреевна, а потом прибавляла: — Я знаю — это зависть... Они не могут нам простить нашего страдания...» Это та же зависть, с которой двойник из благополучной жизни смотрит на обезумевшую от горя женщину, которая не выдумывает своих мук, но живет в жестокой реальности. Умом этой зависти понять нельзя, сердцем тоже нельзя. Но, к моему удивлению, эта зависть действительно существует. И мне ее не понять. Ведь я поглядела назад, и «предо мною раскрылась дорога, где ползла я в крови и пыли...»²⁶⁴.

[Разве этому можно завидовать? Оказывается, можно. Дело в том, что жизнь становится серьезной — не в шутку, не «просто» так — в те дни, когда говорит судьба. Тот голос судьбы, который слышался в наших жизнях, звучал чересчур уж явственно. Этого мы получили полную чашу... А как не позавидовать полной чаше?]

Анна Андреевна сказала, что, вероятно, писала бы прозу, а не только стихи, если бы жизнь сложилась иначе. Мне почему-то не очень верится. Во-первых, О.М. убедил меня, что всякий не может не сказать то, что ему надлежит. Во-вторых, в исследованиях Анны Андреевны о Пушкине звучит ее жесткий голос и чувствуется сила анализа, в отдельных же автобиографических отрывках она как-то все смягчает, осторожничает, стушевывает. Писем же, по которым можно было бы судить о ее свободной прозе, она не писала никогда, чтобы неосторожным словом не выдать в них себя. У нее был хороший предлог отказаться от всякой переписки: противно писать, когда знаешь, что твои письма вскроют и прочтут не те, кому они адресованы, но и в юности она на этот счет была сдержанна. Откуда-то с самых ранних лет у нее взялась мысль, что всякая ее оплошность будет учтена ее биографами. Она жила с оглядкой на собственную биографию, но неистовый характер не допускал ни скрытности, ни смягчений, ни идеализации, которой бы ей хотелось.

«Все в наших руках, — говорила она. — Я как литературовед знаю...» Иначе говоря, одной частью своей души она желала канонического портрета без всей той нелепицы и дури, которые неизбежны в каждой жизни, а тем более в жизни поэта.

[В каноническом портрете, который она себе придумала, ей хотелось предстать красивой и сдержанной дамой — вот какой у нас был поэт! Но дама, выдуманная ею, поэтом быть не могла, в лучшем случае из нее бы вышла хозяйка литературного салона. А что такое в понимании Анны Андреевны «дама» — остается неразрешимой тайной. «Дамой» были те женщины, которые нравились Анне Андреевне, то есть то, что она называла *«femme pour l'homme»*²⁶⁵. А это включало некоторую долю жеманства, каплю скрытности, каплю иронии по отношению к «слабому полу».

Этих женщин она наделяла неслыханным успехом: «У нее большое мужское хозяйство» — и придумывала им романы, которых на поверку не было и в помине. Толпы народу ходили в Эрмитаж только полюбоваться на Аньку, мальчишки, увидав ее, бросались драться, в Ирочку уже двадцать лет влюблен какой-то знатный путешественник — Южный полюс, Северный

полюс... Все эти истории пахивали стариной и роскошью, и я не могла понять, куда девается ахматовская беспощадность и остроумие, когда дело касается так называемых «дам».

«В Анне Андреевне есть что-то викторианское», — сказала умненькая и наблюдательная О.А.²⁶⁶ Анна Андреевна, вероятно, захотела произвести на юную посетительницу из другого мира впечатление «дамы из самого лучшего общества», как она обычно делала с «дамами», на первых, разумеется, порах — неистовый характер не давал ей слишком долго играть эту роль. Роль свою, она, конечно, переиграла, так как актрисой была никуда не годной, и «викторианское» прорывалось произвольно — от плохой игры.

В зрелые годы эта «дамская» линия Ахматовой почти отсутствовала, она появилась в старости; думаю, что этим Анна Андреевна грешила и в ранней юности. Именно мнимая «дама» предложила О.М. пореже у нее бывать: «Что подумают люди!» На ее дамскую дурь жаловались и товарищи юных лет. О.М. даже объяснял мне как-то, что все женщины без исключения кривляки, даже Анна Андреевна и... «даже ты»... Похоже, что это правда.

В стихах Анны Андреевны «дамского» и «викторианского» почти нет, абсолютно отсутствует оно в погибшем «Прологе» и в ее пушкиноведческих статьях, но в прозаических отрывках, как это ни странно, оно возникает, и довольно часто. Меньше его в «Листках из дневника», где говорится об О.М., особенно в ранних вариантах. Больше всего заметно оно в автобиографических заметках — я не знаю, сохранились ли они, — в прозаических врезках к главам «Поэмы» и в заметках о том, как писалась «Поэма». Когда могла возникнуть у Ахматовой проза? В ранней юности ей было не до нее, в старости она казалась бы смягченной, а в зрелые годы обстановка не благоприятствовала таким вещам, а живи мы в тишине и покое, Анна Андреевна в борьбе за свою концепцию собственной биографии не смогла бы дать настоящей, честной и открытой прозы и, вспомнив, что «все в наших руках», заворковала бы, как викторианский голубь. Ей и в голову бы не пришло, что лучше всего ей оставаться дикаркой, необузданной девчонкой, сумасшедшей бабой. Именно такие пишут стихи, и они действительно появляются из чорт знает чего...]

Анна Андреевна призналась мне, что в Петербурге, когда она приехала туда с Гумилевым, ее поразил не успех ее первых книг, а женский успех. К литературному успеху она сначала отнеслась равнодушно и верила Гумилеву, что их ожидает судьба Браунингов — при жизни известностью пользовалась жена, а после смерти она сошла на нет, а прославился муж. [«Слава женщины», вероятно, действительно ранила Гумилева...] А женский успех сразу же вскружил ей голову, и здесь кроется тайна, почему ей захотелось казаться «дамой, приятной во всех отношениях».

Первые свои уроки, как должна себя вести женщина, Анна Андреевна получила от Недоброво. «Какая у него была жена?» — спрашивала я; оказалось, что его жена очень выдержанная дама из лучшего общества. Сам Недоброво тоже был из «лучшего общества», и его влияние здорово сказалось на некоторых жизненных установках Анны Андреевны. А сам Недоброво, влияя и сглаживая неистовый нрав своей подруги, вероятно, все же ценил ее необузданность и дикость. «Аничка всем хороша, — говорил он, — только вот этот жест», — и Анна Андреевна показала мне этот жест: она ударила рукой по колену, а затем, изогнув кисть, молниеносно подняла руку ладонью вверх и сунула ее мне почти в нос. Жест приморской девчонки, хулиганки и озорницы. Под легким покровом дамы, иногда, естественно, любезной, а чаще немного смешноватой, жила вот эта самая безобразница, под ногами которой действительно горела земля.

Анна Андреевна, равнодушная к выступлениям, публике, овациям, вставанию и прочим никому не нужным почестям, обожала аудиторию за чайным столом, разновозрастную толпу друзей, шум и веселье застольной беседы. В этом она была неповторима: люди падали со стульев от хохота, когда она изволила озорничать. В роли дамы она долго выдержать не могла, но всегда, получив приглашение в приличный дом, готовилась к ней. Что же касается до приглашений, то она их принимала все, сколько бы их ни было, потому что обожала бегать по гостям, приводя в ужас и меня, и О.М., а потом и Харджиева: куда она еще побежит?

В гости ей всегда приходилось брать с собой какую-нибудь спутницу — ведь она боялась выходить одна. Мне

случалось с ней ходить, но только в Ташкенте, да и то очень редко. В Москве же мы никуда вместе не ходили. Причин этому было немало, а главная — она при мне не могла разыгрывать даму, боялась встретиться мой насмешливый взгляд. А кроме того, ей хотелось быть в центре внимания, а в последние годы она боялась, как бы ей не пришлось разделить это внимание со мной.

Общих друзей у нас почти не было. Из всей толпы ее гостей за многие годы я подружилась только с несколькими людьми, которых она мне сама подарила: это Юля Живова, Ника Глен и, кажется, больше никого. А мои друзья часто переходили к ней и становились и ее приятелями и даже друзьями. Однажды утром, не спрашиваясь, я привела к ней Рожанского.

[Он ей сразу понравился — высокий! — и она огорчалась, что не успела к его приходу прихорошиться и похорошеть. Хорошела она по заказу: «Ну сейчас пора похорошеть», — говорила она, ожидая гостя, выпрямлялась, делала глубокий вдох — один, другой, — и вдруг на глазах расцветала. «Ведьмовские штучки», — ворчала я, а она радовалась. А Рожанского она встретила неподготовленная, и ей пришлось хорошеть у него на глазах, но он, к счастью, не понял, что происходит. Как такое понять?

С тех пор Анна Андреевна подружилась с Рожанскими.] Наташу, жену Рожанского, она сразу оценила — красавица — это действительно так и есть, а его упорно называла академиком, не веря мне, что он просто служит в Академии. «По нашим грехам и то хорошо, — убеждала я Анну Андреевну. — Хватит с нас и ученого секретаря, зачем нам академик?..» Но она не сдавалась: к ученым званиям она сохраняла девственное уважение... К кому же ездить на званые обеды, как не к академику с красавицей женой? Рожанские, вежливые люди, всегда приглашали на эти обеды и меня, но я им откровенно объяснила, что они этим испортят все удовольствие Анне Андреевне, мы посмеялись, и все пошло как по маслу.

Хуже было с Виленкиным, театроведом, про которого О.М. когда-то шутил: «Как оторвать Ахматову от Художественного театра?» Она мне как-то сказала, что приглашена к нему на ужин. И к своему ужасу узнала, что он пригласил и меня.

Ужаса она не скрывала: что нам теперь делать?! Чтоб успокоить ее, я позвонила Виленкину и сказалась больной. Ужин, как сообщила мне по телефону Анна Андреевна, прошел великолепно, наутро Виленкин явился к Шкловским, где я тогда жила, навесить больную. Я же в халате и шлепанцах подметала коридор. Он опешил: что это значит? И мне пришлось объяснить этому милому человеку про свою ревнивицу подругу и про то, что она стеснялась при мне и буйствовать, и изображать из себя даму.

А как же быть с биографией и с кучами мемуаров, которые по ее подсказке напишут окружавшие ее красавицы и красавцы? Какой она будет в своей биографии — подготовленной ею самой или настоящей?

[Красавицы и красавцы напишут сладкую чушь. Одну такую ерундовину я недавно прочла и поразилась, как можно блестящую, остроумнейшую, умнейшую Анну Андреевну превратить в визгливую телку: «Ах, как страшно...» Эти люди, служившие ей зеркалами, ничего, в сущности, не отразили, и ей придется говорить самой за себя.] Прозы у нее почти нет, а в стихах зрелого периода она слишком много о себе сказала, чтобы позировать там дамой. И я люблю ее неистовый голос: «Не лирою влюбленного Иду пленять народ, Трещотка прокаженного В моей руке поет. Успеете наохаться, И воя, и кляня, Я научу шархаться Всех “смелых” от меня. Я не искала прибыли И славы не ждала, Я под крылом у гибели Все тридцать лет жила...»²⁶⁷ Я думаю, что за эти стихи сам Недоброво простил бы Аничке ее манеру при споре хлопать себя рукой по коленке.

Юлю и Нику она мне подарила, а Николая Ивановича я сама себе забрала без всякой санкции с его стороны. Впервые это случилось в те дни, когда Анна Андреевна приезжала для встречи со мной в Москву и мы устраивали «пиры нищих», а О.М. ночью звонил нам по телефону из Воронежа. Николай Иванович стал участником наших пиров, и Анна Андреевна с тревогой заметила, что между нами налаживаются отличные отношения. «Наденька, — говорила она, — вы все-таки поосторожнее: Николай Иванович терпеть не может навязчивых²⁶⁸ женщин...» — «А вас?» — наивно спрашивала я. «Я — другое дело», — отвечала Анна Андреевна. Насчет женщин это была,

конечно, чистая клевета на Николая Ивановича, и мы с Анной Андреевной дружили с ним всю жизнь, хотя все-таки были женщинами.

Когда вернулся О.М.²⁶⁹, он тоже разговорился с Николаем Ивановичем и сам сказал мне, что у Николаши абсолютный слух на стихи, и он хотел бы, чтобы именно такой человек издал его стихи — уже стало ясно, что ему предстоит только посмертное издание. [Вот он и подбирал себе редактора, а Харджиев тронул его своим отношением к Хлебникову.] Такой редактор, по словам О.М., — настоящая удача для поэта. Он даже передал ему через меня «Неизвестного солдата» — в одной из ранних редакций, — сказав, что Николай Иванович может что угодно делать с композицией этой вещи, потому что сам О.М. устал и не может из нее выкарабкаться. Впрочем, эти стихи — что-то вроде оратории, как говорил О.М., — сразу же после этого приступа усталости устоялись в теперешнем своем виде.

Когда О.М. исчез и потом пришла весть о его смерти, я уже была зачумленной и все от меня шарахались. Единственное место, куда я могла иногда спрятаться, была маленькая комнатка в деревянном доме в Марьиной Роще²⁷⁰. Именно туда я пришла, узнав на почте, что ко мне вернулась посылка «за смертью адресата». [Так нас оповещали о гибели в лагерях, и то далеко не всех.

Массы женщин даже так и не узнали, где и когда погibli их лагерники — мужья, сыновья, отцы... Через много лет после реабилитации им стали выдавать справки о смерти с произвольно поставленными датами. Большинство смертей было отнесено к военному времени для того, вероятно, чтобы лагерные гибели слились с военными²⁷¹. Мне повезло — я узнала о смерти О.М. сразу.]

В тот день я пошла к Харджиеву и до вечера пластом пролежала у него на матрасе, полубезумная, в бреду... Он варил сосиски и заставлял меня есть. Иногда он тыкал мне конфету: «Надя, ешьте, это дорогое...» Ему хотелось, чтобы я улыбнулась. В ту пору из Ленинграда приезжала Анна Андреевна с передачами для Левы или «хлопотать», то есть стоять в очередях у прокуроров, которые ничего не отвечали ни на один вопрос, а только запутывали и так обезумевшую

от страха толпу. [И у нее тоже было единственное место, куда она могла спрятаться, — у Харджиева в его халупе.] Во всей громадной стране у нас был один друг — он единственный от нас не отказался. И эта единственность Николая Ивановича всегда выделяла его из возникшей впоследствии толпы знакомых — они появились, когда прошел страх и выяснилось, что за знакомство с нами они не заплатят головой. «Черный» (так мы называли Харджиева) был с нами, когда мы были совсем одни, — повторяла Анна Андреевна. — Он единственный от нас не отказался...»

В эвакуацию он попал в Алма-Ату. В Ташкент до нас дошел слух о его неудачной женитьбе и разводе. Анна Андреевна возмущалась и Серафимой Нарбут, и Шкловским²⁷²: «Вот мразь... Как она могла так предать Николая Ивановича! «Ведь и С.Н. он поддерживал в те страшные годы и фактически спас ее в начале войны, когда вывез в эвакуацию. Вот тогда-то мы и взвесили, что такое храбрость... Ведь среди всех не поддался низкой трусости только «наш черный»... Мы так называли его только за глаза — при нем мы бы не осмелились на такую фамильярность. «Хозяин строг, но справедлив», — говорила Анна Андреевна, и обе мы держались с Николаем Ивановичем весьма почтительно, хотя он был среди нас самым младшим. Анна Андреевна морщилась: «Почему он для вас Николаша? Я всегда называю его Николай Иванович...»

Одно время она задумала отдать меня замуж за Николая Ивановича. Этим она хотела убить двух зайцев: пристроить меня и не дать Николаю Ивановичу вторично жениться, не то жена поступит, как все жены: отдалит от нас «нашего черного». Я, к ее огорчению, отказалась от этого ее проекта: ни ему, ни мне этого не нужно.

Она же призналась, что будь она богатой — с дачей, это у нас называется богатой — или хоть с квартирой, она бы обязательно поселилась с Николаем Ивановичем — и пусть люди говорят, что хотят... Действительно, люди бы много говорили о разнице в возрасте... «Наш черный» тем временем жил и очаровывал людей, не подозревая о наших кознях. И вдруг Анна Андреевна нашла выход: «Пусть он будет нашим общим мужем!» — предложила она, и на это я немедленно согласилась. Мы известили его телеграммой о своем решении. Они

шли тогда почти пешком, ответ не приходил, и Анна Андреевна серьезно забеспокоилась: вдруг «черный» рассердился! Ответ пришел в мое отсутствие. Анна Андреевна встретила меня на пороге — мы жили с ней на Жуковской в Ташкенте, — размахивая телеграммой: он не рассердился, он подписался «общий»²⁷³...

Харджиев сыграл большую роль в жизни Анны Андреевны. Все трудное время она не делала ни шагу, не посоветовавшись с ним: «Как “черный” или “общий”^{*274} скажет...» И многие стихи появились в связи с ее разговорами с ним. Так возникла и тема прокаженного. Она жаловалась ему, что ее считают любовным лириком, не замечая в ней ничего другого. Николай Иванович ответил: какая там любовь и лира, скорее, трещотка прокаженного...²⁷⁵

За тысячи верст от Николая Ивановича Анна Андреевна соглашалась делить со мной дружбу «черного», но в Москве она относилась к ней далеко не так снисходительно. Здесь, когда он был рядом, она все же старалась оттеснить его от меня и меня от него. Но все же для нас всех было настоящим праздником, когда удавалось побыть втроем и вспомнить «пиры нищих». Только уж никто не звонил нам из Воронежа по междугороднему телефону. А мы трое молодежи, смеялись и радовались украденной у жизни радости.

Как Анна Андреевна ни дружила с Харджиевым, одной вещи она ему никогда не прощала: «Молчите, иначе он вас отлучит от ложа и стола», — но как он смеет любить не только Мандельштама, но и Хлебникова! Анна Андреевна даже подозревала, что он любит Хлебникова больше Мандельштама, и это приводило ее в неистовство. Никто не смел ей признаться, что любит какого-нибудь поэта больше Мандельштама! «Он пастернакист» — предупреждала она меня, то есть такого стихолюбца надо отлучить от стола, поскольку к ложу он никакого отношения не имеет... Пунин со всеми его лэфовскими штучками все-таки разразился когда-то влюбленной статьей про Мандельштама²⁷⁶, поэтому ему прощалось многое. Забавно, что к своим стихам она любви не требовала или, во всяком случае, за равнодушные к ним никого ни от чего не отлучала. А к Харджиеву она старалась и во мне возбудить нетерпимость за его преступную любовь к Хлебникову...

Ревность и нетерпимость — близнецы. Это чувства сильных, а не слабых. Николай Иванович тоже говорил, что его суждениями управляют пристрастия. И у Герцена я нашла слово в похвалу пристрастиям²⁷⁷. Только равнодушие порок. Слава пристрастиям!

Меня поразила пронзительная и отчаянная интонация девчонки-поэта, которая покончила с собой где-то в Англии²⁷⁸: она узнала, что за всякую каплю радости надо расплачиваться собственной шкурой. Еще в ранней юности, еще до встречи с О.М. я поняла, что любовь — это вовсе не голубое облачко. Мне хотелось избежать общей участи, то есть отнестись ко всему этому приблизительно так, как молодые женщины второй половины двадцатого века. Отсюда теория «двух месяцев без переживаний». Но на первой серьезной встрече — с О.М. — все сорвалось, и я попала в жены, а дальше все пошло как обычно плюс все трудности наших дней.

Анна Андреевна подарила меня необычайной любовью О.М.²⁷⁹ Я поддалась соблазну и не уговорила ее снять это место. Разве можно назвать любовью, если двое, окруженные хунвэйбинами, хватаются за руки? Любовь проверяется не в катастрофической ситуации, а в мирной жизни. Не знаю, выдержала ли бы такое испытание наша. Откуда мне знать? У нас не было почти ни одного человеческого года — в невероятных условиях нашей жизни каждый период приносил свои жестокие испытания. Здорово мы жили, надо сказать, по первому классу. Если страдания — то, чего нам нельзя простить, то, клянусь, мы их не выдумывали.

Режиссер в «Восьми с половиной»²⁸⁰ завел себе гарем, а у наших женолюбив не было для этого ни жилплощади, ни денег. А в моем случае — я была сниженным вариантом женщины — ангелом Мэри, когда «греки сбондили Елену»²⁸¹, и это, пожалуй, единственный довод в пользу того, что наш брак мог бы выдержать испытания мирной жизни. Елены задаются, приходится ради них выдрючиваться, а ангелы — люди миролюбивые, и с ними особенно возиться не надо.

Анна Андреевна во всех своих браках все-таки была Еленой на первые годы — до потока доказательств — и «ангельских» отношений не понимала. Вот она и удивлялась, что

у нас все держится. И второе: в предреволюционном подполье мужа и жены называли друг друга «товарищами» — ведь те, кто знал, что такое стихи, или живопись, или наука, тоже очутились в подполье, и я была своему спутнику товарищем горьких дней²⁸². Вкусив сладость победы, те переменяли жен, но мы — не они, и даже после победы дни у нас горькие — сладость не для нас.

Что бы там ни было, я знала живую любовь, не ставшую, а всегда становящуюся, и чудо возникновения стихов, и раздоры, и неслыханную близость, отречения и бунт против слишком глубокой связи и радость новой встречи и нового сближения. Я знаю, что такое буйство, неистовство и обузданное своеволие — мое и О.М. Что бы мне ни говорила Анна Андреевна, я не верю, что такая дружба, любовь, союз, связь, как наша, могли бы распасться, как распадались браки и романы традиционно изящного типа. Ну их...

Я когда-то — еще в самом начале нашей дружбы с Анной Андреевной — утешала О.М., что не такая скатерть на столе и не те чашки, как в приличных домах, — мы ждали ее в гости: «Чего ты там? — сказала я. — Анна Андреевна любит, чтобы было не как у людей...» Он ей это передал, и она поняла.

Основная ее жизненная ошибка — она хотела, чтобы у нее было как у людей, а этого не могло быть. А мы с ним понимали, что не надо как у людей, а нам надо как у нас, и благодаря этому мы прожили тот миг, который был нам отпущен на долю, в движении, в смятении, в любви и горе, в радости от жизни и в ожидании смерти. Так и жили, и тридцать лет бессонных ночей были даны мне для раскаяния за каждое злое слово, для томительного сознания необратимости того, что было. И каждое первое мая я, сказавшись больной, пряталась в свою скорлупу и одна-одинешенька праздновала день нашего тайного брака и день нашей разлуки.

Мы сошлись в ночь с первого на второе мая 1919 года... Мы расстались, — вернее, его, подталкивая, увели люди, специализировавшиеся на доставке обреченных в Большой дом на гнусной площади, эти добродушные существа в полувоенной форме, которым и убийство нипочем, — в ночь

с первого на второе мая 1938 года. Май — это мой месяц. Для моих современников этот год — кульминация ужаса и бреда, когда все кричат, что понимают эпоху, приветствуют казни и убийства, рады светлому будущему, ради которого заранее приносится кровавая жертва, а по ночам дрожат в холодной испарине и, превратившись в слух, ловят звуки — то ли где-то остановилась машина, то ли раздался мерный стук солдатских сапог.

А на Западе специалисты и друзья нашей страны хором утверждали, что только злые клеветники, шептуны и ретрограды могут сомневаться в истинном счастье, воцарившемся на одной шестой земного шара. Каждый, по их словам, получал у нас по заслугам, а если кого и пришлось смести, то только потому, что он хотел разрушить счастье миллионов. «Вы спросите моих современниц — каторжанок, стоятниц, пленниц, как мы жили в смертельном страхе, как растили детей для плахи, для застенка и для тюрьмы...»²⁸³ Хорошо, что у меня не осталось сына, чтобы и его угнали «по дороге, по которой угнали так много». Мы вовремя сообразили, где мы живем.

Две женщины, кроме меня, поняли, что такое О.М. Одна из них пошла другим путем, а потом повесилась, испытав весь ужас этой жизни, а про другую я сейчас расскажу.

Мы жили с ней вдвоем в Ташкенте, и потом она, вспоминая, говорила, что это были наши лучшие дни: «Подумать, что тогда жилось легче всего. А это была война, и сколько людей погибало, и сын был на каторге...» Она сказала это, когда мы шли с ней по Большой Дмитровке, я провожала ее, кажется, к Лиде Чуковской или к Николаше. Уже опубликовали постановление о ней и Зоценко, а потом вторично забрали Леву.

Днем моя легкомысленная подруга бегала по гостям — то к Фаине, то к Беньяш — в нашем же дворе, или к Козликам — Козловским, или к двум правительственным дамам, с которыми познакомилась в Дурмени, крохотном санатории для избранных, куда ее направили после тифа. Правительственные дамы были добрыми бабами и тоже всего боялись, но старались не выдать своего страха. Анна Андреевна очень любила навещать их — все-таки большой свет, хотя они жили замкнуто

и одиноко, ни с кем не встречались и делали исключение только для Анны Андреевны — уж слишком велик соблазн принять такую гостью.

Когда она возвращалась домой, я уже обычно лежала в постели и думала, что надо заснуть, потому что утром придется идти на работу или в лавку — в очередь. Я уже работала в университете, куда меня устроила Иза Ханцын, отличная музыкантша, вдова Маргулиса, которому ежедневно сочинялись когда-то «маргулеты», шуточные стишки про нищего «старика Маргулиса»: «Старик Маргулис зачастую ест яйца — всмятку и вкрутую. Его враги бесстыдно врут, что сам Маргулис тоже крут...» Мы жили вдовами в Ташкенте — мужья уже погибли «там».

Вернувшись, Анна Андреевна подсаживалась к моей кровати: «Надя, знаете, что я сообразила...» И начинался ночной бред — ей вдруг показалось, что Лева заболел — один там, погибает... Письма не идут, а он, наверное, пишет и ждет ответа... Он сойдет с ума — этого нельзя вынести. Это он за нее взят заложником, чтобы она чего не написала — проклятье эти стихи... Как жить? Вот она умирала в тифу, а если б она на самом деле умерла, кто же помог бы Леве?.. И вы пропадете и не сможете помочь ему: разве вы вынесете эту жизнь, если меня не будет... А если вы погибнете, то разве я смогу жить: одна, не с кем слова сказать... Нам надо жить... Уж как хотите, а жить надо, только когда же кончится эта пытка? Ничего о нем не знать и думать, что его уже нет... А те люди, что от него приходили, я им не верю — вы никогда никому не верьте, сейчас нельзя верить: мы же знаем, где мы живем... Надя, если вы меня переживете, вы будете посылать ему посылки? Откуда вы возьмете деньги на посылки?.. Теперь всегда так будет: он там, мы здесь, Оси нет... Надо ложиться... Который час?.. Я чувствую, что он заболел. Мать всегда знает...

Она сидела до рассвета, а утром я выносила из ее комнаты полную окурков пепельницу. Она курила как безумная, одну за другой, потому что в ночном ужасе, когда не знаешь, что с сыном, и боишься заснуть, только папиросы помогают сдерживать дикий звериный крик.

Так жили мы — веселые подруги — и нас были миллионы. У Левы имелись шансы выжить — молодость. Я благословляла

судьбу, что у О.М. маленькое круглое сердце, которое не способствует долголетию, — лучший дар, полученный в наследство от его матери.

Нам полагается молчать о том, что мы пережили.

С какой стати я буду молчать?

III

Я не знала Анну Андреевну в ее ранней юности. Только с ее слов представляю себе, как сразу ничего не вышло из ее брака с Гумилевым. Мне когда-то рассказали, что некто, не помню кто, брал свою возлюбленную как крепость, вел планомерную осаду и наконец добился своего. Я сказала Анне Андреевне, что, наверное, приятно, если мужчина тратит столько сил на победу, и пожаловалась, что О.М., в сущности, не затратил никаких усилий, чтобы получить меня... Анна Андреевна не согласилась со мной, она считала, что, если женщину берут измором, из этого все равно ничего не выходит... — Гумилев? — спросила я, и она подтвердила.

В Киеве, заброшенная, не найдя своего места в жизни, в трудной семье, где ничего не ладилось, она согласилась выйти замуж за Гумилева, который вел длительную осаду. Ее поразило, что братья и сестра даже не пришли в церковь, когда она венчалась, — разруха в семье довела их до полного нигилизма. А ее брат, Андрей Андреевич, почему-то рассказывал мне, тогда совсем девочке — мы случайно познакомились в Севастополе, когда мне было пятнадцать (или шестнадцать?) лет, — что в семье были в ужасе от легкомыслия Анюты, решившейся выйти за Николая Степановича, которого она совсем не любила. Этот брак был обречен с самого начала, объяснял мне Андрей Андреевич, а я еще не представляла себе, что такое брак. Но я запомнила того красивого, необычайно мрачного человека, который до такой степени не нашел себе места, что искал утешения и разрядки в разговорах о серьезных вещах с чужой девчонкой.

Вырвавшись из сумбура собственной семьи, Анна Андреевна очутилась в совершенно чужом гумилевском доме. Гумилев отвез ее к себе и сразу уехал в Абиссинию. У него

была своеобразная особенность: добившись своего, сразу бросать женщин, но Анна Андреевна быстро эмансипировалась, обзавелась друзьями и зажила своей жизнью, независимой от Гумилева.

Анна Андреевна рассказывала, как, оставшись одна в Царском, она купила только что вышедший томик Анненского (не знаю, «Ларец» или «Тихие песни») и, расчесывая у окна волосы, читала²⁸⁴. Вот тогда-то вдруг ей стало ясно, что надо делать. Гумилев, приехав, застал почти готовый «Вечер»²⁸⁵. А раньше он подыскивал занятие для своей молодой жены: «Ты бы, Аничка, хоть в балет пошла, ты ведь стройная...» Он не учел, что для балета она слишком высока, но ведь можно придумать трюк и для высокой балерины не классического, а какого-нибудь оригинального балета...

И поэтическое влияние Гумилева тоже длилось недолго. Он почему-то уговаривал ее писать баллады, чему она все-таки отдала минутную дань. Вот с Одоевцевой ему больше повезло, но поэта из нее не вышло. Не был ли и сам Гумилев жертвой своих теорий, которые чуточку попахивали Брюсовым? Вообще из рассказов Анны Андреевны о Гумилеве я поняла, что по своей внутренней сущности он принадлежал к разряду учителей и дорожке всего ему были ученики, которые выслушивали его советы. И О.М. в какую-то минуту прислушивался к Гумилеву*²⁸⁶. Анне Андреевне предстояло тоже слушать советы, «но она» еще скорее, чем О.М., нащупала свой путь. Настала очередь Гумилева присматриваться к тому, что делали она и О.М. Это точные слова Анны Андреевны. Она считала, что мысль об акмеизме зародилась у Гумилева, когда он увидел новый подход к поэзии у нее и у О.М. Теперь уже он подвергся их влиянию, и впервые оно сказалось в «Чужом небе», в частности в стихах о «Блудном сыне»²⁸⁷. Именно на эти стихи обрушился со всей силой Вячеслав Иванов (в «Академии стиха»), что и послужило толчком к отделению группы поэтов и к созданию «Цеха»²⁸⁸.

Тут оказалось, что у Гумилева есть и организаторские способности. Николай Иванович Харджиев заметил, как велика эта роль «организаторов» в период становления нового течения в литературе. В начальном периоде «организатор» заметен больше, чем те, кому суждено сказать свое слово. Искажение

масштабов у современников выправляется временем. Браунинговская гипотеза Гумилева потерпела крах.

После расстрела Гумилева Анна Андреевна проявила себя настоящим другом и товарищем. Она давно покончила всякие личные счеты со своим бывшим мужем и отцом Левы, или, во всяком случае, они были преданы забвению. Только один раз она вспомнила о них, когда обнаружилось, что у Левы есть брат, почти точный его ровесник²⁸⁹. «Не очень-то приятно, когда узнаешь такое», — сказала она, а я удивленно на нее поглядела: ей-то, казалось мне, не все ли равно — ведь она «не женщина земная»... И действительно, она вела себя не как бывшая жена, а как друг поэта, расстрелянного поэта, — по самой высокой шкале.

В работе Лукницкого она приняла «самое живое участие», собрала все, что можно, о Гумилеве, изучала его стихи. С тех пор и до конца жизни у нее был обостренный интерес к акмеизму. Она всегда ждала встречи со мной, чтобы сообщить мне еще какие-нибудь соображения по этому поводу. «Нам надо встретиться для нашей работы, Надя...» Она активно наговаривала всех своих знакомых, как пластинки, повествуя им о том, что означало появление акмеизма и в чем его суть.

Анна Андреевна крепко помнила старые обиды, нанесенные «мэтрами», и, разыскав мемуары или дневник Герцкы, с торжеством показала мне ряд мест, свидетельствующих о плохом отношении хозяина башни к трем поэтам — Гумилеву, О.М. и к ней²⁹⁰. Он собирался устроить публичный «разгром» жене Гумилева, хотя в тот же день расхвалил ее, уведя к себе в кабинет. Вся компания готовилась к очередному развлечению: измордовать Мандельштама и тому подобное... Анна Андреевна избежала разгрома, потому что отказалась при гостях читать стихи...

За «акмеизм» Анна Андреевна держалась до конца своих дней. Больше всего она боялась, что их группу сочтут младшей ветвью символизма. «Как литературовед, — говорила она, — я знаю... Вы напрасно недооцениваете эти вещи...» И еще: каким образом акмеизм, просуществовавший один миг, так всем запомнился, когда другие литературные группы — имажинисты, ничевоки, центрифуга и пр. — канули в вечность? «Значит, что-то было...»

Я действительно недооценивала «эти вещи», хотя и знала, что здесь что-то кроется. Интерес к группе как таковой поддерживался тогдашним состоянием литературоведения, в частности Тыняновым, который представлял себе все развитие литературы как сплошной поток борющихся течений. Тынянову — я думаю, по молодости — иногда даже казалось, что поэт строит свою биографию и своего «лирического героя» согласно нормам своей литературной школы. Нормальную связь со своим временем, с его идеями и понятиями Тынянов готов был отождествить с зависимостью от литературных течений; в какой-то степени смены «литературных героев» напоминали в его трактовке шествие карнавальных масок: биография у поэтов, по Тынянову, «вызывается» и меняется в итоге смены «лирического героя»²⁹¹.

Я не верю в такую концепцию, хотя понимаю все значение человеческого окружения, особенно товарищей и единомышленников, в период становления поэта. То же относится и к художникам с их идиотскими манифестами, потому что, несмотря на все те глупости, которые они в юности успевают наговорить, они находят себя в первых спорах, борьбе, объединениях со «своими» и в противопоставлении себя чуть ли не всему мировому искусству. Маленькая группка, ищущая самоопределения, это и есть социальная форма развития искусства, первая форма общения внутри своего ремесла, и ее здорово не хватает моим молодым современникам. Ничего, кроме благодарности, к этим юным объединениям сохранить нельзя, и Пастернак отдает дань другой эпохе — ассирийской, когда отрекается от товарища своей юности — Боброва²⁹². С этой точки зрения я понимаю Анну Андреевну.

Но меня интересует другое: как случилось, что три поэта — Гумилев, Ахматова и Мандельштам, между поэтической деятельностью которых почти нет ничего общего, так держались до конца жизни за свой акмеизм и так настаивали на нем? Три манифеста акмеизма²⁹³ почти полярны, их не объединяет ничто. Что же объединяло этих троих? А может, это не литературные, а совсем иные связи? На вечере в память Мандельштама на мехмате Шаламов отметил судьбу акмеистов²⁹⁴. Почему-то именно они подверглись гонениям. Случайно ли это?

Надо только сразу отместить Городецкому. То, что он попал в эту группу, это чистая случайность, прихоть чересчур практичного организатора Гумилева. Он испугался, что выступает с одними мальчишками, да еще с девчонкой Анютой, и решил завербовать себе на помощь зрелого и признанного поэта Городецкого, «солнечного мальчика» символистов. Вместе с Городецким Гумилев забраковал «манифест» Мандельштама — «Утро акмеизма». Теперь мы знаем цену этого быстрого признания Городецкого и природу его «солнечности». Между прочим, он первый сыграл на модной тогда теме дохристианской Руси — очень уж христианство надоело, — которая потом разрабатывалась Хлебниковым и Стравинским («Весна священная»). А может, и не первый, но это не важно, кто первый поставил карту на язычество, — многим тогда это нравилось.

Городецкую я впервые увидела в 1921 году, когда вагон Центроэвака, в котором мы ехали в Тифлис, задержался на запасных путях в Баку, потому что начальник (художник Лопатинский) и несколько видных служащих заболели холерой. Городецкий пришел к нам в вагон, где мы занимали целое купе, задернутое занавеской, поставил на столик бутылку и складные рюмки, похвастался своей предусмотрительностью и пошел чокаться и хвастаться. О чем говорили — не помню, но Городецкий произвел на меня впечатление старого маразматика, хотя ему не было еще сорока лет. Я с удивлением спрашивала О.М., как он мог связаться с таким кретином. О.М. отвечал неохотно, но потом признался, что это гумилевская дурь — хочется ему быть организатором, деятелем и главой группы.

Позже в Москве мы раз-другой зашли к Городецкому, и он иногда забегал к нам — никак не могу понять зачем, и я заметила, что О.М. называет его жену Анной Николаевной (кажется, так), а не Нимфой, как все. Тут О.М. признался, что не может выговорить такое имя: Нимфа... Городецкий обычно нес чушь про свои знаменитые басни, гоудуновские покои, где он проживал, утренние прогулки, особый способ поджаривать помидоры и совершенно особенные рубашки, пропускавшие воздух, так что дышит вся кожа... Нимфа крестом резала раскатанное тесто на пельмени и поддакивала своему супругу. Речи Городецкий вел всегда патриотические и не уставал славить революцию. О.М. мне объяснил, когда я злилась на это, что он

так старается, чтобы ему не помянули его книжки — «Сретенье царя»²⁹⁵. Поразительно, как новая власть легко завербовала тех, кто в прошлом был поганым подхалимом, — они сразу нашли друг с другом общий язык. И крупнобуржуазные сыновья тоже приспособились и сидели на «ответственной работе», вроде как «это» случилось с Бриком.

Последние мои встречи с Городецким были в Ташкенте в период эвакуации. Он жил в одном доме с Анной Андреевной, где разместили эвакуированных писателей среднего сорта. Ей дали крошечную комнатку на втором этаже, а ему квартиру внизу. Встречалась я с ним только во дворе, куда я выбегала по воду или «в уборную» — невыносимо грязную яму, которая ассоциируется у меня теперь с акмеистом Городецким. Он перехватывал меня по дороге и неизменно спрашивал с добродушной улыбкой: «Как поживает моя недоучка?» Под «своей недоучкой» он подразумевал Анну Ахматову и, как мне говорили, всем приходящим к нему рассказывал о ней чорт знает что и чернил ее по поэтической и, главным образом, по политической лавочке. Это была бриковская пропаганда, плюс Рапп с Лелевичем, плюс маразматический бред этого мнимого акмеиста.

В молодости ничего не понимают в людях и сходятся с кем попало, и потому Гумилева нельзя слишком обвинять за союз с Городецким, но как могли символисты, люди уже зрелые, приходиться в восторг и умиление по поводу юного поэта Городецкого? Ведь они попались все, включая Блока... Когда он разговаривал, я боялась поднять на него глаза — мне все казалось, что у него из уголков рта течет слюна, как у заправского кретина. О.М. относился к нему спокойно, не проявляя ни дружелюбия, ни отвращения.

Два других акмеиста — Нарбут и Зенкевич — рано бросили поэзию. Нарбут, породистый хохол, наивно циничный и озорной, как и полагается украинцу, очень любил О.М. Я видела, как радостно вспыхивают его глаза, когда к нему в директорский кабинет в издательстве Зиф входил О.М. В двадцатые годы он был партийным монахом, ни за что не хотел пользоваться никакими привилегиями, отказался от полагавшейся ему машины, предпочитая висеть на поручнях переполненных

до ужаса московских трамваев. Его предпринимательский дух находил отраду только в Зифе — издательстве, которое он принял совершенно нищим и в несколько лет неслыханно обогатил. Ему хотелось поставить его на американскую ногу — чтобы оно было прибыльное, коммерческое, с зазывающими обложками, сенсациями и бестселлерами. У него был размах настоящего предпринимателя и украинское озорство, толкавшее его на дурацкие поступки: он описал, например, мебель у своего хорошего знакомого Асеева за неотработанный аванс и торговался со всеми авторами, включая О.М., за каждую копейку. Сам же он потом признавался, что эта торговля велась из любви к искусству: авторские гонорары в ту эпоху были так ничтожны, что совершенно не отражались на калькуляции книги.

В 1927 году его с треском выкинули из партии. Кажется, под ним подрыл землю Воронский, поддерживавший «попугачков», а Нарбут делал ставку на «усачей», составивших кадры Раппа. В самом этом занятии заметен изрядный, хотя и добродушный цинизм. Какое было дело Нарбуту — шестому акмеисту — до романов и повестей, которые он издавал? Его просто развлекала коммерческая и политическая игра и странная власть над аппаратом Зифа, где он удивительно подобрал целую кунсткамеру служащих, почтительных, раболепных, рыжих, коротконогих, смиренных, наглых, но всегда почтительно выполнявших его волю и взбунтовавшихся против него только после его падения. О.М. они считали креатурой Нарбута и, как только он пал, всей оравой обрушились и на него.

Нарбут, хотя и своеобразно, но все же переболел опасной болезнью воли к власти — на помещицко-украинский лад: веселый паныч, что тешится со своими гончими. Излечился он от этой болезни только после падения, и тогда снова заговорил о поэзии на уровне приблизительно таких вопросов: «Осип, что ты думаешь о научной поэзии? Ведь это как раз то, что сейчас нужно...» или: «Побольше бы инициативы дали — может, что и вышло б! Ведь поэт — это изобретатель, правда, Осип?»

Зенкевич в этом отношении чист, как стеклышко. Он так тихо служил при Нарбуте, что никто об их старинной дружбе даже не подозревал. Во всяком случае, ему удалось вовремя улизнуть и избежать всякой травли. Зенкевич, вероятно,

никому не сделал ничего хорошего, но он, безусловно, никому не причинил зла. В нем было тяжелое саратовское добродушие, тихость и осторожность, всосанные с молоком матери или полученные вместе с генами мелких чиновников приволжских провинций, внешняя вялая мягкость и трогательная привязанность к своему акмеистическому прошлому.

Когда Анна Андреевна вздумала восстановить все события акмеистической деятельности, она призвала на помощь Зенкевича, и он оказался превосходной справочной инстанцией. В последние годы они часто встречались, и Зенкевич служил живой летописью событий, происходивших за полвека до этого.

Все промежуточные события он не помнит и, в сущности, ими не интересуется.

Из шести акмеистов один оказался противопоказанным всем остальным (Городецкий), двое, в сущности, только друзьями юности (Зенкевич и Нарбут), а троих соединила какая-то незримая связь, не прерывавшаяся до самой их разновременной смерти. Была ли эта связь только бунтом против теоретического словоблудия символистов и их поэтической практики? Анна Андреевна рассказывала, как Гумилев покорно и даже восторженно слушал поучения В. Иванова, изучал его статьи, обдумывал их и вдруг заявил, что за их велеречием ничего не кроется. Когда он прозрел, сила отталкивания оказалась прямо пропорциональной его прошлому притяжению, то есть очень сильной. Ему стало обидно, что он так долго рылся в каждом высказывании мэтра, обвиняя себя в тупости, потому что не находил в них того эзотерического смысла, который ему посулили, а потом вдруг обнаружил, что никакого смысла это учение вообще не имеет.

О.М. проделал свой курс у В. Иванова более легкомысленно и весело. Его бунт начался очень рано. Анна Андреевна рассказывала, как О.М., нашептывая ей всякую чушь на вечере в честь В. Иванова у Сологуба, вдруг сказал: «Один мэтр — это величественно, два — смешно...» А мне О.М., когда я еще в Киеве спросила его про В. Иванова, ответил сказкой: будто двое ехали на извозчике и читали стихи Вячеслава, а извозчик вдруг обернулся и заявил: «Ядовитая приятность...» Внешне О.М. держался с мэтрами очень почтительно (еще и при мне),

но внутренне чувствовал себя совершенно независимым с незапамятных времен. Влияние В. Иванова кончилось, вероятно, когда О.М. едва исполнилось двадцать лет.

Единственным своим учителем все трое^{*296} считали Иннокентия Анненского. Я сильно подозреваю, что О.М. сразу при первом знакомстве расположился ко мне, потому что у меня в детском шкафчике с заветными книжками он нашел «Кипарисовый ларец» и «Книги отражений». Мне подарил эти книги Володя Отроковский, мой гимназический учитель латыни и приятель, сначала русский, а потом украинский поэт, рано погибший от сыпного тифа. Он приходил к Блоку и очень ему понравился^{*297}. В статье его товарища Б. Ларина (языковед) об Анненском я узнала все мысли Володи Отроковского²⁹⁸. Анненский, державшийся в стороне и не рвавшийся в мэтры, оказал наибольшее влияние на поднимавшуюся молодую поэзию.

Ни О.М., ни Анна Андреевна не возвращались ни к одному из поэтов-символистов, кроме Анненского. Только его они помнили наизусть и только его цитировали в разговорах. Своими статьями 21–23 года О.М. как бы подытожил свое отношение к символистам²⁹⁹.

Из современников он ценил и следил за работой Пастернака, меньше Маяковского — очень огорчился саморастратой Маяковского на агитки, — а еще Цветаеву, Клюеву, не говоря уж об Анне Андреевне. Он действительно как-то сказал, что он «антицветаевец», но это относилось к методу Марины: игра с корнями фонетически схожих слов, повторы, долбление слов, но саму Марину любил и удивлялся ей.

«Ценил» Павла Васильева (раннего, озорного) и Клычкова (у него были под конец жизни замечательные стихи, но рукописи увезли в мешке, когда забрали автора и потом уничтожили в застенках 37 года). Из Хлебникова О.М. выбирал куски и очень им радовался. Последняя встреча с Хлебниковым произошла в Саматихе в 38 году перед самым арестом³⁰⁰. Анна Андреевна говорила про Марину, что самое главное в ней сила: такой силы, как у нее, не было ни у одного русского поэта. А про Маяковского Анна Андреевна говорила, что его забвение в нынешний день — явление временное. Маяковского, по ее мнению, должны вспомнить, потому что он дал новый вид поэмы. Кроме О.М. она ценила Пастернака,

но не целиком: почти в каждой вещи ее что-то раздражало. Из последних вещей она отметила «Больницу» (может, за религиозную тему), а из стихов из «Живаго» — про женщину, которая жует мокрый снег³⁰¹. «И весь твой облик сложен из одного куска» — Анна Андреевна считала реминисценцией из Мандельштама³⁰² и гадала, как это дошло до Пастернака, который, как известно, чужих стихов остерегался и не читал. «Должно быть, ему кто-нибудь процитировал», — решила она... В зрелые годы Анна Андреевна своих «заявок» на признание поэтов не растратила, то есть относилась скептически ко всем молодым и их стихов не хвалила (кроме Маруси Петровых!³⁰³), а в старости расхваливала все стихи всех поэтов подряд. У многих от этого закружилась голова. О.М. и Анна Андреевна по-разному читали поэтов — он выискивал удачи, она — провалы.

Все эти годы они часто вспоминали Гумилева: «Коля сказал... Коля хотел, чтобы...» Но стихов Гумилева не касались. В ту же царскосельскую весну Анна Андреевна обнаружила, что я помню стихи Гумилева (одни из его лучших) о том, как он с ней расставался («Стансы») — «Быть может, самую себя губя, навек я отрекаюсь от тебя». У меня была отличная память, и я часто служила О.М. справочником — особенно в Ростове, Харькове и Киеве 22 года, когда он писал статьи о поэзии, а книг под рукою не было. Он пользовался тем, что я вспоминала по его заказу все, что ему было нужно. Его память — феноменальная — была другого типа, чем моя: он запоминал сразу с голосу огромные куски, но быстро их забывал...

Анна Андреевна обрадовалась, что я помню стихи, посвященные ей, и сразу показала мне все, что относится к ней, но я об этом уже знала от О.М... Но ни Лукницкому — он часто приезжал в Царское, ни с О.М., ни со мной она тогда никогда не говорила о своей оценке гумилевских стихов. Я это объясняю тем, что она к ним относилась весьма сдержанно, но не хотела в этом признаваться. Только в последние годы, когда она подводила итоги своей деятельности и много думала об акмеизме, ей захотелось восстановить истинный характер своих отношений с Гумилевым и дать (для себя) оценку его поэзии. Гумилев начал печататься чересчур рано, и в книги попало много сырья — того, что предшествует поэзии. Единственным

оправданием ранних стихов Гумилева она считала его состояние — он долго был влюблен и добивался ее, отсюда этот «юношеский поток». Вырваться из-под влияния символистов (Брюсова и В. Иванова) Гумилеву было труднее, чем ей и О.М., которые почти сразу начали с отталкивания. У него этот процесс происходил мучительно (начиная с «Блудного сына»), и потому становление его как поэта пришлось почти под самый конец жизни. Но уже в ранних стихах она отмечала большие следы влияния Анненского, более прямые, чем у нее и у О.М.

Анна Андреевна пишет, что у О.М. нет учителей и предков³⁰⁴. Это, конечно, неверно. Правильнее сказать, что О.М. шел не от одного поэта, а от многих. Он сам говорил, что «подражает» всем, даже Бенедикту Лившицу (в стихотворении о певице с низким голосом³⁰⁵). Это более сложные и переработанные влияния, чем у многих других, поэтому они не так легко бросаются в глаза. Мне кажется, что это связано с его способом читать чужие стихи, отыскивая в них удачи. На удачах других поэтов он не переставал учиться, и внимательное приглядывание к ним расширяло и его труд.

Удивляясь тому, как стихи живучи, Анна Андреевна часто говорила: «Стихи совсем не то, что мы думали в молодости...» Гумилев с его манифестом — это их молодость. В поэзии как будто различимы два типа вещей — одни услышанные, другие — написанные стихи. В одном случае включается вся тайная природа поэта, в другом действует умение, мастерство. Это не относится к самой технике работы — «услышанные» стихи могут тут же переноситься на бумагу.

Речь идет о более глубоком различии. У самых больших поэтов есть множество вещей, сделанных на чистом мастерстве. К примеру, можно привести Пушкина, и даже в такой «услышанной» вещи, как песня председателя из «Пира во время чумы», Марина нашла две «написанных строки» (последние)³⁰⁶. Иначе говоря, на мастерстве могут быть сделаны целые вещи и отдельные строчки в «услышанных» вещах.

Стихи, сделанные на мастерстве, соприкасаются с массами стиховых изделий нашей журнальной и не только журнальной литературы. Стиховые изделия я исключаю из рассмотрения. Как всякий суррогат, они только внешне напоминают то, что они фальсифицируют.

Мне даже не жаль тех, кто потребляет эту нездоровую пищу: так им и надо. К тому же потребители этой стихотворной продукции в большинстве случаев принадлежат не к читателям, а к литературным политикам — они есть всюду, но не всегда за ними стоит государство. А вот стихи, сделанные на мастерстве, и «услышанные» в равной степени принадлежат к поэзии, но разница между ними огромна. Это вещи, изготовленные под совершенно различным давлением, но различие сводится не только к количеству атмосфер.

Если поэзия (как и другие искусства) является особой формой познания мира, то «услышанные» стихи принадлежат к наиболее глубоким типам познания, это проникновение в суть объекта, то есть в самого себя, так как субъект является в то же время и объектом, и через этот объект познается сущее и внешний мир в его первозаданной гармонии. Ведь если человек в полной мере осознает, что он человек, разве перед ним не открывается мир? Человекобожество строится не на познании себя человеком, а на ложном толковании свободной воли человека, его способности уничтожать себя и других, его умения создавать ценности — как истинные (это и есть откровение!), а чаще ложные. Разве откровение сводится только к тому, что дано в священных книгах, и не включает в себя и более широкие виды постижения мира?

Мастерство в поэзии может быть тем, чем оно является у Мандельштама, — ученичеством. Вся центральная часть «Камня» — «акмеистический» в узком смысле слова период Мандельштама — является чистым ученичеством. К ученичеству О.М. относился с большим уважением: «Какой бы выкуп заплатить За ученичество вселенной, Чтоб черный грифель приучить Для твердой записи мгновенной...»³⁰⁷

Но чаще мастерство не сводится к ученичеству, но представляет собой совершенно другое явление. Посредством мастерства воссоздаются простейшие отношения субъекта к объекту, построенные на основе уже найденных законов, управляемых разумом, чувством, волей, сознанием. Стихи являются сгустком души их носителя, в них он живет больше, чем во всех других своих проявлениях, поэтому значимость стихов в конечном счете зависит от глубины и широты поэта. Если понимать проникновение субъекта в объект как откровение,

то ценность стихов зависит и от способности принимать откровение.

Мандельштам — глубинный поэт, и в слышанье он включался полностью и целиком, всем своим существом — не только духовным, но и физическим. Он улавливает внутренний голос и слухом, и осязанием. Чтобы найти потерянное слово, ему нужны пальцы, и пальцы эти «зрячие»: «О если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, И выпуклую радость узнаванья... А смертным власть дана любить и узнавать, Для них и звук в персты прольется...»³⁰⁸

Я хочу сопоставить это центральное для Мандельштама стихотворение с фразой из статьи того же времени, которая проливает свет на природу его стихотворного дара: «Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что все это уже было: и слова, и волосы, и петух, который прокричал под окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, глубокая радость повторения охватывает его, головокружительная радость:

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух,
Время вспахано плугом, и роза землею была...»³⁰⁹

Здесь тоже поиски потерянного слова («путается... в именах») и с ними все пять чувств, хотя меньше всего досталось на долю зрения. Может, в этом один из ключей связи поэзии с полом, но далеко не все.

Пастернак в наиболее «услышанных» «своих» стихах^{*310} — весь в ощущениях. Он регистратор внешних воздействий на зрение и мозг поэта. Это поэт широты и разнообразия, потому что мир ощущений бесконечно широк — и тоже является одним из видов откровения. Журчащая вода шуршит у него по ушам, ничем ему не «задуть» очей. Мир вливается к нему через окно комнаты, и он потрясен его отражением в трюмо: «Огромный сад тормозится в зале в трюмо — и не бьет стекла!»³¹¹ Удивление раннего Пастернака — это тоже великая радость узнавания, и оно продолжает пробиваться с грозной силой и потом: «Вдруг — что за новая, право, причуда? Бестолочь, кумушек пересуды. Что их попутал за сатана?.. Это она, это она, Это ее чародейство и диво, Это ее телогрейка за ивой, Плечи, косынка, стан и спина...»³¹² Это Пастернак сначала слухом, а потом

зрением узнал весну. Здесь та же тема узнавания, повторения и познания, возникающего через удивление.

Для Ахматовой характерен поиск подвига, отречения, отказа от земного ради высшей цели. Она живет нравственными категориями, а не ощущениями и не онтологией. И во внутреннем голосе есть элемент со-страдания, совместного страдания с людьми: «Неузнанных и пленных голосов Мне чудятся и жалобы и стоны»³¹³, которые предваряют «один все победивший звук». Марина в своих стихах отказалась от женского начала — как поэт силы она предельно активна. Анна Андреевна сохраняет пассивную женскую природу, и в сострадании она как женщина находит свой самый глубокий голос: «Кто женщину эту оплакивать будет?»³¹⁴

Твердо, через всю жизнь она пронесла чувство беды, ожидание беды, мысль о бедах: «Вот и идти мне обратно к воротам Новое горе встречать...», «Но забыть мне не дано Вкус вчерашних слез...»³¹⁵ Тема ее последних стихов — невстреча, зрелых стихов — разлука, гибель вместе с людьми: «Я была тогда с моим народом Там, где мой народ, к несчастью, был»³¹⁶, ранних — покинутость, отказ от любви: «А я, закрыв лицо мое, Как перед вечною разлукой, Лежала и ждала ее, Еще не названную мукой...»³¹⁷ Закрывать лицо руками — характерный для нее жест: «Закрыв лицо, я умоляла Бога...»³¹⁸ Сила Анны Андреевны в точных формулировках, в неслыханной скупости (это тоже форма самоотречения), а ее основное чувство — приближение к смерти, потому что нет сил на вечное совместное страдание.

Гумилев линейный и наивный человек с волевыми порывами — может, отсюда страсть к учительству? Почти весь он рационален и стремится только к мастерству. Это дает однообразие и бедность структур. Поэтому его тянет к рассказу, который он называл балладой. Отсюда и однообразие и бедность. А внутренней мир его состоит из неосуществленных желаний, и одно из них — шестое чувство; в последний период Гумилев как-то рванулся и впервые у него действительно появилось «шестое чувство» — эта жизнь была прервана не в расцвете, а на подступах к поэзии. Ему не дали сказать своего слова, а это, может, еще большее преступление, чем уничтожить того, кто сказал и продолжает говорить.

Маяковский — поэт мальчишеской обиды. В самой природе его дарования заложен момент незрелости. Этот незрелый голос мог легко иссякнуть. Брик, взявшийся за воспитание оболтуса, может, был не так «уж и» неправ, подсунув ему политическую агитку — она продлила деятельность Маяковского, дала, хоть и ненадолго, некоторую устойчивость. Слабые люди нуждаются в авторитете, явном для каждого: что уж более явное, чем победители, сильные люди, мастера убийства и казни, правители, говорящие с народом со страниц всех газет огромной страны... Брик не сократил, а продолжил жизнь Маяковского, так как вряд ли у него хватило бы сил, чтобы найти зрелый голос и зрелое оправдание своей жизни.

Что сказать о Хлебникове? Поразительные искры в нерасчиленном потоке... Природа сказителя, а не поэта... Широкая река, заливающая оба берега и меняющая русло. Это не поэт, прислушивающийся к голосу, извлеченному из самых глубин, а тот, у кого слово на кончике языка, — отсюда выдуманные — невозможные и неосуществимые — слова, но, всегда пребывающий в слове, он не мог не находить неслыханные залоги или блески подлинной словесной руды.

Мне все пытались доказать, что Мандельштам и Хлебников поэты одного ряда. Этим занимался и Берковский, и Бухштаб, который сказал мне: у них у обоих слова как большие звери. Я знаю, что суть вещей непознаваема и иногда до нее можно дотянуться — чуть-чуть, конечно, — через метафору. Но «большие звери» мне ничего не объясняют. Мандельштам не сочинитель слов, для него слово объективная данность: «А на губах как черный лед горит И мучит память. Не хватает слова. Не выдумать его: оно само гудит, Качает колокол беспамятства ночного...»³¹⁹ А найденное слово, как я уже говорила, обостряет все чувства: оно найдено не только слухом. О.М. ощупывает его, как слепой знакомое и любимое лицо, как любовник в ночной темноте свою подругу: «Как эту *выпуклость* и радость передать, Когда сквозь слез нам слово улыбнется, Но я забыл, что я хотел сказать, И зрячих пальцев стыд не всякому дается...»³²⁰

Я всегда почему-то вспоминала «зрячие пальцы» рембрандтовского отца, протянутые к блудному сыну, — это и есть радость узнавания. И меня поразило, что, встречаясь со мной

после разлуки, О.М. почему-то, закрыв глаза, проводил по моему лицу рукой, трогал лоб, глаза, губы... А впервые встретившись со мной, он все твердил мне, что сразу узнал меня и тоже про радость узнавания. Но я поняла это слишком поздно. Узнается только объективно существующее, отдельное, независимое от субъекта: слово нельзя выдумать, его можно только «узнать», как женщину.

Это, конечно, не хлебниковское отношение к слову. Хлебников ворочает его языком, а к Мандельштаму на язык оно приходит уже узнанное, найденное, встреченное. Мандельштам и Хлебников не однотипны, а скорее полярны.

Ахматова знает, что источники стихов объективны: «Многое еще, наверно, хочет Быть воспетым голосом моим, То, что, бессловесное, грохочет, Иль во тьме подземный камень точит, Или пробивается сквозь дым...»³²¹ Здесь неизвестное, которое придет в стихах, дает знать о себе звуком («грохочет») и зрительным образом — мучительно неуловимым: ему нужно, чтобы его увидели, пробиться сквозь дым, скрывающий его очертания. В основном стихотворении, которое приоткрывает внутреннюю лабораторию стихотворца, Анна Андреевна опять дает звуковой пейзаж: «Вдали раскат стихающего грома. Неузнанных и пленных голосов Мне чудятся и жалобы и стоны... Но в этой бездне шепотов и звонов Встает один все победивший звук... Но вот уже послышались слова И легких рифм сигнальные звоночки...»³²²

Здесь близкое к Мандельштаму слуховое напряжение, прислушивание к себе и к возникающему словесному катаклизму. Но это поиски не отдельного слова, ведущего строку и стих, а голоса, жалобы, стоны. И сразу после того, как ожидание кончилось, приходит не слово, а слова, фразы. Вот почему все разрешается записью «продиктованных строчек», и они спокойно ложатся в тетрадь. К Ахматовой приходит как бы основной тон, а дальше все идет без вслушивания — оно кончается у нее на более раннем этапе, чем у Мандельштама. Когда тон — «все победивший звук» — уловлен, процесс упрощается, и поэтому в ее стихи могут проникать готовые элементы (момент мастерства). Похоже, что она не выдерживала ожидания, сдавалась раньше, чем успевала выкристаллизироваться самая глубинная

прослойка. А вот еще: «Тайное бродит вокруг — Не звук и не цвет, Не цвет и не звук, — Гранится, меняется, вьется, А в руки живым не дается... И, мне не сказавши ни слова, Безмолвием сделалось снова...»³²³ Здесь в принципе один тип работы, но другая степень напряжения.

Поразительно, что и Элиот в самом грозном из своих стихов тоже заговорил о «потерянном слове»³²⁴. Он до конца определил свое отношение к этому неуловимому слову: слово будет найдено только там, где находится Слово, иначе говоря, суть вещей открывается только в познании Сущего. Поиски поэтов, никогда не знавших друг друга, отдаленных друг от друга непроницаемым барьером, который построила эпоха, а может быть, и сама жизнь, велись в одном направлении. В стихах о том, что он не надеется вернуться снова в это пространство и время, Элиот перекликается с ахматовским: «Но я предупреждаю вас, Что я живу в последний раз...»³²⁵ В этом же стихотворении есть совпадение и с Мандельштамом, который еще в детских стихах наивно сказал: «Но люблю эту бедную землю, Потому что другой не видал»³²⁶, и с его статьей — отвергнутым «манифестом» новой школы — «Утро акмеизма», где он говорит, что этот мир нам дан, чтобы мы строили...

Поэты на разных концах земли, в разных культурах и разной жизни отступили от символизма и пришли к близким вопросам жизни и смерти. Впрочем, культуры не такие уж различные, потому что я говорю о трех эллинско-христианских поэтах.

Акмеисты восстали не против символизма, а против литературной школы русских символистов за то, что глубокую природу человеческого познания, по сути своей символистскую, будь то математические символы или словесные, они подменили сознательным сочинением символов, которым надлежало, по их теории, стать заместителями значений. В сознательном изготовлении символики участвует, главным образом, разум, не порождая органа для шестого чувства.

Символисты все в значительной мере ницшеанцы или последователи Шопенгауэра. И это относится не только к тем, кто так или иначе интересовался философией. Бальмонта, например, трудно заподозрить в каких-либо отвлеченных занятиях, но и он разделяет черты символистов, которые можно считать

«нищепанскими». Здесь возможна и другая трактовка: и философы, и поэты, писатели, художники и прочие деятели той эпохи шли параллельными путями, исходной точкой которых был безрелигиозный гуманизм. Отсюда культ человека, переоценка его возможностей, то есть опять-таки — своеволие, выразившееся в литературе самыми различными способами, в частности самостоятельными изысканиями в символической и изобретением собственной системы символов. Из русских символистов, впрочем, никто не дал «системы символов», как Йетс; у них символы были достаточно разрозненными и случайными, как бы изобретения, остающиеся на совести у каждого из них. Пестрая практика символистов не делала их школой, борьба могла идти только с их теорией. И взбунтовавшиеся против них люди, назвавшие себя акмеистами, искали новой теории для обоснования своей практики.

Что же касается до футуристов, то исходный момент оставался у них тем же — со всем своеволием, культом человека и вытекающим отсюда волонтаризмом. Не случайно большинство из них легко поддавалось культу силы и воли к власти. В последнем, то есть в воле к власти, исключением является Хлебников — этот странник и бормотун не поддавался искушению нашей эпохи и даже своей властью — «властью» поэта — не воспользовался. Кажется, именно в этом — в добровольном странничестве и отречении, в жизни, одухотворенной непрерывным «сказом», Хлебников является глубоко национальным и народным поэтом. Он как бы вышел из самых глубин народа и почти, в сущности, от него не отделился. И на нем в чем-то сказался особый строй русского народа — его расплывчатость, его волнообразная природа, его способность вдруг формироваться в шквал. Хлебников подобен реке, размывающей оба берега. Говоря о нем, невольно прибегаешь к сравнениям, потому что его сущность неуловима для жесткого понятийного объяснения и анализа.

Символизм с его практикой и теорией восстановил против себя и трех объединившихся акмеистов, и Хлебникова, и Пастернака, и Цветаеву в Москве. Но боролись с символистами и не были ими признаны именно акмеисты. Делая снисхождение для Ахматовой, нападая на блудного сына и взбунтовавшегося ученика — Гумилева, они начисто сняли со счетов

Мандельштама. Блок, более сложное явление, чем символисты чистой воды, как, например, В. Иванов, сначала просто отрицался от Мандельштама, предлагая его заменить не то Рубановичем, не то Рафаловичем, а потом вдруг удивился и заметил в нем не жиды, а, как он выразился, «артиста»³²⁷.

Но с Блоком ни у Мандельштама, ни у Ахматовой и Гумилева не было глубокой связи, а вот уважение я заметила, и настоящее. О.М. удивленно мне рассказывал, что однажды он застал Блока за диковинной работой — он переделывал стихотворение «О подвигах, о доблестях, о славе...». О.М. сказал, что стихи, известные всем и вошедшие в фонд русской поэзии, нельзя переделывать. Разумеется, это не цитата, а только передача смысла его слов, но факт, что для него эти стихи были тем, что у нас принято называть — классикой. В этом эпизоде сказывается отношение к Блоку, близкое к тому, что проявилось в статье о нем³²⁸. Анна Андреевна пишет, что О.М. был чудовищно несправедлив к Блоку³²⁹, но я не помню ничего подобного. В последние годы он просто Блока почти не упоминал. У Блока ему, вероятно, были чужды готовые элементы, то, что Л.Я. Гинзбург называет «гвоздиками»³³⁰, — все эти мечи, жезлы, кинжалы, да еще напоенные ядом, туманы, чародейность и так далее. Кроме того, христорождество Блока и его любовь ко всяким мелким тайнам и нечисти — отзвук ставки на дохристианскую Русь — тоже были противопоказаны О.М. Поэтому, в частности, он не любил «Скифов», но, по-моему, никогда публично этого не высказывал.

Три разных поэта, с разной поэтической практикой, с двумя разными манифестами — еще в начале своего литературного пути выступили против символистов и окончательно порвали с этим уже победившим течением. Что же их объединяло? Я долго искала ответа на этот вопрос. Ни О.М., ни Анна Андреевна на него ответить не могли. Они вместо ответа пытались отделаться пустотой символизма, защитой смысла и новым отношением к слову.

Но разве у Ахматовой, Мандельштама и Гумилева одинаковое отношение к слову? Мне кажется, что их соединяло нечто другое, лежащее вне литературы, соприкасающееся, скорее, с миропониманием, чем с вопросами мастерства, техники и борьбы литературных школ. Эти трое принесли совершенно

иное отношение к жизни и к ценностям, чем то, которое было у символистов и у футуристов, давших впоследствии Леф. Однако и «у» этих трех не было единого, совпадающего в деталях миропонимания, но какие-то существенные линии соединяли их настолько прочно, что дали нерасторжимую связь и несомненную общность судьбы.

Бердяев, человек близкий к символистам, в поисках неба отказывался от земли — здешняя жизнь тяготила его, не удовлетворяла его изощренных чувств. Наследники идей безрелигиозного гуманизма, они, в сущности, каждый по-своему, уходили от христианства — в шопенгауэровский буддизм, в языческие мистерии, в разные виды антропософии и теософии. Даже Соловьев с его учением о Софии, если вдуматься, искал объединения религии природы с религией духа. Конец девятнадцатого века и в особенности начало двадцатого знаменуются отходом от христианства и онтологическими спекуляциями, исходной точкой которых является гипертрофированная вера в человека как в существо, одаренное высшим разумом и способное самостоятельно проникнуть в тайну тайн.

А собственно, какую тайну тайн может открыть человек, если к себе самому, к человеку, к его истории и обществу он не может подыскать даже ключей, а только с трудом подбирает жалкие, действующие на один раз отмычки? А откуда неожиданности, которые нам подносят человек и история. Разве все мы не поражены тем, что мы увидели в первой половине двадцатого века?

Миропонимание символистов неизбежно вело к своеволию и к чувству безответственности. Человек, который пришел в мир, чтобы видеть солнце или «творить культуру», как предлагал В. Иванов, может только давать рекомендации, как получше заняться этими делами, и писать законы, исходя из собственных целей и желаний. Символизм в его теории — это расцвет своеволия, буйство безответственного человека, культ воли и беспредельное развитие индивидуализма.

Символисты, вероятно, не вполне сознавали, почему им сравнительно легко удавалось договориться с лагерем победителей. Основы их учения во многом совпадали с теориями тех, кто дал толчок к развитию воли к власти. Прямые потомки символистов — футуристы — попросту слились с победителями.

Я заметила также, что люди чисто буржуазной психологии легче находили точки соприкосновения с нашими хозяевами, чем те, кто не отказался от ценностных понятий христианства. Пример тому — Брик и наши технократы.

Расплачиваться за все пришлось так называемым акмеистам, но объяснения этому надо искать не в манифестах Городецкого и Гумилева, а в отвергнутом ими манифесте Мандельштама, позиции которого разделяла и Ахматова.

О.М. заметил, что символисты были «плохими домоседами», то есть недооценивали земную жизнь, не сознавали своего долга на этой земле. Для акмеистов наша жизнь не только данность, но и данное, и отсюда — уважение, даже пиетет, как говорит О.М., к трем измерениям и ко времени, в котором каждому надо выполнить свой долг. О.М. объясняет здесь свою тягу к архитектуре как к наиболее вещественному виду создания ценностей искусства. Если жизнь дана для того, чтобы мы выполнили в ней свой долг, приходится отказаться от своеволия старших поколений и смиренно принять данное. При таком мироощущении художник уже не ощущает себя избранником, которому все можно, — он один из толпы, один из всех, не лучше и не хуже других, и для него обязательны все исторически добытые ценности. В частности, это относится и к принципиальному отрицанию системы новоизобретенных символов. Символика уже дана в языке, общем для общества, дана в сознании, общем для всех людей.

То, что добыто во времени, является общим сокровищем, откуда черпают художники. Новаторство без исторических корней является таким же своеволием, как и самостоятельно выдуманный символ. Все трое акмеистов, отказавшись от «хрустальных дворцов», от изобретенья новой культуры, нашли свое место в христианском мире, в христианской культуре, в исторической традиции. К этому пришел и Пастернак. В нашей жизни это был самый трудный и опасный путь. Судьбы людей — прямой вывод из их миропонимания. Каждый из них, по данным ему силам, совершил свой жизненный подвиг. Двое стали жертвами насилия, а подвиг Ахматовой заключается в том, что она не упала на середине дороги, а проявила величайшее женское качество — стойкость. Устоять и не свалиться в той жизни, которую я по ее настоянию вспоминаю, это величайший подвиг.

Гораздо легче погибнуть сразу и безвозвратно, но это было бы своеволием, а мы на него не имели права.

В те годы мы часто говорили о гибели. В 1938 году, когда О.М. и Лева уже находились в заключении, мы поднимались с ней по лестнице высокого дома на Николаевской улице. Теперь она, кажется, называется улицей Марата. Там в крошечной и темной каморке большой квартиры умирала от рака моя сестра Аня. «Как долго погибать», — сказала Анна Андреевна. Это она позавидовала Ане, которая уже приближалась к тому берегу. А у нас с ней еще лежал впереди огромный путь. Если бы мы тогда знали длину этого пути, мы, быть может, и свернули бы в сторону — в реку, в трясину, в смерть. Хорошо, что человек не знает своего будущего — от такого знания никому бы не поздоровилось.

Через несколько дней Анна Андреевна провожала меня на вокзал с похорон Ани. Опять переполненные залы, одичалые люди на мешках, разворошенный человеческий муравейник — следствие раскулачивания. «Теперь только так и будет», — сказала Анна Андреевна. Какую-то часть предстоящего нам пути она все-таки видела, а я предпочитала жить текущей минутой — передача, похороны, вернувшаяся посылка, борьба с голодом, эвакуация, опять голод — много всякой горькой беды и заботы, и все время возня со стихами — отнести в один дом, перенести в другой — и все время наизусть: столько-то строчек в этом, столько-то в том, а здесь, видимо, спутала, надо проверить, а потом прописка — пропишет меня здесь милиция или нет, куда же мне ехать со своим стихотворным богатством? Главное — все помнить наизусть, не то двинут в лагерь, с чем я там останусь, если забуду стихи?

Если оглянуться назад, кружится голова — как мы могли это вынести? Но ведь вынесли, выдержали, вытерпели... «Кто думал, что мы до этого доживем?» — не уставала повторять Анна Андреевна.

Сейчас ее нет, и я спрашиваю себя: а мне-то до чего еще придется дожить? Уж не все ли лучшее, что было отпущено на нашу долю, теперь уже позади? Кто его знает... Но свои обязательства я выполнила, а все остальное мне безразлично. Впрочем, не все. Для себя я готова на все, но я не могу больше

смотреть, как терзают других людей, я не хочу больше слышать про тюрьмы, лагеря, допросы, суды и прочие беды. Я твердо помню слова Герцена, что в России всегда считалось преступлением то, что нигде в мире преступлением не считается³³¹.

Мы живем сейчас в новом мире, где люди, проснувшись, — «а» мы были «рано проснувшимися», а может, и не засыпавшими, — начинают думать и жить нашими мыслями, и нашими горестями, и нашими радостями. Но главное — нашими ценностями. Анна Андреевна когда-то сказала: «Ваши дети за меня вас будут проклинать...»³³² Она ошиблась только в одном. К нам пришли не дети наших современников, а внуки. Мы с ней говорили о том, что в нормальных условиях, то есть в тех, которые мы себе могли представить не в настоящем двадцатом веке, а в самом его начале, старость оказалась бы совсем другой. Вокруг нас кипели бы литературные страсти, молодые люди собирались в кружки, общества, цеха, они выпускали бы манифесты и совсем не замечали давно канонизированных и всеми признанных поэтов: кому нужны они, когда всего дороже сегодняшний день? И она, обиженная и благополучная, негодовала бы на эти новые школы и не знала бы, куда себя девать.

Жизнь сложилась иначе. Освободительная сила поэзии ощущается не только нами, но и нашими внуками. Тысячи людей на ее похоронах не случайность. Списки стихов Мандельштама, распространяющиеся по всей стране и формирующие сознание новой, только нарождающейся культурной прослойки — новой интеллигенции внуков, тоже не случайность. Очевидно, мы не напрасно жили. И наше счастье, что, дожив, мы смогли заглянуть в будущее. Происшедшие у нас процессы необратимы. Эпоха сверхчеловека кончилась. Эпоха воли к власти кончена, исчерпалась. Произошел какой-то качественный сдвиг сознания, и мы его видели. Это не значит, что новое отменит старые привычки — внукам еще много придется заплатить за право на свободу мысли, за все, что им придется заново отвоевывать у жизни. Но главное совершилось, и не зря мы жили.

Что еще вспомнить про мою подругу? Как она вдруг сосредоточенно посмотрит на меня и вдруг скажет что-нибудь, и я раскрою от удивления глаза: она поймала мою мысль

и ответила на нее. Или как я говорю: «Ануш, там идут к нам», а она спросит: «Что, уже пора хорошееть?» И тут же — по заказу — хорошеет.

Или как она прочла в каких-то зарубежных мемуарах — женских, конечно, — что она была некрасивой — писала, очевидно, одноклеточная женщина — и Гумилев ее не любил. «Надя, объясните мне, почему я должна быть красивой? А Вальтер Скотт был красивым? Или Достоевский? Кому это в голову придет спрашивать?»

Я уже думала, что обойдется и она забудет про эти мемуары, но не тут-то было. С этого дня началось собирание фотографий. Все знакомые несли ей фотографии: помните, Анна Андреевна, мы у вас вот эту выпросили... Нужна она?.. Анна Андреевна собирала фотографии, там, где она красивая, разумеется, и вклеивала их в альбом. Их собралось столько, что и счесть нельзя: груды, груды, груды... А записать стихи не успела — времени не хватило. Масса стихов осталась незаписанной. И еще могу вспомнить, как она боялась, что после ее смерти вокруг ее наследства начнется драка. Ей противно было думать, что эти бедные тетради станут предметом купли-продажи. Она показала мне надписи, сделанные ее рукой, — куда и в какой архив сдать папки и тетради. Я боялась архивов: случилось ведь, что там уничтожали рукописи по спискам — бумаги такого, такого и этого — уничтожить... Книги-то ведь жгли. Но Анна Андреевна твердо решила сдать в архивы: Лева живет один, в коммунальной квартире — это не годится. Надо все отдать в архивы. Я не возражала...

[Самое непонятное для меня в жизни Анны Андреевны — это ее отношения с Ирой Пуниной, возникшие после второго ареста Левы³³³. До этого они не замечали друг друга ни до войны, ни после, когда Анна Андреевна вернулась в Ленинград.

С Гаршиным все сразу рухнуло, и это было для нее большим ударом. Она прожила несколько дней у своих знакомых, Рыбаковых, а затем вернулась «по месту прописки» — на Фонтанку. Сантиментальное настроение, охватившее Пунина при встрече в Ташкенте, когда он сказал: «Я всегда считал, что у Иры две матери — вы и Анна Евгеньевна» и «Теперь я вижу, что при вас можно прокормиться», — давно испарилось. Тем

более что благословенный паек, который узбеки предоставили эвакуированным писателям, в Ленинграде не выдавался. Пунин и Ахматова прожили эти несколько лет, совершенно не обращая внимания друг на друга, как чужие, не имевшие даже общего прошлого.

Об Ире я тоже ничего не слышала. Вернулся с войны Лева, и они зажили вдвоем. Про Леву Анна Андреевна говорила, что он заботливый, трогательный сын. Грянуло постановление — я была у нее буквально за несколько дней до него. Кстати, через несколько дней после постановления к ней явилась какая-то дама из Союза и предупредила ее, чтобы она никуда в течение месяца не показывалась...

Такие вещи у нас практиковались. Саргиджан, например, после того как избил меня, превысив, вероятно, свои стучаческие полномочия, и был оправдан судом под председательством Алексея Толстого, целый месяц днем не выходил из дому, только ночью. Ровно через месяц распахнулось окно, и Саргиджан вышел во двор вместе с женой. Это заметил О.М. — мы жили рядом во дворе Дома Герцена — страшной трущобы с писательским рестораном и всеми прелестями коммунальной квартиры. Также и Ахматовой «посоветовали» не выходить из дому, чтобы не создавать своим появлением нежелательной — для кого? — сенсации...

Забрали мужчин — Леву и Пунина — в разное время и по разным делам. Женщины остались одни — в полной изоляции. Ахматова и Ира носили передачи и стояли во всех очередях за справками — никаких справок, конечно, не давали, но не стоять казалось невозможным: а вдруг что-нибудь узнаешь... Граждане задавали вопросы, на которые получали таинственно многозначительные и ничего не значившие ответы. Вместе ходить за справками Ахматова и Пунина не могли: для каждой буквы назначался свой день. И все же именно в этот период произошло некоторое сближение Ахматовой с Ирой.

На Ахматову, вероятно, оставляли Аньку — она умела и любила возиться с детьми. Ездил она навещать девочку и на дачу, куда ее вывез детский сад. Ахматовой дали вскоре переводы, а Ира, наверное, вспомнила, как ее отец сказал: «При Ахматовой, оказывается, можно прокормиться», — и взялась вести ее хозяйство или, вернее, кормить ее со своей семьей.

В этом смысле Анна Андреевна была совершенно беспомощна — она никогда себе не сварила картофелину. Зато она знала несколько кухонных рецептов второго сорта и очень ими гордилась — вроде того, что луковку и морковку прежде, чем положить в суп, слегка поджаривают на плите. Она гордо сообщила мне этот рецепт и прибавила: «Так делают все повара...» А я парировала — в кухмистерских... Мне всегда было любопытно, кто хозяйничал, когда Ахматова жила с Шилейкой. Мне легче себе представить его у «буржуйки» с хозяйской ложкой в руке, чем ее. Но тогда был голод и вдвоем они, может, и управлялись с двумя картофелинами или горсточкой пшена...

Эта лень и отвращение к хозяйству ставили Анну Андреевну всегда от кого-нибудь в зависимость, но, вероятно, труднее всего ей пришлось, когда она попала в лапки к Ире. От отца Ира унаследовала резкость и грубость, но Николай Николаевич был умным, даже блестящим человеком; никакого блеска у Иры и в помине не было. Зато неизвестно откуда взявшейся властности и безапелляционности сколько угодно. «У нее появилась привычка тратить по пятьдесят рублей на ужин, когда приходят гости, — объяснила мне как-то Ира, — но я этому быстро положила конец...» «Ты все потратишь в Москве, а потом сюда приезжаешь без гроша. Кому ты тогда нужна?..»

Эти изречения Иры я запомнила навсегда... Она действительно отучила Анну Андреевну не только тратить пятерку на угощение гостей, но даже поить их чаем. Мне случалось приезжать на несколько дней к Анне Андреевне в «будку» и в Ленинград, но останавливаться у нее было почти невозможно. Ира, по-своему хорошо ко мне относившаяся — традиция семьи, где очень любили О.М., — так вела себя, что я предпочла останавливаться где угодно, только не у нее. Однажды я приехала по срочному вызову Анны Андреевны совершенно больная. Мне поставили грязный матрац и вместо простыни дали старую занавеску.

Анна Андреевна немедленно послала кого-то покупать простыни. Оказалось, что на каждого гостя покупаются две простыни, которые потом куда-то исчезают. Я лежала на этом матраце и слушала, как на кухне обедают, — Анны Андреевны не было дома. Она вернулась и первым делом спросила Иру:

почему не позвали Надю обедать? Дальше на кухне разразилась скандал: Ира объяснила, что Анна Андреевна не выдала специально на меня денег, поэтому кормить меня никто не собирается. «Я здесь плачу за каждый глоток воды», — кричала Анна Андреевна, но быстро сдалась, боясь, что я услышу. Ей пришлось, чтобы меня звали к обеду, ежедневно оплачивать «заказ» стоимостью в пять-шесть рублей. Ира использовала мое пребывание, чтобы еще выжать немножко денег, но при этом оставляла на кухне груды грязной посуды и, если находила ее невымытой, устраивала Анне Андреевне скандалы.

Началась эпопея с их выселением из Фонтанного дома. Ира сначала собиралась переехать одна, оставив Анну Андреевну на произвол судьбы; но у Анны Андреевны уже завелись деньги за переводы, и Ира смягчилась. Она согласилась на переезд с ней на улицу Красной Конницы, взяв с нее обещание, что она никогда не покинет ее, даже в случае возвращения Левы. Анна Андреевна к этому времени осталась в полном одиночестве — к ней почти никто не заходил, и страх одиночества сделал свое дело — она согласилась на все условия Иры. В сущности, она попала в руки к этой странной, холодной и властной женщине.

Ира разговаривает железобетонным, как говорила Ахматова, тоном. У нее железные интонации, и что бы она ни говорила, она всегда отдает распоряжения. Она сделала специальностью именем Ахматовой добиваться для себя каких-то удобств и преимуществ. В последнюю зиму «Анна Андреевна» приехала в Москву в отчаянье. Оказалось, что Ира требует от Союза писателей отдельную комнату — в том же доме, но в другой квартире — для Анны Андреевны. Спать Ира разрешала Анне Андреевне на прежнем месте — в худшей из комнат той довольно сносной квартиры, которую ей предоставил Союз. Комната была прямо против уборной и рядом с кухней, но Ира объясняла, что Анна Андреевна ничего не слышит и поэтому ей все равно... Гостей же принимать Анна Андреевна будет по решению Иры в другой квартире — имеет ведь Ахматова право на две комнаты!

«Они меня просто выгоняют», — сказала мне Анна Андреевна. И говорила она об этой попытке выселить ее не одной мне... Действуя именем Ахматовой, Ира добивалась в Союзе

писателей разных скромных благ вроде «будки», квартиры, вместо той, где производился ремонт, путевок и прочей дряни... В свои хлопоты Ира включала знакомых Анны Андреевны — она звонила им из Ленинграда и давала распоряжения сделать то-то и то-то... Копелев, Столярова и многие другие помнят эти звонки Ирины Николаевны Пуниной. Было много шансов, что Анна Андреевна получит отдельную комнату для работы и приема гостей, которые так беспокоили Иру: звонки, шум, а того и гляди — потребуют чаю...

Иногда она приказывала друзьям Анны Андреевны немедленно приехать в Ленинград, чтобы пожить с ней на даче, или в санатории в Комарово, или просто в Ленинграде, так как ни ей, ни ее дочери Ане недосуг возиться со старухой.

Иногда Ира или Аня приезжали в Москву и требовали от друзей Анны Андреевны, чтобы они бегали и по их поручениям: «Мне нужно, чтобы вы пошли туда-то или туда-то», — говорила Ира, и кое-кто поддавался ее внушению, потому что поручения делались именем Ахматовой.

Однажды меня срочно вызвали к Анне Андреевне... Я даже испугалась и немедленно прибежала: что случилось?... Никого в квартире нет, надо, чтобы кто-нибудь посидел с Анной Андреевной... А Ира? Ирочка, оказывается, обещала пойти в гости и поэтому распорядилась, чтобы с Анной Андреевной осталась я... Этого, разумеется, не случилось, на этот раз Ире не позволили распоряжаться.

Я никогда не слышала от Иры ни одного слова ни о чем, кроме денег. Она значилась специалистом по истории искусств, но я понятия не имею, что она любит в этом самом искусстве. Ира хладнокровна, но это не простое хладнокровие, а холодная кровь. Ахматову она третировала, как хотела.] Ира держала ее в ежовых рукавицах: не удастся получить достаточно денег со старухи, уйдет из дому и забудет накормить... А зимой посылала в Москву, чтобы не возиться с ней. И одну зиму за другой Анна Андреевна переезжала от одной подруги к другой — у каждой по две-три недели, чтобы не надоест: Любочка, Ника, Нина Ардова, Маруся, вдова Шенгели³³⁴, какой-то Западов и даже раз Алигер... [Она переезжала от одной подруги к другой с двумя чемоданами — один набитый рукописями, другой — с барахлом...] Но к Ире до весны она

возвращаться не смела... В ту самую квартиру, которую она получила от Союза писателей...

Старость эта была абсолютно бесприютной, только летом «в будке», уродливой литфондовской даче, появлялась иллюзия дома, да, к счастью, ленинградские юнцы-поэты — Бродский, Найман и еще какие-то³³⁵ — не бросали ее, ездили на дачу, дружили с ней и все для нее делали. Ведь она осталась без сына — Ира его не выносила. Я никогда не забуду, как нам позвонила из Москвы Эмма — я гостила у Анны Андреевны — и сказала, что Лева возвращается. Это было в дни массовых реабилитаций³³⁶. Раньше выгнать Леву не удалось. После Двадцатого съезда Сурков обещал помочь, но тут же пошел на попятный. И вот, получив эту радостную весть, Анна Андреевна бросилась к Ире: он на днях вернется!

Я еще стояла у телефона, как до меня донеслись вопли и рыдания Иры. Что случилось? Она рыдала, что возвращается Лева. «С ума она, что ли, сошла?» — спросила я у Анны Андреевны, а смущенная Анна Андреевна объяснила: «Ира плачет, потому что отец ее уже не вернется...» «И мне заплакать? — спросила я. — Ведь Ося тоже не вернется...» Ире бы волю, Лева просидел бы в лагере до конца своих дней. И не почему-либо, а ради доходов, которые она получала от старухи.

Глядя на Иру, я всегда думала о том, как дети не желали унаследовать культуру отцов, их привычки, их понятия о добре и зле. [Пунин — себялюбец, эгоист, единственным законом для которого были собственные прихоти, — все же всегда был существом теплокровным. Он любил живопись и тех, кто ее делал, — пестрое племя художников, увлекался поэзией, сердился, радовался, тосковал. Мы столкнулись с ним на похоронах Левы Бруни, и я увидела, как он переживает смерть товарища, как радуется встрече со мной. Он был полон самых страшных предчувствий, и они вскоре осуществились. О них-то мы и говорили на кладбище — я услышала, с какими горячими интонациями он рассказывает о судьбе своего поколения, и запомнила его выразительное лицо, передернутое тяжелым нервным тиком. Анна Евгеньевна, его жена, была, как полагалось в том поколении, абсолютно порядочным человеком. У нее не было оснований хорошо относиться к Анне Андреевне, но она никогда не вымещала на Леве своей обиды. Это она

кормила Левку, когда он был голоден, и оставляла его ночевать за занавеской, если ему негде было жить. Старые представления о том, как должен себя вести человек, сохранились в ней полностью, и она никогда не переступала границ и не нарушала норм человечности. Эти двое принадлежали к поколению, которое принято называть потерянным, но они еще не потеряли себя и остались людьми. Мне кажется, что по-настоящему погибло не это поколение, уничтоженное, растоптанное, замученное, а их дети. Это они утратили облик человеческий и действительно не знали никаких норм и законов.

Меня поразила грубость Ани, с виду нежной и тихой девушки. Я заметила это давно — они еще жили на Коннице. Пришел счет за телефонный разговор с Москвой, Анна Андреевна попросила Аню зайти на почту — заплатить. Почта была буквально против их дома. Ответ: «Наговорила, сама иди платить, некогда мне с твоими счетами возиться». Девчонке было тогда лет семнадцать, и я сказала Анне Андреевне, что она подает надежды... «Они только так со мной разговаривают», — сказала мне Анна Андреевна. Пунинская резкость превратилась у этих женщин в вульгарное хамство.

Но друзьям Анны Андреевны пришлось увидеть Иру и Аню смягченными и добрыми. Ира присмирела и стала почти ласковой, когда готовилась поездка в Италию. Иру просто подменили... Только и слышалось: Акума, Акума... И Анна Андреевна, вероятно уставшая от постоянной грубости, сияла. Потом в Англию съездила Аня, тоже необычайно заботливая и трогательная: Акума, Акума... Надолго ли? — спрашивали мы друг друга... <...>

С первого дня после возвращения Левы Анна Андреевна была сама не своя — нервная, раздражительная... Оказалось, что Лева даже негде переночевать в этой четырехкомнатной квартире — вторую комнату Анны Андреевны уже занимала Аня и уступать ее Лева не собиралась. Ира непрерывно жаловалась на болезни и лежала с грелкой. Накормить Леву было некому. К счастью, он быстро получил комнату и поселился отдельно. Но работа против Левы продолжалась. Видимо, каждый приход его к матери кончался сценой, которую ей устраивала Ира. Аня, думаю, не отставала. Вскоре Лева был изгнан из дома. Ира и Аня успокоились, но настало время тревожиться Анне

Андреевне. Теперь она зазывала Леву вернуться, но он не соглашался. Не раз Анна Андреевна уговаривала меня поговорить с ним, но я отказывалась, считая, что в этих условиях им лучше не видеться. Ира все равно не допустила бы, чтобы Лева бывал у матери. Между двумя огнями Анна Андреевна металась бы и, вспыхивая и раздражаясь то на одного, то на другого, не прожила бы тех немногих благополучных лет, которые выпали ей на долю. Да и Леву она бы свела с ума — измученный длительной каторгой человек нуждался в покое.

Анна Андреевна умерла, не повидавшись с сыном. Узнав о болезни матери, он приехал в Москву и на этот раз был принят женой Ардова — Ниной Ольшевской. Ему объяснили, что к матери ему идти нельзя, потому что своим видом он ее убьет. Ему предложили ехать обратно в Ленинград, чтобы Нина и Ира подготовили Анну Андреевну к встрече с сыном... Этого сделать они не успели. Лева приехал ко мне после разговора с Ольшевской. Он был бледен, как полотно, и весь трясся.

Волновалась и Анна Андреевна: почему к ней не пускают Леву, чего они хотят от нее — ведь у нее есть законный наследник — родной сын... Меня в свое время удивило, что в период этой последней болезни Ира и Аня не бросили Ахматову, но все время приезжали из Ленинграда и навещали ее. Потом стало ясно, почему они оказались такими ангелами.

Когда-то — после ареста Левы — Анна Андреевна сделала завещание на имя Иры³³⁷, потому что Лева, лагерник, был лишен всяких прав. После лагеря люди попадали в новую беду: нищета, бездомность, безработица. Те, у кого были хоть какие-нибудь деньги, покупали себе сруб в той местности, где им разрешалось прописаться, и спасались от многих ужасов и унижений послелагерной бездомности и бродяжничества. Кров и огород — великая вещь. Если они есть — не пропадешь.

Анна Андреевна хотела, чтобы ее сын избежал участи О.М. и многих других, не имевших денег на ссыльное устройство. Ира обещала ей отдать Леве деньги, которые получит как наследница Анны Андреевны в случае его возвращения из лагеря. Услышав о завещании, я сказала Анне Андреевне: «Ира просто спустит Леву с лестницы и ничего ему не даст...» Анна Андреевна огорчилась: «Как все плохо относятся к Ире... Ира

бедная, но гордая — ничего чужого не возьмет...» Проверить этого не удалось: Лева вернулся, и Анна Андреевна порвала при нем и при Эмме Гершштейн свое завещание. Затем я узнала, что порвать завещание недостаточно, так как у нотариуса хранится копия.

Об этом я сообщила Анне Андреевне. Она пришла в ужас: «Как Ирочка рассердится, если я поеду к нотариусу! Что она об этом подумает?...» И я увидела, что Анна Андреевна просто боится Иры. Почему? Для меня это загадка. В конце концов, Анна Андреевна могла бы устроиться без Иры — у нее было достаточно приятельниц, которые бы о ней позаботились не хуже, а лучше, чем Ира, хотя бы Женя Берковская, человек исключительной доброты и скромности, которая по приказанию Иры и так приезжала к Анне Андреевне, чтобы накормить ее, вымыть или пойти с ней погулять. Какую власть над ней имел железобетонный голос Иры? Я не узнала этого при жизни Анны Андреевны, тем более не пойму этого сейчас, когда ее уже нет.

Анна Андреевна непритворно боялась уничтожить эту копию, чтобы «Ира не обиделась», но перед последней поездкой в Москву все же съездила тайком к нотариусу и все сделала. После ее смерти я узнала, что Ира твердо помнила о завещании и рассчитывала на него. Она собиралась сразу пойти к нотариусу и требовала, чтобы ей немедленно прислали из Москвы свидетельство о смерти.] Ей, вероятно, казалось, что наследство получают, как золотиносные участки на Клондайке в рассказах Джека Лондона: кто поспеет первым.

[В Москве была Аня. Ей кто-то сообщил, что завещание уничтожено. Она этому не поверила и по телефону все время успокаивала мать. Мы прилетели в Ленинград одним самолетом. После панихиды я из церкви поехала к Пуниным — останавливалась я в том же доме у своих друзей. Был накрыт большой стол — поминали Анну Андреевну, а я зашла в комнату к Ире. Бродский сообщил мне, что из Москвы привезли чемодан с рукописями Анны Андреевны. Мы посоветовались с ним и решили поскорее унести его в безопасное место. Я сказала Ире, что следует отнести рукописи подальше, иначе придут представители Союза и опишут их. Где они? Ира ответила контрвопросом: есть ли завещание? Я сказала ей, что завещания нет, наследник

сын. Ира заломила руки, застонала, закричала и вдруг своим обычным настойчивым и твердым голосом, напоминавшим мне интонации Пунина, заявила: «Анна Андреевна распорядилась, чтобы Лева не смел дотрагиваться до ее бумаг...» «Неправда», — ответила я.

Мы много раз говорили с Анной Андреевной о судьбе рукописей. Она на главных тетрадях написала, в какой архив их сдать. Ее смущало, что Лева живет в коммунальной квартире. Целый день его нет дома, и любой сосед может зайти в комнату и порыться в бумагах. Об Ире и Ане в связи с рукописями не заходило даже вопроса. Больше всего Анна Андреевна боялась, что после ее смерти начнутся споры из-за наследства. «Чего они пристают ко мне с наследством? — жаловалась она мне. — У меня есть сын. Это все принадлежит ему...»

Ира вслед за мной вышла в комнату, где жила Анна Андреевна. Там сидел Лева и еще несколько человек. Я обратилась к Лева и рассказала ему, что завещание, сделанное, когда он сидел в лагере, уничтожено, поэтому наследником Анны Андреевны является он один. При этом я попросила его не забывать про Иру: «Вам надо ей помочь, — сказала я. — Ведь Анна Андреевна ей всегда давала деньги...» Лева поднял голову: «Деньги? — сказал он. — Сколько угодно...»

Я повторила, что нужно унести рукописи из дому. Лева согласился, но я заметила, что он не слушает и не слышит, что я говорю. Действительно, он вскоре ушел, поручив разборку рукописей Нике Глен и Юле Живовой. Потрясенный смертью матери, он ничего не соображал. Как только он ушел, Ира прогнала Нику и Юлю и завладела архивом. Наиболее ценная часть, находившаяся в чемоданах, привезенных из Москвы, сразу попала к ней в комнату. Люди, которые привезли эти чемоданы, — Копелев и, кажется, Кома Иванов — до сих пор плачутся, что не догадались придержать бумаги, чтобы они не попали в цепкие пунинские руки.

Дальше следуют попытки Иры и Ани выдать себя за наследниц — Аня сообщила об этом Саломее в расчете на дополнительные доходы, повторяла это в редакциях, куда носила рукописи для публикаций, но, убедившись, что гонорары все равно пойдут законному наследнику, мать с дочерью перешли на торговлю оптом — продали бумаги Анны Андреевны в архивы.

Все ли бумаги проданы? Сомневаюсь. Остановить и проверить их не удалось даже комиссии по наследству — Иру не смущали ни печати, ни описи. Она действовала напропалую и достигла своего.

Если бы речь шла не о бумагах, а о примитивных ценностях, про нее сказали бы, что она бандитка. Действительно, в ее бесстыдстве и удалстве было нечто от настоящей уголовницы, ловкой и наглой бандитки. Мужья Иры и Ани³³⁸ — их выбирали тихоньких и послушных — скрывались где-то на фоне, действовали женщины. У меня создалось впечатление, что обе они никогда не слышали о праве, о законах, о правилах элементарной порядочности. Ира действовала своим железобетонным голосом, которым она застращивала Анну Андреевну. Она ходила к нотариусу объяснять, что она и есть наследница и дочь, и в сберкассе, пробуя получить по книжкам.

В учреждениях, выяснив, что нельзя просто объявить себя наследницей, она стала ссылаться на распоряжения Левы, которых он ей, разумеется, никогда не давал. На следующем этапе, когда дело уже перешло в суд, Ира попробовала бить на жалость — бедная сирота, на кого вы поднимаете руку... Прибегала она и к прямому шантажу — с Левой: «Дай денег, или я...» Следя за ее действиями, я поняла, что она способна абсолютно на все — недаром женщин из «хорошей семьи» у нас постоянно вербовали в стукачек. Они ведь боролись за свою жизнь, а до всего прочего им никакого дела не было.

Ира, конечно, не стукачка, но она своевластно исправляла ошибку Ахматовой, оставившей наследство своему родному сыну, так тяжело пострадавшему за нее, а не милой Ирочке, «бедной, но гордой», как старомодно определила ее Анна Андреевна. Что же это такое? Откуда эта дикость у дочери Пунина? Как могла она стать заурядной мошенницей или просто бандиткой? Кто же потерянное поколение — сам Пунин, еще живой, своевольный и дикий человек с необузданными страстями, или его дочь, принадлежащая к измельчавшему поколению, выросшему в эпоху бесправия и одичания. Лишенная всех страстей и обыкновенного жизнелюбия, она охвачена единственной мыслью о борьбе за существование и о деньгах, с помощью которых все-таки можно выжить... Искусствоведка, которая читает лекции по запискам отца и травит вернувшегося из лагеря

каторжника, потому что чует в нем конкурента, сонаследника, и боится, как бы он не отнял у нее кусок площади и хлеба...

А последняя степень деградации — это маленькая Аничка, отравившая себе челку, которой так хочется быть наследницей Акумы... Одичавшие потомки себялюбцев десятых годов...

Анна Андреевна боялась вульгарной буржуазной драки вокруг своего наследства. Буржуа знает, что у него есть, и умеет распорядиться своим имуществом. Драки за наследство продолжаются и среди нас — нищих. Дерутся за бабкин сруб и за дедушкину дачу, за юбку старой тетки и за жилплощадь, которая по наследству не переходит. А наше личное своеобразие в том, что мы, нищие, всю жизнь скитавшиеся из дома в дом, таскаем за собой драгоценные листочки черновиков, которые ничего не стоят и ценятся дороже золота. У нас отнимали эти листочки и жгли их в специальных печах, прятали их в таинственных архивах, куда нет доступа и где неизвестно что хранится. Мы давали эти листочки на хранение, и люди хранили их, рискуя собственной жизнью.

Но находились и особые любители, бравшие наши листочки, заранее зная, что никогда их нам не вернут. Я передала Рудакову, такому преданному, такому — Боже мой! — верному другу Мандельштама и его поэзии, — самые существенные черновики и записи стихов Мандельштама, больше половины стихотворного архива, уцелевшего от первого ареста. Рудаков смело взялся их хранить. Я знала, что он нелепый мальчишка с диким самолюбием и еще бóльшим сомнением. Ему казалось, что он напишет гениальную книгу о поэзии, но в середине тридцатых годов его претензии казались вполне благородным чудачеством; в те дни никто не собирался писать никаких книг о поэзии: зачем заниматься заведомо запрещенным и бесполезным делом? Рудаков как будто слушал то, что говорит О.М., и это тоже нас трогало: кто слушает слова ссыльного поэта? Выбора у нас не было — пришел Рудаков и так и остался сидеть в нашей воронежской комнате. Ему некуда было деваться, и «мы» никем не могли бы его заменить. Мы замечали, что он несет всякую чушь — о поэзии, о том или ином стихотворении, чего-то кипятится и что-то пробует

объяснить и доказать... Вероятно, мы думали, что он вырастет и поумнеет, во всяком случае, не обращали внимания на его болтовню.

И Анна Андреевна воспользовалась благородным предложением этого славного мальчика и отвезла ему на саночках весь архив Гумилева³³⁹. Мальчишку убили на войне. Осталась вдова, а у вдовы остались рукописи. Гумилевым она торгует, а когда я пробовала выяснить, что она сделала с Мандельштамом, ответы получались самые различные: архив будто бы забрали, когда ее, Лину, арестовали, причем сидела она всего один день; по другой версии — Лину арестовали на один день, а ее мать сожгла все бумаги³⁴⁰; и, наконец, удивленный вопрос Лины, когда я ее прямо спросила, где же бумаги, которые я дала на хранение ее мужу: «Это вы про эти маленькие листочки? Сережа, кажется, их переписал...» Я вспомнила, что Рудаков, обожавший каллиграфию, объяснял мне, что Мандельштам должен сохраниться в его почерке — уж очень он красиво пишет — тушью на прекрасной бумаге... Но в одном из его писем к жене, раздобытых у нее Харджиевым, мы прочли жалобы Рудакова на то, что он учит Мандельштама писать стихи, а слава несправедливо достанется не ему, а Мандельштаму...³⁴¹ Судя по этим обрывкам писем, мальчишка оказался настоящим маниаком. Он воображал себя великим поэтом, великим теоретиком и еще чем-то таким... Ежедневно писал жене огромные письма, сочиняя свои разговоры с Мандельштамом, где Мандельштам объявляет его своим наследником, хвалит его и ведет безумные речи об искусстве. Что сделал этот мальчишка с архивом? Все, кто тихонько покупает у его вдовы рукописи Гумилева, единодушно говорят, что Мандельштама она им ни разу не предлагала. Неужели он действительно уничтожил эти рукописи? Или «переписал»? Куда они девались?³⁴² Там пропали все черновики «Третьей воронежской тетради»; кроме того, там были записи из книги «Стихотворения» — и беловые, и черновики. Мне повезло только в одном: он требовал через Эмму Герштейн, чтобы я отдала ему все остальное. По его мнению, весь архив должен храниться в одном месте. Эмма, конечно, поддерживала его. Она просто настаивала, чтобы я ему все отдала. Но я этого не сделала. По-моему, в таких обстоятельствах, как наши, надо хранить

рукописи не в одном, а в разных местах — одно место провалится, другое сохранится. К тому же я и тогда не очень верила, что Рудаков вернет мне эти бумаги. Впрочем, об этом я не очень задумывалась. Главная цель была ясна — лишь бы сохранить, а в чьих руках — несущественно. Анна Андреевна, узнав обо всем и просмотрев выписки из его писем, решила, что он готовился к плагиату, то есть собирался объявить мандельштамовские стихи своими. И это возможно, хотя уверенности Анны Андреевны я не разделяю. Мне даже кажется, что такой плагиат невозможен: печать личности настолько сильна в стихах, что от автора их не оторвать. Гораздо легче украсть какой-нибудь тягучий роман или повесть. Впрочем, и это можно сделать только с человеком, который еще никогда не выступал в печати. Но как украсть стихи зрелого поэта, чей голос уже прозвучал и еще не отзвучал? Кража рукописей явление куда более заурядное — у нас, нищих, есть ценности, которые можно украсть: клочки исписанной бумаги. Как их сохранить? Как дожить до того дня, когда будешь уверен в их сохранности? Сколько нам еще ждать?

И Мандельштам и Ахматова относились к своим рукописям абсолютно легкомысленно. О.М. говорил мне про одного человечка: если он стащит какую-нибудь бумажку, делай вид, будто не заметила... Он этим живет... А на все попытки посоветоваться с ним, кому дать и куда спрятать, отвечал: «Делай как знаешь... Если это чего-то стоит, все равно сохранится...» Ахматова же на все мольбы записать некоторые вещи или отдать их в верное место на хранение, говорила: «Чего вы так меня торопите? Это всегда в наших руках... Успеем...» Она даже поклялась мне раз, что все сделала, как я ее просила: «Надя, не беспокойтесь, все уже сделано», — а на проверку оказалось, что она меня обманула, лишь бы я от нее отвязалась с этими бумажонками. Что они так относились к бумагам, можно легко понять: что им до этих «буквенниц», как О.М. назвал в «Разговоре о Данте» рукописи, когда существовали звучащие стихи... Между тем уже при их жизни случались казусы, что стихи забывались, а бумажки не было. После «выемок» 34 года О.М. со мной восстанавливал все стихи тридцатых годов — рукописи так и не вернулись к нам. Случайно сохранились кое-какие списки, запрятанные мной, не то

мы бы многого не вспомнили. У Рудаковой пропало несколько стихотворений, из которых я помню только отдельные строчки. Я была так уверена, что там они сохранятся, что не стала их запоминать. А одно стихотворение — про Крит³⁴³ — мы пробовали вспомнить вместе с О.М., потому что я его нечаянно отдала, не переписав для себя. И вспомнить точно ни ему, ни мне не удалось. В нем не хватает каких-то строф. И наконец, стихи про похороны Андрея Белого: «Откуда привезли?..» Эмма Герштейн взяла после обыска единственную запись, а потом, испугавшись, сожгла ее³⁴⁴. Мы припоминали эти стихи вместе с О.М., но там остались пустые места. Таких примеров со стихами О.М. найдется еще немало. Куда девались стихи про то, как «мы» «шили платье у бедной портнихи»³⁴⁵?.. Очень уж мне жаль их... А с Анной Андреевной тоже случались такие беды. «Китежанка» сохранилась только потому, что я переписала ее в Ташкенте и дала одному мальчику. Иначе нам бы ее не припомнить. Сколькo Анна Андреевна мучилась, вспоминая первую строфу стихотворения про боярыню Морозову («Я знаю, с места не сдвинуться»), но так и не вспомнила. Рукопись находится у Макогоненко, но он делает вид, что у него нет ничего... А может, он ее потерял или уничтожил, как Эмма. Кто его знает. Наконец, пропавший «Пролог» и чудное место из «Поэмы без Героя» перед строками об Урале и о дороге, по которой везли сына. Там говорится о Москве — вдовьей столице. Записывать их нельзя было, а как жаль этих исчезнувших строк... Без «буквенницы» и при жизни поэта трудно прожить, а после его смерти и совсем плохо... Вот и продрожала я всю жизнь над своими листочками, над крохотной долей стихотворного архива Манделъштама и не могу без бешенства вспомнить рачьи глаза вдовы преданного Рудакова, торгующей письмами Гумилева³⁴⁶. Что мне с ней делать? Я бессильна. А что делать Леве с Ирой? Ведь неизвестно, куда и что она продала, а что еще лежит у нее под подушкой. Может, там еще целая гора бумаг... Когда накануне похорон я пыталась переправить архив в верные руки и запугивала Иру Союзом писателей — вот они сейчас придут и все опишут, надо поскорее унести все подальше, — она совершенно спокойно ответила: «Ничего, я спрячу все к себе под подушку...» Иру вывозит кривая — и в этой кривой она, видно, ни разу

не усумнилась. Иначе разве она стала бы действовать напропалую, без оглядки и с такой лихостью, что только ахаешь от удивления...

Я занялась паразитами, хладнокровными животными и раскапыванием грязных историй про кражи автографов, черновиков и архивов — словом, всякой мемуарной дребеденью, а в результате запуталась и потеряла нить. Нельзя безнаказанно во всем этом рыться, и не мое это дело. Кто поставил меня судьей над ними и что я в них понимаю? Может, в железобетонной Ире и мелколицей Аньке есть что-то человеческое, чего я просто не сумела разглядеть... Мне кажется, что я даю запоздалые советы Анне Андреевне, как ей жить, с кем ей жить, кому оставить бумаги, кого выгнать и кого приласкать... Если б это услышал Мандельштам, он бы здорово надо мной поиздевался. Стоило мне раньше раскрыть рот, как он говорил: «Знаю, знаю — очень умная, даю советы...» Сам он советов не давал, никого ничему не учил и в судьбы не лез. В своей собственной жизни никто из нас разобраться не может, во всей той путанице, чепухе и бестолочи, в которой мы жили... Куда уж там давать советы! Дай Бог голову сносить.]

Одичавшие дети советских отцов показали себя с самой худшей стороны. Все бумаги Анны Андреевны попали в руки Иры — она воспользовалась тем, что живет с ней в одной квартире, и сейчас она торгует ими, возмещая себе за потерю наследства. И первый вопрос, который Ира мне задала, когда мы очутились вдвоем — тело Анны Андреевны еще стояло в церкви и шла панихида, — был про наследство: что я знаю про завещание, есть ли завещание в ее пользу, получит ли она наследство, неужели оно достанется Леве, с какой стати?!

Почему Анна Андреевна давным-давно не отреклась от Иры, не выгнала ее, возилась с ней и терпела все ее хамство? Не знаю. Она часто жаловалась на Иру, но оставалась с ней. Быть может, она просто боялась остаться одна или помнила, что обещала в Ташкенте ее отцу не бросать Иру с ее дочерью Аней. «У Иры две матери», — сказал тогда Пунин. Может, это обещание и решило судьбу А.А.

Не знаю. Знаю только, что до конца жизни она оставалась бездомной, бесприютной, одинокой бродягой. Видно, такая судьба поэтов. И она не переставала удивляться своей судьбе: у всех есть хоть что-то — муж, дети, работа, хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь... Почему у меня ничего нет?..

А все-таки мы устояли и сделали все, что могли. Спасибо и за это, что хватило сил и стойкости.

Мы вспомним незаписанные стихи, мы соберем их, мы их не забудем.

Примечания

Впервые: Надежда Мандельштам [Об Ахматовой] / Публ., послесл. и примеч. П. Нерлера // Лит. учеба. 1989. № 3. С. 134–158. Отдельными изданиями книга выходила в 2007 («Новое издательство») и 2008 г. (изд-во «Три квадрата»). Печатается по машинописи, в свое время подаренной Н.Е. Штемпель П.М. Нерлеру и впоследствии переданной им в РГАЛИ (Ф. 3398, Н.Е. Штемпель). При этом впервые восстановлены многочисленные сокращения (наиболее существенные фрагменты для удобства чтения заключены в квадратные скобки) по двум более ранним редакциям из личного архива Н.М., который в 1983 г. был незаконно изъят у Ю.Л. Фрейдина во время обыска органами КГБ и в настоящее время также находится в РГАЛИ (Ф. 1893. Оп. 3. Ед. хр. 105–107). Название книге дано составителями.

¹ Предположительно надпись А. Ахматовой на ее книге «Бег времени» (М.; Л.: Сов. писатель, 1965), подаренной Н.М. (местонахождение не установлено).

² Из стихотворения А. Ахматовой «Какая есть. Желаю вам другую...».

³ Датой первой встречи с О.М. Н.М. считала 1 мая 1919 г.

⁴ См. примеч. 48 на с. 501.

⁵ Из стихотворения О.М. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (1930).

⁶ Речь идет о К.Б. Лившице.

⁷ 27 августа 1938 г. вышел циркуляр НКВД, предоставлявший одному из супругов, оставшихся на воле, возможность развода в одностороннем порядке с осужденным/осужденной.

⁸ От he-man (англ.) — настоящий мужчина.

⁹ Квартира Н.Н. Пунина находилась по адресу: Фонтанка, д. 34, кв. 44; здесь с 1925 по 1952 г. (с перерывами) жила А. Ахматова.

¹⁰ Н.Н. Пунин и его первая жена, А.Е. Пунина (Аренс).

¹¹ В Пскове Н.М. жила в 1962–1964 гт.

¹² См. запись Л.К. Чуковской от 29 декабря 1962 г.: «Анна Андреевна потребовала у меня совета: что делать с “Реквиемом”? Давать или не давать в редакцию, а если давать, то в какую? Я ответила: Твардовскому, в “Новый мир” <...>, самый смелый и самый интеллигентный из наших журналов» (Чуковская. Т. 2. С. 603–604). Ю.Г. Оксман, посетив А. Ахматову 19 января 1963 г., записал: «Несмотря на все мои уговоры, А.А. послала в “Новый мир” весь “Requiem” <...>. Уверяет, что сделала это только потому, что “Реквием” пошел уже по рукам, может попасть за границу и т. п., а потому ей необходимо показать, что не считает этот цикл нелегальным» («Человек жизнерадостный и жизнедеятельный...» (Набросок портрета Ю.Г. Оксмана по материалам его архива) / Обзор А.Д. Зайцева // Встречи с прошлым. — М.: Сов. Россия, 1990. Вып. 7. С. 561).

¹³ Ср. высказывание А. Ахматовой в записи В.С. Франка: «Да, у нас Орлов готовил том Мандельштама, а потом все дело заморозил — вероятно, по указанию. Но мы в России обходимся теперь без изобретения Гутенберга, без печатания. Все переписывается от руки» (Франк В.С. Избранные статьи. — London: OPI, 1974. С. 35–36).

¹⁴ На XX съезде КПСС (14–25 февраля 1956 г.) Н.С. Хрущев выступил с половинчатыми разоблачениями культа личности И.В. Сталина, возложив всю ответственность за репрессии лично на Сталина, а не на всю систему советской власти.

¹⁵ В третий раз Л.Н. Гумилев был освобожден 11 мая 1956 г. (см. подробнее примеч. 103 на с. 760).

¹⁶ С 10 ноября 1965 по 19 февраля 1966 г. (Летопись жизни Ахматовой. С. 698, 705).

¹⁷ По адресу: ул. Ордынка, д. 17, кв. 13.

¹⁸ В конце 1965 г. Н.М. въехала в собственную однокомнатную квартиру по адресу: ул. Большая Черемушкинская, 50, корп. 1, кв. 4.

¹⁹ Скорее всего, речь идет о посещении, состоявшемся 26 ноября 1965 г. (Летопись жизни Ахматовой. С. 699). По-видимому, тогда же В.Т. Шаламов передал А. Ахматовой следующую записку: «Вы живы благодаря тому, что тысячи людей шлют Вам свои приветы, свои пожелания доброго здоровья. Я пил за Ваше здоровье нектар надежды и у Пастернака, и у Солженицына...» (Шаламов В. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. — М.: Эксмо, 2004. С. 764).

²⁰ С конца августа до двадцатых чисел октября 1943 г. А. Ахматова перенесла три тяжелых болезни: скарлатину, стрептококковую ангину и заболевание сердца (Летопись жизни Ахматовой. С. 371–372). «Листки» — «Листки из дневника», воспоминания А. Ахматовой об О.М., над которыми она работала с 1957 по 1963 г.

²¹ *Это и сейчас непонятно — ведь она действительно была всегда! (Цит. стихотворение А. Ахматовой «Памяти В. Срезневской»: «Почти не может быть, ведь ты была всегда...» — С.В., П.Н.)

²² *Да какой там дом! Никакого дома у нее не было. [До самой смерти она скиталась и только и чувствовала себя оседлой, что на даче в Комарово, где Литфонд дал ей паршивую раскрашенную будку.] А из больницы ей хотелось ко мне, но я не решилась: как быть без телефона — вдруг что-нибудь случится или надо «будет» вызвать неотложку? [Лучше бы я взяла ее к себе и не отпустила бы ни в какой санаторий... Может, она прожила бы еще хоть немного.]

²³ Из стихотворения О.М. «1 января 1924».

²⁴ Н.М. имеет в виду выступление М.А. Шолохова на XXIII съезде КПСС 1 апреля 1966 г. Часть его речи была посвящена делу А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля, арестованных 8 и 12 сентября 1965 г. и в феврале 1966 г. приговоренных к семи и пяти годам исправительно-трудовой колонии строгого режима за «агитацию и пропаганду, проводимую в целях подрыва или ослабления советской власти», выразившуюся в виде несанкционированных публикаций за рубежом: «Иные, прикрываясь словами о гуманизме, стенают о суровости приговора <...>. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным

правосознанием” (*аплодисменты*), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (*Аплодисменты.*) А тут, видите ли, еще рассуждают о “суровости” приговора» (Правда. 1966. 2 апреля).

²⁵ См. примеч. 71 на с. 504.

²⁶ См. примеч. 82 на с. 506.

²⁷ Суд над А.Д. Синявским и Ю.М. Даниэлем проходил с 10 по 14 февраля. После публикации за рубежом цикла стихотворений А. Ахматовой «Реквием» ее также могли привлечь к ответственности.

²⁸ Из стихотворения А. Ахматовой «Подражание Кафке».

²⁹ Гражданская панихида состоялась во дворе морга больницы Московского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, траурный митинг открыл В.Е. Ардов, выступили Л.А. Озеров, Е.Г. Эткинд и А.А. Тарковский, а затем митинг был внезапно прекращен. Л.А. Озеров вспоминал о том, как, обратившись к нему, Н.М. сказала: «Наш долг собрать свидетельства всех, кто знал Анну Андреевну и способен честно рассказать об этом...» (Воспоминания об Ахматовой. С. 612).

³⁰ Среди них были Б.В. Ардов, В.Е. Ардов, Н.К. Бруни, Э.Г. Герштейн, Н.Н. Глен, Л.А. Зыков, А.Г. Каминская, В.С. Муравьев, А.Г. Найман, Л.А. Озеров, М.С. Петровых и А.А. Тарковский.

³¹ Намек на обстоятельства похорон А.С. Пушкина, когда власти, желая свести к минимуму проявление народных чувств, назначили вынос тела в ночное время (в связи с чем в доме покойного находились не только друзья, но дежурили и жандармы) и прибегли к намеренной дезинформации о месте отпевания: оно должно было состояться в церкви при Адмиралтействе, а состоялось в Конюшенной церкви.

³² Приводим воспоминания Р.Д. Орловой об этом собрании, которое состоялось 9 марта 1966 г.: «В тот же вечер было собрание в Союзе писателей — “Итоги литературного года”. Кто-то из президиума объявил: — Умерла Анна Ахматова. Почтим ее память вставанием. — Тамара Владимировна Иванова говорила взволнованно и гневно: — Во дворе морга мне было смертельно стыдно за нашу организацию. Ведь времени было достаточно. Митинг мог быть и не стихийным, мог бы быть и здесь. <...> Ответ секретаря московского отделения: — Два слова о похоронах. <...> Конечно, московскому отделению — и я себя

тут не отделяю — надо найти возможность проводить Ахматову. Эту ошибку надо исправить, сделать большой вечер. А покойников бояться не надо!» (Орлова, Копелев. С. 295–296). Приводим также дневниковую запись К.И. Чуковского об этом собрании: «Горячо протестовали против подлого молчания о выносе тела Ахматовой. Это сделали по распоряжению ЦК, даже на стенке не вывесили объявления. Думали, что дело сойдет шито-крыто. Но на собрании в Союзе самые тихони с негодованием кричали: “позор”. Михалков, произнесший знаменитую фразу: — Слава богу, что у нас есть ГПУ! — был обруган единогласно» (Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2007. Т. 13. Дневник (1936–1969). С. 428).

³³ В статье «Промежуток» (1924), одна из частей которой посвящена поэзии О.М., Ю.Н. Тынянов не столько предсказывал, сколько констатировал «расцвет» прозы и «отступление» поэзии: «Три года назад проза решительно приказала поэзии очистить помещение... Факт остается фактом: проза победила» (Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М.: Наука, 1977. С. 168–169).

³⁴ В 1930-е годы О.М. печатался в журналах «Звезда» (1931. № 4; 1933. № 5), «Новый мир» (1931. № 3; 1932. № 4, 6) и в «Литературной газете» (1932. 23 ноября).

³⁵ В точности не установлено, но не исключено, что подразумевается И.П. Уткин, который около года (до ноября 1942 г.) находился в Ташкенте на излечении после ранения на фронте. В Ташкенте он написал множество военных стихов и действительно имел круг поклонниц (см.: Громова Н. «Все в чужое глядят окно». — М.: Совершенно секретно, 2002. С. 119–120). Н.М., конечно же, могла и не знать, что Уткин ни эвакуированным, ни одесситом не был (он родился на станции Хинган Китайско-Восточной железной дороги).

³⁶ Приводим некоторые подробности этого визита: «Во время войны «Вольпин» и драматург Эрдман, ближайший его друг, оба в военной форме, навестили, попав в Ташкент, Ахматову. Они знали только приблизительно, где находился дом, и, по ее словам, всякий, у кого они спрашивали, в какой она живет квартире, спешил, в уверенности, что “за ней пришли”, сообщить им что-нибудь разоблачительное. Когда же они, почитительно держа ее под руку, вышли из дому и через пять минут

вернулись с большими бутылками вина, собравшиеся у крыльца были в смятении и глубоком разочаровании...» (*Найман*. С. 130).

³⁷ Цитаты из поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах» и стихотворения «Вам!»: «Я лучше в баре блядам буду / подавать ананасную воду».

³⁸ См. в статье О.М. «Утро акмеизма»: «Сознание своей правоты нам дороже всего в поэзии...»

³⁹ Имеется в виду Э.Г. Бабаев и его жена, Л.В. Глазунова, отец которой был старшим оперуполномоченным (см. о нем примеч. 25 на с. 496).

⁴⁰ *Кое-кто утверждает, что и в самые страшные годы сохранялись люди, живущие поэзией. Они, мол, и передали следующим поколениям свою эстафету. Может, так и было, но кто поручится, что они не несли эстафету Брюсова и Маяковского? Не случайно ведь мы их не видели. Другие, например Гладков, близкий когда-то к Мейерхольду, удивляются, как это они не знали, что Мандельштам так бедствовал в ссылке: они бы уж, наверное, прислали ему денег. А я, простите, в это не верю. Это говорит сейчас и брат О.М. — Евгений. После победы поэт обретает много друзей, а в годы борьбы его поддерживают только те, кто действительно знает, за что он борется. Это не просто друзья, а соратники. А новые друзья — сколько из них в те годы нашли бы отличный довод, как бы не дать денег: постройка дачи отнимает уйму средств, получка только через месяц, когда вас уже успеют ужокошить, или вовсе он не такой уж могучий поэт, я лично люблю Сельвинского и Багрицкого, и почему этот Мандельштам бездельничает — пусть работает, как все люди, пьесы отчего не пишет?..

⁴¹ С письмами в защиту А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля выступили Вяч.Вс. Иванов, Л.З. Копелев, В.Н. Корнилов, Л.К. Чуковская, Ю.И. Левин и др. А.И. Гинзбург составил и опубликовал за границей документальный сборник материалов о процессе под названием «Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля» (Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967).

⁴² Отпевать А. Ахматову Л.Н. Гумилев попросил отца Василия Бутыло, однако органы КГБ запретили ему это делать, и отпевание 10 марта 1966 г. в Николо-Богоявленском Морском соборе совершили его настоятель отец Александр Медведский и диакон Петр Колосов.

⁴³ «Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах “Звезда” и “Ленинград”» объявило А. Ахматову «типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии» и указало, что «ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, <...> наносят вред нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе» (Власть и интеллигенция. С. 588). Оно было отменено ЦК КПСС лишь 20 октября 1988 г.

⁴⁴ Согласие на съемку отпевания А. Ахматовой от имени Союза писателей дал С.А. Шустеру А.А. Сурков (Наше наследие. 2006. № 77. С. 116). О том, что происходило на паперти собора после окончания съемки, вспоминала режиссер Л.А. Лазарева: «Тут был директор кинохроники, Валерий Михайлович Соловцов, и главный редактор. Тут же какие-то люди, весьма стереотипно выглядевшие, — сразу понятно, из какой организации. На моих глазах они выхватывали у наших операторов, Аркадия Рейзентула и Анатолия Шафрана, пленки; вероятно, тут же засвечивали их. А директор держал в руках блокнот и записывал всех сотрудников кинохроники, выходящих из собора» (Копылов Л., Позднякова Т. Послесловие: Мартовские дни 1966 года. — СПб.: Невский диалект, 2006. С. 18). О тех же событиях тридцать лет спустя вспоминал бывший кинооператор КГБ В.Б. Поляков: «Один из <...> писателей-доброхотов, который, по-видимому, и сообщил в органы о том, что группа Арановича собирается снимать в церкви, и который сейчас имеет большое имя, был на приеме у <...> секретаря обкома... Толстикова <...> и сказал: “Ну, в принципе, ну что для России Ахматова?” И студия кинохроники получила указание уничтожить, смыть все материалы, отснятые ими. По-моему, они успели напечатать контрольную копию, и куски этой контрольной копии все-таки остались» (Там же. С. 18, 20). Уцелевшие материалы съемок пролежали на полке до 1989 г. и были использованы в фильме С.Д. Арановича «Личное дело Анны Ахматовой». За съемки отпевания и похорон А. Ахматовой режиссер С.Д. Аранович на полгода был переведен в ассистенты, а операторы А. Рейзентул и А.Д. Шафран уволены (Ахматовский сборник. С. 108).

⁴⁵ В своем выступлении М.П. Алексеев подчеркнул важную роль пушкиноведческих работ А. Ахматовой и отметил, что ее статья «Последняя сказка Пушкина» хотя и вызвала

в свое время «продолжительную полемику, однако отрицательное отношение к установленной А. А. <...> зависимости сюжета пушкинской сказки от новеллы Ирвинга не имело достаточных оснований: речь шла не о гипотезе, а о бесспорном факте» (Алексеев М.П. А.А. Ахматова: [Некролог] // Временник Пушкинской комиссии, 1964; АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка. Пушкинская комиссия. — Л.: Ленингр. отд-ние изд-ва «Наука», 1967. С. 70). Позднее Ахматова намеревалась отказаться от переиздания этой статьи либо печатать ее в переработанном виде (Ахматова А. О Пушкине: Статьи и заметки. — Л.: Сов. писатель, 1977. С. 229).

⁴⁶ На панихиде также выступили М.А. Дудин, О.Ф. Бергольдц, М.И. Борисова и Н.И. Рыленков.

⁴⁷ Речь идет о Д.В. Бобышеве, И.А. Бродском, А.Г. Наймане и Е.Б. Рейне.

⁴⁸ Из поэмы В.В. Маяковского «Хорошо!».

⁴⁹ Заупокойная лития все-таки состоялась, ее провел отец Василий Бутыло.

⁵⁰ С биркой на ноге хоронили заключенных в лагерях; далее цитируются предсмертные слова царя Давида «Аз отхожду в путь вся земля...» (3 Цар 2:2), которые А. Ахматова использовала в названии своей поэмы, написанной в 1940 г.

⁵¹ С.В. Михалков, в то время первый секретарь правления Московской организации СП РСФСР, был на похоронах А. Ахматовой в качестве официального представителя от Союза писателей. Он, «когда его объявили, “достал из кармана бумагу с машинописным текстом и прочел нечто бесцветное, бездумное”. Казенный официоз его выступления <...> прозвучал диссонансом» (Копылов Л., Позднякова Т. Послесловие: Мартовские дни 1966 года. — СПб.: Невский диалект, 2006. С. 28). Б.Л. Клещенко вспоминала о разговоре с А. Ахматовой осенью 1965 г.: «Хорошо помню ее устное завещание: “Не хочу, чтобы меня похоронили в Комарово (хочу — в Павловске!), не хочу, чтобы председателем похоронной комиссии был Сергей Михалков...”» (Русаков Э. История одного автографа // Красноярский рабочий. 2002. 20 декабря).

⁵² Отец Василий Бутыло.

⁵³ 16 мая 1965 г. квартет тогдашних студентов Ленинградской консерватории — С.М. Волков (первая скрипка),

В. Киржаков (вторая скрипка), В. Коновалов (альт) и С. Фирлей (виолончель) — исполнил для А. Ахматовой 9-й квартет Д.Д. Шостаковича (Летопись жизни Ахматовой. С. 680). После ее похорон произведения И.С. Баха и Й. Гайдна исполнило трио в составе: С.М. Волков (скрипка), Ю.Л. Кочнев (альт) и Е. Рутковский (виолончель).

⁵⁴ Приведем описание этого вечера, принадлежащее Л.З. Копелеву: «Первый вечер памяти Ахматовой устроили студенты математического факультета МГУ 31 марта 1966 года. За полчаса до начала Тарковского и меня пригласили в деканат. Секретарь парткома и заместитель декана, встревоженные и смущенные, спросили, о чем мы собираемся говорить. Не можем ли показать тексты или хотя бы “тезисы выступлений”. Мы отказались: — Никаких текстов и тезисов нет. Будем говорить то, что знаем, помним. — Но вы понимаете, не надо заострять, ведь возможны политически сомнительные моменты. Среди наших студентов, то есть у некоторых, есть нездоровый интерес... Ведь было известное постановление ЦК, оно еще не отменено. Но, с другой стороны, конечно, великая поэтесса... Это первый вечер, нельзя допускать, чтобы возникла нездоровая политическая сенсация. — Мы с разной степенью раздраженности отвечали, по сути, одно и то же. Мы не собираемся устраивать никаких политических демонстраций, все будут говорить о великом поэте. Начал студент *В. Гефтер*: “Анна Андреевна обещала нам в прошлом году, что в первый же приезд в Москву придет к нам. Она не пришла, но она с нами”. *Арсений Тарковский*: “...Анна Ахматова умерла в том возрасте, когда людей принято считать старыми. При каждой встрече с ней я радовался тому, что ее ум становился все глубже, поэзия все больше адресована векам. Процесс внутреннего развития продолжался у нее до самого конца...”» (*Орлова, Копелев*. С. 299–300). На вечере выступили также М.И. Алигер, С.И. Липкин, Вяч. Вс. Иванов, Л.З. Копелев и др., в заключение прозвучали записи голоса А. Ахматовой, сделанные И.Д. Рожанским.

⁵⁵ «Бег времени» (М.; Л.: Сов. писатель, 1965).

⁵⁶ В другом варианте этого эпизода речь идет о «старухе прислуге» в доме О.А. Судейкиной: «Она считала, что хозяйке и ее подруге живется плохо: “...А Анна Андреевна сперва хоть

жужжала, а теперь не жужжит. Распустит волосы и бродит, как олень. Первоученые к ней приходят улыбаются, а уходят невестелье»» (Найман. С. 119).

⁵⁷ Н.М., по-видимому, имеет в виду домработницу Багрицких М.С. Брагину (см. о ней в кн.: Арская Н.А. Родные лица. — Новосибирск: Изд-во «Свиньин и сыновья», 2013. С. 166–170). По адресу: ул. Фурманова (совр. Нащокинский пер.), 6, кв. 26 О.М. и Н.М. проживали с осени 1933 вплоть до ареста поэта в мае 1934 г.

⁵⁸ Л.А. Иванова погибла 16 июня 1924 г., во время прогулки по Финскому заливу на моторной лодке, столкнувшейся с пассажирским судном. Анализ обстоятельств этой загадочной смерти см.: Хитрова Д. Кузмин и «смерть танцовщицы» // Новое лит. обозрение. 2006. № 78. С. 241–243.

⁵⁹ Цитируются стихотворения из цикла А. Ахматовой «Разрыв» (1, 3).

⁶⁰ Имеется в виду книга: Голлербах Э. Царское Село в поэзии. — СПб.: Парфенон, 1922.

⁶¹ Речь идет о стихотворении А. Ахматовой «Годовщину последнюю празднуй...».

⁶² В судебном решении от 8 июня 1926 г. о расторжении брака между А. Ахматовой и В.К. Шилейко значится, что «брак супругов Шилейко и Ахматовой-Шилейко был совершен в декабре 1918 г. в гор. Ленинграде в нотариате Литейной части...» (Владимир Шилейко: Последняя любовь: Переписка с Анной Ахматовой и Верой Петровой и другие материалы. — М.: Вагриус, 2003. С. 71).

⁶³ «Измена есть <...> самоисцеление любви, “починка” любви, “заплата” на изношенное и ветхое. Очень нередко “надтреснутая” любовь разгорается от измены еще возможным для нее пламенем и образует сносное счастье до конца жизни. Тогда как без “измены” любовники или семья равнодушно бы отпали, отвалились, развалились; умерли окончательно» (Розанов В.В. Опавшие листья. — СПб., 1913. С. 212–213.).

⁶⁴ См. с. 526.

⁶⁵ Л.Н. Гумилев и Н.Н. Пунин были арестованы 22 октября 1935 г. по обвинению в «создании контрреволюционной террористической организации» (Летопись жизни Ахматовой. С. 288). 1 ноября А. Ахматова обратилась к И.В. Сталину

с письмом, в котором, в частности, говорилось: «Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести» (Там же. С. 290). В тот же день написал письмо вождю и Б.Л. Пастернак. Напомнив Сталину о его телефонном звонке по поводу ареста О.М. («Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища»), поэт попросил его помочь Ахматовой. На копии первого письма имеется резолюция: «т. Ягода, освободить из-под ареста и Пунина, и Гумилева и сообщить об исполнении. И. Сталин». Гумилева и Пунина освободили 3 ноября (Там же).

⁶⁶ Из поэмы А. Ахматовой «Реквием». К Кутафьей башне Ахматова приносила для передачи упомянутое выше письмо И.В. Сталину (Там же. С. 288).

⁶⁷ В третий раз Н.Н. Пунина арестовали 26 августа 1949 г. (Воспоминания об Ахматовой. С. 470–471), умер он 21 августа 1953 г. в Абезьском лагере (Пунин. С. 432).

⁶⁸ Л.Н. Гумилев был арестован в третий раз 6 ноября 1949 г. В опубликованных протоколах допросов Н.Н. Пунина упоминаний о Л.Н. Гумилеве нет (Пунин. С. 420–422). Летом 1952 г. Пунин сумел переслать с оказией из лагеря в Абези записку И.Н. Пуниной, в которой, в частности, писал: «Я осужден не трибуналом, так как для суда матерьяла не было, а особым совещанием; дело мое — 35-й год и космополитизм. Они долго затруднялись, как быть с освобождением 35-го года, пренебрегли; мне подпортил, не желая этого, Гумилев; меня пришили к его делу, хотя, видимо, он не содействовал этому» (Там же. С. 429).

⁶⁹ Л.А. Бруни скончался 26 февраля 1948 г., похоронен 29 февраля в Москве, на Даниловском кладбище. «Был очень сильный мороз. Пунин единственный стоял с непокрытой головой и повторял: “Счастливый Левушка”. За этими парадоксальными словами скрывалось предчувствие грядущих бед. Незадолго до смерти Бруни вся страна прочитала в “Правде” знаменитое партийное постановление об опере В. Мурадели “Великая дружба”. Это был знак к началу очередных идеологических гонений» (Сарабьянов А. Жизнеописание художника Льва Бруни. — М.: Русский авангард (РА); Галерея Г.О.С.Т., 2009. С. 166).

⁷⁰ Поездка О.М. и Н.М. в Ленинград из Калинина состоялась в конце февраля — начале марта 1938 г. (см.: с. 406).

⁷¹ В своих воспоминаниях «Встречи с Мандельштамом» Н.К. Чуковский писал о воронежской высылке О.М.: «Пользуясь слабостью надзора, гонимый голодом и тоской, он несколько раз сбежал оттуда в Москву и однажды добрался даже до Ленинграда» (Москва. 1964. № 8. С. 152).

⁷² На вечере памяти О.М. на механико-математическом факультете МГУ 13 мая 1965 г. Н.М. в разговоре с Н.К. Чуковским подвергла сомнению изложенный в его воспоминаниях рассказ о том, как он встретил О.М. «в мохнатом темно-сером пиджаке, который ему <...> подарил Юрий Павлович Герман», на вечере у В.И. Стенича в Ленинграде, куда поэт якобы приехал, отлучившись из Воронежа, а «через неделю Стенич был арестован» (Там же). На самом деле такая поездка и встреча О.М. со Стеничем состоялись в июле 1937 г., после возвращения поэта из высылки в Воронеж, а Стенича арестовали 14 ноября 1937 г.

⁷³ См. примеч. 511 на с. 568.

⁷⁴ В «Листках из дневника» А. Ахматова писала: «Последнее стихотворение, которое я слышала от Осипа, — “Как по улицам Киева-Вия...” (1937). Это было так. Мандельштамам было негде ночевать. Я оставила их у себя (в Фонтанном доме). Постелила Осипу на диване. Зачем-то вышла, а когда вернулась, он уже засыпал, но очнулся и прочел мне стихи. Я повторила их. Он сказал: “Благодарю вас” — и заснул» (Листки из дневника. С. 120). Начальные строки упомянутого стихотворения О.М.: «Как по улицам Киева-Вия / Ищет мужа не знаю чья жинка, / И на щеки ее восковые / Ни одна не скатилась слезинка» — перекликаются со стихотворением Н.С. Гумилева «Из логова змиева»: «Из логова змиева, / Из города Киева, / Я взял не жену, а колдунью».

⁷⁵ Н.М. приводит стихотворение А. Ахматовой «Немного географии», посвященное О.М.

⁷⁶ Стихотворение А. Ахматовой «Немного географии», посвященное О.М.

⁷⁷ См. примеч. 72.

⁷⁸ На самом деле Н.М. покинула Саматиху, скорее всего, 6 мая — именно этим числом помечена полученная ею справка о пребывании в здравнице (Слово и «Дело». С. 90). Об обыске на бывшей квартире О.Э. и Н.Я. Мандельштамов в Калининe см. примеч. 548 на с. 573.

⁷⁹ 24 марта 1960 г. А. Ахматова подарила Н.И. Пушкинской свою книгу «Стихотворения» (М.: ГИХЛ, 1958) с дарственной надписью: «Нине Пушкинской, ожидая ее стихов о Ташкенте дружески Ахматова» (Летопись жизни Ахматовой. С. 547), а 19 мая получила от нее в подарок книгу «Красные маки» (Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1960) со следующей надписью: «Анне Ахматовой / Храню глубину Ваших строгих очей, / неистовость бури гражданских речей, / тепло и сиянье улыбки храню / в запомнившем Вас навсегда краю. / Нина Таринова» (Там же. С. 549).

⁸⁰ С 1 марта 1944 по 19 января 1949 г. Н.М. работала старшим преподавателем кафедры иностранных языков Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте (РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Ед. хр. 8).

⁸¹ Речь идет о Н.М. Штейнберг, с семьей которой И.Д. Ханцин связывали самые близкие, сердечные отношения.

⁸² В разговоре 27 февраля 1966 г. А. Ахматова сказала: «Я только сейчас узнала, что академик Виноградов участвовал в этой подлости, был председателем экспертной комиссии. А ведь он настоящий ученый, мы пятьдесят лет знакомы, даже дружны. Он интересно писал о моих стихах. Но теперь нельзя подавать ему руки» (Орлова, Копелев. С. 291).

⁸³ Из стихотворения Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю...».

⁸⁴ Из стихотворения А. Ахматовой «Не недели, не месяцы — годы...».

⁸⁵ *Я мало знаю об отце Анны Андреевны. Он служил по морскому ведомству, вышел в отставку, отдал пенсию жене и удрал к горбатой. С его стороны никаких родственников Анны Андреевны не видела. Это, вероятно, он был горбоносым — хохол: у них там всякой крови наболтано — и греческой, и татарской. Сам он иногда приезжал к ней в Царское и однажды, не застав ее дома — она ночевала у Вали Срезневской, — забеспокоился: «Вы, женщины, так и попадаетесь», — поучал он дочку. А еще раньше, когда они всей семьей жили в Царском, он посмотрел на Анюту, как она, распустив волосы, бегала, как олень, и с презрением сказал: «Декадентская поэтесса...» Анна Андреевна редко вспоминала отца, чаще всего «она рассказывала» о том, как плохо было ей, когда пришлось из Царского

переехать на Украину... Он ей нужен был для иллюстрации мужской слабости — хотел, чтобы его слушали... Вот и все, что осталось у Анны Андреевны от отца.

⁸⁶ Из стихотворения А. Ахматовой «Какая есть. Желая вам дружку...».

⁸⁷ *О.М. перестал даже ездить в любимый им Коктебель и решил туда поехать только после смерти Волошина. В радиоповести «Юность Гёте» О.М. собрал все, что считал характерным для периода становления поэта. Это тоже своеобразное автопризнание. Там есть эпизод — Гёте попадает в плохую компанию. Для себя такой «плохой компанией» юности он считал Волошина и Георгия Иванова и жалел, что некому было его остановить.

⁸⁸ Так, например, в 1945 г. А. Ахматова говорила И. Берлину, что «все школьные учительницы уверены (а некоторые будут так думать всегда), что у нее с Блоком был роман...» (Воспоминания об Ахматовой. С. 445). См. также свидетельство Н.А. Роскиной: «Когда Анна Андреевна прочитала записные книжки Блока и увидела, что не оставила в них следа, — это уязвило ее. Не раз я слышала ее высказывания в таком духе: “Как известно из записных книжек Блока, я не занимала места в его жизни...”» (Там же. С. 537).

⁸⁹ *«А Николай Иванович?» — спросила я. Он задумался: действительно не выходит, но тут же нашелся: «Колониальные войска...».

⁹⁰ Из стихотворения О.М. «Как дерево и медь — Фаворского полет...» (1937): «И в кольцах сердится еще смола, сочась, / Но разве сердце лишь испуганное мясо?»

⁹¹ В начале 1918 г. Н.Н. Пунин был назначен комиссаром Русского музея и одно время совмещал эту должность с должностью комиссара Эрмитажа, А.С. Лурье возглавлял Музыкальный отдел Народного комиссариата просвещения.

⁹² Речь идет не о шведском литературоведе и переводчике Э. Местертоне (который тоже посещал А. Ахматову), а об американском критике А.М. Уильямсе: «Этот мистер задал с места в карьер такой вопрос: “Вы пели или читали свои стихи в ресторанах?” Очень многие представляют себе дело так: в 1911–1916 годах была хорошая русская литература — Бунин, Чириков, Куприн, Аверченко, а рядом не то богема,

не то эстрада с Вертинским и Ахматовой» (Глекин Г. Из записок о встречах с Анной Ахматовой // День поэзии. — М.: Сов. писатель, 1988. С. 215).

⁹³ Речь идет о воспоминаниях В.А. Неведомской о жизни А. Ахматовой и Н. Гумилева в имении его матери Слепнево и об их «игре в “цирк”»: «Ахматова выступала как “женщина-змея”; гибкость у нее была удивительная — она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилев, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать — кто мы такие? Гумилев не задумываясь ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу “программу”. Публика пришла в восторг, и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли» (Новый журнал. Нью-Йорк, 1954. Кн. 38. С. 184).

⁹⁴ Речь идет о разборе стихотворения «Высокие своды костела...» в книге Б.М. Эйхенбаума «Анна Ахматова: Опыт анализа» (Пг., 1923): «Тут уже начинает складываться парадоксальный своей двойственностью (вернее — оксюморонностью) образ героини — не то “блудницы” с бурными страстями, не то нищей монахини, которая может вымолить у бога прощенье» (цит. по кн.: Эйхенбаум Б. О поэзии. — Л.: Сов. писатель, 1969. С. 136). Формулировка «не то монахиня, не то блудница» попала отсюда в статью об А. Ахматовой в «Литературной энциклопедии», подписанную инициалами «М. и С.» (С.А. Малахов и В.Г. Совсун): «Эротическое переживание является для творчества поэтессы той осью, вокруг которой вращается ее духовный мир. Однако глубочайшее чувство обреченности, которое пронизывает социальное сознание вымирающей группы, проходит и через эту область, окрашивая ее в сумеречные тона предсмертной безнадежности. Эти настроения сочетаются с мистическими переживаниями, также характерными для классов нисходящих, создавая противоречивый на первый взгляд образ А. героини “не то монахини, не то блудницы”...» (ЛЭ. Т. 1. Стб. 281),

а оттуда напрямик в доклад А.А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», «разъясняющий» постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года: «...мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой — таков духовный мир Ахматовой. <...> Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой» (Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». — М.: Госполитиздат, 1946. С. 13).

⁹⁵ См. примеч. 511 на с. 568.

⁹⁶ «Вся всемирная история плывет в (рациональных) гипнозах и самогипнозах» (Розанов В.В. В темных религиозных лучах. — М.: Республика, 1994. С. 237).

⁹⁷ Кампания по делу врачей-отравителей длилась с 1948 по 1953 г.

⁹⁸ С 4 февраля 1949 по 1 апреля 1953 г. Н.М. работала в Ульяновском пединституте старшим преподавателем кафедры иностранных языков и жила в институтском общежитии.

⁹⁹ Намек на записи, которые вела Л.К. Чуковская.

¹⁰⁰ Речь идет о повреждениях, которые собор Нотр-Дам в Реймсе получил в ходе боевых действий в Первую мировую войну. См. стихотворение О.М. «Реймс и Кёльн» (1914).

¹⁰¹ См. примеч. 425 на с. 555.

¹⁰² Упомянутый вечер московских и ленинградских поэтов, среди которых была и А. Ахматова, состоялся 3 апреля 1946 г. в Колонном зале Дома Союзов. Шестого апреля 1946 г. Л.В. Горнунг записал в своем дневнике: «Вечером после <...> выступления Ахматовой мне рассказали, что, когда она вышла на эстраду, публика, поднявшись со своих мест, встретила ее громом аплодисментов и в течение 15 минут не давала ей начать свое выступление» (Летопись жизни Ахматовой. С. 404–405).

¹⁰³ Первый раз Л.Н. Гумилев был арестован 22 октября и освобожден 3 ноября 1935 г., после второго ареста (10 марта 1938 г.) он был приговорен к пяти годам и отправлен в Норильлаг, в октябре 1944 г. ушел добровольцем на фронт, был награжден медалями «За победу над Германией» и «За взятие Берлина», демобилизован в сентябре 1945 г., восстановлен в ЛГУ, который окончил в начале 1946 г. и поступил в аспирантуру Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР, откуда был исключен с формулировкой «в связи с несоответ-

ствием филологической подготовки избранной специальности». В декабре 1948 г. защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук. Шестого ноября 1949 г. был вновь арестован, осужден на 10 лет, освобожден 11 мая 1956 г.

¹⁰⁴ Согласно воспоминаниям И.Н. Пуниной, после третьего ареста Л.Н. Гумилева А. Ахматова некоторое время «лежала в беспамятстве. <...> Следующие дни Анна Андреевна опять все жгла» (Воспоминания об Ахматовой. С. 471).

¹⁰⁵ Так, например, Э.Г. Бабаев сохранил рукопись поэмы «Путем вся земли» (первоначальное название «Китежанка») (Бабаев. С. 12).

¹⁰⁶ Речь идет о стихотворениях А. Ахматовой «De profundis... Мое поколение...» и «Здесь девушки прекраснейшие спорят...».

¹⁰⁷ Из стихотворения О.М. «Ламарк» (1932).

¹⁰⁸ Подразумевается сб.: Ахматова А. Стихотворения. — М.: ГИХЛ, 1958, — первый из вышедших после печально известного постановления 1946 г. «Анна Андреевна хоть и «была» рада своему сборнику, но и огорчена им: она уверяет, что книжка эта — ерунда, мусор, что она только введет в заблуждение читателей (“так это-то и есть хваленая Ахматова? стоило огород городить!”)» (Чуковская. Т. 2. С. 309). Надписывая Л.К. Чуковской экземпляр «Стихотворений», А. Ахматова сказала: «Я многим на этой книжке пишу: “Остались от козлика рожки да ножки”» (Там же. С. 361).

¹⁰⁹ Имеются в виду книги А. Ахматовой «Стихотворения» (М.: Худ. лит-ра, 1961) и «Бег времени» (М.; Л.: Сов. писатель, 1965).

¹¹⁰ Из пьесы А. Ахматовой «Энума элиш. Пролог, или Сон во сне».

¹¹¹ *Для нас, кстати, все это было не новостью — ничего другого вообще мы не видели, а вот для Зощенко это оказалось и неожиданностью, и ударом.

¹¹² Ср. об этом с. 406.

¹¹³ В.С. Старцев.

¹¹⁴ И.К. Глухов скончался в 1962 г.

¹¹⁵ Осенью 1954 г. В.С. Старцев переехал в г. Молотов (Пермь) и назначен «переводом» завкафедрой экономической географии Молотовского педагогического института.

¹¹⁶ Имеется в виду роман В.В. Набокова «Приглашение на казнь».

¹¹⁷ «Поэма без Героя». Ч. I. Гл. 1.

¹¹⁸ См. об этом же у А. Ахматовой: «После некоторых колебаний решаюсь вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что это может дать людям материал для превратного толкования наших отношений» (Листки из дневника. С. 108). В 1917–1918 гг. О.М. написал несколько стихотворений, обращенных к А. Ахматовой.

¹¹⁹ По-видимому, именно их имел в виду О.М., когда в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан...» (1931) вспоминал, как он «от красавиц тогдашних — от тех европейнок нежных» «убежал к nereидам на Черное море».

¹²⁰ Из стихотворения М. Цветаевой «Ты запрокидываешь голову...».

¹²¹ *О.М. очень ценил в Марине ее неистовую любовь к поэзии и то, что она влюблялась в поэтов, в частности в Тихона Чурилина, стихи которому она писала почти одновременно со стихами О.М.

¹²² Из цикла А. Ахматовой «Полночные стихи» (2).

¹²³ «Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало. Писатели значительные от ничтожных почти только этим отличаются: смотрятся в зеркало — не смотрятся в зеркало» (Розанов В.В. Опавшие листья. — СПб., 1913. С. 199–200). Ср. разговор с Н.М., зафиксированный в записных книжках Л.Я. Гинзбург: «Н.Я.: — Розанов, кажется, говорил, что есть писатели, которые смотрят в зеркало, когда пишут, и писатели, которые не смотрят. — Это отчасти, вероятно, то, что мы называем лирическим героем (пренадоедливый термин). Блок смотрел в зеркало, Маяковский смотрел, Ахматова... А Пастернак смотрел? — Пастернак смотрел, но, к счастью, безуспешно. Он ведь вроде мамонта. Ну, представьте себе — мамонт топчется перед зеркалом... Что он там может увидеть? — Мандельштам до невероятного обходился без зеркала. И сознательно. Так он понимал современного поэта; о чем и говорил в стихах и прозе. А все же... Не было у него таких соблазнов?.. Таких аспектов саморассмотрения? Аспекта трагического поэта, гони-

мого? — Нет, знаете, стоило прийти приятелям и принести ему вина и немного еды, он забывал сразу, что он трагический поэт» (Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. — СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 274).

¹²⁴ Стихотворение 1943 г.

¹²⁵ «Поэма без Героя». Ч. I. Гл. 3.

¹²⁶ Из стихотворения А. Ахматовой «Если б все, кто помощи душевной...».

¹²⁷ Речь идет о М.М. Циммермане, друге и поклоннике А. Ахматовой; одно время он заведовал режиссерским управлением Государственного академического театра оперы и балета (бывшего Мариинского театра). В стихотворении А. Ахматовой «Если плещется лунная жуть...», о котором пишет Н.М., есть строка: «Над грядой белоснежных нарциссов» с вариантом «царскосельских».

¹²⁸ Из цикла А. Ахматовой «Тайны ремесла» (7).

¹²⁹ Из стихотворения А. Ахматовой «За меня не будете в ответе...».

¹³⁰ Из стихотворений О.М. «К немецкой речи» (1932) и «Кому зима арак и пунш голубоглазый...» (1922).

¹³¹ См. примеч. 472 на с. 560.

¹³² «Поэма без Героя». Ч. II.

¹³³ См. примеч. 38 на с. 750.

¹³⁴ Из стихотворения О.М. «Куда мне деться в этом январе?...» (1937).

¹³⁵ Правка текста не завершена.

¹³⁶ «К стихам».

¹³⁷ Из стихотворения О.М. «Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...» (1930).

¹³⁸ Из стихотворения А. Ахматовой «Какая есть. Желаю вам другую...».

¹³⁹ Из стихотворения А. Ахматовой «Не недели, не месяцы — годы...».

¹⁴⁰ «Сборная цитата», первая часть которой — общераспространенное речение (от зари до зари), а во второй используются фрагменты «Четвертой прозы» О.М.: «Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немых романес и столько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам...», «Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза

обегу по бульварным кольцам Москвы <...>, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре...».

¹⁴¹ Из стихотворения О.М. «Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...».

¹⁴² По адресу Казанская, 3, кв. 4 А. Ахматова снимала две комнаты в ноябре 1923 – апреле 1924 г. С О.А. Глебовой-Судейкиной она жила на набережной Фонтанки, 2.

¹⁴³ См. примеч. 283 на с. 536.

¹⁴⁴ Начало стихотворения А. Ахматовой «Есть в близости людей заветная черта...», посвященного Н.В. Недоброво.

¹⁴⁵ Из стихотворения А. Ахматовой «Я знаю, ты моя награда...».

¹⁴⁶ См. шуточное стихотворение О.М. «Привыкают к пчеловоду пчелы...» (1934), обращенное к А. Ахматовой.

¹⁴⁷ Одно время О.М. и Н.М. жили по адресу: ул. Герцена (Большая Морская), 49, кв. 4.

¹⁴⁸ Фарфоровая статуэтка работы Н.Я. Данько. В 1934 г., из-за нехватки денег на билет из Москвы, куда Ахматова ездила навестить Мандельштамов, она продала ее в Музей Союза писателей (в настоящее время находится в ИМЛИ). *Великий металлист* — памятник (скульптор М.Ф. Блох), открытый 8 ноября 1918 г. в Петрограде перед Дворцом Труда по плану «монументальной пропаганды»; утрачен в конце 1919 г.

¹⁴⁹ Н.Д. Мандельштам (урожд. Дармолатова) скончалась после вторых родов.

¹⁵⁰ Н.Е. Мандельштам.

¹⁵¹ Во время войны Н.Е. Мандельштам оставалась в блокадном Ленинграде с бабушкой, М.Н. Дармолатовой, а в 1942 г., после ее смерти, выехала в эвакуацию в с. Арбаж, Кировской области, где в том же году и скончалась.

¹⁵² Речь идет о двух письмах О.М., обращенных к Е.Я. Мандельштаму: «Здравствуй, брат! Впрочем — кажется уже не брат. Это — уже не брат. Это — что-то другое. Ося» (4 января 1937 г.); «Ты мою жизнь давно оценил и для тебя она предмет далеко не первой необходимости. Но у тебя есть дети. Когда-нибудь они поймут, что ты делаешь. Им придется краснеть за отца. <...> Денег я у тебя не прошу, но запрещаю тебе где бы то ни было называть себя моим братом» (8 января

1937 г.). Эти письма были написаны, по-видимому, в ответ на сообщение Е.Э. Мандельштама о том, что он не в состоянии в достаточной мере помогать О.М. (ранее, несмотря на крайнюю стесненность в средствах, он посильную помощь оказывал). Скорее всего, они представляют собой не копии, а подлинники, так и не отправленные адресату (по сообщению Е.П. Зенкевич, вдовы Е.Э. Мандельштама, он этих писем не получал).

¹⁵³ В 1926–1929 г. Е.Э. Мандельштам являлся секретарем Ленинградского отделения Московского общества драматических писателей и композиторов (МОДПИК). В 1946 г. он стал работать в документальном кино, сначала как редактор и консультант, а с 1958 г. — как сценарист. По его сценариям сняты научно-популярные фильмы «У порога сознания» (1958, совместно с Н.И. Жинкиным), «Шанс жизни» (1963), «В глубины живого» (1966, совместно с Н.И. Жинкиным и Д.С. Даниным). Под «киноуспехом» Н.М. имеет в виду, скорее всего, Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых, присужденную Е.Э. Мандельштаму и его коллегам в 1967 г.

¹⁵⁴ См.: Т. 2, примеч. 362 на с. 662–664.

¹⁵⁵ «Жизнь упала как зарница...» (1924) и «Я буду метаться по табору улицы темной...» (1925). Памяти О.А. Ваксель О.М. посвятил стихотворения «Возможна ли женщине мертвой хвала...» (1935–1936) и «На мертвых ресницах Исакий замерз...» (1935).

¹⁵⁶ В 1925 г. В.Е. Татлину было сорок лет. В 1921–1925 г. он состоял в незарегистрированном браке с М.А. Гейнце.

¹⁵⁷ *Я в ужасе вырвала у него трубку, но он нажал на рычаг, и я успела только услышать, что она плачет.

¹⁵⁸ Ср. реплику А. Ахматовой об О.А. Ваксель, зафиксированную ее сыном, А.А. Смольевским, со слов И.Н. Пуниной: «Ослепительная красавица» (Смольевский А.А. Ольга Ваксель — адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама // Лит. учеба. 1990. № 1. С. 165).

¹⁵⁹ *Я видела страничку ее воспоминаний об этом, но там все сознательно искажено: она, очевидно, сохранила острое чувство обиды. (См.: Т. 2, примеч. 362 на с. 662–664. — С.В., П.Н.)

¹⁶⁰ Ю.Ф. Львова.

¹⁶¹ См.: Т. 2, с. 258–259.

¹⁶² Стихотворения О.М. «К пустой земле невольно припадая...» и «Есть женщины, сырой земле родные...» (1937). По свидетельству Н.Е. Штемпель, показав ей оба стихотворения, О.М. добавил: «Надюша знает, что я написал эти стихи, но ей я читать их не буду. Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом» (Осип Мандельштам в Воронеже. С. 52).

¹⁶³ См. в стихотворении О.М. «На каменных отрогах Пизии...», датированном 10 мая 1919 г.: «Высокий дом построил плотник дождей, / На свадьбу всех передушили кур...»

¹⁶⁴ Из стихотворения О.М. «Вернись в смесительное лоно...» (1920): «Нет, ты поллюбишь иудея, / Исчезнешь в нем — и Бог с тобой».

¹⁶⁵ См. главу «Скрытые автопризнания» во «Второй книге» (Т. 2, с. 255–266).

¹⁶⁶ Из стихотворения О.М. «Чарли Чаплин» (1937).

¹⁶⁷ Н.М. имеет в виду следующий фрагмент из радиоконпозиции О.М. «Молодость Гёте» (1935): «Чтобы понять, как разворачивалась жизнь и деятельность Гёте, нужно также помнить, что его дружба с женщинами, при всей глубине и страстности чувства, была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода жизни в другой».

¹⁶⁸ Из перевода О.М. из старофранцузского эпоса «Сынвья Аймона».

¹⁶⁹ Н.М. имеет в виду следующий фрагмент из очерка О.М. «Путешествие в Армению»: «Горячее конское око красавицы косо и милостиво нисходит к читателю. <...> Сколько крови пролито из-за этих недотрог! Как наслаждались ими завоеватели!»

¹⁷⁰ Речь идет о письмах О.М. к Н.М., датированных октябрем – ноябрем 1925 г.

¹⁷¹ Начальные строки стихотворения О.М., написанного в 1930 г.

¹⁷² Имеются в виду стихотворения О.М., обращенные к Н.Е. Штемпель — «К пустой земле невольно припадая...» (1937) и к М.С. Петровых — «Мастерица виноватых взоров...» (1934).

¹⁷³ Речь идет о шуточном стихотворении О.М. «Мне вспомнился старинный апокриф...» (1934).

¹⁷⁴ Стихотворение О.М. «Возможна ли женщине мертвой хвала?..».

¹⁷⁵ В письме от 27 апреля 1937 г. О.М., в частности, писал: «Я сейчас на редкость здоров и готов к жизни. Мы ее начнем, куда бы и где бы ни бросила судьба. Сейчас я буду сильнее стихов. Довольно им помыкать нами. Давай-ка взбунтуемся! Тогда-то стихи запляшут по нашей дудке...»

¹⁷⁶ Цитата из радиокomпозиции О.М. «Молодость Гёте».

¹⁷⁷ Цитируются стихотворения А. Ахматовой «Годовщину последнюю празднуй...», в котором есть строки: «И трепещет, как дивная птица, / Голос твой у меня над плечом», и «Не недели, не месяцы — годы...»

¹⁷⁸ *О.М. напрасно мне объяснял, что если я не работаю, то только потому, что мне нечего сказать. Он был прав, но я не хотела этому верить.

¹⁷⁹ Этот пансион находился по адресу: ул. Московская, 1.

¹⁸⁰ *Этого я знала до знакомства с Анной Андреевной.

¹⁸¹ Подразумевается перевод О.М. из старофранцузского эпоса «Сыновья Аймона».

¹⁸² Фраза из выступления И. Сталина на встрече с советскими писателями на квартире М. Горького 26 октября 1932 г. Приведем также в связи с этим свидетельство Ю.Б. Борева: «Виктор Шкловский рассказывал мне в мае 1971 г. в Переделкино, что афоризм “Писатели — инженеры человеческих душ” был высказан Олешей на встрече писателей со Сталиным в доме Горького. Позже Сталин корректно процитировал эту формулу: “Как метко выразился товарищ Олеша, писатели — инженеры человеческих душ”. Вскоре афоризм был приписан Сталину, и он скромно примирился с авторством» (Борев Ю.Б. Сталиниада. — М.: Сов. писатель, 1990. С. 93). В статье «Человеческий материал» (Известия. 1929. 7 ноября) Ю.К. Олеша писал: «Если я не могу быть инженером стихий, то я могу быть “инженером человеческого материала”» (Душенко К. Цитаты из русской литературы. — М.: Эксмо, 2007. С. 466).

¹⁸³ Из стихотворения О.М. «С розовой пеной усталости у мягких губ...» (1922).

¹⁸⁴ См. примеч. 285 на с. 537.

¹⁸⁵ Имеются в виду строки из стихотворения А. Ахматовой «Песня последней встречи»: «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки».

¹⁸⁶ См. примеч. 48 на с. 501.

¹⁸⁷ «Поэма без Героя». Ч. II.

¹⁸⁸ «И как-то я увидел пляску смерти — брачный танец фосфорических букашек. Сначала казалось, будто попрыгают огонечки тончайших блуждающих пахитосок, но росчерки их были слишком рискованные, свободные и дерзкие. Чорт знает куда их заносило! Подойдя ближе: электрифицированные сумасшедшие поденки подмаргивают, дергаются и, вычеркивая, пожирают черное чтиво настоящей минуты. Наше плотное тяжелое тело истлеет точно так же и наша деятельность превратится в такую же сигнальную свистопляску, если мы не оставим после себя вещественных доказательств бытия».

¹⁸⁹ Из стихотворения А. Ахматовой «Помолись о нищей, о потерянной...».

¹⁹⁰ Сокращенный текст стихотворения О.М. «Как облаком сердце одето...» (1910).

¹⁹¹ Из стихотворения А.С. Пушкина «Воспоминание».

¹⁹² Из стихотворения О.М. «Под грозowymi облаками...» (1910).

¹⁹³ См. первую строфу стихотворения О.М. 1910 г.: «Как облаком сердце одето / И камнем прикинулась плоть, / Пока назначенье поэта / Ему не откроет Господь».

¹⁹⁴ Из стихотворения А.С. Пушкина «Воспоминание»: «И с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу и проклинаю, / И горько жалуясь, и горько слезы лью, / Но строк печальных не смываю».

¹⁹⁵ Из ранней редакции стихотворения А.С. Пушкина «Воспоминание».

¹⁹⁶ Из стихотворения О.М. «Люблю под сводами седья тишины...» (1921).

¹⁹⁷ *Этой способностью человека орудовать готовыми элементами пользуется всякая политическая пропаганда.

¹⁹⁸ Парафраз известной цитаты, приписываемой Жозефу де Местру, посланнику Сардинии в России: «Поскреби русского, и обнаружишь татарина».

¹⁹⁹ Легендарные слова М. Лютера, произнесенные 18 апреля 1521 г. перед сеймом Священной Римской империи в Вормсе в ответ на предложение отречься от «еретических»

взглядов, которые использованы в качестве эпиграфа (на немецком языке) и первой строки стихотворения О.М. (1915).

²⁰⁰ Часть крылатого выражения «Если Бога нет, все позволено», которое описывает взгляды Ивана Карамазова из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», хотя и не является цитатой из него.

²⁰¹ Из стихотворения В.В. Маяковского «За что боролись?»: «И доносится до нас / сквозь губы искривленную презрь: / “Революция не удалась... / За что боролись?..”»

²⁰² В набросках к «книге о деревне» О.М. писал: «Речь Дорохова, распаханная под научную экономику, под газетную передовицу, — была все-таки крестьянская. Он сколачивал ее годами как политический стиль, как орудие, как богатство и умело ею пользовался» (*Мандельштам*. Т. 4. С. 432).

²⁰³ «Отягощенный мыслью о сорока семи выгнанных им хозяйствах и раскаявшийся в командирских заскоках, Дорохов меньше всего хотел показаться мне грозным. Репутация страшилица, видимо, его тяготила» (Там же).

²⁰⁴ Фамилия директора Воробьевского зерносовхоза Бондарь.

²⁰⁵ Приводим небольшой фрагмент с описанием этого выселения, который сохранился в набросках О.М. к «книге о деревне»: «...начало разрушения землянки с не выведенными из нее детьми, с корректностью разговора и юридическими советами тут же на месте. Отсутствие испуга у выселяемых» (Там же. С. 429).

²⁰⁶ *Найдутся экземпляры, где проставлено 28 декабря — Анна Андреевна ошибочно считала этот день годовщиной и даже пробовала спорить со мной — спорщица она была неслыханная. В дате мы, конечно, уверены быть не можем, но это число — 27 декабря — стоит на официальном документе о смерти. Анна Андреевна писала начало «Поэмы» и посвящение ночью с 27 на 28 декабря.

²⁰⁷ Ср. у А. Ахматовой: «Я познакомилась с О.сипом Мандельштамом <...> весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком <...> с ресницами в полщеки» (Листки из дневника. С. 100).

²⁰⁸ Из стихотворения О.М. «Колют ресницы, в груди прикипела слеза...» (1931).

²⁰⁹ Из стихотворения О.М. «10 января 1934 года» (1934).

²¹⁰ Из стихотворения О.М. «Шестого чувства крохотный придасток...» (1932).

²¹¹ Из стихотворения О.М. «Твой зрачок в небесной корке...».

²¹² А. Ахматова и Н.М. познакомились со стихотворениями О.А. Ваксель благодаря ее сыну А.А. Смольевскому. Ср. в его воспоминаниях о встрече с Н.М. в феврале 1969 года: «Мой разговор с Надеждой Яковлевной был не очень долгим, я боялся утомить ее, хотя, конечно, мне хотелось узнать от нее побольше. (...) О стихах Лютика (О.А. Ваксель) она сказала: “Анна Андреевна читала их в моем присутствии. Среди тех стихотворений было одно, в котором есть слова: ‘При свете свеч тяжелый взмах ресниц...’» (А.С.: «Да, вот это: Вот скоро год, как я ревниво помню / Не только строчками исписанных страниц, / Не только в близорукой дымке комнат / При свете свеч тяжелый взмах ресниц / И долгий взгляд, когда почти с испугом, / Не отрываясь, медленно, в упор / Ко мне лился тот непостижный взор / Того, кого я называла другом...» — “Анна Андреевна предположила, что эти стихи адресованы Осипу, у которого были очень длинные ресницы. А я сразу же сказала: ‘Нет, это не о нем’”. (А.С.: “Вы правы, это действительно не о нем, это о ее будущем муже, моем отчине Христиане Вистендале, и оно относится уже к другому времени — к 1932 году, когда она снова начала писать стихи»)» (Смольевский А.А. Ольга Ваксель — адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама // Лит. учеба. 1990. № 1. С. 166).

²¹³ Речь идет о «Посвящении» из «Поэмы без Героя» А. Ахматовой, которое начинается следующими строчками: «...а так как мне бумаги не хватило, / Я на твоём пишу черновике».

²¹⁴ Подразумеваются следующие строки из «Поэмы без Героя» А. Ахматовой («Посвящение»): «И вот чужое слово проступает / И, как тогда снежинка на руке, / Доверчиво и без упрёка тает».

²¹⁵ В феврале 1936 г. А. Ахматова приезжала в Воронеж навестить О.Э. и Н.Я. Мандельштамов.

²¹⁶ Из стихотворения А. Ахматовой «Я над ними склонюсь, как над чашей...».

²¹⁷ Двенадцатого июля 1957 г. А. Ахматова отправила Н.М. следующую телеграмму: «Письмо с согласием жить вместе вами отправлено Лаврушенский Шкловской Мандельштам = Ахматова» (Об Ахматовой. С. 224).

²¹⁸ О стихотворении О.М. «Телефон» (1918) А. Ахматова писала в своих воспоминаниях о поэте (Листки из дневника. С. 108).

²¹⁹ Н.М. имеет в виду следующие строки из стихотворения «Телефон»: «На этом диком страшном свете / Ты, друг полночных похорон, / В высоком строгом кабинете / Самоубийцы — телефон!»

²²⁰ Из стихотворения О.М. «Телефон».

²²¹ «Поэма без Героя». Ч. I. Гл. 4.

²²² См. предыдущее примеч.

²²³ *Надеюсь, что этот год, когда столько людей расплатилось за свои безумия, будет становиться все более свежим в памяти людей и предохранит их от нового безумия.

²²⁴ «Поэма без Героя». Ч. I. Гл. 1.

²²⁵ См. предыдущее примеч.

²²⁶ В «Поэме без Героя» (Ч. I. Гл. 1) А. Ахматова описывает сцену, предшествующую самоубийству одного из героев романа Ф.М. Достоевского «Бесы» (*Достоевский*. Т. 10. С. 475).

²²⁷ «Поэма без Героя». Ч. I. Гл. 1.

²²⁸ «Воля к власти» (*нем.* Der Wille zur Macht) — книга заметок Ф. Ницше (1901).

²²⁹ «Поэма без Героя». Ч. I. Гл. 1.

²³⁰ Из цикла А.А. «Венок мертвым» (II).

²³¹ «Поэма без Героя». Ч. I. Гл. 3.

²³² Речь идет о словах Гамлета из трагедии В. Шекспира «The time is out of joint» («Век вывихнул сустав», действие 1, сцена 5).

²³³ «Поэма без Героя». Ч. I. Гл. 1.

²³⁴ Из стихотворения О.М. «Среди священников левитом молодым...» (1917), посвященного А.В. Карташеву.

²³⁵ Название стихотворения В.Я. Брюсова.

²³⁶ Речь идет о Н.И. Столяровой.

²³⁷ См. реплику А. Ахматовой в записи Л.К. Чуковской: «...Анна Григорьевна была страшна. Я всегда ненавидела жен

великих людей и думала: она лучше. Нет, даже Софья Андреевна лучше. Анна Григорьевна жадна и скупа. Больного человека, с астмой, с падучей, заставляла работать дни и ночи, чтобы “оставить что-нибудь детям”. Такая подлость! Он пишет ей: “Пообедал за рубль”. Зарабатывал десятки тысяч и не мог пообедать за два рубля!» (Чуковская. Т. 2. С. 369–370).

²³⁸ Существует и иное свидетельство на этот счет: так, Н.А. Роскина вспоминает, что А. Ахматовой эта публикация (Лит. наследство. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 64) понравилась, а о Н.А. Герцен она сказала: «Как хотите, а умереть от любви — это почтенно» (Воспоминания об Ахматовой. С. 540).

²³⁹ См. реплику А. Ахматовой о Н.А. Герцен в записи Л.К. Чуковской: «Как теперь известно, она прямо-таки висела на Герwege, он от нее избавиться не мог...» (Чуковская. Т. 2. С. 139).

²⁴⁰ *Сама Анна Андреевна остерегалась писать какие-либо письма: наговоришь глупостей под горячую руку, а потом сраму не оберешься, когда их опубликуют в каком-нибудь «Литературном наследстве»: «Это свинство пошло с конца девятнадцатого века — лезут в частные документы, письма, бумаги...»

²⁴¹ «Наталья Николаевна не только глупа; это хищная, жадная, злая стерва. Дантеса обожала» (Чуковская. Т. 2. С. 187). В специальной работе «Гибель Пушкина» А. Ахматова подробно писала о «беспамятной влюбленности» Н.Н. Гончаровой в Дантеса и ее роли в трагедии: «После катастрофы все перепугались и изо всех сил начали оправдывать Наталью Николаевну, которая одна могла все остановить в любой момент...» (Ахматова А. О Пушкине: Статьи и заметки. — Л.: Сов. писатель, 1977. С. 133).

²⁴² См. в стихотворении О.М. «Феодосия» (1920): «Здесь девушки стареющие, в челках, / Обдумывают странные наряды...»

²⁴³ «Была ли она красива? Ее тоже видели сквозь стихи: Психея и пр. Но ведь так ее видели при *его* жизни. Когда она вернулась в свет, ей было всего тридцать два года — расцвет для женщины! — но почему-то уж нигде ни звука о ее красоте. В письмах рассказывают о ней и то, и се, но о красоте ни слова» (Чуковская. Т. 3. С. 213).

²⁴⁴ Приводим отзыв А. Ахматовой о Л.Д. Блок-Менделеевой: «...Маша задала Анне Андреевне тот же вопрос, какой

некогда я: была ли красива Любовь Дмитриевна Блок? Ну, это привычная и хорошо разработанная Анной Андреевной тема. Тихо и по складам: — Она была похожа на бегемота, поднявшегося на задние лапы. — Затем подробнее: — Глаза — щелки, нос — башмак, щеки — подушки. Ноги — вот такие, руки — вот этакие. — Когда-то мне Анна Андреевна говорила, что у Любви Дмитриевны была широкая спина. Я напонила ей об этом. Ответ был мгновенный: — Две спины...» (Чуковская. Т. 3. С. 213).

²⁴⁵ Приводим мнение А. Ахматовой о романе «Анна Каренина» в записи Л.К. Чуковской: « — Весь роман построен на физиологической и психологической лжи. Пока Анна живет с пожилым, нелюбимым и неприятным ей мужем, — она ни с кем не кокетничает, ведет себя скромно и нравственно. Когда же она живет с молодым, красивым, любимым, — она кокетничает со всеми мужчинами вокруг, как-то особенно держит руки, ходит чуть не голая... Толстой хотел показать, что женщина, оставившая законного мужа, неизбежно становится проституткой. И он гнусно относится к ней... Даже после смерти описывает ее “бесстыдно-обнаженное” тело — какой-то морг на железной дороге устроил» (Чуковская. Т. 1. С. 149–150).

²⁴⁶ См.: С. 649.

²⁴⁷ Речь идет о стихотворении О.М. «Мастерица виноватых взоров...» (1934), посвященном М.С. Петровых. А. Ахматова считала его «лучшим любовным стихотворением 20 века» (Листки из дневника. С. 105).

²⁴⁸ «Оттепелью», или «хрущевской оттепелью», называют период либерализации внутриполитической жизни, в том числе допущения элементов свободы творчества в искусстве. Она охватила, однако, не весь период хрущевского правления, а лишь его часть (примерно с 1955 по 1962 г.). Своим названием она восходит к повести И.Г. Эренбурга «Оттепель» (1954).

²⁴⁹ См. стихотворения О.М. «На каменных отрогах Пиреи...» (1919), «Вернись в смесительное лоно...», «Куда как страшно нам с тобой...» (1930), «Мы с тобой на кухне посидим...» (1931), «Твой зрачок в небесной корке...», «Еще не умер ты, еще ты не один...», «Как по улицам Киева-Вия...».

²⁵⁰ «Анна Андреевна мне показывала альбомы с фотографиями, помню, любезно накинута на мои плечи замечательный

оренбургский платок (у Ардовых было прокладно), как-то подарила только что вышедшую книжечку стихов «...» с автографом: «Милой Наталии Евгеньевне Штемпель в память наших встреч, бесед и общих друзей. Анна Ахматова. 13 декабря 1958. Москва»» (*Штемпель Н.Е.* Автобиография // Жизнь и творчество Мандельштама. С. 534–535).

²⁵¹ Речь идет о стихотворении О.М. «К пустой земле невольно припадая...», в котором есть следующие строки: «Есть женщины, сырой земле родные, / И каждый шаг их — гулкое рыданье, / Сопровождать воскресших и впервые / Приветствовать умерших — их призванье».

²⁵² «В Воронеже Осип дружил с Наташей Штемпель» (Листки из дневника. С. 105).

²⁵³ Мф 22: 30; Мк 12: 25; Лк 20: 35.

²⁵⁴ Речь идет о сборнике «Стихотворения» (М., 1958).

²⁵⁵ Из стихотворения А. Ахматовой «Подражание Кафке».

²⁵⁶ Из цикла А. Ахматовой «Из ленинградских элегий» (II).

²⁵⁷ См. ее стихотворение «Гибель от женщины. Вот — знак...».

²⁵⁸ «...Он утверждал, что стихи пишутся только как результат сильных потрясений, как радостных, так и трагических» (Листки из дневника. С. 113).

²⁵⁹ Речь идет о Н.И. Столяровой.

²⁶⁰ «Поэма без Героя». Ч. II.

²⁶¹ Из стихотворения А. Ахматовой «Мне ни к чему одические рати...».

²⁶² См. начало стихотворения О.М., написанного в 1937 году: «Еще не умер ты. Еще ты не один, / Покуда с нищенкой-подругой / Ты наслаждаешься величием равнин, / И мглой, и холодом, и вьюгой».

²⁶³ Речь идет о стихотворениях А. Ахматовой «Северная элегия» («Пятая»), откуда Н.М. ранее процитировала первые строки: «Меня, как реку, / Суровая эпоха повернула...», и «Прав, что не взял меня с собой...», откуда приведены слова «деловитая парижанка»; *двойник, глядящий из другой жизни*, — парафраз строк из той же пятой «Северной элегии»: «Но если бы оттуда посмотрела / Я на свою теперешнюю жизнь...»

²⁶⁴ Из стихотворения А. Ахматовой «Ты напрасно мне под ноги мечешь...».

²⁶⁵ *Femme pour l'homme* (франц.) — женщина для мужчины.

²⁶⁶ Вероятней всего, имеется в виду О.В. Андреева-Карлайл.

²⁶⁷ Стихотворение А. Ахматовой, написанное в 1956 г.

²⁶⁸ Это слово в машинописи зачеркнуто, но замена ему не найдена.

²⁶⁹ Имеется в виду возвращение О.М. и Н.М. из воронежской ссылки в Москву (май 1937 г.).

²⁷⁰ Речь идет о трехкомнатной квартире в Марьиной Роще (Александровский пер., 43, кв. 4), в которой жили Н.И. Харджиев, Б.А. Вакс и Н.Г. Корди.

²⁷¹ См. примеч. 70 на с. 504.

²⁷² Речь идет о С.Г. Нарбут, которая в 1941–1942 гг. была замужем за Н.И. Харджиевым. В 1943 г., в эвакуации, у нее начался роман с В.Б. Шкловским; впоследствии он ушел из семьи и женился на ней. Н.М. дружила с первой женой Шкловского, В.Г. Шкловской-Корди, и поддерживала ее в этих обстоятельствах (см. кн.: Осип и Надежда. С. 322–326).

²⁷³ Парафраз названия романа Ч. Диккенса «Наш общий друг» (1865).

²⁷⁴ *Невзирая на появление настоящей жены, она продолжала его называть «общим» (вторым браком Н.И. Харджиев был женат на Л.В. Чаге. — С.В., П.Н.).

²⁷⁵ Э.Г. Бабаев уточняет обстоятельства возникновения стихотворения А. Ахматовой «Не лирою влюбленного...», в котором использованы эти слова: «Н.Я. Мандельштам вспоминает об этом не совсем точно. Харджиев сказал Ахматовой, что она должна написать такое стихотворение, чтобы любители интимной лирики шарахнулись: поэзия — трещотка прокаженного! На следующий день Ахматова, очень веселая, прочла ему новое стихотворение...» (Бабаев Э.Г. А.А. Ахматова в письмах к Н.И. Харджиеву (1930–1960-е гг.) // Тайны ремесла. Ахматовские чтения. — М.: Наследие, 1992. Вып. 2. С. 199).

²⁷⁶ Имеется в виду его рецензия на книгу О.М. «Tristia» (Жизнь искусства. 1922. 17 октября).

²⁷⁷ Об этом А.И. Герцен писал в «Былом и думах»: «Может, для верности суждения о делах, не подлежащих ни полицейскому суду, ни арифметической поверке, *пристрастие* нужнее

справедливости. Страсть может не только ослеплять, но и проникать глубже в предмет, обхватывать его своим огнем» (*Герцен*. Т. 2. С. 213).

²⁷⁸ По сообщению Ю.Л. Фрейдина, речь идет о С. Платт (покончила с собой в Нью-Йорке), стихи которой Н.М. читала по-английски.

²⁷⁹ См. у Ахматовой: «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно» (Листки из дневника. С. 109).

²⁸⁰ Фильм Ф. Феллини.

²⁸¹ Из стихотворения О.М. «Я скажу тебе с последней...» (1931).

²⁸² Ср. в стихотворении О.Ф. Берггольц «...Я буду сегодня с тобой говорить...»: «Товарищ, нам горькие выпали дни...»

²⁸³ Здесь и далее цитируются варианты к «Поэме без Героя» А. Ахматовой.

²⁸⁴ В автобиографической заметке «Коротко о себе» А. Ахматова писала: «Когда мне показали корректуру “Кипарисова ларца” Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете» (*Ахматова А.* Соч.: В 2 т. — М.: Худ. лит.-ра, 1987. Т. 2. С. 237); книга И.Ф. Анненского вышла в свет в 1910 г.

²⁸⁵ Первый сборник стихов А. Ахматовой (1912).

²⁸⁶ *Иногда он впоследствии жаловался, что у него были плохие советчики, но имен не называл.

²⁸⁷ «Чужое небо» — книга стихотворений Н.С. Гумилева, в которую входит поэма «Блудный сын».

²⁸⁸ Поэму «Блудный сын» Н.С. Гумилев прочитал на заседании «Общества ревнителей художественного слова» в редакции журнала «Аполлон» 13 апреля 1911 г. (*Лукницкий П.Н.* Труды и дни Н.С. Гумилева. — СПб.: Наука, 2010. С. 238): «Когда Николай Степанович читал в Академии стиха своего “Блудного сына”, Вячеслав обрушился на него с почти непристойной бранью. Я помню, как мы возвращались в Царское. Совершенно раздавленные происшедшим, и потом Николай Степанович всегда смотрел на Вячеслав Ивановича как на открытого врага» (*Ахматова А.* Автобиографическая проза // *Хейт А.* Анна Ахматова. Поэтическое странствие: Дневники, воспоминания, письма А. Ахматовой. — М.: Радуга, 1991. С. 223–224). Первое собрание «Цеха поэтов» состоялось 20 октября 1911 г.

²⁸⁹ О.Н. Высотский.

²⁹⁰ Приводим сдержанный отзыв А. Ахматовой о мемуарах Е.К. Герцык: «Воспоминания сестры Аделаиды Герцык утверждают, что Вячеслав Иванов не признавал нас всех» (Листки из дневника. С. 103). Ахматова, скорее всего, имеет в виду следующий эпизод из этих мемуаров: «Ученики приходили к мэтру, подобие литературных семинаров произвольно возникало из просмотра нового стихотворного сборника, из обсуждения новой театральной постановки. Каждый вечер студенты Модест Гофман, Ивойлов, изредка Гумилев, Ахматова, совсем юные, ставшие впоследствии поэтами или так и не ставшие, а также уже и несомненные, как Верховский и другие. Однажды бабушка привела внука на суд к Вячеславу Иванову, и мы очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика Мандельштама, читавшего четкие фарфоровые стихи. Щедрость Вячеслава Ивановича в выслушивании и углублении чужого творчества была изумительна. Детальнейший технический разбор непременно переходил в грозное испытание совести молодого автора, в смысле философском, общественном. Мастер слова, влюбленный в тончайшие оттенки его, внезапно оборачивался моралистом. Это не всем было по нутру» (Герцык Е.К. Лики и образы. — М.: Мол. гвардия, С. 174). Комментарий Н.М. к эпизоду с «поэтовой бабушкой» см.: Т. 2, с. 52–53.

²⁹¹ Н.М. обобщает идеи Ю.Н. Тынянова о «лирическом герое» и литературной эволюции, изложенные в его статьях «Блок», «Промежуток», «Литературный факт», «О литературной эволюции» и др.

²⁹² Н.М. имеет в виду следующий фрагмент из очерка Б. Пастернака «Люди и положения»: «Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он неусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний. Под такими он разумел сочувствие старших. Едва он замечал признаки их внимания, как из страха, чтобы их ласка не ввергла меня в академизм, любыми способами торопился разрушить наметившуюся связь. Я не переставал со всеми ссориться по его милости» (Пастернак. Т. 3. С. 329).

²⁹³ Речь идет о статьях С.М. Городецкого «Некоторые течения в современной русской литературе», Н.С. Гумилева

«Наследие символизма и акмеизм», опубликованных в журнале «Аполлон» (1913. № 1), и статье О.М. «Утро акмеизма» (Сирена. Воронеж. 1919. № 3/4).

²⁹⁴ Выступая на вечере памяти О.М. на механико-математическом факультете МГУ 13 мая 1965 г., В.Т. Шаламов сказал: «Удивительна судьба литературного течения, поэтической доктрины, которая называлась акмеизм, и более пятидесяти лет назад выступила на сцену и на этом вечере как бы справляет свой полувековой юбилей. Список зачинателей движения напоминает мартиролог. Гумилев погиб давно, Мандельштам умер на Колыме. Нарбут умер на Колыме. Материнское горе Ахматовой известно всему миру» (*Шаламов В.Т. Собрание сочинений: В 6 т. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2005. Т. 5. С. 209–210.*)

²⁹⁵ Одно из стихотворений С.М. Городецкого в сб. «Четырнадцатый год» (Пг.: Лукоморье, 1915) начинается так: «Народ с утра спешил на площадь / К Дворцу на сретенье Царя. / Теснилась флагов русских роща, / Цветами яркими горя. / Национальных песнопений / Опять катился мощный вал, / И Александра вестий гений / Венок победы поднимал».

²⁹⁶ *А по словам Шаламова, и Пастернак.

²⁹⁷ *Сохранились письма и заметки в дневниках Блока. (4 марта 1913 г. А.А. Блок записал в дневнике: «Вечером пришел милый студент из Киева, Вл. Мих. Отроковский» (Блок. Т. 7. С. 227). А 23 апреля 1913 г. он писал В.М. Отроковскому, который прислал ему свои стихи: «Вы сами пока мне понравились больше стихов, а это, я думаю, всегда важнее. Без человека (когда в авторе нет “человека”) стихи — один пар» (Там же. Т. 8. С. 417). — *С.В., П.Н.*)

²⁹⁸ Статья Б.А. Ларина «О “Кипарисовом ларце”» была впервые напечатана в журнале «Лит. мысль» (Пг., 1923. Кн. 2). Р.Д. Тименчик в статье «Поэзия И. Анненского в читательской среде 1910-х годов» отмечал: «Блок и Анненский были основными поэтическими привязанностями Отроковского, и тема Анненского проходит в его переписке с Блоком» (А. Блок и его окружение. Учен. зап. Тарт. ун-та. Вып. 680. Блоковский сборник. VI. — Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1985. С. 106).

²⁹⁹ Имеются в виду статьи О.М. «Слово и культура», «О природе слова» (1922), «Кое-что о грузинском искусстве»

(1922), «Письмо о русской поэзии» (1922), «А. Блок (7 августа 21 г. — 7 августа 22 г.» (1922), «Лит. Москва» (1922), «Буря и натиск» (1923), рецензия на «Записки чудака» Андрея Белого (1923) и др.

³⁰⁰ 10 марта 1938 г. О.М. писал Б.С. Кузину из здравницы «Саматиха»: «С собой грудка книг. Между прочим, весь Хлебников».

³⁰¹ Речь идет о стихотворении Б. Пастернака «Свидание».

³⁰² Эти слова из стихотворения Б. Пастернака «Свидание» А. Ахматова считала реминисценцией из стихотворения О.М. «Уничтожает пламень...» (1915), в котором, в частности, есть такие строки: «...Из одного куска / И сердцевина дуба, / И весла рыбака».

³⁰³ О стихотворении М.С. Петровых «Назначь мне свиданье на этом свете...» А. Ахматова сказала: «Один из шедевров русской любовной лирики XX века...» (Чуковская. Т. 2. С. 255).

³⁰⁴ «У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!» (Листки из дневника. С. 119).

³⁰⁵ Стихотворение О.М. «Я в львиный ров и крепость погружён...» (1937).

³⁰⁶ См. в статье М. Цветаевой «Искусство при свете совести»: «Есть в Гимне Чуме две строки только-авторские, а именно: “И счастлив тот, кто среди волнения / Их обретать и ведать мог”. Пушкин, на секунду отпущенный демоном, не дотерпел. Это, а не иное происходит, когда мы у себя или у других обнаруживаем строку на затычку, ту поэтическую “воду”, которая не что иное, как *мель наития*. <...> Так случается, когда рука опережает слух» (Цветаева. Т. 5. С. 370–371).

³⁰⁷ Из промежуточной редакции «Грифельной оды» О.М. (1923).

³⁰⁸ Из промежуточной редакции стихотворения О.М. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» (1920).

³⁰⁹ Из статьи О.М. «Слово и культура».

³¹⁰ *«Сестра моя — жизнь», от которой он так легкомысленно отрекся в старости, что иногда бывает со стариками. Для меня эта книга остается чудом русской поэзии.

³¹¹ Цитируются следующие строки стихотворения Б. Пастернака «Зеркало»: «Шуршит вода по ушам, и, чирикнув, / На цыпочках скачет чиж», «И вот, в гипнотической этой отчизне / Ничем мне очей не задуть».

³¹² Из стихотворения Б. Пастернака «Опять весна».

³¹³ Из стихотворения А. Ахматовой «Творчество».

³¹⁴ Из стихотворения А. Ахматовой «Лотова жена».

³¹⁵ Из стихотворения А. Ахматовой «Последняя».

³¹⁶ Из стихотворения А. Ахматовой «Так не зря мы вместе бедовали...».

³¹⁷ Из стихотворения А. Ахматовой «Ответ».

³¹⁸ Из стихотворения А. Ахматовой «Памяти 19 июля 1914».

³¹⁹ Из стихотворения О.М. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...».

³²⁰ Из промежуточной редакции стихотворения О.М. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...».

³²¹ Из стихотворения А. Ахматовой «Многое еще, наверное, хочет...».

³²² Из стихотворения А. Ахматовой «Творчество».

³²³ Из «Последнего стихотворения» А. Ахматовой.

³²⁴ Здесь и ниже речь идет о поэме Т.С. Элиота «Пепельная среда»: «Хоть пропавшее слово пропало, хоть истраченное слово истрачено, / Хоть не услышанное, неизреченное / Слово не изречено, не услышано, / Есть слово неизречаемое, недоступное слуху Слово / Слово вне слов, Слово / В миру и для мира» (пер. С. Степанова).

³²⁵ Из стихотворения А. Ахматовой «Но я предупреждаю вас...».

³²⁶ Из стихотворения О.М. «Только детские книги читать...» (1910).

³²⁷ Н.М. имеет в виду отзыв А. Блока о выступлении О.М. в Петрограде на вечере в Клубе поэтов 21 октября 1920 г.: «Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно

привыкаешь. “Жидочек” прячется, виден артист» (Летопись жизни Мандельштама. С. 181). Эта запись печаталась с купюрой: «Постепенно привыкаешь... виден артист» (Блок. Т. 7. С. 371). Полный ее текст мог быть известен Н.М. от В.Н. Орлова.

³²⁸ Имеется в виду статья О.М. «А. Блок (7 августа 21 г. – 7 августа 22 г.)»; позднее в переработанном виде и под названием «Барсучья нора» она вошла в его кн. «О поэзии» (1928).

³²⁹ Ср. у А. Ахматовой: «О стихах говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к Блоку» (Листки из дневника. С. 99).

³³⁰ «Блоковские зори, закаты, сумраки, туманы, ветры, метели — слова-острия, наэлектризованные блоковским контекстом и потому перестраивающие все, что их окружает» (Гинзбург Л. О лирике. — М.: Интрада, 1997. С. 259).

³³¹ По-видимому, Н.М. имела в виду следующий фрагмент из книги А.И. Герцена «С того берега»: «В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку. У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине» (Герцен. Т. 6. С. 15; разыскано О.Е. Рейнбах).

³³² Из стихотворения А. Ахматовой «За меня не будете в ответе...».

³³³ *Арестовывали его еще два раза — всего четыре, но в первых двух случаях, подержав, выпускали. Я говорю о втором аресте, кончившемся лагерным сроком.

³³⁴ Н.Л. Манухина (Шенгели).

³³⁵ В конце 1950 — начале 1960-х гг. из молодых поэтов к ближайшему окружению А. Ахматовой принадлежали также Д.В. Бобышев и Е.Б. Рейн.

³³⁶ *Это было перед тем, как поехали так называемые «микояновские комиссии» и началось массовое освобождение из лагерей. Эмма Герштейн узнала об этом у прокурора и позвонила по телефону в Ленинград.

³³⁷ См. об этом ст.: Каминская А.Г. О завещании А.А. Ахматовой // Звезда. 2005. № 5. С. 190–203, а также ответ на нее А.Г. Наймана (Там же. С. 204).

³³⁸ Первый муж И.Н. Пуниной, Г.Я. Каминский, погиб в Тайшетлаге в 1943 г., вторым ее мужем был актер Р.А. Рубинштейн. Муж А.Г. Каминской, архитектор и художник Л.А. Зыков, подготовил публикацию «Из семейной переписки А. Ахматовой» (Звезда. 1996. № 6. С. 131–159) и кн.: *Пунин И.И. Мир светел любовью. Дневники. Письма.* — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000.

³³⁹ См. примеч. 16 на с. 495.

³⁴⁰ См. с. 364–365 и примеч. 477 на с. 561–562.

³⁴¹ См. примеч. 479 на с. 563.

³⁴² См. примеч. 477 на с. 561–562.

³⁴³ Стихотворение О.М. «Гончарами велик остров синий...» (1937).

³⁴⁴ См. также: Т. 2, с. 401 и примеч. 546 на с. 681.

³⁴⁵ Речь идет об утраченном стихотворении О.М. 1934 г., от которого уцелел только один фрагмент «В оцинкованном влажном Батуме...».

³⁴⁶ См. с. 365, а также примеч. 477 на с. 561–562.

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

ПРЕЛЮДИИ

Мандельштам был отчаянным спорщиком, но клевал не на всякую удочку. Он любил сцепиться с марксистом, хотя эти споры всегда шли впустую. «У них на все есть готовый ответ», — жаловался он, потратив время на пустой разговор и убедившись, что оппонент просто парирует или снимает вопрос, с оглушительной ловкостью подменяя его другим. Его легко было втравить в спор по общим мировоззренческим проблемам, а еще легче в литературный поединок, но главным образом в связи с оценкой каких-нибудь явлений сегодняшнего дня. От чисто литературоведческих проблем он уклонялся, предоставляя их специалистам: «Пускай разбираются сами — это их хлеб...» В литературоведении он ценил хороших текстологов, сделавших «умную книгу», то есть хорошо подготовивших издание какого-нибудь поэта — ему нравился, например, однотомник Пушкина¹, — и людей, увлеченных поэзией, вроде Чуковского, который, по его мнению, стал «представителем» Некрасова, или Тынянова с его любимцем Кюхельбекером. Но теоретические работы Тынянова, Эйхенбаума и других опоязовцев не вызывали у него никакого интереса. Про «Архаистов и новаторов» он не сказал ни одного слова, а когда Тынянов однажды развивал теорию о двух линиях русской поэзии — «мелодической», идущей от Жуковского, и другой, вроде как «смысловой» — пушкинской, Мандельштам отделался шуткой. Все эти модели, лестницы и рамки были не для него. Сейчас мне думается, что в спорах он отстаивал свою литературную позицию, вытекавшую из его миропонимания, а в «представителях» видел просто

читателей и «собеседников»² ушедшего поэта, а не чистых литературоведов.

Ахматова говорила: «Мы все влюблены в Пушкина», — и ее влюбленность выражалась в занятиях, исследованиях, изучении текстов и добавочных материалов, словом, в чисто литературоведческой работе. Статей она написала мало — в них, как и в «заметки», вошла только ничтожная доля ее мыслей и наблюдений. Большинство ее находок остались незаписанными. От некоторых она успела отказаться, другие поленилась доработать и записать, и это жаль, потому что даже в отверженном ею (а может, именно в нем) всегда было нечто, подмеченное острым ахматовским глазом. Ахматова как-то сказала, что, наверное, писала бы прозу, если б жила не в такую проклятую эпоху. Это, конечно, так — для прозы нужен стол, ящик, время... У прозы гораздо больше шансов погибнуть, чем у летучих стихов. Наша жизнь к прозе не располагала, и остановить ее легче, чем стихи.

И все же помимо эпохи, помешавшей ей писать прозу, были и другие причины, не менее важные. Это огромный разрыв между ее устной речью, вполне отражавшей характер ее мышления, и тем, как она представляла себе прозаический текст. Из написанных статей вытравлен ее живой голос и резкость суждений. Мысль смягчена и далеко не так категорична, как в разговоре; начисто исчез задор и полемическая ярость, которая придавала такой неповторимый блеск ее беседе. Ахматова разила доводами, как пулями, и требовалась огромная предварительная работа, чтобы обратить такой способ мышления и такую речь в прозаический текст. Ведь не просто было заставить бумагу выдержать и донести до читателя неистовый разгул ахматовской интонации и мысли. Это требовало новой формы и никак не укладывалось в стандартный тип академической статьи, а ведь именно в такие колодки пыталась втиснуться Ахматова. Если б она прислушалась к себе и не побоялась сохранить свой голос в записанном прозаическом тексте, мы поразились бы новизне, силе и неожиданности этой новой прозы, но для такой работы требуется покой и отказ от всяких претензий на академическую традицию и пресловутое приличие. Покоем в наши дни и не пахло, а нарушать приличие ей и самой не хотелось, да и карали у нас за это достаточно

строго. Ведь в стихах волей-неволей приходилось нарушать привычную затхлость наших понятий, то есть приличие... Не случайно же вырвалось у нее такое четверостишие: «За такую скоморошину, Откровенно говоря, Мне свинцовую горошину Ждать бы от секретаря...» С такой перспективой стоило ли вслушиваться в свой голос и, преодолевая собственные колебания и отталкивания, искать, как бы поделикатнее нарушить каноны литературоведческих доводов и доказательств?..

Всему свой черед — исчезли у нас и стихи, и проза, и все виды эссеистики, а на разводку оставили только приглушенную и упорядоченную псевдоакадемическую статью. Не дорвалась до самостоятельной прозы и Ахматова — даже до планомерной записи своих мыслей о поэзии и о Пушкине, но говорила она о нем много как о «первом поэте» и с кем угодно, кроме Мандельштама. Его она вроде как стеснялась, но все же ей порой хотелось разведать, как бы он отнесся к той или к этой мысли. «Золотого петушка» (от этой работы Ахматова впоследствии сама отказалась³) Мандельштам похвалил за хорошо разработанную аргументацию — «как шахматная партия», — сказал он, — но по существу дела не высказался. Зная, как трудно добиться от него толку, Ахматова придумала своеобразный способ выуживать его оценку. Под величайшим секретом — не дай бог, дойдет до пушкинистов! — она втолковывала мне «план следующей статьи», а потом, через день-другой, спрашивала: «Что Осип сказал? Как он?..» Она ни сколько не сомневалась, что Мандельштаму все ее секреты, не только пушкиноведческие, я выбалтываю сразу — с ходу, хоть бы тысячу раз и обещала никому и никогда... Да к тому же я знала, что ей только этого и нужно, и вполне добросовестно служила передаточной инстанцией.

Однажды, когда Ахматова гостила у нас на Фурмановом переулке, а Мандельштам ушел на утреннюю прогулку — он вставал рано и сразу рвался на улицу, — я выслушала соображения Ахматовой о «Моцарте и Сальери». Ахматова вела нить от «маленькой трагедии» к «Египетским ночам». В этих двух вещах Пушкин, по ее мнению, противопоставил себя Мицкевичу. Легкость, с которой сочинял Мицкевич, была чужда Пушкину, который упрекал даже Шекспира в «плохой отделке»⁴. Моцарт и Сальери из «маленькой трагедии» представляют

два пути сочинительства, и Ахматова утверждала, что Моцарт как бы олицетворял Мицкевича с его спонтанностью, а себя и свой труд Пушкин отождествлял с Сальери.

Эта концепция очень удивила меня: мне всегда казалось, что именно в Моцарте я узнаю Пушкина — беспечного, праздного, но такого гениального, что все дается ему легко и просто, словно «птичке Божьей»⁵. По школьному невежеству мы считаем, что «вдохновенные» стихи не требуют ни малейшего труда, а кто ж, как не Пушкин, вдохновенный певец? Это одно из укоренившихся в нас ложных представлений — под стать простоте и понятности того же Пушкина, существующим только в воображении ленивых читателей. Едва заикнулась я о «птичке Божьей», как Ахматова разъярилась и заявила, что я не только Пушкина не знаю, но даже собственного мужа, Мандельштама, не читала: «Вы статью в “Аполлоне” про “собеседника”⁶ читали?» (В ней Мандельштам выразил сомнение, что Пушкин под «птичкой Божьей» имел в виду поэта: «Нет оснований думать, что Пушкин в своей песенке под птичкой разумел поэта... Птичка “встрепенулась и поет”, потому что ее связывает “естественный договор” с Богом — честь, о которой не смеет мечтать самый гениальный поэт...») Ахматова тут же вынула пачку фотографий с черновиков Пушкина. Они свидетельствовали об огромном и целенаправленном труде. Моцарт, не исторический, разумеется, а тот, что дан Пушкиным в «маленькой трагедии», этого труда не знал. Носителем его был Сальери.

Для подкрепления своей концепции Ахматова использовала «Египетские ночи». Мицкевич, как известно, не раз выступал в московских салонах с импровизациями, демонстрируя легкость, с которой он владел стихотворным потоком. По этому признаку Ахматова отождествила импровизатора из «Египетских ночей» с Мицкевичем, а у Чарского и до нее пушкинисты отметили ряд черт самого Пушкина. Чарский — светский человек, и поэзия его частное дело, закрытое для общества и для праздной болтовни литературных салонов. Такова и литературная позиция Пушкина, сказала Ахматова (я бы сказала — та, которую он бы хотел соблюдать). В зрелые годы, говорила Ахматова, Пушкин был очень закрыт, сдержан, «застегнут на все пуговицы». Он держался неприступно и холодно, как

броней защищаясь личиной светского человека. (Мандельштам ту же мысль выразил бы так: Пушкин брезгливо относился к незащищенному положению поэта в обществе и, борясь за социальное достоинство поэта, строго соблюдал дистанцию.) Мицкевич вел себя по-иному — он был открыт и доверчив и в тех же салонах появлялся именно как поэт. Это подтверждается хотя бы тем, что он охотно давал «сеансы» импровизации. Пушкин же ни на какую демонстрацию поэтического дара не пошел бы. (Мне кажется, что открытость Мицкевича объясняется тем, что он поляк и вращался главным образом среди поляков, а они, кажется, своих поэтов не убивали и относились к ним по меньшей мере с уважением.)

Итак, Ахматова хотела построить свою статью на противопоставлении Мицкевича (импровизатор из «Египетских ночей» и Моцарт «маленькой трагедии») и Пушкина (Чарский и Сальери). В подкрепление своих слов она привела еще кое-какие доводы и материалы, но Мандельштам вникать в них не стал. Минутку подумав, он сказал: «В каждом поэте есть и Моцарт, и Сальери». Это решило судьбу статьи — Ахматова от нее отказалась.

Это совершенно случайный эпизод, и к пушкиноведению, как оно у нас сложилось, никакого отношения не имеет. Меня интересует в нем позиция Мандельштама, который, написав «Разговор о Данте», по-новому взглянул на два типа созидательного процесса, представителями которого Пушкин в своей «маленькой трагедии» сделал Моцарта и Сальери. В статьях 1922 года Мандельштам дважды отвергал Моцарта и превозносил Сальери⁷. Кроме того, я считаю этот случай характерным и для «пушкиноведения» Ахматовой. В своих статьях Ахматова искусственно подгоняла свои концепции под общие ходы действующего литературоведения — в данном случае она искала прототипы. Я вижу в этом симптомы болезни, распространенной среди нестандартных людей: они чужаются себя и хотят быть как все. Быть самим собой нелегко — и себя-то понять трудно, а когда поймешь, становится страшно, как отнесутся к этому люди, не удивит ли их резкость и неожиданность твоего подхода к вещам, о которых уже много говорили, но совсем не так, как ты... Ахматова хотела быть литературоведом, как все, и свое настоящее

живое отношение к поэзии и к поэтам выдавала только в разговорах, а не в «планах статей» и не в статьях.

Впервые разговорившись с Ахматовой еще в Царском Селе, я вдруг заметила, что о поэтах прошлого она говорит так, будто они живы и только вчера забежали к ней прочесть свежие, только что сочиненные стихи и выпить стакан чаю. В сущности, Ахматова, сама того не зная, была последовательницей Федорова. Только то, что Федорову представлялось священным долгом потомков, а именно — воскрешение умерших предков, стало у Ахматовой естественным актом дружбы, живым и активным отношением поэта к родоначальникам — друзьям и братьям в доме единой матери — мировой поэзии. Федоров, сын своего века, не случайно во многом соприкасается с материалистами: он то и дело говорит их языком и, до ужаса доверяя науке, ее безграничной силе и способности разрешать все вопросы жизни и смерти, ждет от нее чуда — точно разработанных методов воскрешения мертвых. С помощью науки он хочет вернуть в историю и в текущее время тех, кто уже участвовал в исторической драме и прошел дарованный ему отрезок исторического пути. Воскресив всех мертвых и одержав таким образом победу над временем, люди, по мнению Федорова, войдут в новую, очевидно, внеисторическую стадию существования, которая будет чем-то вроде царствия небесного на земле. Федоров придумал своеобразный вариант русского хилиазма, в котором причудливо переплелась «великая славянская мечта о прекращении истории» и рационализм девятнадцатого века. Слова о «великой мечте» взяты из юношеской статьи Мандельштама «Петр Чаадаев»⁸. Дальше он говорит: «Это — мечта о духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое “миром”... Еще недавно сам Толстой обращался к человечеству с призывом прекратить лживую и ненужную комедию истории и начать “просто” жить...» Не случайно Толстой чрезвычайно чтит Федорова... Мне кажется, что в самой идее о возвращении к жизни на земле — а если не хватит места на земле, то и на прочих планетах — всех мертвых есть равнодушие не только к истории, но и к людям. Ведь каждый человек существует не сам по себе, а является участником великого действия, которое разыгрывается здесь на земле — во времени

и в пространстве, где нам суждено было действовать. Что будем делать мы, возвращенные на землю с помощью федоровской науки, в толчее воскрешенных поколений с самого сотворения мира? Нам пришлось бы искать своих современников, да стоит ли овчинка выделки?.. К счастью, акт воскрешения, как и акт творения, науке не подвластен. Бурное развитие науки в двадцатом веке очертило границы ее возможностей и подорвало веру в ее всемогущество.

Совсем иначе осуществляют федоровское дело поэты. Пастернак как-то сказал мне про Мандельштама: «Он вступил в разговор, заведенный до него»⁹. Вероятно, у каждого поэта есть жажда встречи и разговора со своими предшественниками, острое и напряженно личное отношение к тем, чей голос они слышат в живых стихах, но кого уже нет на земле. Это не просто горечь «невстречи» с поэтами, с которыми они разведены во времени, но и страстное желание преодолеть время, войти в соприкосновение с ними, словом, осуществить частичное, выборочное воскрешение актом любви, преданности, восхищения... В «Разговоре о Данте» Мандельштам заметил, что «избранный Дантом метод анахроничен — и Гомер, выступающий со шпагой, волочащейся на боку, в сообществе Вергилия, Горация и Лукиана из тусклой тени приятных орфеевых хоров, где они вчетвером коротают бесслезную вечность в литературной беседе, — наилучший его выразитель»... В Ташкенте, живя на балахане, мы читали с Ахматовой прелестные стихи Китса (Ахматова говорила, что Китс ей почти физиологически напоминает Мандельштама) и отметили, что он мечтает на том свете посидеть в таверне рядом с самим Шекспиром. А сама Ахматова, как мне кажется, надеялась, что в будущей жизни, которую она представляла себе как настоящий пир поэтов, ей удастся оттеснить всех случайных подруг и завладеть по праву всеми поэтами всех времен и народов и выслушать все лучшие стихи... Она даже заранее предупреждала меня, что там у жен никаких преимуществ не будет...

В ожидании будущего пира Ахматова занималась Пушкиным и, острым глазом проникая в его мысли, замыслы, чувства, как бы совершала частичное воскрешение. Ее вел безошибочный инстинкт поэта, и она часто замечала то, что

ускользает от взгляда равнодушного и объективного исследователя, который раскладывает по готовым рубрикам части поэтического целого. Юношей Мандельштам сказал: «На стекла вечности уже легло Мое дыхание, мое тепло»¹⁰. Вот именно это дыхание и тепло собирала Ахматова, проникая в замыслы Пушкина, разыскивая скрытые пружины, которые побудили его приступить к той или иной вещи. Потом, устыдившись ненаучности своих прозрений, она строила с виду точные, а на самом деле механические подпорки традиционного литературоведения и блистала аргументацией, точной, как шахматные ходы. Блестящие прозрения Ахматовой — поэта и читателя — скрывались за изящным построением статей Ахматовой-литературоведа.

ОСНОВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА

В записных книжках Мандельштама есть такая запись: «Новая литература предъявила к писателю высотное требование (к сожалению, плохо соблюдаемое и неоднократно поруганное): не смей описывать ничего, в чем так или иначе не отразилось бы внутреннее состояние твоего духа...»¹¹ Что лирика «так или иначе» отражает внутреннее состояние духа, это мы все же помним. Что касается прозы и стихотворных форм с большей степенью объективизации, то здесь, разращенные беллетристикой, мы видим план, сюжет, замысел, идеи, авторские или взятые напрокат, так называемые приемы — все, что угодно, только не боль и не радость создателя, не его метания в поисках огонька или просветления, не то, о чем он спрашивает, и не то, на что, ему кажется, он получил ответ. Готовая вещь, или «буквенница», как ее называл Мандельштам¹², почти никогда не раскрывает импульса, истинного побуждения к ее написанию. Внутренняя тема всегда более или менее скрыта: «Все в порядке: лежит поэма И, как свойственно ей, молчит. Ну, а вдруг как вырвется тема, Кулаком в окно застучит...»¹³ Понимание внутренней темы, основного импульса, той беседы, которую создатель вел сам с собой прежде, чем приступить к работе, и вопроса, который его мучил, расширяет наше понимание готовой вещи, раскрывает ее глубину.

Ищущий дух человека, который молит об откровении или, вернее, о мгновенном озарении — ведь именно в нем источник искусства и всяческого познания. На каждой истинной находке всегда отражается внутреннее состояние духа того, кто искал и нашел, оставляя неизгладимый личностный отпечаток на всем, что создано или угадано человеком. Именно наличие личной и духовной основы отличает подлинное от бесчисленных суррогатов, которыми завален огромный и многоголосый рынок искусства и науки. У нас нет критерия, чтобы отличить подлинное от суррогатов. Как правило, ловкий суррогат сначала кажется истинной находкой, но самое замечательное, что он неизбежно отмирает и не выдерживает проверки временем, хотя все, казалось бы, сулило ему долгую жизнь. В сущности, эта «проверка временем» столь же необъяснима, как и само создание подлинного и его поразительная устойчивость. Ахматова не раз удивленно говорила мне: «Стихи — это вовсе не то, что мы думали в молодости» и «Кто мог подумать вначале, что стихи окажутся такими устойчивыми». А Мандельштам со свойственным ему легкомыслием убеждал меня не тратить сил на прятанье и перепрятыванье листочков со стихами. «Люди сохраняют», — говорил он¹⁴. Я не хотела идти на такой риск — можно ли полагаться вообще на людей? Он успокаивал меня: «Если не сохраняют, значит, это ничего не стоит...» В этом сказалась его глубокая вера в устойчивость истинного, и, считая, что сам себе человек не судья, «он» не желал задумываться о том, чего стоят его стихи. Он был бы прав, если б мы жили в обычную эпоху, когда каждый человек доживает до собственной отдельной и индивидуальной смерти, а стихи спокойно отлеживаются в столах или в виде книг, дожидаясь часа беспристрастного суда. Но в нашу эпоху массовых гибелей и уничтожения не только рукописей, но и книг, все же права была я, а не он. Ведь до сих пор — уже почти полвека прошло с этих разговоров, — а наследство Ахматовой и Мандельштама еще не передано на суд людям.

Всем уже известно, что любой портрет является в то же время и автопортретом художника, так же и любая вещь с любой степенью абстрагированности — тот же портрет, слепок, отпечаток духа и внутренней формы ее создателя.

Это достаточно заметно, когда речь идет о поэзии — самой личностной форме человеческой деятельности, но и законы, найденные Эйнштейном или, скажем, Ньютоном, тоже портреты их создателей, дыхание и тепло этих людей на стеклах вечности. В. Вейсберг привел мне серьезный довод против моей мысли, что наука имеет такой же личностный характер, как искусство. Он отметил, что любая вещь даже второстепенного художника неповторима, а научное открытие может быть сделано разными людьми — совершенно независимо друг от друга.

Я спросила, что думает об этом И. Гельфанд. По его мнению, безличностный вид открытия в науке объясняется тем, что ученые привыкли — такова традиция — давать сгущенные и абстрагированные формулы того, что ими найдено. Поэтому выводы науки безличностны, а путь к их открытию всегда индивидуален и неповторим. А ведь действительно, именно сейчас стали интересоваться не только выводом, но и путем, которым шел ученый. Не случайно почти все великие физики нашего века оставили книги, раскрывающие их путь и миропонимание, и нам, читателям, даже далеким от науки, они не менее нужны, чем автопризнания людей искусства.

Что же касается до меня, то я глубоко верю, что все виды духовной деятельности человека имеют один источник и одну психическую и духовную основу: человек, вернее, человечество — «Айя-София с бесчисленным множеством глаз»¹⁵ — одарен познавательной способностью, и в этом его высшая природа. А глаза, зрение для Мандельштама — это орудие познания. И при этом всякий акт познания, как бы он ни был подготовлен усилиями самых разных людей, всегда совершается отдельным человеком, «избранным сосудом», говоря по-старинному, и носит отпечаток его личности.

В поэзии каждое слово — автопризнание, каждая ставшая вещь — часть автобиографии. Читая Достоевского, мы ни на минуту не забываем, что это исповедь грешника, внутри себя раскрывшего пороки и просветы своей эпохи и тем самым прозревшего будущее. Внутреннее состояние духа и личная основа — таково первичное условие создания литературного целого. Это условие необходимое, хотя и не единственное.

Никто не усумнится, что в каждой вещи Пушкина есть личная основа, нечто, отражающее внутреннее состояние его духа. Найти это «нечто» — значит проникнуть в перво-причину создания вещи, вскрыть побуждение или затаенную внутреннюю тему. Ахматова воскресила Пушкина, увидав, как он, живой, томится тревогой, пытаясь осознать, в чем смысл его встречи с Мицкевичем и как они двое, живущие поэзией и знающие ее тайны, пошли разными путями в своем труде и в отношениях с обществом. В готовых вещах нет уже ни Мицкевича, ни Пушкина. Есть Моцарт и Сальери — два крайних проявления созидательного процесса, есть Чарский и бродяга-импровизатор, из портрета которого, вероятно, сознательно изъяты все черты сходства с Мицкевичем. Не потому ли Пушкин не закончил и не опубликовал «Египетские ночи», что в обществе еще помнили об импровизационном даре Мицкевича и о его выступлениях в салонах? Мицкевич не прототип Моцарта или импровизатора, но встреча с польским поэтом могла навести Пушкина на мысли, которые, оформившись, дали сначала «маленькую трагедию», а потом, вероятно, в связи с проблемами, вставшими перед Пушкиным в Петербурге, набросок об импровизаторе. Своей гипотезой о становлении этих вещей Пушкина Ахматова сделала не литературоведческое открытие — литературоведенье такими вещами не занимается, — но обнаружила первоначальное состояние Пушкина перед тем, как у него сложилась концепция «маленькой трагедии», выявила первооснову этой вещи.

Согласно Ахматовой, Пушкин, удивленный спонтанностью в работе Мицкевича, выявляет тип поэта, живущего озарениями, и называет его Моцартом. Свой способ работы он дает Сальери. Согласно Мандельштаму, Пушкин абстрагирует две стороны созидательного труда, без которых ни один поэт обойтись не может.

«Маленькая трагедия» — вещь многоплановая. И. Семенко видит в ней тему гения (Моцарт) и его божественной, несовместимой со злодейством, природы. Гений вызывает зависть. (Как известно, у Пушкина есть запись о Сальери с такой фразой: «Завистник, который мог освистать Дон-Жуана, мог отравить его творца...»¹⁶ Это относится к одной из легенд об отношениях Моцарта и Сальери. Заслуживает внимания,

что эта запись сделана уже *после* того, как «маленькая трагедия» «Моцарт и Сальери» была написана и даже опубликована.)

Принимая тему зависти к гению как основную тему «маленькой трагедии», И. Семенко отмечает, что сам Пушкин, хотя и молчал об этом, но знал, что у многих он вызывает зависть (у Катенина, например, и у Языкова). Об этом свидетельствуют следующие строки Пушкина: «Я слышу вкруг себя жужжанье клеветы, Решенья глупости лукавой, И шепот зависти, и легкой суеты Укор веселый и кровавый...»¹⁷ Она напоминает, что Пушкина могли воспринимать как *недостойного носителя дара*. О том, что «гений» Пушкина обращен на недостойные предметы, ему писали в письмах А. Бестужев и Жуковский...¹⁸ Все эти упреки вполне напоминают и позиции Сальери из «маленькой трагедии». Все доводы И. Семенко ведут к опровержению ахматовской концепции о «сальеризме» Пушкина.

Мне кажется, что обе эти точки зрения не так уж непримиримы. Ахматова могла угадать импульс к написанию «маленькой трагедии», а И. Семенко говорит о готовой вещи. Но я не думаю, чтобы Пушкин отождествлял себя либо с Моцартом, либо с Сальери. Скорее он знал в себе черты обоих — и спонтанность дара, и труд. Это знает любой поэт, и об этом свидетельствуют черновики. Моя же задача не связана с пушкиноведением, а только с тем, как понимал Мандельштам две стороны созидательного процесса, которые он обозначил словами «Моцарт» и «Сальери» в разговоре — через меня — с Ахматовой.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС

В заметках к «Юности Гёте» Мандельштам написал несколько слов об одном из самых, по его мнению, замечательных стихотворений Гёте: «Такие вещи создаются как бы оттого, что люди вскакивают среди ночи в стыде и страхе перед тем, что ничего не сделано и богохульно много прожито. Творческая бессонница, разбуженность отчаяния сидящего ночью в слезах на своей постели, именно так, как изобразил Гёте в своем

“Мейстере”. Конницей бессонниц движется искусство народов, и там, где она протопала, там быть поэзии или войне...»¹⁹

Вероятно, и Ахматова знала этот вид бессонницы, потому что через несколько лет, совершенно независимо от Мандельштама, чью работу о Гёте она не читала — это была передача для воронежского радиоцентра, — у нее появились строчки: «Уж я ли не знала бессонницы Все пропасти и тропы, Но эта как топот конницы Под вой одичалой трубы...»²⁰ Это стихотворение сорокового года, когда в ушах у Ахматовой зазвучала поэма и никакие попытки совладать с нею или заглушить ее не удались. Ахматова рассказывала, как она бросилась стирать белье и топить печи; хотя от хозяйства всегда отлынивала, она сейчас была готова на все, лишь бы унять тревогу и шум в ушах. Ничего из этого не вышло — поэма взяла верх над сопротивляющимся поэтом. Таковую бессонную тревогу заглушить, очевидно, нельзя, пока она сама не уляжется, уступив место рабочему состоянию. Таков самый первый этап — как бы предвестие назревающих стихов, как, вероятно, и любой другой созидательной работы.

Возникает вопрос: почему в этой записи Мандельштам упомянул войну, а в стихи Ахматовой ворвалась труба из военного духового оркестра? Детство Гёте прошло в период Семилетней войны, и он часто об этом говорит в своей автобиографической книжке («Правда и вымысел»²¹), но я не думаю, чтобы слова о войне пришли к Мандельштаму по ассоциации: его все же вела обычно мысль, а не ассоциация. И почему-то Ахматова тоже поняла нечто связанное с войной и походами, когда заговорила об этой бессоннице. Что это — внутренняя мобилизация? Сигнал к сбору в поход? Атавистический страх или инстинкт войны? Мандельштам на войне не был, Ахматова же, как полагается женщине, только провожала и плакала, но все же почуяла одичалую трубу, неизвестно куда призывавшую и влекущую.

По неписаному, но непреложному закону имя Пушкина никогда среди нас не упоминалось в одном контексте с другими, особенно с современными нам поэтами. Мне пришлось преодолеть внутренний запрет, смягченный лишь тем, что я уже назвала Гёте, чтобы сказать, как Пушкин говорил о том состоянии, которое предшествует работе. Это «духовной

жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился» и «как труп в пустыне я лежал»...²² В прошлом веке из всех переживаний открыто говорили только о любви, да и то, обычно, как о влечении и влюбленности. Чтобы раскрыть свой созидательный опыт, Пушкин прибегнул к мифу о пророке, но смысл стихов совершенно ясен.

Ахматова назвала это состояние «предпесенной тревогой»²³. Такая тревога предшествует не каждому стихотворению, но скорее циклу, периоду, книге или в том или ином виде цельному этапу. Впрочем, и отдельное стихотворение, стоящее изолированно от других, может перед своим возникновением вызвать приступ «предпесенной тревоги». Иногда она охватывает человека и в гуще работы, знаменуя какой-то сдвиг, новый ход, поворот внутренней темы.

«Разбуженность отчаяния», или «предпесенная тревога», — это только предчувствие «темы», ожидание ее прихода. Я говорю о внутренней теме, а не о том, что называется темой в школьном понимании, то есть не об исходном моменте для последующих рассуждений. Сама «внутренняя тема» еще не содержит в себе никакого материала и не оформляется ни как довод, ни как тезис. В «Разговоре о Данте» Мандельштам так ее определяет: «В ту минуту, когда у Данта забрезжила потребность в эмпирической проверке данных предания, когда у него впервые появился вкус к тому, что я предлагаю назвать священной — в кавычках — индукцией, концепция “*Divina Commedia*” была уже сложена и успех ее был уже внутренне обеспечен». В этой главе говорится о «Комедии» в целом и в частности о третьей ее части, а не о первой и наиболее популярной, об отношении Данте к библейской космогонии и к авторитету, а также о его методах «проверки предания», которые Мандельштам сравнивает с постановкой эксперимента в современной науке.

Не случайно в этой фразе сказано, что внутренняя тема «забрезжила», то есть получила слабые и неясные очертания. Об этом моменте рассказал и Пушкин, вспоминая, как он, словно сквозь «магический кристалл», еще неясно различал «даль свободного романа»²⁴. В статье «Слово и культура» у Мандельштама есть несколько слов об этом самом раннем этапе становления стихов: «Стихотворение живо внутренним

образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это внутренний образ, это его осязает слух поэта».

В определении Мандельштама есть свойственный ему синтез чувств. «Слепок» — это то, что слепо, до чего дотрагивались пальцы, когда лепили, но осязает он этот «слепок» слухом. Все пять чувств у Мандельштама были очень развиты, и не только слух, музыкальный и острый, не только вкус и зрение, но и осязание, сильное, почти как у слепого. Возражая против чрезмерной конкретности, он писал: «К чему обязательно осязать перстами? Сомнения Фомы», — но тут же вспомнил слепого, который «узнаёт милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами...»²⁵. Как известно, интеллектуальное напряжение получает обычно моторную разрядку — в ходьбе, в движении рук или губ. Я думаю, что напряжение в моменты «предписенной тревоги» вызывало это обострение всех пяти чувств. Ведь они, по мнению Мандельштама, «лишь вассалы, состоящие на феодальной службе у разумного, мыслящего, сознающего свои достоинства “я”»²⁶...

На этом этапе созидательного труда поэт погружен в себя, он вслушивается в себя, в свой внутренний голос. Хорошо об этом сказал Ходасевич, трогательно пожаловавшись, что «простой душе невыносим дар тайнослышанья тяжелый — Психея падает под ним»²⁷... Для Мандельштама это период особой тишины. Молодой врач Ю. Фрейдин сделал доклад на конференции в Тарту о психологии стихотворчества²⁸, основываясь на юношеском стихотворении Мандельштама, где описан как раз этот момент напряженного вслушивания: «Слух чуткий парус натягает, Расширенный пустеет взор, И тишину переплывает Полночных птиц незвучный хор». Внутренний голос тих и незвучен, как шепот (не включены голосовые связки — отсюда отсутствие звонкости).

Несколько иначе протекал этот этап у Ахматовой. В первых, у нее мелькали зрительные образы («видения скрещенных рук»²⁹), во-вторых, она говорит не о тишине, а о множественности слышимых ею голосов: «неузнанных и пленных голосов» ей «чудятся и жалобы и стоны», а далее из смешанных, не очень дифференцированных шумов встает «один все

победивший звук»³⁰. В этом как будто сказывается природа ее дарования: «один звук» обеспечивает однозначность, а может, и новеллистичность ее стихов, которые почти всегда развертываются как рассказ об одном моменте. В этом своеобразии и сила Ахматовой, и отсюда проистекает ее лаконизм.

У Мандельштама вслушивание переходит в бормотание, и появляется не один победивший звук, а ритмическое целое: «И так хорошо мне и тяжело, Когда приближается миг, И вдруг дуговая растяжка Звучит в бормотаньях моих...»³¹ С этой минуты уже приходят слова: «Как эту выпуклость и радость передать, Когда сквозь слез нам слово улыбнется...»³²

Процесс сочинительства, судя по этим данным, на своем начальном этапе представляется так: предварительная тревога, звучащий слепок формы или «незвучный хор», смутно ощущаемый слухом, первичное бормотание, в котором уже проявляется ритмическое начало и приходят первые слова. Тревога сменяется радостью первых находок. Но дальше поэт ждет новая беда — поиски потерянного слова.

В наше время, раскрепостившее самоанализ, отнюдь не фрейдистский, а несравненно более глубокий и реальный, два поэта, ничем друг с другом не связанные, разделенные пространством и условиями жизни, говорившие на разных языках и даже не слышавшие друг о друге, Элиот и Мандельштам, рассказали о горьком чувстве, вызванном потерей слова³³. Это несчастье, знакомое, вероятно, каждому подлинному поэту, составляет как бы «издержки производства». Внутренний голос, к которому прислушивается поэт, так неуловимо тих, что, даже мобилизовав все свои чувства, в том числе и память, поэт не всегда может уловить это неуловимое слово: «А на губах как черный лед горит И мучит память. Не хватает слова — Не выдумать его: оно само гудит, Качает колокол беспамятства ночного...»³⁴

В этом черновике отчетливо выразилось отношение Мандельштама к слову: оно существует как абсолютная реальность — в языке, в традиции, — и в строке нужно именно то, которое ускользнуло, и заменить его ничем нельзя, хотя заменителей существует сколько угодно. Выдуманное слово или слово-заменитель — это случайность, в то время как в поэзии все закономерность. Мандельштам не раз вступал в полемику

и с символистами и с футуристами, обвиняя и тех и других в произвольном обращении со словом. Мне кажется, что самое существенное во всех этих разговорах — это жалоба — «не выдумать его» — и замечание в «Разговоре о Данте» о безорудийной, словарной, чисто количественной природе словообразования³⁵. Выдуманное слово, даже удачное, даже прочно вошедшее в словарь, ничего в языке не меняет, кроме чисто количественных данных.

Элиоту вряд ли пришлось сталкиваться с корнесловием, словотворчеством или превращением слова в символ, действительный только в системе данного стихотворения или данного поэта, но, вероятно, он в чем-то был близок к Мандельштаму в понимании слова, если так совпала тема их стихов.

Скорее всего, это сознание закономерности и незаменимости слова в стихах, а также понимание слова как Логоса. У Элиота есть совпадения и с Ахматовой, например со стихотворением «Но я предупреждаю вас, Что я живу в последний раз...»³⁶. Вероятно, эти совпадения кроются в миропонимании этих поэтов, в их принадлежности к христианской культуре в период ее глубочайшего кризиса, столь же ощутимого на Западе, как и у нас.

Известно, что состояние, в котором слышится внутренний голос и сочиняются стихи, не зависит от воли поэта — искусственно вызвать его нельзя. Поэт не властен над ним, как и над словом. Об этом говорил Пушкин. Это знал Мандельштам с ранней юности: «Отчего душа так певуча И так мало милых имен, А мгновенный ритм — только случай, Неожиданный Аквилон?»³⁷ Внезапность и неожиданность этого Аквилона — основная его черта. Где же его источник? В стихах Гёте о «разбуженности отчаяния» сказано, что тот, кто не изведал этого состояния, не знает и небесных сил³⁸. Не сродни ли состояние, в котором поэт прислушивается к неслышимому нами и только в его душе звучащему голосу, с тем, что называется религиозным или мистическим опытом? Мне случалось видеть, как «расширенный пустеет взор». Это таинственный миг, проникнуть в который нельзя, и то немногое, что я о нем сказала, не может раскрыть его сущности.

Надо еще сказать два слова о своеобразии и неточности современной терминологии. Для обозначения «звучащего

целого», которое Мандельштам назвал «слепком», то есть для еще не осуществленного, но уже в сознании поэта целостного стихотворения, сейчас часто употребляют взятое из научной терминологии слово «модель». В науке модель явления строится на основании теории, объясняющей явление. Так, например, была построена модель атома на основании теорий, объясняющих его структуру. «Звучащий слепок» не модель стихотворения, а само стихотворение, еще не расчлененное на слова, звуки, ритмы, смыслы и строки. Оно не модель атома, а сам атом, как и готовое стихотворение. В поэзии иное отношение к объекту, чем в науке, поэтому нельзя переносить понятий из науки о природе в науку о поэзии, если такая существует. Стихотворение — это явление, созданное поэтом, и в этом явлении субъект и объект неотделимы. Изучая готовое стихотворение, можно строить какие угодно модели, но их можно накладывать только на образцы описательной поэзии или на то, что в поэзии поддается пересказу или расчленению на отдельные образы. А это «вернейший признак отсутствия поэзии: ибо там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала»³⁹...

ИМПРОВИЗАТОР

Моцартовское начало лишь на поверхностный взгляд кажется родственным дару импровизации. Источники этих двух видов труда не равнозначны, а может, даже противоположны. Моцарт работает под озарением (в «Разговоре о Данте» Мандельштам назвал это «порывом»⁴⁰). Порыв или озарение сопровождает у него весь процесс сочинительства. Но это ли имел в виду Мандельштам, когда в юношеских стихах жаловался, что «широкий ветер Орфея» «ушел в чужие края»⁴¹?

Об особенностях дарования Моцарта из «маленькой трагедии» мы узнаем не от него, а из слов Сальери. Это он свидетельствует, что «священный дар» «озаряет голову безумца, гуляки праздного»... Ясно, почему Моцарт «праздник гуляка», — нужна же ему разрядка после того, как он весь отдается «тайнослышанью»... Мы узнаем об оценке его труда:

«Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь...» Носитель пленительной и новой гармонии не может не быть в часы досуга легкомысленной, хотя и не суетной душой. Суетным он быть не мог, потому что поэтическая правота — его неотъемлемый дар. Это отлично знал Пушкин, которого тоже обвиняли в том, что он недостойн своего дара, и знаменитое стихотворение о поэте, погруженном в «заботы суетного света», было просто вызовом обвинителям, а совсем не вынужденным автопризнанием⁴². А сколько кривотолков породило это стихотворение, и совсем не со стороны трудолюбцев, вроде Сальери, а скорее со стороны работодателей, заказчиков, опекунов и блюстителей культуры-приличия!..⁴³ Моцарт бы, наверное, никогда не выполнил заказа «черного человека», если бы не почувствовал приближение собственной смерти, а заказчики любят, чтобы все сроки соблюдались по точной букве договора. Этого Моцарт не мог сделать, потому что над «тайнослышаньем» он властен не был, оно возникало не в договорные сроки, а по собственным, нам не известным законам.

У импровизации совершенно другая основа, чем у дрящегося порыва. Импровизация не внутренний голос поэта, не напряженное вслушивание в себя, а работа на готовых элементах, на их элементарном складывании и склеиванье, разворот ритмической машинки, которой обладают скорее версификаторы, чем подлинные поэты. Мандельштам однажды слышал, как импровизирует в Кафе поэтов корректный, прилизанный Брюсов, «герой труда», как его называла неистовая Цветаева⁴⁴. Он предложил задать себе несколько тем, выбрал из них одну и ровно, почти без запинки, сочинил на глазах у публики среднебрюсовское стихотворение, составленное (в буквальном смысле слова) из обычных брюсовских слов, объединенных обычным — очень правильным и слегка прыгающим — ритмом, и с обычным брюсовским ходом мысли, казавшейся столь прихотливой и завлекательной его современникам.

Мандельштама удивило, что это — импровизированное — стихотворение Брюсова решительно ничем не отличалось от тех, которые собирались у него в книгах. Даже в импровизации у Брюсова не прорвалось никакой неожиданности («неожиданное — воздух поэзии»⁴⁵) и не промелькнуло никакой

случайности или неправильности. Герои труда всегда держат марку... Импровизированные стихи оказались такими же мертворожденными, как все, что писал Брюсов. «Точно такое стихотворение, как все у него», — разводил руками Мандельштам. Он удивлялся отнюдь не мастерству Брюсова (в поэзии не это называется мастерством, хотя и оно далеко не признак подлинного поэта, а скорее признак переводчика), а всей этой нелепице: пожилой человек находит удовольствие в том, чтобы публично продемонстрировать, как без затраты энергии сочиняются никому не нужные стихи. Бедный импровизатор из «Египетских ночей» пошел на такое бесплодное дело только ради денег, а Брюсов делал это бесплатно или за такие гроши, на которые можно было заказать только стакан суррогатного чаю с фантастическим суррогатом пирожного. Это было в голодной Москве первых лет революции, когда оседлые люди вроде Брюсова жили на продажу тряпья, залежавшегося у них в квартирах, а вовсе не на заработки, тем более не на литературные гонорары...

Не сомневаюсь, что импровизации Мицкевича, первожданного поэта, ни в какое сравнение с брюсовской не идут. Мицкевич обладал несравненно более широкой клавиатурой, чем Брюсов, и обширнейшим набором стихотворных элементов. Это обеспечило бы гораздо высший уровень импровизированного стихотворения, даже целиком собранного из готовых элементов. И наконец, — кто знает? — нервная структура Мицкевича могла быть такова, что стихотворческий порыв возникал в нем внезапно и даже от простого контакта с аудиторией: в единый миг, как вспыхивает электрическая лампочка. Нечто схожее, вероятно, свойственно актерам — зажигаться от контакта с аудиторией — и прирожденным ораторам. Пушкин в своем итальянце-импровизаторе вывел не версификатора типа Брюсова, а подлинного поэта — только в этом и существует нечто общее между импровизатором повести и Мицкевичем, во всем остальном они до предела несхожи. Ведь прежде чем начать импровизировать, итальянец изменился в лице, словно почувствовал «приближение Бога»⁴⁶. Не так ли всякий поэт ждет приближения «звучащего слепка формы» или порыва? Мне кажется исключительно важным, что Пушкин, скупой на откровенные высказывания о том, как протекало

у него сочинительство, сблизил здесь как бы невзначай стихотворческий опыт с мистическим.

В одной из самых значительных своих книг Франк, замечательный человек, свободный мыслитель и глубокий философ, доказывает существование мистического опыта и Богообщения именно на аналогиях с опытом эстетическим и этическим⁴⁷. Я уверена, что поэт, познавший природу «тайнослышанья», не может быть атеистом. Впрочем, стать атеистом он может, отрекшись от своего дара или утратив его, только кончается это всегда трагедией. Отрекались же от своего дара довольно часто и ради низменных целей, и по легкомыслию, и, главное, потому, что у людей не хватает душевных сил, интеллекта и нравственной выдержки для столь сурового испытания. А я к аналогии Франка прибавила бы и опыт научной интуиции и вообще познания, которые вообще привыкли связывать только с мыслительными (рациональными) способностями человека. Подобным же образом искусство часто отрывают полностью от рациональных элементов, хотя без них оно существовать не может. И наука и искусство требуют всех духовных способностей человека — во всей их сложности.

Хотя импровизатор почувствовал приближение Бога, тем не менее в импровизации даже подлинного поэта наряду с подъемами, неожиданностями и сгустками вибрации неизбежны падения, случайности, пустоты, заполненные отработанными элементами. Иначе говоря, импровизация состоит из отдельных взлетов, связанных соединительной тканью (часто сюжетной, потому что это легче) из готовых элементов. Причина такой структуры понятна: импровизатор, будь он сам Мицкевич, не имеет времени, чтобы вслушаться в себя, в свой внутренний голос. По условиям игры он не должен разочаровывать публику длительными паузами. У импровизатора почти до нуля сжата первая стадия процесса — тревога в ожидании порыва — и промежуточная, когда «расширенный пустеет взор» и наступает внутренняя тишина или «видения скрещенных рук».

Поэт может погрузиться в себя, чтобы услышать высшее, что в нем заложено, только в минуты чрезвычайной сосредоточенности, а этого достичь на эстраде, под взглядами

толпы, вероятно, почти невозможно. Даже актеры отделяются от зрительного зала тем, что погружают его в полумрак. Ярко освещенный зал цирка допустим только потому, что цирковое искусство дальше всего отстоит от импровизации и тайнослышанья. Оно основано на чистом мастерстве и на детальной проработке малейшего движения.

Тайнослышанье — тайна поэта. Чтобы скрыть его, Пушкин призывал поэта жить одному⁴⁸. Поэтический дар не терпит суеты, и хотя поэт в минуты перерывов как будто погружен «в заботы суетного мира»⁴⁹, на самом деле это не совсем так. Как бы он ни старался приладиться к людям, в нем всегда есть известная отчужденность.

И у Ахматовой, и у Мандельштама перерывы в стихописании бывали достаточно длительными, но все же даже среди друзей нет-нет да «и» проскользнет вдруг тень, словно они проверяют себя — не зашевелилось ли что у них в душе. С виду веселые и общительные, они все же вдруг своим сознанием отрывались от окружения, как бы прятались от него. Ахматова лучше регулировала эти состояния, чем Мандельштам, она старалась запрягать их, чтобы потом, притворившись больной, убежать. Мандельштам отчуждался и на людях и, вслушиваясь в себя, вдруг переставал слышать, что ему говорят. Его страсть к ходьбе и прогулкам — обязательно одиноким — отвечала его потребности одновременно быть среди людей — прохожих — и одному. Пастернак, тоже общительный и любивший завораживать и очаровывать людей, вдруг от них отталкивался, менял весь тон разговора, становился отрывистым и резким. Эти повороты казались бы необъяснимыми, если бы не знать таинственной потребности поэта вдруг побыть наедине с самим собой. Это вовсе не значит, что он тут же начнет писать стихи. Чтобы начать писать стихи, надо жить и, живя, часто бывать одному.

Чарский, как он дан Пушкиным в «Египетских ночах», отчуждается от людей, воздвигает невидимую перегородку между собой и светским обществом, к которому он принадлежит. В этом его социальная позиция — личина светского человека. Но в его поведении есть нечто и от потребности поэта к некоторому отчуждению, или, как это называл Мандельштам, дистанции. Отношение Чарского к обществу не мотивировано —

показано как данность. Замкнутый и отделившийся от общества Чарский противопоставлен импровизатору не как поэт — мы даже не знаем, что он пишет и как работает, — а только по отношению к обществу.

Проза и стихи поэта составляют одно целое, но роль тайнослышанья при сочинении прозаических вещей, мне кажется, значительно меньше, а период предварительной тревоги не менее острый, чем перед стихотворной работой. Мне кажется, что вся почти проза поэтов — это самопознание и поэтому может служить комментарием к стихам. Но ведь это верно и для книг самых наших крупных прозаиков — Достоевского и Толстого... Люди, вскормленные на беллетристике, пустили слух, что проза поэтов нечто зыбкое и малосущественное для развития прозаических жанров. Чем дальше отступает современное литературное произведение от прямой речи человека, открыто или с целомудренной скрытностью ищущего и познающего себя, тем больший у него разрыв с прозой поэта.

Ахматова, несмотря на настоящую влюбленность в первого поэта, гордилась тем, что сохраняет непредвзятость и знает, в каких вещах он слаб и в каких силен. Из его прозы она ниже всего ставила «Дубровского», считая, что в этой вещи меньше всего от самого Пушкина. В «Дубровском» Пушкин, по мнению Ахматовой, задался целью написать обычную повесть, похожую на модные в его время литературные жанры. Иначе говоря, в «Дубровском» Ахматова не видела ни личного импульса Пушкина, ни его автопортрета, ни самопознания. Все же остальное — от случайной записи до совершеннейших вещей — носит отпечаток личности Пушкина.

Мне остается сказать два слова об особом виде импровизации поэтов: об экспромтах и шуточных стихах. Они тоже строятся на отработанном материале, но не в поэзии, а в прозе и в устной речи, и действует при их произнесении чисто версификаторский дар. По-своему они очень портретны, потому что в них больше, чем в чем-либо, запечатлелась живая речь, озорство и смех. У Ахматовой несколько иной характер экспромта: это ее четверостишия, полные обычно горечи и даже издевки. Какова эпоха — таков и экспромт поэта.

САЛЬЕРИ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

Мандельштам отмежевался от Моцарта и безоговорочно стал на сторону Сальери в двух статьях 1922 года⁵⁰. Он признал их равноправие лишь через двенадцать лет, уже после того, как был написан «Разговор о Данте». У Ахматовой есть замечательные строчки: «А по набережной легендарной Приближался не календарный — Настоящий двадцатый век»⁵¹. Что двадцатый век наступил не сразу, как ему полагалось по календарным данным, а несколько позже, знают сейчас все, но некоторые считают, что он начался с войной 1914 года, другие — с гражданской, а я думаю, что обе эти войны ничего принципиально нового с собой еще не несли. Ужас и жестокость войны были только прелюдией, а перелом совершился по окончании гражданской войны, так что в 1922 году мы стояли в преддверье нового века.

Мандельштам это знал и готовился к новой жизни. В той же статье, где он объявляет себя сторонником Сальери, есть несколько строк о том когда-то «сегодняшнем дне»: «Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как человек должен стать тверже всего на земле и относиться к ней как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный характер поэзии обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире»⁵². Не прошло и года, как все стало ясно, и в статье «Гуманизм и современность» Мандельштам снова заговорил о человеке, но уже в ином плане; вера в твердость человека была подорвана, и на первый план выступила его беспомощность в сравнении с мощными формами социальной структуры⁵³.

Для Мандельштама это были новые мысли и новые слова. Было ясно, что в нем произошел какой-то перелом, и этому способствовало и приближение настоящего двадцатого века, и личные обстоятельства. Во-первых, гибель Гумилева, во-вторых, он жил уже не один, а со мной и, может, впервые почувствовал ответственность за другого человека. И этого человека надо было кормить, а в те годы это было почти головоломной задачей.

Что он думает о Гумилеве, я узнавала по отрывочным фразам и решениям. Он твердо решил не возвращаться

в Петербург — этот город для него внезапно опустел. А как-то он сказал, что когда группа распадается, на каждого ложится еще бóльшая ответственность. Мы узнали о гибели Гумилева в Тифлисе, вероятно, в середине сентября. И в одном из стихотворений, написанных поздней осенью, тоже прозвучал этот новый голос⁵⁴.

Осенью мы жили у присланного из Москвы Б., с которым неоднократно говорили о том, что нас ждет. Однажды к дому, где мы жили, подъехали грузовики, и в несколько часов весь квартал был выселен. Тогда уже начали практиковаться массовые организационные действия вроде переселения целого квартала или, как было когда-то в Киеве, обыска для «изъятия излишков», произведенного в одну ночь во всем городе. Теперь, после того как мы испытали подлинную массовость предприятий, это кажется детской забавой, но тогда на нас, еще неопытных, эти переселения и обыски производили впечатление. Первые опыты — силы только набирались.

Постоянным жителям квартала выдали заранее приготовленные ордера на новое жилье. Нам ехать было некуда, и наши вещи бросили на полугрузовичок, мы назвали «Дом искусств», и шофер торжественно покатил нас по назначению. Мне почему-то запомнилась эта фантазмагория и забавнейшая деталь, придававшая всему еще более фантастический характер: шофер был негром. Откуда взялся негр, я не знаю, но он промчал нас по яркой центральной улице Тифлиса и остановился у изящного особняка в самой лучшей части Тифлиса. Этот особняк, брошенный владельцами, передали во владение поэтам из любимой в Грузии группы «Голубые роги».

Мы самочинно, без разрешения властей и новых хозяев особняка, «Голубых рогов», заняли один из небольших кабинетов на нижнем этаже, где были приемные, гостиные и террасы. На втором этаже жили Паоло Яшвили и Тициан Табидзе. Возмущенные нашим самочинством, слуги бегали жаловаться комиссарам просвещения, за которыми числился особняк, и время от времени по приказанию комиссаров Канделаки и Брехничева не пускали нас в дом. Тогда с верхнего этажа спускался Яшвили и, феодальным жестом отшвырнув слугу, пропускал нас в дом. Мы продержались там около месяца. Поэты раздобыли Мандельштаму перевод Важа Пшавелы, и на террасах

нижнего этажа время от времени между ними и Мандельштамом вспыхивали споры, в которые обе стороны вкладывали южную ярость и пыл. Мандельштам нападал на символистов, а Яшвили именем Андрея Белого клялся уничтожить всех врагов символистов. Антисимволистского пыла у Мандельштама хватило на все статьи 1922 года⁵⁵. Доводы оттачивались в тифлисских спорах. Младшие «Голубые роги», Гаприндашвили и Мицишвили, тайно сочувствовали Мандельштаму, но старшие были непримиримы. Под конец Яшвили восклицал: «Кто вы такой, чтобы нас учить!» А ведь правильно — что за миссионерский пыл обуял Мандельштама, чтобы громить то, что он считал ересью, в чужой и незнакомой ему поэзии... Зато сходились все на одном: в оценке Важа Пшавелы⁵⁶.

Комиссары, убедившись, что примитивно — ручным способом — выгнать нас нельзя из-за сопротивления Яшвили, дали нам ордер на какую-то гостиницу с разбитыми стеклами. Мы побыли там несколько дней, выпили вина с соседями — грузинскими милиционерами — и через Батум уехали в зиму — на север. Новый двадцать второй год мы встретили на пароходе в Сухуми.

Переломное стихотворение с новым голосом «Умывался ночью на дворе» было написано в Доме искусств. Мандельштам действительно умывался ночью во дворе — в роскошном особняке не было водопровода, воду привозили из источника и наливали огромную бочку, стоявшую во дворе — всклянь, до самых краев. В стихи попало и грубое домотканое полотенце, которое мы привезли с Украины. У нас всегда было пристрастие к домотканым деревенским холстам, коврикам-килимам, глиняным кувшинам, а теперь и стеклянная банка кажется настоящей вещью по сравнению с бело-розовой пластмассой, которую Ахматова почему-то называла «бессмертной фанерой», включая сюда все нейлоны и перлоны... Смогут ли новые материалы стать утварью или навсегда останутся изделиями? Думаю, что в понятие двадцатого века входит и смерть утвари, последнюю дань которой Мандельштам отдал в статье 22 года⁵⁷.

«Умывался ночью на дворе» — маленькое стихотворение. Оно пришло одно, и где-то заглохли другие, которых оно вело за собой. Его материал лишь чуть-чуть отразился в следующем

по времени («Кому зима, арак и пунш голубоглазый»), и оно не стало ядром цикла. На чужбине — а Грузия, несмотря на любовь Манделштама к «черноморью», была чужбиной — стихам суждено гдохнуть. Зато в эти двенадцать строчек в невероятно сжатом виде вложено новое мироощущение возмужавшего человека, и в них названо то, что составляло содержание нового мироощущения: совесть, беда, холод, правдивая и страшная земля с ее суровостью, правда как основа жизни; самое чистое и прямое, что нам дано, — смерть, и грубые звезды на небесной тверди...

Небо никогда не было для Манделштама обиталищем Бога, потому что он слишком ясно ощущал его внепространственную и вневременную сущность. Небеса, как символ, у него встречаются очень редко, может, только в строчке: «что десяти небес нам стоила земля»⁵⁸. Обычно же это — пустые небеса, граница мира, и задача человека внести в них жизнь, дав им соизмеримость с делом его рук — куполом, башней, готической стрелой. Архитектура для Манделштама не только одно из искусств, но освоение одного из величайших даров, полученных человеком, — пространства, трехмерности. Отсюда призыв — не тяготиться трехмерностью, как символисты, но, выполняя земное назначение, осваивать ее — радостно жить и строить в этом трехмерном мире: «Зодчий говорит: я строю — значит — я прав»⁵⁹. Манделштам ощущал пространство даже сильнее, чем время, которое представлялось ему регулятором человеческой жизни: «Время срезает меня, как монету»⁶⁰, а также мерой стихов. Время — век — это история, но по отношению ко времени человек пассивен. Его активность развивается в пространстве, которое он должен заполнить вещами, сделать своим домом. Архитектура — наиболее явственный след, который человек может оставить в этом мире, а следовательно, залог бессмертия.

В христианстве есть призыв к активности — хотя бы в притче о талантах⁶¹ — в отличие от буддизма и теософских течений, завоевавших умы в начале века, как и пантеистические течения. Символисты подверглись сильному влиянию Востока (отчасти через популярного в их кругах Шопенгауэра), и бунт акмеистов против них был далеко не только литературным, но в значительной мере мировоззренческим.

Почти все символисты в какой-то степени стремились к модернизации христианства, призывали к слиянию его то с античностью, то с язычеством. Одна из модных тем десятих годов — дохристианская Русь, на которой сыграл Городецкий. (На ней же построил свою сказочную мифологию Хлебников, радостно встреченный Вячеславом Ивановым.) Акмеисты — совершенно различные поэты, с абсолютно разной поэтикой — объединились и восстали против символистов за «светоч, унаследованный от предков». В сущности, у футуризма не было глубоких разногласий с символистами. Они только довершили дело, начатое символистами, и были ими отлично приняты и даже усыновлены.

Гораздо сложнее обстояло дело с акмеистами. Впрочем, говоря об акмеистах, надо сразу исключить Городецкого, по «тактическим соображениям» привлеченного Гумилевым, который боялся выступать с зеленой молодежью и искал хотя бы одного человека «с именем», а Городецкий тогда был всеобщим любимчиком, «солнечным мальчиком» Блока, и его всерьез считали надеждой русской поэзии. Зенкевич и Нарбут тоже были более или менее случайными людьми, которых объединяла с основными тремя акмеистами только дружба.

Миропонимание Мандельштама сложилось очень рано. Основные его черты выявлены уже в статье «Утро акмеизма», которую он предложил как манифест нового течения. Отвергли ее Гумилев и Городецкий⁶² — Ахматова всегда поддерживала Мандельштама. В ранней юности она, вероятно, не совсем понимала, чего он хочет, в зрелые же годы целиком разделяла позиции этой статьи. Ту же линию Мандельштам продолжил в статье «Скрябин и христианство» (или «Пушкин и Скрябин»), прочитанной как доклад в религиозно-философском обществе и сохранившейся только в отрывках. В статьях 1922 года затрагиваются те же вопросы, но само слово «христианство» попало под полный цензурный запрет и больше в статьях не называется.

В стихах 1922–1923 годов Мандельштам, почувывая еще в Тифлисе новый голос, снова потянулся к ученичеству: «Какой бы выкуп заплатить За ученичество вселенной, Чтоб черный грифель повести (приучить) Для твердой записи мгновенной...»

Это черновик «Грифельной оды», где подспудно проходит тема ученичества. У Мандельштама, как, вероятно, у многих поэтов, было два периода ученичества. Первый период — это ученичество-обучение. Он падает у Мандельштама на середину, по-моему, «Камня», где «Петербургские строфы», «Кинематограф» и стихи о спорте, из которых в книгу вошел только «Теннис». Второй и решающий период ученичества тот, когда поэт ищет свое место среди живых и мертвых «хозяев и распорядителей поэтической материи»⁶³.

Пушкин подарил Сальери монолог об обучении или первой стадии ученичества: «Ремесло поставил я подножием искусству», и в этом одна из причин тяги Мандельштама к Сальери. Всякое ремесло дорого Мандельштаму, потому что ремесленник делает утварь, заполняет и одомашнивает мир. Мандельштаму однажды понадобилось дать понятие красоты, и он дал его через ремесло: «Красота не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра...»⁶⁴ Кроме того, Мандельштам не мог не оценить «послушную сухую беглость», которую Сальери придал пальцам, а также и «верность уху», необходимую не только музыканту, но и поэту. Наконец, Сальери труженик, а всякий художник во всем процессе создания вещи больше всего склонен подчеркивать момент труда. Ведь именно труд зависит от воли художника, от его внутренней собранности и почти аскетического «самоотвержения»... В период, когда Мандельштам делал всю ставку на твердость человека, на его волевою целеустремленность и неколебимость, он явно должен был принять сторону сурового Сальери, а не расплывчатого Моцарта.

Притяжение к Сальери вызвано и отталкиванием от Моцарта «маленькой трагедии». Пушкин, выделив чуждый для него и в чистом виде невысказанный тип художника, живущего одними озарениями без малейшего участия интеллекта и труда («гуляка праздный», один из «счастливых праздных»), сделал его мечтателем с неопределенно-романтическим словарем. Таково пояснительное вступление, которое Моцарт делает прежде, чем сесть за рояль: влюбленность («не слишком, а слегка»), красotka, и «вдруг виденье гробовое, незапный мрак или что-нибудь такое»... В еще большей степени этот романтический контур выделен в словах Моцарта, когда он сам

причисляет себя и Сальери к избранникам, праздным счастливым и жрецам прекрасного.

Здесь Пушкин безмерно отдалил от себя своего Моцарта, и каждое слово в этой реплике было противопоставлено Мандельштаму. Ему была ненавистна позиция избранничества, а тем более жречества, столь характерная для символистов и хорошо выраженная Бердяевым — он был близок к символистам — с его культом собственного аристократизма, брезгливостью и презрением к простой жизни. Избранническая позиция символистов способствовала просветительской работе, которую они провели, но вызвала естественный отпор у младших поколений.

Те поэты, которых я знала, не только не чувствовали себя избранниками, но безмерно уважали людей «настоящих» профессий. Чего стоит одна эта жалоба Мандельштама: «Кто я? Не каменщик прямой, Не кровельщик, не корабельщик: Двuruшник я с двойной душой — Я ночи друг, я дня застрельщик...»⁶⁵ Ахматова мечтала быть литературоведом, дамой, просто женой, разливающей за чистым столом чай. А Пастернак как-то рассказывал про девицу-секретаршу, давшую ему глупый совет, который он, конечно, выполнил, — что он не мог ей не поверить: «Ведь она сидит за столом», то есть профессионалка и делает настоящее дело... Мне же больше всего бы хотелось быть замужем за сапожником: и муж при деле, и жена обута... Какое уж там жречество... Но все-таки каждый из них настаивал на том, что и они труженики. В статье «Утро акмеизма» Мандельштам утверждал, что труд поэта сложнее даже труда математика (правда, пример математического труда у него наивный, но другого ему и не нужно было). Напомню еще полемический выпад Ахматовой: «Подумаешь, тоже работа — Беспечное это житье...»⁶⁶ Под словами пушкинского Моцарта не подписался бы никто из них, включая, впрочем, и самого Пушкина и даже исторического Моцарта.

Мандельштам, по природе своей пристрастный и несправедливый, не разобравшись как следует, только по этим кратким репликам, причислил Моцарта к символистам и их последователям — имажинистам, футуристам и прочим, а пушкинского Сальери превратил в сурового и строгого мастера

вещей. (Мне кажется, что он подменил его Бахом, вспомнив «Хорошо темперированный клавир», как проверку математических расчетов.) Рассердившись, он не заметил, что хотя слово «жрец» произнесено Моцартом, настоящим жрецом все же является Сальери. В прелестной сцене со «скрыпачом», где Моцарт приобрел настоящие пушкинские черты, Сальери вдруг напыжился, потерял трагичность и превратился в жреца и педанта, охраняющего мертвую святыню. Если святыню приходится охранять, значит, она мертва...

Сальери превращает искусство в кумир, и это тоже сближает его со жреческим сословием, а Моцарт, как правильно заметил Б. Биргер, живет, трудится и не требует награды за свой труд. Сальери же предьявляет иск к всевышним силам за то, что они недостаточно оценили его «самоотвержение». Искусство и, в частности, стихи действительно не то, как мы понимали их в молодости...

В статье «Заметки о поэзии» (1922) Мандельштам писал: «У Пушкина есть два выражения для новаторства, одно: “чтоб, возмутив бескрылое желанье в нас, чадах праха, после улететь”, а другое: “когда великий Глюк явился и открыл нам новы тайны”...»⁶⁷ Новатора первого толка, то есть Моцарта из «маленькой трагедии», Мандельштам называет соблазнителем. Пушкин, вероятно, знал, что Глюк реформировал оперное пение, введя в него речитатив, но вряд ли он говорил о новаторстве.

Сама тема новаторства актуальнее всего звучала в двадцатые годы, когда его провозгласили — под влиянием футуризма и Лефа — едва ли не единственной ценностью и критерием искусства. Это болезнь времени вроде ветрянки. И тоже кончается шелушением. Мандельштам рано почувал эту болезнь и выступал против нее с не меньшей яростью, чем против символизма. В данном случае он призывал на помощь Пушкина и модернизировал его слова: ведь Пушкин говорит не о новаторстве, а о неповторимости художника. Художник неповторим еще в большей степени, чем просто человек, и Мандельштам это прекрасно знал, иначе он бы не сказал: «Не сравнивай — живущий несравним...»

Ахматова говорила, что большой поэт, как плотина, перегораживает течение реки. Пушкинские поэмы, особенно

«Онегин», надолго остановили всякую возможность возникновения поэмы, потому что все невольно писали в этом ключе. Первым прорвался сквозь плотину Некрасов, а потом Маяковский. В этом Ахматова видела значение Маяковского. Точно так Пастернак «застрял в горле» у целого поколения поэтов. Только одна Цветаева переварила влияние и Пастернака, и Маяковского и нашла свой голос. В этих словах Ахматовой мне слышится голос литературоведа, и я не могу себе представить поэзию как течение реки. Ведь в течении есть непрерывность (течения и школы, как их представлял себе Тынянов), а поэзия живет только неповторимыми голосами, которые перекликаются между собой, потому что «все было встарь, все повторится снова»⁶⁸... Несколько райских песен достаточное оправдание жизни поэта, наследника он не оставляет никогда, и все происходит, как в письме Мандельштама к Тынянову: «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе...»

А Мандельштам способен был восстать на Моцарта даже из-за этих «райских песен», потому что слово «райский», употребленное в значении «прекрасный», может быть понято пристрастным слухом как «нездешний», «потусторонний»... В бунте против символистов и Гумилев и Мандельштам особенно восставали против стремления символистов уже здесь, на земле, познать с помощью символов потусторонний мир. Вячеслав Иванов призвал уйти прочь из реальности ради более реального (потустороннего) мира, а для Бердяева на земле существовали только символы лучшей жизни, которой он тяготился, мечтая поскорее попасть в царство духа. В своих программных статьях Гумилев заявил, что непознаваемое все равно познать нельзя и «все попытки в этом направлении — нецеломудренны»⁶⁹... Мандельштам сравнивал символистов с неблагодарным гостем, «который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает о том, как бы его перехитрить»⁷⁰... В той же статье («Утро акмеизма») он сказал: «Существовать — высшее самолюбие художника». Это значит быть и остаться в памяти людей здесь — на земле, но ведь существует именно Моцарт, раз он занес сюда несколько райских песен.

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО ПРОЦЕССА

Когда-то давно, быть может, еще на Тверском бульваре в начале двадцатых годов, потому что только тогда — после возвращения из Грузии — Мандельштам изредка забежал на собрания Союза поэтов и слушал, какие они читают стихи, — он, наслушавшись поэтов и переводчиков, вернулся домой и сказал: «Я понял: им тоже кажется, что они летают, только ничего не выходит...» Мне тоже случалось встречать людей со всеми признаками «полета», но в результате оставалась кучка пыли и груды исписанных листов. Видно, «полеты» бывают плодотворными и опустошительными, подлинными и мнимыми, свободными и своевольными. Самое чувство «полета» еще не гарантия, что в результате появятся полноценные стихи, а бесплодные усилия опустошают и одурманивают человека.

Очевидно, поэт должен уметь не только говорить, но и молчать в тех случаях, когда импульс, побуждающий его к сочинению стихов, недостаточно силен. Для поэта отказаться от работы, остановить себя, гораздо труднее, чем погрузиться в нее по первому зову. Всякий, кто пишет стихи, вероятно, знает, что в голове у поэта часто мелькают отдельные строки и даже строфы. Можно ухватиться за такую «бродячую», как их называл Мандельштам, строку или строфу и, приведя себя в соответствующее состояние, присочинить к ней по всем законам композиции еще нечто, чтобы получилось стихотворение. Так появляются мертворожденные стихи.

В период, когда Мандельштам не писал стихов, бродячих строф у него было сколько угодно, но он их даже не записывал. Он рассказал мне об этом, когда стихи вернулись, и на вопрос, почему он не попытался использовать эти строфы, он ответил: «Это было не то...» Объяснить, почему это было «не то», он не смог или не захотел. Из этого разговора я поняла, какую роль для поэта играет самообуздание. У него должен быть мощный контролирующий аппарат, чтобы распознавать качество и ценность импульсов.

Поэт молчит, если он не созрел для той глубинной и самозабвенной деятельности, которая ему предстоит. Иногда это происходит оттого, что он еще не оторвался от суеты, чтобы почувать свою глубину, а иногда потому, что «душа убывает»⁷¹,

как когда-то сказал Герцен. Манделштам говорил, что стихи возникают, когда происходит какое-то событие, все равно — дурное или хорошее. Это попытка рационально объяснить глубинные процессы, которые никаким объяснениям не поддаются. При «убывающей душе» любое событие проходит незамеченным, а в дни духовного расцвета все ощущается как событие — дуновение ветра, упавшее яблоко, туча, птица в клетке — мало ли что... И я еще заметила, что поэт готов искусственно создать «событие», когда стихотворный импульс, «ветер Орфея»⁷², ослабевает, теряет силу, идет на нет... Это бывает в конце стихотворческого периода или книги... Искусственное событие длится недолго, и ветер все равно стихает. Его нельзя вызвать и нельзя надолго продлить. Зато, когда он дует, его нельзя остановить. Можно, и нужно, останавливать только мнимые импульсы.

Поэт, рассказывая о процессе сочинительства, не может обойтись без метафоры и сравнения. Особое целомудрие запрещает ему вникать, а тем более анализировать все включенные в этот акт моменты. Возможно, он даже не вполне отдает себе отчет в том, что с ним происходит в период, когда образуется «звучащее целое». У него остается одно — чувство удивления — и, говоря о своем опыте, он предпочитает обычно пользоваться фигурами речи, которые были придуманы до него. У Пушкина для обозначения всего процесса существуют два понятия — вдохновение и труд. Ахматова использовала старинное слово «муза» и часто говорила просто о работе. О двойственном характере созидательного труда говорили почти все, кто решился приоткрыть свою «лабораторию» (еще одно условное понятие, которым пользуются для «заземления» созидательного труда). Достоевский различал два этапа в создании вещи — работу поэта и работу художника.

Было ли в таком разделении точное понимание сущности работы художника? Скорее всего — это просто еще одно условное разделение двух начал созидательной работы. В разговоре Ахматовой и Манделштама эти два начала были названы «Моцарт» и «Сальери», хотя «маленькая трагедия» и не дает основания для такого обобщения. Моцарт в ней действительно носитель одного вдохновения, но Сальери знает и вдохновение, и труд. Об этом свидетельствуют следующие слова Сальери: «Быть может, посетит меня восторг, И творческая ночь,

и вдохновенье...» У Пушкина эти двое скорее сосуды разной емкости, но в данном очерке эти два имени использованы как еще одно метафорическое обозначение двух сторон единого процесса.

В «Разговоре о Данте», самой зрелой и последней статье Мандельштама, рассеяны некоторые сведения о том, как возникает стихотворное целое. Говоря о Данте, Мандельштам, несомненно, пользуется своим знанием процесса сочинительства, своим собственным опытом, и поэтому данные им сведения являются в то же время автопризнаниями. Если их собрать и расположить в должном порядке, можно получить общее представление обо всех стадиях процесса и определить, какую роль в нем играют два начала, условно обозначаемые именами Моцарта и Сальери.

Мельком и тотчас оговариваясь, что это слишком громко, хотя и правильно, Мандельштам говорит: «Комедия имела предпосылкой как бы гипнотический сеанс»⁷³. Гипноз (внушение) предполагает гипнотизера, но он не назван. Речь идет о состоянии тревоги и слез, включая момент, когда возникает «звучащий слепок формы». Мандельштам ввел понятие «как бы гипнотический сеанс», чтобы раскрыть это таинственное и необъяснимое состояние посредством сравнения с более или менее знакомым трансом при гипнозе. Сравнение с гипнозом позволяет сделать следующие выводы: это состояние не зависит от воли поэта, напротив, он переживает его как приказ извне, как воздействие на него чьей-то могучей воли, подобно пророку из стихотворения Пушкина («исполнись волею моей»). С этого момента начинает звучать внутренний голос: приказ пророку — «внемли»⁷⁴.

Мандельштам утверждает, что «ни одного словечка он (Данте) не привнесет от себя... он пишет под диктовку, он переписчик, он переводчик...». Литературовед этого бы сказать не мог. Это мог сказать только поэт, на собственном опыте познавший категоричность внутреннего голоса. Из приведенной цитаты следует, что в поэтическом труде немислим никакой произвол, ни выдумка, ни фантазия. Все эти понятия Мандельштам относил к отрицательному ряду: «Дант и фантазия — да ведь это несовместимо! Стыдитесь, французские романтики, несчастные incroyables'и»⁷⁵ в красных жилетах, оболгавшие Алигьери».

Мандельштам всегда так говорил о фантазии, будто в самом этом слове заключены эпитеты «разнузданный» и «безудержный», и полностью отрицал ее роль в созидательном процессе. Фантазия и вымысел дают фиктивный продукт — беллетристику, литературу, но не поэзию. Англичане не случайно называют литературу «фикцией» (fiction), тем самым отделяя ее от поэзии. К поэзии в таком смысле принадлежат не только вещи, написанные в форме стихов, но все подлинное в отличие от выдуманного, которое может принимать и стихотворную форму. Есть эпохи, когда возможно только литературное производство, фикция, потому что внутренний голос заглушен и «душа убывает».

В «Разговоре о Данте» Мандельштам ввел новое понятие — порыв. В сущности, это означает движение духа, но существенно, как определяет Мандельштам роль порыва в созидательном процессе. Он выделяет основной по значению и первый по времени порыв: «Вещь возникает как целокупность в результате единого дифференцирующего порыва, которым она пронизана». Порыв этот назван дифференцирующим, потому что целое не составляется из частных, а наоборот — частности, как показал Мандельштам, отрываются от целого, как бы выпархивают из него.

В результате первого порыва начинает действовать «безостановочная формообразующая тяга», которую Мандельштам приписывает чему-то вроде инстинкта, подобного инстинкту пчел, строящих соты. Порывообразование (за первым порывом, пронизывающим всю вещь, следуют другие, определяющие отдельные движения, вернее, «превращения» поэтической материи) Мандельштам ставит выше инстинктивного формообразования. Порывы — смыслоносители, а форма выжимается из концепции, как вода из губки, при одном лишь условии — что губка изначально содержит влагу. Порыв называется еще намагниченным и приравнивается к тоске: «Нет синтаксиса — есть намагниченный порыв, тоска по корабельной корме, тоска по червячному корму, тоска по неизданному закону, тоска по Флоренции...» Порывы членораздельны и насыщены конкретностью, поскольку они равны тоске или стремлению к конкретным целям и явлениям. Порывы — это моцартовское начало — мятущаяся и тоскующая душа. В «маленькой трагедии» Моцарт тоскует и рвется к смерти. В мире не существовало поэта,

у которого — несмотря на жизнелюбие, свойственное поэтам, — не было бы порыва к смерти. У Мандельштама порывы к смерти были во все периоды стихотворческой деятельности с кульминацией в стихах на смерть Андрея Белого. Смерть художника для Мандельштама — завершающий творческий акт. Сальери не может быть создателем вещей, как считал Мандельштам в двадцатых годах, потому что конкретность и материал приходят с порывами и принадлежат Моцарту.

Мне кажется, есть известное сходство между тем, как художник строит вещь, а человек свою жизнь. Ведь все повороты на жизненном пути тоже определяются порывами, а жизненный путь сохраняет единство и цельность только в тех случаях, когда каждый порыв подчинен смыслу целого. Мы всегда готовы поддаться обманному порыву и сбиться с пути, и это еще не большая беда — лишь бы вовремя опомниться и не зайти слишком далеко по ложному пути и не попасть в тупик: «И иду за ними следом, Сам себе не мил, не ведом — И слепой и поводырь...»⁷⁶ В каждом человеке есть и слепой и поводырь. Хорошо, если поводырю удастся справиться с прихотями слепого. Моцарт, которого ведут порывы, — слепой; Сальери — интеллектуальное начало — поводырь. Его роль — контролирующая и регулирующая. Как бы ни был Моцарт велик, будь он даже исторический Моцарт, композитор, ему необходим поводырь, алгебра, интеллект. При создании вещи интеллект никогда не молчит. Наоборот, он обостряется до предела, иначе Моцарт, ведомый порывами и погруженный в тайнослышанье, может сбиться с пути. Сальери не только интеллектуальное, но и волевое начало, а оно тоже необходимо на всех стадиях созидательного труда.

В «Разговоре о Данте» Мандельштам, позабыв о полемике с символистами, в тридцатые годы уже совершенно не актуальной, подчеркнул моцартовское начало сочинительства. Лишь в одном месте он показал, как всегда в метафорической форме, обе стороны процесса: «Он (Данте) преисполнен чувством неизъяснимой благодарности к тому кошничному богатству, которое падает ему в руки (моцартовское начало. — *Н.М.*). Ведь у него немалая забота: надо приготовить пространство для наплывов» (понятие «наплыв» взято из кинотехники; вся подготовительная работа, требующая знаний, принадлежит Сальери), «надо позаботиться о том, чтобы щедрость изливающейся

поэтической материи не протекла между пальцами, не ушла в пустое сито» (опять забота, то есть воля — значит: Сальери). Сальери оставлено еще письмо, каллиграфия, то есть окончательное становление текста. Сальери силен алгеброй; на одной алгебре вещи не сделаешь, но без закона и формулы никакой создатель вещей обойтись не может.

Моцарт и Сальери — это два этапа созидательного труда, но они не разделены во времени и непрерывно соприсутствуют и дополняют друг друга. У них общий и единый путь.

ТАЙНАЯ СВОБОДА

Моцарт «маленькой трагедии» не отрекается от Сальери и предлагает тост «за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии». Он действительно готов на союз и готов к дружбе, не претендуя на первое место среди тех, кого считает сыновьями гармонии. Опыт тайнослышанья формирует и преображает человека: мелкие инстинкты самолюбия и самоутверждения отсыхают на корню, хотя это, конечно, не исключает «чудных припадков самомнения»⁷⁷ в момент работы. Зато ставшая, готовая вещь как бы отпадает от своего сочинителя, и он смотрит на нее со стороны, примечая все достоинства и недостатки со спокойным, почти равнодушным беспристрастием. Именно потому Моцарт не мог разгневаться на «скрыпача», и Пушкин это знал.

Моцарт дружелюбен и доверчив, Сальери мнителен, но в каждом реальном поэте есть и тот и другой, и Пушкин не случайно наделил обоих своими чертами. И. М. Семенко заметила связь между следующими словами Сальери: «Что умирать? Я мнил: быть может, жизнь Мне принесет незапные дары... Быть может, новый Гайден сотворит Великое — и насладуся им» — и лирическим высказыванием Пушкина: «*Но не хочу, о други, умирать, Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, И, ведаю, мне будут наслажденья Меж горестей, забот и треволенья: Порой опять гармонией упыюсь, Над вымыслом слезами обольюсь...*» И, с другой стороны, в «Послании к Катенину» Пушкин с позиции Моцарта говорит, что тот предлагает ему не дружеский кубок, а чашу со сладкой отравой.

Есть области, где Моцарт и Сальери неразличимы, хотя бы в своей страсти к гармонии. Я не знаю, например, кто из них ведет борьбу за «социальное достоинство и общественное положение поэта», которую Мандельштам назвал «камер-юнкерской и чисто пушкинской»⁷⁸. Скорее всего — в этой борьбе участвуют оба, но, может, действуют разными методами. То, что резко их отличает друг от друга, вызвано «тайнослышанием».

Моцарт не только не требует награды за свой труд, но «преисполнен неизъяснимой благодарности» за то, что ему выпало такое богатство. Моцарт никогда не забывает, что он недостоин своего дара и ничем его не заслужил, да к тому же он точно знает, что дар дается вовсе не за заслуги. Это чувство незаслуженности дара присуще всякому поэту, потому что дар обнаруживается в тайнослышании, которое от воли поэта, от его усилий и стараний не зависит. К тайнослышанию привыкнуть нельзя — к чуду не привыкают, ему можно только удивляться. Поэт всегда полон удивления. Скорее всего, именно удивление раздражает благомыслящих людей — «чернь его обстала злая»⁷⁹. Удивление кажется ей подозрительным: она уважает только жрецов. Чудесное удивление молодого Пастернака так вмонтировалось в его глаза, что до поры до времени деятели литературы с ним мирились и оставляли его в покое. Ахматова маскировала удивление озорством, а Мандельштам, удивляясь, только веселел. В Ахматовой была настороженность, потому что она всегда ждала прихода стихов, а Мандельштама они заставляли врасплох, часто среди шума и людей, и он даже не пробовал ничего скрывать. Из всех троих он был самым незащищенным.

Удивление никогда не ослабевает, и оно-то и вызывает знакомый каждому поэту страх, что только что сочиненное стихотворение может оказаться последним в жизни, потому что трудно ждать повторения чуда. Во всяком чуде есть неповторимость. Про неожиданный ритм Мандельштам говорит, что «он совсем не вернется или вернется совсем иной»⁸⁰...

Чем крупнее поэт, тем острее у него чувство незаслуженности дара, удивления и благодарности. Поэт способен на все грехи, кроме одного — гордыни. Если бы Пушкин не ощущал свой дар как незаслуженное счастье, он бы не сказал про поэта «быть может, всех ничтожней он»⁸¹... Версификатор этого

никогда не сказал бы, потому что знает, что своими удачами обязан только себе. Бенедиктов поразил своих современников, найдя то, что называется «приемом», и достиг огромной виртуозности в пользовании этими «приемами». Хорошие стихи, прекрасные стихи, красивые стихи — все это вовсе не признак настоящего поэта. Признак настоящего поэта — только сама поэзия. «Неожиданное»⁸² в поэзии — это вибрация самой поэзии, а не неожиданность приема. Различие это совершенно точное, но как отличать одно от другого, не знает никто. Только некоторые люди сразу отличают одно от другого, а другие — их всегда большинство — неизбежно попадают на обман. Обычно время снимает ошибки современников, но кое-что из их миражей сохраняется в историях литературы и даже в оценках потомков. Так всегда было и будет, потому что никакого объективного критерия найти нельзя.

Сальери ни в какой мере не принадлежит к версификаторам. Он изучил ремесло, а версификатор пользуется приемом. «Труден первый шаг И скучен первый путь», — одолеть их может только Сальери. В старину, чтобы войти в искусство, надо было пройти через искус. Остается вопрос, является ли ремесло только техникой или включает в себя иные элементы.

В. Вейсберг прямо спросил меня, как я понимаю ремесло. Привычка произносить это слово не задумываясь помешала мне раскрыть его смысл. По мнению Вейсберга, ремесло нужно понимать как традицию, и я думаю, что это верно. Мандельштам доказывал, что изобретательство в поэзии (да и в любом искусстве и науке) дает плоды только в тех случаях, когда оно идет об руку с воспоминанием. Если принять определение, данное В. Вейсбергом, можно выявить несколько черт, характеризующих моцартианскую и сальериевскую сторону созидательного процесса.

Ремесло направлено в прошлое, и художник, как ребенок, проходит три стадии, овладевая безусловными, условными и культурными навыками. Я пользуюсь здесь терминами, данными моим давнишним приятелем, психологом Выготским. В ремесло входит и техника, и знание идей и гармонии, найденных участниками разговора, завязавшегося до нас. Сальери поддерживает канон и школу, пробудившийся Моцарт обращен в будущее: и «в предании видит не столько священную, его ослепляющую

сторону, сколько предмет, обыгрываемый при помощи горячего репортажа и страстного экспериментирования»⁸³. Отношения Моцарта и Сальери напоминают мне священника и пророка древней церкви, о которых я читала у Франка. Священник, лицо духовное, хранит заветы и предания, а пророк — мирянин и устремлен к будущему⁸⁴. Сальери подчинен необходимости, Моцарт осуществляет свободу. Эти два царства — прошлого и будущего, памяти и предвиденья, свободы и необходимости — взаимно переплетены и нерасторжимы. В своей совокупности они дают искусство и науку, историю и жизнь...

Необходимость не принуждение и не проклятие детерминизма, а связь времен, если не растоптан «светоч, унаследованный от предков». Необходимость прекрасна, когда горит светоч и она вызвана добровольным подчинением авторитету. «Но вся беда в том, что в авторитете — или, точнее, в авторитарности — мы видим только застрахованность от ошибок и совсем не разбираемся в той грандиозной музыке доверчивости, доверия, тончайших, как альпийская радуга, нюансах вероятности и уверования»⁸⁵, которые проистекают от непредвзятого смирения перед подлинным авторитетом. Необходимость становится невыносимым бременем, если светоча не видно, связь времен нарушена и вместо настоящего прошлого с его глубокими корнями становится «вчерашний день»⁸⁶...

Поэт живет в своем времени и никуда уйти из него не может. Как и все люди, он обладает известной мерой свободы и подчинен необходимости. В текущем времени всегда есть отравы: преклонение перед мнимым авторитетом, подмена подлинной культуры — культуropоклонством, идола и кумиры сегодняшнего и вчерашнего дня, мелкие и крупные соблазны, которым он подвергается ежеминутно. Жизнь проходит как искус и для Сальери, и для Моцарта. Для первого это отказ от традиции ради вчерашнего дня, для второго — разрыв союза с Сальери и отказ от собственной свободы. Даже Пушкин подвергался этому соблазну, раз он сам себе сказал: «Ты царь, живи один, дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум»⁸⁷.

Иногда мне кажется, что в апокалиптические эпохи, когда берутся на учет все мысли и чувства людей, поэту не труднее, а легче сохранить внутреннюю свободу, чем в мирные

периоды, когда на него воздействуют не насилем, а равнодушием или лаской: «Зане свободен раб, преодолевший страх...»⁸⁸ Раб с большей остротой ощущает свою внутреннюю свободу, когда он преодолевает страх перед прямым насилем, чем внешне свободные люди, которым, в сущности, ничего не угрожает. В юности Мандельштам сказал: «Я здесь стою, я не могу иначе»⁸⁹. Внутреннюю свободу сохранили те, которые знали, на чем стоят. Двойной жизнью поэт жить не может, не отказавшись от поэзии и от дара тайнослышанья. Это объясняется потребностью в единстве, о котором говорил Мандельштам в своей статье «Петр Чаадаев». Это единство является результатом «слияния нравственного и умственного элементов», что и придает личности особую устойчивость.

Внутренняя свобода, о которой часто говорят в применении к поэтам, это не просто свобода воли или свобода выбора, а нечто иное. Парадоксальность внутренней свободы состоит в том, что она зависит от идеи, которой она подчиняется, и от глубины этого подчинения. Я привожу слова Мандельштама о том же Чаадаеве: «Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и в награду за абсолютное подчинение подарила ей абсолютную свободу». Пророк, которому сказано: «Исполни волею моею»⁹⁰, — носитель этой абсолютной внутренней свободы. Точно так Франк говорит, что, только служа Богу и подчиняясь ему, человек находит сам себя и осуществляет свою свободу; сохранит душу только тот, кто ее потерял⁹¹.

Свою роль в жизни я могу определить так: я была свидетельницей поэзии. В годы испытаний то одного, то другого охватывала немота. Причины немоты бывали разные: ужас, страх, попытка оправдания происходящего или даже усиленный интерес и внимание к тому, что делается вокруг, — любая из них могла стать причиной немоты, то есть потери себя. Ведь каждое из этих состояний свидетельствует об ослаблении основной идеи, о нарушении духовной цельности. В не меньшей степени было пагубно и равнодушие. Спасало только сознание поэтической правоты, а она достигается полной разбуженностью, при которой поэт все видит, все знает и без оглядки делает свое дело «против шерсти»⁹² времени и эпохи.

ЧЕРНОВИКИ

Мы всегда имеем дело с готовой вещью и до последнего времени почти не интересовались, как происходит становление, чем является созидательный процесс и через какие стадии он проходит. По отношению к готовой вещи у нас есть один-единственный критерий — проверка временем, то есть проверка на прочность: не рассыпалось, значит, хорошо. Впрочем, неизвестно, какой срок нужен для такой проверки и как выветривается действительность вещи от времени. Даже долго живущие вещи могут терять действительность, а потом снова восстанавливаться в зависимости от потребностей текущего периода, но так или иначе — они-то и составляют золотой фонд человечества. Есть вещи, вносящие строй в наш суетный мир, но в своей великой неблагодарности мы об этом забываем, а от самых великих озарений человечества то и дело отрекаемся, говоря, что пора покончить с предрассудками, а потом платим за это огромную цену, даже не подозревая, за что расплачиваемся. Род людской всегда одинаков: если дать человеку снова прожить его жизнь, он совершит все ошибки, которые сделал в первый раз, и точно так было бы с историей, только ошибки и преступления стали бы еще страшнее.

Что же касается до становления вещи, то здесь показания тех, кто ее делал, всегда были одинаковы, и реакция слушателей всегда была одинакова: чудо вызывает насмешки и презрение рационалистов, интеллектуальное начало осмеивается теми, кто делает ставку на чудо, — а большинство пропускает мимо ушей все, что говорится. И хотя наше время не отменило всех этих споров и взаимных издевательств, все же именно сейчас появился некоторый интерес к художнику и к его мыслям о своем труде. И хотя скользящее внимание свидетелей, современников и потомков осталось неизменным, однако, проскальзывая по вещи, они изредка задаются вопросом, как она появилась и почему ее не заметили раньше.

Мандельштам называл ставшую вещь «буквенницей», каллиграфическим продуктом, который остается в результате исполнительского порыва⁹³. Читатель заново воскрешает вещь: «В поэзии важно только исполняющее понимание, отнюдь не пассивное, не воспроизводящее, не пересказывающее»⁹⁴.

Он предлагал читать Данте «с размаху и с полной убежденностью», как бы переселяясь «на действенное поле поэтической материи» ... В сущности, весь «Разговор о Данте» результат такого чтения, где сквозь ставшее, сквозь готовый текст просвечивает ход первоначального порыва. Мандельштам сожалел, что не сохранились черновики Данте: «сохранность черновиков — закон сохранения энергетики произведения...».

Эту энергетику он все же чувствовал сквозь готовый текст: «Черновики никогда не уничтожаются...» Иначе говоря, мечтая о том, как бы заглянуть в черновики, он хотел восстановить, как двигалась поэтическая мысль, как она уводила поэта в сторону, от чего ему приходилось отказываться и как он выпрямлял свой путь. В «Разговоре о Данте» Мандельштам сравнивает «превращения поэтической материи» с самолетом, который на ходу конструирует и выбрасывает новую машину: «сборка и спуск этих выбрасываемых во время полета, технически не мыслимых новых машин является не добавочной и посторонней функцией летящего аэроплана, но составляет необходимой принадлежностью и часть самого полета и обуславливает его возможность и безопасность в не меньшей степени, чем исправность руля или бесперебойность мотора». Именно эти выпархивающие один из другого самолеты обеспечивают цельность и единство движения. В этом вспомогательном сравнении рассказывается о ходе поэтической мысли. Черновики показали бы, как спущенный на ходу самолет внезапно останавливается и служит началом отдельного полета — для книги лирики это было бы новым стихотворением. Иногда первый спущенный самолет дает сразу раздвоенное движение. На одном из путей движение останавливается, и поэт, доведя выпущенный самолет до цели, возвращается к остановленному первому и доводит его до места назначения. Другие самолеты участвуют в полете только первого самолета и, совершив свое дело, исчезают.

Именно черновики могли бы открыть все эти движения и ходы, но фактически на бумагу попадает далеко не все: большая часть работы совершается в уме — без записи. Отделить моцартовское начало от сальериевского довольно трудно, но изредка все же можно: эти два вида труда не разделены во времени. Если бы поэт сначала сочинял вещь, а потом вносил в нее исправления, как многие себе представляют поэтический

труд, то Сальери превратился бы в нечто вроде редактора. Но ничего похожего не происходит: Сальери непрерывно участвует в становлении вещи — он на ходу отбирает, собирает, отмечает и конструирует, порою издеваясь над Моцартом. Мандельштамовский Сальери вечно дразнил тайнослышца Моцарта и вышучивал на ходу еще горячие строчки. Иногда строка, строфа и даже целое стихотворение не поддавались вышучиванию и сохранялись вопреки насмешнику, а кое-что уходило. Черновик, конечно, является автокомментарием, и я не перестаю тосковать о гряде черновиков, исчезнувших в прорве.

В «Разговоре о Данте» Мандельштам с удивлением сказал про работу скульптора: резец только снимает лишнее, и черновик скульптора не оставляет материальных следов, «сама стадийность работы скульптора соответствует серии черновиков»... Есть только одно искусство, где все стадии работы сохранены и участвуют — исподволь — в готовой вещи, — это живопись. Каждый слой и каждый мазок, нанесенный в любой момент становления вещи и даже снятый мастихином, просвечивает, работает, действует, соучаствует в целом сквозь все легшие на него мазки, слои и лессировки. Может, именно поэтому такую роль у художника играет мастерство, знание материала, ремесло-традиция. Художник немислим без умения, поэта умение может превратить в версификатора, и сама поэтическая речь «бесконечно сыра, более неотделанна, чем так называемая разговорная». Это значит, что в поэзии все говорится заново, как бы в первый раз, и гораздо меньше застывших оборотов и словосочетаний, чем в разговорной речи.

В ремесле живописца, где все всегда обновляется и такое значение имеет школа, течение, существуют несколько иные отношения двух начал — Моцарта и Сальери — и по-иному складываются отношения с объектом. В выборе объекта (любой натуры) художник всегда находит себя, свое я, и это не зеркальное отражение, а нечто существенное. Мне кажется, в работе художника есть два основных моцартианских момента: дифференцирующий порыв в самом начале, когда находится объект, и второй — в конце, когда происходит как бы смыкание единства — как бы последние лессировки иконописца. Выбор объекта соответствует моменту «звучащего слепка формы», а последний, объединяющий порыв у художника выражен

гораздо резче, чем у поэта, потому что у одного черновики ушли и остались только на бумаге, а у другого участвуют в готовой вещи. Не потому ли у художника возможна серийность, что в пределах одного холста он не может дать полной перегруппировки всех элементов, в то время как поэт в ставшем иногда не оставляет ни одного слова из первоначального варианта?

У художника большую роль играет школа в прямом смысле слова, а не самостоятельное обучение — ученичество, как у поэта. Художник развивается позже, чем поэт, и живет дольше. Часто лучшие вещи художника сделаны в старости. Самовоспитание художника заключается в том, что он учится владеть своими порывами. Я не знаю, есть ли поэты, которые работают систематически — каждый день. Мне думается, что работа поэта всегда нерегулярна и спонтанна, в то время как художник немислим без непрерывного труда. Иначе говоря, поэт меньше владеет своим порывом, чем художник.

Художник часто выключает порыв, чтобы отдать время для подготовительной работы, чисто ремесленной, но в которой тоже есть моцартовский момент. Характерный пример такой работы — цветные, нейтральные по фактуре, прокладки у Матисса и в русской иконе, роль которых только одна — просвечивать. В живописи могут существовать вещи, сделанные на одном умении, — это рядовые произведения, принадлежащие к хорошей школе. Они целиком сделаны на чужом опыте и чудом не являются, но что-то от чуда сохраняют. В изобразительных искусствах ремесленный момент существует сам по себе и создает вещи, в поэзии — это всегда отравы или «журнальная поэзия».

Поэт более редкое явление, чем художник, потому что его вещь должна быть неожиданной, а ценность неожиданного зависит от глубины личности. Художник может отказаться от неожиданности и работать по канону.

Всякий порыв переходит в моторную деятельность, в движение. У художника эта моторная деятельность выражается в движениях руки, которые могут дойти до автоматизма. В самом искусстве никакого автоматизма нет, он бывает только в движениях руки. Художник может иногда не замечать отдельных движений, как мы не отдаем себе отчета, как происходит артикуляция в то время, как мы говорим.

Можно было бы предположить, что если поэт — тайнослышец, то художник — тайновидец, но я думаю, что и поэт и художник всем своим существом — и духовным и физическим — включаются в работу и участвуют в ней всеми своими способностями и всеми своими чувствами. Но я свидетельница только поэзии, а на живопись мне пришлось смотреть со стороны. И то, что я сказала о художнике, это только мои предположения, а не наблюдения. За них я, в сущности, не отвечаю.

Тайнослышанье и тайновиденье, если они существуют, отнюдь не продукты подсознательного, как этого хотелось бы рационалистам. Объясняя такие явления подсознательным, мы подменяем высшие сферы человека несравненно более примитивными. Что-то из подсознательного может прорваться в работе, но она основана не на «оно», как принято называть эту сферу, а на чистом, подлинном, углубленном и расширенном «я». «Оно» — человек из подполья внутри человека, и только победа над ним дает подлинное искусство, которое древние нередко связывали с катарсисом — очищением. Мне приходило в голову, что те, которым кажется, что «они летают, только ничего у них не выходит», действительно черпают из «вытесненного», из «оно».

Точно так никакое искусство и никакая познавательная деятельность не является результатом сублимации, в которой есть элемент самооскопления, отказа от какой-то части своего существа, но скопчество не дало ничего ни в искусстве, ни в науке. Периоды искуса и воздержания, поста и молитвы у древнего иконописца вовсе не означали перевода одного вида энергии в другой, а только самообуздание и тишину, в которой лучше слышен внутренний голос. В религиозном искусстве это Богообщение перед последним синтезирующим порывом. И во всяком искусстве постижение гармонии — это высшая функция человека, в которой он приближается к тому, о чем тоскует наш богооставленный век.

Примечания

Впервые: ВРСХД. 1972. № 103. С. 237–278. Печатается по тексту первой публикации с небольшими исправлениями.

¹ Пушкин А.С. Собр. соч. / Ред., библиогр. очерк и примеч. Б. Томашевского; Вступит. статья В. Десницкого. — Л.: Худ. лит., 1935.

² «О собеседнике» (1913) — статья О.М.

³ См. с. 600 и примеч. 45 на с. 751–752.

⁴ В заметках «О народной драме и о “Марфе Посаднице” М.П. Погодина» А.С. Пушкин писал: «Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ — судьба человеческая, судьба народная. <...> Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки» (Пушкин. Т. 6. С. 316).

⁵ Речь идет о следующих строках из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы»: «Птичка гласу Бога внемлет, / Встрепенется и поет...»

⁶ Мандельштам О. О собеседнике // Аполлон. 1913. № 2. С. 49–54.

⁷ Речь идет о статье «О природе слова», в которой О.М. писал: «Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию. На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник, мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира».

⁸ «Есть великая славянская мечта о прекращении истории в западном значении слова, как ее понимал Чаадаев».

⁹ Это замечание относилось к воронежским стихам О.М., которые Н.М. показала Б.Л. Пастернаку в начале 1937 г.

¹⁰ Из стихотворения О.М. «Дано мне тело — что мне делать с ним...» (1909).

¹¹ Речь идет о черновых записях к очерку О.М. «Путешествие в Армению» (*Мандельштам*. Т. 3. С. 389).

¹² См. в эссе О.М. «Разговор о Данте»: «Если перо обмакивается в чернильницу, то ставшая, остановленная вещь есть не что иное, как буквенница, вполне соизмеримая с чернильницей».

¹³ Из «Поэмы без Героя» А. Ахматовой (Ч. 1. Послесловие).

¹⁴ См. также с. 361.

¹⁵ Из стихотворения О.М. «И клена зубчатая лапа...» (1933).

¹⁶ *Пушкин*. Т. 6. С. 333.

¹⁷ Из ранней редакции стихотворения А.С. Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день...».

¹⁸ Так, 9 марта 1825 г. А.А. Бестужев писал А.С. Пушкину: «Ружье — талант, птица — предмет [и] — для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку?» (*Пушкин А.С. Полн. собр. соч.*: В 17 т. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1937. Т. 13. С. 148). А в ноябре 1824 г. сходные мысли высказывал в письме к поэту и В.А. Жуковский: «Читал “Онегина” и “Разговор”, служащий ему предисловием: несравненно! По данному мне полномочию предлагаю тебе *первое* место на русском Парнасе. И какое место, если с *высокостью* гения соединишь и *высокость* цели!» (*Жуковский В.А. Собр. соч.*: В 4 т. — М.; Л.: Гослитиздат, 1960. Т. 4. С. 510–511).

¹⁹ *Мандельштам*. Т. 3. С. 423.

²⁰ Стихотворение А. Ахматовой из цикла «В сороковом году».

²¹ Речь идет о книге И.В. Гёте «Поэзия и правда: из моей жизни».

²² Из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк».

²³ Из стихотворения А. Ахматовой «Они летят, они еще в дороге...».

²⁴ «Евгений Онегин». Гл. 8.

- ²⁵ Из статьи О.М. «Слово и культура».
- ²⁶ Из черновых записей к радиокомпозиции О.М. «Молодость Гёте» (*Мандельштам*. Т. 3. С. 423).
- ²⁷ Из стихотворения В.Ф. Ходасевича «Психея! Бедная моя...».
- ²⁸ Речь идет о докладе: Фрейдин Ю. Заметки к изучению творчества О. Мандельштама // *Материалы XXII науч. студ. конф. «Поэтика. История литературы. Лингвистика»*. Тарту, 1967. С. 87–90.
- ²⁹ Из «Поэмы без Героя» А. Ахматовой (Ч. 1. После-словие).
- ³⁰ Из стихотворения А. Ахматовой «Творчество».
- ³¹ Из стихотворения О.М. «Люблю появление ткани...».
- ³² Из черновиков стихотворения О.М. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...».
- ³³ См. в стихотворении О.М. «1 января 1924»: «Какая боль искать потерянное слово, / Больные веки поднимать / И с известью в крови для племени чужого / Ночные травы собирать».
- ³⁴ Из черновиков стихотворения О.М. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...».
- ³⁵ «Качество поэзии определяется быстротой и решимостью, с которой она внедряет свои исполнительские замыслы-приказы в безорудийную, словарную, чисто количественную природу словообразования».
- ³⁶ Речь идет о поэме Т.С. Элиота «Пепельная среда»: «Ибо я не надеюсь вернуться опять / Ибо я не надеюсь / Ибо я не надеюсь вернуться...» (пер. А. Сергеева).
- ³⁷ Начало стихотворения О.М. 1910 г.
- ³⁸ Речь идет о стихотворении из романа И.В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера»: «Кто с хлебом слез своих не ел, / Кто в жизни целыми ночами / На ложе, плача, не сидел, / Тот незнаком с небесными властями...» (пер. Ф.И. Тютчева); приводится также цитата из фрагмента черновиков к радиокомпозиции О.М. «Молодость Гёте»: «Творческая бессонница, разбуженность отчаяния сидящего ночью в слезах на своей постели, именно так, как изобразил Гёте в “Мейстере”» (*Мандельштам*. Т. 3. С. 423).
- ³⁹ Из эссе О.М. «Разговор о Данте».

⁴⁰ «Поэтическая речь есть скрещенный процесс, и складывается она из двух звучаний: первое из этих звучаний — это слышимое и ощущаемое нами изменение самих орудий поэтической речи, возникающих на ходу в ее порыве; второе звучание есть собственно речь, то есть интонационная и фонетическая работа, выполняемая упомянутыми орудиями».

⁴¹ Из стихотворения О.М. «Отчего душа так певуча...» (1911).

⁴² Речь идет о стихотворении А.С. Пушкина «Поэт».

⁴³ Речь идет о следующем черновом фрагменте эссе О.М. «Разговор о Данте»: «Здесь уместно немного поговорить о понятии так называемой культуры и задаться вопросом, так ли уж бесспорно поэтическая речь целиком укладывается в содержание культуры, которая есть не что иное, как соотносительное приличие задержанных в своем развитии и остановленных в пассивном понимании исторических формаций. <...> Любители понятия культуры втягиваются поневоле в круг, так сказать, неприличного приличия. Оно-то и есть содержание культуропоклонства, захлестнувшего в прошлом столетии университетскую и школьную Европу, отравившего кровь подлинным строителям очередных исторических формаций...» (*Мандельштам*. Т. 3. С. 399).

⁴⁴ «Герой труда» — название очерка М.И. Цветаевой о В.Я. Брюсове.

⁴⁵ Из статьи О.М. «О собеседнике»: «Воздух стиха есть неожиданное».

⁴⁶ Речь идет об итальянце-импровизаторе из «Египетских ночей» А.С. Пушкина: «Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... <...> Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь...» (*Пушкин*. Т. 5. С. 236–237).

⁴⁷ Об этом С.Л. Франк писал в кн. «С нами Бог. Три размышления» (Париж: YMCA-Press, 1964).

⁴⁸ См. в стихотворении А.С. Пушкина «Поэту»: «Ты царь: живи один...».

⁴⁹ См. в стихотворении А.С. Пушкина «Поэт».

⁵⁰ В статье «О природе слова» О.М. писал: «Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию. На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник, мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира».

⁵¹ Из «Поэмы без Героя» А. Ахматовой (Ч. 1. Гл. 3).

⁵² Речь идет о статье О.М. «О природе слова».

⁵³ «Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством».

⁵⁴ Речь идет о стихотворении О.М. «Умывался ночью на дворе...» (1921).

⁵⁵ Речь идет о статье «Письмо о русской поэзии», в которой О.М., в частности, писал: «Грандиозные создания русского символизма напоминают мне <...> выставочные сооружения. <...> Любителям русского символизма невдомек, что это огромный маховый гриб на болоте девяностых годов, нарядный и множеством риз облаченный. <...> Русский символизм — не что иное, как запоздалый вид наивного западничества, перенесенного в область художественных воззрений и поэтических приемов. Вместо спокойного обладания сокровищами западной мысли <...> — юношеское увлечение, влюбленность, а главное, неизбежный спутник влюбленности — перерождение чувства личности, гипертрофия творческого “я”, которое смешало свои границы с границами вновь открытого увлекательного мира, потеряло твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки как своей, пораженное болезненной водянкой мировых тем».

⁵⁶ В статье «Кое-что о грузинском искусстве» О.М., отмечая «европейскую ценность» поэзии Важа Пшавела, писал: «Образность его поэм, почти средневековых в своем эпическом

величии, стихийна. В них клокочет вещественность, осязаемость, бытийность. Все, что он говорит, невольно становится образом, но ему мало слова, — он его как бы рвет зубами на части, широко пользуясь и без того страстным темпераментом грузинской фонетики».

⁵⁷ В статье «О природе слова» О.М., в частности, писал: «Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. <...> В эллинистическом понимании символ есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью, а следовательно, и символом».

⁵⁸ Из стихотворения О.М. «Прославим, братья, сумерки свободы...» (1918).

⁵⁹ Из статьи О.М. «Утро акмеизма».

⁶⁰ Из стихотворения О.М. «Нашедший подкову».

⁶¹ Мф 25: 14–30.

⁶² Эта статья была опубликована позднее в журнале «Сирена» (Воронеж, 1919. № 4/5).

⁶³ Из эссе О.М. «Разговор о Данте»: «Дант выбран темой настоящего разговора <...> потому, что он самый большой и неоспоримый хозяин обратимой и обращающейся поэтической материи».

⁶⁴ Из стихотворения О.М. «Адмиралтейство» (1913).

⁶⁵ Из стихотворения О.М. «Грифельная ода».

⁶⁶ Из стихотворения А. Ахматовой «Поэт».

⁶⁷ Речь идет о «маленькой трагедии» А.С. Пушкина «Молчальник и Сальери».

⁶⁸ Из стихотворения О.М. «Tristia» (1918).

⁶⁹ Из статьи Н.С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм».

⁷⁰ Из статьи О.М. «Утро акмеизма».

⁷¹ А.И. Герцен писал в «Былом и думах»: «Постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии <...>; все мельчает, становится дюжинное, рядское, стертное, пожалуй, “добропорядочнее”, но пошлее. Он видит <...>, что вырабатываются общие, стадные типы, и, серьезно качая головой, говорит своим современникам: “Остановитесь,

одумайтесь! Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите — душа убывает» (Герцен. Т. 11. С. 68—69).

⁷² Из стихотворения О.М. «Отчего душа так певуча...».

⁷³ Из эссе О.М. «Разговор о Данте».

⁷⁴ Из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк».

⁷⁵ Incroyables (франц.) — «неправдоподобные», так во Франции периода Директории (1795–1799) называли роялистски настроенную «золотую молодежь», щеголявшую в эпатурирующих костюмах.

⁷⁶ Из стихотворения О.М. «Дрожжи мира дороге...» (1937).

⁷⁷ См. в эссе О.М. «Разговор о Данте»: «Тень, пугающая детей и старух, сама боялась — и Алигьери бросало в жар и холод: от чудных припадков самомнения до сознания полного ничтожества».

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ Из стихотворения Е.А. Баратынского «Что за звуки? Мимоходом...»: «И, как псов враждебных стая, / Чернь тебя обстала злая, / Издеваясь над тобой».

⁸⁰ Из стихотворения О.М. «Отчего душа так певуча...».

⁸¹ Из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт».

⁸² См. примеч. 45 на с. 833.

⁸³ Из эссе О.М. «Разговор о Данте».

⁸⁴ «Я возвращаюсь к общепринятому словоупотреблению, в котором “священство” противостоит как “мирянам”, так и “пророчеству”. Задача священнической должности есть в первую очередь бережное блюение святыни, хранимой в церкви, и внушение ее членам церкви; задача пророческой должности есть искание живой религиозной правды, как ее требуют условия времени и наличное духовное состояние мира, — внимание голосу Божиему, как он обращен к людям в данный момент, в данном конкретном их положении. Эта пророческая должность есть главным образом и в принципе — должность “мирян”, членов церкви, активно участвующих во всей полноте человеческой моральной и общественной жизни и менее связанных обязанностью блюения предания. Если позволительно употребить затасканный, но полезный по своей понятности термин, то я сказал бы: “христианский прогресс” есть, по крайней мере, в значительной степени и в первую очередь дело

мирян, тогда как дело “священства” есть охранение святыни, уже достигнутой христианским религиозным сознанием и вошедшей в общее употребление церкви» (Франк С.Л. С нами Бог. Три размышления. — Париж: YMCA-Press, 1964. С. 375–376).

⁸⁵ Из эссе О.М. «Разговор о Данте».

⁸⁶ Из статьи О.М. «Слово и культура»: «Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл».

⁸⁷ Из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт».

⁸⁸ Из стихотворения О.М. «Люблю под сводами седья тишины...».

⁸⁹ Из стихотворения О.М. «“Здесь я стою — я не могу иначе”...» (1915).

⁹⁰ Из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк».

⁹¹ «Через закон и авторитет, как указано, человек осуществляет свою свободу — высшее достояние и священное благо, ему дарованное Богом, единственную стихию, в которой в конечном счете возможно его реальное соприкосновение и общение с Богом. Поэтому где закон и авторитет оказываются все же неадекватны этой свободе — этой высшей подлинно духовной, богосродной свободе, — человек обязан блюсти ее против закона и авторитета; ибо — как отвечают апостолы синадрию — “должно повиноваться больше Богу, нежели человеку” (Деян 5:29)» (Там же. С. 308).

⁹² См. в стихотворении О.М. «Я по лесенке приставной...»: «Не своей чешуей шуршим, / Против шерсти мира поем...»

⁹³ См. примеч. 12 на с. 831.

⁹⁴ Из эссе О.М. «Разговор о Данте».

УСТАНОВКА НА ЧИСТУЮ ФОРМУ

I

Помню — Татлин показывал свои «мышеловки»: листовое железо, канат, жестянка, не то снасть, не то снаряд, не то летательная машина¹. Говорили: вот чистая форма, вот торжество матерьяла. И в самом деле: глаз, карабкаясь на эти жесткие каркасы, словно получил боевой приказ взять их приступом. Нечто повелительное было в этих сооружениях, целесообразных, как снасть, как снаряд, и свободных от всякого утилитарного назначения.

А потом где-нибудь на черной лестнице зритель уже по собственному почину останавливался перед кучей старого железа и так же точно, загипнотизированный, карабкался глазами на этот случайный агломерат. Куча рухляди, железный лом, битое стекло, старая жестянка — во всем таился соблазн отвлеченного «матерьяла». На каждом углу человека сторожила «чистая форма». Все было повелительно, все приказывало, все отдавало глазу боевой приказ «карабкайся», и глаз покорно карабкался, и восприятие жило, уstraшенное боевыми приказами, императивами, исходящими от каждой формы.

Пользуясь приятным выражением, пущенным в ход некоторыми петербуржцами, я назову это явление «установкой» на чистую форму или на материал (что одно и то же). Установка на чистую форму возможна всегда и всюду. Секрет ее внутри нас — он заключается в особой пассивности, в безволии нашего эстетического сознания. Эта абсолютная женственность формального восприятия, она-то обуславливает ежеминутный плен сознания у всего в мире без разбора, без выбора, будь то хищный, изящный каркас летательной машины

Райта, высокий, с сильными мышцами сормовский паровоз или татлинская мышеловка

Последнее время «установка» стала явлением общераспространенным, как бы азбукой эстетического сознания. Всяческий супрематизм дисциплинирует и организует наше безвольно-женственное восприятие — человек не замечает, что его грабят, и считает себя еще обязанным перед теми, кто у него отнимает последнее: волю и выбор. Ты не смеешь отказаться ни от чего, потому что все есть матерьял и чистая форма — так гласит эта новая заповедь. А я не хочу, чтобы меня вечно школили, не хочу карабкаться глазами на всякий встречный предмет, хотя знаю, что могу это делать. Когда моему активному эстетическому сознанию говорят «смирно», оно не отвечает «радо стараться».

II

Очень сильные физически, детски-мужественные люди, те, кто втроем могут управиться <с> парусной шкуной², те, кто не боится тяжести и расправляется по-свойски с тем, чего не понимают, пусть вы говорите грубые слова, любите грубое, жесткое, все-таки вы женщины, женщины, женщины, как художники вы женщины. За вами идут супрематические барышни, по всем правилам утверждающие чистую форму, нелепо-преданные и бездумные, как все барышни. Художник предполагает, барышни располагают. Скажи мне, кто твоя барышня, и я скажу тебе, кто ты (в применении к художественной манере). В супрематизме барышня почувяла легкую поживу — свое добро: отныне эстетизм, т. е. пассивное восприятие формы, уже не называется эстетизм и не считается позорным. Штучка в том, что восприятию предлагается не условно красивая форма, а геометрические схемы, плоскостные композиции, конусы, воронки, ромбы и квадраты. Все это уже село на шапочку и неизвестно где помещается, в голове барышни или на художественной вышивке домашнего рукоделия. Супрематизм быстро замкнул свой круг и пришел к «красивенькому», от которого бежала новая живопись. Только теперь красивым считается не цветочек, а композиция из квадрата, круга,

треугольника. Абсолютная женственность вкуса чрезвычайно характерна для очень мужественной эпохи, изнеженность вкуса всегда сопровождается оглядкой на мужественность. В изобразительных искусствах торжествует начало женской пассивности, чистый эстетизм, т.е. корыстная апперцепция формы обезволенным сознанием. На первый взгляд не разобрать, что это эстетизм, потому что предлагаются чуть ли не паровозы всмятку, но паровозы всмятку — это те же розовые лепестки, только под другим соусом. Стиль не боится времени: манера играет...

Примечания

Впервые: Третья книга. С. 14–16. Печатается по тексту первой публикации с небольшими уточнениями по ксерокопии автографа из собрания Н.И. Харджиева.

¹ Модель летательного аппарата «для свободного парения» («Летатлин»).

² В юности В.Е. Татлин ходил юнгой на парусной шхуне.

СТИХИ МАНДЕЛЬШТАМА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Все говорили Мандельштаму, что надо изучить детскую психологию: дети любят то, дети не любят того... Племянница О.М. — Татка — они очень дружили — получила от него «Кухню»¹ и сказала: «Ничего, дядя Ося, можно перерисовать ее на “Муху-цокотуху”...» Один Корней Иванович утешил. О.М. встретил его на улице и довольный пришел домой: «Знаешь, что сказал Чуковский! — Не думайте о детях, когда пишете детские стихи...» Детские стихи сочинялись как шуточные — вдруг и со смехом: «А так годится?..» Из своих книг он любил именно так сочинявшиеся: «Примус»² и «Кухню»... Там коротенькие стишки вроде поговорок, присказок. Жарится яичница — стишок. Забыл закрыть кран на кухне — стишок... Сварили кисель — опять событие и повод для стишка. Они и получились живые и смешные. Любят ли их дети? Кто их знает... Ведь детям тоже надо привыкнуть к стишку, чтобы его полюбить.

А вот «Приглашение на луну»³ вовсе для детей не предназначалось. Это из «взрослых» стихов, и на луну приглашалась, наверное, вполне взрослая женщина, а дети как будто согласны считать его своим. Во всяком случае, те дети, которым О.М. их читал. С детьми он часто дружил и играл. Очень подружившись, даже читал стихи, но про луну или про «Наташу», которую выдают замуж⁴. Впрочем, про «Наташу» девочкам постарше, и первой — своей племяннице. Разумеется, после той Наташи, которая действительно выходила замуж.

Мне всегда казалось, что сочинение детских стихов — развлечение, отдых, такое же легкое времяпрепровождение, как шуточные стишки, которые сочиняются только с товарищами за веселым разговором, за чаем, за бутылкой вина. Особенно

много шуточных стихов он сочинял в Москве в тридцатые годы, обычно с Анной Андреевной. Она их любила и всегда очень смеялась. А детские обычно со мной, а кой-какие тоже с ней. Может, мы с ней и жарили яичницу.

Все детские стихи пришлось на один год — мы переехали тогда в Ленинград и развлекались кухней, квартирой и хозяйством. Потом они кончились, и навсегда. В сущности, О.М. про них забыл. Да и платили за них мало.

Примечания

Впервые: *Мандельштам Н.Я.* Мое завещание и другие эссе / Предисл. И. Бродского; сост. Г. Поляк. 2-е изд., доп. — Нью-Йорк. Серебряный век, «1985». С. 113–114.

¹ Книга стихотворений О.М. для детей (Л.: Радуга, 1926).

² То же (1925).

³ Стихотворение О.М. «...На луне не растет...» (1914).

⁴ Стихотворение О.М. «Клейкой клятвой липнут почки...», обращенное к Н.Е. Штемпель.

МАНДЕЛЬШТАМ В АРМЕНИИ

Мы вернулись из Армении и прежде всего переименовали нашу подругу. Все прежние имена показались нам пресными: Аннушка, Анюта, Анна Андреевна. Последнее оставалось, конечно, всегда. Они познакомились совершенно желторотыми юнцами, а в их поколении юнцы всегда именовали друг друга по имени-отчеству. Но новое имя приросло к ней, до самых последних дней я ее называла тем новым именем, так она подписывалась в письмах — Ануш. Имя Ануш напоминало нам Армению, о которой Мандельштам, как он всюду пишет, не переставал мечтать. Он запомнил стишок про прялку — я не решаюсь записать его в транскрипции: за столько лет, наверное, звуки перепутались, но армянская прялка жила с нами вместе с шубертовской¹.

Мандельштам учился армянскому языку, наслаждаясь сознанием, что ворочает губами настоящие индоевропейские корни. Он убеждал меня, что неутраченная армянская флексия — это и есть цветение языка, его творческий период. Я узнавала Гумбольдта и, как настоящая потебнистка, доказывала, что современные языки лучше. Я и тогда подозревала, что древнеармянский — он, кажется, называется грабар — вытесняет у него крохи современного языка, которому он успел научиться. И это однажды подтвердилось. Наткнулись, гуляя, на мальчишку, который сидел в арыке, что ли, словом, в грязи. Мандельштам обожал детей, а на черноглазых живчиков Армении не мог налюбоваться. Ему захотелось проявить отцовскую заботу и объяснить мальчишке, как надо себя вести. А тот по-русски не знал. «Грязь, — сказал Мандельштам на неизвестном мне языке, — нельзя, нехорошо, грязь...» Мне он все это перевел на русский, а мальчишка вылупил глаза,

услышав, вероятно, чем-то родные, но совсем незнакомые звуки: язык Моисея Хоренского или я не знаю кого из писателей и летописцев великой армянской литературы, которая дала так много счастья Мандельштаму.

Мы слушали одностольные хоры Комитаса, и Мандельштам, очень музыкальный, вспоминал их потом и в Москве, и в Воронеже. О своем отношении к армянской архитектуре он рассказал сам.

Путешествие в Армению — не туристская прихоть, не случайность, а может быть, одна из самых глубоких струй мандельштамовского историософского сознания. Он-то, разумеется, этого так не называл — для него это было бы слишком громко, и я сама поняла это через много лет после его смерти, роаясь в записных книжках и дочитывая мысли и слова, которые мы не успели друг другу сказать. Традиция культуры для Мандельштама не прерывалась никогда: европейский мир и европейская мысль родились в Средиземноморье — там началась та история, в которой он жил, и та поэзия, которой он существовал. Культуры Кавказа — Черноморья — та же книга, «по которой учились первые люди»². Недаром в обращении к Ариосту он говорит: «В одно широкое и братское лазорье сольем твою лазурь и наше черноморье». Для Мандельштама приезд в Армению был возвращением в родное лоно — туда, где все началось, к отцам, к истокам, к источнику. После долгого молчания стихи вернулись к нему в Армении и уже больше не покидали...

Мы много ездили по Армении и видели много, хотя, конечно, не все, что хотелось. Людей мы знали мало. Видели Сарьяна, чудного художника. Он пришел к нам еще в первый день в гостиницу, когда мы много часов подряд ждали, чтобы нам отвели номер, а гостеприимные хозяева — культурные деятели Армении — звонили по всем телефонам и победили под конец упрямого хозяина гостиницы-хиораноц. Были мы у Сарьяна потом в мастерской. Кажется, он показывал тогда свой «голубой период» — с тех пор прошло почти сорок лет, но такие вещи обычно запоминаются. Знали мы Таманяна и молодых архитекторов и слушали про их споры, которые всегда бывают в искусстве, когда оно живет и дышит. На Севане встретились с учеными — об этом рассказал сам Мандельштам, и он очень радовался высокому уровню армянской мысли и беседы.

Главная дружба ожидала нас в Тифлисе. В гостиницу к нам пришел Егише Чаренц, и мы провели с ним две или три недели, встречаясь почти ежедневно. Я понимаю, почему свободные дружеские отношения завязались в чужом для Чаренца Тифлисе, а не в Эривани, но не в этом дело... Я помню, как началось знакомство. Мандельштам прочел Чаренцу первые стихи об Армении — он их тогда только начал сочинять. Чаренц выслушал и сказал: «Из вас, кажется, лезет книга». Я запомнила эти слова точно, потому что Мандельштам мне потом сказал: «Ты слышала, как он сказал: это настоящий поэт». Я еще тогда не знала, что для поэта «книга» — это целостная форма, большое единство. Потом как-то Пастернак мне сказал про «чудо становления книги» и Анна Андреевна — Ануш — тоже. Это все сложилось вместе со словами Егише Чаренца, и мы всегда помнили, что в Ереване живет настоящий поэт. А больше я ничего не запомнила из его слов — ведь нельзя же записывать слова мужа или приятеля, с которым пьешь чай, гуляешь и ищешь, где бы купить папирос, — тогда вдруг случился папиросный кризис и мужчины завели знакомство с целой толпой мальчишек, потому что нельзя разговаривать без папирос, а они говорили много и подолгу. Может быть, слова Чаренца о том, что лезет книга, были тем дружеским приветом, без которого не может работать ни один поэт, а в нашей жизни получить его было нелегко. Армения, Чаренц, университетские старики, дети, книги, прекрасная земля и выросшая из нее архитектура, одноголосое пение и весь строй жизни в этой стране — это то, что дало Мандельштаму «второе дыхание», с которым он дожил жизнь. В последний год жизни — в Воронеже — он снова вспомнил Армению и у него были стихи про людей «с глазами, вдолбленными в череп», которые лишились «холода тутовых ягод...». Эти стихи пропали. Но и так армянская тема пронизывает зрелый период его труда.

Примечания

Впервые: Лит. Армения. 1967. № 3. С. 99–101. Печатается по тексту первой публикации с небольшими исправлениями. Название дано составителем издания: *Мандельштам Н.Я.* Мое завещание и другие эссе / Предисл. И. Бродского; сост. Г. Поляк. 2-е изд., доп. — Нью-Йорк: Серебряный век, «1985».

¹ Речь идет о песне Ф. Шуберта «Маргарита за прялкой».

² Из стихотворения О.М. «Я тебя никогда не увижу...» (1930).

Мое завещание

«Пора подумать, — не раз говорила я Мандельштаму, — кому это все достанется... Шурику?» Он отвечал: «Люди сохраняют... Кто сохранит — тому и достанется». — «А если не сохраняют?» — «Если не сохраняют, значит, это никому не нужно и ничего не стоит...» Еще была жива любимая племянница О.М. Татьяна, но в этих разговорах О.М. никогда даже не упоминал ее имени. Для него стихи и архив не были ценностью, которую можно завещать, а скорее весточкой, брошенной в бутылке в океан; кто поднимет ее на берегу, тому они и принадлежат, как сказано в ранней статье «О собеседнике». Этому отношению к своему архиву способствовала наша эпоха, когда легче было погибнуть за стихи, чем получить за них гонимый. О.М. обрекал свои стихи и прозу на «дикое» хранение, но если бы полагаться только на этот способ, стихи бы дошли в невероятно искаженном виде. Но я случайно спаслась — мы ведь всегда думали, что погибнем вместе, — и овладела чисто советским искусством хранения опасных рукописей. Это не простое дело — в те дни люди, одержимые безумным страхом, чистили ящики своих письменных столов, уничтожая все подряд: семейные архивы, фотографии друзей и знакомых, письма, записные книжки, дневники, любые документы, попавшие под руку, даже советские газеты и вырезки из них. В этих поступках безумие сочеталось со здравым смыслом. С одной стороны, бюрократическая машина уничтожения не нуждалась ни в каких фактах и аресты производились по таинственному канцелярскому произволу. Для осуждения хватало признания в преступлениях, которого с легкостью добивались в ночных кабинетах следователей путем конвейерных или упрощенных допросов. Для создания «группового» дела следователь мог

связать в один узел совершенно посторонних людей, но все же мы предпочитали не давать следователям списков своих знакомых, их писем и записок, чтобы они не вздумали поработать на реальном материале... И сейчас, по старой памяти, а может, в предчувствии будущих невзгод, друзья Ахматовой испугались, услышав, что в архивы проданы письма ее читателей и тетради, куда она в период передышки начала записывать, кто, когда и в котором часу должен ее навестить. Я, например, до сих пор не могу завести себе книжку с телефонами своих знакомых, потому что привыкла остерегаться таких «документов»... В нашу эпоху хранение рукописей приобрело особое значение — это был акт, психологически близкий к самопожертвованию: все рвут, жгут и уничтожают бумаги, а кто-то бережно хранит вопреки всему этому горсточку человеческого тепла. О.М. был прав, отказываясь назвать наследника и утверждая, что право наследования дает этот единственный возможный у нас знак уважения к поэзии: сберечь, сохранить, потому что это нужно людям и будет жить... Мне удалось сохранить кое-что из архива и почти все стихи, потому что мне помогали разные люди и мой брат Евгений Яковлевич Хазин. Кое-кто из хранителей погиб в лагерях, а с ними и то, что я им дала, другие не вернулись с войны, но те, кто уцелел, вернули мне мои бумаги, кроме Финкельштейн-Рудаковой, которая сейчас ими торгует¹. Среди хранителей была одна незаконная и непризнанная дочь Горького, поразительно на него похожая женщина с упрямым и умным лицом². Многие годы у нее лежала «Четвертая проза» и стихи. Эта женщина не принадлежала к читателям и любителям стихов, но кажется, ей было приятно хранить старинные традиции русской интеллигенции и ту литературу, которую не признавал ее отец. А я знала наизусть и прозу и стихи О.М. — ведь могло случиться, что бумаги пропадут, а я уцелею, — и непрерывно переписывала (от руки, конечно) его вещи. «Разговор о Данте» был переписан в десятках экземпляров, а дошло из них до наших дней только три.

Сейчас я стою перед новой задачей. Старое поколение хранителей умирает, и мои дни подходят к концу, а время по-прежнему удаляет цель: даже крошечный сборник в «Библиотеке поэта» и тот не может выйти уже одиннадцать лет

(эти строки я пишу в конце декабря 1966 года)³. Все подлинники по-прежнему лежат на хранении в чужих руках. Мандельштам верил в государственные архивы, но я — нет. Ведь уже в начале двадцатых годов разразилось «Дело Ольденбурга», который принял на хранение в архив Академии наук неугодные начальству документы, имевшие, по его словам, историческую ценность; притом мы ведь не гарантированы от нового тура «культурной революции», когда снова начнут чистить архивы. И сейчас уже ясно, что я не доживу до издания этих книг и что эти книги не потеряли ценности, отлеживаясь в ящиках чужих столов. Вот почему я обращаюсь к Будущему, которое подведет итоги, и прошу Будущее, даже если оно за горами, исполнить мою волю. Я имею право на волеизъявление, потому что вся моя жизнь ушла на хранение горсточка стихов и прозы погибшего поэта. Это не вульгарное право вдовы и наследницы, а право товарища черных дней. Юридическая сторона дела такова: после реабилитации по второму делу меня механически, как и других вдов реабилитированных писателей, ввели в право наследства на 15 лет (до 1972, как у нас полагается по закону). Вся юридическая процедура происходила не в Союзе писателей, а просто у нотариуса, и потому мне не чинили никаких препятствий, и все произошло как у людей. Юридический акт о введении в права наследства лежит в ящике стола, потому что я получила оседлость, а до этого я около десяти лет держала его в чемодане. Теоретически я могла бы запретить печатать Мандельштама — положительный акт: разрешить — не в моей власти. Но, во-первых, со мною никто не станет считаться, во-вторых, его все равно не печатают и лишь изредка какие-то озорные журнальчики или газеты возьмут и тиснут случайную публикацию из своих «бродячих списков» — ведь, как говорила Анна Андреевна, — мы живем в «догутенберговской эпохе» и «бродячие списки» нужных книг распространяются активнее, чем печатные издания. Эти журнальчики, если будет их милость, присылают мне за свои публикации свой дружеский ломаный грош, и я этому радуюсь, потому что в нем веяние новой жизни... Вот и все мои наследственные права, и как я уже сказала, со мной никто не считается. И в своем последнем волеизъявлении я веду себя так, будто у меня в столе не нотариальная филькина

грамота, а полноценный документ, признавший и утвердивший мои непререкаемые права на это горестное наследство.

А если кто задумает оспаривать мое моральное и юридическое право распоряжаться этим наследством, я напомним вот о чем: когда наша монументальная эпоха выписывала ордер на мой арест⁴, отнимала у меня последний кусок хлеба, гнала с работы, издевалась, сделала из меня бродягу, выселила из Москвы не только в 1938, но и в 1958 году⁵, ни один человек не позволил себе усомниться в полноте моих вдовьих прав и в целесообразности такого со мной обращения. Я уцелела и сохранила остатки архива наперекор и вопреки советской литературе, государству и обществу, по вульгарному недосмотру с их стороны. Есть замечательный закон: убийца всегда недооценивает силы своей жертвы, для него растоптанный и убиваемый — это «горсточка лагерной пыли», дрожащая тень Бабьего Яра... Кто поверит, что они могут воскреснуть и заговорить?.. Убивая, всякий убийца смеется над своей жертвой и повторяет: «Разве это человек?.. Разве это называется поэтом?» Тот, кто поклоняется силе, представляет себе настоящего поэта и настоящего человека в виде потенциального убийцы: «Этот нам всем покажет...» Такая недооценка своих замученных, исстрадавшихся жертв неизбежна, и именно благодаря ей обо мне и моей горсточке бумаг позабыли. И это спасение наперекор и вопреки всему дает мне право распоряжаться моим юридически оформленным литературным наследством.

Но — юридическое право иссякает в 1972 году — через пятнадцать лет после «введения в права наследства», которыми государство ограничило срок его действия. С таким же успехом оно могло назвать любую другую цифру или вообще отменить это право. Столь же произвольна выплата наследникам не полного гонорара, а пятидесяти процентов. Почему пятьдесят, а не семьдесят или не двадцать? Впрочем, я признаю, что государство вправе как угодно обращаться с теми, кого оно создало, вызвало из небытия, кому оно покровительствовало, кого оно ласкало, тешило славой и богатством. Словом — купило на корню со всеми побегами и листьями. Наследственное пятнадцатилетие в отношении нашей литературы — лишь дополнительная милость государства, да еще уступка европейской традиции.

Но я оспариваю это ограничение пятнадцатью годами в отношении к Мандельштаму.

Что сделало для него государство, чтобы отнимать сначала пятьдесят, а потом все сто процентов его литературного наследства с помощью своих писательских организаций, официальных комиссий по наследству и чиновников, именующихся главными, внешними и внутренними редакторами? Они ли — бритые или усатые, гладкие любители посмертных изданий — будут перебирать горсточку спасенных мною листков и решать, что стоит, а чего не стоит печатать, в каких вещах поэт «на высоте», а что не мешало бы дать ему на переработку? Может, они и тогда еще будут искать «прогрессивности» со своих продиктованных текущим моментом и государственной подсказкой позиций? А потом делить между собой, издательством и государством доходы — пусть и ничтожные, пусть в два гроша — с этого злосчастного издания? Какой процент отчислят они тогда государству, а какой его передовому отряду — писательским организациям? За что? По какому праву?

Я оспариваю это право и прошу Будущее выполнить мою последнюю и единственную просьбу. Чтобы лучше мотивировать эту просьбу, которая, надеюсь, будет удовлетворена государством Будущего, какие бы у него ни были законы, я перечислю в двух словах, что Мандельштам получил от государства, Прошлого и Настоящего, и чем ему обязан. Неполный запрет двадцатых и начала тридцатых годов: «не актуально», «нам чуждо», «наш читатель в этом не нуждается», украинское, развеселившее нас «не треба»⁶, поиски нищенского заработка — черная литературная работа, поиски «покровителей», чтобы протолкнуть хоть что-нибудь в печать... В прессе: «бросил стихи», «перешел на переводы», «перепевает сам себя», «лакейская проза» и тому подобное... После 1934 года — полный запрет, даже имя не упоминается в печати вплоть до 1956 года, когда оно возникает с титулом «декадент». Прошло почти тридцать лет после смерти О.М., а книга его все еще «готовится к печати». А биографически — ссылка на вольное поселение в 1934 году — Чердынь и Воронеж, а в 1938 году — арест, лагерь и безымянная могила, вернее, яма, куда его бросили с биркой на ноге. Уничтожение рукописей, отобранных

при обысках, разбитые негативы его фотографий, испорченные валики с записями голоса...

Это искаженное и запрещенное имя, эти ненапечатанные стихи, этот уничтоженный в печах Лубянки писательский архив — это и есть мое литературное наследство, которое по закону должно в 1972 году отойти к государству. Как оно смеет претендовать на это наследство? Я прошу Будущее охранить меня от этих законов и от этого наследника. Не тюремщики должны наследовать колоднику, а те, кто был прикован с ним к одной тачке. Неужели государству не совестно отбирать эту кучку каторжных стихов у тех, кто по ночам, таясь, чтобы не разделить ту же участь, оплакивал покойника и хранил память об его имени? На что ему этот декадент?

Пусть государство наследует тем, кто запродавал свою душу: даром ведь оно ни дач, ни почестей никому не давало. Те пускай и носят ему свое наследство хоть на золотом блюде. А стихи, за которые заплачено жизнью, должны остаться частной, а не государственной собственностью. И я обращаюсь к Будущему, которое еще за горами, и прошу его вступить за погибшего лагерника и запретить государству прикасаться к его наследству, на какие бы законы оно ни ссылалось. Это невесомое имущество нужно охранить от посягательства государства, если по закону или вопреки закону оно его потребует. Я не хочу слышать о законах, которые государство создает или уничтожает, исполняет или нарушает, но всегда по точной букве закона и себе на потребу и пользу, как я убедилась, прожив жизнь в своем законнейшем государстве.

Столкнувшись с этим ассирийским чудовищем — государством — в его чистейшей форме, я навсегда прониклась ужасом перед всеми его видами. И потому, какое бы оно ни было в том Будущем, к которому я обращаюсь, демократическое или олигархия, тоталитарное или народное, законопослушное или нарушающее законы, пусть оно поступится своими сомнительными правами и оставит это наследство у частных лиц.

Ведь чего доброго, оно может отдать доходы с этого наследства своим писательским организациям. Можно ли такое пережить: у нас так уважают литературу, что посылают носителя стихотворческой силы в санаторий, куда за ним

приезжает грузовик с исполнителями государственной воли, чтобы в целости и сохранности доставить его в знаменитый дом на Лубянке, а оттуда — в теплушке, до отказа набитой обреченными, протащить через всю страну на самую окраину к океану и без гроба бросить в яму; затем через пятнадцать лет не после смерти, а после реабилитации завладеть его литературным наследством и обратить доходы с него на пользу писательских организаций, чтобы они могли отправить еще какого-нибудь писателя в санаторий или в дом творчества... Мыслимо ли такое? Надо оттеснить государство от этого наследства.

Я прошу Будущее навечно, то есть пока издаются книги и есть читатели этих стихов, закрепить права на это наследство за теми людьми, которых я назову в специальном документе. Пусть их всегда будет одиннадцать человек в память одиннадцатистрочных стихов Мандельштама, а на место выбывших пусть оставшиеся сами выбирают заместителей.

Этой комиссии наследников я поручаю бесконтрольное распоряжение остатками архива, издание книг, перепечатку стихов, опубликование неизданных материалов... Но я прошу эту комиссию защищать это наследство от государства и не поддаваться ни его застрачиваниям, ни улециванию. Я прожила жизнь в эпоху, когда от каждого из нас требовали, чтобы все, что мы делали, приносило «пользу государству». Я прошу членов этой комиссии никогда не забывать, что в нас, в людях, самодовлеющая ценность, что не мы призваны служить государству, а государство нам, что поэзия обращена к людям, к их живым душам и никакого отношения к государству не имеет, кроме тех случаев, когда поэт, защищая свой народ или свое искусство, сам обращается к государству, как иногда случается во время вражеских нашествий, с призывом или упреком. Свобода мысли, свобода искусства, свобода слова — это священные понятия, непререкаемые, как понятия добра и зла, как свобода веры и исповедания. Если поэт живет, как все, думает, страдает, веселится, разговаривает с людьми и чувствует, что его судьба неотделима от судьбы всех людей, — кто посмеет требовать, чтобы его стихи приносили «пользу государству»? Почему государство смеет заявлять себя наследником свободного человека? Какая ему в этом польза, кстати говоря? Тем более

в тех случаях, когда память об этом человеке живет в сердцах людей, а государство делает все, чтобы ее стереть...

Вот почему я прошу членов комиссии, то есть тех, кому я оставлю наследство Мандельштама, сделать все, чтобы сохранить память о погибшем — ему и себе на радость. А если мое наследство принесет какие-нибудь деньги, тогда комиссия сама решает, что с ними делать — пустить ли их по ветру, отдать ли их людям или истратить на собственное удовольствие. Только не создавать на них никаких литературных фондов или касс, стараться спустить эти деньги попроще и почеловечнее в память человека, который так любил жизнь и которому не дали ее дожить. Лишь бы ничего не досталось государству и его казенной литературе. И еще я прошу не забывать, что убитый всегда сильнее убийцы, а простой человек выше того, кто хочет подчинить его себе.

Такова моя воля, и я надеюсь, что Будущее, к которому я обращаюсь, уважит ее хотя бы за то, что я отдала жизнь на хранение труда и памяти погибшего.

Примечания

Впервые: ВРСХД. 1971. № 100. С. 153–160. Печатается по тексту первой публикации с небольшими уточнениями по авторизованной машинописи (собр. С.В. Василенко).

¹ См. с. 365 и примеч. 477 на с. 561–562.

² Речь идет о Л.А. Назаревской.

³ Это издание в сильно урезанном виде (менее половины всего поэтического наследия О.М.) вышло только в 1973 г.

⁴ См. примеч. 548 на с. 573.

⁵ Трехлетние хлопоты Н.М. о восстановлении столичной прописки к 1957 г. завершились полным отказом. Получить ее удалось с большим трудом только летом 1964 г. (см. с. 33).

⁶ См. с. 348–351.

Список сокращений

- АМ — архив О.Э. Мандельштама (Отдел рукописей и редких книг Файерстоунской библиотеки Принстонского университета (Принстон, США), коллекция 539); в ссылках на этот архив приняты следующие сокращения: В. — Vox, F. — Folder, S. — Subfolder.
- ВР(С)ХД — журнал «Вестник русского (студенческого) христианского движения», Париж – Нью-Йорк – Москва
- ВЦИК — Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
- ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
- ГИЗ — Государственное издательство РСФСР
- ГИХЛ — Государственное издательство художественной литературы
- ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва)
- ГУГБ — Главное управление государственной безопасности
- ЛЭ — Лит. энциклопедия: В 11 т.— М.: Гос. словарно-энциклопедическое изд-во «Сов. энциклопедия»; ОГИЗ РСФСР, 1929–1939
- МГБ — Министерство государственной безопасности СССР
- НЖ — Новый журнал, Нью-Йорк
- НКВД — Народный комиссариат внутренних дел СССР
- Н.М. — Надежда Яковлевна Мандельштам
- ОГИЗ — Объединение государственных книжно-журнальных издательств
- ОГПУ — Объединенное Государственное политическое управление при СНК СССР

- О.М. — Осип Эмильевич Мандельштам
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
Сохрани мою речь — сборник «Сохрани мою речь». — М.: РГГУ, 1993–2011. Вып. 1–5
- СНК — Совет народных комиссаров
СПб. — Санкт-Петербург
ССП — Союз советских писателей СССР
ЦК — Центральный комитет РКП(б), ВКП(б)
ЦКК — Центральная Контрольная Комиссия РКП(б), ВКП(б)
ЧК — см. ВЧК

Список цитированных источников

Ахматовский сборник — «Я всем прощение дарую...». Ахматовский сборник / Под общей ред. Д. Макфадыена, Н.И. Крайневой; сост. Н.И. Крайнева. — М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006.

Бабаев — Бабаев Э.Г. Воспоминания. — СПб.: ИНАПРЕСС, 2000.

Бердяев — Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). — Париж: YMCA-Press, 1949.

Блок — Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л.: ГИХЛ, 1960–1963.

Ваксель — «Возможна ли женщине мертвой хвала?..»: Воспоминания и стихи Ольги Ваксель / Сост. и послесл. А.С. Ласкина; вступ. статья П.М. Нерлера; подгот. текста И.Г. Ивановой, А.С. Ласкина, Е.Б. Чуриловой. — М.: РГГУ, 2012.

Видгоф — Видгоф Л.М. «Но люблю мою курву-Москву»: Осип Мандельштам: поэт и город. — М.: Астрель, 2012.

Власть и интеллигенция — Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)–ВКП(б), ВЧК–ОГПУ–НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг. / Сост. А. Артизов, О. Наумов. — М.: Международный фонд «Демократия», 2002.

Волошин — Волошин М.А. Собр. соч. / Под общей ред. В.П. Купченко, А.В. Лаврова при участии Р.П. Хрулевой. Т. 1–12. — М.: Эллис Лак, 2003–2013.

Воспоминания об Ахматовой — Воспоминания об Анне Ахматовой / Сост. В.Я. Виленкин, В.А. Черных; коммент. А.В. Курт, К.М. Поливанова. — М.: Сов. писатель, 1991.

Герцен — Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954–1966.

Герштейн — Герштейн Э.Г. Мемуары. — СПб.: ИНАПРЕСС, 1998.

Достоевский — Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Л.: Ленинградское отд-ние изд-ва «Наука», 1972–1990.

Жизнь и творчество Мандельштама — Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1990.

Иванов — Иванов Г.И. Китайские тени: мемуарная проза / Сост., предисл., коммент. С.Р. Федякина. — М.: АСТ, 2013.

Камень — Мандельштам О. Камень / Изд. подгот. Л.Я. Гинзбург, А.Г. Мец, С.В. Василенко, Ю.Л. Фрейдин. — Л.: Ленинградское отд-ние изд-ва «Наука», 1990.

Котрелев — Котрелев Н.В. Документы О.Э. Мандельштама в архиве Наркомпроса: возврат к теме (в печати).

Кузин — Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н.Я. 192 письма к Б.С. Кузину / Сост., предисл., подгот. текстов, примеч. и коммент. Н.И. Крайневой, Е.А. Пережогойной. — СПб.: ИНАПРЕСС, 1999.

Летопись жизни Ахматовой — Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. 2-е изд., испр., доп. — М.: Индрик, 2008.

Летопись жизни Мандельштама — Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. Приложение. Летопись жизни и творчества / Сост. А.Г. Мец при участии С.В. Василенко, Л.М. Видгофа, Д.И. Зубарева, Е.И. Лубяниковой. — М.: Прогресс-Плеяда, 2014.

Листки из дневника — Ахматова А.А. Победа над Судьбой. I: Автобиографическая и мемуарная проза. Бег времени. Поэмы /

Сост., подгот. текстов, предисл. и примеч. Н.И. Крайневой. — М.: Русский путь, 2005.

Лукницкая — Лукницкая В.К. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. — Л.: Лениздат, 1990.

Мандельштам — Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 4 т. / Сост. и коммент. П. Нерлера и А. Никитаева; т. 4 — П. Нерлера, А. Никитаева, Ю. Фрейдина и С. Василенко. — М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993–1997.

Мандельштам 1956 — Мандельштам О. Собр. соч. / Под ред. и со вступ. статьями Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956.

Мандельштам 1964 — Мандельштам О. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1 / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова; вступ. статьи К. Брауна, Г.П. Струве и Э.М. Райса. — Вашингтон: Международное литературное содружество, 1964.

Мандельштам 1967 — Мандельштам О. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1 / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова; вступ. статьи К. Брауна, Г.П. Струве и Э.М. Райса. — Вашингтон: Международное литературное содружество, 1967.

Мандельштам 1969 — Мандельштам О. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3 / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова; вступ. статьи Ю. Иваска, Н. Струве и Б. Филиппова. — Нью-Йорк: Международное литературное содружество, 1969.

Мандельштам 1971 — Мандельштам О. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2 / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова; вступ. статьи Ю. Иваска, Н. Струве и Б. Филиппова. — Нью-Йорк: Международное литературное содружество, 1969.

Мандельштам 1973 — Мандельштам О. Стихотворения / Вступ. статья А.Л. Дымшица; сост., подгот. текста и примеч. Н.И. Харджиева. — Л.: Сов. писатель, 1973.

Мандельштам 2011 — Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. Т. 3. Проза. Письма / Сост. А.Г. — М.: Прогресс-Плеяда, 2011.

Миндлин — *Миндлин Э.Л.* Необыкновенные собеседники. — М.: Сов. писатель, 1968.

Морозов 1 — примечания А. Морозова в кн.: *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания / Подгот. текста Ю. Фрейдина; предисл. Н. Панченко; примеч. А. Морозова. — М.: Согласие, 1999.

Морозов 2 — примечания А. Морозова в кн.: *Мандельштам Н.Я.* Вторая книга / Предисл. и примеч. А. Морозова; подгот. текста С. Василенко. — М.: Согласие. 1999.

Найман — *Найман А.Г.* Рассказы о Анне Ахматовой. — М.: Вагриус, 1989.

Об Ахматовой — *Мандельштам Н.* Об Ахматовой / Сост. и вступ. статья П. Нерлера; подгот. текста П. Нерлера, С. Василенко при участии Н. Крайневой; коммент. П. Нерлера при участии Н. Крайневой. — М.: Три квадрата, 2008.

Одоевцева — *Одоевцева И.* На берегах Невы. — Вашингтон: Изд-во В. Камкина, 1967.

Орлова, Копелев — *Орлова Р., Копелев Л.* Мы жили в Москве: 1956–1980. — М.: Книга, 1990.

Осип Мандельштам в Воронеже — Осип Мандельштам в Воронеже: Воспоминания. Фотоальбом. Стихи: К 70-летию со дня смерти О.Э. Мандельштама / Сост., предисл. и примеч. П.М. Нерлера; подгот. текста С.В. Василенко, П.М. Нерлера. — М.: [Благотворительный Резервный Фонд], 2008.

Осип и Надежда — Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников / Вступ. статья, подгот. текста, сост. и коммент. О.С. Фигурновой, М.В. Фигурновой. — М.: Наталис, 2002.

Остаток книг — *Фрейдин Ю.Л.* «Остаток книг»: библиотека О.Э. Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. — М.: Наука, 1991. С. 231–239.

Пастернак — *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч. [Текст]: В 11 т. / Сост. и коммент. Е.Б. Пастернака, Е.В. Пастернак. — М.: СЛОВО/SLOVO, 2003–2005.

Письма Максиму — Письма Н.Я. Мандельштам к Д.Е. Максиму / Публ., вступ. статья и коммент. Н.Т. Ашинбаевой // Дмитрий Евгеньевич Максимов в памяти друзей, коллег, учеников. К 100-летию со дня рождения. — М.: Наука, 2007.

Письма Рудакова — О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене / Вступ. статья Е.А. Тодеса, А.Г. Меца; публ. и подгот. текста Л.Н. Ивановой, А.Г. Меца; коммент. А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса, О.А. Лекманова // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. — СПб.: Академический проспект, 1997.

По звездам — Иванов В. По звездам. Статьи и афоризмы. — СПб.: Изд-во «Оры», 1909.

Пунин — Пунин Н.Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма / Сост., предисл. и коммент. Л.А. Зыкова. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000.

Реабилитация — Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы: В 3 т. / Сост. А.Н. Артизов, Ю.В. Сигачев, В.Г. Хлопов, И.Н. Шевчук. Т. 1. — М.: Международный фонд «Демократия», 2000.

Семенко — Семенко И.М. Поэтика позднего Мандельштама. От черновых редакций — к окончательному тексту / Предисл. Л. Гинзбург; сост. С. Василенко, П. Нерлера; подгот. текста и примеч. С. Василенко. 2-е изд., доп. — М.: Ваш Выбор ЦИРЗ, 1997.

Слово и «Дело» — Нерлер П. [При участии Д. Зубарева, Н. Поболя] Слово и «Дело» Осипа Мандельштама: Книга доносов, допросов и обвинительных заключений. — М.: Петровский парк, 2010.

Слово и судьба — Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. — М.: Наука, 1991.

Смольевский — Смольевский А.А. Ольга Ваксель — адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама // Лит. учеба. 1990. № 1. С. 163–169.

Тименчик — *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. — М.: Водолей Publishers; Toronto: The University of Toronto, 2005. (Toronto Slavic Library. Vol. 2.)

Третья книга — *Мандельштам Н.Я.* Третья книга: [воспоминания] / Изд. подгот. Ю.Л. Фрейдин. — М.: Аграф, 2006.

Хроника жизни Эренбурга — *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург: Хроника жизни и творчества (в документах, письмах, высказываниях и сообщениях прессы, свидетельствах современников). Т. 1. 1891–1923. — СПб.: ЛИНА, 1993.

Чуковская — *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. / [Подгот. текста и коммент. Е.Ц. Чуковской]. — М.: Время, 2007.

Con amore — *Нерлер П.* Con amore. Этюды о Мандельштаме. — М.: Новое лит. обозрение, 2014.

14+

Н. Мандельштам
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в двух томах
Том 1

Редактор *И. Харитонова*
Художественный редактор *С. Сакнынь*
Дизайнер *А. Шатунов*
Корректор *В. Корепанов*
Верстка *Т. Упорова*

Подписано в печать 30.09.2014. Формат 60×90/16.
Печать офсетная. Бумага писчая.
Усл. печ. л. 54,0.
Тираж 3000 экз. Заказ №

ООО «Издательство «Гонзо»
620026, Екатеринбург, ул. Декабристов, 51а
тел./факс: (343)228-09-16
e-mail: izdatelstvo-gonzo@yandex.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546, Тверская область,
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А,
www.pareto-print.ru

ISBN 978-5-904577-35-3



Приложения к электронной публикации

В 2014 г. в издательстве «Гонзо» (Екатеринбург) вышло двухтомное Собрание сочинений Н.Я. Мандельштам, подготовленное С. Василенко, П. Нерлером и Ю. Фрейдиным.

К сожалению, издание не включает именного указателя. Приносим извинения его читателям и восполняем упущение. Предлагаемый указатель содержит сведения о лицах, как прямо, так и косвенно упомянутых в книгах.

Прилагаем также развернутое содержание к каждому тому и список замеченных опечаток и исправлений. Будем признательны читателям за любые поправки и уточнения.

Приносим искреннюю благодарность за помощь в составлении указателя А. Наумову, П. Нерлеру и Р. Тименчику.

С. Василенко

Именной указатель

А., А.А., А.А.А. — *А.А. Ахматова*

А.Б. — *А.А. Блок*

А.Г. **1:** 491–492

А.К. — *А.К. Гладков*

А.М. — *А.Э. Мандельштам*

А.Ф. — *А.Ф. Смольевский*

А.Э. — *А.Э. Мандельштам*

Аарон **2:** 260, 666

Абрамов Б. **1:** 506

Аввакум, протопоп **1:** 133, 330, 506; **2:** 25, 133, 650

Августин Блаженный **1:** 519; **2:** 335–336, 675

Авель **2:** 309, 491

Авербах Л.Л. **1:** 132, 243–244, 251, 323, 535; **2:** 145, 221, 533, 662

Аверченко А.Т. **1:** 758

Аверьянова Н.Л. **1:** 523

Агранов Я.С. **1:** 251, 492, 510; **2:** 141, 156, 325

Адалис (Ефрон, урожд. Висковатова) А.Е. **1:** 144, 151, 392; **2:** 195–196, 659, 969

Адам **2:** 991

Адамович Г.В. **2:** 632

Адмони В.Г. **1:** 50; **2:** 167, 902

Адуев (Рабинович) Н.А. **1:** 13

Айналов Д.В. **2:** 696

Акопян (Акопян) А.М. **2:** 216

Аксенов И.А. **2:** 142, 164, 172, 732

Ал. Ал. **1:** 498

Ал. Эм. — *А.Э. Мандельштам*
Аладжалов С.И. **2:** 653
Александр — *А.Э. Мандельштам*
Александр II **1:** 778; **2:** 44, 618, 895
Александр Герцович (Герцевич) — *А.Г. Беккерман*
Александр Невский, св. блгв. кн. **2:** 631, 692
Александр Эмильевич — *А.Э. Мандельштам*
Александра Федоровна (урожд. принцесса Аликс (Алиса) Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская), имп., мц. **2:** 894–895
Александров Г.Ф. **2:** 167
Алексеев М.П. **1:** 600, 751–752
Алексей — *Алексий преп.*
Алексей Максимович — *Максим Горький*
Алексей Николаевич, цесаревич и вел. кн., мч. **1:** 14; **2:** 894–895
Алексий преп. **1:** 330, 342, 551; **2:** 97, 137–138, 157, 263, 400, 636, 750, 753, 825, 956
Алигер (Зейлигер) М.И. **1:** 732, 753; **2:** 183, 659
Алигер-Энценсбергер М.А. **1:** 772–773
Алкей **2:** 55, 134, 624
Альтман Н.И. **1:** 308
Аля — *А.С. Эфрон*
Амусин И.Д. **1:** 28, 31, 309; **2:** 135, 394
Анастасия Марковна **1:** 133, 506
Анастасия Николаевна, вел. кнж., мц. **1:** 14
Андерс Владислав **2:** 593, 665
Андерсен Ганс Христиан **1:** 246
Андерсен (Андерсон) Мариан **1:** 264–265; **2:** 793
Андреев А.А. **1:** 446–447, 449, 575
Андреева В.К. **2:** 901
Андреева М.Ф. **1:** 517
Андроников И.Л. **1:** 275, 406–407, 440; **2:** 921
Андроникова (Андроникашвили, в первом браке Андреева, во втором Гальперн) С.Н. **1:** 629, 737; **2:** 263, 271
Аникеёнок А.А. **1:** 32
Аничка — *А.А. Ахматова*
Аничка — *А.Г. Каминская*
Анна, Анна Андреевна — *А.А. Ахматова*
Анна Григорьевна — *А.Г. Достоевская*
Анна Евгеньевна — *А.Е. Пунина*
Анна Леопольдовна, вел. кн. **2:** 515
Анненков Ю.П. **1:** 550
Анненская Н.В. (урожд. Сливицкая) **1:** 686
Анненский И.Ф. **1:** 45, 270, 326, 328–329, 536, 686, 706, 713, 715, 776, 778; **2:** 54, 72, 103–104, 133, 139, 253, 357–358, 395, 460, 632, 649, 699, 791, 887, 890
Аннушка — *А.А. Ахматова*
Антоний, митр. Сурожский (А.Б. Блум) **2:** 14

Ануш — *А.А. Ахматова*
Анька — *А.Г. Каминская*
Анюта — *А.А. Ахматова*
Аня — *А.Г. Каминская*
Аня — *А.Я. Хазина*
Апостолов — *Астафьев*
Апостолова А.В. **1**: 24
Арагон Луи **2**: 161, 165, 347, 482, 671
Аракин В.Д. **1**: 27
Аранович С.Д. **1**: 751
Арбенина О. — *О.Н. Гильдебрандт-Арбенина*
Ардов (Зигберман) В.Е. **1**: 689, 735, 748; **2**: 53–54, 124, 320, 331, 370, 379, 582, 591, 624
Ардов Б.В. **1**: 748
Ардов М.В. **2**: 624
Ардова Нина — *Н.А. Ольшевская*
Ардовы **1**: 90, 591, 593, 613, 688, 774; **2**: 245, 331
Аренс А.Ж. **1**: 7
Аренс (урожд. Пионткевич) Е.М. **1**: 24, 72, 164, 509, 546; **2**: 484, 695, 852
Ариосто Лудовико **1**: 283, 329, 339–340, 362, 844; **2**: 259–260, 526, 741–742, 844, 965
Аристотель **1**: 311
Арская Н.А. **1**: 754
Артизов А.Н. **1**: 858, 862
Архангельский **1**: 486
Аршак II **1**: 546; **2**: 416
Аршаки (династия Аршакидов) **2**: 514
Асеев Н.Н. **1**: 289, 395–396, 544, 711; **2**: 142, 347, 467, 627, 645, 676, 839, 906, 962
Аспазия **2**: 989
Астафьев **2**: 641–643
Ася — *А.И. Цветаева*
Ауэр С.В. **2**: 635
Ахманова О.С. **1**: 27; **2**: 166–167, 393, 875
Ахматова (в замужестве Мотовилова) П.Ф. **2**: 452
Ахматова (Горенко) А.А. **1**: 6–7, 12, 20, 25–26, 31, 39–41, 43–44, 47–50, 52–53, 56, 60, 65–66, 71–76, 79–80, 85–88, 90–95, 100–103, 105, 111, 113–115, 122, 133, 140, 144, 146–147, 150, 156, 160–161, 175–177, 190, 194, 196, 206, 218, 222–225, 231, 233, 238, 242, 246, 249, 251–253, 268–269, 277, 279, 281–282, 284, 288, 290, 292–293, 295, 300, 306–309, 311–312, 315, 318–319, 324, 326, 328, 330, 341, 349, 354, 358, 364–366, 372, 378, 386, 392, 398, 407, 409–410, 420, 443–444, 446, 458, 466, 468, 492–493, 495, 502, 508, 519–520, 525–527, 536–537, 545, 555–556, 561–562, 574, 579, 583–640, 642–646, 648–650, 653–657, 663–664, 667–670, 676–682, 684–710, 712–715, 718, 720–765, 767–782, 784–791, 793–799, 804–806, 808, 810, 812–814, 816, 821, 831–832, 834–835, 842–843, 845, 848–849, 858–859, 861, 863; **2**: 8–9, 12–13, 15, 17–19, 25–27, 30–31, 33–34, 47, 56, 58–60, 62–64, 70, 72–74, 76, 79–80, 84, 86, 88–89, 103–105, 110–111, 120, 123–125, 133, 138, 142–144, 146–147, 149,

151, 160, 163, 165–7, 169–170, 173–174, 193–196, 199–201, 203, 211–212, 225, 232–233, 238–245, 247–254, 257, 259, 262, 264–271, 276, 281, 284, 288, 294, 318–321, 323, 326, 328, 330–332, 338, 341–344, 346–347, 353, 355, 357, 359, 361–384, 386, 395, 404, 407, 411, 415, 421, 427–429, 431–435, 438–443, 445–462, 465–470, 474, 479–480, 491, 496, 504, 525, 539–541, 544–545, 574, 576, 580–583, 585–586, 588, 591–594, 597, 604, 606, 610, 625–626, 632, 634–635, 646, 650, 662, 665, 667, 669–670, 673–674, 676, 678–680, 687–690, 692–697, 699, 703–704, 708, 710–711, 717–718, 729–732, 734–735, 737–738, 743–744, 751, 754, 756–757, 784, 796, 809, 813, 815, 821, 824, 828, 830, 832, 835, 844, 847–850, 854–855, 857–858, 861, 864–865, 872, 875, 896–906, 908, 910–924, 926–927, 929–930, 932–933, 935–936, 938, 942, 947, 956, 958, 961–962, 965, 969–970, 974–976, 978, 980, 986, 988, 990, 993, 994

Ахматова Е.Н. **2:** 452

Ахматова Р.С. **2:** 452

Ашинбаева Н.Т. **1:** 862

Ашкенази Д.В. **1:** 399

Б. **1:** 293

Б. — С.П. Бородин

Б. — И.П. Брихничев

Б. — Л.А. Бруни

Б. — Н.И. Бухарин

Б. — Б.К. Лившиц

Б.П. — Б.Л. Пастернак

Бабаев Э.Г. **1:** 26, 57, 366, 496, 597, 564, 750, 761, 775, 858; **2:** 576, 625, 702, 855, 908

Бабаева Е.Э. **1:** 7

Бабель (урожд. Гронфайн) Е.Б. **2:** 616

Бабель И.Э. **1:** 81, 114, 398, 413–415, 466, 560; **2:** 12, 79, 141–142, 604, 616, 677, 956

Баберкина Н.А.¹ **1:** 303, 383; **2:** 609–610

Бабин (псевд. Корень) Б.В. **2:** 225, 662

Бабина (Бабина-Невская; урожд. Змойро) Б.А. **2:** 225, 662

Багдатьяев@ — Н.В. Макридин

Багрицкая (урожд. Суок) Л.Г. **1:** 103, 365, 563; **2:** 76, 849

Багрицкие **1:** 544, 754

Багрицкий (Дзюбин) Э.Г. **1:** 416, 544, 598, 750; **2:** 76, 79, 142, 146, 254, 318

Багрицкий В.Э. **1:** 365, 563; **2:** 848–849

Балтрушайтис Ю.К. **1:** 102–103, 500

Бальмонт К.Д. **1:** 326, 549, 721; **2:** 54

Бамдас А.М. **1:** 443, 574

Баранова Г.А. **2:** 697

Баратынская (урожд. Энгельгардт) А.Л. **1:** 686; **2:** 262

Баратынский Е.А. **1:** 328, 379, 836; **2:** 61, 262, 395, 696, 733–734, 822

Барбье Огюст **1:** 249, 256, 329, 534; **2:** 138–139, 224, 662, 957

Барбюс Анри **2:** 224, 521, 945

¹ Жена Н.К. Костарева.

Бардо Брижит (Брижит Анн-Мари Бардо) **2:** 484
Барринова Г.В. **2:** 764, 827
Басманова М.П. **1:** 31
Баталов А.В. **2:** 331
Батюшков К.Н. **2:** 260, 733–734
Бах А.Н. **1:** 321, 549
Бах Иоганн Себастьян **1:** 266, 753, 813
Бахрах А.В. **2:** 692
Бедный Демьян (Е.А. Придворов) **1:** 101–102, 239, 499–500; **2:** 216, 840, 959
Безыменский А.И. **1:** 168, 417, 427
Беккерман А.Г. **1:** 255, 274, 539, 543; **2:** 537, 711, 715, 718, 816
Белинский В.Г. **2:** 600
Белый Андрей (Б.Н. Бугаев) **1:** 88, 142, 234–236, 320, 528–529, 742, 779, 808, 819;
2: 53, 55, 69, 161, 257, 312, 319, 399–402, 406, 472–473, 494, 622, 631, 681, 740, 745,
749–750, 753, 806, 825, 845, 849, 961, 966, 986, 991
Беляускене Р. **2:** 697
Бен — *Б.К. Лившиц*
Бенедиктов В.Г. **2:** 317, 672
Бенкендорф А.Х. **1:** 502
Беньяш Р.М. **1:** 703; **2:** 854, 910, 932
Берберова Н.Н. **2:** 162
Берггольц О.Ф. **1:** 600, 752, 776
Бергсон Анри **1:** 311, 318, 548; **2:** 292, 311, 359, 497, 518–519, 670
Бердяев Н.А. **1:** 187, 222, 309, 330, 353–359, 516, 526, 547, 556–559, 670–671, 681–
682, 724, 812, 814, 858; **2:** 14, 61, 68, 116–118, 289, 298–299, 303, 413, 476, 501, 630,
645, 671, 696–697, 884, 889, 956, 977, 993
Берестов В.Д. **1:** 26, 71, 281, 544
Берия Л.П. **1:** 24, 414, 504, 571, 627; **2:** 391, 393, 604
Берковская Е.М. **1:** 736
Берковский Н.Я. **1:** 719
Берлин И.М. **1:** 758; **2:** 367–368, 372–373, 446, 678–679
Бернштейн И.И. (А. Ивич) **1:** 27, 57, 282, 443; **2:** 857
Бернштейн С.И. **1:** 27, 282, 367, 443, 564–565, 574; **2:** 664, 857, 874, 986, 995
Беспалов И.М. **1:** 523
Бестужев А.А. **1:** 794, 831
Бетховен Людвиг ван **1:** 148, 440, 573; **2:** 148
Бикель М.М. **1:** 28, 426; **2:** 391
Биргер Б.Г. **1:** 813
Бирон Эрнст Иоганн **2:** 514–515
Бирюков А.М. **1:** 581
Битюцкий В.И. **1:** 7
Блаватская Е.П. **1:** 538
Благой Д.Д. **1:** 228; **2:** 117–118, 645, 956
Благонадежная **2:** 394
Блок А.А. **1:** 47, 339, 356, 407, 422, 427, 617, 650, 685, 710, 713, 723, 758, 762, 777–
781, 810, 858; **2:** 53, 55, 60–61, 63, 68, 73, 88, 98, 136, 173, 262, 347, 349, 460, 622–

623, 626, 629, 635, 646, 653, 662, 667, 675, 692, 700, 774, 828, 857, 863, 955, 963, 989
Блок Г.Г. (Г.П.) **1:** 190, 518; **2:** 349, 676, 958
Блок Жан-Ришар **1:** 555
Блок (урожд. Менделеева) Л.Д. **1:** 650, 685, 772–773; **2:** 53, 211, 622
Блох М.Ф. **1:** 764
Блох Я.Н. **1:** 559
Блюмкин Я.Г. **1:** 180–185, 187, 194, 513–514; **2:** 953–954
Бобров С.П. **1:** 708, 707; **2:** 246, 317, 405, 672
Бобышев Д.В. **1:** 600, 733, 752, 781
Богомолов Н.А. **1:** 7; **2:** 628
Богословский М.М. **1:** 576
Бодлер Шарль **1:** 329; **2:** 682, 684
Бодуэн де Куртенэ И.А. **1:** 275
Бозио Анджелина **2:** 207, 258
Бойчук М.Л. **1:** 15
Боккаччо Джованни **1:** 329; **2:** 698
Бондарь **1:** 769
Борев Ю.Б. **1:** 767
Борис — *Б.Е. Молчанов*
Борис Леонидович — *Б.Л. Пастернак*
Борис Сергеевич — *Б.С. Кузин*
Борисов В.М. **1:** 33, 51–52, 57; **2:** 8, 990
Борисов Л.И. **2:** 64, 485, 626
Борисова М.И. **1:** 600, 752
Борнштейн Л.Г.² **1:** 410
Бородаевский В.А. **1:** 326, 549
Бородин С.П. (псевд. Амир Саргиджан) **1:** 111, 168, 491–492, 729; **2:** 676, 961
Брагина М.С. **1:** 603, 754
Брамс Иоганнес **2:** 192
Браудо Е.М. **2:** 635
Браун Кларенс **1:** 7, 46, 52, 55, 58, 598–599; **2:** 8, 15–16, 28, 266, 667, 754
Браунинг (урожд. Моултон) Элизабет Барретт **1:** 695; **2:** 432
Браунинг Роберт **1:** 695; **2:** 431–432
Бреннер Д. **1:** 565
Брехничев — *И.П. Брехничев*
Брик (Каган) Л.Ю. **1:** 605; **2:** 64, 657, 671, 813, 956
Брик О.М. **1:** 251–252, 605, 617, 667, 710, 719, 725; **2:** 65–66, 113, 156, 337, 657, 813, 917, 923, 957
Брики **2:** 956
Брехничев И.П. **1:** 807; **2:** 89
Бродский Д.Г. **1:** 45, 80, 82, 86, 169, 492–493, 508
Бродский И.А. **1:** 31, 56, 77, 277, 426, 600, 733, 736, 752, 842, 846; **2:** 12, 16, 19, 25, 125, 385–386, 510, 544, 680, 734–735, 983

² Жена *Б.П. Корнилова*.

Бромлей Н.Н. **2**: 653
Бруни **1**: 412, 442; **2**: 962
Бруни (урожд. Полиевктова) А.А. **1**: 412–413
Бруни А.Н. **1**: 412
Бруни Л.А. **1**: 164, 392, 412–413, 442, 509, 608, 733, 755; **2**: 750, 920, 924, 962
Бруни М.Н. **1**: 412
Бруни Н.А. **1**: 412, 570
Бруни (урожд. Бальмонт) Н.К. **1**: 748
Бруни Надя — *А.А. Бруни*
Брусиловская Л.Б. **1**: 7
Брюллов К.П. **1**: 542; **2**: 632
Брюсов В.Я. **1**: 233–234, 315, 327, 329, 354, 359, 387, 528, 548, 550, 682, 706, 715, 750, 771, 801–802, 833; **2**: 52, 54, 67–68, 72, 104–107, 110, 118, 196, 346–347, 621, 628–629, 638, 672, 682, 957
Брюсова Н.Я. **1**: 387
Брянчанинов А.Н. **1**: 538
Бубер Мартин **2**: 14
Бублик **1**: 310–313; **2**: 421
Бубнов А.С. **2**: 148
Бугаева (урожд. Алексеева) К.Н. **1**: 234–235; **2**: 740, 824
Бугаевский В.А. **2**: 710
Булгаков М.А. **1**: 499; **2**: 12, 140, 354, 371–372, 677, 679, 955
Булгаков С.Н. **2**: 14, 284, 289, 296, 298–299, 308, 332, 669, 674–675
Булгакова (урожд. Нюрнберг) Е.С. **1**: 114; **2**: 12, 912
Булгаковы **1**: 114, 607
Булгарин Ф.Б. **1**: 162; **2**: 219
Бунин И.А. **1**: 758
Бурлюк Д.Д. **2**: 65, 120, 337, 646
Бурлюк Н.Д. **1**: 550; **2**: 65, 337
Бутман Д.М. **1**: 115, 166–169, 509
Бутыло В., о. **1**: 602, 750, 752
Бутягина В.А. **2**: 654
Бухарин Н.И. **1**: 97–98, 101, 159, 191–197, 215, 217, 224, 257, 259, 311, 340–342, 367, 481, 497, 510, 518, 520, 554, 564, 581; **2**: 220, 420, 514, 529, 540, 580, 662, 840, 844, 940, 945, 957, 959–960, 962
Бухонка **2**: 288
Бухштаб Б.Я. **1**: 30, 468, 579, 719
Бучма А.М. **2**: 336–337, 675
Бюргер Готфрид Август **1**: 326, 329; **2**: 735
Бюффон Жорж-Луи Леклерк де **1**: 331

В. 2: 979
В.Б. — *В.Б. Шкловский*
В.Г. — *В.Г. Шкловская-Корди*
В.И.Л. — *В.И. Ленин*
В.Ш. — *В.Б. Шкловский*

Вагинов (Вагингейм) К.К. **1:** 365, 562–563; **2:** 216, 426, 848
Вадик **1:** 212, 215, 284, 293; **2:** 429, 627, 743, 774, 790
Важа Пшавела (Л.П. Разикашвили) **1:** 524, 807–808, 834–835; **2:** 952, 955–956
Вазари Джорджо **1:** 329
Вайсбург А.И. **1:** 486, 582
Вакс Б.А. **1:** 445, 775
Ваксель О.А. **1:** 20–21, 647–649, 653–654, 676, 765, 770, 858, 862; **2:** 226–231, 233–235, 246, 253, 258–259, 262–263, 265, 277, 437, 662–664, 750, 765–767, 958, 965
Вальтер В.А. **1:** 77; **2:** 10
Ван Гог Винсент **1:** 32
Ванцетти Бартоломео **1:** 86
Варлаам — *В.Т. Шаламов*
Варя — *В.В. Шкловская-Корди*
Василенко В.М. **2:** 988, 995
Василиса — *В.Г. Шкловская-Корди*
Васильев А.Н. **2:** 350
Васильев П.Н. **1:** 350–351, 502, 556, 713; **2:** 979
Вася — *В.М. Перепелкина*
Вахтангов Е.Б. **1:** 247
Введенский А.И. **2:** 399
Вдовин Е.П. **1:** 207, 209–210, 522–523; **2:** 258, 757, 962
Вейсберг В.Г. **1:** 41, 792, 822
Венгерovy **2:** 55
Веневитинов Д.В. **2:** 734, 822
Вепринцев С.Н. **1:** 80–86, 91–92, 94–95, 115–116, 494, 555
Вера, св. мц. **2:** 7
Вергилий (Публий Вергилий Марон) **1:** 255, 789; **2:** 698
Вересаев (Смидович) В.В. **1:** 355, 556–557; **2:** 642
Верлен Поль **1:** 329; **2:** 747
Вермель Ю.М. **1:** 149; **2:** 738
Вертинский А.Н. **1:** 759
Верховский Ю.Н. **1:** 234, 777; **2:** 653, 775, 778
Веспасиан (Тит Флавий Веспасиан) **2:** 671
Вигдоров И.А. **2:** 555–558, 560, 701
Вигдорова Ф.А. **1:** 32, 73; **2:** 8, 111, 155, 385, 555–558, 560, 587, 656, 680, 701, 858–859
Видгоф Л.М. **1:** 514, 858; **2:** 820
Видре К.И. **1:** 498
Вийон Франсуа **1:** 329, 348, 617; **2:** 110, 313–314, 334–335, 494, 811
Вико Джамбаттиста **1:** 329
Виленкин В.Я. **1:** 696–697, 858; **2:** 439
Виллон Франсуа — *Франсуа Вийон*
Винавер М.Л. **1:** 98–99, 126, 170, 302, 498
Винберг Г.Ф. **1:** 101, 183, 192, 498–499; **2:** 513–514, 839–840, 959
Винкельман Иоганн Иоахим **1:** 333
Виноградов В.В. **1:** 443, 613, 757; **2:** 166, 393, 680, 874–877

Вистендаль (Иргенс-Вистендаль) Христиан **1:** 770; **2:** 234
Витя **2:** 39
Вишневецкая С.К. **1:** 13, 104, 352, 619; **2:** 169, 616, 887, 890, 893
Вишневецкий В.В. **1:** 13, 179, 260, 352, 369, 544; **2:** 169, 616, 846, 893
Владимир Всеволодович Мономах **1:** 544, 552; **2:** 101, 638
Владимир Иванович **2:** 878–879
Вовенарг Люк де Клапье **2:** 623
Вовочка — *В.Е. Смирнов*
Волков А.А. **1:** 524
Волков С.М. **1:** 602, 752–753
Волконская Е.Г.³ **1:** 369; **2:** 984
Володя — *В.С. Муравьев*
Волосов@ — *Н.Н. Ходотов*
Волошин (Кириенко-Волошин) М.А. **1:** 617, 758, 858; **2:** 41, 103–104, 107–111, 118, 257, 473, 537, 617, 621, 637–642, 662, 699, 712, 729, 849, 954
Волошина (урожд. Заболоцкая) М.С. **2:** 109
Волошина С.М. **1:** 7
Волчанецкая (Ровинская) Е.Н. **2:** 654
Вольнский (Флексер) А.Л. **1:** 517
Вольдемар Казимирович — *В.К. Шилейко*
Вольпе Ц.С. **1:** 218, 407–408; **2:** 416, 424
Вольперт Л.И. **1:** 31–32, 72
Вольпин М.Д. **1:** 419–420, 595, 749
Воронков К.В. **2:** 587, 703
Воронский А.К. **1:** 190, 217, 342, 348, 518, 537, 711; **2:** 78, 633, 844
Врангель П.Н. **2:** 642–643, 954
Вульф А.Н. **2:** 666
Выгодский Д.И. **1:** 297, 546
Выготский Л.С. **1:** 312, 822
Высотский О.Н. **1:** 707, 777
Высоцкий В.С. **1:** 75
Вышинская З.А. **2:** 209–210
Вышинский А.Я. **1:** 159, 418, 508, 518, 521; **2:** 209–211, 660
Вячеслав, Вячеслав Иванович — *В.И. Иванов*
Вячеславский — *В.Г. Шведов*

Г.Г.Г. — *Г.Г. Гельштейн*
Г.К. — *Г.Л. Козловская*
Габричевский А.Г. **1:** 503, 559; **2:** 469
Гайдн Йозеф **1:** 753, 820
Галансков Ю.Т. **2:** 15
Галя К. — *Г.Л. Козловская*
Гамбаров (Гамбарян) С.П. **2:** 719, 818
Гаприндашвили В.И. **1:** 808

³ Жена *Л.В. Никулина*.

Гарин (Герасимов) Э.П. **1:** 420–421
Гаршин В.Г. **1:** 308, 606, 621, 728; **2:** 452, 690, 896–902, 916–917, 919
Гаршин В.М. **2:** 690
Гаршина (урожд. Акимова) Т.В. **2:** 901
Гауптман Герхард Иоганн Роберт **2:** 991
Гебель Иоганн Петер **1:** 522
Гегель Георг Вильгельм Фридрих **1:** 312, 331; **2:** 567, 698, 702
Гейне Генрих **2:** 547, 700
Гейнце М.А. **1:** 765
Гёльдерлин Иоганн Христиан Фридрих **1:** 316, 329
Гельфанд И.М. **1:** 792
Гельштейн Г.Г. **2:** 504–505, 507
Гендельман **1:** 138, 507
Гендельманы **1:** 138
Гераклит Эфесский **2:** 702
Герасимов **1:** 80–83, 85–86, 492, 494
Гервег Георг **1:** 685, 772
Гердер Иоганн Готфрид **1:** 317, 329
Герман Ю.П. **1:** 608, 756
Герцен (урожд. Захарьина) Н.А. **1:** 685, 772
Герцен А.И. **1:** 174, 193, 240–241, 249–250, 319, 346, 356, 519, 530, 533–534, 557, 685, 701, 727, 775–776, 781, 816, 835–836, 859; **2:** 115, 729, 820, 908, 982
Герцык А.К. **1:** 777
Герцык Е.К. **1:** 707, 777; **2:** 525
Гершензон М.О. **1:** 682
Герштейн Г.М. **2:** 857, 863
Герштейн Э.Г. **1:** 27, 55, 57, 68, 71, 74, 91, 178, 206, 274, 282, 364–366, 495, 508–509, 560–564, 602, 613, 624, 635–636, 733, 736, 740, 742, 748, 781, 859; **2:** 17, 245, 252, 401, 457, 466, 539, 582–583, 681, 703, 845, 847, 849, 851, 855, 857, 860, 863, 864, 969, 985–987
Гессен И.В. **2:** 619–620
Гёте Иоганн Вольфганг фон **1:** 62, 195, 316–317, 329, 342, 432, 507, 520, 653, 758, 766, 794–795, 799, 831–832; **2:** 75, 171, 238, 257–258, 343, 360, 424, 550, 616, 735–736, 767, 823, 827
Гефтер В.М. **1:** 753
Гибер М.В. **2:** 530–531
Гильдебрандт-Арбенина О.Н. **2:** 81–83, 143–144, 225, 265, 633–635, 831–835, 837–838
Гинзбург А.И. **1:** 750; **2:** 15
Гинзбург Г.Р. **1:** 221, 266, 526
Гинзбург Е.С. **2:** 130, 568, 648, 702
Гинзбург Л.М. **1:** 221, 266, 526
Гинзбург Л.Я. **1:** 30–31, 72, 468, 579, 618–619, 723, 762–763, 781, 859, 862; **2:** 17, 64, 130, 408, 433, 627, 648, 682, 707
Гиппиус В.В. **1:** 328, 346, 551; **2:** 54, 629, 821
Гиппиус З.Н. **2:** 52, 525, 621, 628

Гитлер (Шикльгрубер) Адольф **2:** 296, 481–482, 487, 523, 576, 695, 884, 941
Гладков А.К. **1:** 36, 38–39, 41–42, 45, 49–50, 76, 492, 530, 545, 750; **2:** 15, 355, 360
Гладков Ф.В. **1:** 199
Глазунов **1:** 496
Глазунов В.В. **1:** 93–94, 124–125, 127, 157, 366, 449, 452, 459–460, 496, 504–505, 564, 750; **2:** 252, 576, 665
Глазунова Л.В. **1:** 93–94, 125, 127, 157, 452, 459–461, 504–505, 564, 597, 750; **2:** 576, 702
Глебова-Судейкина О.А. **1:** 640, 645, 753, 764; **2:** 441, 443, 448–449, 454, 456–459, 909, 927, 930
Глебова-Филонова Е.Н. **2:** 987, 995
Глёткин Г.В. **1:** 759
Глен Н.Н. **1:** 269, 696–697, 732, 737, 748
Глинка М.И. **2:** 59, 625
Глоба А.П. **2:** 653
Глускина Л.М. **1:** 31
Глускина С.М. **1:** 31–33, 75
Глухов И.К. **1:** 28, 478, 626–627, 761; **2:** 309, 387–391, 393
Глюк Кристоф Виллибальд **1:** 220, 813; **2:** 965
Г-н — *С.С. Гусев*
Гнедич Н.И. **1:** 329, 551, 553
Гоголь Н.В. **1:** 234–235, 333, 529, 543, 553, 627; **2:** 133, 204, 329, 363, 734, 822, 992
Годунов Б.Ф. **1:** 553
Голлербах Э.Ф. **1:** 605, 754
Головачева А.В. **1:** 73
Голубева О.А. **1:** 334; **2:** 105, 638
Гольшева Е.М. **1:** 30
Гольбейн Ганс (Младший) **1:** 553
Гольденвейзер А.А. **2:** 619
Гольденвейзер А.Б. **2:** 212
Гомер **1:** 551, 553, 789; **2:** 134, 198
Гончарова (в замужестве бар. Фогель фон Фризенгоф) А.Н. **1:** 319
Гончарова (в первом браке Пушкина, во втором Ланская) Н.Н. **1:** 319, 685, 772
Гончарова Е.Н. (в замужестве бар. Геккерн) **1:** 319
Гончарова Н.Г. **2:** 680, 914
Гопп Ф.И. **2:** 973
Гораций (Квинт Гораций Флакк) **1:** 329, 789
Горбачева В.Н. **1:** 350, 555; **2:** 12
Горбов М.А. **1:** 329, 551
Горбунов Н.П. **1:** 182; **2:** 953
Гордина Н.В. **1:** 7
Горенко А.А. **1:** 656, 705; **2:** 241, 449–450, 457, 665
Горенко А.А. **1:** 587, 615, 757–758; **2:** 449–450, 540
Горенко В.А. **1:** 656, 705; **2:** 241, 450, 665
Горенко И.А. **1:** 656, 705; **2:** 241–242, 450
Горлин А.Н. **2:** 224–225, 229, 957, 959

Горнунг А.В. **1:** 71
Горнунг Л.В. **1:** 71, 537, 760; **2:** 67, 628
Горнунг М.Б. **1:** 7
Горнфельд А.Г. **1:** 540; **2:** 661, 675, 841, 959
Городецкая (урожд. Козельская; псевд. Нимфа Бел-Конь-Любомирская) А.А. **1:** 709; **2:** 59, 62
Городецкая-Бирюкова Р.С. **2:** 60
Городецкий С.М. **1:** 524, 709–710, 712, 725, 777–778, 810; **2:** 58–63, 70, 161, 534, 625, 911, 955
Горчева А.Ю. **1:** 498
Горький Максим (А.М. Пешков) **1:** 87, 188, 196, 232–233, 418, 432, 516–517, 520–521, 573, 767, 848; **2:** 78, 87–88, 111, 118, 123, 209, 254, 348, 455, 591, 594, 636, 648, 653, 704, 739, 824, 844, 928, 954, 968, 973, 994
Гофман М.Л. **1:** 777
Гофман Эрнст Теодор Амадей **2:** 954
Гоффеншефер В.Ц. **1:** 547
Грахх (Гай Семпроний Грахх) **1:** 404, 568
Грахх (Тиберий Семпроний Грахх) **1:** 404, 568
Гранди Джованни **1:** 308, 547
Греч Н.И. **2:** 219
Гржебин З.И. **2:** 87, 635
Грибоедов А.С. **2:** 339, 341
Григорий Семенович **1:** 344
Григорьев А.А. **1:** 328, 551
Григорьев Г.М. **1:** 401–403
Григорьева Н.Г. **1:** 402–403, 568
Григорьева Т.Г. **1:** 176, 401–405; **2:** 711, 977
Григорьевы **1:** 402
Григорьян Л.Г. **2:** 484, 695
Гримм Якоб Людвиг Карл **2:** 389–390
Грин (Гриневский) А.С. **1:** 283; **2:** 738–739, 961
Грин (урожд. А. Миронова) Н.Н. **1:** 283; **2:** 738–740, 961
Грин Джеймс **2:** 949–950
Гриц Т.С. **1:** 574
Громова Н.А. **1:** 7, 749
Гронский (Федулов) И.М. **1:** 238, 499
Гуговна — *А.Г. Усова*
Гудкова В.В. **2:** 700
Гуковский Г.А. **2:** 205, 246, 815
Гумбольдт Вильгельм фон **1:** 843
Гумилев Л.Н. **1:** 79, 90–91, 148–149, 206, 232, 301, 378, 466, 508, 527, 588–590, 593, 599–601, 606–609, 621–622, 635, 653, 698, 703–704, 707, 726, 728–729, 731, 733–738, 742–743, 746, 750, 754–755, 760–761; **2:** 54, 124, 138, 242, 252, 320, 361, 367, 370–371, 421, 582, 584–585, 677, 703, 750–751, 753, 825, 834–835, 904, 913–915, 919–921, 936, 978, 980

Гумилев Н.С. **1:** 43–44, 50, 85–86, 102–103, 121, 149, 188–189, 233, 253, 280, 287, 301, 307, 315, 326, 329, 358, 364–367, 372, 376, 495, 514, 516–518, 521, 524, 528, 559, 561–562, 566, 588, 604, 609, 614, 617, 644, 690–691, 695, 705–710, 712, 714–715, 718, 722–723, 725, 728, 740, 742, 756, 759, 776–778, 806–807, 810, 814, 835, 860; **2:** 12, 15, 26, 53–54, 56, 58, 60, 62–64, 67–70, 72–74, 80–81, 85–86, 88, 91–93, 95, 111–112, 118, 122–123, 151, 161, 165, 212, 241, 265, 316, 320, 346, 367, 398, 411, 431–432, 435, 451–453, 455, 457–458, 562, 583–585, 622–624, 626, 630–632, 635, 638, 647–648, 657, 676, 680, 690, 702–703, 796, 831, 835, 837–838, 847, 896, 914, 920, 947, 955, 970

Гумилева (урожд. Львова) А.И. **1:** 759

Гумилевы **1:** 617

Гурвич Э.С. **2:** 510, 538, 540, 602, 712, 718, 725, 727, 852, 987, 995

Гуревич Л.И. **1:** 101, 183, 192, 498–499; **2:** 513–514, 839–840, 959

Гусев (псевд. Слово-Глаголь) С.С. **1:** 308; **2:** 377, 905–906, 909

Гусев А.Н. **1:** 238, 258–259; **2:** 425, 687–688, 706, 960

Гусев Б.С. (псевд. Борис Глаголин) **2:** 905–906, 909

Гусикова А.Н.⁴ **2:** 76, 83–84

Гутенберг Иоганн **1:** 271, 468, 589–590, 746, 849; **2:** 33, 191, 612

Гюго Виктор Мари **1:** 505

Гюисманс Жорис-Карл (Шарль-Жорж-Мари) **2:** 433, 688

Д. — *Ю.М. Даниэль*

Д. — *Ю.О. Домбровский*

Давид **1:** 752

Даль В.И. **2:** 186

Даманская А.Ф. **2:** 635

Данилевский Н.Я. **2:** 501–2

Данин (Плотке) Д.С. **1:** 765

Даниэль Ю.М. (псевд. Николай Аржак) **1:** 592, 598, 747–748, 750; **2:** 15, 574, 680

Данте Алигьери **1:** 26, 53, 63, 65, 106, 113, 149, 178, 234, 248, 255, 258, 264, 267, 270, 282, 285, 290, 317–319, 327, 329, 337, 341, 366, 451, 479, 502, 541, 548, 551, 741, 787, 789, 796, 799–800, 806, 816–819, 826–827, 831–833, 835–837, 848; **2:** 8, 35, 50, 108–109, 120, 134, 207, 215, 257, 259–260, 314, 369, 429, 471, 474, 544, 575, 627, 639–640, 666, 671–672, 696, 698, 719, 733, 741, 745, 747, 752, 791, 806, 818, 821, 825, 827, 829, 860, 865, 872, 945–946, 950, 961, 967

Дантес (бар. Геккерн) Ж.Ш. **1:** 685, 772

Данько Н.Я. **1:** 646, 764

Дарвин Чарльз Роберт **1:** 331

Дармолатова М.Н. **1:** 401–403, 405, 646–647; **2:** 143–144

Дарья **1:** 9; **2:** 880–882, 885

Дворжак Антонин **1:** 429, 573

Дейч А.И. **1:** 15, 17, 70; **2:** 617

Дейч Е.К. **1:** 70

Демьян — *Демьян Бедный*

⁴ Жена М.А. Зенкевича.

Державин Г.Р. **1:** 328, 365; **2:** 55, 624, 627, 651, 733
Десницкий В.А. **1:** 830
Джойс Джеймс **1:** 316, 352; **2:** 716
Дзержинский Ф.Э. **1:** 183–185, 187, 194, 346, 497, 513–514, 517; **2:** 953
Диаманд Франк **1:** 59
Дидерихс А.Р. **2:** 141
Дикий А.Д. **1:** 408–409, 570
Диккенс Чарльз **1:** 775; **2:** 886, 911, 914
Дима — *В.М. Борисов*
Динерштейн Е.А. **2:** 635
Диночка — *Д.М. Бутман*
Длигач Л.М. **1:** 45, 115, 166–170, 509; **2:** 761
Дмитрий Сергеевич — *Д.С. Усов*
Добкин А.И. **1:** 492
Добровольский А.А. **2:** 15
Добролюбов А.М. **1:** 326, 549; **2:** 54
Добролюбов Н.А. **1:** 401
Довженко А.П. **2:** 721
Долгорукая Е.А. **1:** 330, 552
Долгорукая (урожд. Шереметева) Н.Б. **1:** 551
Долгорукий И.А. **1:** 552
Долматовский Е.А. **1:** 479
Домбровский Ю.О. **1:** 479–483, 581; **2:** 569
Домна Ефремовна — *Д.Е. Клымнюк*
Дорохов П.М. **1:** 671–675; **2:** 301–308
Достоевская (урожд. Сниткина) А.Г. **1:** 319, 685, 771–772; **2:** 167, 657–658
Достоевский Ф.М. **1:** 69, 78, 328, 369, 491, 567–568, 669, 679, 685, 728, 769, 771, 792, 805, 816, 859; **2:** 43, 50, 68, 167, 170, 219, 247, 282–285, 287, 297–298, 329, 355–357, 606, 629–630, 646, 654, 657–658, 665, 669–671, 675, 677, 679, 697, 726, 923, 989
Дриш Ганс **1:** 331
Дроздова Т.Г. **1:** 35
Дубинская-Фурман Т.Л.⁵ **1:** 729
Дубровин А.И. **2:** 153
Дувакин В.Д. **1:** 564; **2:** 76, 84
Дудин М.А. **1:** 600, 752
Дукельский С.С. **1:** 294–298, 300, 545–546
Дунаевский **1:** 212
Дунаевский А.Д. **1:** 7
Дурова Н.А. **1:** 612
Душенко К.В. **1:** 767
Дымшиц А.Л. **1:** 525, 860; **2:** 627
Дюкова М.Г. **1:** 32, 72
Дюма Александр (отец) **1:** 476, 507

⁵ Жена *С.П. Бородина*.

Дюрер Альбрехт **2**: 133, 650

Е., Е.Х. — *Е.Я. Хазин*

Е.Э. — *Е.Э. Мандельштам*

Е.Я. — *Е.Я. Хазин*

Ева **2**: 981, 991

Евг. Эм., Евг. Эмильевич, Евгений, Евгений Эм. — *Е.Э. Мандельштам*

Евгений Петрович — *Евгений Петров*

Евгений Яковлевич — *Е.Я. Хазин*

Евдокия Федоровна (урожд. П.И. Лопухина) **2**: 648

Евламповев К.Е. **1**: 30

Евнина Е.М. **1**: 503

Еврипид **2**: 133, 358, 649, 890

Ежов Н.И. **1**: 148, 155, 191, 210, 414–418, 432, 434–435, 468, 494, 497, 571, 576–577, 579; **2**: 595, 604, 706, 852, 934, 940–941, 960

Ежова Тоня — *А.А. Титова*

Елена **2**: 981

Елена Ивановна **2**: 215–216

Елютин В.П. **1**: 216

Енукидзе А.С. **1**: 100, 402–404

Есенин С.А. **1**: 420, 437, 595; **2**: 321, 330, 394, 421, 461, 628, 638, 670, 742–743, 994

Ефрем Сирий преп. **2**: 646

Ж. — *В.М. Жирмунский*

Ж. — *Е.Ю. Рапп*

Жарков **1**: 9, 68

Жаров А.А. **2**: 178

Жданов А.А. **1**: 479, 617, 621, 625, 628, 636, 760; **2**: 170, 364, 383, 431, 678, 688, 898, 902, 909, 976

Жекулина А.В. **1**: 14

Железная Маска **1**: 304, 546

Желудков С.А. **1**: 32–33

Женя — *Е.С. Ласкина*

Женя — *Е.С. Левитин*

Женя — *Е.В. Пастернак*

Живов В.М. **1**: 33

Живова Ю.М. **1**: 7, 33, 52, 73, 696–697, 737; **2**: 929, 982

Жиглевич Е.В. **2**: 696

Жид Андре **2**: 521

Жинкин Н.И. **1**: 765

Жирмунская (урожд. Яковлева) Т.Н. **1**: 399

Жирмунский В.М. **1**: 27, 29, 112, 399, 503; **2**: 8, 17, 51, 166, 393, 446, 732, 875, 924

Жовтис А.Л. **1**: 549

Жуковский В.А. **1**: 149, 328, 522, 783, 794, 831; **2**: 339, 373, 552, 679, 701, 733

3. — *П.Л. Загоревский*

З. — *Г.Е. Зиновьев*
З. — *М.М. Зоценко*
З.Н. — *З.Н. Пастернак-Нейгауз*
Забловский **1**: 80–83, 86, 494
Заболоцкий Н.А. **2**: 67, 426, 743
Загоровский П.Л. **1**: 262, 541; **2**: 972
Задонский Н.А. **1**: 209; **2**: 64, 485, 626
Зайцев **1**: 655; **2**: 239–240, 958
Зайцев А.Д. **1**: 746
Зайцев Б.К. **2**: 645
Заковский Л.М. (Г.Э. Штубис) **1**: 501
Залка Мате (Бела Франкль) **1**: 80–82, 86, 215, 494
Западов А.В. **1**: 732
Зарубин В.Г. **1**: 520; **2**: 641–643
Заславский Д.И. **1**: 540; **2**: 218, 661, 688, 841, 960, 979
Захаров-Мэнский (Захаров) Н.Н. **2**: 654
Звенигородская (в замужестве Ильинская) А.В. **2**: 345
Звенигородские **2**: 344
Звенигородский А.В. **2**: 344–345, 676, 736
Зелинский Ф.Ф. **2**: 460, 887, 890
Зельманова (в первом браке Чудовская, во втором Белокопытова) А.М. **1**: 629; **2**: 271
Землячка (урожд. Залкинд, в замужестве Самойлова) Р.С. **2**: 960
Зенгер Н.Г. **1**: 576
Зенкевич Е.П. **1**: 646, 765
Зенкевич М.А. **1**: 120–123, 165–166, 199, 457, 504, 614, 634, 710–712, 810; **2**: 63, 74–76, 80–81, 83, 123, 246, 421, 483, 632, 827, 841, 872
Зенон Элейский **2**: 702
Зигберман Е.М. **2**: 53–54, 624
Зильберберг А.Д. **1**: 166, 509; **2**: 350, 676
Зильберштейн И.С. **1**: 574
Зинаида — *З.Н. Гиппиус*
Зинаида Капитоновна — *З.К. Улина*
Зиновьев Г.Е. (Радомысльский О.-Г.А.) **1**: 516, 520; **2**: 121–122, 647, 945, 953, 963
Зноско-Боровский Е.А. **1**: 538–539
Золотонос М.Н. **1**: 579; **2**: 994
Золотухин В.В. **1**: 7
Золя Эмиль **2**: 988, 996
Зоценко М.М. **1**: 93, 165, 371, 410, 472, 557, 621, 703, 761; **2**: 75, 206–207, 219, 306, 317, 341, 367–369, 383, 386, 419, 446, 632, 678, 906–907, 909, 978, 986
Зоя **1**: 495
Зубарев Д.И. **1**: 859, 862; **2**: 680
Зубков **2**: 954, 963
Зубов В.П. **1**: 532
Зыков Л.А. **1**: 738, 748, 782, 862

И.Б.М. — *И.Б. Мандельштам*
И.Г. — *И.Г. Эренбург*
И.М., И.С. — *И.М. Семенко*
Иаков **1**: 346; **2**: 552, 665
Ибсен Генрик **2**: 236
Иванов А.А. **2**: 908
Иванов Вяч. Вс. **1**: 31, 601, 737, 750, 753; **2**: 547, 700
Иванов В.И. **1**: 233, 243, 353, 549, 706–707, 712–713, 715, 723–724, 776–777, 810, 814, 862; **2**: 54–56, 58, 60, 62–63, 68, 103, 105, 132, 134, 312, 408–414, 445, 492, 624–625, 629, 649–650, 687, 690, 698, 754, 791, 825, 904, 908, 955
Иванов Г.В. **1**: 40, 180–181, 183, 307, 329, 506, 513, 517, 550, 678, 758, 859; **2**: 52, 72, 74, 88, 110, 150, 161, 163–164, 239, 257, 271, 467, 622, 635–636, 655, 692–693, 832, 834, 837, 948, 953
Иванов Д.В. **2**: 412
Иванов П.И. **1**: 32
Иванова И.Г. **1**: 858
Иванова Л.А. **1**: 603, 754
Иванова Л.В. **2**: 412
Иванова Л.Н. **1**: 862
Иванова Т.В. **1**: 748
Иванов-Разумник (Иванов) Р.В. **2**: 44, 325, 425
Иваск Ю.П. **1**: 860; **2**: 133, 136, 652–653
Ивинская О.В. **1**: 686
Ивич А. — *И.И. Бернштейн*
Ивич-Богатырева С.И. **1**: 7, 71, 77, 443, 564–565, 574
Ивнев Рюрик (М.А. Ковалев) **1**: 15, 17, 69–70
Ивойлов (псевд. Княжнин) В.Н. **1**: 777
Игорь Святославич, кн. **1**: 552; **2**: 650
Иесперсен (Есперсен) Отто **1**: 426, 572
Изергина А.Н. **2**: 732, 821
Израилевич (Альвэк) И.С. **2**: 645
Икрамов А.И. **1**: 575
Ильин В.Н. **1**: 210–211
Ильин Н.И. **1**: 80–82, 86, 494
Ильинский А.А.⁶ **2**: 345
Ильинский А.А.⁷ **2**: 345
Ильф (Файнзильберг) И.А. **1**: 418, 421; **2**: 17, 146
Илья Григорьевич — *И.Г. Эренбург*
Иоанн IV Грозный **2**: 392
Иоанн Богослов ап. **2**: 656
Иов **2**: 550, 720
Иоганна — *И.Б. Копелянская*
Ионов (Бернштейн) И.И. **2**: 78, 959–960

⁶ Внучатый племянник *А.В. Звенигородского*.

⁷ Отец *А.А. Ильинского*.

Иосиф **2**: 396, 503, 534, 550, 552
Иосиф Виссарионович — *И.В. Сталин*
Ира — *И.Н. Пунина*
Ира — *И.М. Семенко*
Ирина — *И. Шенк(?)*
Ирочка — *И.Н. Пунина*
Исайя **1**: 372, 566
Исаков Я.А. **1**: 553; **2**: 820

Йетс (Йейтс) Уильям Батлер **1**: 722

К. — *Ю.А. Казарновский*

К. — *Л.Б. Каменев*

К.Б. — *Кларенс Браун*

Каблуков И.А. **2**: 211

Каблуков С.П. **1**: 254, 367, 538; **2**: 52, 128, 135, 397, 469, 587, 620–621, 693, 712, 858

Каверин (Зильбер) В.А. **1**: 56, 246, 398, 411, 451–452, 570; **2**: 17, 27

Казарновский Ю.А. **1**: 223, 263, 470–476, 483, 490; **2**: 598–600, 913–914, 982

Казин В.В. **1**: 417–418

Каин **2**: 309, 412

Какабадзе А. **1**: 417–418, 572

Калецкий П.И. **1**: 209, 211, 363–364, 561; **2**: 962

Калинин М.И. **1**: 571; **2**: 223–224

Кальницкий М.Б. **1**: 69

Каменев (Розенфельд) Л.Б. **1**: 235, 529, 547; **2**: 121, 856, 945, 953, 963

Каменева (урожд. Бронштейн) О.Д. **1**: 274, 543; **2**: 141, 413, 602, 687, 716

Каминская А.Г. **1**: 40, 593, 601, 613, 632, 693, 729, 732, 734–739, 743, 748, 781–782; **2**: 124, 370, 441, 924; **2**: 124, 241, 370, 441, 919–920, 924

Каминский Г.Я. **1**: 782; **2**: 923

Камкин В.П. **1**: 861

Камо (С.А. Тер-Петросян) **1**: 220, 525

Канатчиков С.И. **2**: 960

Канделаки Д.В. **1**: 807; **2**: 89

Каннегисер Л.И. **1**: 17, 575; **2**: 44

Кант Иммануил **1**: 330–331; **2**: 567, 630, 702

Кантемир А.Д. **2**: 761

Капица П.Л. **2**: 386, 680

Каплун Б.П. **2**: 636

Капнист В.В. **2**: 761

Капцов С.А. **1**: 101, 183, 192, 498–499; **2**: 513–514, 839–840, 959

Каранович Е.Л. **2**: 147

Кареев Н.И. **2**: 99, 638

Карлайл (Андреева) О.В. **1**: 52, 55, 694, 775

Карташев А.В. **1**: 771; **2**: 127, 135, 652

Карякин В.Н. **1**: 540

Кассирер Эрнст 2: 69, 631
Кастальский А.Д. 2: 953
Катаев В.П. 1: 255, 326, 368–372, 392, 414, 446, 467, 540, 574, 576, 594, 617; 2: 96, 146, 354, 461, 518, 524, 654, 691, 840, 956
Катаева (урожд. Бреннер) Э.Д. 1: 368, 370, 565
Катаева Е.В. 1: 368
Катаньян (Катанян) Р.П. 1: 223
Катенин П.А. 1: 794, 820; 2: 338
Катков М.Н. 1: 548
Катулл (Гай Валерий Катулл) 1: 329, 837
Кауфман К.П. 2: 153, 597, 912–913
Кафка Франц 1: 164, 627, 748, 774; 2: 75, 305, 363, 558, 632, 697
Кацис Л.Ф. 1: 7, 69, 515; 2: 697
Качалов (Шверубович) В.И. 1: 419, 572, 600; 2: 329–330, 674
Керель Франсуа 2: 950
Керенский А.Ф. 1: 233, 562; 2: 99
Керн (урожд. Полторацкая) А.П. 2: 666
Кибальчич В.Л. (Виктор Серж) 2: 618
Кибальчич Н.И. 2: 45, 618
Кибардина В.Т. 1: 496
Кинд Н.В. 1: 696
Киреевский П.В. 1: 330; 2: 758
Киржаков В. 1: 602, 753
Кириенко-Волошина Е.О. 2: 639
Киров (Костриков) С.М. 1: 191, 197, 284, 580; 2: 765, 787
Кирсанов (Кортик) С.И. 1: 234, 238, 574; 2: 178, 254, 317–318, 347, 725, 906
Кисин Б.И. 1: 101, 183, 192, 498–499; 2: 513–514, 839–840, 959
Китс Джон 1: 318, 548–549, 789; 2: 431
Клавдия Ивановна 2: 983–984
Кларенс — *Кларенс Браун*
Клейст Генрих фон 1: 329
Клейст Эвальд Христиан фон 1: 329; 2: 735–736
Клещенко Б.Л. 1: 752
Климова 1: 467, 578; 2: 190–191
Клопфшток (Клопшток) Фридрих Готтлиб 1: 329; 2: 257
Клымнюк Д.Е. 2: 983
Клычков (псевд. Лешенков) С.А. 1: 8, 217, 285, 348–351, 372, 555–556, 566, 640, 713; 2: 12, 219, 729, 735, 961, 988
Клюев Н.А. 1: 469, 502, 580, 630, 640, 713; 2: 219, 461
Ключевский В.О. 1: 330–331; 2: 101
Князев В.Г. 1: 678–679; 2: 439–440, 443, 459
Ковалев 2: 210
Ковалев И.В. 1: 31; 2: 210–211
Коваленков А.А. 2: 979, 993–994
Ковач К.В. 1: 416, 419, 571
Коган П.С. 2: 105, 638

Козаков М.Э. **1:** 492
Козаполянский — *Б.М. Козо-Полянский*
Козинцев Г.М. **2:** 234, 662
Козинцева-Эренбург Л.М. **1:** 13, 19, 45, 120, 240, 409, 448, 504, 667; **2:** 41, 46–47, 89, 108, 288, 327, 442, 616, 620, 640
Козловская (урожд. Герус) Г.Л. **1:** 684, 703; **2:** 467, 693, 912
Козловский А.Ф. **1:** 703; **2:** 912
Козо-Полянский Б.М. **1:** 28, 262, 541; **2:** 258
Колбановский А.Э. **1:** 517
Коломойцева Т.В. **1:** 136–137, 139–140, 172–174, 191, 230, 507
Колосов П.К. **1:** 750
Колычев О.Я. (И.Я. Сиркес) **1:** 383
Кольцов А.В. **1:** 279, 283, 560; **2:** 780, 785
Кольцов М.Е. **1:** 391; **2:** 883, 889
Коля — *Н.С. Гумилев*
Кома, Кома Иванов — *Вяч. Вс. Иванов*
Комаровский В.А. **1:** 326, 549
Комитас (С.Г. Согомонян) **1:** 844; **2:** 792
Конар Ф.М. **1:** 180, 513
Коневец — *Иван Коневской*
Коневской Иван (И.И. Ореус) **1:** 326; **2:** 54, 821
Коновалов В. **1:** 602, 753
Конрад — *Ф.М. Конар*
Конт Огюст **1:** 337
Конфуций **2:** 554
Кончаловский П.П. **1:** 13
Копелев Л.З. **1:** 732, 737, 749–750, 753, 757, 861
Копелянская И.Б. **2:** 515
Копылов Л.Ю. **1:** 751–752
Корабельников Г.М. **1:** 547
Корбюзье — *Ле Корбюзье*
Корди Н.Г. **1:** 439, 443–445, 775; **2:** 915–916
Коркунов В.В. **1:** 566
Корней Иванович — *К.И. Чуковский*
Корнелия **1:** 404, 568
Корнилов Б.П. **1:** 410
Корнилов В.Н. **1:** 750
Коробова Э.Б. **1:** 31
Короленко В.Г. **2:** 182, 659
Короткова А.П. **1:** 97–98, 197, 341
Косиор Е.С. **1:** 416, 419
Косиор С.В. **1:** 391, 416, 419, 567
Костарев Н.К. **1:** 210–211, 290, 298, 302–303, 305, 307, 333, 372–374, 376, 382–383, 522, 545; **2:** 195, 609–610, 612, 852, 962, 975
Костарева Н.Н. **1:** 303, 383; **2:** 609
Костаревы **1:** 24

Костер Шарль де **1**: 540; **2**: 633, 841–842, 959, 995
Костырев — *Н.К. Костарев*
Костючук Л.Я. **1**: 32, 72
Котов А.К. **2**: 166–172
Котрелев Н.В. **1**: 859; **2**: 625
Кочетов В.А. **1**: 218, 396, 525; **2**: 412, 677–678
Кочнев Ю.Л. **1**: 602, 753
Кочубей **2**: 216
Крайнева Н.И. **1**: 858–861
Краснов П.Н. **2**: 51, 620
Краснушкин Е.К. **2**: 142
Крепс Е.М. **1**: 582
Кретьова (урожд. Жучкова) О.К. **1**: 209; **2**: 768, 774
Кржевский Б.А. **1**: 496
Кривошеин Н.И. **2**: 202, 660
Кривошеина Н.А. **1**: 28, 71, 108, 503
Кривцов Н.И. **2**: 634
Критский В.В. **1**: 68
Кручных А.Е. **2**: 70, 120, 646
Крыжановская Л.С.⁸ **2**: 345
Крылов И.А. **2**: 279, 546, 818
Крючков П.П. **2**: 739, 824
Кудашева (урожд. Кювилье) М.П. **1**: 473, 580; **2**: 639–640, 642, 795
Кузин Б.С. **1**: 15, 22–24, 63, 70–71, 89, 143, 148–149, 153, 164, 180, 239, 260, 282–283, 306, 311, 316–317, 362, 508, 573, 779, 859; **2**: 75, 147, 246, 535–536, 539, 541, 726, 730, 735, 738–740, 823–824, 961, 969
Кузин С.С. **2**: 738, 740
Кузина О.Б. **1**: 164
Кузины **2**: 738, 769
Кузмин М.А. **1**: 45, 271, 754; **2**: 56, 143, 225, 265, 458, 621, 624–625, 691, 956, 958
Кузьмин-Караваев Д.В. **2**: 152
Куйбышев В.В. **2**: 768
Кульбин Н.И. **1**: 550
Кунтур Я. **1**: 507
Куняев С.Ю. **2**: 688
Куприн А.И. **1**: 758
Купченко В.П. **1**: 858; **2**: 640
Куранда Е.Л. **1**: 7, 72
Курбатова Л.М. **1**: 32
Куросава Акира **2**: 688
Курс А.Л. **2**:
Курт А.В. **1**: 858
Кустодиев Б.М. **2**: 212–213
Кустодиева (урожд. Прошинская) Ю.Е. **2**: 212

⁸ Жена *А.В. Звенигородского*.

Кушнер А.С. **1:** 600, 752
Кшесинская (Романовская-Красинская) М.Ф. **1:** 615; **2:** 458–459
Кюхельбекер В.К. **1:** 560, 783; **2:** 317, 338–340, 968

Л. **1:** 111

Л. — *М.Л. Левин*

Л. — *В.И. Ленин*

Л. — *Б.К. Лившиц*

Л. — *Б.Л. Лопатинский*

Л. — *К.Е. Хитров*

Л.М., Л.Э. — *Л.М. Козинцева-Эренбург*

Л.Я.Г. — *Л.Я. Гинзбург*

Лавренев (Сергеев) Б.А. **2:** 628

Лавров А.В. **1:** 858

Лавров Л.А. **1:** 492

Лавут П.И. **2:** 321, 711

Ладъжников И.П. **1:** 517

Лазарев Л.А. **1:** 751

Лазарева Л.А. **1:** 751

Лакоба Н.А. **1:** 191, 416–417, 571–572

Лаланов — *Г.П. Лоланов*

Ламарк Жан Батист **1:** 331, 761; **2:** 400, 404, 424, 730, 745

Лангерак Томас **2:** 681, 993

Ландсберг Л.Э. **1:** 361; **2:** 136, 484, 637

Лапин Б.М. **1:** 326–327, 451, 549–550; **2:** 157, 475, 539, 769

Ларин Б.А. **1:** 713, 778

Ларина-Бухарина А.М. **1:** 367, 497

Ларионов В.А. **2:** 618

Лариса — *Л.В. Глазунова*

Лариса — *Л.М. Рейснер*

Ларусс Пьер **1:** 549

Ласкин А.С. **1:** 7, 858

Ласкин С.М. **2:** 550–551, 720–721

Ласкина (урожд. Аншина) Б.П. **2:** 550, 720

Ласкина Е.С. **2:** 550–551, 720–721, 983

Ласкина С.С. **2:** 550, 720–721

Ласкина Ф.С. **2:** 550, 720–721

Ласунский О.Г. **2:** 626

Латини Брунетто **2:** 732

Лахути А.А. **1:** 121–122, 392, 394–395, 574; **2:** 813

Лашкова В.И. **2:** 15

Ле Корбюзье (Шарль Эдуард Жаннере-Гри) **2:** 727

Лебедев В.В. **2:** 143

Лебедев Д. **1:** 72

Лебедева (урожд. Дармолатова) С.Д. **1:** 401, 405, 646–647; **2:** 143, 852

Лебедев-Кумач (Лебедев) В.И. **1:** 439

Лебедев-Полянский (Лебедев) П.И. **2:** 175–176, 977
Лева — *Л.Н. Гумилев*
Левин М.Л. **1:** 120; **2:** 893
Левин Ю.И. **1:** 750; **2:** 134, 651
Левина Р.Е. **1:** 28, 108, 503
Левитин Е.С. **1:** 51–52, 422–424, 427, 572; **2:** 587, 703
Левицкий Л.А. **1:** 41–42, 45, 74
Левковская К.А. **1:** 27; **2:** 166–167, 393, 875
Легран Б.В. **2:** 91–93, 955
Легран (урожд. Лихачева) Л.Г. **2:** 92–93
Лежнев (Альтшулер) И.Г. **1:** 331–333, 552–553; **2:** 348, 956–957, 966–967, 991
Лейбниц Готфрид Вильгельм **2:** 669
Лекманов О.А. **1:** 862
Лелевич Г. (Л.Г. Калмансон) **1:** 251, 535, 540, 636, 710; **2:** 367, 898, 902
Леля — *Э.С. Гурвич*
Лемор Доминик **1:** 667; **2:** 288
Лена — *Е.К. Осмеркина-Гальперина*
Лена — *Е.Л. Эштейн*
Ленау Николаус (Николаус Франц Нимбш Эдлер фон Штреленау) **1:** 329
Ленин (Ульянов) В.И. **1:** 188, 325, 516–517, 549, 552, 567; **2:** 93, 111–112, 119, 155, 171, 211, 223–224, 238, 637, 647, 656, 687, 702, 881, 940, 945, 957
Ленка — *Е.М. Фрадкина*
Лентулов А.В. **1:** 13
Леонардо да Винчи **1:** 548; **2:** 785, 828
Леонов Д.Н. **1:** 172, 306, 511; **2:** 726
Леонов Л.М. **1:** 133, 333
Леонов Н.Д. **1:** 26, 172, 306; **2:** 725–726
Леонтьев К.Н. **2:** 291–292, 427, 492, 501
Леонтьев Н.П. **1:** 69
Лермонтов М.Л. **1:** 309, 333, 553, 636; **2:** 401, 430, 486, 803, 987
Лесков Н.С. **2:** 285, 599, 670, 704, 889, 891, 893
Лесман М.С. **1:** 562
Лившиц (Скачкова-Гуриновская) Е.К. **1:** 49–50, 60, 70, 585–586; **2:** 225, 664
Лившиц Б.К. **1:** 15, 19, 49, 70, 302, 326–328, 550, 585–586, 715; **2:** 102, 104, 144, 225, 259, 756, 885, 956, 958–959
Лившиц К.Б. **1:** 585, 745
Лида — *Л.К. Чуковская*
Лидин (Гомберг) В.Г. **2:** 653, 859
Лидия Яковлевна — *Л.Я. Гинзбург*
Лилит **2:** 981
Лиля — *Л.Ю. Брик*
Лиля — *Е.Е. Попова*
Лина, Лина Самойловна — *П.С. Рудакова*
Линде Ф.Ф. **1:** 232–233, 527; **2:** 51, 620
Линней Карл **1:** 331
Липкин С.И. **1:** 47, 493, 602, 753; **2:** 695

Липскеров К.А. **2:** 142, 956
Литвин М.И. **1:** 501
Литвинов В.Б. **1:** 7, 72; **2:** 950
Лифшиц — *Б.К. Лившиц*
Лия **2:** 249–251, 751, 981
Лозина-Лозинский А.К. **1:** 326, 549
Лозинская (урожд. Шапиро) Т.Б. **1:** 399
Лозинский М.Л. **1:** 153, 307, 397–400, 408–411, 517, 610; **2:** 56, 63, 468, 688, 958, 974
Лоланов Г.П. **2:** 513
Ломинадзе В.В. **1:** 226, 258–259, 526, 541; **2:** 705–706, 961
Ломоносов М.В. **1:** 327, 550
Лондон Джек (Джон Гриффит Чейни) **1:** 736
Лопатин Л.М. **2:** 658
Лопатинский Б.Л. **1:** 709; **2:** 56–57, 142, 953, 955, 963
Лопе де Вега **1:** 18; **2:** 321, 617
Лопухина Евдокия — *Евдокия Федоровна (урожд. П.И. Лопухина)*
Лот **2:** 250, 665, 689
Лубянникова Е.И. **1:** 859
Луговская Т.А. **1:** 682; **2:** 905
Луговской В.А. **1:** 324, 598; **2:** 912, 935
Лукиан Самосатский **1:** 789
Лукницкая В.К. **1:** 860; **2:** 622–623, 648
Лукницкие **1:** 860
Лукницкий П.Н. **1:** 562, 707, 714, 776, 860; **2:** 72
Луначарский А.В. **1:** 514, 517; **2:** 142, 399, 408, 653
Луппол И.К. **1:** 209, 350, 372, 555, 565; **2:** 978–979
Лурье А.С. **1:** 617, 758; **2:** 74, 133, 149, 654–655, 916, 930
Лурье Я.С. **2:** 863
Лысенко Т.Д. **1:** 406; **2:** 50, 187, 668
Львов А.Ф. **2:** 226
Львова Ю.Ф.⁹ **1:** 648, 765; **2:** 226–227, 234, 258, 664, 765–766
Львов-Рогачевский (Рогачевский) В.Л. **2:** 645
Лю Ши Кунь **2:** 519, 698
Люба — *Л.М. Козинцева-Эренбург*
Люба — *Л.А. Назаревская*
Любарская — *К.А. Левковская*
Любищев А.А. **1:** 28, 37, 71, 406; **2:** 391–394
Любищева Л.А. **1:** 28
Любищева (урожд. Орлицкая) О.П. **1:** 28, 71; **2:** 392
Любовь Дмитриевна — *Л.Д. Блок*
Любовь Михайловна — *Л.М. Козинцева-Эренбург*
Любовь, св. мц. **2:** 7
Любочка — *Л.Д. Стенич*

⁹ Мать *О.А. Ваксель*.

Любченко А.П. **1:** 567
Людвиг Эмиль **1:** 503
Лютер Мартин **1:** 540, 768–769; **2:** 731
Лютик — *Ваксель О.А.*
Лютценбургер Ганс **1:** 553
Ляшко (Лященко) Н.Н. **1:** 246

М. — *А.Р. Минцлова*
М. — *А.И. Моргулис*
М.П. — *М.С. Петровых*
М.Ц. — *М.И. Цветаева*
М.Я. — *М.В. Ярцева*
Майков А.А. **1:** 329; **2:** 104
Маймин Е.А. **1:** 31–32; **2:** 984
Маймины — *Е.А. Маймин* и *Т.С. Фисенко*
Майя — *М.П. Кудашева*
Макаренко А.С. **2:** 556
Маккавейский В.Н. **1:** 10, 18, 233; **2:** 42, 105, 135, 508, 652, 885
Маккавейский Н.К. **1:** 10, 18; **2:** 135, 508, 885
Маккавейский Н.Н. **1:** 10; **2:** 42
Мак-Лиан Роберт **1:** 53
Маковский С.К. **1:** 254–255, 538–539; **2:** 52–53
Макогоненко Г.П. **1:** 742; **2:** 369
Макридин Н.В. **2:** 217, 661, 955
Максимов Д.Е. **1:** 48, 75–76, 862
Макфадьен Дэвид **1:** 858
Малахов С.А. **1:** 759
Маленков Г.М. **1:** 621; **2:** 336
Малкин Б.Ф. **2:** 323, 954, 963
Малкина И.Р. **2:** 460, 691
Малларме Стефан **1:** 329, 551; **2:** 104
Мандельштам А.А. **1:** 847; **2:** 712, 852
Мандельштам А.Э. **1:** 12, 15, 19, 23–24, 111, 115–116, 160, 204, 310, 359–360, 384, 405, 466, 469, 506, 508, 578; **2:** 45, 111–112, 121, 421, 468, 507–511, 537–538, 540, 602, 615, 617, 639–640, 643, 712, 715, 725, 727, 843, 851–852, 954, 959–960, 963, 969, 974–976, 985, 987
Мандельштам А.Э. **2:** 513–514, 697
Мандельштам Б.Г. **2:** 511–512, 697
Мандельштам В.З. **2:** 513–514
Мандельштам Г.В. **2:** 511, 515, 697
Мандельштам Е.Э. **1:** 12, 25, 85–86, 176, 191, 194–195, 204, 346, 360, 400–405, 580, 646–647, 750, 764–765; **2:** 128–129, 143, 218, 224, 228, 231, 234–235, 242, 507–510, 513, 711, 843, 852–853, 975–976, 987
Мандельштам И.Б. **1:** 101; **2:** 138, 513, 959
Мандельштам Л.И. **2:** 513–514, 697
Мандельштам М.Л. **1:** 234, 334; **2:** 105–106, 638

Мандельштам М.Э. **2:** 512–515, 697
Мандельштам (урожд. Дармолатова) Н.Д. **1:** 401, 646, 764; **2:** 143, 224, 654
Мандельштам Н.Е. **1:** 373, 401–405, 646–647, 764, 841, 847; **2:** 143, 513–514, 852–853, 863, 977, 987, 995
Мандельштам Т.В. **1:** 549
Мандельштам (урожд. Вербловская) Ф.О. **1:** 141, 254–255, 337, 359–360, 538–539, 553, 705; **2:** 42, 52–53, 55, 83, 134, 228, 242, 360, 435, 468, 509–510, 525, 698, 708, 820, 833, 835, 843, 867, 974, 985
Мандельштам Э.В. **1:** 12, 103, 123, 254, 309–310, 312–313, 333, 360, 400–401, 404–405, 501, 520, 539; **2:** 52, 102, 123, 128–129, 211, 224, 228, 242, 332, 421, 507–515, 655, 674, 677, 843, 852–853, 892, 957, 975–976, 985, 994
Мандельштам Ю.Е. **1:** 405, 764
Мандельштамы **2:** 514–515
Мануильский Д.З. **2:** 637
Манухина (урожд. Лукина, во втором замужестве Шенгели) Н.Л. **1:** 732, 781
Мао Дзэ Дун **2:** 661
Мар Сусанна (С.Г. Чалхушьян) **2:** 164, 166, 170–172, 442, 657
Марагам Н.И. **2:** 676
Маранц Ф.Я. **1:** 147–149, 206, 261, 303
Маргерит Виктор **1:** 523
Маргулис — *А.И. Моргулис*
Марджанов Константин (К.А. (Котэ) Марджанишвили) **1:** 18; **2:** 39, 43, 833
Мариенгоф А.Б. **1:** 546
Марина — *М.И. Цветаева*
Маринетти Филиппо Томмазо **1:** 562; **2:** 337
Мариэтта — *М.С. Шагинян*
Мария Николаевна, вел. кнж., мц. **1:** 14; **2:** 894–895
Маркиш С.П. **1:** 31, 237, 392, 574
Маркс Карл **1:** 136, 325, 331, 379
Марр Н.Я. **2:** 50, 187, 874–876
Марта — *М.М. Бикель*
Маруся — *М.С. Петровых*
Марфа Ивановна **2:** 595, 600–601, 934
Марченко А.Т. **2:** 412
Марченко И.А. **1:** 219; **2:** 826
Маршак С.Я. **1:** 73, 217, 411, 524, 531, 632, 668; **2:** 17, 144, 175, 320, 326, 417–419, 479, 687
Марья Ивановна — *М.И. Штемпель*
Масс В.З. **1:** 572
Матисс Анри **1:** 828
Матфей **2:** 591
Маша — *М.А. Алигер-Энценсбергер*
Маширов А.И. **1:** 517
Маяковский В.В. **1:** 47, 65, 102, 186, 199, 237, 267, 315, 327, 417, 420, 500, 514–515, 550, 565, 595, 605, 630, 691, 713, 719, 750, 752, 762, 769, 814; **2:** 15, 40, 43–44, 64–

66, 113, 120, 156, 178, 278, 329, 405, 407, 431, 460–461, 645–646, 682, 691–692, 743, 813, 830, 861, 949, 956, 960
Медведев Ж.А. **2**: 386, 680
Медведский А., о. **1**: 750
Мей Л.А. **1**: 328, 550; **2**: 104
Мейерхольд В.Э. **1**: 246, 380, 418, 466, 499, 750; **2**: 142, 156, 175, 330, 407, 506, 604, 700, 721, 944
Мекк (урожд. Давыдова) А.Л. фон **2**: 605
Мекк Г.Н. **1**: 385; **2**: 604–606, 704
Мекк К.Н. **2**: 605
Мекк Н.К. фон **2**: 605
Мелетинский Е.М. **2**: 136
Меншиков А.Д. **2**: 390
Мень А.В. **1**: 35, 73; **2**: 11
Мережковские **2**: 52, 525, 621
Мережковский Д.С. **1**: 682; **2**: 621
Мёрике Эдуард **1**: 316, 329
Меркулов В.Л. **1**: 476
Местертон Эрик **1**: 758; **2**: 938
Местр Жозеф де **1**: 768
Метнер Н.К. **2**: 408
Мец А.Г. **1**: 552, 859–860, 862; **2**: 823
Мещанинов И.И. **2**: 187, 874–875
Мигай С.И. **1**: 221
Микеланджело Буонарроти **2**: 686, 759
Миклашевская (урожд. Эйзенгардт) Л.П. **2**: 144
Миклашевский К.М. **2**: 144
Миклухо-Маклай С.М. **2**: 364, 935
Микоян А.И. **1**: 467, 781
Микушевич В.Б. **2**: 487, 695
Милашевский В.А. **1**: 444, 574
Миллиор Е.А. **1**: 537
Мильль Джон Стюарт **1**: 337; **2**: 702
Мильтон Джон **2**: 418
Милуков П.Н. **2**: 660
Миля **1**: 138
Миндлин Э.Л. **1**: 861; **2**: 64, 108–109, 485, 626, 639–640, 642, 729, 820, 956
Минин Кузьма **2**: 656
Минцлова А.Р. **1**: 558–559
Минчин А. **2**: 616
Мирбах Вильгельм фон **1**: 180–181, 183, 185, 513–514
Миронова А.В. **1**: 7
Миронова О.А.¹⁰ **2**: 740, 824
Митрофан **1**: 207

¹⁰ Мать *Н.Н. Грин*.

Митрофаній, св. **1**: 207
Митурич П.В. **2**: 113, 645
Михаил **2**: 359
Михайлова К.И.¹¹ **2**: 209–210
Михалков С.В. **1**: 602, 749, 752
Михальский В.В. **1**: 77
Михоэлс (Михоэлс; наст. фамилия Вовси) С.М. **1**: 201, 228, 392; **2**: 330–331, 335
Мицишвили Н.И. **1**: 808; **2**: 643–644
Мицкевич Адам Бернард **1**: 785–787, 793, 802–803
Мишенька — *М.А. Зенкевич*
Моисей **2**: 260, 666, 795
Молотов (Скрябин) В.М. **1**: 195, 239, 259, 409, 575, 662; **2**: 529, 579, 656
Молчанов Б.Е. **2**: 972
Молчанов Г.А. **1**: 510–511
Мольер (Жан-Батист Поклен) **2**: 631
Мони Элизабет де **1**: 59, 77
Мони Эрик де **1**: 59
Мономахов Д. **2**: 618
Мопассан Ги де **1**: 216
Моравиа Альберто **2**: 220, 662
Моргулис А.И. **1**: 148, 165, 311, 372, 476, 507, 509, 565, 581, 612, 634, 704; **2**: 132, 147–148, 246, 318, 539, 654, 672, 725, 892, 975
Морозов А.А. **1**: 51–52, 57, 60, 76, 239, 330, 495, 497, 514, 517, 524, 530, 533, 538, 546, 551, 554, 559, 575–576, 578, 861; **2**: 8, 616–618, 634, 670, 672–673, 687–689, 701, 751–752, 754, 806, 810, 825, 829–830, 860, 862, 864–869, 872
Морозова Ф.П. **1**: 492, 742; **2**: 369
Мотылева Т.Л. **1**: 580
Моцарт Вольфганг Амадей **1**: 53, 66, 783, 785–787, 793–794, 800–801, 806, 811–814, 816–816, 818–823, 826–828, 830, 834; **2**: 27, 730, 744, 809, 850, 970
Мочульский К.В. **2**: 954
Мравьян А.А. **1**: 341, 554–555; **2**: 960
Мстиславский (Масловский) С.Д. **2**: 40–41, 617
Муравьев В.С. **1**: 51–52, 601, 748
Мурадели В.И. **1**: 755; **2**: 924
Мурашко А.А. **1**: 13, 15, 70
Мурина Е.Б. **1**: 7, 54, 73–74
Мусоргский М.П. **1**: 429
Мызникова С.С. **2**: 56, 408, 625, 953, 963

Н. — *Н.Е. Штемпель*

Н.А. — *Н.А. Бердяев*

Н.А. — *Н.А. Ольшевская*

Н.И. — *Н.И. Бухарин*

Н.И. — *Н.И. Харджиев*

¹¹ Жена А.Я. Вышинского.

Н.И.Б. — *Н.И. Бухарин*
Н.И.Х. — *Н.И. Харджиев*
Н.Н. — *Н.И. Столярова*
Н.Х. — *Н.И. Харджиев*
Набоков В.В. **1:** 627, 762; **2:** 201, 660
Набоков В.Д. **2:** 201, 660
Надежда **2:** 468
Надежда, св. мц. **2:** 7
Назаревская Л.А. **1:** 57, 361, 559, 848, 855; **2:** 844–845, 854, 968–969, 986, 994
Найдич Л.Э. **2:** 680
Найман А.Г. **1:** 31–32, 40, 72, 74, 600, 733, 748–750, 752–754, 781, 861; **2:** 457, 689, 924
Накоряков Н.Н. **1:** 547–548
Наполеон I Бонапарт **1:** 88, 357; **2:** 280, 796–797, 800–801
Наппельбаум (урожд. Корнилова) Л.К. **1:** 546
Наппельбаум М.С. **2:** 223, 970
Нарбут В.И. **1:** 43–44, 80, 157, 173, 217, 372, 384, 475, 502, 508, 565, 580–581, 634, 646, 710–712, 778, 810; **2:** 58, 63–64, 74–80, 142, 223, 246, 252, 278, 319, 421, 485, 632–633, 672, 749, 808, 839–841, 956–959
Нарбут Сима, Серафима — *С.Г. Суок*
Нарбуты **1:** 603; **2:** 80
Нат. Георг. — *Н.Г. Корди*
Наталья (Панова?) **1:** 211, 523; **2:** 475
Наталья Евгеньевна — *Н.Е. Штемпель*
Наталья Ивановна — *Н.И. Столярова*
Наташа — *Н.Г. Григорьева*
Наташа — *Н.В. Кинд*
Наташа — *Н.И. Столярова*
Наташа — *Н. Шенк(?)*
Наташа — *Н.Е. Штемпель*
Наумов А.В. **1:** 7
Наумов О.В. **1:** 858
Неведомская В.А. **1:** 617, 759
Недобожин-Жаров **1:** 433–434, 573
Недоброво (урожд. Ольхина) Л.А. **1:** 695; **2:** 326
Недоброво Н.В. **1:** 633, 695, 697, 764; **2:** 264, 326, 458
Нейгауз Г.Г. **2:** 717
Некрасов Н.А. **1:** 783, 814; **2:** 431, 734, 822
Нельдихен (Ауслендер) С.Е. **2:** 73
Немеровская Любочка — *Л.А. Назаревская*
Немировский А.И. **1:** 49, 69; **2:** 825
Нерваль Жерар де **2:** 133, 650
Нерлер (Полян) П.М. **1:** 7, 60, 73, 509, 522, 537, 554, 745, 858, 860–863; **2:** 653, 680
Неруда Пабло (Рикардо Элизер Нефтали Рейес Басоальто) **2:** 482
Нестеров М.В. **1:** 381
Нестор Летописец, прп. **1:** 552

Нецветаева **1**: 31
Нечипорук Д.М. **1**: 7
Нешумова Т.Ф. **1**: 7, 71, 503
Ника — *Н.Н. Глен*
Никита — *Н.В. Шкловский-Корди*
Никита — *Н.С. Хрущев*
Никитаев А.Т. **1**: 860
Никитин И.С. **1**: 560
Никитин Н.Н. **1**: 492
Никитина Е.Ф. **2**: 464
Николаев Е.Н. **1**: 530–531
Николаевский В.А. **1**: 101, 183, 192, 498–499; **2**: 513–514, 839–840, 959
Николай — *Н.А. Бруни*
Николай II, имп., мч. **1**: 576; **2**: 617, 894–895
Николай Иванович — *Н.И. Бухарин*
Николай Иванович — *Н.И. Харджиев*
Николай Мирликийский, свт. **1**: 599; **2**: 124
Николай Николаевич — *Н.Н. Пунин*
Николай Степанович — *Н.С. Гумилев*
Николаша — *Н.И. Харджиев*
Никулин Е.С. **1**: 578
Никулин Л.В. **1**: 368–369, 565; **2**: 43, 57, 983–984
Никулина А.Л. **1**: 369; **2**: 984
Никулина О.Л. **1**: 369; **2**: 984
Нилендер В.О. **1**: 312
Нимец (Немитц) А.В. **2**: 122–123, 648
Нина — *Н.И. Пушкирская*
Ницше Фридрих **1**: 355, 771; **2**: 68, 132, 291, 411, 413, 492, 687
Новиков В.В. **1**: 525
Новиков Н.И. **2**: 821
Новинский А.А. **2**: 639–640
Ной **2**: 549
Ноля **1**: 138
Нора (Элеонора) — *Э.Л. Эпштейн*
Ньютон Исаак **1**: 792
Нюра — *А.М. Бамдас*
Нюра **1**: 206

О.И. **1**: 569
О’Фаолейн Шон **1**: 523
Овидий (Публий Овидий Назон) **1**: 312, 329, 505, 717, 837
Огарев Н.П. **2**: 729, 820
Оглоблин Н.Я. **2**: 460
Огрызко В.В. **1**: 503; **2**: 680
Одоевский В.Ф. **2**: 650

Одоевцева И.В. (И.Г. Гейнике) **1**: 706, 861; **2**: 53, 73, 161, 622–623, 636, 832, 837–838
Озеров В.А. **1**: 26
Озеров (Гольдберг) Л.А. **1**: 48, 748
Ойстрах Д.Ф. **2**: 132, 649
Оксман Ю.Г. **1**: 746; **2**: 385, 587, 680
Окуджава Б.Ш. **1**: 75
Ол. В. — *О.А. Ваксель*
Олейников Н.М. **2**: 318, 417, 672
Оленька — *О.А. Глебова-Судейкина*
Олеша Ю.К. **1**: 544, 767; **2**: 146, 175, 383, 524, 700, 973
Ольга — *О.А. Ваксель*
Ольга Николаевна, вел. кнж., мц. **1**: 14; **2**: 894–895
Ольденбург С.Ф. **1**: 849
Ольшевская Н.А. **1**: 732, 735; **2**: 124, 370, 980
Омельянович-Павленко Н.С. **1**: 95, 496
Оношкович-Яцына А.И. **2**: 634
Орбели И.А. **2**: 732
Орлов В.Н. **1**: 73, 282, 411, 468, 570, 746, 781; **2**: 17, 857–858, 863, 980, 983
Орлова Р.Д. **1**: 748–749, 753, 757, 861; **2**: 623, 858
Орловский Д. **2**: 605, 704
Осипов Н. (Н.И. Поляков) **1**: 148, 654
Осмеркин А.А. **1**: 574
Осмеркина-Гальперина Е.К. **1**: 557; **2**: 681
Остроухов И.С. **2**: 462, 692
Оська **1**: 117, 127–131, 133–134, 142, 144; **2**: 763
Отроковский В.М. **1**: 713, 778; **2**: 460
Оцуп Н.А. **1**: 188; **2**: 73, 111, 123, 455
Ошанин Л.И. **1**: 228

П. — *Б.Л. Пастернак*
П.В. — *П.Н. Васильев*
Павел **1**: 475
Павел, ап. **2**: 628
Павленко Н.И. **1**: 576
Павленко П.А. **1**: 161–162, 323, 441, 509, 577, 579; **2**: 425, 688
Павлов В.А. **2**: 122–123, 647–648
Павлова **1**: 29
Павлович Н.А. **2**: 53, 623, 635
Павловский С.Г. **1**: 555
Паволоцкая — *Е.В. Паволоцкая*
Пайлес И. **2**: 617
Палей В.П. **2**: 212, 660
Палей О.В. **2**: 212, 660
Палестрина Джованни Пьерлуиджи да **2**: 198, 947
Палиевский П.В. **2**: 427, 688

Паллас Петер Симон (Петр-Симон) **1:** 331
Панов **1:** 209–212, 220, 262, 306, 364, 522–523; **2:** 475, 759, 765, 962
Панченко Н.В. **1:** 59–60, 861
Папанин И.Д. **1:** 565; **2:** 175
Паперный З.С. **1:** 525, 579
Парнах (Парнох) В.Я. **1:** 545
Парнис А.Е. **2:** 645
Парнок (Парнох) С.Я. **2:** 142, 956
Пастернак Б.Л. **1:** 41, 45, 47, 69, 101–102, 120, 160, 186, 205, 210, 223–233, 235–236, 239–240, 242, 269–271, 277, 284, 293, 302, 314–315, 338, 353–354, 379, 391, 500, 510, 515, 518, 525, 527, 529, 540, 574, 598–599, 603, 614, 628, 630–631, 659, 686, 708, 713–714, 717–718, 722, 725, 747, 755, 762, 777–780, 789, 804, 812, 814, 821, 831, 845, 861; **2:** 12, 14, 20, 51, 65, 77, 103, 162, 173, 178–179, 182, 193, 204, 219, 221, 223, 233, 247–248, 250, 262, 331, 335, 342–344, 353, 355–357, 361, 371, 373, 381, 383, 400, 422–423, 461–462, 477, 552, 587–588, 590, 616, 620, 632, 659, 672, 674, 677, 680, 688, 692, 701, 703, 715, 729, 735, 737, 743, 745, 820, 855, 949, 957, 961–962, 982, 988–989
Пастернак Е.Б. **1:** 36, 861; **2:** 701, 982, 994
Пастернак (урожд. Лурье) Е.В. **1:** 603, 686; **2:** 233, 422
Пастернак (урожд. Вальтер) Е.В. **1:** 36, 861; **2:** 10, 701
Пастернаки **1:** 36
Пастернак-Нейгауз (урожд. Еремеева) З.Н. **1:** 120, 391, 515, 659; **2:** 989
Пастухов Б.И. **2:** 963
Паустовский К.Г. **1:** 411, 440; **2:** 657, 859
Пелагея Герасимовна **1:** 212–213, 215, 284, 288, 523; **2:** 429, 627, 743, 774, 790, 962
Перевощиков Д.М. **1:** 533
Пережогина Е.А. **1:** 859
Перепелкин А.А. **2:** 359
Перепелкина (урожд. Бобрик) В.М. **1:** 439, 443
Переплетник **1:** 254, 538
Переплетник Г.М. **1:** 538
Перикл **2:** 989
Пермяков Е.В. **1:** 60
Песков Б.Г. **1:** 523
Петлюра С.В. **1:** 181; **2:** 886
Петр I **2:** 474, 521, 648, 688
Петр II **1:** 330, 552
Петрарка Франческо **1:** 84, 329, 477; **2:** 256, 263, 333, 627, 666, 674, 741, 743, 749–750, 832, 837, 844, 851
Петров Евгений (Е.П. Катаев) **1:** 370, 392, 418, 421, 574, 594; **2:** 17, 146
Петровский Д.В. **2:** 646
Петровых М.С. **1:** 21, 73, 157, 169, 508, 631–632, 652–653, 714, 732, 748, 766, 773, 779; **2:** 232–233, 441
Пешков М.А. **2:** 994
Пешкова (урожд. Введенская) Н.А. **2:** 594, 986, 994
Пешкова (урожд. Волжина) Е.П. **1:** 98–100, 497–498

Пильняк (Воган) Б.А. **1:** 191, 502; **2:** 98, 956
Пинский Л.Е. **2:** 616
Пирожкова А.Н. **1:** 466; **2:** 12
Писарев Д.И. **1:** 219
Плат Сильвия **1:** 701, 776
Платон **2:** 134, 567, 650–651
Платонов Андрей (А.П. Климентов) **1:** 80, 682; **2:** 268, 419, 546, 636, 667
Платонов С.Ф. **1:** 576
Плиний Младший **2:** 729
Поберезкина П.Е. **1:** 7
Поболь Н.Л. **1:** 7, 862
Поволоцкая Е.В. **1:** 45, 124, 441, 504; **2:** 323
Погодин М.П. **1:** 830
Подвойская (урожд. Дидрикиль) Н.А. **1:** 416, 571
Подвойский Н.И. **1:** 415–416, 570–571; **2:** 648
Позднякова Т.С. **1:** 751–752
Познанский В.Д. **1:** 77; **2:** 10
Покровский В.А. **2:** 790
Полежаев А.И. **1:** 328
Полетика (урожд. де Обертей) И.Г. **1:** 319
Поливанов Е.Д. **1:** 306
Поливанов К.М. **1:** 858
Поливанов М.К. **1:** 38, 60, 73
Полонский Я.П. **1:** 80, 328; **2:** 431, 733
Поля — *П.Ф. Степина*
Поляк Г.Д. **1:** 77, 842, 846
Поляков В.Б. **1:** 751
Поляков Ю.Ф. **1:** 401; **2:** 852, 863
Полян П.М. **1:** 511–512
Попков **1:** 128, 134, 137–138, 143, 171–172, 505
Попов А.А. **1:** 7
Попов А.Г. **2:** 889
Попов В.В. **1:** 863
Попова Е.Е. **1:** 108, 288, 308–309, 384, 392; **2:** 317–318, 812–813, 832, 873, 986, 995
Попова (урожд. Харджиева) Е.И. **2:** 870
Попова Л. — *Е.Е. Попова*
Поступальский И.С. **1:** 103, 501–502
Потебня А.А. **2:** 393, 734, 822, 875
Презент М.Я. **1:** 499–500
Пржиборовская Г.А. **1:** 517
Пришвин М.М. **1:** 274, 543
Прокофьев А.А. **1:** 467–468, 492, 579; **2:** 983, 994
Пронин Б.К. **2:** 141, 325, 464, 653
Прут И.Л. **1:** 576
Птушкина Т.С. **1:** 7, 35; **2:** 618
Пук **1:** 433–434, 573

Пунин Н.Н. **1:** 79, 308, 407, 601, 603–609, 614, 617, 621, 639, 644, 654–655, 657, 700, 728–730, 733–734, 737–738, 743, 746, 754–755, 758, 782, 862; **2:** 124, 238, 240–241, 246, 265, 366, 370, 407–408, 421, 435, 447, 450, 452, 678–679, 732, 897, 899, 901, 904–905, 908, 916–921, 923–924, 928, 958, 969

Пунина (урожд. Аренс) А.Е. **1:** 604, 728–729, 733–734, 743, 746; **2:** 241, 452, 918

Пунина И.Н. **1:** 591, 593, 601, 604, 693, 728–739, 742–743, 755, 761, 765, 782; **2:** 124, 241, 320, 370, 378, 435, 441, 450, 454, 585, 919–920, 923–924, 930

Пунины **1:** 406, 410, 588, 604, 614, 621, 736; **2:** 242, 377–378, 899, 903, 908, 921, 935

Пусловский Францишек Ксаверий **1:** 183–184, 186–187, 191, 514; **2:** 953

Пушкарская (псевд. Татаринава) Н.И. **1:** 25, 366, 505, 611–612, 645, 757; **2:** 826, 855, 933

Пушкарская О. **1:** 611

Пушкин А.С. **1:** 128, 141, 178, 281, 319, 328, 333, 355, 411, 451, 502, 505, 513, 522, 532, 537, 553, 556–557, 613, 636, 668, 685, 693–694, 715, 748, 751–752, 768, 772, 779, 783–787, 789–790, 793–796, 799, 801–805, 810–814, 816–817, 820–821, 823, 830–831, 833, 835–836; **2:** 22, 27, 61, 83, 120, 128, 131, 133, 165, 167, 189, 204, 219, 252, 260–261, 282, 317, 329, 338–339, 341–342, 344, 405–406, 409, 418, 428–430, 440, 445, 484, 537, 588, 634, 638, 646, 649–650, 657, 659, 666, 669, 689, 698–699, 734, 739, 743, 762, 766, 817, 820, 822, 827, 843, 847, 870

Пяст (Пестовский) В.А. **1:** 84, 88, 94–95, 427, 495–497, 550

Р. — В.С. Рожницын

Р. — С.Б. Рудаков

Р. — Б.А. Ручьев

Рабинович И.М. **1:** 18; **2:** 39, 616, 833

Рабле Франсуа **1:** 95, 496

Равич Н.А. **1:** 491

Радек (Собельсон) К.Б. **1:** 518; **2:** 146, 700

Радлов С.Э. **2:** 143–144

Радлова (урожд. Дармолатова) А.Д. **2:** 143–144, 239, 458, 460, 691, 958

Радунская **1:** 530

Разумова Е.П. **1:** 381–383

Разумовский **1:** 505

Райкин А.И. **2:** 331

Райс Э.М. **1:** 860

Раковская А.Г. **1:** 274; **2:** 97–98, 207, 637, 956, 966

Раковский Х.Г. **1:** 274; **2:** 97, 207, 956, 966

Рамо Жан-Филипп **2:** 809

Раневская (Фельдман) Ф.Г. **1:** 615, 703; **2:** 331, 593, 912, 936

Рапп (урожд. Трушева) Е.Ю. **1:** 358, 558–559

Раппопорт **1:** 545

Раск Расмус Кристиан **2:** 389–390

Раскольников (Ильин) Ф.Ф. **1:** 184, 189–190, 514–515, 518; **2:** 56–57, 625, 953, 955

Рассадин А.П. **1:** 7, 71

Рассанов А.Ю. **1:** 565

Ратнер Г.Е. **1:** 101, 183, 192, 498–499; **2:** 513–514, 839–840, 959

Рафалович С.Л. **1**: 723
Рафаэль Санти **2**: 785, 828
Рахиль **2**: 665, 751, 981
Редько К.Н. **2**: 237, 616
Резникова Н.В. **1**: 55
Рейзентул А. **1**: 599, 751
Рейн Е.Б. **1**: 600, 733, 752, 781
Реинбах О.Е. **1**: 781
Рейснер (урожд. Пахомова) Е.А. **1**: 188, 190, 518; **2**: 57
Рейснер Л.М. **1**: 125, 184, 187–190, 505, 515, 517–518, 678; **2**: 57, 953, 955
Рейснер М.А. **1**: 187–188, 190, 516
Рембо Артюр (Жан Николая Артюр Рембо) **1**: 329
Рембрандт Харменс ван Рейн **1**: 290; **2**: 409, 551, 554, 721–722, 791, 810, 829
Ризнич Амалия **2**: 666
Римский-Корсаков Н.А. **1**: 568, 612–613; **2**: 473, 740
Рогинский Я.Я. **2**: 258–259, 764–765, 965, 990
Рогожина Е.И.¹² **1**: 369
Роден Огюст (Франсуа Огюст Рене Роден) **1**: 333
Рож. — *В.С. Рожицын*
Рожанская (урожд. Кинд) Н.В. **1**: 696
Рожанский И.Д. **1**: 696, 753
Рожанский Ф.И. **1**: 7
Рождественский Вс. А. **1**: 248–249, 532–533; **2**: 64, 73, 485, 672, 959
Рождественский Р.И. **2**: 862
Рожицын В.С. **1**: 630; **2**: 327–329, 637
Роза **2**: 46, 48
Розанов В.В. **1**: 607, 618, 630, 639, 682, 754, 760, 762; **2**: 62, 84–85, 133, 277, 649–650, 905, 909
Розен Е.Ф. **2**: 625
Розенталь С.Д. **1**: 530; **2**: 425–427, 687
Роллан Ромен **1**: 457, 473, 482, 576, 580
Романовы **2**: 41, 344, 660
Ромен Жюль (Луи Анри Фаригуль) **2**: 956, 958
Роскина Н.А. **1**: 758, 772
Ростан Эдмон **2**: 361
Ростовцева Т.А.¹³ **2**: 217–218, 661
Ротар А.В. **1**: 443, 574
Рошаль Г.Л. **1**: 186
Рубанович С.Я. **1**: 723
Рубашкин А.И. **1**: 493
Рубинштейн Д.Л. **2**: 977
Рубинштейн Р.А. **1**: 738, 782
Рублев Андрей **1**: 342; **2**: 61, 492, 496

¹² Жена Л.В. Никулина.

¹³ Жена А.И. Свирского.

Рудаков Б.А. **1:** 149, 362, 559–560; **2:** 534, 850, 971
Рудаков И.Б. **1:** 560, 850, 971; **2:** 534, 850, 971
Рудаков С.Б. **1:** 23, 57, 85, 148, 149, 209, 211, 220, 362–366, 382–383, 495, 522–523, 526, 534, 546, 559–564, 635, 739–742, 862; **2:** 247, 258–259, 402–403, 480, 483, 534, 537, 621, 694, 723, 745, 753–754, 756–757, 759, 761, 763–766, 770, 774, 792, 808, 810, 812, 832, 844–845, 847–851, 855, 868, 962, 965, 970–971, 985–987, 993
Рудакова (Финкельштейн) П.С. **1:** 85, 220, 363–365, 402, 480, 522–523, 534, 560–564, 740, 742, 848, 862; **2:** 148, 402, 480, 537, 621, 754, 757, 811, 847–849, 851, 867, 970, 972, 985, 987
Рудаковы **1:** 362, 560; **2:** 534, 850, 971
Рудерман М.И. **2:** 119
Рузвельт Анна Элеонора **2:** 593
Румнев (Зякин) А.А. **1:** 155, 507
Русаков Э.И. **1:** 752
Руссо Жан-Жак **2:** 509
Руставели Шота **1:** 446, 575
Рутковский Е. **1:** 602, 753
Ручьев (Кривошеков) Б.А. **1:** 477–478
Рыбаков И.И. **1:** 728; **2:** 902
Рыбакова (урожд. Гальперина) Л.Я. **1:** 728; **2:** 902
Рыбакова О.И. **2:** 902
Рыбников П.Н. **1:** 330
Рыкова Н.Я. **2:** 650
Рыленков Н.И. **1:** 600, 752
Рысс Ц.Г. **2:** 725
Рюриковичи **2:** 41, 617
Рябов И.А. **1:** 525; **2:** 979

С. — С.П. Бородин
С. — А.Д. Синявский
С. — И.В. Сталин
С. — А.А. Сурков
С.Б., С.Б.Р. — *С.Б. Рудаков*
С.Н. — *С.Г. Суок*
Саакянц А.А. **2:** 622
Савин Н.Г. **1:** 254
Савл **2:** 628
Сагательян (Сагательян) И.Я. **2:** 719, 818
Сакко Никола **1:** 86
Сакс Ганс **1:** 500
Саломея — *С.Н. Андроникова*
Сальери Антонио **1:** 53, 66, 783–787, 793–794, 800–801, 806, 811–813, 816–817, 819–823, 826–827, 830, 834; **2:** 27
Сальман М.Г. **1:** 7, 68; **2:** 889
Санников Г.А. **1:** 528; **2:** 319
Сарабьянов А.Д. **1:** 755; **2:** 924

Саргиджан Амир — *С.П. Бородин*
Сартр Жан-Поль **2**: 538
Сарьян М.С. **1**: 844
Сафо **2**: 55, 134, 624
Сахаров А.Д. **2**: 386, 680
Саша — *А.А. Морозов*
Свентицкий А.Э. **2**: 991
Свердлов Я.М. **1**: 70
Светлов (Шейнкман) М.А. **2**: 466
Свирский А.И. (Ш.Д. Вигдорович) **2**: 217–218, 661
Святополк-Мирский Д.П. **1**: 476, 581
Северянин Игорь (И.В. Лотарев) **1**: 83; **2**: 321
Седов С.Л. **1**: 484, 582
Сезанн Поль **2**: 61
Сейфуллина Л.Н. **1**: 100, 544
Селивановский А.П. **1**: 504, 524; **2**: 532–534
Сельвинский И.Л. **1**: 411, 598, 750; **2**: 254, 466
Семашко Н.А. **1**: 440
Семенко И.М. **1**: 34, 51–52, 57, 543, 574, 793–794, 820, 862; **2**: 8, 10, 17, 256, 546, 548, 551, 666, 709, 713–714, 720–722, 815–816, 819, 821–822, 825, 827
Семенов-Тянь-Шанский П.П. **1**: 121
Сенковский О.И. **2**: 317
Серафимович (Попов) А.С. **2**: 358, 677
Сергеев А.Я. **1**: 832
Сергеев В.И.¹⁴ **2**: 195–196
Сергеев И.В.¹⁵ **1**: 144; **2**: 195
Сергей Иванович **2**: 592, 594–595, 597–598, 600–601
Сергиевский С.С. **1**: 521
Сережа — *С.Б. Рудаков*
Серов В.А. **2**: 139, 627, 654
Серов (Раппопорт) В.А. **2**: 480, 920, 924
Серов И.А. **1**: 504
Сигачев Ю.В. **1**: 862
Сильверсван Б.П. **1**: 516
Симиренко П.Л. **2**: 740, 824
Симонов А.К. **2**: 859
Симонов К.М. **1**: 33, 367, 462, 595; **2**: 585, 587, 858, 859, 866,
Синани **1**: 233, 527; **2**: 51, 153, 225, 434
Синани Б.Б. **2**: 44, 51, 620
Синани Б.Н. **1**: 527; **2**: 54
Синелобов А.И. **1**: 101, 183, 192, 498–499; **2**: 513–514, 839–840, 959
Синяевский А.Д. (псевд. Абрам Терц) **1**: 59, 592, 598, 613, 659, 747–748, 750; **2**: 15, 76, 84, 176–177, 350, 393, 574, 680

¹⁴ Сын *А.Е. Адалис*.

¹⁵ Муж *А.Е. Адалис*.

Сиротинская И.П. **1:** 33–34, 73; **2:** 866, 872
Скалдин А.Д. **2:** 958
Скотт Вальтер **1:** 369, 372, 728; **2:** 672
Скрябин А.Н. **1:** 148, 236, 254–255, 360, 528, 538, 559, 810; **2:** 127–129, 131–133, 136, 408, 492, 648–649, 659, 668, 672, 675, 843, 869–870, 873
Слонимский М.Л. **1:** 492, 516; **2:** 958
Слуцкий Б.А. **1:** 267, 282, 478
Случевский К.К. **1:** 80, 328, 550; **2:** 431, 733
Смилга И.Т. **1:** 416–417, 571
Смирнов А.А. **2:** 954, 969
Смирнов В.Е. **1:** 604; **2:** 903–904, 908
Смирнов В.Е. **1:** 604; **2:** 903, 908
Смирнов Е. **1:** 604; **2:** 903, 908
Смирнов Е.С. **2:** 738
Смирнов С.С. **1:** 525
Смирнова А.Б. **1:** 604; **2:** 903–904, 908
Смольевский А.А. **1:** 765, 770, 862; **2:** 226, 259, 663–664
Смольевский А.Ф. **2:** 226, 663
Совсун В.Г. **1:** 759
Соколов Б.В. **1:** 499
Сократ **2:** 18, 629
Солженицын А.И. **1:** 34, 47, 324, 336, 378–380, 433, 470, 503, 573, 747; **2:** 15, 33, 130, 183, 219, 362, 419, 503, 591, 606, 616, 648, 659, 662, 677, 680, 697, 850
Соловцов В.М. **1:** 751
Соловьев В.С. **1:** 319–320, 337, 355, 554, 724; **2:** 14, 68, 142, 260, 518–519, 522–523, 629, 982
Соловьев С.В. **2:** 618
Соловьев С.М. **2:** 142
Сологуб (Тетерников) Ф.К. **1:** 262, 712; **2:** 103–104, 453,
Сологубы **2:** 453
Соломон **2:** 428
Соммер Я.И. **1:** 69; **2:** 620
Сонька — *С.К. Вишневецкая*
Сормани Пьетро **1:** 54–55
Сорокина Л. **1:** 181, 185, 514
София, св. мц. **2:** 7
Софокл **1:** 312; **2:** 361, 657, 791
Софья — *С.И. Ивич-Богатырева*
Софья Андреевна — *С.А. Толстая*
Софья Захаровна — *С.З. Федорченко*
Спаская (урожд. Каплун) С.Г. **2:** 240, 665
Спаский С.Д. **1:** 409, 570; **2:** 240, 665
Спиноза — *И.К. Глухов*
Спиноза Бенедикт (Барух) **1:** 478, 626; **2:** 509
Срезневская (урожд. Тюльпанова) В.С. **1:** 602, 747, 757; **2:** 450
Скрипник (Скрыпник) Н.А. **1:** 567

Ставский (Кирпичников) В.П. **1:** 210, 302, 305, 372, 381, 392, 395, 447–448, 460–462, 515, 522, 537, 565, 576–577, 579; **2:** 609, 962, 977

Сталин (Джугашвили) И.В. **1:** 27, 42, 87–88, 98, 102, 105, 107–109, 120, 126, 138, 143, 158–160, 163, 168–170, 191, 203, 218, 224–228, 237, 239–240, 286, 288, 293, 301–302, 305, 308–309, 325, 331, 333, 344, 349, 352, 379, 388–391, 396, 402, 404, 406, 410, 415–417, 424, 429, 431–433, 438, 448, 460, 465, 473, 478, 481–482, 484, 499, 501–503, 510, 518, 521, 524, 542, 549, 552, 562, 570, 573, 575, 577, 580, 589, 607, 621, 627, 746, 754–755, 767; **2:** 219, 222, 224, 285, 297, 336–337, 350, 376, 383, 390–392, 422, 437–438, 481–483, 485–486, 532, 549, 580, 648, 662, 670, 671, 678, 697–698, 716, 725, 744, 756, 788, 794, 813, 847, 856, 874, 876, 891, 909, 939–942, 944–945, 962, 982, 984

Станюкович А.К. **1:** 516

Старцев (Кунин) А.И. **1:** 216, 523

Старцев В.С. **1:** 28, 406, 568–569, 626–627, 761; **2:** 388, 390, 393–394

Стеблин-Каменский М.И. **1:** 27; **2:** 167

Стенич (Сметанич) В.И. **1:** 407–409, 569–570, 608, 610, 756; **2:** 318, 321, 672

Стенич (урожд. Файнберг, во втором браке Большинцова) Л.Д. **1:** 407–408, 410, 608, 732

Степанов Е.Е. **2:** 647–648

Степанов Н.Л. **1:** 524

Степанов С.А. **1:** 780

Степанова Л.Г. **1:** 71

Степина П.Ф. **1:** 30, 120; **2:** 288, 977

Стивенсон Роберт Льюис **2:** 957

Стогова И.Э. **1:** 615, 656, 757; **2:** 241–242, 450, 499–450

Стойчев С.А. **1:** 537

Столетов (Семенов) А.А. **1:** 301

Столпнер (псевд. Эмдин) Б.Г. **1:** 312

Столыпин П.А. **1:** 10

Столяров И.В. **1:** 661–662, 683; **2:** 576–577

Столярова Н.И. **1:** 33, 42–43, 50, 73, 660–664, 683–684, 690, 732, 771, 774; **2:** 8, 568–570, 573–578, 702, 858–859

Сторицын (Коган) П.И. **2:** 234, 662, 765

Стойнова К.И. **1:** 497

Стравинский И.Ф. **1:** 709; **2:** 494, 634, 696

Страннолюбская (урожд. Ахшарумова) Е.И. **1:** 450, 615, 757

Стржиговский Йозеф **1:** 317

Струве Г.П. **1:** 57, 336, 534, 553, 860; **2:** 81, 135, 530–531, 650, 652, 655

Струве Н.А. **1:** 7, 54–55, 58, 551; **2:** 10, 27–28, 149–150, 616, 655

Струве П.Б. **2:** 642

Судейкина Ольга — *О.А. Глебова-Судейкина*

Суок С.Г. **1:** 114, 581, 699, 775; **2:** 76, 79–80

Суперфин Г.Г. **1:** 7

Суриков В.И. **1:** 79, 492

Сурков А.А. **1:** 27, 29, 71, 102, 160, 200–201, 216, 301, 323–324, 378, 381, 395, 448, 461–462, 466–467, 482, 500, 567–568, 574–575, 579, 589, 601, 677, 733, 751; **2:** 166–167, 350, 369, 580–591, 703, 784, 858, 943, 979–980
Сухово-Кобылин А.В. **1:** 627; **2:** 363, 673
Сырцов С.И. **1:** 258, 526; **2:** 705

Т. — *В.Е. Татлин*

Т. — *А.Г. Тышлер*

Табидзе Т.Ю. **1:** 807; **2:** 376, 643

Таганцев В.Н. **2:** 622

Тагер Е.Б. **2:** 856

Тагер Е.М. **1:** 139–140

Таиров (Корнблит) А.Я. **1:** 13, 246; **2:** 158

Талов М.В. **2:** 694

Таля — *Н.Г. Корди*

Таманян (Таманов) А.И. **1:** 844

Тамерлан Тимур **2:** 471

Таня — *Т.Г. Григорьева*

Тарановский К.Ф. **2:** 55, 134, 624, 651

Тарасенков А.К. **1:** 163, 251, 509, 535, 659–670; **2:** 481, 483, 679, 770, 868, 911, 914

Тарковский А.А. **1:** 602, 748, 753; **2:** 545, 673, 752, 867, 872

Тарле Е.В. **1:** 576

Тарсис В.Я. **2:** 76

Тассо Торквато **1:** 329; **2:** 259–260, 526, 741

Тата — *Е.К. Лившиц*

Татищев Анн **1:** 58

Татищев С.Н. **1:** 58; **2:** 10

Татлин В.Е. **1:** 21, 444, 648–649, 654–655, 765, 838–840; **2:** 228–230, 232, 235–236, 239, 745, 920, 958

Таточка — *Е.К. Лившиц*

Татья — *Н.Е. Мандельштам*

Татьяна В. **1:** 683

Татьяна Васильевна — *Т.В. Травникова*

Татьяна Николаевна, вел. кнж., мц. **1:** 14; **2:** 894–895

Татя — *Н.Е. Мандельштам*

Твардовский А.Т. **1:** 45–46, 367, 378, 746; **2:** 658, 680, 983

Тенюкова Г.Г. **1:** 71–72

Терапиано Ю.К. **2:** 135, 651

Тер-Габриэлян С.М. **1:** 554

Терновец Б.Н. **1:** 546

Тер-Петросян С.А. (Камо) **1:** 220, 525

Терц Абрам — *А.Д. Сияевский*

Тибулл (Альбий Тибулл) **1:** 329

Тиграны **2:** 514

Тильба А.Г. **2:** 671

Тимакова Т.Л. **1:** 7

Тименчик Р.Д. **1:** 7, 516, 520, 778, 863; **2:** 643, 678, 691, 909, 914
Тимоша — Н.А. *Пешкова*
Титова А.А. **1:** 191, 415–416, 571; **2:** 706
Тихон Задонский, свт. **1:** 284
Тихон, свт., Патриарх Московский **2:** 154, 655–656, 681
Тихонов (псевд. Серебров) А.Н. **2:** 348, 676, 958
Тихонов Н.С. **1:** 321–324, 398, 409, 426, 492, 526, 549, 570; **2:** 240, 376, 485, 710–711, 716, 784, 828, 846, 961
Тихонова (урожд. Неслуховская) М.К. **1:** 324
Тоддес Е.А. **1:** 862; **2:** 675
Толлер Эрнст **2:** 956
Толстая (урожд. Берс) С.А. **1:** 685, 772
Толстая-Есенина С.А. **1:** 307; **2:** 421, 975, 993
Толстиков В.С. **1:** 751
Толстой А.К. **1:** 149, 507; **2:** 733–734, 821–822
Толстой А.Н. **1:** 37, 79, 87–88, 97, 168, 170, 409, 452, 491–492, 510, 524, 729; **2:** 621, 961
Толстой Л.Н. **1:** 69, 328, 372, 566, 685–686, 773, 788, 805; **2:** 284, 287, 297, 355, 629, 646, 677
Толстой Ю.К. **2:** 923
Томашевская З.Б. **1:** 601
Томашевский Б.В. **1:** 451, 830; **2:** 205, 247, 847
Тоня — А.А. *Титова*
Травников П.Ф. **1:** 429–433
Травникова Т.В. **1:** 428–434, 445, 456; **2:** 969
Травниковы **2:** 969, 992
Трауберг Л.З. **2:** 662
Тренев К.А. **2:** 467
Тренин В.В. **2:** 468
Тринклер Н.П. **2:** 96, 955
Триоле (урожд. Каган) Э.Ю. **2:** 161, 304, 347, 671, 949–950
Тройницкий С.Н. **1:** 576
Троупин Пэгги **1:** 7
Троцкий (Бронштейн) Л.Д. **1:** 182, 582, 621; **2:** 624, 856
Троша **1:** 363; **2:** 971
Трубецкие **1:** 320
Трубецкой Н.С. **2:** 285, 669–670
Трубецкой С.Н. **2:** 172, 285, 502, 658, 669
Тураев Б.А. **2:** 543, 974
Тухачевский М.Н. **1:** 515
Тынянов Ю.Н. **1:** 363, 371, 400, 451, 532, 560–561, 593–594, 708, 749, 777, 783, 814; **2:** 17, 193, 204–205, 246, 317, 337–341, 347–348, 354, 419, 547, 672, 675–676, 700, 730, 815, 846, 962, 968
Тынянова (урожд. Зильбер) Е.А. **2:** 340, 347
Тынянова И.Ю. **2:** 347
Тышлер А.Г. **1:** 15, 169, 305, 353, 510, 546; **2:** 616

Тэффи (урожд. Лохвицкая) Н.А. **1:** 72
Тюкавкина Э.П. **1:** 264
Тютчев Ф.И. **1:** 328, 379, 686, 832; **2:** 61, 427, 630, 660, 688, 733–735, 747, 779, 821
Тютчева (урожд. гр. фон Ботмер, в первом браке Петерсон) Э.Ф. **1:** 686
Тюфяков И.К. **1:** 28, 478–479

Уголино дела Герардеска **1:** 106, 502
Уделов Ф.И. — *С.И. Фудель*
Уильямс Аллан Мюррей **1:** 617, 758; **2:** 933, 938
Уланд Иоганн Людвиг **2:** 679
Улина З.К. **2:** 589–590
Ульянова М.И. **2:** 119
Урицкий М.С. **1:** 17, 456, 575–576, 655; **2:** 44, 240, 636, 665
Усов Д.С. **1:** 112, 123, 457–458, 503, 576; **2:** 676, 855
Усова (урожд. Левенталь) А.Г. **1:** 26, 71, 112–113, 333, 456–460; **2:** 188, 855
Успенский А.И. **1:** 501
Уткин И.П. **1:** 568, 594–595, 749
Ушинский К.Д. **2:** 556

Фаворский В.А. **1:** 758; **2:** 750, 792
Фадеев (Булыга) А.А. **1:** 199, 231, 352, 409, 446–450, 469, 527, 574–575, 662; **2:** 167, 240, 272, 350, 521, 533, 708, 757, 846
Фаина — *Ф.Г. Раневская*
Федин К.А. **1:** 228, 289, 368, 371, 398, 426; **2:** 169, 172, 272, 521,
Федоров Н.Ф. **1:** 788–789
Федорченко С.З. **2:** 110, 640–641
Федя — *Ф.Я. Маранц*
Федякин С.Р. **1:** 859
Фейгенберг-Ноткина (в первом браке Хаютина, во втором Гладун, в третьем Ежова) С.И. (Е.С.) **1:** 416, 571
Фейербах Людвиг Андреас **2:** 702
Феллини Федерико **1:** 701, 776
Фет (Шеншин) А.А. **1:** 328–329, 551; **2:** 733
Фигурнова М.В. **1:** 60, 861
Фигурнова О.С. **1:** 60, 861
Филиппов (Филистинский) Б.А. **1:** 57, 341, 533, 555, 860; **2:** 135, 650, 652, 655
Филонов П.Н. **2:** 995
Филонова — *Е.Н. Глебова-Филонова*
Фильтринелли Джанджакомо **2:** 587
Финкельмонт (Фикельмон; урожд. гр. Тизенгаузен) Д.Ф. **1:** 685
Финкельштейн **1:** 365, 560, 562, 740; **2:** 847, 972
Фирлей С. **1:** 602, 753
Фисенко Т.С. **1:** 31; **2:** 984
Флаттеров И. — *А.И. Добкин*
Флейшман Л.С. **1:** 7
Флобер Гюстав **2:** 625

Флоренский П.А. **1:** 319; **2:** 14, 88, 158, 200, 271, 436, 638, 656, 660, 667–668, 689
Фомичев С.В. **1:** 450–455, 575
Фоогд-Стоянова Т.Ф. **1:** 95, 497
Фрадкина Е.М. **1:** 12–13, 25–26, 32, 35, 52, 69; **2:** 381, 659, 750, 914
Франк В.С. **1:** 746
Франк С.Л. **1:** 803, 823–824, 833, 836–837; **2:** 14, 542, 700
Фрезинский Б.Я. **1:** 7, 69, 550, 863; **2:** 617, 694
Фрейд Зигмунд **1:** 213; **2:** 98, 956
Фрейдин Ю.Л. **1:** 7, 36, 39–40, 56–60, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 745, 776, 797, 832, 859–862; **2:** 8, 28, 677, 821, 889, 963–964
Фрида — *Ф.А. Вигдорова*
Фриновский М.П. **1:** 575, 577
Фриче В.М. **2:** 105
Фролов И.В. **1:** 547–548
Фудель С.И. **2:** 689
Фурманов А.А. **1:** 89–90, 295, 409; **2:** 572
Фурманов Д.А. **1:** 89, 409; **2:** 572, 743, 856, 863

Хазин А.А. **2:** 367
Хазин А.Я. **1:** 12–14, 656; **2:** 164, 241–242, 300, 508, 511, 665, 885–886, 878–879, 881, 885–886, 892–894
Хазин Е.Я. **1:** 12–14, 25–26, 29, 32, 34–35, 52, 57, 68–69, 91, 115–116, 156, 160, 171, 177, 205, 216, 224, 260, 284, 300, 303, 325, 352, 361–362, 366, 372, 384, 390, 395, 420, 443, 456, 469, 508, 511, 531, 564, 574, 579, 595, 611, 656, 848; **2:** 57, 100, 147–148, 164, 241, 251, 367, 381, 384, 508, 537, 604, 646, 665, 710, 712, 750, 852, 854–855, 857, 878–879, 881, 885–887, 890, 892–894, 910, 912, 914, 939, 959, 968–969, 986
Хазин С.Я. **1:** 474–475, 483; **2:** 982, 994
Хазин Х.А. **2:** 11, 511, 881, 889
Хазин Я.А. **1:** 9–11, 13–15, 19, 64, 68, 69, 166, 181, 656; **2:** 10–11, 27, 45, 100, 102, 117, 220, 241, 280, 323, 327, 408, 450, 508, 511, 529, 547, 681, 739, 885, 878–889, 892–893, 933, 966
Хазина А.Я. **1:** 12, 48, 64, 264, 656, 726; **2:** 241–242, 511, 711, 879, 892, 966, 975–976
Хазина В.Я. **1:** 11–14, 24–26, 64, 96–97, 100, 106, 114, 166, 215, 264, 299, 302–303, 360, 382–384, 470, 501, 506, 508, 511, 553, 611, 656; **2:** 117, 220, 241, 253, 300, 511, 513, 557, 593, 600, 606, 609, 625, 662, 739, 843, 851–854, 878–883, 885–888, 891, 931, 933, 966, 970, 974, 978, 985–986
Хазины **1:** 12, 64; **2:** 618, 889
Халатов А.Б. **2:** 53, 540, 623
Ханцын (Ханцин) И.Д. **1:** 148, 311, 612, 704, 757; **2:** 132
Харджиев Н.И. **1:** 22, 29–30, 49, 51, 53, 60, 72, 280, 307–308, 325, 340, 365–366, 443–444, 529, 544, 574, 579, 635, 646, 695, 697–701, 703, 706, 740, 758, 775, 840, 860; **2:** 8–10, 17, 26–27, 64, 81, 83, 148, 402–403, 405, 466, 468, 478, 480, 480, 485, 537, 626–627, 633, 645, 703, 716–717, 723, 726–728, 731, 741–742, 744, 750–752, 754–758, 764–765, 767–768, 770–772, 774–776, 782–783, 787–789, 792, 802, 805–

808, 810, 825–827, 832, 837, 843, 848–851, 857–861, 864–872, 915–916, 975–976,
980–981, 993
Харитон Б.О. **1:** 517
Хармс Даниил (Д.И. Ювачев) **2:** 417
Хачатрянц Я.С. **2:** 238
Хачатурьян (Хач) А.Х. **2:** 543, 719, 818
Хвьяля-Олинтер А.А. **1:** 567
Хейворд Макс **1:** 47, 55; **2:** 16, 24
Хейт Аманда **1:** 776
Хемингуэй Эрнест Миллер **1:** 316
Хенкин К.В. **1:** 33
Хинкис В.А. **1:** 31
Хинт **1:** 474–475, 580
Хитров К.Е. **1:** 484–490, 581–582
Хитрова Д. **1:** 754
Хлебников В.В. **1:** 82, 113, 444, 451, 494, 529, 574, 698, 700, 709, 713, 719–720, 722,
779, 810; **2:** 60, 62, 64–65, 70, 113–120, 252, 294, 405, 460, 547–548, 625–626, 644–
646, 700, 916, 956
Хлопов В.Г. **1:** 862
Ходасевич (урожд. Чулкова) А.И. **2:** 162–163
Ходасевич В.М. **2:** 141, 653
Ходасевич В.Ф. **1:** 45, 61, 149, 797, 832; **2:** 122–123, 161–164, 631, 647–648, 708,
749, 825
Ходотов Н.Н. **2:** 958
Хомяков А.С. **2:** 376, 822
Хоренский Моисей (Мовсес Хоренаци) **1:** 317, 331, 548, 844
Христофорович, Христофорыч — *Н.Х. Шиваров*
Хрулева Р.П. **1:** 858
Хрущев Н.С. **1:** 352, 405, 466, 572, 746, 773; **2:** 14, 30, 146, 155, 190, 202, 222, 324,
336, 391–392, 452, 532, 559–560, 576, 580, 588, 662, 887, 945, 973
Худавердян А.А. **1:** 554
Хьюз Ричард **1:** 55
Хэйворд Макс — *Макс Хейворд*

Цвейг Стефан **1:** 580
Цветаева А.И. **2:** 463, 465
Цветаева В.И. **2:** 463
Цветаева М.И. **1:** 20, 26, 44, 218, 230, 233, 362, 525, 607, 611, 629–630, 640–643,
648, 657, 678, 689–691, 713, 715, 718, 722, 762, 779, 801, 814, 833; **2:** 12, 15, 17, 52,
83, 110, 180, 263–264, 270–271, 342, 361, 441, 444, 447, 455, 460–470, 482, 492, 534,
542, 634, 641, 658, 666–667, 669, 689, 692–694, 700, 737, 764, 767, 823, 833, 838,
915, 949, 979
Цейс Карл Фридрих **2:** 543, 554, 719
Цетлин Е.В. **1:** 193
Циммерман М.М. **1:** 633, 763
Цыгальская (Аузиня) И.В. **2:** 643

Цыгальский А.В. **2:** 110, 435–436, 438, 642–643, 954

Чаадаев П.Я. **1:** 330, 337, 342–343, 346, 512, 788, 824, 831; **2:** 288, 313, 469, 731, 947

Чага Л.В. **1:** 775; **2:** 755, 870

Чагуа **2:** 111, 644

Чайковский П.И. **2:** 809, 850, 970

Чапаев В.И. **2:** 762–763

Чаплин Чарльз Спенсер **1:** 651, 766; **2:** 592, 812–813, 830

Чаплыгин С.А. **2:** 212

Чаренц (Согомонян) Е.А. **1:** 269, 271, 845; **2:** 538, 706, 952, 961

Чекрыгин В.Н. **2:** 616

Челищев П.Ф. **2:** 616

Челлини Бенвенуто **2:** 686

Черный Саша (А.М. Гликберг) **1:** 83

Черных В.А. **1:** 858–859

Чернышевский Н.Г. **2:** 600, 661, 702

Черняк Я.З. **1:** 186

Чехов — *В.С. Старцев*

Чехов А.П. **1:** 406, 626; **2:** 390

Чехов М.А. **2:** 330, 674

Чечановский М.О. **1:** 238, 311–312, 325; **2:** 420–424

Ч-й Н. — *Н.К. Чуковский*

Чингисхан **2:** 670

Чириков Е.Н. **1:** 758

Чичагова О. **1:** 403

Чичерин Г.В. **1:** 182, 514; **2:** 953, 963

Чкалов В.П. **1:** 565

Чудаков А.П. **2:** 675

Чудакова М.О. **1:** 552; **2:** 675

Чудовский В.А. **2:** 460, 691

Чуковская Е.Ц. **1:** 863

Чуковская Л.К. **1:** 26, 56, 585, 703, 746, 750, 760–761, 771–773, 779, 863; **2:** 27, 659, 673, 678, 690, 908–909, 923–924

Чуковский К.И. (Корнейчуков Н.В.) **1:** 48, 322, 327–328, 515, 550, 608, 646, 749, 783, 841; **2:** 111–112, 355, 485, 795, 846, 854, 862, 910, 923

Чуковский Н.К. **1:** 322, 608, 756; **2:** 64, 626, 677, 846, 921, 924–925

Чулков Г.И. **1:** 685; **2:** 162, 211, 421

Чурилин Т.В. **1:** 762

Чурилова Е.Б. **1:** 858

Ш. — *Г.А. Шенгели*

Шагал М.З. **2:** 348

Шагинян М.С. **1:** 161, 293, 392, 404, 654; **2:** 168–172, 175, 195, 237–238, 360, 674–675, 823

Шагинян М.Я. **1:** 392

Шаламов В.Т. **1:** 33–34, 42, 45, 49, 54, 74, 477, 581, 586, 591, 649, 708, 747, 778; **2:** 293, 606, 670, 933
Шаляпин Ф.И. **1:** 572
Шапух **1:** 408, 546
Шарден Пьер Тейяр де **2:** 518, 520
Шафран А.Д. **1:** 599, 751
Шаховской Д.М. **1:** 36; **2:** 11
Шацкий Л.А. **1:** 526
Шваб К.К. **1:** 265–266, 542; **2:** 810–811
Шварц Е.Л. **1:** 56
Шведов (Вячеславский) В.Г. **2:** 622–623
Швейцер В.А. **1:** 568
Шевцов И.С.¹⁶ **2:** 774
Шевченко Т.Г. **1:** 268, 429, 451, 542, 638,
Шевчук И.Н. **1:** 862
Шекспир Уильям **1:** 527, 771, 785, 789, 830; **2:** 93, 164, 251, 418, 488, 588, 605–606, 636, 674, 703–704, 804, 887
Шелест Г.И. (Е.И. Малых) **1:** 566
Шелли Перси Биши **1:** 319
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф фон **2:** 69, 631
Шелуханов **1:** 85, 454–456, 462, 575
Шёнберг Арнольд Франц Вальтер **2:** 260, 666
Шенгели — *Н.Л. Манухина*
Шенгели Г.А. **1:** 157, 165, 224–225, 282, 508–509, 634, 641, 732; **2:** 79, 354, 461, 464, 716, 817, 962
Шенк(?) И. **2:** 663
Шенк(?) Н. **2:** 663
Шенталинский В.А. **1:** 517
Шенье Андре Мари де **1:** 329, 495
Шепелев **1:** 555
Шервашидзе, кн. **1:** 417, 571
Шервашидзе (Чачба), кн. род **1:** 417, 571
Шервинский С.В. **1:** 312, 414–415; **2:** 653, 846
Шереметев Б.П. **1:** 551
Шиваров Н.Х. **1:** 92, 104–108, 115, 128, 142–144, 150–163, 168–169, 237, 352, 502, 507–509, 572
Шилейко (урожд. Андреева) В.К. **1:** 754
Шилейко В.К. **1:** 604, 606, 656, 730, 754; **2:** 84, 88, 241–242, 377, 449–453, 455, 678–679, 776–777, 896, 901, 916, 926–930, 973–974
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих фон **2:** 509
Шиндин С.Г. **1:** 7
Шифрин Н.А. **2:** 616
Шишканов **1:** 85, 454–456, 462, 575
Шишмарев В.Ф. **1:** 27–28; **2:** 85, 167

¹⁶ Сын *О.К. Кретовой*.

Шкирятов М.Ф. **1:** 257; **2:** 633, 960
Шкловская-Корди В.В. **1:** 7, 35, 52, 72, 369, 439–440, 491, 521
Шкловская-Корди В.Г. **1:** 33, 35, 62–63, 73, 124, 202, 234, 260, 275, 369, 391, 408, 439–440, 442–443, 521, 579, 771, 775; **2:** 248, 323, 350, 359, 379, 858, 915, 955, 963, 969
Шкловские **1:** 404, 439, 441–444, 446, 449, 456, 469, 697, 775; **2:** 323, 345, 350, 383, 962, 969, 995
Шкловский В.Б. **1:** 112–113, 160, 245, 260, 275, 295, 344, 368–369, 391–392, 395, 408, 414, 439–440, 442, 445–446, 468–469, 476, 521, 529, 531–532, 574, 579, 699, 767, 775; **2:** 64, 148, 204, 246, 317, 347, 350–352, 426, 508, 626, 675–676, 846, 916, 940, 988, 995–996
Шкловский-Корди Н.В. **1:** 35, 369, 408, 439–440
Шкловский-Корди Н.Е. **1:** 7
Шмидт П.П. **2:** 93, 178
Шолохов М.А. **1:** 409, 553, 662, 747; **2:** 175
Шопен И.И. **1:** 317, 548
Шопен Фредерик Франсуа **2:** 132
Шопенгауэр Артур **1:** 721, 724, 809; **2:** 68, 413
Шостакович Д.Д. **1:** 439, 540, 573, 753; **2:** 330, 431, 688, 711
Шпенглер Освальд Арнольд Готтфрид **1:** 339; **2:** 502, 956
Шпет Г.Г. **1:** 503
Шпиковский Н.Г. **2:** 352
Штейнберг Д.М. **2:** 473, 694, 740
Штейнберг Е.Л. **1:** 112
Штейнберг Н.М. **1:** 612, 757; **2:** 740, 824
Штейнберг (урожд. Римская-Корсакова) Н.Н. **2:** 473, 694, 740
Штейнберг (урожд. Шапира) Т.А. **1:** 112
Штемпель Е.А. **1:** 261
Штемпель (урожд. Левченко) М.И. **1:** 261, 303, 541
Штемпель Н.Е. **1:** 21, 24, 49, 51, 53–54, 57, 60, 72, 75–76, 147–148, 261–262, 292, 294, 303, 364, 366, 404, 521–522, 568, 634–635, 649, 652–653, 687–688, 745, 766, 774, 841–842; **2:** 64, 248, 259, 265, 273, 275, 347, 484–485, 489, 667–668, 695, 761, 764, 771, 782–783, 785–786, 790, 793–794, 801, 806–807, 812, 821, 845, 869–870, 873, 962, 970, 972, 985, 992
Штернберг (Штеренберг) Д.П. **2:** 407, 682
Шуберт Франц Петер **1:** 10, 266, 843, 846; **2:** 258, 744–745, 764
Шульц С.С. **1:** 517
Шуман Роберт **1:** 271
Шумихин С.В. **1:** 71; **2:** 817
Шура — А.Э. *Мандельштам*
Шура — А.И. *Немировский*
Шура — А.Я. *Хазин*
Шурик — А.А. *Мандельштам*
Шустер С.А. **1:** 751
Щастный А.М. **1:** 517

Щеголев П.Е. **1:** 428, 433
Щепкин М.С. **1:** 240–241, 530
Щербаков А.С. **1:** 219–220; **2:** 350

Э.Б. — *Э.Г. Бабаев*
Э.Г. — *Э.Г. Герштейн*
Эдик — *Э.Г. Бабаев*
Эзоп **1:** 420
Эйдеман Р.П. **1:** 515
Эйзенштейн С.М. **1:** 337; **2:** 71, 631, 677, 692
Эйнштейн Альберт **1:** 792
Эйхенбаум Б.М. **1:** 363, 529–530, 532, 561, 617, 759, 783; **2:** 204, 246, 317, 676, 815, 846, 906, 962
Эйхендорф Йозеф фон **1:** 329
Эккерман Иоганн Петер **1:** 62
Экстер (урожд. Григорович) А.А. **1:** 13, 15–16, 18, 186; **2:** 39, 158, 616
Элиот Томас Стернз **1:** 721, 780, 798–799, 832; **2:** 259, 497–501, 666, 696, 737
Эль Лисицкий (Л.М. Лисицкий) **2:** 695
Эльсберг (Шапирштейн) Я.Е. **1:** 112, 503; **2:** 570
Элюар Поль **1:** 667; **2:** 288, 482
Эмин Н.О. **1:** 548
Эмма — *Э.Г. Герштейн*
Эмма — *Э.П. Тюкавкина*
Энгельгардт А.Н. **2:** 455, 690
Энгельгардт Б.М. **2:** 247, 665
Энгельс Фридрих **1:** 136, 332, 346, 479; **2:** 309, 616, 671, 702
Эпштейн Е.Л. **2:** 784
Эпштейн М.И. **1:** 15; **2:** 43, 617
Эпштейн Э.Л. **2:** 784
Эрдман (урожд. Кормер) В.Б. **1:** 420
Эрдман Н.Р. **1:** 167, 413–414, 418–421, 506, 509, 572, 595, 749
Эренбург И.Г. **1:** 13, 15, 19, 33, 45, 69, 98, 100, 180, 186, 194, 218, 224, 240, 267, 367, 398–399, 409, 446, 466, 474–476, 513–514, 525, 543, 568–570, 572, 575, 579, 609, 618, 662, 773, 863; **2:** 40, 41–42, 46–48, 107–108, 110–112, 223, 233, 288, 318, 323, 327, 336, 460, 480–483, 508, 510, 555, 591–592, 616–617, 619–620, 639–641, 643, 656, 694–695, 751, 770, 806, 825, 833, 858, 867–868, 885, 954, 963, 969, 979, 982, 994
Эренбург И.И. **2:** 323, 481
Эренбург Люба — *Козинцева-Эренбург Л.М.*
Эренбурги **2:** 954
Эсхил **1:** 289; **2:** 361, 791
Эткинд Е.Г. **1:** 493, 748
Эфрон А.С. **1:** 39, 45, 73, 640–641; **2:** 463–464
Эфрон Г.С. **1:** 26; **2:** 625
Эфрон И.С. **2:** 463
Эфрос А.М. **1:** 434–435; **2:** 141–144, 148, 217–218, 348–349, 653–654, 661, 956–958

Ю.Ф. — *Ю.Л. Фрейдин*

Юдина М.В. **1:** 211, 305, 526, 561

Юля — *Ю.М. Живова*

Юревич В.И. **1:** 577

Юркун (Юркунас) Ю.И. **2:** 143–144, 225, 635

Ягода Г.Г. **1:** 85, 98, 154, 159, 168, 300, 755; **2:** 940, 945

Языков Н.М. **1:** 328, 794; **2:** 733

Якир И.Э. **1:** 515

Якобсон Р.О. **2:** 347, 460

Якулов Г.Б. **1:** 439; **2:** 142, 653

Якулова (урожд. Шиф) Н.Ю. **2:** 142, 653

Яневич Н. — *Е.М. Евнина*

Ярослав Мудрый, блгв. вел. кн. **2:** 101

Ярхо Б.И. **1:** 123, 503

Ярцева В.Н. **1:** 27

Ярцева М.В. **1:** 57; **2:** 845, 970, 972, 986

Яхонтов В.Н. **1:** 22, 168, 199–200, 202, 210, 288, 308–309, 383–384, 392, 502, 522, 574, 600, 634; **2:** 147–148, 317, 329, 389, 812–813, 846

Яхонтов Н.И. **1:** 309

Яхонтова Лиля — *Е.Е. Попова*

Яшвили П.Д. **1:** 807–808; **2:** 952

Яшин (Попов) А.Я. **1:** 167, 420, 510

Brown, Clarence **1:** 74–75

Davie, Donald **2:** 950

Greene, James **2:** 949–950

Hayward, Harry Maxwell (Max) **1:** 74–75

Jakobson, Roman **2:** 624

Lo Gatto, Ettore **1:** 553

Mahler, Elisabeth **2:** 25

Maver, Giovanni **1:** 553

Minoustchine, Maya **2:** 25

N.N. **1:** 364, 561

Olson, Robert **2:** 700

Rodin, Auguste (François-Auguste-René) **1:** 553

Strzygowski, Josef **1:** 548

Triolet, Elsa **2:** 950

Winkelmann, Johann Joachim **1:** 553

Содержание

<i>От составителей</i>	6
<i>Нерлер П. Свидетельница поэзии</i>	9

Воспоминания

Майская ночь	79
Выемка	82
Утренние размышления	86
Второй тур	91
Базарные корзинки	94
Интегральные ходы	96
Общественное мнение	100
Свидание	104
Теория и практика	108
Сборы и проводы	113
По ту сторону	116
Иррациональное	119
Тезка	126
Шоколадка	129
Прыжок	131
Чердынь	136
Галлюцинации	140
Профессия и болезнь	146
«Внутри»	150
Христофорыч	155
Кто виноват	162
«Адъютант»	166
О природе чуда	170
К месту назначения	174
Не убий	179
Женщина русской революции	187
Приводные ремни	191
Родина щегла	197
Врачи и болезни	201
Обиженный хозяин	207
Деньги	216
Истоки чуда	224
Антиподы	228
Два голоса	234

Гибельный путь	236
Капитуляция	242
Переоценка ценностей	249
Труд	259
Топот и шепот	263
Книга и тетрадь	269
Цикл	272
Двойные побеги	277
Последняя зима в Воронеже	284
Ода	287
Золотые правила	292
Моя святая	299
«Один добавочный день»	303
Бессарабская линейка	306
Иллюзия	309
Читатель одной книги	314
Коля Тихонов	321
Книжная полка	325
Наша литература	333
Италия	336
Социальная архитектура	343
Не треба	348
Земля и земное	351
Архив и голос	359
Старое и новое	368
Милицейская Венера	373
Случайность	376
Монтер	381
Дачники	385
Волка кормят ноги	389
Вечер и корова	392
Старый товарищ	396
Беспартийная Таня	400
Стихотлюбы	406
Затмение	412
Бытовая сценка	415
Самоубийца	418
Вестник новой жизни	421
Последняя идиллия	427
Текстильщики	434
Шкловские	439
Марьина роща	443
Сопричастный	446
Мамочка послала барышню отдыхать в Саматиху	450
Первое мая	453
Гуговна	456

Западня	460
Окошко на Софийке	463
Дата смерти	468
Еще один рассказ	484

Об Ахматовой	583
Моцарт и Сальери	783
Установка на чистую форму	838
Стихи Мандельштама для детей	841
Мандельштам в Армении	843
Мое завещание	847

<i>Список сокращений</i>	856
<i>Список цитированных источников</i>	858

Замеченные опечатки и исправления

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
7	15 св	А.М. Ласкина	А.С. Ласкина
	7 сн	Д.М. Нечепорук	Д.М. Нечипорук
31	5 сн	И. Коробовой	Э. Коробовой
40	7 св	дного	одного
69	20 св	Н.М. Ха-	Н.Я. Ха-
72	2 св	В.Б. Шкловской-Корди	В.В. Шкловской-Корди
77	2 св	сост.Г. Поляк	сост. Г. Поляк
111	19 сн	А. А.	А.А.
146	16 св	«Поэме без Героя»	«Поэме без героя»
201	8 сн	Михоэлсу	Михоэльсу
228	3 св	Михоэлса	Михоэльса
327	1 сн	Она была, напечатана	Она была напечатана
392	18 сн	Михоэлса	Михоэльса
495	6 св	<i>Зоя</i>	<i>Зоя</i>
505	11 св	<i>Глазунова.</i>	<i>Бабаев.</i>
506	10 св	Г.И. Ивано-	Г.В. Ивано-
533	14 сн	фразу	фазу
538	5 сн	Г.И. Ивано-	Г.В. Ивано-
543	15 св	с. 543	с. 97
550	7 сн	Г.И. Иванова	Г.В. Иванова
552	1 св	Е.А. Долгорукова	Е.А. Долгорукая
556	1 св	<i>штам О. 1964.</i>	<i>штам 1964.</i>
557	11 св	Е.К. Осмеркина	Е.К. Осмеркина-
565	1 сн	А.О. Моргулиса	Гальперина
570	10 св	А.Д. Дикой	А.И. Моргулиса
571	1 св	Н.А. Дидурской	А.Д. Дикий
	11–13 св	Речь идет о С.И. Фейгенберг-Ноткиной, увлечение которой и послужило причиной развода Н.И. Ежова с его первой женой, А.А. Титовой.	Н.А. Подвойской (Дидрикуль) Речь идет об А.А. Титовой.
581	12 св	временник.	временник, 1990.
593	4 св	«Поэмы без Героя»	«Поэмы без героя»
654	4 сн	ваться—	ваться —
753	2 сн	О.А. Судейкиной	О.А. Глебовой-Судейкиной
754	14 сн	Петровой	Андреевой
775	14 св	С.Г. Нарбут	С.Г. Суок

776	4 св	С. Платт	С. Платт
826	3 св	материи» ...	материи»...
836	2 св	С. 68—69	С. 68—69
838	9 сн	О.Н. Арбениной.	О.Н. Гильдебрандт-Арбениной.
859	11 св	Иванов Г.И.	Иванов Г.В.
860	2 сн	Сост. А.Г.	Сост. А.Г. Мец
862	6 св	Е.А. Тодеса	Е.А. Тодеса